



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

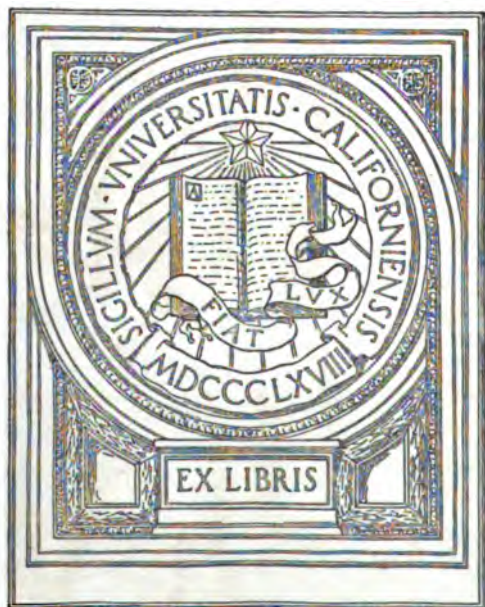
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

P G  
3332  
A1  
1900  
v.1-3  
MAIN



REESE LIBRARY  
OF THE  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

*Class No.*



EX LIBRIS











Грав на стали Ф. А. Брокгаузъ въ Лейпцигъ.

Н. Гоголь

СОЧИНЕНІЯ  
Н. В. ГОГОЛЯ.  
ТОМЪ I.



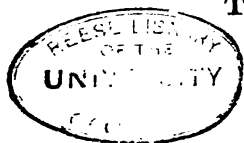
# СОЧИНЕНІЯ Н. В. ГОГОЛЯ

ИЗДАНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ.

РЕДАКЦІЯ  
**Н. С. Тихонравова.**

Съ біографією Н. В. Гоголя, составленной В. И. Шенрокомъ, двумя портретами Гоголя, гравированными на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ, двумя автографами и тремя собственноручными рисунками.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.



Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1900 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе А. Ф. МАРКСА.  
1900.



8P6  
C-813  
1757  
V. 1 + 2  
1

REESE



Типографія А. Ф. Мариса, Ср. Подъяч., № 1.

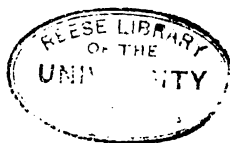
PG. 3332

A1

1900

V. 1-3

NEW



## ПРЕДУВЪДОМЛЕНІЕ

къ одиннадцатому изданію.

Въ 1850 году Гоголь задумалъ новое изданіе своихъ сочиненій, въ которое, кромѣ четырехъ томовъ перваго изданія (1842 г.), предполагалъ включить полный исправленный текстъ «Переписки съ друзьями», нѣсколько статей изъ «Арабесокъ» и кое-какія дотолѣ неизданныя произведенія, такъ чтобы пятый томъ заключалъ въ себѣ *«почти всю его теоретическія понятія, какія онъ имѣлъ о литературѣ и объ искусствѣ и о томъ, что должно двигать литературу нашу»*. Къ исполненному въ такомъ объемѣ изданію Гоголь предполагалъ присоединить «со временемъ» новый томъ и помѣстить въ немъ *«все прочее»*, подъ названіемъ «юношескихъ опытовъ». Поэтъ скончался, не успѣвши перепечатать и первыхъ четырехъ томовъ своихъ «Сочиненій»: подъ его наблюденіемъ отпечатано было перваго и втораго тома по девяти листовъ, третьяго тринадцать и четвертаго семь; въ текстъ этихъ листовъ авторъ внесъ небольшія стилистическія поправки. Племянникъ Гоголя, Н. П. Трушковскій, допечатавши первые четыре тома «Сочиненій» своего знаменитаго дяди, издалъ, черезъ годъ послѣ появленія ихъ въ свѣтъ, два дополнительные тома, въ которыхъ, кромѣ «Переписки съ друзьями», «юношескихъ опытовъ», нѣкоторыхъ статей изъ «Арабесокъ» и «Отрывка изъ «Мертвыхъ душъ», помѣстилъ и неизданныя дотолѣ

произведения: «Отрывокъ неизвѣстной повѣсти» \*) и «Развязку Ревизора». Такимъ образомъ, изданіемъ Трушковскаго положено было начало осуществленію того проекта полнаго собранія сочиненій Гоголя, который набросанъ былъ самимъ поэтомъ въ 1850 году. Сознавая всѣ недостатки своего изданія, Трушковскій предполагалъ «при другомъ полномъ собраніи сочиненій Гоголя указать *всѣ измѣненія и передѣлки*, которыя такъ часто у него встрѣчаются». Преждевременная кончина Трушковскаго остановила его работы надъ проектированнымъ изданіемъ: большая часть приготовленныхъ имъ матеріаловъ для полнаго собранія сочиненій его дяди вошла въ изданіе П. А. Кулиша: «Сочиненія и письма Н. В. Гоголя» (шесть томовъ, СПб., 1857 г.); меньшая осталась въ бумагахъ автора, принадлежащихъ его наслѣдникамъ. Въ упомянутомъ изданіи Кулиша впервые сдѣлана была попытка осуществить, хотя въ нѣкоторой степени, проектъ Трушковскаго о внесеніи въ полное собраніе сочиненій Гоголя «*всѣхъ измѣненій и передѣлокъ*, которыя такъ часто у него встрѣчаются»: нѣкоторыя произведенія, совершенно переработанныя Гоголемъ («Тарасъ Бульба», «Портретъ», «Повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ»), напечатаны здѣсь въ *двухъ* редакціяхъ: первоначальной и исправленной. Заботясь о возможной полнотѣ собранія «Сочиненій Гоголя», г. Кулишъ внесъ въ свое изданіе не только начало трагедіи «Альфредъ», но и отрывки (иногда въ нѣсколько строкъ) начатыхъ повѣстей и даже «замѣтки на лоскуткахъ». Два послѣдніе тома этого изданія, заключающіе въ себѣ письма Гоголя къ разнымъ лицамъ, обогатили русскую литературу драгоценнымъ матеріаломъ для изученія жизни и сочиненій поэта. Изъ послѣдующихъ *шести* изданій «Сочиненій Гоголя», вышедшихъ въ періодъ времени съ 1862 г. по 1888 годъ, лучшимъ слѣдуетъ признать *второе изданіе наслѣдниковъ*, вышедшее подъ редакцію О. В. Чижова въ 1867 году, въ четырехъ томахъ. Удержавши составъ первыхъ четырехъ томовъ изданія г. Кулиша, редакторъ провѣрилъ текстъ нѣкоторыхъ произведеній Гоголя по рукописи автора: въ «Переписку съ друзьями» внесъ письма: XIX,

\*) Въ настоящемъ изданіи этотъ «Отрывокъ» носитъ заглавіе «Нѣсколько главъ изъ неоконченной повѣсти».

XX, XXI, XXVI и XXVIII, непропущенныя цензурою при первомъ изданіи этой книги и во всѣхъ предшествовавшихъ изданіяхъ «Сочиненій Гоголя»; текстъ остальныхъ писемъ восполнить то отдѣльными выраженіями, то цѣлыми страницами, подвергшимися той же участи; въ выноскахъ ко второму тому «Мертвыхъ душъ» приведены выдержки изъ записной книжки автора.

Позднѣйшія изданія «Сочиненій Гоголя», появлявшіяся, начиная съ 1873 года, въ теченіе вышеуказаннаго періода (т. е. по 1888 г. включительно), сокращаются въ составѣ, отбрасывая «юношескіе опыты».

Кромѣ неполноты, эти изданія страдаютъ другимъ важнымъ недостаткомъ—неправильностью текста. Извѣстно, что порча текста началась уже съ перваго изданія «Сочиненій Гоголя», вслѣдствіе того, что Прокіповичъ не всегда умѣлъ разбирать рукописный оригиналъ, корректуру держалъ небрежно и позволялъ себѣ дѣлать совершенно ненужныя поправки въ слоги вѣтренныхъ ему для напечатанія произведеній. Въ пятомъ изданіи наслѣдниковъ (1881 г.) порча Гоголевскаго текста доходитъ до того, что иногда пропускаются цѣлыя строки, а отдѣльныя выраженія автора произвольно замѣняются другими.

Редактируя настоящее изданіе, мы поставили себѣ задачею устранить главные недостатки тѣхъ изданій «Сочиненій Гоголя», которыя вышли съ 1873 по 1888 годъ включительно, и потому всего болѣе заботились: 1) о полнотѣ собранія и 2) правильности печатаемаго текста.

Не отступая отъ плана, который набросанъ былъ самимъ Гоголемъ для полнаго собранія его сочиненій, мы распространили тотъ составъ, который данъ былъ изданіемъ Чиждова, внесеніемъ въ настоящее изданіе *всѣхъ* доселѣ напечатанныхъ «сочиненій Гоголя» \*); ибо только при этомъ условіи можетъ быть достигнута цѣль, которую поэтъ ставилъ полному собранію своихъ произведеній—совмѣстить въ немъ «почти всѣ теоретическія понятія, какія онъ имѣлъ о литературѣ и объ искусствѣ и о томъ, что должно двигать литературу нашу». Такъ, 1) въ настоящее изданіе вошли нѣкоторыя произведенія, не напечатанныя въ изданіи Чиждова и помѣщенные въ *деся-*

\*) Изданіе писемъ Гоголя къ разнымъ лицамъ не входило въ программу этого изданія.



томъ изданіи «Сочиненій Гоголя»: 1) «Классныя сочиненія», 2) «Борисъ Годуновъ, поэма Пушкина», 3) «Отрывокъ изъ утраченной драмы», 4) «1834 годъ», 5) «Рецензіи, помѣщенные въ «Современникъ» Пушкина», 6) «Начало рецензіи, напечатанной въ. «Москвитянинъ» 1842 г.», 7) «Введеніе въ древнюю исторію» (отрывокъ), 8) «Предувѣдомленіе къ предполагавшимся изданіямъ «Ревизора» въ пользу бѣдныхъ», 9) «Письмо къ В. А. Жуковскому» и 10) «Размышленія о божественной литургіи». Кромѣ того, 2) въ изданіе одиннадцатое внесены отрывки, наброски и тексты неоконченныхъ произведеній, напечатанные нами по выходѣ въ свѣтъ десятаго изданія «Сочиненій Гоголя»: 1) стихотвореніе «Непогода», 2) «Отрывокъ изъ неоконченной повѣсти», 3) «Начало неоконченной повѣсти», 4) «Дополненіе къ «Развязкѣ Ревизора», 5) «Женихи», 6) «Выдержки изъ карманныхъ записныхъ книжекъ» и 7) ранѣе изданное нами «Предувѣдомленіе для тѣхъ, которые пожелали бы сыграть, какъ слѣдуетъ, «Ревизора». 3) Сочиненія, вышедшія въ свѣтъ при жизни Гоголя, напечатаны въ настоящемъ изданіи, въ окончательныхъ редакціяхъ; тѣ изъ его поэтическихъ произведеній \*), которыя подверглись коренной, въ теченіе многихъ лѣтъ, переработкѣ, помѣщены въ двухъ редакціяхъ—первоначальной и окончательной. Мелкіе варианты текста, напечатанные въ десятомъ изданіи «Сочиненій Гоголя», въ настоящее изданіе не приняты, но отдѣльныя мѣста и цѣлыя страницы, передѣланныя или по личнымъ соображеніямъ автора, или по требованію старой цензуры, помѣщены въ «Примѣчаніяхъ редактора».

Текстъ сочиненій Гоголя, испорченный въ первыхъ десяти изданіяхъ его произведеній, свѣренъ былъ нами съ собственноручными рукописями автора и первоначальными изданіями его произведеній и, будучи исправленъ такимъ путемъ, напечатанъ въ десятомъ изданіи «Сочиненій»: этотъ текстъ буквально перепечатанъ въ настоящемъ изданіи. Возстановляя подлинныя выраженія автора, нерѣдко замѣнявшіяся другими и по требованію старой цензу-

---

\*) Поэтому не приняты въ одиннадцатое изданіе первоначальныя редакціи статей: 1) «Объ архитектурѣ нынѣшняго времени» и 2) «Нѣсколько мыслей о преподаваніи дѣтямъ географіи».

ры \*), текстъ десятого и настоящаго изданія не всегда поэтому совпадаетъ съ текстами всѣхъ другихъ изданій.

Вошедшія въ настоящее изданіе сочиненія Гоголя не представилось возможности размѣстить въ хронологическомъ порядкѣ, т. е. въ томъ порядкѣ, въ какомъ они выходили изъ-подъ пера автора: совершеннѣйшія произведенія Гоголя обрабатывались въ теченіе многихъ лѣтъ. Такъ, первый томъ «Мертвыхъ душъ» начатъ былъ въ 1835 году и оконченъ въ первой четверти 1842 года: въ этотъ періодъ Гоголемъ выработано было *пять* редакцій этой поэмы \*\*), изъ которыхъ три послѣднія даже вполне переписаны были для печати, такъ что можно говорить только о томъ, къ какому году относится наименѣе подвергшійся позднѣйшимъ передѣлкамъ и исправленіямъ текстъ *отдѣльныхъ главъ* перваго тома «Мертвыхъ душъ». «Ревизоръ» начатъ въ 1834 г. и окончательно отдѣланъ въ 1842 г.: на протяженіи этого періода Гоголемъ было выработано *шесть* редакцій этой комедіи, изъ которыхъ первая поставлена была на сцену, а три позднѣйшія напечатаны при жизни автора (отдѣльными изданіями въ 1836 году и 1841 г., въ первомъ изданіи «Сочиненій» — въ 1842 г.). Достаточно сравнить съ *окончательною* редакціею «Ревизора» напечатанныя въ настоящемъ изданіи «Сцены *перваго* изданія пьесы, передѣланныя для *третьяго* изданія» (томъ III, стр. 305—342), чтобы убѣдиться, что въ послѣдней редакціи комедіи (1842 г.) четырнадцать явленій остались безъ *всякихъ перемѣнъ*, въ томъ видѣ, въ какомъ даны были первымъ печатнымъ изданіемъ «Ревизора, и что, слѣдовательно, *окончательная* редакція этихъ явленій относится къ 1835—36 гг. Даты, выставленныя Гоголемъ подъ отдѣльными произведеніями и сохраненныя въ нашемъ изданіи, означаютъ большею частью не время выработки *послѣдней редакціи* этихъ произведеній,

\*) Такихъ измѣненій особенно много въ первомъ томѣ «Мертвыхъ Душъ»: самая характеристика Чичикова — «плутоватый чело-вѣкъ» — принадлежитъ цензору Никитенку: у Гоголя стояло слово «подлецъ».

\*\*) Первая, несовершенная, редакція хранится въ Московскомъ публичномъ музеѣ, двѣ позднѣйшія находятся въ Императорской Публичной Библіотекѣ, четвертая принадлежитъ Нѣжинскому историко-филологическому институту, пятая (цензурный экземпляръ) — библіотекѣ Московскаго университета.

а только время *первыхъ* набросковъ оныхъ: напр., на главномъ листѣ комедіи «Женитьба» напечатано: «писано въ 1833 году». Но къ этому году относятся только первые наброски комедіи «Женихи», а «Женитьба» была окончена, послѣ многолѣтней переработки, въ 1842 г. На этомъ основаніи хронологическія даты автора не всегда совпадаютъ съ хронологіею, установленною въ «Примѣчаніяхъ» къ настоящему изданію на основаніи данныхъ, подробно изложенныхъ въ десятомъ изданіи «Сочиненій Гоголя».

При невозможности размѣстить произведенія, напечатанныя въ этомъ изданіи, въ порядкѣ ихъ *написанія*, оставалось расположить оныя въ той послѣдовательности, въ какой они выходили въ свѣтъ *при жизни автора*: сочиненія, напечатанныя по смерти Гоголя, распределены по отдѣльнымъ томамъ, на основаніи хронологическихъ датъ, указанныхъ въ «Примѣчаніяхъ». Въ оглавленіи каждаго тома такія произведенія отмѣчены звѣздочками. Къ первому тому настоящаго изданія, заключающему въ себѣ произведенія 1827—1836 гг., приложена гравированная копія съ исполненнаго Венециановымъ въ 1834 г. литографированнаго портрета Гоголя. Въ началѣ четвертаго тома, въ которомъ напечатаны «Мертвыя души», помѣщена гравированная копія съ литографированнаго портрета, который приложенъ былъ къ первому номеру «Москвитянина» на 1843 годъ. Оригиналъ этого портрета, писанный А. А. Ивановымъ, Гоголь подарилъ Погодину, «какъ другу, по усиленной его просьбѣ». Недовольный опубликованіемъ этого портрета, Гоголь, 14 декабря 1844 г., писалъ профессору С. П. Шевыреву: «тамъ я изображенъ, *какъ былъ въ своей берлотѣ*, назадъ тому нѣсколько лѣтъ», т. е. въ то время, когда поэтъ въ своей «подвижнической Римской кельѣ» обрабатывалъ для печати первый томъ «Мертвыхъ душъ».

Къ статьѣ «Предувѣдомленіе для тѣхъ, которые пожела-ли бы сыграть, какъ слѣдуетъ, «Ревизора» (томъ III, стр. 291—301), приложенъ точный снимокъ съ рисунка послѣдней «нѣмой сцены» комедіи. Рисунокъ сдѣланъ Гоголемъ одновременно съ составленіемъ «Предувѣдомленія».

Н. Тихонравовъ.

Москва, 7 мая 1893 г.

# Предисловіе

къ пятнадцатому изданію.

Предлагаемое изданіе отличается отъ трехъ предыдущихъ расширеніемъ біографическаго очерка и внесеніемъ тѣхъ произведеній Гоголя, которыя появились впервые въ шестомъ и седьмомъ (дополнительныхъ) томахъ десятаго изданія. Программа составлена примѣнительно къ основаніямъ, которыми руководился въ «Предувѣдомленіи» Н. С. Тихонравовъ, включившій въ одиннадцатое изданіе отрывки, наброски и тексты неоконченныхъ произведеній, напечатанныхъ \*) по выходѣ въ свѣтъ десятаго изданія, т. е. собственно его первыхъ пяти томовъ. Теперь, по отпечатаніи также двухъ послѣднихъ томовъ, является необходимость дополнить новое собраніе сочиненій Гоголя вошедшимъ въ нихъ матеріаломъ, съ опущеніемъ, впрочемъ, первоначальныхъ редакцій, которыя, по плану Н. С. Тихонравова, въ изданія настоящаго типа «должны войти въ окончательныя редакціи». Въ виду происшедшаго такимъ образомъ увеличенія объема изданія, пришлось увеличить числа томовъ и допустить необходимыя измѣненія въ распредѣленіи матеріала по томамъ, принимая также въ соображеніе возможную равномерность ихъ состава. Поэтому, въ тѣхъ случаяхъ, когда въ прежнихъ изданіяхъ рядомъ съ окончательной редакціей помѣщалась, въ видѣ приложенія, и первоначальная тѣхъ произведеній, *которыя подверглись коренной*

---

\*) Въ журналѣ «Царь-Колоколъ».



*переработкѣ*», — оказалась уже возможность, — благодаря внесению новаго матеріала изъ дополнительныхъ томовъ, — приблизительно возстановить планъ десятаго изданія, по необходимости отчасти измѣненный Н. С. Тихонравовымъ въ одиннадцатомъ, въ которомъ не было особаго тома для этого, такъ сказать, дополнительнаго матеріала. По той же причинѣ возстановленъ и принятый въ десятомъ изданіи порядокъ томовъ. Примѣчанія редактора остаются въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ были составлены Н. С. Тихонравовымъ, съ прибавленіемъ недостающихъ, извлеченныхъ изъ десятаго изданія.

*Влад. Шенрокъ.*



# Біографическій очеркъ.

В. И. Шенрока.

Николай Васильевичъ Гоголь, съ полнымъ основаніемъ признаваемый однимъ изъ величайшихъ нашихъ художниковъ въ области слова, какъ извѣстно, получалъ право на безсмертіе не только высокими достоинствами своихъ произведеній, но также рѣшительнымъ вліяніемъ на весь ходъ послѣдующаго развитія литературы, — какъ главный виновникъ ея самобытности и господствующаго въ ней донинѣ рѣальнаго направленія. Какъ писатель, оказавшій неоцѣненныя услуги родной литературѣ освобожденіемъ ея отъ подражательности и окончательно направившій ея на путь изображенія дѣйствительной жизни, Гоголь безспорно навсегда обезпечилъ за собою одно изъ наиболѣе почетныхъ мѣстъ въ ея исторіи, какъ бы ни были велики заслуги ея будущихъ дѣятелей.

Наиболѣе характерной особенностью Гоголя, какъ чловѣка и писателя, слѣдуетъ признать, прежде всего, ту несомнѣнную оригинальность его личности, въ лучшемъ значеніи этого слова, благодаря которой ему удалось почти исключительно силой природнаго дарованія достигнуть высокаго совершенства своихъ созданій, такъ какъ трудно вообще указать другого, столь же выдающагося дѣятеля литературы, такъ мало обязаннаго постороннимъ вліяніямъ. Гоголь былъ *коренной* малороссъ, — въ противоположность большинству другихъ нашихъ крупныхъ писателей — вочти безусловно свободный отъ какой-либо примѣси иноземнаго вліянія, какъ по своему происхожденію, такъ и по условіямъ воспитанія. Начиная съ самыхъ раннихъ дѣтскихъ впечатлѣній,

онъ впиталъ въ себя всѣ національныя особенности малоросса, дыша атмосферою родной и горячо любимой Украины. Гоголю всегда было дорого какъ настоящее, такъ и прошлое Малороссіи, и самъ онъ чувствовалъ себя тѣснѣйшимъ образомъ связаннымъ съ своею родиною, живо интересовался также и своими предками, хотя вовсе не въ духѣ узкихъ генеалогическихъ розысковъ. Гоголю, напротивъ, плѣняла поэтическая сторона воспоминаній о прошломъ, и въ одномъ изъ раннихъ произведеній его въ слѣдующихъ вдохновенныхъ строкахъ выразилось живое сочувствіе юнаго писателя родной украинской старинѣ и своимъ малороссійскимъ предкамъ: «Эхъ, старина, старина! Чтѣ за радость, чтѣ за разгулье падеть на сердце, когда услышишь про то, чтѣ давно-давно, и года ему и мѣсяца нѣтъ, дѣялось на свѣтѣ! А какъ еще впнуается какой-нибудь или дѣдъ, или пра-дѣдъ, ну, тогда и рукою махни!» То же пламенное увлеченіе національными преданіями внушило Гоголю впоследствии цѣлую поэму, въ которой яркая художественная картина блестящей эпохи казачества была согрѣта огнемъ задушевнаго чувства, жившаго глубоко въ душѣ автора.

Не останавливаясь на пересказѣ сохранившихся данныхъ объ одномъ изъ отдаленныхъ предполагаемыхъ предковъ Гоголя, полковникъ Остапъ Гоголъ, имя котораго упоминается въ краткой исторіи Малороссіи, обыкновенно прилагаемой къ извѣстной малороссійской лѣтописи Самовидца, замѣтимъ только, что лишь на самое короткое время этотъ исконный малороссійскій родъ въ числѣ двухъ своихъ представителей вступилъ - было въ ряды польскаго шляхетства, чтѣ отразилось между прочимъ на присоединеніи къ этой фамиліи другой, польской: по имени пра-дѣда нашего писателя, Яна, Гоголи стали называться Яновскими, а помѣстье, принадлежавшее имъ въ мѣргородскомъ повѣтѣ Полтавской губерніи, — Яновщиною или Васильевкою (Васильевка получила названіе по имени отца Гоголя). Впоследствии, Гоголь, еще въ школѣ извѣстный товарищамъ и профессорамъ почти исключительно подъ именемъ Яновскаго, сталъ заботиться объ устраненіи этой прибавки, шутливо говоря, что ее «поляки выдумали». Уже сынъ Яна Гоголя былъ православный; онъ воспитывался въ кіевской духовной академіи и даже поступилъ въ священники; внукъ же его, дѣдъ нашего писателя, по всѣмъ сохранившимся воспоминаніямъ, является самымъ истымъ, кореннымъ малороссомъ. Для насъ это краткое знакомство съ предками Гоголя имѣетъ, главнымъ образомъ, то значеніе, что

по всѣмъ свѣдѣніямъ они рисуются людьми способными или, по меньшей мѣрѣ, далеко не дюжинными. Большими дарованіями отличался также и отецъ Гоголя, Василій Аѳанасьевичъ, чловѣкъ добрый и сердечный въ высшей степени, съ живымъ любознательнымъ умомъ, съ литературными способностями и особенно съ яркимъ дарованіемъ рассказчика. Природа щедро одарила его, какъ бы предназначивъ для широкаго поприща и серьезной умственной дѣятельности, но судьба и обстоятельства жизни не допустили его замѣтно выдѣлиться изъ толпы обыкновенныхъ малороссійскихъ помѣщиковъ. Старинная рутина помѣщичьяго благодушія и скудный выборъ дорогъ при опредѣленіи карьеры побуждали въ тѣ времена большинство молодыхъ людей, не задумываясь о призваніи, идти по слѣдамъ окружающихъ; обыкновенно они посвящали себя сельскому хозяйству и спокойно оставались на всю жизнь въ имѣніяхъ. Не воспитавъ и не обработавъ свой талантъ, случайно обнаружившійся впоследствии въ двухъ шутливыхъ комедіяхъ, Василій Аѳанасьевичъ не сдѣлалъ также и хорошимъ помѣщикомъ, къ чему, впрочемъ, не имѣлъ никакого призванія, но его эстетическая натура проявляла себя на каждомъ шагѣ—въ любви къ саду и полямъ, въ упоеніи мелодичнымъ пѣніемъ соловьевъ, но особенно въ тонкомъ вкусѣ, обнаруживавшемся при каждомъ удобномъ случаѣ, въ выборѣ и покупкѣ вещей для дома и въ планахъ, составляемыхъ относительно дома или усадьбы. Безпечный малороссъ, любимый собесѣдами и знакомыми помѣщикъ, Василій Аѳанасьевичъ совершенно удовлетворялся скромнымъ семейнымъ счастьемъ и нисколько не помышлялъ о заманчивой литературной славѣ. Случайное обстоятельство—переездъ на жительство въ свое имѣніе (Кибинцы) извѣстнаго малороссійскаго магната Трошинскаго, родственника Василя Аѳанасьевича по женѣ—до извѣстной степени открыло достойное поприще для литературныхъ дарованій послѣдняго, какъ поздно оно несомнѣнно отразилось и на образованіи художественныхъ вкусовъ его гениальнаго сына.

19-го марта 1809 года у В. А. Гоголя родился старшій изъ оставшихся въ живыхъ ребенокъ, будущій знаменитый писатель, котораго въ дѣтствѣ звали въ семьѣ Никошей, т. е. Николаемъ. Съ первыхъ же дней онъ становится кумиромъ своей матери, Марьи Ивановны, женщины золотого сердца и добροжелательной ко всѣмъ въ высшей степени. Вліяніе ея на будущаго знаменитаго писателя сказалось особенно въ раннемъ и сильномъ возбужденіи въ мальчикѣ религіознаго чувства. Женщина глубоко

широкую ногу, всего было въ изобиліи и вездѣ блистали изящество и красота. Гостей въ Кишинцахъ круглый годъ бывало такъ много, что исчезновеніе однихъ и появленіе другихъ было почти незамѣтно въ этомъ вѣчно волнуемомъ морѣ. Большинство изъ нихъ пользовались особыми помѣщеніями и всевозможнымъ комфортомъ: каждому присылался въ его комнату чай, кофе или десертъ, и лишь къ обѣду всѣ должны были въ строго опредѣленный часъ собираться по звонку. Передъ обѣдомъ гости, располагаясь въ разныхъ концахъ столовой, обыкновенно напряженно ожидали хозяина. Наконецъ, появлялся Дмитрій Прокофьевичъ, всегда въ полномъ парадѣ, во всѣхъ орденахъ и лентахъ, задумчивый, суровый, съ выраженіемъ скуки или утомленія на умномъ старческомъ лицѣ. Увоенная во время придворной жизни величавость, первенствующая роль хозяина и оказываемые наперерывъ со всѣхъ сторонъ знаки подлострастія давали ему видъ козырного короля среди этой массы людей. Хлѣбосолюство его простиралось до того, что былъ даже преоригинальный случай съ однимъ заѣзжимъ офицеромъ, который случайно попалъ въ Кишинцы передъ именинами Трошинскаго и въ видѣ сюрприза устроилъ фейерверкъ. За услугу его обласкали и ему такъ понравилось у Трошинскихъ, что онъ такъ и остался у нихъ проживать года на три. Нечего, слѣдовательно, и говорить, что родители Гоголя всегда были здѣсь приняты хорошо и, пріѣзжая въ эти, по мѣткому выраженію покойнаго Кулиша, «Аѳины временъ Гоголева отца», чувствовали себя всегда какъ бы перенесенными изъ привычной заурядной обстановки въ волшебные чертоги какого-то сказочнаго владетелина.

Десяти лѣтъ Гоголь былъ привезенъ въ Полтаву для приготовленія въ мѣстную гимназію, куда онъ и поступаетъ на короткое время, но затѣмъ его вскорѣ отдаютъ во вновь открывшуюся гимназію высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ, гдѣ онъ и былъ ученикомъ въ промежутокъ отъ мая 1821 года до іюня 1828 года. Въ школѣ болѣзненный мальчикъ, съ склонностью къ мелкимъ шалостямъ и насмѣшливому задиранію товарищей, мало подвигавшійся въ наукахъ благодаря лѣни, долго не производитъ выгоднаго впечатлѣнія ни на сверстниковъ, которые надъ нимъ подтруниваютъ, ни на старшихъ, считающихъ его шутомъ, неряхой и лѣнтяемъ. Обстановку, среди которой онъ росъ, нельзя, однако, считать неблагопріятною. Въ то время жизнь въ гимназическомъ пансіонѣ была привольная: дѣти пользовались хоро-

шимъ помѣщеніемъ, большой свободой и могли даже устраивать сообща удовольствія, изъ которыхъ на первомъ планѣ долженъ быть поставленъ гимназическій театръ. Весною и осенью къ ихъ услугамъ былъ обширный лицейскій садъ, въ которомъ они рѣзались и проводили большую часть вѣкъласснаго времени. При тогдашнихъ ограниченныхъ требованіяхъ отъ учащихся, на долю послѣднихъ выпадало не мало досужихъ часовъ, да и самыя приготовленія къ занятіямъ происходили у нихъ нерѣдко въ обширномъ лицейскомъ саду, подъ обаятельными небомъ Украйны. Иные изъ воспитанниковъ умудрялись даже, забравъ съ собою необходимый письменный матеріалъ, въ видѣ карандашей и бумаги, обдумывать и даже набрасывать свои ученическія сочиненія, сидя гдѣ-нибудь въ саду на деревѣ. Безпечность и шутки устанавливали между школьниками живое общеніе и теплыя товарищескія отношенія, сохранившія для иныхъ значеніе на всю жизнь. Не много, правда, выносили они изъ стѣнъ учебнаго заведенія, но юность ихъ катилась привольно и весело, и у нихъ всегда оставалось довольно свободнаго времени для чтенія, для собственныхъ любимыхъ занятій и для впечатлѣній жизни. Отсюда вытекаютъ всѣ свѣтлыя и темныя стороны тогдашняго лицейскаго быта. Въ многолюдной толпѣ почти предоставленныхъ себѣ мальчиковъ, не всегда получившихъ предварительно хорошее домашнее воспитаніе, было, разумѣется, несравненно больше такихъ, которые, пользуясь предоставленнымъ имъ привольемъ, упивались преимущественно прелестями малороссійскаго климата и наслажденіями на лонѣ природы, и изъ такихъ выходили часто довольно заурядные люди. Не мучась честолюбивыми заботами и стремленіями, по примѣру отцовъ и дѣдовъ, они избирали себѣ невидное мирное поприще, терялись въ глуши и исчезали по окончаніи курса (или еще даже до окончанія) изъ виду своихъ болѣе энергичныхъ товарищей, направлявшихся обыкновенно въ Петербургъ. Но, съ другой стороны, не мало было въ ихъ средѣ и такихъ, которымъ, къ чести ихъ, снисходительный надзоръ начальства не помѣшалъ сдѣлаться современемъ серьезными и дѣльными людьми, а нѣкоторымъ даже получить впоследствии весьма почетную извѣстность \*).

Являвшаяся у болѣе даровитыхъ и развитыхъ юношей страсть къ литературѣ и чтенію естественно должна была провести рѣзкую

\*) Достаточно вспомнить, что вмѣстѣ съ Гоголемъ обучались другой будущій извѣстный писатель Н. В. Кукольникъ и будущій даровитый и блестящій профессор М. Г. Рѣдкинъ.

грань между молодыми людьми съ склонностью къ умственному труду и будущими корнетами и титулярными совѣтниками.

Президная даровитость Гоголя, обнаруживавшаяся сначала въ расточаемыхъ имъ направо и налѣво мѣткихъ прозвищахъ и искусномъ копированіи вѣтшности и манеръ окружающихъ, долго не обращала на себя ничего серьезнаго вниманія; но придумываемыя имъ клички всегда подхватывались на лету, а его забавныя продѣлки возбуждали часто задумѣвный смѣхъ, хотя никому еще не приходило на мысль, что мальчикъ общается въ будущемъ нѣчто далеко незаурядное. За рано проявившуюся въ немъ скрытность школьные товарищи дали ему прозваніе «таинственнаго карлы». Между тѣмъ, въ немъ мало-по-малу начала проявляться страсть къ рисованію, а отчасти къ чтенію, но особенно къ театру: Гоголь много хлопочетъ объ устройствѣ сценическихъ представленій въ стѣнахъ нѣжинскаго лицея и самъ, въ качествѣ актера, мастерски исполняетъ роли стариковъ и старухъ, напримѣръ Простаковой въ «Недоросль» или няинь Василицы въ «Урокъ дочкамъ» Крылова. Онъ успѣваетъ заразить своей страстью товарищей; затѣваетъ изданіе школьнаго журнала, а потомъ начинаетъ понемногу предаваться раннимъ мечтамъ о будущности, представлявшей ему въ то золотое время въ самыхъ радужныхъ краскахъ.

Такъ складывалась жизнь Гоголя въ первые годы его жизни въ Нѣжинѣ. Но вотъ приходитъ неожиданное извѣстіе о смерти его отца, застигающее его въ шестнадцатилѣтнемъ возрастѣ; оно производитъ сильнѣйшій переломъ въ его развитіи, превращая его изъ мальчика въ юношу. Гоголь серьезно задумывается объ ожидающей его собственной судьбѣ и судьбѣ своей семьи, которой вначалѣ, сгорая, онъ рѣшаетъ даже посвятить всю жизнь, мечтая замѣнить отца для подрастающихъ сестеръ. Учебныя занятія его все еще продолжаютъ туго подвигаться, но въ немъ уже пробуждается замѣтный интересъ къ исторіи и усиливаются литературныя наклонности, хотя собственно классное преподаваніе литературы не возбуждаетъ въ немъ интереса, и онъ подсмѣивается надъ профессоромъ Никольскимъ, остановившимся на Державинѣ \*) и отъ души презиравшимъ уже тогда высоко цѣнимаго его даровитымъ питомцемъ Пушкина. Наконецъ въ юномъ Гоголѣ пробуждается горячая, юношеская потребность дружбы:

\*) По свидѣтельству школьнаго товарища и друга Гоголя, А. С. Данилевскаго, для Никольскаго даже Державинъ былъ «новымъ человекомъ».

кроме своей давней, с раннего детства, привязанности к товарищу и соседу по имению, А. С. Данилевскому, которого Гоголь называл обыкновенно своим «ближайшим», Гоголь сходится особенно с Высоцким, уже студентом того же нѣжинскаго лица \*), находившимся въ старшемъ классѣ, и съ братьями Прокоповичами, особенно съ старшимъ изъ нихъ, Николаемъ.

Быстро приближаются и наступаютъ послѣдніе годы ученія; окончившій курсъ Высокій уѣзжаетъ въ Петербургъ; юный Гоголь, вмѣстѣ съ нимъ пламенно мечтавшій о сильно идеализируемой имъ сѣверной столицѣ, неудержимо стремится теперь на берега Невы, представляя себѣ въ мечтахъ райскую, исполненную высокихъ цѣлей жизнь въ Петербургѣ, и уже начинаетъ съ нѣкоторымъ раздраженіемъ относиться къ окружающимъ, давая необузданный просторъ природному юмору и беспощадной наблюдательности, благодаря которымъ отъ проницательнаго взора задорнаго подростка не ускользали смѣшныя и пошлыя стороны старшихъ. Свои горячія мечты и стремленія Гоголь изливаетъ въ идилліи «Ганца Кюхельгаргена». Приближается время окончательнаго экзамена; Гоголь чувствуетъ необходимость усиленнымъ трудомъ вознаградить пропущенное, и энергично принимается за учебники, безцеремонно осыпая порицаньями въ письмахъ къ матери то учебное заведеніе, которое довело его до конца курса почти безъ всякихъ познаній. Наконецъ экзаменъ выдержанъ, и Гоголь возвращается на короткое время на родину, а потомъ, вмѣстѣ съ постояннымъ своимъ спутникомъ и другомъ юности, своимъ «ближайшимъ» А. С. Данилевскимъ, уѣзжаетъ въ Петербургъ. Но раньше, чѣмъ послѣдовать за нимъ туда, бросимъ бѣглый взглядъ на обстановку, окружавшую его во время его почти ежегодныхъ пріѣздовъ въ родную деревню на вакаціи.

Въ домахъ помѣщиковъ, даже и незажиточныхъ, въ тѣ времена всего было вдоволь: «домъ Гоголей» — по словамъ лица, близко знавшаго домашній бытъ этой семьи, — «былъ всегда — полная чаша; домъ небольшой, но помѣстительный, обширный и живописный садъ и прудъ, многочисленная прислуга, сытный обѣдъ, конечно деревенскій, приличные экипажи и лошади». Къ этому перечню предметовъ, дающихъ намъ яркое представленіе о скромномъ счастьѣ помѣщиковъ съ ограниченными средствами родителей Гоголя, слѣдуетъ прибавить еще, для дополненія картины, красивое мѣстоположеніе и такую очаровательную роскошь,

\*) Воспитанники старшихъ классовъ этого заведенія носили названіе студентовъ.



какъ немолкаемое пѣнье соловьевъ въ саду по вечерамъ. При тогдашнихъ медленныхъ и неудовлетворительныхъ путяхъ сообщенія, нѣкоторой замкнутости вслѣдствіе этого тогдашняго помѣщичьяго круга, который составлялъ особый мірокъ въ губерніи, при господствовавшемъ въ тѣ годы радушіи и гостепріимствѣ, взаимныя посѣщенія знакомыхъ помѣщиковъ носили характеръ самый задушевный и родственныи, минуты и часы свиданія были отрадіе, а прощаніе, передъ болѣе или менѣе продолжительной разлукой, не было такъ натянуто и формально, какъ часто видимъ теперь. Когда гости посѣщали Марью Ивановну, она бывала имъ отъ души рада и не знала, какъ ихъ принять и гдѣ посадить, относясь къ нимъ, какъ къ самымъ дорогимъ и близкимъ роднымъ. Личныя воспоминанія людей, близко знавшихъ Марью Ивановну, рисуютъ ее женщиной чрезвычайно доброй, всей душой преданной тѣсному кругу родныхъ и знакомыхъ, съ характеромъ открытымъ и ласковымъ. Это типъ скромной помѣщицы старыхъ временъ, интересы которой сосредоточивались на семейныхъ и хозяйственныхъ хлопотахъ съ одной стороны и на заботахъ о дѣлахъ благочестія съ другой. Свиданія съ родными, требовавшія частыхъ поѣздокъ въ сосѣднія деревни, приемъ гостей у себя въ Васильевкѣ, встрѣчи и проводы старшихъ дѣтей, пріѣзжавшихъ домой на каникулы, уходъ за младшими и заботы о нихъ, распоряженія по дому и хозяйству— все это совершенно наполняло время Марьи Ивановны и вмѣстѣ съ тѣмъ давало окраску ея интимной жизни. Особенно въ ожиданіи пріѣздовъ Тропинскаго, котораго даже за глаза привыкли величать «его превосходительствомъ» и «благодѣтелемъ», въ домѣ поднимались суетливыя хлопоты, далеко не ограничивавшіяся обычной въ подобныхъ случаяхъ уборкой комнатъ. При многочисленности свиты, съ которой имѣлъ обыкновеніе развѣзжать Тропинскій, заботы о размѣщеніи ея перѣдко заставляли Марью Ивановну на время переселяться къ сосѣдямъ, а сына посылать за покупками въ Полтаву, Кременчугъ и дальше. Смерть мужа сильно отразилась на характерѣ Марьи Ивановны, сдѣлавъ его апатичнымъ и мечтательнымъ... Въ ней все больше стала обнаруживаться склонность къ мечтательности, и она готова была проводить цѣлыя дни, давая полную волю своимъ мыслямъ.

Гоголь юношей любилъ навѣщать свой родной уголокъ. Вся дорога изъ Нѣжина въ Васильевку была для него сплошнымъ праздникомъ. Съ замирающимъ отъ нетерпѣнныя сердца подвѣжалъ онъ тогда къ какой-нибудь незнакомой усадьбѣ, жадно

всматривался во все, представлявшееся его свѣжому, чуткому зору и нерѣдко съ нетерпѣливымъ любопытствомъ ждалъ момента, когда, напримѣръ, раздвинутся, наконецъ, зеленныя стѣны вѣтрѣченныхъ на пути садовъ и сразу предстанетъ передъ нимъ помѣщичій домъ. По воспоминаніямъ его покойной сестры Анны Васильевны, онъ никогда не могъ безъ сильнаго волненія подъѣзжать къ своей деревнѣ и обыкновенно еще за версту выскакивалъ изъ экипажа и пускался бѣжать къ дому. Но счастливые дни подъ родной кровлей проносились, и въ 1828 г., они быстро промелькнули, какъ и въ прежніе раза, и въ декабрѣ этого года Данилевскій, явившись руководителемъ Гоголя въ отношеніи путевыхъ издержекъ, трудностей и хлопотъ, заѣхалъ изъ своей деревни Толстаго въ Васильевку; для дальней дороги былъ приготовленъ помѣстительный экипажъ, и, послѣ продолжительныхъ проводовъ и напутствій со стороны Марьи Ивановны, кибитка двинулась.

Путь лежалъ на Москву, но Гоголь ни за что не хотѣлъ прѣѣзжать черезъ нее, боясь испортить впечатлѣніе торжественнаго момента вѣзда въ Петербургъ. Поэтому они поѣхали по бѣлорусской дорогѣ, на Нѣжинъ, Черниговъ, Могилевъ, Витебскъ и т. д. Въ Нѣжинѣ наши путники прожили нѣсколько дней, гдѣ повидались съ нѣкоторыми товарищами, между прочимъ съ окончившимъ курсъ Прокоповичемъ. Во время пути не произошло ничего особеннаго, но по мѣрѣ приближенія къ Петербургу, нетерпѣніе и любопытство обоихъ юношей возросло до послѣдней степени, а когда, наконецъ, показались издали возвѣшавшіе о приближеніи къ столицѣ безчисленные огни, нетерпѣливыми молодыми людьми овладѣлъ невыразимый восторгъ: они позабыли про морозъ и, какъ дѣти, то-и-дѣло высовывались изъ экипажа и приподнимались на цыпочки, чтобы поближе рассмотреть еще невиданную столицу.

По прѣѣздѣ въ Петербургъ, однако, дѣйствительность сразу рядомъ тяжкихъ ударовъ умѣряетъ горячій пылъ юношескихъ мечтаній: вмѣсто квартиры съ окнами на Неву, какъ мечталъ Гоголь, приходится довольствоваться скромнымъ помѣщеніемъ въ верхнемъ этажѣ густонаселеннаго дома въ одной изъ очень прозаическихъ улицъ; дороговизна ошеломляющая; рекомендательныя письма (между прочимъ отъ только-что скончавшагося Трошинскаго), которыми позаботилась снабдить его любящая мать, открываютъ ему, правда, доступъ въ дома нѣкоторыхъ, имѣвшихъ извѣстный вѣсъ, лицъ, но затѣмъ остаются рѣшительно безъ

всякаго существеннаго результата. Приходится узнать нужду и даже «отхватать» цѣлую зиму въ лѣтней шинели, отказывать себѣ въ любимыхъ удовольствіяхъ и не бывать въ горячо любимомъ театрѣ... Чувствуя себя глубоко неудовлетвореннымъ, Гоголь, въ тревожномъ состояніи духа, съ какой-то лихорадочной поспѣшностью, бросается отъ одной попытки найти себя поприще къ другой, но сначала терпитъ однѣ неудачи. Вспомнивъ о своихъ успѣхахъ на сценѣ гимназическаго театра, онъ пробуетъ даже поступить въ актеры, но его чтеніе, выразительное и мастерское, безусловно естественное и чуждое всякой ложной аффектаціи \*), произвело неблагоприятное впечатлѣніе на тогдашнихъ театральныхъ артистовъ; Гоголь замѣтилъ это самъ, и послѣ испытанія не явился за отвѣтомъ. Вскорѣ онъ задумалъ напечатать свою идиллію «Ганцъ Кюхельгартенъ»; критика приняла ее холодно, и оскорбленный авторъ поспѣшилъ предать огню свое первое литературное дѣтище. Между тѣмъ, замѣтивъ въ петербуржцахъ нѣкоторый интересъ ко всему малороссійскому, нашъ предприимчивый юноша намѣревается поставить на сцену комедіи отца и начинаетъ собирать, черезъ посредство матери, домашнихъ и знакомыхъ, матеріалы для задуманныхъ имъ малороссійскихъ повѣстей, которыя и были дѣйствительно написаны и получили скорѣ широкую извѣстность подъ именемъ «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки». Въ это время взглядъ Гоголя на свое положеніе выразился въ слѣдующихъ строкахъ одного письма его къ матери: «Если въ одномъ неудача, можно прибѣгнуть къ другому, въ другомъ — къ третьему и такъ далѣе. Самая малость иногда служитъ большою помощію». При такомъ настроеніи внезапно созрѣлъ въ его головѣ планъ ѣхать за границу, уже давно смутно представлявшійся ему въ отдаленной перспективѣ, еще во время его мечтаній о будущемъ въ Нѣжинѣ, за нѣсколько лѣтъ до окончанія курса въ дружескихъ бесѣдахъ съ Высоцкимъ. Гоголю таяло куда-то въ фантастическую страну счастья и разумнаго, производительнаго труда. Его манило впередъ что-то призрачное, необыкновенное; страстный юношескій пылъ требовалъ идеаловъ, и вдали мелькала надежда осуществить ихъ на чужбинѣ. Бѣдный юноша не догадывался или знать не хотѣлъ, что обыденная жизнь вездѣ одинакова, и что нигуда нельзя уйти отъ холодной житейской прозы. Въ груди его существовалъ запросъ на что-то призрачно-грандіозное, на что дѣй-

\*) Замѣтимъ, что мастерское чтеніе Гоголя сильно восхищало Бѣлинскаго и многихъ друзей и знакомыхъ нашего писателя.

ствительность не могла дать отвѣта, и она оказалась слишкомъ суровой въ сравненіи съ тѣмъ, что Гоголю рисовала пылкая юношеская мечта. Въ «Авторской исповѣди» онъ признавался въ послѣдствіи, что «едва только очутился на морѣ, на чужомъ кораблѣ, среди чужихъ людей», какъ все обаяніе радужной мечты о счастливой заграничной жизни разлетѣлось въ прахъ. Не успѣвъ даже осмотрѣться, едва взглянувъ на Любекъ, Травенюнде, Гамбургъ, Гоголь,—по словамъ А. С. Данилевскаго, пустившійся въ путь съ тѣмъ, чтобы поселиться въ Америкѣ, —спѣшить вернуться въ Петербургъ и по возвращеніи получаетъ мѣсто въ департаментѣ удѣловъ, такъ что блестящіе поэтические планы завершились самымъ мизернымъ финаломъ. Но именно такого-то исхода и боялся онъ хуже огня, никакъ не допуская мысли, чтобы «природа отвела ему черную квартиру неизвестности въ мірѣ», какъ онъ когда-то писалъ своему дядѣ, П. П. Косяровскому.

Вернувшись въ Петербургъ, Гоголь возвратился и къ прерваннымъ литературнымъ трудамъ. Уже изъ первыхъ писемъ его къ матери, съ просьбой о присылкѣ матеріаловъ, ясно, что вскорѣ мысль о малороссійскихъ повѣстяхъ достаточно созрѣла въ головѣ поэта и успѣлъ даже отчасти обозначиться планъ. Замѣчательно, напримѣръ, что Гоголь хлопотетъ преимущественно о тѣхъ свѣдѣніяхъ, которыя ему тотчасъ же пригодились для «Вечера на канунѣ Ивана Купала». Всѣ просьбы его были исполнены съ большою готовностью: для обожаемаго сына Марья Ивановна подняла на ноги весь домъ и старалась привлечь къ дѣлу и постороннихъ. Хлопоты эти оправдались успѣхами: въ «Вечерахъ» съ любимый сынъ является въ первый разъ крупнымъ художникомъ, что всего ярче замѣчается въ роскошныхъ картинахъ украинской природы и въ представленныхъ имъ образахъ молодыхъ украинскихъ дѣвушекъ. Если значительное большинство типовъ, очерченныхъ въ «Вечерахъ», представляются несомнѣнно въ комическомъ свѣтѣ, то съ другой стороны юный поэтъ не щадилъ красокъ для идеальнаго изображенія Ганны, Параски, Пидорки. Съ любовью рисуетъ онъ ихъ обаятельно-граціозную, отчасти лукавую женственность и озаряетъ ихъ бенгальскимъ огнемъ восторженнаго лиризма. Желая украсить любимые типы и окружить ихъ блестящимъ ореоломъ, Гоголь избѣгаетъ отчетливыхъ, грубо реальныхъ штриховъ, пользуясь эффектами и увлекая читателей захватывающей роскошью и изяществомъ неожиданныхъ сравненій. Юные парубки занимаютъ Гоголя проявленіемъ

въ ихъ могучихъ натурахъ казакскихъ чертъ, своимъ беззабѣтнымъ разгуломъ, удалью и безстрашіемъ. Но страстное, глубоко поэтическое по своей изыщной, нѣжной задушевности выраженіе любви молодыхъ людей Украйны, оставаясь вѣрнымъ національному колориту, было, однако, не столько изображаемо Гоголемъ съ натуры, сколько являлось подъ влияніемъ потрясавшихъ его душу звучныхъ аккордовъ малороссійскихъ народныхъ мелодій. Кромѣ того, Гоголь рисуетъ другіе малороссійскіе народныя типы, казаковъ и казачекъ, сварливой бабы, робкаго и вѣсть съ тѣхъ безпечнаго мужа, также типъ дятка, цыгана и проч. Здѣсь нашелъ себѣ просторъ его природный юморъ, тогда какъ лиризмъ, кромѣ идеальнаго изображенія женщинъ, проявился особенно въ изображеніи вѣчныхъ красоть природы. Уже въ первой части «Вечеровъ» талантъ Гоголя, какъ живописателя природы, проявился съ особеннымъ блескомъ въ изображеніи «задумавшагося вечера» и обаятельной вешней украинской ночи въ «Утопленницѣ» и зимней ночи въ повѣсти «Ночь передъ Рождествомъ». Въ обѣихъ повѣстяхъ такой волшебной кистью нарисована картина чуднаго сіянья звѣздной ночи, спокойно и съ невыразимой нѣгой разлитой повсюду, насколько простирается поле зрѣнія, такъ искусно уловлено и представлено производимое въ такія поэтическія минуты дѣйствіе природы на человѣка, что невыразимая прелесть одинъ разъ нѣжной, благоухающей, весенней, а въ другой—морозной рождественской ночи живо чувствуется при чтеніи въ продолженіе всего разсказа.

Кромѣ работы надъ «Вечерами на хуторѣ» Гоголь сталъ помѣщать въ журналахъ свои первые литературные опыты и завязалъ первыя литературныя отношенія. Такимъ образомъ онъ нашелъ, наконецъ, отчасти осуществленіе своихъ стремленій—совершенно, однако, не тамъ, гдѣ ихъ искалъ. Его блестящее дарованіе оцѣнили Дельвигъ, Жуковскій, Плетневъ, особенно послѣдній; онъ отнесся къ судьбѣ Гоголя съ истинно отеческой заботливостью: доставилъ ему мѣсто учителя исторіи въ Патриотическомъ институтѣ, гдѣ самъ былъ инспекторомъ, рекомендовалъ его на уроки въ знатные дома, напримѣръ: Балабиныхъ и Васильчиковыхъ; онъ же скорѣй познакомилъ и сблизилъ его съ Пушкинымъ. Послѣ долгихъ неудачъ Гоголь вдругъ испыталъ какое-то фантастическое, волшебное счастье: онъ сразу почувствовалъ себя перенесеннымъ въ высшія сферы литературнаго міра и въ то же время завязалъ другія обширныя отношенія, въ числѣ которыхъ, между прочимъ, слѣдуетъ упомянуть особенно

о знакомствѣ его съ блестящей фрейлиной А. О. Россетъ (впоследствии Смирновой). Съ послѣдней его сблизила отчасти уже съ самаго начала горячая любовь обоихъ къ Украинѣ. Это обстоятельство имѣло здѣсь тѣмъ болѣе значенія, что отношенія Гоголя къ родинѣ, послѣ перенесенныхъ имъ тревоженій, существенно измѣнились: какъ прежде онъ нетерпѣливо стремился вырваться изъ Малороссіи и поскорѣе попасть въ горячо идеализируемую столицу, такъ теперь, продолжая сознавать значеніе Петербурга для будущности даровитаго человѣка, онъ всей душой стремится обратно въ дорогую Украинѣ. Въ 1831 г. онъ издалъ «Вечера» подъ присовѣтованнымъ ему Плетневымъ псевдонимомъ Рудого Панька и провелъ лѣто въ Царскомъ Селѣ въ пріятномъ обществѣ Пушкина и Жуковского (теперь онъ вообще уже возвращается въ кружкѣ Пушкина) и только уже въ 1832 г. въ первый разъ воспользовался вакаціоннымъ отдыхомъ для поѣздки на родину. Въ это время въ его головѣ созрѣвалъ уже новый планъ — создать комедію, содержаніе которой было бы взято изъ дѣйствительной, обыкновенной жизни. На эту мысль навела его, безъ сомнѣнія, замѣчательная природная наблюдательность, позволявшая ему улавливать въ окружающей жизни черты, легко ускользающія отъ непроницательнаго взгляда, но на самомъ дѣлѣ въ высокой степени характерныя. Среди тогдашнихъ репертуарныхъ пьесъ преобладали ходульныя драмы и трагедіи, отчасти еще въ ложно-классическомъ вкусѣ, а немногія непритязательныя и сколько-нибудь приближающіяся къ ежедневной жизни комедіи, въ родѣ «Богатонова въ столицѣ» Загоскина, никакого серьезнаго значенія не имѣли, служа лишь нѣкоторому разнообразію репертуара. Такимъ образомъ нельзя не признать, что драматическіе замыслы Гоголя явились настоящимъ откровеніемъ для нашей сцены, и если еще есть хоть малѣйшая возможность оспаривать въ пользу Пушкина справедливо установившееся убѣжденіе, что именно Гоголь долженъ считаться отцомъ текущаго литературнаго періода, то это уже совершенно немислимо въ примѣненіи къ области драматическаго искусства — такъ какъ даже высоко художественныя созданія Пушкина, какъ напримѣръ «Скупой рыцарь», «Моцартъ и Сальери», «Каменный гость» и «Русалка» никоимъ образомъ не могутъ объяснять собою развитіе послѣдующей драматической литературы.

Взглядъ Гоголя на значеніе драмы, вполне самостоятельно имъ выработанный, оказался настолько оригинальнымъ и глубокимъ, что когда, проѣздомъ на родину, онъ остановился недѣли

на двѣ въ Москвѣ, гдѣ завязать цѣлый рядъ литературныхъ знакомствъ (мимоходомъ сказать, весьма обдуманно составленныхъ и неизмѣнно имѣвшихъ отношеніе или къ его драматическимъ замысламъ, или къ предполагаемымъ будущимъ занятіямъ исторіей, наукой, которую онъ преподавалъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ), — то онъ могъ съ полнымъ правомъ относиться въ душѣ свысока къ такимъ признаннымъ авторитетамъ въ области всего, касающагося театра, какъ тогдашній директоръ театровъ въ Москвѣ Загоскинъ. Даже С. Т. Аксаковъ, человѣкъ большого вкуса и прекрасный знатокъ сцены, былъ совершенно пораженъ вѣрностью нѣсколькихъ неожиданно высказанныхъ ему Гоголемъ замѣчаній о драмѣ, глубокую справедливость которыхъ онъ тутъ же почувствовалъ, хотя прежде и не подозревалъ ничего подобнаго. И въ самомъ дѣлѣ, какъ писатель драматическій, кромѣ обычныхъ его свойствъ, тонкой наблюдательности и умѣнья въ высокой степени правдиво, просто и ярко воспроизводить окружающую жизнь, Гоголь отличается еще тѣмъ, что у него положеніе комическихъ лицъ обыкновенно создается не вѣшными условіями, какъ-то: алчностью, невѣжествомъ, хвастовствомъ, и въ комическое положеніе не *фатально* попадаютъ дѣйствующія лица, становясь жертвой судьбы или обмана со стороны другихъ людей, но напротивъ, сами они ставятъ себя въ него безпрестанно какими-нибудь нелѣпыми поступками и соображеніями. Какъ бы наблюдая ихъ съ особенно выгодной позиціи, авторъ сразу показываетъ ихъ намъ со всѣхъ сторонъ, и комизмъ безпрерывно поддерживается и возвышается во все продолженіе дѣйствія явной неспособностью дѣйствующихъ лицъ взглянуть на свое положеніе просто и разумно, тогда какъ, благодаря искусству и тонкой пропитательности автора, это становится легко для самаго зауряднаго читателя или посѣтителя театра. Верхъ совершенства въ этомъ отношеніи, какъ извѣстно, представляетъ превосходная сцена между Хлестаковымъ и городничимъ и съ не менѣе поразительной ясностью выступаетъ это искусство въ «Театральномъ Развѣздѣ», гдѣ пустые толки пошлыхъ людей, озаренные могучей силой истиннаго комизма, получаютъ общечеловѣческое значеніе, такъ какъ авторъ сумѣлъ схватить вообще типическія черты взглядовъ и сужденій, высказываемыхъ толпой подъ свѣжими впечатлѣніями спектакля.

Въ Москвѣ Гоголь, во время проѣзда черезъ нее, въ теченіе двухъ недѣль впервые познакомился и сошелся съ М. П. Погодинымъ и своими земляками Максимовичемъ и артистомъ Щеп-

кинымъ (съ первымъ онъ, впрочемъ, встрѣтился однажды еще въ 1829 г. въ Петербургѣ).

Возвращеніе на родину прибавило къ вынесенному нашимъ писателемъ, за послѣдніе два-три года его жизни, грустному жизненному опыту еще много неутѣшительнаго: Гоголь возвратился домой уже не тѣмъ счастливымъ, исполненнымъ свѣтлыхъ надеждъ юношей, какимъ выѣхалъ изъ деревни три года назадъ съ Данилевскимъ. Въ этотъ промежутокъ времени онъ утратилъ самое дорогое въ жизни—радужное царство молодыхъ мечтаній, которыми украшается юность, представляющая міръ въ своемъ пыломъ, свѣтломъ воображеніи усыпаннымъ цвѣтами триумфальнымъ путемъ. Теперь, когда розовая пелена спала, передъ нимъ въ ужасающей наготѣ предсталъ возмутительный омутъ житейской пошлости, и онъ глубоко почувствовалъ суровый трагизмъ жизни, всегда скрытый подъ ея будничной монотонностью. Все, что въ заманчивомъ видѣ рисовала мечта, что представлялось привлекательнымъ въ разлукѣ, оказалось еще болѣе убогимъ и печальнымъ, нежели передъ отъѣздомъ въ столицу, а въ ближайшемъ будущемъ его ожидалъ все тотъ же Петербургъ, но уже лишенный прежняго обаятельнаго ореола. Все это отразилось на перемѣнѣ господствующаго настроенія въ послѣдующихъ произведеніяхъ Гоголя: «Миргородъ» уже весьма замѣтно отличается въ этомъ отношеніи отъ дышавшихъ свѣтлой поэзіей ранней юности «Вечеровъ на хуторѣ». вмѣстѣ съ тѣмъ въ «Миргородѣ», а также впрочемъ уже въ «Страшной мести» въ «Вечерахъ на хуторѣ» замѣтно явное пробужденіе интереса и къ прошлому своей страны, интереса, позднѣе постоянно возрастающаго. Составивъ планъ собирать, при помощи родныхъ, матеріалы для задуманныхъ литературныхъ работъ, Гоголь, на ряду съ изученіемъ современнаго быта и собираніемъ костюмовъ сельскихъ дьячковъ и крестьянскихъ женщинъ, ставилъ уже вопросъ о подготовленіи свѣдѣній иного характера и о присылкѣ костюмовъ, касающихся временъ до-гетманскихъ, прося вмѣстѣ съ тѣмъ почаще сообщать страшныя сказанія, простонародныя повѣрія, анекдоты. Изъ повѣстей, вошедшихъ въ «Миргородъ», мы видимъ также, насколько Гоголь проникался духомъ народныхъ пѣсенъ и самымъ строемъ ихъ міросозерцанія. Собственно повѣствовательный элементъ здѣсь часто уступаетъ уже мѣсто не только описаніямъ природы, но и діалогу дѣйствующихъ лицъ, въ чемъ также замѣтна развивавшаяся въ то время въ Гоголѣ склонность къ работѣ творчества въ области драмы.



Между тѣмъ, подъ вліяніемъ впечатлѣній петербургской жизни, въ воображеніи нашего писателя накапливается постепенно обширный запасъ иныхъ картинъ и образовъ, также требовавшихъ для себя выраженія въ словѣ, и одновременно съ обращеніемъ Гоголя отъ чуднаго міра юношескихъ грезъ къ сухой и черстовой житейской прозѣ мы замѣчаемъ соотвѣтствующую пережѣву также въ сферѣ фантастическихъ образовъ, создаваемыхъ богатой творческой фантазіей его генія: если въ раннюю пору юности фантазія Гоголя была настроена свѣтло и радостно, что такъ ярко отразилось въ «Вечерахъ на хуторѣ», съ ихъ грезами, плѣнительными свѣжестью и нѣжнымъ благоуханіемъ этихъ раннихъ, роскошныхъ цвѣтовъ творчества, изреченныхъ безграничной вѣрой въ свѣтлую звѣзду счастья,—то теперь у Гоголя является сплывѣвшая потребность уноситься иногда отъ скучной дѣйствительности въ міръ волшебныхъ, фантастическихъ грезъ, причемъ грезы эти уже теряютъ свою кристалльную чистоту, омрачаемая цѣпкой тинной повседневныхъ мелочей. Постепенно самый вымыселъ получаетъ характеръ черезчуръ обыденный и сѣрый, нимаго не заслоняя собой поразительнаго реализма общаго содержанія тѣхъ повѣстей, въ которыя вноситъ его авторъ. Такова особенно повѣсть «Ночь». Наконецъ, вмѣстѣ съ появленіемъ указанныхъ новыхъ сторонъ, въ творчествѣ Гоголя необходимо отмѣтить также то грустное раздумье, которое самъ авторъ называлъ «смѣхомъ сквозь слезы». Въ «Шинели» мы видимъ, что поэта поражали въ жизни не только случаи безпощаднаго гоненія судьбы на жалкихъ и беззащитныхъ людей, но и тупая безсознательная жестокость пошлой безсердечной толпы. Чрезвычайно характерно здѣсь между прочимъ массовое, такъ сказать, гуртовое изображеніе чиновниковъ: мимоходомъ живо представленъ ихъ обыденный бытъ и привычки, жалкій уровень развитія, ихъ низменные развлеченія и интересы; чиновники всѣ сразу выступаютъ на сцену и одновременно сходятъ съ нея по требованію нити разсказа передъ пропажей новой шинели, въ день общаго торжества въ домѣ одного изъ начальниковъ.

Но всего замѣчательнѣе въ занимающую насъ пору творчества Гоголя такіе широкіе его замыслы, какъ мысль создать комедіи: «Владиміръ 3-й степени» и «Ревизоръ». Въ первой изъ этихъ пьесъ, вслѣдствіе цензурныхъ опасеній, распавшейся впоследствии «на кусочки»<sup>1)</sup>, авторъ намѣревался изобразить видное должностное лицо не въ томъ выгодномъ для него свѣтѣ, въ которомъ

<sup>1)</sup> «Утро дѣлового человѣка», «Отрывокъ», «Тяжба», «Лакейскан».

оно старалось выставить себя на показъ передъ начальствомъ и подчиненными, а съ его настоящей, закулисной, стороны, со всеми его недостатками и пошлостью. Работая надъ этой комедіей, Гоголь не безъ основанія опасался затрудненія со стороны цензуры: хотя уцѣлѣвшіе отъ нея отдѣльные отрывки представляются невинными, но въ цѣломъ комедія должна была явиться безпримѣрнымъ въ то время обличеніемъ недостатковъ среднихъ официальныхъ сферъ, подобно тому какъ скромныя служебныя сферы были изображены въ «Ревизорѣ». И вотъ, въ то время, какъ судьба злобно издѣвалась надъ настойчивыми попытками молодого человѣка завоевать себѣ почетное и достойное его положеніе, когда онъ отчаянно напрягалъ силы, чтобы орлинымъ взмахомъ крыльевъ вдругъ подняться на заманчивую высоту, на которой можно было бы спокойно предаваться вдохновенному творчеству и свободнымъ научнымъ трудамъ (по возвращеніи въ Петербургъ съ родины Гоголь нѣкоторое время безуспѣшно рисовалъ себѣ картину будущей счастливой жизни въ Кіевѣ, куда его манила мысль занять кафедру исторіи въ только-что открывшемся тогда университетѣ),—его геній въ тиши кабинета торжествовалъ надъ тинной житейскихъ мелочей и открывалъ передъ поэтомъ цѣлый міръ чудныхъ образовъ. Въ этой сферѣ онъ сознавалъ себя не пробивающимъ дорогу, хотя уже не беззащитнымъ, пролетаріемъ, а могучимъ чародемъ, властителемъ думъ. Изъ его скромнаго кабинета предстояло вырваться страстнымъ рѣчамъ обличенія, передъ которыми должны были содрогнуться всякаго рода «существователи», не исключая и тѣхъ, которымъ судьба приготовила лакомые куски на шумномъ праздникѣ жизни.

Между тѣмъ, исполненный сознаніемъ жившихъ въ немъ богатыхъ внутреннихъ силъ и проникшись распространенной тогда въ пушкинскомъ кружкѣ идеей о неизмѣримомъ превосходствѣ генія передъ толпой, Гоголь недостаточно задумывался о серьезной научной отвѣтственности полученной имъ профессуры: ему казалось, что однимъ только даромъ живого, картиннаго воспроизведенія минувшихъ событій, онъ легко затмить «толпу вялыхъ профессоровъ», такъ что даже, выхлопотавъ себѣ уже, благодаря содѣйствію Жуковского и Пушкина, кафедру средней исторіи въ петербургскомъ университетѣ въ качествѣ адъюнкта-профессора, онъ не спѣшить сосредоточиться на подготовленіи и обработкѣ предстоящихъ чтеній, но вмѣсто того уходитъ всей душой въ созданіе «Ревизора». Мало того, съ непостижимой самоувѣренностью

Гоголь мечтаетъ «отхватать» многотомныя исторіи Малороссіи и среднихъ вѣковъ. Правда, онъ еще изъ школы вынесъ не мало свѣдѣній по исторіи, но свѣдѣнія эти ему удалось тогда приобрѣсть помимо правильныхъ занятій и усидчиваго труда; они были схвачены имъ на лету, при чемъ богатое воображеніе тотчасъ обладало приобрѣтаемыя разрозненныя познанія въ живые, яркіе образы. Еще слушая рассказы лицейскихъ преподавателей, Гоголь уносился мысленно въ отдаленныя страны и времена, а его поэтическое воображеніе съ поразительной живостью рисовало ему яркими красками обстановку каждаго событія, облакая возстававшія передъ нимъ фигуры и живыхъ людей въ ихъ національный костюмъ и обставляя, насколько позволялъ уровень познаній отрока или юноши, всю картину характеристическими признаками вѣка, наконецъ улавливая мелкія живописныя черты окружающаго ландшафта и проч. Этой поистинѣ драгоценной способностью Гоголь и надѣялся пользоваться въ своихъ лекціяхъ. Но надо обратить вниманіе въ его историческихъ статьяхъ, передѣланныхъ изъ лекцій, на всю ослѣпительную роскошь неожиданныхъ и эффектныхъ сравненій, на обдуманность и изысканную мѣткость каждаго выраженія, наконецъ на тщательную обработку всей лекціи до послѣдней степени лоска и блеска, и особенно на изящный поэтический колоритъ, старательно придаваемый Гоголемъ всему чтенію, чтобы убѣдиться, что, расточая съ необычайной роскошью эффекты и украшенія рѣчи, профессоръ истощалъ здѣсь все свое умѣнье и талантъ. Такъ читать, — особенно при легкомъ научномъ багажѣ, незначительность котораго не подлежитъ спору вообще и особенно на основаніи собственныхъ признаній въ «Авторской исповѣди», — очевидно, Гоголь не могъ еженедѣльно, — да и вообще совмѣщеніе пышнаго краснорѣчія въ томъ именно духѣ, какъ видимъ у него, и постоянной содержательности, едва ли осуществимо, и, кромѣ того, выдержанная обработка цѣлаго курса дѣло вообще далеко не легкое, и оно-то было совершенно не подъ силу нашему писателю. Уже въ двухъ-трехъ напечатанныхъ, образцовыхъ лекціяхъ Гоголя встрѣчается частое повтореніе однихъ и тѣхъ же громкихъ эпитетовъ и такое неумѣренное злоупотребленіе эффектами, которое даже, предполагая равное достоинство остальныхъ чтеній, чего не было, да и быть не могло, очень скоро должно было показаться слушателямъ избитымъ и приторнымъ.

Результатъ получился такой, какого и слѣдовало ожидать: художественныя созданія появляются изъ-подъ пера Гоголя вполне

достойными его таланта и славы, но ученые замыслы неудержимо стремятся ко дну и университетскія чтенія (за исключеніемъ, какъ сказано, двухъ-трехъ дѣйствительно блестящихъ лекцій) оказываются слабыми и легковѣсными. Слушатели скоро теряютъ уваженіе и довѣріе къ профессору и заглядываютъ въ его аудиторію единственно для того, чтобы позабавиться его «маленько-сказочнымъ языкомъ». Какъ профессоръ, вынужденный наконецъ манкировать лекціями для спасенія остатковъ пошатнувшейся репутаціи, Гоголь скоро терпитъ полнѣйшее фіаско, а такъ какъ въ то же время были официально повышены требованія отъ представителей университетской науки, то ему ничего больше не остается, кромѣ отставки, незадолго передъ полученіемъ которой онъ потерялъ также уроки и въ Патріотическомъ институтѣ.

Послѣ всѣхъ этихъ неудачъ Гоголь окончательно, всей душой, ушелъ въ постановку на сцену «Ревизора». Наконецъ, 19-го апрѣля 1836 г. на Александринскомъ театрѣ въ первый разъ дана гениальная пьеса, до сихъ поръ составляющая одно изъ лучшихъ украшеній нашей сцены. На первое представленіе Гоголь смотрѣлъ не какъ авторъ заурядной театральной пьесы, высшее торжество котораго заключается въ радушномъ приѣмѣ и рукоплесканіяхъ публики, но съ затаеннымъ страхомъ и глубокой скорбью за судьбу своего любимаго созданія, въ которое онъ вложилъ свою душу, свои лучшія, благороднѣйшія стремленія. Стрѣлы комедіи превосходно попали въ цѣль; въ публикѣ возбуждено было сильнѣйшее негодованіе противъ автора и пьесы. У присутствовавшего на первомъ представленіи «Ревизора» императора Николая вырвались знаменательныя слова: «Ну, пьеса! всѣмъ досталось, а больше всѣхъ мнѣ». Горячо сочувствуя изображенію бичуемыхъ въ комедіи язвъ общества, императоръ, какъ извѣстно, своимъ личнымъ покровительствомъ открылъ доступъ пьесѣ на сцену.

Но роковой день 19-го апрѣля все унесъ съ собою и похоронилъ заветныя мечты и думы Гоголя, оставивъ въ душѣ его пустоту и горькій осадокъ разочарованія. Послѣ всѣхъ перенесенныхъ волненій отъ однихъ цензурныхъ придилокъ, какое страшное фіаско! Его, истиннаго консерватора по убѣжденіямъ, даже наивно принимавшаго самое названіе либерала за что-то позорное, стали провозглашать либераломъ и пригомъ самымъ отъявленнымъ, — его, въ близкомъ будущемъ завятаго религіознаго мистика, упрекали чуть не въ безбожій («сегодня онъ

скажетъ: такой-то совѣтникъ не хорошъ, а завтра скажетъ, что и Бога нѣтъ»), наконецъ о немъ, ополчившемся въ защиту поруганнаго права и законности, стали кричать, что будто бы онъ былъ напротивъ врагъ закона и отечества. («Теперь, значитъ, ужъ ничего не осталось. Законовъ не нужно, служить не нужно. Видмундиръ, вотъ, который на мнѣ,—его, значитъ, нужно бросить: онъ просто тряпка»).

Авторъ долженъ былъ бы радоваться такому явному успѣху, но онъ ошеломленъ и подавленъ и съ грустью воскликнулъ, придя изъ театра: «Господи Боже! Ну, если бы одинъ, два ругали, ну, и Богъ бы съ ними, а то всѣ, всѣ!» И долго потомъ Гоголь горько жаловался своимъ друзьямъ на то, что пьесу ругаютъ, хотя жадно посѣщаютъ каждое представленіе. Въ Петербургѣ и въ Москвѣ является множество всякихъ затрудненій при постановкѣ пьесы со стороны довольно обычныхъ въ театральномъ мірѣ интригъ и со стороны придирокъ и грубаго произвола театральнаго начальства. Все это понемногу переполнило чашу. Измученный и потрясенный всѣмъ пережитымъ за послѣдніе годы, Гоголь со своимъ другомъ и обычнымъ спутникомъ Данилевскимъ отправился за границу, чтобы развлечься и отдохнуть. Несмотря на всѣ перенесенныя невзгоды, Гоголь, однако, продолжаетъ бодро смотрѣть на предстоящій жизненный путь, и вотъ они, вдвоемъ съ Данилевскимъ, свободные, молодые и жадно стремящиеся окунуться въ заманчивый и еще незнакомый западно-европейскій міръ, сбрасываютъ съ себя грузъ обыденныхъ наскучившихъ впечатлѣній и спѣшатъ навстрѣчу привѣтливой будущности. Надъ ними еще летали тогда золотые сны молодости и занималась заря лучшей поэтической поры, полной радостей и свѣтлаго счастья.

Съ поѣздкой за границу открылась для Гоголя новая эпоха жизни: оторванный отъ всѣхъ интересовъ петербургскаго литературнаго, служебнаго и театральнаго міра, онъ съ страстнымъ увлеченіемъ поддается подхватившей его новой волнѣ, спѣшитъ завязать новыя отношенія, и разстояніе между его прошлымъ и настоящимъ съ каждымъ днемъ становится больше и значительнѣе. Проходятъ два-три мѣсяца—а онъ уже чувствуетъ себя весьма далекимъ отъ былыхъ заботъ и огорченій. Но за границей въ немъ громко заговорила любовь къ покинутой родинѣ, каждое напоминаніе о которой стало для него теперь беззавѣтно дорогимъ, хотя горечь всего пережитаго въ лучшую пору жизни не можетъ въ немъ скоро исчезнуть, и въ самыхъ задум-

левныхъ его признанійхъ, рядомъ съ вдохновенными, восторженными гимнами родинѣ, порой прорываются жестокіе, по своей рѣзкости, вопли недовольства ею; но то и другое въ высшей степени естественно въ человѣкѣ съ необычайной силой восприимчивости. Съ упоеніемъ новичка сѣлшить Гоголь насладиться неизвѣданнымъ впечатлѣніями, переѣзжаетъ изъ одной страны Европы въ другую и наконецъ поселяется надолго въ Италіи, которую онъ называлъ потомъ «второй родиной». Чудеса итальянской природы и искусства, высокая оригинальность Рима, величественные остатки древности, складъ жизни, столь не похожій на все прежде видѣнное и уже прискучившее—все это оказываетъ могущественное дѣйствіе на восприимчивую душу художника: и Гоголь съ жадностью пьетъ чашу наслажденія, частью съ своимъ «ближайшимъ», Данилевскимъ, частью съ другимъ, подобнымъ себѣ энтузіастомъ, благороднымъ и чистымъ душой идеалистомъ, извѣстнымъ художникомъ А. А. Ивановымъ. Среди чудной поэтической обстановки, счастливые выпавшимъ имъ завиднымъ жребіемъ, они до самозабвенія упиваются вмѣстѣ художественными наслажденіями творчества и оба съ невыразимой отрадой сознають себя вольными людьми въ своемъ гордомъ отдаленіи отъ всякихъ леденящихъ и мозолящихъ душу официальныхъ отношеній, а равно и отъ всѣхъ суетныхъ приманокъ и обольщеній свѣта. Здѣсь, въ Италіи, все радушно ласкало нашихъ отшельниковъ, начиная отъ тихаго упоенія своимъ призваніемъ и отъ прелести звучнѣйшаго въ мірѣ языка и кончая величайшимъ очарованіемъ, которое дано людямъ на землѣ и которое способны проливать въ душу только роскошныя краски юга и ничѣмъ не замѣнимая, очаровательная поэзія южнаго неба и солнца. Въ этомъ любимомъ городѣ имъ была дорога каждая вдоль и поперекъ исхоженная улица, каждый ничтожный закоулокъ позутемной и не всегда чистой остеріи. Не менѣе отрадны были для Гоголя также по временамъ, истинно родственныя отношенія съ Сиприновыми, Рейниными и Балабиными. Однимъ словомъ, это была самая счастливая и свѣтлая пора жизни Гоголя, но, какъ обыкновенно бываетъ, весьма непродолжительная и потребовавшая послѣ себя суроваго искупленія. Жизнь не слишкомъ щедра на подобныя роскошныя милости, и Гоголю, въ этотъ періодъ времени создавшему первый томъ «Мертвыхъ душъ», произведенія, трудъ надъ которымъ давно сдѣлался главной задачей его жизни, недолго удалось утопать въ морѣ высокихъ эстетическихъ наслажденій.

Все это происходило на границѣ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Въ эти годы впечатлительная натура нашего художника съ трудомъ переносила тяжелыя жизненныя испытанія, безпощадно сыпавшіяся на его голову. Первымъ чувствительнымъ ударомъ была для него безнадежная болѣзнь и послѣдовавшая за ней (въ началѣ 1839 года) преждевременная смерть даровитаго и симпатичнаго юноши Іосифа Вильгорскаго, привезеннаго въ Италію въ жесточайшемъ градусѣ чахотки. Какъ человекъ въ высшей степени впечатлительный, Гоголь, особенно въ послѣднія полторы недѣли почти безотлучнаго присутствія своего при больномъ, всей душой переживалъ наслажденія тѣхъ высокихъ минутъ, когда люди испытываютъ отраду въ безкорыстной помощи, оказываемой дорогому существу, но въ то же самое время его все сильнѣе охватывала жестокая тоска и отчаяніе отъ убійственнаго сознанія неминуемой близкой развязки. Тяжело было видѣть, какъ гибнетъ чистый юноша, исполненный самыхъ благородныхъ стремленій, такъ много обѣщавшій и такъ безжалостно отнимаемый судьбой у семьи, друзей и отечества. Смерть молодого Вильгорскаго много унесла съ собой для Гоголя: это вихремъ налетѣвшее щемящее горе, грозившее умчать съ собой и развѣять обманчивыя радости жизни, погрузило нашего писателя въ непроглядный мракъ тяжелой скорби; то, что въ другое время и при другихъ впечатлѣніяхъ забывалось за роемъ опьяняющихъ наслажденій, всплыло теперь въ гнетущія минуты глухого отчаянія наружу, поднимая изъ глубины души безотрадныя вопли изнываемаго и наболѣвшаго сердца. При видѣ ничтожества земнаго счастья, въ душѣ Гоголя громко заговорила ненависть къ этимъ благамъ, такъ дорого достаемимся и такимъ призрачнымъ и непрочнымъ по существу! Не могъ онъ не вспомнить и о себѣ: сколько горя и униженій пришлось ему вынести въ своей скитальческой жизни, сколькихъ волненій стоило испрашивание и ожиданіе субсидій и какой убійственно-дорогой цѣной приходилось расплачиваться за художественныя наслажденія въ Римѣ!

Впрочемъ, во время болѣзни и скорѣе по смерти юноши Вильгорскаго, въ теченіе всего 1839 года на долю Гоголя все еще продолжали выпадать и свѣтлыя радости наслажденія изящнымъ—во время пріѣзда въ Римъ другъ за другомъ его близкихъ друзей: Жуковскаго, Погодина, Шевырева и др. Съ другой стороны счастье омрачалось, во-первыхъ, тяжелой и неизбежной перспективой самыхъ прозаическихъ и мучительныхъ заботъ

о существованіи, при чемъ на горизонтѣ все чаще начинали показываться мрачныя тучи; во-вторыхъ, самочувствіе его нерѣдко отравлялось ужасными страданіями отъ геморроя и болей желудка.

Во второй половинѣ 1839 года Гоголю пришлось покинуть столь горячо любимый Римъ и предпринять утомительную и дорого стоящую поѣздки на родину для того, чтобы взять сестеръ изъ института (по окончаніи ими курса въ Патріотическомъ институтѣ) и проводить молодыхъ, неопытныхъ дѣвушекъ, робкихъ и конфузливыхъ до послѣдней степени, — такъ что обхождение съ ними для неопытнаго въ этомъ дѣлѣ, хотя и любящаго брата, представляло много трудностей, — по крайней мѣрѣ до Москвы, гдѣ пришлось ихъ оставить до пріѣзда матери въ домѣ Погодина; а затѣмъ ему пришлось опять хлопотать о возможности совершить обратную поѣздки въ Римъ, для чего понадобилось сдѣлать обременительный заемъ. Приходилось подумать о сколько-нибудь прочномъ устройствѣ, но для этого возможно было составлять лишь самые фантастическіе планы; такъ Гоголь мечталъ даже о пенсіонѣ, равномъ назначаемому русскимъ юсуптанникамъ академіи художествъ въ Римѣ, и хлопоталъ о мѣстѣ секретаря при начальникѣ находившихся тамъ русскихъ художниковъ Кривцовѣ; Жуковскому же однажды писалъ такъ: «Если бы мнѣ хоть такой пенсіонъ, какой дается дьячкамъ, находящимся здѣсь при церкви!» Благодаря довольно крупному займу, сдѣланному для него друзьями, Гоголь дѣйствительно получилъ скорѣе способъ возвратиться вновь въ Римъ, но положеніе его становилось съ каждымъ днемъ все болѣе запутаннымъ и непріятнымъ, и всѣ надежды на полученіе должности въ Римѣ или какое бы то ни было, хотя бы самое небольшое, но вѣрное обезпеченіе — не оправдывались. Къ довершенію неудачъ отъ перенесъ въ 1840 г. двѣ тяжкія болѣзни въ Вѣнѣ и въ Римѣ, и даже считалъ себя одно время находящимся на краю гроба, вмѣстѣ съ тѣмъ сильно страдая нравственно при воспоминаніи о невыплаченныхъ долгахъ. Причиной этихъ болѣзней Гоголь, не безъ основанія, считалъ порывистую вдохновенную работу, которой онъ, вопреки строгому запрещенію докторовъ, съ неумѣреннымъ напряженіемъ предавался при первой возможности, такъ какъ онъ ни на минуту не могъ забыть, что въ трудѣ заключалось для него все: исполненіе призванія, способъ дѣйствовать на общество и, наконецъ, единственная возможность расплаты съ долгами. Среди этихъ испытаній громко заговорило въ



немъ религиозное чувство, чрезвычайно усилившееся особенно благодаря тому, что каждое выздоровленіе отъ тяжелой болѣзни неизмѣнно принималось имъ за чудесное избавленіе отъ смерти, ниспосланное Провидѣніемъ для того, чтобы онъ будущими своими созданіями могъ послужить на пользу человѣчеству въ болѣе возвышенномъ смыслѣ или чтобы, какъ онъ выразился впоследствии, «сколько-нибудь пропѣть гимнъ красотѣ небесной».

Впрочемъ, весьма скоро, лѣтомъ 1841 года, Гоголь былъ на время отвлеченъ отъ новыхъ созрѣвавшихъ у него плановъ и задачъ творчества необходимостью привести къ окончанію первый томъ «Мертвыхъ душъ». Въ перепискѣ этого тома приняли участіе два пріятеля его: Пановъ и Анненковъ, жившіе одинъ за другимъ вмѣстѣ съ нимъ въ Римѣ. При этомъ любопытно, что Анненковъ засталъ Гоголя въ Римѣ какъ разъ во время кризиса, въ тотъ моментъ, когда, несмотря на надвигавшуюся свинцовую тучу аскетическаго отношенія къ жизни, высокое духовное торжество Гоголя, по причинѣ успѣшнаго окончанія первой части его излюбленнаго труда, блеснувшее свѣтлымъ лучомъ пѣнительнаго вешняго утра въ безпріютной жизни нашего скитальца, въ послѣдній разъ увѣнчало его трехлѣтнее беззаботное наслажденіе Италіей высшимъ разсвѣтомъ земного счастія. Отъ всѣхъ серьезныхъ и юмористическихъ замѣчаній Гоголя, отъ каждой его шутки снова повѣяло полной жизнью, и трудно было думать, что эти красные дни, мелькнувшіе на прощанье во всей своей прелести, должны были непосредственно предшествовать безпросвѣтному осеннему ненастью и мраку.

Но уже новое возвращеніе въ Россію въ концѣ 1841 года было снова соединено для Гоголя со множествомъ тяжелыхъ непріятностей и тревогъ; уговорившись, по дорогѣ на родину, въ Ганау съ лѣчившимся тамъ поэтомъ Языковымъ поселиться вмѣстѣ въ Москвѣ, онъ, вслѣдствіе непредвидѣнно измѣнившихся обстоятельствъ, не могъ дожидаться возвращенія туда своего новаго пріятеля, задержаннаго болѣзнію на неопредѣленное время на чужбинѣ, и долженъ былъ попрежнему остановиться у Погодина, уже недовольнаго имъ за невыплаченные долги и вообще замѣтно терявшаго къ нему прежнее расположеніе. Узко-практическая складка характера Погодина, хотя и извѣстная Гоголю прежде, во многомъ застигла его, однако, врасплохъ и поставила въ мучительно-невыносимое, оскорбительное положеніе. такъ какъ Гоголь, не разъ доказавшій Погодину участіе и дружбу, особенно во время пріѣзда его въ Римъ, разсчитывалъ

и съ его стороны встрѣтить дружеское расположеніе; Погодинъ же, напротивъ, сильно возмущалъ этотъ расчетъ на его якобы безкорыстіе, которому онъ былъ безусловно чуждъ по своей черствой природѣ. Всегда по горло занятый, до-нельзя удрученный заботами жизни и особенно плохимъ состояніемъ издаваемого имъ *Москвитянина*, онъ враждебно смотрѣлъ на кажущееся бездѣйствіе Гоголя, такъ что въ отношеніяхъ прежнихъ друзей вскорѣ повторилась общезвѣстная истина, часто наблюдаемая въ жизни, — что житейскія мелочи являются лучшимъ пробнымъ камнемъ истинной дружбы. Дошло, наконецъ, до того, что, къ великому огорченію Гоголя, Погодинъ счелъ себя въ правѣ, въ виду долга ему Гоголя, безъ его согласія напечатать въ *Москвитянинѣ* еще не вполне обработанный авторомъ отрывокъ «Римъ», вслѣдствіе чего бывшіе пріятели стали относиться другъ къ другу почти съ ненавистью и даже, живя въ одномъ домѣ, не разговаривали между собой, искусно впрочемъ умѣя скрывать эту глухую вражду отъ постороннихъ глазъ.

Въ то же время хлопоты по изданію «Мертвыхъ душъ» снова напомнили Гоголю жестокую нравственную пытку, которую онъ перестрадалъ въ годину появленія въ свѣтъ «Ревизора»: опять тѣ же официальные мытарства, особенно цензурныя, доходившія до того, что высказывались соображенія, будто бы уже самое заглавіе не должно быть пропущено въ печати, ибо душа безсмертна \*); опять необходимость утруждать просьбами и ходатайствами высокопоставленныхъ лицъ, опять непріятности отъ интригъ, хотя и другого рода и со стороны совсѣмъ другихъ людей (прежде это были закулисныя театральныя интриги; теперь Гоголь долженъ былъ бдительно скрывать отъ Аксаковыхъ свои сношенія съ Бѣлинскимъ, съ которымъ онъ познакомился во время своихъ проѣздовъ черезъ Петербургъ при посредничествѣ школьнаго товарища Прокоповича); а передъ Погодинымъ ему было неловко за помощь изъ занятыхъ денегъ художнику Иванову; наконецъ вскорѣ снова то же злобное шипѣнье по поводу выхода «Мертвыхъ душъ» въ изданіяхъ, подобныхъ *Северной Пчелѣ* и *Библиотецкѣ для чтенія*. Въ то же время, у Гоголя непокойна была душа вслѣдствіе сознанія страшнаго разстройства дѣлъ его собственныхъ и его домашнихъ, которымъ онъ даже и подумать не смѣлъ помочь чѣмъ-нибудь, потому что собственное его матеріальное положеніе было, какъ мы

\*) Особенно много тревогъ доставила Гоголю, какъ извѣстно, повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ.

знаемъ, черезчуръ не блестяще. Еще съ того времени, какъ одна за другой рухнули всѣ его обширныя надежды въ послѣдніе мѣсяцы жизни его въ Петербургѣ передъ отъѣздомъ за границу въ 1836 г., онъ окончательно потерялъ подъ собою почву и, оставивъ свои прежнія занятія, никогда уже не могъ, кромѣ, конечно, литературныхъ трудовъ, возвратиться къ какой-либо опредѣленной дѣятельности, предоставляя бурнымъ житейскимъ востанъ по произволу бросать во всѣхъ направленіяхъ его утлую ладью. Неоднократно обращаясь къ правительственной помощи съ просьбой о пособіи, онъ всегда указывалъ съ одной стороны на свое горячее желаніе принести своими сочиненіями посильную помощь родинѣ, съ другой — на то, что онъ не состоитъ на службѣ и не имѣетъ никакихъ опредѣленныхъ и постоянныхъ средствъ къ жизни. Кромѣ цензурныхъ затрудненій при печатаніи перваго тома «Мертвыхъ душъ» многихъ заботъ стоило ему также приготовленіе къ печати перваго полнаго собранія его сочиненій, которое онъ не успѣлъ начать самъ во время непродолжительнаго пребыванія своего въ Россіи и долженъ былъ передъ отъѣздомъ поручить въ Петербургѣ другу своему Прокоповичу, тогда какъ первая часть «Мертвыхъ душъ», послѣ многихъ мытарствъ, начала, наконецъ, печататься въ Москвѣ.

Послѣ этого, оставивъ свои дѣла на попеченіе друзей, Гоголь снова уѣхалъ за границу; но, удаленный отъ злобы дня и текущихъ интересовъ тогдашняго литературнаго міра, стѣсненный личными отношеніями и денежными обстоятельствами, то-и-дѣло невольно попадалъ въ неловкое положеніе среди перекрестнаго огня интригъ и взаимныхъ пререканій его друзей, которые всѣ притомъ болѣе или менѣе считали себя въ правѣ, по своимъ отношеніямъ, рассчитывать на поддержку со стороны Гоголя участіемъ въ ихъ журналахъ. Плетневъ возмущался монополіей дружбы, которую намѣревались, по его мнѣнію, захватить въ свои руки московскіе пріатели Гоголя, а послѣдніе, въ свою очередь, косо смотрѣли на довѣріе, оказываемое Гоголемъ своему школьному товарищу Прокоповичу, на бѣду сдѣлавшемуся вскорѣ жертвой типографской контрафакціи.

Между тѣмъ все сильнѣе крѣпло въ душѣ Гоголя убѣжденіе, что онъ долженъ совершенно посвятить себя «святому своему труду» надъ «Мертвыми душами», въ слѣдующихъ томахъ которыхъ онъ призванъ изобразить всего русскаго челоѣка, и на этотъ разъ уже преимущественно лучшія и свѣтлыя стороны его природы.

Готовясь, во время одной изъ болѣзней, къ послѣдному расчету съ жизнью, Гоголь не могъ не оглянуться на пройденный имъ жизненный и литературный путь, и былъ потрясенъ грустнымъ сознаніемъ мнимаго ничтожества и бесплодности его великихъ созданій. Съ тѣхъ поръ къ нему не разъ возвращались тяжкіе пароксизмы тоски, разрѣшавшіеся потомъ обыкновенно сожженіемъ своихъ сочиненій, подобно тому, какъ, еще въ 1829 г., онъ предалъ истребленію своего «Ганца Кюхельгартена». Гоголь разсуждалъ такимъ образомъ: если Богъ даровалъ ему поэтическое призваніе, то онъ обязанъ воспользоваться имъ для прославленія Бога и на пользу людямъ, а чтобы быть въ силахъ исполнить столь великую задачу, онъ долженъ, прежде всего, очистить и воспитать себя усердной молитвой и истинно-христіанской жизнью. Глубоко проникнутый религіознымъ настроеніемъ, онъ, желая слѣдовать волѣ Божіей и стараясь угадывать ее, призывалъ на помощь молитву. Онъ питалъ непреклонное и непоколебимое убѣжденіе, что послѣ искренней, горячей молитвы «за вопросы, въ ту же минуту послѣдуютъ отвѣты, *которые будутъ прямо отъ Бога*».

Мысль о продолженіи своего труда Гоголь все больше связываетъ съ вопросомъ о душевномъ спасеніи; у него является, наконецъ, твердое убѣжденіе въ спасительности испытаній и самыхъ болѣзней, къ ихъ высокому назначенію воспитывать человека и готовить къ духовному подвигу, наконецъ въ непогрѣшимости и могуществѣ собственнаго слова, предназначеннаго раскрыть глаза находящимся въ слѣпотѣ людямъ. Но для достойнаго выполненія этихъ задачъ онъ находитъ необходимыми перевоспитать себя духовно. И вотъ, онъ проситъ у Бога силъ для достойнаго совершенія предстоящаго подвига. А между тѣмъ все больше уходитъ въ себя и, такъ сказать, больше замыкается нравственно, вслѣдствіе чего кругъ людей, въ которыхъ онъ принималъ живое участіе и къ которымъ былъ искренно расположенъ, все болѣе суживается, хотя становится чрезвычайно интимнымъ. Теперь онъ уже мало придаетъ значенія прежнимъ трудамъ, находя ихъ ничтожными, и всѣми силами души устремляется къ горячо желаемой мечтѣ—сказать соотечественникамъ необходимое для нихъ и еще не слышанное ими слово. Ему представляется грандіозная перспектива и невольно начинаютъ у него вырываться сравненія первой части «Мертвыхъ душъ» лишь съ ничтожнымъ крыльцомъ къ великолѣпному строящемуся дворцу, а также смутившія многихъ его вдох-

новенныя, но показавшіяся современникамъ нескромными, почувствованныя строки о Руси и о томъ, что всѣ взоры ея сыновъ устремлены теперь на него, что, наконецъ, настанетъ скоро время, «когда инымъ ключомъ грозная вьюга вдохновенія подымется изъ обложенной въ священный ужасъ и въ блистанье главы, и почувтъ въ смущенномъ трепетѣ величавый громъ другихъ рѣчей». Гоголю представляется высокая роль мессіанизма, если не для всего человѣчества, служить которому мечтаетъ онъ въ ранней юности, то для горячо любимой родины: онъ забываетъ всю прежнюю горечь и давно набольшія раны и, благодарный Провидѣнію за указанный ему высокій удѣлъ, благословляетъ всѣ испытанія, самую нищету, которую, по словамъ его, онъ полюбилъ какъ любовникъ свою любовницу; съ непоколебимой рѣшимостью ограничиваетъ все свое имущество «чемоданчикомъ» съ рукописями своихъ произведеній и немногими книгами религіознаго содержанія; наконецъ, какъ мы уже сказали, ищетъ отрады въ самыхъ физическихъ недугахъ, подтачивавшихъ его, отъ природы слабый, организмъ.

Въ связи съ главной идеей, завладѣвшей теперь Гоголемъ и наполнявшей все его существованіе, въ его душѣ зрѣетъ и совершается цѣлый нравственный переворотъ; хотя здѣсь не было никакого коренного перелома, но нѣкоторыя стороны духовной организациі Гоголя, уравновѣшиваемыя прежде, и молодой жаждой жизни, и потребностями многосторонней артистической натуры, теперь все болѣе получаютъ особенную, почти исключительную силу. Весь этотъ процессъ, совершавшійся въ Гоголѣ въ концѣ тридцатыхъ и особенно въ теченіе всѣхъ сороковыхъ годовъ, самъ по себѣ съ достаточной опредѣленностью отразился въ его письмахъ и произведеніяхъ послѣдняго періода, и если онъ возбуждаетъ иногда до сихъ поръ довольно страстныя и бурныя пререканія, то это происходитъ, прежде всего, отъ того, какими глазами смотрѣть на дѣло: видѣть ли въ этомъ «переломѣ», главнымъ образомъ, быстрый нравственный ростъ внутренняго челоѣка въ Гоголѣ, успѣвшемъ возвыситься до самаго чистаго, святаго идеализма, или оцѣнивать совершившійся въ немъ душевный кризисъ съ точки зрѣнія пагубнаго вліянія на его творческія силы. Последнее, конечно, должно быть объяснено, въ такомъ случаѣ, какъ естественное и неминуемое слѣдствіе разлада между свободной творческой способностью и жестокимъ насплованіемъ ея, хотя бы ради несомнѣнно высокихъ и идеальныхъ нравственныхъ побужденій, для доставленія торжества за-

нивавшихъ автора излюбленнымъ идеямъ. Въ сущности споръ направляется обыкновенно не въ ту сторону, и всегда имѣются при этомъ въ виду не столько даже взгляды Гоголя, сколько задушевные взгляды и убѣжденія противниковъ о вопросахъ, къ которымъ и донинѣ имѣетъ нѣкоторое отношеніе «Переписка съ друзьями» и вообще міросозерцаніе нашего писателя за послѣдніе годы его жизни. Но несомнѣнно одно, что послѣднее десятилѣтіе жизни нашего писателя представляетъ печальную картину медленнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ тяжелаго и упорнаго процесса физическаго разрушенія \*) на ряду съ явнымъ упадкомъ таланта и болѣзненнымъ напряженіемъ религіознаго экстаза. Никто изъ короткихъ знакомыхъ Гоголя не признавалъ въ немъ безусловно психическаго разстройства, молва о которомъ такъ упорно держалась какъ при жизни, такъ и по смерти Гоголя; но съ другой стороны не было также никого, кто бы утверждалъ, что въ послѣдніе годы не замѣчалось въ Гоголѣ чрезвычайно рѣзкой перемены, и это впечатлѣніе современниковъ, начиная съ его родной семьи и ближайшаго друга Данилевскаго, безъ сомнѣнія, не можетъ быть не принимаемо въ расчетъ при сужденіи о послѣднихъ годахъ Гоголя. Зародыши мистическаго настроенія, замѣчавшіяся въ Гоголѣ еще съ 1835 г. Максимовичемъ, а позднѣе, но *прежде* большинства другихъ близкихъ къ Гоголю людей, С. Т. Аксаковымъ—подъ вліяніемъ перенесенныхъ нашимъ писателемъ жизненныхъ испытаній, а особенно, какъ ему казалось, предсмертнаго страха во время тяжкихъ болѣзней, чрезвычайно быстро развивались и созрѣвали, находя для себя благоприятную почву и въ той обстановкѣ, которою былъ окруженъ Гоголь во время своей жизни за границей. Общество Смирновой, Вильгорскихъ, Толстыхъ, Апракسينыхъ и отчасти больного поэта Языкова какъ нарочно подобралось такое, чтобы Гоголь, оторванный отъ родины и замкнутый для вліянія теченій западно-европейской жизни, могъ все глубже и безпрепятственнѣе погружаться въ пучину мистицизма. Вообще Гоголь послѣднихъ лѣтъ жизни, занятый «душевыми открытіями», которыми онъ считалъ себя обязаннымъ дѣлиться съ ближними, какъ дарованной ему свыше особой благодатью, — «предельшаніями», духовными «зеркалами» и т. д., жестоко страждущій отъ осаждавшихъ его болѣзней, постепенно, но сильно переменяется нравственно: его скрытность и необщительность растутъ, задушевнее

\*) Въ которомъ, безъ всякаго сомнѣнія, не были впрочемъ исключительно религіозные взгляды.

отношеніе къ друзьямъ молодости смѣняется какой-то натянутостью, а литературная производительность постоянно терять какъ въ качественномъ, такъ и количественномъ отношеніяхъ. Долго еще жилъ Гоголь за границей и частью въ любимой Италіи, но теперь онъ былъ уже далеко не прежній энтузіастъ, такъ восхищавшійся когда-то обаятельной итальянской природой, да и мысль его, сосредоточивающаяся все исключительно на религіи, влечетъ его въ Палестину и, наконецъ, побуждаетъ на время оставить даже созданіе «Мертвыхъ душъ» для «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями». Конечно, все это происходило постепенно.

Въ концѣ 1842 г. Гоголь снова водворился въ Римъ, на этотъ разъ вмѣстѣ съ привезеннымъ изъ Гастейна Языковымъ и съ бывшимъ своимъ сослуживцемъ по кафедрѣ петербургскаго университета, Ѳ. В. Чижовымъ. Такимъ образомъ исполнилась его мечта о совмѣстной жизни съ Языковымъ въ Римѣ, но вскорѣ по осуществленіи этого завѣтнаго плана, Гоголь имѣлъ несчастье наскучить пріятелю своей крайней непрактичностью въ мелкихъ житейскихъ дѣлахъ и невыгоднымъ для нихъ обоимъ фанатическимъ пристрастіемъ къ лукавымъ итальянцамъ.

Кончилось тѣмъ, что, не давая Гоголю замѣтить причиняемаго имъ, вмѣсто помощи, невольнаго стѣсненія, Языковъ постарался освободиться отъ его дружескихъ услугъ и странствовать отдѣльно. Впрочемъ, ему еще нѣсколько времени пришлось поневолѣ пользоваться попеченіями Гоголя, а между тѣмъ въ Римъ прибыла А. О. Смирнова, съ которой Гоголю суждено было вскорѣ сблизиться. При всемъ стремленіи къ уединенной созерцательной жизни и самоуглубленію, ему необходима была душа, способная отозваться на мистическіе запросы его собственной души. Встрѣтивъ такое сочувствіе въ Смирновой, Гоголь быстро вступаетъ съ ней въ интимное нравственное общеніе, и самая судьба его на нѣкоторое время становится связанной тѣснѣйшимъ образомъ съ ея судьбой. Наибольше тѣсныя отношенія устанавливаются во время ихъ совмѣстной жизни въ Римѣ и потомъ въ Ниццѣ, когда дружба ихъ получила новое направленіе и особый характеръ. Сближеніе это произошло слѣдующимъ образомъ. Въ концѣ декабря 1842 г. въ Римъ прибылъ братъ Смирновой, А. О. Россетъ, которому было поручено подыскать къ ея пріѣзду удобную квартиру. Встрѣтивъ его, Гоголь былъ въ восторгѣ и, разумѣется, не допустилъ его самому искать квартиру, но, какъ знатокъ Рима, выбралъ помѣщеніе не только самое удобное для

имней жизни, но и близкое ко всёму наиболѣе крупнымъ достопримѣчательностямъ города. По прїѣздѣ же Смирновой, онъ съ восторгомъ и нетерпѣніемъ принялся показывать ей боготворимый Римъ, причемъ всё прогулки ихъ неизмѣнно оканчивались осмотровъ излюбленнаго Гоголемъ прекраснаго и величественнаго San Pietro. Гоголя все еще безпрестанно приводилъ въ восхищеніе и самый Римъ, и впечатлѣнія новичковъ-товарищей по прогулкамъ и даже шалости дочерей Смирновой, которыхъ онъ любилъ такъ сильно, какъ едва ли любилъ какихъ-нибудь другихъ дѣтей. Въ блестящемъ умѣ Смирновой, въ ея тонкомъ эстетическомъ чувствѣ и особенно религіозномъ настроеніи онъ нашелъ<sup>1</sup> приблизительно соединеніе всего, чего могъ желать. Увлеченіе ея обществомъ дошло у Гоголя до того, что онъ замѣтно отдалился отъ другихъ своихъ друзей, начиная съ Иванова, которому онъ, впрочемъ, продолжалъ усердно помогать советами и словомъ утѣшенія и котораго не замедлилъ представить Смирновой. Однако, Гоголь все-таки не скоро могъ сойтись съ Смирновой на почвѣ мистическаго аскетизма, такъ какъ сначала онъ, пока безъ всякихъ опредѣленныхъ цѣлей, завладевалъ ея досугами, увлекая ее картинами итальянской природы и произведеніями искусства, и затѣмъ уже сталъ посвящать ее въ таинства своего оригинальнаго мистицизма. Въ этомъ случаѣ онъ инстинктивно и вполне естественно вступилъ на ту дорогу, по которой во всё вѣка шли люди, выработавшіе свои религіозныя системы или мистическія воззрѣнія и страстно ищущіе прозелитовъ. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ, незамѣтно для самого себя, получилъ невольное притязаніе вторгаться въ ея интимный міръ. Сначала Смирнова была изумлена такимъ вторженіемъ и, отстраняя излишнее любопытство, показывала досаду, сердилась, давала отпоръ. Но привязанность къ Гоголю, довѣріе къ его преданности и особенно—собственное безпокойное душевное броженіе скоро взяли верхъ, и Смирнова не замѣтила, какъ подпала подъ его вліяніе, и это совершилось тѣмъ легче, что Гоголь засталъ ее въ потугахъ мучительнаго нравственнаго кризиса, когда въ ней пробудилась жгучая потребность очистить себя отъ мутныхъ осадковъ многолѣтней безцѣльной великосвѣтской толчи и усвоенныхъ въ модномъ круговоротѣ привычекъ. Въ воспоминаніяхъ ея было много блестящаго и выдающагося, у нея былъ обширный свѣтскій и жизненный опытъ, но лучшая пора промелькнула невозвратно, и за пышнымъ расцвѣтомъ наступила томительная канитель заурядной жизни. Въ смыслѣ



свѣтскихъ успѣховъ все возможное было давно достигнуто и извѣдано, все это давно пріѣлось и возбуждало отвращеніе, и ее уже не удовлетворяла больше колея вѣшняго представительства и почета. Въ концѣ 1843 г. какъ Смирновы, такъ и Гоголь переселились въ Ниццу, гдѣ они застали семейство Віельгорскихъ, съ которыми составили одинъ тѣсный кружокъ. Ежедневно они совершали общія прогулки по набережной, причемъ артистическая натура художника громко говорила въ Гоголь при каждомъ эффектномъ переливѣ южнаго солнца на горахъ, и онъ безмолвно отдавался наслажденію, лишь изрѣдка жестами приглашая спутниковъ раздѣлить его восторгъ. За этими чудными минутами высокаго, доступнаго только избраннымъ натурамъ блаженства, Гоголь проводилъ счастливые часы въ обществѣ людей, бесѣда съ которыми могла бы дать отраду и въ утрюмомъ, безжизненномъ Петербургѣ, но представляла совершенную роскошь здѣсь, подъ южнымъ небомъ и въ виду разстилающагося на безграничное пространство моря. Особенно въ присутствіи Смирновой всѣ чувствовали себя какъ-то вольнѣе и свободнѣе. Живая, въ высокой степени общительная, она умѣла вносить атмосферу непринужденнаго радушія и задушевнѣйшей простоты тамъ, гдѣ ихъ неумолимо тѣснилъ сковывающій чувствѣ этикетъ; она умѣла заставить звучать такія струны, которые безъ ея вмѣшательства остались бы нѣмы и безжизненны. Поэтому ежедневное появленіе такой посредницы въ тѣсномъ дружескомъ кружкѣ должно было крѣпко сплотить его.

Весной 1844 г. кружокъ распался, когда наступившій вѣзкій постъ заставилъ позаботиться о говѣннѣ, для чего Смирнова выбрала Парижъ, а Гоголь направился въ Дармштадтъ, чтобы быть поближе къ Жуковскому, жившему во Франкфуртѣ, куда Гоголь собирался также пріѣхать по окончаніи говѣнья. Но планы его неожиданно разрушились вслѣдствіе того, что въ Дармштадтѣ Жуковского задержалъ пріѣздъ наслѣдника, а потому онъ долженъ былъ ѣхать въ Берлинъ для встрѣчи императрицы. Такимъ образомъ Гоголь остался одинокъ и въ неустроенномъ положеніи. Лѣтомъ 1844 г. Гоголь былъ въ Баденѣ, гдѣ онъ встрѣтился снова съ Віельгорскими, а осенью, послѣ того какъ онъ прожилъ мѣсяца полтора во Франкфуртѣ и Баденѣ, онъ поѣхалъ, по совѣту доктора Коппа, въ Остенде, гдѣ снова жилъ нѣкоторое время съ Віельгорскими. Вернувшись затѣмъ къ Жуковскому во Франкфуртъ, Гоголь сильно мучился безмолвіемъ своей музы, особенно тягостнымъ въ виду прошехо-

дившаго на его глазахъ усиленнаго творчества Жуковского; а къ наступленію 1845 г., по совѣту Коппа и Жуковского, предпринялъ для освѣженія отъ туго подвигавшейся работы поѣздку въ Парижъ, куда его звали Вильгорскіе и Толстые. На этотъ разъ, однако, ему почти не удалось пользоваться обществомъ Вильгорскихъ, увлеченныхъ свѣтскими удовольствіями, и приходилось искать отрады только въ бесѣдѣ съ Толстымъ, въ свою очередь страдавшимъ тяжелымъ нравственнымъ состояніемъ. Неудовлетворенный и разстроенный, выѣхалъ Гоголь снова изъ Парижа во Франкфуртъ, гдѣ оставался до іюня, оставивъ его въ этотъ промежутокъ времени только на одну недѣлю для говѣнія въ Штутгартѣ. Состояніе здоровья Гоголя въ это время еще значительно ухудшилось и тутъ произошло первое сожженіе второго тома «Мертвыхъ душъ»; въ это грустное время и была задумана и «Переписка съ друзьями», въ томъ состояніи, о которомъ Гоголь говорилъ, что «повѣситься или утопиться ему казалось похожимъ на какое-то лѣкарство или облегченіе». Онъ лѣчился, но неудачно, въ Гамбургѣ и Карлсбадѣ, но, почувствовавъ себя еще хуже, рѣшился ѣхать въ Греффенбергъ для пользованія воднымъ лѣченіемъ по системѣ Приеница, о которой передъ тѣмъ заботливо собиралъ свѣдѣнія. Между тѣмъ, дружнымъ содѣйствіемъ Жуковского, Смирновой и Плетнева ему было исхodataйствовано у государя на три года пособіе по тысячѣ рублей.

Въ октябрѣ 1845 г. Гоголь, достаточно поправившій здоровье, снова переѣхалъ на зиму въ Римъ. Здѣсь его опять охватило чувство нѣги и глубокаго внутренняго довольства при взглядѣ на храмъ св. Петра, Колизей и проч. Но годы и усилившаяся болѣзненность взяли свое, и на этотъ разъ уже не оправдались надежды Жуковского, что «Римъ утомитъ его нервы». Въ Римѣ и по дорогѣ туда, кромѣ возобновленія прежнихъ дружескихъ отношеній къ Иванову и русскимъ художникамъ, Гоголь былъ обрадованъ попой, хотя и мимолетной встрѣчей съ Анненковымъ и сдѣлалъ нѣсколько новыхъ знакомствъ по рекомендаціи Жуковского и Смирновой.

Въ концѣ 1846 г. Гоголь былъ занятъ постановкой на сцену «Ревизора» въ исправленномъ видѣ съ присоединеніемъ «Развязки Ревизора». Послѣдняя, подобно «Перепискѣ съ друзьями», была отраженіемъ тогдашняго его нравственнаго состоянія и должна была имѣть значеніе задушевной рѣчи, обращенной ко всему обществу. Въ изданіи въ свѣтъ обоихъ трудовъ Гоголь

видѣлъ исполненіе таинственной миссіи, къ которой считалъ себя предназначеннымъ свыше. Чтобы лучше осуществить свою мысль, онъ привлекъ къ участию въ дѣлѣ всѣхъ близкихъ и преданныхъ людей: Щепкина, Плетнева, Визьгорскихъ и проч. Длинный рядъ дѣловыхъ писемъ, относившихся къ «Развязкѣ Ревизора», начался съ письма его къ М. С. Щепкину, которому было подробно разъяснено, какую цѣль имѣлъ въ виду авторъ. Гоголь хотѣлъ, чтобы каждое слово его пьесы было понято и прочувствовано артистами, чтобы не пропало даромъ ни малѣйшаго художественнаго штриха, и сильно боялся искаженій. Но почти всѣ избранные имъ сотрудники были поражены и приведены въ недоумѣніе многими странностями его порученія и, прежде всего, особенно былъ поставленъ въ немалое затрудненіе самъ Щепкинъ, апофеозомъ которому должна была служить «Развязка»: артисту поручалось взять на себя исполненіе совершенно невѣроятной роли, въ которой онъ долженъ былъ выступить передъ публикой уже не какъ художникъ, но какъ проповѣдникъ, и вдобавокъ здѣсь же долженъ былъ *по пьесѣ* получить трофей отъ артистовъ и публики. Все это было въ высшей степени рискованно какъ для автора, такъ и для артиста, такъ какъ могло быть встрѣчено публикой съ величайшимъ недоумѣніемъ, что совершенно убilo бы подготовленный заранее эффектъ. Наконецъ, доводы разныхъ лицъ, что пьесу ставить рано или даже и вовсе не слѣдуетъ, и особенно внезапная болѣзнь Щепкина, принятая за ясное указаніе воли Божіей, склонили Гоголя къ рѣшенію отложить пьесу, а затѣмъ и самая мысль о ней понемногу позабылась.

Хлопоты относительно «Развязки Ревизора» совпадали съ другими безчисленными хлопотами и волненіями — по поводу изданія «Переписки съ друзьями». 30-го іюля 1846 г. Гоголь обратился къ П. А. Плетневу съ просьбой бросить въ сторону всѣ свои дѣла и заняться печатаніемъ его новой книги, о которой онъ говорилъ: «Она нужна, слишкомъ нужна всѣмъ; вотъ что покажетъ могу сказать; все прочее объяснить самая книга». Печатаніе «Выбранныхъ мѣстъ» должно было составлять строжайшую тайну для саихъ друзей Гоголя и вообще происходить подъ величайшимъ секретомъ, для чего была выбрана наименѣе посѣщаемая типографія \*) и почти только одна Смирнова знала о печатаніи отъ Гоголя, такъ какъ на нее возлагались надежды

\*) Дѣпартаментъ вѣншей торговли.

по устрaненію цензурныхъ затрудненій. «Переписка съ друзьями», по убѣжденію Гоголя, должна была сразу разъяснить всѣмъ его многолѣтнюю сосредоточенную въ себѣ внутреннюю жизнь; тогда его уже не будутъ подозрѣвать въ неискренности, упрекать въ пренебреженіи къ требованіямъ мелочной житейской аккуратности, въ беззаботности относительно прозаическихъ сторонъ жизни; всѣмъ станетъ ясно его великое призваніе и для всѣхъ онъ сдѣлается роднымъ и понятнымъ.

Между тѣмъ, на зиму онъ поселился въ Неаполѣ съ тѣмъ, чтобы при первой возможности отправиться по морю въ Іерусалимъ. Въ Неаполѣ онъ нашелъ дружескій привѣтъ и квартиру у графини Апраксиной, гдѣ былъ окруженъ заботливымъ уходомъ и полнѣйшимъ комфортомъ. Расположеніе духа было у него покойное и свѣтлое благодаря пріятному сознанію честно исполненнаго долга и пользы, принесенной соотечественникамъ. Онъ предполагалъ тогда, что ему осталось только дожидаться выхода въ свѣтъ книги, и, убѣдившись въ ея благотворномъ вліяніи, съ облегченной совѣстью пуститься въ Палестину, откуда онъ уже предполагалъ навсегда возвратиться въ Россію. Необходимыми условіями для отправленія въ путь, по его мнѣнію, должны быть: неудержимое желаніе ѣхать, устрaненіе всѣхъ препятствій и дорогой сердцу попутчикъ. «Все это, когда придетъ часъ, должно явиться само собою»,—такъ думалъ Гоголь, какъ видно изъ писемъ его къ горячо любившей его и сочувствовавшей его благочестивому настроенію, проживавшей въ Москвѣ, чрезвычайно симпатичной и сердечной старушкѣ Шереметевой.

Но насталъ грозный для Гоголя 1847 годъ, когда, вмѣсто ожидаемыхъ триумфовъ, поэтъ увидѣлъ себя со всѣхъ сторонъ осыпаемымъ упреками и насмѣшками. Упрековъ онъ, въ силу своего аскетическаго міросозерцанія, въ самомъ дѣлѣ желалъ всѣмъ сердцемъ, но лишь подъ тѣмъ условіемъ, чтобы они вытекали изъ одинаковаго съ нимъ и единственно доступнаго ему теперь міросозерцанія. Вышло совсѣмъ иначе: Гоголя не поняли и онъ никого не понималъ и въ сущности только разстроилось его внутреннее довольство безъ пользы для кого бы то ни было, такъ что онъ уже не считалъ себя готовымъ къ путешествію и отложилъ его еще на годъ. (Къ этому печальному времени относится размова Гоголя съ однимъ изъ искреннѣйшихъ его пріятелей, художникомъ Ивановымъ, тяжело отозвавшаяся на обоихъ бывшихъ друзьяхъ). Всѣ возраженія, начиная съ громового письма Бѣлинскаго, пришли слишкомъ поздно, когда въ душѣ Гоголя

уже создалось цѣлое фантастическое царство, и жестоко наносимые удары, почти безъ всякой пользы, могли только окончательно пошатнуть его душевное равновѣсіе. Чѣмъ больше старались Гоголю раскрыть глаза, тѣмъ онъ становился упорнѣе въ своихъ мечтаніяхъ. Въ особенности не въ силахъ былъ Гоголь разстаться съ миражемъ необъятной пользы, которую должна была принести его книга, и находилъ успокоеніе въ мечтахъ о томъ, что по крайней мѣрѣ по поводу ея могутъ другіе написать много полезнаго, какъ, между прочимъ, общалъ ему Жуковский. Какъ мистикъ до мозга костей, онъ не задумался приписать неуспѣхъ своей книги «демону излишества»; стоило только, какъ казалось ему, возвратиться къ художественному творчеству, и истина идей «Переписки» возсіяетъ во всемъ блескѣ; вся ошибка въ неудачномъ выборѣ оружія и средствъ для убѣжденія читателей.

Вскорѣ, однако, жестокій ударъ, нанесенный суровымъ общественнымъ приговоромъ самымъ заветнымъ мечтамъ писателя, возбудилъ въ томъ, кто думалъ недавно поучать общество, жгучую потребность высказаться, оправдаться, раскрыть неудавшіяся надежды и стремленія. Такъ явилась «Авторская исповѣдь», отнюдь не продуктъ спокойнаго и яснаго анализа, а скорѣе отраженіе смутнаго душевнаго состоянія Гоголя послѣ понесеннаго имъ пораженія. Въ ряду примѣровъ подобнаго непосредственнаго обращенія къ публикѣ исповѣдь Гоголя существенно отличается явными слѣдами свѣжихъ душевныхъ ранъ и крайней подавленности духа. Не оправдалась и его мистическая увѣренность въ ниспосланіи ему неудержимаго желанія пуститься въ путь (въ Палестину), передъ которымъ, казалось ему, долженъ былъ замолкнуть всякій посторонній помыслъ; сначала его задерживали волненія и разстроившееся здоровье, потомъ безуспѣшное ожиданіе попутчика. Къ этому времени относится начало его рокового знакомства съ ржевскимъ священникомъ о. Матвѣемъ Константиновскимъ, котораго, пользуясь рекомендаціей его начальника и доброжелателя А. П. Толстого, бывшаго обер-прокуроромъ святѣйшаго синода, Гоголь умолялъ дать откровенный отзывъ о его книгѣ, прося упрековъ и молитвъ о совершеніи вождѣльнаго путешествія. Съ этихъ поръ начинается пагубное вліяніе на Гоголя о. Матвѣя, справедливо, впрочемъ, пользовавшагося высокою репутаціею благочестія и особымъ уваженіемъ оберъ-прокурора. Тонъ писемъ о. Матвѣя къ Гоголю, какъ можно думать, былъ сурово-обличительный. Такимъ ха-

ракторомъ несомнѣнно отличалось его первое письмо, сущность котораго была въ томъ, что почтенный пастырь, поддерживая принципиальное предубѣжденіе своего начальника противъ театра, утверждалъ, будто книга Гоголя, потворствуя суетнымъ удовольствіямъ, принесетъ большой вредъ обществу, за который авторъ дастъ отвѣтъ на Страшномъ Судѣ.

Въ началѣ 1848 г. Гоголь, наконецъ, поѣхалъ въ Іерусалимъ; но заранѣе составившіяся у него представленія, какъ и въ другихъ случаяхъ, оказались несонизмѣримыми съ дѣйствительностью: будничныи видъ Іерусалима мало соответствовалъ тѣмъ величавымъ образамъ и картинамъ, которые съ дѣтства жили и росли въ его воображеніи. То же можно сказать и о его внутреннихъ впечатлѣніяхъ: съ изумленіемъ и ужасомъ онъ долженъ былъ убѣдиться, что впечатлѣнія его въ Палестинѣ были чрезвычайно далеки отъ тѣхъ, которыхъ онъ пламенно жаждалъ.

По возвращеніи въ Россію Гоголь (онъ поселился въ Москвѣ, откуда по временамъ выѣзжалъ въ калужскую губернію, въ имѣніе Смирновой, въ Малороссію и Одессу) проводитъ послѣдніе годы на роднѣ, чрезвычайно туго подвигаясь въ своемъ завѣтномъ трудѣ; онъ въ значительной степени утрачиваетъ жизненную бодрость и медленно угасаетъ въ тяжелой борьбѣ между поставленной себѣ необъятной задачей и все болѣе истощающимися физическими и душевными силами. Въ то же время онъ все сильнѣе поддается вліянію о. Матвѣя, строгая аскетическая проповѣдь котораго производитъ на большую душу нашего писателя такое удручающее и потрясающее дѣйствіе, что при всемъ безграничномъ благоговѣніи къ уважаемому пастырю церкви Гоголь однажды въ ужасѣ перебилъ его бесѣду возгласомъ: «довольно! мнѣ слишкомъ страшно!» Слѣдуетъ вообще замѣтить, что въ религиозномъ настроеніи Гоголя чувствуется сильная примѣсь именно содроганія передъ загробнымъ міромъ. Предсмертное сожженіе Гоголемъ «Мертвыхъ душъ» и его настойчивое желаніе умереть, обусловившее собою упорное сопротивленіе врачамъ, объясняется именно съ одной стороны неувѣренностью въ благотѣльномъ значеніи своихъ произведеній — въ Гоголѣ въ этомъ отношеніи до самаго конца боролась пламенная надежда съ глухимъ подавляемымъ въ себѣ отчаяніемъ — и съ другой стороны — невыносимостью напряженнаго ужаса передъ смертью \*), соединеннаго съ

\*) Психологически вполне объяснимо сильное напряженіе чувства ужаса передъ ожидаемой и неизбежной опасностью, вызывающее именно желаніе поскорѣе подвергнуться ей, особенно же, какъ въ

твердымъ рѣшеніемъ, насколько возможно, подготовить себя къ страшной минутѣ разчета съ земной жизнью, а не быть неожиданно застигнутымъ ею врасплохъ на вѣчную погибель души \*).

Скончался Гоголь въ Москвѣ 21-го февраля 1852 г. • На похоронахъ его присутствовали важные сановники города; отпѣваніе совершилось въ университетской церкви; толпы народа стеклись отдать послѣдній долгъ великому писателю; похороненъ онъ, какъ извѣстно, въ Даниловомъ монастырѣ. Враждебные крики Булгариныхъ и Сенковскихъ скоро смолкаютъ, и великое значеніе Гоголя все болѣе уясняется и признается. Въ наши дни никто уже не сомнѣвается въ величайшемъ значеніи его глубокихъ поэтическихъ созданій, а въ весьма непродолжительномъ времени ожидается въ Москвѣ открытіе памятника отцу натуральной школы въ нашей литературѣ и родоначальнику господствующаго въ ней реального направленія.



данномъ случаѣ, соединенное съ стремленіемъ наилучшимъ образомъ приготовить себя къ неотвратимому удару. Въ послѣдніе дни Гоголь всей душой ушелъ въ мысль о переселеніи въ загробную жизнь.

\*) Въ настоящее время можно уже, кажется, открыто упомянуть о грубо доброжелательныхъ насиліяхъ надъ Гоголемъ передъ его смертью врачей, собравшихся за день до нея на консилиумъ. Эти насилія вызвали сильное разногласіе въ ихъ средѣ, причемъ болѣе деликатные по природѣ и лучше понимавшіе дѣло, какъ докторъ Тарасенковъ, содрогались отъ жестокаго обращенія коллегъ съ пациентомъ, какъ будто съ совершенно ненормальнымъ субъектомъ, котораго во что бы то ни стало слѣдовало заставить принимать медицинскія пособія. Грустно и страшно думать, что врачи, желая пользы пациенту, по совершенному нежеланію и неумѣнно выкинуть въ его внутреннее настроеніе. наивно истязали его, и только напрасно, но жестоко отравляли его послѣдніе дни и часы, предназначенные больнымъ для приготовленія къ ожидавшей его великой минутѣ. — Не къ связи ли съ преобладающимъ настроеніемъ Гоголя послѣднихъ дней найдется и извѣстныя предсмертныя слова его: «лѣстницу! лѣстницу!»

# ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ

Сочиненій Н. Гоголя.

---

Предпринимая изданіе сочиненій моихъ выходившихъ доселѣ отдѣльно и разбросанныхъ частію въ повременныхъ изданіяхъ, я пересмотрѣлъ ихъ вновь: много незрѣлаго, много необдуманнаго, много дѣтски-несовершеннаго! Что было можно исправить, то исправлено, чего нельзя, то осталось неисправленнымъ, такъ какъ было. Всю первую часть слѣдовало бы исключить вовсе: это первоначальныя ученическія опыты, недостойныя строгаго вниманія читателя; но при нихъ чувствовались первыя сладкія минуты молодого вдохновенія, и мнѣ стало жалко исключить ихъ, какъ жалко исторгнуть изъ памяти первыя игры невозвратной юности. Снисходительный читатель можетъ пропустить весь первый томъ и начать чтеніе со второго.

Н. Г.





# ВЕЧЕРА НА ХУТОРѢ БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

---

ПОВѢСТИ,

ИЗДАНЫЯ

ПАСИЧНИКОМЪ РУДЫМЪ ПАНЬКОМЪ.

---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

---



## Предисловіе.

---

«Это что за невидаль: Вечера на хуторѣ близъ Диканьки? Что это за «Вечера»? И швырнулъ въ свѣтъ какой-то пасичникъ! Слава Богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякаго званія и сброду, вымарало пальцы въ чернилахъ! Дернула же охота и пасичника потащиться вслѣдъ за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть въ нее».

Слышало, слышало вѣщее мое всѣ эти рѣчи еще за мѣсяцъ! То-есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть носъ изъ своего захоlustья въ большой свѣтъ—батьюшки мои!—это все равно, какъ, случается, иногда зайдешь въ покои великаго пана: всѣ обступятъ тебя и пойдутъ дурачить; еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, — нѣтъ, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотрѣтъ—дрянь, который копается на заднемъ дворѣ, и тотъ пристанетъ; и начнутъ со всѣхъ сторонъ притопывать ногами: «Куда? куда? зачѣмъ? пошелъ, мужикъ, пошелъ!»... Я вамъ скажу... Да что говорить! Мнѣ легче два раза въ годъ съѣздить въ Миргородъ, въ которомъ, вотъ уже пять лѣтъ, какъ не видалъ меня ни подсудокъ изъ земскаго суда, ни почтенный іерей, чѣмъ показаться въ этотъ великій свѣтъ; а показался—плачь, не плачь, давай отвѣтъ.

У насъ, мои любезные читатели, — не во гнѣвъ будь сказано (вы, можетъ-быть, и разсердитесь, что пасичникъ

говорить вамъ запросто, какъ будто какому-нибудь свату своему или куму),—у насъ, на хуторахъ, водится издавна: какъ только окончатся работы въ полѣ, мужикъ залѣзетъ отдыхать на всю зиму на печь. и нашъ братъ припрятетъ своихъ пчелъ въ темный погребъ; когда ни журавлей на небѣ, ни грушъ на деревѣ не увидите болѣе; тогда, только вечеръ, уже навѣрно гдѣ-нибудь въ концѣ улицы брезжитъ огонекъ, смѣхъ и пѣсни слышатся издалече, бренчитъ балалайка, а подчасъ и скрипка, говоръ, шумъ... Это у насъ *вечерницы*! Онѣ, изволите видѣть, онѣ похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсѣмъ. На балы если вы ѣдете, то именно для того, чтобы повертѣть ногами и позѣвать въ руку; а у насъ соберется въ одну хату толпа дѣвушекъ совсѣмъ не для балу, съ веретенкомъ, съ гребнями. И сначала будто и дѣломъ займутся: веретена шумятъ, лютятъ пѣсни, и каждая не подыметъ и глазъ въ сторону; но только нагрнать въ хату парубки съ скрипачомъ—подыметъ крикъ, затѣется шаль, пойдутъ танцы и заведутся такія штуки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются всѣ въ тѣсную кучку и пустятся загадывать загадки, или просто—нести болтовню. Боже ты мой! чего только не расскажутъ! откуда старины не выкопаютъ! какихъ страховъ не нанесутъ! Но нигдѣ, можетъ-быть, не было рассказываемо столько диковинъ, какъ на вечерахъ у пасичника Рудаго Панька. За что меня міряне прозвали Рудымъ Панькомъ—ей Богу, не умѣю сказать. И волосы, кажется, у меня теперь болѣе сѣдые, чѣмъ рыжіе. Но у насъ, не извольте гнѣваться, такой обычай: какъ дадутъ кому люди какое прозвище, то и во вѣки-вѣковъ останется оно. Бывало, соберутся, наканунѣ праздничнаго дня, добрые люди въ гости, въ пасичникову лачужку, усядутся за столъ, — и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какіе-нибудь мужики хуторянскіе; да, можетъ, иному и повыше пасичника сдѣлали бы честь посѣщеніемъ. Вотъ, напримѣръ, знаете ли вы дьяка Диканьской церкви, Оому Григорьевича? Эхъ, голова! Что за исторіи умѣлъ онъ отпускать! Двѣ изъ нихъ найдете въ этой книжкѣ. Онъ никогда не носилъ пестредеваго халата, какой встрѣтите вы на многихъ деревен-

скихъ дьячкахъ; но заходите къ нему и въ будни, онъ васъ всегда приметъ въ балахонѣ изъ тонкаго сукна цвѣта застуженнаго картофельнаго киселя, за которое платилъ онъ въ Полтавѣ чуть не по шести рублей за аршинъ. Отъ сапогъ его, у насъ никто не скажетъ на цѣломъ хуторѣ, чтобы слышенъ былъ запахъ дегтя; но всякому извѣстно, что онъ чистилъ ихъ самымъ лучшимъ смальцемъ, какого, думаю, съ радостью иной мужикъ положилъ бы себѣ въ кашу. Никто не скажетъ также, чтобы онъ когда-либо утиралъ носъ полою своего балахона, какъ то дѣлаютъ иные люди его званія; но вынималъ изъ-за пазухи опрятно сложенный бѣлый платокъ, вышитый по всѣмъ краямъ красными нитками, и, исправивши, что слѣдуетъ, складывалъ его снова, по обыкновенію, въ двѣнадцатую долю и пряталъ за пазуху. А одинъ изъ гостей... Ну, тотъ уже былъ такой паничъ, что хоть сейчасъ нарядить въ застѣдатели или подкоморіи. Бывало, поставитъ передъ собою палецъ и, глядя на конецъ его, пойдетъ рассказывать—вычурно, да хитро, какъ въ печатныхъ книжкахъ! Иной разъ слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападетъ. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда онъ словъ понабрался такихъ? Ома Григорьевичъ разъ ему насчетъ этого славную сплелъ присказку: онъ рассказалъ ему, какъ одинъ школьникъ, учившійся у какого-то дьяка грамотѣ, пріѣхалъ къ отцу и сталъ такимъ латыньщикомъ, что позабылъ даже нашъ языкъ православный,—всѣ слова сворачиваетъ на *уесъ*: лопата у него—лопатусъ, баба—бабусъ. Вотъ, случилось разъ, пошли они вмѣстѣ съ отцомъ въ поле. Латыньщикъ увидѣлъ грабли и спрашиваетъ отца: «Какъ это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступилъ, разинувши ротъ, ногою на зубы. Тотъ не успѣлъ собраться съ отвѣтомъ, какъ ручка, размахнувшись, поднялась и—хватъ его по лбу! «Проклятыя грабли!» закричалъ школьникъ, ухватясь рукою за лобъ и подскочивши на аршинъ: «какъ же онѣ,—чортъ бы спихнулъ съ моста отца ихъ,—больно бьются!» Такъ вотъ какъ! припомнилъ и имя. голубчикъ!—Такая присказка не по душѣ пришлась затѣйливому рассказчику. Не говоря ни слова, всталъ онъ съ мѣста, разставилъ ноги свои посреди комнаты, нагнулъ голову немного впередъ, засунулъ руку въ задній кар-

манъ горохового кафтана своего, вытащилъ круглую, подъ лакомъ, табакерку, щелкнулъ пальцемъ по намалеванной рожѣ какого-то бусурманскаго генерала и, захвативши не малую порцію табаку, растертаго съ золою и листьями любистка, поднесъ ее коромысломъ къ носу и вытянулъ носомъ на лету всю кучу, не дотронувшись даже до большого пальца,—и все ни слова. Да какъ полѣзъ въ другой карманъ и вынулъ синій въ клѣткахъ бумажный платокъ, тогда только проворчалъ про-себя, чуть-ли еще не поговорку: *«Не мечите бисера передъ свиньями»*... «Быть же теперь ссорѣ», подумалъ я, замѣтивъ, что пальцы у Оомы Григорьевича такъ и складывались дать дулю. Къ счастью, старуха моя догадалась поставить на столъ горячій книшъ съ масломъ. Всѣ принялись за дѣло. Рука Оомы Григорьевича вмѣсто того, чтобъ показать шишъ, протянулась къ книшу, и, какъ всегда водится, начали прихваливать мастерицу-хозяйку. Еще былъ у насъ одинъ рассказчикъ; но тотъ (нечего бы къ ночи и вспоминать о немъ) такія выкапывалъ страшныя исторіи, что — волосы ходили по головѣ. Я нарочно и не помѣщалъ ихъ сюда: еще напугаешь добрыхъ людей такъ, что пасичника, прости Господи, какъ чорта всѣ стануть бояться. Пусть лучше, какъ доживу, если дастъ Богъ, до новаго года и выпущу другую книжку, тогда можно будетъ постращать выходцами съ того свѣта и дивами, какія творились въ старину, въ православной сторонѣ нашей. Межъ ними, статья-можетъ, найдете побасенки самого пасичника, какія рассказывалъ онъ своимъ внукамъ. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, лѣнь только проклятая рыться, наберется и на десять такихъ книжекъ.

Да, вотъ было и позабылъ самое главное: какъ будете, господа, ѣхать ко мнѣ, то прямехонько берите путь по столбовой дорогѣ на Диканьку. Я нарочно и выставилъ ее на первомъ листкѣ, чтобы скорѣе добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы слышались вдоволь. И то сказать, что тамъ домъ почише какого-нибудь пасичникова куреня. А про садъ и говорить нечего: въ Петербургѣ вашемъ, вѣрно, не сыщете такого. Пріѣхавши же въ Диканьку, спросите только перваго попавшагося навстрѣчу мальчишку, пасущаго въ запачканной рубашкѣ гусей: «А гдѣ живетъ пасичникъ Ру-

дый Панько?»—«А вотъ тамъ!» скажетъ онъ, указавши пальцемъ, и, если хотите, доведетъ васъ до самаго хутора. Прошу, однакожь, не слишкомъ закладывать назадъ руки и, какъ говорится, финтить, потому что дороги по хуторамъ нашимъ не такъ гладки, какъ передъ вашими хоромами. Оома Григорьевичъ, третьяго году, прїѣзжая изъ Диканьки, понавѣдался-таки въ проваль съ новою таратайкою своею и гнѣдою кобылою, несмотря на то, что самъ правилъ и что, сверхъ своихъ глазъ, надѣвалъ по временамъ еще покупные.

Зато уже, какъ пожелаете въ гости, то дынь подадимъ такихъ, какихъ вы отъ-роду, можетъ-быть, не ѣли; а меду, и забожусь, лучшаго не сыщете на хуторахъ: представьте себѣ, что, какъ внесешь сотъ, духъ пойдетъ по всей комнатѣ, вообразить нельзя, какой: чистъ, какъ слеза, или хрусталь дорогой, что бываетъ въ серьгахъ. А какими пирогами накормить моя старуха! Что за пироги, если-бъ вы только знали: сахаръ, совершенный сахаръ! А масло, такъ вотъ и течетъ по губамъ, когда начнешь ѣсть. Подумаешь, право: на чтò не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квасъ съ терновыми ягодами, или варенуху съ изюмомъ и сливами? Или, не случилось ли вамъ, подчасъ, ѣсть пугрю съ молокомъ? Боже ты мой, какихъ на свѣтѣ нѣтъ кушаньевъ! Станешь ѣсть—объяденье, да и полно: сладость неописанная! Прошлаго года... Однакожь, что я въ самомъ дѣлѣ разболтался?.. Прїѣзжайте только, прїѣзжайте поскорѣй; а накормимъ такъ, что будете рассказывать и встрѣчному и поперечному.

*Пасичникъ Рудый Панько.*





## СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА.

Мини нудно въ хати жить.  
Ой вези жъ мене изъ дому,  
Де багацько грому, грому,  
Де гонцють все дивки,  
Де гуляють парубки!

*Изъ старинной легенды.*

### I.

Какъ упоительнъ, какъ роскошенъ лѣтній день въ Мало-россиі! Какъ томительно-жарки тѣ часы, когда полдень блестя въ тишинѣ и зноѣ, и голубой, неизмѣримый океанъ, сладострастнымъ куполомъ нагнувшійся надъ землею, кажется, заснулъ, весь потонувши въ нѣгѣ, обнимая и сжимая прекрасную въ воздушныхъ объятіяхъ своихъ! На немъ ни облака; въ полѣ ни рѣчи. Все какъ будто умерло; вверху только, въ небесной глубинѣ, дрожитъ жаворонокъ, и серебряныя пѣсни летятъ по воздушнымъ ступенямъ на влюбленную землю, да изрѣдка крикъ чайки, или звонкій голосъ перепела отдается въ степи. Тѣниво и бездумно, будто гуляющіе безъ цѣли, стоятъ подоблачные дубы, и ослѣпительные удары солнечныхъ лучей зажигаютъ цѣлыя живописныя массы листьевъ, накидывая на другія темную, какъ ночь, тѣнь, по которой только при сильномъ вѣтрѣ прыщеть золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирныхъ насекомыхъ сыплются надъ пестрыми огородами, обсынаемыми статными подсолнечниками. Сѣрыя скирды сѣна и золотые снопы хлѣба станомъ располагаются въ полѣ и кочуютъ по его неизмѣримости. Нагнувшіяся отъ тяжести плодовъ широкія вѣтви черешень, сливъ, яблонь, грушъ; небо, его чистое зеркало—

рѣка въ зеленыхъ, гордо поднятыхъ рамахъ... какъ полно сладострастія и нѣги малороссійское лѣто!

Такою роскошью блистать одинъ изъ дней жаркаго августа тысячу восемьсотъ... восемьсотъ... да, лѣтъ тридцать будетъ назадъ тому, когда дорога, верстъ за десять до мѣстечка Сорочинецъ, кипѣла народомъ, поспѣшавшимъ со всѣхъ окрестныхъ и дальнихъ хуторовъ на ярмарку. Съ утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки съ солью и рыбою. Горы горшковъ, закутанныхъ въ сѣно, медленно двигались, кажется, скупая своимъ заключеніемъ и темнотою; мѣстами только какая-нибудь расписанная ярко миска, или макитра хвастливо выказывалась изъ высоко-взгроможденнаго на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонниковъ роскоши. Много прохожихъ поглядывало съ завистью на высокаго гончара, владѣльца сихъ драгоценностей, который медленными шагами шелъ съ своимъ товаромъ, заботливо окутывая глиняныхъ своихъ цеголей и кокетокъ ненавистнымъ для нихъ сѣномъ.

Одинокъ въ сторонѣ тащился на истомленныхъ волахъ возъ, наваленный мѣшками, пенькою, полотномъ и разною домашнею поклажею, за которымъ брелъ, въ чистой полотняной рубашкѣ и запачканныхъ полотняныхъ шароварахъ, его хозяинъ. Лѣнивою рукою обтиралъ онъ катившійся градомъ потъ со смуглаго лица и даже капавшій съ длинныхъ усовъ, напудренныхъ тѣмъ неумолимымъ парикмахеромъ, который безъ зову является и къ красавицѣ и къ уроду, и насильно пудрить, нѣсколько тысячъ уже лѣтъ, весь родъ человѣческій. Рядомъ съ нимъ шла привязанная къ возу кобыла, смиренный видъ которой обличалъ преклонныя лѣта ея. Много встрѣчныхъ, и особливо молодыхъ парубковъ, брались за шапку, поровнявшись съ нашимъ мужикомъ. Однакожъ, не сѣдые усы и не важная поступь его заставляли это дѣлать; стоило только поднять глаза немного вверхъ, чтобы увидѣть причину такой почтительности: на возу сидѣла хорошенькая дочка, съ круглымъ личикомъ, съ черными бровями, ровными дугами поднявшимися надъ свѣтлыми карими глазами, съ безпечно-улыбавшимися розовыми губками, съ повязанными на голову красными и синими лентами, которыя, вмѣстѣ съ длинными косами и пучкомъ поленьевъ прѣтовъ, богатою короною покоились на ея очаровательной головкѣ. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново...

и хорошенькіе глазки безпрестанно бѣгали съ одного предмета на другой. Какъ не разсѣяться! въ первый разъ на ярмаркѣ! Дѣвушка въ осьмнадцать лѣтъ въ первый разъ на ярмаркѣ!.. Но ни одинъ изъ прохожихъ и проѣзжихъ не зналъ, чего ей стоило упросить отца взять съ собою, который и душою радъ бы былъ это сдѣлать, если бы не злая мачиха, выучившаяся держать его въ рукахъ такъ же ловко, какъ онъ вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служеніе, теперь на продажу. Неугомонная супруга... Но мы и позабыли, что и она тутъ же сидѣла на высотѣ воза въ нарядной, шерстяной зеленой кофтѣ, по которой, будто по горностаевому мѣху, нашиты были хвостики красного только цвѣта, въ богатой плахтѣ, нестрѣвшею какъ шахматная доска, и въ ситцевомъ цвѣтномъ очинкѣ, придававшемъ какую-то особенную важность ея красному, полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь не-пріятное, столь дикое, что каждый тотчасъ спѣшилъ перенести встревоженный взглядъ свой на веселенькое личико дочки.

Глазамъ нашихъ путешественниковъ началъ уже открываться Псѣлъ; издали уже вѣяло прохладою, которая казалась ошутительнѣе послѣ томительнаго, разрушающаго жара. Сѣвѣзъ темно- и свѣтло-зеленые листья небрежно раскиданныхъ по лугу осокоровъ, березъ и тополей, засверкали огненныя, одѣтыя холодомъ искры, и рѣка-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленныя кудри деревъ. Своенравная, какъ она, въ тѣ упойтельные часы, когда вѣрное зеркало такъ завидно заключаетъ въ себѣ ея полное гордости и ослѣпительнаго блеска чело, лилейныя плечи и мраморную шею, ослѣвленную темною, упавшею съ русой головы, волною, когда съ презрѣніемъ кидаетъ одни украшенія, чтобы замѣнить ихъ другими, и капризамъ ея конца нѣтъ,—она почти каждый годъ перемѣняетъ свои окрестности, выбираетъ себѣ новый путь и окружаетъ себя новыми, разнообразными ландшафтами. Ряды мельницъ подымали на тяжелыя свои колеса широкія волны и мощно кидали ихъ, разбивая въ брызги, обсыпая пылью и обдувая шумомъ окрестность. Возъ съ знакомыми намъ пассажирами взѣхалъ въ это время на мостъ, и рѣка во всей красотѣ и величіи, какъ цѣльное стекло, раскинулась передъ ними. Небо. зеленые и синіе лѣса, люди,

возы съ горшками, мельницы — все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая въ голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечникъ, которымъ исправно занималась во все продолженіе пути, какъ вдругъ слова: «Ай да дивчина!» поразили слухъ ея. Оглянувшись, увидѣла она толпу стоявшихъ на мосту парубковъ, изъ которыхъ одинъ, одѣтый пощеголеватѣе прочихъ, въ бѣлой свиткѣ и въ сѣрой шапкѣ рѣшетилловскихъ смушекъ, подпершись въ бока, молодецки поглядывалъ на проезжающихъ. Красавица не могла не замѣтить его загорѣвшаго, но исполненнаго пріятности лица и огненныхъ очей, казалось, стремившихся видѣть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, можетъ-быть, ему принадлежало произнесенное слово. «Славная дивчина!» продолжалъ парубокъ въ бѣлой свиткѣ, не сводя съ нея глазъ. «Я бы отдалъ все свое хозяйство, чтобы поцѣловать ее. А вотъ впереди и дьяволъ сидитъ!» Хохотъ поднялся со всѣхъ сторонъ; но разряженной сожительницей медленно выступавшаго супруга не слишкомъ показалось такое привѣтствіе: красныя щеки ея превратились въ огненные, и трескъ отборныхъ словъ посыпался дождемъ на голову разгульнаго парубка.

«Чтобъ ты подавился, негодный бурлакъ! Чтобъ твоего отца горшкомъ въ голову стукнуло! Чтобъ онъ поскользнулся на льду, антихристъ проклятый! Чтобъ ему на томъ свѣтѣ чортъ бороду обжегъ!»

«Вишь, какъ ругается!» сказалъ парубокъ, вытаращивъ на нее глаза, какъ будто озадаченный такимъ сильнымъ залпомъ неожиданныхъ привѣтствій: «и языкъ у нея, у столѣтней вѣдьмы, не заболитъ выговорить эти слова!»

«Столѣтней!»... подхватила пожилая красавица. «Нечестивецъ! поди, умойся напередъ! Сорванецъ негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянъ. И отецъ дрянъ, и тетка дрянъ! Столѣтней!.. что у него молоко еще на губахъ...»

Тутъ возъ началъ спускаться съ мосту, и послѣднихъ словъ уже невозможно было разслушать; но парубокъ не хотѣлъ, кажется, кончить этимъ: не думая долго, схватилъ онъ комокъ грязи и швырнулъ вслѣдъ за нею. Ударъ былъ удачнѣе, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипокъ забрызганъ былъ грязью, и хохотъ разгульныхъ

повѣсь удвоился съ новою силою. Дородная щеголиха вскипѣла гнѣвомъ; но возъ отъѣхалъ въ это время довольно далеко, и мѣсть ея обратилась на безвинную падчерицу и медленнаго сожителя, который, привыкнувъ издавна къ подобнымъ явленіямъ, сохранять упорное молчаніе и хладнокровно принималъ мятежныя рѣчи разгнѣванной супруги. Однакожь, несмотря на это, неутомимый языкъ ея трещалъ и болтался во рту до тѣхъ поръ, пока не пріѣхали они въ пригородѣ, къ старому знакомому и куму, козаку Цыбулѣ. Встрѣча съ кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время изъ головы это непріятное происшествіе, заставивъ нашихъ путешественниковъ поговорить объ ярмаркѣ и отдохнуть немного послѣ дальняго пути.

## II.

Що Боже, ты мій Господе! чого нема на тій ярмарці! колеса, скло, деготь, тютюнъ, ремень, цыбуля, крамарі всяки... такъ, що хотъ бы въ кишені було рублявъ и съ тридцать, то и тогда бъ не закупувъ усіен ярмаркы.

*Изъ малороссійской комедіи.*

Вамъ, вѣрно, случалось слышать гдѣ-то валящійся отдаленный водопадъ, когда встревоженная окрестность полна гула, и хаосъ чудныхъ, неясныхъ звуковъ вихремъ носится передъ вами. Не правда ли, не тѣ ли самыя чувства мгновенно обхватываютъ васъ въ вихрѣ сельской ярмарки, когда весь народъ срастается въ одно огромное чудовище и шевелится всѣмъ своимъ туловищемъ на площади и по тѣснымъ улицамъ, кричить, гогочетъ, гремить? Шумъ, брань, мычаніе, бляеніе, ревъ — все сливается въ одинъ нестройный говоръ. /Волы, мѣшки, сѣно, цыгане, горшки, бабы, прѣники, шапки — все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется передъ глазами. Разноголосныя рѣчи потопаютъ другъ друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется отъ этого потопа; ни одинъ крикъ не выговорится ясно. Только хлопанье по рукамъ торгашей слышится со всѣхъ сторонъ ярмарки. Ломаются возъ, звенитъ желѣзо, гремятъ обрасываемыя на землю доски, и закружившаяся голова недоумѣваетъ, куда обратиться. Пріѣзжій мужикъ нашъ съ чернобровою дочкою давно уже толкался въ народъ: под-

ходить къ одному возу, щупать другой, примѣнивался къ цѣнамъ; а между тѣмъ, мысли его ворочались безостановочно около десяти мѣшковъ пшеницы и старой кобылы, привезенныхъ имъ на продажу. По лицу его дочки замѣтно было, что ей не слишкомъ пріятно тереться около воевъ съ мукою и пшеницею. Ей бы хотѣлось туда, гдѣ подъ полотняными ятками нарядно развѣшаны красныя ленты, серьги, оловянные, мѣдные кресты и дукаты. Но и тутъ, однакожь, она находила себѣ много предметовъ для наблюденія: ее смѣшило до крайности, какъ цыганѣ и мужикъ были одинъ другого по рукамъ, вскрикивая сами отъ боли; какъ пьяный жидъ давалъ бабѣ киселя \*); какъ поссорившіяся перекупки перекидывались бранью и раками: какъ москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою... Но вотъ, почувствовала она, кто-то дернуть ее за шитый рукавъ сорочки. Оглянулась—и парубокъ въ бѣлой свиткѣ, съ яркими очами, стоялъ передъ нею. Жилки ея вздрогнули, и сердце забилося такъ, какъ еще никогда, ни при какой радости, ни при какомъ горѣ: и чудно, и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что дѣлалось съ нею.

«Не бойся, серденько, не бойся!» говорилъ онъ ей вполголоса, взявши ея руку: «я ничего не скажу тебѣ худого!»

«Можетъ-быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого», — подумала про себя красавица: — «только мнѣ чудно... вѣрно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится такъ... а силы недостаетъ взять отъ него руку».

Мужикъ оглянулся и хотѣлъ что-то промолвить дочери, но въ сторонѣ послышалось слово: пшеница. Это магическое слово заставило его, въ ту же минуту, присоединиться къ двумъ громко разговаривавшимъ негоціантамъ, и приковавшимся къ нимъ вниманію уже ничто не въ состояніи было развлечь. Вотъ что говорили негоціанты о пшеницѣ.

### III.

Чи бачишь, винъ який парнище?

На свити трохи есть такихъ.

Сивуху такъ. мовъ брагу, хлыще!

*Котляревскій. Энеида.*

«Такъ ты думаешь, землякъ, что плохо пойдетъ наша пшеница?» говорилъ человекъ, съ виду похожій на заѣз-

\*) «Давать киселя» значитъ ударить кого-нибудь сапогомъ.

этого мѣшанина, обитателя какого-нибудь мѣстечка, въ пестрядевыхъ, запачканныхъ дѣтнемъ и засаленныхъ шароварахъ, другому, въ синей, мѣстами уже съ заплатами, свиткѣ и съ огромною шишкою на лбу.

«Да думать нечего тутъ: я готовъ вскинуть на себя петлю и болтаться на этомъ деревѣ, какъ колбаса передъ Рождествомъ на хатѣ, если мы продадимъ хоть одну мѣрку».

«Кого ты, землякъ, морочишь? Привозу вѣдь, кромѣ нашего, нѣтъ вовсе», возразилъ человѣкъ въ пестрядевыхъ шароварахъ.

«Да, говорите себѣ, что хотите», думалъ про себя отецъ нашей красавицы, не пропускавшій ни одного слова изъ разговора двухъ негоціантовъ: «а у меня десять мѣшковъ есть въ запасѣ».

«То-то и есть, что если гдѣ замѣшалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько отъ голоднаго москаля», значительно сказалъ человѣкъ съ шишкою на лбу.

«Какая чертовщина?» подхватилъ человѣкъ въ пестрядевыхъ шароварахъ.

«Слышалъ ли ты, что поговариваютъ въ народѣ?» продолжалъ съ шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмыя очи.

«Ну!»

«Ну, то-то, ну! Засѣдатель, чтобъ ему не довелось больше обтирать губъ послѣ панской сливочки, отвелъ для ярмарки проклятое мѣсто, на которомъ, хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тотъ старый, развалившійся сарай, что вонь-вонь стоитъ подъ горою?» (Тутъ любопытный отецъ нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во вниманіе). «Въ томъ сараѣ, то и дѣло, что водятся чертовскія шашни, и ни одна ярмарка на этомъ мѣстѣ не проходила безъ бѣды. Вчера волостной писарь проходилъ поздно вечеромъ, только глядь—въ слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло такъ, что у него морозъ подралъ по кожѣ. Того и жди, что опять покажется красная свитка!»

«Что жъ это за красная свитка?»

Тутъ у нашего внимательнаго слушателя волосы поднялись дыбомъ. Со страхомъ оборотился онъ назадъ и увидѣлъ, что дочка его и парубокъ спокойно стояли, обнявшись и нагѣвая другъ другу какія-то любовныя сказки, позабывъ



про всё находящіяся на свѣтѣ свитки. Это разогнало его страхъ и заставило обратиться къ прежней безпечности.

«Эге, ге, ге, землякъ! да ты мастеръ, какъ вижу, обниматься! А я на четвертый только день послѣ свадьбы выучился обнимать покойную свою Хвеську, да и то, спасибо куму: бывши *дружкою*, уже надоумилъ».

Парубокъ замѣтилъ тотъ же часъ, что отецъ его любезной не слишкомъ далекъ, и въ мысляхъ принялся строить планъ, какъ бы склонить его въ свою пользу.

«Ты, вѣрно, человекъ добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчасъ узнаю».

«Можетъ, и узнаю».

«Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу: тебя зовутъ Солопій Черевикъ».

«Такъ, Солопій Черевикъ».

«А взглядишь-ка хорошенько: не узнаешь ли меня?»

«Нѣтъ, не познаю. Не во гнѣвъ будь сказано: на вѣку столько довелось наглядѣться рожей всякихъ, что чортъ ихъ и припомнить всѣхъ!»

«Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!»

«А ты будто Охримовъ сынъ?»

«А кто-жъ? Развѣ одинъ только *лысый дидько*, если не онъ».

Тутъ пріятели побрались за шапки, и пошло лобыззаніе: нашъ Голопупенковъ сынъ, однакожъ, не теряя времени, рѣшился въ ту же минуту осадить новаго своего знакомаго.

«Ну, Солопій, вотъ, какъ видишь, я и дочка твоя полюбили другъ друга такъ, что хоть бы и навѣки жить вмѣстѣ».

«Что-жъ, Параска», сказалъ Черевикъ, оборотившись и смѣясь къ своей дочери: «можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, чтобы уже, какъ говорятъ, вмѣстѣ и того... чтобы и паслись на одной травѣ! Что? по рукамъ? А ну-ка, новобранный зять, давай могарычу!»

И всѣ трое очутились въ извѣстной ярмарочной рестораціи — подъ яткою у жиловки, усѣянною многочисленною флотиліей сулей, бутылей, флажекъ всѣхъ родовъ и возрастовъ.

«Эхъ, хватъ! за это люблю!» говорилъ Черевикъ, немного подгулявши и видя, какъ нареченный зять его налилъ кружку, величиною съ полкварти, и, нимало не поморщившись, выпилъ до дна, хвативъ потомъ ее вдре-

безги. «Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебѣ достать! Смотри, смотри: какъ онъ молодецки тинеть пѣнную!..»

И посмѣиваясь, и покачиваясь, побрелъ онъ съ нею къ своему возу; а нашъ парубокъ отправился по рядамъ съ красными товарами, въ которыхъ находились купцы даже изъ Гадяча и Миргорода; двухъ знаменитыхъ городовъ Полтавской губерніи, выглядывать получше деревянную люльку въ мѣдной, щегольской оправѣ, цвѣтистый по красному полю платокъ и шапку, для свадебныхъ подарковъ тестю и всѣмъ, кому слѣдуетъ.

#### IV.

Хоть чоловікамъ не онес  
Да коли жинця, бачишь, тес,  
Такъ треба угодыты...

*Бот. лярвскій.*

«Ну, жинка, а я нашелъ жениха дочкѣ!»

«Вотъ, какъ разъ до того теперь, чтобы жениховъ отыскивать! Дурень, дурень! тебѣ, вѣрно, и на роду написано остаться такимъ! Гдѣ-жъ таки ты видѣлъ, гдѣ-жъ таки ты слышалъ, чтобы добрый человѣкъ бѣгалъ теперь за женихами? Ты подумалъ бы лучше, какъ пшеницу съ рукъ сбыть. Хорошо долженъ быть и женихъ тамъ! Думаю, оборваннѣйшій изъ всѣхъ голодрабцевъ.

«Э, какъ бы не такъ! Посмотрѣла бы ты, что тамъ за парубокъ! Одна свитка больше стоитъ, чѣмъ твоя зеленая кофта и красные сапоги. А какъ сивуху *важно* дуешь!.. Чортъ меня возьми вмѣстѣ съ тобою; если я видѣлъ на вѣку своемъ, чтобы парубокъ духомъ вытянулъ полкварти, не поморщившись!»

«Ну, такъ: ему если пьяница да бродяга, такъ и его масти. Бьюсь обѣ закладъ, если это не тотъ самый сорванецъ, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сихъ поръ онъ не попадется мнѣ: я бы дала ему знать.»

«Что-жъ, Хивря, хоть бы и тотъ самый: чѣмъ же онъ сорванецъ?»

«Э! чѣмъ же онъ сорванецъ! Ахъ, ты, безмозглая башка! Слышишь! Чѣмъ же онъ сорванецъ? Куда же ты запряталъ дурацкіе глаза свои, когда проѣзжали мы мельницы? Ему,

хоть бы тутъ же, передъ его запачканнымъ въ табачный носомъ, нанесли жикѣ его бѣзчестья, ему бы и нуждочки не было.»

«Все, однакоже, я не вижу въ немъ ничего худого: паренъ хоть куда! Только развѣ, что заклеилъ на мигъ образину твою навозомъ.»

«Эге! да ты, какъ я вижу, слова не дашь мнѣ выговорить! А что это значить? Когда это бывало съ тобою? Вѣрно, успѣлъ уже хлебнуть, не продавши ничего?»

Тутъ Черевикъ нашъ замѣтилъ и самъ, что разговорился черезчуръ, и закрылъ въ одно мигновѣніе голову свою руками, предполагая, безъ сомнѣнія, что разгнѣванная сожительница не замедлитъ вцѣпиться въ его волосы своими супружескими когтями.

«Туда къ чорту! Вотъ тебѣ и свадьба!» думалъ онъ про себя, уклоняясь отъ сильно наступавшей супруги. «Придется отказать доброму человѣку ни за что, ни про что. Господи, Боже мой! за что такая напасть на насъ, грѣшныхъ? И такъ много всякой дряни на свѣтѣ, а Ты еще и жинокъ наплодилъ!»

## V.

Не хлился, явороньку,  
Ще ты зелененькій;  
Не журися, козаченьку,  
Ще ты молоденькій!

*Малоросс. пѣсня.*

Разсѣянно глядѣлъ парубокъ въ бѣлой свиткѣ, сидя у своего воза, на глухо шумѣвшій вокругъ него народъ. Усталое солнце уходило отъ міра, спокойно пропылавъ свой полдень и утро, и угасающій день плѣнительно и ярко румянился. Ослѣпительно блистали верхи бѣлыхъ шатровъ и ятокъ, осѣненные какимъ-то едва примѣтнымъ огненно-розовымъ свѣтомъ. Стекла наваленныхъ кучами оконницъ горѣли; зеленныя фляжки и чарки на столахъ у шинкарокъ превратились въ огненные; горы дынь, арбузовъ и тыквъ казались вылитыми изъ золота и темной мѣди. Говоръ примѣтно становился рѣже и глуше, и усталые языки перекупокъ, мужиковъ и цыганъ лѣнивѣе и медленнѣе поворачивались. Гдѣ-гдѣ начиналъ сверкать огонекъ, и благовонный

паръ отъ вярившихся гадюшекъ разнесся по утканымъ улицамъ.

«О чемъ загорюнился, Грыцько?» вскричалъ высокий, загорѣвшій цыганъ, ударивъ по плечу нашего парубка. «Что-жь, отдавай волю за двадцать!»

«Тебѣ бы все волю, да волю. Вашему племени все бы корысть только; поддѣть, да обмануть добраго челоуѣка.»

«Тѣфу, дьяволъ! Да тебя не на шутку забрало. Ужь не съ досады ли, что самъ навязалъ себѣ невѣсту?»

«Нѣтъ, это не по-моему: я держу свое слово; что разъ сдѣлать, тому и навѣки быть. А вотъ у хрыча Черевика нѣтъ совѣсти, видно, и на полъ-шеяга: сказалъ, да и назадъ... Ну, его и винить нечего: онъ — пень, да и полно. Все это штуки старой вѣдьмы, которую мы сегодня съ хлопцами на мосту ругнули на всѣ бока! Эхъ, если бы я былъ царемъ или паномъ великимъ, я бы первый перевѣшавъ всѣхъ тѣхъ дурней, которые позволяютъ себя сдѣлать бабамъ...»

«А спустишь воловъ за двадцать, если мы заставимъ Черевика отдать намъ Параску?»

Въ недоумѣніи посмотрѣлъ на него Грыцько. Въ смуглыхъ чертахъ цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вмѣстѣ высокомерное: челоуѣкъ, взглянувшій на него, уже готовъ былъ сознаться, что въ этой чудной душѣ кипитъ достоинства великія, но которымъ одна только награда есть на землѣ — висѣлица. Совершенно провалившійся между носомъ и острымъ подбородкомъ ротъ, вѣчно осѣненный язвительною улыбкой, небольшіе, но живые, какъ огонь, глаза и безпрестанно мѣняющіеся на лицѣ молніи предпріятій и умысловъ, — все это какъ будто требовало особеннаго, такого же страннаго для себя костюма, какой именно былъ тогда на немъ. Этотъ темно-коричневый кафтанъ, прикосновеніе къ которому, казалось, превратило бы его въ пыль; длинныя, валившіеся по плечамъ охлопьями черныя волосы; башмаки, надѣтые на босыя загорѣлыя ноги, — все это, казалось, приросло къ нему и составляло его природу.

«Не за двадцать, а за пятнадцать отдамъ, если не сожжешь только!» отвѣчалъ парубокъ, не сводя съ него испытующихъ очей.

«За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывая: за пятнадцать! Вотъ тебѣ и синица въ задатокъ!»

«Ну, а если солжешь?»

«Солгу — задатокъ твой!»

«Ладно! Ну, давай же по рукамъ!»

«Давай!»

## VI.

Отъ бѣды: Романъ иде, оттеперь, якъ разъ, насадыть мнѣ бебехивъ, да и вамъ, пане Хомо, не безъ дыха буде.

*Изъ малоросс. комедіи.*

«Сюда, Аѳанасій Ивановичъ! Вотъ тутъ плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь съ кумомъ подъ возы, чтобы москали на случай не подцѣпили чего.»

Такъ грозная сожительница Черевика ласково ободряла трусливо лѣпившагося около забора поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоялъ на немъ въ недоумѣніи, будто длинное, страшное привидѣніе, измѣривая окомъ, куда бы лучше прыгнуть, и, наконецъ, съ шумомъ обрушился въ бурьянъ.

«Вотъ бѣда! Не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, Боже оборони, шеи?» лепетала заботливая Хивря.

«Тсъ! Ничего, ничего, любезнѣйшая Хавронья Никифоровна!» болѣзненно и шопотно произнесъ поповичъ, подымаясь на ноги: «выключая только уязвленія со стороны крапивы, сего змѣеподобнаго злака, по выраженію покойнаго отца протопопа.»

«Пойдемте же теперь въ хату; тамъ никого нѣтъ. А я думала было уже, Аѳанасій Ивановичъ, что къ вамъ *болячка* или *соняшница* пристала: нѣтъ, да и нѣтъ. Каково же вы поживаете? Я слышала, что панъ-отцу перепало теперь не мало всякой всячины!»

«Сушая бездѣлица, Хавронья Никифоровна: батюшка всего получилъ за весь постъ мѣшковъ пятнадцать ярового, проса мѣшка четыре, кнышей съ сотню; а куръ, если сосчитать, то не будетъ и пятидесяти штукъ; яйца же большею частью протухлыя. Но воистину сладостныя приношенія, сказать примѣрно, единственно отъ васъ предстоитъ получить, Ха-

вронья Никифоровна!» продолжалъ поповичъ, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе.

«Вотъ вамъ и приношеніе, Аѳанасій Ивановичъ!» проговорила она, ставя на столъ миски и жеманно застегивая свою, будто не нарочно разстегнувшуюся, кофту: «вареники, галушечки пшеничныя, пампушечки, товченички!»

«Бьюсь объ закладъ, если это сдѣлано не хитрѣйшими руками изъ всего Евина рода!» сказалъ поповичъ, принимаясь за товченички и придвигая другою рукою варенички. «Однакожь, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждетъ отъ васъ кушанья послаще всѣхъ пампушечекъ и галушечекъ».

«Вотъ я уже и не знаю, какого вамъ еще кушанья хочется, Аѳанасій Ивановичъ!» отвѣчала дородная красавица, притворяясь не понимающею.

«Разумѣется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна!» шопотомъ произнесъ поповичъ, держа въ одной рукѣ вареникъ, а другою обнимая широкій станъ ея.

«Богъ знаетъ, что вы выдумываете, Аѳанасій Ивановичъ!» сказала Хивря, стыдливо потупивъ глаза свои. «Чего добраго, вы, пожалуй, затѣете еще цѣловаться!»

«Насчетъ этого я вамъ скажу, хоть бы и про себя», продолжалъ поповичъ: «въ бытность мою, примѣрно сказать, еще въ бурсѣ, вотъ, какъ теперь помню...»

Тутъ послышался на дворѣ лай и стукъ въ ворота. Хивря поспѣшно выбѣжала и возвратилась, вся поблѣднѣвши.

«Ну, Аѳанасій Ивановичъ, мы попались съ вами: народу стучится куча, и мнѣ почудился кумовъ голосъ...»

Вареникъ остановился въ горлѣ поповича... Глаза его выпятились, какъ будто какой-нибудь выходецъ съ того свѣта только-что сдѣлалъ ему передъ сномъ визитъ свой.

«Полѣзайте сюда!» кричала испуганная Хивря, указывая на положенныя подъ самымъ потолокомъ, на двухъ перекладинахъ, доски, на которыхъ была навалена разная домашняя рухлядь.

Опасность придала духу нашему герою. Опаматовавшись немного, вскочилъ онъ на лежанку и полѣзъ оттуда осторожно на доски; а Хивря побѣжала безъ памяти къ воротамъ, потому что стукъ повторялся въ нихъ съ болѣею силою и нетерпѣніемъ.

## VII.

Да тутъ чудасія, мосьпане!

*Изъ малоросс. комедіи.*

На ярмаркѣ случилось странное происшествіе: все наполнилось слухомъ, что гдѣ-то между товаромъ показалась *красная свитка*. Старухѣ, продававшей бублики, почудился сатана, въ образѣ свиньи, который безпрестанно наклонялся надъ возами, какъ будто искалъ чего. Это быстро разнеслось по всѣмъ угламъ уже утихнувшаго табора, и всѣ считали преступленіемъ не вѣрить, несмотря на то, что продавица бубликовъ, которой подвижная лавка была рядомъ съ яткою шинкарки, раскланивалась весь день безъ надобности и писала ногами совершенно подобіе своего лакомаго товара. Къ этому присоединились еще увеличенныя вѣсти о' чудѣ, видѣнномъ волостнымъ писаремъ въ развалившемся сараѣ, такъ что къ ночи всѣ тѣснѣе жались другъ къ другу; спокійство разрушилось, и страхъ мѣшадъ всякому сомкнуть глаза свои; а тѣ, которые были не совсѣмъ храброго десятка и запаслись ночлегами въ избахъ, убрались домой. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и Черевикъ съ кумомъ и дочкою, которые, вмѣстѣ съ напросившимися къ нимъ въ хату гостями, произвели сильный стукъ, такъ перепугавшій нашу Хиврю. Кума уже немного поразобало. Это можно было видѣть изъ того, что онъ два раза проѣхалъ съ своимъ возомъ по двору, покамѣстъ нашель хату. Гости тоже были всѣ въ веселомъ расположеніи, и, безъ церемоніи, вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего Черевика сидѣла, какъ на иголкахъ, когда принялись они шарить по всѣмъ угламъ хаты.

«Что кума!» вскричалъ вошедшій кумъ: «тебя все еще трясеть лихорадка?»

«Да, нездоровится», отвѣчала Хивря, безпокойно поглядывая на доски, наложенныя подъ потолкомъ.

«А ну, жена, достань-ка тамъ въ возу баклажку!» говорилъ кумъ пріѣхавшей съ нимъ женѣ: «мы черпнемъ ее съ добрыми людьми, а то проклятыя бабы понапугали насъ такъ, что и сказать стыдно. Вѣдь мы, ей-Богу, братцы, по пустякамъ пріѣхали сюда!» продолжалъ онъ, прихлебывая изъ глиняной кружки. «Я тутъ же ставлю новую шапку, если бабамъ не вздумалось посмѣяться надъ нами. Да хоть

бы и въ самомъ дѣлѣ сатана, — что сатана? Плюйте ему на голову! Хотя бы сію же минуту вздумалось ему стать вотъ здѣсь, напримѣръ, передо мною: будь я собачій сытъ, если не поднесъ бы ему дулю подъ самый носъ!»

«Отчего же ты вдругъ поблѣднѣлъ весь?» закричалъ одинъ изъ гостей, превышавшій всѣмъ головою и старавшійся всегда выказывать себя храбрецомъ.

«Я?... Господь съ вами! приснилось?»

Гости усмѣхнулись; довольная улыбка показалась на лицѣ рѣчистаго храбреца.

«Куда теперь ему блѣднѣть!» подхватилъ другой: «щеки у него расцвѣли, какъ макъ; теперь онъ не Цыбуля, а бу-рякъ, или лучше, — сама *красная свитка*, которая такъ напугала людей».

Баклажка прокатилась по столу и сдѣлала гостей еще веселѣе прежняго. Тутъ Черевикъ нашъ, котораго давно мучила *красная свитка* и не давала ни на минуту покою его любопытному духу, приступилъ къ куму.

«Скажи, будь ласковъ, кумъ! Вотъ прошусь, да и не до-прошусь исторіи про эту проклятую *свитку*.»

«Э, кумъ! оно бы не годилось рассказывать на ночь; да развѣ уже для того, чтобы угодить тебѣ и добрымъ людямъ (при семъ обратился онъ къ гостямъ), которымъ, я примѣ-чаю, столько же, какъ и тебѣ, хочется узнать про эту ди-ковинку. Ну, быть такъ. Слушайте-жъ!»

Тутъ онъ почесалъ плеча, утерся полою, положилъ обѣ руки на столъ и началъ:

«Разъ, за какую вину, ей-Богу, уже и не знаю, только выгнали одного чорта изъ пекла...»

«Какъ же кумъ!» прервалъ Черевикъ: «какъ же могло это случиться, чтобы чорта выгнали изъ пекла?»

«Что-жъ дѣлать, кумъ! выгнали да и выгнали, какъ со-баку мужикъ выгоняетъ изъ хаты. Можетъ-быть, на него нашла блажь сдѣлать какое-нибудь доброе дѣло: ну, и ука-зали двери. Вотъ, чорту бѣдному такъ стало скучно, такъ скучно по пеклѣ, что хотъ до петли. Что дѣлать? Давай съ горя пьянствовать. Угнѣздили въ томъ самомъ сараѣ, который, ты видѣлъ, развалился подъ горою и мимо кото-раго ни одинъ добрый человекъ не пройдетъ теперь, не оградивъ напередъ себя крестомъ святымъ: и сталъ чортъ



такой гуляка, какого не сыщешь между парубками: съ утра до вечера то и дѣла, что сидить въ шинкѣ!...»

Тутъ опять строгій Черевикъ прервалъ нашего рассказчика:

«Богъ знаетъ, что говоришь ты, кумъ! Какъ можно, чтобы чорта впустилъ кто-нибудь въ шинокъ? Вѣдь у него же есть, слава Богу, и когти на лапахъ, и рожки на головѣ.»

«Вотъ то-то и штука, что на немъ была шапка и рукавицы. Кто его распознаетъ? Гулять-гулять — наконецъ пришлось до того, что пропили все, что имѣлъ съ собою. Шинкаръ долго вѣрилъ, потомъ и пересталъ. Пришлось чорту заложить красную свитку свою, чуть ли не въ третѣ цѣны, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмаркѣ. Заложилъ и говоритъ ему: «Смотри жидъ, я приду къ тебѣ за свиткой ровно черезъ годъ: береги ее!» — и пропалъ, какъ будто въ воду. Жидъ разсмотрѣлъ хорошенько свитку: сукно такое, что и въ Миргородѣ не достанешь! а красный цвѣтъ горитъ, какъ огонь, такъ что не наглядѣлся бы! Вотъ жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесалъ себѣ пѣсики, да и содралъ съ какого-то приѣзжаго пана мало не пять червонцевъ. О срокѣ жидъ и позабылъ-было совсѣмъ. Какъ вотъ разъ, подъ вечерокъ, приходитъ какой-то человѣкъ: «Ну, жидъ, отдавай мою свитку!» Жидъ сначала было и не позналъ, а послѣ, какъ разглядѣлъ, такъ и прикинулся, будто въ глаза не видалъ: «Какую свитку? У меня нѣтъ никакой свитки! Я знать не знаю твоей свитки!» Тотъ, глядъ, и ушелъ; только къ вечеру, когда жидъ, заперши свою конуру и пересчитавши по сундукамъ деньги, накинута на себя простыню и началъ по-жидовски молиться Богу — слышитъ порошокъ... Глядъ — во всѣхъ окнахъ повывисились свиные рыла...»

Тутъ въ самомъ дѣлѣ послышался какой-то неясный звукъ, весьма похожій на хрюканье свиньи; всѣ поблѣднѣли... Потъ выступилъ на лицѣ рассказчика.

«Что?» произнесъ въ испугѣ Черевикъ.

«Ничего!...» отвѣчалъ кумъ, трясая всѣмъ тѣломъ.

«Ась!» отозвался одинъ изъ гостей.

«Ты сказать?...»

«Нѣтъ!»

«Кто-жъ это хрюкнулъ?»

«Богъ знаетъ, чего мы переполошились! Ничего нѣтъ!»

Всѣ боязливо стали осматриваться вокругъ и начали шарить по угламъ. Хивря была ни жива, ни мертва. «Эхъ вы, бабы! бабы!» произнесла она громко: «вамъ ли козаковать и быть мужьями! Вамъ бы веретено въ руки, да и посадить за гребень! Одинъ кто-нибудь, можетъ, прости Господи, [угрѣшилсѣ]; подь кѣмъ-нибудь скамейка закрипѣла, а всѣ и метнулись, какъ полоумные!»

Это привело въ стыдъ нашихъ храбрецовъ и заставило ихъ ободриться. Кумъ хлебнулъ изъ кружки и началъ рассказывать дѣтѣ: «Жидъ обмеръ; однакожъ свиньи на ногахъ, длинныхъ, какъ ходули, повѣзали въ окна и мигомъ оживили жидѣ плетеными тройчатками, заставляя его плясать повыше вотъ этого сволока. Жидъ — въ ноги, признался во всемъ... Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрѣла на дорогѣ какой-то цыганъ и продалъ свитку перекупкѣ; та привезла ее снова на Сдрочинскую ярмарку, но съ тѣхъ поръ уже никто ничего не сталъ покупать у нея. Перекупка дивилась, дивилась и, наконецъ, смекнула: вѣрно, виною всему красная свитка; не даромъ, надѣвая ее, чувствовала, что ее все давить что-то. Не думая, не не гадая долго, бросила въ огонь — не горитъ бѣсовская одежда!... «Э, да это чортовъ подарокъ!» Перекупка умудрилась и подсунула въ возъ одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спрашивать не хотеть. «Эхъ, недобрыя руки подкинули свитку!» Схватилъ топоръ и изрубилъ ее въ куски; глядь — и лѣзетъ одинъ кусокъ къ другому, и опять цѣлая свитка! Перекрестившись, хватилъ топоромъ въ другой разъ, куски разбросалъ по всему мѣсту и уѣхалъ. Только съ тѣхъ поръ каждый годъ, и какъ разъ во время ярмарки, чортъ съ свиною личиною ходить по всей площади, хрюкаетъ и подбираетъ куски своей свитки. Теперь, говорятъ, одного только лѣваго рукава недостаетъ ему. Люди съ тѣхъ поръ отъерщиваются отъ того мѣста, и вотъ уже будетъ лѣтъ съ десятокъ, какъ не было на немъ ярмарки. Да нелегкая дернула теперь засѣдателя от...»

Другая половина слова замерла на устахъ рассказчика: окно брякнуло съ шумомъ; стекла, звеня, вылетѣли вонъ, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, какъ будто спрашивая: «А что вы тутъ дѣлаете, добрые люди?»

### VIII.

...Пиджавъ хвистъ, мовъ собака,  
Мовъ Камнь, затрусывсь увесъ;  
Изъ носа потекла табака.

*Котляревскій. Энеида.*

Ужасъ оковалъ воѣхъ, находившихся въ хатѣ. Кумъ, съ разинутымъ ртомъ, превратился въ камень; глаза его выпучились, какъ будто хотѣли выстрѣлить; разверстые пальцы остались неподвижными на воздухѣ. Высокій храбрецъ, въ непообъдимомъ страхѣ, подскочилъ подъ потолокъ и ударился головою объ перекладину; доски посунулись, и поповичъ съ громомъ и трескомъ полетѣлъ на землю.

«Ай! ай! ай!» отчаянно закричалъ одинъ, повалившись на лавку въ ужасѣ и болтая на ней руками и ногами.

«Спасайте!» горланилъ другой, закрывшись тулупомъ.

Кумъ, выведенный изъ окаменѣнія вторичнымъ испугомъ, поползъ въ судорогахъ подъ подолъ своей супруги. Высокій храбрецъ ползъ въ печь, несмотря на узкое отверстіе, и самъ задвинулъ себя заслонкою. А Черевикъ, какъ будто облитый горячимъ кипяткомъ, схвативши на голову горшокъ, вмѣсто шапки, бросился къ дверямъ и, какъ полоумный, бѣжалъ по улицамъ, не видя подъ собой земли: одна усталость только заставила его уменьшить скорость бѣга. Сердце его колотилось, какъ мельничная ступа; потъ лилъ градомъ. Въ изнеможеніи готовъ уже былъ онъ упасть на землю, какъ вдругъ послышалось ему, что сзади кто-то гонится за нимъ... Духъ у него занялся...

«Чортъ! чортъ!» кричалъ онъ безъ памяти, утворя силы, и черезъ минуту безъ чувствъ повалился на землю.

«Чортъ! чортъ!» кричало вслѣдъ за нимъ, и онъ слышалъ только, какъ что-то съ шумомъ ринулось на него. Тутъ память отъ него улетѣла, и онъ, какъ страшный жилецъ тѣснаго гроба, остался нѣмъ и недвижимъ посреди дороги.

### IX.

Ще спереди, и такъ и такъ;—  
А сзади, ей же ей, на чорта!

*Изъ простонародной сказки.*

«Слыпишь, Власть!» говорилъ, приподнявшись ночью, одинъ изъ толпы народа, спавшаго на улицѣ: «возлѣ насъ кто-то помянулъ чорта!»

«Мнѣ какое дѣло?» проворчалъ, потягиваясь, лежавшій возлѣ него цыганъ: «хоть бы и всѣхъ своихъ родичей помянулъ!»

«Но, вѣдь, такъ закричалъ, какъ будто давятъ его!»

«Мало ли чего человекъ не совереть спросономъ!»

«Воля твоя, хоть посмотришь нужно. А выруби-ка огня!»

Другой цыганъ, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза освѣтилъ себя искрами, будто молніями, раздуть губами трутъ и, съ каганцемъ въ рукахъ — обыкновенною малороссійскою свѣтильнею, состоящею изъ разбитаго черепка, налитаго бараньимъ жиромъ — отправился, освѣщая дорогу.

«Стой! здѣсь лежитъ что-то. Свѣти сюда!»

Тутъ пристало къ нимъ еще нѣсколько человекъ.

«Что лежитъ, Власть?»

«Такъ, какъ будто бы два человека: одинъ наверху, другой внизу: который изъ нихъ чортъ, уже и не распознаю!»

«А кто наверху?»

«Баба!»

«Ну, вотъ, это-жъ-то и есть чортъ!»

Всеобщій хохотъ разбудилъ почти всю улицу.

«Баба влѣзла на человека: ну, вѣрно, баба эта знаетъ, какъ ѣздитъ!» говорилъ одинъ изъ окружавшей толпы.

«Смотрите, братцы!» говорилъ другой, поднимая черепокъ отъ горшка, котораго одна только уцѣлѣвшая половина держалась на головѣ Черевика: «какую шапку надѣлъ на себя этотъ добрый молодецъ!»

Увеличившійся шумъ и хохотъ заставили очнуться нашихъ мертвецовъ, Солопія и его супругу, которые, полные прошедшаго испуга, долго глядѣли въ ужасѣ неподвижными глазами на смуглыя лица цыганъ: озаряясь свѣтомъ, невѣрно и трепетно горѣвшимъ, они казались дикимъ сонмищемъ гномовъ, окруженныхъ тяжелымъ подземнымъ паромъ, во мракѣ непробудной ночи.

~~~~~  
**Х.**

Цуръ тобі, пекъ тобі, сатанынсько  
наважденіе!

*Изъ малорос. комедіи.*

Свѣжесть утра вѣяла надъ пробудившимися Сорочинцами. Глубы дыму со всѣхъ трубъ понеслись навстрѣчу показав-

шемуся солнцу. Ярмарка зашумѣла. Овцы заблеяли, лошади заржали; крикъ гусей и торговкоѣ понесся снова по всему табору — и страшные толки про *красную свитку*, наведшіе такую робость на народъ въ таинственные часы сумерекъ, исчезли съ появленіемъ утра.

Зѣвая и потягиваясь, дремалъ Черевикъ у кума подъ крытымъ соломою сараемъ, между воловъ, мѣшковъ муки и пшеницы, и, кажется, вовсе не имѣлъ желанія разстаться съ своими грѣзами, какъ вдругъ услышалъ голосъ, такъ же знакомый, какъ убѣжище лѣни — благословенная печь его хаты, или шинокъ дальней родственницы, находившійся не далѣе десяти шаговъ отъ его порога.

«Вставай, вставай!» дребезжала ему на ухо нѣжная супруга, дергая его изо всей силы за руку.

Черевикъ, вмѣсто отвѣта, надулъ щеки и началъ болтать руками, подражая барабанному бою.

«Сумасшедшій!» закричала она, уклоняясь отъ взмаха руки его, которою онъ чуть-было не задѣлъ ее по лицу.

Черевикъ поднялся, протеръ немного глаза и посмотрѣлъ вокругъ.

«Врагъ меня возьми, если мнѣ, голубко, не представилась твоя рожа барабаномъ, на которомъ меня заставили выбивать зорю, словно москаля, тѣ самыя свинья рожи, отъ которыхъ, какъ говорить кумъ...»

«Полно, полно тебѣ чепуху молоть! Ступай, води скорѣй кобылу на продажу. Смѣхъ, право, людямъ: пріѣхали на ярмарку, и хоть бы горсть пеньки продали...»

«Какъ же, жинка!» подхватилъ Солопій: «съ насъ, вѣдь, теперь смѣяться будутъ.»

«Ступай, ступай! съ тебя и безъ того смѣются!»

«Ты видишь, что я еще не умывался», продолжалъ Черевикъ, зѣвая и почесывая спину и стараясь, между прочимъ, выиграть время для своей лѣни.

«Вотъ не кстати пришла блажь быть чистошотнымъ! Когда это за тобою водилось? Вотъ ручникъ, оботри свою маску.»

Тутъ схватила она что-то свернутое въ комокъ — и съ ужасомъ отбросила отъ себя: это былъ *красный обилагъ свитки!*

«Ступай, дѣлай свое дѣло», повторила она, собравшись съ духомъ, своему супругу, видя, что у него страхъ отнять ноги и зубы колотились одинъ объ другой.

«Будетъ продажа теперь!» ворчалъ онъ самъ себѣ, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. «Не даромъ, когда я собирался на эту проклятую ярмарку, на душѣ было такъ тяжело, какъ будто кто взвалилъ на тебя дохлую корову, и воли два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, какъ вспомнилъ я теперь, не въ понедѣльникъ мы выѣхали. Ну, вотъ и зло все!... Неугомоненъ и чортъ проклятый: носилъ бы уже свитку безъ одного рукава; такъ нѣтъ, нужно же добрымъ людямъ не давать покою. Будь, примѣрно, я чортъ, — чего оборони Боже, — сталъ ли бы я таскаться ночью за проклятыми доскутьями?»

Тутъ философствованіе нашего Черевика прервано было толстымъ и рѣзкимъ голосомъ. Предъ нимъ стоялъ высокій цыганъ.

«Что продаешь, добрый человекъ?»

Продавецъ помолчалъ, посмотрѣлъ на него съ ногъ до головы и сказалъ съ спокойнымъ видомъ, не останавливаясь и не выпуская изъ рукъ узды: «Самъ видишь, что продаю!»

«Ремешки?» спросилъ цыганъ, поглядывая на находившуюся въ рукахъ его узду.

«Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки».

«Однакожь, чортъ возьми, землякъ, ты, видно, ее соломою кормилъ!»

«Соломоу?»

Тутъ Черевикъ хотѣлъ-было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи безстыднаго поносителя; но рука его съ необыкновенною легкостью ударилась въ подбородокъ. Глянуть — въ ней перерѣзанный узда и къ уздѣ привязанный — о, ужасъ! волосы его поднялись горюю! — кусокъ *краснаго рукава свитки*!... Плюнувъ, крестясь и болтая руками, побѣждалъ онъ отъ неожиданнаго подарка и, быстрее молодого парубка, пропалъ въ толпѣ.

## ХІ.

За мое-жь жито, та мене и побито.

*Пословица.*

«Лови! лови его!» кричало нѣсколько хлопцевъ въ тѣсномъ концѣ улицы, и Черевикъ почувствовалъ, что схваченъ вдругъ дюжими руками.

«Вязать его! Это тотъ самый, который укралъ у добраго человѣка кобылу».

«Господь съ вами! за что вы меня вяжете?»

«Онъ же и спрашиваетъ! А за что ты укралъ кобылу у приѣзжаго мужика, Черевика?»

«Съ ума спятили вы, хлопцы! Гдѣ видано, чтобы человекъ самъ у себя кралъ что-нибудь?»

«Старыя штуки! старыя штуки! Зачѣмъ бѣжалъ ты во весь духъ, какъ будто бы самъ сатана за тобою по пятамъ гнался?»

«Поневоля побѣжишь, когда сатанинская одежда...»

«Э, голубчикъ! обманывай другихъ этимъ. Будетъ еще тебѣ отъ засѣдателя за то, чтобы не пугалъ чертовщиною людей».

«Лови! лови его!» послышался крикъ на другомъ концѣ улицы: «вотъ онъ, вотъ бѣглець!»

И глазамъ нашего Черевика представился кумъ, въ самомъ жалкомъ положеніи, съ заложенными назадъ руками, ведомый нѣсколькими хлопцами.

«Чудеса завелись!» говорилъ одинъ изъ нихъ: «послушали бы вы, что рассказываетъ этотъ мошенникъ, которому стоить только заглянуть въ лицо, чтобы увидѣть вора. Когда стали спрашивать: отчего бѣжалъ онъ, какъ полоумный?—«полѣзъ», говоритъ, «въ карманъ понюхать табаку и, вмѣсто тавлинки, вытащилъ кусокъ чортовой свитки, отъ которой вспыхнулъ красный огонь, а онъ—давай Богъ ноги!»

«Эге, ге, ге! да это изъ одного гнѣзда обѣ птицы! Вязать ихъ обоихъ вмѣстѣ.»

## ХІІ.

«Чымъ, люди добри, такъ оце я провинился?»

«За що глузуете?» сказавъ нашъ неборака:

«За що зпущаетесь вы надо мною такъ?»

«За що, за що?» сказавъ тай попустывъ патіоки, Патіоки гиркихъ слизъ, узавшись за боки.

*Артемовскій-Гулакъ. Панъ та собака.*

«Можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, кумъ, ты подцѣпилъ что-нибудь?» спросить Черевикъ, лежа связанный, вмѣстѣ съ кумомъ, подъ соломенною яткою.

«И ты туда же, кумъ! Чтобы мнѣ отсохнули руки и

ноги, если что-нибудь когда-либо кралъ, выключая развѣ вареники съ сметаю у матери, да и то еще когда мнѣ было лѣтъ десять отъ роду».

«За чтѣ же это, кумъ, на насъ напасть такая? Тебѣ еще ничего: тебя винять по крайней мѣрѣ за то, что у другого украсть; но за чтѣ мнѣ, несчастливцу, недобрый поклепъ такой, будто у самого себя стянулъ кобылу? Видно, намъ, кумъ, на роду уже написано не имѣть счастья!»

«Горе намъ, сиротамъ бѣднымъ!»

Тутъ оба кума принялись всхлипывать навзрыдъ.

«Чтѣ съ тобою, Солопій?» сказалъ вошедшій въ это время Грыцько. «Кто это связалъ тебя?»

«А! Голопупенко, Голопупенко!» закричалъ, обрадовавшись, Солопій. «Вотъ, кумъ, это тотъ самый, о которомъ я говорилъ тебѣ. Эхъ, хватъ! Вотъ, Богъ убей меня на этомъ мѣстѣ, если не высудилъ при мнѣ кухоль мало не съ твою голову, и хоть бы разъ поморщился!»

«Что-жъ ты, кумъ, такъ не уважилъ такого славнаго парубка?»

«Вотъ, какъ видишь», продолжалъ Черевикъ оборотаясь къ Грыцьку: «наказалъ Богъ, видно, за то, что провинился передъ тобою. Прости, добрый человекъ! Ей-Богу, радъ бы былъ сдѣлать все для тебя... Но чтѣ прикажешь? Въ старухѣ дьяволъ сидитъ».

«Я не злопамятенъ, Солопій! Если хочешь, я освобожу тебя!»

Тутъ онъ мигнулъ хлопцамъ, и тѣ же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать.

«За то и ты дѣлай, какъ нужно: свадьбу! да и попируемъ такъ, чтобы цѣлый годъ болѣли ноги отъ гопака!»

«Добре! отъ добре!» сказалъ Солопій, хлопнувъ руками. «Да мнѣ такъ теперь сдѣлалось весело, какъ будто мою старуху москали увезли! Да чтѣ думать! годится, или не годится такъ—сегодня свадьбу, да и концы въ воду!»

«Смотри жъ, Солопій: черезъ часъ я буду къ тебѣ; а теперь ступай домой: тамъ ожидаютъ тебя покушники твоей кобылы и пшеницы!»

«Какъ, развѣ кобыла нашлась?»

«Нашлась!»

Черевикъ отъ радости сталъ неподвиженъ, глядя вслѣдъ уходившему Грыцьку.



«Что, Грыцько, худо мы сдѣлали свое дѣло?» сказали высокій цыганъ спѣшившему парубку. «Воле, вѣдь, мой теперь?»

«Твой! твой!»

### XIII.

Не бійся, матинко, не бійся,  
Въ червонные чобитки обуѣся.

Топчи вороги

Пидь ноги,

Щобъ твои пидкивки

Брязчали!

Щобъ твои вороги

Мовчали!

*Свадебная пѣсня.*

Подперши локтемъ хорошенькій подбородокъ свой, задумалась Параска, одна сидя въ хатѣ. Много грѣзь обвивалось около русой головы. Иногда вдругъ легкая усмѣшка трогала ея алыя губки, и какое-то радостное чувство подымало темныя ея брови, а иногда снова облако задумчивости опускало ихъ на карія, свѣтлыя очи.

«Ну, что, если не сбудется то, что говорилъ онъ?» шептала она съ какимъ-то выраженіемъ сомнѣнія. «Ну, что, если меня не выдадутъ? Если... Нѣтъ, нѣтъ; этого не будетъ! Мачиха дѣлаетъ все, что ей ни вздумается: развѣ и я не могу дѣлать того, что мнѣ вздумается? Упрямства-то и у меня достанетъ. Какой же онъ хорошій! Какъ чудно горять его черныя очи! Какъ любо говорить онъ: «*Парасю, голубко!*» Какъ пристала къ нему бѣлая свитка! Еще бы поясъ поярче!.. Пускай, уже правда, я ему вытку, какъ перейдемъ жить въ новую хату. Не подумаю безъ радости», продолжала она, вынимая изъ-за пазухи маленькое зеркало, обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмаркѣ, и глядясь въ него съ тайнымъ удовольствіемъ: «какъ я встрѣчусь тогда гдѣ-нибудь съ нею, я ей ни за что не поклонюсь, хотя она себѣ тресни. Нѣтъ, мачиха, полно колотить тебѣ свою падчерицу! Скорѣе песокъ взойдетъ на камнѣ и дубъ погнется въ воду, какъ верба, нежели я нагнусь передъ тобою! Да, я и позабыла... дай примѣрять очипокъ, хотя мачихинъ, какъ-то онъ мнѣ придется?»

Тутъ встала она, держа въ рукахъ зеркальце и, наклонясь къ нему головою, трепетно шла по хатѣ, какъ будто

бы опасаясь упасть, видя подъ собою, вмѣсто полу, потолокъ съ наложенными подъ нимъ досками, съ которыхъ низринулся недавно поповичъ, и полки, уставленные горшками.

«Что я, въ самомъ дѣлѣ, будто дитя», вскричала она, смѣясь: «боюсь ступить ногою!»

И начала притопывать ногами, — чѣмъ далѣе, все смѣлѣе; наконецъ, лѣвая рука ея опустилась и уперлась въ бокъ, и она пошла танцовать, побрякивая подковами, держа передъ собою зеркало и напѣвая любимую свою пѣсню:

Зелененькій барвиночку,  
Стелся низенько!  
А ты, мылый, чернобровый,  
Присунься близенько!  
Зелененькій барвиночку,  
Стелся ще ниже!  
А ты, мылый, чернобровый,  
Присунься ще ближе!

Черевикъ заглянулъ въ это время въ дверь и, увидя дочь свою танцующею передъ зеркаломъ, остановился. Долго глядѣлъ онъ, смѣясь невиданному капризу дѣвушки, которая, задумавшись, не примѣчала, казалось, ничего; но когда же услышалъ знакомые звуки пѣсни, жилки въ немъ зашевелились: гордо подбоченившись, выступилъ онъ впередъ и пустился въ присядку, позабывъ про всѣ дѣла свои. Громкій хохотъ кума заставилъ обоихъ вздрогнуть.

«Вотъ хорошо, батка съ дочкой затѣяли здѣсь сами свадьбу! Ступайте же скорѣе: женихъ пришелъ».

При послѣднемъ словѣ Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ея голову, а безпечный отецъ ея вспомнилъ, зачѣмъ пришелъ онъ.

«Ну, дочка, пойдемъ скорѣе! Хивря съ радости, что и продать кобылу, побѣжала», говорилъ онъ, боязливо оглядываясь по сторонамъ: «побѣжала закупать себѣ плахтъ и дерюгъ всякихъ, такъ нужно до прихода ея все кончить!»

Не успѣла Параска переступить за порогъ хаты, какъ почувствовала себя на рукахъ парубка въ бѣлой свиткѣ, который съ кучею народа выжидалъ ее на улицѣ.

«Боже, благослови!» сказалъ Черевикъ, складывая имъ руки. «Пусть ихъ живутъ, какъ вѣнки вяжутъ!» \*)

\*) Обыкновенное привѣтствіе у малороссіянъ новобрачнымъ.

Тутъ послышался шумъ въ народѣ.

«Я скорѣ тресну, чѣмъ допущу до этого!» кричала сожигальница Солошя, которую, однакожъ, съ хохотомъ отталкивала толпа народа.

«Не бѣсись, не бѣсись, жинка!» говорилъ хладнокровно Черевикъ, видя, что пара дюжихъ цыганъ овладѣла ея руками: «что сдѣлано, то сдѣлано: я перемѣнять не люблю!»

«Нѣтъ, нѣтъ! этого-то не будетъ!» кричала Хивря, но никто не слушалъ ея; нѣсколько паръ обступило новую пару и составили около нея непроницаемую танцующую стѣну.

Странное, неизъяснимое чувство овладѣло бы зрителемъ, при видѣ, какъ отъ одного удара смычкомъ музыканта, въ сермяжной свиткѣ, съ длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, къ единству и перешло къ согласію. Люди, на угрюмыхъ лицахъ которыхъ, кажется, вѣкъ не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все несло, все танцовало. Но еще страннѣе, еще неразгаданнѣе чувство пробудилось бы въ глубинѣ души при взглядѣ на старушекъ, на ветхихъ лицахъ которыхъ вѣяло равнодушіе могилы, толкавшихся между новымъ, смѣющимся, живымъ человѣкомъ. Безпечныя! даже безъ дѣтской радости, безъ искры сочувствія, которыхъ одинъ хмель только, какъ механикъ своего безжизненного автомата, заставляетъ дѣлать что-то подобное человѣческому, онѣ тихо покачивали охмелѣвшими головами, подплясывая за веселящимся народомъ, не обращая даже глазъ на молодую чету.

Громъ, хохотъ, пѣсни слышались тише и тише. Смычокъ умиралъ, слабѣя и теряя неясные звуки въ пустотѣ воздуха. Еще слышалось гдѣ-то топанье, что-то похожее на ропотъ отдаленнаго моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не такъ ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетаетъ отъ насъ, и напрасно одинокій звукъ думаетъ выразить веселье? Въ собственномъ зхѣ слышнѣть уже онъ грусть и пустыню, и дно внемлетъ ему. Не такъ ли рѣзвые други бурной и вольной юности, поодиначкѣ, одинъ за другимъ, теряются по свѣту и оставляютъ, наконецъ, одного стариннаго брата ихъ? Скучно оставленному! И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечѣмъ помочь ему!

1829.



## ВЕЧЕРЬ НАКАНУНЪ ИВАНА КУПАЛА.

БЫЛЬ,

*разсказанная дьячком \*\*\*ской церкви.*

За Оомою Григорьевичемъ водилась особенаго рода странность: онъ до смерти не любилъ пересказывать одно и то же. Бывало, иногда, если упросишь его разсказать что сызнава, то, смотри, что-нибудь да вкинетъ новое, или переиначить такъ, что узнать нельзя. Разъ, одинъ изъ тѣхъ господъ,—намъ, простымъ людямъ, мудрено и назвать ихъ: писаки они—не писаки, а вотъ то самое, что барышники на нашихъ ярмаркахъ: нахватаютъ, напросятъ, накрадутъ всякой всячины, да и выпускаютъ книжечки, не толще букваря, каждый мѣсяцъ или недѣлю,—одинъ изъ этихъ господъ и выманилъ у Оомы Григорьевича эту самую исторію, а онъ вовсе и позабылъ о ней. Только пріѣзжаетъ изъ Полтавы тотъ самый паничъ, въ гороховомъ кафтанѣ, про котораго говорилъ я, и котораго одну повѣсть вы, думаю, уже прочли,—привозитъ съ собою небольшую книжечку и, развернувши посерединѣ, показываетъ намъ. Оома Григорьевичъ готовъ уже былъ осѣдлатъ носъ свой очками, но, вспомнивъ, что онъ забылъ ихъ подмотать нитками и облѣпить воскомъ, передалъ мнѣ. Я, такъ какъ грамоту кое-какъ разумѣю и не ношу очковъ, принялся читать. Не успѣлъ перевернуть двухъ страницъ, какъ онъ вдругъ остановилъ меня за руку.

«Постойте! напередъ скажите мнѣ, что это вы читаете?»

Признаюсь, я немного пришелъ втупикъ отъ такого вопроса.

«Какъ, что читаю, Ома Григорьевичъ? — Вану былъ, ваши собственные слова.»

«Кто вамъ сказалъ, что это мои слова?»

«Да чего лучше? тутъ и напечатано: *разсказанная такимъ-то дьячкомъ.*»

«Плюйте-жъ на голову тому, кто это напечаталъ! *Брешущий москаль!* Такъ ли я говорилъ? *Що-то вже, якъ у кого чортъ ма. класки въ голови!* Слушайте, я вамъ разскажу ее сейчасъ.»

Мы придвинулись къ столу, и онъ началъ:

Дѣдъ мой (царство ему небесное! чтобъ ему на томъ свѣтѣ ѣлись одни только буханцы пшеничные, да маковники въ меду!) умѣлъ чудно разсказывать. Бывало, поведетъ рѣчь,—цѣлый день не подвинулся бы съ мѣста и все бы слушалъ. Ужъ не чета какому-нибудь нынѣшнему балагуру, который какъ начнетъ *москаля везти* \*), да еще и языкомъ такимъ, будто ему три дня ѣсть не давали, то хоть берись за шапку, да изъ хаты. Какъ теперь помню,—покойная старуха, мать моя, была еще жива, — какъ въ долгій зимній вечеръ, когда на дворѣ трещалъ морозъ и замуровывалъ наглухо узенькое окно нашей хаты, сидѣла она передъ гребнемъ, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напѣвая пѣсню, которая какъ будто теперь слышится мнѣ. Каганецъ, дрожа и вспыхивая, какъ бы пугаясь чего, свѣтилъ намъ въ хатѣ. Веретено жужжало: а мы всѣ, дѣти, собравшись въ кучку, слушали дѣда, не слѣзавшаго отъ старости болѣе пяти лѣтъ съ своей печки. Но ни дивныя рѣчи про давнюю старину, про наѣзды запорожцевъ, про ляховъ, про молодецкія дѣла Подковы. Полтора-Кожуха и Сагайдачнаго не занимали насъ такъ, какъ разсказы про какое-нибудь старинное чудное дѣло, отъ которыхъ всегда дрожь проходила по тѣлу и волосы ерошились на головѣ. Иной разъ страхъ, бывало, такой заберетъ отъ нихъ, что съ вечера все показывается, Богъ знаетъ, какимъ чудищемъ. Случится, ночью выйдешь за чѣмъ-нибудь изъ хаты, вотъ такъ и думаешь, что на по-

\*) Т. е. лгать.

стели твоей укладся спать выходець съ того свѣта. И, чтобы мнѣ не довелось рассказывать этого въ другой разъ, если я не принималъ часто издали собственную свитку, положенную въ головахъ, за свернувнагося дьявола. Но главное въ рассказахъ дѣда было то, что въ жизнь свою онъ никогда не лгалъ, и что, бывало, ни скажешь, то именно такъ и было.

Одну изъ его чудныхъ исторій перескажу теперь вамъ. Знаю, что много наберется такихъ умниковъ, подписывающихъ по судамъ и читающихъ даже гражданскую грамоту, которые, если дать имъ въ руки простой часословъ, не разобрали бы ни аза въ немъ, а показывать на позоръ свои зубы—есть умѣнье. Имъ все, что ни расскажешь, въ смѣхъ. Этакое невѣрье разошлось по свѣту! Да чего?—вотъ, не любя Богъ меня и Пречистая Дѣва!—вы, можетъ, даже не повѣрите: разъ какъ-то заикнулся про вѣдьмъ — что-жъ? нашелся сорви-голова—вѣдьмамъ не вѣрять! Да, славу Богу, вотъ я сколько живу уже на свѣтѣ, видѣлъ такихъ иновѣрцевъ, которымъ *провозить пона съ ртышетъ* \*) было легче, нежели нашему брату понюхать табакъ, а и тѣ отрещивались отъ вѣдьмъ. Но приснись имъ... не хочется только выговорить, что такое... Нечего и толковать объ нихъ.

Лѣтъ куды! болѣе чѣмъ за сто, говорилъ покойникъ дѣдъ мой, нашего села и не узналъ бы никто: хуторъ, самый бѣдный хуторъ! Избенокъ десять, не обмазанныхъ, не укрытыхъ, торчало то тамъ, то сямъ, посерединѣ поля. Ни плетня, ни сарая порядочнаго, гдѣ бы поставить скотину, или возъ. Это-жъ еще богачи такъ жили; а посмотрѣли бы на нашу братью, на голы: вырытая въ землѣ яма—вотъ вамъ и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живетъ тамъ человекъ Божій. Вы спросите, отчего они жили такъ? Бѣдность не бѣдность: потому что тогда козаковалъ почти всякій и набиралъ въ чужихъ земляхъ не мало добра; а больше отъ того, что незачѣмъ было заводить порядочную хатку. Какого народу тогда не шаталось по всѣмъ мѣстамъ: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои наѣдутъ кучами и обдираютъ своихъ же. Всего бывало.

Въ этомъ-то хуторкѣ показывался часто человекъ, или, лучше, дьяволъ въ человѣческомъ образѣ. Откуда онъ, зачѣмъ приходилъ, никто не зналъ. Гуляетъ, пьянствуетъ и

\*) Т. е. солгать на исповѣди.

вдруг пропадетъ, какъ въ воду, и слуху нѣтъ. Тамъ, глядь—снова будто съ неба упалъ, рыскаетъ по улицамъ села, котораго теперь и слѣду нѣтъ и которое было, можетъ, не дальше ста шаговъ отъ Диканьки. Понаберетъ встрѣчныхъ козаковъ: хохотъ, пѣсни, деньги сыплются, водка—какъ вода... Пристанетъ, бывало, къ краснымъ дѣвушкамъ: надарить лентъ, серегъ, монистъ—дѣвать некуда! Правда, что красныя дѣвушки немного призадумывались, принимая подарки: Богъ знаетъ, можетъ, въ самомъ дѣлѣ перешли они черезъ нечистыя руки. Родная тетка моего дѣда, содержавшая въ то время шинокъ по нынѣшней Опошнянской дорогѣ, въ которомъ часто разгульничалъ Басаврюкъ (такъ называли этого бѣсовскаго человѣка), именно говорила, что ни за какія благополучія въ свѣтѣ не согласилась бы принять отъ него подарковъ. Опять, какъ же и не взять?—всякаго проберетъ страхъ, когда нахмуритъ онъ, бывало, свои щетинистыя брови и пустить исподлобья такой взглядъ, что, кажется, унесъ бы ноги, Богъ знаетъ куда; а возьмешь, такъ на другую же ночь и тащится въ гости какой-нибудь пріятель изъ болота, съ рогами на головѣ, и давай душить за шею, когда на шеѣ монисто, кусать за палецъ, когда на немъ перстень, или тянуть за косу, когда вплетена въ нее лента. Богъ съ ними тогда, съ этими подарками! Но вотъ бѣда—и отвязаться нельзя: бросишь въ воду—плыветъ чертовскій перстень или монисто поверхъ воды, и къ тебѣ же въ руки.

Въ селѣ была церковь, чуть ли еще, какъ вспомню, не святого Пантелея. Жилъ тогда при ней іерей, блаженной памяти отецъ Аеанасій. Замѣтивъ, что Басаврюкъ и на Свѣтлое Воскресеніе не бывалъ въ церкви, задумалъ—было пожуричь его, наложить церковное покаяніе. Куда! насилу ноги унесъ. «Слушай, *наноче!*» загремѣлъ онъ ему въ отвѣтъ: «знай лучше свое дѣло, чѣмъ мѣшаться въ чужія, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залѣплено горячею кутьею!» Чтѣ дѣлать съ окаяннымъ? Отецъ Аеанасій объявилъ только, что всякаго, кто спознается съ Басаврюкомъ, станетъ считать за католика, врага Христовой церкви и всего человѣческаго рода.

Въ томъ селѣ былъ у одного козака, прозвищемъ Коржа, работникъ, котораго люди звали Петромъ Безроднымъ,—можетъ, оттого, что никто не помнилъ ни отца его, ни ма-

тери. Староста церкви говорилъ, правда, что они на другой же годъ померли отъ чумы; но тетка моего дѣда знать этого не хотѣла и всѣми силами старалась надѣлать его родней, хотя бѣдному Петру было въ ней столько нужды, сколько намъ въ прошлогоднемъ снѣгѣ. Она говорила, что отецъ его и теперь на Запорожьѣ, былъ въ плѣну у турокъ, натерпѣлся мукъ, Богъ знаетъ, какихъ и какимъ-то чудомъ, переодѣвшись евнухомъ, далъ тягу. Чернобровымъ дивчатамъ и молодежи мало было нужды до родни его. Онѣ говорили только, что если бы одѣть его въ новый жупанъ, затянуть краснымъ поясомъ, надѣть на голову шапку изъ черныхъ смушекъ съ щегольскимъ синимъ верхомъ, привѣсить къ боку турецкую саблю, дать въ одну руку малахай, въ другую люльку въ красивой оправѣ, то заткнулъ бы онъ за поясъ всѣхъ парубковъ тогдашнихъ. Но то бѣда, что у бѣднаго Петруся всего-на-все была одна сѣрая свитка, въ которой было больше дыръ, чѣмъ у иного жида въ карманѣ злотыхъ. И это бы еще не большая бѣда, а вотъ бѣда: у стараго Коржа была дочка, красавица, какую, я думаю, врядъ ли доставалось вамъ видывать. Тетка покойнаго дѣда рассказывала, — а женщинѣ, сами знаете, легче поцѣловаться съ чортомъ, не во гнѣвъ будь сказано, нежели назвать кого красавицею, — что полненькія щеки козачки были свѣжи и ярки, какъ макъ самаго тонкаго розоваго цвѣта, когда, умывшись Божьею росой, горитъ онъ, распрямляетъ листики и охорашивается передъ только-что поднявшимся солнышкомъ; что брови, словно черные шнурочки, какіе покупаютъ теперь для крестовъ и дукатовъ дѣвушки наши у проходящихъ по селямъ съ коробками москалей, ровно нагнувшись, какъ будто глядѣлись въ ясныя очи; что ротикъ, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и созданъ былъ, чтобы выводить соловьиныя пѣсни; что волосы ея, черные, какъ крылья ворона, и мягкіе, какъ молодой лень (тогда еще дѣвушки наши не заплетали ихъ въ дрибушки, перевивая красивыми, яркихъ цвѣтовъ, синдячками), падали курчавыми кудрями на шитый золотомъ кунтушъ. Эхъ! Не доведи Господь возглашать мнѣ больше на клиросѣ алилуя, если бы, вотъ тутъ же, не расцѣловать ея, несмотря на то, что сѣдъ пробирается по всему старому лѣсу, покрывающему мою макушку, и подъ бокомъ моя старуха, какъ бѣльмо въ глазу. Ну, если гдѣ парубокъ и дѣвка



живуть близко одинъ отъ другого... сами знаете, что выходить. Бывало, ни свѣтъ, ни заря, подковы красныхъ сапоговъ и примѣтны на томъ мѣстѣ, гдѣ раздобаривала Пидорка съ своимъ Петрусемъ. Но все бы Коржу и въ умъ не пришло что-нибудь недоброе, да разъ,—ну, это уже и видно, что не кто другой, какъ лукавый дернулъ, — вздумалось Петрусь, не осмотрѣвшись хорошенько въ сѣняхъ, вѣшнуть поцѣлуй, какъ говорятъ отъ всей души, въ розовыя губки козачки, и тотъ же самый лукавый,—чтобъ ему, собачьему сыну, приснился крестъ святой!—настроилъ сдору стараго хрѣна отворить дверь хаты. Одеревянѣлъ Коржъ, разинувъ ротъ и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцѣлуй, казалось, оглушилъ его совершенно. Ему почудился онъ громче, чѣмъ ударъ макогона объ стѣну, которымъ обыкновенно въ наше время мужикъ прогоняетъ кутю, за немѣнѣемъ фузен и пороха.

Очнувшись, снялъ онъ со стѣны дѣдовскую нагайку и уже хотѣлъ-было покропить ею спину бѣднаго Петра, какъ откуда ни возмись шестилѣтній братъ Пидоркинъ, Ивась, прибѣжалъ и въ испугѣ схватилъ ручонками его за ноги, закричавъ: «Тятя, тятя! не бей Петруса!» Что прикажешь дѣлать? У отца сердце не каменное: повѣсивши нагайку на стѣну, вывелъ онъ его потихоньку изъ хаты: «Если ты мнѣ когда-нибудь покажешься въ хатѣ, или хоть только подъ окнами, то слушай, Петро: ей-Богу, пропадутъ черныя усы, да и оселедецъ твой,—вотъ уже онъ два раза обматывается около уха,—не будь я Терентій Коржъ, если не распрощается съ твоею макушей!» Сказавши это, далъ онъ ему легонькою рукою стусана въ затылокъ, такъ что Петрусь, не взвѣдя земли, полетѣлъ стремглавъ. Вотъ тебѣ и доцѣловались! Взяла кручина нашихъ голубковъ; а тутъ и слухъ по селу, что къ Коржу повадился ходить какой-то ляхъ, обшитый золотомъ, съ усами, съ саблею, со шпорами, съ карманами, бренчавшими какъ звонокъ отъ мѣшечка, съ которымъ понамарь нашъ, Тарась, отправляется каждый день по церкви. Ну, извѣстно, зачѣмъ ходятъ въ отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вотъ, одинъ разъ Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: «Ивасю мой милый, Ивасю мой любимый! бѣги къ Петрусь, мое золотое дитя, какъ стрѣла изъ лука; расскажи ему все: любила-бъ его карія очи, цѣловала бы его бѣлое

личко, да не велить судьба моя. Не одинъ ручникъ вымочила горючими слезами. Топно мнѣ, тяжело на сердцѣ. И родной отецъ — врагъ мнѣ: неволить итти за нелюбаго ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовить, только не будетъ музыки на нашей свадьбѣ: будутъ дьяки пѣть, вмѣсто кобзь и сопилокъ. Не пойду я танцовать съ женихомъ своимъ: понесутъ меня. Темная, темная моя будетъ хата! — пзъ кленоваго дерева, и, вмѣсто трубы, крестъ будетъ стоять на крышѣ!»

Какъ будто окаменѣвъ, не сдвинувшись съ мѣста, слушалъ Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины слова. «А я думалъ, несчастный, итти въ Крымъ и Туречину, навоевать золота и съ добромъ приѣхать къ тебѣ, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глазъ поглядѣлъ на насъ. Будетъ же, моя дорогая рыбка, будетъ и у меня свадьба: только и дьяковъ не будетъ на той свадьбѣ—воронъ черный прокрячетъ, вмѣсто попа, надо мною; гладкое поле будетъ моя хата; сизая туча—моя крыша; орель выклюетъ мои карія очи; вымоютъ дожди козацкія косточки, и вихоръ высушитъ ихъ. Но что я? На кого, кому жаловаться? Такъ уже, видно, Богъ велѣлъ! Пропадать, такъ пропадать!» — Да прямехонько и побрелъ въ шинокъ.

Тетка покойнаго дѣда немного изумилась, увидѣвши Петруся въ шинкѣ, да еще въ такую пору, когда добрый человекъ идетъ къ заутрени, и выпучила на него глаза, какъ будто спросонья, когда потребовать онъ кухоль сивухи, мало не съ полведра. Только напрасно думалъ бѣдняжка залить свое горе. Водка щипала его за языкъ, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинулъ отъ себя кухоль на землю. «Полно горевать тебѣ, козакъ!» загремѣло что-то басомъ надъ нимъ. Оглянулся: Басаврюкъ! У! какая образина! Волосы—щетина, очи—какъ у вола. «Знаю, чего недостаетъ тебѣ: вотъ чего!» Тутъ брякнулъ онъ съ бѣсовскою усмѣшкою кожанымъ, висѣвшимъ у него возлѣ пояса, кошелькомъ. Вздогнувъ Петро. «Ге, ге, ге! да какъ горить!» заревѣлъ онъ, пересыпая на руку червонцы: «Ге, ге, ге! да какъ звенить! А вѣдь и дѣла только одного потребуютъ за цѣлую гору такихъ цѣдекъ». — «Дьяволъ!» закричалъ Петро. «Давай его! на все готовъ!» Хлопнули по рукамъ. «Смотри, Петро, ты поспѣлъ какъ разъ въ пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь въ году и цвѣтеть

папоротникъ. Не прозѣвай! Я тебя буду ждать о полночи въ Медвѣжьемъ оврагѣ».

Я думаю, куры такъ не дожидаются той поры, когда баба вынесетъ имъ хлѣбныхъ зеренъ, какъ дожидался Петрусь вечера. То и дѣло, что смотрѣлъ, не становился ли тѣнь отъ дерева длиннѣе, не румянится ли понизившееся солнышко, и чѣмъ далѣе, тѣмъ нетерпѣливѣй. Экая долго-та! Видно, день Божій потерялъ гдѣ-нибудь конецъ свой. Вотъ уже и солнца нѣтъ. Небо только краснѣетъ на одной сторонѣ. И оно уже тускнѣетъ. Въ полѣ становится холоднѣй. Примеркаетъ, примеркаетъ и — смерклось. Насилу! Съ сердцемъ, только-что не хотѣвшимъ выскочить изъ груди, собрался онъ въ дорогу и бережно спустился густымъ лѣсомъ въ глубокий яръ, называемый Медвѣжьимъ оврагомъ. Басаврюкъ уже поджидалъ тамъ. Темно, хоть въ глаза выстрѣли. Рука объ руку, пробирались они по топкимъ болотамъ, цѣпляясь за густо разросшійся терновникъ и спотыкаясь почти на каждомъ шагу. Вотъ и ровное мѣсто. Оглядѣлся Петро: никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тутъ остановился и Басаврюкъ.

«Видишь ли ты, стоятъ передъ тобою три пригорка? Много будетъ на нихъ цвѣтовъ разныхъ; но сохрани тебя нездѣшная сила сорвать хоть одинъ. Только же зацвѣтетъ папоротникъ, хватай его и не оглядывайся, что бы тебѣ позади ни чудилось».

Петро хотѣлъ-было спросить... глядь — и нѣтъ уже его. Подошелъ къ тремъ пригоркамъ; гдѣ же цвѣты? Ничего не видать. Дикій бурьянъ чернѣлъ кругомъ и глушилъ все своею густотою. Но вотъ блеснула на небѣ зарница, и передъ нимъ показалась цѣлая гряда цвѣтовъ, все чудныхъ, все невиданныхъ; тутъ же и простые листья папоротника. Поусомнился Петро и въ раздумьи сталъ передъ ними, подпершись обѣими руками въ боки.

«Что-жъ тутъ за невидальщина? Десять разъ на день, случается, видишь это зелье: какое-жъ тутъ диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмѣяться?»

Глядь — краснѣетъ маленькая пѣвѣточная почка и, какъ будто живая, движется. Въ самомъ дѣлѣ чудно! Движется и становится все больше, больше, и краснѣетъ, какъ горячій уголь. Вспыхнула звѣздочка, что-то тихо затрещало —

и цвѣтокъ развернулся передъ его очами, словно пламя, освѣтивъ и другіе около себя.

«Теперь пора!» подумалъ Петро и протянулъ руку. Смотрить, тянутся изъ-за него сотни мохнатыхъ рукъ также къ цвѣтку, а позади его что-то перебѣгаетъ съ мѣста на мѣсто. Зажмуривъ глаза, дернулъ онъ за стебелекъ и цвѣтокъ остался въ его рукахъ. Все утихло. На пнѣ показался сидящимъ Басаврюкъ, весь синій, какъ мертвецъ. Хоть бы пошевелился однимъ пальцемъ. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; ротъ вполонину разинуть, и ни отвѣта. Вокругъ не шелохнетъ. Ухъ, страшно!.. Но вотъ послышался свистъ, отъ котораго захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумѣла, цвѣты начали между собою разговаривать головскомъ тоненькимъ, словно серебряные колокольчики; деревья загремѣли сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдругъ ожило, очи сверкнули. «Насилу воротилась, яга!» проворчалъ онъ сквозъ зубы. «Гляди, Петро, станетъ передъ тобою сейчасъ красавица: дѣлай все, что ни прикажетъ, не то пропалъ навѣки!» Тутъ раздѣлилъ онъ суковатою палкою кустъ терновника, и передъ ними показалась избушка, какъ говорится, на курьихъ ножкахъ. Басаврюкъ ударилъ кулакомъ, и стѣна зашаталась. Большая черная собака выбѣжала навстрѣчу и съ визгомъ, оборотившись въ кошку, кинулась въ глаза имъ. «Не бѣсись, не бѣсись, старая чертовка!» проговорилъ Басаврюкъ, приправивъ такимъ словомъ, что добрый человѣкъ и уши бы заткнулъ. Глядь, вмѣсто кошки, старуха съ лицомъ сморщившимся, какъ печеное яблоко, вся согнутая въ дугу; носъ съ подбородкомъ словно щипцы, которыми щелкають орѣхи. «Славная красавица!» подумалъ Петро, и мурашки пошли по спинѣ его. Вѣдьма вырвала у него цвѣтокъ изъ рукъ, наклонилась и что-то долго шептала надъ нимъ, впрыскивая какую-то воду. Искры посыпались у ней изо рта, пѣна показалась на губахъ. «Бросай!» сказала она, отдавая цвѣтокъ ему. Петро подбросилъ, и, что за чудо? цвѣтокъ не упалъ прямо, но долго казался огненнымъ шарикомъ посреди мрака и, словно лодка, плавалъ по воздуху; наконецъ, потихоньку началъ спускаться ниже и упалъ такъ далеко, что едва примѣтна была звѣздочка, не больше маковаго зерна. «Здѣсь!» глухо прохрипѣла старуха, а Басаврюкъ, подавая ему заступъ,

примолвить: «Копай здѣсь, Петро; тутъ увидишь ты столько золота, сколько ни тебѣ, ни Коржу не снилось». — Петро, поплевавъ въ руки, схватилъ заступъ, надавилъ ногою и выворотилъ землю, въ другой, въ третій, еще разъ... Что-то твердое!.. Заступъ звенить и нейдетъ далѣе: Тутъ глаза его ясно начали различать небольшой, окованный желѣзомъ, сундукъ. Уже хотѣлъ онъ было достать его рукою, но сундукъ сталъ уходить въ землю, и все, чѣмъ далѣе, глубже, глубже; а позади его слышался хохотъ, болѣе схожій съ змѣинымъ шипѣньемъ. «Нѣтъ, не видать тебѣ золота, покаместъ не достанешь крови человѣческой!» сказала вѣдьма и подвела къ нему дитя, лѣтъ шести, накрытое бѣлою простынею, показывая знакомъ, чтобы онъ отскѣкъ ему голову. Остолбенѣлъ Петро. Малость, отрѣзать ни за что, ни про что человѣку голову, да еще и безвинному ребенку! Въ сердцахъ, сдернувъ онъ простыню, накрывавшую его голову, и что же? Передъ нимъ стоялъ Ивась. И ручонки сложило бѣдное дитя на-крестъ, и головку повѣсило... Какъ бѣшенный, подскочилъ съ ножомъ къ вѣдьмѣ Петро и уже занесъ-было руку...

«А что ты обѣщалъ за дѣвушку?..» грянулъ Басаврюкъ и словно пулю посадилъ ему въ спину. Вѣдьма топнула ногою: синее пламя выхватилось изъ земли; середина ея вся освѣтилась и стала какъ будто изъ хрусталя вылита, и все, что ни было подъ землею, сдѣлалось видимо, какъ на ладони. Червонцы, дорогіе камни въ сундукахъ, въ котлахъ, грудами были навалены подъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ они стояли. Глаза его загорѣлись... умъ помутился... Какъ безумный, ухватился онъ за ножъ, и безвинная кровь брызнула ему въ очи... Дьявольскій хохотъ загремѣлъ со всѣхъ сторонъ. Безобразныя чудища стаями скакали передъ нимъ. Вѣдьма, вцѣпившись руками въ обезглавленный трупъ, какъ волкъ, пила изъ него кровь... Все пошло кругомъ въ головѣ его! Собравши всѣ силы, бросился онъ бѣжать. Все покрьдось передъ нимъ краснымъ свѣтомъ. Деревья всѣ въ крови, казалось, горѣли и стонали. Небо, раскалившись, дрожало... Огненные пятна, что молніи, мерещились въ его глазахъ. Выбившись изъ силъ, вбѣжалъ онъ въ свою лачужку и, какъ снопъ, повалился на землю. Мертвый сонъ охватилъ его.

Два дня и двѣ ночи спалъ Петро безъ просыпу. Очнув-

шись на третій день, долго осматривалъ онъ углы своей хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была какъ карманъ стараго скряги, изъ котораго полухи не выманишь. Потянувшись немного, услышалъ онъ, что въ ногахъ брякнуло. Смотрить: два мѣшка съ золотомъ. Тутъ только, будто сквозъ сонъ, вспомнилъ онъ, что искать какого-то клада, что было ему одному страшно въ дѣсу... Но за какую цѣну, какъ достался онъ, — этого никакимъ образомъ не могъ понять.

Увидѣвъ Коржъ мѣшки и — разнѣжился. «Сякой, такой Петрусь, немазанный! Да я ли не любилъ его? Да не былъ ли у меня онъ, какъ сынъ родной?» И понесъ хрычъ небывальщину, такъ что того до слезъ разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, какъ проходившіе мимо цыгане украли Ивася; но Петро не могъ даже вспомнить его: такъ обморочила проклятая бѣсовщина! Мѣшкать было не зачѣмъ. Поляку дали подъ носъ дулю, да и заварили свадьбу: напекли шишекъ, напили ручниковъ и хустокъ, выкатили бочку горѣлки, посадили за столъ молодыхъ, разрѣзали коровай, брякнули въ бандуры, цымбалы, сопилки, кобзы — и пошла потѣха...

Въ старину свадьба водилась не въ сравненіе съ нашею. Тетка моего дѣда, бывало, расскажетъ — люли только! Какъ дѣвчата, въ нарядномъ головномъ уборѣ, изъ желтыхъ, синихъ и розовыхъ стричекъ, поверхъ которыхъ навязывался золотой галунъ, въ тонкихъ рубашкахъ, вышитыхъ по всему шву краснымъ шелкомъ и унизанныхъ мелкими серебряными цвѣточками, въ сафьянныхъ сапогахъ на высокихъ желѣзныхъ подковахъ, плавно, словно павы, и съ шумомъ, что вихорь, скакали въ горницѣ. Какъ молодицы, съ корабликомъ на головѣ, котораго верхъ сдѣланъ былъ весь изъ сutoзолотой парчи, съ небольшимъ вырѣзомъ на затылкѣ, откуда выглядывалъ золотой очипокъ, съ двумя вылавшимися, одинъ напередъ, другой назадъ, рожками самаго мелкаго чернаго смушка, въ синихъ, изъ лучшаго полутабенеку, съ красными клапанами, кунтушахъ, важно подбоченившись, выступали поодиночкѣ и мѣрно выбивали гопака. Какъ парубки, въ высокихъ козацкихъ шапкахъ, въ тонкихъ суконныхъ свиткахъ, затянутыхъ шитыми серебромъ поясами, съ люльками въ зубахъ, разсыпались передъ ними мелкимъ бѣсомъ и подпускали турусы. Самъ Коржъ

не утерпѣлъ, глядя на молодыхъ, чтобъ не трихнуть стариною. Съ бандурою въ рукахъ, потягивая люльку и вмѣстѣ припѣвая, съ чаркою на головѣ, пустился старичина, при громкомъ крикѣ гулякъ, въ присядку. Чего не выдумаютъ навеселѣ? Начнутъ, бывало, наряжаться въ хари, — Боже ты мой, на человѣка не похожи! Ужъ не чета нынѣшнимъ переодѣваньямъ, что бывають на свадьбахъ нашихъ. Что теперь? только что корчатъ цыганокъ да москалей. Нѣтъ, вотъ, бывало, одинъ одѣнется жидомъ, а другой чортомъ, начнутъ сперва цѣловаться, а послѣ ухватятся за чубы... Богъ съ вами! Смѣхъ нападетъ такой, что за животъ хвататься. Поодѣнутся въ турецкія и татарскія платья; все горитъ на нихъ, какъ жаръ... А какъ начнутъ дурить да строить штуки... ну, тогда хоть святыхъ выноси! Съ теткой покойнаго дѣда, которая сама была на этой свадьбѣ, случилась забавная исторія: была она одѣта тогда въ татарское широкое платье и, съ чаркою въ рукахъ, угощала собраніе. Вотъ, одного дернулъ лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, непромахъ, высѣкъ въ ту же минуту огня, да и поджегъ... пламя вспыхнуло: бѣдная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать съ себя, при всѣхъ, платье... Шумъ, хохотъ, ералашъ поднялся, какъ на ярмаркѣ. Словомъ, старики не заломнили никогда еще такой веселой свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно панъ съ панею. Всего вдоволь, все блеснить... Однакоже добрые люди начали слегка головами, глядя на житье ихъ. «Отъ чорта не будетъ добра», поговаривали всѣ въ одинъ голосъ. «Откуда, какъ не отъ искуссителя люда православнаго, пришло къ нему богатство? Гдѣ ему было взять такую кучу золота? Отчего, вдругъ, въ самый тотъ день, когда разбогатѣлъ онъ, Басаврюкъ пропалъ, какъ въ воду?» — Говорите же, что люди выдумываютъ! Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, не прошло мѣсяца, Петруся никто узнать не могъ. Отчего, что съ нимъ сдѣлалось, — Богъ знаетъ. Сидитъ на одномъ мѣстѣ, и хотъ бы слово съ кѣмъ; все думаетъ и какъ будто бы хочеть что-то припомнить. Когда Пидоркѣ удастся заставить его о чемъ-нибудь заговорить, какъ будто и забудется, и поведеть рѣчь, и развеселится даже; но ненарокомъ посмотритъ на мѣшки: «постой, постой, позабылъ!» кричить, и снова задумывается, и снова силится про что-

то вспомнить. Иной разъ, когда долго сидитъ на одномъ мѣстѣ, чудится ему, что вотъ-вотъ все сызнова приходитъ на умъ... и опять все ушло. Кажется: сидитъ въ шинкѣ; несутъ ему водку; жжетъ его водка; противна ему водка; кто-то подходитъ, бьетъ по плечу его; онъ... но далѣе все какъ будто туманомъ покрывается передъ нимъ. Потъ валитъ градомъ по лицу его, и онъ, въ изнеможеніи, садится на свое мѣсто.

Чего ни дѣлала Пидорка: и совѣщалась съ знахарями, и переполохъ выливали, и сѣняшницу заваривали \*) — ничто не помогало. Такъ прошло и лѣто. Много козаковъ обкосилось и обжалось; много козаковъ, поразгульнѣе другихъ, и въ походъ потянулось. Стаи утокъ еще толпились на болотахъ нашихъ; но крапивянокъ уже и въ поминѣ не было. Въ степяхъ покраснѣло. Скирды хлѣба то тамъ, то сямъ, словно козацкія шапки, пестрѣли по полю. Попадались по дорогѣ и возы, наваленные хворостомъ и дровами. Земля сдѣлалась крѣпче и мѣстами стала прохватываться морозомъ. Уже и снѣгъ началъ сѣяться съ неба, и вѣтки деревьевъ убрались инеемъ, будто заячьимъ мѣхомъ. Вотъ уже въ ясный морозный день красногрудый снигирь, словно щеголеватый польскій шляхтичъ, прогуливался по снѣговымъ кучамъ, вытаскивая зерно, и дѣти огромными кіями гоняли по льду деревянные кубари, между тѣмъ какъ отцы ихъ спокойно вылеживались на печкѣ, выходя по временамъ, съ зажженною люлькою въ зубахъ, ругнуть добрымъ порядкомъ православный морозецъ, или провѣтриться и промолотить въ сѣняхъ залежалый хлѣбъ. Наконецъ, снѣга стали таять, и *щука хвостомъ ледъ расколотила*; а Петро все тотъ же, и чѣмъ далѣе, тѣмъ еще суровѣе. Какъ будто прикованный, сидитъ посреди хаты, поставивъ себѣ въ ноги мѣшки съ золотомъ. Одичалъ, обросъ волосами, сталъ страшнѣе, и все думаетъ объ одномъ, все силится при-

---

\*) Выливаютъ переполохъ у насъ въ случаѣ испуга, когда хотятъ узнать, отчего приключился онъ: бросаютъ расплавленное олово или воскъ въ воду, и чье примутъ они подобіе, то самое перепугало больного; послѣ чего и весь испугъ проходитъ. Завариваютъ сѣняшницу отъ дурноты и боли въ животѣ. Для этого зажигаютъ кусокъ сѣнки, бросаютъ въ кружку и опрокидываютъ ее вверхъ дномъ въ мяску, наполненную водою и поставленную на животъ больного; потомъ, послѣ зашептываній, даютъ ему выпить ложку этой воды.



помнить что-то, и сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико поднимается съ своего мѣста, поводитъ руками, вперяетъ во что-то глаза свои, какъ будто хочетъ уловить его; губы шевелятся, будто хотятъ произнести какое-то давно забытое слово—и неподвижно останавливаются... Бѣшенство овладѣваетъ имъ; какъ полоумный, грызетъ и кусаетъ себѣ руки и въ досадѣ рветъ клоками волоса, покамѣстъ, утихнувъ, не упадетъ, будто въ забытѣ, и послѣ снова принимается припоминать, и снова бѣшенство, и снова мука... Что это за напасть Божія? Жизнь не въ жизнь стала Пидоркѣ. Страшно ей было оставаться сперва одной въ хатѣ, да послѣ свыклась, бѣдняжка, съ своимъ горемъ. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмѣшки; изныла, исчахла, выплакались ясныя очи. Разъ, кто-то уже, видно, сжалился надъ ней, посовѣтовалъ итти къ колдунѣ, жившей въ Медвѣжьемъ оврагѣ, про которую ходила слава, что умѣетъ лѣчить всѣ на свѣтѣ болѣзни. Рѣшилась попробовать послѣднее средство; слово за слово, уговорила старуху итти съ собою. Это было ввечеру, какъ разъ наканунѣ Купала. Петро въ безпамятствѣ лежалъ на лавкѣ и не примѣчалъ вовсе новой гостыи. Какъ вотъ, мало-по-малу, сталъ приподниматься и всматриваться. Вдругъ весь задрожалъ, какъ на плахѣ; волосы поднялись горю... и онъ засмѣялся такимъ хохотомъ, что страхъ врѣзался въ сердце Пидорки. «Вспомнилъ, вспомнилъ!» закричалъ онъ въ страшномъ весельи и, размахнувши топоръ, пустилъ имъ изо всей силы въ старуху. Топоръ на два вершка вбѣжалъ въ дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лѣтъ семи, въ бѣлой рубашкѣ, съ накрытою головою, стало посреди хаты... Простыня слетѣла. «Ивасы!» закричала Пидорка и бросилась къ нему; но привидѣніе все, съ ногъ до головы, покрылось кровью и освѣтило всю хату краснымъ свѣтомъ... Въ испугѣ выбѣжала она въ сѣни; но, опомнившись немного, хотѣла-было помочь ему; напрасно! дверь захлопнулась за нею такъ крѣпко, что не подъ силу было отпереть. Сбѣжались люди; принялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна! Вся хата полна дыма, и посерединѣ только, гдѣ стоялъ Петрусь, куча пеплу, отъ котораго мѣстами подымался еще паръ. Кинулись къ мѣшкамъ: одни битые черепки лежали вмѣсто червонцевъ. Выпуча глаза и разинувъ рты, не смѣя пошевелинуть усомъ, стояли

козаки, будто вкопанные въ землю. Такой страхъ навело на нихъ это диво.

Что было далѣе, не вспомню. Пидорка дала обѣтъ итти на богомолье; собрала оставшееся послѣ отца имущество, и черезъ нѣсколько дней ея точно уже не было на селѣ. Куда ушла она, никто не могъ сказать. Услуживыя старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; но прѣхавшій изъ Кіева козакъ разсказалъ, что видѣлъ въ лаврѣ монахиню, всю высохшую, какъ скелетъ, и безпрестанно молящуюся, въ которой земляки, по всѣмъ примѣтамъ, узнали Пидорку; что будто еще никто не слыжалъ отъ нея ни одного слова; что пришла она пѣшкомъ и принесла окладъ къ иконѣ Божіей Матери, испѣченный такими яркими камнями, что всѣ зажмуривались, на него глядя.

Позвольте, этимъ еще не все кончилось. Въ тотъ самый день, когда лукавый припряталъ къ себѣ Петруся, показался снова Басаврюкъ; только всѣ бѣгомъ отъ него. Узнали, что это за птица: не кто другой, какъ сатана, принявшій человѣческій образъ для того, чтобы отрывать клады; а какъ клады не даются нечистымъ рукамъ, такъ вотъ онъ и приманиваетъ къ себѣ молодцовъ. Въ томъ же году всѣ побросали землянки свои и перебрались въ село; но и тамъ, однакожъ, не было покою отъ проклятаго Басаврюка. Тетка покойнаго дѣда говорила, что именно злился онъ болѣе всего на нее за то, что оставила прежній шинокъ по Опошнянской дорогѣ, и всѣми силами старался выместить все на ней. Разъ старшины села собрались въ шинокъ и, какъ говорится, бесѣдовали по чинамъ за столомъ, посерединѣ котораго поставлень былъ, грѣхъ сказать, чтобы малый, жареный баранъ. Калякали о томъ, о семъ; было и про дикушинки разныя, и про чуда. Вотъ и померещилось,—еще бы ничего, если бы одному, а то именно всѣмъ,—что баранъ поднять голову, блудящіе глаза его ожили и засвѣтились, и вмигъ появившіеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующихъ. Всѣ тотчасъ узнали на бараньей головѣ рожу Басаврюка; тетка дѣда моего даже думала уже, что вотъ-вотъ попросить водки... Честные старшины за шапки, да скорѣй во-свояси. Въ другой разъ самъ, церковный староста, любившій по временамъ раздобаривать глазъ-на-глазъ съ дѣдовскою чаркою,

не успѣлъ еще раза два достать два, какъ видить, что чарка кланяется ему въ поясъ. «Чортъ съ тобою!» давай креститься!... А тутъ съ половиною его тоже диво: только что начала она замѣшивать тѣсто въ огромной дижѣ, вдругъ дижа выпрыгнула. «Стой, стой!» Куда! подбоченившись важно, пустилась въ присядку по всей хатѣ... Смѣйтесь; однакожь не до смѣху было нашимъ дѣдамъ. И даромъ; что отецъ Аѳанасій ходилъ по всему селу со святою водою и гонялъ чорта кропиломъ по всѣмъ улицамъ, а все еще тетка покойнаго дѣда долго жаловалась, что кто-то, какъ только вечеръ, стучить въ крышу и царапается по стѣнѣ.

Да чего! Вотъ теперь на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ село наше, кажись, все спокойно; а вѣдь еще не такъ давно, еще покойный отецъ мой и я запомню, какъ мимо развалившагося шинка, который нечистое племя долго послѣ того поправляло на свой счетъ, доброму человѣку пройти нельзя было. Изъ закоптившей трубы столбомъ валилъ дымъ и, поднявшись высоко, такъ что посмотреть — шапка валилась, разсыпался горячими угольями по всей степи, и чортъ—нечего бы и вспоминать его, собачьяго сына—такъ всхлипывалъ жалобно въ своей конурѣ, что испуганные гайвороны стаями подымались изъ ближняго дубоваго лѣса и съ дикимъ крикомъ метались по небу.





## МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА.

Врагъ его батька знае! начать що небудь робить люди хрещены, то мурдуютца, мурдуютца, мовъ хорты за зайцемъ, а все щось не до шыгу; тильки жъ куды чортъ уплетецца, то верть хвостыкомъ — такъ де воно й возмецца ниначе зъ неба.

### I.

#### Г а н н а.

Звонкая пѣсня лилась рѣкою по улицамъ села\*\*\*. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и дѣвушки шумно собирались въ кружокъ, въ блескѣ чистаго вечера, выливать свое веселье въ звуки, всегда неразлучные съ уныньемъ. И задумавшійся вечеръ мечтательно обнималъ синее небо, превращая все въ неопредѣленность и даль. Уже и сумерки, а пѣсни все не утихали. Съ бандурою въ рукахъ, пробирался ускользнувшій отъ пѣсельниковъ молодой козакъ Левко, сынъ сельскаго головы. На козакѣ рѣшетилловская шапка. Козакъ идетъ по улицѣ, бренчить рукою по струнамъ и подплясываетъ. Вотъ онъ тихо остановился передъ дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заигралъ онъ и зашѣлъ:

Сонце низенько, вечеръ близенько,  
Выйды до мене, мое серденько!

«Нѣтъ, видно, крѣпко заснула моя ясноокая красавица», сказалъ козакъ, окончивши пѣсню и приближаясь къ окну.

«Галю! Галю! ты спишь, или не хочешь ко мнѣ выйти? Ты боишься, вѣрно, чтобы насъ кто не увидѣлъ, или не хочешь, можетъ-быть, показать бѣлое личико на холодъ? Не бойся: никого нѣтъ; вечеръ тепелъ. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своимъ поясомъ, закрою руками тебя—и никто насъ не увидитъ. Но если бы и повѣяло холодомъ, я прижму тебя поближе къ сердцу, отогрѣю поцѣлуями, надѣну шапку свою на твои бѣленькія ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на мигъ. Просунъ сквозь окошечко хоть бѣлую свою ручку... Нѣтъ, ты не спишь, гордая дивчина!» проговорилъ онъ громче и такимъ голосомъ, какимъ выражаетъ себя устыдившійся мгновеннаго униженія: «тебѣ любо издѣваться надо мною; прощай!»

Тутъ онъ отворотился, насунулъ набекрень свою шапку и гордо отошелъ отъ окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери въ это время заverteблась: дверь распахнулась со скрипомъ, и дѣвушка, на порѣ семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила черезъ порогъ. Въ полуясномъ мракѣ горѣли привѣтно, будто звѣздочки, ясныя очи; блистало красное коралловое монисто, и отъ орлиныхъ очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щекахъ ея.

«Какой же ты нетерпѣливый!» говорила она ему вполголоса: «Уже и разсердился! Зачѣмъ выбралъ ты такое время? Толпа народу шатается то и дѣло по улицамъ... Я вся дрожу...»

«О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мнѣ покрѣпче!» говорилъ парубокъ, обнимая ее, отбросивъ бандуру, висѣвшую на длинномъ ремнѣ у него на шеѣ, и садясь вмѣстѣ съ нею у дверей хаты. «Ты знаешь, что мнѣ и часу не видать тебя горько.»

«Знаешь ли, что я думаю?» прервала дѣвушка, задумчиво уставивъ въ него свои очи. «Мнѣ все что-то будто на ухо шепчетъ, что впереди намъ не видаться такъ часто. Недобрые у васъ люди: дѣвушки всѣ глядятъ такъ завистливо, а парубки... Я примѣчаю даже, что мать моя съ недавней поры стала суровѣе приглядывать за мною. Признаюсь, мнѣ веселѣе у чужихъ было.»

Какое-то движеніе тоски выразилось на лицѣ ея при послѣднихъ словахъ.

«Два мѣсяца только въ сторонѣ родной и уже соскучилась! Можеть, и я надоѣлъ тебѣ?»

«О, ты мнѣ не надоѣлъ», молвила она, усмѣхнувшись. «Я тебя люблю, чернобровый козакъ! За то люблю, что у тебя карія очи, и какъ поглядишь ты ими, у меня какъ будто на душѣ усмѣхается: и весело, и хорошо ей; что привѣтливо моргаешь ты чернымъ усомъ своимъ; что ты идешь по улицѣ, поешь и играешь на бандурѣ, и люблю слушать тебя.»

«О, моя Галя!» вскрикнулъ парубокъ, цѣлуя и прижимая ее сильнѣе къ груди своей.

«Постой! Полно, Левко! Скажи напередъ, говорилъ ли ты съ отцомъ своимъ?»

«Что?» сказалъ онъ, будто проснувшись. «Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замужъ? Говорилъ». Но какъ-то унывно зазвучало въ устахъ его это слово: «говорилъ».

«Что же?»

«Что станешь дѣлать съ нимъ? Притворился, старый хрѣнь, по своему обыкновенію, глухимъ: ничего не слышитъ и еще бранить, что шатаюсь, Богъ знаетъ, гдѣ и повѣсничая съ хлопцами по улицамъ. Но не тужи, моя Галю! Вотъ тебѣ слово козацкое, что уломаю его.»

«Да тебѣ только стодѣть, Левко, слово сказать — и все будетъ по-твоему. Я знаю это по себѣ: иной разъ не послушала бы тебя, а скажешь слово — и невольно дѣлаю, что тебѣ хочется. Посмотри, посмотри!» продолжала она, положивъ голову на плечо ему и поднявъ глаза вверхъ, гдѣ необъятно синѣло теплое украинское небо, завѣшенное снизу кудрявыми вѣтвями стоявшихъ передъ ними вишенъ. «Посмотри: вонъ-вонъ далеко мелькнули звѣздочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, вѣдь это ангелы Божіи поотворяли окошечки своихъ свѣтлыхъ домиковъ на небѣ и глядятъ на насъ? Да, Левко? Вѣдь это они глядятъ на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, какъ у птицъ, — туда бы полетѣть высоко-высоко... Ухъ, страшно! Ни одинъ дубъ у насъ не достанетъ до неба. А говорить, однакоже, есть гдѣ-то, въ какой-то далекой землѣ, такое дерево, которое шумить вершиною въ самомъ небѣ, и Богъ сходитъ по немъ на землю ночью передъ Свѣтлымъ праздникомъ.»

«Нѣтъ, Галю; у Бога есть длинная лѣстница отъ неба до

самой земли. Ее становятъ передъ Свѣтлымъ Воскресеніемъ святыя архангелы, и какъ только Богъ ступитъ на первую ступень, всѣ нечистые духи полетятъ стремглавъ и кучами попадають въ пекло, и оттого на Христовъ праздникъ ни одного злого духа не бываетъ на землѣ.»

«Какъ тихо колыхнется вода, будто дитя въ люлькѣ!» продолжала Ганна, указывая на прудъ, угрюмо обставленный темнымъ кленовымъ лѣсомъ и оплакиваемый вербами, потопившими въ немъ жалобныя свои вѣтви. Какъ безсильный старецъ, держалъ онъ въ холодныхъ объятіяхъ своихъ далеко темное небо, осыпая ледяными поцѣлуями огненныя звѣзды, которыя тускло рѣяли среди теплаго океана ночного воздуха, какъ бы предчувствуя скорое появленіе блистательнаго царя ночи. Возлѣ лѣса, на горѣ, дремалъ съ закрытыми ставнями старый деревянный домъ; мохъ и дикая трава покрывали его крышу; кудрявыя яблони разрослись передъ его окнами; лѣсъ, обнимая своею тѣнью, бросалъ на него дикую мрачность; орѣховая роща стлалась у подножія его и скатывалась къ пруду.

«Я помню, будто сквозь сонъ», сказала Ганна, не спуская глазъ съ него: «давно-давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное рассказывали про домъ этотъ. Левко, ты вѣрно знаешь; расскажи!..»

«Богъ съ нимъ, моя красавица! Мало ли чего не расскажутъ бабы и народъ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться и не заснется тебѣ покойно.»

«Расскажи, расскажи, милый, чернобровый парубокъ!» говорила она, прижимаясь лицомъ своимъ къ щекѣ его и обнимая его. «Нѣтъ, ты, видно, не любишь меня; у тебя есть другая дѣвушка. Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать... Расскажи, Левко!...»

«Видно, правду говорятъ люди, что у дѣвушекъ сидитъ чортъ, подстрекающій ихъ любопытство. Ну, слушай. Давно, мое серденько, жилъ въ этомъ домѣ сотникъ. У сотника была дочка, ясная панночка, бѣлая какъ снѣгъ, какъ твое личико. Сотникова жена давно уже умерла; задумалъ сотникъ жениться на другой. «Будешь ли ты меня нѣжить по-старому, батька, когда возьмешь другую жену?» — «Буду, моя дочка; еще крѣпче прежняго стану прижимать тебя къ

сердцу! Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!»

«Привезъ сотникъ молодую жену въ новый домъ свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бѣла собою была молодая жена; только такъ страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидѣвши, и хоть бы слово во весь день сказала суровая мачиха. Настала ночь: ушелъ сотникъ съ молодою женою въ свою опочивальню; заперлась и бѣлая панночка въ своей свѣтлицѣ. Горько сдѣлалось ей; стала плакать. Глядитъ: страшная черная кошка крадется къ ней; шерсть на ней горитъ, и желѣзные когти стучать по полу. Въ испугѣ, вскочила она на лавку,—кошка за нею; перепрыгнула на лежанку—кошка и туда, и вдругъ бросилась къ ней на шею и душить ее. Съ крикомъ оторвавши отъ себя, кинула ее на полъ. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стѣнѣ висѣла отцовская сабля. Схватила ее и брякъ по полу,—лапа съ желѣзными когтями отскочила, и кошка съ визгомъ пропала въ темномъ углу. Цѣлый день не выходила изъ свѣтлицы своей молодая жена; на третій день вышла съ перевязанною рукою. Угадала бѣдная панночка, что мачиха ея вѣдьма и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказалъ сотникъ своей дочкѣ носить воду, мести хату, какъ простой мужичекъ, и не показываться въ панскіе покои. Тяжело было бѣдняжкѣ, да нечего дѣлать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгналъ сотникъ свою дочку босую изъ дому и куска хлѣба не далъ на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками бѣлое лицо свое: «Погубилъ ты, батька, родную дочку свою! Погубила вѣдьма грѣшную душу твою! Прости тебя Богъ; а мнѣ, несчастной, видно, не велитъ Онъ жить на бѣломъ свѣтѣ...»—«И вонъ, видишь ли ты?»... Тутъ оборотился Левко къ Ганнѣ, указывая пальцемъ на домъ. «Гляди сюда: вонъ подалѣе отъ дома, самый высокій берегъ! Съ этого берега кинулась панночка въ воду. И съ той поры не стало ея на свѣтѣ...»

«А вѣдьма?» боязливо прервала Ганна, устремивъ на него прослезившіяся очи.

«Вѣдьма? Старухи выдумали, что съ той поры всѣ утопленницы выходили, въ лунную ночь, въ панскій садъ грѣться на мѣсяцѣ, и сотникова дочка сдѣлалась надъ ними главною. Въ одну ночь увидѣла она мачиху свою возлѣ



пруда, напала на нее и съ крикомъ утащила въ воду. Но вѣдьма и тутъ наплась: оборотилась подъ водою въ одну изъ утопленницъ, и черезъ то ушла отъ плети изъ зеленого тростника, которою хотѣли ее бить утопленницы. Вѣрь бабамъ! Рассказываютъ еще, что панночка собираетъ всякую ночь утопленницъ и заглядываетъ поодиоцкѣ каждой въ лицо, стараясь узнать, которая изъ нихъ вѣдьма; но до сихъ поръ не узнала. И если попадется изъ людей кто, тотчасъ заставляетъ его угадывать; не то, грозитъ утопить въ водѣ. Вотъ, моя Галю, какъ рассказываютъ старые люди!.. Теперешній панъ хочетъ строить на томъ мѣстѣ винницу и прислалъ нарочно для того сюда винокура... Но я слышу договоръ. Это наши возвращаются съ пѣсень. Прощай, Галю! Спи спокойно, да не думай объ этихъ бабьихъ выдумкахъ».

Сказавши это, онъ обнялъ ее крѣпче, поцѣловалъ и ушелъ.

«Прощай, Левко!» говорила Ганна, задумчиво вперивъ очи на темный лѣсъ.

Огромный огненный мѣсяцъ величественно сталъ въ это время вырѣзываться изъ земли. Еще половина его была подъ землею, а уже весь мѣръ исполнился какого-то торжественнаго свѣта. Прудъ тронулся искрами. Тѣнь отъ деревьевъ ясно стала отдѣляться на темной зелени.

«Прощай, Ганна!» раздались позади ея слова, сопровождаемыя поцѣлуемъ.

«Ты воротился!» сказала она, оглянувшись; но, увидѣвъ передъ собою незнакомаго парубка, отвернулась въ сторону.

«Прощай, Ганна!» раздалось снова, и снова поцѣловалъ ее кто-то въ щеку.

«Вотъ принесла нелегкая и другого!» проговорила она съ сердцемъ.

«Прощай, милая Ганна!»

«Еще и третій!»

«Прощай! прощай! прощай, Ганна!» и поцѣлуи засыпали ее со всѣхъ сторонъ.

«Да тутъ ихъ цѣлая ватага!» кричала Ганна, вырываясь изъ толпы парубковъ, наперерывъ слѣпившихъ обнимать ее. «Какъ имъ не надоесть безпрестанно цѣловаться! Скоро, ей-Богу, нельзя будетъ показаться на улицѣ!»

Вслѣдъ за сими словами дверь захлопнулась и только слышно было, какъ съ визгомъ задвинулся желѣзный засовъ.

## II.

### Голова.

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь въ нее: съ середины неба глядитъ мѣсяцъ; необъятный небесный сводъ раздался, раздвинулся еще необъятнѣе; горитъ и дышитъ онъ. Земля вся въ серебряномъ свѣтѣ; и чудный воздухъ и прохладно-душень, и полонъ нѣги, и движеть океанъ благоуханій. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали лѣса, полные мрака, и кинули огромную тѣнь отъ себя. Тихи и покойны эти пруды; холодъ и мракъ водъ ихъ угрюмо заключенъ въ темно-зеленныя стѣны садовъ. Дѣвственные чащи черемухъ и черешенъ пугливо протянули свои корни въ ключевой холодъ и изрѣдка лепечуть листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный вѣтренникъ — ночной вѣтеръ, подкравшись мгновенно, цѣлуетъ ихъ. Весь ландшафтъ спитъ. А вверху все дышитъ; все дивно, все торжественно. А на душѣ и необъятно, и чудно, и толпы серебряныхъ видѣній стройно возникаютъ въ ея глубинѣ. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдругъ все ожило: и лѣса, и пруды, и степи. Сыплется величественный громъ украинскаго соловья, и чудится, что и мѣсяцъ заслушался его посерединѣ неба... Какъ очарованное, дремлетъ на возвышеніи село. Еще бѣлѣе, еще лучше блестятъ при мѣсяцѣ толпы хатъ; еще ослѣпительнѣе вырѣзываются изъ мрака низкія ихъ стѣны. Пѣсни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спать. Гдѣ-гдѣ только свѣтятся узенькія окна. Передъ порогами иныхъ только хатъ заподавая семья совершаетъ свой поздній ужинъ.

«Да, гопакъ не такъ танцуется! То-то я гляжу, не клеится все. Чтѣ жъ это рассказываетъ кумъ?.. А, ну: гопись траля! гопись траля! гопись, гопись, гопись!» Такъ разговаривалъ самъ съ собою подгулявшій мужикъ среднихъ лѣтъ, танцуя по улицѣ. «Ей-Богу, не такъ танцуется гопакъ! Чтѣ мнѣ лгать? Ей-Богу, не такъ! А, ну: гопись траля! гопись траля! гопись, гопись, гопись!»

«Вотъ одурѣлъ человекъ! Добро бы еще хлопецъ какой, а то старый кабанъ, дѣтямъ на смѣхъ, танцуетъ ночью по улицѣ!» вскричала проходящая пожилая женщина, неся въ рукѣ соломѣ. «Ступай въ хату свою! Пора спать давно!»

«Я пойду!» сказалъ, остановившись, мужикъ. «Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что онъ думаетъ, *дидько бѣ утысяа его батькови*, что онъ голова, что онъ обливаетъ людей на морозѣ холодною водою, такъ и носъ поднялъ! Ну, голова, голова. Я самъ себѣ голова. Вотъ, убей меня Богъ! Богъ меня убей! Я самъ себѣ голова. Вотъ что, а не то что...» продолжалъ онъ, подходя къ первой попавшейся хатѣ, и остановился передъ окошкомъ, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. «Баба, отворяй! Баба, живѣй, говорятъ тебѣ, отворяй! Козаку спать пора!»

«Куда ты, Каленикъ? Ты въ чужую хату попать», закричали, смѣясь, позади его дѣвушки, ворочавшіяся съ веселыхъ пѣсней. «Показать тебѣ твою хату?»

«Покажите, любезныя молодушки!»

«Молодушки? Слышите ли», подхватила одна: «какой учтивый Каленикъ? За это ему нужно показать хату... но нѣтъ, напередъ потанцуй.»

«Потанцовать?... эхъ, вы замысловатыя дѣвушки!» протяжно произнесъ Каленикъ, смѣясь и грозя пальцемъ и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одномъ мѣстѣ. «А дадите перецѣловать себя? Всѣхъ перецѣлую, всѣхъ!»... И косвенными шагами пустился бѣжать за ними. Дѣвушки подняли крикъ, перемѣшались; но послѣ, ободрившись, перебѣжали на другую сторону, увидя, что Каленикъ не слишкомъ былъ скоръ на ноги.

«Вонъ твоя хата!» закричали онѣ ему, уходя и показывая на избу, гораздо побольше прочихъ, принадлежавшую сельскому головѣ. Каленикъ послушно побрелъ въ ту сторону, принимаясь снова бранить голову.

Но кто же этотъ голова, возбуждавшій такіе невыгодные о себѣ толки и рѣчи? О! этотъ голова важное лицо на селѣ! Покамѣстъ Каленикъ достигнетъ конца пути своего, мы, безъ сомнѣнія, успѣемъ кое-что сказать о немъ. Все село завидѣвши его, берется за шапки; а дѣвушки, самыя молоденькія, отдаютъ *добридень*. Кто бы изъ парубковъ не захотѣлъ быть головою? Головѣ открытъ свободный ходъ во всѣ тавлинки, и дюжій мужикъ почтительно стоитъ, снявши шапку, во все продолженіе, когда голова запускаетъ свои толстые и грубые пальцы въ его лубочную табакерку. Въ мірской сходкѣ, или громадѣ, несмотря на то, что власть

его ограничена нѣсколькими голосами, голова всегда беретъ верхъ и почти по своей волѣ высылаетъ, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу, или копать рвы. Голова угрюмъ, суровъ съ виду и не любитъ много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ѣздила въ Крымъ, былъ онъ выбранъ въ провожатые; цѣлые два дня находился онъ въ этой должности и даже удостоился сидѣть на козлахъ съ царицынымъ кучеромъ. И съ той самой поры еще голова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длинные, закрутившіеся внизъ усы и кидать соколиный взглядъ исподлобья. И съ той поры голова, объ чемъ бы ни заговорили съ нимъ, всегда умѣетъ поворотить рѣчь на то, какъ онъ везъ царицу и сидѣлъ на козлахъ царской кареты. Голова любитъ иногда прикинуться глухимъ, особливо если услышитъ то, чего не хотѣлось бы ему слышать. Голова терпѣть не можетъ щегольства: носить всегда свитку чернаго домашнего сукна, перепоясывается шерстянымъ цвѣтнымъ поясомъ, и никто никогда не видалъ его въ другомъ костюмѣ, выключая развѣ только времени пробада царицы въ Крымъ, когда на немъ былъ синій козацкій жупанъ. Но это время врядъ ли кто могъ запомнить изъ цѣлаго села; а жупанъ держитъ онъ въ сундукѣ подъ замкомъ. Голова вдовъ; но у него живетъ въ домѣ свояченица, которая варитъ обѣдать и ужинать, моетъ лавки, бѣлитъ хату, прядетъ ему на рубашки и завѣдываетъ всѣмъ домою. На селѣ поговариваютъ, будто она совсѣмъ ему не родственница; но мы уже видѣли, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочемъ, можетъ-быть, къ этому подало поводъ и то, что свояченицѣ всегда не нравилось, если голова заходилъ въ поле, усѣянное жнивами, или къ козаку, у котораго была молодая дочка. Голова кривъ, но зато одинокій глазъ его — заодѣй, и далеко можетъ видѣть хорошенькую поселянку. Не прежде, однакожъ, онъ наведетъ его на смазливенькое личико, пока не осмотрится хорошенько, не глядитъ ли откуда свояченица. Но мы почти все уже рассказали, что нужно, о головѣ, а **пьяный Каленикъ** не добрался еще и до половины дороги, и долго еще угощалъ голову всѣми отборными словами, какія могли только вспасть на лѣниво и несвязно поворачивавшійся языкъ его.

### III.

#### Неожиданный соперникъ. Заговоръ.

«Нѣтъ, хлопцы, нѣтъ, не хочу! Чтò за разгулье такое! Какъ вамъ не надоѣстъ повѣсничать? И безъ того уже прослыли мы, Богъ знаетъ, какими буйнами. Ложитесь лучше спать!» Такъ говоритъ Левко разгульнымъ товарищамъ своимъ, подговаривавшимъ его на новыя проказы. «Прощайте, братцы! покойная вамъ ночь!» и быстрыми шагами шель отъ нихъ по улицѣ.

«Спитъ ли моя ясноокая Ганна?» думалъ онъ, подходя къ знакомой намъ хатѣ съ вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихій говоръ. Левко остановился. Между деревьями забѣлѣла рубашка... Чтò это значить?» подумалъ онъ и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свѣтѣ мѣсяца блистало лицо стоявшей передъ нимъ дѣвушки... Это Ганна! Но кто же этотъ высокій человѣкъ, стоящій къ нему спиною? Напрасно всматривался онъ: тѣнь покрывала его съ ногъ до головы. Спереди только онъ былъ освѣщенъ немного; но малѣйшій шагъ Левка впередъ уже подвергалъ его непрятности быть открытымъ. Тихо прислонившись къ дереву, рѣшился онъ остаться на мѣстѣ. Дѣвушка ясно выговорила его имя.

«Левко? Левко еще молокососъ!» говоритъ хрипло и вполголоса высокій человѣкъ. «Если я встрѣчу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чубъ».

«Хотѣлось бы мнѣ знать, какая это шельма похваляется выдрать меня за чубъ!» тихо проговорилъ Левко и протянуть шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомецъ продолжалъ такъ тихо, что нельзя было ничего разслушать,

«Какъ тебѣ не стыдно!» сказала Ганна по окончаніи его рѣчи. «Ты лжешь; ты обманываешь меня; ты меня не любишь; я никогда не повѣрю, чтобы ты меня любилъ!»

«Знаю», продолжалъ высокій человѣкъ: «Левко много наговаривалъ тебѣ пустяковъ и вскружилъ твою голову» (тутъ показалось парубку, что голосъ незнакомца не совсѣмъ незнакомъ, и какъ будто онъ когда-то его слышалъ); «но я дамъ себя знать Левку!» продолжалъ все такъ же незнакомецъ. «Онъ думаетъ, что я не вижу всѣхъ его шашней. Попробуетъ онъ, собачій сынъ, каковы у меня кулаки!»

При этомъ словѣ Левко не могъ уже болѣе удержать своего гнѣва. Подошедши на три шага къ нему, замахнулся онъ изо всей силы, чтобы дать трюха, отъ котораго незнакомецъ, несмотря на свою видимую крѣпость, не устоялъ бы, можетъ-быть, на мѣстѣ; но въ это время свѣтъ палъ на лицо его, и Левко остолебѣлъ, увидѣвши, что передъ нимъ стоялъ отецъ его. Невольное покачиваніе головою и легкій сквозъ зубы свистъ одни только выразили его изумленіе. Въ сторонѣ слышался шорохъ; Ганна поспѣшно влетѣла въ хату, хлопнувъ за собою дверь.

«Прощай, Ганна!» закричалъ въ это время одинъ изъ парубковъ, подкравшись и обнявши голову — и съ ужасомъ отскочилъ назадъ, встрѣтивши жесткіе усы.

«Прощай красавица!» вскричалъ другой; но на сей разъ полетѣлъ стремглавъ отъ тяжелаго толчка головы.

«Прощай, прощай, Ганна!» закричало нѣсколько парубковъ, повиснувъ ему на шею.

«Провалитесь, проклятые сорванцы!» кричалъ голова, отбиваясь и притопывая на нихъ ногами. «Что я вамъ за Ганна! Убирайтесь вслѣдъ за отцами на вислицу, чортовы дѣти! Поприставали, какъ мухи къ меду! Дамъ я вамъ Ганны!...»

«Голова! голова! Это голова!» закричали хлопцы и разбѣжались во всѣ стороны.

«Ай да батько!» говорилъ Левко, очнувшись отъ своего изумленія и глядя вслѣдъ уходившему съ ругательствами головѣ. «Вотъ какія за тобою водятся проказы! Славно! А я дивлюсь да передумываю, что-бъ это значило, что онъ все притворяется глухимъ, когда станешь говорить о дѣлѣ. Постой же, старый хрѣнъ, ты у меня будешь знать, какъ шататься подъ окнами молодыхъ дѣвушекъ; будешь знать, какъ отбивать чужихъ невѣстъ! Гей, хлопцы! сюда, сюда!» кричалъ онъ, махая рукою парубкамъ, которые снова собирались въ кучу: «Ступайте сюда! Я увѣщевалъ васъ идти спать, но теперь раздумалъ и готовъ хоть цѣлую ночь самъ гулять съ вами».

«Вотъ это дѣло!» сказалъ плечистый и дородный парубокъ, считавшійся первымъ гулякой и повѣсой на селѣ. «Мнѣ все кажется тошно, когда не удастся погулять порядкомъ и настроятъ штукъ. Все какъ будто недостаетъ

чего-то, какъ будто потерялъ шапку, или люльку; словомъ, не козакъ, да и только».

«Согласны ли вы побѣсить хорошенько сегодня голову?»  
«Голову?»

«Да, голову. Что онъ въ самомъ дѣлѣ задумалъ? Онъ управляется у насъ, какъ будто гетьманъ какой. Мало того, что помыкаетъ, какъ своими холопьями, еще и подбѣзжаетъ къ дѣвчатамъ нашимъ. Вѣдь, я думаю, на всемъ селѣ нѣтъ смазливой дѣвки, за которою бы не волочился голова.»

«Это такъ, это такъ!» закричали въ одинъ голосъ всѣ хлопцы.

«Что-жъ мы, ребята, за холопья? Развѣ мы не такого роду, какъ и онъ? Мы, слава Богу, вольные козаки! Покажемъ ему, хлопцы, что мы вольные козаки!»

«Покажемъ!» закричали парубки. «Да если голову, то и писаря не минуть!»

«Не минемъ и писаря! А у меня, какъ нарочно, сложилась въ умѣ славная пѣсня про голову. Пойдемте, я васъ выучу», продолжалъ Левко, ударивъ рукою по струнамъ бандуры. «Да слушайте: попереодѣвайтесь, кто во что ни пошало!»

«Гуляй, козацкая голова!» говорилъ дюжій повѣса, ударивъ ногою въ ногу и хлопнувъ руками. «Что за роскошь! Что за воля! Какъ начнешь бѣситься, чудится, будто поминаешь давніе годы. Любо, вольно на сердцѣ, а душа какъ будто въ раю. Гей, хлопцы! Гей, гуляй!...»

И толпа шумно понеслась по улицамъ. И благочестивыя старушки, пробужденныя крикомъ, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: «Ну, теперь гуляютъ парубки!»

#### IV.

#### Парубки гуляютъ.

Одна только хата свѣтилась еще въ концѣ улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончилъ свой ужинъ и, безъ сомнѣнія, давно бы уже заснулъ; но у него былъ въ это время гость, винокуръ, присланный строить винокурню помѣщикомъ, имѣвшимъ небольшой участокъ земли между вольными козаками. Подъ самымъ покутомъ, на почетномъ мѣстѣ, сидѣлъ гость — низенькій, толстенный чело-

вѣчекъ, маленькими, вѣчно смѣющимися глазками, въ которыхъ, кажется, написано было то удовольствіе, съ какимъ куритъ онъ свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцемъ вытѣзавшій изъ нея превращенный въ золу табакъ. Облака дыма быстро разрастались надъ нимъ, одѣвая его въ сизый туманъ. Казалось, будто широкая труба съ какой-нибудь винокурни, наскуча сидѣть на своей крышѣ, задумала прогуляться и чинно усѣлась за столомъ въ хатѣ головы. Подъ носомъ торчали у него коротенькіе и густые усы; но они такъ неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокуръ поймалъ и держалъ во рту своемъ, подрывая монополию амбарнаго кота. Голова, какъ хозяинъ, сидѣлъ въ одной только рубашкѣ и полотняныхъ шароварахъ. Орлиный глазъ его, какъ вечернѣющее солнце, начиналъ мало-по-малу жмуриться и меркнуть. На концѣ стола куритъ люльку одинъ изъ сельскихъ десятскихъ, составляющихъ команду головы, сидѣвшій, изъ почтенія къ хозяину, въ свиткѣ.

«Скоро же вы думаете», сказалъ голова, оборотившись къ винокуру и кладя крестъ на зѣвнувшій ротъ свой: «поставить вашу винокурню?»

«Когда Богъ поможетъ, то этою осенью, можетъ, и закуримъ. На Покровъ, быось объ закладъ, что панъ-голова будетъ писать ногами нѣмецкіе крендели по дорогѣ».

По произнесеніи этихъ словъ, глазки винокура пропали; вмѣсто ихъ протянулись лучи до самыхъ ушей; все туловище стало колебаться отъ смѣха, и веселыя губы оставили на мгновеніе дымившуюся люльку.

«Дай Богъ», сказалъ голова, выразивъ на лицѣ своемъ что-то подобное улыbkѣ. «Теперь еще, слава Богу, винницъ развелось немного. А вотъ въ старое время, когда провожалъ я царицу по переяславской дорогѣ, еще покойный Безбородько...»

«Ну, свать, вспомнилъ время! Тогда отъ Кременчуга до самыхъ Роменъ не насчитывали и двухъ винницъ. А теперь... Слышалъ ли ты, что повыдумали проклятые нѣмцы? Скоро, говорятъ, будутъ курить не дровами, какъ всѣ честные христіане, а какимъ-то чертовскимъ паромъ...» Говоря эти слова, винокуръ въ размысленіи глядѣлъ на столъ и на разставленные на немъ руки свои. «Какъ это паромъ—ей-Богу, не знаю!»



«Что за дурни, прости Господи, эти нѣмцы!» сказалъ голова. «Я бы батогомъ ихъ, собачьихъ дѣтей! Слыханное ли дѣло, чтобы паромъ можно было кипятить что? Поэтому, ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губъ, вмѣсто молодого поросенка...»

«И ты, свать», отозвалась сидѣвшая на лежанкѣ, поджавши подъ себя ноги, свояченица: «будешь все это время жить у насъ безъ жены?»

«А для чего она мнѣ? Другое дѣло, если бы что хорошее было».

«Будто не хороша?» спросилъ голова, устремивъ на него глазъ свой.

«Куды тебѣ хороша! *Старъ, якъ бисъ*. Харя вся въ морщинахъ, будто выпорожненный кошелекъ». И низенькое строение винокура распаталось снова отъ громкаго смѣха.

Въ это время что-то стало шарить за дверью; дверь растворилась—и мужикъ, не снимая шапки, ступилъ черезъ порогъ и сталъ, какъ будто въ раздумьи, посреди хаты, разинувши ротъ и оглядывая потолокъ. Это былъ знакомецъ нашъ, Каленикъ.

«Вотъ, я и домой пришелъ», говорилъ онъ, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого вниманія на присутствующихъ. «Вишь, какъ растянулъ, вражій сынъ, сатана, дорогу! Идешь-идешь, и конца нѣтъ! Ноги какъ будто переломать кто-нибудь. Достань-ка тамъ, баба, тулупъ подстлать мнѣ. На печь къ тебѣ не приду, ей-Богу, не приду: ноги болятъ! Достань его; тамъ онъ лежитъ, близъ покута; гляди только, не опрокинь горшка съ тертымъ табакомъ. Или нѣтъ, не тронь, не тронь! Ты, можетъ-быть, пыла сегодня... Пусть, уже я самъ достану».

Каленикъ приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его къ скамейкѣ.

«За это люблю», сказалъ голова: «пришелъ въ чужую хату и распоряжается, какъ дома! Выпроводить его по добру, по здорову!...»

«Оставь, свать, отдохнуть!» сказалъ винокуръ, удерживая его за руку. «Это полезный человекъ: побольше такого народу—и винница наша славно бы пошла...»

Однакожь не добродушіе вынудило эти слова. Винокуръ вѣрнулъ всѣмъ примѣтамъ, и тотчасъ прогнать человека, уже съѣвшего на лавку, значило у него накликать бѣду.

«Что-то, какъ старость придеть!..» ворчалъ Каленикъ, ложась на лавку. «Добро бы, еще сказать, пьянъ, такъ нѣтъ же, не пьянъ. Ей-Богу, не пьянъ! Что мнѣ лгать? Я готовъ объявить это хотъ самому головѣ. Что мнѣ голова? Чтобъ онъ издохнулъ, собачій сынъ! Я плюю на него! Чтобъ его, одноглазаго чорта, возомъ переѣхало! Что онъ обливаетъ людей на морозѣ!..»

«Эге! влѣзла свинья въ хату, да и лапы суетъ на столъ». сказалъ голова, гнѣвно подымаясь съ своего мѣста; но въ это время увѣсистый камень, разбивши окно вдребезги, полетѣлъ ему подъ ноги. Голова остановился. «Если бы я зналъ», говорилъ онъ, подымая камень: «какой это висѣльникъ швырнулъ камнемъ, я бы выучилъ его, какъ кидаться! Экія проказы!» продолжать онъ, разсматривая его на рукѣ пылающимъ взглядомъ. «Чтобы онъ подавился этимъ камнемъ!..»

«Стой, стой! Боже тебя сохрани, свать!» подхватили, поблѣдѣвши, винокуръ. «Боже сохрани тебя, и на томъ, и на этомъ свѣтѣ, поблагословить кого-нибудь такую побранкою!»

«Вотъ нашелся заступникъ! Пусть онъ пропадетъ!..»

«И не думай, свать! Ты не знаешь, вѣрно, что случилось съ покойною тещею моею?»

«Съ тещей?»

«Да, съ тещей. Вечеромъ, немного, можетъ, раньше те-перешняго, уѣхали вечерять: покойная теща, покойный тестъ, да наймытъ, да наймычка, да дѣтей штукъ съ пятеро. Теща отсыпала немного галушекъ изъ большого казана въ миску, чтобы не такъ были горячи. Послѣ работъ всѣ проголодались и не хотѣли ждать, пока галушки остынутъ. Вздѣвши ихъ на длинныя деревянные спички, начали ѣсть. Вдругъ откуда ни возьмись человѣкъ: какого онъ роду, Богъ его знаетъ, просить и его допустить къ трапезѣ. Какъ не накормить голоднаго человѣка? Дали и ему спичку. Только гость упрятываетъ галушки, какъ корова сѣно. Покамѣстъ тѣ съѣли по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, какъ панскій помостъ. Теща насыпала еще; думаетъ, гость наѣлся и будетъ убирать меньше. Ничего не бывало: еще лучше сталъ уплетать! и другую выпорожнилъ. «А чтобъ ты подавился этими галушками!» подумала голодная

теша; какъ вдругъ тотъ поперхнулся и упалъ. Кинулись къ нему—и духъ вонъ. Удавился».

«Такъ ему, обжорѣ проклятому, и нужно!» сказалъ голова.

«Такъ бы, да не такъ вышло: съ того времени покою не было тещѣ. Чуть только ночь, мертвецъ и тащится. Сядетъ верхомъ на трубу, проклятый, и галушку держать въ зубахъ. Днемъ все покойно, и слуху нѣтъ про него; а только станетъ примеркать, погляди на крышу: уже и осѣдлалъ, собачій сынъ, трубу».

«И галушка въ зубахъ?»

«И галушка въ зубахъ».

«Чудно, свать! Я слыпалъ что-то похожее еще за покойницу...»

Тутъ голова остановился. Подъ окномъ послышался шумъ и топанье танцующихъ. Сперва тихо звукнули струны бандуры, къ нимъ присоединился голосъ. Струны загремѣли сильнѣе; нѣсколько голосовъ стали подтягивать — и пѣсня зашумѣла вихремъ:

Хлопцы, слышали ли вы?  
Наши-ль головы не крѣпки!  
У кривого головы  
Въ головѣ разсыялся кленки.  
Набей, бондарь, голову  
Ты стальными обручами!  
Вспрысни, бондарь, голову  
Батогами, батогами!

Голова нашъ сѣдъ и кривъ;  
Старъ, какъ бѣсъ; а что за дурень!  
Прихотливъ и похотливъ:  
Жметъ къ дѣвкамъ... Дурень, дурень!  
И тебѣ лѣзть къ парубкамъ!  
Тебя-бъ нужно въ домовину,  
По усамъ, да по шейамъ!  
За чуприну, за чуприну!

«Славная пѣсня, свать!» сказалъ винокуръ, наклоня немного на-бокъ голову и оборотившись къ головѣ, остоле-нѣвшему отъ удивленія при видѣ такой дерзости. «Славная! скверно только, что голову поминаютъ несовѣхъ благопри-стойными словами...»

И онъ опять положилъ руки на столъ съ какимъ-то сладкимъ умиленіемъ въ глазахъ, приготовляясь слушать еще, потому что подъ окномъ гремѣлъ хохотъ и крики: «снова!

снова!» Однакожь, пронизательный глазъ увидѣлъ бы тотчасъ, что не изумленіе удерживало долго голову на одномъ мѣстѣ. Такъ только старый, опытный котъ допускаетъ иногда неопытную мышъ бѣгать около своего хвоста, а между тѣмъ быстро созидаешь планъ, какъ перерѣзать ей путь въ нору. Еще одинокій глазъ головы былъ устремленъ на окно, а уже рука, давши знакъ десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдругъ на улицѣ поднялся крикъ... Винокуръ, къ числу многихъ достоинствъ своихъ присоединявшій и любопытство, быстро набивши табакомъ свою люльку, выбѣжалъ на улицу; но шалуны уже разбѣжались.

«Нѣтъ, ты не ускользнешь отъ меня!» кричалъ голова, таща за руку человѣка въ вывороченномъ шерстью вверхъ овчинномъ черномъ тулупѣ. Винокуръ, пользуясь временемъ, подбѣжалъ, чтобы посмотрѣть въ лицо этому нарушителю спокойствія; но съ робостью попятился назадъ, увидѣвши длинную бороду и странно размалеванную рожу. «Нѣтъ, ты не ускользнешь отъ меня!» кричалъ голова, продолжая тащить прямо въ сѣни своего плѣнника, который, не оказывая никакого сопротивленія, спокойно слѣдовалъ за нимъ, какъ будто въ свою хату. «Карпо, отворяй комору!» сказала голова десятскому. «Мы его въ темную комору. А тамъ разбудимъ писаря, соберемъ десятскихъ, переловимъ всѣхъ этихъ буяновъ и сегодня же и резолюцію всѣмъ имъ учинимъ!»

Десятскій забренчалъ небольшимъ висячимъ замкомъ въ сѣняхъ и отворилъ комору. Въ это самое время плѣнникъ, пользуясь темнотою сѣней, вдругъ вырвался съ необыкновенною силою изъ рукъ его.

«Куда?» закричалъ голова, ухвативъ его еще крѣпче за воротъ.

«Пусти, это я!» слышался тоненькій голосъ.

«Не поможетъ! не поможетъ, братъ! Визжи себѣ хоть чортомъ, не только бабою, меня не проведешь!» и толкнулъ его въ темную комору такъ, что бѣдный плѣнникъ застоялъ, упавши на полъ, а самъ, въ сопровожденіи десятскаго, отправился въ хату писаря, и вслѣдъ за ними, какъ пароходъ, задымился винокуръ.

Въ размышленіи шли они всѣ трое, потупивъ головы, и вдругъ, на поворотѣ въ темный переулокъ, разомъ вскрик-

нули отъ сильного удара по лбамъ, и такой же крикъ от-  
грянулъ въ отвѣтъ имъ. Голова, прищуривши глазъ свой,  
съ изумленіемъ увидѣлъ писаря съ двумя десятскими.

«А я къ тебѣ иду, панъ писарь!»

«А я къ твоей милости, панъ голова!»

«Чудеса завелися, панъ писарь!»

«Чудныя дѣла, панъ голова!»

«А что?»

«Хлопцы бѣсятся! безчинствуютъ цѣлыми кучами по ули-  
цамъ. Твою милость величаютъ такими словами... словомъ,  
сказать стыдно: пьяный москаль побойтся вымолвить ихъ  
нечестивымъ своимъ языкомъ. (Все это худощавый писарь,  
въ пестрядевыхъ шароварахъ и жилетѣ цвѣта винныхъ  
дрождей, сопровождалъ протягиваніемъ шен впередъ и при-  
веденіемъ ея тотъ же часъ въ прежнее состояніе.) «Вздрем-  
нуть было немного, подняли съ постели, проклятые сор-  
ванцы, своими срамными пѣснями и стукомъ! Хотѣлъ-было  
хорошенько приструнить ихъ, да покамѣстъ надѣлъ шаро-  
вары и жилетъ, всѣ разбѣжались куда ни попало. Самый  
главный, однакоже, не увернулся отъ насъ. Распѣваетъ онъ  
теперь въ той хатѣ, гдѣ держатъ колодниковъ. Душа горѣла  
у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажею, какъ у  
чорта, что куетъ гвозди для грѣшниковъ».

«А какъ онъ одѣтъ, панъ писарь?»

«Въ черномъ вывороченномъ тулупѣ, собачій сынъ, панъ  
голова».

«А не лжешь ты, панъ писарь? Что, если этотъ сорва-  
нецъ сидитъ теперь у меня въ коморѣ?»

«Нѣтъ, панъ голова! Ты самъ, не во гнѣвъ будь сказано,  
погрѣшилъ немного».

«Давайте огня! мы посмотримъ его!»

Огонь принесли, дверь отперли — и голова ахнулъ отъ  
удивленія, увидѣвъ передъ собою свояченицу.

«Скажи, пожалуйста», съ такими словами она присту-  
пила къ нему: «ты не свихнулъ еще съ послѣдняго ума?  
Была ли въ одноглазой башкѣ твоей хоть капля мозгу.  
когда толкнулъ ты меня въ темную комору? Счастье, что  
не ударилаь головою объ желѣзный крюкъ. Развѣ я не  
кричала тебѣ, что это я? Схватилъ, проклятый медвѣдь,  
своими желѣзными лапами, да и толкаетъ! Чтобъ тебя на  
томъ свѣтѣ толкали черти!..»

Послѣднія слова вынесла она за дверь, на улицу, куда отправилась для какихъ-нибудь своихъ причинъ.

«Да, я вижу, что это ты!» сказалъ голова, очнувшись.

«Что скажешь, панъ писарь: не шельма этотъ проклятый сорви-голова?»

«Шельма, панъ голова!»

«Не пора ли намъ всѣхъ этихъ повѣсть прошколить хорошенько и заставить ихъ заниматься дѣломъ?»

«Давно пора, давно пора, панъ голова!»

«Они, дурни, забрали себя... Кой чортъ? мнѣ почудился крикъ свояченицы на улицѣ... Они, дурни, забрали себя въ голову, что я имъ ровня. Они думаютъ, что я какой-нибудь ихъ братъ, простой козакъ!...» Небольшой, послѣдовавшій за симъ, кашель и устремленіе глазъ исподлобья вокругъ давали догадываться, что голова готовился говорить о чемъ-то важномъ. «Въ тысячу... этихъ проклятыхъ названій годовъ, хоть убей, не выговорю; ну, — году, комиссару тогдашнему, Ледачему, данъ былъ приказъ выбрать изъ козаковъ такого, который бы былъ посмышленѣе всѣхъ. О! (это «о!» голова произнесъ, поднявши палецъ вверхъ) посмышленѣе всѣхъ! въ проводники къ царицѣ. Я тогда...»

«Что и говорить! это всякій уже знаетъ, панъ голова! Всѣ знаютъ, какъ ты выслужилъ царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла: хватилъ немного на душу грѣха, сказавши, что поймать этого сорванца въ вывороченномъ тулупѣ?»

«А что до этого дьявола въ вывороченномъ тулупѣ, то его, въ примѣръ другимъ, заковать въ кандалы и наказать примѣрно! Пусть знаютъ, что значить власть! Отъ кого же и голова поставленъ, какъ не отъ царя? Потомъ доберемся и до другихъ хлопцевъ: я не забылъ, какъ проклятые сорванцы вогнали въ огородъ стадо свиней, переѣвшихъ мою капусту и огурцы, я не забылъ, какъ чортовы дѣти отказались выхолотить мое жито; я не забылъ... Но провались они, мнѣ нужно непременно узнать, какая это шельма въ вывороченномъ тулупѣ».

«Это проворная, видно, птица!» сказалъ винокуръ, котораго щеки, въ продолженіе всего этого разговора, непрерывно заряжались дымомъ, какъ осадная пушка, и губы, оставивъ коротецкую люльку, выбросили цѣлый облачный

фонтанъ. «Этакого человѣка не худо, на всякій случай, и при винницѣ держать; а еще лучше повѣсить на вершукѣ дуба, вмѣсто паникадила».

Такая острота показалась не совсѣмъ глупою винокуру, и онъ тотъ же часъ рѣшился, не дожидаясь одобренія другихъ, наградить себя хриплымъ смѣхомъ.

Въ это время стали приближаться они къ небольшой, почти повалившейся на землю, хатѣ. Любопытство нашихъ путниковъ увеличилось: всѣ столпились у дверей. Писарь вынулъ ключъ, загремѣлъ имъ около замка; но этотъ ключъ былъ отъ сундука его. Нетерпѣніе увеличилось. Засунувъ руку, началъ онъ шарить и сыпать побрякки, не отыскивая его.

«Здѣсь!» сказалъ онъ, наконецъ, нагнувшись и вынимая его изъ глубины обширнаго кармана, которымъ снабжены были его пестрядевые шаровары.

При этомъ словѣ, сердца нашихъ героевъ, казалось, слились въ одно, и это огромное сердце забилося такъ сильно, что неровный стукъ его не былъ заглушенъ даже брякнувшимъ замкомъ. Двери отворились, и... Голова сталъ блѣднѣть, какъ полотно; винокуръ почувствовалъ холодъ, и волосы его, казалось, хотѣли улетѣть на небо; ужасъ изобразился въ лицѣ писаря; десятскіе приросли къ землѣ и не въ состояніи были сомкнуть дружно разинутыхъ ртовъ своихъ: передъ ними стояла свояченица.

Измученная не менѣе ихъ, она, однакожь, немного очнулась и сдѣлала движеніе, чтобы подойти къ нимъ.

«Стой!» закричалъ дикимъ голосомъ голова и захлопнулъ за нею дверь. «Господа, это сатана!» продолжалъ онъ. «Огня! живѣ огня! Не пожалѣю казенной хаты! Зажигай ее, зажигай, чтобы и костей чортовыхъ не осталось на землѣ!»

Свояченица въ ужасѣ кричала, слыша за дверью грозное опредѣленіе.

«Что вы, братцы!» говорилъ винокуръ. «Слава Богу, волосы у васъ чуть не въ снѣгу, а до сихъ поръ ума не нажили: отъ простого огня вѣдьма не загорится! Только огонь изъ люльки можетъ зажечь оборотня. Пойдите, я сейчасъ все улажу!»

Сказавши это, высыпалъ онъ горячую золу изъ трубки въ пукъ соломы и началъ раздувать ее. Отчаяніе придадо

въ это время духу бѣдной свояченицѣ: громко стала она умолять и разувѣрять ихъ.

«Постойте, братцы! Зачѣмъ напрасно грѣха набираться? Можетъ-быть, это и не сатана!» сказалъ писарь. «Если оно, то-есть, то самое, которое сидитъ тамъ, согласится положить на себя крестное знаменіе, то это вѣрный знакъ, что не чортъ».

Предложеніе одобрено.

«Чуръ меня, сатана!» продолжалъ писарь, приложась губами къ скважинкѣ въ дверяхъ. «Если не пошевелишься съ мѣста, мы отворимъ дверь.»

Дверь отворили.

«Перекрестись!» сказалъ голова, оглядываясь назадъ, какъ будто выбирая безопасное мѣсто, въ случаѣ ретирады.

Свояченица перекрестилась.

«Кой чортъ! точно, это свояченица!»

«Какая нечистая сила затащила тебя, кума, въ эту конуру?»

И свояченица, всхлипывая, рассказала, какъ схватили ее хлопцы въ охапку на улицѣ и, несмотря на сопротивленіе, опустили въ широкое окно хаты и заколотили ставнемъ. Писарь взглянулъ: петли у широкаго ставня оторваны, и онъ приколоченъ только сверху деревяннымъ брусомъ.

«Добро ты, одноглазый сатана!» вскричала она, приступивъ къ головѣ, который попятился назадъ и все еще продолжалъ ее мѣрять своимъ глазомъ. «Я знаю твой умыселъ: ты хотѣлъ, ты радъ былъ случаю съѣсть меня, чтобы свободнѣе было тебѣ волочиться за дѣвчатами, чтобы некому было видѣть, какъ дурачиться съдой дѣдъ. Ты думаешь, я не знаю, о чемъ говорилъ ты сего вечера съ Ганною? О, я знаю все. Меня трудно провестъ и не твоей безтодковой баннѣ. Я долго терпѣю, но послѣ не погнѣвайся...»

Сказавши это, она показала кулакъ и быстро ушла, оставивъ въ остолбѣнѣннй голову.

«Нѣтъ, тутъ не на шутку сатана вмѣшался», думалъ онъ, сильно почесывая свою макушку.

«Поймали!» вскрикнули вошедшіе въ это время десятскіе.

«Кого поймали?» спросилъ голова.



«Дьявола въ вывороченномъ тулупѣ».

«Подавайте его!» закричалъ голова, схвативъ за руки приведеннаго плѣнника. «Вы съ ума сошли: да это пьяный Каленикъ!»

«Что за пропасть! въ рукахъ нашихъ былъ, панъ голова!» отвѣчали десятскіе. «Въ переулкѣ окружили проклятые хлопцы, стали танцовать, дергать, высовывать языки, вырывать изъ рукъ... Чортъ съ вами!.. И какъ мы попали на эту ворону, вмѣсто его, Богъ одинъ знаетъ!»

«Властью моею и всѣхъ мірянъ дается повелѣніе», сказалъ голова: «изловить сей же мигъ сего разбойника, а онымъ образомъ и всѣхъ, кого найдете на улицѣ, и привести на расправу ко мнѣ!..»

«Помилуй, панъ голова!» закричали нѣкоторые, кланяясь въ ноги. «Увидѣлъ бы ты, какія хари: убей Богъ насъ, и родились, и крестились—не видали такихъ мерзкихъ рожъ. Долго ли до грѣха, панъ голова? Перепугаютъ добраго человѣка такъ, что послѣ ни одна баба не возьмется вылить переполоху.»

«Дамъ я вамъ переполоху! Что вы? не хотите слушаться? Вы, вѣрно, держите ихъ руку? Вы бунтовщики! Что это?.. Да что это?.. Вы заводите разбой!.. Вы... Вы... Я донесу комиссару! Сей же часъ, слышите, сей же часъ! бѣгите, летите птицею! Чтобъ я васъ... Чтобъ вы мнѣ...»

Всѣ разбѣжались.

## V.

### Утопленница..

Не беспокоясь ни о чемъ, не заботясь о разосланныхъ погоняхъ, вишновникъ всей этой кутерьмы медленно подходилъ къ старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это былъ Левко. Черный тулупъ его былъ разстегнутъ; шапку держалъ онъ въ рукѣ; потъ валилъ съ него градомъ. Величественно и мрачно чернѣлъ кленовый лѣсъ, обсыпаясь только на оконечности, стоявшей лицомъ къ мѣсяцу, тонкою серебряною пылью. Неподвижный прудъ подулъ свѣжестью на усталаго плѣшехода и заставилъ его отдохнуть на берегу. Все было тихо; въ глубокой чащѣ лѣса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сонъ быстро сталъ смыкать ему зѣницы; усталые члены го-

товы были забыться и онѣмѣть; голова клонилась... «Нѣтъ, этакъ я засну еще здѣсь!» говорилъ онъ, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась передъ нимъ еще блистательнѣе. Какое-то странное, упоительное сіяніе примѣшалось къ блеску мѣсяца. Никогда еще не случалось ему видѣть подобнаго. Серебряный туманъ палъ на окрестность. Запахъ отъ цвѣтушихъ яблонь и ночныхъ цвѣтовъ лился по всей землѣ. Съ изумленіемъ глядѣлъ онъ въ недвижныя воды пруда: старинный господскій домъ, опрокинувшись внизъ, виденъ былъ въ немъ чистъ и въ какомъ-то ясномъ величіи. Въмѣсто мрачныхъ ставней глядѣли веселыя стеклянныя окна и двери. Сквозь чистыя стекла мелькала позолота. И вотъ почудилось, будто окно отворилось. Притаивши духъ, не дрогнувъ и не спуская глазъ съ пруда, онъ, казалось, переселился въ глубину его и видитъ: прежде выставился въ окно бѣлый локоть, потомъ выглянула привѣтливая головка съ блестящими очами, тихо свѣтившимися сквозь темнорусыя волны волосъ, и оперлась на локоть. И видитъ: она качаетъ слегка головою, она машетъ, она усмѣхается... Сердце его вдругъ забилося... Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошелъ онъ отъ пруда и взглянулъ на домъ: мрачныя ставни были открыты; стекла сіяли при мѣсяцѣ. «Вотъ какъ мало нужно полагаться на людскіе толки», подумалъ онъ про себя. «Домъ новенькій; краски живы, какъ будто сегодня онъ выкрашенъ. Тутъ живетъ кто-нибудь». И молча подошелъ онъ ближе; но въ домѣ все было тихо. Сильно и звучно перекликались блистательныя пѣсни соловьевъ, и когда онъ, казалось, умирали въ томленіи и нѣгѣ, слышался шелестъ и трещаніе кузнечиковъ или гудѣніе болотной птицы, ударившей скользкимъ носомъ своимъ въ широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутилъ Левко въ своемъ сердцѣ. Настроивъ бандуру, заиграть онъ и заплѣлъ:

Ой, ты, мисяцю, мій мисяченьку!  
И ты, зоре ясна!  
Ой, свитить тамъ по подворью,  
Де давчина красна.

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отраженіе видѣлъ онъ въ прудѣ, выглянула, внимательно прислушиваясь къ пѣснѣ. Длиныя рѣсницы ея были полупушены на глаза. Вся она была блѣдна, какъ полотно,

какъ блескъ мѣсяца; но какъ чудна, какъ прекрасна! Она засмѣялась!.. Левко вздрогнулъ. «Спой мнѣ, молодой козацъ, какую-нибудь пѣсню!» тихо молвила она, наклонивъ свою голову на-бокъ и олутивъ совсѣмъ густыя рѣсницы.

«Какую же тебѣ пѣсню спѣть, моя ясная панночка?»

Слезы тихо покатились по блѣдному лицу ея. «Парубокъ», говорила она, и что-то неизъяснимо-трогательное слышалось въ ея рѣчи: «парубокъ, найди мнѣ мою мачиху! Я ничего не пожалѣю для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шитыя шелкомъ, кораллы, ожерелья. Я подарю тебѣ поясъ, унизанный жемчугомъ. У меня золото есть... Парубокъ, найди мнѣ мою мачиху! Она страшная вѣдьма: мнѣ не было отъ нея покою на бѣломъ свѣтѣ. Она мучила меня, заставляла работать, какъ простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянецъ своими нечистыми чарами со щекъ моихъ. Погляди на бѣлую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за чтѣ не смоятся, эти синія пятна отъ желѣзныхъ ногтей ея! Погляди на бѣлыя ноги мои: онѣ много ходили, не по коврамъ только, — по песку горячему, по землѣ сырой, по колючему терновнику онѣ ходили! А на очи мои, посмотри на очи: онѣ не глядятъ отъ слезъ!.. Найди ее, парубокъ, найди мнѣ мою мачиху!..»

Голосъ ея, который вдругъ было возвысился, остановился. Ручьи слезъ покатились по блѣдному лицу. Какое-то тяжелое чувство, полное жалости и грусти, сперлось въ груди парубка.

«Я готовъ на все для тебя, моя панночка!» сказалъ онъ, въ сердечномъ волненіи: «но какъ мнѣ, гдѣ ее найти?»

«Посмотри, посмотри!» быстро говорила она: «она здѣсь! она на берегу играетъ въ хороводѣ между моими дѣвушками и грѣется на мѣсяцѣ. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя видъ утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здѣсь. Мнѣ тяжело, мнѣ душно отъ нея. Я не могу чрезъ нее плавать легко и вольно, какъ рыба. Я тону и падаю на дно, какъ ключъ. Отыщи ее, парубокъ!»

Левко посмотрѣлъ на берегъ: въ тонкомъ серебряномъ туманѣ мелькали дѣвушки, легкія, какъ будто тѣни, въ бѣлыхъ, какъ убранный ландышами лугъ, рубашкахъ; золотыя ожерелья, монисты, дукаты блитали на ихъ шеяхъ; но онѣ были блѣдны: тѣло ихъ было какъ будто сваяно изъ про-

зрачныхъ облаковъ, и будто свѣтилось насквозь при серебряномъ мѣсяцѣ. Хороводъ, игралъ, придвинулся къ нему ближе. Послышались голоса.

«Давайте въ вѣрона, давайте играть въ вѣрона!» зашумѣли всѣ, будто прирѣчный тростникъ, тронутый, въ тихій часъ сумерекъ, воздушными устами вѣтра.

«Кому же быть вѣрономъ?»

Кинули жеребей — и одна дѣвушка вышла изъ толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все на ней такое же, какъ и на другихъ. Замѣтно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебѣгала отъ нападеній хищнаго врага.

«Нѣтъ, я не хочу быть вѣрономъ!» сказала дѣвушка, взнемогая отъ усталости: «мнѣ жалко отнимать цыплятъ у бѣдной матери!»

«Ты не вѣдьма!» подумалъ Левко.

«Кто же будетъ вѣрономъ?»

Дѣвушки снова собирались кинуть жеребей.

«Я буду вѣрономъ!» вызвалась одна изъ середины.

Левко сталъ пристально вглядываться въ лицо ей. Скоро и смѣло гналась она за вереницею и кидалась во всѣ стороны, чтобы изловить свою жертву. Тутъ Левко сталъ замѣчать, что тѣло ея не такъ свѣтилось, какъ у прочихъ: внутри его видѣлось что-то черное. Вдругъ раздался крикъ: вѣронъ бросился на одну изъ вереницы, схватилъ ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лицѣ ея сверкнула злобная радость.

«Вѣдьма!» сказали онъ, вдругъ указавъ на нее пальцемъ и оборотившись къ дому.

Панночка засмѣялась, и дѣвушки съ крикомъ увели за собою представлявшую вѣрона.

«Чѣмъ наградить тебя, парубокъ? Я знаю, тебѣ не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отецъ мѣшааетъ тебѣ жениться на ней. Онъ теперь не помѣшаетъ: возьми, отдай ему эту записку...»

Бѣлая ручка протянулась, лицо ея какъ-то чудно засвѣтилось и засіяло... Съ непостижимымъ трепетомъ и томительнымъ біеніемъ сердца схватилъ онъ записку и... проснулся.

## VI.

### Пробужденіе.

«Неужели это я спалъ?» сказалъ про себя Левко, вставая съ небольшого пригорка. «Такъ живо, какъ будто наяву!.. Чудно, чудно!» повторилъ онъ, оглядываясь. Мѣсяцъ, остановившійся надъ его головою, показывалъ полночь; вездѣ—тишина; отъ пруда вѣялъ холодъ; надъ нимъ печально стоялъ ветхій домъ съ закрытыми ставнями; мохъ и дикій бурьянъ показывали, что давно изъ него удалились люди. Тутъ онъ разогнулъ свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнулъ отъ изумленія, почувствовавши въ ней записку. «Эхъ, если бы я зналъ грамотѣ!» подумалъ онъ, оборачивая ее передъ собою на всѣ стороны. Въ это мгновеніе послышался позади его шумъ.

«Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего трусили? насъ десятокъ. Я держу закладъ, что это человѣкъ, а не чорты!..» Такъ кричалъ голова своимъ спутникамъ, и Левко почувствовалъ себя схваченнымъ нѣсколькими руками, изъ которыхъ инныя дрожали отъ страха. «Скидай-ка, пріятель, свою страшную личину! Полно тебѣ дурчить людей!» проговорилъ голова, ухвативъ его за воротъ, и оторопѣлъ, выпустивъ на него глазъ свой. «Левко! сынъ!» вскричалъ онъ, отступая отъ удивленія и опуская руки. «Это ты, собачій сынъ! Вишь, бѣсовское рожденіе! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьяволъ строить штуки! А это, выходитъ, все ты—неваренный кисель твоему батькѣ въ горло! — изволишь заводить по улицѣ разбой, сочиняешь пѣсни!.. Эге, ге, ге, Левко! А что это? Видно, чешется у тебя спина! Вязать его!»

«Постой, батько! Вѣрно тебѣ отдать эту записочку», проговорилъ Левко.

«Не до записокъ теперь, голубчикъ! Вязать его!»

«Постой, панъ голова!» сказалъ писарь, развернувъ записку: «комиссарова рука!»

«Комиссара?»

«Комиссара?» повторили машинально десятскіе.

«Комиссара? чудно! еще непонятнѣе!» подумалъ про себя Левко.

«Читай, читай!» сказалъ голова: «что тамъ пишетъ комиссаръ?»

«Послушаемъ, что пишетъ комиссаръ!» произнесъ винокуръ, держа въ зубахъ люльку и высъкая огонь.

Писарь откашлялся и началъ читать:

«Приказъ головѣ Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ, что ты, старый дуракъ, вмѣсто того, чтобы собрать прежнія недомыслия и вести на селѣ порядокъ, одурѣлъ и строишь пакости...»

«Вотъ, ей-Богу», прервалъ голова: «ничего не слышу!»

Писарь началъ снова:

«Приказъ головѣ Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ, что ты, старый ду...»

«Стой, стой! не нужно!» закричалъ голова: «хоть и не слышалъ, однакожъ знаю, что главнаго тутъ дѣла еще нѣтъ. Читай далѣе!»

«А вслѣдствіе того, приказываю тебѣ сей же часъ женить твоего сына Левка Макогоненка на козачкѣ изъ вашего же села Ганнѣ Петрыченковой, а также починить мосты по столбовой дорогѣ и не давать обывательскихъ лошадей безъ моего вѣдома судовымъ паничамъ, хоть бы они ѣхали прямо изъ казенной палаты. Если же, по приѣздѣ моемъ, найду оное приказаніе мое не приведеннымъ въ исполненіе, то тебя одного потребую къ отвѣту. Комиссаръ, отставной поручикъ Козьма Деркачъ-Дришпановскій».

«Вотъ что!» сказалъ голова, разинувши ротъ. «Слышите ли вы, слышите ли: за все съ головы спросать, и потому слушаться! безпрекословно слушаться! не то, прошу извинить... А тебя», продолжалъ онъ, оборотясь къ Левку, «вслѣдствіе приказанія комиссара, — хотя чудно мнѣ, какъ это дошло до него, — я женю; только напередъ попробуешь ты нагайки! Знаешь ту, что виситъ у меня на стѣнѣ вѣзлѣ покута? Я поновлю ее завтра... Гдѣ ты взялъ эту записку?»

Левко, несмотря на изумленіе, происшедшее отъ такого неожиданнаго оборота его дѣла, имѣлъ благоразуміе приготовить въ умѣ своемъ другой отвѣтъ и утаить настоящую истину, какимъ образомъ досталась записка.

«Я отлучался», сказалъ онъ: «вчера ввечеру еще въ городъ и встрѣтилъ комиссара, выгнанаго изъ брички. Узнавши, что я изъ нашего села, далъ онъ мнѣ эту записку и велѣлъ на словахъ тебѣ сказать, батъко, что заѣдетъ на возвратномъ пути къ намъ обѣдать».

«Онъ это говорилъ?»

«Говорить».

«Слышите ли?» сказалъ голова съ важною осанкою, оборотившись къ своимъ спутникамъ: «комиссаръ самъ своею особою прѣдетъ къ нашему брату, т.-е. ко мнѣ на обѣдъ. О!..» Тутъ голова поднялъ палецъ вверхъ и голову привелъ въ такое положеніе, какъ будто бы она прислушивалась къ чему-нибудь. «Комиссаръ, слышите ли, комиссаръ прѣдетъ ко мнѣ обѣдать! Какъ думаешь, панъ писарь, и ты, свать, это не совсѣмъ пустая честь! Не правда ли?»

«Еще, сколько могу припомнить», подхватилъ писарь: «ни одинъ голова не угощалъ комиссара обѣдомъ».

«Не всякій голова головѣ чета!» произнесъ съ самодовольнымъ видомъ голова. Ротъ его покривился и что-то въ родѣ тяжелого, хриплаго смѣха, похожего болѣе на гудѣніе отдаленнаго грома, зазвучало въ его устахъ. «Какъ думаешь, панъ писарь, нужно бы для именитаго гостя дать приказъ, чтобы съ каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего... А?..»

«Нужно бы, нужно, панъ голова!»

«А когда же свадьбу, батько?» спросилъ Левко.

«Свадьбу? Даль бы я тебѣ свадьбу!.. Ну, да для именитаго гостя... завтра васъ попъ и обвѣнчаетъ. Чортъ съ вами! Пусть комиссаръ увидитъ, что значить исправности! Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домамъ!.. Сегодняшній случай припомнилъ мнѣ то время, когда я...» При этихъ словахъ голова пустилъ обыкновенный свой важный и значительный взглядъ исподлюба.

«Ну, теперь пойдетъ голова рассказывать, какъ везъ царницу!» сказалъ Левко, и быстрыми шагами и радостно спѣвши къ знакомой хатѣ, окруженной низенькими вишнями. «Дай тебѣ Богъ небесное царство, добрая и прекрасная панночка!» думать онъ про-себя. «Пусть тебѣ на томъ свѣтѣ вѣчно усмѣхнется между ангелами святыми! Никому не расскажу про диво, случившееся въ эту ночь; тебѣ одной только, Галю, передамъ его: ты одна только повѣришь мнѣ и вмѣстѣ со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы!» Тутъ онъ приблизился къ хатѣ: окно было отперто; лучи мѣсяца проходили чрезъ него и падали на спящую передъ нимъ Ганну; голова ея оперлась на руку; щеки тихо горѣли; губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица! Приснишь тебѣ все, что есть

лучшаго на свѣтѣ; но и то не будетъ лучше нашего пробужденія!» Перекрестивъ се, закрылъ онъ окошко и тихонько удалился. И чрезъ нѣсколько минутъ все уже уснуло на селѣ; одинъ только мѣсяцъ такъ же блистательно и чудно плылъ въ необъятныхъ пустыняхъ роскошнаго украинскаго неба. Такъ же торжественно дышало въ вышинѣ, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Такъ же прекрасна была земля, въ дивномъ серебряномъ блескѣ; но уже никто не упивался ими: все погрузилось въ сонъ. Изрѣдка только перерывалось мгновенно молчаніе лаемъ собакъ, и долго еще пьяный Киленикъ шатался по уснувшимъ улицамъ, отыскивая свою хату.





## ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА.

БЫЛЬ,

*рассказанная дьячкомъ \*\*\*ской церкви.*

Такъ вы хотите, чтобы я вамъ еще разсказалъ про дѣда?— Пожалуй, почему же не потѣшить прибауткой? Эхъ, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падеть на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему и мѣсяца нѣтъ, дѣялось на свѣтѣ! А какъ еще впутается какой-нибудь родичъ, дѣдъ или прадѣдъ,—ну, тогда и рукой махни: чтобъ мнѣ поперхнулось за акаѣистомъ великомученицѣ Варварѣ, если не чудится, что вотъ-вотъ самъ все это дѣлаешь, какъ будто залѣзъ въ прадѣдовскую душу, или прадѣдовская душа палить въ тебѣ... Нѣтъ, мнѣ пуще всего наши дѣвчата и молодежи; покажись только на глаза имъ: Оома Григорьевичъ! Оома Григорьевичъ! *а нуте, яку-нибудь страховинку казочку! а нуте, нуте!..* тара-та-та, та-та-та, и пойдутъ, и пойдутъ... Разсказать-то, конечно, не жаль, да загляните-ка, что дѣлается съ ними въ постели. Вѣдь я знаю, что каждая дрожить подъ одѣяломъ, какъ будто бьетъ ее лихорадка, и рада бы съ головою влѣзть въ тулупъ свой. Царапни горшкомъ крыса, сама какъ-нибудь задѣнь ногою кочергу,—и Боже упаси! и душа въ пяткахъ. А на другой день ничего не бывало; навязывается сызнова: разскажи ей страшную сказку да и только. Что-жъ бы такое разсказать вамъ? Вдругъ не взбредеть на умъ... Да, разскажу я вамъ, какъ вѣдьмы играли съ покойнымъ дѣдомъ *въ дурня* \*). Только заранѣ прошу васъ,

\*) Т. е. въ дурачки.

господа, не сбивайте съ толку, а то такой кисель выйдетъ, что совѣстно будетъ и въ ротъ взять. Покойный дѣдъ, надобно вамъ сказать, былъ не изъ простыхъ въ свое время козаковъ. Зналъ и твердо-онъ-то, и словотитлу поставить. Въ праздникъ отхватаетъ апостола, бывало, такъ, что теперь и поповичъ иной спрячется. Ну, сами знаете, что въ тогдашнія времена, если собрать со всего Батурина грамотеевъ, то нечего и шапки подставлять, — въ одну горсть можно было всѣхъ уложить. Стало-быть, и дивиться нечего, когда всякій встрѣчный кланялся дѣду мало не въ поясъ.

Одинъ разъ, задумалось вельможному гетману послать за тѣмъ-то къ царицѣ грамоту. Тогдашній полковой писарь, — вотъ, нелегкая его возьми, и прозвища не вспомню... Вискрякъ не Вискрякъ, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцекъ не Голопуцекъ... знаю только, что какъ-то чудно начинается мудреное прозвище, — позвалъ къ себѣ дѣда и сказалъ ему, что, вотъ, наряжаетъ его самъ гетманъ гонцомъ съ грамотою къ царицѣ. Дѣдъ не любилъ долго собираться: грамоту зашилъ въ шапку, вывелъ коня, чмокнулъ жену и двухъ своихъ, какъ самъ онъ называлъ, поросенковъ, изъ которыхъ одинъ былъ родной отецъ хоть бы и нашего брата, и поднялъ такую за собою пыль, какъ будто бы пятнадцать хлопцевъ задумали посреди улицы играть въ кашу. На другой день, еще пѣтухъ не кричалъ въ четвертый разъ, дѣдъ уже былъ въ Конотопѣ. На ту пору была тамъ ярмарка: народу высыпало по улицамъ столько, что въ глазахъ рябило. Но такъ какъ было рано, то все дремало, протянувшись на землѣ. Возгъ коровы лежалъ гуляка парубокъ, съ покраснѣвшимъ, какъ снигирь, носомъ; подаѣ храпѣла, сидя, перекупка съ кремнями, синькою, дробью и бубликами; подъ телѣгою лежалъ цыганъ; на возу съ рыбой — чумакъ; на самой дорогѣ раскинулъ ноги бородачъ-москаль съ поясами и рукавицами... ну, всякаго сброду, какъ водится по ярмаркамъ. Дѣдъ приостановился, чтобы разглядѣть хорошенько. Между тѣмъ въ яткахъ начало мало-по-малу шевелиться: жидовки стали побрякивать фляжками; дымъ покатило то тамъ, то сямъ кольцами, и запахъ горячихъ сластенъ понесся по всему табору. Дѣду вспало на умъ, что у него нѣтъ ни огнива, ни табаку наготовѣ: вотъ и пошелъ таскаться по ярмаркѣ. Не успѣлъ пройти двадцати шаговъ — навстрѣчу заporожецъ. Гуляка, и по лицу видно! Красные, какъ жаръ, ша-

ровары, синій жупанъ, яркій цвѣтной поясъ, при богу сабля и люлька съ мѣдною цѣпочкою по самыя пяты—запорожецъ да и только! Эхъ, народцы! станетъ, вытянется, поведетъ рукою молодецкіе усы, брякнетъ подковами — и пустится! Да вѣдь какъ пустится: ноги отплясываютъ словно веретено въ бабьихъ рукахъ; что вихорь, дернетъ рукою по всѣмъ струнамъ бандуры, и тутъ же, подпершись ею въ боги, несется въ-присядку: зальется пѣсней — душа гуляетъ!.. Нѣтъ, прошло времячко: не увидать больше запорожцевъ! Да. Такъ встрѣтились. Слово за слово — долго ли до знакомства? Пошли калякать, калякать, такъ что дѣдъ совсѣмъ уже было позабылъ про путь свой. Попойка завелась, какъ на свадьбѣ передъ постомъ Великимъ. Только, видно, наконецъ прискучило бить горшки и швырять въ народъ деньгами, да и ярмаркѣ не вѣкъ же стоять! Вотъ сговорились новые пріятели, чтобъ не разлучаться и путь держать вмѣстѣ. Было давно подъ вечеръ, когда выѣхали они въ поле. Солнце убралось на отдыхъ; кое-гдѣ горѣли вмѣсто него красноватыя полосы; по полю нестрѣли нивы, что праздничныя плахты чернобровыхъ молодежи. Нашего запорожца раздобаръ взялъ страшный. Дѣдъ и еще другой, приплетшійся къ нимъ гуляка, подумали уже, не бѣсъ ли васьлъ въ него. Откуда что набиралось. Историі и присказки такія диговинныя, что дѣдъ нѣсколько разъ хватался за бока и чуть не надсадилъ своего живота со смѣху. Но въ полѣ становилось чѣмъ далѣе, тѣмъ сумрачнѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ становилась несвязнѣе и молодецкая молюв. Наконецъ, рассказчикъ нашъ притихъ совсѣмъ и вздрагивать при малѣйшемъ шорохѣ.

«Ге, ге, земляк! да ты не на шутку принялся считать совѣ. Ужъ думаешь, какъ бы домой, да на печѣ!»

«Передъ вами нечего таиться», сказалъ онъ, вдругъ оборотившись и неподвижно уставивъ на нихъ глаза свои. «Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому?»

«Экая невидальщина! Кто на вѣку своемъ не знался съ нечистымъ? Тутъ-то и нужно гулять, какъ говорится, на прахъ.»

«Эхъ, хлопцы! гулялъ бы, да въ ночь эту срокъ молодцу! Эй, братцы!» сказалъ онъ, хлопнувъ по рукамъ ихъ: «эй, не выдайте! не поспите одной ночи! Вѣтъ не забуду вашей дружбы!»

Почему-жъ не пособить человѣку въ такомъ горѣ? Дѣдъ объявилъ напрямикъ, что скорѣе дастъ онъ отрѣзать оселедецъ съ собственной головы, чѣмъ допустить чорта понюхатъ собачьей мордой своей христіанской души.

Козаки наши ѣхали бы, можетъ, и далѣе, если бы не обволокло всего неба ночью, словно чернымъ радномъ, и въ полѣ не стало такъ же темно, какъ подъ овчиннымъ тулупомъ. Издали только мерещился огонекъ, и кони, чуя близкое стойло, торопились, насторожа уши и вковавши очи во мракъ. Огонекъ, казалось, неся навстрѣчу, и передъ козаками показался шинокъ, повалившійся на одну сторону, словно баба на пути съ веселыхъ крестинъ. Въ тѣ поры шинки были не то, что теперь. Доброму человѣку не только развернуться, приударить горлицы или гопака, — прилечь даже негдѣ было, когда въ голову заберется хмель, и ноги начнутъ писать покой-онъ-по. Дворъ былъ уставленъ весь чумацкими возами; подъ повѣтками, въ ясляхъ, въ сѣняхъ, иной свернувшись, другой развернувшись, храпѣли, какъ коты. Шинкаръ одинъ, передъ каганцемъ, нарѣзывать рубцами на палочкѣ, сколько квартъ и осьмухъ высушили чумацкія головы. Дѣдъ, спросивши третъ ведра на троихъ, отправился въ сарай. Всѣ трое легли рядомъ. Только не успѣлъ онъ повернуться, какъ видитъ, что его земляки спать уже мертвецкимъ сномъ. Разбудивши приставшаго къ нимъ третьяго козака, дѣдъ напомнилъ ему про данное товарищу обѣщаніе. Тотъ привсталъ, протеръ глаза и снова уснулъ. Нечего дѣлать, пришлось одному караулить. Чтобы чѣмъ-нибудь разогнать сонъ, осмотрѣлъ онъ всѣ возы, провѣдалъ коней, закурилъ люльку, пришелъ назадъ и сѣлъ опять около своихъ. Все было тихо, такъ что, кажись, ни одна муха не пролетѣла. Вотъ и чудится ему, что изъ-за сосѣдняго воза что-то сѣрое выказываетъ роги... Тутъ глаза его начали смыкаться, такъ что принужденъ онъ былъ ежеминутно протирать ихъ кулакомъ и промывать оставшеюся водкой. Но какъ скоро немного прояснились они, все пропадало. Наконецъ, мало погода, опять показывается изъ-подъ воза чудище... Дѣдъ вытаращилъ глаза, сколько могъ; но проклятая дремота все туманила передъ нимъ; руки его окостенѣли, голова скатилась, и крѣпкій сонъ схватилъ его такъ, что онъ повалился, словно убитый. Долго спалъ дѣдъ, и, какъ припекло порядочно уже солнце его выбритую ма-

кушку, тогда только схватился онъ на ноги. Потянувшись раза два и почесавъ спину, замѣтилъ онъ, что возовъ стояло уже не такъ много, какъ съ вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до свѣта. Къ своимъ — козакъ спать, а запорожца нѣтъ. Выспрашивать — никто знать не знаетъ; одна только верхняя свитка лежала на томъ мѣстѣ. Страхъ и раздумье взяло дѣда. Пошелъ посмотрѣть коней — ни своего, ни запорожскаго! Что-бъ это значило? Положимъ, запорожца взяла нечистая сила, кто же коней? Сообразя все, дѣдъ заключилъ, что, вѣрно, чортъ приходилъ пѣшкомъ, а какъ до пекла не близко, то и стянулъ его коня. Больно ему было крѣпко, что не сдержалъ козацкаго слова. «Ну», думаетъ, «нечего дѣлать, пойду пѣшкомъ: авось попадется на дорогѣ какой-нибудь барышникъ, ѣдущій съ ярмарки, какъ-нибудь уже куплю коня». Только хватился за шапку — и шапки нѣтъ. Всплеснулъ руками покойный дѣдъ, какъ вспомнилъ, что вчера еще помѣнялись они на время съ запорожцемъ. Кому больше утащить, какъ не нечистому! Вотъ тебѣ и гетьманскій гостинецъ! Вотъ тебѣ и привезъ грамоту къ царицѣ! Тутъ дѣдъ принялся угощать чорта такими прозвищами, что, думаю, ему не одинъ разъ чихалось тогда въ пеклѣ. Но бранью мало пособишь; а затылка сколько ни чесалъ дѣдъ, никакъ не могъ ничего придумать. Что дѣлать? Кинулся достать чужого ума: собралъ всѣхъ, бывшихъ тогда въ шинкѣ, добрыхъ людей, чумаковъ и просто заѣзжихъ, и рассказалъ, что такъ и такъ, такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, подперши батогами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеномъ свѣтѣ, чтобы гетьманскую грамоту утащилъ чортъ. Другіе же прибавили, что когда чортъ да москаль украдутъ что-нибудь, то поминай, какъ и звали. Одинъ только шинкарь сидѣлъ молча въ углу. Дѣдъ и подступилъ къ нему. Уже когда молчить человѣкъ, то, вѣрно, зашибъ много умомъ. Только шинкарь не такъ-то былъ щедръ на слова, и если бы дѣдъ не полѣзъ въ карманъ за пятью злотыми, то простоялъ бы передъ нимъ даромъ.

«Я научу тебя, какъ найти грамоту», сказалъ онъ, отводя его въ сторону. У дѣда и на сердцѣ отлегло. «Я вижу уже по глазамъ, что ты козакъ — не баба. Смотри же! Близко шинка будетъ поворотъ направо въ лѣсъ. Только станеть въ полѣ примеркать, чтобы ты былъ уже наготовѣ. Въ лѣсу

живутъ цыганы и выходятъ изъ норъ своихъ ковать желѣзо въ такую ночь, въ какую однѣ вѣдьмы ѣздить на своихъ кочергахъ. Чѣмъ они промышляютъ на самомъ дѣлѣ, знать тебѣ нечего. Много будетъ стуку по лѣсу, только ты не иди въ тѣ стороны, откуда слышишь стукъ; а будетъ передъ тобою малая дорожка, мимо обожженного дерева: дорожкой этою иди, иди, иди... Станетъ тебя терновникъ царапать, густой орѣшникъ заслонять дорогу—ты все иди; и какъ придешь къ небольшой рѣчкѣ, тогда только можешь остановиться. Тамъ и увидишь, кого нужно. Да не позабудь набрать въ карманы того, для чего и карманы сдѣланы... Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любятъ.» Сказавши это, шинкаръ ушелъ въ свою конуру и не хотѣлъ больше говорить ни слова.

Покойный дѣдъ былъ человекъ — не то, чтобы изъ трусливаго десятка; бывало, встрѣтитъ волка, такъ и хватаетъ прямо за хвостъ; пройдетъ съ кулаками промежъ козаковъ, — всѣ, какъ груши, повалятся на землю. Однакожъ, что-то подирало его по кожѣ, когда вступить онъ въ такую глухую ночь въ лѣсъ. Хоть бы звѣздочка на небѣ. Темно и глухо, какъ въ винномъ подвалѣ; только слышно было, что далеко-далеко вверху, надъ головою, холодный вѣтеръ гулялъ по верхушкамъ деревъ, и деревья, что охмелѣвшия козацкія головы, разгульно покачивались, шопоча листьями пьяную мольву. Какъ вотъ завѣяло такимъ холодомъ, что дѣдъ вспомнилъ и про овчинный тулупъ свой, и вдругъ словно сто молотовъ застучало по лѣсу такимъ стукомъ, что у него зазвенѣло въ головѣ. И, будто зарницею, освѣтило на минуту весь лѣсъ. Дѣдъ тотчасъ увидѣлъ дорожку, пробирающуюся промежъ мелкаго кустарника. Вотъ и обожженное дерево, и кусты терновника! Такъ, все такъ, какъ было ему говорено; нѣтъ, не обманулъ шинкаръ. Однакожъ, не совсѣмъ весело было продираться черезъ колючіе кусты; еще отъ роду не видалъ онъ, чтобы проклятыя шипы и сучья такъ больно царапались: почти на каждомъ шагѣ забирало его вскрикнуть. Мало-по-малу, выбрался онъ на просторное мѣсто, и, сколько могъ замѣтить, деревья рѣдѣли и становились, чѣмъ далѣе, такія широкія, какихъ дѣдъ не видывалъ и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и рѣчка, черная, словно вороненая сталь. Долго стоялъ дѣдъ у берега, поглядывая на всѣ стороны.

На другомъ берегу горить огонь и, кажется, вотъ-вотъ готовится погаснуть, и снова отсвѣчивается въ рѣчкѣ, вдрагивавшей, какъ польскій шляхтичъ въ козацкихъ лапахъ. Вотъ и мостикъ! «Ну, тутъ одна только чертовская таратайка развѣ проѣдетъ». Дѣдъ, однакожь, ступилъ смѣло, и скорѣе, чѣмъ бы иной успѣлъ достать рожокъ, понюхать табаку, былъ уже на другомъ берегу. Теперь только разглядѣлъ онъ, что возлѣ огня сидѣли люди и такія смазливья рожи, что въ другое время, Богъ знаетъ, чего бы не далъ, лишь бы ускользнуть отъ этого знакомства. Но теперь, нечего дѣлать, нужно было завязаться. Вотъ дѣлъ и отвѣсилъ имъ поклонъ, мало не въ поясъ: «Помогай Богъ вамъ, добрые люди!» Хотъ бы одинъ кивнулъ головой: сидать да молчать, да что-то сыплуть въ огонь. Видя одно мѣсто незанятымъ, дѣдъ безъ всякихъ околичностей сѣлъ и самъ. Смазливья рожи — ничего; ничего и дѣдъ. Долго сидѣли молча. Дѣду уже и прискучило; давай шарить въ карманѣ, вынулъ люльку, посмотрѣлъ вокругъ — ни одинъ не глядитъ на него. «Уже, добродѣйство, будьте ласковы: какъ бы такъ, чтобы, примѣрно сказать, того»... (дѣдъ живалъ въ свѣтѣ не мало, зналъ уже, какъ подпускать турысы, и при случаѣ, пожалуй, и передъ паремъ не ударилъ бы лицомъ въ грязь) «чтобы, примѣрно сказать, и себя не забыть, да и васъ не обидѣть, — люлька-то у меня есть, да того, чѣмъ бы зажечь ее, *чортъ-ма* (не имѣется).» И на эту рѣчь хотъ бы слово; только одна рожа сунула горячую головню прямехонько дѣду въ лобъ, такъ что, если бы онъ немного не посторонился, то, статья — можетъ, распрощался бы навѣки съ однимъ глазомъ. Видя, наконецъ, что время даромъ проходить, рѣшился — будетъ ли слушать нечистое племя, или нѣтъ — рассказать дѣло. Рожи и уши наставили, и ланы протянули. Дѣдъ догадался, забралъ въ горсть всѣ бывшія съ нимъ деньги и кинулъ, словно собакамъ, имъ въ середину. Какъ только кинулъ онъ деньги, все передъ нимъ перемишалось, земля задрожала и какъ уже, — онъ и самъ рассказать не умѣлъ, — попалъ чуть ли не въ самое пекло. «Батюшки мои!» ахнулъ дѣдъ, разглядѣвши хорошенько. Что за чудища! рожи на рожи, какъ говорится, не видно. Вѣдъмъ такая гибель, какъ случается иногда на Рождество выпадесть снѣгу: разряжены, размазаны, словно панночки на ярмаркѣ. И всѣ, сколько ни было ихъ тамъ, какъ хмель-

ныя, отпшасывали какого-то чертовскаго трепака. Пыль под-  
няли, Боже упаси, какую! Дрожь бы проняла крещенаго  
человѣка при одномъ видѣ, какъ высоко скакало бѣсовское  
племя. На дѣда, несмотря на весь страхъ, смѣхъ напалъ,  
когда увидѣлъ, какъ черти съ собачьими мордами, на нѣ-  
мецкихъ ножкахъ, вертя хвостами, увивались около вѣдьмъ,  
будто парни около красныхъ дѣвушекъ, а музыканты тузили  
себя въ щеки кулаками, словно въ бубны, и свистали но-  
сами, какъ въ валторны. Только завидѣли дѣда—и турнули  
къ нему ордою. Свиныя, собачьи, козлиныя, дрофиныя, ло-  
шадиныя рыла—всѣ повытягивались, и вотъ такъ и лѣзутъ  
цѣловаться. Плюнулъ дѣдъ, такая мерзость напала! Нако-  
нецъ, схватили его и посадили за столъ, длиною, можетъ,  
съ дорогу отъ Конотопа до Батурина. «Ну, это еще не со-  
всѣмъ худо», подумалъ дѣдъ, завидѣвши на столѣ свинину,  
колбасы, крошеный съ капустой лукъ и много всякихъ сла-  
стей: «видно, дьявольская сволочь не держитъ постовъ». Дѣдъ-таки, не мѣшаетъ вамъ знать, не упускалъ при слу-  
чаѣ перехватить того-сего на зубы. Ъдалъ, покойникъ,  
аппетитно, и потому, не пускаясь въ разсказы, придвинулъ  
къ себѣ миску съ наръзаннымъ саломъ и окорокъ ветчины,  
взялъ вилку, мало чѣмъ поменьше тѣхъ вилъ, которыми  
мужикъ беретъ сѣно, захватилъ ею самый увѣсистый ку-  
сокъ, подставилъ корку хлѣба — и, глядя, и отправилъ въ  
чужой ротъ, вотъ-вотъ возлѣ самыхъ ушей, и слышно  
даже, какъ чья-то морда жуесть и щелкаетъ зубами на  
весь столъ. Дѣдъ ничего; схватилъ другой кусокъ и вотъ,  
кажись, и по губамъ зацѣпилъ, только опять не въ свое  
горло. Въ третій разъ—снова мимо. Вабѣленился дѣдъ: по-  
забылъ и страхъ, и въ чьихъ лапахъ находится онъ, при-  
скочилъ къ вѣдьмамъ: «Что вы, Иродово племя, задумали  
смѣяться, что ли, надо мною? Если не отдадите, сей же  
часъ, моей козацкой шапки, то будь я католикъ, когда не  
переворочу свинныхъ рылъ вашихъ на затылокъ!» Не успѣлъ  
онъ докончить послѣднихъ словъ, какъ всѣ чудища выска-  
ляли зубы и подняли такой смѣхъ, что у дѣда на душѣ  
захолонуло.

«Ладно!» провизжала одна изъ вѣдьмъ, которую дѣдъ  
почелъ за старшую надъ всѣми, потому личина у нея была  
чуть ли еще не красивѣе всѣхъ: «шапку отдадимъ тебѣ,  
только не прежде, пока сыграешь съ нами три раза въ *дурня*!»



Что прикажешь дѣлать? Козаку сѣсть съ бабами въ дурня! Дѣдъ отпираться, отпираться, наконецъ, сѣлъ. Принесли карты, замасленные, какими только у насъ поповны гадаютъ про жениховъ.

«Слушай же!» залаяла вѣдма въ другой разъ: «если хоть разъ выиграешь—твоя шапка; когда же всѣ три раза останешься дурнемъ, то не прогнѣвайся, не только шапки, можетъ, и свѣта больше не увидишь!»

«Сдавай, сдавай, хрычовка! Что будетъ, то будетъ.»

Вотъ и карты розданы. Взялъ дѣдъ свои въ руки—смотреть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смѣхъ одинъ козырь. Изъ масти десятка самая старшая, паръ даже нѣтъ; а вѣдма все подваливаетъ пятериками. Пришлось остаться дурнемъ! Только что дѣдъ успѣлъ остаться дурнемъ, и со всѣхъ сторонъ заржали, залаяли, захрюкали морды: «дурень, дурень, дурень!»

«Чтобъ вы перелопались, дьявольское племя!» закричалъ дѣдъ, затыкая пальцами себѣ уши. «Ну», думаетъ, «вѣдма подтасовала, теперь я самъ буду сдавать». Сдалъ; засвѣтилъ козыря; поглядѣлъ въ карты: масть хоть куда, козыри есть. И сначала дѣло шло, какъ нельзя лучше; только вѣдма — пятерикъ съ королями! У дѣда на рукахъ одни козыри! Не думая, не гадая долго, хватъ королей всѣхъ по усамъ козырями!

«Ге, ге! да это не по-козацки! А чѣмъ ты кроешь, землякъ?»

«Какъ—чѣмъ? Козырями!»

«Можетъ-быть, по-вашему это и козыри, только по-нашему—нѣтъ!»

Глядь—въ самомъ дѣлѣ простая масть. Что за дьявольщина! Пришлось въ другой разъ быть дурнемъ, и чертаньѣ пошло снова драть горло: «дурень! дурень!» такъ что столъ дрожалъ и карты прыгали по столу. Дѣдъ разгорячился; сдалъ въ послѣдній. Опять идетъ ладно. Вѣдма опять пятерикъ; дѣдъ покрылъ и набралъ изъ колоды полную руку козырей.

«Козыри!» вскричалъ онъ, ударивъ по столу картою такъ, что ее свернуло коробомъ; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти. «А чѣмъ ты, старый дьяволъ, бьешь?» Вѣдма подняла карту; подъ нею была простая шестерка. «Вишь, бѣсовское обморачиванье!» сказалъ дѣдъ и съ до-

сады хватилъ кулакомъ, что силы, по столу. Къ счастью еще, что у вѣдмы была плохая масть; у дѣда, какъ нарочно, на ту пору пары. Сталъ набирать карты изъ колоды, только мочи нѣтъ; дрянъ такая лѣзетъ, что дѣдъ и руки опустилъ. Въ колодѣ ни одной карты. Пошелъ, уже такъ, не глядя, простою шестеркою; вѣдма приняла. «Вотъ тебѣ на! это что? Э, э! вѣрно, что-нибудь да не такъ!» Вотъ, дѣдъ карты потихоньку подъ столъ и перекрестилъ; глядѣ— у него на рукахъ тузъ, король, валетъ козырей, а онъ вмѣсто шестерки спустилъ краю. «Ну, дурень же я былъ! Король козырей! Что! приняла? А? кошечье отродье! А туза не хочешь? Тузы! валетъ!»... Громъ пошелъ по неклѣ; на вѣдму напали корчи, и, откуда ни возмись, шапка бухъ дѣду прямехонько въ лицо. «Нѣтъ, этого мало!» закричалъ дѣдъ, прихрабрившись и надѣвъ шапку. «Если сейчасъ не станетъ передо мною молодецкій конь мой, то вотъ, убей меня громъ на этомъ самомъ нечистомъ мѣстѣ, когда я не перекрещу святымъ крестомъ всѣхъ васъ!» и уже было и руку поднятъ, какъ вдругъ загремя передъ нимъ конскія кости.

«Вотъ тебѣ конь твой!»

Заплакалъ бѣдняга, глядя на нихъ, что дитя неразумное. Жаль стараго товарища! «Дайте же мнѣ какого-нибудь коня, выбратся изъ гнѣзда вашего!» Чортъ хлопнулъ араппиномъ — конь, какъ огонь, взвился подъ нимъ, и дѣдъ, что птица, вынесся наверхъ.

Страхъ однакожь напалъ на него посреди дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводовъ, скакалъ черезъ провалы и болота. Въ какихъ мѣстахъ онъ не былъ, такъ дрожъ забирала при однихъ разсказахъ. Глянулъ какъ-то себѣ подъ ноги — и пуше перепугался: пропасть! крутизна страшная! А сатанинскому животному и нужды нѣтъ: прямо черезъ нее. Дѣдъ держаться: не тутъ-то было. Черезъ пни, черезъ кочки полетѣлъ стремглавъ въ проваль и такъ хватился на днѣ его о землю, что, кажись, и духъ вышибло. Но крайней мѣрѣ, что дѣялось съ нимъ въ то время, ничего не помнилъ; и какъ очнулся немного и осмотрѣлся, то уже разсвѣло совсѣмъ: передъ нимъ мелькали знакомыя мѣста, и онъ лежалъ на крышѣ своей же хаты.

Перекрестился дѣдъ, когда слѣзъ долой. Экая чертовщина! Что за пропасть, какія съ человекомъ чудеса дѣ-

лаются! Глядь на руки—всѣ въ крови; посмотрѣлъ на стоявшую торчмя бочку съ водою—и лицо также. Обмывъшись хорошенько, чтобы не испугать дѣтей, входитъ онъ потихоньку въ хату, смотритъ: дѣти пятаются къ нему задомъ и въ испугѣ указываютъ ему пальцами, говоря: «*Дымысь! дымысь! маты, мовѣ дурна скаче!*»\*) И въ самомъ дѣлѣ, баба сидитъ, заснувши передъ гребнемъ, держитъ въ рукахъ веретено и сонная подпрыгиваетъ на лавкѣ. Дѣдъ, взявши за руку потихоньку, разбудилъ ее: «Здравствуй, жена! здорова ли ты?» Та долго смотрѣла, выпучивши глаза и, наконецъ, уже узнала дѣда и рассказала, какъ ей снилось, что печь ѣздила по хатѣ, выгоняя вонъ лопатою горшки, лоханки... и, чортъ знаетъ, что еще такое. «Ну», говоритъ дѣдъ, «тебѣ во снѣ, мнѣ наяву. Нужно, вижу, будетъ освятить нашу хату; мнѣ же теперь мѣшкать нечего». Сказавши это и отдохнувши немного, дѣдъ досталъ боня и уже не останавливался ни днемъ, ни ночью, пока не доѣхалъ до мѣста и не отдалъ грамоты самой царицѣ. Тамъ наглядѣлся дѣдъ такихъ дивъ, что стало ему надолго послѣ того рассказывать: какъ повели его въ палаты, такія высокія, что если бы хатъ десять поставить одну на другую, и тогда, можетъ-быть, не достало бы; какъ взглянулъ онъ въ одну комнату—нѣтъ; въ другую — нѣтъ; въ третью — еще нѣтъ; въ четвертой даже нѣтъ; да въ пятой уже, глядь — сидитъ сама, въ золотой коронѣ, въ сѣрой новехонькой свиткѣ, въ красныхъ сапогахъ, и золотыя галушки ѣсть; какъ велѣла ему насыпать цѣлую шашку *синицани*; какъ... всего и вспомнить нельзя! Объ вознѣ своей съ чертями дѣдъ и думать позабылъ, и если случалось, что кто-нибудь и напоминалъ объ этомъ, то дѣдъ молчалъ, какъ будто не до него и дѣло шло, и великаго стоило труда упросить его пересказать все, какъ было. И, видно, уже въ наказаніе, что не спохватился тотчасъ послѣ того освятить хату, бабѣ ровно черезъ каждый годъ, и именно въ то самое время, дѣбалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затѣваютъ свое, и вотъ такъ и дергается пустишься въ-присядку.

---

\*) Смотри! смотри! маты, какъ сумасшедшая, скачетъ!

# ВЕЧЕРА НА ХУТОРѢ БЛИЗѢ ДИКАНЬКИ.

---

ПОВѢСТИ,

ИЗДАНЫЯ

ПАСИЧНИКОМЪ РУДЫМЪ ПАНЬКОМЪ.

---

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

---

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

---

Вотъ вамъ и другая книжка, а лучше сказать, послѣдняя! Не хотѣлось, крѣпко не хотѣлось выдавать и этой. Право, пора знать честь. Я вамъ скажу, что на хуторѣ уже начинаютъ смѣяться надо мною: «Вотъ», говорятъ, «одурѣлъ старый дѣдъ: на старости лѣтъ тѣшится ребяческими игрушками!» И точно, давно пора на покой. Вы, любезные читатели, вѣрно, думаете, что я прикидываюсь только старикомъ. Куда тутъ прикидываться, когда во рту совсѣмъ зубовъ нѣтъ! Теперь, если что мягкое попадется, то буду какъ-нибудь жевать, а твердое-то ни за что не откушу. Такъ вотъ вамъ опять книжка! Не бранитесь только! Не хорошо браниться на прощаньи, особенно съ тѣмъ, съ которымъ, Богъ знаетъ, скоро ли увидите. Въ этой книжкѣ услышите рассказчиковъ, все почти для васъ незнакомыхъ, выключая только развѣ Оомы Григорьевича. А того гороховаго панича, что рассказывалъ такимъ вычурнымъ языкомъ. котораго много остряковъ и изъ московскаго народу не могло понять, уже давно нѣтъ. Послѣ того, какъ разссорился со всѣми, онъ и не заглядывалъ къ намъ. Да, я вамъ не рассказывалъ этого случая? Послушайте, тутъ прекомедія была. Прошлый годъ, такъ какъ-то около лѣта, да чуть ли не на самый день моего патрона, пріѣхали ко мнѣ въ гости... (Нужно вамъ сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай Богъ имъ здоровье, не забываютъ

старика. Уже есть пятидесятый годъ, какъ я зачалъ по-  
мнить свои именины; который же точно мнѣ годъ, этого  
ни я, ни старуха моя вамъ не скажемъ. Должно-быть,  
близъ семидесяти. Диканьскій-то попъ, отецъ Харлам-  
пій, зналъ, когда я родился; да жаль, что уже пятьде-  
сятъ лѣтъ, какъ его нѣтъ на свѣтѣ). Вотъ пріѣхали ко  
мнѣ гости: Захаръ Кириловичъ Чухопупенко, Степанъ  
Ивановичъ Курочка, Тарасъ Ивановичъ Смачненькій, за-  
сѣдатель Харлампій Кириловичъ Хлоста; пріѣхалъ еще...  
вотъ позабылъ, право, имя и фамилію... Осипъ... Осипъ...  
Боже мой, его знаетъ весь Миргородъ! онъ еще, когда  
говорить, то всегда шелкнетъ напередъ пальцемъ и по-  
допрется въ боки... Ну, Богъ съ нимъ! Въ другое время  
вспомню. Пріѣхалъ и знакомый вамъ паничъ изъ Полта-  
вы. Оомы Григорьевича я не считаю; то уже свой че-  
ловѣкъ. Разговорились всѣ (опять нужно вамъ замѣтить,  
что у насъ никогда о пустякахъ не бываетъ разговора:  
я всегда люблю приличные разговоры, чтобы, какъ го-  
ворять, вмѣстѣ и услаждение и назидательность была),—  
разговорились объ томъ, какъ нужно солить яблоки.  
Старуха моя начала-было говорить, что нужно напередъ  
хорошенько вымыть яблоки, потомъ намочить въ квасу,  
а потомъ уже... «Ничего изъ этого не будетъ!» подхва-  
тилъ полтавецъ, заложивши руку въ гороховый кафтанъ  
свой и прошедши важнымъ шагомъ по комнатѣ: «ничего  
не будетъ! Прежде всего нужно пересыпать кануперомъ,  
а потомъ уже»... Ну, я на васъ ссылаюсь, любезные чи-  
татели, скажите по совѣсти: слышали ли вы когда-нибудь,  
чтобы яблоки пересыпали кануперомъ? Правда, кладутъ  
смородинный листь, нечуй-вѣтеръ, трилистникъ; но что-  
бы клали кануперъ... нѣтъ, я не слыхивалъ объ этомъ.  
Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знаетъ  
про эти дѣла. Ну, говорите же вы! Нарочно, какъ доб-  
раго человѣка, отвелъ я его потихоньку въ сторону:  
«Слушай, Макарь Назаровичъ, эй, не смѣши народъ! Ты  
человѣкъ немаловажный: самъ, какъ говоришь, обѣдалъ  
разъ съ губернаторомъ за однимъ столомъ. Ну, скажешь  
чтонибудь подобное тамъ, вѣдь тебя же осмѣютъ всѣ!»  
Что-жъ-бы. вы думали, онъ сказалъ на это? — Ничего!  
плюнулъ на полъ, взялъ шапку и вышелъ. Хоть бы про-  
стился съ кѣмъ, хоть бы кивнулъ кому головою; только

слышали мы, какъ подѣхала къ воротамъ телѣжка со  
звонкомъ; сѣлъ и уѣхалъ. И лучше! Не нужно намъ  
такихъ гостей! Я вамъ скажу, любезные читатели, что  
хуже нѣтъ ничего на свѣтѣ, какъ эта знать. Что его дядя  
былъ когда-то комиссаромъ, такъ и носъ несетъ вверхъ.  
Да будто комиссаръ такой уже чинъ, что выше нѣтъ его  
на свѣтѣ? Слава Богу, есть и больше комиссара. Нѣтъ,  
не люблю я этой знати. Вотъ вамъ въ примѣръ Оома  
Григорьевичъ; кажется, и не знатный человѣкъ, а посмо-  
трѣть на него: въ лицѣ какая-то важность сіяетъ, даже  
когда станетъ нюхать обыкновенный табакъ, и тогда чув-  
ствуешь невольное почтеніе. Въ церкви, когда запоетъ  
на крылось—умиленіе неизобразимое! Растаялъ бы, каза-  
лось, весь!.. А тотъ... ну, Богъ съ нимъ! Онъ думаетъ,  
что безъ его сказокъ и обойтись нельзя. Вотъ, все-  
же-таки набралась книжка.

Я, помнится, обѣщалъ вамъ, что въ этой книжкѣ бу-  
детъ и моя сказка. И точно, хотѣлъ-было это сдѣлать,  
но увидѣлъ, что для сказки моей нужно, по крайней  
мѣрѣ, три такихъ книжки. Думалъ-было особо напеча-  
тать ее, но передумалъ. Вѣдь я знаю васъ: станете смѣ-  
яться надъ старикомъ. Нѣтъ, не хочу! Прощайте! Долго,  
а можетъ-быть, совсѣмъ не увидимся. Да что? вѣдь вамъ  
все равно, хоть бы и не было совсѣмъ меня на свѣтѣ.  
Пройдетъ годъ, другой, — и изъ васъ никто послѣ не  
вспомнить и не пожалѣетъ о старомъ пасичникѣ Рудомъ  
Панькѣ.



## НОЧЬ ПЕРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ.

Послѣдній день передъ Рождествомъ прошелъ. Зимняя, ясная ночь наступила; глянули звѣзды; мѣсяцъ величаво поднялся на небо посвѣтить добрымъ людямъ и всему міру, чтобы всѣмъ было весело колядовать и славить Христа \*). Морозило сильнѣе, чѣмъ съ утра; но зато такъ было тихо, что скрипъ мороза подъ сапогомъ слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубковъ не показывалась подъ окнами хатъ; мѣсяцъ одинъ только заглядывалъ въ нихъ украдкой, какъ бы вызывая принаряживавшихся дѣвушекъ выбѣжать скорѣе на скрипучій снѣгъ. Тутъ черезъ трубу одной хаты клубами повалилъ дымъ и пошелъ тучею по небу, и, вмѣстѣ съ дымомъ, поднялась вѣдьма верхомъ на метлѣ.

Если бы въ это время проѣзжалъ сорочинскій засѣдатель на тройкѣ обывательскихъ лошадей, въ шапкѣ съ барашковымъ околышкомъ, сдѣланной по манеру уланскому,

---

\*) Колядовать у насъ называется пѣть подъ окнами наканунѣ Рождества пѣсни, которыя называются колядками. Тому, кто колядуетъ, всегда кинетъ въ мѣшокъ хозяйка, или хозяинъ, или кто остается дома, колбасу, или хлѣбъ, или мѣдный грошъ, чѣмъ кто богатъ. Говорятъ, что былъ когда-то болванъ Коляда, котораго принимали за Бога, и что будто отъ того пошли и колядки. Кто это знаетъ? Не намъ, простымъ людямъ, объ этомъ толковать. Прошлый годъ отецъ Осипъ запретилъ было колядовать по хуторамъ, говоря, что будто этимъ народъ угождаетъ сатанѣ. Однакожъ, если сказать правду, то въ колядкахъ и слова нѣтъ про Коляду. Поютъ часто про Рождество Христа, а при концѣ желаютъ здоровья хозяину, хозяйкѣ, дѣтямъ и всему дому.

*Замѣчаніе насичника.*



въ синемъ тулупѣ, подбитомъ черными смушками, съ дьявольски сплетенною плетью, которою имѣетъ онъ обыкновеніе подгонять своего ямщика, то онъ вѣрно бы примѣтилъ ее, потому что отъ сорочинскаго засѣдателя ни одна вѣдьма на свѣтѣ не ускользнетъ. Онъ знаетъ наперечетъ, сколько у каждой бабы свинья мечетъ поросятъ, и сколько въ сундукѣ лежитъ полотна, и что именно изъ своего платья и хозяйства заложить добрый человѣкъ, въ воскресный день, въ шинкѣ. Но сорочинскій засѣдатель не проѣзжалъ, да и какое ему дѣло до чужихъ—у него своя волюсть. А вѣдьма между тѣмъ поднялась такъ высоко, что однимъ только чернымъ пятнышкомъ мелькала вверху. Но гдѣ ни показывалось пятнышко, тамъ звѣзды, одна за другою, пропадали на небѣ. Скоро вѣдьма набрала ихъ полный рукавъ. Три или четыре еще блеснули. Вдругъ, съ противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукій, хотя бы надѣлъ на носъ, вмѣсто очковъ, колеса съ комиссаровой брички, и тогда бы не распозналъ, ято это такое. Спереди совершенно нѣмецъ \*): узенькая, безпрестанно вертѣвшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, какъ и у нашихъ свиней, кругленькимъ пятачкомъ; ноги были такъ тонки, что если бы такія имѣлъ яресковскій голова, то онъ переломалъ бы ихъ въ первомъ козачкѣ. Но зато сзади онъ былъ настоящій губернский стряпчій въ мундирѣ, потому что у него висѣлъ хвостъ, такой острый и длинный, какъ теперешнія мундирныя фалды; только развѣ по козлиной бородѣ подъ мордой, по небольшимъ рожкамъ, торчавшимъ на головѣ, и что весь былъ не бѣлѣе трубочиста, можно было догадаться, что онъ не нѣмецъ и не губернский стряпчій, а просто чортъ, которому послѣдняя ночь осталась шататься по бѣлому свѣту и выучивать грѣхамъ добрыхъ людей. Завтра же, съ первыми колоколами къ заутренѣ, побѣжитъ онъ безъ оглядки, поджавши хвостъ, въ свою берлогу.

Между тѣмъ чортъ крался потихоньку къ мѣсяцу и уже протянулъ—было руку схватить его, но вдругъ отдернулъ ее назадъ, какъ бы обжегшись, пососалъ пальцы, заболталъ

---

\*) Нѣмцемъ называютъ у насъ всякаго, кто только изъ чужой земли, хоть будь онъ французъ, или цесарепъ, или пшведъ—все нѣмецъ.

ногою и забѣжалъ съ другой стороны, и снова отскочилъ и отдернулъ руку. Однакожъ, несмотря на всѣ неудачи, хитрый чортъ не оставилъ своихъ проказъ. Подбѣжавши, вдругъ схватилъ онъ обѣими руками мѣсяцъ: кривляясь и дуя, перекадывалъ его изъ одной руки въ другую, какъ мужикъ, доставшій голыми руками огонь для своей люльки; наконецъ, поспѣшно спряталъ въ карманъ и, какъ будто ни въ чемъ не бывалъ, побѣжалъ далѣе.

Въ Диканькѣ никто не слышалъ, какъ чортъ укралъ мѣсяцъ. Правда, волостной писарь, выходя на четверенькахъ изъ шинка, видѣлъ, что мѣсяцъ, ни съ того, ни съ сего, танцовалъ на небѣ, и увѣрялъ съ божбою въ томъ все село; но міряне качали головами и даже подымали его на смѣхъ. Но какая же была причина рѣшиться чорту на такое беззаконное дѣло? А вотъ какая: онъ зналъ, что богатый козакъ Чубъ приглашенъ дьякомъ на кутю, гдѣ будутъ: голова, прїѣхавшій изъ архіерейской пѣвческой родичъ дьяка, въ синемъ сюртукѣ, бравшій самаго низкаго баса, козакъ Свербыгузъ и еще кое-кто; гдѣ, кромѣ куты, будетъ варенуха, перегонная на шафранъ водка и много всякаго съѣстного. А между тѣмъ его дочка, красавица на всемъ селѣ, останется дома, а къ дочкѣ, навѣрное, придетъ кузнецъ, силачъ и дѣтина хоть куда, который чорту былъ противнѣе проповѣдей отца Кондрата. Въ досужее отъ дѣлъ время кузнецъ занимался малеваніемъ и слылъ лучшимъ живописцемъ во всемъ околоткѣ. Самъ, еще тогда здравствовавшій, сотникъ Л.....ко вызывалъ его нарочно въ Полтаву выкрасить дощатый заборъ около его дома. Всѣ миски, изъ которыхъ диканьскіе козаки хлебали борщъ, были размаLEVаны кузнецомъ. Кузнецъ былъ богобоязливый человекъ и писать часто образа святыхъ: и теперь еще можно найти въ Т... церкви его евангелиста Луку. Но горжеествомъ его искусства была одна картина, намалеванная на стѣнѣ церковной въ правомъ притворѣ, на которой изобразилъ онъ святого Петра въ день страшнаго суда, съ ключами въ рукахъ, изгонявшаго изъ ада злого духа; испуганный чортъ метался во всѣ стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грѣшники били и гоняли его кнутами, полѣнами и всѣмъ, чѣмъ ни попало. Въ то время, когда живописецъ трудился надъ этою картиною и писалъ ее на большой деревянной доскѣ, чортъ всѣми силами старался

мѣшать ему: толкать невидимо подъ руку, подымалъ изъ горнила въ кузницѣ золу и обсыпалъ ею картину; но, не смотря на все, работа была кончена, доска внесена въ переконь и вдѣлана въ стѣну притвора, и съ той поры чортъ покаялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на бѣломъ свѣтѣ; но и въ эту ночь онъ выискивалъ чѣмъ-нибудь выместить на кузнеца свою злобу. И для этого рѣшился украсть мѣсяцъ, въ той надеждѣ, что старый Чубъ лѣнивъ и не легокъ на подъемъ, къ дыку же отъ избы не такъ близко: дорога шла по заселамъ мимо мельницъ, мимо кладбища, огибала оврагъ. Еще при мѣсячной ночи варенуха и водка, настоящая на шафранъ, могли бы заманить Чуба; но въ такую темноту врядъ ли бы удалось кому стащить его съ печки и вызвать изъ хаты. А кузнецъ, который былъ издавна не въ ладахъ съ нимъ, при немъ ни за что не отважился идти къ дочкѣ, несмотря на свою силу.

Такимъ-то образомъ, какъ только чортъ спряталъ въ карманъ свой мѣсяцъ, вдругъ по всему міру сдѣлалось такъ темно, что не всякій бы нашелъ дорогу къ шинку, не только къ дыку. Вѣдьма, увидѣвши себя вдругъ въ темнотѣ, вскрикнула. Тутъ чортъ, подѣхавши мелкимъ бѣсомъ, подхватилъ ее подъ руку и пустился напѣтывать на ухо то самое, что обыкновенно напѣтываютъ всему женскому роду. Чудно устроено на нашемъ свѣтѣ! Все, что ни живетъ въ немъ, все силится перенимать и передразнивать одинъ другого. Прежде, бывало, въ Миргородѣ одинъ судья да городничій хаживали зимою въ крытыхъ сукномъ тулупахъ, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные: теперь же и засѣдатель, и подкоморій отсмалили себѣ новыя шубы изъ рѣшетилловскихъ смушекъ съ суконною pokrunkoю. Канцеляристъ и волостной писарь третьяго года взяли синей кнѣйки по шести гривенъ аршинъ. Понамарь сдѣлалъ себѣ нанковья на лѣто шаровары и жилетъ изъ полосатаго гаруса. Словомъ, все лѣзетъ въ люди! Когда это люди не будутъ суетны! Можно побиться объ закладъ, что многимъ покажется удивительно видѣть чорта, пустившагося и себѣ туда же. Досаднѣ всего то, что онъ, вѣрно, воображаетъ себя красавцемъ, между тѣмъ какъ фигура—взглянуть совѣстно. Рожа, какъ говорить Гома Григорьевичъ, мерзость-мерзостью, однакожъ и онъ строитъ лю-

бовныя куры! Но на небѣ и подъ небомъ такъ сдѣлалось темно, что ничего нельзя было видѣть, что происходило даже между ними.

«Такъ ты, кумъ, еще не былъ у дьяка въ новой хатѣ?» говорилъ козакъ Чубъ, выходя изъ дверей своей избы, сухощавому, высокому, въ короткомъ тулупѣ, мужику съ обросшею бородою, показывавшею, что уже болѣе двухъ недѣль не прикасался къ ней обломокъ косы, которымъ обыкновенно мужики бреютъ свою бороду, за неимѣніемъ бритвы. «Тамъ теперь будетъ добрая попойка!» продолжалъ Чубъ, ослабивъ при этомъ свое лицо. «Какъ бы только намъ не опоздать!»

При семъ Чубъ поправилъ свой поясъ, перехватывавшій плотно его тулупъ, нахлобучилъ крѣпче свою шапку, стиснулъ въ рукѣ кнутъ—страхъ и грозу докучливыхъ собакъ; но, взглянувъ вверхъ, остановился... «Что за дьяволъ! Смотри! смотри, Панасть!..»

«Что?» произнесъ кумъ и поднялъ свою голову также вверхъ.

«Какъ, что? Мѣсяца нѣтъ!»

«Что за пропасть! Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ мѣсяца».

«То-то, что нѣтъ!» выговорилъ Чубъ съ нѣкоторою досадою на неизмѣнное равнодушіе кума. «Тебѣ, небось, и нужды нѣтъ».

«А что мнѣ дѣлать?»

«Надобно же было», продолжалъ Чубъ, утирая рукавомъ усы, «какому-то дьяволу—чтобъ ему не довелось, собакѣ, по-утру рюмки водки выпить! — вмѣшаться!.. Право, какъ будто на смѣхъ... Нарочно, сидѣвши въ хатѣ, глядѣлъ въ окно: ночь—чудо! Свѣтло, снѣгъ блещетъ при мѣсяцѣ; все было видно, какъ днемъ. Не успѣлъ выйти за дверь, и вотъ, хоть глазъ выколи! (Чтобъ ему переломались объ черствый гречаникъ всѣ зубы!)»

Чубъ долго еще ворчалъ и бранился, а между тѣмъ, въ то же время раздумывалъ, на что бы рѣшиться. Ему до смерти хотѣлось покалѣкать о всякомъ вздорѣ у дьяка, гдѣ, безъ всякаго сомнѣнія, сидѣлъ уже и голова, и пріѣзжіи бась, и дегтярь Микита, ѣздившій черезъ каждыя двѣ недѣли въ Полтаву на торги и отпускавшій такія штуки, что всѣ міряне брались за животы со смѣху. Уже видѣлъ Чубъ

мысленно стоявшую на столѣ варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лѣтѣ, которая такъ мила всѣмъ /козакамъ. Какъ бы хорошо теперь лежать, поджавши подъ себя ноги, на лежанкѣ, курить спокойно люльку и слушать сквозь упительную дремоту колядки и пѣсни веселыхъ парубковъ и дѣвушекъ, толпящихся кучами подъ окнами! Онъ бы, безъ всякаго сомнѣнія, рѣшился на послѣднее, если бы былъ одинъ; но теперь обоимъ не такъ скучно и страшно идти темною ночью; да и не хотѣлось-таки показаться передъ другими лѣнливымъ или трусливымъ. Окончивши побранки, обратился онъ снова къ куму.

«Такъ нѣтъ, кумъ, мѣсяца?»

«Нѣтъ».

«Чудно, право! А дай понюхать табаку! У тебя, кумъ, славный табакъ! Гдѣ ты берешь его?»

«Кой чортъ, славный!» отвѣчалъ кумъ, закрывая берстовую тавлинку, исколотую узорами: «старая курица ее чихнетъ!»

«Я помню», продолжалъ все такъ же Чубъ: «мнѣ покойный шинкаръ Зузуля разъ привезъ табаку изъ Нѣжина. Эхъ, табакъ былъ! Добрый табакъ былъ! Такъ что же, кумъ, какъ намъ быть? Вѣдь темно на дворѣ».

«Такъ, пожалуй, останемся дома», произнесъ кумъ, ухватясь за ручку двери.

Если бы кумъ не сказалъ этого, то Чубъ вѣрно бы рѣшился остаться; но теперь его какъ будто что-то дергало идти наперекоръ. «Нѣтъ, кумъ, пойдемъ! Нельзя, нужно идти!»

Сказавши это, онъ уже и досадовалъ на себя, что сказать. Ему было очень непріятно тащиться въ такую ночь, но его утѣшало то, что онъ самъ нарочно этого захотѣлъ и сдѣлалъ-таки не такъ, какъ ему совѣтовали.

Кумъ, не выразивъ на лицѣ своемъ ни малѣйшаго движенія досады, какъ человѣкъ, которому рѣшительно все равно, сидѣть ли дома, или тащиться изъ дому, осмотрѣлся, почесать палочкой батога свои плечи,—и два кума отправились въ дорогу.

---

Теперь посмотримъ, что дѣлаетъ, оставшись одна, красавица-дочка. Оксанѣ не минуло еще и семнадцати лѣтъ, какъ

во всемъ почти свѣтѣ, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и рѣчей было, что про нее. Парубки гуртомъ провозгласили, что лучшей дѣвки и не было еще никогда, и не будетъ никогда на селѣ. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, какъ красавица. Если бы она ходила не въ плахтѣ и за-паскѣ, а въ какомъ-нибудь капотѣ, то разогнала бы всѣхъ своихъ дѣвокъ. Парубки гонялись за нею толпами; но, потерявши терпѣніе, оставляли мало-по-малу своеюравную красавицу и обращались къ другимъ, не такъ избалованнымъ. Одинъ только кузнецъ былъ упрямъ и не оставлялъ своего волокитства, несмотря на то, что и съ нимъ поступали ничуть не лучше, чѣмъ съ другими. По выходѣ отца своего, Оксана долго еще принаряжалась и жеманилась передъ небольшимъ, въ оловянныхъ рамкахъ, зеркаломъ и не могла налюбоваться собою.

«Что людямъ вздумалось разславлять, будто я хороша?» говорила она, какъ бы разсѣяннo, для того только, чтобы объ чемъ-нибудь поболтать съ собою. «Лгутъ люди, я со-всѣмъ не хороша!»

Но мелькнувшее въ зеркалѣ свѣжее, живое, въ дѣтской юности лицо, съ блестящими черными очами и невыразимо пріятной усмѣшкой, прожигавшей душу, вдругъ доказало противное.

«Развѣ черныя брови и очи мои», продолжала красавица, не выпуская зеркала: «такъ хороши, что уже равныхъ имъ нѣтъ и на свѣтѣ? Что тутъ хорошаго въ этомъ вздернутомъ кверху носѣ? и въ щекахъ? и въ губахъ? Будто хороши мои черныя косы? Ухъ, ихъ можно испугаться вечеромъ: онѣ, какъ длинныя змѣи, перевилились и обвились вокругъ моей головы. Я вижу теперь, что я совсѣмъ не хороша!» И, отодвигая нѣсколько подальше отъ себя зеркало, вскрикнула: «Нѣтъ, хороша я! Ахъ, какъ хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, чьей буду женою! Какъ будетъ любоваться мною мой мужъ! Онъ не вспомнитъ себя отъ радости! Онъ зацѣлуетъ меня на смерть».

«Чудная дѣвка!» прошепталъ вошедшій тихъ кузнецъ. «И хвастовства у нея мало! Съ часъ стоитъ, глядясь въ зеркало, и не наглядится, и еще хвалить себя вслухъ!»

«Да, парубки, вамъ ли чета я? Вы поглядите на меня», продолжала хорошенькая кокетка: «какъ я плавно высту-

паю; у меня сорочка шита краснымъ шелкомъ. А какія ленты на головѣ! Вамъ вѣкъ не увидать богаче галуна! Все это накупилъ мнѣ отецъ мой для того, чтобы на мнѣ женился самый лучший молодецъ на свѣтѣ». И, усмѣхнувшись, поворотилась она въ другую сторону и увидѣла кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась передъ нимъ.

Кузнецъ и руки опустилъ.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной дѣвушки: и суровость въ немъ была видна, и сквозь суровость какая-то издѣвка надъ смутившимся кузнецомъ, и едва замѣтная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это такъ смѣшалось и такъ было неизобразимо-хорошо, что расцѣловать ее миллионъ разъ—вотъ все, что можно было сдѣлать тогда наилучшаго.

«Зачѣмъ ты пришелъ сюда?» такъ начала говорить Оксана. «Развѣ хочется, чтобы я выгнала тебя за дверь лопатой? Въ всѣ мастера подѣзжать къ намъ. Вмигъ пронюхаете, когда отцовъ нѣтъ дома. О, я знаю васъ! Что, сундукъ мой готовъ?»

«Будетъ готовъ, мое серденько, послѣ праздника будетъ готовъ. Если бы ты знала, сколько возился около него: двѣ ночи не выходилъ изъ кузницы. За то ни у одной поповны не будетъ такого сундука. Желѣзо на оковку положилъ такое, какого не клалъ въ сотникову таратайку, когда ходилъ на работу въ Полтаву. А какъ будетъ расписанъ! Хоть весь околотокъ выходи своими бѣленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будутъ раскиданы красные и синіе пѣвты. Горѣть будетъ, какъ жаръ. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядѣть на тебя!»

«Кто-жъ тебѣ запрещаетъ? Говори и гляди!»

Тутъ сѣла она на лавку и снова взглянула въ зеркало и стала поправлять на головѣ свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелкомъ, и тонкое чувство самодовольствія выразилось на устахъ, на свѣжихъ ланитахъ и отсвѣгилось въ очахъ.

«Позволь и мнѣ сѣсть возлѣ тебя!» сказалъ кузнецъ.

«Садись», проговорила Оксана, сохраняя въ устахъ и въ довольныхъ очахъ то же самое чувство.

«Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцѣловать тебя!» произнесъ ободренный кузнецъ и прижалъ ее къ себѣ, въ

намѣреніи схватить поцѣлуй. Но Оксана отклонила свои щеки, находившіяся уже на непримѣтномъ разстояніи отъ губъ кузнеца, и оттолкнула его.—«Чего тебѣ еще хочется? Ему, когда медъ, такъ и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче желѣза. Да и самъ ты пахнешь дымомъ. Я думаю, меня всю обмаралъ своею сажею».

Тутъ она поднесла зеркало и снова начала передъ нимъ охорашиваться.

«Не любить она меня!» думалъ про себя, повѣся голову, кузнецъ. «Ей все игрушки; а я стою передъ нею, какъ дуракъ, и очей не свожу съ нея. И все бы стоялъ передъ нею, и вѣкъ бы не сводилъ съ нея очей! Чудная дѣвка! Чего бы я не далъ, чтобы узнать, что у нея на сердцѣ, кого она любитъ. Но нѣтъ, ей и нужды нѣтъ ни до кого. Она любитъ сама собою; мучить меня, бѣднаго, а я за грустью не вижу свѣта. А я ее такъ люблю, какъ ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ не любилъ и не будетъ никогда любить».

«Правда ли, что твоя мать вѣдьма?» произнесла Оксана и засмѣялась; и кузнецъ почувствовалъ, что внутри его все засмѣялось. Смѣхъ этотъ какъ будто разомъ отозвался въ сердцѣ и въ тихо вострепнувшихъ жилахъ, и за всѣмъ тѣмъ досада запала въ его душу, что онъ не во власти расцѣловать такъ пріятно засмѣявшееся лицо.

«Что мнѣ до матери? ты у меня мать, и отецъ, и все, что ни есть дорогого на свѣтѣ. Если-бъ меня призвалъ царь и сказалъ: «Кузнецъ Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшаго въ моемъ царствѣ, все отдамъ тебѣ. Прикажу тебѣ сдѣлать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами».—«Не хочу», сказалъ бы я царю, «ни каменьевъ дорогихъ, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мнѣ лучше мою Оксану!»

«Видишь, какой ты! Только отецъ мой самъ не промахъ. Увидишь, когда онъ не женится на твоей матери!» проговорила, лукаво усмѣхнувшись, Оксана. «Однакожь, дѣвчата не приходятъ... Что-бъ это значило? Давно уже пора колядовать, мнѣ становится скучно».

«Богъ съ ними, моя красавица!»

«Какъ бы не такъ! Съ ними, вѣрно, придутъ парубки. Тутъ-то пойдутъ балы. Воображаю, какихъ наговорятъ смѣшныхъ исторій!»

«Такъ тебѣ весело съ ними?»



«Да ужъ веселѣе, чѣмъ съ тобою. А! кто-то стукнулъ; вѣрно, дѣвчата съ парубками».

«Чего мнѣ больше ждать?» говорилъ самъ съ собою кузнецъ. «Она издѣвается надо мною. Ей я столько же дорогъ, какъ перержавѣвшая подкова. Но если-жъ такъ, не достанется по крайней мѣрѣ другому посмѣяться надо мною. Пусть только я навѣрное замѣчу, кто ей нравится болѣе моего, я отучу...»

Стукъ въ дверь и рѣзко зазвучавшій на морозѣ голосъ: «отвори!» прервалъ его размышленія.

«Постой, я самъ отворю», сказалъ кузнецъ и вышелъ въ сѣни, въ намѣреніи отломать съ досады бока первому появившемуся человѣку.

---

Морозъ увеличился, и вверху такъ сдѣлалось холодно, что чортъ перепрыгивалъ съ одного копытца на другое и дулъ себѣ въ кулакъ, желая сколько-нибудь отогрѣть мерзнувшія руки. Не мудрено, однакожъ, и озябнуть тому, кто толкался отъ утра до утра въ аду, гдѣ, какъ извѣстно, не такъ холодно, какъ у насъ зимою, и гдѣ, надѣвши колпакъ и ставши передъ очагомъ, будто въ самомъ дѣлѣ кухмистеръ, поджаривалъ онъ грѣшниковъ съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ обыкновенно баба жаритъ на Рождество колбасу.

Вѣдьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одѣта; и потому, поднявши руки вверхъ, отставила ногу и, приведши себя въ такое положеніе, какъ человѣкъ, летящій на конькахъ, не сдвинувшись ни однимъ суставомъ, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горѣ, и прямо въ трубу.

Чортъ такимъ же порядкомъ отправился вслѣдъ за нею. Но такъ какъ это животное проворнѣе всякаго франта въ чулкахъ, то не мудрено, что онъ наѣхалъ при самомъ входѣ въ трубу на шею своей любовницы, и оба очутились въ просторной печкѣ между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядѣть, не назвалъ ли сынъ ея Вакула въ хату гостей; но, увидѣвши, что никого не было, выключая только мѣшки, которые лежали посреди хаты, выгѣзла изъ печки, скинула теплый кожухъ, оправилась, и никто бы не могъ узнать, что она за минуто назадъ ѣздила на метлѣ.

Мать кузнеца Вакулы имѣла отъ роду не болѣе сорока

лѣтъ. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею въ такіе годы. Однакожь, она такъ умѣла прича-  
рывать къ себѣ самыхъ степенныхъ козаковъ (которымъ, не мѣшаетъ между прочимъ замѣтить, мало было нужды до красоты), что къ ней хаживалъ и голова, и дьякъ Осипъ Никифоровичъ (конечно, если дьячихи не было дома), и козакъ Корній Чубъ, и козакъ Касьянъ Свербыгузь. И, къ чести ея сказать, она умѣла искусно обходиться съ ними: ни одному изъ нихъ и въ умъ не приходило, что у него есть соперникъ. Шелъ ли набожный мужикъ, или дворянинъ, какъ называютъ себя козаки, одѣтый въ кобенякъ съ видлагою, въ воскресенье въ церковь, или, если дурная погода, въ шинокъ,—какъ не зайти къ Солохѣ, не поѣсть жирныхъ съ сметаною варениковъ и не поболтать въ теплой избѣ съ говорливой и угодливой хозяйкой? И дворянинъ нарочно для этого давалъ большой крюкъ, прежде чѣмъ достигалъ шинка, и называлъ это—заходить по дорогѣ. А пойдетъ ли, бывало, Солоха, въ праздникъ, въ церковь, надѣвши яркую плахту съ китайчатою запаскою, а сверхъ ея синюю юбку, на которой сзади напITY были золотые усы, и станетъ прямо близъ праваго крылоса, то дьякъ уже, вѣрно, закашливался и прищуривалъ невольно въ ту сторону глаза; голова гладилъ усы, заматывать за ухо оселедецъ и говорилъ стоявшему близъ его сосѣду: «эхъ, добрая баба! чортъ-баба!» Солоха кланялась каждому, и каждый думалъ, что она кланяется ему одному.

Но охотникъ мѣшаться въ чужія дѣла тотчасъ бы замѣтилъ, что Солоха была привѣтливей всего съ козакомъ Чубомъ. Чубъ былъ вдовъ. Восемь скирдъ хлѣба всегда стояли передъ его хатою. Двѣ пары дюжихъ воловъ всякій разъ высовывали свои головы изъ плетенаго сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму — корову, или дядю—толстаго быка. Бородатый козелъ взбирался на самую крышу и дребезжалъ оттуда рѣзкимъ голосомъ, какъ городничій, дразня выступавшихъ по двору индѣекъ и обраща-  
ваясь задомъ, когда завидывалъ своихъ непріятелей—мальчишекъ, издѣвавшихся надъ его бородою. Въ сундукахъ у Чуба водилось много полотна, жупановъ и старинныхъ кунтушей съ золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. Въ огородѣ, кромѣ маку, капусты, подсолнечниковъ, засѣвалось еще каждый годъ двѣ нивы табаку. Все это Со-

лоха находила не лишнимъ присоединить къ своему хозяйству, заранѣе размышляя о томъ, какой оно приметъ порядокъ, когда перейдетъ въ ея руки, и удвоивала благосклонность къ старому Чубу. А чтобы, какамъ-нибудь образомъ, сынъ ея Вакула не подѣхалъ къ его дочери и не успѣлъ прибрать всего себѣ, и тогда бы, навѣрно, не допустилъ ее мѣшаться ни во что, она прибѣгнула къ обыкновенному средству всѣхъ сорокалѣтнихъ кумушекъ—ссорить, какъ можно чаще, Чуба съ кузнецомъ. Можетъ-быть, эти самыя хитрости и смѣтливость ея были виною, что кое-гдѣ начали поговаривать старухи, особливо, когда выпивали гдѣ-нибудь на веселой сходкѣ лишнее, что Солоха точно вѣдьма; что парубокъ Кизяколупенко видѣлъ у нея сзади хвостъ, величиною не болѣе бабьяго веретена; что она еще въ позапрошлый четвергъ черною кошкою перебѣжала дорогу; что къ попадѣ разъ прибѣжала свинья, закричала пѣтухомъ, надѣла на голову шапку отца Кондрата и убѣжала назадъ...

Случилось, что тогда, когда старушки толковали объ этомъ, пришелъ какой-то коровій пастухъ Тымишъ Коростявый. Онъ не преминулъ рассказать, какъ лѣтомъ, передъ самыми петровками, когда онъ легъ спать въ хлѣву, подмостивши подъ голову солому, видѣлъ собственными глазами, что вѣдьма, съ распущенною косою, въ одной рубашкѣ, начала доить коровъ, а онъ не могъ пошевелинуться—такъ былъ околдованъ, и помазала его губы чѣмъ-то такимъ гадкимъ, что онъ плевалъ послѣ того цѣлый день. Но все это что-то сомнительно, потому что одинъ только сорочинскій засѣдатель можетъ увидѣть вѣдьму. И оттого всѣ именитые козаки махали руками, когда слышали такія рѣчи. «Брежутъ, сучи бабы!» бывалъ обыкновенный отвѣтъ ихъ.

Вылѣзши изъ печки и оправившись, Солоха, какъ добрая хозяйка, начала убирать и ставить все къ своему мѣсту; но мѣшковъ не тронула: «это Вакула принесъ, пусть же самъ и вынесетъ!» Чортъ, между тѣмъ, когда еще влеталъ въ трубу, какъ-то нечаянно оборотившись, увидѣлъ Чуба, объ руку съ кумомъ, уже далеко отъ избы. Вмигъ вылетѣлъ онъ изъ печки, перебѣжалъ имъ дорогу и началъ разрывать со всѣхъ сторонъ кучи замерзшаго снѣгу. Поднялась метель. Въ воздухѣ забѣлѣло. Снѣгъ метался взадъ и впередъ сѣткою и угрожалъ залѣпить глаза, ротъ и уши пѣшеходамъ. А чортъ улетѣлъ снова въ трубу, въ тѣснотѣ увѣ-

ренности, что Чубъ возвратится вмѣстѣ съ кумомъ назадъ, застанетъ кузнеца и, навѣрное, отпотчуетъ его такъ, что онъ долго будетъ не въ силахъ взять въ руки кисть и мазать обидныя карикатуры.

Въ самомъ дѣлѣ, едва только поднялась метель, и вѣтеръ сталъ рѣзать прямо въ глаза, какъ Чубъ уже изъяснилъ раскаяніе и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощать побранками себя, чорта и кума. Впрочемъ, эта досада была притворная. Чубъ очень радъ былъ поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось въ восемь разъ больше того разстоянія, которое они прошли. Путешественники повернули назадъ. Вѣтеръ дулъ въ затылокъ, но сквозь метущій снѣгъ ничего не было видно.

«Стой, кумъ! мы, кажется, не туда идемъ», сказали, немного отошедши, Чубъ. «Я не вижу ни одной хаты. Эхъ, какая метель! Свороти-ка ты, кумъ, немного въ сторону, — не найдешь ли дороги, а я тѣмъ временемъ поищу здѣсь. Дернетъ же нечистая сила таскаться по такой вьюгѣ! Не забудь кричать, когда найдешь дорогу. Экъ, какую кучу снѣга напустилъ въ очи сатана!»

Дороги, однакожъ, не было видно. Кумъ, отошедши въ сторону, бродилъ въ длинныхъ сапогахъ взадъ и впередъ и наконецъ набрелъ прямо на шинокъ. Эта находка такъ его обрадовала, что онъ позабылъ все и, стряхнувши съ себя снѣгъ, вошелъ въ сѣни, нисколько не беспокоясь объ оставшемся на улицѣ кумѣ. Чубу показалось между тѣмъ, что онъ нашелъ дорогу. Остановившись, принялся онъ кричать во все горло, но, видя, что кумъ не является, рѣшился идти самъ. Немного пройдя, увидѣлъ онъ свою хату. Сугробы снѣгу лежали около нея и на крышѣ. Хлопая озябшими на холодѣ руками, принялся онъ стучать въ дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

«Чего тебѣ тутъ нужно?» сурово закричалъ вышедшій кузнецъ.

Чубъ, узнавши голосъ кузнеца, отступилъ нѣсколько назадъ. «Э, нѣтъ, это не моя хата», говорилъ онъ про себя: «въ мою хату не забредетъ кузнецъ. Опять же, если приглядѣться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была эта хата? Вотъ на! не распознать! Это хата хромого Левченка, который недавно женился на молодой женѣ. У него

одного только хата похожа на мою. То-то мнѣ показалось и сначала немного чудно, что такъ скоро пришелъ домой. Однакожъ, Левченко сидитъ теперь у дьяка, это я знаю. Зачѣмъ же кузнецъ?.. Э, ге, ге, ге! онъ ходитъ къ его молодой женѣ. Вотъ какъ! Хорошо!.. Теперь я все понялъ».

«Кто ты такой и зачѣмъ таскаешься подъ дверями?» произнесъ кузнецъ суровѣе прежняго и подойдя ближе.

«Нѣтъ, не скажу ему, кто я», подумалъ Чубъ: «чего добраго, еще приколотить проклятый выродокъ!» И переменявъ голосъ, отвѣчалъ: «Это я, человѣкъ добрый! Пришелъ вамъ на забаву поколядовать немного подъ окнами».

«Убирайся къ чорту съ своими колядками!» сердито закричалъ Вакула. «Что-жъ ты стоишь? Слышишь! Убирайся сей же часъ вонъ!»

Чубъ самъ уже имѣлъ это благоразумное намѣреніе; но ему досадно показалось, что принужденъ слушаться приказаній кузнеца. Казалось, какой-то злой духъ толкалъ его подъ руку и вынуждалъ сказать что-нибудь наперекоръ. «Что-жъ ты въ самомъ дѣлѣ такъ раскричался?» произнесъ онъ тѣмъ же голосомъ. «Я хочу колядовать, да и полно!»

«Эге! да ты, какъ вижу, отъ словъ не уймешься!» Вслѣдъ за сими словами Чубъ почувствовалъ преобладающей ударъ въ плечо.

«Да вотъ это ты, какъ я вижу, начинаешь уже драться!» произнесъ онъ, немного отступая.

«Пошелъ, пошелъ!» кричалъ кузнецъ, наградивъ Чуба другимъ толчкомъ.

«Что-жъ ты!» произнесъ Чубъ такимъ голосомъ, въ которомъ изображалась и боль, и досада, и робость. «Ты, я вижу, не въ шутку дерешься, и еще больно дерешься!»

«Пошелъ, пошелъ!» закричалъ кузнецъ и захлопнулъ дверь.

«Смотри, какъ расхрабрился!» говорилъ Чубъ, оставшись одинъ на улицѣ. «Попробуй, подойди! Вишь какой! Вотъ большая цыпа. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нѣтъ, голубчикъ, я пойду, и пойду прямо до комиссара. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнецъ и маларь. Однакожъ, посмотрѣть на спину и плечи: я думаю, синія пятна есть. Должно-быть, больно поколотилъ вражій сынъ. Жаль, что холодно и не хочется скидать кожууха. Постою ты, обсовскій кузнецъ, чтобъ чортъ поколотилъ и

тебя, и твою кузницу: ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник! Однакожь, вѣдь теперь его нѣтъ дома. Солоха, думаю, сидитъ одна. Гм!.. Оно вѣдь недалеко отсюда—пойти бы! Время теперь такое, что насъ никто не застанетъ. Можетъ, и того будетъ можно... Вишь, какъ больно поколотилъ проклятый кузнецъ!»

Тутъ Чубъ, почесавъ свою спину, отправился въ другую сторону. Пріятность, ожидавшая его впереди, при свиданіи съ Солохою, умаляла немного боль и дѣлала нечувствительнымъ и самый морозъ, который трещалъ по всѣмъ улицамъ, не заглушаемый свистомъ вьюги. По временамъ на лицѣ его, котораго бороду и усы метель намылила снѣгомъ, проворнѣ всякаго цырюльника, тирански хватающаго за носъ свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однакожь, снѣгъ не крестилъ взадъ и впередъ всего передъ глазами, то долго еще можно было бы видѣть, какъ Чубъ останавливался, почесывалъ спину, произносилъ: «Больно поколотилъ проклятый кузнецъ!» и снова отправлялся въ путь.

---

Въ то время, когда проворный франтъ съ хвостомъ и козлиною бородою леталъ изъ трубы и потомъ снова въ трубу, висѣвшая у него на перевязи при боку ладунка, въ которую онъ спряталъ украденный мѣсяцъ, какъ-то нечаянно зацѣпившись въ печкѣ, растворилась, и мѣсяцъ, пользуясь этимъ случаемъ, вылетѣлъ черезъ трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все освѣтилось. Метели какъ не бывало. Снѣгъ загорѣлся широкимъ серебрянымъ полемъ и весь осыпался хрустальными звѣздами. Морозъ какъ бы потеплѣлъ. Толпы парубковъ и дѣвушекъ показались съ мѣшками. Пѣсни зазвенѣли, и подъ рѣдкою хатою не толпились колядующіе.

Чудно блещетъ мѣсяцъ! Трудно рассказать, какъ хорошо потолкаться въ такую ночь между кучею хохочущихъ и поющихъ дѣвушекъ и между парубками, готовыми на всѣ шутки и выдумки, какія можетъ только внушить весело смѣющаяся ночь. Подъ плотнымъ кожухомъ тепло; отъ мороза еще живѣе горятъ щеки, а на шалости самъ лукавый подталкиваетъ сзади.

Кучи дѣвушекъ съ мѣшками вломились въ хату Чуба, окружили Оксану. Крикъ, хохотъ, рассказы оглушили куз-

неца. Всѣ наперерывъ спѣшили рассказать красавицѣ что-нибудь новое, выгружали мѣшки и хвастались паланицами, колбасами, варениками, которыхъ успѣли уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была въ совершенномъ удовольствіи и радости, болтала то съ той, то съ другой, и хохотала безъ умолку.

Съ какой-то досадой и завистью глядѣлъ кузнецъ на такую веселость и на этотъ разъ проклиналъ колядки, хотя самъ бывалъ отъ нихъ безъ ума.

«Э, Одарка!» сказала веселая красавица, оборотившись къ одной изъ дѣвушекъ: «у тебя новые черевички. Ахъ, какіе хорошіе! и съ золотомъ! Хорошо тебѣ, Одарка, у тебя есть такой человѣкъ, который все тебѣ покупаетъ, а мнѣ некому достать такіе славные черевички».

«Не тужи, моя ненаглядная Оксана!» подхватилъ кузнецъ: «я тебѣ достану такіе черевички, какіе рѣдкая панночка носить».

«Ты?» сказала Оксана, скоро и надменно поглядѣвъ на него. «Посмотрю я, гдѣ ты достанешь такіе черевички, которые могла бы я надѣть на свою ногу. Развѣ принесешь ты самые, которые носить царица».

«Видишь, какихъ захотѣла!» закричала со смѣхомъ дѣвчѣ толпа.

«Да!» продолжала гордо красавица: «будьте всѣ вы свѣдѣтельницами: если кузнецъ Вакула принесетъ тебѣ самые черевички, которые носить царица, то вотъ мое слово, что выйду тотъ же часъ за него замужъ».

Дѣвушки увели съ собою капризную красавицу.

«Смѣйся! смѣйся!» говорилъ кузнецъ, выходя вслѣдъ за ними. «Я самъ смѣюсь надъ собою! Думаю и не могу надумать, куда дѣвался умъ мой? Она меня не любитъ, — ну, Богъ съ ней! Будто только на всемъ свѣтѣ одна Оксана. Слава Богу, дѣвчатъ много хорошихъ и безъ нея на селѣ. Да что Оксана? изъ нея никогда не будетъ доброй хозяйки: она только мастерица рядиться. Нѣтъ, полно! Пора перестать дурачиться».

Но въ самое то время, когда кузнецъ готовился быть рѣшительнымъ, какой-то злой духъ пронесилъ передъ нимъ смѣющийся образъ Оксаны, говорившей насмѣшливо: «Достань, кузнецъ, царицѣны черевички, выйду за тебя замужъ!»

Все въ немъ волновалось, и онъ думалъ только объ одной Оксанѣ.

Толпы колядующихъ, парубки особо, дѣвушки особо, спѣшили изъ одной улицы въ другую. Но кузнецъ шелъ и ничего не видалъ и не участвовалъ въ тѣхъ веселостяхъ, которыя когда-то любилъ болѣе всѣхъ.

Чортъ между тѣмъ не на путку разнѣжился у Солохи: цѣловалъ ея руку съ такими ужимками, какъ засѣдатель у поповны, брался за сердце, охалъ и сказалъ напрямикъ, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, какъ водится, наградить, то онъ готовъ на все: кинется въ воду, а душу отправить прямо въ пекло. Солоха была не такъ жестока; притомъ же чортъ, какъ извѣстно, дѣйствовалъ съ нею заодно. Она-таки любила видѣть волочившуюся за собою толпу и рѣдко бывала безъ компаніи. Этотъ вечеръ, однакожъ, думала провести одна, потому что всѣ именитые обитатели села званы были на кутю къ дьяку. Но все пошло иначе: чортъ только-что представилъ свое требованіе, какъ вдругъ послышался стукъ и голосъ джюгаго головы. Солоха побѣжала отворить дверь, а проворный чортъ влѣзъ въ лежавшій мѣшокъ.

Голова, страхнувъ съ своихъ капелюхъ снѣгъ и выпивши изъ рукъ Солохи чарку водки, разсказалъ, что онъ не пошелъ къ дьяку, потому что поднялась метель; а, увидѣвши свѣтъ въ ея хатѣ, завернулъ къ ней, въ намѣреніи провести вечеръ съ нею.

Не успѣлъ голова это сказать, какъ въ дверь послышался стукъ и голосъ дьяка. «Спрячь меня куда-нибудь», шепталъ голова: «мнѣ не хочется теперь встрѣтиться съ дьякомъ».

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотнаго гостя; наконецъ, выбрала самый большой мѣшокъ съ углемъ: уголь высыпала въ кадку, и джюгій голова влѣзъ съ усами, съ головою и съ капелюхами въ мѣшокъ.

Дьякъ вошелъ, покряхтывая и потирая руки, и разсказалъ, что у него не былъ никто, и что онъ сердечно радъ этому случаю *погулять* немного у нея, и не испугался метели. Тутъ онъ подошелъ къ ней ближе, кашлянулъ, усмѣхнулся, дотронулся своими длинными пальцами ея обнаженной, полной руки и произнесъ съ такимъ видомъ, въ кото-



ромъ выказывалось и лукавство, и самодовольствіе: «А что это у васъ, великолѣпная Солоха?» И, сказавши это, отскочилъ онъ нѣсколько назадъ.

«Какъ что? рука, Осипъ Никифоровичъ!» отвѣчала Солоха.

«Гм! рука! Хе-хе-хе!» произнесъ сердечно довольный своимъ началомъ дьякъ и прошелся по комнатѣ.

«А это что у васъ, дражайшая Солоха?» произнесъ онъ съ такимъ же видомъ, приступивъ къ ней снова и схвативъ ее слегка рукою за шею и такимъ же порядкомъ отскочивъ назадъ.

«Будто не видите, Осипъ Никифоровичъ!» отвѣчала Солоха: «шея, а на шеѣ монисто».

«Гм! на шеѣ монисто! Хе-хе-хе!» и дьякъ снова прошелся по комнатѣ, потирая руки.

«А это что у васъ, несравненная Солоха?..» Неизвѣстно, къ чему бы теперь притронулся (сладострастный) дьякъ своими длинными пальцами, какъ вдругъ послышался въ дверь стукъ и голосъ козака Чуба.

«Ахъ, Боже мой, стороннее лицо!» закричалъ въ испугѣ дьякъ. «Что теперь, если застанутъ особу моего званія?.. Дойдетъ до отца Кондрата...»

Но опасенія дьяка были другого рода: онъ боялся болѣе того, чтобы не узнала его половина, которая и безъ того страшною рукою своею сдѣлала изъ его толстой косы самую узенькую. «Ради Бога, добродѣтельная Солоха!» говоритъ онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ: «ваша доброта, какъ говорить писаніе Луки, глава трина... трин... Стучатся, ей-Богу, стучатся! Охъ, спрячьте меня куда-нибудь».

Солоха высыпала уголь въ кадку изъ другого мѣшка, и неслишкомъ объемистый тѣломъ дьякъ влѣзъ въ него и сѣлъ на самое дно, такъ что сверхъ его можно было насыпать еще съ полмѣшка угля.

«Здравствуй, Солоха!»—сказалъ, входя въ хату, Чубъ. «Ты, можетъ-быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Можетъ-быть, я помѣшалъ?..» продолжалъ Чубъ, показавъ на лицѣ своемъ веселую и значительную мину, которая заранѣе давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затѣйливую шутку. «Можетъ-быть, вы тутъ забавлялись съ кѣмъ-нибудь!.. Можетъ-быть, ты кого-нибудь спрятала уже,

а?» И восхищенный такимъ замѣчаніемъ своимъ, Чубъ за-смѣялся, внутренно торжествуя, что онъ одинъ только пользуется благосклонностью Солохи. «Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло отъ проклятаго морозу. Послать же Богъ такую ночь передъ Рождествомъ! Какъ схватилась, слышишь, Солоха, какъ схватилась... Экъ окостенѣли руки: не разстегну кожуха! Какъ схватилась вьюга...»

«Отвори!» раздался на улицѣ голосъ, сопровождаемый толчкомъ въ дверь.

«Стучить кто-то», сказалъ остановившійся Чубъ.

«Отвори!» закричали сильнѣе прежняго.

«Это кузнецъ!» произнесъ, схватясь за капелюхи, Чубъ. «Слышишь, Солоха: куда хочешь, дѣвай меня; я ни за что на свѣтѣ не захочу показаться этому выродку проклятому, чтобъ ему набѣжало, дьявольскому сыну, подъ обоими глазами по пузырю въ копну величиною!»

Солоха, испугавшись сама, металась, какъ угорѣлая, и, позабывшись, дала знакъ Чубу лѣзть въ тотъ самый мѣшокъ, въ которомъ сидѣлъ уже дьякъ. Бѣдный дьякъ не смѣлъ даже изъяснить каплемъ и кряхтѣніемъ боли, когда сѣлъ ему почти на голову тяжелый мужикъ и погвѣстилъ свои намеранувшіе на морозѣ сапоги по обѣимъ сторонамъ его висковъ.

Кузнецъ вошелъ, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Замѣтно было, что онъ былъ весьма не въ духѣ.

Въ то самое время, когда Солоха затворяла за нимъ дверь, кто-то постучался снова. Это былъ козакъ Свербыгузъ. Этого уже нельзя было спрятать въ мѣшокъ, потому что и мѣшка такого нельзя было найти нигдѣ. Онъ былъ погруженнѣе тѣломъ самого головы и повыше ростомъ Чубова кума. И потому Солоха повела его въ огородъ, чтобы выслушать отъ него все то, что онъ хотѣлъ ей объявить.

Кузнецъ разсѣянно оглядывалъ углы своей хаты, вслушиваясь по временамъ въ далеко разносившіяся по селу пѣсни колядующихъ; наконецъ, остановилъ глаза на мѣшкахъ. «Зачѣмъ тутъ лежатъ эти мѣшки? ихъ давно бы пора убрать отсюда. Черезъ эту глупую любовь я одурѣлъ совсѣмъ. Завтра праздникъ, а въ хатѣ до сихъ поръ еще лежатъ всякая дрянь. Отнести ихъ въ кузницу!»

Тутъ кузнецъ присѣлъ къ огромнымъ мѣшкамъ, перевязалъ ихъ крѣпче и готовился взвалить себѣ на плечи. Но замѣтно было, что его мысли гуляли, Богъ знаетъ гдѣ; иначе онъ бы услышалъ, какъ зашипѣлъ Чубъ, когда волоса на головѣ его прикрутила завязавшая мѣшокъ веревка, и дюжій голова началъ-было икать довольно явственно.

«Неужели не выбьется изъ ума моего эта негодная Оксана?» говорилъ кузнецъ. «Не хочу думать о ней; а все думается, и, какъ нарочно, о ней одной только. Отчего это такъ, что дума противъ воли лѣзетъ въ голову? Кой чортъ! Мѣшки стали какъ будто тяжелѣе прежняго! Тутъ, вѣрно, положено еще что-нибудь, кромѣ угля. Дурень я! я и позабылъ, что теперь мнѣ все кажется тяжелѣе. Прежде, бывало, я могъ согнуть и разогнуть въ одной рукѣ мѣдный пятакъ и лошадиную подкову, а теперь мѣшковъ съ углемъ не подыму. Скоро буду отъ вѣтра валиться...» «Нѣтъ!» вскричалъ онъ, помолчавъ и ободрившись. «Что я за баба! Не дамъ никому смѣяться надъ собою! Хоть десять такихъ мѣшковъ—всѣ подыму». И бодро взвалилъ себѣ на плечи мѣшки, которыхъ не понесли бы два дюжихъ человѣка. «Взять и этотъ», продолжалъ онъ, подымая маленькій, на днѣ котораго лежалъ, свернувшись, чортъ. «Тутъ, кажется, я положилъ струментъ свой». Сказавъ это, онъ вышелъ вонъ изъ хаты, насвистывая пѣсню:

Мини, съ жинкой не возиться.

Шумнѣе и шумнѣе раздавались по улицамъ пѣсни, хохотъ и крики. Толпы толкавшагося народа были увеличены еще пришедшими изъ сосѣднихъ деревень. Парубки шалили и бѣсились въ волю. Часто, между колядками, слышалась какая-нибудь веселая пѣсня, которую тутъ же успѣлъ сложить кто-нибудь изъ молодыхъ козаковъ. То вдругъ одинъ изъ толпы, вмѣсто колядки, отпускалъ щедровку и ревѣлъ во все горло:

Щедрокъ, ведрыкъ!  
Дайте вареникъ!  
Грудочку кашки,  
Кильце ковбаски!

Хохотъ награждалъ затѣйника. Маленькія окна подымались, и сухоощавая рука старухи (которыя однѣ только вмѣстѣ съ степенными отцами оставались въ избахъ) высо-

ывалась изъ окошка съ колбасою въ рукахъ или кускомъ пирога. Парубки и дѣвушки наперерывъ подставляли мѣшки и ловили свою добычу. Въ одномъ мѣстѣ парубки, зашедши со всѣхъ сторонъ, окружали толпу дѣвушекъ: шумъ, крикъ; одинъ бросать комомъ снѣга, другой вырывать мѣшокъ со всякой всячиной. Въ другомъ мѣстѣ дѣвушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и онъ летѣлъ вмѣстѣ съ мѣшкомъ стремглавъ на землю. Казалось, всю ночь напролетъ готовы были повеселиться. И ночь, какъ нарочно, такъ роскошно теплилась! И еще бѣлѣе казался свѣтъ мѣсяца отъ блеска снѣга!

Кузнецъ остановился со своими мѣшками. Ему почудился въ толпѣ дѣвушекъ голосъ и тоненькій смѣхъ Оксаны. Всѣ жили въ немъ вздрогнули; бросивши на землю мѣшки, такъ что находившійся на днѣ дыкъ заохалъ отъ ушиба и голова икнулъ во все горло, побрелъ онъ съ маленькимъ мѣшкомъ на плечахъ вмѣстѣ съ толпою парубковъ, шедшихъ слѣдомъ за дѣвичьей толпою, между которою ему слышался голосъ Оксаны.

«Такъ, это она! Стоить, какъ царица, и блестить черными очами. Ей рассказываетъ что-то видный парубокъ; вѣрно забавное, потому что она смѣется. Но она всегда смѣется». Какъ будто невольно, самъ не понимая какъ, протерся кузнецъ сквозь толпу и сталъ около нея.

«А, Вакула, ты тутъ! здравствуй!» сказала красавица съ той же самой усмѣшкой, которая чуть не сводила Вакулу съ ума. «Ну, много наколядовать? Э, да какой маленький мѣшокъ! А черевики, которые носить царица, досталъ? Достань черевики, выйду за тебя замужъ»... И, засмѣявшись, убѣжала съ толпою дѣвушекъ.

Какъ вкопанный, стоялъ кузнецъ на одномъ мѣстѣ. «Нѣтъ, не могу; нѣтъ силъ больше»... произнесъ онъ, наконецъ. «Но, Боже ты мой, отчего она такъ чертовски хороша? Ея взглядъ, и рѣчи, и все, ну вотъ такъ и жжетъ, такъ и жжетъ... Нѣтъ, не въ мочь уже пересилить себя. Пора положить конецъ всему. Пропaday душа! Пойду утоплюсь въ пролубѣ, и поминай, какъ звали!»

Тутъ рѣшительнымъ шагомъ пошелъ онъ впередъ, догнавъ толпу дѣвчатъ, поровнялся съ Оксаною и сказалъ твердымъ голосомъ: «Прощай, Оксана! Ищи себѣ, какого

хочешь, жениха, дурачь, кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этомъ свѣтѣ».

Красавица казалась удивленною, хотѣла что-то сказать, но кузнецъ махнулъ рукой и убѣжалъ.

«Куда, Вакула?» кричали парубки, видя бѣгущаго кузнеца.

«Прощайте, братцы!» кричалъ въ отвѣтъ кузнецъ. «Дастъ Богъ, увидимся на томъ свѣтѣ, а на этомъ уже не гулять намъ вмѣстѣ. Прощайте! Не поминайте лихомъ! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворилъ панихиду по моей грѣшной душѣ. Свѣчей къ иконамъ Чудотворца и Божіей Матери, грѣшенъ, не обмалевалъ за мірскими дѣлами. Все добро, какое найдется въ моей скринѣ, на церковь. Прощайте!»

Проговоривши это, кузнецъ принялся снова бѣжать съ мѣшкомъ на спинѣ.

«Онъ повредился!» говорили парубки.

«Пропавшая душа!» набожно пробормотала проходившая мимо старуха: «пойти рассказать, какъ кузнецъ повѣсился!»

---

Вакула, между тѣмъ, пробѣжавши нѣсколько улицъ, остановился перевести духъ. «Куда я въ самомъ дѣлѣ бѣгу?» подумалъ онъ: «какъ будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду къ запорожцу Пузатому Пацюку. Онъ, говорятъ, знаетъ всѣхъ чертей и все сдѣлаетъ, что захочетъ. Пойду, вѣдь душѣ все же придется пропадать!»

При этомъ чортъ, который долго лежалъ безъ всякаго движенія, запрыгалъ въ мѣшкѣ отъ радости; но кузнецъ, подумавъ, что онъ какъ-нибудь зацѣпилъ мѣшокъ рукою и произвелъ самъ это движеніе, ударилъ по мѣшку дюжимъ кулакомъ и, встряхнувъ его на плечахъ, отправился къ Пузатому Пацюку.

Этотъ Пузатый Пацюкъ былъ точно когда-то запорожцемъ; но выгнали его, или онъ самъ убѣжалъ изъ Запорожья, этого никто не зналъ. Давно уже, лѣтъ десять, а можетъ, и пятнадцать, какъ онъ жилъ въ Диканькѣ. Сначала онъ жилъ, какъ настоящій запорожецъ: ничего не работалъ, спалъ три четверти дня, ѣлъ за шестерыхъ косарей, и выпивалъ за однимъ разомъ почти по цѣлому ведру; впрочемъ, было гдѣ и помѣститься, потому что Пацюкъ, несмотря на небольшой ростъ, въ ширину былъ до-

вольно увѣсисти. Притомъ же шаровары, которыя носитъ онъ, были такъ широки, что какой бы большой ни сдѣлалъ онъ шагъ, ногъ совершенно не было замѣтно, и казалось, винокуренная кадъ двигалась по улицѣ. Можетъ-быть, это самое подало поводъ прозвать его Пузатымъ. Не прошло нѣсколькихъ недѣль послѣ прибытія его въ село, какъ всѣ уже узнали, что онъ знахарь. Бывалъ ли кто боленъ чѣмъ, тотчасъ призывалъ Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать нѣсколько словъ, и недугъ какъ будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшійся дворянинъ подавился рыбьей костью, Пацюкъ умѣлъ такъ искусно ударить кулакомъ въ спину, что кость отправлялась, куда ей слѣдуетъ, не причинивъ никакого вреда дворянскому горлу. Въ послѣднее время его рѣдко видали гдѣ-нибудь. Причиною этому была, можетъ-быть, лѣнь, а можетъ и то, что пролѣзая въ двери дѣлалось для него съ каждымъ годомъ труднѣе. Тогда міряне должны были отправляться къ нему сами, если имѣли въ немъ нужду.

Кузнецъ не безъ робости отворилъ дверь и увидѣлъ Пацюка, сидѣвшаго на полу, по-турецки, передъ небольшою кадуюшкою, на которой стояла миска съ галушками. Эта миска стояла, какъ нарочно, наравнѣ съ его ртомъ. Не подвинувшись ни однимъ пальцемъ, онъ наклонилъ слегка голову къ мискѣ и хлебалъ жижу, схватывая по временамъ зубами галушки.

«Нѣтъ, этоть», подумалъ Вакула про себя, «еще лѣнивѣе Чуба: тотъ, по крайней мѣрѣ, ѣстъ ложкою, а этоть и руки не хочетъ поднять!»

Пацюкъ, вѣрно, крѣпко занятъ былъ галушками, потому что, казалось, совсѣмъ не замѣтилъ прихода кузнеца, который, едва ступивши на порогъ, отвѣсилъ ему пренизкій поклонъ.

«Я къ твоей милости пришелъ, Пацюкъ!» сказалъ Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюкъ поднялъ голову и снова началъ хлебать галушки.

«Ты, говорятъ, не во гнѣвъ будь сказано»... сказалъ, собираясь съ духомъ, кузнецъ: «я веду объ этомъ рѣчь не для того, чтобы тебѣ нанести какую обиду, — приходишься немного сродни чорту».

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумавъ, что

выразился все еще напрямикъ и мало смягчилъ крѣпкія слова, и ожидая, что Пацюкъ, схвативши кадушку вмѣстѣ съ мискою, пошлетъ ему прямо въ голову, отсторонился немного и закрылся рукавомъ, чтобы горячая жижа съ галушекъ не обрызгала ему лица.

Но Пацюкъ взглянулъ и снова началъ хлебать галушки.

Ободренный кузнецъ рѣшился продолжать: «Къ тебѣ пришелъ, Пацюкъ. Дай Боже тебѣ всего, добра всякаго въ довольствіи, хлѣба въ пропорціи!» (Кузнецъ иногда умѣлъ ввернуть модное слово: въ томъ онъ понаторѣлъ въ бытность еще въ Полтавѣ, когда размалевывалъ сотнику дощатый заборъ). «Пропадать приходится мнѣ, грѣшному! Ничто не поможетъ мнѣ на свѣтѣ! Что будетъ, то будетъ. Приходится просить помощи у самого чорта. Что-жъ, Пацюкъ», произнесъ кузнецъ, видя неизмѣнное его молчаніе. «Какъ мнѣ быть?»

«Когда нужно чорта, то и ступай къ чорту!» отвѣчалъ Пацюкъ, не подымая на него глазъ и продолжая убирать галушки.

«Для того-то я и пришелъ къ тебѣ», отвѣчалъ кузнецъ, отвѣшивая поклонъ: «кромѣ тебя, думаю, никто на свѣтѣ не знаетъ къ нему дороги».

Пацюкъ ни слова, и добдалъ остальные галушки. «Сдѣлай милость, человѣкъ добрый, не откажи!» наступалъ кузнецъ. «Свинины ли, колбасъ, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочаго, въ случаѣ потребности... какъ обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскунимся. Расскажи хоть, какъ, примѣрно сказать, попасть на дорогу къ нему?»

«Тому не нужно далеко ходить, у кого чортъ за плечами», произнесъ равнодушно Пацюкъ, не измѣняя своего положенія.

Вакула уставилъ въ него глаза, какъ будто бы на лбу его написано было изъясненіе этихъ словъ. «Что онъ говорить?» безмолвно спрашивала его мина, а полуотверстый ротъ готовился проглотить, какъ галушку, первое слово.

Но Пацюкъ молчалъ.

Тутъ замѣтилъ Вакула, что ни галушекъ, ни кадушки передъ нимъ не было; но вмѣсто того на полу стояли двѣ деревянные миски: одна была наполнена варениками, дру-

гая сметаню. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья: «Посмотримъ», говорилъ онъ самъ себѣ: «какъ будетъ ѣсть Пацюкъ вареники. Наклоняться онъ, вѣрно, не захочетъ, чтобы хлебать, какъ галушки, да и нельзя: нужно вареникъ сперва обмакнуть въ сметану».

Тсъко-что онъ успѣлъ это подумать, Пацюкъ разинулъ ротъ, поглядѣлъ на вареники и еще сильнѣе разинулъ ротъ. Въ это время вареникъ выплеснулся изъ миски, шлепнулся въ сметану, перевернулся на другую сторону, подскочилъ вверхъ и какъ разъ попалъ ему въ ротъ. Пацюкъ съѣлъ и снова разинулъ ротъ, и вареникъ такимъ же порядкомъ отправился снова. На себя только принималъ онъ трудъ жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» подумалъ кузнецъ, разинувъ отъ удивленія ротъ, и тотъ же часъ замѣтилъ, что вареникъ лѣзетъ и къ нему въ ротъ, и уже вымазалъ ротъ сметаню. Оттолкнувши вареникъ и вытерши губы, кузнецъ началъ размышлять о томъ, какія чудеса бываютъ на свѣтѣ и до какихъ мудростей доводитъ человѣка нечистая сила, замѣчая притомъ, что одинъ только Пацюкъ можетъ помочь ему.

«Поклонюсь ему еще, пусть растолкуетъ хорошенько... Однако, что за чортъ! Вѣдь сегодня *голодная кутья*, а онъ ѣстъ вареники, вареники скоромные! Что я, въ самомъ дѣлѣ, за дуракъ: стою тутъ и грѣха набираюсь! Назадъ!...» И набожный кузнецъ опрометью выбѣжалъ изъ хаты.

Однакожъ, чортъ, сидѣвшій въ мѣшкѣ и заранѣе уже радовавшійся, не могъ вытерпѣть, чтобы ушла изъ рукъ его такая славная добыча. Какъ только кузнецъ опустилъ мѣшокъ, онъ выскочилъ изъ него и съѣлъ верхомъ ему на шею.

Морозъ подралъ по кожѣ кузнеца; испугавшись и поблѣднѣвъ, не зналъ онъ, что дѣлать; уже хотѣлъ перекреститься... Но чортъ, наклонивъ свое собачье рыльце ему въ правое ухо, сказалъ: «Это я, твой другъ; все сдѣлаю для товарища и друга! Денегъ дамъ, сколько хочешь», пискнулъ онъ ему въ лѣвое ухо. «Оксана будетъ сегодня же наша», шепнулъ онъ, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнецъ стоялъ, размышляя.



«Изволь», сказалъ онъ, наконецъ: «за такую цѣну готовъ быть твоимъ!»

Чортъ всплеснулъ руками и началъ отъ радости галопировать на шеѣ кузнеца. «Теперь-то попался кузнецъ!» думалъ онъ про себя: «теперь-то вымещу я на тебѣ, голубчикъ, всѣ твои малеванья и небылицы, взводимыя на чертей! Что теперь скажутъ мои товарищи, когда узнаютъ, что самый набожнѣйшій изъ всего села человѣкъ въ моихъ рукахъ?»

Тутъ чортъ засмѣялся отъ радости, вспомнивши, какъ будетъ дразнить въ аду все хвостатое племя, какъ будетъ бѣситься хромой чортъ, считавшійся между ними первымъ на выдумки.

«Ну, Вакула!» проницалъ чортъ, все такъ же, не слѣзая съ шеи, какъ бы опасаясь, чтобы онъ не убѣжалъ: «ты знаешь, что безъ контракта ничего не дѣлаютъ».

«Я готовъ!» сказалъ кузнецъ. «У васъ, я слышалъ, расписываются кровью; постой же, я достану въ карманѣ гвоздь!»

Тутъ онъ заложилъ назадъ руку — и хватъ чорта за хвостъ.

«Вишь, какой шутникъ!» закричалъ, смѣясь, чортъ: «ну, полно, довольно уже шадить!»

«Постой, голубчикъ!» закричалъ кузнецъ. «А вотъ это какъ тебѣ покажется?» При этомъ словѣ онъ сотворилъ крестъ, и чортъ сдѣлался такъ тихъ, какъ ягненокъ. «Постой же», сказалъ онъ, стаскивая его за хвостъ на землю: «будешь ты у меня знать подучивать на грѣхи добрыхъ людей и честныхъ христіанъ».

Тутъ кузнецъ вскочилъ на него верхомъ и поднялъ руку для крестнаго знаменія.

«Помилуй, Вакула!» жалобно простоналъ чортъ: все, что для тебя нужно, все сдѣлаю; отпусти только душу на покой: не клади на меня страшнаго креста!»

«А, вотъ какимъ голосомъ заплѣлъ, нѣмецъ проклятый! Теперь я знаю, что мнѣ дѣлать. Вези меня сей же часъ на себѣ! Слышишь? Да несись, какъ птица!»

«Куда?» произнесъ печальный чортъ.

«Въ Петербургъ, прямо къ царницѣ!» И кузнецъ обомлѣлъ отъ страха, чувствуя себя поднимающимся на воздухъ.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странныхъ рѣчахъ кузнеца. Уже внутри ея что-то говорило, что она слишкомъ жестоко поступила съ нимъ. «Что если онъ въ самомъ дѣлѣ рѣшится на что-нибудь страшное! Чего добраго! Можетъ-быть, онъ съ горя вздумаетъ влюбиться въ дружину, и съ досады станетъ называть ее первую красавицею на селѣ? Но нѣтъ, онъ меня любитъ. Я такъ хороша! Онъ меня ни за что не промѣняетъ; онъ шалить, прикидывается. Не пройдетъ минутъ десяти, какъ онъ, вѣрно, придетъ поглядѣть на меня. Я, въ самомъ дѣлѣ, сурова. Нужно ему дать, какъ будто нехотя, поцѣловать себя. То-то онъ обрадуется!» И вѣтрена красавица уже шутила со своими подругами.

«Постойте», сказала одна изъ нихъ: «кузнецъ позабылъ мѣшки свои; смотрите, какіе страшные мѣшки! Онъ не по нашему наколядовалъ; я думаю, сюда по цѣлой четверти барана кидали, а колбасамъ и хлѣбамъ, вѣрно, счету нѣтъ. Роскошь! цѣлые праздники можно объѣдаться».

«Это кузнецовы мѣшки?» подхватила Оксана: «утащимъ скорѣе ихъ хоть ко мнѣ въ хату и разглядимъ хорошенько, что онъ сюда накласть».

Всѣ со смѣхомъ одобрили такое предложеніе.

«Но мы не поднимемъ ихъ!» закричала вся толпа вдругъ, сисясь сдвинуть мѣшки.

«Постойте», сказала Оксана: «побѣжимъ скорѣе за санками и отвеземъ на санкахъ!»

И толпа побѣжала за санками.

Плѣнникамъ сильно прискучило сидѣть въ мѣшкахъ, не смотря на то, что дыкъ проткнулъ для себя пальцемъ порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, можетъ-быть, онъ нашелъ бы средство и вылѣзть; но вылѣзть изъ мѣшка при всѣхъ, показать себя на смѣхъ... это удерживало его, и онъ рѣшился ждать, слегка только покряхтывая подъ невѣжливыми сапогами Чуба. Чубъ самъ не меньше желалъ свободы, чувствуя, что подъ нимъ лежитъ что-то такое, на чемъ сидѣть страхъ было неловко. Но, какъ скоро услышалъ рѣшеніе своей дочери, успокоился и не хотѣлъ уже вылѣзть, рассуждая, что къ хатѣ своей нужно пройти, по крайней мѣрѣ, шаговъ съ сотню, а, можетъ-быть, и другую; вылѣзши же, нужно оправиться, застегнуть кожухъ, подвязать поясъ — сколько работы! да и капелюхи

остались у Солохи. Пусть же лучше дѣвчата довезутъ на санкахъ.

Но случилось совсѣмъ не такъ, какъ ожидать Чубъ. Въ то время, когда дѣвчата убѣжали за санками, худощавый кумъ выходилъ изъ шинка разстроенный и не въ духѣ. Шинкарка никакимъ образомъ не рѣшалась ему вѣрить въ долгъ. Онъ хотѣлъ-было дожидаться въ шинкѣ, авось-либo придетъ какой-нибудь набожный дворянинъ и попотчуетъ его; но, какъ нарочно, всѣ дворяне оставались дома и, какъ честные христіане, ѣли кутью посреди своихъ домашнихъ. Размышляя о развращеніи нравовъ и о деревянномъ сердцѣ жиловки, продающей вино, кумъ набрелъ на мѣшки и остановился въ изумленіи. «Вишь, какіе мѣшки кто-то бросилъ на дорогѣ!» сказалъ онъ, осматриваясь по сторонамъ. «Должно-быть, тутъ и свиннина есть. Полѣзло же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Экіе страшные мѣшки! Положимъ, что они набиты гречаниками да коржами, и то *добре*; хотя бы были тутъ однѣ паляницы, и то *съ имакъ*: жиловка за каждую паляницу даетъ осмуху водки. Утащить скорѣе, чтобы кто не увидѣлъ».

Тутъ взвалилъ онъ себѣ на плечи мѣшокъ съ Чубомъ и дьякомъ, но почувствовалъ, что онъ слишкомъ тяжелъ. «Нѣтъ, одному будетъ тяжело несть», проговорилъ онъ. «А вотъ, какъ нарочно, идетъ ткачъ Шапуваленко. Здравствуй, Остапъ!»

«Здравствуй», сказалъ, остановившись, ткачъ.

«Куда идешь?»

«А такъ; иду, куда ноги идутъ».

«Помоги, человѣкъ добрый, мѣшки снести! Кто-то колядовалъ, да и кинулъ посреди дороги. Добромъ раздѣлимся пополамъ».

«Мѣшки? а съ чѣмъ мѣшки: съ книшами или паляницами?»

«Да, думаю, всего есть».

Тутъ выдернули они наскоро изъ плетня палки, положили на нихъ мѣшокъ и донесли на плечахъ.

«Куда-жъ мы понесемъ его? въ шинокъ?» спросилъ дорогою ткачъ.

Оно бы и я такъ думать, чтобы въ шинокъ; да вѣдь проклятая жиловка не повѣритъ, подумаетъ еще, что гдѣ-нибудь украли; къ тому же я только-что изъ шинка. Мы

отнесемъ его въ мою хату. Намъ никто не помѣшаетъ: жинки нѣтъ дома».

«Да точно ли ея нѣтъ дома?» спросилъ осторожный ткачъ.

«Слава Богу, мы не совѣмъ еще безъ ума», сказалъ кумъ: «чортъ ли бы принесъ меня туда, гдѣ она. Она, думаю, протаскается съ бабами до свѣта».

«Кто тамъ?» закричала кумова жена, услышавъ шумъ въ сѣняхъ, произведенный приходомъ двухъ пріятелей съ мѣшкомъ, и отворяя дверь хаты.

Кумъ остолбенѣлъ.

«Вотъ тебѣ на!» произнесъ ткачъ, опустил руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, какихъ не мало на бѣломъ свѣтѣ. Такъ же, какъ и ея мужъ, она почти никогда не сидѣла дома, и почти весь день пресмыкалась у кумушекъ и зажиточныхъ старухъ, хвалила и ѣла съ большимъ аппетитомъ и дралась только по утрамъ со своимъ мужемъ, потому что въ это только время и видѣла его иногда. Хата ихъ была вдвое старѣе шароваръ волостного писаря; крыша въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была безъ соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякій, выходившій изъ дому, никогда не бралъ палки для собакъ, въ надеждѣ, что будетъ проходить мимо кумова огорода и выдернетъ любую изъ его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни запрашивала нѣжная супруга у добрыхъ людей, прятала какъ можно подальше отъ своего мужа, и часто самоуправно отнимала у него добычу, если только онъ не успѣвалъ ее пропить въ шинкѣ. Кумъ, несмотря на всегдѣшнее хладнокровіе, не любилъ уступать ей, и оттого почти всегда уходилъ изъ дому съ фонарями подъ обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкамъ о безчинствѣ своего мужа и о претерпѣнныхъ ею отъ него побояхъ.

Теперь можно себѣ представить, какъ были озадачены ткачъ и кумъ такимъ неожиданнымъ явленіемъ. Опустивши мѣшокъ, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена, хотя и дурно видѣла старыми глазами, однакожъ мѣшокъ замѣтила. «Вотъ это хорошо!» сказала она съ такимъ видомъ, въ которомъ замѣтна была радость ястреба. «Это хорошо, что наколядовали столько! Вотъ такъ всегда дѣлаютъ добрые люди; только нѣтъ,

я думаю, гдѣ-нибудь подцѣпили. Покажите мнѣ сейчасъ, слышите, покажите сей же часъ мѣшокъ вашъ!»

«Лысый чортъ тебѣ покажетъ, а не мы», сказалъ, приосанясь, кумъ.

«Тебѣ какое дѣло?» сказалъ ткачъ: «мы наколядовали, а не ты».

«Нѣтъ, ты мнѣ покажешь, негодный пьяница!» вскричала жена, ударивъ высокаго кума кулакомъ въ подбородокъ и продираясь къ мѣшку.

Но ткачъ и кумъ мужественно отстояли мѣшокъ и заставили ее попятиться назадъ. Не успѣли они оправиться, какъ супруга выбѣжала въ сѣни уже съ кочергою въ рукахъ. Проворнохватила кочергою мужа по рукамъ, ткача по спинѣ и уже стояла возлѣ мѣшка.

«Что мы допустили ее?» сказалъ ткачъ, очнувшись.

«Э, что мы допустили! А отчего ты допустилъ?» сказалъ хладнокровно кумъ.

«У васъ кочерга, видно, желѣзная!» сказалъ послѣ небольшого молчанія ткачъ, почесывая спину. «Моя жинка купила прошлый годъ на ярмаркѣ кочергу, дала пивкомъ: та ничего... не больно...»

Между тѣмъ, торжествующая супруга, поставивъ на полъ каганецъ, развязала мѣшокъ и заглянула въ него.

Но, вѣрно, старые глаза ея, которые такъ хорошо увидѣли мѣшокъ, на этотъ разъ обманулись. «Э, да тутъ лежить цѣлый кабанъ!» вскрикнула она, всплеснувъ отъ радости въ ладоши.

«Кабанъ! Слышишь: цѣлый кабанъ!» толкалъ ткачъ кума: «а все ты виновать!»

«Что-жъ дѣлать!» произнесъ, пожимая плечами, кумъ.

«Какъ что? чего мы стоимъ? Отнимемъ мѣшокъ! Ну, приступай!»

«Пошла прочь! пошла! Это нашъ кабанъ!» кричалъ, выступая, ткачъ.

«Ступай, ступай, чортова баба! Это не твое добро!» говорилъ, приближаясь, кумъ.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чубъ въ это время вылѣзъ изъ мѣшка и сталъ посерединѣ сѣней, потягиваясь, какъ человѣкъ, только-что пробудившійся отъ долгаго сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши объ полы руками, и всѣ невольно разинули рты.

«Что-жь она, дура, говорить: кабанъ! Это не кабанъ!» сказалъ кумъ, выпучивъ глаза.

«Вишь, какого человѣка кинуло въ мѣшокъ!» сказалъ ткачъ, пятась отъ испугу. «Хоть, что хочешь, говори, хоть тресни, а не обошлось безъ нечистой силы. Вѣдь онъ не пролѣзетъ въ окошко!»

«Это кумъ!» вскрикнулъ, взглянувъ, кумъ.

«А ты думалъ кто?» сказалъ Чубъ, усмѣхаясь. «Что, славленную я выкинулъ надъ вами штуку? А вы, небось, хотѣли меня съѣсть вмѣсто свинины? Постойте же, я васъ порадою: въ мѣшкѣ лежить еще что-то, если не кабанъ, то навѣрно поросенокъ или иная живность. Подо мною безпрестанно что-то шевелилось».

Ткачъ и кумъ кинулись къ мѣшку, хозяйка дома уцѣпилась съ противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы самъ дьякъ, увидѣвши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался изъ мѣшка.

Кумова жена, остолбенѣвъ, выпустила изъ рукъ ногу, за которую начала-было тянуть дьяка изъ мѣшка.

«Вотъ и другой еще!» вскрикнулъ со страхомъ ткачъ. «Чортъ знаетъ, какъ стало на свѣтѣ... Голова идетъ кругомъ... Не колбасъ и не паляницъ, а людей кидаютъ въ мѣшки!»

«Это дьякъ!» произнесъ, изумившійся болѣе всѣхъ, Чубъ. «Вотъ тебѣ на! ай да Солоха! Посадить въ мѣшокъ... То-то я гляжу, у нея полная хата мѣшковъ... Теперь я все знаю: у нея въ каждомъ мѣшкѣ сидѣло по два человѣка. А я думалъ, что она только мнѣ одному... Вотъ тебѣ и Солоха!»

---

Дѣвушки немного удивились, не найдя одного мѣшка.

«Нечего дѣлать, будетъ съ насъ и этого», лепетала Оксана. Всѣ принялись за мѣшокъ и ввалили его на санки.

Голова рѣшился молчать, разсуждая, что если онъ закричитъ, чтобы его выпустили и развязали мѣшокъ, глупыя дѣвчата разбѣгутся: подумаютъ, что въ мѣшкѣ сидитъ дьяволъ,—и онъ останется на улицѣ, можетъ-быть, до завтра.

Дѣвушки, между тѣмъ, дружно взявшись за руки, полетѣли, какъ вихорь, съ санками по скрипучему снѣгу. Мно-

гія изъ нихъ, шали, садились на санки; другія взбирались даже на самого голову. Голова рѣшился сносить все.

Наконецъ, пріѣхали, отворили настежь двери въ сѣняхъ и хатѣ, и съ хохотомъ втащили мѣшокъ.

«Посмотримъ, что-то лежитъ тутъ», закричали всѣ, бросившись развязывать.

Тутъ икота, которая не переставала мучить голову во все время сидѣнія его въ мѣшкѣ, такъ усилилась, что онъ началъ икать и кашлять во все горло.

«Ахъ, тутъ сидитъ кто-то!» закричали всѣ и въ испугѣ бросились вонъ изъ дверей.

«Что за чортъ! куда вы мечетесь, какъ угорѣлые?» сказали, входя въ дверь, Чубъ.

«Ай, батько!» произнесла Обсана: «въ мѣшкѣ сидитъ кто-то!»

«Въ мѣшкѣ? Гдѣ вы взяли этотъ мѣшокъ?»

«Кузнецъ бросилъ его посреди дороги», сказали всѣ вдругъ.

«Ну, такъ; не говорилъ ли я?...» подумалъ про себя Чубъ.

«Чего-жъ вы испугались? посмотримъ.—А ну-ка, чоловіче,—прошу не погнѣвиться, что не называемъ по имени и отчеству,—вылѣзай изъ мѣшка!»

Голова вылезъ.

«Ахъ!» вскрикнули дѣвушки.

«И голова влѣзъ туда-жъ», говорилъ про себя Чубъ въ недоумѣніи, мѣряя его съ головы до ногъ. «Вишь какъ!... Э!...» Болѣе онъ ничего не могъ сказать.

Голова самъ былъ не меньше смущенъ и не зналъ, что начать. «Должно-быть, на дворѣ холодно?» сказалъ онъ, обращаясь къ Чубу.

«Морозецъ есть», отвѣчалъ Чубъ. «А позволю спросить тебя: чѣмъ ты смазываешь свои сапоги, смальцемъ или дегтемъ?» Онъ хотѣлъ не то сказать; онъ хотѣлъ спросить: «какъ ты, голова, залѣзъ въ этотъ мѣшокъ?» но самъ не понималъ, какъ выговорить совершенно другое.

«Дегтемъ лучше», сказалъ голова. «Ну, прощай, Чубъ!» И, нахлобучивъ капелюхи, вышелъ изъ хаты.

«Для чего спросилъ я сдуру, чѣмъ онъ мажетъ сапоги!» произнесъ Чубъ, поглядывая на двери, въ которыя вышелъ голова. «Ай да Солоха! такого человѣка засадить въ мѣ-

покъ!... Вишь, чортова баба! А я дуракъ... Да гдѣ же тотъ проклятый мѣшокъ?»

«Я кинула его въ уголъ, тамъ больше ничего нѣтъ», сказала Оксана.

«Знаю я эти штуки, ничего нѣтъ! Подайте его сюда: тамъ еще одинъ сидитъ! Встряхните его хорошенько... Что, нѣтъ? Вишь, проклятая баба! А поглядѣть на нее — какъ святая, какъ будто и скоромнаго никогда не брала въ ротъ!...»

Но оставимъ Чуба изливать на досугъ свою досаду и возвратимся къ кузнецу, потому что уже на дворѣ, вѣрно, есть часъ девятый.

Сначала страшно показалось Вакулѣ, особливо когда поднялся онъ отъ земли на такую высоту, что ничего уже не могъ видѣть внизу, и пролетѣлъ, какъ муха, подъ самымъ мѣсяцемъ, такъ что, если бы не наклонился немного, то зацѣпилъ бы его шапкою. Однакожъ, немного спустя, онъ ободрился и уже сталъ подшучивать надъ чортомъ. [Его забавляло до крайности, какъ чортъ чихалъ и кашлялъ, когда онъ снималъ съ шеи кипарисный крестикъ и подносилъ къ нему. Нарочно поднималъ онъ руку почесать голову, а чортъ, думая, что его собираются крестить, летѣлъ еще быстрее]. Все было свѣтло въ вышинѣ. Воздухъ, въ легкомъ серебряномъ туманѣ, былъ прозраченъ. Все было видно, и даже можно было замѣтить, какъ вихремъ пронесся мимо ихъ, сидя въ горшкѣ, колдунъ; какъ звѣзды, собравшись въ кучу, играли въ жмурки; какъ клубился въ сторонѣ, облакомъ, цѣлый рой дѣховъ; какъ плясавшій при мѣсяцѣ чортъ снялъ шапку, увидѣвши кузнеца, скачущаго верхомъ; какъ летѣла возвращавшаяся назадъ метла, на которой, видно, только-что съѣздила, куда нужно, вѣдьма... Много еще дрянн встрѣчали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядѣть на него, и потомъ снова несло далѣе и продолжало свое; кузнецъ все летѣлъ, и вдругъ заблестѣлъ передъ нимъ Петербургъ, весь въ огнѣ. (Тогда была по какому-то случаю иллюминація). Чортъ, передетѣвъ черезъ шлагбаумъ, оборотился въ коня, и кузнецъ увидѣлъ себя на лихомъ бѣгунѣ среди улицы.

Боже мой! стукъ, громъ, блескъ; по обѣимъ сторонамъ громоздятся четырехъ-этажныя стѣны; стукъ конскихъ ко-



пыть и колесъ отзывался громомъ и отдавался съ четырехъ сторонъ; дома росли и будто подымались изъ земли на каждомъ шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, фореиторы кричали; свѣтъ свистѣлъ подъ тысячью летящихъ со всѣхъ сторонъ саней; пѣнеходы жались и тѣснились подъ домами, унизанными площадками, и огромныя тѣни ихъ мелькали по стѣнамъ, достигая головою трубъ и крышъ.

Съ изумленіемъ оглядывался кузнецъ на всѣ стороны. Ему казалось, что всѣ дома устремили на него свои безчисленные огненные очи и глядѣли. Господь, въ крытыхъ сукномъ шубахъ, онъ увидѣлъ такъ много, что не зналъ, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тутъ панства!» подумалъ кузнецъ. «Я думаю, каждый, кто ни пройдетъ по улицѣ въ шубѣ, то и засѣдатель, то и засѣдатель! А тѣ, что катаются въ такихъ чудныхъ бричкахъ со стеклами, тѣ, когда не городничіе, то вѣрно комиссары, а можетъ, еще и больше». Его слова прерваны были вопросомъ чорта: «Прямо ли ѣхать къ царицѣ?» — «Нѣтъ, страшно», подумалъ кузнецъ. «Тутъ, гдѣ-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проѣзжали осенью черезъ Диканьку. Они ѣхали изъ Сѣчи съ бумагами къ царицѣ; все бы такі посовѣтоваться съ ними. Эй, сатана! полѣзай ко мнѣ въ карманъ, да води къ запорожцамъ!»

И чортъ въ одну минуту похудѣлъ и сдѣлался такимъ маленькимъ, что безъ труда влѣзъ къ нему въ карманъ. А Вакула не успѣлъ оглянуться, какъ очутился передъ большимъ домомъ, взошелъ, самъ не зная какъ, на лѣстницу, отворилъ дверь и подался немного назадъ отъ блеска, увидѣвши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тѣхъ самыхъ запорожцевъ, которые проѣзжали черезъ Диканьку, а теперь сидѣли на шелковыхъ диванахъ, поджавши подъ себя намазанные дегтемъ сапоги, и курили самый крѣпкій табакъ, называемый обыкновенно корешками.

«Здравствуйте, панове! Помогай Богъ вамъ, вотъ гдѣ увидѣлись!» сказалъ кузнецъ, подошедши близко и отвѣсивши поклонъ до земли.

«Что тамъ за человѣкъ?» спросилъ сидѣвшій передъ самымъ кузнецомъ другого, сидѣвшаго подалѣе.

«А вы не признали?» сказалъ кузнецъ. «Это я, Вакула, кузнецъ! Когда проѣзжали осенью черезъ Диканьку, то

прогостили, дай Боже вамъ всякаго здоровья и долголѣтїя, у меня безъ малаго два дня. И новую шину тогда поставилъ на переднее колесо у вашей кибитки!»

«А!» сказалъ тотъ же запорожецъ: «это тотъ самый кузнецъ, который малюетъ важно. Здорово, землякъ! Зачѣмъ тебя Богъ принесъ?»

«А такъ, захотѣлось поглядѣть; говорить...»

«Что-жь, землякъ», сказалъ, прїосаясь, запорожецъ, и желая показать, что онъ можетъ говорить и по-русски: «што, балшой городъ?»

Кузнецъ и себя не хотѣлъ осрамить и показаться новичкомъ, притомъ же, какъ имѣли случай видѣть выше сего, онъ зналъ и самъ грамотный языкъ. «Губернїя знатная!» отвѣчалъ онъ равнодушно: «нечего сказать, дома балшущіе, картины висятъ скрозъ важныя. Многіе дома исписаны буквами изъ сусальнаго золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорція!»

Запорожцы, услышавши кузнеца, такъ свободно изъясняшагося, вывели заключеніе, очень для него выгодное.

«Послѣ потолкуемъ съ тобою, землякъ, побольше: теперь же мы ѣдемъ сейчасъ до царицы».

«До царицы? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня съ собою!»

«Тебя?» произнесъ запорожецъ съ такимъ видомъ, съ какимъ говоритъ дядька четырехлѣтнему своему воспитаннику, который проситъ посадить его на настоящую, на большую лошадь. «Что ты будешь тамъ дѣлать? Нѣтъ, не можно». — При этомъ на лицѣ его выразилась значительная мина. «Мы, братъ, будемъ съ царицею толковать про свое».

«Возьмите!» настаивалъ кузнецъ. «Проби!» шепнуть онъ тихо чорту, ударивъ кулакомъ по карману.

Не успѣвъ онъ этого сказать, какъ другой запорожецъ проговорилъ: «Возьмемъ его, въ самомъ дѣлѣ, братцы!»

«Пожалуй, возьмемъ!» произнесли другіе.

«Надѣвай же платье такое, какъ и мы».

Кузнецъ схватился натянуть на себя зеленый жупанъ, какъ вдругъ дверь отворилась и вошедшій съ позументами человекъ сказалъ, что пора ѣхать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда понесся онъ въ огромной каретѣ, качаясь на рессорахъ, когда съ обѣихъ

сторонѣ мимо его бѣжали назадъ четырехъ-этажные дома, и мостовая, гремя, казалась, сама катилась подъ ноги лошадей.

«Боже ты мой, какой свѣтъ!» думалъ про себя кузнецъ: «у насъ днемъ не бываетъ такъ свѣтло».

Кареты остановились передъ дворцомъ. Запорожцы вышли, вступили въ великолѣпныя сѣни и начали подыматься на блистательно-освѣщенную лѣстницу.

«Что за лѣстница!» шепталъ про себя кузнецъ: «жалъ ногами топтать. Экія украшенія! Вотъ, говорятъ: лгутъ сказки! Кой чортъ лгутъ! Боже ты мой! что за перила! Какая работа! Тутъ одного желѣза рублей на пятьдесятъ пошло!»

Уже взобравшись на лѣстницу, запорожцы прошли первую залу. Ровно слѣдовалъ за ними кузнецъ, опасаясь на каждомъ шагѣ поскользнуться на паркетѣ. Прошли три залы, кузнецъ все еще не переставалъ удивляться. Вступивши въ четвертую, онъ невольно подошелъ къ висѣвшей на стѣнѣ картинѣ. Это была Пречистая Дѣва съ Младенцемъ на рукахъ.

«Что за картина! что за чудная живопись!» разсуждалъ онъ. «Вотъ, кажется, говоритъ! кажется, живая! А Дитя Святое! и ручки прижало, и усмѣхается, бѣдное! А краски! Боже ты мой, какія краски! Тутъ вохры, я думаю, и на копѣйку не пошло, все яръ да баканъ. А голубая такъ и горитъ! Важная работа! Должно-быть, грунтъ наведенъ былъ самымъ дорогимъ блейвасомъ. Сколь, однакожъ, ни удивительно сіе малеваніе, но эта мѣдная ручка», продолжалъ онъ, подходя къ двери и щупая замокъ: «еще большаго достойна удивленія. Экъ, какая чистая выдѣлка! Это всё, я думаю, нѣмецкіе кузнецы, за самыя дорогія цѣны, дѣлали...»

Можетъ-быть, долго еще бы разсуждалъ кузнецъ, если бы лакей съ галунами не толкнулъ его подъ руку и не напомнилъ, чтобы онъ не отставалъ отъ другихъ. Запорожцы прошли еще двѣ залы и остановились. Тутъ вѣрно имъ было дожидаться. Въ залѣ толпилось нѣсколько генераловъ въшитыхъ золотомъ мундирахъ. Запорожцы поклонились на всѣ стороны и стали въ кучу.

Минуту спустя, вошелъ, въ сопровожденіи цѣлой свиты, величественнаго роста, довольно плотный человѣкъ въ геть-

манскомъ мундирѣ, въ желтыхъ сапожкахъ. Волосы на немъ были растрепаны, одинъ глазъ немного кривъ, на лицѣ изображалась какая-то надменная величавость, во всѣхъ движеніяхъ видна была привычка повелѣвать. Всѣ генералы, которые расхаживали довольно спесиво въ золотыхъ мундирахъ, засуетились и съ низкими поклонами, казалось, ловили каждое его слово и даже малѣйшее движеніе, чтобы сейчасъ дѣлать выполнятъ его. Но гетманъ не обратилъ даже и вниманія на все это, едва кивнулъ головою и подошелъ къ запорожцамъ.

Запорожцы всѣ отвѣсили поклонъ въ ноги.

«Всѣ ли вы здѣсь?» спросилъ онъ протяжно, произнося слова немного въ носъ.

«*Та еси, батко!*» отвѣчали запорожцы, кланаясь снова.

«Не забудьте говорить такъ, какъ я насъ училъ!»

«Нѣтъ, батко, не позабудемъ».

«Это царь?» спросилъ кузнецъ одного изъ запорожцевъ».

«Куда тебѣ царь! это самъ Потемкинъ», отвѣчалъ тотъ.

Въ другой комнатѣ слышались голоса, и кузнецъ не зналъ, куда дѣть свои глаза отъ множества вошедшихъ дамъ, въ атласныхъ платьяхъ, съ длинными хвостами, и придворныхъ въ шитыхъ золотомъ кафтанахъ и съ пучками назади. Онъ только видѣлъ одинъ блескъ и больше ничего.

Запорожцы вдругъ всѣ пали на землю и закричали въ одинъ голосъ: «*Помилуй, мамо! помилуй!*»

Кузнецъ, не вида ничего, растянулся и самъ, со всѣмъ усердіемъ, на полу.

«Встаньте!» прозвучалъ надъ ними повелительный и вмѣстѣ пріятный голосъ. Нѣкоторые изъ придворныхъ засуетились и толкали запорожцевъ.

«Не встанемъ, мамо! не встанемъ! Умремъ, а не встанемъ!» кричали запорожцы.

Потемкинъ кусалъ себѣ губы; наконецъ, подошелъ самъ и повелительно шепнулъ одному изъ запорожцевъ. Запорожцы поднялись.

Тутъ осмѣлился и кузнецъ поднять голову и увидѣлъ стоявшую передъ собою небольшого роста женщину, нѣсколько даже дородную, напудренную, съ голубыми глазами и вмѣстѣ съ тѣмъ величественно-улыбающимся видомъ, ко-

торый такъ умѣлъ покорять себѣ все и могъ только принадлежать одной царствующей женщинѣ.

«Свѣтлѣйшій общалъ меня познакомить сегодня съ моимъ народомъ, котораго я до сихъ поръ еще не видала», говорила дама съ голубыми глазами, рассматривая съ любопытствомъ запорожцевъ. «Хорошо ли васъ здѣсь содержать?» продолжала она, подходя ближе.

«*Та спасибѣ, мамо!* Провіантъ даютъ хорошій, хотя бараны здѣшніе совсѣмъ не то, что у насъ на Запорожьи,— почему-жъ не жить какъ-нибудь?..»

Потемкинъ поморщился, видя, что запорожцы говорятъ совершенно не то, чему онъ ихъ училъ...

Одинъ изъ запорожцевъ, пріосанясь, выступилъ впередъ: «Помилуй, мамо! Чѣмъ тебя твой вѣрный народъ прогнѣвилъ? Развѣ держали мы руку поганого татарина; развѣ соглашались въ чемъ-либо съ турчиномъ; развѣ измѣнили тебѣ дѣломъ или помышленіемъ? За что-жъ немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь вездѣ строить крѣпости отъ насъ; послѣ слышали, что хочешь *поверотитъ въ карабинеры*; теперь слышимъ новыя напасти. Чѣмъ виновато запорожское войско? Тѣмъ ли, что перевело твою армію чрезъ Перекопъ и помогло твоимъ енераламъ порубать крымцевъ?..»

Потемкинъ молчалъ и небрежно чистилъ небольшою щеточкою свои брильянты, которыми были унижены его руки.

«Чего же хотите вы?» заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули другъ на друга.

«Теперь пора! царица спрашиваетъ, чего хотите!» сказалъ самъ себѣ кузнецъ и вдругъ повалился на землю.

«Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Изъ чего, не во гнѣвъ будь сказано вашей царской милости, сдѣланы черевички, что на ногахъ вашихъ? Я думаю, ни одинъ швецъ, ни въ одномъ государствѣ на свѣтѣ, не сумѣетъ такъ сдѣлать. Боже ты мой, что если бы моя жинка надѣла такіе черевички!»

Государыня засмѣялась. Придворные засмѣялись тоже. Потемкинъ и хмурился, и улыбался вмѣстѣ. Запорожцы начали толкать подъ руку кузнеца, думая, не съ ума ли онъ сошелъ.

«Встань!» сказала ласково государыня. «Если такъ тебѣ хочется имѣть такіе башмаки, то это не трудно сдѣлать.

Принесите ему сей же часъ башмаки самыя дорогіе, съ золотомъ! Право, мнѣ очень нравится это простодушіе! Вотъ вамъ», продолжала государыня, устремивъ глаза на стоявшаго подавшаго отъ другихъ господина, съ полнымъ, но нѣсколько блѣднымъ лицомъ, котораго скромный кафтанъ съ большими перламутровыми пуговицами показывалъ, что онъ не принадлежалъ къ числу придворныхъ: «предметъ, достойный остроумнаго пера вашего!»

«Вы, ваше императорское величество, слишкомъ милостивы. Тутъ нуженъ, по крайней мѣрѣ, Лафонтенъ!» отвѣчалъ, поклонясь, человѣкъ съ перламутровыми пуговицами.

«По чести скажу вамъ: я до сихъ поръ безъ памяти отъ вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однакожъ», продолжала государыня, обращаясь снова къ запорожцамъ: «я слышала, что на Сѣчѣ у васъ никогда не женятся».

«*Якъ же, мамо!* Вѣдь человѣку, сама знаешь, безъ жинки нельзя жить», отвѣчалъ тотъ самый запорожецъ, который разговаривалъ съ кузнецомъ, и кузнецъ удивился, слыша, что этотъ запорожецъ, зная такъ хорошо грамотный языкъ, говоритъ съ царцею, какъ будто нарочно, самымъ грубымъ, обыкновенно называемымъ мужицкимъ нарѣчіемъ. «Хитрый народъ!» подумалъ онъ самъ въ себѣ: «вѣрно, не даромъ онъ это дѣлаетъ».

«Мы не чернецы», продолжалъ запорожецъ, «а люди грѣшныя. Падки, какъ и все честное христіанство, до скромнаго. Есть у насъ не мало такихъ, которые имѣютъ женъ, только не живутъ съ ними на Сѣчѣ. Есть такіе, что имѣютъ женъ въ Польшѣ; есть такіе, что имѣютъ женъ въ Украинѣ; есть такіе, что имѣютъ женъ и въ Турецкѣ».

Въ это время кузнецу принесли башмаки.

«Боже ты мой, что за украшеніе!» вскрикнулъ онъ радостно, ухвативъ башмаки. «Ваше царское величество! что-жъ, когда башмаки такіе на ногахъ, и въ нихъ, чаятельно, ваше благородіе, ходите и на ледъ *ковзаться*, какія-жъ должны быть самыя ножки? Думаю, по малой мѣрѣ, изъ чистаго сахара».

Государыня, которая точно имѣла самыя стройныя и прелестныя ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплиментъ изъ устъ простодушнаго кузнеца, который въ

своемъ запорожскомъ платьѣ могъ почесться красавцемъ, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный такимъ благосклоннымъ вниманіемъ, кузнецъ уже хотѣлъ-было разспросить хорошенько царюцу обо всемъ: правда ли, что цари ѣдятъ одинъ только медъ да сало, и тому подобное; но почувствовавъ, что запорожцы толкаютъ его подъ бока, рѣшился замолчать. И, когда государыня, обратившись къ старикамъ, начала разспрашивать, какъ у нихъ живутъ на Сѣчѣ, какіе обычаи водятся, онъ, отошедши назадъ, нагнулся къ карману, сказалъ тихо: «выноси меня отсюда скорѣй!» и вдругъ очутился за шлагбаумомъ.

«Утонулъ! ей-Богу, утонулъ! Вотъ, чтобы я не сошла съ этого мѣста, если не утонулъ!» лепетала толстая ткачиха, стоя въ кучѣ диканьскихъ бабъ, посреди улицы.

«Что-жъ, развѣ я агунья какая? Развѣ я у кого-нибудь корову украла? Развѣ я сглазила кого, что ко мнѣ не имѣютъ вѣры?» кричала баба въ козацкой свиткѣ съ фіолетовымъ носомъ, размахивая руками. «Вотъ, чтобы мнѣ воды не захотѣлось пить, если старая Переперчиха не видѣла собственными глазами, какъ повѣсился кузнецъ!»

«Кузнецъ повѣсился? Вотъ тебѣ на!» сказалъ голова, выходявшій отъ Чуба, остановился и протѣснился ближе къ разговаривавшимъ.

«Скажи лучше, чтобы тебѣ водки не захотѣлось пить, старая пьяница!» отвѣчала ткачиха. «Нужно быть такой сумасшедшей, какъ ты, чтобы повѣситься! Онъ утонулъ! утонулъ въ пролубѣ! Это я такъ знаю, какъ то, что ты была сейчасъ у шинкари».

«Срамница! вишь, чѣмъ стала попрекаты!» гнѣвно возразила баба съ фіолетовымъ носомъ. «Молчала бы, негодница! Развѣ я не знаю, что къ тебѣ дьякъ ходитъ каждый вечеръ».

Ткачиха вспыхнула.

«Что дьякъ? къ кому дьякъ? Что ты врешь?»

«Дьякъ?» пропѣла, тѣсняясь къ ссорившимся, дьячиха, вѣтулупъ изъ заячьяго мѣха, крытомъ синею китайкой. «Я дамъ знать дьяка! Кто это говорить: дьякъ?»

«А вотъ къ кому ходитъ дьякъ!» сказала баба съ фіолетовымъ носомъ, указывая на ткачиху.

«Такъ это ты, сука», сказала дьячиха, подступая къ тка-

чихъ: «такъ это ты, вѣдьма, напускаешь на него туманъ и пойшь нечистымъ зельемъ, чтобы ходилъ къ тебѣ?»

«Отвяжись отъ меня, сатана!» говорила, пятясь, ткачиха.

«Вишь, проклятая вѣдьма, чтобы ты не дождалась дѣтей своихъ видѣть! Негодная! Тьфу!» Тутъ дьячиха плюнула прямо въ глаза ткачихѣ.

Ткачиха хотѣла и себѣ сдѣлать то же; но, вмѣсто того, плюнула въ небритую бороду головѣ, который, чтобы лучше все слышать, подобрался къ самымъ спорившимъ.

«А, скверная баба!» закричалъ голова, обтирая полою лицо и поднявши кнутъ. Это движеніе заставило всѣхъ разойтись, съ ругательствами, въ разные стороны. «Дкая мерзость!» повторялъ голова, продолжая обтираться. «Такъ кузнецъ утонулъ! Боже ты мой! А какой важный живописецъ былъ! Какіе ножи крѣпкіе, серпы, плуги умѣлъ выковывать! Что за сила была! Да», продолжалъ онъ, вадумавшись: «такихъ людей мало у насъ на селѣ. То-то я, еще сидя въ проклятомъ мѣстѣ, замѣчалъ, что бѣдняжка былъ крѣпко не въ духѣ. Вотъ тебѣ и Кузнецъ! былъ, а теперь и нѣтъ! А я собирался было подковать свою рябую кобылу!» И, будучи полонъ такихъ христіанскихъ мыслей, голова тихо побрелъ въ свою хату.

Оксана смутилась, когда до нея дошли такія вѣсти. Она мало вѣрила глазамъ Переперчихи и толкамъ бабъ: она знала, что кузнецъ довольно набоженъ, чтобы рѣшиться погубить свою душу. Но что, если онъ, въ самомъ дѣлѣ, ушелъ съ намѣреніемъ никогда не возвращаться въ село? А врядъ ли и въ другомъ мѣстѣ найдется такой молодецъ, какъ кузнецъ. Онъ же такъ любилъ ее! Онъ долѣе всѣхъ выносилъ ея капризы... Красавица всю ночь подъ своимъ одѣяломъ поворачивалась съ праваго бока на лѣвый, съ лѣваго на правый, и не могла заснуть. То, разметавшись въ обворожительной наготѣ, которую ночной мракъ скрывалъ даже отъ нея самой, она почти вслухъ бранила себя; то, притихнувъ, рѣшалась ни объ чемъ не думать — и все думала. И вся горѣла, и къ утру влюбила по-уши въ кузнеца.

Чувъ не изъявилъ ни радости, ни печали объ участи Вакулы. Его мысли заняты были однимъ: онъ никакъ не могъ позабыть вѣроломства Солохи и, сонный, не переставалъ бранить ее.



Настало утро. Вся церковь еще до свѣта была полна народа. Пожилыя женщины, въ бѣлыхъ намиткахъ, въ бѣлыхъ суконныхъ свиткахъ, набожно крестились у самаго входа церковнаго. Дворянки, въ зеленыхъ и желтыхъ кофтахъ, а инныя даже въ синихъ кунтушахъ, съ золотыми назади усами, стояли впереди ихъ. Дѣвчата, у которыхъ на головахъ намотана была цѣлая лавка лентъ, а на шеѣ монистъ, крестовъ и дукатовъ, старались пробраться еще ближе къ иконостасу. Но впереди всѣхъ стояли дворяне и простые мужики съ усами, съ чубами, съ толстыми шеями и только-что выбритыми подбородками, всѣ болѣею частію въ кобенякахъ, изъ-подъ которыхъ выказывалась бѣлая, а у инныхъ и синія свитга. На всѣхъ лицахъ, куда ни взглянь, виденъ былъ праздникъ. Голова заранѣе облизывался, воображая, какъ онъ разговѣтся колбасою; дѣвчата помышляли объ томъ, какъ онѣ будутъ *ковзаться* съ хлопцами на льду; старухи усерднѣе, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, какъ козакъ Свєрбыгузъ клалъ поклонны. Одна только Оксана стояла какъ будто не своя: молилась и не молилась. На сердцѣ у нея столпилось столько разныхъ чувствъ, одно другого досаднѣе, одного другого печальнѣе, что лицо ея выражало одно только сильное смущеніе; слезы дрожали въ глазахъ. Дѣвчата не могли понять этому причины и не подозрѣвали, чтобы виною былъ кузнецъ. Однакожь, не одна Оксана была занята кузнецомъ. Всѣ міряне замѣтили, что праздникъ — какъ будто не праздникъ, что какъ будто все чего-то недостаетъ. Какъ на бѣду, дыакъ, послѣ путешествія въ мѣшкѣ, охрипъ и дребезжалъ едва слышнымъ голосомъ; правда, пріѣзжій цѣвчій славно бралъ басомъ, но куда бы лучше было, если бы и кузнецъ былъ, который всегда, бывало, какъ только пѣли «Отче нашъ» или «Иже херувимы», всходилъ на крылосъ и выводилъ оттуда тѣмъ же самымъ напѣвомъ, какимъ поютъ и въ Полтавѣ. Къ тому же онъ одинъ исправлялъ должность церковнаго титара. Уже отошла заутреня; послѣ затрени отошла обѣдня... Куда-жь это, въ самомъ дѣлѣ, запропастился кузнецъ?

Еще быстрѣе въ остальное время ночи неся чортъ съ кузнецомъ назадъ, и мигомъ очутился Вакула около своей хаты. Въ это время пропѣть пѣтухъ.

«Куда?» закричал кузнецъ, ухватя за хвостъ хотѣвшаго убѣжать чорта. «Постой, пріятель, еще не все: я еще не поблагодарилъ тебя».

Тутъ, схвативши хворостину, отвѣсилъ онъ ему три удара, и бѣдный чортъ принудился бѣжать, какъ мужикъ, котораго только-что выпарилъ засѣдатель. Итакъ, вмѣсто того, чтобы провести, соблазнить и одурачить другихъ, врагъ человѣческаго рода былъ самъ одураченъ.

Послѣ сего Вакула вошелъ въ сѣни, зарылся въ сѣно и проспалъ до обѣда. Проснувшись, онъ испугался, когда увидѣлъ, что солнце уже высоко. «Я проспалъ заутреню и обѣдню!»

Тутъ благочестивый кузнецъ погрузился въ уныніе, разсуждая, что это, вѣрно, Богъ нарочно, въ наказаніе за грѣшное его намѣреніе погубить свою душу, наслалъ сонъ, который не далъ даже ему побывать, въ такой торжественный праздникъ, въ церкви. Но, однакомъ, успокоивъ себя тѣмъ, что въ слѣдующую недѣлю исповѣдается въ этомъ попу, и съ нынѣшняго же дня начнетъ бить по пятидесяти поклоновъ цѣлый годъ, заглянулъ онъ въ хату; но въ ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась.

Бережно вынулъ онъ изъ-за пазухи башмаки и снова изумился дорогой работѣ и чудному происшествію минувшей ночи; умылся, одѣлся, какъ можно лучше, надѣлъ то самое платье, которое досталъ отъ запорожцевъ, вынулъ изъ сундука новую шапку рѣшетилевскихъ смушекъ съ синимъ верхомъ, которой не надѣвалъ еще ни разу съ того времени, какъ купилъ ее еще въ бытность въ Полтавѣ; вынулъ также новый всѣхъ цвѣтовъ поясъ; положилъ все это вмѣстѣ съ нагайкою въ платокъ и отправился прямо къ Чубу.

Чубъ выпучилъ глаза, когда вошелъ къ нему кузнецъ, и не зналъ, чему дивиться: тому ли, что кузнецъ воскресъ, тому ли, что кузнецъ смѣлъ къ нему придти, или тому, что онъ нарядился такимъ щеголемъ и запорожцемъ. Но еще больше изумился онъ, когда Вакула развязалъ платокъ и положилъ передъ нимъ новехонькую шапку и поясъ, какого не видано было на селѣ, а самъ повалился ему въ ноги и проговорилъ умоляющимъ голосомъ: «Помилуй, батько! не гнѣвись! Вотъ тебѣ и нагайка: бей, сколько душа пожелаетъ. Отдаюсь самъ, во всемъ каюсь; бей, да не гнѣвись только.

Ты-жъ, когда-то, братался съ покойнымъ батькомъ, вмѣстѣ хлѣбъ-соль ѣли и магарычъ пили».

Чубъ не безъ тайнаго удовольствія видѣлъ, какъ кузнецъ, который никому на селѣ въ усь не дулъ, сгибалъ въ рукѣ пятаки и подковы, какъ гречневые блины, тотъ самый кузнецъ лежалъ теперь у ногъ его. Чтобъ еще больше не уронить себя, Чубъ взялъ нагайку и ударилъ ею три раза по спинѣ. «Ну, будетъ съ тебя, вставай! Старыхъ людей всегда слушай! Забудемъ все, что было межъ нами. Ну, теперь говори, чего тебѣ хочется?»

«Отдай, батько, за меня Оксану!»

Чубъ немного подумалъ, поглядѣлъ на шапку и поясъ: шапка была чудная, поясъ также не уступалъ ей; вспомнилъ о вѣроломной Солохѣ и сказалъ рѣшительно: «Добре! присылай сватовъ!»

«Ай!» вскрикнула Оксана, переступая черезъ порогъ и увидѣвъ кузнеца, и вперила съ изумленіемъ и радостью въ него очи.

«Погляди, какіе я тебѣ принесъ черевикі!» сказалъ Вакула: «тѣ самые, которые носить царица».

«Нѣтъ, нѣтъ! мнѣ не нужно черевиковъ!» говорила она, махая руками и не сводя съ него очей: «я и безъ черевиковъ»... Далѣе она не договорила и покрасѣла.

Кузнецъ подошелъ ближе, взялъ ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она такъ чудно хороша. Восхищенный кузнецъ тихо поцѣловалъ ее, и лицо ея пуще загорѣлось, и она стала еще лучше.

---

Проѣзжалъ черезъ Диканьку блаженной памяти архіерей, хвалилъ мѣсто, на которомъ стоитъ село и, проѣзжая по улицѣ, остановился передъ новою хатою.

«А чья это такая размалеванная хата?» спросилъ преосвященный у стоявшей близъ дверей красивой женщины съ дитятей на рукахъ.

«Кузнеца Вакулы!» сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

«Славно! славная работа!» сказалъ преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна всѣ были обведены кругомъ красною краскою; на дверяхъ же вездѣ были козаки на лошадяхъ, съ трубками въ зубахъ.

Но еще больше похвалить преосвященный Вакулу, когда узнать, что онъ выдержалъ церковное покаяніе и выкрасить даромъ весь лѣвый крылосъ зеленою краскою съ красными цвѣтами.

Это, однакожъ, не все. На стѣнѣ сбоку, какъ войдешь въ церковь, намалевать Вакула чорта въ аду, такого гадкаго, что всѣ плевали, когда проходили мимо; а бабы, какъ только расплакивалось у нихъ на рукахъ дитя, подносили его къ картинѣ и говорили: *«онъ бачъ, яка така намалевана!»* И дитя, удерживая слезѣнки, косилось на картину и жалось къ груди своей матери.



## СТРАШНАЯ МЕСТЬ.

### I.

**Ш**умить, гремѣть конецъ Кіева: есаулъ Горобецъ празднуетъ свадьбу своего сына. Наѣхало много людей къ есауду въ гости. Въ старину любили хорошенько поѣсть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Пріѣхалъ на гнѣдомъ конѣ своемъ и запорожецъ Микитка прямо съ разгульной попойки съ Перешляя-поля, гдѣ поилъ онъ семь дней и семь ночей королевскихъ шляхтичей краснымъ виномъ. Пріѣхалъ и названный братъ есаула, Данило Бурульбашъ, съ другого берега Днѣпра, гдѣ, промежъ двумя горами, былъ его хуторъ, съ молодою женою Катериною и съ годовымъ сыномъ. Дивились гости бѣлому лицу пани Катерины, чернымъ, какъ нѣмецкій бархатъ, бровямъ, нарядной сукнѣ и исподницѣ изъ голубого полутабенеку, сапогамъ съ серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не пріѣхалъ вмѣстѣ съ нею старшій отецъ. Всего только годъ жилъ онъ на Заднѣпровьи, а двадцать одинъ пропадалъ безъ вѣсти и воротился къ дочкѣ своей, когда уже та вышла замужъ и родила сына. Онъ, вѣрно, много наразсказалъ бы дивнаго. Да какъ и не разсказать, бывши такъ долго въ чужой землѣ! Тамъ все не такъ: и люди не тѣ, и церквей Христовыхъ нѣтъ... Но онъ не грѣхалъ.

Гостямъ поднесли варенуху съ изюмомъ и сливами, и на немаломъ блюдѣ коровай. Музыканты принялись за исподку

его, испеченную вмѣстѣ съ деньгами и, на время притихнувъ, положили возлѣ себя цимбалы, скрипки и бубны. Между тѣмъ, молодежи и дѣвчата, утершись шитыми платками, выступали снова изъ рядовъ своихъ; а парубки, схватившись въ боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись имъ навстрѣчу, — какъ старый есаулъ вынесъ двѣ иконы благословить молодыхъ. Тѣ иконы достались ему отъ честнаго схимника, старца Вареоломея. Не богата на нихъ утварь, не горитъ ни серебро, ни золото, не никакая нечистая сила не посмѣетъ прикоснуться къ тому, у кого онѣ въ домѣ. Приподнявъ иконы вверхъ, есаулъ готовился сказать короткую молитву... какъ вдругъ закричали, перепугавшись, игравшіе на землѣ дѣти, а вслѣдъ за ними попятился народъ, и всѣ показывали со страхомъ пальцами на стоявшаго посреди ихъ козака. Кто онъ таковъ, никто не зналъ. Но уже онъ протанцовалъ на славу козачка и уже успѣлъ насмѣшить обступившую его толпу. Когда же есаулъ поднялъ иконы, вдругъ все лицо козака переменялось: носъ выросъ и наклонился на сторону, вмѣсто карихъ запрыгали зеленныя очи, губы засинѣли, подбородокъ задрожалъ и заострился, какъ копье, изо рта выбѣжалъ клыкъ, изъ-за головы поднялся горбъ, и сталъ козакъ — старикъ.

«Это онъ! это онъ!» кричали въ толпѣ, тѣсно прижимаясь другъ къ другу.

«Колдунъ показался снова!» кричали матери, хватая за руки дѣтей своихъ.

Величаво и савовито выступилъ впередъ есаулъ и сказалъ громкимъ голосомъ, выставивъ противъ него иконы: «Пропади, образъ сатаны! тутъ тебѣ нѣтъ мѣста». И, зашипѣвъ и щелкнувъ, какъ волкъ, зубами, пропалъ чудный старикъ.

Пошли, пошли и зашумѣли, какъ море въ непогоду, толки и рѣчи между народомъ.

«Что это за колдунъ?» спрашивали молодые и небывалые люди.

«Бѣда будетъ!» говорили старые, качая головами. И вездѣ, по всему широкому подворью есаула, стали собираться въ бучки и слушать исторіи про чуднаго колдуна. Но всѣ почти говорили разное, и навѣрно никто не могъ рассказать про него.

На дворъ выкатили бочку меду и не мало поставили ведеръ грецкаго вина. Все повеселѣло снова. Музыканты грянули,—дѣвчата, молодежи, лихое козачество, въ яркихъ жупанахъ, понеслись. Девяностолѣтнее и столѣтнее старье, подгулявъ, пустилось и себѣ приплясывать, поминая не даромъ пропавшіе годы. Пировали до поздней ночи, и пировали такъ, какъ теперь уже не пируютъ. Стали гости расходиться, но мало побрело во-свояси: много осталось ночевать у есаула на широкомъ дворѣ; а еще больше козачества заснуло само, непрошенное, подъ лавками, на полу, возлѣ коня, близъ хлѣва: гдѣ пошатнулась съ хмеля козачья голова, тамъ и лежитъ и храпитъ на весь Кіевъ.

## II.

Тихо свѣтитъ по всему міру: то мѣсяцъ показался изъ-за горы. Будто дамасскою дорогою и бѣлою, какъ снѣгъ, кисею покрытъ онъ гористый берегъ Днѣпра, и тѣнь ушла еще далѣе въ чащу сосенъ.

Посреди Днѣпра плыть дубъ. Сидятъ впереди два хлопца: черныя козацкія шапки на-бекрень, и подъ веслами, какъ будто отъ огнива огонь, летятъ брызги во всѣ стороны.

Отчего не поють козаки? Не говорить ни о томъ, какъ уже ходить по Украинѣ ксендзы и перекрещиваютъ козацкій народъ въ католиковъ, ни о томъ, какъ два дня билась при Соленомъ озерѣ орда? Какъ имъ пѣть, какъ говорить про лихія дѣла? Панъ ихъ Данило призадумался, и рукавъ его кармазиннаго жупана опустился изъ дуба и черпаетъ воду; пани ихъ Катерина тихо колышетъ дитя и не сводитъ съ него очей, а на незастланную полотномъ нарядную сукню сѣрою пылью валится вода.

Любо глянуть съ середины Днѣпра на высокія горы, на широкіе луга, на зеленые лѣса! Горы тѣ—не горы: подошвы у нихъ нѣтъ, внизу ихъ, какъ и вверху, острая вершина, и подъ ними и надъ ними высокое небо. Тѣ лѣса, что стоятъ на холмахъ, не лѣса: то волосы, поросшіе на косматой головѣ лѣснаго дѣда. Подъ нею въ водѣ моется борода, и подъ бородою, и надъ волосами высокое небо. Тѣ луга—не луга: то зеленый поясъ, перепоясавшій посерединѣ круглое небо; и въ верхней половинѣ, и въ нижней половинѣ прогуливается мѣсяцъ.

Не глядитъ панъ Данило по сторонамъ, глядитъ онъ на молодую жену свою. «Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалася въ печаль?»

«Я не въ печаль вдалася, панъ мой Данило! Меня утрашили чудные рассказы про колдуна. Говорятъ, что онъ родился такимъ страшнымъ... и никто изъ дѣтей сызмала не хотѣлъ играть съ нимъ. Слушай, панъ Данило, какъ страшно говорить: что будто ему все чудилось, что всѣ смѣются надъ нимъ. Встрѣтится ли подъ темный вечеръ съ какимъ-нибудь человѣкомъ, и ему тотчасъ покажется, что онъ открываетъ ротъ и скалитъ зубы. И на другой день находили мертвымъ того человѣка. Мнѣ чудно, мнѣ страшно было, когда я слухала эти рассказы», говорила Катерина, вынимая платокъ и вытирая имъ лицо спавшаго на рукахъ дитяти. На платкѣ были вышиты ею краснымъ шелкомъ листья и ягоды.

Панъ Данило ни слова, и сталъ поглядывать на темную сторону, гдѣ далеко, изъ-за лѣса, чернѣтъ земляной валъ, изъ-за вала подымался старый замокъ. Надъ бровями разомъ вырѣзались три морщины; лѣвая рука гладила молодечіе усы. «Не такъ еще страшно, что колдунъ», говорилъ онъ: «какъ страшно то, что онъ недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышалъ, что хотятъ ляхи строить какую-то крѣпость, чтобы перерѣзать намъ дорогу къ запорожцамъ. Пусть это правда... Я размечу чертовское гнѣздо, если только пронесется слухъ, что у него какой-нибудь притонъ. Я сожгу стараго колдуна, такъ что и воронамъ нечего будетъ расклевать. Однакожъ, думаю, онъ не безъ золота и всякаго добра. Вотъ гдѣ живетъ этотъ дьяволъ! Если у него водится золото... Мы сейчасъ будемъ плыть мимо крестовъ—это кладбище! Тутъ гниютъ его нечистые дѣды. Говорятъ, они всѣ готовы были себя продать за денежку сатанѣ и съ душою, и съ ободранными жупанами. Если-жъ у него, точно, есть золото, то мѣшкать нечего теперь: не всегда на войнѣ можно добыть»...

«Знаю, что затѣваешь ты: не предвѣщаетъ мнѣ ничего добраго встрѣча съ нимъ. Но ты такъ тяжело дышишь, такъ сурово глядишь, брови твои такъ угрюмо надвинулись на очи!»...

«Молчи, баба!» съ сердцемъ сказалъ Данило: «съ вами кто свяжется, самъ станетъ бабой. Хлопецъ, дай мнѣ огня



въ люльку!» Тутъ оборотился онъ къ одному изъ гребцовъ, который, выколотивши изъ своей люльки горячую золу, сталъ перекладывать ее въ люльку своего пана. «Пугаетъ меня колдуномъ!» продолжалъ панъ Данило. «Козакъ, слава Богу, ни чертей, ни ксендзовъ не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться женъ. Не такъ ли, хлопцы? Наша жена—люлька да острая сабля!»

✓ Катерина замолчала, потушивши очи въ сонную воду; а вѣтеръ дергалъ воду рябью, и весь Днѣпръ серебрился, какъ волчья шерсть среди ночи.

× Дубъ повернулъ и сталъ держаться лѣснстаго берега. На берегу видѣлось кладбище: ветхіе кресты толпились въ кучу. Ни калина не растетъ межъ ними, ни трава не зеленѣетъ, только мѣсяцъ грѣетъ ихъ съ небесной вышины.

«Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зоветъ насъ на помощь!» сказалъ панъ Данило, оборотясь къ гребцамъ своимъ.

«Мы слышимъ крики, и, кажется, съ той стороны», разомъ сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка поворотила, и стала огигать выдавпійся берегъ. Вдругъ гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и панъ Данило: страхъ и холодъ прорѣзался въ козацкія жилы.

Крестъ на могилѣ запатался, и тихо поднялся изъ нея высохшій мертвецъ. Борода до пояса; на пальцахъ когти длинныя, еще длиннѣе самыхъ пальцевъ. Тихо поднялъ онъ руки вверхъ. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную мѹку, видно, терпѣлъ онъ. «Душно мнѣ! душно!» простоналъ онъ дикимъ, не человѣчьимъ голосомъ. Голосъ его, будто ножъ, паралалъ сердце, и мертвецъ вдругъ ушелъ подъ землю. Зашатался другой крестъ, и опять вышелъ мертвецъ, еще страшнѣе, еще выше прежняго: весь заростъ; борода по колѣна, и еще длиннѣе костяные когти. Еще диче закричалъ онъ: «душно мнѣ!» и ушелъ подъ землю. Пошатнулся третій крестъ, поднялся третій мертвецъ. Казалось, однѣ только кости поднялись высоко надъ землею. Борода по самыя пяты; пальцы съ длинными когтями вонзились въ землю. Страшно протянулъ онъ руки вверхъ, какъ будто хотѣлъ достать мѣсяцъ, и закричалъ такъ, какъ будто кто-нибудь сталъ пилить его желтыя кости...

Дитя, спавшее на рукахъ у Катерины, вскрикнуло и про-

будилось; сама пани вскрикнула; гребцы пороняли шапки въ Дѣшпръ; самъ панъ вздрогнулъ.

Все вдругъ пропало, какъ будто не бывало; однакожь, долго хлопцы не брались за весла. Заботливо поглядѣлъ Бурульбашъ на молодую жену, которая въ испугѣ качала на рукахъ кричавшее дитя, прижалъ ее къ сердцу и поцѣловалъ въ лобъ. «Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нѣтъ!» говорилъ онъ, указывая по сторонамъ. «Это колдунъ хочетъ устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечистаго гнѣзда его. Бабъ только однѣхъ онъ напугаетъ этимъ! Дай сюда на руки мнѣ сына!»

При семъ словѣ поднялъ панъ Данило своего сына вверхъ и поднесъ къ губамъ: «Что, Иванъ, ты не боишься колдунъ?—«Нѣтъ», говори: «тятя, я козакъ».—Полно же, перестань плакать! домой прїѣдемъ! Прїѣдемъ домой—мать наѣормитъ кашею, положитъ тебя спать въ люльку, запоетъ:

Люли, люли, люли!  
Люли, сынку, люли!  
Да вырастай, вырастай въ забаву!  
Козачеству на славу,  
Вороженькамъ въ расправу!

«Слушай, Катерина! мнѣ кажется, что отецъ твой не хочетъ жить въ ладу съ нами. Прїѣхалъ угрюмый, суровый, какъ будто сердится... Ну, недоволенъ, — зачѣмъ и прїѣзжать? Не хотѣлъ выпить за козацкую волю! Не покачалъ на рукахъ дитяти! Сперва было я ему хотѣлъ повѣрить все, что лежитъ на сердцѣ, да не беретъ что-то, и рѣчь заикнулась. Нѣтъ, у него не козацкое сердце! Козацкія сердца, когда встрѣтятся гдѣ, какъ не выбьются изъ груди другъ другу навстрѣчу! Что, мои любиме хлопцы, скоро берегъ? Ну, шапки я вамъ дамъ новыя. Тебѣ, Стецько, дамъ выложенную бархатомъ съ золотомъ. Я ее снялъ вмѣстѣ съ головою у татарина; весь его снарядъ достался мнѣ; одну только его душу я выпустилъ на волю. Ну, причаливай! Вотъ, Иванъ, мы и прїѣхали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина!»

Всѣ вышли. Изъ-за горы показалась соломенная кровля: то дѣдовскіе хоромы пана Данила. За ними еще гора, а тамъ уже и поле, а тамъ хоть сто верстъ пройди, не сыщешь ни одного козака.

### III.

К Хуторъ пана Данила между двумя горами въ узкой долинь, сбѣгающей къ Днѣпру. Невысокіе у него хоромы; хата на видъ, какъ и у простыхъ козаковъ, и въ ней одна свѣтлица; но есть гдѣ помѣститься тамъ и ему, и женѣ его, и старой прислужницѣ, и десяти отборнымъ молодцамъ. Вокругъ стѣнъ вверху идутъ дубовыя полки. Густо на нихъ стоятъ миски, горшки для трапезы. Есть межъ ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные въ золото, дарственные и добытыя на войнѣ. Ниже висятъ дорогіе мушкеты, сабли, пищали, копья; волею и неволею перешли они отъ татаръ, турокъ и ляховъ; не мало зато и вызубрены. Глядя на нихъ, панъ Данило какъ будто по значкамъ припоминалъ свои схватки. Подъ стѣною, внизу, дубовыя, гладко вытесанные лавки; возлѣ нихъ, передъ лежанкою, виситъ на веревкахъ, продѣтыхъ въ кольцо, привинченное къ потолку, люлька. Во всей свѣтлицѣ полъ гладко убитый и смазанный глиною. На лавкахъ спитъ съ женою панъ Данило, на лежанкѣ старая прислужница; въ люлкѣ тѣшится и убаюкивается малое дитя; на полу покотомъ ночуютъ молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой землѣ при вольномъ небѣ; ему не пуховикъ и не перина нужна: онъ моститъ себѣ подъ голову свѣжее сѣно и вольно протягивается на травѣ. Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое засѣянное звѣздами небо и вздрогнуть отъ ночного холода, принесшаго свѣжесть козацкимъ косточкамъ; потягиваясь и бормоча сквозь сонъ, закуриваетъ онъ люльку и закутывается крѣпче въ теплый козухъ.

Не рано проснулся Бурульбашъ послѣ вчерашняго веселья и, проснувшись, сѣлъ въ углу на лавкѣ, и началъ наточивать новую, вымѣянную имъ, турецкую саблю; а пани Катерина принялась вышивать золотомъ шелковый ручникъ.

Вдругъ вошелъ Катерининъ отецъ, разсерженный, нахмуренъ, съ заморскою люлькою въ зубахъ, приступилъ къ дочкѣ и сурово сталъ выспрашивать ее: что за причина тому, что такъ поздно воротилась она домой.

«Про эти дѣла, тестъ, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а мужъ отвѣчаетъ. У насъ уже такъ водится, не погнѣвався!» говорилъ Данило, не оставляя своего дѣла: «мо-

жетъ, въ иныхъ невѣрныхъ земляхъ этого не бываетъ, — я не знаю».

Краска выступила на суровомъ лицѣ тестя, и очи дико блеснули. «Кому-жъ, какъ не отцу, смотрѣть за своею дочкой!» бормоталъ онъ про себя. «Ну, я тебя спрашиваю: гдѣ таскался до поздней ночи?»

«А вотъ это дѣло, дорогой тесть! На это я тебѣ скажу, что я давно уже вышелъ изъ тѣхъ, которыхъ бабы пеленають. Знаю, какъ сидѣть на конѣ; умѣю держать въ рукахъ и саблю острую, еще кое-что умѣю... Умѣю никому и отвѣта не давать въ томъ, что дѣлаю».

«Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, вѣрно, на умѣ недоброе дѣло».

«Думай себѣ, что хочешь», сказалъ Данило: «думаю и я себѣ. Слава Богу, ни въ одномъ еще безчестномъ дѣлѣ не былъ; всегда стоялъ за вѣру православную и отчизну, не такъ, какъ иные бродяги: таскаются, Богъ знаетъ, гдѣ, когда православные бьются на-смерть, а послѣ нагрянутъ убирать не ими засѣянное жито. На уніатовъ даже не похожи: не заглянуть въ Божию церковь. Такихъ бы нужно допросить порядкомъ, гдѣ они таскаются».

«Э, козакъ! знаешь ли ты... Я плохо стрѣляю: всего за сто сажень пуля моя пронизываетъ сердце; я и рублюсь незавидно: отъ человѣка остаются куски мельче крупъ, изъ которыхъ варятъ кашу».

«Я готовъ», сказалъ панъ Данило, бойко перекрестивши воздухъ саблею, какъ будто зналъ, на что ее выточилъ.

«Данило!» закричала громко Катерина, ухвативши его за руку и повиснувъ на ней: «вспомни, безумный, погляди, на кого ты поднимаешь руку! Батько, твои волосы бѣлы, какъ снѣгъ, а ты разгорѣлся, какъ неразумный хлопецъ!»

«Жена!» крикнулъ грозно панъ Данило: «ты знаешь, я не люблю этого; вѣдай свое бабье дѣло!»

Сабли страшно звукнули; желѣзо рубило желѣзо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя козаки. Съ плачемъ ушла Катерина въ особую свѣтлицу, кинулась въ постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельныхъ ударовъ. Но не такъ худо бились козаки, чтобы можно было заглушить ихъ удары. Сердце ея хотѣло разорваться на части; по всему ея тѣлу, слышала она, какъ проходили звуки: тукъ, тутъ. «Нѣтъ, не вытерплю, не вытерплю... Можетъ, уже алая кровь бьетъ

ключомъ изъ бѣлаго тѣла; можетъ, теперь изнемогаетъ мой милый, а я лежу здѣсь!» И вся блѣдная, едва переводя духъ, вошла въ хату.

Ровно и страшно бились козаки; ни тотъ, ни другой не одолеваетъ. Вотъ наступаетъ Катерининъ отецъ — подается панъ Данило; наступаетъ панъ Данило — подается суровый отецъ, и опять наравнѣ. Кипятъ. Размахнулись... ух! Сабли звенять... и, гремя, отлетѣли въ сторону елики.

«Благодарю Тебя, Боже!» сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидѣла, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки.

Выстрѣлили панъ Данило, — не попалъ. Нацѣлился отецъ... Онъ старъ, онъ видитъ не такъ зорко, какъ молодой, однакожь не дрожить его рука. Выстрѣлъ загремѣлъ... Пошатнулся панъ Данило; алая кровь выкрасила лѣвый рукавъ козацкаго жупана.

«Нѣтъ!» закричалъ онъ: «я не продамъ такъ дешево себя. Не лѣвая рука, а правая атаманъ. Виситъ у меня на стѣнѣ турецкій пистолетъ: еще ни разу во всю жизнь не измѣнялъ онъ мнѣ. Слѣзай со стѣны, старый товарищ! покажи другу услугу!» Данило протянулъ руку.

«Данило!» закричала въ отчаяніи, схвативши его за руки и бросившись ему въ ноги, Катерина: «не за себя молю, Мнѣ одинъ конецъ: та недостойная жена, которая живетъ послѣ своего мужа; Днѣпръ, холодный Днѣпръ будетъ мнѣ могилою... Но погляди на сына, Данило! погляди на сына! Кто пригрѣетъ бѣдное дитя? Кто приголубитъ его? Кто научитъ его летать на ворономъ конѣ, биться за волю и вѣру, пить и гулять по-козацки? Пропадай, сынъ мой! пропадай! Тебя не хочетъ знать отецъ твой! Гляди, какъ онъ отворачиваетъ лицо свое. О, я теперь знаю тебя! Ты звѣрь, а не человѣкъ! У тебя волчье сердце, а дума лукавой гадины! Я думала, что у тебя капля жалости есть, что въ твоемъ каменномъ тѣлѣ человѣчье чувство горитъ. Безумно же я обманулась. Тебѣ это радость принесетъ. Твои кости станутъ танцовать въ гробѣ съ веселья, когда услышатъ, какъ нечестивые звѣри-ляхи кинутъ въ пламя твоего сына, когда сынъ твой будетъ кричать подъ ножами и окропомъ. О, я знаю тебя! Ты радъ бы изъ гроба встать и раздуть шапкою огонь, взвихрившійся подъ нимъ!»

«Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иванъ, и

поцѣлю тебя! Нѣтъ, дитя мое, никто не тронетъ волоска твоего. Ты вырастешь на славу отчизны; какъ вихорь, будешь ты летать передъ козаками, съ бархатною шапочкою на головѣ, съ острою саблею въ рукѣ. Дай, отецъ, руку! Забудемъ бывшее между нами! Что сдѣлалъ передъ тобою неправого—винюсь. Что же ты не даешь руки?» говорилъ Данило отцу Катерины, который стоялъ на одномъ мѣстѣ, не выражая на лицѣ своемъ ни гнѣва, ни примиренія.

«Отецъ!» вскричала Катерина, обнявъ и поцѣловавъ его: «не будь неумолимъ, прости Данила: онъ не огорчитъ больше тебя!»

«Для тебя только, моя дочь, прощаю!» отвѣчалъ онъ, поцѣловавъ ее и блеснувъ странно очами.

Катерина немного вздрогнула: чуденъ показался ей и поцѣлуй, и странный блескъ очей. Она облокотилась на столъ, на которомъ перевязывалъ ранѣную свою руку панъ Данило, передумывая, что худо и не по-козацки сдѣлалъ онъ, прося прощенія, когда не былъ ни въ чемъ виноватъ.

#### IV.

Блеснулъ день, но не солнечный: небо хмурилось, и тонкій дождь сѣялся на поля, на лѣса, на широкій Днѣпръ. Проснулась гани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна: «Мужъ мой милый, мужъ дорогой! чудный мнѣ сонъ снился!»

«Какой сонъ, моя любая панн Катерина?»

«Снилось мнѣ, чудно, право, и такъ живо, будто наяву, снилось мнѣ, что отецъ мой есть тотъ самый уродъ, котораго мы видѣли у есаула. Но, прошу тебя, не вѣрь сну: какихъ глупостей не привидится! Будто я стояла передъ нимъ, дрожала вся, боялась, и отъ каждаго слова его стонали мои жилы. Если-бъ ты слышала, что онъ говорилъ...»

«Что же онъ говорилъ, моя золотая Катерина?»

«Говорилъ: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорошъ! Люди напрасно говорятъ, что я дурень. Я буду тебѣ славнымъ мужемъ. Посмотри, какъ я поглядываю очами!» — Тутъ навелъ онъ на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась».

«Да, сны много говорятъ правды. Однакожь, знаешь ли ты, что за горою не такъ спокойно? Чуть ли не ляхи стали

выглядывать снова. Мнѣ Горобецъ прислалъ сказать, чтобы я не спалъ; напрасно только онъ заботится: я и безъ того не сплю. Хлопцы мои въ эту ночь срубили двѣнадцать за-сѣковъ. Посполитство будемъ угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуютъ и отъ батоговъ».

«А отецъ знаетъ объ этомъ?»

«Сидить у меня на шеѣ твой отецъ! Я до сихъ поръ разгадать его не могу. Много, вѣрно, онъ грѣховъ надѣ-лалъ въ чужой землѣ. Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, за при-чина: живетъ около мѣсяца, и хоть бы разъ развеселился, какъ добрый козакъ! Не захотѣлъ выпить меду! Слышишь, Катерина: не захотѣлъ меду выпить, который я вытрусилъ у брестовскихъ жидовъ. Эй, хлопецъ!» крикнулъ панъ Да-нило: «бѣги, малый, въ погребъ, да принеси жидовскаго меду! Горѣлки даже не пьютъ! Экая пропасть! Мнѣ кажется, пани Катерина, что онъ и въ Господа Христа не вѣруетъ. А? какъ тебѣ кажется?»

«Богъ знаетъ, что говоришь ты, панъ Данило!»

«Чудно, пани!» продолжалъ Данило, принимая глиняную кружку отъ козака: «поганые католики даже падки до водки; одни только турки не пьютъ. Что, Стецько, много хлебнулъ меду въ подвалѣ?»

«Попробовалъ только, панъ!»

«Лжешь, собачій сынъ! Вишь, какъ мухи напали на усы! Я по глазамъ вижу, что хватилъ съ полведра. Эхъ, козаки! Что за лихой народъ! Все отдать готовъ товарищу, а хмель-ное высушить самъ. Я, пани Катерина, что-то давно уже быть пьянъ. А?»

«Вотъ давно! а въ прошедшій...»

«Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вотъ и турецкій игуменъ лѣзетъ въ двери!» проговорилъ онъ сквозь зубы, увидя тестя, нагнувшагося, чтобъ войти въ дверь.

«А что-жъ это, моя дочь!» сказалъ отецъ, снимая съ го-ловы шапку и поправляя поясъ, на которомъ висѣла сабля съ чудными каменьями: «солнце уже высоко, а у тебя обѣдъ не готовъ».

«Готовъ обѣдъ, панъ отецъ, сейчасъ поставимъ! Вынимай горшокъ съ галушками!» сказала пани Катерина старой прислужницѣ, обтиравшей деревянную посуду. «Постой, лучше я сама выну», продолжала Катерина: «а ты позови хлопцевъ».

Всѣ сѣли на полу въ кружокъ: противъ покута панъ отецъ, по лѣвую руку панъ Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивѣрнѣйшихъ молодцовъ, въ синихъ и желтыхъ жупанахъ.

«Не люблю я этихъ галушекъ!» сказалъ панъ отецъ, немного поѣвши и положивши ложку: «никакого вкуса нѣтъ!»

«Знаю, что тебѣ лучше жидовская лапша», подумалъ про себя Данило. «Отчего же, тестъ», продолжалъ онъ вслухъ: «ты говоришь, что вкуса нѣтъ въ галушкахъ? Худо сдѣланы, что ли? Моя Катерина такъ дѣлаетъ галушки, что и гетману рѣдко достается ѣсть такія. А брезгать ими нечего: это христіанское кушанье! Всѣ святые люди и угодники Божіи ѣдали галушки».

Ни слова отецъ; замолчалъ и панъ Данило.

Подали жаренаго кабана съ капустою и сливами. «Я не люблю свинины!» сказалъ Катерининъ отецъ, выгребая ложкою капусту.

«Для чего же не любить свинины?» сказалъ Данило: «одни турки и жида не ѣдятъ свинины».

Еще суровѣе нахмурился отецъ.

Только одну лемишку съ молокомъ и ѣтъ старый отецъ и потянулъ, вмѣсто водки, изъ фляжки, бывшей у него за пазухой, какую-то черную воду.

Пообѣдавши, заснулъ Данило молодецкимъ сномъ и проснулся только около вечера. Сѣлъ и сталъ писать листы въ козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанкѣ. Сидитъ панъ Данило, глядитъ лѣвымъ глазомъ на писаніе, а правымъ въ окошко. А изъ окошка далеко блестятъ горы и Днѣпръ; за Днѣпромъ синѣютъ лѣса; мелькаетъ сверху прояснившееся ночное небо. Но не далекимъ небомъ и не синимъ лѣсомъ любитъ панъ Данило: глядитъ онъ на выдавшійся мысъ, на которомъ чернѣлъ старый замокъ. Ему почудилось, будто блеснуло въ замокъ огнемъ узенькое окошко. Но все тихо; это, вѣрно, показалось ему. Слышно только, какъ глухо шумитъ внизу Днѣпръ, и съ трехъ сторонъ, одинъ за другимъ, отдаются удары мгновенно пробудившихся волнъ. Онъ не бунтуетъ; онъ, какъ старикъ, ворчитъ и ропщетъ; ему все не мило; все перемѣнилось около него; тихо враждуетъ онъ съ прибережными горами, лѣсами, лугами и несетъ на нихъ жалобу въ Черное море.



Вотъ по широкому Днѣпру зачернѣла лодка, и въ замкѣ снова какъ будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнулъ Данило и выбѣжалъ на свистъ вѣрный хлопецъ. «Бери, Стецько, съ собою скорѣе острую саблю да винтовку, да ступай за мною!»

«Ты идешь?» спросила пани Катерина.

«Иду, жена. Нужно осмотрѣть всѣ мѣста, все ли въ порядкѣ».

«Мнѣ, однакожъ, страшно оставаться одной. Меня сонъ такъ и клонить; чтѣ, если мнѣ приснится то же самое? Я даже не увѣрена, точно ли то сонъ былъ, — такъ это происходило живо».

«Съ тобою старуха остается; а въ сѣняхъ и на дворѣ спать козаки!»

«Старуха спитъ уже, а козакамъ что-то не вѣрится. Слушай, панъ Данило: замкни меня въ комнатѣ, а ключъ возьми съ собою. Мнѣ тогда не такъ будетъ страшно; а козаки пусть лягутъ передъ дверями».

«Пусть будетъ такъ!» сказалъ Данило, стирая пыль съ винтовки и насыпая на полку порохъ.

Вѣрный Стецько уже стоялъ одѣтый во всей козацкой сбруѣ. Данило надѣлъ смушевую шапку, закрылъ окошко, задвинулъ засовами дверь, замкнулъ и, промежъ спавшими своими козаками, вышелъ потихоньку изъ двора въ горы.

Небо почти все прочистилось. Свѣжій вѣтеръ чуть-чуть навѣвалъ съ Днѣпра. Если бы не слышно было издали стenanія чайки, то все бы казалось онѣмѣвшимъ. Но вотъ почудился шорохъ... Бурульбашъ съ вѣрнымъ слугою тихо спрятался за терновникъ, прикрывавшій срубленный засѣкъ. Кто-то въ красномъ жупанѣ, съ двумя пистолетами, съ саблею при боку, спускался съ горы. — «Это тестъ!» проговорилъ панъ Данило, разглядывая его изъ-за куста. «Зачѣмъ и куда ему итти въ эту пору? Стецько, не зѣвай, смотри въ оба глаза, куда возьметъ дорогу панъ отецъ». Человѣкъ въ красномъ жупанѣ сошелъ на самый берегъ и поверотилъ къ выдавшемуся мысу. «А! вотъ куда!» сказалъ панъ Данило. «Что, Стецько, вѣдь онъ какъ разъ потащился къ колдуну въ дупло?»

«Да, вѣрно, не въ другое мѣсто, панъ Данило! иначе мы бы видѣли его на другой сторонѣ; но онъ пропалъ около замка».

«Постой же, вылеземъ, а потомъ пойдемъ по слѣдамъ. Тутъ что-нибудь да кроется. Нѣтъ, Катерина, я говорилъ тебѣ, что отецъ твой недобрый человѣкъ; не такъ онъ и дѣлалъ все, какъ православный».

Уже мелькнули панъ Данило и его вѣрный хлопецъ на выдавшемся берегу. Вотъ уже ихъ и не видно; непробудный лѣсъ, окружавшій замокъ, спряталъ ихъ. Верхнее окошко тихо засвѣтилось; внизу стоятъ козаки и думаютъ, какъ бы влѣзть имъ: ни воротъ, ни дверей не видно; со двора, вѣрно, есть ходъ; но какъ войти туда? Издали слышно, какъ гремѣть цѣпи и бѣгаютъ собаки.

«Что я думаю долго?» сказалъ панъ Данило, увидя передъ окномъ высокій дубъ: «стой тутъ, малый! Я полѣзу на дубъ: съ него прямо можно глядѣть въ окошко».

Тутъ снялъ онъ съ себя поясъ, бросилъ внизъ саблю, чтобъ не звенѣла, и, ухватясь за вѣтви, поднялся вверхъ. Окошко все еще свѣтилось. Присѣвши на сукъ, возлѣ самаго окна, уцѣпился онъ рукою за дерево и глядитъ: въ комнатѣ и свѣчи нѣтъ, а свѣтитъ. По стѣнамъ чудные знаки; виситъ оружіе, но все странное: такого не носятъ ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христіане, ни славный народъ шведскій. Подъ потолкомъ взадъ и впередъ мелькаютъ нетопыри, и тѣнь отъ нихъ мелькаетъ по стѣнамъ, по дверямъ, по помосту. Вотъ отворилась безъ скрипа дверь. Входитъ кто-то въ красномъ жупанѣ и прямо къ столу, накрытому бѣлою скатертью. «Это онъ, это тестъ!» Панъ Данило опустился немного ниже и прижался крѣпче къ дереву.

Но тестю некогда глядѣть, смотреть ли кто въ окошко, или нѣтъ. Онъ пришелъ пасмуренъ, не въ духѣ, сдернулъ со стола скатерть—и вдругъ по всей комнатѣ тихо разлился прозрачно-голубой свѣтъ; только не смѣшавшіяся волны прежняго блѣдно-золотого переливались, ныряли, словно въ голубомъ морѣ, и тянулись слоями, будто на мраморѣ. Тутъ поставилъ онъ на столъ горшокъ и началъ бить въ него какія-то травы.

Панъ Данило сталъ вглядываться и не замѣтилъ уже на немъ краснаго жупана; вмѣсто того показались на немъ широкія шаровары, какія носятъ турки; за поясомъ пистолеты; на головѣ какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянулъ въ лицо—и лицо

стало перемѣняться: носъ вытянулся и повиснулъ надъ губами; ротъ въ минуту раздался до ушей; зубъ выглянулъ изъ рта, нагнулся на сторону, и сталъ передъ нимъ тотъ самый колдунъ, который показался на свадьбѣ у есаула. «Правдивъ сонъ твой, Катерина!» подумалъ Бурульбагы.

Колдунъ сталъ прохаживаться вокругъ стола, знаки стали быстрѣе перемѣняться на стѣнѣ, а нетопыри залетали сильнѣе внизъ и вверхъ, взадъ и впередъ. Голубой свѣтъ становился рѣже, рѣже, и совсѣмъ какъ будто потухнулъ. И свѣтлица освѣтилась уже тонкимъ розовымъ свѣтомъ. Казалось, съ тихимъ звономъ разливался чудный свѣтъ по всѣмъ угламъ и вдругъ пропалъ, и стала тьма. Слышались только шумъ, будто вѣтеръ въ тихій часъ вечера наигрываетъ, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже въ воду серебряныя ивы. И чудится пану Данилѣ, что въ свѣтлицѣ блеститъ мѣсяцъ, ходятъ звѣзды, неясно мелькаетъ темно-синее небо и холодъ ночного воздуха пахнулъ даже ему въ лицо. И чудится пану Данилѣ (тутъ онъ сталъ щупать себя за усы, не спитъ ли), что уже не небо въ свѣтлицѣ, а его собственная опочивальня: висятъ на стѣнѣ его татарскія и турецкія сабли; около стѣны полки, на полкахъ домашняя посуда и утварь; на столѣ хлѣбъ и соль; виситъ люлька... но вмѣсто образовъ выглядываютъ страшныя лица; на лежанкѣ... но сгустившійся туманъ покрылъ все, и стало опять темно. И опять съ чуднымъ звономъ освѣтилась вся свѣтлица розовымъ свѣтомъ, и опять стоитъ колдунъ неподвижно въ чудной чалмѣ своей. Звуки стали сильнѣе и гуще, тонкій розовый свѣтъ становился ярче, и что-то бѣлое, какъ будто облако, вѣяло посреди хаты; и чудится пану Данилѣ, что облако то не облако, что то стоитъ женщина; только изъ чего она: изъ воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоитъ, и земли не трогаетъ, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвѣчиваетъ розовый свѣтъ и мелькаютъ на стѣнѣ знаки? Вотъ она какъ-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо свѣтятся ея блѣдно-голубыя очи; волосы вьются и падаютъ по плечамъ ея, будто свѣтло-сѣрый туманъ; губы блѣдно алѣютъ, будто сквозь бѣло-прозрачное утреннее небо льется едва примѣтный алый свѣтъ зари; брови слабо темнѣютъ... Ахъ! это Катерина! Тутъ почувствовалъ Данило, что члены у него оковались; онъ силился говорить, но губы шевелились безъ звука.

Неподвижно стоялъ колдунъ на своемъ мѣстѣ. «Гдѣ ты была?» спросилъ онъ, и стоявшая передъ нимъ затрепетала.

«О! зачѣмъ ты меня вызвалъ?» тихо простонала она. «Мнѣ было такъ радостно. Я была въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ родилась и прожила пятнадцать лѣтъ. О, какъ хорошо тамъ! Какъ зеленъ и душистъ тотъ дугъ, гдѣ я играла въ дѣтствѣ! И полевые цвѣточки тѣ же, и хата наша, и огородъ! О, какъ обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней въ очахъ! Она приголубливала меня, цѣловала въ уста и щеки, расчесывала частымъ гребнемъ мою русую косу... Отецъ!» тутъ она вперила въ колдуна блѣдныя очи: «зачѣмъ ты зарѣзалъ мать мою?»

Грозно колдунъ погрозилъ пальцемъ. «Развѣ я тебя просилъ говорить про это?» И воздушная красавица задрожала. — «Гдѣ теперь пани твоя?»

«Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетѣла. Мнѣ давно хотѣлось увидѣть мать. Мнѣ вдругъ сдѣлалось пятнадцать лѣтъ; я вся стала легка, какъ птица. Зачѣмъ ты меня вызвалъ?»

«Ты помнишь все то, что я говорилъ тебѣ вчера?» спросилъ колдунъ такъ тихо, что едва можно было разслушать.

«Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это. Бѣдная Катерина! она многого не знаетъ изъ того, что знаетъ душа ея».

«Это Катеринина душа», подумалъ панъ Данило; но все еще не смѣлъ пошевелиться.

«Покайся, отецъ! Не страшно ли, что послѣ каждого убійства твоего мертвецы поднимаются изъ могилъ?»

«Ты опять за старое!» грозно прервалъ колдунъ. «Я поставлю на своемъ, я заставлю тебя сдѣлать, что мнѣ хочется. Катерина полюбитъ меня!..»

«О, ты чудовище, а не отецъ мой!» простонала она. «Нѣтъ, не будетъ по-твоему! Правда, ты взялъ нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но одинъ только Богъ можетъ заставлять ее дѣлать то, что Ему угодно. Нѣтъ, никогда Катерина, доколѣ я буду держаться въ ея тѣлѣ, не рѣшится на богопротивное дѣло. Отецъ! близокъ страшный судъ! Если бъ ты и не отецъ мой былъ, и тогда бы не заставилъ меня измѣнить моему любому, вѣрному мужу. Если бы мужъ мой и не былъ мнѣ

вѣренъ и милъ, и тогда бы не измѣнила ему, потому что Богъ не любитъ клятвопреступныхъ и невѣрныхъ душъ».

Тутъ вперила она блѣдныя очи свои въ окошко, подъ которымъ сидѣлъ панъ Данило, и неподвижно остановилась...

«Куда ты глядишь? Кого ты тамъ видишь?» закричалъ колдунъ.

Воздушная Катерина задрожала. Но уже панъ Данило былъ давно на землѣ и пробирался съ своимъ вѣрнымъ Стецькомъ въ свои горы. «Страшно, страшно!» говорилъ онъ про себя, почувствовавъ какую-то робость въ козацкомъ сердцѣ, и скоро прошелъ дворъ свой, на которомъ такъ же крѣпко спали козаки, кромѣ одного, сидѣвшаго на сторожѣ и курившаго люльку.

Небо все было засѣяно звѣздами.

## V.

«Какъ хорошо ты сдѣлалъ, что разбудилъ меня!» говорила Катерина, протирая очи шитымъ рукавомъ своей сорочки и разглядывая съ ногъ до головы стоявшаго передъ нею мужа. «Какой страшный сонъ мнѣ видѣлся! Какъ тяжело дышала грудь моя! Ухъ!.. Мнѣ казалось, что я умираю...»

«Какой же сонъ? ужъ не этотъ ли?» И сталъ Бурульбанъ рассказывать женѣ своей все, имъ видѣнное.

«Ты какъ это узналъ, мой мужъ?» спросила, изумившись, Катерина. «Но нѣтъ, многое мнѣ неизвѣстно изъ того, что ты рассказываешь. Нѣтъ, мнѣ не снилось, чтобы отецъ убилъ мать мою; ни мертвецовъ, ничего не видѣлось мнѣ. Нѣтъ, Данило, ты не такъ рассказываешь. Ахъ, какъ страшенъ отецъ мой!»

«И не диво, что тебѣ многое не видѣлось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знаетъ душа. Знаешь ли, что отецъ твой антихристъ? Еще въ прошломъ году, когда собирался я вмѣстѣ съ ляхами на крымцевъ (тогда еще я держалъ руку этого невѣрнаго народа), мнѣ говорилъ игуменъ Братскаго монастыря (онъ, жена, святой человѣкъ), что антихристъ имѣетъ власть вызывать душу каждаго человѣка; а душа гуляетъ по своей волѣ, когда заснетъ онъ, и летаетъ вмѣстѣ съ архангелами около Божіей свѣтлицы. Мнѣ съ перваго раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я

зналъ, что у тебя такой отецъ, я бы не женился на тебѣ; я бы кинулъ тебя и не принялъ бы на душу грѣха, породившись съ антихристовымъ племенемъ».

«Данило!» сказала Катерина, закрывъ лицо руками и рыдая: «я ли виновна въ чемъ передъ тобою? Я ли измѣнила тебѣ, мой любимый мужъ? Чѣмъ же навела на себя гнѣвъ твой? Невѣрно развѣ служила тебѣ? Сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселѣ съ молодецкой пирушки? Тебѣ ли не родила черноброваго сына?..»

«Не плачь, Катерина; я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грѣхи всѣ лежатъ на отцѣ твоёмъ».

«Нѣтъ, не называй его отцомъ моимъ! Онъ не отецъ мнѣ. Богъ свидѣтель, я отрекаюсь отъ него, отрекаюсь отъ отца! Онъ антихристъ, богоотступникъ! Пропадай онъ, тони онъ — не подамъ руки спасти его; сохни онъ отъ тайной травы — не подамъ воды напиться ему. Ты у меня отецъ мой!»

---

## VI.

Въ глубокомъ подвалѣ у пана Данила, за тремя замками, сидитъ колдунъ, закованный въ желѣзныя цѣпи; а подаль надъ Днѣпромъ горитъ его бѣсовскій замокъ, и алая, какъ кровь, волны хлебещутъ и толпятся вокругъ старинныхъ стѣнъ. Не за колдовство и не за богопротивныя дѣла сидитъ въ глубокомъ подвалѣ колдунъ: имъ судія Богъ; сидитъ онъ за тайное предательство, за сговоры съ врагами православной Русской земли — продать католикамъ украинскій народъ и выжечь христіанскія церкви. Угрюмъ колдунъ; дума черная, какъ ночь, у него въ головѣ; всего только одинъ день остается жить ему, а завтра пора распрощаться съ міромъ: завтра ждетъ его казнь. Не совсѣмъ легкая казнь его ждетъ: это еще милость, когда сварятъ его живого въ котлѣ, или сдерутъ съ него грѣшную кожу. Угрюмъ колдунъ, поникнулъ головою. Можетъ-быть, онъ уже и кается передъ смертнымъ часомъ; только не такіе грѣхи его, чтобы Богъ простилъ ему. Вверху передъ нимъ узкое окно, переплетенное желѣзными палками. Гремя цѣпями, поднялся онъ къ окну поглядѣть, не пройдетъ ли его дочь. Она кротка, не памятозлюбна, какъ голубка: не умилился ли надъ отцомъ?.. Но никого нѣтъ. Внизу бѣжитъ дорога; по ней

никто не пройдетъ. Пониже ея гуляетъ Днѣпръ; ему ни до кого нѣтъ дѣла: онъ бушуетъ, и унывно слышать колоднику однозвучный шумъ его.

Вотъ кто-то показался по дорогѣ—это козакъ! И тяжело вздохнулъ узникъ. Опять все пусто. Вотъ кто-то вдали спускается... развѣвается зеленый кунтушъ... горитъ на головѣ золотой корабликъ... Это она! Еще ближе приникнулъ онъ къ окну. Вотъ уже подходитъ близко...

«Катерина! дочь! умилосердись, подай милостыню!..»

Она нѣма, она не хочетъ слушать, она и глазъ не наведеть на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всемъ мірѣ; унывно шумитъ Днѣпръ; грусть залегаетъ въ сердце; но вѣдаетъ ли эту грусть колдунъ?

День клонится къ вечеру. Уже солнце сѣло; уже и нѣтъ его. Уже и вечеръ: свѣжо; гдѣ-то мычитъ волъ; откуда-то навѣваются звуки; вѣрно, гдѣ-нибудь народъ идетъ съ работы и веселится; по Днѣпру мелькаетъ лодка... кому нужна до колодника? Блеснулъ на небѣ серебряный серпъ; вотъ, кто-то идетъ съ противной стороны по дорогѣ; трудно разглядѣть въ темнотѣ; это возвращается Катерина.

«Дочь, Христа ради! и свирѣпые волченята не станутъ рвать свою мать,—дочь, хотя взгляни на преступнаго отца своего!»

Она не слушаетъ и идетъ.

«Дочь, ради несчастной матери!..»

Она остановилась.

«Приди принять послѣднее мое слово!»

«Зачѣмъ ты зовешь меня, богоотступникъ? Не называй меня дочерью! Между нами нѣтъ никакого родства. Чего ты хочешь отъ меня ради несчастной моей матери?»

«Катерина! мнѣ близокъ конецъ; я знаю, меня твой мужъ хочетъ привязать къ кобыльему хвосту и пустить по полю, а, можетъ, еще и страшнѣйшую выдумаетъ казнь...»

«Да развѣ есть на свѣтѣ казнь равная твоимъ грѣхамъ? Жди ее; никто не станетъ просить за тебя».

«Катерина! меня не казнь страшитъ, но муки на томъ свѣтѣ... Ты невинна, Катерина: душа твоя будетъ летать въ рай около Бога; а душа богоотступнаго отца твоего будетъ горѣть въ огнѣ вѣчномъ, и никогда не угаснетъ тотъ огонь: все сильнѣе и сильнѣе будетъ онъ разгораться; ни капли росы никто не уронитъ, ни вѣтеръ не пахнетъ...»

«Этой казни я не властна умалить», сказала Катерина, отвернувшись.

«Катерина! постой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, какъ добръ и милосердъ Богъ. Слышала ли ты про апостола Павла, какой былъ онъ грѣшный человѣкъ, но послѣ покаялся — и сталъ святымъ».

«Что я могу сдѣлать, чтобы спасти твою душу?» сказала Катерина. «Мнѣ ли, слабой женщинѣ, объ этомъ подумать?»

«Если бы мнѣ удалось отсюда выйти, я бы все кинулъ. Покаюсь, пойду въ пещеры, надѣну на тѣло жѣсткую власяницу, день и ночь буду молиться Богу. Не только скоромнаго, не возьму рыбы въ ротъ! Не постелю одежды, когда стану спать! И все буду молиться, все молиться! И когда не сниметъ съ меня милосердіе Божіе хотя сотой доли грѣховъ, закопаюсь по шею въ землю или замуруюсь въ каменную стѣну; не возьму ни пищи, ни питія, и умру; а все добро свое отдамъ чернецамъ, чтобы сорокъ дней и сорокъ ночей правили по мнѣ панихиду».

Задумалась Катерина. «Хотя я отопру, но мнѣ не раскопать твоихъ цѣпей».

«Я не боюсь цѣпей», говорилъ онъ: «ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги? Нѣтъ, я напустилъ имъ въ глаза туманъ, и вмѣсто руки протянулъ сухое дерево. Вотъ я, гляди: на мнѣ нѣтъ теперь ни одной цѣпи!» сказалъ онъ, выходя на середину. «Я бы и стѣнъ этихъ не побоялся и прошелъ бы сквозь нихъ; но мужъ твой и не знаетъ, какія это стѣны: ихъ строилъ святой схимникъ, и никакая нечистая сила не можетъ отсюда вывести колодника, не отомкнувъ тѣмъ самымъ ключомъ, которымъ замыкалъ святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себѣ, несчастный грѣшникъ, когда выйду на волю».

«Слушай: я выпущу тебя; но если ты меня обманываешь?» сказала Катерина, остановившись передъ дверью: «и вмѣсто того, чтобы покаяться, станешь опять братомъ чорту?»

«Нѣтъ, Катерина, мнѣ уже не долго остается жить; близокъ и безъ казни мой конецъ. Неужели ты думаешь, что я предамъ самъ себя на вѣчную мѣку?»



Замки загремѣли. «Прощай! Храни тебя Богъ Милосердый, дитя мое!» сказалъ колдунъ, поцѣловавъ ее.

«Не прикасайся ко мнѣ, неслыханный грѣшникъ; уходи скорѣе!» говорила Катерина.

Но его уже не было.

«Я выпустила его», сказала она, испугавшись и дико осматривая стѣны. «Что я стану теперь отвѣчать мужу? Я пропала. Мнѣ живой теперь остается зарыться въ могилу!» И, зарыдавъ, почти упала она на пень, на которомъ сидѣлъ колодникъ. «Но я спасла душу», сказала она тихо: «я сдѣлала богоугодное дѣло; но мужъ мой... я въ первый разъ обманула его. О, какъ страшно, какъ трудно будетъ мнѣ передъ нимъ говорить неправду! Кто-то идетъ! Это онъ! мужъ!» вскрикнула она отчаянно, и безъ чувствъ упала на землю.

## VII.

«Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько!» услышала Катерина, очнувшись, и увидѣла передъ собою старую прислужницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шептала и, протянувъ надъ нею изсохшую руку свою, опрыскивала ее холодною водою.

«Гдѣ я?» говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. «Передо мною шумить Днѣпръ, за мною горы... Куда завела меня ты, баба?»

«Я тебя не завела, а вывела; вынесла на рукахъ моихъ изъ душнаго подвала; замкнула ключикомъ дверь, чтобы тебѣ не досталось чего отъ пана Данила».

«Гдѣ же ключъ?» сказала Катерина, поглядывая на свой поясъ. «Я его не вижу».

«Его отвязалъ мужъ твой, поглядѣть на колдуна, дитя мое».

«Погладѣть?.. Баба, я пропала!» воскликнула Катерина.

«Пусть Богъ милуетъ насъ отъ этого, дитя мое! Молчи, только, моя паняночка, никто ничего не узнаетъ!»

«Онъ убѣжалъ, проклятый антихристъ! Ты слышала, Катерина: онъ убѣжалъ?» сказалъ панъ Данило, приступая къ женѣ своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его. Помертвѣла жена.

«Его выпустилъ кто-нибудь, мой любимый мужъ?» проговорила она, дрожа.

«Выпустилъ, правда твоя; но выпустилъ чортъ. Погляди: вмѣсто него, бревно заковано въ желѣзо. Сдѣлалъ же Богъ такъ, что чортъ не боится козачьихъ лапъ! Если бы только думу объ этомъ держалъ въ головѣ хоть одинъ изъ моихъ козаковъ, и я бы узналъ... я бы и казни ему не нашелъ!»

«А если бы я?...» невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась.

«Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мнѣ была. Я бы тебя зашилъ тогда въ мѣшокъ, и утопилъ бы на самой серединѣ Днѣпра!..»

Духъ занялся у Катерины, и ей чудилось, что волосы стали отдѣляться на головѣ ея.

---

### VIII.

На пограничной дорогѣ, въ корчмѣ, собрались ляхи и пируютъ уже два дня. Что-то не мало всей сволочи. Сошлись, вѣрно, на какой-нибудь наѣздъ: у иныхъ и мушкеты есть; чокаются шпоры; брякаютъ сабли. Паны веселятся и хвастаютъ, говорятъ про небывалыя дѣла свои, насмѣхаются надъ православьемъ, зовутъ народъ украинскій своими холопьями, и важно крутятъ усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавкахъ. Съ ними и ксендзъ вмѣстѣ; только и ксендзъ у нихъ на ихъ же статъ: и съ виду даже не похожъ на христіанскаго попа: пьетъ и гуляетъ съ ними и говоритъ нечестивымъ языкомъ своимъ срамныя рѣчи. Ни въ чемъ не уступаетъ имъ и челядь: позакидали назадъ рукава оборванныхъ жупановъ своихъ и ходятъ козыремъ, какъ будто бы что путное. Играютъ въ карты, бьютъ картами одинъ другого по носамъ; набрали съ собою чужихъ женъ; крикъ, драка!.. Паны бѣснуются и отпускаютъ шутики: хватаютъ за бороду жида, малюютъ ему на нечестивомъ лбу крестъ; стрѣляютъ въ бабъ холостыми зарядами и танцуютъ краковякъ съ нечестивымъ попомъ своимъ. Не бывало такого соблазна на Русской землѣ и отъ татаръ: видно, уже ей Богъ опредѣлилъ за грѣхи терпѣть такое посрамленіе! Слышно между общимъ содомомъ, что говорятъ про заднѣпровскій хуторъ пана Данила, про красавицу жену его... Не на доброе дѣло собралась эта шайка!

---

## IX.

Сидитъ панъ Данило за столомъ въ своей свѣтлицѣ, подпишисъ локтемъ, и думаетъ. Сидитъ на лежанкѣ пани Катерина и поетъ пѣсню.

«Что-то грустно мнѣ, жена моя!» сказалъ панъ Данило. «И голова болитъ у меня, и сердце болитъ. Какъ-то тяжело мнѣ! Видно, гдѣ-то недалеко уже ходитъ смерть моя».

«О, мой ненаглядный мужъ! приникни ко мнѣ головою своею! Затѣмъ ты приглубливаешь къ себѣ такія черныя думы», подумала Катерина, да не посмѣла сказать. Горько ей было, повинной головѣ, принимать мужнія ласки.

«Слушай, жена моя!» сказалъ Данило: «не оставляй сына, когда меня не будетъ. Не будетъ тебѣ отъ Бога счастья, если ты кинешь его, ни въ томъ, ни въ этомъ свѣтѣ. Тяжело будетъ гнить моимъ костямъ въ сырой землѣ, а еще тяжелѣе будетъ душѣ моей!»

«Что говоришь ты, мужъ мой? Не ты ли издѣвался надъ нами, слабыми женами? А теперь самъ говоришь, какъ слабая жена. Тебѣ еще долго нужно жить».

«Нѣтъ, Катерина, чувствуетъ душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свѣтѣ; времена лихія приходятъ. Охъ! помню, помню я годы; имъ, вѣрно, не воротиться! Онъ былъ еще живъ, честь и слава нашего войска, старый Конашевичъ! Какъ будто передъ очами моими проходятъ теперь козацкіе полки! Это было золотое время, Катерина! Старый гетманъ сидѣлъ на ворономъ конѣ; блестя въ рукѣ булава; вокругъ сердюки; по сторонамъ шевелилось красное море запорожцевъ. Началь говорить гетманъ — и все стало, какъ вкопанное. Заплакать старичина, какъ началъ воспоминать намъ прежнія дѣла и сѣчи. Охъ, если-бъ ты знала, Катерина, какъ рѣзались мы тогда съ турками! На головѣ моей виденъ и донынѣ рубецъ. Четыре пули пролетѣло въ чetyрехъ мѣстахъ сквозь меня, и ни одна изъ ранъ не зажила совсѣмъ. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогіе каменья шапками черпали козаки. Какихъ коней, Катерина, если-бъ ты знала, какихъ коней мы тогда угнали! Охъ, не воевать уже мнѣ такъ! Кажется, и не старъ, и тѣломъ бодръ; а мечъ козацкій вываливается изъ рукъ, живу безъ дѣла, и самъ не знаю, для чего живу. Порядку нѣтъ въ Украинѣ: полковники и есаулы грызутся,

какъ собаки, между собою: лѣтъ старшей головы надъ всѣми. Шляхетство наше все перемѣнило на польскій обычай, переняло лукавство... продало душу, принявши унию. Жидовство угнетаетъ бѣдный народъ. О время, время! минувшее время! Куда подѣвались вы, лѣта мои? Ступай, малый, въ подвалъ, принеси мнѣ кухоль меду! Выпью за прежнюю долю и за давніе годы!»

«Чѣмъ будемъ принимать гостей, панъ? Съ луговой стороны идутъ ляхи!» сказалъ, вошедши въ хату, Стецько.

«Знаю, зачѣмъ идутъ они», вымолвилъ Данило, подымаясь съ мѣста. «Сѣдлайте, мои вѣрные слуги, коней! Надѣвайте сбрую! — Сабли наголо! Не забудьте набрать и свинцоваго толокна: съ честью нужно встрѣтить гостей!»

Но еще не успѣли козаки сѣсть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто унавшій осенью съ дерева на землю листъ, усѣяли собою гору.

«Э, да тутъ есть съ кѣмъ перевѣдаться!» сказалъ Данило, поглядывая на толстыхъ пановъ, важно качавшихся впереди на коняхъ въ золотой сбруѣ. «Видно, еще разъ доведется намъ погулять на славу! Натѣшся же, козацкая душа, въ послѣдній разъ! Гуляйте, хлопцы: пришелъ нашъ праздникъ!»

И пошла по горамъ потѣха, и закировала пиръ: гуляютъ мечи, летаютъ пули, ржутъ и топчутъ кони. Отъ крику безумѣетъ голова; отъ дыму слѣпнуть очи. Все перемѣшалось; но козакъ чуетъ, гдѣ другъ, гдѣ недругъ; прошумитъ ли пуля—валится лихой сѣдокъ съ коня; свистнетъ сабля—катится по землѣ голова, бормоча языкомъ несвязныя рѣчи.

Но виденъ въ толпѣ красный верхъ козацкой шапки пана Данила; мечется въ глаза золотой поясъ на синемъ жупанѣ; вихремъ вьется грива вороного коня. Какъ птица, мелькаетъ онъ тамъ и тамъ; покрикиваетъ и машетъ дамасской саблей и рубить съ праваго и лѣваго плеча. Руби, козакъ! гуляй, козакъ! Тѣшь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотыя сбруи и жупаны: топчи подъ ноги золото и каменья! Коли, козакъ! гуляй, козакъ! но оглянись назадъ: нечестивые ляхи зажигаютъ уже хаты и угоняютъ напуганный скотъ. И, какъ вихорь, поворотилъ панъ Данило назадъ, и шапка съ краснымъ верхомъ мелькаетъ уже около хатъ, и рѣдѣетъ вокругъ его толпа.

Не часъ, не другой бьются ляхи и козаки; немного ста-

новится тѣхъ и другихъ; но не устаетъ панъ Данило: собираетъ съ сѣдла длиннымъ копьемъ своимъ, топчетъ лихимъ конемъ пѣшихъ. Уже очищается дворъ, уже начали разбѣгаться ляхи; уже обдираютъ козаки съ убитыхъ золотые жупаны и богатую сбрую; уже панъ Данило собирается въ погоню, и взглянулъ, чтобы созвать своихъ... и весь закипѣлъ отъ ярости: ему показался Катерининъ отецъ. Вотъ онъ стоитъ на горѣ и цѣлитъ въ него мушкетомъ. Данило погналъ коня прямо къ нему... Козакъ, на гибель идешь!.. Мушкетъ гремитъ — и колдунъ пропасть за горою. Только вѣрный Стецько видѣлъ, какъ мельнула красная одежда и чудная шапка. Запнулся козакъ и свалился на землю. Кинулся вѣрный Стецько къ своему пану: лежитъ панъ его, протянувшись на землѣ и закрывши ясныя очи; алая кровь закипѣла на груди. Но, видно, почуять вѣрнаго слугу своего; тихо приподнялъ вѣки, блеснулъ очами: «Прощай, Стецько! Скажи Катеринѣ, чтобы не покидала сына! Не покидайте и вы его, мои вѣрные слуги!» и затихъ. Вылетѣла козацкая душа изъ дворянскаго тѣла: посинѣли уста; спитъ козакъ непробудно.

Зарыдалъ вѣрный слуга и машетъ рукою Катеринѣ: «Ступай, пани, ступай: подгулять твой панъ; лежитъ онъ пьянѣхонекъ на сырой землѣ; долго не протрезвиться ему!»

Всплеснула руками Катерина и повалилась, какъ снопъ, на мертвое тѣло. «Мужъ мой! ты ли лежишь тутъ, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный соколъ, протяни ручку свою! приподымись! Погляди хоть разъ на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко!.. Но ты молчишь, ты молчишь, мой ясный панъ! Ты посинѣлъ, какъ Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой холодный, мой панъ? Видно, не горючи мои слезы, не въ мочь имъ согрѣть тебя! Видно, не громокъ плачь мой, не разбудить имъ тебя! Кто же поведетъ теперь полки твои? Кто понесется на твоёмъ ворономъ коникѣ, громко загукаетъ и замашетъ саблею предъ козаками? Козаки, козаки! гдѣ честь и слава ваша? Лежитъ честь и слава ваша, закрывши очи, на сырой землѣ. Похороните же меня, похороните вмѣстѣ съ нимъ! Засыпьте мнѣ очи землею! Надавите мнѣ кленовыя доски на бѣлыя груди! Мнѣ не нужна больше красота моя!»

Плачеть и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачеть старый есаул Горобецъ на помощь.

## Х.

Чуденъ Днѣпръ при тихой погодѣ, когда вольно и плавно мчитъ сквозь лѣса и горы полныя воды свои. Ни замелокнетъ, ни прогремить. Глядишь, и не знаешь, идетъ или не идетъ его величавая ширина; и чудится, будто весь вылить онъ изъ стекла, и будто голубая зеркальная дорога, безъ мѣры въ ширину, безъ конца въ длину, рѣтъ и вьется по зеленому міру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядѣться съ вышины и погрузить лучи въ холодъ стеклянныхъ водъ, и прибрежнымъ лѣсамъ ярко отсвѣтиться въ водахъ. Зеленокудрые! они толпятся вмѣстѣ съ полевыми цвѣтами къ водамъ и, наклонившись, глядятъ въ нихъ и не наглядятся, и не налюбуются свѣтлымъ своимъ зракомъ, и усмѣхаются ему, и привѣтствуютъ его, кивая вѣтвями. Въ середину же Днѣпра они не смѣютъ глянуть: никто, кромѣ солнца и голубого неба, не глядитъ въ него; рѣдкая птица долетитъ до середины Днѣпра. Пышный! ему нѣтъ равной рѣки въ мірѣ. Чуденъ Днѣпръ и при теплой лѣтней ночи, когда все засыпаетъ: и человекъ, и звѣрь, и птица, а Богъ одинъ величаво озираетъ небо и землю и величаво сотрясаетъ ризу. Отъ ризы сыплются звѣзды; звѣзды горятъ и свѣтятъ надъ міромъ, и всѣ разомъ отдаются въ Днѣпрѣ. Всѣхъ ихъ держитъ Днѣпръ въ темномъ лонѣ своемъ; ни одна не убѣжитъ отъ него—развѣ погаснетъ на небѣ. Черный лѣсъ, униженный спящими воронами, и древле разломанныя горы, свѣсаясь, селятся закрыть его хотя длинною тѣнью своею—напрасно! Нѣтъ ничего въ мірѣ, что бы могло прикрыть Днѣпръ. Синій, синій ходитъ онъ плавнымъ разливомъ и середь ночи, какъ середь дня; виденъ за столько вдаль, за сколько видѣть можетъ человѣче око. Нѣжась и прижимаясь ближе къ берегамъ отъ ночного холода, даетъ онъ по себѣ серебряную струю, и она вспыхиваетъ, будто полоса дамасской сабли; а онъ, синій, снова заснулъ. Чуденъ и тогда Днѣпръ, и нѣтъ рѣки равной ему въ мірѣ! Когда же пойдутъ горами по небу синія тучи, черный лѣсъ пшатается до корня, дубы трещать, и молнія, изламываясь между тучъ, разомъ освѣтитъ цѣлый міръ,—страшенъ тогда

Днѣпръ! Водяные холмы гремятъ, ударяясь о горы, и съ блескомъ и стономъ отбѣгають назадъ, и плачутъ, и заливаются вдали. Такъ убивается старая мать козака, выпроваживая своего сына въ войско: разгульный и бодрый, ѣдетъ онъ на ворономъ конѣ, подбоченившись и молодецки заломивъ шапку; а она, рыдая, бѣжитъ за нимъ, хватается его за стремя, ловить удила и ломаетъ надъ нимъ руки, и заливается горючими слезами.

Дико чернѣють промежъ ратующими волнами обгорѣлые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется объ берегъ, подымаясь вверхъ и опускаясь внизъ, пристающая лодка. Кто изъ козаковъ осмѣлился гулять въ челнѣ, въ то время, когда разсердился старый Днѣпръ? Видно, ему не вѣдомо, что онъ глотаетъ людей, какъ мухъ.

Лодка причалила, и вышелъ изъ нея колдунъ. Не веселъ онъ: ему горька тризна, которую свершили козаки надъ убитыми своимъ паномъ. Не мало поплатились ляхи: сорокъ четыре пана со всею сбруею и жупанами, да тридцать три холопа изрублены въ куски; а остальныхъ вмѣстѣ съ конями угнали въ плѣнъ продать татарамъ.

По каменнымъ ступенямъ спустился онъ между обгорѣлыми пнями, внизъ, гдѣ, глубоко въ землѣ, вырыта была у него землянка. Тихо вошелъ онъ, не скрипнувши дверью, поставилъ на столъ, закрытый скатертью, горшокъ и сталъ бросать длинными руками своими какія-то невѣдомыя травы; взялъ кухоль, выдѣланный изъ какого-то чуднаго дерева, почерпнулъ имъ воды, и сталъ лить, шевеля губами и творя какія-то заклинанія. Показался розовый свѣтъ въ свѣтлицѣ, и страшно было глядѣть тогда ему въ лицо: оно казалось кровавымъ, глубокія морщины только чернѣли на немъ, а глаза были, какъ въ огнѣ. Нечестивый грѣшникъ! Уже и борода давно посѣдѣла, и лицо изрыто морщинами, и высохъ весь, а все еще творить богопротивный умыселъ. Посреди хаты стало вѣять бѣлое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло въ лицѣ его; но отчего же вдругъ сталъ онъ недвижимъ, съ разинутымъ ртомъ, не смѣя пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его головѣ? Въ облакѣ передъ нимъ свѣтилось чье-то чудное лицо. Непрошеное, незваное, явилось оно къ нему въ гости; чѣмъ далѣе, выяснивалось больше и вперило неподвижныя очи. Черты его, брови, глаза, губы,—все незнакомое ему:

никогда во всю жизнь свою онъ его не видывалъ. И страшнаго, кажется, въ немъ мало, а непреодолимый ужасъ напалъ на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако такъ же неподвижно глядѣла на него. Облако уже и пропало; а невѣдомыя черты еще рѣзче выказывались и острыя очи не отрывались отъ него. Колдунъ весь побѣлѣлъ, какъ полотно; дикимъ, не своимъ голосомъ вскрикнулъ, опрокинулъ горшокъ... Все пропало.

## XI.

«Успокой себя, моя любая сестра!» говорилъ старый есауль Горобецъ: «сны рѣдко говорятъ правду».

«Прилягъ, сестрица!» говорила молодая его невѣстка: «я позову старуху, ворожею: противъ нея никакая сила не устоитъ: она выльетъ переполохъ тебѣ».

«Ничего не бойся!» говорилъ сынъ его, хватаясь за саблю: «никто тебя не обидитъ».

Пасмурно, мутными глазами, глядѣла на всѣхъ Катерина и не находила рѣчи. «Я сама устроила себѣ погибель: я выпустила его!» Наконецъ, она сказала: «Мнѣ нѣтъ отъ него покоя! Вотъ уже десять дней я у васъ въ Кіевѣ, а горя ни капли не убавилось. Думала, буду хоть въ тишинѣ растить на мѣсть сына... Страшенъ, страшенъ привидѣлся онъ мнѣ во снѣ! Боже сохрани и вамъ увидѣть его! Сердце мое до сихъ поръ бьется». — «Я зарублю твое дитя, Катерина!» кричалъ онъ, «если не выйдешь за меня замужъ...» И зарыдавъ, кинулась она къ колыбели; а испуганное дитя протянуло ручонки и кричало.

Кипѣлъ и сверкалъ сынъ есаула отъ гнѣва, слыша такія рѣчи.

Расходился и самъ есауль Горобецъ: «Пусть попробуетъ онъ, окаанный антихристъ, притти сюда: отвѣдаетъ, бываетъ ли сила въ рукахъ стараго козака. Богъ видитъ», говорилъ онъ, подымая кверху прозорливыя очи: «не лѣтъъ ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! Засталъ уже на холодной постели, на которой много, много улеглось козацкаго народа. За то развѣ не пышна была тризна по немъ? Выпустили ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, дитя мое! Никто не посмѣетъ тебя обидѣть, развѣ ни меня не будетъ, ни моего сына».



Кончивъ слова свои, старый есаулъ пришелъ къ колыбели, и дитя, увидѣвши висѣвшую на ремнѣ у него, въ серебряной оправѣ, красную люльку и гаманъ съ блестящимъ огнивомъ, протянуло къ нему ручонки и засмѣялось. «По отцу пойдеть!» сказалъ старый есаулъ, снимая съ себя люльку и отдавая ему: «еще отъ колыбели не отсталъ, а ужъ думаетъ курить люльку!»

Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сговорились провести ночь вмѣстѣ и, мало погода, уснули всѣ; уснула и Катерина.

На дворѣ и въ хатѣ все было тихо; не спали только козаки, стоявшіе на-сторожѣ. Вдругъ Катерина, вскрикнувъ, проснулась, и за нею проснулись всѣ. «Онъ убитъ, онъ зарѣзанъ!» кричала она, и кинулась къ колыбели... Всѣ обступили колыбель и окаменѣли отъ страха, увидѣвши, что въ ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвилъ ни одинъ изъ нихъ, не зная, что думать о неслыханномъ злодѣйствѣ.

## XII.

Далеко отъ Украинскаго края, проѣхавши Польшу, минувъ и многолюдный городъ Лембергъ, идутъ рядами высоковерхія горы. Гора за горою, будто каменными цѣпями, перекидываютъ онѣ вправо и влѣво землю и обковываютъ ее каменною толщею, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идутъ каменные цѣпи въ Валахію и въ Седмиградскую область, и громадою стали, въ видѣ подковы, между галицскимъ и венгерскимъ народомъ. Нѣтъ такихъ горъ въ нашей сторонѣ. Глазъ не смѣетъ оглянуть ихъ; а на вершину нныхъ не заходила и нога человѣчья. Чуденъ и видъ ихъ: не зазорное ли море выбѣжало въ бурю изъ широкихъ береговъ, вскинуло вихремъ безобразныя волны, и онѣ, окаменѣвъ, остались недвижны въ воздухѣ? Не оборвались ли съ неба тяжелыя тучи и загромодили собою землю? ибо и на нихъ такой же сѣрый цвѣтъ, а бѣлая верхушка блеститъ и искрится при солнцѣ. Еще до Карпатскихъ горъ услышишь русскую моль, и за горами еще, кой-гдѣ, отзовется какъ будто родное слово; а тамъ уже и вѣра не та, и рѣчь не та. Живетъ не малолюдный народъ венгерскій; ѣздитъ на коняхъ, рубится и пьетъ не хуже козака; а за конную сбрую и дорогіе кафтаны не скупится вынимать изъ

кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера. Какъ стекло, недвижны они и, какъ зеркало, отражаютъ въ себѣ голыя вершины горъ и зеленныя ихъ подошвы.

Но кто среди ночи,—блещутъ, или не блещутъ звѣзды,—ѣдетъ на огромномъ ворономъ конѣ? Какой богатырь съ нечеловѣчьимъ ростомъ скачетъ подъ горами, надъ озерами, отсвѣчивается съ исполинскимъ конемъ въ недвижныхъ водахъ, и безконечная тѣнь его страшно мелькаетъ по горамъ? Блещутъ чеканенныя латы; на плечѣ шика; гремитъ при сѣдлѣ сабля; шеломахъ надвинутъ; усы чернѣютъ; очи закрыты; рѣсницы опущены—онъ спитъ и, сонный, держитъ поводъ; и за нимъ сидитъ на томъ же конѣ младенецъ-пажъ, и также спитъ, и, сонный, держится за богатыря. Кто онъ, куда, зачѣмъ ѣдетъ? Кто его знаетъ. Не день, не два уже онъ переѣзжаетъ горы. Блеснетъ день, взойдетъ солнце, его не видно; изрѣдка только замѣчали горцы, что по горамъ мелькаетъ чья-то длинная тѣнь, а небо ясно, и тучи не пройдутъ по немъ. Чуть же ночь наведетъ темноту, снова онъ виденъ и отдается въ озерахъ, и за нимъ, дрожа, скачетъ тѣнь его. Уже проѣхалъ много онъ горъ и взѣхалъ на Кривань. Горы этой нѣтъ выше между Карпатами: какъ царь, подымается она надъ другими. Тутъ остановился конь и всадникъ, и еще глубже погрузился въ сонъ, и тучи, спустясь, закрыли его.

---

### ХІІІ.

«Тс... тине, баба! не стучи такъ: дитя мое заснуло. Долго кричалъ сынъ мой, теперь спитъ. Я пойду въ лѣсъ, баба! Да что же ты такъ глядишь на меня? Ты страшна: у тебя изъ глазъ вытягиваются желѣзные клещи... ухъ, какіе длинные! и горятъ, какъ огоны! Ты, вѣрно, вѣдьма! О, если ты вѣдьма, то пропади отсюда! Ты украдешь моего сына. Какой безтолковый этотъ есаулъ: онъ думаетъ, мнѣ весело жить въ Кіевѣ; нѣтъ, здѣсь и мужъ мой, и сынъ, кто же будетъ смотрѣть за хатой? Я ушла такъ тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сдѣлаться молодую? Это совсѣмъ не трудно: нужно танцовать только. Гляди, какъ я танцую...» И, проговоривъ такія несвязныя рѣчи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на всѣ стороны и упираясь руками въ боки. Съ визгомъ притопывала она

ногами; безъ мѣры, безъ такта звенѣли серебряныя подковы. Незаплетенныя черныя косы метались по бѣлой шеѣ. Какъ птица, не останавливаясь, летѣла она, размахивая руками и кивая головой, и, казалось, будто, обезсилѣвъ, или грянется на-земь, или вылетитъ изъ міра.

Печально стояла старая няня и слезами налились ея глубокія морщины; тяжкій камень лежалъ на сердцѣ у вѣрныхъ хлопцевъ, глядѣвшихъ на свою пани. Уже совсѣмъ ослабѣла она и лѣниво топала ногами на одномъ мѣстѣ, думая, что танцуетъ горлицу. «А у меня монисто есть, парубки!» сказала она, наконецъ, остановившись: «а у васъ нѣтъ!.. Гдѣ мужъ мой?» вскричала она вдругъ, выхвативъ изъ-за пояса турецкій кинжалъ. «О! это не такой ножъ, какой нужно». При этомъ и слезы, и тоска показались у нея на лицѣ. «У отца моего далеко сердце: онъ не достанетъ до него. У него сердце изъ желѣза выковано; ему выковала одна вѣдьма на пекельномъ огнѣ. Что-жъ пойдетъ отецъ мой? Развѣ онъ не знаетъ, что пора заколотъ его? Видно, онъ хочетъ, чтобъ я сама пришла...» И, не докончивъ, чудно засмѣялась. «Мнѣ пришла на умъ забавная исторія: я вспомнила, какъ погребали моего мужа. Вѣдь его живого погребли... Какой смѣхъ забираетъ меня!... Слушайте, слушайте!» И, вмѣсто словъ, начала она пѣть пѣсню:

Бижыть возокъ кровавенькій:  
У тымъ возку козакъ лежить,  
Пострѣляный, порубаный,  
Въ правій ручи дротыкъ держить,  
Съ того дроту кривця бижыть;  
Бижыть рика кровавая.  
Надъ ричкою яворъ стоить;  
Надъ яворомъ воронъ крыче.  
За козакомъ маты плаче.  
Не плачь, маты, не журыся!  
Бо вже твій сынъ оженився.  
Та взявъ жинку паняночку,  
Въ чистомъ поли земляночку,  
И безъ дверецъ, безъ оконецъ.  
Та вже писни вышовъ конецъ.  
Танцювала рыба зъ ракомъ...  
А хто мене не полюбить, трясця его матер!

Такъ перемѣшивались у ней всѣ пѣсни. Уже день и два живетъ она въ своей хатѣ и не хочетъ слышать о Кіевѣ, и не молится, и бѣжить отъ людей, и съ утра до поздняго

вечера бродить по темнымъ дубравамъ. Острые сучья царапають бѣлое лицо и плечи; вѣтеръ треплетъ расплетенныя косы; осенніе листья шумять подъ ногами ея—ни на что не глядитъ она. Въ часъ, когда вечерняя заря тухнетъ, еще не являются звѣзды, не горитъ мѣсяцъ, а уже страшно ходить въ лѣсу: по деревьямъ царапаются и хватаются за сучья некрещенныя дѣти, рыдаютъ, хохочутъ, катятся клубомъ по дорогамъ и въ широкой кропивѣ; изъ днѣпровскихъ волнъ выбѣгаютъ вереницами погубившія свои души дѣвы; волосы льются съ зеленой головы на плечи; вода, звучно журча, бѣжитъ съ длинныхъ волосъ на землю, и дѣва свѣтится сквозь воду, какъ будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмѣхаются, щеки пылають, очи выманивають душу... она сгорѣла бы отъ любви, она зацѣловала бы... Бѣги, крещеный человѣкъ! Уста ея—ледъ, постель—холодная вода; она защечочетъ тебя и утащитъ въ рѣку. Катерина не глядитъ ни на кого, не боится, безумная, русалокъ, бѣгаетъ поздно съ ножомъ своимъ и ищетъ отца.

Съ раннимъ утромъ пріѣхалъ какой-то гость, статный собою, въ красномъ жупанѣ, и освѣдомляется о панѣ Данилѣ; слышитъ все, утираетъ рукавомъ заплаканныя очи и пожимаетъ плечами. Онъ, де, воевалъ вмѣстѣ съ покойнымъ Бурульбашемъ; вмѣстѣ рубились они съ крымцами и турками; ждалъ ли онъ, чтобы такой конецъ былъ пана Данила. Рассказываетъ еще гость о многомъ другомъ и хочетъ видѣть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорилъ гость; напослѣдокъ стала, какъ разумная, вслушиваться въ его рѣчи. Онъ повелъ про то, какъ они жили вмѣстѣ съ Даниломъ, будто братъ съ братомъ; какъ укрылись разъ подъ греблею отъ крымцевъ... Катерина все слушала и не спускала съ него очей.

«Она отойдетъ!» думали хлопцы, глядя на нее. «Этотъ гость выльчитъ ее! Она уже слушаетъ, какъ разумная!»

Гость началъ рассказывать между тѣмъ, какъ панъ Данило, въ часъ откровенной бесѣды, сказалъ ему: «Гляди, братъ Копрянь: когда волею Божіею не будетъ меня на свѣтѣ, возьми къ себѣ жену, и пусть будетъ она твоею женою...»

Страшно вонзила въ него очи Катерина. «А!» вскрик-

нула она: «это онъ! это отецъ!» и кинулась на него съ ножомъ.

Долго боролся тотъ, стараясь вырвать у нея ножъ; наконецъ, вырвалъ, замахнулся, — и совершилось страшное дѣло: отецъ убилъ безумную дочь свою.

Изумившіеся козаки кинулись-было на него; но колдунъ уже успѣлъ вскочить на коня и пропасть изъ виду.

#### XIV.

За Кіевомъ показалось неслыханное чудо. Всѣ паны и гетманы собиравлись дивиться этому чуду: вдругъ стало видно далеко во всѣ концы свѣта. Вдали засинѣлъ Лиманъ, за Лиманомъ разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крымъ, горою подымавшійся изъ моря, и болотный Сивашъ. По лѣвую руку видна была земля Галичская.

«А то чтò такое?» допрашивалъ собравшійся народъ старыхъ людей, указывая на далеко мерещившіеся на небѣ и больше похожіе на облака сѣрые и бѣлые верхи.

«То Карпатскія горы!» говорили старые люди: «межъ ними есть такія, съ которыхъ вѣкъ не сходитъ снѣгъ, а тучи пристають и ночуютъ тамъ».

Тутъ показалось новое диво: облака слетѣли съ самой высокой горы и на вершинѣ ея показался во всей рыцарской сбруѣ человекъ на конѣ съ закрытыми очами, и такъ виденъ, какъ бы стоялъ вблизи.

Тутъ, межъ дивившимся со страхомъ народомъ, одинъ вскочилъ на коня и, дико озираясь по сторонамъ, какъ будто ища очами, не гонится ли кто за нимъ, торопливо, во всю мочь, погнать коня своего. То былъ колдунъ. Чего же такъ перепугался онъ? Со страхомъ взглянувшись въ чуднаго рыцаря, узнать онъ на немъ то же самое лицо, которое, незванное, показалось ему, когда онъ ворожилъ. Самъ не могъ онъ разумѣть, отчего въ немъ все смутилось при такомъ видѣ, и, робко озираясь, мчался онъ на конѣ, покамѣстъ не застигнулъ его вечеръ и не проглянули звѣзды. Тутъ поворотилъ онъ домой, можетъ-быть, допросить нечистую силу, чтò значить такое диво. Уже онъ хотѣлъ перескочить съ конемъ черезъ узкую рѣку, выступившую рукавомъ среди дороги, какъ вдругъ конь на всемъ скаку остановился, заворотилъ къ нему морду, и —

чудо — засмѣялся! бѣлые зубы страшно блеснули двумя рядами во мракѣ. Дыбомъ поднялись волоса на головѣ колдуна. Дико закричалъ онъ и заплакалъ, какъ изступленный, и погнать коня прямо къ Кіеву. Ему чудилось, что все со всѣхъ сторонъ бѣжало ловить его: деревья, обступивши темнымъ лѣсомъ, и какъ будто живыя; кивая черными бородами и вытягивая длинныя вѣтви, силились задушить его; звѣзды, казалось, бѣжали впереди передъ нимъ, указывая всѣмъ на грѣшника; сама дорога, чудилось, мчалась по слѣдамъ его.

Отчаянный колдунъ летѣлъ въ Кіевъ къ святымъ мѣстамъ.

## XV.

Одинокое сидѣлъ въ своей пещерѣ передъ лампадою схимникъ и не сводилъ очей съ святой книги. Уже много лѣтъ, какъ онъ затворился въ своей пещерѣ; уже сдѣлалъ себѣ и дощатый гробъ, въ который ложился спать вмѣсто постели. Закрылъ святой старецъ свою книгу и сталъ молиться... Вдругъ вбѣжалъ человѣкъ чуждаго, страшнаго вида. Изумился святой схимникъ въ первый разъ и отступилъ, увидѣвъ такого человѣка. Весь дрожалъ онъ, какъ осиновый листъ; очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался изъ очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

«Отецъ, молись! молись!» закричалъ онъ отчаянно: «молись о погибшей душѣ!» и грянулся на землю.

Святой схимникъ перекрестился, досталъ книгу, развернулъ и, въ ужасѣ, отступилъ назадъ и выронилъ книгу: «Нѣтъ, неслыханный грѣшникъ! нѣтъ тебѣ помплованія! Бѣги отсюда! Не могу молиться о тебѣ!»

«Нѣтъ?» закричалъ, какъ безумный, грѣшникъ.

«Гляди: святыя буквы въ книгѣ налились кровью... Еще никогда въ мірѣ не бывало такого грѣшника!»

«Отецъ! ты смѣешься надо мною!»

«Иди, окаанный, грѣшникъ! Не смѣюся я надъ тобою. Боязнь овладѣваетъ мною. Не добро быть человѣку съ тобою вмѣстѣ!»

«Нѣтъ, нѣтъ! ты смѣешься, не говори... Я вижу, какъ раздвинулся ротъ твой: вотъ бѣлѣютъ рядами твои старыя зубы!..»

И, какъ бѣшенный, кинулся онъ—и убилъ святого схимника.

«Что-то тяжело застонало, и стонъ перенесся черезъ поле и лѣсъ. Изъ-за лѣса поднялись тощія, сухія руки съ длинными ногтями: затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовалъ онъ. Все чудится ему какъ-то смутно: въ ухахъ шумить, въ головѣ шумить, какъ будто отъ хмеля, и все, что ни есть передъ глазами, покрывается какъ бы паутиною. Вскочивши на коня, поѣхалъ онъ прямо въ Каневъ, думая оттуда черезъ Черкасы направить путь къ татарамъ прямо въ Крымъ, самъ не зная, для чего. Ъдетъ онъ уже день, другой, а Канева все нѣтъ. Дорога та самая, пора бы ему уже давно показаться; но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей: но это не Каневъ, а Шумскъ. Изумился колдунъ, видя, что онъ заѣхалъ совсѣмъ въ другую сторону. Погналъ коня назадъ къ Кіеву, и черезъ день показался городъ, но не Кіевъ, а Галичъ, городъ еще далѣе отъ Кіева, чѣмъ Шумскъ, и уже недалеко отъ венгровъ. Не зная, что дѣлать, поворотилъ онъ коня снова назадъ, но чувствуетъ снова, что ѣдетъ въ противную сторону и все впередъ. Не могъ бы ни одинъ человѣкъ въ свѣтѣ разсказать, что было на душѣ у колдуна; а если бы онъ заглянулъ и увидѣлъ, что тамъ дѣлалось, то уже не досыпалъ бы онъ ночей и не засмѣялся бы ни разу. То была не злость, не страхъ и не лютая досада. Нѣтъ такого слова на свѣтѣ, которымъ бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотѣлось бы весь свѣтъ вытоптать кономъ своимъ, взять всю землю отъ Кіева до Галича съ людьми, со всѣмъ, и затопить ее въ Черномъ морѣ. Но не отъ злобы хотѣлось ему это сдѣлать: нѣтъ, самъ онъ не зналъ, отъ чего. Весь вздрогнулъ онъ, когда уже показались близко передъ нимъ Карпатскія горы и высокій Криванъ, накрывшій своею темя, будто шапкою, сѣрою тучю; а конь все несся и уже рыскалъ по горамъ. Тучи разомъ очистились, и передъ нимъ показался въ страшномъ величій всадникъ... Онъ силится остановиться, крѣпко натягиваетъ удила; дико ржатъ конь, подымая гриву, и мчался къ рыцарю. Тутъ чудится колдуну, что все въ немъ замерло, что недвижный всадникъ шевелится и разомъ открылъ свои очи, увидѣлъ несшагося къ нему колдуна и засмѣялся. Какъ громъ, рассыпался дикій смѣхъ по горамъ

и зазвучалъ въ сердцѣ колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влѣзъ въ него и ходить внутри его и билъ молотами по сердцу, по жиламъ... такъ страшно отдался въ немъ этотъ смѣхъ!

Ухватилъ всадникъ страшною рукою колдуна и поднялъ его на воздухъ. Вмигъ умеръ колдунъ и открылъ послѣ смерти очи; но уже былъ мертвецъ и глядѣлъ, какъ мертвецъ. Такъ страшно не глядитъ ни живой, ни воскресшій. Ворочалъ онъ по сторонамъ мертвыми глазами, и увидѣлъ поднимавшихся мертвецовъ отъ Кіева, и отъ земли Галичской, и отъ Карпата, какъ двѣ капли воды схожихъ лицомъ на него.

Блѣдны, блѣдны, одинъ другого выше, одинъ другого костистѣй, стали они вокругъ всадника, державшаго въ рукѣ страшную добычу. Еще разъ засмѣялся рыцарь, и кинулъ ее въ пропасть. И всѣ мертвецы вскочили въ пропасть, подхватили мертвеца и вонзили въ него свои зубы. Еще одинъ всѣхъ выше, всѣхъ страшнѣе, хотѣлъ подняться изъ земли, но не могъ, не въ силахъ былъ этого сдѣлать—такъ великъ выросъ онъ въ землѣ; а если бы поднялся, то опрокинулъ бы и Карпаты, и Седмиградскую и Турецкую землю. Немного только подвинулся онъ — и пошло отъ него трясеніе по всей землѣ, и много поопрокидывалось вездѣ хатъ, и много задавило народу.

Слышится часто по Карпату свистъ, какъ будто тысяча мельницъ шумить колесами на водѣ: то, въ безвыходной пропасти, которой не видалъ еще ни одинъ человекъ, страшайшійся проходить мимо, мертвецы грызутъ мертвеца. Нерѣдко бывало по всему міру, что земля тряслась отъ одного конца до другого: то оттого дѣлается, толбуютъ грамотные люди, что есть гдѣ-то, близъ моря, гора, изъ которой выхватывается пламя и текутъ горящія рѣки. Но старики, которые живутъ и въ Венгріи, и въ Галичской землѣ, лучше знаютъ это и говорятъ, что то хочетъ подняться выросшій въ землѣ великій, великій мертвецъ и трясеть землю.

---

## XVI.

Въ городѣ Глуховѣ собрался народъ около старца-бандуриста, и уже съ часъ слушалъ, какъ слѣпецъ игралъ на бандурѣ. Еще такихъ чудныхъ пѣсень и такъ хорошо не



пѣть ни одинъ бандуристъ. Сперва повелѣ онъ про прежнюю гетьманищину за Сагайдачнаго и Хмельницкаго. Тогда иное было время: козачество было въ славѣ, топтало конями непріятелей, и никто не смѣлъ посмѣяться надъ нимъ. Пѣлъ и веселыя пѣсни старецъ и поваживалъ своими очами на народъ, какъ будто зрящій; а пальцы, съ придѣланными къ нимъ костями, летали, какъ муха, по струнамъ и, казалося, струны сами играли; а кругомъ народъ, старые люди, понутивъ головы, а молодые, поднявъ очи на старца, не смѣли и шептать между собою.

«Постойте», сказали старецъ: «я вамъ запою про одно давнее дѣло». Народъ сдвинулся еще тѣснѣе, и слѣпецъ запѣлъ:

«За пана Степана, князя Седмиградскаго (былъ князь Седмиградскій королемъ и у ляховъ), жило два козака: Иванъ да Петро. Жили они такъ, какъ братъ съ братомъ. «Гляди, Иванъ, все, что ни добудешь — все пополамъ: когда кому веселье, веселье и другому; когда кому горе — горе и обоимъ: когда кому добыча — пополамъ добычу; когда кто въ полонъ попадетъ — другой продай все и дай выкупъ, а не то, самъ ступай въ полонъ». И правда, все, что ни доставали козаки, все дѣлили пополамъ: угоняли ли чужой скотъ или коней — все дѣлили пополамъ.

\* \*  
\*

«Воевалъ король Степанъ съ турчиномъ. Уже три недѣли воюетъ онъ съ турчиномъ, а все не можетъ его выгнать. А у турчина былъ паша такой, что самъ съ десятью янычарами могъ порубить цѣлый полкъ. Вотъ объявилъ король Степанъ, что если сыщется смѣльчакъ и приведетъ къ нему того пашу живого или мертвого, дастъ ему одному столько жалованья, сколько даетъ на все войско. «Пойдемъ, братъ, ловить пашу!» сказалъ братъ Иванъ Петру. И поѣхали козаки, одинъ въ одну сторону, другой въ другую.

\* \*  
\*

«Поймать ли бы еще, или не поймалъ Петро, а уже Иванъ ведетъ пашу арканомъ за шею къ самому королю. «Бравый молодецъ!» сказалъ король Степанъ, и приказалъ выдать ему одному такое жалованье, какое получаетъ все войско; и приказалъ отвезти ему земли тамъ, гдѣ онъ за-

думаетъ себѣ, и дать скота, сколько пожелаетъ. Какъ получилъ Иванъ жалованье отъ короля, въ тотъ же день раздѣлилъ все поровну между собою и Петромъ. Взялъ Петро половину королевскаго жалованья, но не могъ вынести того, что Иванъ получилъ такую честь отъ короля, и затаилъ глубоко на душѣ месть.

\* \*

«Вхали оба рыцаря на жалованную королемъ землю, за Карпатъ. Посадилъ козакъ Иванъ съ собою на коня своего сына, привязавъ его къ себѣ. Уже настали сумерки — они все бѣдутъ. Младенецъ заснулъ; сталъ дремать и самъ Иванъ. Не дремли, козакъ, по горамъ дороги опасныя!.. Но у козака такой конь, что самъ вездѣ знаетъ дорогу: не споткнется и не оступится. Есть между горами проваль, въ провалѣ дна никто не видалъ; сколько отъ земли до неба, столько до дна того провала. Но надъ самымъ проваломъ дорога — два человѣка еще могутъ проѣхать, а трое ни за что. Сталъ бережно ступать конь съ дремавшимъ козакомъ. Рядомъ вхалъ Петро, весь дрожалъ и притаилъ духъ отъ радости. Оглянулся и толкнулъ названнаго брата въ проваль; и конь съ козакомъ и младенцемъ полетѣлъ въ проваль.

\* \*

«Ухватился, однакожь, козакъ за суку, и одинъ только конь полетѣлъ на дно. Сталъ онъ карабкаться, съ сыномъ за плечами, вверхъ: немного уже не добрался, поднялъ глаза и увидѣлъ, что Петро наставилъ пику, чтобы столкнуть его назадъ. «Боже ты мой, праведный! лучше-бъ мнѣ не подымать глазъ, чѣмъ видѣть, какъ родной братъ наставляетъ пику столкнуть меня назадъ!.. Братъ мой милый! коли меня пикой, когда уже мнѣ такъ написано на роду: но возьми сына: чѣмъ безвинный младенецъ виноватъ, чтобы ему пропасть такою лютою смертью?» Засмѣялся Петро и толкнулъ его пикой, и козакъ съ младенцемъ полетѣлъ на дно. Забралъ себѣ Петро все добро и сталъ жить, какъ папа. Табуновъ ни у кого такихъ не было, какъ у Петра; овецъ и барановъ нигдѣ столько не было. И умеръ Петро.

\* \*

«Какъ умеръ Петро, призвалъ Богъ души обоихъ братьевъ. Петра и Ивана, на судъ. «Великій есть грѣшникъ сей чело-

вѣкъ!» сказалъ Богъ. «Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты самъ ему казнь!» Долго думалъ Иванъ, вымышляя казнь, и наконецъ сказалъ: «Великую обиду нанесъ мнѣ сей человѣкъ: предать своего брата, какъ Іуда, и лишить меня честнаго моего рода и потомства на землѣ. А человѣкъ безъ честнаго рода и потомства, что хлѣбное сѣмя, кинутое въ землю и пропавшее даромъ въ землѣ. Выходу нѣтъ—никто и не узнаетъ, что кинуту было сѣмя.

\* \*  
\*

«Сдѣлай же, Боже, такъ, чтобы все потомство его не имѣло на землѣ счастья; чтобы послѣдній въ родѣ былъ такой злодѣй, какого еще и не бывало на свѣтѣ, и отъ каждаго его злодѣйства, чтобы дѣды и прадѣды его не нашли бы покоя въ гробахъ, и, терпя мѹку, невѣдомую на свѣтѣ, подымались бы изъ могилъ! А Іуда Петро чтобы не въ силахъ былъ подняться, и отъ того терпѣть бы мѹку еще горшую; и вѣлъ бы, какъ бѣшеный, землю, и корчился бы подъ землею!

\* \*  
\*

«И когда придетъ часъ мѣры въ злодѣйствахъ тому человѣку, подыми меня, Боже, изъ того провала на конѣ на самую высокую гору, и пусть прійдетъ онъ ко мнѣ, и брошу я его съ той горы въ самый глубокий провалъ, и всѣ мертвецы, его дѣды и прадѣды, гдѣ бы ни жили при жизни, чтобы всѣ потянулись отъ разныхъ сторонъ земли грызть его за тѣ мѹки, что онъ наносилъ имъ, и вѣчно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его мѹки. А Іуда Петро чтобы не могъ подняться изъ земли, чтобы рвался грызть и себя, но грызъ бы самого себя, а кости его росли бы, чѣмъ дальше, больше, чтобы чрезъ то еще сильнѣе становилась его боль. Та мѹка для него будетъ самая страшная, ибо для человѣка нѣтъ болѣе мѹки, какъ хотѣть отмстить, и не мочь отмстить».

\* \*  
\*

«Страшна казнь, тобою выдуманная, человѣче!» сказалъ Богъ. «Пусть будетъ все такъ, какъ ты сказалъ; но и ты сиди вѣчно тамъ на конѣ своемъ, и не будетъ тебѣ парствія небеснаго, покамѣстъ ты будешь сидѣть тамъ на конѣ

своемъ!» И то все такъ сбылось, какъ было сказано: и донынѣ стоитъ на Карпатѣ на конѣ дивный рыцарь, и видѣть; какъ въ бездонномъ провалѣ грызутъ мертвецы мертвца, и чуетъ, какъ лежащій подъ землею мертвецъ растеть, гложетъ въ страшныхъ мѣкахъ свои кости и страшно трясеть всю землю»...

---

Уже слѣпецъ кончилъ свою пѣсню; уже снова сталъ перебирать струны; уже сталъ пѣть смѣшныя присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу... но старыя и малыя все еще не думали очнуться и долго стояли, потупивъ головы, раздумывая о страшномъ, въ старину случившемся, дѣлѣ.



## ИВАНЪ ѲЕДОРОВИЧЪ ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА.

---

Съ этой исторіей случилась исторія: намъ разсказывалъ ее пріѣзжавшій изъ Гадяча Степанъ Ивановичъ Курочка. Нужно вамъ знать, что память у меня, невозможно сказать, что за дрянъ: хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что въ рѣшето воду лей. Зная за собою такой грѣхъ, нарочно просилъ его списать ее въ тетрадку. Ну, давай Богъ ему здоровья, чловѣкъ онъ былъ всегда добрый для меня, взялъ и списалъ. Положилъ я ее въ маленькій столикъ; вы, думаю, его хорошо знаете; онъ стоитъ въ углу, когда войдешь въ дверь... Да, я и позабылъ, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, съ которой живу уже лѣтъ тридцать вмѣстѣ, грамотѣ сроду не училась, — нечего и грѣха таить. Вотъ, замѣчаю я, что она пирожки печетъ на какой-то бумагѣ. Пирожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печетъ; лучшихъ пирожковъ вы нигдѣ не будете ѣсть. Посмотрѣлъ какъ-то на сподку пирожка—смотрю: писанныя слова. Какъ будто сердце у меня знало: прихожу къ столику—тетрадки и половины нѣтъ! Остальные листки всѣ растаскала на пироги! Что прикажешь дѣлать? на старости лѣтъ не подраться же! Прошлый годъ случилось проѣзжать чрезъ Гадячъ; нарочно еще, не доѣзжая города, завязалъ узелокъ, чтобы не забыть попросить

объ этомъ Степана Ивановича. Этого мало: взявъ обѣщаніе съ самого себя: какъ только чихну въ городѣ, то чтобы при этомъ вспомнить о немъ. Все напрасно. Проглотилъ чрезъ городъ, и чихнулъ, и высморкался въ платокъ, а все позабылъ: да уже вспомнилъ, какъ верстъ за шесть отъѣхалъ отъ заставы. Нечего дѣлать, пришлось печатать безъ конца. Впрочемъ, если кто желаетъ непременно знать, о чемъ говорится далѣе въ этой повѣсти, то ему стоить только нарочно пріѣхать въ Гадячъ и попросить Степана Ивановича. Онъ съ большимъ удовольствіемъ разскажетъ ее, хоть, пожалуй, снова отъ начала до конца. Живетъ онъ недалеко возлѣ каменной церкви. Тутъ есть сейчасъ маленькій переулокъ: какъ только поворотишь въ переулокъ, то будутъ вторья или третья ворота. Да вотъ лучше: когда увидите на дворѣ большой шестъ съ перепеломъ, и выйдетъ навстрѣчу вамъ толстая баба въ зеленой юбкѣ (онъ, не мѣшаетъ сказать, ведетъ жизнь холостую), то это его дворъ. Впрочемъ, вы можете его встрѣтить на базарѣ, гдѣ бываетъ онъ каждое утро до девяти часовъ, выбираетъ рыбу и зелень для своего стола и разговариваетъ съ отцомъ Антипомъ, или съ жидомъ-откупщикомъ. Вы его тотчасъ узнаете, потому что ни у когѣ нѣтъ, кромѣ него, панталонъ изъ цвѣтной выбойки и китайчатаго желтаго сюртука. Вотъ вамъ еще примѣта: когда ходитъ онъ, то всегда размахиваетъ руками. Еще покойный тамошній засѣдатель, Денисъ Петровичъ, всегда, бывало, увидѣвши его издали, говорилъ: «Глядите, глядите, вонъ идетъ вѣрная мельница!»

## I.

### Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька.

Уже четыре года, какъ Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька въ отставку и живетъ на хutorѣ своемъ Выtreбенькахъ. Когда былъ онъ еще Ванюшею, то обучался въ гадячскомъ повѣтовомъ училищѣ, и, надобно сказать, былъ преблагонаправленный и престарательный мальчикъ. Учитель російской грамматики, Никифоръ Тимоѳеевичъ Дѣепричастіе, говаривалъ, что если бы всѣ у него были такъ старательны, какъ Шпонька, то онъ не носилъ бы съ собою въ классъ кленовой линейки, которою, какъ самъ онъ признавался, устанавливалъ бить по рукамъ лѣннйцевъ и шалуновъ. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругомъ облінеенная, нигдѣ ни пятнышка. Сидѣлъ онъ всегда смирно, сложивъ руки и уставивъ глаза на учителя, и никогда не привѣшивалъ сидѣвшему впереди его товарищу на спину бумажекъ, не рѣзалъ скамьи и не игралъ до прихода учителя въ *тѣсной бабы*. Когда кому нужда была въ ножикѣ, очинить перо, тотъ немедленно обращался къ Ивану Ѳедоровичу, зная, что у него всегда водился ножикъ; и Иванъ Ѳедоровичъ, тогда еще просто Ванюша, вынималъ его изъ небольшого кожаного чехольчика, привязаннаго къ петлѣ своего сѣренькаго скюртука, и просилъ только не скоблить пера остріемъ ножика, увѣряя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонаравіе скоро привлекло на него вниманіе даже самого учителя латинскаго языка, котораго одинъ кашель въ сѣняхъ, прежде нежели высывалась въ дверь его фризоява шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводило страхъ на весь классъ. Этотъ страшный учитель, у котораго на каедрѣ всегда лежало два пучка розогъ, и

половина слушателей стояла на колѣняхъ, сдѣлалъ Ивана Ѳедоровича аудиторомъ, несмотря на то, что въ классѣ было много съ гораздо лучшими способностями. Тутъ не можно пропустить одного случая, сдѣлавшаго вліяніе на всю его жизнь. Одинъ изъ ввѣренныхъ ему учениковъ, чтобы склонить своего аудитора написать ему въ спискѣ *scit*, тогда какъ онъ своего урока въ зубъ не зналъ, принесъ въ классъ завернутый въ бумагу, облитый масломъ, блинъ. Иванъ Ѳедоровичъ хотя и держался справедливости, но на эту пору былъ голоденъ и не могъ противиться обольщенію: взялъ блинъ, поставилъ передъ собою книгу и началъ ѣсть, и такъ былъ занятъ этимъ, что даже не замѣтилъ, какъ въ классѣ сдѣлалась вдругъ мертвая тишина. Тогда только съ ужасомъ очнулся онъ, когда страшная рука, протянувшись изъ фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на средину класса. «Поддай сюда блинъ! Поддай, говорятъ тебѣ, негодяй!» сказали грозный учитель, схватилъ пальцами масляный блинъ и выбросилъ его за окно, строго запретивъ бѣгавшимъ по двору школьникамъ поднимать его. Послѣ этого тутъ же высѣкъ онъ пребольно Ивана Ѳедоровича по рукамъ; и дѣло: руки виноваты, зачѣмъ брали, а не другая часть тѣла. Какъ бы то ни было, только съ этихъ поръ робость, и безъ того неразлучная съ нимъ, увеличилась еще болѣе. Можетъ-быть, это самое происшествіе было причиною того, что онъ не имѣлъ никогда желанія вступить въ штатскую службу, видя на опытъ, что не всегда удается хоронить концы.

Было уже ему безъ малаго пятнадцать лѣтъ, когда перешелъ онъ во второй классъ, гдѣ, вмѣсто сокращеннаго катехизиса и четырехъ правилъ ариметики, принялся онъ за пространный, за книгу о должностяхъ человека и за дробн. Но, увидѣвши, что чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ, и получивши извѣстіе, что батюшка приказалъ долго жить, пробылъ еще два года и, съ согласія матушки, вступилъ потомъ въ П\*\*\* пѣхотный полкъ.

П\*\*\* пѣхотный полкъ былъ совсѣмъ не такого сорта, къ какому принадлежать многіе пѣхотные полки, и, несмотря на то, что онъ большею частью стоялъ по деревнямъ, однакожь былъ на такой ногѣ, что не уступалъ инымъ и кавалерійскимъ. Большая часть офицеровъ пила выморозки и умѣла таскать жидовъ за пейсики не хуже гусаровъ; нѣ-



сколько человекъ даже танцевали мазурку, и полковникъ П\*\*\* полка никогда не упускалъ случая замѣтить объ этомъ, разговаривая съ кѣмъ-нибудь въ обществѣ. «У меня-съ», говорилъ онъ обыкновенно, трепля себя по брюху послѣ каждаго слова: «многіе пляшутъ-съ мазурку, весьма многіе съ, очень многіе-съ». Чтобъ еще болѣе показать читателямъ образованность П\*\*\* пѣхотнаго полка, мы прибавимъ, что двое изъ офицеровъ были страшные игроки въ банкъ и проигрывали мундиръ, фуражку, шинель, темлякъ и даже исподнее платье, что не вездѣ и между кавалеристами можно сыскать.

Обхожденіе съ такими товарищами, однакоже, ничуть не уменьшило робости Ивана Ѳедоровича; и такъ какъ онъ не пилъ выморозокъ, предпочитая имъ рюмку водки передъ обѣдомъ и ужиномъ, не танцевалъ мазурки и не игралъ въ банкъ, то, натурально, долженъ былъ всегда оставаться одинъ. Такимъ образомъ, когда другіе разбѣжались на обывательскихъ по мелкимъ помѣщикамъ, онъ, сидя на своей квартирѣ, упражнялся въ занятіяхъ, сродныхъ одной кроткой и доброй душѣ: то чистилъ пуговицы, то читалъ гадательную книгу, то ставилъ мышеловки по угламъ своей комнаты, то, наконецъ, скинувши мундиръ, лежать на постели.

Зато не было никого исправнѣ Ивана Ѳедоровича въ полку, и взводомъ своимъ онъ такъ командовалъ, что ротный командиръ всегда ставилъ его въ образецъ. За то въ скоромъ времени, спустя одиннадцать лѣтъ послѣ полученія прапорщичьяго чина, произведенъ онъ былъ въ подпоручики.

Въ продолженіе этого времени онъ получилъ извѣстіе, что матушка скончалась; а тетушка, родная сестра матушки, которую онъ зналъ только потому, что она привозила ему въ дѣтствѣ и посылала даже въ Гадячъ сушенныя грибки и дѣланые ею самою превкусныя пряники (съ матушкой она была въ ссорѣ, и потому Иванъ Ѳедоровичъ послѣ не видалъ ея),—эта тетушка, по своему добродушію, взялась управлять небольшимъ его имѣніемъ, о чемъ извѣстила его въ свое время письмомъ.

Иванъ Ѳедоровичъ, будучи совершенно увѣренъ въ благоразуміи тетушки, началъ попрежнему исполнять свою службу. Иной на его мѣстѣ, получивши такой чинъ, воз-

гордился бы; но гордость совершенно была ему неизвѣстна, и, сдѣлавшись подпоручикомъ, онъ былъ тотъ же самый Иванъ Ѳеодоровичъ, какимъ былъ нѣкогда и въ пранорщичьемъ чинѣ. Пробывъ четыре года послѣ этого замѣчательнаго для него событія, онъ готовился выступить вмѣстѣ съ полкомъ изъ Могилевской губерніи въ Великороссію, какъ получилъ письмо такого содержанія:

«Любезный племянникъ,

Иванъ Ѳеодоровичъ!

«Посылаю тебѣ бѣлье: пять паръ нитяныхъ карпетокъ и четыре рубашки тонкаго холста; да еще хочу поговорить съ тобою о дѣлѣ: такъ какъ ты уже имѣешь чинъ немаловажный, что, думаю, тебѣ извѣстно, и пришелъ въ такія лѣта, что пора и хозяйствомъ позаняться, то въ воинской службѣ тебѣ не зачѣмъ болѣе служить. Я уже стара и не могу всего присмотрѣть въ твоёмъ хозяйствѣ; да и дѣйствительно, многое притомъ имѣю тебѣ открыть лично. Пріѣзжай, Ванюша! Въ ожиданіи подлиннаго удовольствія тебя видѣть, остаюсь многолюбящая твоя тетка

*Василиса Пущевска.*

«Чудная въ огородѣ у насъ выросла рѣпа: больше похожа на картофель, чѣмъ на рѣпу».

Черезъ недѣлю послѣ полученія этого письма, Иванъ Ѳеодоровичъ написать такой отвѣтъ:

«Милостивая государыня, тетушка,

Василиса Кашпаровна!

«Много благодарю васъ за присылку бѣлья. Особенно карпетки у меня очень старыя, что даже деньщикъ штопалъ ихъ четыре раза, и очень оттого стали узкія. Насчетъ вашего мнѣнія о моей службѣ, я совершенно согласенъ съ вами, и третьяго дня подаю отставку. А какъ только получу увольненіе, то найму извозчика. Прежней вашей комиссіи, насчетъ сѣмянъ пшеницы, сибирской арнаутки, не могъ исполнить: во всей Могилевской губерніи нѣтъ такой. Свиней же здѣсь кормятъ большею частію брагой, подмѣшивая немного выигравшагося пива.

«Съ совершеннымъ почтеніемъ, милостивая государыня, тетушка, пребываю племянникомъ

*Иваномъ Шпоныкою.»*

Наконецъ, Иванъ Ѳеодоровичъ получилъ отставку, съ чиномъ поручика, нанялъ за сорокъ рублей жида отъ Могил-

лева до Гадяча, и сѣлъ въ кибитку въ то самое время, когда деревья одѣлись молодыми, еще рѣдкими листьями, вся земля ярко зазеленѣла свѣжею зеленью и по всему полю пахло весною.

## II.

### Дорога.

Въ дорогѣ ничего не случилось слишкомъ замѣчательнаго. Ѣхали съ небольшимъ двѣ недѣли. Можетъ-быть, еще и этого скорѣе пріѣхалъ бы Иванъ Ѳедоровичъ, но набожный жидъ шабашовалъ по субботамъ и, накрывшись своею попоной, молился весь день. Впрочемъ, Иванъ Ѳедоровичъ, какъ уже имѣлъ я случай замѣтить прежде, былъ такой человѣкъ, который не допускалъ къ себѣ скуки. Въ то время развязывать онъ чемоданъ, вынимать бѣлье, разсматривалъ его хорошенько: такъ ли вымыто, такъ ли сложено; снималъ осторожно пушокъ съ новаго мундира, сшитаго уже безъ погончиковъ, и снова все это укладывалъ наилучшимъ образомъ. Книгъ онъ, вообще сказать, не любилъ читать; а если заглядывалъ иногда въ гадательную книгу, такъ это потому, что любилъ встрѣчать тамъ знакомое, читанное уже нѣсколько разъ. Такъ городской житель отправляется каждый день въ клубъ, не для того, чтобы услышать тамъ что-нибудь новое, но чтобы встрѣтить тѣхъ пріятелей, съ которыми онъ уже съ незапамятныхъ временъ привыкъ болтать въ клубѣ. Такъ чиновникъ съ большимъ наслажденіемъ читаетъ адресъ-календарь по нѣскольку разъ въ день, не для какихъ-нибудь дипломатическихъ затѣй, но его тѣшить до крайности печатная роспись именъ. «А! Иванъ Гавриловичъ такой-то!» повторяетъ онъ глухо про себя. «А! вотъ и я! гм!..» И на слѣдующій разъ снова перечитываетъ его съ тѣми же восклицаніями.

Послѣ двухнедѣльной ѣзды, Иванъ Ѳедоровичъ достигнулъ деревушки, находившейся въ ста верстахъ отъ Гадяча. Это было въ пятницу. Солнце давно уже зашло, когда онъ въѣхалъ съ кибиткою и съ жидомъ на постоялый дворъ.

Этотъ постоялый дворъ ничѣмъ не отличался отъ другихъ, выстроенныхъ по небольшимъ деревушкамъ. Въ нихъ, обыкновенно, съ большимъ усердіемъ потчуютъ путеше-

ственника сѣномъ и овсомъ, какъ будто бы онъ былъ потчовая лошадь. Но если бы онъ захотѣлъ позавтракать, какъ обыкновенно завтракаютъ порядочные люди, то сохранилъ бы въ ненарушимости свой аппетитъ до другого случая. Иванъ Ѳедоровичъ, зная все это, заблаговременно запасся двумя вязками бубликовъ и колбасою и, спросивши рюмку водки, въ которой не бываетъ недостатка ни на одномъ постояломъ дворѣ, началъ свой ужинъ, усѣвшись на лавкѣ передъ дубовымъ столомъ, неподвижно вкопаннымъ въ глиняный полъ.

Въ продолженіе этого времени слышался стукъ брички. Ворота заскрипѣли; но бричка долго не въѣзжала на дворъ. Громкій голосъ бранился со старухою, содержавшею трактиръ. «Я въѣду», услышалъ Иванъ Ѳедоровичъ: «но если хоть одинъ клопъ укуситъ меня въ твоей хатѣ, то прибью, ей-Богу, прибью, старая колдунья! и за сѣно ничего не дамъ!»

Минуту спустя, дверь отворилась, и вошелъ, или, лучше сказать, влѣзъ толстый человѣкъ въ зеленомъ сюртукѣ. Голова его неподвижно покоилась на короткой шеѣ, казавшейся еще толще отъ двухъ-этажнаго подбородка. Казалось, и съ виду онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые не ломали никогда головы надъ пустяками и которыхъ вся жизнь катилась по маслу.

«Желаю здравствовать, милостивый государь!» проговорилъ онъ, увидѣвши Ивана Ѳедоровича.

Иванъ Ѳедоровичъ безмолвно поклонился.

«А позвольте спросить: съ кѣмъ имѣю честь говорить?» продолжалъ толстый пріѣзжій.

При такомъ допросѣ Иванъ Ѳедоровичъ невольно поднялся съ мѣста и сталъ въ вытяжку, что обыкновенно онъ дѣлывалъ, когда спрашивалъ его о чемъ полковникъ. «Отставной поручикъ, Иванъ Ѳедоровъ Шпонька», отвѣчалъ онъ.

«А смѣю ли спросить, въ какія мѣста изволите ѣхать?»

«Въ собственный хуторъ-съ, Вытебеньки».

«Вытебеньки!» воскликнулъ строгій допросчикъ. «Позвольте, милостивый государь, позвольте!» говорилъ онъ, подступая къ нему и размахивая руками, какъ будто бы кто-нибудь его не допускалъ, или онъ протирался сквозь толпу, и, приблизившись, принялъ Ивана Ѳедоровича въ

объятія и облобызаль сначала въ правую, потомъ въ лѣвую, и потомъ снова въ правую щеку. Ивану Ѳедоровичу очень понравилось это лобызаніе, потому что губы его приняли большія щеки незнакомца за мягкія подушки.

«Позвольте, милостивый государь, познакомиться!» продолжалъ толстякъ: «я помѣщикъ того же гадячскаго лѣвѣта и вашъ сосѣдъ; живу отъ хутора вашего Вытребеньки не дальше пяти верстъ, въ селѣ Хортыщѣ; а фамилія моя Григорій Григорьевичъ Сторченко. Непремѣнно, непременно, милостивый государь, и знать васъ не хочу, если не приѣдете въ гости въ село Хортыще. Я теперь спѣшу по надобности... А что это?» проговорилъ онъ кроткимъ голосомъ вошедшему своему жокею, мальчику въ козацкой свиткѣ, съ запатанными локтями, съ недоумѣвающей миною, ставившему на столъ узлы и ящики. «Что это, что?» и голосъ Григорія Григорьевича незамѣтно дѣлался грознѣе и грознѣе. «Развѣ я это сюда велѣлъ ставить тебѣ, любезный? Развѣ я это сюда говорилъ ставить тебѣ, подлецъ? Развѣ я не говорилъ тебѣ, напередъ разогрѣть курицу, мошенникъ? Пошелъ!» вскрикнулъ онъ, топнувъ ногою. «Постой, рожа! Гдѣ погребецъ со штофиками? Иванъ Ѳедоровичъ!» говорилъ онъ, наливая рюмку настойки: «прошу покорно лѣкарственной!»

«Ей-Богу-съ, не могу... я уже имѣлъ случай...» проговорилъ Иванъ Ѳедоровичъ съ запинкою.

«И слушать не хочу, милостивый государь!» возвысилъ голосъ помѣщикъ: «и слушать не хочу! Съ мѣста не сойду, покамѣстъ не выкушаете...»

Иванъ Ѳедоровичъ, увидѣвши, что нельзя отказаться, не безъ удовольствія выпилъ.

«Это курица, милостивый государь», продолжалъ толстый Григорій Григорьевичъ, разрѣзывая ее ножомъ въ деревянномъ ящикѣ. «Надобно вамъ сказать, что повариха моя Явдоха иногда любитъ куликнуть, и оттого часто пересушивается. Эй, хлопче!» тутъ оборотился онъ къ мальчику въ козацкой свиткѣ, принесшему перину и подушки: «постели постель мнѣ на полу посреди хаты! Смотри же, съна повыше наклади подъ подушку! Да выдерни у бабы изъ мычки ключокъ пеньки заткнуть мнѣ уши на ночь! Надобно вамъ знать, милостивый государь, что я имѣю обыкновеніе затыкать на ночь уши съ того проклятаго случая,

когда въ одной русской корчмѣ залѣзъ мнѣ въ лѣвое ухо тараканъ. Проклятые кацапы, какъ я послѣ узналъ, ѣдятъ даже щи съ тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: въ ухѣ такъ и щекочетъ, такъ и щекочетъ... ну, хоть на стѣну! Мнѣ помогла уже въ нашихъ мѣстахъ простая старуха, и чѣмъ бы вы думали? просто, зашептываніемъ. Что вы скажете, милостивый государь, о лѣкаряхъ? Я думаю, что они, просто, морочать и дурачать насъ: иная старуха въ двадцать разъ лучше знаетъ всѣхъ этихъ лѣкарей».

«Дѣйствительно, вы изволите говорить совершенную-съ правду. Иная точно бываетъ...» Тутъ онъ остановился, какъ бы не прибирая далѣе приличнаго слова. Не мѣшаетъ здѣсь и мнѣ сказать, что онъ вообще не былъ щедръ на слова. Можетъ-быть, это происходило отъ робости, а, можетъ, и отъ желанія выразиться красивѣе.

«Хорошенько, хорошенько перетряси сѣно!» говорилъ Григорій Григорьевичъ своему лакею: «тутъ сѣно такое гадкое, что, того и гляди, какъ-нибудь попадетъ сучокъ. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи! Завтра уже не увидимся: я выѣзжаю до зари. Вашъ жидъ будетъ шабашовать, потому что завтра суббота, такъ вамъ нечего и вставать рано. Не забудьте же моей просьбы: и знать васъ не хочу, когда не пріѣдете въ село Хортыще».

Тутъ камердинеръ Григорія Григорьевича стащилъ съ него сюртукъ и сапоги, натянувъ на него вмѣсто того халатъ, и Григорій Григорьевичъ повалился на постель, и, казалось, огромная перина легла на другую.

«Эй, хлопче! куда же ты, подлецъ? Поди сюда, поправь мнѣ одѣяло! Эй, хлопче, подмости подъ голову сѣна! Да что, коней уже напоили? Еще сѣна! сюда, подъ этотъ бокъ! Да поправь, подлецъ, хорошенько одѣяло! Вотъ такъ, еще! охъ!..»

Тутъ Григорій Григорьевичъ еще вздохнулъ раза два и пустилъ страшный носовой свистъ по всей комнатѣ, всхрипывая по временамъ такъ, что дремавшая на лежанкѣ старуха, пробудившись, вдругъ смотрѣла въ оба глаза на всѣ стороны, но, не видя ничего, успокоивалась и засыпала снова.

На другой день, когда проснулся Иванъ Ѳеодоровичъ,

толстаго помѣщика уже не было. Это было одно только замѣчательное происшествіе, случившееся съ нимъ на дорогѣ. На третій день послѣ того приближался онъ къ своему хуторку.

Тутъ почувствовалъ онъ, что сердце въ немъ сильно забилось, когда выглянула, махая крыльями, вѣтряная мельница и когда, по мѣрѣ того, какъ жидъ гналъ своихъ клячъ на гору, показывался внизу рядъ вербъ. Живо и ярко блесѣлъ сквозь нихъ прудъ и дышалъ свѣжестью. Здѣсь когда-то онъ купался; въ этомъ самомъ прудѣ онъ когда-то съ ребятишками брелъ по шее въ водѣ за раками. Кибитка въѣхала на греблю, и Иванъ Ѳедоровичъ увидѣлъ тотъ же самый старинный домикъ, покрытый очеретомъ, тѣ же самыя яблони и черешни, по которымъ онъ когда-то украдкою лазилъ. Только-что въѣхалъ онъ на дворъ, какъ сбѣжались со всѣхъ сторонъ собаки всѣхъ сортовъ: бурыя, черныя, сѣрыя, пѣгія. Нѣкоторыя съ лаемъ кидались подъ ноги лошадамъ, другія бѣжали сзади, замѣтивъ, что ось вымазана саломъ; одна, стоя возлѣ кухни и накрывъ лапою кость, заливалась во все горло; другая лаяла издали и бѣгла назадъ и впередъ, помахивая хвостомъ и какъ бы приговаривая: «Посмотрите, люди крещенные, какой я молодой человѣкъ!» Мальчишки, въ запачканныхъ рубашкахъ, бѣжали глядѣть. Свинья, прохаживавшаяся по двору съ шестнадцатью поросятами, подняла вверхъ съ испытующимъ видомъ свое рыло и хрюкнула громче обыкновеннаго. На дворѣ лежало на землѣ множество ряденъ съ пшеницею, просомъ и ячменемъ, сушившимися на солнцѣ. На крышѣ тоже не мало сушилось разнаго рода травъ: Петровыхъ батоговъ, нечуй-вѣтра и другихъ.

Иванъ Ѳедоровичъ такъ былъ занятъ разсматриваніемъ этого, что очнулся тогда только, когда пѣгая собака укусила слѣзавшаго съ козелъ жидъ за икру. Сбѣжавшаяся дворня, состоявшая изъ поварихи, одной бабы и двухъ дѣвокъ въ шерстяныхъ исподницахъ, послѣ первыхъ восклицаній: *«та се жъ паньчъ нашъ!»* объявила, что тетушка садила въ огородѣ пшеничку, вмѣстѣ съ дѣвкою Палашкою и кучеромъ Омелькомъ, исправлявшимъ часто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали завидѣла рогожную кибитку, была уже здѣсь. И Иванъ Ѳедоровичъ изумился, когда она почти подняла его на рукахъ,

какъ бы не довѣряя, та ли это тетушка, которая писала къ нему о своей дряхлости и болѣзни.

### III.

#### Т е т у ш к а.

Тетушка Василиса Кашпаровна въ это время имѣла лѣтъ около пятидесяти. Замужемъ она никогда не была и, обыкновенно говорила, что жизнь дѣвическая для нея дороже всего. Впрочемъ, сколько мнѣ помнится, никто и не сваталъ ее. Это происходило оттого, что всѣ мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никакъ не имѣли духа сдѣлать ей признаніе. «Весьма съ большимъ характеромъ Василиса Кашпаровна!» говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпаровна хоть кого умѣла сдѣлать тише травы. Пьяницу-мельника, который совершенно былъ ни къ чему негоденъ, она, собственною своею мужественною рукою дергая каждый день за чубъ, безъ всякаго посторонняго средства, умѣла сдѣлать золотомъ, а не человѣкомъ. Ростъ она имѣла почти исполинскій, дородность и силу совершенно соразмѣрную. Казалось, что природа сдѣлала непростительную ошибку, опредѣливъ ей носить темно-коричневый, по буднямъ, капотъ съ мелкими сборками и красную кашемировую шаль въ день Свѣтлаго Воскресенія и своихъ именинъ, тогда какъ ей болѣе всего шли бы драгунскіе усы и длинныя ботфорты. Зато занятія ея совершенно соответствовали ея виду: она каталась сама на лодкѣ, гребя весломъ искуснѣе всякаго рыболова; стрѣляла дичь; стояла неслучно надъ косарями; знала наперечетъ число дынь и арбузовъ на баштанѣ; брала пошлину по пяти копѣекъ съ воза, проѣзжавшаго черезъ ея греблю; взлѣзала на дерево и трусіла груши, била лѣнливыхъ вассаловъ своею страшною рукою и подносила достойнымъ рюмку водки тою же грозною рукою. Почти въ одно время она бранилась, красила пряжу, бѣгала на кухню, дѣлала квась, варила медовое варенье, и хлопотала весь день и вездѣ поспѣвала. Слѣдствіемъ этого было то, что маленькое имѣніище Ивана Ѳедоровича, состоявшее изъ осьмнадцати душъ по послѣдней ревизіи, процвѣтало въ полномъ смыслѣ сего слова. Къ тому-жъ она слишкомъ горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копѣйку.



По приѣздѣ домой, жизнь Ивана Ѳеодоровича рѣшительно измѣнилась и пошла совершенно другою дорогою. Казалось, натура именно создала его для управленія осмысленнымъ имѣніемъ. Сама тетушка замѣтила, что онъ будетъ хорошимъ хозяиномъ, хотя, впрочемъ, не во всѣ еще отрасли хозяйства позволяла ему вмѣшиваться. «*Воно ще молода дитина!*» обыкновенно она говаривала, несмотря на то, что Ивану Ѳеодоровичу было безъ малаго сорокъ лѣтъ: «гдѣ ему все знати!»

Однакожь, онъ неотлучно бывалъ въ полѣ при жнецахъ и косаряхъ, и это доставляло наслажденіе неизъяснимое его кроткой душѣ. Единодушный взмахъ десятка и болѣе блестящихъ косъ; шумъ падающей стройными рядами травы; изрѣдка заливающіяся пѣсни жницъ, то веселыя, какъ встрѣча гостей, то заунывныя, какъ рѣзюка; спокойный, чистый вечеръ, — и что за вечеръ! какъ воленъ и свѣжъ воздухъ! какъ тогда оживлено все: степь краснѣетъ, синѣетъ и горитъ цвѣтами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи наѣкомыхъ, и отъ нихъ свистъ, жужжаніе, трескъ, крикъ и вдругъ стройный хоръ; и все не молчитъ ни на минуту; а солнце садится и кроется. У! какъ свѣжо и хорошо! По полю, то тамъ, то тамъ, раскладываются огни и ставятъ котлы, и вокругъ котловъ садятся усатые косари; паръ отъ галушекъ несетя; сумерки сѣрѣютъ... Трудно разсказать, что дѣлалось тогда съ Иваномъ Ѳеодоровичемъ. Онъ забывалъ, присоединяясь къ косарямъ, отвѣдать ихъ галушекъ, которыя очень любилъ, и стоялъ недвижимо на одномъ мѣстѣ, слѣдя глазами пропадавшую въ небѣ чайку, или считая копы нажататаго хлѣба, унизывавшія поле.

Въ непродолжительномъ времени объ Иванѣ Ѳеодоровичѣ вездѣ пошли рѣчи, какъ о великомъ хозяинѣ. Тетушка не могла нарадоваться своимъ племянникомъ и никогда не упускала случая имъ похвастаться. Въ одинъ день, — это было уже по окончаніи жатвы, и именно въ концѣ іюля. — Василиса Кашпаровна, взявши Ивана Ѳеодоровича съ таинственнымъ видомъ за руку, сказала, что она теперь хочетъ поговорить съ нимъ о дѣлѣ, которое съ давнихъ поръ уже ее занимаетъ.

«Тебѣ, любезный Иванъ Ѳеодоровичъ», такъ она начала: «извѣстно, что въ твоемъ хуторѣ осмысленно душъ, впрочемъ, это по ревизіи, а безъ того, можетъ, наберется больше,

можетъ, будетъ до двадцати четырехъ. Но не объ этомъ дѣло. Ты знаешь тотъ лѣсокъ, что за нашею левадою, и, вѣрно, знаешь за тѣмъ же лѣсомъ широкій лугъ: въ немъ двадцать безъ малаго десятинъ; а травы столько, что можно каждый годъ продавать больше, чѣмъ на сто рублей, особенно, если, какъ говорятъ, въ Гадячѣ будетъ конный полкъ».

«Какъ же-съ, тетушка, знаю: трава очень хорошая».

«Это я сама знаю, что очень хорошая; но знаешь ли ты, что вся эта земля, по-настоящему, твоя? Что-жъ ты такъ выпучилъ глаза? Слушай, Иванъ Ѳеодоровичъ! Ты помнишь Степана Кузьмича? Что я говорю: «помнишь!» Ты тогда былъ такимъ маленькимъ, что не могъ выговорить даже его имени. Куда-жъ! Я помню, когда прѣхала на самое пущенье, передъ Филипповкою, и взяла было тебя на руки; то ты чуть не испортилъ мнѣ всего платья; къ счастью, что успѣла передать тебя мамкѣ Матренѣ; такой ты тогда былъ гадкій!.. Но не объ этомъ дѣло. Вся земля, которая за нашимъ хуторомъ, и самое село Хортыще, было Степана Кузьмича. Онъ, надобно тебѣ объявить, еще тебя не было на свѣтѣ, какъ началъ ѣздить къ твоей матушкѣ,—правда, въ такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я, однакожъ, это не въ укоръ ей говорю, — упокой, Господи, ея душу! — хотя покойница была всегда неправа противъ меня. Но не объ этомъ дѣло. Какъ бы то ни было, только Степанъ Кузьмичъ сдѣлалъ тебѣ дарственную запись на то самое имѣніе, объ которомъ я тебѣ говорила. Но покойница твоя матушка, между нами будь сказано, была пречудного права. Самъ чортъ (Господи, прости меня за это гадкое слово!) не могъ бы понять ее. Куда она дѣла эту запись — одинъ Богъ знаетъ. Я думаю, просто, что она въ рукахъ этого стараго холостяка, Григорія Григорьевича Сторченка. Этой пузатой шельмѣ досталось все его имѣніе. Я готова ставить, Богъ знаетъ что, если онъ не утаилъ записи».

«Позвольте-съ доложить, тетушка: не тотъ ли это Сторченко, съ которымъ я познакомился на станціи?» Тутъ Иванъ Ѳеодоровичъ рассказалъ про свою встрѣчу.

«Кто его знаетъ!» отвѣчала, немного подумавъ, тетушка: «можетъ-быть, онъ и не негодий. Правда, онъ, всего только полгода, какъ переѣхалъ къ намъ жить; въ такое время чедовѣка не увнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала,

очень разумная женщина и, говорятъ, большая мастерица солить огурцы; ковры собственные дѣвки ея умѣютъ отлично хорошо выдѣлывать. Но такъ какъ ты говоришь, что онъ тебя хорошо принялъ, то поѣзжай къ нему: можетъ-быть, старый грѣшникъ послушается совѣсти и отдастъ, что принадлежить не ему. Пожалуй, можешь поѣхать и въ бричѣхъ, только проклятая дитвора повыдергала сзади всѣ гвозди; нужно будетъ сказать кучеру Омелькѣ, чтобы прибилъ вездѣ лучше кожу».

«Для чего, тетушка? Я возьму повозку, въ которой вы ѣздите иногда стрѣлять дичь».

Этимъ окончился разговоръ.

---

#### IV.

#### Обѣдъ.

Въ обѣденную пору Иванъ Ѳедоровичъ вѣхалъ въ село Хортыще и немного оробѣлъ, когда сталъ приближаться къ господскому дому. Домъ этотъ былъ длинный и не подѣ очеретяною, какъ у многихъ окружающихъ помѣщиковъ, но подѣ деревянною крышею. Два амбара во дворѣ тоже подѣ деревянною крышею; ворота дубовыя. Иванъ Ѳедоровичъ похожъ былъ на того франта, который, заѣхавъ на балъ, видитъ всѣхъ, куда ни оглянется, одѣтыхъ щеголеватѣе его. Изъ почтенія онъ остановилъ свой возокъ возлѣ амбара и подошелъ пѣшкомъ къ крыльцу.

«А! Иванъ Ѳедоровичъ!» закричалъ толстый Григорій Григорьевичъ, ходившій по двору въ сюртукѣ, но безъ галстука, жилета и подтяжекъ. Однакожъ и этотъ нарядъ, казалось, обременялъ его тучную ширину, потому что потъ катился съ него градомъ.

«Что-жъ вы говорили; что сейчасъ, какъ только увидите съ тетушкой, приѣдете, да и не приѣхали?» Послѣ этихъ словъ, губы Ивана Ѳедоровича встрѣтили тѣ же самыя знакомыя подушки.

«Большую частію занятія по хозяйству... Я-съ приѣхалъ къ вамъ на минутку, собственно по дѣлу...»

«На минутку? Вотъ этого-то не будетъ. Эй, хлопче!» закричалъ толстый хозяинъ, и тотъ же самый мальчикъ въ козацкой свиткѣ выѣхалъ изъ кухни. «Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчасъ заперъ,—слышишь!—заперъ крѣпче!

А коней вотъ этого пана распрягъ бы сію минуту. Прошу въ комнату: здѣсь такая жара, что у меня вся рубашка мокра».

Иванъ Ѳедоровичъ, вошедши въ комнату, рѣшился не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать рѣшительно.

«Тетушка имѣла честь... сказывала мнѣ, что дарственная запись покойнаго Степана Кузьмича...»

Трудно изобразить, какую непріятную мину сдѣлало при этихъ словахъ обширное лицо Григорія Григорьевича. «Ей Богу, ничего не слышу!» отвѣчалъ онъ. «Надобно вамъ сказать, что у меня въ лѣвомъ ухѣ сидѣлъ тараканъ (въ русскихъ избахъ проклятые кацапы всѣмъ поразводили таракановъ); невозможно описать никакимъ перомъ, что за мученіе было — такъ вотъ и щекочетъ, такъ и щекочетъ. Мнѣ помогла уже одна старуха самымъ простымъ средствомъ...»

«Я хотѣлъ сказать...» осмѣлился прервать Иванъ Ѳедоровичъ, видя, что Григорій Григорьевичъ съ умысломъ хочетъ поворотить рѣчь на другое: «что въ завѣщаніи покойнаго Степана Кузьмича упоминается, такъ сказать, о дарственной записи... по ней слѣдуетъ мнѣ...»

«Я знаю, это вамъ тетушка успѣла наговорить. Это ложь, ей-Богу, ложь! Никакой дарственной записи дядюшка не дѣлалъ. Хотя, правда, въ завѣщаніи и упоминается о какой-то записи; но гдѣ же она? Никто не представилъ ее. Я вамъ это говорю потому, что искренно желаю вамъ добра. Ей-Богу, это ложь!»

Иванъ Ѳедоровичъ замолчалъ, разсуждая, что, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ тетушкѣ такъ только показалось.

«А вотъ идетъ сюда матушка съ сестрами!» сказалъ Григорій Григорьевичъ: «слѣдовательно обѣдъ готовъ. Пойдемте!»

Тутъ онъ потащилъ Ивана Ѳедоровича за руку въ комнату, въ которой стояли на столѣ водка и закуски.

Въ то самое время вошла старушка, низенькая, совершенный кофейникъ въ чепчикѣ, съ двумя барышнями — бѣлокурой и черноволосой. Иванъ Ѳедоровичъ, какъ воспитанный кавалеръ, подошелъ сначала къ старушкиной ручкѣ, а послѣ къ ручкамъ обѣихъ барышень.

«Это, матушка, нашъ сосѣдъ, Иванъ Ѳедоровичъ Шпонецъ!» сказалъ Григорій Григорьевичъ.

Старушка смотрѣла пристально на Ивана Ѳедоровича, или, можетъ-быть, только казалась смотрѣвшею. Впрочемъ, это была совершенная доброта; казалось, она такъ и хотѣла спросить Ивана Ѳедоровича: «сколько вы на зиму насаливаете огурцовъ?»

«Вы водку пили?» спросила старушка.

«Вы, матушка, вѣрно, не выпались», сказалъ Григорій Григорьевичъ: «кто-жъ спрашиваетъ гостя, пилъ ли онъ? Вы потчивайте только; а пили ли мы, или нѣтъ, это наше дѣло. Иванъ Ѳедоровичъ! прошу: золототысячникомой, или трохимовской сивушки? какую вы лучше любите? Иванъ Ивановичъ, а ты чтó стоишь?» произнесъ Григорій Григорьевичъ, оборотившись назадъ, и Иванъ Ѳедоровичъ увидѣлъ подходившаго къ водкѣ Ивана Ивановича, въ долгополомъ сюртукѣ, съ огромнымъ стоячимъ воротникомъ, закрывавшимъ весь его затылокъ, такъ что голова его сидѣла въ воротникѣ, какъ будто въ бричкѣ.

Иванъ Ивановичъ подошелъ къ водкѣ, потеръ руки, разсмотрѣлъ хорошенько рюмку, налилъ, поднесъ къ свѣту, вылилъ разомъ изъ рюмки всю водку въ ротъ, но, не проглатывая, пополюскалъ ею хорошенько во рту, послѣ чего уже проглотилъ, и, закусивши хлѣбомъ съ солеными опѣнками, оборотился къ Ивану Ѳедоровичу.

«Не съ Иваномъ ли Ѳедоровичемъ, господиномъ Шпонецомъ, имѣю честь говорить?»

«Такъ точно-съ», отвѣчалъ Иванъ Ѳедоровичъ.

«Очень много изволили перемѣниться съ того времени, какъ я васъ знаю. Какъ же!» продолжалъ Иванъ Ивановичъ: «я еще помню васъ вотъ какими!» При этомъ поднялъ онъ ладонь на аршинъ отъ пола. «Покойный батюшка вашъ, дай Боже ему царствіе небесное, рѣдкій былъ чело-вѣкъ. Арбузы и дыни всегда бывали у него такіе, какихъ теперь нигдѣ не найдете. Вотъ хоть бы и тутъ», продолжалъ онъ, отводя его въ сторону: «подадутъ вамъ за столомъ дыни,—чтó за дыни? смотрѣть не хочется! Вѣрите ли, милостивый государь, что у него были арбузы», произнесъ онъ съ таинственнымъ видомъ, разставляя руки, какъ будто бы хотѣлъ обхватить толстое дерево: «ей-Богу, вотъ какіе!»

«Пойдемте за столъ!» сказали Григорій Григорьевичъ, взявши Ивана Ѳедоровича за руку.

Григорій Григорьевичъ сѣлъ на обыкновенномъ своемъ мѣстѣ, въ концѣ стола, завѣсившись огромною салфеткою и походя въ этомъ видѣ на тѣхъ героевъ, которыхъ рисуютъ цырюльники на своихъ вывѣскахъ. Иванъ Ѳедоровичъ, краснѣя, сѣлъ на указанное ему мѣсто противъ двухъ барышень; а Иванъ Ивановичъ не преминулъ помѣститься возлѣ него, радуясь душевно, что будетъ кому сообщать свои познанія.

«Вы напрасно взяли куприкъ, Иванъ Ѳедоровичъ! Это индѣйка!» сказала старушка, обратившись къ Ивану Ѳедоровичу, которому въ это время поднесъ блюдо деревенскій офиціантъ въ сѣромъ фракѣ съ черною заплатою. «Возьмите спинку!»

«Матушка! вѣдь васъ никто не проситъ мѣшаться!» произнесъ Григорій Григорьевичъ. «Будьте увѣрены, что гость самъ знаетъ, что ему взять! Иванъ Ѳедоровичъ! возьмите крылышко, вонъ другое, съ пупкомъ! Да что-жъ вы такъ мало взяли? Возьмите стегнышко! Ты что разинулъ ротъ съ блюдомъ? Проси! Становись, подлецъ, на колѣни! Говори сейчасъ: «Иванъ Ѳедоровичъ, возьмите стегнышко!»

«Иванъ Ѳедоровичъ, возьмите стегнышко!» проревѣлъ, ставъ на колѣни, офиціантъ съ блюдомъ.

«Гм! что это за индѣйки!» сказалъ вполголоса Иванъ Ивановичъ съ видомъ пренебреженія, оборотившись къ своему сосѣду. «Такія ли должны быть индѣйки? Если бы вы увидѣли у меня индѣекъ! Я васъ увѣряю, что жиру въ одной больше, чѣмъ въ десяткѣ такихъ, какъ эти. Вѣрите ли, государь мой, что даже противно смотрѣтъ, когда ходятъ онѣ у меня по двору—такъ жирны!...»

«Иванъ Ивановичъ, ты лжешь!» произнесъ Григорій Григорьевичъ, вслушавшись въ его рѣчь.

«Я вамъ скажу», продолжалъ все такъ же своему сосѣду Иванъ Ивановичъ, показывая видъ, будто бы онъ не слышалъ словъ Григорія Григорьевича: «что прошлый годъ, когда я отправлялъ ихъ въ Гадячъ, давали по пятидесяти копѣекъ за штуку, и то еще не хотѣлъ брать».

«Иванъ Ивановичъ! я тебѣ говорю, что ты лжешь!» произнесъ Григорій Григорьевичъ, для лучшей ясности, по складамъ и громче прежняго.

Но Иванъ Ивановичъ, показывая видъ, будто это совершенно относилось не къ нему, продолжалъ такъ же, но только гораздо тише: «именно, государь мой, не хотѣлъ брать. Въ Гадячѣ ни у одного помѣщика...»

«Иванъ Ивановичъ! вѣдь ты глухъ, и больше ничего», громко сказалъ Григорій Григорьевичъ. «Вѣдь Иванъ Ѳедоровичъ знаетъ все это лучше тебя и, вѣрно, не повѣритъ тебѣ».

Тутъ Иванъ Ивановичъ совершенно обидѣлся, замолчалъ и принялся убирать индѣйку, несмотря на то, что она не такъ была жирна, какъ тѣ, на которыя противно смотрѣть.

Стукъ ножей, ложекъ и тарелокъ замѣнилъ на время разговоръ; но громче всего слышалось высмактываніе Григоріемъ Григорьевичемъ мозга изъ бараньей кости.

«Читали ли вы», спросилъ Иванъ Ивановичъ, послѣ нѣкотораго молчанія, высовывая голову изъ своей брички къ Ивану Ѳедоровичу: «книгу «Путешествіе Коробейникова ко святымъ мѣстамъ»? Истинное услажденіе души и сердца! Теперь такихъ книгъ не печатаютъ. Очень сожалительно, что не посмотрѣлъ, котораго году».

Иванъ Ѳедоровичъ, услышавши, что дѣло идетъ о книгѣ, прилежно началъ набирать себѣ соусу.

«Истинно удивительно, государь мой, какъ подумаешь, что простой мѣщанинъ прошелъ всѣ мѣста эти: болѣе трехъ тысячъ верстъ, государь мой! болѣе трехъ тысячъ верстъ! Подлинно его Самъ Господь сподобилъ побывать въ Палестинѣ и Іерусалимѣ».

«Такъ вы говорите, что онъ», сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ, который много наслышался о Іерусалимѣ еще отъ своего децъщика: «былъ и въ Іерусалимѣ?»

«О чемъ вы говорите, Иванъ Ѳедоровичъ?» произнесъ съ конца стола Григорій Григорьевичъ.

«Я, то-есть, имѣлъ случай замѣтить, что какія есть на свѣтѣ далекія страны!» сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ, будучи сердечно доволенъ тѣмъ, что выговорилъ столь длинную и трудную фразу.

«Не вѣрьте ему, Иванъ Ѳедоровичъ!» сказалъ Григорій Григорьевичъ, не вслушавшись хорошенько: «все вретъ!»

Между тѣмъ обѣдъ кончился. Григорій Григорьевичъ отправился въ свою комнату, по обыкновенію, немножко всхрапнуть; а гости пошли вслѣдъ за старушкою-хозяйкою и ба-

рышнями въ гостиную, гдѣ тотъ самый столъ, на которомъ оставили они, выходя обѣдать, водку, какъ бы превращеніемъ какимъ, покрылся блюдечками съ вареньемъ разныхъ сортовъ и блюдами съ арбузами, вишнями и дынями.

Отсутствіе Григорія Григорьевича замѣтно было во всемъ: хозяйка сдѣлалась словоохотнѣе и открывала сама, безъ просьбы, множество секретовъ насчетъ дѣланія пастилы и сушенія грушъ. Даже барышни стали говорить; но бѣлокурая, которая казалась моложе шестью годами своей сестры и которой по виду было около двадцати пяти лѣтъ, была молчаливѣе.

Но болѣе всѣхъ говорилъ и дѣйствовалъ Иванъ Ивановичъ. Будучи увѣренъ, что его теперь никто не собьетъ и не смѣшаетъ, онъ говорилъ и объ огурцахъ, и о посѣвѣ картофеля, и о томъ, какіе въ старину были разумные люди, — куда противъ теперешнихъ! — и о томъ, какъ все, чѣмъ далѣе, умнѣетъ и доходить къ выдумыванію мудрѣйшихъ вещей. Словомъ, это былъ одинъ изъ числа тѣхъ людей, которые съ величайшимъ удовольствіемъ любятъ позаняться улаждающимъ душу разговоромъ и будутъ говорить обо всемъ, о чемъ только можно говорить. Если разговоръ касался важныхъ и благочестивыхъ предметовъ, то Иванъ Ивановичъ вздыхалъ послѣ каждаго слова, кивая слегка головою; ежели до хозяйственныхъ, то высывалъ голову изъ своей брички и дѣлалъ такія мины, глядя на которыя, кажется, можно было прочитать, какъ нужно дѣлать грушевый квасъ, какъ велики тѣ дыни, о которыхъ онъ говорилъ, и какъ жирны тѣ гуси, которые бѣгаютъ у него по двору.

Наконецъ, съ великимъ трудомъ, уже ввечеру, удалось Ивану Ѳеодоровичу распрощаться и, несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, онъ устоялъ-таки въ своемъ намѣреніи ѣхать, — и уѣхалъ.

---

## V.

### Новый замыселъ тетушки.

«Ну, что? выманилъ у стараго лиходѣя записъ?» Такимъ вопросомъ встрѣтила Ивана Ѳеодоровича тетушка, которая съ нетерпѣніемъ дожидалась его уже нѣсколько часовъ на



крыльцѣ и не вытерпѣла, наконецъ, чтобы не выбѣжать за ворота.

«Нѣтъ, тетушка», сказала Иванъ Федоровичъ, слѣзая съ повозки: «у Григорія Григорьевича нѣтъ никакой записи!»

«И ты повѣрилъ ему? Вреть онъ, проклятый! Когда-нибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. О, я ему поспущу жиру! Впрочемъ, нужно напередъ поговорить съ нашимъ подсудкомъ, нельзя ли судомъ съ него требовать... Но не объ этомъ теперь дѣло. Ну, что-жъ, обѣдъ былъ хорошій?»

«Очень... да, весьма, тетушка!»

«Ну, какія-жъ были кушанья? расскажи. Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней».

«Сырники были со сметаной, тетушка; соусъ съ голубями, начиненными...»

«А индѣйка со сливами была?» спросила тетушка, потому что сама была большая искусница готовить это блюдо.

«Была и индѣйка!.. Весьма красивыя барышни—сестрицы Григорія Григорьевича, особенно бѣлокурая!»

«А!» сказала тетушка и посмотрѣла пристально на Ивана Федоровича, который, покраснѣвъ, потупилъ глаза въ землю. Новая мысль быстро промелькнула въ ея головѣ. «Ну, что-жъ?» спросила она съ любопытствомъ и живо: «какія у ней брови?» Не мѣшаетъ замѣтить, что тетушка всегда представляла первую красоту женщины въ бровяхъ.

«Брови, тетушка, совершенно-съ такія, какія, вы рассказывали, въ молодости были у васъ. И по всему лицу небольшія веснушки».

«А!» сказала тетушка, будучи довольна замѣчаніемъ Ивана Федоровича, который, однакожъ, не имѣлъ и въ мысляхъ сказать этимъ комплиментъ. «Какое же было на ней платье? хотя, впрочемъ, теперь трудно найти такихъ плотныхъ матерій, какая вотъ хоть бы, напримѣръ, у меня на этомъ капотѣ. Но не объ этомъ дѣло. Ну, что-жъ, ты говоришь о чемъ-нибудь съ нею?»

«То-есть, какъ... я-съ, тетушка? Вы, можетъ-быть, уже думаете...»

«А что-жъ? что тутъ диковиннаго? Такъ Богу угодно! Можетъ-быть, тебѣ съ нею на роду написано жить парочкою».

«Я не знаю, тетушка, какъ вы можете это говорить. Это доказыываетъ, что вы совершенно не знаете меня...»

«Ну, вотъ, уже и обидѣлся!» сказала тетушка. «*Ще молодя дитина!*» подумала она про себя: «ничего не знаетъ! Нужно ихъ свести вмѣстѣ: пусть познакомятся!»

Тутъ тетушка пошла заглянуть въ кухню и оставила Ивана Ѳедоровича. Но съ этого времени она только и думала о томъ, какъ увидѣть скорѣе своего племянника женатымъ и понянчить маленькихъ внуковъ. Въ головѣ ея громоздились одни только приготовленія къ свадьбѣ, и замѣтно было, что она во всѣхъ дѣлахъ суежилась гораздо болѣе, нежели прежде, хотя, впрочемъ, эти дѣла болѣе шли хуже, нежели лучше. Часто, дѣлая какое-нибудь пирожное, котораго вообще она никогда не довѣряла кухаркѣ, она, позабывшись и воображая, что возлѣ нея стоитъ маленький внучекъ, просящій пирога, разсѣянно протягивала къ нему руку съ лучшимъ кускомъ, а дворовая собака, пользуясь этимъ, схватывала лакомый кусокъ и своимъ громкимъ чванканьемъ выводила ее изъ задумчивости, за что и бывала всегда бита кочергою. Даже оставила она любимыхъ свои занятія и не ѣздила на охоту, особливо, когда, вмѣсто куропатки, застрѣлила ворону, чего никогда прежде съ нею не бывало.

Наконецъ, спустя дня четыре послѣ этого, всѣ увидѣли выкаченную изъ сарая на дворъ бричку. Кучеръ Омелько, онъ же и огородникъ и сторожъ, еще съ ранняго утра стучалъ молоткомъ и приколачивалъ кожу, отгоняя безпрестанно собакъ, лизавшихъ колеса. Долгомъ почитаю предупредить читателей, что это была именно та самая бричка, въ которой еще ѣздилъ Адамъ; и потому, если кто будетъ выдавать другую за адамовскую, то это сущая ложь, и бричка не премѣнно поддѣльная. Совершенно не извѣстно, какимъ образомъ спаслась она отъ потопа; должно думать, что въ Ноевомъ ковчегѣ былъ особенный для нея сарай. Жаль очень, что читателямъ нельзя описать живо ея фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпаровна была очень довольна ея архитектурою и всегда изъявляла сожалѣніе, что вывелись изъ моды старинные экипажи. Самое устройство брички немного на-бокъ, то-есть такъ, что правая сторона ея была гораздо выше лѣвой, ~~ѣ~~ѣ очень нравилось, потому что съ одной стороны можетъ, какъ она говорила, вѣзать

малорослый, а съ другой—великорослый. Впрочемъ, внутри брички могло помѣститься пѣтукъ пять малорослыхъ и трое такихъ, какъ тетушка.

Около полудня, Омелько, управившись около брички, вывелъ изъ конюшни тройку лошадей, немного чѣмъ моложе брички, и началъ привязывать ихъ веревкою къ величественному экипажу. Иванъ Ѳедоровичъ и тетушка, одинъ съ лѣвой стороны, другая съ правой, влѣзли въ бричку, и она тронулась. Попадавшіеся на дорогѣ мужики, видя такой богатый экипажъ (тетушка очень рѣдко выѣзжала въ немъ), почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись въ поясъ.

Часа черезъ два кибитка остановилась передъ крыльцомъ,—думаю, не нужно говорить: передъ крыльцомъ дома Сторченка. Григорія Григорьевича не было дома. Старушка съ барышнями вышла встрѣтить гостей въ столовую. Тетушка подошла величественнымъ шагомъ, съ большою ловкостью отставила одну ногу впередъ и сказала громко:

«Очень рада, государыня моя, что имѣю честь лично доложить вамъ мое почтеніе; а вмѣстѣ съ респектомъ позвольте поблагодарить за хлѣбосольство ваше къ племяннику моему, Ивану Ѳедоровичу, который много имъ хвалится. Прекрасная у васъ гречиха, сударыня,—я видѣла ее, подѣзжая къ селу. А позвольте узнать, сколько копѣй вы получаете съ десятины.

Послѣ сего послѣдовало всеобщее лобызаніе. Когда же усѣлись въ гостиной, то старушка-хозяйка начала:

«Насчетъ гречихи я не могу вамъ сказать: это часть Григорія Григорьевича; я уже давно не занимаюсь этимъ, да и не могу: уже стара! Въ старину у насъ, бывало, я помню, гречиха была по поясъ; теперь Богъ знаетъ что, хотя, впрочемъ, и говорятъ, что теперь все лучше». Тутъ старушка вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послышался бы въ этомъ вздохѣ вздохъ стариннаго осьмнадцатаго столѣтія.

«Я слышала, моя государыня, что у васъ собственныя ваши дѣвки отличные умѣютъ выдѣлывать ковры», сказала Василиса Кашпаровна, и этимъ задѣла старушку за самую чувствительную струну: при этихъ словахъ она какъ будто оживилась, и рѣчи у ней полилися о томъ, какъ должно красить пряжу, какъ готовить для этого нитку.

Съ ковровъ быстро съѣхаль разговоръ на соленіе огурцовъ и сушеніе грушъ. Словомъ, не прошло часу, какъ обѣ дамы такъ разговорились между собою, будто вѣкъ были знакомы. Василиса Кашпаровна многое уже начала говорить съ нею такимъ тихимъ голосомъ, что Иванъ Ѳедоровичъ ничего не могъ разслушать.

«Да не угодно ли посмотрѣть?» сказала, вставая, старушка-хозяйка.

За нею встали барышни и Василиса Кашпаровна, и всѣ потянулись въ дѣвичью. Тетушка, однакожъ, дала знакъ Ивану Ѳедоровичу остаться и сказала что-то тихо старушкѣ.

«Машенька!» сказала старушка, обращаясь къ бѣлокурой барышнѣ: «останься съ гостемъ, да поговори съ нимъ, чтобы гостю не было скучно!»

Бѣлокурая барышня осталась и сѣла на диванъ. Иванъ Ѳедоровичъ сидѣлъ на своемъ стулѣ, какъ на иголкахъ, краснѣлъ и потуплялъ глаза; но барышня, казалось, вовсе этого не замѣчала и равнодушно сидѣла на диванѣ, рассматривая прилежно окна и стѣны, или слѣдуя глазами за кошкою, трусливо пробѣгавшею подъ стульями.

Иванъ Ѳедоровичъ немного ободрился и хотѣлъ-было начать разговоръ; но казалось, что всѣ слова свои растерялъ онъ на дорогѣ. Ни одна мысль не приходила ему на умъ.

Молчаніе продолжалось около четверти часа. Барышня все такъ же сидѣла.

Наконецъ, Иванъ Ѳедоровичъ собрался съ духомъ: «Лѣтомъ очень много мухъ, сударыня!» произнесъ онъ полудрожащимъ голосомъ.

«Чрезвычайно много!» отвѣчала барышня. «Братецъ нарочно сдѣлать хлопущку изъ стараго маменькинаго башмака, но все еще очень много».

Тутъ разговоръ опять прекратился, и Иванъ Ѳедоровичъ никакимъ образомъ уже не находилъ рѣчи.

Наконецъ, хозяйка съ тетущею и чернявою барышнею возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпаровна распростилась со старушкою и барышнями, несмотря на всѣ приглашенія остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшимъ изъ брички тетущкѣ и племяннику.

«Ну, Иванъ Ѳедоровичъ, о чемъ же вы говорили вдвоемъ съ барышнею?» спросила дорогою тетушка.»

«Весьма скромная и благонравная дѣвица Марья Григорьевна!» сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ.

«Слушай, Иванъ Ѳедоровичъ: я хочу поговорить съ тобою серьезно. Вѣдь тебѣ, слава Богу, тридцать осьмой годъ; чинѣ ты уже имѣешь хорошій: пора подумать и объ дѣтяхъ! Тебѣ непремѣнно нужна жена...»

«Какъ, тетушка!» вскричалъ, испугавшись, Иванъ Ѳедоровичъ: «какъ, жена! Нѣтъ-съ, тетушка, сдѣлайте милость... Вы совершенно въ стыдъ меня приводите... Я еще никогда не былъ женатъ... Я совершенно не знаю, что съ нею дѣлать!»

«Узнаешь, Иванъ Ѳедоровичъ, узнаешь», промолвила, улыбаясь, тетушка, и подумала про себя: «*Куды-жъ! ще зовсімъ молода дитина*: ничего не знаетъ!» — «Да, Иванъ Ѳедоровичъ!» продолжала она вслухъ: «лучшей жены нельзя сыскать тебѣ, какъ Марья Григорьевна. Тебѣ же она притомъ очень понравилась. Мы уже насчетъ этого много переговорили съ старухою: она очень рада видѣть тебя своимъ зятемъ. Еще неизвѣстно, правда, что скажетъ этотъ грѣходѣй Григорьевичъ; но мы не посмотримъ на него, и пусть только онъ вадумаетъ не отдать приданого, мы его судимъ...»

Въ это время бричка подъѣхала ко двору, и древнія клячи ожили, чуя близкое стойло.

«Слушай, Омелько! конямъ дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчасъ, распрягши, къ водопою: они лошади горячія». — «Ну, Иванъ Ѳедоровичъ», продолжала, выѣзая, тетушка: «я совѣтую тебѣ хорошенько подумать объ этомъ. Миѣ еще нужно забѣжать въ кухню: я позабыла Солохѣ заказать ужинъ, а она, негодная, я думаю, сама и не подумала объ этомъ».

Но Иванъ Ѳедоровичъ стоялъ, какъ будто громомъ оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но жениться!.. Это казалось ему такъ странно, такъ чудно, что онъ никакъ не могъ подумать безъ страха. Жить съ женою!.. непонятно! Онъ не одинъ будетъ въ своей комнатѣ, но ихъ должно быть вездѣ двое!.. Потъ проступалъ у него на лицѣ, по мѣрѣ того, какъ углублялся онъ въ размышленіе.

Ранѣе обыкновеннаго легъ онъ въ постель, но, несмотря на всѣ старанія, никакъ не могъ заснуть. Наконецъ, же-

занный сонъ, этотъ всеобщій успокоитель, посѣтитъ его; но какой сонъ! Еще несвязныя сновидѣнныя онъ никогда не видывалъ. То снилось ему, что вѣругъ него все шумить, вертится, а онъ бѣжить, бѣжить, не чувствуетъ подъ собою ногъ... Вотъ уже выбивается изъ силъ... Вдругъ кто-то хватаетъ его за ухо. «Ай! кто это?»—«Это я, твоя жена!» съ шумомъ говорилъ ему какой-то голосъ,—и онъ вдругъ пробуждался. То представлялось ему, что онъ уже женатъ, что все въ домикѣ ихъ такъ чудно, такъ странно: въ его комнатѣ стоитъ, вмѣсто одинокой, двойная кровать; на стулѣ сидитъ жена. Ему странно: онъ не знаетъ, какъ подойти къ ней, что говорить съ нею, и замѣчаетъ, что у нея гусиное лицо. Нечаянно поворачивается онъ въ сторону и видитъ другую жену, тоже съ гусинымъ лицомъ. Поворачивается въ другую сторону — стоитъ третья жена; назадъ — еще одна жена. Тутъ его беретъ тоска: онъ бросился бѣжать въ садъ; но въ саду жарко, онъ снялъ шляпу, видитъ: и въ шляпѣ сидитъ жена. Потъ выступилъ у него на лицѣ. Полѣзъ въ карманъ за платкомъ—и въ карманѣ жена; вынулъ изъ уха хлопчатую бумагу — и тамъ сидитъ жена... То вдругъ онъ прыгалъ на одной ногѣ, а тетушка, глядя на него, говорила съ важнымъ видомъ: «Да, ты долженъ прыгать, потому что ты теперь уже женатый человѣкъ». Онъ къ ней; но тетушка—уже не тетушка, а колокольня. И чувствуетъ, что его кто-то тащить веревкою на колокольню. «Кто это тащить меня?» жалобно проговорилъ Иванъ Федоровичъ. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты—колоколь!» «Нѣтъ, я не колоколь, я Иванъ Федоровичъ!» кричалъ онъ. «Да, ты колоколь», говорилъ, проходя мимо, полковникъ П\*\*\* пѣхотнаго полка. То вдругъ снилось ему, что жена вовсе не человѣкъ, а какая-то шерстяная матерія; что онъ въ Могилевѣ приходитъ въ лавку къ купцу. «Какой прикажете матеріи?» говоритъ купецъ: «вы возьмите жены, это самая модная матерія! очень добротная! изъ нея всѣ теперь шьютъ себѣ сюртуки». Купецъ мѣрять и рѣжетъ жену. Иванъ Федоровичъ беретъ ее подъ мышку, идетъ къ жиду, портному. — «Нѣтъ», говоритъ жидъ: «это дурная матерія! изъ нея никто не шьетъ себѣ сюртука...»

Въ страхъ и безпамятствѣ просыпался Иванъ Федоровичъ; холодный потъ лился съ него градомъ.

Какъ только всталъ онъ поутру, тотчасъ обратился къ

гадательной книгѣ, въ концѣ которой одинъ добродѣтельный книгопродавецъ, по своей рѣдкой добротѣ и безкорыстію, помѣстилъ сокращенный синодальный словарь. Но тамъ совершенно не было ничего, даже хотя немного похожаго на такой безсвязанный сонъ.

Между тѣмъ въ головѣ тетушки созрѣлъ совершенно новый замыселъ, о которомъ узнаете въ слѣдующей главѣ.



## ЗАКОЛДОВАННОЕ МѢСТО.

Б Ы Л Ъ,

*рассказанная дьячкомъ \*\*\*ской церкви.*

Ей-Богу, уже надоѣло рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, въ послѣдній разъ. Да, вотъ вы говорили насчетъ того, что человекъ можетъ совладать, какъ говорить, съ нечистымъ духомъ. Оно, конечно, то-есть, если хорошенько подумать, бывають на свѣтѣ всякіе случаи... Однакожь, не говорите этого: захочетъ обморочить дьявольская сила, то обморочить; ей-Богу, обморочить!.. Вотъ извольте видѣть: насъ всѣхъ у отца было четверо; я тогда былъ еще дурень, всего мнѣ было лѣтъ одиннадцать... такъ нѣтъ же, не одиннадцать: я помню какъ теперь, когда разъ побѣжалъ-было на четверенькахъ и сталъ лаять по-собачьи, батъко закричалъ на меня, покачавъ головою: «Эй, Оома, Оома! тебя женить пора, а ты дурѣешь, какъ молодой лошаки!»

Дѣдъ былъ еще тогда живъ и на ноги,—пусть ему легко игнется на томъ свѣтѣ,—довольно крѣпокъ. Бывало, вздумаетъ... Да что-жь этакъ рассказывать? Одинъ выгребаетъ изъ печки цѣлый часъ уголь для своей трубки, другой зачѣмъ-то побѣжалъ за комору. Что, въ самомъ дѣлѣ!.. Добро бы поневолѣ, а то вѣдь сами же напросились... Слушать, такъ слушать!

Батъко еще въ началѣ весны повезъ въ Крымъ на продажу табакъ; не помню только, два или три воза снаря-



дыл онъ; табакъ былъ тогда въ цѣнѣ. Съ собою взялъ онъ трехгодового брата — приучать заранѣе чумаковать; насъ осталось: дѣдъ, мать, я, да братъ, да еще братъ. Дѣдъ за-сѣялъ бабтанъ на самой дорогѣ и перешелъ жить въ курень; взялъ и насъ съ собою гонять воробьевъ и сорокъ съ бабтану. Намъ это было, нельзя сказать, чтобы худо: бывало, наѣвшись въ день столько огурцовъ, дынь, рѣпы, цыбули, гороху, что въ животѣ, ей-Богу, какъ будто пѣтухи кричатъ. Ну, оно притомъ же и прибыльно: проѣзжіе толкуются по дорогѣ, всякому захочется полакомиться арбузомъ или дынею, да изъ окрестныхъ хуторовъ, бывало, нанесутъ на обмѣнъ куръ, яицъ, индѣекъ. Житіе было хорошее.

Но дѣду болѣе всего любо было то, что чумаковъ каждый день возовъ пятьдесятъ проѣдетъ. Народъ, знаете, бывалый: пойдетъ рассказывать — только уши развѣшивай! А дѣду это все равно, что голодному галушки. Иной разъ, бывало, случится встрѣча съ старыми знакомыми, — дѣда всякій уже зналъ, — можете посудить сами, что бываетъ, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то, да тогда-то. Такое-то, да такое-то было... Ну, и разольются! вспомнятъ, Богъ знаетъ, когдашнее.

Разъ, — ну, вотъ, право, какъ будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться, дѣдъ ходилъ по бабтану и снималъ съ кавуновъ листья, которыми прикрывалъ ихъ днемъ, чтобы не понеклись на солнцѣ.

«Смотри, Остапъ», говорю я брату: «вонъ чумаки ѣдутъ!»

«Гдѣ чумаки?» сказалъ дѣдъ, положивши значокъ на большой дынь, чтобы на случай не съѣли хлопцы.

По дорогѣ тянулось, точно, возовъ шесть. Впереди шелъ чумакъ уже съ сизыми усами. Не донедши шаговъ — какъ бы вамъ сказать? — на десять, онъ остановился.

«Здорово, Максимъ! Вотъ привелъ Богъ гдѣ увидѣться!»

Дѣдъ прищурилъ глаза: «А! здорово, здорово! Откуда Богъ несетъ? И Болячка здѣсь? Здорово, здорово, братъ! Что за дьяволъ! да тутъ всѣ: и Крутотрыщенко! и Печерыця! и Ковелекъ! и Стецько! Здорово! А, га, га! го, го!..» И пошли цѣловаться.

Воловъ распрягли и пустили пастись на траву, возы оставили на дорогѣ; а сами сѣли всѣ въ кружокъ впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тутъ до люлекъ? за розсказнями, да за раздобарами врядъ ли и по одной до-

сталось. Послѣ полдника сталъ дѣдъ потчивать гостей дынями. Вотъ каждый, взявши по дынѣ, обчистилъ ее чистенько ножикомъ (калачи всѣ были тертые, мыкали не мало, знали уже, какъ ѣдятъ въ свѣтѣ,—пожалуй и за панискій столъ, хоть сейчасъ, готовы сѣсть); обчистивши хорошенько, проткнулъ каждый пальцемъ дырочку, выпилъ изъ нея кисель, сталъ рѣзать по кусочкамъ и класть въ ротъ.

«Что-жъ вы, хлопцы», сказалъ дѣдъ: «рты свои разинули? танцуйте, собачьи дѣти! Гдѣ, Остапъ, твоя сопилка? А ну-ка, козачка! Ома, берись въ боки! Ну! вотъ такъ! Гей, голы!»

Я былъ тогда малый подвижной. Старость проклятая! Теперь уже не пойду такъ; вмѣсто всѣхъ выкрутасовъ, ноги только спотыкаются. Долго глядѣлъ дѣдъ на насъ, сидя съ чумаками. Я замѣчаю, что у него ноги не постоятъ на мѣстѣ: такъ, какъ будто ихъ что-нибудь дергаетъ.

«Смотри, Ома», сказалъ Остапъ: «если старый хрѣнъ не пойдетъ танцовать!»

Что-жъ вы думаете? не успѣлъ онъ сказать — не вытерпѣлъ старичина! Захотѣлось, знаете, прихвастнуть передъ чумаками. «Вишь, чортовы дѣти! развѣ такъ танцуютъ? Вотъ какъ танцуютъ!» сказалъ онъ, поднявшись на ноги, протянувъ руки и ударивъ каблуками.

Ну, нечего сказать, танцовать-то онъ танцовать такъ, что хоть бы и съ гетьманшею. Мы посторонились, и пошелъ хрѣнъ вывертывать ногами по всему гладкому мѣсту, которое было возлѣ грядки съ огурцами. Только-что дошелъ, однакожъ, до половины и хотѣлъ разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку, — не поднимаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошелъ до середины — не беретъ! Что хочъ дѣлай — не беретъ, да и не беретъ! Ноги, какъ деревянные, стали. «Вишь, дьявольское мѣсто! вишь, сатанинское навожденіе! Впутается же Иродъ, врагъ рода человѣческаго!» Ну, какъ надѣлать сраму передъ чумаками? Пустился снова и началъ чесать дробно, мелко, любо глядѣтъ; до середины — нѣтъ! не вытанцовывается, да и полно! «А, шельмовскій сатана! чтобъ ты подавился гнилою дынею! чтобъ еще маленькимъ издохнулъ, собачій сынъ! Вотъ на старость надѣлать стыда какого!..» И въ самомъ дѣлѣ сзади кто-то засмѣялся.

Оглянулся: ни баштану, ни чумаковъ, ничего; назадъ, впереди, по сторонамъ—гладкое поле. «Э! ссс... вотъ тебѣ на!» Началь прищуривать глаза—мѣсто, кажись, не совсѣмъ незнакомое: сбоку лѣсъ, изъ-за лѣса торчалъ какой-то шестъ и видѣлся прочь-далеко въ небѣ. Чтѣ за пропасть? Да это годъ бѣтня, чтѣ у попа въ огородѣ! Съ другой стороны такъ что-то сѣрѣтъ; взгляды: гумно волостного писаря. Вотъ куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругомъ, наткнулся онъ на дорожку. Мѣсяца не было: бѣлое пятно мелькало вмѣсто него сквозь тучу. «Быть завтра большому вѣтру!» подумаль дѣдъ. Глядь—въ сторонѣ отъ дорожки на могилѣ вспыхнула свѣчка. «Вишь!» Сталь дѣдъ, и руками подперся въ боки, и глядитъ: свѣчка потухла; вдали и немного подальѣ загорѣлась другая. «Кладъ!» закричалъ дѣдъ: «я ставлю, Богъ знаетъ чтѣ, если не кладъ!» И уже поплевалъ-было въ руки, чтобы копать, да спохватился, чтѣ при немъ ни заступа, ни лопаты. «Эхъ, жаль! Ну,—кто знаетъ?—можетъ-быть, стѣтъ только поднять дернъ, а онъ тутъ и лежитъ, голубчикъ! Нечего дѣлать, назначить, по крайней мѣрѣ, мѣсто, чтобы не позабыть послѣ!»

Вотъ перетянувши сломленную, видно, вихремъ, поря-дочную вѣтку дерева, навалилъ онъ ее на ту могилку, гдѣ горѣла свѣчка, и пошелъ по дорожкѣ. Молодой дубовый лѣсъ сталъ рѣдѣтъ; мелькнулъ плетень. «Ну, такъ! не говориль ли я», подумаль дѣдъ: «что это попова левада? Вотъ и плетень его! Теперь и версты нѣтъ до баштана».

Поздненько, однакожъ, пришелъ онъ домой, и галушекъ не захотѣлъ ѣсть. Разбудивши брата Остапа, спросилъ только, давно ли уѣхали чумаки, и завернулся въ тулупъ. И когда тотъ началъ-было спрашивать: «А куда тебя, дѣдъ, черти дѣли сегодня?» — «Не спрашивай», сказалъ онъ, завертываясь еще крѣпче: «не спрашивай, Остапъ: не то — посѣдѣешь!» И захрапѣлъ такъ, что воробьи, которые забрались-было на баштанъ, поподымались съ перепугу на воздухъ. Но гдѣ ужъ тамъ ему спалось? Нечего сказать, хитрая была бестія, — дай Боже ему царствіе небесное! — умѣлъ отдѣлаться всегда. Иной разъ такую запоетъ пѣсню, что губы станешь кусать.

На другой день, чуть только стало смеркаться въ полѣ, дѣдъ надѣлъ свитку, подпоясался, взялъ подъ мышку заступъ и лопату, надѣлъ на голову шапку, выпилъ кухоль сыровцу,

утеръ губы полою, и пошелъ прямо къ попову огороду. Вотъ минулъ и плетень, и низенькій дубовый лѣсъ. Промежъ деревьевъ вьется дорожка и выходитъ въ поле; кажись, та самая. Вышелъ и на поле—мѣсто точь-въ-точь вчерашнее: вонъ и голубятня торчитъ; но гумна не видно. «Нѣтъ, это не то мѣсто. То, стало-быть, подальше; нужно, видно, поверотить къ гумну!» Поверотилъ назадъ, сталъ идти другою дорогою—гумно видно, а голубятни нѣтъ! Опять поверотилъ поближе къ голубятнѣ—гумно спряталось. Въ полѣ, какъ нарочно, сталъ накрапывать дождикъ. Побѣжалъ снова къ гумну—голубятня пропала; къ голубятнѣ—гумно пропало.

«А чтобъ ты, проклятый сатана, не дождалъ дѣтей своихъ видѣть!» А дождь пустился какъ изъ ведра.

Вотъ, скинувши новые сапоги и обвернувши въ хустку, чтобы не покорибились отъ дождя, задалъ онъ такого бѣгуна, какъ будто панскій иноходецъ. Влѣзъ въ курень, промокши насквозь, накрылся тулупомъ и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать чорта такими словами, какихъ я еще отъ роду не слыхивалъ. Признаюсь, я бы, вѣрно, покраснѣлъ, если бы случилось это среди дня.

На другой день проснулся, смотрю: уже дѣдъ ходитъ по баштану, какъ ни въ чемъ не бывало, и прикрываетъ лопухомъ арбузы. За обѣдомъ опять старичина разговорился, сталъ пугать меньшого брата, что онъ обмѣняеть его на куръ вмѣсто арбуза; а, пообедавши, сдѣлалъ самъ изъ дерева пищикъ и началъ на немъ играть; и далъ намъ забавляться дыню, свернувшуюся въ три погибели, словно змѣю, которую называлъ онъ турецкою. Теперь такихъ дынь я нигдѣ и не видывалъ: правда, сѣмена ему что-то издалека достались.

Вечеру, уже повечерявши, дѣдъ пошелъ съ заступомъ прокопать новую грядку для позднихъ тыквъ. Сталъ проходить мимо того закоддованнаго мѣста, не вытерпѣлъ, чтобы не проворчать сквозь зубы: «проклятое мѣсто!» вошелъ на середину, гдѣ не вытанцовалось позавчера, и ударилъ въ сердцахъ заступомъ. Глядь—вокругъ него опять то же самое поле: съ одной стороны торчитъ голубятня, а съ другой—гумно. «Ну, хорошо, что догадался взять съ собою заступъ. Вонъ и дорожка! вонъ и могилка стоитъ! вонъ и вѣтка навалена! вонъ-вонъ горить и свѣчка! Какъ бы только не ошибиться!»

Потихоньку побѣжалъ онъ, поднявши заступъ вверхъ, какъ будто бы хотѣлъ имъ попотчивать кабана, затесавшагося на баштанъ, и остановился передъ могилою. Свѣчка погасла: на могилѣ лежалъ камень, заросшій травой. «Этотъ камень нужно поднять!» подумалъ дѣдъ, и началъ обкапывать его со всѣхъ сторонъ. Великъ проклятый камень! Вотъ, однакожь, упершись крѣпко ногами въ землю, пихнулъ онъ его съ могилы. «Гу!» пошло по долиня. «Туда тебѣ и дорога! теперь живѣе пойдешь дѣло».

Тутъ дѣдъ остановился, досталъ рожокъ, насыпалъ на булакъ табакъ, и готовился-было поднести къ носу, какъ вдругъ надъ головою его «чихи!» чихнуло что-то такъ, что покачнулись деревья и дѣду забрызгало все лицо. «Отворотился хоть бы въ сторону, когда хочешь чихнуть!» проговорилъ дѣдъ, протирая глаза. Осмотрѣлся — никого нѣтъ. «Нѣтъ, не любить, видно, чортъ табакъ!» продолжалъ онъ, кладя рожокъ въ пазуху и принимаясь за заступъ. «Дурень же онъ, а такого табакъ ни дѣду, ни отцу его не доводилось нюхать!» Сталъ копать — земля мягкая, заступъ такъ и уходитъ. Вотъ что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидалъ онъ котель.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» вскрикнулъ дѣдъ, подсовывая подъ него заступъ.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» запищалъ птичій носъ, клюнувши котель.

Посторонился дѣдъ и выпустилъ заступъ.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» заблеяла баранья голова съ верхушки дерева.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» заревѣлъ медвѣдь, высушивши изъ-за дерева свое рыло. Дрожь проняла дѣла.

«Да тутъ страшно слово сказать!» проворчалъ онъ про себя.

«Тутъ страшно слово сказать!» пискнулъ птичій носъ.

«Страшно слово сказать!» заблеяла баранья голова.

«Слово сказать!» ревулъ медвѣдь.

«Гмъ...» сказалъ дѣдъ, и самъ перепугался.

«Гмъ!» пропищалъ носъ.

«Гмъ!» проблеялъ баранъ.

«Гумъ!» заревѣлъ медвѣдь.

Со страхомъ оборотился дѣдъ: Боже ты мой, какая ночь! ни звѣздъ, ни мѣсяца; вокругъ провалы; подъ ногами круча безъ дна; надъ головою свѣсилась гора, и вотъ-вотъ, кажись,

такъ и хочеть оборваться на него! И чудится дѣду, что изъ-за нея мигаетъ какая-то хара: у! у! носъ—какъ мѣхъ въ кузницѣ; ноздри—хоть по ведру воды влей въ каждую! губы, ей-Богу, какъ двѣ колоды! красныя очи выкатились наверхъ, и еще и языкъ высунула, и дразнить! «Чортъ съ тобою!» сказалъ дѣдъ, бросивъ котель. «На тебѣ и кладъ твой! Экая мерзостная рожа!» И уже ударился-было бѣжать, да оглядѣлся и сталъ, увидѣвши, что все было попрежнему. «Это только пугаетъ нечистая сила!»

Принялся снова за котель—нѣтъ, тяжело! Чтò дѣлать? Тутъ же не оставить! Вотъ, собравши всѣ силы, ухватился онъ за него руками: «Ну, разомъ, разомъ! еще, еще!» и вытащилъ. «Ухъ! теперь понюхать табаку!»

Досталъ рожокъ. Прежде, однакожъ, чѣмъ сталъ насыпать, осмотрѣлся хорошенько, нѣтъ ли кого. Кажись, что нѣтъ; но вотъ чудится ему, что пень дерева пыхтитъ и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза, ноздри раздулись, носъ поморщился, и вотъ, такъ и собирается чихнуть. «Нѣтъ, не понюхаю табаку!» подумалъ дѣдъ, спрятавши рожокъ: «опять заплюетъ сатана очи!» Схватилъ скорѣе котель и давай бѣжать, сколько доставало духу; только слышать, что сзади что-то такъ и чешетъ прутьями по ногамъ... «Ай! ай! ай!» покрикивалъ только дѣдъ, ударивъ во всю мочь; и какъ добѣжалъ до попова огорода, тогда только перевелъ немного духъ.

«Куда это зашелъ дѣдъ?» думали мы, дожидаясь часа три. Уже съ хутора давно пришла мать и принесла горшокъ горячихъ галушекъ. Нѣтъ, да и нѣтъ дѣда! Стали опять вечерять сами. Постѣ вечера вымыла мать горшокъ и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокругъ все были гряды; какъ видить, идетъ прямо къ ней навстрѣчу кухва. На небѣ было—таки темненько. Вѣрно, кто-нибудь изъ хлопцевъ, шая, спрятался сзади и подталкиваетъ ее. «Вотъ кстати, сюда вылить помои!» сказала и вылила горячіе помои.

«Ай!» закричало басомъ. Глядь—дѣдъ. Ну, кто его знаетъ! Ей-Богу, думали, что бочка лѣзетъ! Признаюсь, хоть оно и грѣшно немного, а, право, смѣшно показалось, когда сѣдая голова дѣда вся была окунута въ помои и обвѣшала корками отъ арбузовъ и дынь.

«Вишь, чортова баба!» сказалъ дѣдъ, обтирая голову по-

лою: «какъ опарила! какъ будто свинью передъ Рождествомъ! Ну, хлопцы, будетъ вамъ теперь на бублики! Будете, собачьи дѣти, ходить въ золотыхъ жупанахъ! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вамъ принесъ!» сказать дѣдъ и открылъ котелъ.

Что-жъ бы, вы думали, такое тамъ было? Ну, по малой мѣрѣ, подумавши хорошенько: а? золото? Вотъ то-то, что не золото: соръ, дрязгъ... стыдно сказать, что такое. Плюнулъ дѣдъ, кинулъ котелъ и руки послѣ того вымылъ.

И съ той поры заклиалъ дѣдъ и насъ вѣрить когда-либо чорту. «И не думайте!» говорилъ онъ часто намъ: «все, что ни скажетъ врагъ Господа Христа, все солжетъ, собачій сынъ! У него правды и на копѣйку нѣтъ!» И, бывало, чуть только услышитъ старикъ, что въ иномъ мѣстѣ не спокойно: «А, ну-те, ребята, давайте крестить!» закричитъ къ намъ: «такъ его! такъ его! хорошенько!» и начнетъ класть кресты. А то проклятое мѣсто, гдѣ не вытанцовалось, загородилъ плетнемъ, велѣлъ кидать все, что ни есть непотребнаго, весь бурьянъ и соръ, который выгребалъ изъ баштана.

Такъ вотъ какъ морочить нечистая сила человѣка! Я знаю хорошо эту землю: послѣ того нанимали ее у батька подъ баштанъ сосѣдніе козаки. Земля славная, и урожай всегда бывалъ на диво; но на заколдованномъ мѣстѣ никогда не было ничего добраго. Засѣютъ, какъ слѣдуетъ, а взойдетъ такое, что и разобрать нельзя: арбузъ — не арбузъ, тыква — не тыква, огурецъ — не огурецъ... чортъ знаетъ, что такое!

к о н е ц ъ .

## ПРИМѢЧАНІЯ РЕДАКТОРА.

---

Предисловіе къ первому изданію «Сочиненій Н. Гоголя». Это изданіе, напечатанное въ Петербургѣ въ 1842 году, подъ редакціей Н. Я. Прокоповича, лицейскаго товарища Гоголя, состоитъ изъ четырехъ томовъ. Цензурное разрѣшеніе перваго и втораго тома помѣчено: «іюня 5-го дня 1842 года»; третій томъ разрѣшенъ цензурою «15 сентября», четвертый — «30 сентября 1842 года». Первый томъ заключаетъ въ себѣ «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», второй — «Миргородъ». Въ третьемъ томѣ помѣщены «Повѣсти»: «Невскій проспектъ», «Носъ», «Портретъ», «Шинель», «Коляска», «Записки сумасшедшаго», «Римъ». Въ четвертый томъ вошли «Комедіи»: «Ревизоръ» (съ приложеніями: «Отрывокъ изъ письма къ одному литератору» и «Двѣ сцены, выключенныя, какъ замедлявшія теченіе піесы») и «Женитьба»; «Драматическіе отрывки и отдѣльныя сцены»: 1) «Игроки», 2) «Утро дѣловаго человѣка», 3) «Тяжба», 4) «Лакейская», 5) «Отрывокъ» и 6) «Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи». Въ концѣ 1850 года Гоголь задумалъ напечатать новое изданіе своихъ «Сочиненій», при чемъ предполагалъ перепечатать четыре тома перваго изданія и прибавить къ нимъ на первый разъ пятый томъ, какъ видно изъ слѣдующаго наброска «Предисловія», къ задуманному изданію: «Книга «Переписка съ друзьями» произвела большіе толки вкривъ и вкосъ. Несмотря на то, что много было такихъ обвиненій, отъ которыхъ содрогнулось во мнѣ сердце, и которыхъ я бы, можетъ-быть, не въ силахъ былъ бы сдѣлать и дурному человѣку, я рѣшился воспользо-ваться всякимъ замѣчаніемъ. Вновь пересмотрѣлъ все, въ однихъ умѣрилъ неприличныя тонъ, другія вовсе оставилъ и нѣсколько прибавилъ; къ этому присоединилъ нѣсколько статей изъ «Арабесокъ» и кое-какія, доселѣ неизданныя, такъ что пятый томъ составилъ въ себѣ почти всѣ мои теоретическія понятія, какія я имѣлъ о литературѣ и объ искусствѣ и о томъ, что должно двигать литературу нашу. Все же прочее можетъ *современемъ* составить отдѣльный томъ, подъ названіемъ «юношескихъ опытовъ». При жизни Гоголя отпечатано было по *девятил* листовъ перваго и втораго тома, *тринадцатъ* — третьяго и *семь* — четвертаго. Небольшія стилистическія измѣненія, сдѣланныя авторомъ



на корректурахъ этихъ листовъ, немногочисленны и маловажны. Это изданіе конечно было племянникомъ Гоголя Н. П. Трушковскимъ и вышло въ 1855 году въ четырехъ томахъ. Въ 1856 году къ нему прибавлены два новые тома.

**Вечера на хуторѣ близъ Диканьки. Книжка первая.** Вышла въ свѣтъ въ началѣ сентября 1831 года; цензурное разрѣшеніе помѣчено: «26 мая 1831 года».

1. Сарочинская ярмарка. Написана въ 1830 году; легкія стилистическія поправки сдѣланы въ 1851 году и появились во второмъ изданіи «Сочиненій Гоголя».
2. Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. Первоначальная редакція напечатана была, безъ имени автора, въ февральской и мартовской книжкахъ «Отечественныхъ Записокъ» 1830 года, подъ заглавіемъ: «Бисаврюкъ, или вечеръ наканунѣ Ивана Купала». *Малороссійская повесть* (изъ народнаго преданія), *разсказанная дячкомъ Покровской церкви*. Передѣлывая эту повѣсть для «Вечеровъ», Гоголь устранилъ изъ нея поправки, сдѣланныя Свинымъ при напечатаніи въ «Отечественныхъ Запискахъ», и предпослалъ повѣсти небольшое предисловіе (стр. 89—90), въ которомъ намекнулъ на искаженіе ея Свинымъ. Поправлена во 2-мъ изд. «Сочиненій».
3. Майская ночь, или утопленица. Набросана: въ 1829 г. начерно; отдѣлана для «Вечеровъ». Слегка исправлена въ 1851 г.
4. Пропавшая грамота. Написана, вѣроятно, въ 1831 г. Сдѣланы поправки во второмъ изданіи «Сочиненій».

**Вечера на хуторѣ близъ Диканьки. Книжка вторая.** Вышла въ свѣтъ въ началѣ марта 1832 года; цензурное разрѣшеніе помѣчено: «Генваря 31 дня 1832 года».

1. Ночь передъ Рождествомъ. Написана въ 1831 г. Слогъ слегка исправленъ въ 1851 г.
2. Страшная месть. Написана, вѣроятно, въ 1831 году. Въ первомъ изданіи «Вечеровъ», послѣ заглавія «Страшная месть», прибавлено въ скобкахъ: «Старинная быль». Уже во второмъ изданіи «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки» (1836 г.) слова: «Старинная быль» выкинуты и затѣмъ не вносились ни въ одно изданіе «Сочиненій Гоголя».
3. Иванъ Федоровичъ Шпонька и его тетушка. О времени написанія повѣсти нѣтъ извѣстій.
4. Заколдованное мѣсто. Время сочиненія разсказа не извѣстно.

# Оглавление

## ПЕРВАГО ТОМА.

|                                                             | СТР. |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Предувѣдомленіе къ одиннадцатому изданію. . . . .           | 5    |
| Предисловіе къ пятнадцатому изданію. . . . .                | 11   |
| Біографическій очеркъ. В. И. Шенрона. . . . .               | 13   |
| Предисловіе къ первому изданію Сочиненій Н. Гоголя. . . . . | 53   |
| <b>Вечера на хуторѣ близъ Диканьки.</b>                     |      |
| <i>Часть первая.</i>                                        |      |
| Предисловіе . . . . .                                       | 57   |
| Сорочинская ярмарка . . . . .                               | 63   |
| Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. . . . .                       | 89   |
| Майская ночь, или утопленница . . . . .                     | 105  |
| Пропавшая грамота . . . . .                                 | 134  |
| <i>Часть вторая.</i>                                        |      |
| Предисловіе . . . . .                                       | 146  |
| Ночь передъ Рождествомъ . . . . .                           | 149  |
| Страшная месть. . . . .                                     | 194  |
| Иванъ Ѳеодоровичъ Шпонька и его тетушка. . . . .            | 234  |
| Заколдованное мѣсто . . . . .                               | 261  |
| Примѣчанія редактора . . . . .                              | 269  |





# СОЧИНЕНІЯ Н. В. ГОГОЛЯ

---

ИЗДАНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ.

РЕДАКЦІЯ

**Н. С. Тихонравова.**

Съ біографією Н. В. Гоголя, составленной В. И. Шенрокомъ, двумя портретами Гоголя, гравированными на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ, двумя автографами и тремя собственноручными рисунками.

---

**ТОМЪ ВТОРОЙ.**

---

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1900 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Издание А. Ф. МАРКСА.  
1900.



Типографія А. Ф. Маркса, Ср. Подъяч., № 1.

# МИРГОРОДЪ.



## ПОВѢСТИ,

СЛУЖАЩІЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ

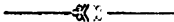
### ВЕЧЕРОВЪ НА ХУТОРЪ ВЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

Миргородъ нарочито невеликій при  
рѣкѣ Хоролѣ городъ. Имѣеть 1 канатную  
фабрику, 1 кирпичный заводъ, 4 водя-  
ныхъ и 45 вѣтряныхъ мельницъ.

Географія Зябловскаго.

Хотя въ Миргородѣ пекутся бублики  
изъ чернаго тѣста, но довольно вкусны.

Изъ записокъ одного путешественника.



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.





## СТАРОСВѢТСКІЕ ПОМѢЩИКИ.

Я очень люблю скромную жизнь тѣхъ уединенныхъ владѣтелей отдаленныхъ деревень, которыхъ въ Малороссіи обыкновенно называютъ «старосвѣтскими», которые, какъ дряхлые живописные домики, хороши своею простотою и совершенною противоположностью съ новымъ гладенькимъ строеніемъ, котораго стѣнъ не промылъ еще дождь, крыши не покрыла зеленая плѣсень, и лишенное штукатурки крыльцо не выказываетъ своихъ красныхъ кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту въ сферу этой необыкновенно уединенной жизни, гдѣ ни одно желаніе не перелетаетъ за частоколъ, окружающій небольшой дворикъ, за плетень сада, наполненнаго яблонями и сливами, за деревенскія избы, его окружающія, пошатнувшіяся на сторону, осѣянные вербами, бузиною и грушами. Жизнь ихъ скромныхъ владѣтелей такъ тиха, такъ тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желанія и неспокойныя порожденія злого духа, возмущающія міръ, вовсе не существуютъ, и ты ихъ видишь только въ блестящемъ, сверкающемъ сновидѣніи. Я отсюда вижу низенькій домикъ съ галлереею изъ маленькихъ почернѣлыхъ деревянныхъ столбиковъ, идущихъ вокругъ всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни оконъ, не замочась дождемъ. За нимъ душистая черемуха, цѣлые ряды низенькихъ фруктовыхъ деревъ, потопленныхъ багрянцемъ вишенъ и яхонтовымъ моремъ сливъ, покрытыхъ свинцовымъ матомъ; развѣсистый кленъ, въ тѣни котораго разостланъ, для отдыха,



[коверь;] передъ домомъ просторный дворъ съ низенькою свѣжею травкою, съ протоптанною дорожкой отъ амбара до кухни и отъ кухни до барскихъ покоевъ; длинношейный гусь, пьющій воду, съ молодыми и нѣжными, какъ пухъ, гусятами; частоколъ, обвѣшанный связками сушеныхъ грушъ и яблокъ и провѣтривающимися коврами; возъ съ дынями, стоящій возлѣ амбара; отпряженный волъ, лѣниво лежащій возлѣ него, — все это для меня имѣетъ неизъяснимую прелесть, можетъ-быть, оттого, что я уже не вижу ихъ и что намъ мило все то, съ чѣмъ мы въ разлукѣ. Какъ бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъѣзжала къ крыльцу этого домика, душа принимала удивительно пріятное и спокойное состояніе; лошади весело подкатывали подъ крыльцо; кучеръ преспокойно слѣзалъ съ козелъ и набивалъ трубку, какъ-будто бы онъ пріѣзжалъ въ собственный домъ свой; самый лай, который поднимали флегматическіе барбосы, бровки и жучки, былъ пріятенъ моимъ ушамъ. Но болѣе всего мнѣ нравились самые владѣтели этихъ скромныхъ уголковъ—старички, старушки, заботливо выходявшіе навстрѣчу. Ихъ лица мнѣ представляются и теперь иногда въ шумѣ и толпѣ среди модныхъ фраковъ, и тогда вдругъ на меня находитъ полусонъ и мерещется бывшее. На лицахъ у нихъ всегда написана такая доброта, такое радушіе и чистосердечіе, что невольно отказываешься, хотя по крайней мѣрѣ на короткое время, отъ всѣхъ дерзкихъ мечтаній и незамѣтно переходишь всѣми чувствами въ низменную буколическую жизнь.

( Я до сихъ поръ не могу позабыть двухъ старичковъ прошедшаго вѣка, которыхъ, увы! теперь уже нѣтъ, но душа моя полна еще до сихъ поръ жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображаю себѣ, что пріѣду со временемъ опять на ихъ прежнее, нынѣ опустѣлое жилище и увижу кучу развалившихся хатъ; заглохшій прудъ, заросшій ровъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ низенькій домикъ — и ничего болѣе. Грустно! мнѣ заранѣе грустно! Но обратимся къ разсказу.

Аѳанасій Ивановичъ Товстогубъ и жена его Пульхерія Ивановна Товстогубиха, по выраженію окружающихъ мужиковъ, были тѣ старики, о которыхъ я началъ разсказывать. Если бы я былъ живописецъ и хотѣлъ изобразить на полотнѣ Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избралъ дру-

гого оригинала, кромѣ ихъ. Аѳанасію Ивановичу было шестьдесятъ лѣтъ, Пульхерію Ивановнѣ пятьдесятъ пять. Аѳанасій Ивановичъ былъ высокаго роста, ходилъ всегда въ бараньемъ тулупчикѣ, покрытомъ камлотомъ, сидѣлъ согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывалъ или, просто, слушалъ. Пульхерія Ивановна была нѣсколько серьезна, почти никогда не смѣялась; но на лицѣ и въ глазахъ ея было написано столько доброты, столько готовности угостить васъ всѣмъ, что было у нихъ лучшаго, что вы, вѣрно, нашли бы улыбку уже черезчуръ приторною для ея добраго лица. Легкія морщины на ихъ лицахъ были расположены съ такою пріятностью, что художникъ вѣрно бы украсть ихъ. По нимъ можно было, казалось, читать всю жизнь ихъ, ясную, спокойную, — жизнь, которую вели старыя національныя, простосердечныя и вмѣстѣ богатыя фамиліи, всегда составляющія противоположность тѣмъ низкимъ малороссіянамъ, которые выдираются изъ дегтярей, торгашей, наполняютъ, какъ саранча, палаты и присутственныя мѣста, дерутъ послѣднюю копейку съ своихъ же земляковъ, наводняютъ Петербургъ ябедниками, наживаютъ, наконецъ, капиталъ и торжественно прибавляютъ къ фамиліи своей, оканчивающейся на о, слогъ *овъ*. Нѣтъ, они не были похожи на эти презрѣнныя и жалкія творенія, такъ же какъ и всѣ малороссійскія старинныя и коренныя фамиліи.

Нельзя было глядѣть безъ участія на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу *ты*, но всегда *вы*: вы, Аѳанасій Ивановичъ! вы, Пульхерія Ивановна. «Это вы продавали стулъ, Аѳанасій Ивановичъ?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерія Ивановна: это я». Они никогда не имѣли дѣтей, и оттого вся привязанность ихъ сосредоточивалась на нихъ же самихъ. Когда-то, въ молодости, Аѳанасій Ивановичъ служилъ въ компанейцахъ, былъ послѣ секундъ-майоромъ; но это уже было очень давно, уже прошло, уже самъ Аѳанасій Ивановичъ почти никогда не вспоминалъ объ этомъ. Аѳанасій Ивановичъ женился тридцати лѣтъ, когда былъ молодцомъ и носилъ шитый камзолъ; онъ даже увезъ довольно ловко Пульхерію Ивановну, которую родственники не хотѣли отдать за него; но и объ этомъ уже онъ очень мало помнилъ, по крайней мѣрѣ, никогда не говорилъ.

Всѣ эти давнія, необыкновенныя происшествія замѣни-

лись спокойною и уединенною жизнью, тѣми дремлющими и вмѣстѣ гармоническими грѣзами, которыя ощущаете вы, сидя на деревенскомъ балконѣ, обращенномъ въ садъ, когда прекрасный дождь роскошно шумить, хлопая по древеснымъ листьямъ, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тѣмъ радуга крадется изъ-за деревьевъ и, въ видѣ полуразрушеннаго свода, свѣтитъ матовыми семью цвѣтами на небѣ, — или когда укачиваетъ васъ коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепелъ гремитъ, и душистая трава, вмѣстѣ съ хлѣбными колосьями и полевыми цвѣтами, лѣзетъ въ дверцы коляски, пріятно ударяя васъ по рукамъ и лицу.

Онъ всегда слушалъ съ пріятною улыбкою гостей, пріѣзжавшихъ къ нему; иногда и самъ говорилъ, но больше разспрашивалъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ стариковъ, которые надоедаютъ вѣчными похвалами старому времени или порицаніями новаго: онъ, напротивъ, разспрашивая васъ, показывалъ большое любопытство и участіе къ обстоятельствамъ вашей собственной жизни, удачамъ и неудачамъ, которыми обыкновенно интересуются всѣ добрые старики, хотя оно нѣсколько похоже на любопытство ребенка, который въ то время, когда говоритъ съ вами, разсматриваетъ печатку вашихъ часовъ. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.

Комнаты домика, въ которомъ жили наши старички, были маленькія, низенькія, какія обыкновенно встрѣчаются у старосвѣтскихъ людей. Въ каждой комнатѣ была огромная печь, занимавшая почти третью часть ея. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Аѳанасій Ивановичъ, и Пульхерія Ивановна очень любили теплоту. Топки ихъ были всѣ проведены въ сѣни, всегда почти до самаго потолка наполненные соломой, которую обыкновенно употребляютъ въ Малороссіи вмѣсто дровъ. Трескъ этой горящей соломы и оснѣженіе дѣлають сѣни чрезвычайно пріятными въ зимній вечеръ, когда пыльная молодежь, прозябнувши отъ преслѣдованія за какой-нибудь смуглянкой, вбѣгаетъ въ нихъ, похлопывая въ ладоши. Стѣны комнаты убраны были нѣсколькими картинами и картинками въ старинныхъ узенькихъ рамахъ. Я увѣренъ, что сами хозяева давно позабыли ихъ содержаніе, и если бы нѣкоторые изъ нихъ были увесены, то они бы, вѣрно, этого не замѣтили. Два портрета

было больших, писанных масляными красками; одинъ представлялъ какого-то архіерея, другой Петра III; изъ узенькихъ рамъ глядѣла герцогиня Лавальеръ, запачканная мухами. Вокругъ оконъ и надъ дверями находилось множество небольшихъ картинокъ, которыя какъ-то привыкаешь почитать за пятна на стѣнѣ и потому ихъ вовсе не разсматриваешь. Полъ почти во всѣхъ комнатахъ былъ глиняный, но такъ чисто вымазанный и содержавшійся съ такою опрятностію, съ какою, вѣрно, не содержался ни одинъ паркетъ въ богатомъ домѣ, лѣниво подметаемый невыспавшимся господиномъ въ ливреѣ.

Комната Пульхеріи Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучечками. Множество узелковъ и мѣшковъ съ сѣменами, цвѣточными, огородными, арбузными, висѣли по стѣнахъ. Множество клубковъ съ разноцвѣтною шерстью, лоскутковъ старинныхъ платьевъ, шитыхъ за полстоletіе, были уложены по угламъ въ сундукахъ и между сундучками. Пульхерія Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потомъ употребится.

Но самое замѣчательное въ домѣ — были поющія двери. Какъ только наставало утро, пѣніе дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего онѣ пѣли: перержавшія ли петли были тому виною, или самъ механикъ, дѣлавшій ихъ, скрылъ въ нихъ какой-нибудь секретъ; но замѣчательно то, что каждая дверь имѣла свой особенный голосъ: дверь, ведущая въ спальню, пѣла самымъ тоненькимъ дискантомъ; дверь въ столовую хрипѣла басомъ; но та, которая была въ сѣняхъ, издавала какой-то странный, дребезжащій и вмѣстѣ стонущій звукъ, такъ что, вслушиваясь въ него, очень ясно, наконецъ, слышалось: «Батюшки, я забну!» Я знаю, что многимъ очень не нравится этотъ звукъ; но я его очень люблю, и если мнѣ случится иногда здѣсь услышать скрипъ дверей, тогда мнѣ вдругъ такъ и запахнуть деревнею: низенькой комнаткой, озаренной свѣчкой въ старинномъ подсвѣчникѣ;ужиномъ, уже стоящимъ на столѣ; майскою темною ночью, глядящею изъ сада, сквозь растворенное окно, на столъ, уставленный приборами; соловьемъ, который обдастъ садъ, домъ и дальнюю рѣку своими раскатами; страхомъ и шорохомъ вѣтвей... и, Боже! какая длинная навѣвается мнѣ тогда вереница воспоминаній!

Стулья въ комнатѣ были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были всѣ съ высокими выточенными спинками въ натуральномъ видѣ, безъ всякаго лака и краски; они не были даже обиты матеріею и были нѣсколько похожи на тѣ стулья, на которые и донинѣ садятся архіереи. Треугольные столики по угламъ, четырехугольные передъ диваномъ и зеркаломъ въ тоненькихъ золотыхъ рамахъ, выточенныхъ листьями, которыя мухи усыяли черными точками, передъ диваномъ коверъ съ птицами, похожими на цвѣты, и цвѣтами, похожими на птицъ: вотъ все почти убранство невзыскательнаго домика, гдѣ жили мои старики.

Дѣвчѣ была набита молодыми и немолдыми дѣвушками въ полосатыхъ исподницахъ, которымъ иногда Пульхерія Ивановна давала шить какія-нибудь бездѣлушки и заставляла чистить ягоды, но которыя большею частью бѣгали на кухню и спали. Пульхерія Ивановна почитала необходимость держать ихъ въ домѣ и строго смотрѣла за ихъ нравственностью; но, къ чрезвычайному ея удивленію, не проходило нѣсколькихъ мѣсяцевъ, чтобы у которой-нибудь изъ ея дѣвушекъ станъ не дѣлался гораздо полнѣе обыкновеннаго. Тѣмъ болѣе это казалось удивительно, что въ домѣ почти никого не было изъ холостыхъ людей, исключая развѣ только комнатнаго мальчика, который ходилъ въ сѣромъ полуфранѣ съ босыми ногами и если не ѣлъ, то ужъ, вѣрно, спалъ. Пульхерія Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы впредѣ этого не было. На стеклахъ оконъ звенѣло страшное множество мухъ, которыхъ всѣхъ покрывалъ толстый бастшмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаніями; но, какъ только подавали свѣчи, вся эта ватага отъправлялась на ночлегъ и покрывала черною тучею весь потолокъ.

Афанасій Ивановичъ очень мало занимался хозяйствомъ, хотя впрочемъ ѣздилъ иногда къ косарямъ и жнецамъ, и смотрѣлъ довольно пристально на ихъ работу; все бремя правленія лежало на Пульхеріи Ивановнѣ. Хозяйство Пульхеріи Ивановны состояло въ безпрестанномъ отпираніи и запираніи кладовой, въ соленіи, сушеніи, вареніи безчисленнаго множества фруктовъ и растений. Ея домъ былъ совершенно похожъ на химическую лабораторію. Подъ ябло-

нею вѣчно быть разложенъ огонь, и никогда почти не снимался съ желѣзнаго треножника котель или мѣдный тазъ съ вареньемъ, желе, пастиломъ, дѣланными на меду, на сахарѣ и не помню еще на чемъ. Подъ другимъ деревомъ кучеръ вѣчно перегонялъ въ мѣдномъ кембикѣ водку на персиковые листья, на черемуховый цвѣтъ, на золототысячникъ, на вишневые косточки, и къ концу этого процесса совершенно не былъ въ состояніи поворотить языкомъ, болтать такой вздоръ, что Пульхерія Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насаливалось, насунивалось такое множество, что, вѣроятно, она потопила бы, наконецъ, весь дворъ (потому что Пульхерія Ивановна всегда, сверхъ расчисленнаго на потребление, любила приготовить еще на запасъ), если бы большая половина этого не съѣдалась дворовыми дѣвками; которыя, забираясь въ кладовую, такъ ужасно тамъ объѣдались, что цѣлый день стонали и жаловались на животы свои.

Въ хлѣбопашество и прочія хозяйственные статьи внѣ двора Пульхерія Ивановна мало имѣла возможности входить. Приказчикъ, соединившись съ войтомъ, обкрадывали немилосерднымъ образомъ. Они заведи обыкновеніе входить въ господскіе лѣса, какъ въ свои собственные, надѣлывали множество саней и продавали ихъ на ближней ярмаркѣ; кромѣ того, всѣ толстые дубы они продавали на срубъ для мельницъ сосѣднимъ козакамъ. Одинъ только разъ Пульхерія Ивановна пожелала обревизовать свои лѣса. Для этого были запряжены дрожки, съ огроменными кожаными фартуками, отъ которыхъ, какъ только кучеръ встряхивалъ вожжами и лошади, служившія еще въ милиціи, трогались съ своего мѣста, воздухъ наполнялся странными звуками, такъ что вдругъ были слышны и флейта, и бубны, и барабанъ; каждый гвоздикъ и желѣзная скоба звенѣли до того, что возлѣ самыхъ мельницъ было слышно, какъ пани выѣзжала со двора, хотя это разстояніе было не менѣе двухъ верстъ. Пульхерія Ивановна не могла не замѣтить страшнаго опустошенія въ лѣсу и потери тѣхъ дубовъ, которые она еще въ дѣтствѣ знавала столѣтними.

«Отчего это у тебя, Ничипоръ», сказала она, обратясь къ своему приказчику, тутъ же находившемуся: «дубки сдѣлались такъ рѣдкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на головѣ не стали рѣдки»

«Отчего рѣдки?» говаривалъ обыкновенно приказчикъ: «пропали! Такъ-таки совсѣмъ пропали: и громомъ побило, и черви проточили—пропали, пани, пропали».

Пульхерія Ивановна совершенно удовлетворялась этимъ отѣтомъ и, пріѣхавши домой, давала повелѣніе удвоить только стражу въ саду около испанскихъ вишенъ и большихъ зимнихъ дудъ.

Эти достойные правители, приказчикъ и войтъ, нашли вовсе излишнимъ привозить всю муку въ барскіе амбары, а что съ баръ будетъ довольно и половины; наконецъ, и эту половину привозили они заплѣснѣвшую или подмоченную, которая была обракована на ярмаркѣ. Но сколько ни обкрадывали приказчикъ и войтъ; какъ ни ужасно жрали всѣ въ дворѣ, начиная отъ ключницы до свиней, которыя истребляли страшное множество сливъ и яблокъ, и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть съ него цѣлый дождь фруктовъ; сколько ни клевали ихъ воробы и вороны; сколько вся дворня ни носила гостинцевъ своимъ кумовьямъ въ другія деревни и даже таскала изъ амбаровъ старыя полотна и пряжу, что все обращалось къ всемірному источнику, т.-е. къ шинку; сколько ни крали гости, флегматическіе кучера и лакеи; но благословенная земля производила всего въ такомъ множествѣ, Аѳанасію Ивановичу и Пульхеріи Ивановнѣ такъ мало было нужно, что всѣ эти страшныя хищенія казались вовсе незамѣтными въ ихъ хозяйствѣ.

Оба старичка, по старинному обычаю старосвѣтскихъ помѣщиковъ, очень любили покушать. Какъ только занималась заря (они всегда вставали рано) и какъ только двери заводили свой разноголосный концертъ, они уже сидѣли за столикомъ и пили кофе. Напившись кофе, Аѳанасій Ивановичъ выходилъ въ сѣни и, встряхнувши платокъ, говорилъ: «Кишъ, кишъ! пошли, гуси, съ крыльца!» На дворѣ ему обыкновенно попадался приказчикъ. Онъ, по обыквенію, вступалъ съ нимъ въ разговоръ, спрашивалъ о работахъ съ величайшею подробностью и такія сообщалъ ему замѣчанія и приказанія, которыя удивили бы всякаго необыкновеннымъ познаніемъ хозяйства, и какой-нибудь новичокъ не осмѣлился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркаго хозяина. Но приказчикъ его былъ

обстрѣлянная птица: онъ зналъ, какъ нужно отвѣчать, а еще болѣе, какъ нужно хозяйничать.

Послѣ этого Аѳанасій Ивановичъ возвращался въ покои и говорить, приблизившись къ Пульхеріи Ивановнѣ: «А что, Пульхерія Ивановна, можетъ-быть, пора закусить чего-нибудь?»

«Чего же бы теперь, Аѳанасій Ивановичъ, закусить? развѣ коржиковъ съ саломъ или пирожковъ съ макомъ, или, можетъ-быть, рыжиковъ соленыхъ?»

«Пожалуй, хоть и рыжиковъ или пирожковъ», отвѣчала Аѳанасій Ивановичъ, — и на столѣ вдругъ являлась скатерть съ пирожками и рыжиками.

За часъ до обѣда Аѳанасій Ивановичъ закусывалъ снова, выпивалъ старинную серебряную чарку водки, заѣдалъ грибами, разными сушеными рыбками и прочимъ. Обѣдать садились въ двѣнадцать часовъ. Кромѣ блюдъ и соусниковъ, на столѣ стояло множество горшечковъ съ замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное издѣліе старинной вкусной кухни. За обѣдомъ обыкновенно шелъ разговоръ о предметахъ самыхъ близкихъ къ обѣду.

«Мнѣ кажется, какъ будто эта каша», говаривалъ обыкновенно Аѳанасій Ивановичъ: «немного пригорѣла. Вамъ этого не кажется, Пульхерія Ивановна?»

«Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ; вы положите побольше масла, тогда она не будетъ казаться пригорѣлою, или вотъ возьмите этого соуса съ грибами и подлейте къ ней».

«Пожалуй», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, подставляя свою тарелку: «попробуемъ, какъ оно будетъ».

Послѣ обѣда Аѳанасій Ивановичъ шелъ отдохнуть одинъ часикъ, послѣ чего Пульхерія Ивановна приносила разрѣзанный арбузъ и говорила: «Вотъ попробуйте, Аѳанасій Ивановичъ, какой хорошій арбузъ».

«Да вы не вѣрьте, Пульхерія Ивановна, что онъ красивый въ срединѣ», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, принимая порядочный ломоть: «бываетъ, что и красивый, да не хорошій».

Но арбузъ немедленно исчезалъ. Послѣ этого Аѳанасій Ивановичъ сѣдалъ еще нѣсколько группъ и отправлялся погулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріей Ивановной. Пришедши домой, Пульхерія Ивановна отправлялась по своимъ



дѣламъ, а онъ садился подъ навѣсомъ, обращеннымъ къ двору; и глядѣлъ, какъ кладовая безпрестанно показывала и закрывала свою внутренность, и дѣвки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякаго дрязгу въ деревянныхъ ящикахъ, рѣшетахъ, ночевкахъ и въ прочихъ фруктохранилищахъ. Немного погодя, онъ посылалъ за Пульхеріей Ивановной или самъ отправлялся къ ней и говорилъ: «Чего бы такого поѣсть мнѣ, Пульхерія Ивановна?»

«Чего же бы такого?» говорила Пульхерія Ивановна: «развѣ я пойду скажу, чтобы вамъ принесли варениковъ съ ягодами, которыхъ приказала я нарочно для васъ оставить?»

«И то добре», отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ.

«Или, можетъ-быть, вы съѣли бы киселику?»

«И то хорошо», отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ. Послѣ чего все это немедленно было приносимо, и, какъ водится, сдѣлаемо.

Передъ ужиномъ Аѳанасій Ивановичъ еще кое-чего закусивалъ. Въ половинѣ десятаго сажлись ужинать. Послѣ ужина тотчасъ отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась въ этомъ дѣятельномъ и вмѣстѣ спокойномъ уголѣ.

Комната, въ которой спали Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, была такъ жарка, что рѣдкій былъ бы въ состояніи остаться въ ней нѣсколько часовъ; но Аѳанасій Ивановичъ еще сверхъ того, чтобы было теплѣе, спалъ на лежанкѣ, хотя сильный жаръ часто заставлялъ его нѣсколько разъ вставать среди ночи и прохаживаться по комнатѣ. Иногда Аѳанасій Ивановичъ, ходя по комнатѣ, стоналъ.

Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Аѳанасій Ивановичъ?»

«Богъ его знаетъ, Пульхерія Ивановна; какъ будто много животъ болитъ», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ.

«А не лучше ли вамъ чего-нибудь съѣсть, Аѳанасій Ивановичъ?»

«Не знаю, будетъ ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна! Впрочемъ, чего-жъ бы такого съѣсть?»

«Кислаго молочка или жиденькаго узвара съ сушеными грушами».

«Пожалуй, развѣ такъ только попробовать», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ. Сонная дѣвка отправлялась рыться по шкапамъ, и Аѳанасій Ивановичъ съѣдалъ тарелочку; послѣ чего онъ обыкновенно говорилъ: «Теперь такъ какъ будто съѣдалось легче».

Иногда, если было ясное время и въ комнатахъ довольно тепло натоплено, Аѳанасій Ивановичъ, развеселившись, любилъ пошутить надъ Пульхерією Ивановною и поговорить о чемъ-нибудь постороннемъ.

«А что, Пульхерія Ивановна», говорилъ онъ: «если бы вдругъ загорѣлся домъ нашъ, куда бы мы дѣлись?»

«Вотъ это, Боже сохрани!» говорила Пульхерія Ивановна, крестясь.

«Ну, да положимъ, что домъ нашъ сгорѣлъ, куда бы мы перешли тогда?»

«Богъ знаетъ, что вы говорите, Аѳанасій Ивановичъ! Какъ можно, чтобы домъ могъ сгорѣть? Богъ этого не попуститъ».

«Ну, а если бы сгорѣлъ?»

«Ну, тогда бы мы перешли въ кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимаетъ ключница».

«А если бы и кухня сгорѣла?»

«Вотъ еще! Богъ сохранить отъ такого поущенія, чтобы вдругъ и домъ, и кухня сгорѣли! Ну, тогда въ кладовую, покаместъ выстроился бы новый домъ».

«А если бы и кладовая сгорѣла?»

«Богъ знаетъ, что вы говорите! Я и слушать васъ не хочу! Грѣхъ это говорить, и Богъ наказываетъ за такіа рѣчи!»

Но Аѳанасій Ивановичъ, доводный тѣмъ, что подишуть надъ Пульхерією Ивановною, улыбался, сидя на своемъ стулѣ.

Но интереснѣе всего казались для меня старички въ то время, когда бывали у нихъ гости. Тогда все въ ихъ домѣ принимало другой видъ. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у нихъ ни было лучшаго, все это выносилось. Они наперерывъ старались угостить васъ всѣмъ, что только производило ихъ хозяйство. Но болѣе всего приятно мнѣ было то, что во всей ихъ услужливости не было никакой приторности. Это радушіе и готовность такъ кротко выражались на ихъ лицахъ, такъ шли къ нимъ,

что поневоле соглашался на их просьбы. Онъ былъ слѣдствіе чистой, ясной простоты ихъ добрыхъ, безхитростныхъ душъ. Это радушіе вовсе не то, съ какимъ угощаетъ васъ чиновникъ казенной палаты, вышедшій въ люди вашими стараниями, называющій васъ благодѣтелемъ и ползающій у ногъ вашихъ. Гость никакимъ образомъ не былъ отпущаемъ въ тотъ же день: онъ долженъ былъ непременно переночевать.

«Какъ можно такую позднюю порою отправляться въ такую дальнюю дорогу!» всегда говорила Пульхерія Ивановна. (Гость обыкновенно жилъ въ трехъ или въ четырехъ верстахъ отъ нихъ.)

«Конечно», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: «неравно всякого случая: нападутъ разбойники или другой недобрый человѣкъ».

«Пусть Богъ милуетъ отъ разбойниковъ!» говорила Пульхерія Ивановна. «И къ чему рассказывать этакое на ночь? Разбойники, не разбойники, а время темное, не годится совсѣмъ ѣхать. Да и вашъ кучеръ... я знаю вашего кучера: онъ такой тендитный, да маленькій; его всякая кобыла побьетъ; да притомъ теперь онъ уже, вѣрно, наклюкался и спитъ гдѣ-нибудь».

И гость долженъ былъ непременно остаться; но, впрочемъ, вечеръ въ низенькой, теплой комнатѣ, радушный, грѣющій и усыпляющій рассказъ, несущійся паръ отъ поданнаго на столъ кушанья, всегда питательнаго и мастерски изготовленнаго, бывалъ для него наградою. Я вижу, какъ теперь, какъ Аѳанасій Ивановичъ, согнувшись, сидитъ на стулѣ со всегдашнею своею улыбкой и слушаетъ со вниманіемъ и даже наслажденіемъ гостя! Часто рѣчь заходила и о политикѣ. Гость, тоже весьма рѣдко выѣзжавшій изъ своей деревни, часто, съ значительнымъ видомъ и таинственнымъ выраженіемъ лица, выводилъ свои догадки и рассказывалъ, что французъ тайно согласился съ англичаниномъ выпустить опять на Россію Бонапарта, или просто рассказывалъ о предстоящей войнѣ, и тогда Аѳанасій Ивановичъ часто говорилъ, какъ будто не глядя на Пульхерію Ивановну:

«Я самъ думаю пойти на войну; почему-жъ я не могу идти на войну?»

«Вотъ уже и пошелъ!» прерывала Пульхерія Ивановна.

«Вы не вѣрьте ему», говорила она, обращаясь къ гостю: гдѣ уже ему, старому, итти на войну! Его первый солдатъ застрѣлить! Ей-Богу, застрѣлить! Вотъ такъ-таки прицѣлится и застрѣлитъ».

«Что-жь», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: «и я его застрѣлю».

«Вотъ слушайте только, что онъ говоритъ!» подхватывала Пульхерія Ивановна: «куда ему итти на войну! И пистолы его давно уже заржавѣли и лежатъ въ коморѣ. Если-бъ вы ихъ видѣли: тамъ такіе, что прежде еще, нежели выстрѣлить, разорвегъ ихъ порохомъ. И руки себѣ поотобьетъ, и лицо искалѣчитъ, и навѣки несчастнымъ останется!»

«Что-жь», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: «я куплю себѣ новое вооруженіе; я возьму саблю или козацкую пику».

«Это все выдумки. Такъ вотъ вдругъ придетъ въ голову, и начнетъ разсказывать!» подхватывала Пульхерія Ивановна съ досадою. «Я и знаю, что онъ шутить, а все-таки непріятно слушать. Вотъ этакое онъ всегда говоритъ; иной разъ слушаешь-слушаешь, да и страшно станетъ».

Но Аѳанасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что нѣсколько напугалъ Пульхерію Ивановну, смѣялся, сидя, согнувшись, на своемъ стулѣ.

Пульхерія Ивановна для меня была занимательнѣе всего тогда, когда подводила гостя къ закускѣ. «Вотъ это», говорила она, снимая пробку съ графина: «водка, настоянная на дерезѣй и палфей: если у кого болятъ лопатки или поясница, то очень помогаетъ; вотъ это—на золототысячникъ: если въ ушахъ звенить и по лицу липша дѣлаются, то очень помогаетъ; а вотъ это перегонная на персиковыя косточки, вотъ возьмите рюмку, какой прекрасный запахъ! Если какъ-нибудь, вставая съ кровати, ударится кто объ уголъ шкапа или стола, и набѣжить на лбу гугля, то стоитъ только одну рюмочку выпить передъ обѣдомъ — и все какъ рукой сниметъ; въ ту же минуту все пройдетъ, какъ будто вовсе не бывало». Послѣ этого, такой перечень слѣдоваль и другимъ графинамъ, всегда почти имѣвшимъ какія-нибудь цѣлебныя свойства. Нагрузивши гостя всею этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявшихъ тарелокъ. «Вотъ это грибки съ щецрецомъ! Это—съ гвоздиками и волошскими орѣхами. Солить ихъ выучила меня туркения, въ то время, когда еще турки были у насъ въ плѣну. Такая была до-

брая туркени, и незамѣтно совсѣмъ, чтобы турецкую вѣру исповѣдывала: такъ совсѣмъ и ходить почти, какъ у насъ; только свинины не ѣла: говорить, что у нихъ какъ-то тамъ въ законѣ запрещено. Вотъ это грибки съ смородиновымъ листомъ и мушкатнымъ орѣхомъ! А вотъ это большія травянки: я ихъ еще въ первый разъ отваривала въ уксусѣ; не знаю, каковы-то онѣ. Я узнала секретъ отъ отца Ивана: въ маленькой кадушкѣ прежде всего нужно разостлать дубовые листья, и потомъ посыпать перцемъ и селитрою, и положить еще, что бываетъ на нечуй-витерѣ цвѣтъ, такъ этотъ цвѣтъ взять и хвостиками разостлать вверхъ. А вотъ это пирожки! это пирожки съ сыромъ! это съ урдою! А вотъ это тѣ, которые Аѳанасій Ивановичъ очень любить, съ капустою и гречневою кашею».

«Да», прибавлялъ Аѳанасій Ивановичъ: «я ихъ очень люблю: они мягкіе и немножко кисленькіе».

Вообще Пульхерія Ивановна была чрезвычайно въ духѣ, когда бывали у нихъ гости. Добрая старушка! она вся принадлежала гостямъ. Я любилъ бывать у нихъ, и хотя объѣдался страшнымъ образомъ, какъ и всѣ, гостившіе у нихъ, хотя мнѣ это было очень вредно; однакожъ я всегда бывалъ радъ къ нимъ ѣхать. Впрочемъ, я думаю, что не имѣетъ ли самый воздухъ въ Малороссіи какого-то особеннаго свойства, помогающаго пищеваренію, потому что если бы здѣсь вздумалъ кто-нибудь такимъ образомъ накупаться, то, безъ сомнѣнія, вмѣсто постели, очутился бы лежащимъ на столѣ.

Добрые старички! Но повѣствованіе мое приближается къ весьма печальному событію, измѣнившему навсегда жизнь этого мирнаго уголка. Событіе это покажется тѣмъ болѣе разительнымъ, что произошло отъ самаго маловажнаго случая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожныя причины родили великія событія и, наоборотъ, великія предпріятія оканчивались ничтожными слѣдствіями. Какой-нибудь завоеватель собираетъ всѣ силы своего государства, воюетъ нѣсколько лѣтъ, полководцы его прославляются, и, наконецъ, все это оканчивается приобрѣтеніемъ клочка земли, на которомъ негдѣ посѣять картофеля; а иногда, напротивъ, два какіе-нибудь колбасника двухъ городовъ подерутся между собою за вздоръ, и ссора объемлетъ, наконецъ, города, потомъ села и деревни, а тамъ и цѣлое го-

сударство. Но оставимъ эти разсужденія: они не идутъ сюда; притомъ я не люблю разсуждений, когда они остаются только разсужденіями.

У Пульхеріи Ивановны была сѣренькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубкомъ, у ея ногъ. Пульхерія Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцемъ по ея шейкѣ, которую балованная кошечка вытягивала какъ можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерія Ивановна слишкомъ любила ее, но, просто, привязалась къ ней, привыкли ея всегда видѣть. Аѳанасій Ивановичъ, однакожъ, часто подшучивалъ надъ такою привязанностью.

«Я не знаю, Пульхерія Ивановна, что вы такого находите въ кошкѣ: на что она? Если бы вы имѣли собаку, тогда бы другое дѣло: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?»

«Ужъ молчите, Аѳанасій Ивановичъ», говорила Пульхерія Ивановна: «вы любите только говорить, и больше ничего. Собака не чистошлотна, собака нагадитъ, собака перебьетъ все, а кошка—тихое твореніе, она никому не сдѣлаетъ зла».

Впрочемъ, Аѳанасію Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки; онъ для того только говорилъ такъ, чтобы немножко подшутить надъ Пульхеріей Ивановной.

За садомъ находился у нихъ большой лѣсъ, который былъ совершенно пощаженъ предприимчивымъ приказчикомъ, можетъ-быть, оттого, что стукъ топора доходилъ бы до самыхъ ушей Пульхеріи Ивановны. Онъ былъ глухъ, запущенъ, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орѣшникомъ и походили на мохнатые лапы голубей. Въ этомъ лѣсу обитали дикіе коты. Лѣсныхъ дикихъ котовъ не должно смѣшивать съ тѣми удалцами, которые бѣгаютъ по крышамъ домовъ; находясь въ городахъ, они, несмотря на крутой нравъ свой, гораздо болѣе цивилизованы, нежели обитатели лѣсовъ. Это, напротивъ того, болѣею частью народъ мрачный и дикій; они всегда ходятъ тощіе, худые, мяукаютъ грубымъ, необработаннымъ голосомъ. Они подрываются иногда подземнымъ ходомъ подъ самые амбары и крадутъ сало; являются даже въ самой кухнѣ, прыгнувши внезапно въ растворенное окно, когда замѣтятъ, что поваръ пошелъ въ бурьянъ. Вообще, никакія благородныя чувства имъ не извѣстны; они живутъ хищни-

чествомъ и душатъ маленькихъ воровъ въ самыхъ ихъ гнѣздахъ. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру подъ амбаромъ съ крѣпкою кошечкою Пульхеріи Ивановны, и, наконецъ, подманили ее, какъ отрядъ солдатъ подманиваетъ глупую крестьянку. Пульхерія Ивановна замѣтила пропажу кошки, послала искать ее; но кошка не находилась. Прошло три дня; Пульхерія Ивановна пожалѣла, наконецъ, вовсе о ней позабыла. Въ одинъ день, когда она ревизовала свой огородъ и возвращалась съ нарванными своею рукою зелеными свѣжими огурцами для Аѳанасія Ивановича, слухъ ея былъ пораженъ самымъ жалкимъ мяуканьемъ. Она, какъ будто по инстинкту, произнесла: «кисъ, кисъ!» и вдругъ изъ бурьяна вышла ея сѣренькая кошка, худая, тощая; замѣтно было, что она нѣсколько уже дней не брала въ ротъ никакой пищи. Пульхерія Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла передъ нею, мяукала и не смѣла подойти близко; видно было, что она очень одичала съ того времени. Пульхерія Ивановна пошла впередъ, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самаго забора. Наконецъ, увидѣвши прежнія, знакомыя мѣста, вошла и въ комнату. Пульхерія Ивановна тотчасъ приказала подать ей молока и мяса, и, сидя передъ нею, наслаждалась жадностью бѣдной своей фаворитки, съ какою она глотала кусокъ за кускомъ и хлебала молоко. Сѣренькая бѣглянка, почти въ глазахъ ея, растолстѣла и ѣла уже не такъ жадно. Пульхерія Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишкомъ свыклась съ хищными котами, или набралась романическихъ правилъ, что бѣдность при любви лучше палать, а коты были голы, какъ соколы; какъ бы то ни было, она выпрыгнула въ окошко, и никто изъ дворовыхъ не могъ поймать ее.

Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною!» сказала она сама себѣ, и ничто не могло ее разсѣять. Весь день она была скучна. Напрасно Аѳанасій Ивановичъ шутилъ и хотѣлъ узнать, отчего она такъ вдругъ загрустила: Пульхерія Ивановна была безотвѣтна, или отвѣчала совершенно не такъ, чтобы можно было удовлетворить Аѳанасія Ивановича. На другой день она замѣтно похудѣла.

«Что это съ вами, Пульхерія Ивановна? Ужъ не больны ли вы?»

«Нѣтъ, я не больна, Аѳанасій Ивановичъ! Я хочу вамъ объявить одно особенное происшествіе: я знаю, что я этимъ лѣтомъ умру: смерть моя уже приходила за мною!»

Уста Аѳанасія Ивановича какъ-то болѣзненно искривились. Онъ хотѣлъ, однакожъ, побѣдить въ душѣ своей грустное чувство и, улыбнувшись, сказалъ: «Богъ знаетъ, что вы говорите, Пульхерія Ивановна! Вы, вѣрно, вмѣсто декохта, что часто пьете, выпили персиковой».

«Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ, я не пила персиковой», сказала Пульхерія Ивановна.

И Аѳанасію Ивановичу сдѣлалось жалко, что онъ такъ пошутилъ надъ Пульхеріей Ивановной, и онъ смотрѣлъ на нее, и слеза повисла на его рѣсницѣ.

«Я прошу васъ, Аѳанасій Ивановичъ, чтобы вы исполнили мою волю», сказала Пульхерія Ивановна. «Когда я умру, то похороните меня возлѣ церковной ограды. Платье надѣньте на меня сѣренькое, то, что съ небольшими цвѣточками по коричневому полю. Атласнаго платья, что съ малиновыми полосками, не надѣвайте на меня: мертвой уже не нужно платье—на что оно ей? А вамъ оно пригодится: изъ него сошьете себѣ парадный халатъ на случай, когда пріѣдутъ гости, то чтобы можно было вамъ лично показаться и принять ихъ».

«Богъ знаетъ, что вы говорите, Пульхерія Ивановна!» говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: «когда-то еще будетъ смерть, а вы уже страшаете такими словами».

«Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однакожъ, не горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары; мы скоро увидимся на томъ свѣтѣ».

Но Аѳанасій Ивановичъ рыдалъ, какъ ребенокъ.

«Грѣхъ плакать, Аѳанасій Ивановичъ! Не грѣшите и Бога не гнѣвите своею печалью. Я не жалѣю о томъ, что умираю; объ одномъ только жалѣю я (тяжелый вздохъ прервалъ на минуту рѣчь ея): я жалѣю о томъ, что не знаю, на кого оставить васъ, кто присмотритъ за вами, когда я умру. Вы — какъ дитя маленькое: нужно, чтобы любить васъ тотъ, кто будетъ ухаживать за вами». При этомъ на лицѣ ея выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, могъ ли бы кто-нибудь въ то время глядѣть на нее равнодушно.



«Смотри мнѣ, Явдоха», говорила она, обращаясь къ ключницѣ, которую нарочно велѣла позвать: «когда я умру, чтобы ты глядѣла за паномъ, чтобы берегла его, какъ глаза своего, какъ свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухнѣ готовилось то, что онъ любитъ; чтобы бѣлье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично; а то, пожалуй, онъ иногда выйдетъ въ старомъ халатѣ, потому что и теперь часто позабываетъ онъ, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди съ него глазъ, Явдоха; я буду молиться за тебя на томъ свѣтѣ, и Богъ наградитъ тебя. Не забывай же, Явдоха: ты уже стара, тебѣ не долго жить—не набирай грѣха на душу. Когда же не будешь за нимъ присматривать, то не будетъ тебѣ счастья на свѣтѣ. Я сама буду просить Бога, чтобы не давалъ тебѣ благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дѣти твои будутъ несчастны, и весь родъ вашъ не будетъ имѣть ни въ чемъ благословенія Божія».

Бѣдная старушка! она въ то время не думала ни о той великой минутѣ, которая ее ожидаетъ, ни о душѣ своей, ни о будущей своей жизни: она думала только о бѣдномъ своемъ спутникѣ, съ которымъ провела жизнь и котораго оставляла сырымъ и безпріютнымъ. Она съ необыкновенною расторопностью распорядила все такимъ образомъ, чтобы послѣ нея Аѳанасій Ивановичъ не замѣтилъ ея отсутствія. Увѣренность ея въ близкой своей кончинѣ такъ была сильна и состояніе души ея такъ было къ этому настроено, что дѣйствительно чрезъ нѣсколько дней она слегла въ постель и не могла уже принимать никакой пищи. Аѳанасій Ивановичъ весь превратился во внимательность и не отходилъ отъ ея постели. «Можетъ-быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерія Ивановна?» говорилъ онъ, съ безпокойствомъ смотря въ глаза ей. Но Пульхерія Ивановна ничего не говорила. Наконецъ, послѣ долгаго молчанія, какъ будто хотѣла она что-то сказать, пошевелила губами—и дыханіе ея улетѣло.

Аѳанасій Ивановичъ былъ совершенно пораженъ. Это такъ казалось ему дико, что онъ даже не заплакалъ; мутными глазами глядѣлъ онъ на нее, какъ бы не понимая значенія трупа.

Покойнику положили на столъ, одѣли въ то самое платье;

которое она сама назначила, сложили ей руки крестомъ, дали въ руки восковую свѣчу — онъ на все это глядѣлъ безчувственно. Множество народа всякаго званія наполнило дворъ; множество гостей прѣхало на похороны; длинные столы разставлены были по двору; кутя, наливки, пироги покрывали ихъ кучами. Гости говорили, плакали, глядѣли на покойницу, разсуждали о ея качествахъ, смотрѣли на него; но онъ самъ на все это глядѣлъ странно. Покойницу понесли, наконецъ, народъ повалилъ слѣдомъ, и онъ пошелъ за нею. Священники были въ полномъ облаченіи, солнце свѣтило, грудные младенцы плакали на рукахъ матерей, жаворонки пѣли, дѣти въ рубашонкахъ бѣгали и рѣзвились по дорогѣ. Наконецъ, гробъ поставили надъ ямой; ему велѣли подойти и поцѣловать въ послѣдній разъ покойницу. Онъ подошелъ, поцѣловалъ; на глазахъ его показались слезы, но какія-то безчувственные слезы. Гробъ опустили, священникъ взялъ заступъ и первый бросилъ горсть земли; густой протяжный хоръ дѣячка и двухъ понамарей пропѣлъ вѣчную память подъ чистымъ, безоблачнымъ небомъ; работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. Въ это время онъ пробрался впередъ; всѣ разступились, дали ему мѣсто, желая знать его намѣреніе. Онъ поднялъ глаза свои, посмотрѣлъ смутно и сказалъ: «Такъ вотъ это вы уже и погребли ее! зачѣмъ?!.....» Онъ остановился и не окончилъ своей рѣчи.

Но когда возвратился онъ домой, когда увидѣлъ, что пусто въ его комнатѣ, что даже стулъ, на которомъ сидѣла Пульхерія Ивановна, былъ вынесенъ, — онъ рыдалъ, рыдалъ сильно, рыдалъ неутѣшно, и слезы, какъ рѣка, лились изъ его тусклыхъ очей.

Пять лѣтъ прошло съ того времени. Какого горя не уносить время? Какая страсть уцѣлѣетъ въ неровной битвѣ съ нимъ? Я зналъ одного человѣка въ цвѣтѣ юныхъ еще силъ, исполненнаго истиннаго благородства и достоинствъ; я зналъ его влюбленнымъ нѣжно, страстно, бѣшено, дерзко, скромно, и, при мнѣ, при моихъ глазахъ почти, предметъ его страсти — нѣжная, прекрасная, какъ ангелъ, была поражена ненасытною смертію. Я никогда не видалъ такихъ ужасныхъ порывовъ душевнаго страданія, такой бѣшеной, палящей тоски, такого пожирающаго отчаянія, какія вол-

новали несчастного любовника. Я никогда не думалъ, что-бы могъ человѣкъ создать для себя такой адъ, въ которомъ ни тѣни, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду... Его старались не выпускать изъ глазъ; отъ него спрятали всѣ орудія, которыми бы онъ могъ умертвить себя. Двѣ недѣли спустя, онъ вдругъ побѣдилъ себя: началъ смѣяться, шутить; ему дали свободу, и первое, на что онъ употребилъ ее, это было — купить пистолетъ. Въ одинъ день внезапно раздавшійся выстрѣлъ перепугалъ ужасно его родныхъ; они вбѣжали въ комнату и увидѣли его распростертаго, съ раздробленнымъ черепомъ. Врачъ, случившійся тогда, объ искусствѣ котораго гремѣла всеобщая молва, увидѣлъ въ немъ признаки существованія, нашелъ рану не совсѣмъ смертельною, и онъ, къ изумленію всѣхъ, былъ вылѣченъ. Присмотръ за нимъ увеличили еще болѣе. Даже за столомъ не клали возлѣ него ножа и старались удалить все, чѣмъ бы могъ онъ себя ударить; но онъ въ скоромъ времени нашелъ новый случай и бросился подъ колеса проезжавшаго экипажа. Ему раздробило руку и ногу; но онъ опять былъ вылѣченъ. Годъ послѣ этого я видѣлъ его въ одномъ многолюдномъ залѣ: онъ сидѣлъ за столомъ, весело говорилъ: «*тити-увертъ*», закрывши одну карту, и за нимъ стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.

По истеченіи сказанныхъ пяти лѣтъ послѣ смерти Пульхеріи Ивановны, я, будучи въ тѣхъ мѣстахъ, заѣхалъ въ хуторокъ Аванасія Ивановича навѣстить моего стариннаго сосѣда, у котораго когда-то пріятно проводилъ день и всегда объѣдался лучшими издѣліями радушной хозяйки. Когда я подъѣхалъ ко двору, домъ мнѣ показался вдвое старѣе; крестьянскія избы совсѣмъ легли на-бокъ, безъ сомнѣнія, такъ же, какъ и владѣльцы ихъ; частоколъ и плетень во дворѣ были совсѣмъ разрушены. и я видѣлъ самъ, какъ кухарка выдергивала изъ него палки для затопки печи, тогда какъ ей нужно было сдѣлать только два шага лишніхъ, чтобы достать тутъ же наваленнаго хворосту. Я съ грустью подъѣхалъ къ крыльцу; тѣ же самые барбосы и бровки, уже слѣпыя, или съ перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверхъ свои волнистые, обвѣшанные репейниками, хвосты. Навстрѣчу вышелъ старикъ. Такъ, это онъ! я тотчасъ узналъ его; но онъ согнулся уже вдвое противъ преж-

няго. Онъ узналъ меня и привѣтствовалъ съ тою же знакомою мнѣ улыбкою. Я вошелъ за нимъ въ комнаты. Казалось, все было въ нихъ попрежнему; но я замѣтилъ во всемъ какой-то странный безпорядокъ, какое-то ошутительное отсутствіе чего-то; словомъ, я ошутилъ въ себѣ тѣ странныя чувства, которыя овладѣваютъ нами, когда мы вступаемъ въ первый разъ въ жилище вдовца, котораго прежде знали нераздѣльнымъ съ подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бывають похожи на то, когда видимъ передъ собою безъ ноги человѣка, котораго всегда знали здоровымъ. Во всемъ видно было отсутствіе заботливой Пульхеріи Ивановны: за столомъ подали одинъ ножъ безъ черенка; блюда уже не были приготовлены съ такимъ искусствомъ. О хозяйствѣ я не хотѣлъ и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведенія.

Когда мы сѣли за столъ, дѣвка завязала Аѳанасія Ивановича салфеткою, и очень хорошо сдѣлала, потому что безъ того онъ бы весь халать свой запачкалъ соусомъ. Я старался его чѣмъ-нибудь занять и рассказывать ему разныя новости; онъ слушалъ съ тою же улыбкою, но по временамъ взглядъ его былъ совершенно безчувственъ, и мысли въ немъ не бродили, но исчезали. Часто поднималъ онъ ложку съ кашею и, вмѣсто того, чтобы подносить ко рту, подносилъ къ носу; вилку свою, вмѣсто того, чтобы воткнуть въ кусокъ цыпленка, онъ тыкалъ въ графинъ, и тогда дѣвка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по нѣскольку минутъ слѣдующаго блюда. Аѳанасій Ивановичъ уже самъ замѣчалъ это и говорилъ: «Что это такъ долго не несутъ кушанья?» Но я видѣлъ сквозь щель въ дверяхъ, что мальчикъ, разносившій намъ блюда, вовсе не думалъ о томъ и спалъ, свѣсивши голову на скамью.

«Вотъ это то кушанье», сказалъ Аѳанасій Ивановичъ, когда подали намъ *милки* со сметаною: «это то кушанье», продолжалъ онъ, и я замѣтилъ, что голосъ его началъ дрожать и слеза готовилась выглянуть изъ его свинцовыхъ глазъ, но онъ собиралъ всѣ усилія, желая удержать ее: «это то кушанье, которое по... по... покой... покойни...» и вдругъ брызнулъ слезами; рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетѣла и разбилась; соусъ залилъ его всего. Онъ сидѣлъ безчувственно, безчувственно дер-

жалъ ложку, и слезы, какъ ручей, какъ немолчно текущій фонтанъ, лились, лились ливнемъ на застилавшую его салфетку.

«Боже!» думалъ я, глядя на него: «пять лѣтъ всеистребляющаго времени—старикъ уже безчувственный, старикъ, котораго жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное опущеніе души, котораго вся жизнь, казалось, состояла только изъ сидѣнія на высокомъ стулѣ, изъ яденія сушеныхъ рыбокъ и грушъ, изъ добродушныхъ разсказовъ,— и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнѣе надъ нами: страсть или привычка? Или всѣ сильныя порывы, весь вихорь нашихъ желаній и кипящихъ страстей есть только слѣдствіе нашего яркаго возраста, и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» Что бы ни было, но въ это время мнѣ казались дѣтскими всѣ наши страсти противъ этой долгой, медленной, почти безчувственной привычки. Нѣсколько разъ силился онъ выговорить имя покойницы, но на половинѣ слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плачь дитяти поражалъ меня въ самое сердце. Нѣтъ, это не тѣ слезы, на которыя обыкновенно такъ щедръ старички, представляющіе вамъ жалкое свое положеніе и несчастія; это были также не тѣ слезы, которыя они роняютъ за стаканомъ пунша: нѣтъ! это были слезы, которыя текли, не спрашиваясь, сами собою; накапливаясь отъ ѣдкости боли уже охладѣвшаго сердца.

Онъ не долго послѣ того жилъ. Я недавно услышалъ объ его смерти. Странно; однакоже, то, что обстоятельства кончины его имѣли какое-то сходство съ кончиною Пульхеріи Ивановны. Въ одинъ день Аеанасій Ивановичъ рѣшился немного пройтись по саду. Когда онъ медленно шелъ по дорожкѣ, съ обыкновенною своею безпечностью, вовсе не имѣя никакой мысли, съ нимъ случилось странное происшествіе. Онъ вдругъ услышалъ, что позади его произнесъ кто-то довольно явственнымъ голосомъ: «Аеанасій Ивановичъ!» Онъ оборотился, но никого совершенно не было; посмотрѣлъ во всѣ стороны, заглянулъ къ кусты—нигдѣ никого. День былъ тихъ, и солнце сіяло. Онъ на минутку задумался; лицо его какъ-то оживилось, и онъ, наконецъ, произнесъ: «это Пульхерія Ивановна зоветъ меня!» Вамъ, безъ сомнѣнія, когда-нибудь случалось слышать голосъ, на-

зываютъ васъ по имени, который простолюдины объясняютъ тѣмъ, что душа стосковалась за человѣкомъ и призываетъ его, и послѣ котораго слѣдуетъ неминуемо смерть. Признаюсь, мнѣ всегда былъ страшенъ этотъ таинственный зовъ. Я помню, что въ дѣтствѣ я часто его слышалъ: иногда вдругъ позади меня кто-то явственно произносилъ мое имя. День обыкновенно въ это время былъ самый ясный и солнечный; ни одинъ листъ въ саду на деревѣ не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечикъ въ это время переставалъ кричать; ни души въ саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая бѣшеная и бурная, со всѣмъ адомъ стихій, настигла меня одного среди непроходимаго лѣса, я бы не такъ испугался ея, какъ этой ужасной тишины среди безоблачнаго дня. Я обыкновенно такъ бѣжалъ съ величайшимъ страхомъ и занимавшимся дыханіемъ изъ сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мнѣ навстрѣчу какой-нибудь человѣкъ, видъ котораго изгонялъ эту страшную сердечную пустыню.

Онъ весь покорился своему душевному убѣжденію, что Пульхерія Ивановна зоветъ его; онъ покорился съ волею послушнаго ребенка, сохнулъ, кашлялъ, таилъ, какъ свѣчка, и наконецъ угасъ такъ, какъ она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бѣдное ея пламя. «Положите меня возлѣ Пульхеріи Ивановны» — вотъ все, что произнесъ онъ передъ своею кончиною.

Желаніе его исполнили и похоронили возлѣ церкви, близъ могилы Пульхеріи Ивановны. Гостей было меньше на похоронахъ, но простого народа и нищихъ было такое же множество. Домикъ барскій уже сдѣлался вовсе пустъ. Предпріимчивый приказчикъ вмѣстѣ съ войтомъ перетаскили въ свои избы всѣ оставшіяся старинныя вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро пріѣхалъ, неизвѣстно откуда, какой-то дальній родственникъ, наследникъ имѣнія, служившій прежде поручикомъ, не помню въ какомъ полку, страшный реформаторъ. Онъ увидѣлъ тотчасъ величайшее разстройство и уныніе въ хозяйственныхъ дѣлахъ; все это рѣшился онъ непремѣнно искоренить, исправить и ввести во всеобщій порядокъ. Накупилъ шесть прекрасныхъ англійскихъ серповъ, приколотилъ къ каждой избѣ особенный номеръ, и наконецъ такъ хорошо распорядился, что имѣніе черезъ шесть мѣсяцевъ взято было

въ опеку. Мудрая опека (изъ одного бывшего засѣдателя и какого-то штабсъ-капитана въ полиняломъ мундирѣ) перевела въ непродолжительное время всѣхъ куръ и всѣ яйца. Избы, почти совсѣмъ лежавшія на землѣ, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частью числиться въ бѣгахъ. Самъ же настоящій владѣтель, который, впрочемъ, жилъ довольно мирно съ своею опекою и пилъ вмѣстѣ съ нею пуншъ, пріѣзжалъ очень рѣдко въ свою деревню и проживать не долго. Онъ до сихъ поръ ѣздитъ по всѣмъ ярмаркамъ въ Малороссіи, тщательно освѣдомляется о цѣнахъ на разныя большія произведенія, продающіяся оптомъ, какъ-то: муку, пеньку, медъ и прочее; но покупаетъ только небольшія бездѣлушки, какъ-то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышаетъ всѣмъ оптомъ своимъ цѣны одного рубля.



# ТАРАСЪ БУЛЬБА.

ПОВѢСТЬ.

## I.

«А поворотись-ка, сынъ! Экой ты смѣшной какой! Что это на васъ за поповскіе подрясники? И этакъ всѣ ходятъ въ академіи?»

Такими словами встрѣтилъ старый Бульба двухъ сыновей своихъ, учившихся въ кievской бурсѣ и пріѣхавшихъ домой къ отцу.

Сыновья его только-что слѣзли съ коней. Это были два дюжіе молодца, еще смотрѣвшіе исподлобья, какъ недавно выпущенные семинаристы. Крѣпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень смущены такимъ пріемомъ отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза въ землю.

«Стойте, стойте! Дайте мнѣ разглядѣть васъ хорошенько», продолжалъ онъ, поворачивая ихъ: «какія же длинныя на васъ свитки!\*) Экія свитки! Такихъ свитокъ еще и на свѣтѣ не было. А побѣги который-нибудь изъ васъ! я посмотрю, не плечнется ли онъ на землю, запутавшись въ полы».

«Не смѣйся, не смѣйся, батьку!» сказалъ, наконецъ, старшій изъ нихъ.

«Смотри ты, какой пышный! А отчего-жъ бы не смѣяться?»

«Да такъ; хоть ты мнѣ и батько, а какъ будешь смѣяться, то, ей-Богу, поколочу!»

\*) Верхняя одежда у южныхъ россіянъ.



«Ахъ, ты сякой-такой сынъ! какъ! батька?» сказалъ Тарасъ Бульба, отступивши съ удивленіемъ нѣсколько шаговъ назадъ.

«Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого».

«Какъ же хочешь ты со мною биться? развѣ на кулаки?»  
— «Да ужъ на чемъ бы то ни было».

«Ну, давай на кулаки!» говоритъ Бульба, засучивъ рукавъ: «посмотрю я, что за человѣкъ ты въ кулаки!»

И отецъ съ сыномъ, вмѣсто привѣтствія послѣ давней отлучки, начали насаживать другъ другу тумаки и въ бока, и въ поясницу, и въ грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступаая.

«Смотрите, добрые люди: одурѣлъ старый! совсѣмъ спятилъ съ ума!» говорила блѣдная, худощавая и добрая мать ихъ, стоявшая у порога и не успѣвшая еще обнять ненаглядныхъ дѣтей своихъ. «Дѣти пріѣхали домой, больше году ихъ не видали, а онъ задумалъ нивѣсть что: на кулаки биться!»

«Да онъ славно бьется!» говорилъ Бульба, остановившись. «Ей-Богу, хорошо!» продолжалъ онъ, немного оправляясь: «такъ, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!» И отецъ съ сыномъ стали цѣловаться. «Добре, сынку! Вотъ такъ колоти всякаго, какъ меня тузилъ: никому не спускай! А все-таки на тебѣ смѣшное убранство: что это за веревка висить? А ты, Бейбасъ, что стоишь и руки опустил?» говорилъ онъ, обращаясь къ младшему: «что-жъ ты, собачій сынъ, не колотишь меня?»

«Вотъ еще что выдумалъ!» говорила мать, обнимавшая между тѣмъ младшаго. «И придетъ же въ голову этакое, чтобы дитя родное било отца! Да будто и до того теперь: дитя молодое, проѣхало столько пути, утомилось...» (это дитя было двадцати слишкомъ лѣтъ и ровно въ сажень ростомъ); «ему бы теперь нужно опочить и поѣсть чего-нибудь, а онъ заставляетъ его биться!»

«Э, да ты мазунчикъ, какъ я вижу!» говорилъ Бульба. «Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знаетъ. Какая вамъ нѣжба? Ваша нѣжба — чистое поле да добрый конь: вотъ ваша нѣжба! А видите вотъ эту саблю? вотъ ваша матеръ! Это все дрянъ, чѣмъ набиваютъ головы ваши:

и академіи, и всѣ тѣ книжки, буквари и философія, и все это: *ка зна що*—я плевать на все это!» Здѣсь Бульба пригналъ въ строку такое слово, которое даже не употребляется въ печати. «А вотъ, лучше, я вась на той же недѣлѣ отправлю на Запорожье. Вотъ гдѣ наука, такъ наука! Тамъ вамъ школа; тамъ только наберетесь разума».

«И всего только одну недѣлю быть имъ дома?» говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худощавая старуха-мать: «и погулять имъ, бѣднымъ, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мнѣ не удастся наглядѣться на нихъ!» —

«Полно, полно выть, старуха! Козакъ не на то, чтобы возиться съ бабами. Ты бы спрятада ихъ обоихъ себѣ подъ юбку, да и сидѣла бы на нихъ, какъ на куриныхъ яйцахъ. Ступай, ступай, да ставь намъ скорѣе на столъ все, что есть. Не нужно пампушекъ, медовиковъ, маковниковъ и другихъ пундиковъ; тащи намъ всего барана, козу давай, меды сорокалѣтніе! Да горѣлки побольше, не съ выдумками горѣлки, не съ изюмомъ и всякими вытребенками, а чистой, пѣнной горѣлки, чтобы играла и шипѣла, какъ бѣшеная».

Бульба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу, откуда проворно выбѣжали двѣ красивыя дѣвки-прислужницы, въ червонныхъ монастахъ, прибиравшія комнаты. Онѣ, какъ видно, испугались пріѣзда паничей, не любившихъ спускаться никому, или же, просто, хотѣли себѣлюсти свой женскій обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидѣвши мужчину, и потомъ долго закрываться отъ сильнаго стыда рукавомъ. Свѣтлица была убрана во вкусъ того времени, о которомъ живые намеки остались только въ пѣсняхъ, да въ народныхъ думахъ, уже не цоющихся болѣе на Украинѣ бородастыми старцами-сѣнцами, въ сопровожденіи тизаго треньканья бандуры, въ виду обступившаго народа, — во вкусъ того браннаго, труднаго времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украинѣ за унію. Все было чисто, вымазано цвѣтной глиною. На стѣнахъ—сабли, нагайки, сѣтки для птицъ, невода и ружья, хитро обдѣланный рогъ для пороха, золотая уздечка на коня и путы съ серебряными бляхами. Окна въ свѣтлицѣ были маленькія, съ круглыми тусклыми стеклами, какія встрѣчаются нынѣ только въ старинныхъ церквахъ, сквозь которыя иначе нельзя было глядѣть, какъ приподнявъ подвижное

стекло. Вокругъ оконъ и дверей были красные отводы. На полкахъ по угламъ стояли кувшины, бутылки и фляжки зеленаго и синяго стекла, рѣзные серебряные кубки, позолоченныя чарки всякой работы: веницейской, турецкой, черкесской, зашедшія въ свѣтлицу Бульбы всякими путями черезъ третьи и четвертыя руки, что было весьма обыкновенно въ тѣ удалыя времена. Берестовыя скамьи вокругъ всей комнаты; огромный столъ подъ образами въ парадномъ углу; широкая печь съ запечьями, уступами и выступами, покрытая цвѣтными, пестрыми изразцами,—все это было очень знакомо нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ каждый годъ домой на каникулярное время,—приходившимъ потому, что у нихъ не было еще коней и потому, что не въ обычаѣ было позволять школярамъ ѣздить верхомъ. У нихъ были только длинныя чубы, за которые могъ выдрать ихъ всякій козакъ, носившій оружіе. Бульба, только при выпускѣ ихъ, послалъ имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

Бульба, по случаю прѣзда сыновей, велѣлъ созвать всѣхъ сотниковъ и весь полковой чинъ, кто только былъ налицо; и когда пришли двое изъ нихъ и есаулъ Дмитро Товкачъ, старшій его товарищъ, онъ имъ тотъ же часъ представилъ сыновей, говоря: «Вотъ смотрите, какіе молодцы! На Сѣчь ихъ скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу, и обоихъ юношей, и сказали имъ, что доброе дѣло дѣлають и что нѣтъ лучшей науки для молодого человѣка, какъ Запорожская Сѣчь.

«Ну-жъ, паны братья, садись всякій, гдѣ кому лучше. за столъ. Ну, сынки! прежде всего выпьемъ горѣлки!» такъ говорилъ Бульба. «Боже благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остапъ, и ты, Андрій! Дай же Боже, чтобъ вы на войнѣ всегда были удачливы! чтобы бусурмановъ били, и турковъ бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнутъ что противъ вѣры нашей чинить, то и ляховъ бы били. Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горѣлка? А какъ по-латыни горѣлка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свѣтѣ горѣлка. Какъ, бишь, того звали, что латинскіе вирши писалъ? Я грамотѣ разумѣю не сильно, а потому и не знаю: Горацій, что ли?»

«Вишь, какой батько!» подумалъ про себя старшій сынъ, Остапъ: «все старшій, собака, знаетъ, а еще и прикидывается».

«Я думаю, архимандритъ не давалъ вамъ и понюхать горѣлки», продолжалъ Тарасъ. «А признайтесь, сынки, крѣпко стегали васъ березовыми и свѣжимъ вишнякомъ по спинѣ и по всему, что ни есть у козака? А можетъ, такъ какъ вы сдѣлались уже слишкомъ разумные, такъ, можетъ, и плетюганами пороли? Чай, не только по субботамъ, а доставалось и въ среду, и въ четвергъ?»

«Нечего, батъко, вспоминать, что было», отвѣчалъ хладнокровно Остапъ: «что было, то прошло!»

«Пусть теперь попробуетъ!» сказалъ Андрій: «пускай теперь кто-нибудь только зацѣпнитъ. Вотъ пусть только повернется теперь какая-нибудь татарва, будетъ знать она, что за вещь козацкая сабля!»

«Добре, сынку! ей-Богу, добре! Да когда на то пошло, то и я съ вами ѣду! ей-Богу, ѣду. Какого дьявола мнѣ здѣсь ждать? Чтобы я сталъ гречкосѣемъ, домоводомъ, глядѣть за овцами, да за свиньями, да бабиться съ женой? Да пропади она: я козакъ, не хочу! Такъ что же, что нѣтъ войны? Я такъ поѣду съ вами на Запорожье—погулять. Ей-Богу, поѣду!» И старый Бульба мало-по-малу горячился, горячился, наконецъ разсердился совсѣмъ, всталъ изъ-за стола и, пріосанившись, топнулъ ногою. — «Завтра же ѣдемъ! Зачѣмъ откладывать? Какого врага мы можемъ здѣсь высидѣть? На что намъ эта хата? Къ чему намъ все это? На что эти горшки?» Сказавши это, онъ началъ колотить и швырять горшки и фляжки.

Бѣдная старушка, привыкшая уже къ такимъ поступкамъ своего мужа, печально глядѣла, сидя на лавкѣ. Она не смѣла ничего говорить; но, услыша о такомъ страшномъ для нея рѣшеніи, она не могла удержаться отъ слезъ; взглянула на дѣтей своихъ, съ которыми угрожала ей такая скорая разлука, — и никто бы не могъ описать всей безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала въ глазахъ ея и въ судорожно-сжатыхъ губахъ.

Бульба былъ упрямъ страшно. Это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли возникнуть только въ тяжелый XV вѣкъ на полукочующемъ углу Европы, когда вся южная первобытная Россія, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до тла неукротимыми набѣгами монгольскихъ хищниковъ; когда, лишившись дома и кровли, сталъ здѣсь отваженъ человѣкъ; когда на пожарницахъ, въ

виду грозныхъ сосѣдей и вѣчной опасности, селился онъ и привыкалъ глядѣть имъ прямо въ очи, разучившись знать, существуетъ ли какая боязнь на свѣтѣ; когда браннымъ пламенемъ объялся древле-мирный славянской духъ и завелось козачество — широкая разгульная замашка русской природы, и когда всѣ порѣчья, перевозки, прибрежныя пологія и удобныя мѣста усыялись козаками, которымъ и счету никто не вѣдать, и смѣлые товарищи ихъ были въ правѣ отвѣчать султану, пожелавшему знать о числѣ ихъ: «Кто ихъ знаетъ! у насъ ихъ раскидано по всему степу: что байракъ, то козакъ» (гдѣ маленькій пригорокъ, тамъ ужъ и козакъ). Это было точно необыкновенное явленіе русской силы: его вышибло изъ народной груди огниво бѣды. Въмѣсто прежнихъ удѣловъ, мелкихъ городковъ, наполненныхъ исарями и ловчими, вмѣсто враждующихъ и торгующихъ городами мелкихъ князей, возникли грозныя селенія, курени и околицы, связанные общою опасностью и ненавистью противъ нехристіанскихъ хищниковъ. Уже извѣстно всѣмъ изъ исторіи, какъ ихъ вѣчная борьба и безпокойная жизнь спасли Европу отъ неукротимыхъ набѣговъ, грозившихъ ее опрокинуть. Короли польскіе, очутившіеся, на мѣсто удѣльныхъ князей, властителями этихъ пространныхъ земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значеніе козаковъ и выгоды таковой бранной, сторожевой жизни. Они поощряли ихъ и льстили этому расположенію. Подъ ихъ отдаленною властью гетьманы, избранные изъ среды самихъ же козаковъ, преобразовали околицы и курени въ полки и правильные округа. Это не было строевое собранное войско; его бы никто не увидать; но въ случаѣ войны и общаго движенія, въ восемь дней, не больше, всякій являлся на конѣ, во всемъ своемъ вооруженіи, получа одинъ только червонецъ платы отъ короля, и въ двѣ недѣли набиралось такое войско, какого бы не въ силахъ были набрать никакіе рекрутскіе наборы. Кончился походъ, — воинъ уходилъ въ луга и пашни, на днѣпровскіе перевозки, ловилъ рыбу, торговалъ, варилъ пиво, и былъ вольный козакъ. Современные иностранцы дивились тогда справедливо необыкновеннымъ способностямъ его. Не было ремесла, котораго бы не зналъ козакъ: накурить вина, снаряжить телѣгу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, въ прибавку къ тому, гулять напропалую,

пить и бражничать, какъ только можетъ одинъ русскій, — все это было ему по плечу. Кромѣ рейстровыхъ козаковъ, считавшихъ обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, въ случаѣ большой потребности, набрать цѣлыя толпы охочекомонныхъ: стоило только есауламъ пройти по рынкамъ и площадямъ всѣхъ селъ и мѣстечекъ и прокричать во весь голосъ, ставши на телѣгу: «Эй, вы, пивники, броварники! полно вамъ пиво варить, да валяться по запечьямъ, да кормить своимъ жирнымъ тѣломъ мухъ! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосѣи, овцепасы, баболобы! полно вамъ за плугомъ ходить, да пачкать въ землѣ свои желтые чоботы, да подбираться къ жинкамъ и губить силу рыцарскую! пора доставать козацкой славы!» И слова эти были — какъ искры, падавшія на сухое дерево. Пахарь ломать свой плугъ, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленникъ и торгашъ посылалъ къ чорту и ремесло, и лавку, бить горшки въ домѣ, — и все, что ни было, садилось на коня. Словомъ, русскій характеръ получилъ здѣсь могучій, широкій размахъ, крѣпкую наружность.

Тарасъ былъ одинъ изъ числа коренныхъ, старыхъ полковниковъ: весь былъ онъ созданъ для бранной тревоги и отличался грубой прямою своего нрава. Тогда вліяніе Польши начинало уже оказываться на русскомъ дворянствѣ. Многіе перенимали уже польскіе обычаи, заводили роскошь, великолѣпныя прислуги, соколовъ, ловчихъ, обѣды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Онъ любилъ простую жизнь козаковъ и перессорился съ тѣми изъ своихъ товарищей, которые были наклонны къ варшавской сторонѣ, называя ихъ холопьями польскихъ пановъ. Вѣчно неугомонный, онъ считалъ себя законнымъ защитникомъ православія. Самостоятельно входилъ въ села, гдѣ только жаловались на притѣсненія арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ съ дыма. Самъ съ своими козаками производилъ надъ ними расправу и положилъ себѣ правиломъ, что въ трехъ случаяхъ всегда слѣдуетъ взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважили въ чемъ старшинъ и стояли предъ ними въ шапкахъ; когда глумились надъ православіемъ и не чтили обычая предковъ, и, наконецъ, когда враги были бусурманы и турки, противъ которыхъ онъ считалъ во

всякомъ случаѣ позволительнымъ поднять оружіе во славу христіанства.

Теперь онъ тѣшилъ себя заранѣе мыслью, какъ онъ явится съ двумя сыновьями своими на Сѣчь и скажетъ: «Вотъ посмотрите, какихъ я молодцовъ привелъ къ вамъ!» какъ представить ихъ всѣмъ старымъ, закаленнымъ въ битвахъ, товарищамъ; какъ поглядить на первые подвиги ихъ въ ратной наукѣ и бражничествѣ, которое почиталъ тоже однимъ изъ главныхъ достоинствъ рыцаря. Онъ сначала хотѣлъ-было отправить ихъ однихъ; но, при видѣ ихъ свѣжести, рослости, могучей тѣлесной красоты, вспыхнулъ воинскій духъ его, и онъ на другой же день рѣшился ѣхать съ ними самъ, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Онъ уже хлопоталъ и отдавалъ приказы, выбирать коней и сбрую для молодыхъ сыновей, навѣдывался и въ конюшни, и въ амбары, отобралъ слугъ, которые должны были завтра съ ними ѣхать. Есаулу Товкачу передать свою власть вмѣстѣ съ крѣпкимъ наказомъ явиться сей же часъ со всѣмъ полкомъ, если только онъ подастъ изъ Сѣчи какую-нибудь вѣсть. Хотя онъ былъ и навеселѣ, и въ головѣ его еще бродилъ хмель, однакожъ не забылъ ничего; даже отдать приказъ напоить коней и всыпать имъ въ ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришелъ усталый отъ своихъ заботъ.

«Ну, дѣти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣлать то, что Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! намъ не нужна постель; мы будемъ спать на дворѣ».

Ночь еще только-что обняла небо; но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свѣжъ и потому что Бульба любилъ укрыться потеплѣе, когда былъ дома. Онъ вскорѣ захрапѣлъ, и за нимъ послѣдовалъ весь дворъ; все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, захрапѣло и зашѣло. Прежде всего заснулъ сторожъ, потому что болѣе всѣхъ напился для пріѣзда наничей.

Одна бѣдная мать не спала. Она приникла къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесывала гребнемъ ихъ молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала ихъ слезами. Она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не могла наглядѣться. Она вскормила ихъ собственною

грудью; она возрастила, взлелѣяла ихъ—и только на одинъ мигъ видить ихъ передъ собой. — «Сыны мои, сыны мои милые! что будетъ съ вами? что ждетъ васъ?» говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ прекрасное когда-то лицо ея. Въ самомъ дѣлѣ, она была жалка, какъ всякая женщина того удалого вѣка. Она мигъ только жила любовью; только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидалъ ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Они видѣла мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нѣсколько лѣтъ о немъ не бывало слуху. Да и когда видѣлась съ нимъ, когда они жили вмѣстѣ, что за жизнь ея была? Она терпѣла оскорбленія, даже побои; она видѣла ласки, оказываемыя только изъ милости; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею, и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси безъ лобзаній отцвѣли и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всѣ чувства, все, что есть нѣжнаго и страстнаго въ женщинѣ,—все обратилось у нея въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, со страстью, со слезами, какъ степная чайка, вилась надъ дѣтьми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея,—берутъ для того, чтобы не увидѣть ихъ никогда! Кто знаетъ, можетъ-быть, при первой битвѣ татаринъ срубить имъ головы, и она не будетъ знать, гдѣ лежатъ брошенныя тѣла ихъ, которыя расклюетъ хищная подорожная птица; а за каждую каплю крови ихъ она отдала бы себя всю. Рыдая, глядѣла она имъ въ очи, когда всемогущій сонъ начиналъ уже смыкать ихъ, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочить денька на два отъѣздъ; можетъ-быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро ѣхать, что много выпилъ».

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Она все сидѣла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ, ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ и не думала о снѣ. Уже кони, чуя разсвѣтъ, всѣ легли на траву и перестали ѣсть; верхніе листья вербъ начали лепетать, и, мало-помалу, лепечущая струя спустилась по нимъ до самаго низу.



Она просидѣла до свѣта, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась, какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка; красныя полосы ясно сверкнули на небѣ.

Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера. «Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А гдѣ старъ? (такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою). Живѣе, старъ, готовь намъ ѣсть: путь лежитъ великій!»

Бѣдная старушка, лишенная послѣдней надежды, уныло поплелась въ хату. Между тѣмъ, какъ она со слезами готовила все, что нужно къ завтраку, Бульба раздавалъ свои приказанія, возился на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей своихъ лучшія убранные.

Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмѣсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ серебряными подковами; шаровары, шириною въ Черное море, съ тысячею складокъ и со сборами, перетянулись золотымъ очкуромъ; къ очкуру прицѣплены были длинныя ремешки, съ кистями и прочими побрякушками для трубки. Козакинъ алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался узорчатымъ поясомъ; чеканные турецкіе пистолеты были засунуты за поясъ; сабля брякала по ногамъ. Ихъ лица, еще мало загорѣвшія, казались, похорошѣли и побѣлѣли; молодые, черные усы теперь какъ-то ярче отгѣнили бѣлизну ихъ и здоровый, мощный цвѣтъ юности; они были хороши подъ черными бараньими шапками, съ золотымъ верхомъ. Бѣдная мать! Она какъ увидѣла ихъ, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея.

«Ну, сыны, все готово! нечего мѣшкать!» произнесъ, наконецъ, Бульба. «Теперь, по обычаю христіанскому, нужно передъ дорогою всѣмъ пристѣсть».

Всѣ сѣли, не выключая даже и хлопцевъ, стоявшихъ почтительно у дверей.

«Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ!» сказалъ Бульба: «моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь рыцарскую \*), чтобы стояли всегда за вѣру Христову, а не то — пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не было на свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ матери: молитва материнская и на водѣ, и на землѣ спасаетъ!»

\*) Рыцарскую.

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ небольшія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею. «Пусть хранить васъ... Божья Матерь... Не забывайте, сынки, мать вашу... припните хоть вѣсточку о себѣ...» Далѣе она не могла говорить.

«Ну, пойдемъ, дѣти!» сказалъ Бульба.

У крыльца стояли осѣдланые кони. Бульба вскочилъ на своего Чорта, который бѣшено отшатнулся, почувствовавъ на себѣ двадцати-пудовое бремя, потому что Тарасъ былъ чрезвычайно тяжелъ и толстъ.

Когда увидѣла мать, что уже и сыны ея сѣли на коней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица выражалось болѣе какой-то нѣжности; она схватила его за стремя, она прилипла къ сѣду его и, съ отчаяньемъ въ глазахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ козака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда выѣхали они за ворота, со всею легкостью дикой козы, несообразной ея лѣтамъ, выбѣжала она за ворота, съ неподаваемой силой остановила лошадь и обняла одного изъ сыновей съ какою-то помѣшанною, безчувственною горячностью. Его опять увели.

Молодые козаки ѣхали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, съ своей стороны, былъ тоже нѣсколько смущенъ, хотя старался этого не показывать. День былъ сѣрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ. Они, проѣхавши, оглянулись назадъ: хуторъ ихъ какъ будто ушелъ въ землю, только видны были надъ землей двѣ трубы скромнаго ихъ домика, да вершины деревъ, по сучьямъ которыхъ они лазали, какъ бѣлки; еще стался передъ ними тотъ лугъ, по которому они могли припомнить всю исторію своей жизни, отъ лѣтъ, когда валялись по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали въ немъ чернобровую козачку, боязливо перелетавшую черезъ него съ помощью своихъ свѣжихъ, быстрыхъ ногъ. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ въ небѣ; уже равнина, которую они проѣхали, кажется издали горою и все собою закрыла.—Прощайте и дѣтство, и игры, и все, и все!

## II.

Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый Тарасъ думалъ о давнемъ: передъ нимъ проходила его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о которыхъ всегда плачетъ козакъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думалъ о томъ, кого онъ встрѣтитъ на Сѣчи изъ своихъ прежнихъ сотоварищей. Онъ вычислялъ, какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его зѣницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать побольше о сыновьяхъ его. Они были отданы по двѣнадцатому году въ кievскую академію, потому что всѣ почетные сановники тогдашняго времени считали необходимою дать воспитаніе своимъ дѣтямъ, хотя это дѣлалось съ тѣмъ, чтобы послѣ совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ всѣ, поступавшіе въ бурсу, дики, воспитаны на свободѣ, и тамъ уже обыкновенно они нѣсколько шлифовались и получали что-то общее, дѣлавшее ихъ похожими другъ на друга. Старшій, Остапъ, началъ съ того свое поприще, что въ первый еще годъ бѣжалъ. Его возвратили, высѣкли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывалъ онъ свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши его безчеловѣчно, покупали ему новый. Но, безъ сомнѣнія, онъ повторилъ бы и въ пятый, если бы отецъ не далъ ему торжественнаго обѣщанія продержатъ его въ монастырскихъ службахъ цѣлыя двадцать лѣтъ и не поклялся напередъ, что онъ не увидитъ Запорожья вовѣки, если не выучится въ академіи всѣмъ наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Бульба, который бранилъ всю ученость и совѣтовалъ, какъ мы уже видѣли, дѣтямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Остапъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидѣть за скучною книгою и скоро сталъ на ряду съ лучшими. Тогдашній родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни: эти схоластическія, грамматическія, риторическія и логическія тонкости рѣшительно не прикасались къ времени, никогда не примѣнялись и не повторялись въ жизни. Учившіеся имъ ни къ чему не могли привязать своихъ познаній, хотя бы даже менѣе схоластическихъ. Самые тогдашніе ученые болѣе другихъ были невѣжды, потому что во-

все были удалены отъ опыта. Притомъ же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, все это должно было имъ внушить дѣятельность совершенно внѣ ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содержаніе, иногда частыя наказанія голодомъ, иногда многія потребности, возбуждающіяся въ свѣжестѣ, здоровомъ, крѣпкомъ юношѣ, все это соединившись, рождало въ нихъ ту предприимчивость, которая послѣ развивалась на Запорожьѣ. Голодная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заставляла всѣхъ быть осторожными. Торговки, сидѣвшія на базарѣ, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, сѣмечки изъ тыквы, какъ орлицы дѣтей своихъ, если только видѣли проходившаго бурсака. Консулъ, долженствовавшій, по обязанности своей, наблюдать надъ подвѣдомственными ему сотоварищами, имѣлъ такіе страшные карманы въ своихъ шароварахъ, что могъ помѣстить туда всю лавку зазѣвавшейся торговли. Эти бурсаки составляли совершенно отдѣльный міръ: въ кругъ высшій, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академіи, не вводилъ ихъ въ общество и приказывалъ держать ихъ постороже. Впрочемъ, это наставленіе было вовсе излишне, потому что ректоръ и профессоры-монахи не жалѣли лозъ и плетей, и часто ликторы, по ихъ приказанію, поролли своихъ консуловъ такъ жестоко, что тѣ нѣсколько недѣль почесывали свои шаровары. Многимъ изъ нихъ это было вовсе ничего и казалось немного чѣмъ крѣпче хорошей водки съ перцемъ; другимъ, наконецъ, сильно надоѣдали такіа безпрестанныя припарки, и они убѣгали на Запорожье, если умѣли найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остапъ Бульба, несмотря на то, что началъ съ большимъ стараніемъ учить логику и даже богословію, никакъ не избавлялся неумолимыхъ розогъ. Естественнo, что все это должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаковъ. Остапъ считался всегда однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ рѣдко предводительствовалъ другими въ дерзкихъ предпріятіяхъ—обобрать чужой садъ или огородъ, но за то онъ былъ всегда однимъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предприимчиваго бурсака, и никогда, ни въ какомъ случаѣ, не

выдавать своихъ товарищей; никакія плети и розги не могли заставитьъ его это сдѣлать. Онъ былъ суровъ къ другимъ побужденіямъ, кромѣ войны и разгульной пирушки; по крайней мѣрѣ никогда почти о другомъ не думалъ. Онъ былъ прямодушенъ съ равными. Онъ имѣлъ доброту въ такомъ видѣ, въ какомъ она могла только существовать при такомъ характерѣ и въ тогдашнее время. Онъ душевно былъ тронутъ слезами бѣдной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой братъ его, Андрій, имѣлъ чувства нѣсколько живѣе и какъ-то болѣе развитыя. Онъ учился охотѣе и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характеръ. Онъ былъ изобрѣтательнѣе своего брата; чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ помощью изобрѣтательнаго ума своего, умѣлъ увертываться отъ наказанія, тогда какъ братъ его, Остапъ, отложивши всякое попеченіе, скидалъ съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помилованіи. Онъ также кипѣлъ жаждою подвига, но вмѣстѣ съ нею душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за восемнадцать лѣтъ; женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его; онъ, слушая философскіе диспуты, видѣлъ ее поминутно свѣжую, черно-окую, нѣжную. Предъ нимъ непрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, нѣжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея дѣвственныхъ и вмѣстѣ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно скрывалъ отъ своихъ товарищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдашній вѣкъ было стыдно и безчестно думать козаку о женщинѣ и любви, не отвѣдавъ битвы. Вообще въ послѣдніе годы онъ рѣже являлся предводителемъ какой-нибудь ватаги, но чаще бродилъ одинъ гдѣ-нибудь въ уединенномъ закоулкѣ Кіева, потопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ домиковъ, заманчиво глядѣвшихъ на улицу. Иногда онъ забирался и въ улицу аристократовъ, въ нынѣшнемъ старомъ Кіевѣ, гдѣ жили малороссійскіе и польскіе дворяне и гдѣ дома были выстроены съ нѣкоторою прихотливостью. Одинъ разъ, когда онъ зазѣвался, на него почти нахала

колымага какого-то польскаго пана, и сидѣвшій на козлахъ возница съ пристрашными усами хлыснулъ его довольно исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскипѣлъ: съ безумною смѣlostью схватилъ онъ мощною рукою своею за заднее колесо и остановилъ колымагу. Но кучеръ, опасаясь раздѣлки, ударилъ по лошадамъ, онѣ рванули, — и Андрій, къ счастью успѣвшій отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій смѣхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидѣлъ стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывалъ отъ роду: черноглазую и бѣлую, какъ снѣгъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солнца. Она смѣялась отъ всей души, и смѣхъ придавалъ сверкающую силу ея ослѣпительной красотѣ. Онъ оторопѣлъ. Онъ глядѣлъ на нее, совсѣмъ потерявшись, разсѣяннo обтирая съ лица своего грязь, которою еще болѣе замазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ хотѣлъ было узнать отъ дворни, которая толпою, въ богатомъ убранствѣ, стояла за воретами, окруживши играващаго молодого бандуриста. Но дворня подняла смѣхъ, увидѣвши его запачканную рожу, и не удостоила его отвѣтомъ. Наконецъ, онъ узналъ, что это была дочь пріѣхавшаго на время ковенскаго воеводы. Въ слѣдующую же ночь, съ свойственною однимъ бурсакамъ дерзостью, онъ пролѣзъ чрезъ частоколь въ садъ, взлѣзъ на дерево, которое раскидывалось вѣтвями на самую крышу дома; съ дерева перелѣзъ онъ на крышу и черезъ трубу камина пробрался прямо въ спальню красавицы, которая въ это время сидѣла передъ свѣчкою и вынимала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Прекрасная полячка такъ испугалась, увидѣвши вдругъ передъ собою незнакомаго человѣка, что не могла произнести ни одного слова; но когда примѣтила, что бурсакъ стоялъ, потупивъ глаза и не смѣя отъ робости пошевелить рукою, когда узнала въ немъ того же самаго, который хлопнулся передъ ея глазами на улицѣ, смѣхъ вновь овладѣлъ ею. Притомъ въ чертахъ Андріа ничего не было страшнаго: онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души смѣялась и долго забавлялась надъ нимъ. Красавица была вѣтрена, какъ полячка; но глаза ея, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не могъ пошевелить рукою и былъ связанъ, какъ въ мѣшкѣ, когда дочь воеводы смѣло подошла къ нему, надѣла ему на

голову свою блистательную діадему, повѣсила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку съ фестонами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и дѣлала съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ развязностью дитяти, которою отличаются вѣтренныя полячки и которая повергла бѣднаго бурсака въ большее еще смущеніе. Онъ представлялъ смѣшную фигуру, раскрывши ротъ и глядя неподвижно въ ея ослѣпительныя очи. Раздавшійся въ это время у дверей стукъ испугалъ ее. Она велѣла ему спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокойство прошло, кликнула свою горничную, плѣнную татарку, и дала ей приказаніе осторожно вывести его въ садъ и оттуда отправитъ черезъ заборъ. Но на этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувшійся сторожъ хватилъ его порядочно по ногамъ и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улицѣ, покаместъ быстрыя ноги не спасли его. Послѣ этого проходить возлѣ дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Онъ встрѣтилъ ее еще разъ въ костелѣ: она замѣтила его и очень пріятно усмѣхнулась, какъ давнему знакомому. Онъ видѣлъ ее вскользь еще одинъ разъ; и послѣ этого воевода ковенскій скоро уѣхалъ, и вмѣсто прекрасной черноглазой полячки выглядывало изъ оконъ какое-то толстое лицо. Вотъ о чемъ думалъ Андрій, повѣсивъ голову и потупивъ глаза въ гриву коня своего.

А между тѣмъ степь уже давно приняла ихъ всѣхъ въ свои зеленныя объятія, и высокая трава, обступивши, скрыла ихъ, и только черныя козачьи шапки однѣ мелькали между ея колосьями.

«Э, э, э! что же это вы, хлопцы, такъ притихли?» сказалъ, наконецъ, Бульба, очнувшись отъ своей задумчивости: «какъ будто какіе-нибудь чернецы! Ну, разомъ всѣ думки къ нечистому! Берите въ зубы люльки, да закуримъ, да прищпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобы и птица не угналась за нами!»

И козаки, принагнувшись къ конямъ, пропали въ травѣ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видѣть; одна только струя сжимаемой травы показывала слѣдъ ихъ быстрого бѣга.

Солнце выглянуло давно на расчищенномъ небѣ и живительнымъ, теплотворнымъ свѣтомъ своимъ облило степь.

Все, что смутно и сонно было на душѣ у козаковъ, вмигъ слетѣло; сердца ихъ вострепнулись, какъ птицы.

Степь, чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась прекраснѣе. Тогда весь Югъ, все то пространство, которое составляетъ нынѣшнюю Новороссію до самаго Чернаго моря, было зеленою, дѣвственною пустынею. Никогда плугъ не проходилъ по неизмѣримымъ волнамъ дикихъ растений; одни только кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ лѣсу, вытаптывали ихъ. Ничего въ природѣ не могло быть лучше; вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по которому брызнули миллионы разныхъ цвѣтовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубыя, синія и лиловыя волошки; желтый дрокъ выскакивалъ вверхъ своею пирамидальною верхушкою; бѣлая кашка зонтикообразными шапками пестрѣла на поверхности; занесенный, Богъ знаетъ откуда, колосъ пшеницы наливался въ гущѣ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ былъ наполненъ тысячею разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небѣ неподвижно стояли ястребы, распластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сторонѣ тучи дикихъ гусей отдавался, Богъ вѣсть, въ какомъ дальнемъ озерѣ. Изъ травы подымалась мѣрными взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ вышинѣ и только мелькаетъ одною черною точкою; вонъ она перевернулась крылами и блеснула передъ солнцемъ... Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!..

Наши путешественники останавливались только на нѣсколько минутъ для обѣда, при чемъ ѣхавшій съ ними отрядъ изъ десяти козаковъ, слѣзалъ съ лошадей, отвязывалъ деревянные баклажки съ горѣлкою и тыквы, употребляемыя вмѣсто сосудовъ. Ъли только хлѣбъ съ саломъ, или коржи, пили только по одной чаркѣ, единственно для подкрѣпленія, потому что Тарасъ Бульба не позволялъ никогда напиваться въ дорогѣ, и продолжали путь до вечера. Вечеромъ вся степь совершенно пере мѣнялась: все пестрое пространство ея охватывалось послѣднимъ яркимъ отблескомъ солнца и постепенно темнѣло, такъ что видно было, какъ тѣнь перебѣгала по немъ, и она становилась темно-зеленою; испаренія подымались гуще; каждый цвѣтокъ, каждая травка выпускала амбру, и вся степь курилась



благовоніемъ. По небу, изголуба-темному, какъ будто исполинскою бистью, наляпаны были широкія полосы изъ розоваго золота; изрѣдка бѣлыя клоками легкія и прозрачныя облака, и самый свѣжій, обольстительный, какъ морскія волны, вѣтерокъ едва колыхался по верхушкамъ травы и чуть дотрогивался до щекъ. Вся музыка, звучащая днемъ, утихала и смѣнялась другою. Пестрые суслики выпалзвали изъ норъ своихъ, становились на заднія лапки и оглашали степь свистомъ. Трещаніе кузнечиковъ становилось слышнѣе. Иногда слышался изъ какого-нибудь уединеннаго озера крикъ лебедя и, какъ серебро, отдавался въ воздухѣ. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлегъ, раскладывали огонь и ставили на него котелъ, въ которомъ варили себѣ кулишъ; паръ отдѣлялся и косвенно дымился на воздухѣ. Поужинавъ, козаки ложились спать, пустивши по травѣ спутанныхъ коней своихъ. Они раскидывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядѣли ночныя звѣзды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный міръ насѣкомыхъ, наполнявшихъ траву: весь ихъ трескъ, свистъ, стрекотанье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось въ свѣжемъ воздухѣ и убаюкивало дремлющій слухъ. Если же кто-нибудь изъ нихъ подымался и вставалъ на время, то ему представлялась степь усыпанною блестящими искрами свѣтящихся червей. Иногда ночное небо въ разныхъ мѣстахъ освѣщалось дальнимъ заревоиъ отъ выжигаемаго по лугамъ и рѣкамъ сухого тростника, и темная вереница лебедей, летѣвшихъ на сѣверъ, вдругъ освѣщалась серебряно-розовымъ свѣтомъ, и тогда казалось, что красныя платки летали по темному небу.

Путешественники ѣхали безъ всякихъ приключеній. Нигдѣ не попадались имъ деревья: все та же безконечная, вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонѣ синѣли верхушки отдаленнаго лѣса, тянувшагося по берегамъ Днѣпра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую, чернѣвшую въ дальней травѣ, точку, сказавши: «Смотрите, дѣтки, вонъ скачетъ татаринъ!» Маленькая головка съ усами устала издали прямо на нихъ узенькіе глаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, пропала, увидѣвши, что козаковъ было тринадцать человекъ. «А ну, дѣтки, попробуйте догнать татарина! и не пробуйте, — вовѣки не поймаете: у него конь

быстрѣ моего Чорта». Однакожь Бульба взялъ предосторожность, опасаясь гдѣ-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали къ небольшой рѣчкѣ, называвшейся Татаркою, впадающей въ Днѣпръ, кинулись въ воду съ конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть свой слѣдъ, и тогда уже, выбравшись на берегъ, они продолжали далѣе путь.

Черезъ три дня послѣ этого они были уже недалеко отъ мѣста, бывшаго предметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ вдругъ заходило: они почувствовали близость Днѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ вдали и темною полоскою отдѣлился отъ горизонта. Онъ вѣялъ холодными волнами и разстился ближе, ближе, и наконецъ охватилъ половину всей поверхности земли. Это было то мѣсто Днѣпра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ, наконецъ, свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись по волѣ, гдѣ брошенные въ средину его острова вытѣсняли его еще далѣе изъ береговъ и волны его стались широко по землѣ, не встрѣчая ни утесовъ, ни возвышеній. Козаки сошли съ коней своихъ, взошли на паромъ и, черезъ три часа плаванія, были уже у береговъ острова Хортицы, гдѣ была тогда Сѣчь, такъ часто перемѣнявшая свое жилище.

Куча народу бранилась на берегу съ перевозчиками. Козаки оправили коней. Тарасъ приосанился, стянуть на себѣ покрѣпче поясъ и гордо провелъ рукою по усамъ. Молодые сыны его тоже осмотрѣли себя съ ногъ до головы, съ какимъ-то страхомъ и неопредѣленнымъ удовольствіемъ, и всѣ вмѣстѣ вѣхали въ предмѣстье, находившееся за полверсты отъ Сѣчи. При вѣздѣ, ихъ оглушили пятьдесятъ кузнечныхъ молотовъ, ударявшихъ въ двадцати пяти кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землѣ. Сильные кожевники сидѣли подъ навѣсомъ крылецъ на улицѣ и мяти своими дюжими руками бычачьи кожи; крамари подъ ятками сидѣли съ кучами кремней, огнивами и порохомъ; армянинъ развѣсилъ дорогіе платки; татаринъ ворочалъ на рожнахъ бараны, катки съ тѣстомъ; жидъ, выставивъ впередъ свою голову, цѣдилъ изъ бочки горѣлку. Но первый, кто попался имъ навстрѣчу, это былъ запорожецъ, спавшій на самой срединѣ дороги, раскинувъ руки и ноги. Тарасъ Бульба не могъ не остановиться и не полюбоваться на него. «Эхъ, какъ важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура!» говорилъ онъ, остановивши коня. Въ самомъ дѣлѣ, это была картина довольно смѣлая: запорожецъ, какъ левъ, растя-

нулся на дорогѣ; закинутый гордо чубъ его захватывалъ на полъ-аршина земли; шаровары алаго дорогого сукна были запачканы дегтемъ для показанія полнаго къ нимъ презрѣнія. Полюбовавшись, Бульба пробирался далѣе по тѣсной улицѣ, которая была загромождена мастеровыми, тутъ же отправлявшими ремесло свое, и людьми всѣхъ націй, наполнявшими это предмѣстье Сѣчи, которое было похоже на ярмарку и которое одѣвало и кормило Сѣчь, умѣвшую только гулять да палить изъ ружей.

Наконецъ, они миновали предмѣстье и увидѣли нѣсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ или, по-татарски, войлокомъ. Иные уставлены были пушками. Нигдѣ не видно было забора, или тѣхъ низенькихъ домиковъ съ навѣсами на низенькихъ деревянныхъ столбикахъ, какіе были въ предмѣстьи. Небольшой валъ и засѣка, не хранимые рѣшительно никѣмъ, показывали страшную безпечность. Нѣсколько дюжихъ запорожцевъ, лежавшихъ съ трубками въ зубахъ на самой дорогѣ, посмотрѣли на нихъ довольно равнодушно и не сдвинулись съ мѣста. Тарасъ осторожно проѣхалъ съ сыновьями между нихъ, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» Отвѣчали запорожцы. Вездѣ, по всему полю, живописными кучами пестрѣлъ народъ. По смуглымъ лицамъ видно было, что всѣ они были закалены въ битвахъ, испробовали всякихъ невзгодъ. Такъ вотъ она, Сѣчь! Вотъ то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы! Вотъ откуда разливается воля и козачество на всю Украину!

Путники выѣхали на обширную площадь, гдѣ обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочкѣ сидѣлъ запорожецъ безъ рубашки; онъ держалъ ее въ рукахъ и медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу цѣлая толпа музыкантовъ, въ срединѣ которыхъ отплясывалъ молодой запорожецъ, заломивши шапку чортомъ и вскинувши руками. Онъ кричалъ только: «Живѣ играйте, музыканты! Не жалѣй, Гома, горѣлки православному христіанамъ!» И Гома, съ подбитымъ глазомъ, мѣрялъ безъ счету каждому пристававшему по огромнѣйшей кружкѣ. Около молодого запорожца четверо старыхъ вырабатывали довольно мелко ногами, вскидывались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ, и вдругъ, опустившись, неслись въ присядку и били, круто и крѣпко,

своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудѣла на всю округу, и въ воздухѣ далече отдавались гопаки и тропакки, выбиваемые звонкими подковами сапоговъ. Но одинъ всѣхъ живѣе вскрикивалъ и летѣлъ вслѣдъ за другими въ танцѣ. Чуприна развѣвалась по вѣтру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимній кожанъ былъ надѣтъ въ рукава, и потъ градомъ лилъ съ него, какъ изъ ведра.—«Да'ними хотъ кожанъ!» сказали, наконецъ, Тарасъ: «видишь, какъ парить». — «Не можно», кричалъ запорожецъ.—«Отчего?»—«Не можно; у меня ужъ такой нравъ: что скину, то пропью». А шапки ужъ давно не было на молодцѣ, ни пояса на кафтанѣ, ни шитаго платка: все пошло, куда слѣдуетъ. Толпа росла; къ танцующимъ приставали другіе, и нельзя было видѣть безъ внутренняго движенія, какъ все отдирало танецъ самый вольный, самый бѣшеный, какой только видѣть когда-либо свѣтъ, и который, по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, названъ козачкомъ.

«Эхъ, если бы не конь!» вскрикнулъ Тарасъ: «пустился бы, право,пустился бы самъ въ танецъ!»

А между тѣмъ въ народѣ стали попадаться и уважаемые по заслугамъ всею Сѣчью сѣдые, старые чубы, бывавшіе не разъ старшинами. Тарасъ скоро встрѣтилъ множество знакомыхъ лицъ. Остапъ и Андрій слышали только привѣтствія. «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолупъ!» — «Откуда Богъ несетъ тебя, Тарасъ?» — «Ты какъ сюда зашелъ, Долото? Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думалъ ли я видѣть тебя, Ремень?» И витязи, собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи, цѣловались взаимно, и тутъ понеслись вопросы: «А что Касьянъ? что Бородавка? что Колоперъ? что Пидсышокъ?» И слышалъ только въ отвѣтъ Тарасъ Бульба, что Бородавка повѣшенъ въ Толопанѣ, что съ Колопера содрали кожу подъ Кизикирменомъ, что Пидсышкова голова посолена въ бочкѣ и отправлена въ самый Царьградъ. Понурилъ голову старый Бульба и раздумчиво говорилъ: «Добрые были козакки!»

### III.

Уже около недѣли Тарасъ Бульба жилъ съ сыновьями своими на Сѣчи. Остапъ и Андрій мало занимались воен-

ною школою. Сѣчь не любила затруднять себя военными упражненіями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось въ ней однимъ опытомъ, въ самомъ пылу битвъ, которыя оттого были почти непрерывны. Козаки почитали скучнымъ занимать промежутки изученіемъ какой-нибудь дисциплины, кромѣ развѣ стрѣльбы въ цѣль, да изрѣдка конной скачки и гоньбы за звѣремъ въ степяхъ и лугахъ; все прочее время отдавалось гульбѣ—признаку широкаго размета душевной воли. Вся Сѣчь представляла необыкновенное явленіе: это было какое-то непрерывное пиршество, балъ, начавшійся шумно и потерявшій конецъ свой. Нѣкоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла съ утра до вечера, если въ карманахъ звучала возможность и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имѣло въ себѣ что-то околдовывающее. Оно не было сборищемъ бражниковъ, напивавшихся съ горя; но было просто бѣшеное разгулье веселости. Всякій приходящій сюда позабывалъ и бросалъ все, что дотолѣ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее и беззаботно предавался волѣ и товариществу такихъ же, какъ самъ, гулякъ, не имѣвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромѣ вольнаго неба и вѣчнаго пира души своей. Это производило ту бѣшеную веселость, которая не могла бы родиться ни изъ какого другого источника. Разсказы и болтовня, среди собравшейся толпы, лѣниво отдыхавшей на землѣ, часто такъ были смѣшны и дышали такою силою живого разсказа, что нужно было имѣть всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выраженіе лица, не моргнувъ даже усомъ,—рѣзкая черта, которою отличается донинѣ отъ другихъ братьевъ своихъ южный россіянинъ. Веселость была пьяна, шумна, но при всемъ томъ это не былъ черный кабакъ, гдѣ мрачно-искажающимъ весельемъ забывается человѣкъ; это былъ тѣсный кругъ школьныхъ товарищей. Разница была только въ томъ, что, вмѣсто сидѣнія за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набѣгъ на пяти тысячахъ коней; вмѣсто луга, гдѣ играютъ въ мячъ, у нихъ были неохраемые, безпечныя границы, въ виду которыхъ татаринъ выказывалъ быструю свою голову и неподвижно, сурово глядѣлъ турокъ въ зеленой чалмѣ своей. Разница

та, что вмѣсто насильной воли, соединившей ихъ въ школы, они сами собой кинули отцовъ и матерей и бѣжали изъ родительскихъ домовъ; что здѣсь были тѣ, у которыхъ уже моталась около шеи веревка и которые, вмѣсто блѣдной смерти, увидѣли жизнь, и жизнь во всемъ разгулѣ; что здѣсь были тѣ, которые, по благородному обычаю, не могли удержать въ карманѣ своемъ копейки; что здѣсь были тѣ, которые дотолѣ червонецъ считали богатствомъ, у которыхъ, по милости арендаторовъ-жидовъ, карманы можно было выворотить безъ всякаго опасенія что-нибудь выронить. Здѣсь были всѣ бурсаки, не вытерпѣвшіе академическихъ лозъ и не вынесшіе изъ школы ни одной буквы; но вмѣстѣ съ ними здѣсь были и тѣ, которые знали, что такое Гораций, Цицеронъ и римская республика. Тутъ было много тѣхъ офицеровъ, которые потомъ отличались въ королевскихъ войскахъ; тутъ было множество образовавшихся опытныхъ партизановъ, которые имѣли благородное убѣжденіе мыслить, что все равно, гдѣ бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человѣку быть безъ битвы. Много было и такихъ, которые пришли на Сѣчь съ тѣмъ, чтобы потомъ сказать, что они были на Сѣчи, и уже закаленные рыцари. Но кого тутъ не было? Эта странная республика была именно потребностью того вѣка. Охотники до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей, дукатовъ и реаловъ, во всякое время могли найти здѣсь работу. Одни только обожатели женщинъ не могли найти здѣсь ничего, потому что даже въ предмѣстьѣ Сѣчи не смѣла показываться ни одна женщина.

Остапу и Андрію казалось чрезвычайно страннымъ, что при нихъ же приходила на Сѣчь бездна народу и хоть бы кто-нибудь спросилъ: откуда эти люди, кто они и какъ ихъ зовутъ? Они приходили сюда, какъ будто бы возвращаясь въ свой собственный домъ, откуда только за часъ передъ тѣмъ вышли. Пришедшій являлся только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: «Здравствуй! Что, во Христа вѣруешь?» — «Вѣрую!» отвѣчалъ приходившій. — «И въ Троицу Святую вѣруешь?» — «Вѣрую!» — «И въ церковь ходишь?» — «Хожу!» — «А ну, перекрестись!» Пришедшій крестился. — «Ну, хорошо!» отвѣчалъ кошевой: «стунай же, въ который самъ знаешь, курень». Этимъ оканчивалась вся церемонія. И вся Сѣчь молилась въ одной церкви и го-

това была защищать ее до послѣдней капли крови, хотя и слышать не хотѣла о постѣ и воздержаніи. Только побуждаемые сильною корыстью жида, армяне и татары осмѣливались жить и торговать въ предмѣстьи, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Впрочемъ, участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка: они были похожи на тѣхъ, которые селились у подошвы Везувія, потому что какъ только у запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда даромъ. Сѣчь состояла изъ шестидесяти слишкомъ куреней, которые очень походили на отдѣльныя независимыя республики, а еще болѣе на школу и бурсу дѣтей, живущихъ на всемъ готовомъ. Никто ничѣмъ не заводился и ничего не держалъ у себя: все было на рукахъ у куренного атамана, который за это обыкновенно носилъ названіе батька. У него были на рукахъ деньги, платья, весь харчъ, сапата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги подъ сохранъ. Нерѣдко происходила ссора у куреней съ куренями; въ такомъ случаѣ дѣло тотъ же часъ доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали другъ другу бока, покаместъ одни не пересиливали наконецъ и не брали верхъ, и тогда начиналась гуляня. Такова была эта Сѣчь, имѣвшая столько приманокъ для молодыхъ людей.

Остапъ и Андрій кинулись со всею пылкостью юношей въ это разгульное море, и забыли вмѣгъ и отцовскій домъ, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предалися новой жизни. Все занимало ихъ: разгульные обычаи Сѣчи и немногосложная управа и законы, которые казались имъ иногда даже слишкомъ строгими среди такой своевольной республики. Если козакъ проворовался, укралъ какую-нибудь бездѣлицу, это считалось уже поношеніемъ всему козачеству: его, какъ безчестнаго, привязывали къ позорному столбу и клали возлѣ него дубину, которою всякій проходящій обязанъ былъ нанести ему ударъ, пока такимъ образомъ не забивали его на смерть. Не платившаго должника приковывали цѣпью къ пущкѣ, гдѣ долженъ былъ онъ сидѣть до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ товарищей не рѣшался его выкупить, заплативши за него долгъ. Но болѣе всего произвела впечатлѣныя на Андрія страшная казнь, опредѣленная за смертоубійство. Тутъ же при немъ вырыли

яму, опустили туда живого убійцу и сверху него поставили гробъ, заключавшій тѣло имъ убіеннаго, и потомъ обоихъ засыпали землею. Долго потомъ все чудился ему страшный обрядъ казни и все представлялся этотъ заживо засыпанный человекъ вмѣстѣ съ ужаснымъ гробомъ.

Скоро оба молодые козака стали на хорошемъ счету у козаковъ. Часто, вмѣстѣ съ другими товарищами своего куреня, а иногда со всѣмъ куренемъ и съ сосѣдними куренями, выступали они въ степи для стрѣльбы несмѣтнаго числа всѣхъ возможныхъ степныхъ птицъ, оленей и козъ, или же выходили на озера, рѣки и протоки, отведенные по жребію каждому куреню, закидывать невода, сѣти и тащить богатые тони на продовольствіе всего своего куреня. Хотя и не было тутъ науки, на которой пробуется козакъ, но они стали уже замѣтны между другими молодыми прямою удалю и удачливостью во всемъ. Бойко и мѣтко стрѣляли въ цѣль, переплывали Днѣпръ противъ теченья—дѣло, за которое новичокъ принимался торжественно въ козацкіе круги.

Но старый Тарасъ готовилъ имъ другую дѣятельность. Ему не по душѣ была такая праздная жизнь—настоящаго дѣла хотѣлъ онъ. Онъ все придумывалъ, какъ бы поднять Сѣчь на отважное предпріятіе, гдѣ бы можно было разгуляться, какъ слѣдуетъ, рыцарю. Наконецъ, въ одинъ день пришелъ къ кошевому и сказалъ ему прямо: «Что, кошевой, пора бы погулять запорожцамъ».

«Негдѣ погулять», отвѣчалъ кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнувъ на сторону.

«Какъ негдѣ? можно пойти на Турещину, или на Татарву».

«Не можно ни въ Турещину, ни въ Татарву», отвѣчалъ кошевой, взявши опять хладнокровно въ ротъ свою трубку.

«Какъ не можно?»

«Такъ. Мы обѣщали султану миръ».

«Да вѣдь онъ бусурмень: и Богъ, и святое писаніе велитъ бить бусурменовъ».

«Не имѣемъ права. Если-бъ не клялись еще нашею вѣрою, то, можетъ-быть, и можно было бы; а теперь нѣтъ, не можно».

«Какъ не можно? Какъ же ты говоришь: не имѣемъ права? Вотъ у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни



разу ни тотъ, ни другой не былъ на войнѣ, а ты говоришь: не имѣемъ права; а ты говоришь: не нужно итти за-порожцамъ».

«Ну, ужъ не слѣдуетъ такъ».

«Такъ, стало-быть, слѣдуетъ, чтобы пропадала даромъ козацкая сила, чтобы человѣкъ сгинулъ, какъ собака, безъ добраго дѣла, чтобы ни отчизнѣ, ни всему христіанству не было отъ него никакой пользы? Такъ на что же мы живемъ, на какого чорта мы живемъ? растолкуй ты мнѣ это. Ты человѣкъ умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые: растолкуй мнѣ, на что мы живемъ?»

Кошевой не далъ отвѣта на этотъ запросъ. Это былъ упрямый козакъ. Онъ немного помолчалъ и потомъ сказалъ: «А войнѣ все-таки не бывать».

«Такъ не бывать войнѣ?» спросилъ опять Тарасъ.

«Нѣтъ».

«Такъ ужъ и думать объ этомъ нечего?»

«И думать объ этомъ нечего».

«Постой же ты, чортовъ кулакъ!» сказалъ Бульба про себя: «ты у меня будешь знать!» и положилъ тутъ же отмстить кошевому.

Сговорившись съ тѣмъ и другимъ, задать онъ всѣмъ попойку, и хмельные козаки, въ числѣ нѣсколькихъ человѣкъ, повалили прямо на площадь, гдѣ стояли привязанныя къ столбу литавры, въ которыя обыкновенно били сборъ на раду. Не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довиши, они схватили по полѣну въ руки и начали колотить въ нихъ. На бой прежде всего прибѣжать довишъ, высокій человѣкъ, съ однимъ только глазомъ, несмотря однакожъ на то, страшно заспаннымъ.

«Кто смѣетъ бить въ литавры?» закричалъ онъ.

«Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебѣ велитъ!» отвѣчали подгулявшіе старшины.

Довишъ вынулъ тотчасъ изъ кармана палки, которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры грянули, — и скоро на площадь, какъ шмели, стали собираться черныя кучи запорожцевъ. Всѣ собрались въ кружокъ, и послѣ третьяго боя показали, наконецъ, старшины: кошевой съ палицей въ рукѣ, знакомъ своего достоинства, судья съ войсковою печатью, писарь съ чернильницею и есаулъ съ жезломъ. Ко-

шевой и старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны козакамъ, которые гордо стояли, подпершись руками въ бока.

«Что значить это собрание? Чего хотите, панове?» сказалъ кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

«Клади палицу! Клади, чортовъ сынъ, сей же часъ палицу! Не хотимъ тебя больше!» кричали изъ толпы козаки. Нѣкоторые изъ трезвыхъ куреней хотѣли, какъ казалось, противиться; но бурени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крикъ и шумъ сдѣлались общими.

Кошевой хотѣлъ было говорить, но, зная, что разъярявшаяся, своевольная толпа можетъ за это прибить его насмерть, что всегда почти бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, поклонился очень низко, положилъ палицу и скрылся въ толгѣ.

«Прикажете, панове, и намъ положить знаки достоинства?» сказали судья, писарь и есаулъ, и готовились тутъ же положить чернильницу, войсковую печать и жезлъ.

«Нѣтъ, вы оставайтесь!» закричали изъ толпы: «намъ нужно было только прогнать кошевого, потому что онъ — баба, а намъ нужно человѣка въ кошевые».

«Кого же выберете теперь въ кошевые?» сказали старшины.

«Кукубенка выбрать!» кричала часть.

«Не хотимъ Кукубенка!» кричала другая. «Рано ему, еще молоко на губахъ не обсохло».

«Шило пусть будетъ атаманомъ!» кричали одни. «Шила посадить въ кошевые!»

«Въ спину тебѣ шило!» кричала съ бранью толпа. «Что онъ за козакъ, когда проворовался, собачій сынъ, какъ тараринъ? Къ чорту въ мѣшокъ пьяницу Шила!»

«Бородатаго, Бородатаго посадимъ въ кошевые!»

«Не хотимъ Бородатаго! Къ нечистой матери Бородатаго!»

«Кричите Кирдягу!» шепнулъ Тарасъ Бульба нѣкоторымъ.

«Кирдягу! Кирдягу!» кричала толпа. «Бородатаго, Бородатаго! Кирдягу! Кирдягу! Шила! Къ чорту съ Шиломъ! Кирдягу!»

Все кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, тотчасъ же вышли изъ толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личнымъ участіемъ своимъ въ избраніи.

«Кирдягу! Кирдягу!» раздавалось сильнѣе прочихъ. «Бородатаго!» Дѣло принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовалъ.

«Ступайте за Кирдягою!» закричали. Человѣкъ десятокъ козаковъ отдѣлились тутъ же изъ толпы; нѣкоторые изъ нихъ едва держались на ногахъ,—до такой степени успѣли нагрузиться, и отправились прямо къ Кирдягѣ объявить ему объ его избраніи.

Кирдяга, хотя престарѣлый, но умный козакъ, давно уже сидѣлъ въ своемъ куреніи и какъ будто бы не вѣдалъ ни о чемъ происходившемъ. «Что, панове? что вамъ нужно?» спросилъ онъ.

«Иди, тебя выбрали въ кошевые!..»

«Помилосердствуйте, панове!» сказалъ Кирдяга: «гдѣ мнѣ быть достойну такой чести! Гдѣ мнѣ быть кошевымъ! Да у меня и разума не хватитъ къ отправленію такой должности. Будто уже никого лучшаго не нашлось въ цѣломъ войскѣ?»

«Ступай же, говорятъ тебѣ!» кричали запорожцы. Двое изъ нихъ схватили его подъ руки, и какъ онъ ни упирался ногами, но былъ, наконецъ, притащенъ на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньемъ сзади кулаками, пинками и увѣщаньями: «Не пяться же, чортовъ сынъ! Принимай же честь, собака, когда тебѣ дають се!» Такимъ образомъ введенъ былъ Кирдяга въ козацкій кругъ.

«Что, панове?» провозгласили во весь народъ приведшіе его: «согласны ли вы, чтобы сей козакъ былъ у насъ кошевымъ?»

«Всѣ согласны!» закричала толпа, и отъ крику долго гремѣло все поле.

Одинъ изъ старшинъ взялъ палицу и поднесъ ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчасъ же отказался. Старшина поднесъ въ другой разъ: Кирдяга отказался и въ другой разъ, и потомъ уже за третьимъ разомъ взялъ палицу. Одобрительный крикъ раздался по всей толпѣ, и вновь далеко загудѣло отъ козацкаго крика все поле. Тогда выступило изъ середины народа четверо самыхъ старыхъ, сѣдоусыхъ и сѣдочупрынныхъ козаковъ (слишкомъ старыхъ не было на Сѣчи, ибо никто изъ запорожцевъ не умиралъ своею смертію) и, взявши каждый въ руки земли, которая на ту пору отъ бывшаго дождя

растворилась въ грязь, положили ее ему на голову. Мокрая земля стекла съ его головы, потекла по усамъ и по щекамъ, и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоялъ, не двигаясь съ мѣста, и благодарить козаковъ за оказанную честь.

Такимъ образомъ кончилось шумное избраніе, которому, не извѣстно, были ли такъ рады другіе, какъ радъ былъ Бульба: этимъ онъ отомстилъ прежнему кошевому; къ тому же и Кирдяга былъ старый его товарищъ и бывалъ съ нимъ въ однихъ и тѣхъ же сухопутныхъ и морскихъ походахъ, дѣля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тутъ же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотолѣ Остапъ и Андрій. Винные шинки были разбиты; медъ, горѣлка и пиво забирались просто, безъ денегъ; шинкари были уже рады и тому, что сами остались цѣлы. Вся ночь прошла въ крикахъ и пѣсняхъ, славившихъ подвиги, и взошедшій мѣсяцъ долго еще видѣлъ толпы музыкантовъ, проходившихъ по улицамъ, съ бандурами, турбанами, круглыми балалайками, и церковныхъ пѣсельниковъ, которыхъ держали на Сѣчи для пѣнья въ церкви и для восхваленія запорожскихъ дѣлъ. Наконецъ, хмель и утомленье стали одолавать крѣпкія головы. И видно было, какъ то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ падалъ на землю козакъ; какъ товарищъ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вмѣстѣ съ нимъ. Тамъ гурьбою улегалась цѣлая куча; тамъ выбиралъ иной, какъ бы получше ему улечься, и легъ прямо на деревянную колоду. Послѣдній, который былъ покрѣпче, еще выводилъ какія-то безсвязныя рѣчи; наконецъ, и того подкосила хмельная сила, повалился и тотъ, — и заснула вся Сѣча.

---

#### IV.

А на другой день Тарасъ Бульба уже совѣщался съ новымъ кошевымъ, какъ поднять запорожцевъ на какое-нибудь дѣло. Кошевой былъ умный и хитрый козакъ, зналъ вдоль и поперекъ запорожцевъ, и сначала сказалъ: «Не можно клятвы преступить, никакъ не можно», а потомъ, помолчавши, прибавилъ: «Ничего, можно; клятвы мы не преступимъ, а такъ кое-что придумаемъ. Пусть только со-

берется народъ, да не то, чтобы по моему приказу, а просто своею охотою, — вы ужъ знаете, какъ это сдѣлать, — а мы со старшинами тотчасъ и прибѣжимъ на площадь, будто бы ничего не знаемъ».

Не прошло часу послѣ ихъ разговора, какъ уже грянули въ литавры. Нашлись вдругъ и хмельные, и неразумные козаки. Милліонъ козацкихъ шапокъ высыпалъ вдругъ на площадь. Поднялся говоръ: «Кто? зачѣмъ? изъ за какого дѣла пробили сборъ?» Никто не отвѣчалъ. Наконецъ, въ томъ и въ другомъ углу стало раздаваться: «Вотъ пропадаетъ даромъ козацкая сила: нѣтъ войны! Вотъ старшины забайбачились наповаль, позапыли жиромъ очи! Нѣтъ, видно, правды на свѣтѣ!» Другіе козаки слушали сначала, а потомъ и сами стали говорить: «А и вправду нѣтъ никакой правды на свѣтѣ!» Старшины казались изумленными отъ такихъ рѣчей. Наконецъ, кошевой вышелъ впередъ и сказалъ: «Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать!»

«Держи!»

«Вотъ въ разсужденіи того теперь идетъ рѣчь, панове добродіество, да вы, можетъ-быть, и сами лучше это знаете, что многіе запорожцы позадолжали въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры нейметъ. Потомъ опять въ разсужденіи того пойдетъ рѣчь, что есть много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ глаза не видали, что такое война, тогда какъ молодому человѣку, — и сами знаете, панове, — безъ войны не можно пробыть. Какой и запорожецъ изъ него, если онъ еще ни разу не билъ бусурмана?»

«Онъ хорошо говорить», подумалъ Бульба.

«Не думайте, панове, чтобы я, впрочемъ, говорилъ это для того, чтобы нарушить миръ: сохрани Богъ! Я только такъ это говорю. Притомъ же у насъ храмъ Божій, — грѣхъ сказать, что такое: вотъ сколько лѣтъ уже, какъ, по милости Божіей, стоитъ Сѣчь, а до сихъ поръ не то уже, чтобы снаружи церковь, но даже образа безъ всякаго убранства, хотя бы серебряную ризу кто догадался имъ выковать; они только то и получили, что отказали въ духовной иные козаки; да и даяніе ихъ было бѣдное, потому что почти все пропили еще при жизни своей. Такъ я веду рѣчь эту не къ тому, чтобы начать войну съ бусурманами:

мы обѣщали султану миръ, и намъ бы великій былъ грѣхъ, потому что мы клялись по закону нашему».

«Что-жь онъ путаетъ такое?» сказалъ про себя Бульба.

«Да, такъ видите, панове, что войны не можно начать: рыцарская честь не велитъ. А, по своему бѣдному разуму, вотъ что я думаю: пустить съ челнами однихъ молодыхъ, пусть немного пошарпаютъ берега Натоли. Какъ думаете, панове?»

«Веди, веи всѣхъ!» закричала со всѣхъ сторожъ толпа: «за вѣру мы готовы положить головы».

Кошевой испугался; онъ ничуть не хотѣлъ подымать всего Запорожья: разорвать миръ ему казалось въ этомъ случаѣ дѣломъ неправымъ. «Позвольте, панове, еще одну рѣчь держать?»

«Довольно!» кричали запорожцы: «лучше не скажешь».

«Когда такъ, то пусть будетъ такъ. Я слуга вашей воли. Ужъ дѣло извѣстное, и по писанью извѣстно, что гласъ народа—гласъ Божій. Ужъ умѣе того нельзя выдумать, что весь народъ выдумалъ. Только вотъ что: вамъ извѣстно, панове, что султанъ не оставитъ безнаказанно то удовольствіе, которымъ потѣшится молодцы. А мы тѣмъ временемъ были бы наготовѣ, и силы у насъ были бы свѣжія, и никого-бъ не побоялись. А во время отлучки и татарва можетъ напасть: они, турецкія собаки, въ глаза не кинутся и къ хозяину на домъ не посмѣютъ притти, а сзади укусятъ за пяты, да и больно укусятъ. Да если ужъ пошло на то, чтобы говорить правду, у насъ и челновъ нѣтъ столько въ запасѣ, да и пороху не намолото въ такомъ-количествѣ, чтобы можно было всѣмъ отправиться. А я, пожалуй, я радъ: я слуга вашей воли».

Хитрый атаманъ замолчалъ. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совѣщаться; пьяныхъ, къ счастью, было немного, и потому рѣшились послушаться благо-разумнаго совѣта.

Въ тотъ же часъ отправились нѣсколько человекъ на противоположный берегъ Днѣпра, въ войсковую скарбницу, гдѣ, въ неприступныхъ тайникахъ, подъ водою и въ камышахъ, скрывалась войсковая казна и часть добытыхъ у непріятеля оружій. Другіе всѣ бросились къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Вмигъ толпою народа наполнился берегъ. Нѣсколько плотниковъ явились съ топо-

рами въ рукахъ. Старые, загорѣлыя, широкоплечіе, дюженогіе запорожцы, съ просѣдью въ усахъ и черноусые, засучивъ шаровары, стояли по колѣни въ водѣ и стягивали челны крѣпкимъ канатомъ съ берега. Другіе таскали готовые сухія бревна и всякія деревья. Тамъ обшивали досками челнъ; тамъ, переверотивши его вверхъ дномъ, конопатили и смолили; тамъ увязывали къ бокамъ другихъ челновъ, по козацкому обычаю, связки длинныхъ камышей, чтобы не затопило челновъ морскою волною; тамъ дальше по всему побережью разложили костры и кипятили въ мѣдныхъ казанахъ смолу на заливанье судовъ. Бывалые и старые поучали молодыхъ. Стукъ и рабочій крикъ подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живою берегъ.

Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ берегу. Стоявшая на немъ куча людей еще издали махала руками. Это были козаки въ оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный нарядъ, — у многихъ ничего не было, кромѣ рубашки и коротенькой трубки въ зубахъ, — показывалъ, что они или только-что избѣгнули какой-нибудь бѣды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на тѣлѣ. Изъ среды ихъ отдѣлился и сталъ впереди приземистый, плечистый козакъ, человекъ лѣтъ пятидесяти. Онъ кричалъ и махалъ рукою сильнѣе всѣхъ; но за стукомъ и крикомъ рабочихъ не было слышно его словъ.

«А съ чѣмъ пріѣхали?» спросилъ кошевой, когда паромъ приворотилъ къ берегу. Всѣ рабочіе, остановивъ свои работы и поднявъ топоры и долота, смотрѣли въ ожиданіи.

«Съ бѣдою!» кричалъ съ парома приземистый козакъ.

«Съ какою?»

«Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать?»

«Говори!»

«Или хотите, можетъ-быть, собрать раду?»

«Говори, мы всѣ тутъ».

Народъ весь стѣснился въ одну кучу.

«А вы развѣ ничего не слыхали о томъ, что дѣлается на гетьманщинѣ?»

«А что?» произнесъ одинъ изъ куренныхъ атамановъ.

«Э! что? Видно, вамъ татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши, что вы ничего не слыхали».

«Говори же, что тамъ дѣлается?»

«А то дѣлается, что и родились, и крестились, еще не видали такого».

«Да говори намъ, что дѣлается, собачій сынъ!» закричалъ одинъ изъ толпы, какъ видно, потерявъ терпѣніе.

«Такая пора теперь завелась, что уже церкви святыхъ теперь не наши».

«Какъ не наши?»

«Теперь у жидовъ онѣ на арендѣ. Если жиду впередъ не заплатишь, то и обѣдни нельзя править».

«Что ты толкуешь?»

«И если разсобачій жидъ не положить значка нечистою своею рукою на святой пасхѣ, то и святить пасхи нельзя».

«Вреть онѣ, паны браты, не можетъ быть того, чтобы нечистый жидъ клалъ значокъ на святой пасхѣ».

«Слушайте! еще не то расскажу: и ксендзы ѣздятъ теперь по всей Украинѣ въ таратайкахъ. Да не то бѣда, что въ таратайкахъ, а то бѣда, что запрягаютъ уже не коней, а просто православныхъ христіанъ. Слушайте! еще не то расскажу: уже, говорятъ, жидовки шьютъ себѣ юбки изъ поповскихъ ризъ. Вотъ какія дѣла водятся на Украинѣ, панове! А вы тутъ сидите на Запорожьи, да гуляете, да, видно татаринъ такого задалъ вамъ страху, что у васъ уже ни глазъ, ни ушей—ничего нѣтъ, и вы не слышите, что дѣлается на свѣтѣ».

«Стой, стой!» прервалъ кошевой, дотолѣ стоявшій, потупивъ глаза въ землю, какъ и всѣ запорожцы, которые въ важныхъ дѣлахъ никогда не отдавались первому порыву, но молчали, и между тѣмъ въ тишинѣ совокупляли грозную силу негодованія.—«Стой! и я скажу слово. А что-жъ вы,—такъ бы и этакъ поколотилъ чортъ вашего батька!—что-жъ вы дѣлали сами? Развѣ у васъ сабель не было, что ли? Какъ же вы пустили такому беззаконію?»

«Э, какъ пустили такому беззаконію!.. А попробовали бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было однихъ ляховъ, да и, нечего грѣха таить, были тоже собаки и между нашими—ужъ приняли ихъ вѣру».

«А гетьманъ вашъ, а полковники что дѣлали?»

«Надѣлали полковники такихъ дѣлъ, что не приведи Богъ и намъ никому».

«Какъ?»



«А такъ, что ужъ теперь гетьманъ, зажаренный въ мѣдномъ быкѣ, лежитъ въ Варшавѣ, а полковничьи руки и головы развозятъ по ярмаркамъ на показъ всему народу. Вотъ что надѣлали полковники!»

Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчаніе, подобное тому, какъ бываетъ передъ свирѣпою бурей, а потомъ вдругъ поднялись рѣчи и весь заговорилъ берегъ: «Какъ! чтобы жида держали на арендѣ христіанскія церкви! чтобы ксендзы запрягали въ оглобли православныхъ христіанъ! Какъ! чтобы попустить такіа мученья на Русской землѣ отъ проклятыхъ недовѣрцовъ! чтобы вотъ такъ поступали съ полковниками и гетьманомъ! Да не будетъ же сего, не будетъ!» Такія слова передетали по всѣмъ концамъ. Запумѣли запорожцы и почуяли свои силы. Тутъ уже не было волненій легкомысленнаго народа: волновались все характеры тяжелые и крѣпкіе, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили въ себѣ внутренній жаръ. «Перевѣшать всю жидову!» раздалось изъ толпы: «пусть же не шьютъ изъ поповскихъ ризъ юбокъ своимъ жидовкамъ! Пусть же не ставятъ значковъ на святыхъ пасхахъ! Перетопить ихъ всѣхъ, поганцевъ, въ Днѣпрѣ!» Слова эти, проианесенныя кѣмъ-то изъ толпы, пролетѣли молніей по всѣмъ головамъ, и толпа ринулась на предмѣстье съ желаніемъ перерѣзать всѣхъ жидовъ.

Бѣдные сыны Израиля, растерявши все присутствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались въ пустыхъ горѣлочныхъ бочкахъ, въ печкахъ и даже запалзывали подъ юбки своихъ жидовокъ; но козаки вездѣ ихъ находили.

«Ясновельможные панцы!» кричали одинъ высокій и длинный, какъ палка, жидъ, высунувши изъ кучи своихъ товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ. «Ясновельможные паны! слово только дайте намъ сказать, одно слово! Мы такое объявимъ вамъ, чего еще никогда не слышали, — такое важное, что не можно сказать, каѣе важное!»

«Ну, пусть скажутъ», сказалъ Бульба, который всегда любилъ выслушать обвиняемаго.

«Ясные паны!» произнесъ жидъ. «Такихъ пановъ еще никогда не видывано, ей-Богу, никогда! Такихъ добрыхъ, хорошихъ и храбрыхъ не было еще на свѣтѣ!» Голосъ его

замирать и дрожать отъ страха. «Какъ можно, чтобы мы думали про запорожцевъ что-нибудь нехорошее! Тѣ совсѣмъ не наши, что арендаторствуютъ на Украинѣ! Ей-Богу, не наши! То совсѣмъ не жида: то чортъ знаетъ что; то такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вотъ и они скажутъ то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?»

«Ей-Богу, правда!» отвѣчали изъ толпы Шлема и Шмуль въ изодранныхъ еломкахъ, оба бѣлые, какъ глина.

«Мы никогда еще», продолжалъ длинный жидъ, «не снюхивались съ неприятелями, а католиковъ мы и знать не хотимъ: пусть имъ чортъ приснится! Мы съ запорожцами, какъ братья родные...»

«Какъ? чтобы запорожцы были съ вами братья?» проинанесъ одинъ изъ толпы. «Не дожидетесь, проклятые жида! Въ Днѣпръ ихъ, панове, всѣхъ потопить поганцевъ!»

Эти слова были сигналомъ. Жидовъ расхватили по рукамъ и начали пвырять въ волны. Жалобный крикъ раздался со всѣхъ сторонъ, но суровые запорожцы только смѣялись, видя, какъ жидовскія ноги въ башмакахъ и чулкахъ болтались на воздухѣ.

Бѣдный ораторъ, накликавшій самъ на свою шею бѣду, выскочилъ изъ кафтана, за который было его ухватили, въ одномъ пѣгомъ, узкомъ камзолѣ, схватилъ за ноги Бульбу и жалкимъ голосомъ молилъ: «Великій господинъ, ясновельможный панъ! я знаю и брата вашего, покойнаго Дороша! Былъ воинъ на украшенье всему рыцарству. Я ему восемьсотъ пехиновъ дать, когда нужно было выкупиться изъ плѣна у турка»...

«Ты зналъ брата?» спросилъ Тарасъ.

«Ей-Богу, зналъ! великодушный былъ панъ».

«А какъ тебя зовутъ?»

«Янкель».

«Хорошо», сказалъ Тарасъ, и потомъ, подумавъ, обратился къ козакамъ и проговорилъ такъ: «Повѣсить жиду будетъ всегда время, когда будетъ нужно; а на сегодня отдайте его мнѣ».

Сказавши это, Тарасъ повелъ его къ своему обозу, возлѣ котораго стояли козаки его. «Ну, полѣзай подъ телѣгу, лежи тамъ и не шевелись, а вы, братцы, не выпускайте жиду».

Сказавши это, онъ отиравился на площадь, потому что

давно уже собиралась туда вся толпа. Всѣ бросили вмигъ берегъ и снарядку челновъ, ибо предстоялъ теперь сухопутный, а не морской походъ, и не суда да козацкія чайки, а понадобились телѣги и кони. Теперь уже всѣ хотѣли въ походъ, и старые, и молодые; всѣ съ совѣта всѣхъ старшинъ, куренныхъ, кошевого и съ воли всего запорожскаго войска, положили итти прямо на Польшу, отмстить за все зло и посрамленіе вѣры и козацкой славы, набрать добычи съ городовъ, зажечь пожаръ по деревнямъ и хлѣбамъ, пустить далеко по степи о себѣ славу. Все тутъ же опоясывалось и вооружалось. Кошевой выросъ на цѣлый аршинъ. Это уже не былъ тотъ робкій исполнитель вѣтренныхъ желаній вольнаго народа: это былъ неограниченный повелитель, это былъ деспотъ, умѣвшій только повелѣвать. Всѣ своевольные и гулливые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно опустивъ головы, не смѣя поднять глазъ, когда кошевой раздавалъ повелѣнія: раздавалъ онъ ихъ тихо, не выкрикивая и не торопясь, но съ разстановкою, какъ старый, глубоко опытный въ дѣлѣ козакъ, приводившій не въ первый разъ въ исполненіе разумно задуманныя предпріятія.

«Осмотрите, всѣ осмотрите хорошенько!» такъ говорилъ онъ. «Исправьте возы и мазницы, испробуйте оружье. Не забирайте много съ собой одежды: по сорочкѣ и по двое шароваръ на козака, да по горшку саламаты и толченого проса—больше чтобъ и не было ни у кого! Про запасъ будетъ въ возахъ все, что нужно. По парѣ коней чтобъ было у каждаго козака! Да паръ двѣсти взять воловъ, потому что на переправахъ и топкихъ мѣстахъ нужны будутъ волы. Да порядку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, есть между васъ такіе, что чуть Богъ пошлетъ какую корысть—пошли тотъ же часъ драть китайку и дорогіе оксамиты себѣ на онучи. Бросьте такую чортову повадку, прочь кидайте всякія юбки, берите только одно оружье, коли попадется доброе, да червонцы, или серебро, потому что они емкаго свойства и пригодятся во всякомъ случаѣ. Да вотъ вамъ, панове, впередъ говорю: если кто въ походѣ напьется, то никакого нѣтъ на него суда: какъ собаку за шнѣку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы онъ ни былъ, хоть бы наидоблестнѣйшій козакъ изъ всего войска; какъ собака, будетъ онъ застрѣленъ на мѣстѣ и кинутъ безо всякаго

погребенья на поклевъ птицамъ, потому что пьяница въ походѣ недостойнъ христіанскаго погребенья. Молодые, слушайте во всемъ старыхъ! Если цапнетъ пуля, или царапнетъ саблей по головѣ, или по чему-нибудь иному, не давайте большого уваженья такому дѣлу: размѣшайте зарядъ пороху въ чаркѣ сивухи, духомъ выпейте и все пройдетъ— не будетъ и лихорадки; а на рану, если она не слишкомъ велика, приложите просто земли, замѣсивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнетъ рана. Ну-те же за дѣло, за дѣло, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дѣло!»

Такъ говорилъ кошевой, и какъ только окончить онъ рѣчь свою, всѣ козаки принялись тотъ же часъ за дѣло. Вся Сѣчь отрезвилась, и нигдѣ нельзя было сыскать ни одного пьянаго, какъ будто бы ихъ не было никогда между козаками. Тѣ исправляли ободья колесъ и перемѣняли оси въ телѣгахъ; тѣ сносили на возы мѣшки съ провіантомъ, на другіе валили оружіе; тѣ пригоняли коней и воловъ. Со всѣхъ сторонъ раздавались топотъ коней, пробная стрѣльба изъ ружей, бряканье сабель, мычанье быковъ, скрипъ поворачиваемыхъ возовъ, говоръ и яркій крикъ и понуканье. И скоро далеко-далеко вытянулся козацій таборъ по всему полю. И много досталось бы бѣжать тому, кто бы захотѣлъ пробѣжать отъ головы до хвоста его. Въ деревянной небольшой церкви служилъ священникъ молебенъ, окрошилъ всѣхъ святою водою; всѣ цѣловали крестъ. Когда тронулся таборъ и потянулся изъ Сѣчи, всѣ запорожцы обратили головы назадъ. «Прощай, наша маты!» сказали они почти въ одно слово: «пусть же тебя хранить Богъ отъ всякаго несчастья!»

Проѣзжая предмѣстье, Тарасъ Бульба увидѣлъ, что жидокъ его, Янкель, уже разбилъ какую-то ятку съ навѣсомъ и продавалъ кремни, заворотки, порохъ и всякія войсковыя снадобы, нужныя на дорогу, даже калачи и хлѣбы. «Какое чортовъ жидъ!» подумать про себя Тарасъ и, подѣхавъ къ нему на конѣ, сказалъ: «Дурень, что ты здѣсь сидишь? Развѣ хочешь, чтобы тебя застрѣлили, какъ воробья?»

Янкель, въ отвѣтъ на это, подошелъ къ нему поближе и, сдѣлавъ знакъ обѣими руками, какъ будто хотѣлъ объявить что-то таинственное, сказалъ: «Пусть панъ только молчитъ

и никому не говорить: между козацкими возами есть одинъ мой возъ; я везу всякій нужный запасъ для козаковъ и по дорогѣ буду доставлять всякій провіантъ по такой дешевой цѣнѣ, по какой еще ни одинъ жидъ не продавалъ; ей-Богу, такъ; ей-Богу, такъ».

Пожаль плечами Тарасъ Бульба, подвигая бойкой жи-довской натурѣ и отъѣхалъ къ табору.

## V.

Скоро весь польскій юго-западъ сдѣлался добычею страха. Всюду пронеслися слухи: «Запорожцы! показались запо-рожцы!...» Все, что могло спастись, спасалось. Все поды-малось и разбѣгалось, по обычаю этого нестройнаго, без-печнаго вѣка, когда не воздвигали ни крѣдостей, ни зам-ковъ, а, какъ попало, становилъ на время соломенное жи-лище свое человѣкъ. Онъ думалъ: «не тратить же на избу работу и деньги, когда и безъ того будетъ она снесена та-тарскимъ набѣгомъ!» Все всполошилось: кто мѣнялъ воловъ и плугъ на коня и ружье, и отправлялся въ полки; кто прятался, угоняя скотъ и унося, что только можно было унести. Попадались иногда по дорогѣ и такіе, которые во-оруженною рукою встрѣчали гостей, но больше было такихъ, которые бѣжали заранѣе. Всѣ знали, что трудно имѣть дѣло съ буйной и бранной толпой, извѣстной подъ именемъ запорожскаго войска, которое въ наружномъ своевольномъ неустройствѣ своемъ заключало устройство, обдуманное для времени битвы. Конные ѣхали, не отягчая и не горяча коней, пѣшіе шли трезво за возами, и весь таборъ подви-гался только по ночамъ, отдыхая днемъ и выбирая для того пустыри, незаселенныя мѣста и лѣса, которыхъ было тогда еще вдоволь. Засылаемы были вперед лазутчики и разсылныя узнавать и вывѣдывать, гдѣ, что и какъ. И часто въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ менѣе всего могли ожидать ихъ, они появлялись вдругъ—и все тогда прощалось съ жизнью: пожары обхватывали деревни; скотъ и лошади, которые не угонялись за войскомъ, были избиваемы тутъ же на мѣстѣ. Казалось, больше пировали они, чѣмъ совер-шали походъ свой. Дыбомъ сталъ бы нынѣ вѣдось отъ тѣхъ страшныхъ знаковъ свирѣпства полудикаго вѣка, которые пронесли вездѣ запорожцы. Избитые младенцы, обрѣзанные

груди у женщинъ, содранная кожа съ ногъ по колѣни у выпущенныхъ на свободу, — словомъ, крупною монетою оплачивали козаки прежніе долги. Прелатъ одного монастыря, услышавъ о приближеніи ихъ, прислалъ отъ себя двухъ монаховъ, чтобы сѣздать, что они не такъ ведутъ себя, какъ слѣдуетъ, что между запорожцами и правительствомъ стоять согласіе, что они нарушаютъ свою обязанность къ королю, а съ тѣмъ вмѣстѣ и всякое народное право. «Скажи епископу отъ меня и отъ всѣхъ запорожцевъ», сказалъ кошевой: «чтобы онъ ничего не боялся: это козаки еще только зажигаютъ и раскуриваютъ свои трубки». И скоро величественное аббатство обхватилося сокрушительнымъ пламенемъ, и колоссальныя готическія огни его сурово глядѣли сквозь раздѣлявшіяся волны огня. Бѣгущія толпы монаховъ, жидовъ, женщинъ вдругъ омногочили тѣ города, гдѣ какая-нибудь была надежда на гарнизонъ и городовое рушеніе. Высылаемая по временамъ правительствомъ запоздалая помощь, состоявшая изъ небольшихъ полковъ, или не могла найти ихъ, или же робѣла, обращала тылъ при первой встрѣчѣ и улетала на лихихъ коняхъ своихъ. Случалось, что многіе военачальники королевскіе, торжествовавшіе дотогѣ въ прежнихъ битвахъ, рѣшались, соединя свои силы, стать грудью противъ запорожцевъ. И тутъ-то болѣе всего пробовали себя молодые козаки, чуждавшіеся грабительства, корысти и безсильнаго непріятеля, горѣвшіе желаніемъ показать себя передъ старыми, помѣряться одинъ на одинъ съ бойкимъ и хвастливымъ ляхомъ, красовавшимся на горделивомъ конѣ, съ летавшими по вѣтру откидными рукавами епанчи. Потѣшна была наука; много уже они добыли себѣ конной сбруи, дорогихъ сабель и ружей. Въ одинъ мѣсяцъ возмужали и совершенно переродились только-что оперившіеся птенцы и стали мужами; черты лица ихъ, въ которыхъ доселѣ видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видѣть, какъ оба сына его были одни изъ первыхъ. Остапу, казалось, быть на роду написанъ битвенный путь и трудное знанье вершить ратныя дѣла. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни отъ какого случая, съ хладнокровіемъ, почти неестественнымъ для двадцати-двухлѣтняго, онъ въ одинъ мигъ могъ вымѣрять всю опасность и все положеніе дѣла, тутъ же могъ

найти средство, какъ уклониться отъ нея, но уклониться съ тѣмъ, чтобы потомъ вѣрнѣй преодолѣть ее. Уже испытанной увѣренностью стали теперь означаться его движенія и въ нихъ не могли не быть замѣтны наклонности будущаго вождя. Крѣпостью дышало его тѣло, и рыцарскія его качества уже приобрѣли широкую силу качествъ льва. «О, да этотъ будетъ со временемъ добрый полковникъ!» говорилъ старый Тарасъ: «ей, ей, будетъ добрый полковникъ, да еще такой, что и батька за поясъ заткнетъ!»

Андрій весь погрузился въ очаровательную музыку пулъ и мечей. Онъ не зналъ, что такое значить обдумывать, или рассчитывать, или измѣрять заранѣе свои и чужія силы. Бѣшеную нѣгу и упоеніе онъ видѣлъ въ битвѣ: что-то пиршественное зрѣлось ему въ тѣ минуты, когда разгорится у человѣка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мѣшается, летятъ головы, съ громомъ падаютъ на землю кони, а онъ несется, какъ пьяный, въ свистѣ пулъ, въ сабельномъ блескѣ, и наноситъ всѣмъ удары, и не слышитъ нанесенныхъ. Не разъ дивился отецъ также и Андрію, видя, какъ онъ, понуждаемый однимъ только запальчивымъ увлеченіемъ, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и однимъ бѣшенымъ натискомъ своимъ производилъ такіа чудеса, которымъ не могли не изумиться старые въ бояхъ. Дивился старый Тарасъ и говорилъ: «И это добрый—врагъ бы не взялъ его!—вояка! не Остапъ, а добрый, добрый также вояка!»

Войско рѣшилось итти прямо на городъ Дубно, гдѣ, по слуху, было много казны и богатыхъ обывателей. Въ полтора дня походъ былъ сдѣланъ, и запорожцы показались передъ городомъ. Жители рѣшились защищаться до послѣднихъ силъ и крайности, и лучше хотѣли умереть на площадяхъ и улицахъ передъ своими порогами, чѣмъ пустить непріятеля въ дома. Высокій земляной валъ окружалъ городъ; гдѣ валъ былъ ниже, тамъ высовывались каменная стѣна или домъ, служившій батареей, или, наконецъ, дубовый частоколъ. Гарнизонъ былъ силенъ и чувствовалъ важность своего дѣла. Запорожцы жарко было потѣзли на валъ, но были встрѣчены сильною картечью. Мѣщане и городскіе обыватели, какъ видно, тоже не хотѣли быть праздными и стояли кучею на городскомъ валу. Въ глазахъ ихъ можно было читать отчаянное сопротивле-

ніе; женщины тоже рѣшились участвовать, и на головы запорожцамъ полетѣли камни, бочки, горшки, горячій варъ, и, наконецъ, мѣшки песку, слѣпившаго имъ очи. Запорожцы не имѣли имѣть дѣло съ грѣпостями; вести осады была не ихъ часть. Кошевой повелѣлъ отступить и сказалъ: «Ничего, паны братья, мы отступимъ; но будь я поганый татаринъ, а не христіанинъ, если мы выпустимъ ихъ хоть одного изъ города! Пусть ихъ всѣ передохнуть, собаки, съ голоду!» Войско, отступивъ, облегло весь городъ и, отъ нечего дѣлать, занялось опустошеніемъ окрестностей, выжигая окружныя деревни, скирды необраннаго хлѣба, и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутыя серпомъ, гдѣ, какъ нарочно, колебались тучные колосы, плодъ необыкновеннаго урожая, наградившаго въ ту пору щедро всѣхъ земледѣльцевъ. Съ ужасомъ видѣли съ города, какъ истреблялись средства ихъ существованія. А между тѣмъ запорожцы, протянувъ вокругъ всего города въ два ряда свои телѣги, расположились такъ же, какъ и на Сѣчѣ, куренями, курили свои люльки, мѣнялись добытымъ оружіемъ, играли въ чехарду, въ четъ и нечетъ и посматривали съ убійственнымъ хладнокровіемъ на городъ. Ночью зажигались костры; кашевары варили въ каждомъ куренѣ кашу въ огромныхъ мѣдныхъ казанахъ; у горѣвшихъ всю ночь огней стояла безсонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездѣйствіемъ и продолжительною трезвостью, не сопряженною ни съ какимъ дѣломъ. Кошевой велѣлъ удвоить даже порцію вина, что иногда водилось въ войскѣ, если не было трудныхъ подвиговъ и движеній. Молодымъ, и особенно сынамъ Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрій замѣтно скучалъ. «Неразумная голова», говорилъ ему Тарасъ: «терпи козакъ—атаманъ будешь! Не тотъ еще добрый воинъ, кто не потерялъ духа въ важномъ дѣлѣ, а тотъ добрый воинъ, кто и на бездѣльи не соскучить, кто все вытерпитъ, и хоть ты ему что хочь, а онъ все-таки поставитъ на своемъ». Но не сойтись пылкому юношѣ со старцемъ: другая натура у обоихъ, и другими очами глядятъ они на то же дѣло.

А между тѣмъ подоспѣлъ Тарасовъ полкъ, приведенный Товкачемъ; съ нимъ было еще два есаула, писарь и другіе полковые чины; всѣхъ козаковъ набралось больше четырехъ тысячъ. Было между ними не мало и охочекомонныхъ,



которые сами поднялись, своею волею, безъ всякаго призыва, какъ только услышали, въ чемъ дѣло. Есаулы привезли сыновьямъ Тараса благословенье отъ старухи-матери и каждому по кипарисному образу изъ Межигорскаго кievскаго монастыря. Надѣли на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнивъ старую мать. Что-то пророчить и говорить имъ это благословенье? Благословенье ли на побѣду надъ врагомъ и потомъ веселый возвратъ въ отчизну съ добычей и славой на вѣчныя пѣсни бандуристамъ, или же?.. Но неизвѣстно будущее, и стоитъ оно предъ человѣкомъ подобно осеннему туману, поднимающемуся изъ болотъ: безумно летаютъ въ немъ вверхъ и внизъ, черкая крыльями, птицы, не распознавая въ очи другъ друга, голуба—не видя ястреба, ястребъ—не видя голубки, и никто не знаетъ, какъ далеко летаетъ онъ отъ своей гибели...

Остапъ уже занялся своимъ дѣломъ и давно отошелъ къ куренямъ; Андрій же, самъ не зная отчего, чувствовать какую-то духоту на сердцѣ. Уже козаки окончили свою вечерю. Вечеръ давно потухнулъ, июльская чудная ночь обняла воздухъ; но онъ не отходилъ къ куренямъ, не ложился спать и глядѣлъ невольно на всю бывшую предъ нимъ картину. На небѣ безчисленно мелькали тонкимъ и острымъ блескомъ звѣзды. Поле далеко было занято раскиданными по немъ возами съ висячими мазницами, облитыми дегтемъ, со всякимъ добромъ и провіантомъ, набраннымъ у врага. Возлѣ телѣгъ, подъ телѣгами и подальше отъ телѣгъ — вездѣ были видны разметавшіеся на травѣ запорожцы. Всѣ они спали въ картинныхъ положеніяхъ: кто подмостивъ себѣ подъ голову куль, кто шапку, кто употребивши, просто, бокъ своего товарища. Сабля, ружье-самопаль, коротко-чубучная трубка съ мѣдными бляхами, желѣзными провертками и огнивомъ, были неотлучно при каждомъ козацѣ. Тяжелые воны лежали, подвернувши подъ себя ноги, большими бѣловатыми массаи, и казались издали сѣрыми камнями, раскиданными по отлогости поля. Со всѣхъ сторонъ изъ травы уже сталъ подыматься густой храпъ спящаго воинства, на который отзывались съ поля звонкими ржаніями жеребцы, негодующіе на свои спутанные ноги. А между тѣмъ что-то величественное и грозное примѣшалось къ красотѣ июльской ночи. Это были зарева вдали

Догоравшихъ окрестностей. Въ одномъ мѣстѣ пламя спокойно и величественно стлалось по небу; въ другомъ, встрѣтивъ что-то горячее и вдругъ вырвавшись вихремъ, оно свистѣло и летѣло вверхъ подъ самыя звѣзды, и оторванныя охлопья его гаснули подъ самыми дальними небесами. Тамъ обгорѣлый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стоялъ грозно, выказывая при каждомъ отблескѣ мрачное свое величіе; тамъ горѣлъ монастырскій садъ: казалось, слышно было, какъ деревья шишѣли, обвиваясь дымомъ, и когда выскакивалъ огонь, онъ вдругъ освѣщаль фосфорическимъ, лилово-огненнымъ свѣтомъ спѣлые гроздія сливъ, или обращалъ въ червонное золото тамъ и тамъ желтѣвщія груши, и тутъ же среди ихъ чернѣло висѣвшее на стѣнѣ зданія или на древесномъ суку тѣло бѣднаго жиды или монаха, погибавшее вмѣстѣ со строеніемъ въ огнѣ. Надъ огнемъ вились вдали птицы, казавшіяся кучею темныхъ мелкихъ крестиковъ на огненномъ полѣ. Обложенный городъ, казалось, уснулъ; шпицы, и кровли, и частоколь, и стѣны его тихо вспыхивали отблесками отдаленныхъ пожарищъ. Андрій обошелъ козацкіе ряды. Костры, у которыхъ сидѣли сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самыя сторожа спали, перекусивши сильно чего-нибудь во весь козацкій аппетитъ. Онъ подвиглся немного такой безпечности, подумавши: «хорошо, что нѣтъ близко никакого сильнаго непріятеля и некого опасаться». Наконецъ, и самъ подошелъ онъ къ одному изъ воевъ, влѣзъ на него и легъ на спину, подложивши себѣ подъ голову сложенные назадъ руки; но не могъ заснуть и долго глядѣть на небо: оно все было открыто предъ нимъ; чисто и прозрачно было въ воздухѣ; гущина звѣздъ, составлявшая млечный путь и косвеннымъ поясомъ переходившая по небу, вся была залита въ свѣту. Временами Андрій какъ будто позабывался, и какой-то легкій туманъ дремоты заслонялъ на мигъ предъ нимъ небо, и потомъ оно опять очищалось и вновь становилось видно.

Въ это время, показалось ему, мелькнулъ предъ нимъ какой-то странный образъ человѣческаго лица. Думая, что это было простое обаяніе сна, которое сей же часъ разсѣется, онъ раскрылъ сильнѣе глаза свои и увидѣлъ, что къ нему точно наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотрѣло прямо ему въ очи. Длинные и черные, какъ уголь, волосы, не прибранные, растрепанные, лѣзли

изъ-подъ темнаго наброшеннаго на голову покрывала; и странный блескъ взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшаго рѣзкими чертами, заставляли скорѣе думать, что это былъ призракъ. Онъ схватился невольно рукой за пишаль и произнесъ почти судорожно: «Кто ты? Коли духъ нечистый, стинь съ глазъ; коли живой человекъ, не въ пору завелъ шутку—убью съ одного прищѣла».

Въ отвѣтъ на это, привидѣніе приставило палецъ къ губамъ и, казалось, молило о молчаніи. Онъ опустилъ руку и сталъ вглядываться въ него внимательнѣй. По длиннымъ волосамъ, шеѣ и полуобнаженной смуглой груди распозналъ онъ женщину. Но она была не здѣшная уроженка: все лицо ея было смугло, изнурено недугомъ; широкія скулы выступали сильно надъ опавшими подъ ними щеками; узкія очи подымались дугообразнымъ разрѣзомъ кверху. Чѣмъ болѣе онъ всматривался въ черты ея, тѣмъ болѣе находилъ въ нихъ что-то знакомое. Наконецъ, онъ не вытерпѣлъ и спросилъ: «Скажи, кто ты? Мнѣ кажется, какъ будто я зналъ тебя, или видѣлъ гдѣ-нибудь?»

«Два года назадъ тому, въ Кіевѣ».

«Два года назадъ, въ Кіевѣ», повторилъ Андрій, стараясь перебрать все, что уцѣлѣло въ его памяти отъ прежней бурсачкой жизни. Онъ посмотрѣлъ еще разъ на нее пристально и вдругъ вскрикнулъ во весь голосъ: «Ты — татарка! служанка панночки, воеводиной дочки...»

«Чшш!» произнесла татарка, сложивъ съ умоляющимъ видомъ руки, дрожа всѣмъ тѣломъ и оборотя въ то же время голову назадъ, чтобы видѣть, не проснулся ли кто-нибудь отъ такого сильнаго вскрика, произведеннаго Андріемъ.

«Скажи, скажи, отчего, какъ ты здѣсь?» говорилъ Андрій, почти задыхаясь, шопотомъ, прерывавшимся всякую минуту отъ внутренняго волненія. «Гдѣ панночка? жива еще?»

«Она тутъ, въ городѣ».

«Въ городѣ?» произнесъ онъ, едва опять не вскрикнувши, и почувствовалъ, что вся кровь вдругъ прихлынула къ сердцу: «отчего-жъ она въ городѣ?»

«Оттого, что самъ старшій панъ въ городѣ: онъ уже полтора года, какъ сидитъ воеводой въ Дубнѣ».

«Что-жъ, она замужемъ? Да говори же, — какая ты странная! — что она теперь...»

«Она другой день ничего не ѣла».

«Какъ?»

«Ни у кого изъ городскихъ жителей нѣтъ уже давно куска хлѣба, всѣ давно ѣдятъ одну землю».

Андрій остолбенѣлъ.

«Панночка видѣла тебя съ городского вала вмѣстѣ съ запорожцами. Она сказала мнѣ: «Ступай, скажи рыцарю: если онъ помнитъ меня, чтобы пришелъ ко мнѣ; а не помнитъ,— чтобы далъ тебѣ кусокъ хлѣба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видѣть, какъ при мнѣ умретъ мать. Пусть лучше я прежде, а она послѣ меня. Проси и хватай его за колѣни и ноги: у него также есть старая мать,— чтобы ради ея далъ хлѣба!»

Много всякихъ чувствъ пробудилось и вспыхнуло въ молодой груди козака.

«Но какъ же ты здѣсь? Какъ ты пришла?»

«Подземнымъ ходомъ».

«Развѣ есть подземный ходъ?»

«Есть».

«Гдѣ?»

«Ты не выдашь, рыцарь?»

«Клянусь крестомъ святымъ!»

«Спустися въ яръ и перейдя протокъ, тамъ, гдѣ тростникъ».

«И выходитъ въ самый городъ?»

«Прямо къ городскому монастырю».

«Идемъ, идемъ сейчасъ!»

«Но, ради Христа и Святой Маріи, кусокъ хлѣба!»

«Хорошо, будетъ. Стой здѣсь возлѣ воза, или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидитъ, всѣ спятъ; я сейчасъ ворочусь». —

И онъ отошелъ къ возамъ, гдѣ хранились запасы, принадлежавшіе ихъ куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынѣшними козацкими биваками, суровой бранною жизнью,—все всплыло разомъ на поверхность, потопивши, въ свою очередь, настоящее. Опять вынырнула передъ нимъ, какъ изъ темной морской пучины, гордая женщина; вновь сверкнули въ его памяти прекрасныя руки, очи, смѣющіяся уста, густые темноорѣховые волосы, курчаво распавшіеся по грудямъ, и всѣ упругіе, въ согласномъ сочетаніи созданные члены дѣвическаго стана. Нѣтъ, они не погасали, не исчезали въ груди его, они посторонились только, чтобы дать на время просторъ другимъ

могучимъ движеніямъ; но часто, часто смущался ими глубокой сонъ молодого казака, и часто, проснувшись, лежалъ онъ безъ сна на одрѣ, не умѣя истолковать тому причины.

Онъ шель, а біеніе сердца становилось сильнѣе, сильнѣе, при одной мысли, что увидить ее опять, и дрожали молодые колѣни. Пришедши къ возамъ, онъ совершенно позабылъ, зачѣмъ пришелъ: поднесъ руку ко лбу и долго теръ его, стараясь припомнить, что ему нужно дѣлать. Наконецъ, вздрогнувъ, весь исполнился испуга: ему вдругъ пришло на мысль, что она умираетъ съ голода. Онъ бросился къ возу и схватилъ нѣсколько большихъ черныхъ хлѣбовъ себѣ подъ руку; но тутъ же подумалъ: не будетъ ли эта пища, годная для дюжого, неприхотливаго запорожца, труба и неприлична ея нѣжному сложенію? Тутъ вспомнилъ онъ, что вчера кошевой попрекалъ кашеваровъ за то, что сварили за одинъ разъ всю гречневую муку на саламату, тогда какъ бы ея стало на добрыхъ три раза. Въ полной увѣренности, что онъ найдетъ вдоволь саламаты въ казанахъ, онъ вытащилъ отцовскій походный казанокъ и съ нимъ отправился къ кашевару ихъ куреня, спавшему у двухъ десятиведерныхъ казановъ, подъ которыми еще теплилась зола. Заглянувши въ нихъ, онъ изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловѣческихъ силъ, чтобы все это съѣсть, тѣмъ болѣе, что въ ихъ куренѣ считалось меньше людей, чѣмъ въ другихъ. Онъ заглянулъ въ казаны другихъ куреней — нигдѣ ничего. Поневолѣ пришла ему въ голову поговорка: «запорожцы, какъ дѣти: коли мало—съѣдятъ, коли много—тоже ничего не оставятъ». Что дѣлать? Былъ однакоже гдѣ-то, кажется, на возу отцовскаго полка, мѣшокъ съ бѣлымъ хлѣбомъ, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Онъ прямо подошелъ къ отцовскому возу, но на возу его уже не было: Остапъ взялъ его себѣ подъ головы и, растянувшись возлѣ на землѣ, храпѣлъ на все поле. Андрій схватилъ мѣшокъ одной рукой и дернулъ его вдругъ такъ, что голова Остапа упала на землю, а онъ самъ вскочилъ вприсонкахъ и, сидя съ закрытыми глазами, закричалъ, что было мочи: «Держите, держите чортова ляха, да ловите коня, коня ловите!»—«Замолчи, я тебя убью!» закричалъ въ испугъ Андрій, замахнувшись на него мѣшкомъ. Но Остапъ и безъ того уже не продолжалъ рѣчи, присмирѣвъ и пустилъ такой храпъ, что отъ дыханія шевелилась трава, на которой

онъ лежалъ. Андрій робко оглянулся на всѣ стороны, чтобы узнать, не пробудилъ ли кого-нибудь изъ козаковъ сонный бредъ Остапа. Одна чубатая голова, точно, приподнялась въ ближнемъ куренѣ и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждавъ минуты двѣ, онъ, наконецъ, отправился съ своею ношею. Татарка лежала, едва дыша. «Вставай, идемъ! Всѣ спать, не бойся! Подымешь ли ты хоть одинъ изъ этихъ хлѣбовъ, если мнѣ будетъ несподручно захватить всѣ?» Сказавъ это, онъ взвалилъ себѣ на спину мѣшки, стащилъ, проходя мимо одного воза, еще одинъ мѣшокъ съ просомъ, взялъ даже въ руки тѣ хлѣбы, которые хотѣлъ было отдать нести татаркѣ, и, нѣсколько понагнувшись подъ тяжестью, шелъ отважно между рядами спавшихъ запорожцевъ.

«Андрій!» сказалъ старый Бульба въ то время, когда онъ проходилъ мимо его. Сердце его замерло; онъ остановился и, весь дрожа, тихо произнесъ: «А что?»

«Съ тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на всѣ бока! Не доведутъ тебя бабы до добра!» Сказавши это, онъ оперся головою на локоть и сталъ пристально разсматривать закутанную въ покрывало татарку.

Андрій стоялъ ни живъ, ни мертвъ, не имѣя духу взглянуть въ лицо отцу. И потомъ, когда поднялъ глаза и посмотрѣлъ на него, увидѣлъ, что уже старый Бульба спалъ, положивъ голову на ладонь.

Онъ перекрестился. Вдругъ отхлынуло отъ сердца испугъ еще скорѣе, чѣмъ прихлынуло. Когда же поворотился онъ, чтобы взглянуть на татарку, она стояла предъ нимъ, подобно темной гранитной статуѣ, вся закутанная въ покрывало, и отблескъ отдаленнаго зарева, вспыхнувъ, озарилъ только одни ея очи, одеревянѣвшія, какъ у мертвеца. Онъ дернулъ ее за рукавъ, и оба пошли вмѣстѣ, безпрестанно оглядываясь назадъ, и, наконецъ, опустились отлогостью въ низменную ложину, — почти яръ, называемый въ нѣкоторыхъ мѣстахъ балками, — по дну которой лѣниво пресмыкался протокъ, поросшій осокой и усѣянный кочками. Опустясь въ эту ложину, они скрылись совершенно изъ виду всего поля, занятаго запорожскимъ таборомъ. По крайней мѣрѣ, когда Андрій оглянулся, то увидѣлъ, что позади его крутою стѣной, болѣе чѣмъ въ ростъ человѣка, вознеслась покатошь; на вершинѣ ея покачивалось нѣсколько сте-

бельковъ полевого былья, и надъ ними поднималась на небо луна въ видѣ косвенно обращеннаго серпа изъ яркаго червоннаго золота. Сорвавшійся со степи вѣтерокъ давалъ знать, что уже не много оставалось времени до разсвѣта. Но нигдѣ не слышно было отдаленнаго пѣтушьяго крика: ни въ городѣ, ни въ разоренныхъ окрестностяхъ не оставалось давно ни одного пѣтуха. По небольшому бревну перебрались они черезъ протокъ, за которымъ возносился противоположный берегъ, казавшійся выше бывшаго у нихъ назади и выступавшій совершеннымъ обрывомъ. Казалось, въ этомъ мѣстѣ былъ крѣпкій и надежный самъ собою пунктъ городской крѣпости; по крайней мѣрѣ, земляной валъ былъ тутъ ниже и не выглядывалъ изъ-за него гарнизонъ. Но зато подальше подымалась толстая монастырская стѣна. Обрывистый берегъ весь обросъ бурьяномъ, и по небольшой лощинѣ между нимъ и протокомъ росъ высокій тростникъ, почти въ вышину человѣка. На вершинѣ обрыва видны были остатки плетня, обличавшіе когда-то бывший огородъ; передъ нимъ — широкіе листья лопуха; изъ-за него торчала лебеда, дикий колючій бодякъ и подсолнечникъ, подымавшій выше всѣхъ ихъ свою голову. Здѣсь татарка скинула съ себя черевички и пошла босикомъ, подобравъ осторожно свое платье, потому что мѣсто было топко и наполнено водою. Пробираясь межъ тростникомъ, остановились они передъ наваленнымъ хворостомъ и фашинникомъ. Отклонивъ хворостъ, нашли они родъ земляного свода — отверстіе, мало чѣмъ большее отверстія, бывающаго въ хлѣбной печи. Татарка, наклонивъ голову, вошла первая; вслѣдъ за нею Андрій, нагнувшись, сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться съ своими мѣшками, и скоро очутились оба въ совершенной темнотѣ.

## VI.

Андрій едва двигался въ темномъ и узкомъ земляномъ коридорѣ, слѣдуя за татаркою и таща на себѣ мѣшки хлѣба. «Скоро намъ будетъ видно», сказала проводница: «мы подходимъ къ мѣсту, гдѣ поставила я свѣтильникъ». И точно, темныя земляныя стѣны начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, гдѣ, казалось,

была часовня; по крайней мѣрѣ, къ стѣнѣ былъ приставленъ узенькій столикъ въ видѣ алтарнаго престола, и надъ нимъ виденъ былъ почти совершенно изгладившійся, полинявшій образъ католической Мадонны. Небольшая серебряная лампадка, передъ нимъ висѣвшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла съ земли оставленный мѣдный свѣтильникъ, на тонкой, высокой ножкѣ, съ висѣвшими вокругъ ея на цѣпочкахъ щипцами, шпилькой для поправленія огня и гасильникомъ. Взявши его, она зажгла огнемъ отъ лампы. Свѣтъ усилился, и они, иди вмѣстѣ, то освѣщаясь сильно огнемъ, то набрасываясь темною, какъ уголь, тѣнью, напоминали собою картины Герардо dalle notti. Свѣжес, кипящее здоровьемъ и юностью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность съ изнуреннымъ и блѣднымъ лицомъ его спутницы. Проходъ сталъ нѣсколько шире, такъ что Андрію можно было пораспрявиться. Онъ съ любопытствомъ разсматривалъ эти земляныя стѣны, напомнившія ему кievскія пещеры. Такъ же, какъ и въ пещерахъ кievскихъ, тутъ видны были углубленія въ стѣнахъ, и стояли кое-гдѣ гробы; мѣстами даже попадались, просто, человѣческія кости, отъ сырости сдѣлавшіяся мягкими и рассыпавшіяся въ муку. Видно, и здѣсь также были святые люди и укрывались также отъ мірскихъ бурь, горя и обольщеній. Сырость мѣстами была очень сильна: подъ ногами ихъ иногда была совершенная вода. Андрій долженъ былъ часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутницѣ, которой усталость возобновлялась безпрестанно. Небольшой кусокъ хлѣба, проглоченный ею, произвелъ только боль въ желудкѣ, отвыкшемъ отъ пищи, и она оставалась часто безъ движенія по нѣсколькимъ минутъ на одномъ мѣстѣ.

Наконецъ, передъ ними показалась маленькая желѣзная дверь. «Ну, слава Богу, мы пришли», сказала слабымъ голосомъ татарка, приподняла руку, чтобы постучаться, и не имѣла силъ. Андрій ударилъ, вмѣсто нея, сильно въ дверь; раздался гулъ, показывавшій, что за дверью былъ большой просторъ. Гулъ этотъ измѣнялся, встрѣтивъ, какъ казалось, высокіе своды. Минуты черезъ двѣ загремѣли ключи, и кто-то, казалось, сходилъ по лѣстницѣ. Наконецъ, дверь отперлась; ихъ встрѣтилъ монахъ, стоявшій на



узенькой лѣстницѣ съ ключами и свѣчей въ рукахъ. Андрій невольно остановился при видѣ католическаго монаха, возбуждавшаго такое ненавистное презрѣніе въ козакахъ, поступавшихъ съ ними безчеловѣчнѣй, чѣмъ съ жидами. Монахъ тоже нѣсколько отступилъ назадъ, увидѣвъ запорожскаго козака; но слово, невнятно произнесенное татарскою, его успокоило. Онъ посвѣтилъ имъ, заперъ за ними дверь, ввелъ ихъ по лѣстницѣ вверхъ, и они очутились подъ высокими темными сводами монастырской церкви. У одного изъ алтарей, уставленнаго высокими подсвѣчниками и свѣчами, стоялъ на колѣняхъ священникъ и тихо молился. Около него съ обѣихъ сторонъ стояли также на колѣняхъ два молодые клирошанина въ лиловыхъ мантияхъ, съ бѣлыми кружевными шемизетками сверхъ ихъ и съ кадильцами въ рукахъ. Онъ молился о ниспосланіи чуда: о спасеніи города, о подкрѣпленіи падающаго духа, о ниспосланіи терпѣнія, о удаленіи искусителя, напештывающаго ропотъ и малодушный, робкій плачъ на земныя несчастія. Нѣсколько женщинъ, похожихъ на привидѣнія, стояли на колѣняхъ, опершись и совершенно положивъ изнеможенные головы на спинки стоявшихъ передъ ними стульевъ и темныхъ деревянныхъ лавокъ; нѣсколько мужчинъ, прислонясь у колоннъ и пиластръ, на которыхъ возлежали боковые своды, печально-стояли тоже на колѣняхъ. Окно съ цвѣтными стеклами, бывшее надъ алтаремъ, озарилось розовымъ румянцемъ утра, и упали отъ него на полъ голубые, желтые и другихъ цвѣтовъ кружки свѣта, освѣтившіе внезапно темную церковь. Весь алтарь въ своемъ далекомъ углубленіи показался вдругъ въ сіяніи; кадильный дымъ остановился на воздухѣ радужно освѣщеннымъ облакомъ. Андрій не безъ изумленія глядѣлъ изъ своего темнаго угла на чудо, произведенное свѣтомъ. Въ это время величественный ревъ органа наполнилъ вдругъ всю церковь; онъ становился гуще и гуще, разрастался, перешелъ въ тяжелые рокоты грома и потомъ вдругъ, обратившись въ небесную музыку, понесся высоко подъ сводами, своими поющими звуками, напоминавшими тонкіе дѣвчьи голоса, и потомъ опять обратился онъ въ густой ревъ и громъ, и затихъ. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, подъ сводами, и дивился Андрій съ полуоткрытымъ ртомъ величественной музыкѣ.

Въ это время, почувствовавъ онъ, кто-то дернуть его за полу кафтана. «Пора!» сказала татарка. Они перешли черезъ церковь, не замѣченные никѣмъ, и вышли потомъ на площадь, бывшую передъ нею. Заря уже давно румянилась на небѣ: все возвѣщало восхожденіе солнца. Площадь, имѣвшая квадратную фигуру, была совершенно пуста; посреди ея оставались еще деревянныя столбики, показывавшіе, что здѣсь былъ еще недѣлю, можетъ-быть, только назадъ рынокъ съѣстныхъ припасовъ. Улица, которыхъ тогда не мостили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругомъ небольшіе каменные и глиняные въ одинъ этажъ дома, съ видными въ стѣнахъ деревянными связями и столбами во всю ихъ высоту, косвенно перекрещенные деревянными же связями, какъ вообще строили дома тогдашніе обыватели, что можно видѣть и понынѣ еще въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Литвы и Польши. Всѣ они были покрыты непомѣрно высокими крышами, со множествомъ слуховыхъ оконъ и отдушинъ. На одной сторонѣ, почти близъ церкви, выше другихъ, возносилось совершенно отличное отъ прочихъ зданіе, вѣроятно, городской магистратъ или какое-нибудь правительственное мѣсто. Оно было въ два этажа и надъ нимъ вверху надстроено былъ въ двѣ арки бельведеръ, гдѣ стоялъ часовой; большой часовой циферблатъ вдѣланъ былъ въ крышу. Площадь казалась мертвою; но Андрію почудилось какое-то слабое стenanіе. Разсматривая, онъ замѣтилъ на другой ея сторонѣ грудну изъ двухъ-трехъ человекъ, лежавшихъ почти безъ всякаго движенія на землѣ. Онъ вперилъ глаза внимательнѣй, чтобы разсмотрѣть, заснувшіе ли это были, или умершіе, и въ это время наткнулся на что-то, лежавшее у ногъ его. Это было мертвое тѣло женщины, повидимому, жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя въ искаженныхъ, изможденных чертахъ ея нельзя было того видѣть. На головѣ ея былъ красный шелковый платокъ; жемчуги или бусы въ два ряда украшали ея наушники; двѣ-три длинныя, всѣ въ завиткахъ, кудри выпадали изъ-подъ нихъ на ея высохшую шею съ натянувшимися жилами. Возлѣ нея лежалъ ребенокъ, судорожно схватившійся рукою за тощую грудь ея и скрутившій ее своими пальцами отъ невольной злости, не нашедъ въ ней молока. Онъ уже не плакать и не кричать, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу

его можно было думать, что онъ еще не умеръ, или, по крайней мѣрѣ, еще только готовился испустить послѣднее дыханье. Они поворотили въ улицы и были остановлены вдругъ какимъ-то бѣснующимся, который, увидѣвъ у Андрія драгоцѣнную пощу, кинулся на него, какъ тигръ, вѣбился въ него, крича: «хлѣба!» Но силъ не было у него равныхъ бѣшенству; Андрій оттолкнулъ его: онъ полетѣлъ на землю. Движимый состраданіемъ, онъ швырнулъ ему одинъ хлѣбъ, на который тотъ бросился, подобно бѣшеной собакѣ, изгрызъ, искусалъ его и тутъ же, на улицѣ, въ страшныхъ судорогахъ испустилъ духъ отъ долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждомъ шагу поражали ихъ страшныя жертвы голода. Казалось, какъ будто, не вынося мученій въ домахъ, многіе нарочно выбѣжали на улицу: не ниспошлется ли въ воздухѣ чего-нибудь, питающаго силы. У воротъ одного дома сидѣла старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла или, просто, позабылась; по крайней мѣрѣ она уже не слышала и не видѣла ничего и, опустивъ голову на грудь, сидѣла недвижима на одномъ и томъ же мѣстѣ. Съ крыши другого дома висѣло внизъ, на веревочной петлѣ, вытянувшееся и исчахлое тѣло: бѣднякъ не могъ вынести до конца страданій голода и захотѣлъ лучше произвольнымъ самоубійствомъ ускорить конецъ свой.

При видѣ такихъ поражающихъ свидѣтельствъ голода, Андрій не вытерпѣлъ не спросить татарку: «Неужели они однакожь совсѣмъ не нашли, чѣмъ пробавить жизнь? Если человѣку приходитъ послѣдняя крайность, тогда, дѣлать нечего, онъ долженъ питаться тѣмъ, чѣмъ дотолѣ брезгалъ: онъ можетъ питаться тѣми тварями, которыя запрещены закономъ, все можетъ тогда пойти въ снѣдъ».

«Все переѣли», сказала татарка: «всю скотину: ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всемъ городѣ. У насъ въ городѣ никогда не водилось никакихъ запасовъ: все привозилось изъ деревень».

«Но какъ же вы, умирая такою лютою смертію, все еще думаете оборонить городъ?»

«Да, можетъ-быть, воевода и сдать бы, но вчера утромъ полковникъ, который въ Буджакахъ, пустилъ въ городъ ястреба съ запиской, чтобъ не отдавали города: что онъ идетъ на выручку съ полкомъ, да ожидаетъ только другого

полковника, чтобъ итти обоймъ вмѣстѣ. И теперь всякую минуту ждутъ ихъ... Но вотъ мы пришли къ дому».

Андрій уже издали видѣлъ домъ, не похожій на другіе и, какъ казалось, строенный какимъ-нибудь архитекторомъ итальянскимъ; онъ былъ сложенъ изъ красивыхъ тонкихъ кирпичей въ два этажа. Окна нижняго этажа были заключены въ высоко выдавшіеся гранитные карнизы; верхній этажъ состоялъ весь изъ небольшихъ арокъ, образовавшихъ галерею; между ними были видны рѣшетки съ гербами; на углахъ дома тоже были гербы. Наружная широкая лѣстница изъ крашенныхъ кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лѣстницы сидѣло по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за стоящія около нихъ алебарды, а другою подпирали наклоненныя свои головы и, казалось, такимъ образомъ болѣе походили на изваянія, чѣмъ на живыя существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему; они не обратили даже вниманія на то, кто всходилъ по лѣстницѣ. Наверху лѣстницы они нашли богато убраннаго, всего съ ногъ до головы вооруженнаго воина, державшаго въ рукѣ молитвенникъ. Онъ было возвелъ на нихъ истомленные очи, но татарка сказала ему одно слово, и онъ опустилъ ихъ вновь въ открытыя страницы своего молитвенника. Они вступили въ первую комнату, довольно просторную, служившую приемою или, просто, переднею; она была наполнена вся сидѣвшими въ разныхъ положеніяхъ у стѣнъ солдатами, слугами, писарями, виночерпѣями и прочей дворней, необходимою для показанія сана польскаго вельможи, какъ военнаго, такъ и владѣльца собственныхъ помѣстьевъ. Слышенъ былъ чадъ погаснувшей свѣчи; двѣ другія еще горѣли въ двухъ огромныхъ, почти въ ростъ человѣка, подсвѣчникахъ, стоявшихъ посерединѣ, несмотря на то, что уже давно въ рѣшетчатое широкое окно глядѣло утро. Андрій уже было хотѣлъ итти прямо въ широкую дубовую дверь, украшенную гербомъ и множествомъ рѣзныхъ украшеній; но татарка дернула его за рукавъ и указала маленькую дверь въ боковой стѣнѣ. Этою вышли они въ коридоръ и потомъ въ комнату, которую онъ началъ внимательно разсматривать. Свѣтъ, проходившій сквозь щель ставня, тронулъ кое-что: малиновый занавѣсъ, позолоченный карнизъ и живопись на стѣнѣ. Здѣсь татарка указала

Андрію остаться, отворила дверь въ другую комнату, изъ которой блеснулъ свѣтъ огня. Онъ услышалъ шопотъ и тихій голосъ, отъ котораго все потряслось у него. Онъ видѣлъ сквозь растворившуюся дверь, какъ мелькнула быстро стройная женская фигура съ длинною роскошною косою, упавшею на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы онъ вошелъ. Онъ не помнилъ, какъ вошелъ и какъ затворилась за нимъ дверь. Въ комнатѣ горѣли двѣ свѣчи, лампада теплилась передъ образомъ; подъ нимъ стоялъ высокій столикъ, по обычаю католическому, со ступеньками для преклоненія колѣней во время молитвы. Но не того искали глаза его. Онъ повернулся въ другую сторону и увидѣлъ женщину, казалось, застывшую и окаменѣвшую въ какомъ-то быстромъ движеніи. Казалось, какъ будто вся фигура ея хотѣла броситься къ нему и вдругъ остановилась. И онъ остался также изумленнымъ предъ нею. Не такую воображалъ онъ ее видѣть: это была не она, не та, которую онъ зналъ прежде; ничего не было въ ней похожаго на ту, но вдвое прекраснѣе и чудеснѣе была она теперь, чѣмъ прежде: тогда было въ ней что-то недоконченное, недовершенное, теперь это было произведеніе, которому художникъ далъ послѣдній ударъ кисти. Та была прелестная, вѣтреная дѣвушка; эта была красавица, женщина во всей разившейся красотѣ своей. Полное чувство выражалось въ ея поднятыхъ глазахъ, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успѣли въ нихъ высохнуть и облекли ихъ блистающею влагою, проходившею душу; грудь, шея и плечи заключились въ тѣ прекрасныя границы, которыя назначены вполнѣ разившейся красотѣ; волосы, которые прежде разсѣпались легкими кудрями по лицу ея, теперь обратились въ густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длинѣ руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упала на грудь. Казалось, все до одной измѣнились черты ея. Напрасно силился онъ отыскать въ нихъ хотя одну изъ тѣхъ, которыя носились въ его памяти,—ни одной. Какъ ни велика была ея блѣдность, но она не помрачила чудесной красоты ея, напротивъ, какъ будто придала ей что-то стремительное, неотразимо-побѣдоносное. И ощутить Андрій въ своей душѣ благоговѣйную боязнь, и стать неподвиженъ передъ нею. Она, ка-

залось, также была поражена видомъ козака, представшаго во всей красѣ и силѣ юношескаго мужества, который, казалось, и въ самой неподвижности своихъ членовъ уже обличалъ развязную вольность движеній; ясною твердостью сверкала глазъ его, смѣлою дугою, выгнулась бархатная бровь, загорѣлыя щеки блистали всею яркостью дѣвственнаго огня и, какъ шелкъ, лоснились молодой черныи усь.

«Нѣтъ, я не въ силахъ ничѣмъ возблагодарить тебя, великодушный рыцарь», сказала она, и весь колебался серебряный звукъ ея голоса. «Одинъ Богъ можетъ вознаградить тебя; не мнѣ, слабой женщинѣ...» Она потупила свои очи; прекрасными снѣжными полукружьями надвинулись на нихъ вѣки, окраенныя длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами; наклонилось все чудесное лицо ея, и тонкій румянецъ отгѣнилъ его снизу. Ничего не умѣлъ сказать на это Андрій; онъ хотѣлъ бы выговорить все, что ни есть на душѣ, выговорить его такъ же горячо, какъ оно было на душѣ, — и не могъ. Почувствовалъ онъ что-то, заградившее ему уста; звукъ отнялся у слова: почувствовать онъ, что не ему, воспитанному въ бурсѣ и въ бранной кочевой жизни, отвѣчать на такія рѣчи, и вознегодовать на свою козацкую натуру.

Въ это время вошла въ комнату татарка. Она уже успѣла нарѣзать ломтями принесенный рыцаремъ хлѣбъ, несла его на золотомъ блюдѣ и поставила передъ своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлѣбъ, и возвела очи на Андрія, — и много было въ очахъ тѣхъ. Этотъ умиленный взоръ, выказавшій изнеможеніе и безсиліе выразить обнявшія ее чувства, былъ болѣе доступенъ Андрію, чѣмъ всѣ рѣчи. Его душѣ вдругъ стало легко; казалось, все развязалось у него. Душевные движенія и чувства, которыя дотолѣ какъ будто кто-то удерживалъ тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на волю, и уже хотѣли излиться въ неукротимые потоки словъ, какъ вдругъ красавица, оборотясь къ татаркѣ, безпокойно спросила: «А мать? ты отнесла сѣ?»

«Она спитъ».

«А отцу?»

«Отнесла; онъ сказалъ, что придетъ самъ благодарить рыцаря».

Она взяла хлѣбъ и поднесла его ко рту. Съ непзясни-

мымъ наслажденіемъ глядѣлъ Андрій, какъ она ломала его блистающими пальцами своими и ѣла; и вдругъ вспомнилъ о бѣсновавшемся отъ голода, который испустилъ духъ въ глазахъ его, проглотивши кусокъ хлѣба. Онъ поблѣднѣлъ и, схвативъ ее за руку, закричалъ: «Довольно! не ѣшь больше! Ты такъ долго не ѣла, тебѣ хлѣбъ будетъ теперь ядовитъ». И она опустила тутъ же свою руку; положила хлѣбъ на блюдо и, какъ покорный ребенокъ, смотрѣла ему въ очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово... но не властны выразить ни рѣзецъ, ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видится иной разъ во взорахъ дѣвы, ниже того умиленнаго чувства, которымъ объемлется глядящій въ такіе взоры дѣвы.

«Царица!» вскрикнулъ Андрій, полный и сердечныхъ, и душевныхъ, и всякихъ избытковъ: «что тебѣ нужно, чего ты хочешь?—прикажи мнѣ! Задай мнѣ службу самую невозможную, какая только есть на свѣтѣ,—я побѣгу исполнять ее! Скажи мнѣ сдѣлать то, чего не въ силахъ сдѣлать ни одинъ человекъ,—я сдѣлаю, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святымъ крестомъ, мнѣ такъ сладко... но не въ силахъ сказать того! У меня три хутора, половина табунѣвъ отцовскихъ мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже отъ него скрываетъ она,—все мое. Такого ни у кого нѣтъ теперь у козаковъ нашихъ оружія, какъ у меня: за одну рукоятъ моей сабли даютъ мнѣ лучшій табунъ и три тысячи овецъ. И отъ всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово, или хотя только шевельнешь своею тонкою, черною бровью! Но знаю, что, можетъ-быть, несу глупыя рѣчи, и некстати, и нейдетъ все это сюда, что не мнѣ, проведенному жизнь въ бурсѣ и на Запорожьѣ, говорить такъ, какъ въ обычаѣ говорить тамъ, гдѣ бываютъ короли, князья и все, что ни есть лучшаго въ вельможномъ рыцарствѣ. Вижу, что ты иное творенье Бога, нежели всѣ мы, и далеки предъ тобою всѣ другія боярскія жены и дочери-дѣвы. Мы не годимся быть твоими рабами; только небесные ангелы могутъ служить тебѣ».

Съ возрастающимъ изумленіемъ, вся превратившись въ слухъ, не проронивъ ни одного слова, слушала дѣва открытую, сердечную рѣчь, въ которой, какъ въ зеркалѣ, отражалась молодая, полная силъ душа. И каждое простое

слово этой рѣчи, выговоренное голосомъ, лѣтѣвшимъ прямо съ сердечнаго дна, облечено было въ силу. И выдалось впередъ все прекрасное лицо ея, отбросила она далеко назадъ досадные волосы, открыла уста и долго глядѣла съ открытыми устами. Потомъ хотѣла что-то сказать и вдругъ остановилась, и вспомнила, что другимъ назначенъ идетъ рыцарь, что отецъ, братья и вся отчизна его стоятъ позади его суровыми мстителями, что страшны облегишіе городъ запорожцы, что лютой смерти обречены всѣ они съ своимъ городомъ... и глаза ея вдругъ наполнились слезами; быстро она схватила платокъ, шитый шелками, набросила его себѣ на лицо, и онъ въ минуту сталъ весь влаженъ; и долго сидѣла, забросивъ назадъ свою прекрасную голову, сжавъ бѣлоснѣжными зубами свою прекрасную нижнюю губу, — какъ бы внезапно почувствовавъ какое укушеніе ядовитаго гада, — и не снимая съ лица платка, чтобы онъ не видѣлъ ея сокрушительной грусти.

«Скажи мнѣ одно слово!» сказалъ Андрій и взялъ ее за атласную руку. Сверкающій огонь пробѣжалъ по жиламъ его отъ этого прикосновенья, и жалъ онъ руку, лежавшую безчувственно въ руцѣ его.

Но она молчала и не отнимала платка отъ лица своего и оставалась неподвижна.

«Отчего же ты такъ печальна? Скажи мнѣ, отчего ты такъ печальна?»

Бросила прочь она отъ себя платокъ, отдернула налѣзавшіе на очи длинные волосы косы своей и вся разлилась въ жалостныхъ рѣчахъ, выговаривая ихъ тихимъ, тихимъ голосомъ, подобно тому, какъ вѣтеръ, поднявшись прекраснымъ вечеромъ, пробѣжитъ вдругъ по густой чащѣ приводнаго тростника: зашелестятъ, зазвучатъ и понесутся вдругъ унывно-тонкіе звуки, и ловить ихъ съ непонятной грустью остановившійся путникъ, не чуя ни погасающаго вечера, ни несущихся веселыхъ пѣсенъ народа, бредущаго отъ полевыхъ работъ и жнивъ, ни отдаленнаго тарахтанья гдѣ-то проѣзжающей телѣги.

«Не достойна ли я вѣчныхъ сожалѣній! Не несчастна ли мать, родившая меня на свѣтъ? Не горькая ли доля припала на часть мнѣ? Не лютый ли ты палачъ мой, моя свирѣпая судьба? Всѣхъ ты привела къ ногамъ моимъ: лучшихъ дворянъ изъ всего шляхетства, богатѣйшихъ пановъ,



графовъ и иноземныхъ бароновъ, и все, что ни есть цвѣтъ нашего рыцарства. Всѣмъ имъ было вольно любить меня, и за великое благо всякій изъ нихъ почелъ бы любовь мою. Стоило мнѣ только махнуть рукой, и любой изъ нихъ, красивѣйшій, прекраснѣйшій лицомъ и породой, сталъ бы моимъ супругомъ. И ни къ одному изъ нихъ не причаровала ты моего сердца, свирѣлая судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо лучшихъ витязей земли нашей, къ чуждому, къ врагу нашему. За что же Ты, Пречистая Божья Матерь, за какіе грѣхи, за какія тяжкія преступленія такъ неумолимо и безпощадно гонишь меня? Въ изобилии и роскошномъ избыткѣ всего текли дни мои; лучшія, дорогія блюда и сладкія вина были мнѣ снѣдью. И на что все это было? къ чему оно все было? Къ тому ли, чтобы, наконецъ, умереть лютою смертью, какой не умираетъ послѣдній нищій въ королевствѣ? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь; мало того, что передъ концомъ своимъ должна видѣть, какъ станутъ умирать въ невыносимыхъ мукахъ отецъ и мать, для спасенья которыхъ двадцать разъ готова была бы отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобы передъ концомъ своимъ мнѣ довелось увидѣть и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы онъ рѣчами своими разорвалъ на части мое сердце, чтобы горькая моя часть была еще горше, чтобы еще жалче было мнѣ моей молодой жизни, чтобы еще страшнѣе казалась мнѣ смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирѣлая судьба моя, и Тебя, — прости мое прегрѣшеніе, — Святая Божья Матерь!»

И когда затихла она, безнадежное-безнадежное чувство отразилось въ лицѣ ея; ноющею грустью заговорила всякая черта его, и все, отъ печально поникшаго лба и опустившихся очей до слезъ, застывшихъ и засохнувшихъ по тихо пламенѣвшимъ щекамъ ея, все, казалось, говорило: «Нѣтъ счастья на лицѣ этомъ!»

«Не слыхано на свѣтѣ, не можно, не быть тому», говорилъ Андрій: «чтобы красивѣйшая и лучшая изъ женъ понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы предъ ней, какъ предъ святыней, преклонилось все, что ни есть лучшаго на свѣтѣ. Нѣтъ, ты не умрешь! Не тебѣ умирать; клянусь моимъ рожденіемъ и всѣмъ, что мнѣ мило на свѣтѣ, — ты не умрешь! Если же выйдетъ уже такъ,

и ничѣмъ—ни силой, ни молитвой, ни мужествомъ нельзя будетъ отклонить горькой судьбы, то мы умремъ вмѣстѣ, и прежде я умру, умру передъ тобою. у твоихъ прекрасныхъ колыней, и развѣ уже мертвого меня разлучать съ тобою».

«Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня», говорила она, качая тихо прекрасной головой своей: «знаю и, къ великому моему горю, знаю слишкомъ хорошо, что тебѣ нельзя любить меня; и знаю я, какой долгъ и завѣтъ твой: тебя зовутъ отецъ, товарищи, отчизна, а мы—враги тебѣ».

«А что мнѣ отецъ, товарищи и отчизна?» сказалъ Андрій, встряхнувъ быстро головою и выпрямивъ весь прямой, какъ надрѣчная осокарь, станъ свой. «Такъ если-жъ такъ, такъ вотъ что: нѣтъ у меня никого! Никого, никого!» повторилъ онъ тѣмъ же голосомъ и сопроводивъ его тѣмъ движеньемъ руки, съ какимъ упругій, несокрушимый козакъ выражаетъ рѣшимость на дѣло неслыханное и невозможное для другого. «Кто сказалъ, что моя отчизна Украина? Кто далъ мнѣ ее въ отчизны? Отчизна есть то, чего ищетъ душа наша, что милѣе для нея всего. Отчизна моя—ты! Вотъ моя отчизна! И понесу я отчизну эту въ сердце мое, понесу ее, пока станетъ моего вѣку, и посмотрю: пусть кто-нибудь изъ козаковъ вырветъ ее оттуда! И все, что ни есть, продамъ, отдамъ, погублю за такую отчизну!»

На мигъ остолбенѣвъ, какъ прекрасная статуя, смотрѣла она ему въ очи и вдругъ зарыдала, и съ чудною женскою стремительностью, на какую бываетъ только способна одна безразсчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движеніе, кинулась она къ нему на шею, обхвативъ его снѣгоподобными, чудными руками, и зарыдала. Въ это время раздались на улицѣ неясные крики, сопровождаемые трубнымъ и литаврнымъ звукомъ; но онъ не слышалъ ихъ: онъ слышалъ только, какъ чудныя уста обдавали его благовонной теплотой своего дыханья, какъ слезы ея текли ручьями къ нему на лицо, и спустившіеся всѣ съ головы, пахучіе ея волосы опутали его всего своимъ темнымъ и блистающимъ шелкомъ.

Въ это время вбѣжала къ нимъ съ радостнымъ крикомъ татарка. «Спасены, спасены!» кричала она, не помня себя. «Наши вошли въ городъ, привезли хлѣба, пшеница, муки и связанныхъ запорожцевъ!» Но не слышалъ никто изъ нихъ, какіе «наши» вошли въ городъ, что привезли съ собою и

какихъ связали запорожцевъ. Полный не на землѣ вкушаемыхъ чувствъ, Андрій поцѣловалъ въ благовонныя уста, прильнувшія къ щекамъ его, и не безотвѣтны были благовонныя уста. Они отозвались тѣмъ же, и въ этомъ обоюдномъ слиянномъ поцѣлуѣ ощутилось то, что одинъ только разъ въ жизни дается чувствовать человѣку.

И погибъ козакъ! Пропалъ для всего козацкаго рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовскихъ хуторовъ своихъ, ни церкви Божьей. Украйни не видать тоже храбрѣйшаго изъ своихъ дѣтей, взявшихся защищать ее. Вырветъ старый Тарасъ сѣдой клокъ волосъ изъ своей чупрыны и проклянетъ и день, и часть, въ который породилъ на позоръ себѣ такого сына.

## VII.

Шумъ и движеніе происходили въ запорожскомъ таборѣ. Сначала никто не могъ дать вѣрнаго отчета, какъ случилось, что войска прошли въ городъ. Потомъ уже оказалось, что весь Переяславскій курень, расположившійся передъ боковыми городскими воротами, былъ пьянъ мертвецки; стало-быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана еще прежде, чѣмъ всѣ могли узнать, въ чемъ дѣло. Покамѣстъ ближніе курени, разбуженные шумомъ, успѣли схватиться за оружіе, войско уже уходило въ ворота, и послѣдніе ряды отстрѣливались отъ устремившихся на нихъ въ беспорядкѣ сонныхъ и полупротрезвившихся запорожцевъ.

Кошевой далъ приказъ собраться всѣмъ, и, когда всѣ стали въ кругъ и, снявши шапки, затихли, онъ сказалъ: «Такъ вотъ что, панове братове, случилось въ эту ночь; вотъ до чего довелъ хмель! Вотъ какое поруганье оказалъ намъ непріятель! У васъ, видно, уже такое заведеніе: коли позволишь удвоить порцію, такъ вы готовы такъ натянуться, что врагъ Христова воинства не только сниметъ съ васъ шаровары, но въ самое лицо вамъ начищаетъ, такъ вы того не услышите».

Козаки всѣ стояли, понутивъ головы, зная вину; одинъ только незамайковскій куренной атаманъ Кукубенко отозвался. «Постой, батько!» сказалъ онъ: «хоть оно и не въ законѣ, чтобы сказать какое возраженіе, когда говорить

кошевой передъ лицомъ всего войска. да дѣло не такъ было, такъ нужно сказать. Ты не совсѣмъ справедливо прекнулъ все христіанское войско. Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились въ походѣ, на войнѣ, на трудной, тяжкой работѣ: но мы сидѣли безъ дѣла, маячили въ попусту передъ городомъ. Ни поста, ни другого христіанскаго воздержанья не было: какъ же можетъ статься, чтобы на бездѣльи не напился челоуѣкъ? Грѣха тутъ нѣтъ. А мы вотъ лучше покажемъ имъ, что такое нападать на безвинныхъ людей. Прежде били добре, а ужъ теперь побьемъ такъ, что и пять не унесутъ домой».

Рѣчь куренного атамана понравилась козакамъ. Они подняли уже совсѣмъ было понурившіяся головы, и многіе одобрительно кивнули головой, примолвивши: «Добре сказалъ Кукубенко!» А Тарасъ Бульба, стоявшій недалеко отъ кошевого, сказалъ: «А что, кошевой, видно, Кукубенко правду сказалъ? Что ты скажешь на это?»

«А что скажу? Скажу: блаженъ и отецъ, родившій такого сына: еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое, не поругавшись надъ бѣдою челоуѣка, ободрило бы его, придало бы духу ему, какъ шпоры придаютъ духу коню, освѣженному водопоемъ. Я самъ хотѣлъ вамъ сказать потомъ утѣшительное слово, да Кукубенко догадался прежде».

«Добре сказалъ и кошевой!» отозвалось въ рядахъ запорожцевъ. «Доброе слово!» повторили другіе. И самые сѣдые, стоявшіе, какъ сивые голуби, и тѣ кивнули головою и, моргнувши сѣдымъ усомъ, тихо сказали: «Добре сказанное слово!»

«Слушайте же, панове!» продолжалъ кошевой. «Братъ крѣпость, карабкаться и подкапываться, какъ дѣлаютъ чужеземные нѣмецкіе мастера—пусть ей врагъ прикинется!—и неприлично, и не козацкое дѣло. А судя по тому, что есть, непріятель вошелъ въ городъ не съ большимъ запасомъ; телѣтъ что-то было съ нимъ немного. Народъ въ городѣ голодный, стало-быть, все съѣстъ духомъ, да и конямъ тоже сѣна... ужъ я не знаю, развѣ съ неба кинетъ имъ на вилы какой-нибудь ихъ святой... только про это еще Богъ знаетъ; а ксендзы-то ихъ горады на одни слова. За тѣмъ, или за другимъ, а ужъ они выйдутъ изъ города. Раздѣляясь же на три кучи и становись на три дороги

передъ тремя воротами. Передъ главными воротами пять куреней; передъ другими по три куреня. Дядькивскій и Корсуцскій курень на засаду! Полковникъ Тарасъ съ полкомъ на засаду! Тытаревскій и Тymoшевскій курень на запасъ съ праваго бока обоза! Щербиновскій и Стебликивскій-верхній — съ лѣваго боку! Да выбирайтесь изъ ряду, молодцы, которые позубастѣй на слово, задирать непріятеля! У ляха пустоголовая натура: брани не вытерпитъ; и можетъ-быть, сегодня же всѣ они выйдутъ изъ воротъ. Куренные атаманы, перегляди всякій курень свой: у кого недочетъ, пополни его остатками Переяславскаго. Перегляди все снова! Дать на опохмѣть всѣмъ по чаркѣ, и по хлѣбу на козака. Только, вѣрно, всякій еще вчерашнимъ сытъ, ибо, некуда дѣтъ правды, понаѣдались всѣ такъ, что дивлюсь, какъ ночью никто не лопнулъ. Да вотъ еще одинъ наказъ: если кто-нибудь, шинкарь-жидъ, продастъ козаку хоть одинъ кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лобъ свиное ухо, собакѣ, и повѣшу ногами вверхъ! За работу же, братцы! За работу!»

Такъ распоряжалъ кошевой, и всѣ поклонились ему въ поясъ и, не надѣвая шапокъ, отправились по своимъ вoзамъ и таборамъ, и когда уже совсѣмъ далеко отошли, тогда только надѣли шапки. Всѣ начали снаряжаться: пробоваали сабли и палаши, насыпали порохъ изъ мѣшковъ въ пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя къ своему полку, Тарасъ думать и не могъ придумать, куда бы дѣвался Андрій: «полонили ли его вмѣстѣ съ другими и связали соннаго? только нѣтъ, не таковъ Андрій, чтобы отдался живымъ въ плѣнъ». Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крѣпко Тарасъ и шелъ передъ полкомъ, не слыша, что его давно называлъ кто-то по имени, «Кому нужно меня?» сказалъ онъ, наконецъ, очнувшись. Предъ нимъ стоялъ жидъ Янкель.

«Панъ полковникъ, панъ полковникъ!» говорилъ жидъ поспѣшнымъ и прерывистымъ голосомъ, какъ будто бы хотѣлъ объявить дѣло не совсѣмъ пустое. «Я былъ въ городѣ, панъ полковникъ!»

Тарасъ посмотрѣлъ на жида и подивился тому, что онъ уже успѣлъ побывать въ городѣ. «Какой же врагъ тебя занесъ туда?»

«Я тотчасъ расскажу», сказалъ Янкель. «Какъ только

услышать я на зарѣ шумъ, и козаки стали стрѣлять, я ухватилъ кафтанъ и, не надѣвая его, побѣжалъ туда бѣгомъ! дорогою уже надѣлъ его въ рукава, потому что хотѣлъ поскорѣй узнать, отчего шумъ, отчего козаки на самый зарѣ стали стрѣлять. Я взялъ и прибѣжалъ къ самымъ городскимъ воротамъ, въ то время, когда послѣднее войско входило въ городъ. Гляжу—впереди отряда панъ хорунжій Галандовичъ. Онъ человѣкъ мнѣ знакомый: еще съ третьяго года задолжалъ сто червонныхъ. Я за нимъ, будто бы за тѣмъ, чтобы выправить съ него долгъ, и вошелъ вмѣстѣ съ ними въ городъ».

«Какъ же ты вошелъ въ городъ, да еще и долгъ хотѣлъ выправить?» сказалъ Бульба. «И не велѣлъ онъ тебя тутъ же повѣсить, какъ собаку?»

«А, ей-Богу, хотѣлъ повѣсить», отвѣчалъ жидъ: «уже было его слуги совсѣмъ схватили меня и закинули веревку на шею; но я взмолился пану, сказалъ, что подожду долгъ, сколько панъ хочетъ, и пообѣщалъ еще дать взаймы, какъ только поможетъ мнѣ собрать долги съ другихъ рыцарей; ибо у пана хорунжаго,—я все скажу пану,—нѣтъ и одного червоннаго въ карманѣ. Хотя у него и есть хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самаго Шклова, а грошей у него такъ, какъ у козака; ничего нѣтъ. И теперь, если бы не вооружили его бреславскіе жидаы, не въ чемъ было бы ему и на войну выѣхать. Онъ и на сеймѣ оттого не былъ...»

«Что-жъ ты дѣлалъ въ городѣ? Видѣлъ нашихъ?»

«Какъ же! Нашихъ тамъ много: Ицка, Рахумъ, Самуйло, Хайвалохъ, еврей-арендаторъ...»

«Пропали они, собаки!» вскрикнулъ, разсердившись, Тарась. «Что ты мнѣ тычешь свое жидовское племя? Я тебя спрашиваю про нашихъ запорожцевъ».

«Нашихъ запорожцевъ не видалъ; а видалъ одного пана Андрія».

«Андрія видѣлъ?» вскрикнулъ Бульба. «Что-жъ ты, гдѣ видѣлъ его? въ подвалѣ? въ ямѣ? Обезчещенъ? связанъ?»

«Кто же бы смѣлъ связать пана Андрія? Теперь онъ такой важный рыцарь... Далибугъ, я не узналъ! И наплечники въ золотѣ, и нарукавники въ золотѣ, и зеркало въ золотѣ, и шапка въ золотѣ, и по поясу золото, и вездѣ золото, и все золото. Такъ, какъ солнце взглянетъ весною, когда въ

огородѣ всякая птичка пицить и поеть, и травка пахнетъ, такъ и онъ весь сіяетъ въ золотѣ. И коня ему далъ воевода самого лучшаго подѣ верхъ; два ста червонныхъ стоить одинъ конь».

Бульба остоленѣлъ. «Зачѣмъ же онъ надѣлъ чужое одѣянье?»

«Потому что лучше; потому и надѣлъ. И самъ разѣзжаетъ, и другіе разѣзжаютъ; и онъ учитъ, и его учатъ: какъ наибогатѣйшій польскій панъ!»

«Кто-жъ его принудилъ?»

«Я-жъ не говорю, чтобы его кто принудилъ. Развѣ панъ не знаетъ, что онъ по своей волѣ перешелъ къ нимъ?»

«Кто перешелъ?»

«А панъ Андрій».

«Куда перешелъ?»

«Перешелъ на ихъ сторону; онъ ужъ теперь совѣмъ ихній».

«Врешь, свиное ухо!»

«Какъ же можно, чтобы я вралъ? Дуракъ я развѣ, чтобы вралъ? На свою бы голову я вралъ? Развѣ я не знаю, что жиды повѣсятъ, какъ собаку, коли онъ совретъ передъ паномъ?»

«Такъ это выходитъ, онъ, по-твоему, продать отчизну и вѣру?»

«Я же не говорю этого, чтобы онъ продавалъ что: я сказалъ только, что онъ перешелъ къ нимъ».

«Врешь, чортовъ жидъ! Такого дѣла не было на христіанской землѣ! Ты путаешь, собака!»

«Пусть трава порастетъ на порогѣ моего дома, если я путаю. Пусть всякій наплюетъ на могилу отца, матери, свекора и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если панъ хочетъ, я даже скажу, и отчего онъ перешелъ къ нимъ».

«Отчего?»

«У воеводы есть дочка-красавица. Святой Боже, какал красавица!»—Здѣсь жидъ постарался, какъ только могъ, выразить въ лицѣ своемъ красоту, разставивъ руки, припушивъ глазъ и покрививши на-бокъ ротъ, какъ будто чего-нибудь отвѣдавши.

«Ну, такъ что же изъ того?»

«Онъ для нея и сдѣлалъ все, и перешелъ. Коли чело-

вѣкъ влюбится, то онъ все равно, что подошва, которую коли размоchiniшь въ водѣ, возьми, согни—она и согнется».

Крѣпко задумался Бульба. Вспомнилъ онъ, что велика власть слабой женщины, что многихъ сильныхъ погубляла она, что податлива съ этой стороны природа Андрія; и сгоялъ онъ долго, какъ вкопанный, на одномъ и томъ же мѣстѣ.

«Слушай панъ, я все расскажу пану», говорилъ жидъ. «Какъ только услышалъ я шумъ и увидѣлъ, что проходятъ въ городскія ворота, я схватилъ на всякій случай съ собою нитку жемчуга, потому что въ городѣ есть красавицы и дворянки; а коли есть красавицы и дворянки, сказалъ я себѣ, то имъ хотъ и ѣсть нечего, а жемчугъ все-таки купятъ. И какъ только хорунжаго слуги пустили меня, я побѣжалъ на воеводинъ дворъ продавать жемчугъ. Разспросилъ все у служанки-татарки: «Будетъ свадьба сейчасъ, какъ только прогонять запорожцевъ. Панъ Андрій обѣщаетъ прогнать запорожцевъ».

«И ты не убилъ тутъ же на мѣстѣ его, чортова сына?» вскрикнулъ Бульба.

«За что же убить? Онъ перешелъ по доброй волѣ. Чѣмъ человекъ виноватъ? Тамъ ему лучше, туда и перешелъ».

«И ты видѣлъ его въ самое лицо?»

«Ей-Богу, въ самое лицо! Такой славный вояка! Всѣхъ врачивѣй. Дай ему Богъ здоровья, меня тотчасъ узналъ; и когда я подошелъ къ нему, тотчасъ сказалъ...»

«Что-жъ онъ сказалъ?»

«Онъ сказалъ,—прежде кивнулъ пальцемъ, а потомъ уже сказалъ: «Янкель!» А я: «панъ Андрій!» говорю. «Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакамъ, скажи запорожцамъ, скажи всѣмъ, что отецъ теперь не отецъ мнѣ, братъ не братъ, товарищъ не товарищъ, и что я съ ними буду биться со всѣми, со всѣми буду биться!»

«Врешь, чортовъ Іуда!» закричалъ, вышедъ изъ себя, Тарасъ. «Врешь, собака! Ты и Христа распялъ, проклятый Богомъ человекъ! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то—тутъ же тебѣ и смерть!» Сказавши это, Тарасъ выхватилъ свою саблю. Испуганный жидъ припустился тутъ же во всѣ лопатки, какъ только могли вынести его тонкія, сухія икры. Долго еще бѣжалъ онъ безъ оглядки между козацкимъ таборомъ и потомъ далеко по всему чистому полю,



хотя Тарась вовсе не гнался за нимъ, размысливъ, что неразумно вымешать запальчивость на первомъ подвернувшемся.

Теперь припомнилъ онъ, что видѣлъ въ прошлую ночь Андрія, проходившаго по табору съ какой-то женщиною, и поникъ сѣдою головою, а все еще не хотѣлъ вѣрить, чтобы могло случиться такое позорное дѣло и чтобы собственный сынъ его продалъ вѣру и душу.

Наконецъ повелъ онъ свой полкъ въ засаду и скрылся съ нимъ за лѣсомъ, который одинъ былъ не выжженъ еще козаками. А запорожцы, и пѣшіе и конные, выступали на три дороги къ тремъ воротамъ. Одинъ за другимъ валили курени: Уманскій, Поповичевскій, Каневскій, Стебликивскій, Незамайковский, Гургузивъ, Тытаревскій, Тymoшевскій. Одного только Переяславскаго не было. Крѣпко курнули козаки его, и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный во вражыхъ рукахъ, кто, и совѣмъ не просыпаясь, сонный, перешелъ въ сырую землю, и самъ атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, очутился въ ляшскомъ стану.

Въ городѣ слышали козацкое движеніе. Всѣ высыпали на валъ, и предстала предъ козаковъ живая картина: польскіе витязи, одинъ другого красивѣй, стояли на валу. Мѣдныя шапки сіяли, какъ солнца, оперенныя бѣлыми, какъ лебедь, перьями. На другихъ были легкія шалочки, розовыя и голубыя, съ перегнутыми на бекрень верхами; кафтаны съ откидными рукавами, шитые золотомъ и просто выложенные шнурками; у тѣхъ сабли и оружія въ дорогихъ оправкахъ, за которыя дорого приплачивали паны,—и много было всякихъ другихъ убранствъ. Напередѣ стоялъ спѣсиво, въ красной шапкѣ, убранной золотомъ, буджаковский полковникъ. Грузенъ былъ полковникъ, всѣхъ выше и толще, и широкій дорогой кафтанъ насилу облекалъ его. На другой сторонѣ, почти къ боковымъ воротамъ, стоялъ другой полковникъ, небольшой человекъ, весь высохшій; но малыя зоркія очи глядѣли живо изъ-подъ густо наросшихъ бровей, и оборачивался онъ скоро на всѣ стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанія; видно было, что, несмотря на малое тѣло свое, зналъ онъ хорошо ратную науку. Недалеко отъ него стоялъ хорунжій, длинный, длинный, съ густыми усами, и, казалось, не было у него

недостатка въ краскѣ на лицѣ: любилъ панъ крѣпкіе меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся, кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовскія деньги, заложивъ все, что ни нашлось въ дѣдовскихъ замкахъ. Не мало было и всякихъ сенаторскихъ нахлѣбниковъ, которыхъ брали съ собою сенаторы на обѣды для почета, которые крали со стола и изъ буфетовъ серебряные кубки и, послѣ сегодняшняго почета, на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Всякихъ было тамъ. Иной разъ и выпить было не на что, а на войну всѣ принарядились.

Козацкіе ряды стояли тихо передъ стѣнами. Не было на нихъ ни на комъ золота: только развѣ кое-гдѣ блестяю оно на сабельныхъ рукояткахъ и ружейныхъ оправахъ. Не любилъ казаки богато наряжаться на битвахъ; простые были на нихъ кольчуги и свиты, и далеко черѣбли и червонѣли черныя червоноверхія бараньи ихъ шапки.

Два козака выѣхало впередъ изъ запорожскихъ рядовъ: одинъ еще совсѣмъ молодой, другой постарѣе, оба зубастые на слова, на дѣлѣ тоже не плохіе козаки: Охримъ Нашъ и Мыкыта Голокопытенко. Слѣдомъ за ними выѣхалъ и Демидъ Поповичъ, коренастый козакъ, уже давно маячившій на Сѣчи, бывшій подъ Адрианополемъ и много натерпѣвшійся на вѣку своемъ: горѣлъ въ огнѣ и приближалъ на Сѣчь съ обсмоленною, почернѣвшею головою и выгорѣвшими усами; но раздобрѣвъ вновь Поповичъ, пустилъ за ухо оселедецъ, вырастилъ усы густые и черные, какъ смоль. И крѣпокъ былъ на ѣдкое слово Поповичъ.

«А, красные жупаны на всемъ войскѣ, да хотѣлъ бы я знать, красная ли сила у войска?»

«Вотъ я васъ!» кричалъ сверху дюжій полковникъ: «всѣхъ перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видѣди, какъ перевязалъ я вашихъ? Выведите имъ на валъ запорожцевъ!»

И вывели на валъ скрученныхъ веревками запорожцевъ. Впереди ихъ былъ куренной атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства,—такъ, какъ схватили его хмельного. Потупилъ въ землю голову атаманъ, стыдяся наготы своей передъ своими же козаками и того, что попалъ въ плѣнъ, какъ собака, сонный. И въ одну ночь поспѣла крѣпкая голова его.

«Не печалься, Хлибъ! Выручимъ!» кричали ему снизу козаки.

«Не печалься, друзьяка!» отозвался куренной атаманъ Бородатый: «въ томъ нѣтъ вины твоей, что схватили тебя нагого: бѣда можетъ быть со всякимъ человѣкомъ; но стыдно имъ, что выставили тебя на позоръ, не прикрывши прилично наготы твоей».

«Вы, видно, на сонныхъ людей храброе войско?» говорилъ, поглядывая на валь, Голокопытенко.

«Вотъ, погодите, обрѣжемъ мы вамъ чубы!» кричали имъ сверху.

«А хотѣлъ бы я поглядѣть, какъ они намъ обрѣжутъ чубы!» говорилъ Поповичъ, поворотившись передъ ними на конѣ, и потомъ, поглядѣвши на своихъ, сказалъ: «А что-жъ! Можетъ-быть, ляхи и правду говорятъ: коли выведетъ ихъ вонъ тотъ пузатый, имъ всѣмъ будетъ добрая защита».

«Отчего-жъ ты думаешь, будетъ имъ добрая защита?» сказали козаки, зная, что Поповичъ вѣрно уже готовился что-нибудь отпустить.

«А оттого, что позади его упрчется все войско, и ужъ чорта съ два изъ-за его пуза достанешь котораго-нибудь копьемъ!»

Всѣ засмѣялись козаки; и долго многіе изъ нихъ еще покачивали головою, говоря: «Ну, ужъ Поповичъ! Ужъ коли кому закрутить слово, такъ только ну...» — Да ужъ и не сказали козаки, что такое «ну».

«Отступайте, отступайте скорѣй отъ стѣны!» закричалъ кошевой; ибо ляхи, казалось, не выдержали ѣдкаго слова, и полковникъ махнулъ рукой.

Едва только посторонились козаки, какъ грянули съ вала картечью. На валу засуетились, показался самъ сѣдой воевода на конѣ. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выѣхали ровнымъ коннымъ строемъ шитые гусары, за ними кольчужники, потомъ латники съ копьями, потомъ всѣ въ мѣдныхъ шлкахъ, потомъ ѣхали особнякомъ лучшіе шляхтичи, каждый одѣтый по-своему. Не хотѣли гордые шляхтичи вмѣшаться въ ряды съ другими, и у котораго не было команды, тотъ ѣхалъ одинъ со своими слугами. Потомъ опять ряды, и за ними выѣхалъ хорунжіи; за нимъ

опять ряды, и выѣхалъ дюжіи полковникъ; а позади всего уже войска выѣхалъ послѣднимъ низенькій полковникъ.

«Не давать имъ! Не давать имъ строиться и становиться въ ряды!» кричалъ кошевой. «Разомъ напирайте на нихъ всѣ курени! Оставляйте всѣ прочія ворота! Тытаревскій курень, нападай съ боку! Дядькинскій курень, нападай съ другого! Напирайте на тылъ, Кукубенко и Палывода! Мѣшайте, мѣшайте и розните ихъ!»

И ударили со всѣхъ сторонъ козаки, сбили и смѣшали ляховъ, и сами смѣшались. Не дали даже и стрѣльбы про- извести; пошло дѣло на мечи, да на конья. Всѣ сбились въ кучу и каждому привелъ случай показать себя.

Демида Поновичъ трехъ закололъ простыхъ и двухъ лучшихъ шляхтичей сбиль съ коней, говоря: «Вотъ добрые кони! Такихъ коней я давно хотѣлъ достать». И выгналъ коней далеко въ поле, крича стоявшимъ козакамъ перенять ихъ. Потомъ вновь пробился въ кучу, напалъ опять на сбитыхъ съ коней шляхтичей; одного убилъ, а другому накиннулъ арканъ на шею, привязалъ къ сѣдлу и поволокъ его по всему полю, снявши съ него саблю съ дорогою рукоятью и отвязавши отъ пояса цѣлый черенокъ съ червонцами.

Кобита, добрый козакъ и молодой еще, схватился тоже съ однимъ изъ храбрѣйшихъ въ польскомъ войскѣ, и долго бились они. Сопались уже въ рукопашный. Одолѣть-было уже козакъ и, сломивши, ударилъ острымъ турецкимъ ножомъ въ грудь; но не уберется самъ: тутъ же въ високъ хлопнула его горячая пуля. Свалилъ его знатнѣйшій изъ пановъ, красивѣйшій и древняго княжескаго роду рыцарь. Какъ стройный тополь, носился онъ на буланомъ конѣ своемъ. И много уже показать боярской богатырской удалы: двухъ запорожцевъ разрубилъ на-двое; Оедора Коржа, добраго козака, опрокинулъ вмѣстѣ съ конемъ, выстрѣливъ по коню и козака достать изъ-за коия копытомъ; многимъ отнесъ головы и руки и повалить козака Кобиту, вогнавши ему пулю въ високъ.

«Вотъ съ кѣмъ бы я хотѣлъ попробовать силы!» закричалъ незамайковский куренной атаманъ Кукубенко. Цѣпнулъ коня, налетѣлъ прямо ему въ тылъ и сильно вскопнулъ, такъ что вздрогнули всѣ близъ стоявшіе отъ нечеловѣческаго брика. Хотѣлъ было поворотить вдругъ своего коня ляхъ

и стать ему въ лицо; но не послушался конь: испуганный страшнымъ крикомъ метнулся на сторону, и достать его ружейною пулею Кукубенко. Вошла въ спинныя лопатки ему горячая пуля, и свалился онъ съ коня. Но и тутъ не поддался ляхъ, все еще силился нанести врагу ударъ, но ослабѣла упавшая вмѣстѣ съ саблею рука. А Кукубенко, взявъ въ обѣ руки свой тяжелый палашъ, вогналъ его ему въ самыя побѣднѣвшія уста: вышибъ два сахарные зуба палашъ, разсѣкъ на-двое языкъ, разбилъ горловой позвонокъ и вошелъ далеко въ землю. Такъ и пригвоздилъ онъ его тамъ навѣки къ сырой землѣ. Ключомъ хлынула вверхъ алая, какъ надрѣчная калина, высокая дворянская кровь, и выкрасила весь, обшитый золотомъ, желтый кафтанъ его. А Кукубенко уже кинулъ его и пробился съ своими незамайковцами въ другую кучу.

«Эхъ, оставилъ неприбраннымъ такое дорогое убранство!» сказалъ уманскій куренной Бородатый, отъѣхавши отъ своихъ къ мѣсту, гдѣ лежалъ убитый Кукубенкомъ шляхтичъ. «Я семерыхъ убилъ шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видѣлъ ни на комъ». И польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять съ него дорогіе доспѣхи, вынулъ уже турецкій ножъ въ оправѣ изъ самоцвѣтныхъ каменьевъ, отвязалъ отъ пояса черенокъ съ червонцами, снялъ съ груди сумку съ тонкимъ бѣльемъ, дорогимъ серебромъ и дѣвическою кудрею, сохранившеюся на память. И не услышалъ Бородатый, какъ налетѣлъ на него сзади красноносый хорунжій, уже разъ сбитый имъ съ сѣдла и получившій добрую зазубрину на память. Размахнулся онъ со всего плеча и ударилъ его саблей по нагнувшейся шеѣ. Не къ добру повела корысть козака: отскочила могучая голова и упалъ обезглавленный трупъ, далеко вокругъ оросивши землю. Понеслась къ вышнякамъ суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя, и вмѣстѣ съ тѣмъ дивуясь, что такъ рано вылетѣла изъ такого крышатаго тѣла. Не успѣлъ хорунжій ухватить за чубъ атаманскую голову, чтобы привязать ее къ сѣdlу, а ужъ былъ тутъ суровый мститель.

Какъ плавающий въ небѣ ястребъ, давши много круговъ сильными крылами, вдругъ останавливается распластанный на одномъ мѣстѣ и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавшагося у самой дороги самца-перепела, такъ Тарасовъ сынъ.

Остапъ, налетѣвъ вдругъ на хорунжаго и сразу накинута ему на шею веревку. Побагровѣло еще сильнѣе красное лицо хорунжаго, когда затянула ему горло жестокая петля: схватился онъ было за пистолетъ, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрѣла и пули даромъ полетѣла въ поле. Остапъ тутъ же, у его же сѣдла, отвязалъ шелковый шнуръ, который возилъ съ собою хорунжій для вязанія плѣнныхъ, и его же шнуромъ связалъ его по рукамъ и по ногамъ, прицѣпилъ конецъ веревки къ сѣдлу и поволокъ его черезъ поле, сзывая громко всѣхъ козаковъ, Уманскаго куреня, чтобы шли отдать послѣднюю честь атаману.

Какъ услышали уманцы, что куренного ихъ атамана Бородатаго нѣтъ уже въ живыхъ, бросили поле битвы и прибѣжали прибрать его тѣло; и тутъ же стали совѣщаться, кого выбрать въ куренные. Наконецъ, сказали: «Да на что совѣщаться? Лучше не можно поставить въ куренные, какъ Бульбенка Остапа: онъ, правда, младшій всѣхъ насъ, но разумъ у него, какъ у стараго человѣка».

Остапъ, снявъ шапку, всѣхъ поблагодарилъ козаковъ-товарищей за честь, не сталъ отговариваться ни молодостью, ни молодымъ разумомъ, зная, что время военное и не до того теперь, а тутъ же повелъ ихъ прямо на кучу и ужъ показавъ имъ всѣмъ, что не даромъ выбрали его въ атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дѣло слишкомъ жарко, отступили и перебѣжали поле, чтобы собраться на другомъ концѣ его. А низенькій полковникъ махнулъ на стоявшія отдѣльно у самыхъ воротъ четыре свѣжія сотни, и грянули оттуда картечью въ козацкія кучи; но мало кого достали: пули хватили по быкамъ козацкимъ, дико глядѣвшимъ на битву. Взорвѣли испуганные быки, поворотили на козацкіе таборы, пережумали возы и многихъ перетоптали. Но Тарасъ въ это время, вырвавшись изъ засады со своимъ полкомъ, съ крикомъ бросился на переймы. Поворотило назадъ все бѣшеное стадо, испуганное крикомъ, и метнулось на ляшскіе полки, опрокинуло бонницу, всѣхъ смяло и разсыпало.

«О, спасибо вамъ, воли!» кричали запорожцы: «служили все походную службу, а теперь и военную сослужили!» И ударили съ новыми силами на непріятеля. Много тогда перебили враговъ. Многие показали себя: Метелица, Шило,

оба Писаренки, Вовтузенко, и не мало было всякихъ другихъ. Увидѣли ляхи, что плохо, наконецъ, приходятъ, выкинули хоругвь и закричали отворять городскія ворота. Со скрипомъ отворились обитыя желѣзомъ ворота и приняли толпившихся, какъ овецъ въ овчарню, изнуренныхъ и покрытыхъ пылью всадниковъ. Многіе изъ запорожцевъ погнались-было за ними, но Остапъ своихъ уманцевъ остановилъ, сказавши: «Подальше, подальше, паны братья, отъ стѣны! Не годится близко подходить къ нимъ». И правду сказалъ, потому что со стѣны грянули и посыпали всѣмъ, чѣмъ ни попало, и многимъ досталось. Въ это время подѣхалъ коневой и похвалилъ Остапа, сказавши: «Вотъ и новый атаманъ, а ведетъ войско такъ, какъ бы и старый!» Оглянулся старый Бульба поглядѣть, какой тамъ новый атаманъ, и увидѣть, что впереди всѣхъ уманцевъ сидѣтъ на конѣ Остапъ, и шапка заломлена на-бекрень, и атаманская палица въ рукѣ. «Вишь ты какой!» сказалъ онъ, глядя на него; и обрадовался старый и сталъ благодарить всѣхъ уманцевъ за честь, оказанную сыну.

Козаки вловъ отступили, готовясь идти къ таборамъ, а на городскомъ валу вновь показались ляхи, уже съ изорванными епанчами. Запеклася кровь на многихъ дорогахъ кафтанахъ, и пылью покрылись красивыя мѣдныя шапки.

«Что, перевязали?» кричали имъ снизу запорожцы.

«Вотъ я васъ!» кричатъ все такъ же сверху толстый полковникъ, показывая веревку; и все еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины, и всѣ, бывшіе позадорнѣе, перекинулись съ обѣихъ сторонъ бойкими словами.

Наконецъ, разошлись всѣ. Кто расположился отдыхать, истомившись отъ боя; кто присыпалъ землей свои раны и дралъ на перевязки платки и дорогія одежды, снятыя съ убитаго непріятеля. Другіе же, которые были посвѣжѣе, стали прибирать тѣла и отдавать имъ послѣднюю почесть: палашами, копьями копали могилы; шапками, полами выносили землю; сложили честно козацкія тѣла и засыпали ихъ свѣжею землею, чтобы не досталось воронамъ и хищнымъ орламъ выклеивать имъ очи. А ляхскія тѣла, увязавши, какъ попало, десятками къ хвостамъ дикихъ коней, пустили ихъ по всему полю, и долго потомъ гнались за ними и хлестали ихъ по бокамъ. Летѣли бѣшеные кони по

бороздамъ, буграмъ, черезъ рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахомъ ляшскіе трушны.

Потомъ сѣли кругами всѣ курени вечерять и долго говорили о дѣлахъ и подвигахъ, доставшихся въ удѣлъ каждому на вѣчный разсказъ пришельцамъ и потомству. Долго не ложились они; а долѣе всѣхъ не ложился старый Тарасъ, все размышляя, что бы значило, что Андрія не было между вражыхъ воевъ. Посовѣстился ли Іуда выйти противъ своихъ, или обмануть жидъ и попался онъ, просто, въ неволю. Но тутъ же вспомнилъ онъ, что не въ мѣру было наклончиво сердце Андрія на женскія рѣчи, почувствовать скорбь и заклился сильно въ душѣ противъ полячки, причаровавшей его сына. И выполнилъ бы онъ свою клятву: не поглядѣлъ бы на ея красоту, вытащилъ бы ее за густую, пышную косу, повологъ бы ее за собою по всему полю между всѣхъ козаковъ. Избили бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ея чудныя груди и плечи, блескомъ равныя нетающимъ снѣгамъ, что покрываютъ горныя вершины. Разнесъ бы по частямъ онъ ея пышное, прекрасное тѣло. Но не вѣдалъ Бульба того, что готовить Богъ человѣку завтра, и сталъ позабываться сномъ и наконецъ заснулъ. А козаки все еще говорили промежь собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во всѣ концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.

### VIII.

Еще солнце не дошло до половины неба, какъ всѣ запорожцы собрались въ круги. Изъ Сѣчи пришла вѣсть, что татары, во время отлучки козаковъ, ограбили въ ней все, вырыли скарбъ, который втайнѣ держали козаки подъ землею, избили и забрали въ плѣнъ всѣхъ, которые оставались, и со всѣми забранными стадами и табунами направили путь прямо къ Перекопу. Однѣ только козаки. Максимъ Голодуха, вырвался дорогою изъ татарскихъ рукъ, закололъ мирзу, отвязать у него мѣшокъ съ цехинами и на татарскомъ конѣ, въ татарской одеждѣ, полтора дня и двѣ ночи уходилъ отъ погони, загналъ на-смерть коня, пересѣлъ дорогою на другого, загналъ и того, и уже на третьемъ пріѣхалъ въ запорожскій таборъ, развѣдавъ на дорогѣ, что запорожцы были подъ Дубномъ. Только и успѣлъ



объявить онъ, что случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшіеся запорожцы, по казацкому обычаю, и пьяными отдались въ плѣнъ, и какъ узнали татары мѣсто, гдѣ были зарыты войсковою скарбъ,—того ничего не сказалъ онъ. Сильно истомился козакъ, распухъ весь, лицо пожгло и опалило ему вѣтромъ; упалъ онъ тутъ же и заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Въ подобныхъ случаяхъ водилось у запорожцевъ гнаться въ ту-жъ минуту за похитителями, стараясь настигнуть ихъ на дорогѣ, потому что плѣнные какъ разъ могли очутиться на базарахъ Малой Азіи, въ Смирнѣ, на Критскомъ острову, и Богъ знаетъ, въ какихъ мѣстахъ не показались бы зубатая запорожскія головы. Вотъ отчего собрались запорожцы. Всѣ до единого стояли они въ шапкахъ, потому что пришли не съ тѣмъ, чтобы слушать по начальству атаманскій приказъ, но совѣщаться, какъ равные между собою. «Давай совѣтъ прежде старшіе!» закричали въ толпѣ. «Давай совѣтъ кошевой!» говорили другіе.

И кошевой снялъ шапку, ужъ не такъ, какъ начальникъ, а какъ товарищъ, благодарилъ всѣхъ козаковъ за честь и сказалъ: «Много между нами есть старшихъ и совѣтомъ умнѣйшихъ, но коли меня почтили, то мой совѣтъ: не терять, товарищи, времени и гнаться за татаринѣмъ; ибо вы сами знаете, что за человѣкъ татаринъ: онъ не станетъ съ награвленнымъ добромъ ожидать нашего прихода, а мигомъ размытарить его, такъ что и слѣдовъ не найдешь. Такъ мой совѣтъ: итти. Мы здѣсь уже погуляли. Ляхи знаютъ, что такое казаки; за вѣру, сколько было по силамъ, отместили; корысти же съ голоднаго города немного. Итакъ, мой совѣтъ—итти».

«Итти!» раздалось голосно въ запорожскихъ куреняхъ. Но Тарасу Бульбѣ не пришло въ душу такіа слова, и навѣсилъ онъ еще ниже на очи свои хмурыя, изчернабѣлыя брови, подобныя кустамъ, выросшимъ по высокому теменн горы, которыхъ верхушки вплоть занесъ иглистый сѣверный иней.

«Нѣтъ, не правъ совѣтъ твой, кошевой!» сказалъ онъ. «Ты не такъ говоришь: ты позабылъ, видно, что въ плѣну остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтобъ мы не уважили перваго святого закона товарищества, оставили бы собратьевъ своихъ на то, чтобы съ нихъ съ

живых содрали кожу, или, исчетвертовавъ на части козацкое ихъ тѣло, развозили бы ихъ по городамъ и селамъ, какъ уже сдѣлали они съ гетьманомъ и лучшими русскими витязями на Украинѣ. Развѣ мало они поругались и безъ того надъ святынею? Что-жь мы такое? спрашиваю я всѣхъ васъ. Что-жь за козакъ тотъ, который кинулъ въ бѣдѣ товарища, кинулъ его, какъ собаку, пропасть на чужбинѣ? Коли ужъ на то пошло, что всякій ни во что ставить козацкую честь, позволивъ себѣ плюнуть въ сѣдые усы свои и попрекнуть себя обиднымъ словомъ, такъ не укорить же никто меня. Одинъ остаюсь!»

Поколебались всѣ стоявшіе запорожцы.

«А развѣ ты позабылъ, бравый полковникъ», сказалъ тогда кошевой: «что у татаръ въ рукахъ тоже наши товарищи, что если мы теперь ихъ не выручимъ, то жизнь ихъ будетъ продана на вѣчное невольничество язычникамъ, что хуже всякой лютой смерти? Позабылъ развѣ, что у нихъ теперь вся казна наша, добытая христіанскою кровью?»

Задумались всѣ козаки и не знали, что сказать. Никому не хотѣлось изъ нихъ заслужить обидную славу. Тогда вышелъ впередъ всѣхъ старѣйшій годами во всемъ запорожскомъ войскѣ Касьянъ Бовдюгъ. Въ чести былъ онъ отъ всѣхъ козаковъ; два раза уже былъ избираемъ кошевымъ и на войнахъ тоже былъ сильно добрый козакъ, но уже давно состарѣлся и не бывалъ ни въ какихъ походахъ; не любилъ тоже и совѣтовъ давать никому; а любилъ старый вояка лежать на боку у козацкихъ круговъ, слушая рассказы про всякіе бывалые случаи и козацкіе походы. Никогда не вмешивался онъ въ ихъ рѣчи, а все только слушалъ, да прижималъ пальцемъ золу въ своей коротенькой трубкѣ, которой не выпускалъ изъ рта, и долго сидѣлъ онъ потомъ, прижмуривъ слегка очи, и не знали козаки, спалъ ли онъ, или все еще слушалъ. Всѣ походы оставался онъ дома; но сей разъ разобрало стараго. Махнулъ рукою козацки и сказалъ: «А не куды пошло! Пойду и я; можетъ, въ чемъ-нибудь буду пригоденъ козачеству!» Всѣ козаки притихли, когда выступилъ онъ теперь передъ собраніе, ибо давно не слышали отъ него никакого слова. Всякій хотѣлъ знать, что скажетъ Бовдюгъ.

«Пришла очередь и мнѣ сказать слово, паны братья!» такъ онъ началъ. «Послушайте. дѣги, стараго. Мудро ска-

затъ кошевой; и, какъ голова козацкаго войска, обязаный приберегать его и пещись о войсковомъ скарбѣ, мудрѣе ничего онъ не могъ сказать. Вотъ что! Это пусть будетъ первая моя рѣчь! А теперь послушайте, что скажетъ моя другая рѣчь. А вотъ что скажетъ моя другая рѣчь: большую правду сказалъ и Тарасъ, полковникъ, дай, Боже, ему побольше вѣку, и чтобъ такихъ полковниковъ было побольше на Украинѣ! Первый долгъ и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на вѣку, не слышалъ я, паны братья, чтобы козакъ покинулъ гдѣ, или продалъ какъ-нибудь своего товарища. И тѣ, и другіе намъ товарищи — меньше ихъ или больше, все равно, все товарищи, всѣ намъ дорожи. Такъ вотъ какая моя рѣчь: тѣ, которымъ милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, а которымъ милы полоненные яхями и которымъ не хочется оставлять праваго дѣла, пусть остаются. Кошевой по долгу пойдетъ съ одною половиною за татарами, а другая половина выберетъ себѣ наказнаго атамана. А наказнымъ атаманомъ, коли хотите послушать бѣлой головы, не пригоже быть никому другому, какъ только одному Тарасу Бульбѣ. Нѣтъ изъ насъ никого равнаго ему въ доблести».

Такъ сказалъ Бовдюгъ и затихъ; и обрадовались всѣ козаки, что навелъ ихъ такимъ образомъ на умъ старый. Всѣ вскинули вверхъ шапки и закричали: «Спасибо тебѣ, батько! Молчалъ, молчалъ, долго молчалъ, да вотъ, наконецъ, и сказалъ: не даромъ говорилъ, когда собирался въ походъ, что будешь пригоденъ козачеству: такъ и сдѣлалось».

«Что, согласны вы на то?» спросилъ кошевой.

«Всѣ согласны!» закричали козаки.

«Стало-быть, радъ конецъ?»

«Конецъ радъ!» кричали козаки.

«Слушайте-жъ теперь войскаго приказа, дѣти», сказалъ кошевой, выступилъ впередъ и надѣлъ шапку. а всѣ запорожцы, сколько ихъ ни было, сняли свои шапки и остались съ непокрытыми головами, утупивъ очи въ землю, какъ бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старшій. «Теперь отдѣляйтесь, паны братья! Кто хочетъ идти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи на лѣвую! Куды большая часть куреня переходитъ, туды и атаманъ; коли меньшая часть переходитъ, приставай къ другимъ куренямъ».

И всѣ стали переходить кто на правую, кто на лѣвую сторону. Котораго куреня большая часть переходила, туда и куренной атаманъ переходить; котораго малая часть, та приставала къ другимъ куренямъ; и вышло безъ малаго не поровну на всякой сторонѣ. Захотѣли остаться: весь почти Незамайковский курень, большая половина Поповичевского куреня, весь Уманскій курень, весь Каневскій курень, большая половина Стебликивскаго куреня, большая половина Тимошевскаго куреня. Всѣ остальные вызвались идти въ догонъ за татарами. Много было на обѣихъ сторонахъ дюжихъ и храбрыхъ козаковъ. Между тѣми, которые рѣшились идти вслѣдъ за татарами, былъ Череватый, добрый старый козакъ, Покотыцполє, Лемишъ, Прокоповичъ Хома; Демидъ Поповичъ тоже перешелъ туда, потому что былъ сильно завзятаго нрава козакъ, не могъ долго высидѣть на мѣстѣ: съ лихами попробовалъ уже онъ дѣла, хотѣлось попробовать еще съ татарами. Куренные были: Ностиганъ, Покрышка, Невылычкій, и много еще другихъ славныхъ и храбрыхъ козаковъ захотѣло попробовать меча и могучаго плеча въ схваткѣ съ татаринѣмъ. Не мало было также сильно и сильно, добрыхъ козаковъ между тѣми, которые захотѣли остаться: куренные Демитровичъ, Кукубенко, Вертыхвистъ, Баабанъ, Бульбенко Останъ. Потомъ много было еще другихъ именитыхъ и дюжихъ козаковъ: Вовгузенко, Черевыченко, Стенанъ Гуска, Охримъ Гуска, Микола Густый, Задорожній, Метеллица, Иванъ Закрутыгуба, Мосій Шило, Дегтяренко, Сыдоренко, Писаренко, потомъ другой Писаренко, потомъ еще Писаренко, и много было другихъ добрыхъ козаковъ. Всѣ были хожалые, ѣзжалые: ходили по анатольскимъ берегамъ, по крымскимъ солончакамъ и степямъ, по всѣмъ рѣчкамъ большимъ и малымъ, которыя впадали въ Днѣпръ, по всѣмъ заходамъ и днѣпровскимъ островамъ: бывали въ молдавской, волонской, въ турецкой землѣ; изѣздили все Черное море двухрульными козацкими челнами; нападали въ пятьдесятъ челновъ въ рядъ на богатѣйшіе и превысокіе корабли; перетопили не мало турецкихъ галеръ и много-много выстрѣлили пороху на своемъ мѣку. Не разъ драли на онучи дорогія паволоки и оксамиты; не разъ черепи у штапныхъ очкуровъ набивали все чистыми пехинами. А сколько всякій изъ нихъ прошилъ и прогулялъ добра, ставшаго бы другому на всю жизнь, того

и счесть нельзя. Все спустили по-козацки, угощая весь міръ и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свѣтѣ. Еще и теперь у рѣдкаго изъ нихъ не было закопано добра: кружекъ, серебряныхъ ковшей и замястьевъ, подъ камышами на днѣпровскихъ островахъ, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, въ случаѣ несчастія, удалось ему напасть врасплохъ на Сѣчь; но трудно было бы татарину найти его, потому что и самъ хозяинъ уже сталъ забывать, въ которомъ мѣстѣ закопать его. Такіе-то были козаки, захотѣвшіе остаться и отмстить дьяхамъ за вѣрныхъ товарищей и Христову вѣру! Старый козакъ Бовдюгъ захотѣлъ также остаться съ ними, сказавши: «Теперь не такія мои дѣла, чтобы гоняться за татарами, а тутъ есть мѣсто, гдѣ опочить доброю козацкою смертію. Давно уже просилъ я у Бога, чтобы, если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войнѣ за святое и христіанское дѣло. Такъ оно и случилось. Славнѣйшей кончины уже не будетъ въ другомъ мѣстѣ для стараго козака».

Когда отдѣлились всѣ и стали на двѣ стороны въ два ряда куренями, кошевой прошелъ прожекъ рядовъ и сказалъ:

«А что, панове братове, довольны одна сторона другою?»

«Всѣ довольны, батько!» отвѣчали козаки.

«Ну, такъ поцѣлуйте же и дайте другъ другу прощанье, ибо, Богъ знаетъ, придется ли въ жизни еще увидѣться. Слушайте своего атамана, а исполните то, что сами знаете: сами знаете, что велитъ козацкая честь».

И всѣ козаки, сколько ихъ ни было, перецѣловались между собою. Начали первые атаманы, и, поведши рукою сѣдые усы свои, поцѣловались навкрестъ и потомъ взяли за руки и крѣпко держали руки; хотѣлъ одинъ другого спросить: «Что, пане брате, увидимся или не увидимся?» да и не спросили, замолчали, — и загадались обѣ сѣдые головы. А козаки всѣ до одного прощались, зная, что много будетъ работы тѣмъ и другимъ; но не повершили, однакожь, тотчасъ разлучиться, а повершили дожидаться темной ночной поры, чтобы не дать непріятелю увидѣть убыль въ козацкомъ войскѣ. Потомъ всѣ отправились по куренямъ обѣдать.

Послѣ обѣда всѣ, которымъ предстояла дорога, легли отдыхать и спали крѣпко и долгимъ сномъ, какъ будто чуя, что, можетъ, послѣдній сонъ доведется имъ вкусить на та-

кой свободѣ. Спали до самаго захода солнечнаго; а какъ зашло солнце и немного стемнѣло, стали мазать тѣлѣги. Снарядясь, пустили впередъ возы, а сами, пошатавшись еще разъ съ товарищами, тихо пошли вслѣдъ за возами; конница чинно, безъ покрика и посвиста на лошадей, слегка затоптала вслѣдъ за пѣшими, и скоро стало ихъ не видно въ темнотѣ. Глухо отдавалась только конская топъ да скригъ яного колеса, которое еще не расходилось, или не было хорошо подмазано за ночью темнотою.

Долго еще остававшіеся товарищи махали имъ издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и ворбтились по своимъ мѣстамъ, когда увидѣли при высвѣтившихъ ясно звѣздахъ, что половины тѣлѣгъ уже не было на мѣстѣ, что многихъ-многихъ нѣтъ, невесело стало у всякаго на сердцѣ, и всѣ задумались противъ воли, утупивъ въ землю гулиныя свои головы.

Тарасъ видѣлъ, какъ смутны стали козацкіе ряды и какъ уныніе, неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкія головы; но молчалъ: онъ хотѣлъ дать время всему, чтобы свыклись они и съ уныньемъ, наведеннымъ прощаньемъ съ товарищами. А между тѣмъ въ тишинѣ готовился разрывъ и вдругъ разбудить ихъ всѣхъ, гикнувши по-козацки, чтобы вновь и съ болѣею силою, чѣмъ прежде, воротилась бодрость каждому въ душу, на что способна одна только славянская порода, широкая, могучая порода, передъ другими, что море передъ мелководными рѣками: коли время бурно, все превращается оно въ ревъ и громъ, бугря и подымая валы, какъ не поднять ихъ безсильнымъ рѣкамъ; коли же безвѣгренно и тихо, яснѣе всѣхъ рѣкъ разстилаетъ оно свою неогладную стеклянную поверхность, вѣчную нѣгу очей.

И повелѣлъ Тарасъ распаковать своимъ слугамъ одинъ изъ возовъ, стоявшій особнякомъ. Больше и крѣпче всѣхъ другихъ онъ былъ въ козацкомъ обозѣ; двойною крѣпкою шиною были обтянуты тяжелыя колеса его; грузно былъ онъ навьюченъ, укрытъ попонами, крѣпкими воловьими кожами и увязанъ туго засмоленными веревками. Въ возу были все баклаги и боченки стараго добраго вина, которое долго лежало у Тараса въ погребахъ. Взялъ онъ его про запасъ, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будетъ всею предостоять дѣлю, достойное на передачу потомкамъ, то чтобы всякому, до единого, козаку

досталось выпить заповѣднаго вина, чтобы въ великую минуту великое бы и чувство овладѣло человѣкомъ. Услышавъ полковничій приказъ, слуги бросились къ возамъ, палашами перерѣзывали крѣпкія веревки, снимали толстыя воловыя кожи и попоны и стаскивали съ воза баклаги и боченки.

«А берите всѣ», сказалъ Бульба: «всѣ, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковшъ, или черпакъ, которымъ понтъ коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обѣ горсти».

И козаки всѣ, сколько ни было ихъ, брали: у кого былъ ковшъ, у кого черпакъ, которымъ понтъ коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлялъ и такъ обѣ горсти. Всѣмъ имъ слуги Тарасовы, расхаживая промежъ рядами, наливали изъ баклагъ и боченковъ. Но не приказалъ Тарасъ пить, пока не дастъ знака, чтобы выпить имъ всѣмъ разомъ. Видно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать. Зналъ Тарасъ, что какъ ни сильно само по себѣ старое доброе вино и какъ ни способно оно укрѣпить духъ человѣка, но если къ нему да присоединится еще приличное слово, то двояе крѣпче будетъ сила и вина и духа.

«Я угощаю васъ, паны братья! (такъ сказалъ Бульба) не въ честь того, что вы сдѣлали меня своимъ атаманомъ, какъ ни велика подобная честь, не въ честь также прощанья съ нашими товарищами: нѣтъ, въ другое время прилично то и другое; не такая теперь предъ нами минута. Передъ нами дѣла великаго поту, великой козацкой доблести! Итакъ, выпьемъ, товарищи, разомъ, выпьемъ напередъ всего за святую православную вѣру: чтобы пришло, наконецъ, такое время, чтобы по всему свѣту разошлась и вездѣ была бы одна святая вѣра, и всѣ, сколько ни есть басурмановъ, всѣ бы сдѣлались христіанами! Да за однимъ уже разомъ выпьемъ и за Свѣч, чтобы долго она стояла на погибель всему басурманству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ пел молодых, одинъ одного лучше, одинъ одного краше. Да уже вмѣстѣ выпьемъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тѣхъ внуковъ, что были когда-то такіе, которые не постыдили товарищества и не выдали своихъ. Такъ за вѣру, пане-братове, за вѣру!»

«За вѣру!» загомонѣли всѣ, стоявшіе въ ближнихъ рядахъ, густыми голосами. «За вѣру!» подхватили дальніе— и все, что ни было, и старое, и молодое, выпило за вѣру.

«За Сичь!» сказалъ Тарасъ и высоко поднять надъ головою руку.

«За Сичь!» отдалось густо въ переднихъ рядахъ. «За Сичь!» сказали тихо старые, моргнувши сѣдымъ усомъ; и вострепнувшись, какъ молодые соколы, повторили молодые: «за Сичь!» И слышало далече поле, какъ поминали козаки свою Сичь.

«Теперь послѣдній глотокъ, товарищи, за славу и всѣхъ христіанъ, какіе живутъ на свѣтѣ!»

И всѣ козаки, до послѣдняго, выпили послѣдній глотокъ за славу и всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ. И долго еще повторялось по всѣмъ рядамъ промежъ всѣми куреньями. «За всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ!»

Уже пусто было въ ковшахъ, а все еще стояли козаки, поднявши руки; хотъ весело глядѣли очи ихъ всѣхъ, просіявшія виномъ, но сильно загадались они. Не о корысти и военномъ прибыткѣ теперь думали они, не о томъ, кому посчастливится набрать червонцевъ, дорогого оружья, шитыхъ кафтановъ и черкесскихъ коней; но загадались они, какъ орлы, сѣвшіе на вершинахъ каменистыхъ горъ, обрывистыхъ высокихъ горъ, съ которыхъ далеко видно разстилающееся безпредѣльное море, усыпанное, какъ мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонамъ чуть видными тонкими поморьями, съ прибережными, какъ мошки, городами и склонившимися, какъ мелкая травка, тѣсами. Какъ орлы, озирали они вокругъ себя очами все поле и чернѣющую вдаль судьбу свою. Будетъ, будетъ все поле съ облогами и дорогами покрыто торчащими ихъ бѣлыми костями, щедро обмывшись козацкою ихъ кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями; далече раскинутся чубатые головы съ перекрученными и залепшимися въ крови чубами и залупченными книзу усами; будутъ, налетѣвъ, орлы выдирать и выдергивать изъ нихъ козацкія очи. Но добро великое въ такомъ широко и вольно разметаваемомъ смертномъ ночлетѣ! Не погибаетъ ни одно великодушное дѣло и не пропадетъ, какъ малая порошокъ съ ружейнаго дула, козацкая слава. Будетъ, будетъ бандуристъ, съ сѣдою по грудь бородою, а можетъ, еще полный зрѣлаго мужества, но бѣлоголовый старецъ, вѣщій духомъ, и скажетъ онъ про нихъ свое густое, могучее слово. И пойдетъ дыбомъ по всему свѣту о нихъ



слава, и все, что ни народится потомъ, заговорить о нихъ: ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной мѣди, въ которую много повергнувъ мастеръ дорогого чистаго серебра, чтобы далече по городамъ, лачугамъ, палатамъ и весямъ разносился красный звонъ, зывая равно всѣхъ на святую молитву.

## IX.

Въ городѣ не узналъ никто, что половина запорожцевъ выступила въ погоню за татарами. Съ магистратской башни примѣтили только часовые, что потянулась часть возовъ за гѣсь; но подумали, что козаки готовились сдѣлать засаду; то же думалъ и французскій инженеръ. А между тѣмъ слова кошевого не прошли даромъ, и въ городѣ оказался недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ: по обычаю прошедшихъ вѣговъ, войска не разочли, сколько имъ было нужно. Попробовали сдѣлать вылазку, но половина смѣльчаковъ была тутъ же перебита козаками, а половина прогнана въ городъ ни съ чѣмъ. Жиды, однакоже, воспользовались вылазкою и проникли все: куда и зачѣмъ отправились запорожцы, и съ какими военачальниками, и какіе именно курени, и сколько ихъ числомъ, и сколько было оставшихся на мѣстѣ, и что они думаютъ дѣлать,—словомъ, черезъ нѣсколько уже минуť въ городѣ все узнали. Полковники ободрились и готовились дать сраженіе. Тарасъ уже видѣть то по движенью и шуму въ городѣ, и расторопно хлопотать, строить, раздавать приказы и наказы, уставить въ три табора курени, обнесши ихъ возами въ видѣ крѣпостей,—родъ битвы, въ которой бывали непобѣдимы запорожцы; двумъ куренямъ повелѣть забраться въ засаду; убить часть поля острыми кольями, изломаннымъ оружіемъ, обломками копьевъ, чтобы при случаѣ нагнать туда непріятельскую конницу. И когда все было сдѣлано, какъ нужно, сказалъ рѣчь козакамъ, не для того, чтобы ободрить и освѣжить ихъ — знать, что и безъ того крѣпки они духомъ—а, просто, самому хотѣлось высказать все, что было на сердцѣ.

«Хочется мнѣ вамъ сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали отъ отцовъ и дѣдовъ, въ какой чести у всѣхъ была земля наша: и грекамъ дала знать

себя, и съ Царьграда брали червонцы, и города были вынытые, и храмы, и князья, князья русскаго рода, свои князья; а не католическіе недовѣрки. Все взяли бусурманы, все пропало; только остались мы, сирые, да, какъ вдовнца послѣ крѣпкаго мужа, сирая такъ же, какъ и мы, земля наша! Вотъ въ какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вотъ на чемъ стоитъ наше товарищество! Нѣтъ ужъ святѣе товарищества. Отецъ любить свое дитя, мать любить свое дитя, дитя любить отца и мать; но это не то, братцы: любить и звѣрь свое дитя! Но породниться родствомъ по душѣ, а не по крови, можетъ одинъ только человѣкъ. Бывали и въ другихъ земляхъ товарищи, но такихъ, какъ въ Русской землѣ, не было такихъ товарищей. Вамъ случалось не одному помногу пропадать на чужбинѣ; видишь: и тамъ люди! также Божій человѣкъ, и разговоришься съ нимъ, какъ съ своимъ; а какъ дойдетъ до того, чтобы повѣдать сердечное слово—видишь: нѣтъ! умные люди, да не тѣ; такіе же люди, да не тѣ! Нѣтъ, братцы, такъ любить, какъ можетъ любить русская душа,—любить не то, чтобы умомъ или чѣмъ другимъ, а всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ, что ни есть въ тебѣ—а!» сказалъ Тарасъ, и махнулъ рукою, и потрясъ сѣдою головою, и усомъ моргнулъ, и сказалъ: «Нѣтъ, такъ любить никто не можетъ! Знаю, подло завелось теперь въ землѣ нашей: думаютъ только, чтобы при нихъ были хлѣбные стоги, скирды, да конные табуны ихъ, да были бы цѣлы въ погребѣхъ запечатанные меды ихъ; перенимаютъ, чортъ знаетъ, какіе бусурманскіе обычаи; гнушаются языкомъ своимъ; свой съ своимъ не хочетъ говорить; свой своего продаетъ, какъ продаютъ бездушную тварь на торговомъ рынкѣ. Милость чужого короля, да и не короля, а поскудная милость польскаго магната, который желтымъ чоботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, дороже для нихъ всякаго братства. Но у послѣдняго подлюки, каковъ онъ ни есть, хоть весь извалился онъ въ сажъ и въ поклонничествѣ, есть и у того, братцы, крупица русскаго чувства; и проснется оно когда-нибудь,—и ударится онъ, горемычный, объ полы руками, схватить себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дѣло. Пусть же знаютъ они всѣ, что такое значить въ Русской землѣ товарищество! Ужъ если на то пошло, чтобы умирать, такъ никому-жъ изъ

нихъ не доведется такъ умирать! никому, никому! Не хватить у нихъ на то мышпной натуры ихъ!»

Такъ говорилъ атаманъ, и, когда кончилъ рѣчь, все еще потрясалъ посеребренные въ козацкихъ дѣлахъ головою. Всѣхъ, кто ни стоялъ, разобрала сильно такая рѣчь, дошедъ далеко до самого сердца; самые старѣйшіе въ рядахъ стали неподвижны, потушивъ сѣдые головы въ землю; слеза тихо накатывалась въ старыхъ очахъ; медленно отирали они ее рукавомъ. И потомъ всѣ, какъ будто сговорившись, махнули въ одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнимъ имъ старый Тарасъ знакомаго и лучшаго, что бываетъ въ сердцахъ у человѣка, умудреннаго горемъ, трудомъ, удачею и всякимъ невзгодьемъ жизни, или хотя и не познававшего ихъ, но много почувствовавшего молодую, жемчужною душою на вѣчную радость старцамъ-родителямъ, родившимъ ихъ.

А изъ города уже выступало непріятельское войско, гремя въ литавры и трубы, и, подбодившись, выѣзжали паны, окруженные несмѣтными слугами. Толстый полковникъ отдавалъ приказы. И стали наступать они тѣсно на козацкіе таборы, грозя, нацѣливаясь пинцалами, сверкая очами и блеща мѣдными доспѣхами. Какъ только увидѣли козаки, что подошли они на ружейный выстрѣлъ, всѣ разомъ грянули въ семипядные пинцалы и, не перерывая, все палили изъ пинцалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всѣмъ окрестнымъ полямъ и нивамъ, сливалось въ непрерывный гулъ; дымомъ затинуло все поле; а запорожцы все палили, не переводя духу: задніе только заряжали, да передавали переднимъ, наводя изумленіе на непріатели, не могшаго понять, какъ стрѣляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великимъ дымомъ, обнявшимъ то и другое воинство, не видно было, какъ то одного, то другого не ставало въ рядахъ; но чувствовали дихи, что густо летѣли пули и жарко становилось дѣло; и когда понялились назадъ, чтобы посторожиться отъ дыма и оглядѣться, то многихъ не досчитались въ рядахъ своихъ; а у козаковъ, можетъ-быть, другой-третій былъ убитъ на всю сотню. И все продолжали палить козаки изъ пинцалей, ни на минуту не давая промѣжутки. Самъ иноземный никоперь подвиглся такой, никогда имъ не виданной, тактикѣ, сказавши тутъ же при всѣхъ: «Вотъ brave молодцы запорожцы! Вотъ какъ»

нужно биться и другимъ въ другихъ земляхъ!» И далъ совѣтъ поворотить тутъ же на таборъ пушки. Тяжело ревули широкими горлами чугуныя пушки; дрогнула, далеко загудѣвши, земля, и вдвое больше затянуло дымомъ все поле. Почуяли запахъ пороха среди площадей и улицъ въ дальнихъ и ближнихъ городахъ. Но цѣлившіе взяли слишкомъ высоко, раскаленные ядра выгнули слишкомъ высокую дугу: страшно завизжавъ по воздуху, перелетѣли они черезъ головы всего табора и углубились далеко въ землю, взорвавъ и взметнувъ высоко на воздухъ черную землю. Ухватилъ себя за волосы французскій инженеръ при видѣ такого неискусства, и самъ принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями безпрерывно козаки.

Тарасъ видѣлъ еще издали, что бѣда будетъ всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнулъ зычно: «Выбирайтесь скорѣй изъ-за воевъ и садись всякій на коня!» Но не успѣли бы сдѣлать то и другое козаки, если бы Осталь не ударилъ въ самую середину: выбилъ фитили у шести пушкарей, у четырехъ только не могъ выбить: отогнали его назадъ ляхи. А тѣмъ временемъ иноземный капитанъ самъ взять въ руку фитиль, чтобы выпалить изъ величайшей пушки, какой никто изъ козаковъ не видывалъ дотолѣ. Страшно глядѣла она широкою пастью, и тысяча смертей глядѣла оттуда. И какъ грянула она, а за нею слѣдомъ три другія, четырекратно потрясши глухо-отвѣтную землю, — много нанесли онѣ горя! Не по одному козаку взрываетъ старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлыя перси; не одна останется вдова въ Глуховѣ, Немировѣ, Черниговѣ и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбѣгать всякій день на базаръ, хватаясь за всѣхъ проходящихъ, распознавая каждого изъ нихъ въ очи, нѣтъ ли между ихъ одного, милѣйшаго всѣхъ; но много пройдетъ черезъ городъ всякаго войска и вѣчно не будетъ между ними одного, милѣйшаго всѣхъ.

Такъ, какъ будто и не бывало половины Незамайковского куреня! Какъ градомъ выбиваетъ вдругъ всю ниву, гдѣ, что полновѣсный червонецъ, красовался всякій колосъ, такъ ихъ выбило и положило.

Какъ же вскинулись козаки! Какъ схватились всѣ! Какъ закинулъ куренной атаманъ Кукубенко, увидѣвши, что

лучшей половины куреня его нѣтъ! Вбился онъ съ остальными своими незамайковцами въ самую середину. Въ гнѣбѣ изсѣкъ въ капусту перваго попавшагося, многихъ конниковъ сбилъ съ коней, доставши копьемъ и конника, и коня, пробрался къ пушкарямъ и уже отбилъ одну пушку; а ужъ тамъ, видить, хлопочеть уманскій куренной атаманъ, и Степанъ Гуска уже отбиваетъ главную пушку. Оставилъ онъ тѣхъ козаковъ и поворотилъ съ своими въ другую непріятельскую гущу: такъ гдѣ прошли незамайковцы—такъ тамъ и улица! гдѣ поворотили—такъ ужъ тамъ и переулокъ! Такъ и видно, какъ рѣдѣли ряды и снопами валились яхы! А у самыхъ воевъ Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальнихъ воевъ Дегтяренко, а за нимъ куренной атаманъ Вертыхвистъ. Двухъ уже шляхтичей поднялъ на копье Дегтяренко, да напалъ, наконецъ, на неподатливаго третьяго. Увертливъ и крѣпокъ былъ яхъ, пышной сбруей украшенъ и пятьдесятъ однихъ слугъ привелъ съ собою. Погнулъ онъ крѣпко Дегтяренка, сбилъ его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричалъ: «Нѣтъ изъ васъ, собакъ козаковъ, ни одного, кто бы посмѣлъ противу-стать мнѣ!»

«А вотъ есть же!» сказалъ и выступилъ впередъ Мосій Шило. Сильный былъ онъ козакъ, не разъ атаманствовалъ на морѣ и много натерпѣлся всякихъ бѣдъ. Схватили ихъ турки у самаго Трапезонта и всѣхъ забрали невольниками на галеры, взяли ихъ по рукамъ и ногамъ въ желѣзные цѣпи, не давали по цѣлымъ недѣлямъ пшена и поили противной морской водою. Все выносили и вытерпѣли бѣдные невольники, лишь бы не пережѣнять православной вѣры. Не вытерпѣлъ атаманъ Мосій Шило, истопталъ ногами святой законъ, скверною чалмою обиль грѣшную голову, вошелъ въ довѣренность къ пашѣ, сталъ ключникомъ на кораблѣ и старшимъ надъ всѣми невольниками. Много опечалились оттого бѣдные невольники, ибо знали, что если свой продастъ вѣру и пристанетъ къ угнетателямъ, то тяжелѣй и горше быть подъ его рукой, чѣмъ подъ всякимъ другимъ нехристомъ: такъ и сбылось. Всѣхъ посадилъ Мосій Шило въ новыя цѣпи по три въ рядъ, прикрутилъ имъ до самыхъ бѣлыхъ костей жестокия веревки; всѣхъ перебилъ по шеямъ, угодая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себѣ такого слугу, стали пировать

и, позабывъ законъ свой, всѣ перепились, онъ принесъ всѣ шестьдесятъ четыре ключа и роздалъ невольникамъ, чтобы отмыкали себя, бросали бы цѣпи и кандалы въ море, а брали бы на мѣсто того сабли, да рубили турокъ. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою въ отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосія Шило. Выбрали бы его въ кошевые, да былъ совсѣмъ чудный козакъ. Иной разъ повернись такое дѣло, какое мудрѣйшему не придумать, а въ другой, просто, дурь одолѣвала козака. Прошилъ онъ и прогулялъ все, всѣмъ задолжалъ на Сѣчѣ и, въ прибавку къ тому, прокрадся, какъ уличный воръ: ночью утащилъ изъ чужого куреня всю козацкую сбрую и заложилъ шинкарю. За такое позорное дѣло привязали его на базарѣ къ столбу и положили возлѣ дубину, чтобы всякій, по мѣрѣ силъ своихъ, отвѣсилъ ему по удару; но не нашлось такого изъ всѣхъ запорожцевъ, кто бы поднялъ на него дубину, помня прежнія его заслуги. Таковъ былъ козакъ Мосій Шило.

«Такъ есть же такіе, которые бьютъ васъ, собакъ!» сказали онъ, кинувшись на него. И ужъ тамъ-то рубились они! И налечники, и зеркала погнулись у обоихъ отъ ударовъ. Разрубилъ на немъ вражій ляхъ желѣзную рубашку, доставъ лезвеемъ самого тѣла: зачервонѣла козацкая рубашка. Но не поглядѣлъ на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушилъ его внезапно по головѣ. Разлетѣлась мѣдная шапка, зашатался и грянулся ляхъ; а Шило принялся рубить и крестить оглушеннаго. Не добивай, козакъ, врага, а лучше поворотись назадъ! Не поворотился козакъ назадъ, и тутъ же одинъ изъ слугъ убитаго хватилъ его ножомъ въ шею. Поворотился Шило и ужъ достать бы смѣльчака; но онъ пропалъ въ пороховомъ дымѣ. Со всѣхъ сторонъ поднялось хлопанье изъ самопаловъ. Пошатнулся Шило и почувалъ, что рана была смертельна. Упалъ онъ, наложилъ руку на свою рану и сказалъ, обратившись къ товарищамъ: «Прощайте, паны братья, товарищи! Пусть же стоитъ на вѣчныя времена православная Русская земля и будетъ ей вѣчная честь!» И зажмурилъ ослабшія свои очи, и вынеслась козацкая душа изъ суроваго тѣла. А тамъ уже выѣзжали Задорожній съ своими, ломилъ ряды куренной Вертыхвистъ и выступалъ Балабанъ.

«А что, паны», сказала Тарась, перекликнувшись съ куренными: «есть еще порохъ въ пороховницахъ? Не ослабѣла ли козацкая сила? Не гнутся ли казаки?»

«Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; не ослабѣла еще козацкая сила; еще не гнутся казаки!»

И наперли сильно казаки: совсѣмъ смѣшали всѣ ряды. Низкорослый полковникъ ударилъ сборъ и велѣлъ выкинуть восемь малеванныхъ знаменъ, чтобы собрать своихъ, разсыпавшихся далеко по всему полю. Всѣ бѣжали ляхи къ знаменамъ; но не успѣли они еще выстроиться, какъ уже куренной атаманъ Кукубенко ударилъ вновь съ своими незамайковцами въ середину и напалъ прямо на толстопузого полковника. Не выдержать полковникъ и, поворотивъ коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гналъ его чрезъ все поле, не давъ ему соединиться съ полкомъ. Завидѣвъ то съ бокового куреня, Степанъ Гуска пустился ему на переймы, съ арканомъ въ рукѣ, пригнувши всю голову къ лошадиной шеѣ, и, улучивши время, съ одного раза накинута арканъ ему на шею: весь побагровѣлъ полковникъ, ухватясь за веревку обѣими руками и сился разорвать ее, но уже дюжій размахъ вогналъ ему въ самый животъ гибельную пику. Тамъ и остался онъ, пригвожденный къ землѣ. Но не одобровать и Гускѣ! Не успѣли оглянуться казаки, какъ уже увидѣли Степана Гуску поднятаго на четыре копыя. Только и успѣлъ сказать бѣднякъ: «Пусть же продадутъ всѣ враги, и ликуетъ вѣчные вѣка Русская земля!»... И тамъ же испустилъ духъ свой.

Оглянулись казаки, а ужъ тамъ сбоку козакъ Метелиця угощасть ляховъ, шеломя того и другого; а ужъ тамъ съ другого напираетъ съ своими атаманъ Невылычкій; а у воезовъ ворочаетъ врага и бьетъ Закрутыгуба; а у дальнихъ воезовъ третій Писаренко отогналъ уже цѣлую ватагу; а ужъ тамъ, у другихъ воезовъ, схватились и бьются на самыхъ возахъ.

«Что, паны», перекликнулся атаманъ Тарась, проѣхавши впереди всѣхъ: «есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Крѣпка ли еще козацкая сила? Не гнутся ли еще казаки?»

«Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; еще крѣпка козацкая сила; еще не гнутся казаки!»

А ужъ упалъ съ воза Бовдюгъ. Прямо подъ самое сердце пришлась ему пуля; но собралъ старый весь духъ свой и

сказать: «Не жаль разстаться съ свѣтомъ. Дай Богъ и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца вѣка Русская земля!» И понеслась къ вышнямъ Бовдюгова душа рассказать давно отшедшимъ старцамъ, какъ умѣютъ биться на Русской землѣ и, еще лучше того, какъ умѣютъ умирать въ ней за святую вѣру.

Балабанъ, куренной атаманъ, скоро послѣ того грянулся также на землю. Три смертельныя раны достались ему отъ копья, отъ пули и отъ тяжелаго палаша. А былъ одинъ изъ доблестнѣйшихъ козаковъ; много совершилъ онъ подъ своимъ атаманствомъ морскихъ походовъ, но славнѣе всѣхъ былъ походъ къ анатольскимъ берегамъ. Много набрали они тогда пехиновъ, дорогой турецкой габы, киндяковъ и всякихъ убранствъ, но мыкнули горе на обратномъ пути: попались, сердечные, подъ турецкія ядра. Какъ хватило ихъ съ корабля, — половина челновъ закружилась и перевернулась, потопивши не одного въ воду; но привязанные къ бокамъ камыши спасли челны отъ потопленія. Балабанъ отплылъ на всѣхъ веслахъ, сталъ прямо къ солнцу и чрезъ то сдѣлался невиденъ турецкому кораблю. Всю ночь потомъ черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитыя мѣста; изъ козацкихъ штановъ нарѣзали парусовъ, понеслись и убѣжали отъ быстрѣйшаго турецкаго корабля. И мало того, что прибыли безбѣдно на Сѣчь, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорскаго кievскаго монастыря и на Покровъ, что на Запорожьи, окладъ изъ чистаго серебра. И славили долго потомъ бандуристы удачливость козаковъ. — Поникнулъ онъ теперь головою, почуявъ предсмертныя муки, и тихо сказалъ: «Сдается мнѣ, паны-братья, умираю хорошею смертью: семерыхъ изрубилъ, девятерыхъ копьемъ искололъ. истопталъ конемъ вдоволь, а ужъ не припомню, сколькихъ досталъ пулею. Пусть же цвѣтетъ вѣчно Русская земля!...» И отлетѣла его душа.

Козаки, козаки! не выдавайте лучшаго цвѣта вашего войска! Уже обступили Кукубенка; уже семь человѣкъ только осталось изъ всего Незамайковскаго куреня; уже и тѣ отбиваются черезъ силу; уже окровавилась на немъ одежда. Самъ Тарасъ, увидя бѣду его, поспѣшилъ на выручку. Но поздно подоспѣли козаки: уже углубилось ему углубиться подъ сердце копые прежде, чѣмъ были отогнаны обступившіе его враги. Тихо склонился онъ на руки под-



хватившимъ его козакамъ, и хлынула ручьемъ молодая кровь, подобно дорожному вину, которое несли въ стеклянномъ сосудѣ изъ погреба неосторожные слуги: поскользнулись тутъ же у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино, и схватилъ себя за голову прибѣжавшій хозяинъ, сберегавшій его про лучший случай въ жизни; чтобы, если приведетъ Богъ на старости лѣтъ встрѣтиться съ товарищемъ юности, то чтобы помянуть бы вмѣстѣ съ нимъ прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человѣкъ... Повелъ Кукубенко вокругъ себя очами и проговорилъ: «Благодарю Бога, что довелось мнѣ умереть при глазахъ вашихъ, товарищи! Пусть же послѣ насъ живутъ еще лучшіе, чѣмъ мы, и красуется вѣчно любимая Христомъ Русская земля!..» И вылетѣла молодая душа. Подняли ее ангелы подъ руки и понесли къ небесамъ. Хорошо будетъ ему тамъ. «Садись, Кукубенко, одесную Меня!» скажетъ ему Христосъ: «ты не измѣнилъ товариществу, безчестнаго дѣла не сдѣлалъ, не выдалъ въ бѣдѣ человѣка, хранилъ и сберегалъ Мою церковь». Всѣхъ опечалила смерть Кукубенка. Уже рѣдѣли сильно козацкіе ряды; многихъ, многихъ храбрыхъ уже не досчитывались; но стояли и держались еще козаки.

«А чтѣ, ланы», переключнулся Тарасъ съ оставшимися куренями: «есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила? Не погнулись ли козаки?»

«Достанетъ еще, батъко, пороху; годятся еще сабли; не утомилась козацкая сила; не гнулись еще козаки!»

И рванулись снова козаки такъ, какъ бы и потерь никакихъ не потерпѣли. Уже три только куренныхъ атамана осталось въ живыхъ; червонѣли уже всюду красныя рѣки; высоко гатились мосты изъ козацкихъ и вражьихъ тѣлъ. Взглянулъ Тарасъ на небо, а ужъ по небу потянулася вереница кречетовъ. Ну, будетъ кому-то пожива! А ужъ тамъ подняли на копье Метелицу; уже голова другого Писаренка, завертѣвшись, захопала очами; уже подюмился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охримъ Гуска. «Ну!» сказалъ Тарасъ и махнулъ платкомъ. Понялъ тотъ знакъ Остапъ и ударилъ сильно, вырвавшись изъ засады, въ конницу. Не выдержали сильного напора ляхи, а онъ ихъ гналъ и нагналъ прямо на мѣсто, гдѣ были убиты въ

землю коды и обломки копьевъ. Пошли спотыкаться и падать кони и летѣть черезъ ихъ головы ляхи. А въ это время корсунцы, стоявшіе послѣдними за возами, увидѣвши, что уже достанетъ ружейная пуля, грянули вдругъ изъ самопаловъ. Всѣ сбились и растерялись ляхи, и приободрились козаки.—«Вотъ и наша побѣда!» раздались со всѣхъ сторонъ запорожскіе голоса, затрубили въ трубы и выкинули побѣдную хоругвь. Вездѣ бѣжали и крылись разбитые ляхи. — «Ну, нѣтъ, еще не совсѣмъ побѣда!» сказалъ Тарасъ, глядя на городскія ворота, и сказать онъ правду.

Отворились ворота, и вылетѣлъ оттуда гусарскій полкъ, краса всѣхъ конныхъ полковъ. Подъ всѣми всадниками были всѣ, какъ одинъ, бурые аргамаки; впереди другихъ понесся витязь всѣхъ бойчей, всѣхъ красивѣе; такъ и летѣли черные волосы изъ-подъ мѣдной его шапки; вился завязанный на рукѣ дорогой шарфъ, шитый руками первой красавицы. Такъ и оторопѣлъ Тарасъ, когда увидѣлъ, что это былъ Андрій. А онъ между тѣмъ, обвязанный пыломъ и жаромъ битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарокъ, понесся, какъ молодой борзой песъ, красивѣйшій, быстрѣйшій и молодшій всѣхъ въ стаѣ. Атукнулъ на него опытный охотникъ—и онъ понесся, пустивъ прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набокъ всѣмъ тѣломъ, взрывая снѣгъ и десять разъ выпереживая самого зайца въ жару своего бѣга. Остановился старый Тарасъ и глядѣлъ на то, какъ онъ чистилъ передъ собою дорогу, разгонялъ, рубилъ и сыпалъ удары направо и налево. Не вытерпѣлъ Тарасъ и закричалъ: «Какъ? своихъ? своихъ, чортовъ сынъ, своихъ бьешь?» Но Андрій не различалъ, кто предъ нимъ былъ, свои или другіе какіе; ничего не видѣлъ онъ. Кудри, кудри онъ видѣлъ, длинныя, длинныя кудри и подобную рѣчному лебедю грудь, и снѣжную шею, и плечи, и все, что создано для безумныхъ поцѣлуевъ.

«Эй, хлопьята! заманите мнѣ только его къ лѣсу, заманите мнѣ только его!» кричалъ Тарасъ. И вызвалось тотъ же часъ тридцать быстрѣйшихъ козаковъ заманить его. И, поправивъ на себѣ высокія шапки, тутъ же пустились на коняхъ, прямо наперерѣзъ гусарамъ. Ударили сбоку на переднихъ, сбили ихъ, отделили отъ заднихъ, дали по гостинцу тому и другому. а Голокопытенко хватилъ плашма

по спинѣ Андрія, и въ тотъ же часъ пустились бѣжать отъ нихъ, сколько достало козацкой мочи. Какъ вскинулся Андрій! Какъ забунтовала по всѣмъ жилкамъ молодая кровь! Ударивъ острыми шпорами коня, во весь духъ полетѣлъ онъ за козаками, не глядя назадъ, не видя, что позади всего только двадцать человѣкъ поспѣвало за нимъ; а козаки летѣли во всю прыть на коняхъ и прямо поворотили къ лѣсу. Разогнался на конѣ Андрій и чуть было уже не настигнулъ Голокопытенка, какъ вдругъ чья-то сильная рука ухватила за поводъ его коня. Оглянулся Андрій: передъ нимъ Тарасъ! Затрясся онъ всѣмъ тѣломъ и вдругъ сталъ блѣднѣть: такъ школьникъ, неосторожно задравшій своего товарища и получившій за то отъ него ударъ линейкой по лбу, вспыхиваетъ какъ огонь, бѣшенный выскакиваетъ изъ лавки и гонится за испуганнымъ товарищемъ своимъ, готовый разорвать его на части, и вдругъ наталкивается на входящаго въ классъ учителя: вмигъ притихаетъ бѣшенный порывъ, и упадаетъ безсильная ярость. Подобно тому, въ одинъ мигъ пропалъ, какъ бы не бывалъ вовсе, гнѣвъ Андрія. И видѣлъ онъ передъ собою одного только страшнаго отца.

«Ну, чтѣ-жъ теперь мы будемъ дѣлать?» сказалъ Тарасъ, смотря прямо ему въ очи. Но ничего не могъ на то сказать Андрій и стоялъ, утупивши въ землю очи.

«Чтѣ, сынку, помогли тебѣ твои ляхи?»

Андрій былъ безотвѣтенъ.

«Такъ продать? продать вѣру? продать своихъ? Стой же, слѣзай съ коня!»

Покорно, какъ ребенокъ, слѣзъ онъ съ коня и остановился ни живъ, ни мертвъ передъ Тарасомъ.

«Стой и не шевелись! Я тебя породилъ, я тебя и убью!» сказалъ Тарасъ и, отступивши шагъ назадъ, снялъ съ плеча ружье. Блѣднѣть, какъ полотно, былъ Андрій; видно было, какъ тихо шевелились уста его и какъ онъ произносилъ чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьевъ—это было имя прекрасной полячки. Тарасъ выстрѣлилъ.

Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почувавшій подъ сердцемъ смертельное жельзо, повисъ онъ головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубійца и глядѣлъ долго на бездыханный

трупъ. Онъ былъ и мертвый прекрасенъ: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобѣдимаго для женъ очарованья, все еще выражало чудную красоту; черныя брови, какъ траурный бархатъ, отгѣняли его поблѣднѣвшія черты. «Чѣмъ бы не козакъ былъ?» сказалъ Тарасъ: «и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою! Пропаль! пропаль безславно, какъ подлая собака!»

«Батько, что ты сдѣлалъ! Это ты убилъ его?» сказалъ подѣхавшій въ это время Остапъ.

Тарасъ кивнулъ головою.

Пристально поглядѣвъ мертвому въ очи Остапъ. Жалко ему стало брата, и проговорилъ онъ тутъ же: «Предадимъ же, батько, его честно землѣ, чтобы не поругались надъ нимъ враги и не растаскали бы его тѣла хищныя птицы».

«Погребутъ его и безъ насъ!» сказалъ Тарасъ: «будутъ у него плакальщики и утѣшницы!»

И минуты двѣ думалъ онъ: кинуть ли его на расхищенье волкамъ-сыромахамъ, или пощадить въ немъ рыцарскую доблесть, которую храбрый долженъ уважать въ комъ бы то ни было,—какъ видитъ, скачетъ къ нему на конѣ Голокопытенко: «Бѣда, атаманъ, окрѣпли ляхи, прибыла на подмогу свѣжая сила!...» Не успѣлъ сказать Голокопытенко, скачетъ Вовтузенко: «Бѣда, атаманъ, новая валить еще сила!...» Не успѣлъ сказать Вовтузенко, Писаренко бѣжитъ бѣгомъ уже безъ коня: «Гдѣ ты, батьку? Ищутъ тебя козаки. Ужъ убить куренной атаманъ Невылычкій, Задорожній убить, Черевиченко убить; но стоять козаки, не хотятъ умирать, не увидѣвъ тебя въ очи: хотятъ, чтобы взглянулъ ты на нихъ передъ смертнымъ часомъ».

«На коня, Остапъ!» сказалъ Тарасъ и спѣшилъ, чтобы застать еще козаконъ, чтобы поглядѣть еще на нихъ, и чтобы они взглянули передъ смертью на своего атамана. Но не выѣхали они еще изъ лѣсу, а ужъ непріятельская сила окружила со всѣхъ сторонъ лѣсъ, и межъ деревьями вездѣ показались всадники съ саблями и копьями. «Остапъ! Остапъ! не поддавайся!» кричалъ Тарасъ, а самъ, схвативши саблю на-голо, началъ честить первыхъ попавшихся на всѣ боки. А на Остапа уже наскочило вдругъ шестеро; но не въ добрый часъ, видно, наскочило: съ одного полетѣла голова. Другой перевернулся, отступивши; угодило копьемъ въ ребро

третьяго; четвертый былъ поотважнѣй, уклонился головой отъ пули, и попала въ конскую грудь горячая пуля—вздыбилъ бѣшеный конь, грянулся о землю и задавить подъ собою всадника. «Добре, сынку! Добре, Остапъ!» кричалъ Тарасъ: «вотъ я слѣдомъ за тобою». А самъ все отбивался отъ наступавшихъ. Рубится и бьется Тарасъ, сыплеть гостинцы тому и другому на долову, а самъ глядитъ все впередъ на Остапа, и видитъ, что уже вновь схватилось съ Остапомъ мало не восьмеро разомъ. «Остапъ! Остапъ! не поддавайся!» Но ужъ одолеваятъ Остапа; уже одинъ накинулъ ему на шею арканъ, уже вяжутъ, уже берутъ Остапа. «Эхъ, Остапъ, Остапъ!» кричалъ Тарасъ, пробиваясь къ нему, рубя въ капусту встрѣчныхъ и поперечныхъ. «Эхъ, Остапъ, Остапъ!...» Но какъ тяжелымъ камнемъ хватило его самого въ ту же минуту. Все закружилось и перевернулось въ глазахъ его. На мигъ смѣшанно сверкнули предъ нимъ головы, копыла, дымъ, блески огня, сучья съ древесными листьями, мелькнувшіе ему въ самыя очи. И грохнулся онъ, какъ подрубленный дубъ, на землю. И туманъ покрывъ его очи.

## Х.

«Долго же я спалъ!» сказалъ Тарасъ, очнувшись, какъ послѣ труднаго хмельнаго сна, и стараясь распознать окружавшіе его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались предъ нимъ стѣны и углы незнакомой свѣтлицы. Наконецъ, замѣтилъ онъ, что предъ нимъ сидѣлъ Товкачъ и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханію.

«Да», подумалъ про себя Товкачъ: «заснулъ бы ты, можетъ-быть, и навѣки!» Но ничего не сказалъ, погрозилъ пальцемъ и далъ знакъ молчать.

«Да скажи же мнѣ, гдѣ я теперь?» спросилъ опять Тарасъ, напрягая умъ и стараясь припомнить бывшее.

«Молчи-жь!» прикрикнулъ сурово на него товарищъ: «чего тебѣ еще хочется знать? Развѣ ты не видишь, что весь изрубленъ? Ужъ двѣ недѣли, какъ мы съ тобою скачемъ, не переводя духу, и какъ ты въ горячкѣ и жару несешь и городишь чепуху. Вотъ въ первый разъ заснулъ покойно. Молчи-жь, если не хочешь нанести самъ себѣ бѣду».

Но Тарасъ все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. «Да, вѣдь, меня же схватили и окружили было совсѣмъ ляхи? Мнѣ-жъ не было никакой возможности выбиться изъ толпы?»

«Молчи жъ, говорятъ тебѣ, чортова дѣтина!» вскричалъ Товкачъ сердито, какъ нянька, выведенная изъ терпѣнья, кричить неугомонному повѣсь-ребенку. «Что пользы знать тебѣ, какъ выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали, — ну, и будетъ съ тебя! Намъ еще не мало ночей скакать вмѣстѣ! Ты думаешь, что пошелъ за простого козака? Нѣтъ, твою голову оцѣнили въ двѣ тысячи червонныхъ».

«А Остапъ?» вскричалъ вдругъ Тарасъ, понатужился подняться и вдругъ вспомнилъ, какъ Остапа схватили и связали въ глазахъ его, и что онъ теперь уже въ ляхскихъ рукахъ. И обняло горе старую голову. Сорвалъ и сдернулъ онъ всѣ перевязки ранъ своихъ; бросилъ ихъ далеко прочь, хотѣлъ громко что-то сказать — и вмѣсто того понесъ чепуху: жаръ и бредъ вновь овладѣли имъ, и понеслись безъ толку и связи безумныя рѣчи. А между тѣмъ вѣрный товарищъ стоялъ предъ нимъ, бранясь и разсыпая безъ счету жестокія укорительныя слова и упреки. Наконецъ, схватилъ онъ его за ноги и руки, спеленалъ какъ ребенка, поправилъ всѣ перевязки, увернулъ его въ воловью кожу, увязалъ въ лубки и, прикрѣпивши веревками къ сѣдлу, помчался вновь съ нимъ въ дорогу.

«Хоть неживого, да довезу тебя! Не попущу, чтобы ляхи поглумились надъ твоей козацкою породой, на куски рвали бы твое тѣло, да бросали его въ воду. Пусть же, хоть и будетъ орелъ высмывать изъ твоего лба очи, да пусть же степовой нашъ орелъ, а не ляхскій, не тотъ, что прилетаетъ изъ польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя до Украйны».

Такъ говорилъ вѣрный товарищъ. Скакалъ безъ отдыха дни и ночи и привезъ его безчувственного въ самую Запорожскую Сѣчь. Тамъ принялся онъ лѣчить его неумоимо травами и смачиваньями; нашелъ какую-то знающую живодку, которая мѣсяцъ поила его разными снадобьями, и наконецъ Тарасу стало лучше. Лѣкарство ли, или своя желѣзная сила взяла верхъ, только онъ черезъ полтора мѣсяца сталъ на ноги; раны зажили, и только одни сабель-

ные рубцы давали знать, какъ глубоко когда-то быть раненъ старый козакъ. Однакоже, замѣтно сталъ онъ пасмуренъ и печаленъ. Три тяжелыя морщины насунулись на лобъ его и уже больше никогда не сходили съ него. Оглянувшись онъ теперь вокругъ себя: все новое на Сѣчи, всѣ перемерли старые товарищи. Ни одного изъ тѣхъ, которые стояли за правое дѣло, за вѣру и братство. И тѣ, которые отправились съ кошевымъ въ угонъ за татарами, и тѣхъ уже не было давно: всѣ положили головы, всѣ стѣбли, кто положивъ на самомъ бою честную голову, кто отъ безводья и безхлѣбья, среди крымскихъ солончаковъ; кто въ плѣну пропалъ, не вынеши позора; и самого прежняго кошевого уже давно не было на свѣтѣ, и никого изъ старыхъ товарищей, и уже давно поросла травкою когда-то кипѣвшая козацкая сила. Слышалъ онъ только, что былъ пиръ сильный, шумный пиръ: вся перебита вдребезги посуда; нигдѣ не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги всѣ дорогіе кубки и сосуды—и смутный стоитъ хозяинъ дома, думая: «лучше-бъ и не было того пира». Напрасно старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, съдые бандуристы, проходя по два и по три, разславляли его козацкіе подвиги—сурово и равнодушно глядѣлъ онъ на все, и на неподвижномъ лицѣ его выступала неугасимая горестъ, и тихо, понутивъ голову, говорилъ онъ: «Сынъ мой! Остапъ мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицію. Двѣсти челновъ спущены были въ Днѣпръ, и Малая Азія видѣла ихъ, съ бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цвѣтушіе берега ея; видѣли чалмы своихъ магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно ея безчисленнымъ цвѣтамъ, на смоченныхъ кровью поляхъ и плававшими у береговъ. Она видѣла не мало запачканныхъ дегтемъ запорожскихъ шароваръ, мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. Запорожцы переѣли и переломали весь виноградъ; въ мечетяхъ оставили цѣлыя кучи навозу; персидскія дорогія шали употребляли вмѣстѣ очкуровъ и опоясывали ими запачканные свитки. Долго еще послѣ находили въ тѣхъ мѣстахъ запорожскія коротенькія люльки. Они весело плыли назадъ; за ними гнался десятипушечный турецкій корабль и залпомъ изъ всѣхъ орудій своихъ разогналъ, какъ птицъ, утлые ихъ челны. Третья часть ихъ

потонула въ морскихъ глубинахъ; но остальные снова собрались вмѣстѣ и прибыли къ устью Днѣпра съ двѣнадцатью боченками, набитыми цѣхинами. Но все это уже не занимало Тараса. Онъ уходилъ въ дуга и степи, будто бы за охотою, но зарядъ его оставался невыстрѣленнымъ. И, положивъ ружье, полный тоски, садился онъ на морской берегъ. Долго сидѣлъ онъ тамъ, понутивъ голову и все говоря: «Остань мой! Остань мой!» Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тростникѣ кричала чайка; бѣлый усь его серебрился, и слеза капала одна за другою.

И не выдержавъ, наконецъ, Тарасъ: «Что бы ни было, пойду развѣдать, что онъ: живъ ли онъ? въ могилѣ? или уже и въ самой могилѣ нѣтъ его? Развѣдаю, во что бы ни стало!» И черезъ недѣлю уже очутился онъ въ городѣ Умани, вооруженный, на конѣ, съ копьемъ, саблей, дорожной баклагой у сѣдла, походнымъ горшкомъ съ саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочимъ снарядомъ. Онъ прямо подъѣхалъ къ нечистому, запачканному домишкѣ, у котораго небольшія окошки едва были видны, закопченныя неизвѣстно чѣмъ; труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякаго сору лежала предъ самыми дверьми. Изъ окна выглядывала голова жидовки въ чепцѣ съ потемнѣвшими жемчугами.

«Мужъ дома?» сказалъ Бульба, слѣзая съ коня и привязывая поводъ къ желѣзному крючку, бывшему у самыхъ дверей.

«Дома», сказала жидовка и поспѣшила тотъ же часъ выйти съ пшеницей въ корчигѣ для коня и стопой шива для рыцаря.

«Гдѣ же твой жидъ?»

«Онъ въ другой свѣтлицѣ, молится», проговорила жидовка, кланяясь и пожелавъ здоровья въ то время, когда Бульба поднесъ къ губамъ стопу.

«Оставайся здѣсь, накорми и напои моего коня, а я пойду, поговорю съ нимъ одинъ. У меня до него дѣло».

Этотъ жидъ былъ извѣстный Янкель. Онъ уже очутился тутъ арендаторомъ и корчмаремъ; прибралъ понемногу всѣхъ окружающихъ пановъ и шляхтичей въ свои руки, высосалъ понемногу почти всѣ деньги и сильно означилъ свое жи-



довское присутствіе въ той странѣ. На разстояніи трехъ миль во всѣ стороны не оставалось ни одной избы въ порядкѣ: все валилось и дряхлѣло, все пораспивалось, и осталась бѣдность, да лохмотья; какъ послѣ пожара или чумы вывѣтрился весь край. И если бы десять лѣтъ еще пожить тамъ Янкель, то онъ, вѣроятно, вывѣтрить бы и все воеводство.

Тарасъ вошелъ въ свѣтлицу. Жидъ молился, накрывшись своимъ довольно запачканнымъ, саваномъ, и оборотился, чтобы въ послѣдній разъ плюнуть, по обычаю своей вѣры, какъ вдругъ глаза его встрѣтили стоявшаго назади Бульбу. Такъ и бросились жиду прежде всего въ глаза двѣ тысячи червонныхъ, которые были обѣщаны за его голову; но онъ постыдился своей корысти и силился подавить въ себѣ вѣчную мысль о золотѣ, которая, какъ червь, обвиваетъ душу жиды.

«Слушай, Янкель!» сказалъ Тарасъ жиду, который началъ передъ нимъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы ихъ не видѣли. «Я спасъ твою жизнь—тебя бы разорвали, какъ собаку, запорожцы—теперь твоя очередь, теперь сдѣлай мнѣ услугу!»

- Лицо жиды нѣсколько поморщилось.

«Какую услугу? Если такая услуга, что можно сдѣлать, то для чего не сдѣлать?»

«Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву».

«Въ Варшаву? Какъ, въ Варшаву?» сказалъ Янкель. Брови и плечи его поднялись вверхъ отъ изумленія.

«Не говори мнѣ ничего. Вези меня въ Варшаву. Что бы ни было, а я хочу еще разъ увидѣть его, оказать ему хоть одно слово».

«Кому сказать слово?»

«Ему. Остапу, сыну моему».

«Развѣ панъ не слышалъ, что уже...»

«Знаю, знаю все: за мою голову даютъ двѣ тысячи червонныхъ. Знаютъ же они, дурни, цѣну ей! Я тебѣ пять тысячъ дамъ. Вотъ тебѣ двѣ тысячи сейчасъ (Бульба высыпалъ изъ кожанаго гамана двѣ тысячи червонныхъ), а остальные—какъ ворочусь».

Жидъ тотчасъ схватилъ полотенце и накрылъ имъ червонцы.

«Ай, славная монета! Ай, добрая монета!» говорилъ онъ,

вертя одинъ червонецъ въ рукахъ и пробуя на зубахъ «Я думаю, тотъ человѣкъ, у котораго панъ обобралъ такіе хорошіе червонцы, и часу не прожилъ на свѣтѣ: пошелъ тотъ же часъ въ рѣку, да и утонулъ тамъ послѣ такихъ славныхъ червонцевъ».

«Я бы не просилъ тебя. Я бы самъ, можетъ-быть, пошелъ дорогу въ Варшаву; но меня могутъ какъ-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи; ибо я не гораздо на выдумки. А вы, жида, на то уже и созданы. Вы хоть чорта проведете; вы знаете всѣ штуки: вотъ для чего я пришелъ къ тебѣ! Да и въ Варшавѣ я бы самъ собою ничего не получить. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!»

«А панъ думаетъ, что такъ прямо взялъ кобылу, запрягъ, да и: «Эй, ну, пошелъ; сивка!» Думаетъ панъ, что можно такъ, какъ есть, не спрятавши, везти пана?»

«Ну, такъ прячь, прячь, какъ знаешь; въ порожнюю бочку, что ли?»

«Ай, ай! А панъ думаетъ, развѣ можно спрятать его въ бочку? Панъ развѣ не знаетъ, что всякій подумаетъ, что въ бочкѣ горѣлка?»

«Ну, такъ и пусть думаетъ, что горѣлка».

«Какъ? Пусть думаетъ, что горѣлка?» сказалъ жидъ и схватилъ себя обѣими руками за пейсики и потомъ поднялъ вверхъ обѣ руки.

«Ну, что же ты такъ оторопѣлъ?»

«А панъ развѣ не знаетъ, что Богъ на то создалъ горѣлку, чтобы ее всякій пробовалъ? Тамъ все лакомки, ласуны: шляхтичъ будетъ бѣжать верстъ пять за бочкой, продолбить какъ разъ дырочку, тотчасъ увидитъ, что не течетъ и скажетъ: «Жидъ не повезетъ порожнюю бочку; вѣрно, тутъ есть что-нибудь! Схватить жида, связать жида, отобрать всѣ деньги у жида, посадить въ тюрьму жида!» Потому что все, что ни есть недобраго, все валится на жида; потому что жида всякій принимаетъ за собаку; потому что думаютъ, ужъ и не человѣкъ, коли жидъ!»

«Ну, такъ положи меня въ возъ съ рыбою!»

«Не можно, панъ; ей-Богу, не можно. По всей Польшѣ люди голодны теперь, какъ собаки: и рыбу раскрадутъ, и пана нащупаютъ».

«Такъ вези меня хоть на чортѣ, только вези!»

«Слушай, слушай, панъ!» сказалъ жидъ, посунувши об-

шлага рукавовъ своихъ и подходя къ нему съ растопыренными руками. «Вотъ что мы сдѣлаемъ. Теперь строить вездѣ крѣпости и замки; изъ Нѣметчины пріѣхали французскіе инженеры, а потому по дорогамъ везутъ много кирпича и камней. Панъ пусть ляжетъ на днѣ воза, а верхъ я закладу кирпичомъ. Панъ здоровый и крѣпкій съ виду, и потому ему ничего, коли будетъ тяжело; а я сдѣлаю въ возу снизу дырочку, чтобы кормить пана».

«Дѣлай, какъ хочешь, только вези!»

И черезъ часъ возъ съ кирпичомъ выѣхалъ изъ Умани, запряженный въ двѣ клячи. На одной изъ нихъ сидѣлъ высокій Янкель, и длинные, курчавые пейсики его развѣвались изъ-подъ жидовскаго яломка по мѣрѣ того, какъ онъ подпрыгивалъ на лошади, длинный, какъ верста, поставленная на дороги.

---

## XI.

Въ то время, когда происходило описываемое событіе, на пограничныхъ мѣстахъ не было еще никакихъ таможенныхъ чиновниковъ и объѣзчиковъ, этой страшной грозы предприимчивыхъ людей, и потому всякій могъ везти, что ему вздумалось. Если же кто и производилъ обыскъ и ревизовку, то дѣлалъ это болѣею частью для своего собственного удовольствія, особливо если на возу находились заманчивые для глазъ предметы и если его собственная рука имѣла порядочный вѣсъ и тяжесть. Но кирпичъ не находилъ охотниковъ и въѣхалъ безпрепятственно въ главные городскія ворота. Бульба, въ своей тѣсной клѣткѣ, могъ только слышать шумъ, крики возницъ и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, запачканномъ пылью рысакѣ, поворотилъ, сдѣлавши нѣсколько круговъ, въ темную узенькую улицу, носившую названіе Грязной и вмѣстѣ Жидовской, потому что здѣсь дѣйствительно находились жида почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность задняго двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почернѣвшіе деревянные дома, со множествомъ protriautыxъ изъ оконъ жердеи, увеличивали еще болѣе мракъ. Нарѣдка краснѣла между ними кирпичная стѣна, но и та уже во многихъ мѣстахъ превращалась совершенно въ

черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусок стѣны, обхваченный солнцемъ, блисталъ нестерпимою для глазъ бѣлизною. Тутъ все состояло изъ сильныхъ рѣзкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякій, что только было у него негодного, швырялъ на улицу, доставляя прохожимъ возможные удобства питать всѣ чувства свои этою дрянью. Сидящій на конѣ всадникъ чуть-чуть не доставалъ рукою жердей, протянутыхъ черезъ улицу изъ одного дома въ другой, на которыхъ висѣли жидовскіе чулки, коротенькіе панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемнѣвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго окошка. Куча жиденковъ, запачканныхъ, оборванныхъ, съ курчавыми волосами, кричала и валялась въ грязи. Рыжій жидъ съ веснушками по всему лицу, дѣлавшими его похожимъ на воробьиное яйцо, выглянулъ изъ окна; тотчасъ заговорилъ съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ нарѣчїи, и Янкель тотчасъ вѣхалъ въ одинъ дворъ. По улицѣ шелъ другой жидъ, остановился, вступить тоже въ разговоръ, и когда Бульба выкарабкался, наконецъ, изъ-подъ кирпича, онъ увидѣлъ трехъ жидовъ, говорившихъ съ большимъ жаромъ.

Янкель обратился къ нему и сказать, что все будетъ сдѣлано, что его Остапъ сидитъ въ городской темницѣ, и хотя трудно уговорить стражей, но, однакожь, онъ надѣется доставить ему свиданіе.

Бульба вошелъ съ тремя жидами въ комнату.

Жида начали опять говорить между собою на своемъ непонятномъ языкѣ. Тарасъ поглядывать на каждого изъ нихъ. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубомъ и равнодушномъ лицѣ его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, — надежды той, которая посѣщаетъ иногда человѣка въ послѣднемъ градусѣ отчаянія; старое сердце его начало сильно биться, какъ будто у юноши.

«Слушайте, жида!» сказать онъ, и въ словахъ его было что-то восторженное. «Вы все на свѣтѣ можете сдѣлать, выкопаете хоть изъ дна морского, и пословица давно уже говорить, что жидъ самого себя украдетъ, когда только захочетъ укрость. Освободите мнѣ моего Остапа! Дайте случай убѣжать ему отъ дьявольскихъ рукъ. Вотъ я этому человѣку обѣщаю двѣнадцать тысячъ червоиныхъ, — я при-

бавляю еще двѣнадцать. Всѣ, какіе у меня есть, дорогіе кубки и закопанное въ землѣ золото, хату и последнюю одежду продамъ и заключу съ вами контрактъ на всю жизнь, съ тѣмъ, чтобы все, что ни добуду на войнѣ, дѣлить съ вами пополамъ».

«О, не можно, любезный панъ, не можно!» сказали со вздохомъ Янкель.

«Нѣтъ, не можно!» сказали другой жида.

Всѣ три жида взглянули одинъ на другого.

«А попробовать», сказалъ третій, боязливо поглядывая на двухъ другихъ: «можетъ-быть, Богъ дастъ».

Всѣ три жида заговорили по-нѣмецки. Бульба, какъ ни наострялъ свой слухъ, ничего не могъ отгадать; онъ слышалъ только часто произносимое слово «Мардохай», и больше нечего.

«Слушай, панъ!» сказалъ Янкель: «нужно посоветоваться съ такимъ человѣкомъ, какого еще никогда не было на свѣтѣ. У, у! то такой мудрый, какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не сдѣлаетъ, то ужъ никто на свѣтѣ не сдѣлаетъ. Сиди тутъ; вотъ ключъ, и не впускай никого!» Жиды вышли на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрѣлъ въ маленькое окошечко на этотъ грязный жидовскій проспектъ. Три жида остановились посрединѣ улицы и стали говорить довольно азартно; къ нимъ присоединился скоро четвертый, наконецъ, и пятый. Онъ слышалъ опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды безпрестанно посматривали въ одну сторону улицы: наконецъ, въ концѣ ея изъ-за одного дрянного дома показалась нога въ жидовскомъ башмакѣ и замелькали фалды полукафтаны. «А, Мардохай! Мардохай!» закричали всѣ жида въ одинъ голосъ. Тотшій жида, нѣсколько короче Янкеля, но гораздо болѣе покрытый морщинами, съ огромною верхнею губою, приблизился къ нетерпѣливой толпѣ, и всѣ жида наперерывъ сгѣшшили рассказывать ему, при чемъ Мардохай нѣсколько разъ поглядывать на маленькое окошечко, и Тарасъ догадывался, что рѣчь шла о немъ. Мардохай размахивалъ руками, слушалъ, перебивалъ рѣчь, часто плевалъ на сторону и, подымая фалды полукафтаны, засовывалъ въ карманъ руку и вынималъ какія-то побрякушки, при чемъ показывалъ прескверные свои панталюны. Наконецъ, всѣ жида подняли такой крикъ, что

жидъ, стоявшій на сторожѣ, долженъ былъ давать знакъ къ молчанію, и Тарасъ уже началъ опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что жида не могутъ иначе разсуждать, какъ на улицѣ, и что ихъ языка самъ демонъ не пойметъ, онъ успокоился.

Минуты двѣ спустя, жида вмѣстѣ вошли въ его комнату. Мардохай приблизился къ Тарасу, потрепалъ его по плечу и сказалъ: «Когда мы да Богъ захочетъ сдѣлать, то уже будетъ такъ, какъ нужно».

Тарасъ поглядѣлъ на этого Соломона, какого еще не было на свѣтѣ, и получилъ нѣкоторую надежду. Дѣйствительно, видъ его могъ внушить нѣкоторое довѣріе: верхняя губа у него была, просто, страшилище; толщина ея, безъ сомнѣнія, увеличилась отъ постороннихъ причинъ. Въ бородѣ у этого Соломона было только пятнадцать волосковъ, и то на лѣвой сторонѣ. На лицѣ у Соломона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ за удайство, что онъ, безъ сомнѣнія, давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за родимыя пятна.

Мардохай ушелъ вмѣстѣ съ товарищами, исполненными удивленія къ его мудрости. Бульба остался одинъ. Онъ былъ въ странномъ, небываломъ положеніи: онъ чувствовалъ въ первый разъ въ жизни безпокойство. Душа его была въ лихорадочномъ состояніи. Онъ не былъ тотъ прежній, непреклонный, неколебимый, крѣпкій, какъ дубъ; онъ былъ малодушенъ; онъ былъ теперь слабъ. Онъ вздрагивалъ при каждомъ шорохѣ, при каждой новой жидовской фигурѣ, показывавшейся въ концѣ улицы. Въ такомъ состояніи пробылъ онъ, наконецъ, весь день; не ѣлъ, не пилъ, и глаза его не отрывались ни на часъ отъ небольшого окошка на улицу. Наконецъ, уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

«Что? удачно?» спросилъ онъ ихъ съ нетерпѣніемъ дикаго коня.

Но прежде еще, нежели жида собрались съ духомъ отвѣчать, Тарасъ замѣтилъ, что у Мардохая уже не было послѣдняго локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами изъ-подъ яломка его. Замѣтно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать, но наговорилъ такую дрянь, что Тарасъ ничего не понялъ. Да и самъ Янкель прикла-

дывалъ очень часто руку ко рту, какъ будто бы страдалъ простудою.

«О, любезный панъ!» сказалъ Янкель: «теперь совсѣмъ не можно! Ей-Богу, не можно! Такой нехорошій народъ, что ему надо на самую голову наплевать. Вотъ и Мардохай скажетъ. Мардохай дѣлать такое, какого еще не дѣлать ни одинъ человекъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, чтобы такъ было. Три тысячи войска стоятъ, и завтра ихъ всѣхъ будутъ казнить».

Тарасъ глянулъ въ глаза жидамъ, но уже безъ нетерпѣнія и гнѣва.

«А если панъ хочетъ видѣться, то завтра нужно рано, такъ чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и одинъ левентаръ обѣщался. Только пусть имъ не будетъ на томъ свѣтѣ счастья, ой, вей миръ! Что это за корыстный народъ! И между нами такихъ нѣтъ: пятьдесятъ червонцевъ я дамъ каждому, а левентарю...»

«Хорошо. Веди меня къ нему!» произнесъ Тарасъ рѣшительно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ согласился на предложеніе Янкеля переодѣться иностраннымъ графомъ, пріѣхавшимъ изъ нѣмецкой земли, для чего платье уже успѣлъ припасти дальновидный жидъ. Была уже ночь. Хозяинъ дома, извѣстный рыжій жидъ съ веснушками, вытащилъ тощій тюфякъ, накрытый какою-то рогожею, и разостлалъ его на лавкѣ для Бульбы. Янкель легъ на полу на такомъ же тюфякѣ. Рыжій жидъ выпилъ небольшую чарочку какой-то настойки, скинулъ полукафтаны, и, сдѣлавшись въ своихъ чулкахъ и башмакахъ нѣсколько похожимъ на цыленка, отправился съ своею жидовкой во что-то похожее на шкафъ. Двое жиденковъ, какъ двѣ домашнія собачки, легли на полу возлѣ шкафа. Но Тарасъ не спалъ; онъ сидѣлъ неподвиженъ и слегка барабанилъ пальцами по столу; онъ держалъ во рту люльку и пускалъ дымъ, отъ котораго жидъ спросонья чихалъ и заворачивалъ въ одѣяло свой носъ. Едва небо успѣло тронуться блѣднымъ предвѣстіемъ зари, онъ уже толкнулъ ногою Янкеля. «Вставай, жидъ, и давай твою графскую одежду!»

Въ минуту одѣлся онъ; вычернилъ усы, брови, надѣлъ на темя маленькую темную шапочку — и никто бы изъ самыхъ близкихъ къ нему козаковъ не могъ узнать его. По виду ему казалось не болѣе тридцати пяти лѣтъ. Здоровый

румянецъ игралъ на его щекахъ, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотомъ, очень шла къ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось въ городѣ съ коробкою въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ строенію, имѣвшему видъ сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почернѣвшее, и съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста, длинная, узкая башня, наверху которой торчалъ кусокъ крыши. Это строеніе отправляло множество разныхъ должностей: тутъ были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный судъ. Наши путники вошли въ ворота и очутились среди пространной залы или крытаго двора. Около тысячи чело-вѣкъ спали вмѣстѣ. Прямо шла низенькая дверь, передъ которой сидѣвшіе двое часовыхъ играли въ какую-то игру, состоявшую въ томъ, что одинъ другого билъ двумя пальцами по ладони. Они мало обратили вниманія на пришедшихъ и повертели головы только тогда, когда Янкель сказалъ: «Это мы; слышите, паны: это мы».

«Ступайте!» говорилъ одинъ изъ нихъ, отворяя одну рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятія отъ него ударовъ.

Они вступили въ коридоръ, узкій и темный, который опять привелъ ихъ въ такую же залу съ маленькими окошками вверху. «Кто идетъ?» закричало нѣсколько голосовъ, и Тарасъ увидѣлъ порядочное количество воиновъ въ полномъ вооруженіи. «Намъ никого не велѣно пускать».

«Это мы!» кричалъ Янкель: «ей-Богу, мы, ясные паны!» Но никто не хотѣлъ слушать. Къ счастью, въ это время подошелъ какой-то толстякъ, который, по всѣмъ примѣтамъ, казался начальникомъ, потому что ругался сильнѣе всѣхъ.

«Панъ, это-жъ мы; вы уже знаете насъ, и панъ графъ еще будетъ благодарить».

«Пропустите, сто дьябловъ чортовой маткѣ! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидалъ и не собачился на полу...»

Продолженія краснорѣчиваго приказа уже не слышали наши путники. «Это мы, это я, это свои!» говорилъ Янкель, встрѣчаясь со всякимъ.

«А что, можно теперь?» спросилъ онъ одного изъ стра-



жей, когда они, наконецъ, подошли къ тому мѣсту, гдѣ коридоръ уже оканчивался.

«Можно; только не знаю, пропустятъ ли васъ въ самую тюрьму. Теперь уже нѣтъ Яна: вмѣсто его стоитъ другой», отвѣчала часовая.

«Ай, ай», произнесъ тихо жидъ: «это скверно, любезный панъ!»

«Веди!» произнесъ упрямо Тарасъ. Жидъ повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху остриемъ, стоялъ гайдукъ, съ усамн въ три яруса. Верхній ярусъ усовъ шелъ назадъ, другой прямо впередъ, третій внизъ, что дѣлало его очень похожимъ на кота.

Жидъ сбѣжился въ три погибели и почти бокомъ подошелъ къ нему. «Ваша ясновельможность! Ясновельможный панъ!»

«Ты, жидъ, это мнѣ говоришь?»

«Вамъ, ясновельможный панъ».

«Гм... а я, просто, гайдукъ!» сказалъ трехъярусный усачъ съ повесѣвшими глазами.

«А я, ей-Богу, думалъ, что это самъ воевода. Ай, ай, ай...» При этомъ жидъ покрутилъ головою и разставилъ пальцы. «Ай, какой важный видъ! Ей-Богу, полковникъ, совсѣмъ полковникъ! Вотъ еще бы только на палецъ прибавить, то и полковникъ! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, какъ муха, да и пусть муштруетъ полки!»

Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ, при чемъ глаза его совершенно развеселились.

«Что за народъ военный!» продолжалъ жидъ: «охъ, вей миръ, что за народъ хорошій! Шнурочки, бляшечки... такъ отъ нихъ блеститъ, какъ отъ солнца; а цурки, гдѣ только увидятъ военныхъ... ай, ай!...» Жидъ опять покрутилъ головою.

Гайдукъ завилъ рукою верхніе усы и пропустилъ сквозь зубы звукъ, нѣсколько похожій на лошадиное ржаніе.

«Прошу пана оказать услугу!» произнесъ жидъ: «вотъ князь пріѣхалъ изъ чужого края, хочетъ посмотреть на козаковъ. Онъ еще сроду не видѣлъ, что это за народъ козаки».

Появленіе иностранныхъ графовъ и бароновъ было въ Польшѣ довольно обыкновенно: они часто были увлекаемы

единственно любопытствомъ посмотрѣть этотъ почти полу-азиатскій уголь Европы; Московію и Украину они считали уже находящимися въ Азіи. И потому гайдукъ, поклонившись довольно низко, почелъ приличнымъ прибавить нѣсколько словъ отъ себя:

«Я не знаю, ваша ясновельможность», говорилъ онъ: «зачѣмъ вамъ хочется смотрѣть ихъ. Это собаки, а не люди. И вѣра у нихъ такая, что никто не уважаетъ».

«Врешь ты, чортовъ сынъ!» сказалъ Бульба: «самъ ты собака! Какъ ты смѣешь говорить, что нашу вѣру не уважаютъ? Это вашу еретическую вѣру не уважаютъ!»

«Эге, ге!» сказалъ гайдукъ: «а я знаю, пріятель, ты кто: ты самъ изъ тѣхъ, которые уже сидятъ у меня. Постой же, я позову сюда нашихъ».

Тарасъ увидѣлъ свою неосторожность, но упрямство и досада помѣшали ему подумать о томъ, какъ бы исправить ее. Къ счастью, Янкель въ ту же минуту успѣлъ подвернуться.

«Ясновельможный панъ! какъ же можно, чтобы графъ да былъ козакъ? А если бы онъ былъ козакъ, то гдѣ бы онъ досталъ такое платье и такой видъ графскій?»

«Разсказывай себѣ!..» И гайдукъ уже растворилъ было широкій ротъ свой, чтобы крикнуть.

«Ваше королевское величество! молчите! молчите, ради Бога!» закричалъ Янкель. «Молчите! Мы ужъ вамъ за это заплатимъ такъ, какъ еще никогда и не видѣли: мы дадимъ вамъ два золотыхъ червонца».

«Эге! два червонца! Два червонца мнѣ ни по чемъ: я цырюльнику даю два червонца за то, чтобы мнѣ только половину бороды выбрилъ. Сто червонныхъ давай, жидъ!» Тутъ гайдукъ закрутилъ верхніе усы. «А какъ не дашь ста червонныхъ. сейчасъ закричу!»

«И на что бы такъ много?» горестно сказалъ поблѣднѣвшій жидъ, развязывая кожаный мѣшокъ свой; но онъ счастливиъ былъ, что въ его кошелекъ не было болѣе и что гайдукъ далѣе ста не умѣлъ считать.

«Панъ, панъ! уйдемъ скорѣе! Видите, какой тутъ нехорошій народъ!» сказалъ Янкель, замѣтивши, что гайдукъ перебираетъ на рукѣ деньги, какъ бы жалѣя о томъ, что не запросилъ болѣе.

«Что-жъ ты, чортовъ гайдукъ», сказалъ Бульба: «деньги

взять, а показать и не думаешь? Нѣтъ, ты долженъ показать. Ужъ когда деньги получили, то ты не въ правѣ теперь отказать».

«Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то я сію минуту дамъ знать, и васъ тутъ... Унесите скорѣе ноги, говорю я вамъ!»

«Панъ! панъ! пойдѣмъ, ей-Богу, пойдѣмъ! Цуръ имъ! Пусть имъ приснится такое, что плевать нужно», кричалъ бѣдный Янкель.

Бульба медленно, потупивъ голову, оборотился и шель назадъ, преслѣдуемый укорами Янкеля, котораго ѣла грусть при мысли о даромъ потерянныхъ червонцахъ.

«И на что бы трогать! Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народъ, что не можетъ не браниться! Охъ, вей миръ, какое счастье посылаетъ Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то только, что прогналъ насъ! А нашъ братъ: ему и пейсики оборвутъ, и изъ морды сдѣлаютъ такое, что и глядѣть не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. О, Боже мой! Боже милосердый!»

Но неудача эта гораздо болѣе имѣла вліянія на Бульбу; она выражалась пожирающимъ пламенемъ въ его глазахъ.

«Пойдѣмъ!» сказалъ онъ вдругъ, какъ бы встряхнувшись: «пойдѣмъ на площадь. Я хочу посмотрѣть, какъ его будутъ мучить».

«Ой, панъ! зачѣмъ ходить? Вѣдь намъ этимъ не помочь уже».

«Пойдѣмъ!» упрямо сказалъ Бульба, и жидъ, какъ нянька, вздыхая, побрелъ вслѣдъ за нимъ.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, не трудно было отыскать: народъ валилъ туда со всѣхъ сторонъ. Въ тогдашній грубый вѣкъ это составляло одно изъ занимательнѣйшихъ зрѣлищъ не только для черни, но и для высшихъ классовъ. Множество старухъ, самыхъ набожныхъ, множество молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ, самыхъ трусливыхъ, которымъ послѣ всю ночь грезились окровавленные трупы, которыя кричали спросонья такъ громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусарь, не пропускали, однакоже, случая полюбопытствовать. «Ахъ, какое мученье!» кричали изъ нихъ многія съ истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однакоже простаивали иногда довольно времени. Иной, и ротъ рази-

нубъ, и руки вытянувъ впередъ, желалъ бы вскочить всѣмъ на головы, чтобы оттуда посмотръть повиднѣе. Изъ толпы узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ свое толстое лицо мясникъ, наблюдать весь процессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, котораго называлъ кумомъ, потому что въ праздничный день напивался съ нимъ въ одномъ шинкѣ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари; но большая часть была такихъ, которые на весь міръ и на все, что ни случается въ свѣтѣ, смотрятъ,ковыряя пальцемъ въ своемъ носу. На переднемъ планѣ, возлѣ самыхъ усачей, составлявшихъ городovou гвардію, стоялъ молодой шляхтичъ, или казавшійся шляхтичемъ, въ военномъ костюмѣ, который надѣлъ на себя рѣшительно все, что у него не было, такъ что на его квартирѣ оставалась только изодранная рубашка, да старые сапоги. Двѣ цѣпочки, одна сверхъ другой, висѣли у него на шеѣ съ какимъ-то дукатомъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безпрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замаралъ ея шелковаго платья. Онъ ей растолковалъ совершенно все, такъ что уже рѣшительно не можно было ничего прибавить: «Вотъ это, душечка Юзыся», говорилъ онъ: «весь народъ, что вы видите, пришелъ за тѣмъ, чтобы посмотръть, какъ будутъ казнить преступниковъ. А вотъ тотъ, душечка, что, вы видите, держитъ въ рукахъ сѣкиру и другіе инструменты, то палачъ, и онъ будетъ казнить. И какъ начнетъ колесовать и другія дѣлать муки, то преступникъ еще будетъ живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но какъ только отрубятъ голову, тогда ему не можно будетъ ни кричать, ни ѣсть, ни пить, оттого что у него, душечка, уже больше не будетъ головы». И Юзыся все это слухала со страхомъ и любопытствомъ. Крыши домовъ были усыяны народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранныя рожи въ усахъ и въ чемъ-то похожемъ на чепчики. На балконахъ, подъ балдахинами, сидѣло аристократство. Хорошенькая ручка смѣющейся, блистающей, какъ бѣлый сахаръ, панны держалась за перила. Ясновельможныя паны, довольно плотныя, глядѣли съ важнымъ видомъ. Холопъ, въ блестящемъ убранствѣ, съ откидными назадъ рукавами, разносилъ тутъ же разные напитки и сѣбное. Часто ша-

луныя съ черными глазами, схвативши свѣтлую ручкою своею пирожное и плоды, кидала въ народъ. Толпа голодныхъ рыцарей подставляла на подхватъ свои шапки, и какой-нибудь высокій шляхтичъ, высунувшійся изъ толпы своєю головою, въ полиняломъ красномъ кунтушѣ съ почернѣвшими золотыми шнурами, хваталъ первый, съ помощью длинныхъ рукъ, цѣловалъ полученную добычу, прижималъ ее къ сердцу и потомъ клалъ въ ротъ. Соколъ, висѣвшій въ золотой клеткѣ подъ балкономъ, былъ также зрителемъ: перегнувши на-бокъ носъ и поднявши лапу, онъ, съ своей стороны, разсматривалъ также внимательно народъ. Но толпа вдругъ зашумѣла, и со всѣхъ сторонъ раздались голоса: «Ведутъ! ведутъ! козаки!»

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами; бороды у нихъ были отпущены. Они шли ни боязливо, ни угрюмо, но съ какою-то тихою горделивостью; ихъ платы изъ дорогого сукна изнасились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; они не глядѣли и не кланялись народу. Впереди всѣхъ шелъ Остапъ.

Что почувствовалъ старый Тарасъ, когда увидѣлъ своего Остапа? Что было тогда въ его сердцѣ? Онъ глядѣлъ на него изъ толпы и не проронилъ ни одного движенія его. Они приблизились уже къ лобному мѣсту. Остапъ остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глянулъ на своихъ, поднялъ руку вверхъ и произнесъ громко: «Дай же, Боже, чтобы всѣ, какіе тутъ ни стоятъ еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится христіанинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ ни одного слова!» Послѣ этого онъ приблизился къ эшафоту.

«Добре, сынку, добре!» сказалъ тихо Бульба и уставилъ въ землю свою сѣдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему увязали руки и ноги въ нарочно сдѣланные станки, и... Не будемъ смущать читателей картиною адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись бы ихъ волосы. Онѣ были порожденіе тогдашняго грубаго свирѣпаго вѣка, когда человѣкъ велъ еще кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и закалился въ ней душою, не чуя человѣчества. Напрасно нѣкоторые, немногіе, бывшіе исключеніями изъ вѣка, являлись противниками сихъ ужасныхъ мѣръ. Напрасно король и многіе рыцари, просвѣтленные умомъ и душой, пред-

ставляли, что подобная жестокость наказаній можетъ только разжечь мщеніе козацкой націи. Но власть короля и умныхъ мнѣній была ничто передъ безпорядкомъ и дерзкой волею государственныхъ магнатовъ, которые своею необдуманностью, непостижимымъ отсутствіемъ всякой дальновидности, дѣтскимъ самолюбіемъ и ничтожною гордостью превратили сеймъ въ сатиру на правленіе.—Остапъ выносить терзанія и пытки, какъ исполнить. Ни крига, ни стога не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на рукахъ и ногахъ кости, когда ужасный хряскъ ихъ послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда напьянки отворотили глаза свои,—ничто, похожее на стога не вырвалось изъ устъ его, не дрогнуло лицо его. Тарасъ стоялъ въ толпѣ, потупивъ голову и, въ то же время, гордо приподнявъ очи, и одобрительно только говорилъ: «Добре, сынку, добре!»

Но когда подвели его къ послѣднимъ смертнымъ мукамъ, казалось, какъ будто стала подаваться его сила. И повелъ онъ очами вокругъ себя: Боже! все невѣдомая, все чужія лица! Хоть бы кто-нибудь изъ близкихъ присутствовать при его смерти! Онъ не хотѣлъ бы слышать рыданій и сокрушенія слабой матери, или безумныхъ воплей супруги, исторгающей волосы и бьющей себя въ бѣлые груди; хотѣлъ бы онъ теперь увидѣть твердаго мужа, который бы разумнымъ словомъ освѣжилъ его и утѣшилъ при кончинѣ. И упалъ онъ силою и выкликнулъ въ душевной немощи: «Батько! гдѣ ты? Слышишь ли ты все это?..»

«Слышу!» раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллионъ народа въ одно время вадрогнулъ. Часть военныхъ всадниковъ бросилась заботливо разсматривать толпы народа. Янкель поблѣднѣлъ, какъ смерть; и когда всадники немного отделились отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возлѣ него не было: его и слѣдъ простылъ.

## ХІІ.

Отыскался слѣдъ Тарасовъ. Сто двадцать тысячъ козакаго войска показалось на границахъ Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отрядъ, выступив-

шій на добычу или на угонъ за татарами. Нѣтъ, поднялась вся нація, ибо переполнилось терпѣніе народа, — поднялась отомстить за посмѣяныя правы своихъ, за позорное униженіе своихъ нравовъ, за оскорбленіе вѣры предковъ и святого обычая, за посрамленіе церквей, за безчинства чужеземныхъ пановъ, за угнетеніе, за унию, за позорное владычество жидовства на христіанской землѣ, за все, что копило и сугубило съ давнихъ временъ суровую ненависть козаковъ. Молодой, но сильный духомъ, гетьманъ Острица предводилъ всюю несмѣтной козацкой силою. Возлѣ былъ виденъ престарѣлый, опытный товарищъ его и совѣтникъ Гуня. Восемь полковниковъ вели двѣнадцатитысячныя полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчужный ѣхали вслѣдъ за гетьманомъ. Генеральный хорунжій предводилъ главное знамя; много другихъ хоругвей и знаменъ развѣвались вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было другихъ чиновъ полковыхъ: обозныхъ, войсковыхъ товарищей, полковыхъ писарей, и съ ними пѣшихъ и конныхъ отрядовъ; почти столько же, сколько было рейстровыхъ козаковъ, набралось охочекомонныхъ и вольныхъ. Отвсюду поднялись козаки: отъ Чигирина, отъ Переяслава, отъ Батурина, отъ Глухова, отъ низовой стороны Днѣпровской и отъ всѣхъ его верховій и острововъ. Безъ счету кони и несмѣтные таборы телѣгъ тянулись по полямъ. И между тѣми-то козаками, между тѣми восемью полками отборнѣе всѣхъ былъ одинъ полкъ; и полкомъ тѣмъ предводилъ Тарасъ Бульба. Все давало ему перевѣсъ предъ другими: и преклонныя лѣта, и опытность, и умѣнье двигать своимъ войскомъ, и сильнѣйшая всѣхъ ненависть къ врагамъ. Даже самимъ козакамъ казалась чрезмѣрною его беспощадная свирѣпость и жестокость. Только огонь да висѣлицу опредѣляла сѣдая голова его, и совѣтъ его въ войсковомъ совѣтѣ дышалъ только однимъ истребленіемъ.

Нечего описывать всѣхъ битвъ, гдѣ показали себя козаки, ни всего постепеннаго хода кампаніи: все это внесено въ лѣтописныя страницы. Известно, какова въ Русской землѣ война, поднятая за вѣру: нѣтъ силы сильнѣе вѣры. Непреоборима и грозна она, какъ нерукотворная скала среди бурнаго, вѣчно-измѣнчиваго моря. Изъ самой середины морского дна возноситъ она къ небесамъ непроломныя свои

стѣны, вся созданная изъ одного пѣльнаго, сплошнаго камня. Отвсюду-видна она и глядитъ прямо въ очи мимобѣгущимъ волнамъ. И горе кораблю, который нанесется на нее! Въ щепы летятъ безсильныя его снасти, тонетъ и ломится въ прахъ все, что ни есть на нихъ, и жалкимъ крикомъ погибающихъ оглашается пораженный воздухъ.

Въ лѣтописныхъ страницахъ изображено подробно, какъ бѣжали польскіе гарнизоны изъ освобождаемыхъ городовъ; какъ были перевѣшаны безсовѣстные арендаторы-жиды; какъ слабъ былъ коронный гетьманъ Николай Потоцкій съ многочисленною своею арміею противъ этой непреодолимой силы; какъ, разбитый, преслѣдуемый, перетопилъ онъ въ небольшой рѣчкѣ лучшую часть своего войска; какъ облегли его въ небольшомъ мѣстечкѣ Полонномъ грозныя козацкіе полки, и какъ, приведенный въ крайность, польскій гетьманъ клятвенно обѣщалъ полное удовлетвореніе во всемъ со стороны короля и государственныхъ чиновъ и возвращеніе всѣхъ прежнихъ правъ и преимуществъ. Но не такіе были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкій не красовался бы больше на шеститысячномъ своемъ аргамакѣ, привлекая взоры знатныхъ паннъ и зависть дворянства, не шумѣлъ бы на сеймахъ, задавая роскошныя пиры сенаторамъ, если бы не спасло его находившееся въ мѣстечкѣ русское духовенство. Когда вышли навстрѣчу всѣ попы въ свѣтлыхъ золотыхъ ризахъ, неся иконы и кресты, и впереди самъ архіерей съ крестомъ въ рукѣ и въ пастырской митрѣ, преклонили козаки всѣ свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже самого короля; но противъ своей церкви христіанской не посмѣли и уважили свое духовенство. Согласился гетьманъ вмѣстѣ съ полковниками отпустить Потоцкаго, взявши съ него клятвенную присягу оставить на свободѣ всѣ христіанскія церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воинству. Одинъ только полковникъ не согласился на такой миръ. Тотъ одинъ былъ Тарасъ. Вырвалъ онъ клочъ волосъ изъ головы своей и вскрикнулъ:

«Эй, гетьманъ и полковники! не сдѣлайте такого бабьяго дѣла! не вѣрьте ляхамъ: продадутъ псяюхи!» Когда же полковой писарь подаль условіе, и гетьманъ приложилъ свою властную руку, онъ снялъ съ себя чистый булатъ, до-



рогую турецкую саблю, — из первѣйшаго желѣза, разломилъ ее на-двое, какъ трѣсть, и кинулъ врознь далеко въ разныя стороны оба конца, сказавъ: «Прощайте же! Какъ двумъ концамъ сего палаша не соединиться въ одну и не составить одной сабли, такъ и намъ, товарищи, больше не видаться на этомъ свѣтѣ! Помяните же прощальное мое слово»... (при семь словъ голосъ его выросъ, поднялся выше, принявъ невѣдомую силу — и смутились всѣ отъ пророческихъ словъ): «передъ смертнымъ часомъ своимъ вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствіе и миръ; думаете, пановать станете? Будете пановать другимъ панованьемъ: сдерутъ съ твоей головы, гетьманъ, кожу, набьютъ ее гречаною половою, и долго будутъ видѣть ее по всѣмъ ярмаркамъ! Не удержите и вы, паны, головъ своихъ! пропадете въ сырыхъ погребяхъ, замураванные въ каменные стѣны, если васъ, какъ барановъ, не сварятъ всѣхъ живыми въ котлахъ!»

«А вы, хлопцы!» продолжалъ онъ, оборотившись къ своимъ: «кто изъ васъ хочетъ умирать своею смертию, — не по запечьямъ и бабымъ лежанкамъ, не пьяными подъ заборомъ у шинка, подобно всякой падали, а честной козацкой смертию, всѣмъ на одной постели, какъ женихъ съ невѣстою? Или, можетъ-быть, хотите воротиться домой, да оборотиться въ недовѣрковъ, да возить на своихъ спинахъ польскихъ ксендзовъ?»

«За тобою, пане полковнику! за тобою!» вскрикнули всѣ, которые были въ Тарасовомъ полку, и къ нимъ перебѣжало не мало другихъ.

«А коли за мною, такъ за мною же!» сказалъ Тарасъ, нагнувъ глубже на голову себѣ шапку, грозно взглянулъ на всѣхъ остававшихся, оправился на конѣ своемъ и крикнулъ своимъ: «Не попрекнетъ же никто насъ обидной рѣчью! — А ну, гайда, хлопцы, въ гости къ католикамъ!» И вслѣдъ затѣмъ ударилъ онъ по коню, и потянулся за нимъ таборъ изъ ста телѣгъ, и съ нимъ много было козацкихъ конниковъ и пѣхоты, и, оборотясь, грозилъ взоромъ всѣмъ остававшимся. — и гнѣвъ былъ взоръ его. Никто не поемѣлъ остановить ихъ. Въ виду всего вопнства уходилъ полкъ, и долго еще оборачивался Тарасъ и все грозилъ.

Смутны стояли гетьманъ и полковники, задумались все и молчали долго, какъ будто тѣснимые какимъ-то тяжелымъ предвѣстіемъ. Не даромъ провѣщать Тарасъ: такъ все и сбылось, какъ онъ провѣщать. Немного времени спустя, постъ вѣроломнаго поступка подъ Каневымъ, вздернута была голова гетьмана на колъ вмѣстѣ со многими изъ первѣйшихъ сановниковъ.

А что же Тарасъ? А Тарасъ гулялъ по всей Польшѣ съ своимъ полкомъ, выжегъ восемнадцать мѣстечекъ, близъ сорока костеловъ, и уже доходилъ до Кракова. Много избилъ онъ всякой шляхты, разграбилъ богатѣйшіе и лучшіе замки; распечатали и поразливали по землѣ козаки вѣковые меды и вина, сохранно сберегавшіеся въ панскихъ погребахъ; изрубили и пережгли дорогія сукна одежды и утвари, находимыя въ кладовыхъ. «Ничего не жалѣйте!» повторялъ только Тарасъ. Не уважили козаки чернобровыхъ панянокъ, бѣлогрудыхъ, свѣтлоликихъ дѣвицъ; у самыхъ алтарей не могли спастись онѣ: зажигать ихъ Тарасъ вмѣстѣ съ алтарями. Не однѣ бѣлоснѣжныя руки подымались изъ огнистаго пламени къ небесамъ, сопровождаемыя жалкими криками, отъ которыхъ подвинулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы отъ жалости долу. Но не внимали ничему жестокіе козаки и, поднимая копьями съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали къ нимъ же въ пламя. «Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по Остапѣ!» приговаривалъ только Тарасъ. И такія поминки по Остапѣ отправлялъ онъ въ каждомъ селеніи, пока польское правительство не увидѣло, что поступки Тараса были побольше, чѣмъ обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было съ пятью полками поймать неслучайно Тараса.

Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами отъ всѣхъ преслѣдованій; едва выносили кони необыкновенное бѣгство и спасали козаковъ. Но Потоцкій на сей разъ былъ достоинъ возложеннаго порученія; неутомимо преслѣдовалъ онъ ихъ и настигъ на берегу Днѣстра, гдѣ Бульба занялъ для роздыха оставленную развалившуюся крѣпость.

Надъ самой кручей у Днѣстра-рѣки видѣлась она своимъ оборваннымъ валомъ и своими развалившимися останками стѣнъ. Щебнемъ и разбитымъ кирпичомъ усыпана была вер-

хушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слетѣть внизъ. Тутъ-то, съ двухъ сторонъ, прилежащихъ къ полю, обступилъ его коронный гетьманъ Потоцкій. Четыре дня бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и камнями. Но истощились запасы и силы, и рѣшился Тарасъ пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки и, можетъ-быть, еще разъ послужили бы имъ вѣрно быстрые кони, какъ вдругъ, среди самого бѣга, остановился Тарасъ и вскрикнуть: «Стой! выпала люлька съ табакомъ; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьимъ ляхамъ!» И нагнулся старый атаманъ и сталъ отыскивать въ травѣ свою люльку съ табакомъ, неотлучную спутницу на моряхъ и на сушѣ, и въ походахъ, и дома. А тѣмъ временемъ набѣжала вдругъ ватага и схватила его подъ могучія плечи. Двинулся было онъ всѣми членами, но уже не посыпались на землю, какъ бывало прежде, схватившіе его гайдуки. «Эхъ, старость, старость!» сказалъ онъ, и заплакалъ дебелий старый козакъ. Но не старость была виною: сила одолѣла силу. Мало не тридцать чловѣкъ повисло у него по рукамъ и по ногамъ. «Попалась ворона!» кричали ляхи. «Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собакѣ, лучшую честь воздать». И присудили, съ гетьманскаго разрѣшенія, сжечь его живого въ виду всѣхъ. Тутъ же стояло нагое дерево, вершину котораго разбило громомъ. Притянули его желѣзными цѣпами къ древесному стволу, гвоздемъ прибили ему руки и, приподнявъ его повыше, чтобы отовсюду былъ виденъ козакъ, принялись тутъ же раскладывать подъ деревомъ костеръ. Но не на костеръ глядѣлъ Тарасъ, не объ огнѣ онъ думать, которымъ собирались жечь его; глядѣлъ онъ, сердечный, въ ту сторону, гдѣ отстрѣливались козаки: ему съ высоты все было видно, какъ на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорѣе», кричалъ онъ: «горку, что за лѣсомъ: туда не подступать они!» Но вѣтеръ не донесъ его словъ. «Вотъ пропадутъ, пропадутъ ни за что!» говорилъ онъ отчаянно и взглянулъ внизъ, гдѣ сверкалъ Днѣстръ. Радость блеснула въ очахъ его. Онъ увидѣлъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника четыре кормы, собрать всю силу голоса и зычно закричалъ: «Къ берегу! къ берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что налѣво. У берега стоятъ челны, всѣ забирайте, чтобы не было погоня!»

На этотъ разъ вѣтеръ дунуль съ другой стороны, и всѣ слова были услышаны козаками. Но за такой совѣтъ достался ему тутъ же ударъ обухомъ по головѣ, который переверотилъ все въ глазахъ его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а ужъ погоня за плечами. Видятъ: путается и загибается дорожка и много дасть въ сторону извивовъ. «А, товарищи! не куды пошло!» сказали всѣ, остановились на мигъ, подняли свои нагайки, свистнули—и татарскіе ихъ кони, отдѣлившись отъ земли, распластавшись въ воздухѣ, какъ змѣи, перелетѣли черезъ пропасть и бултыхнули прямо въ Днѣстръ. Двое только не достали до рѣки, грянулись съ вышины объ каменья, пропали тамъ навѣки съ конями, даже не успѣвши издать крика. А козаки уже плыли съ конями въ рѣкѣ и отвязывали челны. Остановились ляхи надъ пропастью, дивясь неслыханному козацкому дѣлу и думая: прыгать ли имъ, или нѣтъ? Одинъ молодой полковникъ, живая, горячая кровь, родной братъ прекрасной полячки, обворожившей бѣднаго Андрія, не подумалъ долго и бросился со всѣхъ силъ съ конемъ за козаками: перевернулся три раза въ воздухѣ съ конемъ своимъ и прямо грянулся на острые утесы. Въ куски изорвали его острые камни, пропавшаго среди пропасти, и мозгъ его, смѣшавшись съ кровью, обрызгаль росшіе по неровнымъ стѣнамъ провала кусты.

Когда очнулся Тарасъ Бульба отъ удара и глянуть на Днѣстръ, уже козаки были на челнахъ и грѣбли веслами: пули сыпались на нихъ сверху, но не доставали. И вспыхнули радостныя очи у стараго атамана.

«Прощайте, товарищи!» кричалъ онъ имъ сверху: «вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте! Чтò взяли, чортовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свѣтѣ, чего бы боялся козакъ? Постойте же, придетъ время, будетъ время, узнаете вы, чтò такое православная русская вѣра! Уже и теперь чуютъ дальніе и близкіе народы: подымется изъ Русской земли свой царь, и не будетъ въ мірѣ силы, которая бы не покорилась ему!..» А уже огонь подымался надъ костромъ, захватывая его ноги и разостался пламенемъ по дереву... Да развѣ найдутся на свѣтѣ такіе огни, мѣки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Не малая рѣка Днѣстръ, и много на ней заводьей, рѣч-

ныхъ густыхъ камышей, отмелей и глубоководныхъ мѣстъ; блестить рѣчное зеркало, оглашенное звонкимъ ячаньемъ лебедей, и гордый гоголь быстро несется по немъ, и много куликовъ, краснозобыхъ курухтановъ и всякихъ чныхъ птицъ въ тростникахъ и на прибрежьяхъ. Козаки живо плыли на узкихъ двухрульныхъ челнахъ, дружно гребли веслами, осторожно миновали отмели, всплапывая подымавшихся птицъ, и говорили про своего атамана.



# МИРГОРОДЪ.

---

## ПОВѢСТИ,

СЛУЖАЩІЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ

### ВЕЧЕРОВЪ НА ХУТОРЪ ВЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

Миргородъ нарочито невеликій при  
рѣкѣ Хоролѣ городъ. Имѣетъ 1 канатную  
фабрику, 1 кирпичный заводъ, 4 водя-  
ныхъ и 45 вѣтряныхъ мельницъ.

Географія Зябловскаго.

Хотя въ Миргородѣ пекутся бубянки  
пъзъ чернаго тѣста, но довольно вкусны.  
Изъ записокъ одного путешественника.

---

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.



## ВІЙ\*). 1

Какъ только ударялъ въ Кіевѣ поутру довольно звонкій семинарскій колоколь, висѣвшій у воротъ Братскаго монастыря, то уже со всего города спѣшили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы, съ тетрадами подъ мышкой, брели въ классъ. Грамматики были еще очень малы: идя, толкали другъ друга и бранились между собою самымъ тоненькимъ дискантомъ; они были всѣ почти въ изодранныхъ или запачканныхъ платьяхъ, и карманы ихъ вѣчно были наполнены всякою дрянью, какъ-то: бабками, свистѣлками, сдѣланными изъ перышекъ, недоѣденнымъ пирогомъ, а иногда даже и маленькими воробышками, изъ которыхъ одинъ, вдругъ чиликнувъ среди необыкновенной тишины въ классъ, доставлялъ своему патрону порядочныя пали въ обѣ руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднѣе; платья у нихъ были часто совершенно цѣлы, но за то на лицѣ всегда почти бывало какое-нибудь украшеніе, въ видѣ риторическаго тропа: или одинъ глазъ уходилъ подъ самый лобъ, или, вмѣсто губы, цѣлый пузырь, или какая-нибудь другая примѣта; эти говорили и божились между собою теноромъ. Философы цѣлою октавою брали ниже; въ карманахъ ихъ, кромѣ крѣпкихъ табачныхъ корешковъ, ничего не было. Запасовъ они не дѣлали никакихъ, и все, что попадалось, съѣдали тогда же; отъ

---

\* Вій — есть колоссальное созданіе простонароднаго воображенія. Такимъ именемъ называется у малороссіянъ начальникъ гномовъ, у котораго вѣки на глазахъ идутъ до самой земли. Вся эта повѣсть есть народное преданіе. Я не хотѣлъ ни въ чемъ измѣнить его и рассказываю почти въ такой же простотѣ, какъ слышалъ.



нихъ слышалась трубка и горѣлка, иногда такъ далеко, что проходившій мимо ремесленникъ долго еще, остановившись, нюхалъ, какъ гончая собака, воздухъ.

Рынокъ въ это время обыкновенно только-что начинать шевелиться, и торговки, съ бубликами, булками, арбузными сѣмечками и маковниками, дергали на подхватъ за полы тѣхъ, у которыхъ полы были изъ тонкаго сукна или какой-нибудь бумажной матеріи.

«Паничи, паничи! сюды, сюды!» говорили онѣ со всѣхъ сторонъ: «ось бублики, маковники, вертычки, буханци хороши! ей-Богу, хороши! на меду! сама пекла!»

Другая, поднявъ что-то длинное, скрученное изъ тѣста, кричала: «Ось сусулька! Паничи, купите сусульку!»

«Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная,—и носъ нехорошій, и руки нечистыя...»

Но философовъ и богослововъ онѣ боялись задѣвать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и притомъ цѣлою горстью.

По приходѣ въ семинарію, вся толпа размѣщалась по классамъ, находившимся въ низенькихъ, довольно, однакоже, просторныхъ комнатахъ съ небольшими окнами, съ широкими дверьми и запачканными скамьями. Классъ наполнялся вдругъ разноголосными жужжаніями: аудиторы выслушивали своихъ учениковъ; звонкій дискантъ грамматика попадалъ какъ разъ въ звонъ стекла, вставленнаго въ маленькія окна, и стекло отвѣчало почти тѣмъ же звукомъ; въ углу гудѣлъ риторъ, котораго ротъ и толстыя губы должны бы принадлежать по крайней мѣрѣ философіи. Онъ гудѣлъ басомъ, и только слышно было издали: «бу, бу, бу, бу»... Аудиторы, слушая урокъ, смотрѣли однимъ глазомъ подъ скамью, гдѣ изъ кармана подчиненнаго бурсака выглядывала булка, или вареникъ, или сѣмена изъ тыквы.

Когда вся эта ученая толпа успѣвала придти нѣсколько ранѣе, или когда знали, что профессора будутъ позже обыкновеннаго, тогда, со всеобщаго согласія, замышляли бой, и въ этомъ бою должны были участвовать всѣ, даже и цензора, обязанные смотрѣть за порядкомъ и нравственностью всего учащагося сословія. Два богослова обыкновенно рѣшали, какъ происходить битвѣ: каждый ли классъ долженъ стоять за себя особенно, или всѣ должны раздѣлиться на двѣ половинны: на бурсу и семинарію. Во всякомъ слу-

чаѣ, грамматики начинали прежде всѣхъ, и какъ только вмѣшивались риторы, они уже бѣжали прочь и становились на возвышеніяхъ наблюдать битву. Потомъ вступала философія съ черными длинными усами, а наконецъ и богословія въ ужасныхъ шароварахъ и съ престолистыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тѣмъ, что богословія побивала всѣхъ, и философія, почесывая бока, была тѣснима въ классъ и помѣщалась отдыхать на скамьяхъ. Профессоръ, входившій въ классъ и участвовавшій когда-то самъ въ подобныхъ бояхъ, въ одну минуту, по разгорѣвшимся лицамъ своихъ слушателей, узнавалъ, что бой былъ недурень, и въ то время, когда онъ сѣлъ розгами по пальцамъ риторику, въ другомъ классѣ другой профессоръ отдѣлывалъ деревянными лопатками по рукамъ философію. Съ богословами же было поступаемо совершенно другимъ образомъ: имъ, по выраженію профессора богословія, отсыпалось по мѣркѣ *крутнаго гороху*, что состояло въ коротенькихъ кожаныхъ канчукахъ.

Въ торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домамъ съ вертепами. Иногда разыгрывали комедію, и въ такомъ случаѣ всегда отличался какой-нибудь богословъ, ростомъ мало чѣмъ пониже кievской колокольни, представлявшій Иродіаду или Пентефрію, супругу египетскаго царедворца. Въ награду получали они кусокъ полотна, или мѣшокъ проса, или половину варенаго гуся и тому подобное. Весь этотъ ученый народъ, — какъ семинарія, такъ и бурса, которыя питали какую-то наслѣдственную неприязнь между собою, — были чрезвычайно бѣденъ на средства къ прокормленію, и притомъ необыкновенно прожорливъ, такъ что сосчитать, сколько каждый изъ нихъ уписывалъ за вечерю галушекъ, было бы совершенно невозможное дѣло, и потому добродѣтели пожертвованія зажиточныхъ владѣльцевъ не могли быть достаточны. Тогда сенатъ, состоявшій изъ философовъ и богослововъ, отправлялъ грамматиковъ и риторовъ, подъ предводительствомъ одного философа, — а иногда присоединялся и самъ, — съ мѣшками на плечахъ, опустошать чужіе огороды — и въ бурсѣ появлялась каша изъ тыквъ. Сенаторы столько объѣдались арбузовъ и дынь, что на другой день аудиторы слышали отъ нихъ, вмѣсто одного, два урока: одинъ происходилъ изъ устъ, другой ворчалъ въ сенаторскомъ желудкѣ.

Бурса и семинарія носили какія-то длинные подобія сюртуковъ, простиравшихся *по сіе время*: слово техническое, означавшее—далѣе пятокъ.

Самое торжественное для семинаріи событіе было — вакансіи: время съ іюня мѣсяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домамъ. Тогда всю большую дорогу уѣзжали грамматики, философы и богословы. Кто не имѣлъ своего пріюта, тотъ отправлялся къ кому-нибудь изъ товарищей. Философы и богословы отправлялись *на кондичіи*, то-есть брались учить или готовить дѣтей людей зажиточныхъ, и получали за то въ годъ новые сапоги, а иногда и на сюртукъ. Вся ватага эта тянулась вмѣстѣ цѣлымъ таборомъ, варила себѣ кашу и ночевала въ полѣ. Каждый тащилъ за собою мѣшокъ, въ которомъ находилась одна рубашка и пара онучъ. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того, чтобы не износить сапоговъ, они скидали ихъ, вѣшали на палки и несли на плечахъ, особенно, когда была грязь: тогда они, засучивъ шаровары по колѣни, безстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Какъ только завидывали въ сторонѣ хуторъ, тотчасъ сворачивали съ большой дороги и, приблизившись къ хатѣ, выстроенной поопрятнѣе другихъ, становились передъ окнами въ рядъ и во весь ротъ начинали пѣть кантъ. Хозяинъ хаты, какой-нибудь старый козакъ-поселянинъ, долго ихъ слушалъ, подпершись обѣими руками, потомъ рыдалъ прегорько и говорилъ, обращаясь къ своей женѣ: «Жинко! то, что поють школяры, должно-быть очень разумное; вынеси имъ сала и чего-нибудь такого, что у насъ есть». И цѣлая миска варениковъ валялась въ мѣшокъ; порядочный кусъ сала, нѣсколько паляницъ, а иногда и связанная курица помѣщалась вмѣстѣ. Подкрѣпившись такимъ запасомъ, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чѣмъ далѣе, однакоже, шли они, тѣмъ болѣе уменьшалась толпа ихъ. Всѣ почти разбродились по домамъ и оставались тѣ, которые имѣли родительскія гнѣзда далѣе другихъ.

Одинъ разъ, во время подобнаго странствованія, три бурсака еворотили съ большой дороги въ сторону, съ тѣмъ, чтобы въ первомъ попавшемся хуторѣ запасть провіантомъ, потому что мѣшокъ у нихъ давно уже былъ пустъ. Это были: богословъ Халява, философъ Хома Брутъ и риторъ Тиберій Горобецъ.

Богословъ былъ рослый, плечистый мужчина и имѣлъ чрезвычайно странный нравъ: все, что ни лежало, бывало, возлѣ него, онъ непременно украдетъ. Въ другомъ случаѣ характеръ его былъ чрезвычайно мраченъ, и когда наливался онъ пьянъ, то прятался въ бурьянъ, и семинаринъ стоило большого труда сыскать его тамъ.

Философъ Хома Брутъ былъ права веселаго, любилъ очень лежать и курить люльку; если же пилъ, то непременно нанималъ музыкантовъ и отплясывалъ тропака. Онъ часто пробовалъ *крупнаго гороху*, но совершенно съ философическимъ равнодушіемъ, говоря, что, чему быть, того не миновать.

Риторъ Тиберій Горобецъ еще не имѣлъ права носить усовъ, пить горѣлки и курить люльки. Онъ носилъ только оселедецъ, и потому характеръ его въ то время еще мало развился; но, судя по большимъ шишкамъ на лбу, съ которыми онъ часто являлся въ классъ, можно было предположить, что изъ него будетъ хорошій воинъ. Богословъ Халява и философъ Хома часто дирали его за чубъ, въ знакъ своего покровительства, и употребляли въ качествѣ депутата.

Былъ уже вечеръ, когда они своротили съ большой дороги; солнце только-что сѣло, и дневная теплота оставалась еще въ воздухѣ. Богословъ и философъ шли молча, куря люльки; риторъ Тиберій Горобецъ сбивалъ палкою головки съ будяковъ, росшихъ по краямъ дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубовъ и орѣшника, покрывающими лугъ. Отлогости и небольшія горы, зеленые и круглые, какъ куполы, иногда перемежывались равниною. Показавшаяся въ двухъ мѣстахъ нива съ вызрѣвавшимъ житомъ давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже болѣе часа, какъ они минули хлѣбныя полосы, а между тѣмъ имъ не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсѣмъ омрачили небо, и только на западѣ блѣднѣлъ остатокъ алаго сіянія.

«Что за чортъ!» сказалъ философъ Хома Брутъ: «сдавалось совершенно, какъ будто сейчасъ будетъ хуторъ».

Богословъ помолчалъ, поглядѣлъ по окрестностямъ, потомъ опять взялъ въ ротъ свою люльку, и всѣ продолжали путь.

«Ей-Богу!» сказали опять, остановившись, философъ: «ни чортова кулака не видно».

«А, можетъ-быть, далѣе и попадется какой-нибудь хуторъ», сказалъ богословъ, не выпуская люльки.

Но между тѣмъ уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшія тучи усилили мрачность и, судя по вѣтмъ при-мѣтамъ, нельзя было ожидать ни звѣздъ, ни мѣсяца. Бурсаки замѣтили, что они сбились съ пути и давно шли не по дорогѣ.

Философъ, пошаривши ногами во всѣ стороны, сказалъ наконецъ отрывисто: «А гдѣ же дорога?»

Богословъ помолчалъ и, надумавшись, промолвилъ: «Да, ночь темная».

Риторъ отошелъ въ сторону и старался ползкомъ нащупать дорогу, но руки его попадали только въ лисьи норы. Вездѣ была одна степь, по которой, казалось, никто не ѣздилъ.

Путешественники еще сдѣлали усиліе пройти нѣсколько впередъ, но вездѣ была та же дичь. Философъ попробовалъ перекликнуться, но голосъ его совершенно заглохъ по сторонамъ и не встрѣтилъ никакого отвѣта. Нѣсколько спустя только послышалось слабое стenanіe, похожее на волчій вой.

«Вишь! чтò тутъ дѣлать?» сказалъ философъ.

«А чтò? оставаться и заночевать въ полѣ!» сказалъ богословъ и полѣзъ въ карманъ достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философъ не могъ согласиться на это: онъ всегда имѣлъ обыкновеніе упрятать на ночь полпудовую краюху хлѣба и фунта четыре сала, и чувствовалъ на этотъ разъ въ желудкѣ своемъ какое-то несносное одиночество. Притомъ, несмотря на веселый нравъ свой, философъ боялся нѣсколько волковъ.

«Нѣтъ, Халява, не можно», сказалъ онъ. «Какъ же, не подкрѣпивъ себя ничѣмъ, растянуться и лечь такъ, какъ собака? Попробуемъ еще: можетъ-быть, набредемъ на какое-нибудь жилье, и хоть чарку горѣлки удастся выпить на ночь».

При словѣ «горѣлка», богословъ сплюнулъ въ сторону и примолвилъ: «Оно, конечно, въ полѣ оставаться нечего».

Бурсаки пошли впередъ и, къ величайшей радости ихъ, въ отдаленіи почудился лай. Прислушавшись, съ которой

стороны, они отирались бодрѣ и, немного пройдя, увидѣли огонекъ.

«Хуторъ! Ей-Богу, хуторъ!» сказали философъ.

Предположенія его не обманули: черезъ нѣсколько времени они увидѣли, точно, небольшой хуторокъ, состоявшій изъ двухъ только хатъ, находившихся въ одномъ и томъ же дворѣ. Въ окнахъ свѣтились огни; десятокъ сливныхъ деревъ торчалъ подъ тыномъ. Взглянувши въ сквозныя дощатыя ворота, бурсаки увидѣли дворъ, установленный чумацкими возами. Звѣзды кое-гдѣ глянули въ это время на небѣ.

«Смотрите же, братцы, не отставать! Во что бы то ни было, а добыть ночлега!»

Три ученые мужа дружно ударили въ ворота и закричали: «Отвори!»

Дверь въ одной хатѣ закрипѣла, и, минуто спустя, бурсаки увидѣли передъ собою старуху въ нагольномъ тулупѣ.

«Кто тамъ?» закричала она, глухо кашляя.

«Пусти, бабуся, переночевать: сбились съ дороги; такъ въ полѣ скверно, какъ въ голодномъ брюхѣ».

«А что вы за народъ?»

«Да народъ необидчивый: богословъ Хазява, философъ Брутъ и риторъ Горобецъ».

«Не можно», проворчала старуха: «у меня народу полно въ дворъ и всѣ углы въ хатѣ заняты. Куда я васъ дѣну? Да еще все какой рослый и здоровый народъ! Да у меня и хата развалится, когда помѣщу такихъ. Я знаю этихъ философовъ и богослововъ: если такихъ пьяницъ начнешь принимать, то и двора скоро не будетъ. Пошли, пошли! Тутъ вамъ нѣтъ мѣста».

«Умилосердись, бабуся! Какъ же можно, чтобы христіанскія души пропали ни за что, ни про что? Гдѣ хочешь, помѣсти насъ; и если мы что-нибудь, какъ-нибудь того, или какое другое что сдѣлаемъ, — то пусть намъ и руки отсохнутъ, и такое будетъ, что Богъ одинъ знаетъ — вотъ что!»

Старуха, казалось, немного смягчилась. «Хорошо», сказала она, какъ бы размышляя: «я впущу васъ, только положу всѣхъ въ разныхъ мѣстахъ: а то у меня не будетъ спокойно на сердцѣ, когда будете лежать вмѣстѣ».

«На то твоя воля; не будемъ прекословить», отвѣчали бурсаки.

Ворота закрипѣли, и они вошли на дворъ.

«А что, бабуся», сказалъ философъ, идя за старухой: «если бы такъ, какъ говорить... Ей-Богу, въ животъ какъ будто кто колесами сталъ ѣздить: съ самаго утра вотъ хоть бы щепка была во рту».

«Вишь, чего захотѣлъ!» сказала старуха: «нѣтъ, у меня нѣтъ ничего такого, и печь не топилась сегодня».

«А мы бы уже за все это», продолжалъ философъ: «расплатились бы завтра, какъ слѣдуетъ — чистаганомъ. Да!» продолжалъ онъ тихо: «чорта съ два получишь ты что-нибудь!»

«Ступайте, ступайте! и будьте довольны тѣмъ, что дадутъ вамъ. Вотъ чортъ принесъ какихъ нѣжныхъ паничей!»

Философъ Хома пришелъ въ совершенное уныніе отъ такихъ словъ; но вдругъ носъ его почувствовать запахъ сушеной рыбы; онъ гляннулъ на шаровары богослова, шедшаго съ нимъ рядомъ, и увидѣлъ, что изъ кармана его торчали преогромный рыбій хвостъ: богословъ уже успѣлъ подти-брить съ воза цѣлаго карася. И такъ какъ онъ это производилъ не изъ какой-нибудь корысти, но единственно по привычкѣ, и, позабывши совершенно о своемъ карасѣ, уже разглядывать, что бы такое стянуть другое, не имѣя намѣренія пропустить даже изломаннаго колеса,—то философъ Хома запустилъ руку въ его карманъ, какъ въ свой собственный, и вытащилъ карася.

Старуха размѣстила бурсаковъ: ритора положила въ хатѣ, богослова заперла въ пустую камору, философу отвела тоже пустой овечій хлѣвъ.

Философъ, оставшись одинъ, въ одну минуту съѣлъ карася, осмотрѣлъ плетенныя стѣны хлѣва, толкнулъ ногою въ морду проснувшуюся изъ другого хлѣва любопытную свинью и повернулся на правый бокъ, чтобы заснуть мертвецки. Вдругъ низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла въ хлѣвъ.

«А что, бабуся, чего тебѣ нужно?» сказалъ философъ.

Но старуха шла прямо къ нему съ распростертыми руками.

«Эге, ге!» подумалъ философъ. «Только нѣтъ, голубушка, устарѣла!»

Онъ отодвинулся немного подальше, но старуха, безъ церемоніи, опять подошла къ нему.

«Слушай, бабуся!» сказалъ философъ: «теперь постъ; а я такой человѣкъ, что и за тысячу золотыхъ не захочу оскоромиться».

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова.

Философу сдѣлалось страшно, особливо, когда онъ замѣтилъ, что глаза ея сверкнули какимъ-то необыкновеннымъ блескомъ. «Бабуся! что ты? Ступай, ступай себѣ съ Богомъ!» закричалъ онъ.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.

Онъ вскочилъ на ноги, съ намѣреніемъ бѣжать; но старуха стала въ дверяхъ, вперила на него сверкающіе глаза и снова начала подходить къ нему.

Философъ хотѣлъ оттолкнуть ее руками, но, къ удивленію, замѣтилъ, что руки его не могутъ приподняться, ноги не двигались; и онъ съ ужасомъ увидѣлъ, что даже голосъ не звучалъ изъ устъ его: слова безъ звука шевелились на губахъ. Онъ слышалъ только, какъ билось его сердце; онъ видѣлъ, какъ старуха подошла къ нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила съ быстротою кошки къ нему на спину, ударила его метлою по боку, и онъ, подпрыгивая, какъ верховой конь, понесъ ее на плечахъ своихъ. Все это случилось такъ быстро, что философъ едва могъ опомниться и схватилъ обѣими руками себя за колѣни, желая удержать ноги, но онѣ, къ величайшему изумленію его, подымались противъ воли и производили скачки быстрѣе черкесскаго бѣгуна. Когда уже минули они хуторъ и передъ ними открылась ровная лощина, а въ сторонѣ потянулся черный, какъ уголь, лѣсъ, тогда только сказалъ онъ самъ въ себѣ: «Эге, да это вѣдьма!»

Обращенный мѣсячный серпъ свѣтлѣлъ на небѣ. Робкое полночное сіяніе, какъ сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось по землѣ. Лѣса, луга, небо, долины—все, казалось, какъ будто спало съ открытыми глазами; вѣтеръ хоть бы разъ вспорхнулъ гдѣ-нибудь; въ ночной свѣжести было что-то влажно-теплое; тѣни отъ деревъ и кустовъ, какъ кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину: такая была ночь, когда философъ Хома Брутъ скакать съ непонятнымъ всадникомъ на спинѣ. Онъ чувствовалъ ка-



кое-то томительное, непріятное и вмѣстѣ сладкое чувство, подступавшее къ его сердцу. Онъ опустилъ голову внизъ и видѣлъ, что трава, бывшая почти подъ ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверхъ нея находилась прозрачная, какъ горный ключъ, вода, и трава казалась дномъ какого-то свѣтлаго, прозрачнаго до самой глубины моря; по крайней мѣрѣ, онъ видѣлъ ясно, какъ онъ отражался въ немъ вмѣстѣ съ сидѣвшею на спинѣ старухою. Онъ видѣлъ, какъ, вмѣсто мѣсяца, свѣтило тамъ какое-то солнце; онъ слышалъ, какъ голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенѣли; онъ видѣлъ, какъ изъ-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная изъ блеска и трепета. Она оборотилась къ нему—и вотъ ея лицо, съ глазами, свѣтлыми, сверкающими, острыми, съ пѣньемъ вторгавшимися въ душу, уже приближалось къ нему, уже было на поверхности и, задрожавъ сверкающимъ смѣхомъ, удалялось; и вотъ она опрокинулась на спину—и облачныя перси ея, матовыя, какъ фарфоръ, непокрытый глазурью, просвѣчивали предъ солнцемъ по краямъ своей бѣлой, аластически-нѣжной окружности. Вода, въ видѣ маленькихъ пузырьковъ, какъ бисеръ, обсыпала ихъ. Она вся дрожитъ и смѣется въ водѣ...

Видитъ ли онъ это, или не видитъ? Наяву ли это, или снится? Но тамъ что? вѣтеръ или музыка? звенить, звенить и вѣтеть, и подступаетъ, и вонзается въ душу какую-то нестерпимую трелью...

«Что это?» думаетъ философъ Хома Брутъ, глядя внизъ. несясь во всю прыть. Потъ катился съ него градомъ. Онъ чувствовалъ бѣсовски-сладкое чувство, онъ чувствовалъ какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, какъ будто сердца уже вовсе не было у него, и онъ со страхомъ хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, онъ началъ припоминать всѣ, какія только зналъ, молитвы. Онъ перебиралъ всѣ закліянія противъ духовъ, и вдругъ почувствовалъ какое-то освѣженіе; чувствовать, что шагъ его начиналъ становиться лѣнливѣе, вѣдьма какъ-то слабѣе держалась на спинѣ его, густая трава касалась его, и уже онъ не видѣлъ въ ней ничего необыкновеннаго. Свѣтлый серпъ свѣтилъ на небѣ.

«Хорошо же!» подумать про себя философъ Хома и начать почти вслухъ произносить закліянія. Наконецъ, съ бы-

стротою молніи, выпрыгнулъ изъ-подъ старухи и вскочилъ въ свою очередь въ ней на спину. Старуха мелкимъ дробнымъ шагомъ побѣжала такъ быстро, что всадникъ едва могъ переводить духъ свой. Земля чуть мелькала подъ нимъ; все было ясно при мѣсячномъ, хотя и неполномъ свѣтѣ; долины были гладки; но все отъ быстроты мелькало неясно и сбивчиво въ его глазахъ. Онъ схватилъ лежавшее на дорогѣ полѣно и началъ имъ со всѣхъ силъ колотить старуху. Дикіе вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потомъ становились слабѣе, притѣе, чище; и потомъ уже тихо, едва звенѣли, какъ тонкіе серебряные колокольчики, и заронялись ему въ душу; и невольно мелькнула въ головѣ мысль: точно ли это старуха? «Охъ, не могу больше!» произнесла она въ изнеможеніи и упала на землю.

Онъ всталъ на ноги и посмотрѣлъ ей въ очи (разсвѣтъ загорался, и блестѣли золотыя главы вдали кievскихъ церквей): передъ нимъ лежала красавица съ растрепанною роскошною косою, съ длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами. Безчувственно отбросила она на обѣ стороны бѣлыя нагія руки и стонала, возведя кверху очи, полныя слезъ.

Затрепеталъ, какъ древесный листъ, Хома; жалость и какое-то странное волненіе, и робость, невѣдомыя ему самому, овладѣли имъ. Онъ пустился бѣжать во весь духъ. Дорогой билось безпокойно его сердце, и никакъ не могъ онъ истолковать себѣ, что за странное, новое чувство имъ овладѣло. Онъ уже не хотѣлъ болѣе идти на хутора и сѣвши въ Кіевъ, раздумывая всю дорогу о такомъ непонятномъ происшествіи.

Бурсаковъ почти никого не было въ городѣ: всѣ разбрелись по хуторамъ, или на кондичіи, или, просто, безъ всякихъ кондичій, потому что по хуторамъ малороссійскимъ можно ѣсть галушки, сыръ, сметану и вареники величиною въ шляпу, не заплативъ гроша денегъ. Большая, разѣхавшаяся хата, въ которой помѣщалась бурса, была рѣшительно пуста, и сколько философъ ни шарилъ во всѣхъ углахъ и даже ошупать всѣ дыры и западни въ крышѣ, но нигдѣ не отыскалъ ни куска сала или, по крайней мѣрѣ, стараго кнѣппа, что, по обыкновенію, запрятываемо было бурсаками.

Однакоже философъ скоро сыскался, какъ поправить свое горе: онъ прошелъ, посвистывая, раза три по рынку, пере-

мигнулся на самомъ концѣ съ какою-то молодою вдовою въ желтомъ очипкѣ, продававшею ленты, ружейную дробь и колеса,—и былъ въ тотъ же день накормленъ ишеничными варениками, курицею... и словомъ — перечесть нельзя, что у него было за столомъ, накрытымъ въ маленькомъ глиняномъ домикѣ, среди вишневаго садика. Въ тотъ же самый вечеръ видѣли философа въ корчмѣ: онъ лежалъ на лавкѣ, покуривая, по обыкновенію своему, люльку, и при всѣхъ бросилъ жиду-корчмарю ползолотой. Передъ нимъ стояла кружка. Онъ глядѣлъ на приходившихъ и уходившихъ хладнокровно-довольными глазами и вовсе уже не думалъ о своемъ необыкновенномъ происшествіи.

Между тѣмъ распространились вездѣ слухи, что дочь одного изъ богатѣйшихъ сотниковъ, котораго хуторъ находился въ пятидесяти верстахъ отъ Кіева, возвратилась въ одинъ день съ прогулки вся избитая, едва имѣвшая силы добрестъ до отцовскаго дома, находится при смерти и передъ смертнымъ часомъ изъявила желаніе, чтобы отходную по ней и молитвы, въ продолженіе трехъ дней послѣ смерти, читалъ одинъ изъ кіевскихъ семинаристовъ: Хома Брутъ. Объ этомъ философъ узналъ отъ самого ректора, который нарочно призывалъ его въ свою комнату и объявилъ, чтобы онъ безъ всякаго отлагательства спѣшилъ въ дорогу, что именитый сотникъ прислалъ за нимъ нарочно людей и возокъ.

Философъ вздрогнулъ по какому-то безотчетному чувству, котораго онъ самъ не могъ растолковать себѣ. Темное предчувствіе говорило ему, что ждетъ его что-то недоброе. Самъ не зная почему, объявилъ онъ напрямикъ, что не поѣдетъ.

«Послушай, domine Хома!» сказалъ ректоръ (онъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ объяснялся очень вѣжливо со своими подчиненными): «тебя никакой чортъ и не спрашиваетъ о томъ, хочешь ли ты ѣхать, или не хочешь. Я тебѣ скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да мудрствовать, то прикажу тебя по спинѣ и по прочему такъ отстегать молодымъ березнякомъ, что и въ баню не нужно будетъ ходить».

Философъ, почесывая слегка за ухомъ, вышелъ, не говоря ни слова, располагая при первомъ удобномъ случаѣ возло-

жить надежду на свои ноги. Въ раздумьи сходилъ онъ съ крутой лѣстницы, приводившей на дворъ, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно яственно голосъ ректора, дававшаго приказанія своему ключнику и еще кому-то, — вѣроятно, одному изъ посланных за нимъ отъ сотника.

«Благодари пана за крупу и яйца», говорилъ ректоръ: «и скажи, что какъ только будутъ готовы тѣ книги, о которыхъ онъ пишетъ, то я тотчасъ пришлю: я отдамъ ихъ уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторѣ у нихъ, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случаѣ прислать бы: здѣсь на базарахъ и нехороша, и дорога. А ты, Явтухъ, дай молодцамъ по чаркѣ горѣлки; да философа привязать, а не то — какъ разъ удереть».

«Вишь, чортъ съ сынь!» подумалъ про себя философъ: «протюхалъ, длинноногій вьюнъ!»

Онъ сошелъ внизъ и увидѣлъ кибитку, которую принялъ было сначала за хлѣбный овинъ на колесахъ. Въ самомъ дѣлѣ, она была такъ же глубока, какъ печь, въ которой обжигаютъ кирпичи. Это былъ обыкновенный краковскій экипажъ, въ какомъ жида полсотнею отправляются вмѣстѣ съ товарами во всѣ города, гдѣ только слышится ихъ носъ ярмарку. Его ожидало человѣкъ шесть здоровыхъ и крѣпкихъ козаковъ, уже нѣсколько пожилыхъ. Свитки изъ тонкаго сукна, съ кистями, показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владѣльцу; небольшіе рубцы говорили, что они бывали когда-то на войнѣ не безъ славы.

«Что-жъ дѣлать? Чему быть, тому не миновать!» подумалъ про себя философъ и, обратившись къ козакамъ, произнесъ громко: «Здравствуйте, братья товарищи!»

«Будь здоровъ, панъ философъ!» отвѣчали нѣкоторые изъ козаковъ.

«Такъ вотъ это мнѣ приходится сидѣть вмѣстѣ съ вами? А брика знатная!» продолжалъ онъ, вѣзая. «Тутъ бы только нанять музыкантовъ, то и танцовать можно».

«Да, соразмѣрный экипажъ!» сказалъ одинъ изъ козаковъ, сядя на облучокъ самъ-другъ съ кучеромъ, завязавшимъ голову тряпичею, вмѣсто шапки, которую онъ успѣлъ оставить въ шинкѣ. Другіе пять вмѣстѣ съ филосо-

фомъ полѣзли въ углубленіе и расположились на мѣшкахъ, наполненныхъ разною закускою, сдѣланною въ городѣ.

«Любопытно бы знать», сказалъ философъ: «если бы, при-мѣромъ, эту брику нагрузить какимъ-нибудь товаромъ, положимъ — солью или желѣзными клинами, сколько потребо-валось бы тогда коней?»

«Да», сказалъ, помолчавъ, сидѣвшій на облучкѣ козакъ: «достаточное бы число потребовалось коней».

Послѣ такого удовлетворительнаго отвѣта козакъ почи-талъ себя въ правѣ молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотѣлось узнать обстоятельнѣе, кто таковъ былъ этотъ сотникъ, каковъ его нравъ, что слышно о его дочкѣ, которая такимъ необыкновеннымъ образомъ возвратилась домой и находилась при смерти, и которой исторія связалась теперь съ его собственною, какъ у нихъ и что дѣлается въ домѣ. Онъ обращался къ нимъ съ вопросами; но казаки, вѣрно, были тоже философы, по-тому что, въ отвѣтъ на это, молчали и курили люльки, лежа на мѣшкахъ.

Одинъ только изъ нихъ обратился къ сидѣвшему на коз-лахъ возницѣ съ коротенькимъ приказаніемъ: «Смотри, Оверко, ты, старый разиня, какъ будешь подъѣзжать къ шинку, что на чухрайловской дорогѣ, то не позабудь оста-новаться и разбудить меня и другихъ молодцовъ, если кому случится заснуть».

Послѣ этого онъ заснулъ довольно громко. Впрочемъ, эти наставленія были совершенно напрасны, потому что, едва только приблизилась исполнская брика къ шинку на чух-райловской дорогѣ, какъ всѣ въ одинъ голосъ закричали: «Стой!» Притомъ лошади Оверка были такъ уже приучены, что останавливались сами передъ каждымъ шинкомъ.

Несмотря на жаркій іюльскій день, всѣ вышли изъ брики, отправились въ низенькую, запачканную комнату, гдѣ жидъ-корчмарь, съ знаками радости, бросился принимать сво-ихъ старыхъ знакомыхъ. Жидъ принесъ подъ полою нѣ-сколько колбасъ изъ свинины и, положивши на столъ, тот-часъ отворотился отъ этого запрещеннаго талмудомъ плода. Всѣ усѣлись вокругъ стола; глиняныя кружки показались предъ каждымъ изъ гостей. Философъ Хома долженъ былъ участвовать въ общей пирушкѣ. И такъ какъ малороссіяне, когда подгуливаютъ, непременно начинаютъ цѣловаться или

плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаніями. «А ну, Спиридь, почеломкаемся!» — «Иди сюда, Дорошъ, я обниму тебя!»

Одинъ козакъ, бывшій постарѣе всѣхъ другихъ, съ сѣдыми усами, подставивши руку подъ щеку, началъ рыдать отъ души о томъ, что у него нѣтъ ни отца, ни матери и что онъ остался однимъ одинъ на свѣтѣ. Другой былъ большой резонеръ и безпрестанно утѣшалъ его, говоря: «Не плачь; ей-Богу, не плачь! что-жъ тутъ?.. Ужъ Богъ знаетъ, какъ и что такое». Одинъ, по имени Дорошъ, сдѣлался чрезвычайно любопытенъ и, оборотившись къ философу Хомя, безпрестанно спрашивалъ его: «Я хотѣлъ бы знать, чему у васъ въ бурсѣ учатъ: тому ли самому, что и дьякъ читаетъ въ церкви, или чему другому?»

«Не спрашивай!» говорилъ протяжно резонеръ: «пусть его тамъ будетъ, какъ было. Богъ уже знаетъ, какъ нужно; Богъ все знаетъ».

«Нѣтъ, я хочу знать», говорилъ Дорошъ: «что тамъ написано въ тѣхъ книжкахъ; можетъ-быть, совсѣмъ другое, чѣмъ у дьяка».

«О Боже мой, Боже мой!» говорилъ этотъ почтенный наставникъ: «и на что такое говорить? Такъ уже воля Божія положила. Уже что Богъ далъ, того не можно пере-мѣнить».

«Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду въ бурсу, ей-Богу, пойду. Что ты думаешь, я не выучусь? — Всему выучусь, всему!»

«О, Боже жъ мой, Боже мой!..» говорилъ утѣшитель и спустил свою голову на столъ, потому что совершенно былъ не въ силахъ держать ее долѣе на плечахъ. Прочіе козаки толковали о панахъ и о томъ, отчего на небѣ свѣтитъ мѣсяцъ.

Философъ Хома, увидя такое расположеніе головъ, рѣшился воспользоваться и улизнуть. Онъ сначала обратился къ сѣдовласому козаку, грустившему объ отцѣ и матери: «Что-жъ ты, дядько, расплакался?» сказалъ онъ: «я самъ сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На что я вамъ?»

«Пустимъ его на волю!» отозвались нѣкоторые: «вѣдь онъ сирота; пусть себѣ идетъ, куда хочетъ».

«О, Боже-жъ мой! Боже мой!» произнесъ утѣшитель, поднявъ свою голову: «отпустите его! Пусть идетъ себѣ!»

И козаки уже хотѣли сами вывести его въ чистое поле; но тотъ, который показать свое любопытство, остановилъ ихъ, сказавши: «Не трогайте: я хочу съ нимъ поговорить о бурсѣ; я самъ пойду въ бурсу...»

Впрочемъ, врядъ ли бы этотъ побѣгъ могъ совершиться, потому что когда философъ вздумалъ подняться изъ-за стола, то ноги его сдѣлались какъ будто деревянными, и дверей въ комнатѣ начало представляться ему такое множество, что врядъ ли бы онъ отыскалъ настоящую.

Только ввечеру вся эта компанія вспомнила, что нужно отправляться далѣе въ дорогу. Взмостившись въ брику, они потянулись, погоняя лошадей и напѣвая пѣсню, которой слова и смыслъ врядъ ли бы кто разобралъ. Проколесивши большую половину ночи, безпрестанно сбиваясь съ дороги, выученной наизусть, они наконецъ спустились съ крутой горы въ долину, и философъ замѣтилъ по сторонамъ тянувшійся частоколъ или плетень, съ низенькими деревьями и выказывавшимися изъ-за нихъ крышами. Это было большое селеніе, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькія звѣздычки мелькали кое-гдѣ. Ни въ одной хатѣ не видно было огня. Они взѣхали, въ сопровожденіи собачьяго лая, на дворъ. Съ обѣихъ сторонъ были замѣтны крытые соломой сараи и домики; одинъ изъ нихъ, находившійся какъ разъ посерединѣ противъ воротъ, былъ болѣе другихъ и служилъ, какъ казалось, пребываніемъ сотника. Брига остановилась передъ небольшимъ подобіемъ сарая, и путешественники наши отправились спать. Философъ хотѣлъ, однакоже, нѣсколько осмотрѣть снаружи панскіе хоромы; но, какъ онъ ни пылил свои глаза, ничто не могло означиться въ ясномъ видѣ: вмѣсто дома представлялся ему медвѣдь; изъ трубы дѣлался ректоръ. Философъ махнулъ рукою и пошелъ спать.

Когда проснулся философъ, то весь домъ былъ въ движеніи: въ ночь умерла панночка. Слуги бѣгали впопыхахъ взадъ и впередъ; старухи нѣкоторыя плакали; толпа любопытныхъ глядѣла сквозь заборъ на панскій дворъ, какъ будто бы могла что-нибудь увидѣть. Философъ началъ на досугъ осматривать тѣ мѣста, которые онъ не могъ разглядѣть ночью. Панскій домъ былъ низенькое небольшое строеніе, какія обыкновенно строились въ старину въ Ма-

доросси; онъ былъ покрытъ соломой; маленькій, острый и высокій фронто́нъ съ окошкомъ, похожимъ на поднятый вверхъ глазъ, былъ весь измалеванъ голубыми и желтыми цвѣтами и красными полумѣсяцами; онъ былъ утвержденъ на дубовыхъ столбикахъ, до половины круглыхъ, и снизу шестигранныхъ, съ вычурною обточкою вверху. Подъ этимъ фронтономъ находилось небольшое крылечко со скамейками по обѣимъ сторонамъ. Съ боковъ дома были навѣсы на такихъ же столбикахъ, иждѣ витыхъ. Высокая груша съ пирамидальною верхушкою и трепещущими листьями зеленѣла передъ домомъ. Нѣсколько амбаровъ въ два ряда стояли среди двора, образуя родъ широкой улицы, ведшей къ дому. За амбарами, къ самымъ воротамъ, стояли треугольниками два погреба, одинъ напротивъ другого, крытые также соломой. Треугольная стѣна каждого изъ нихъ была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображеніями. На одной изъ нихъ нарисованъ былъ сидящій на бочкѣ козакъ, державшій надъ головою кружку съ надписью: «Все выпью!» На другой фляжка, сушен и по сторонамъ, для красоты, лошадь, стоявшая вверхъ ногами, трубка, бубны и надпись: «Вино — козачья потѣха». Съ чердака одного изъ сараевъ выглядывалъ, сквозь огромное слуховое окно, барабанъ и мѣдныя трубы. У воротъ стояли двѣ пушки. Все показывало, что хозяинъ дома любитъ повеселиться и дворъ часто оглашалъ пиршественные клики. За воротами находились двѣ вѣтряныя мельницы. Позади дома шли сады, и сквозь верхушки деревь видны были однѣ только темныя шляпки трубъ, скрывавшихся въ зеленой гущѣ хатъ. Все селеніе помѣщалось на широкомъ и ровномъ уступѣ горы. Съ сѣверной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взглядѣ на нее снизу, она казалась еще круче, и на высокой верхушкѣ ея торчали кое-гдѣ неправильные стебли тощаго бурьяна и чернѣли на свѣтломъ небѣ; обнаженный глинистый видъ ея навѣвалъ какое-то уныніе; она была вся изрыта дождевыми промонами и проточинами. На крутомъ косогорѣ ея въ двухъ мѣстахъ торчали двѣ хаты; надъ одною изъ нихъ раскидывала вѣтви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими колыями съ насыпною землею. Яблоки, сбиваемыя вѣтромъ, скатывались въ самый панскій дворъ. Съ вершины вилась по всей горѣ дорога и, опу-



стившись, шла мимо двора въ селенье. Когда философъ измѣрилъ страшную круть ея и вспомнилъ вчерашнее путешествіе, то рѣшилъ, что или у пана были слишкомъ умныя лошади, или у козаковъ слишкомъ крѣпкія головы, когда и въ хмельномъ чаду умѣли не полетѣть вверхъ ногами вмѣстѣ съ неизмѣримою брикой и багажомъ. Философъ стоялъ на высшемъ въ дворѣ мѣстѣ, и, когда оборотился и глянуть въ противоположную сторону, ему представился совершенно другой видъ. Селеніе вмѣстѣ съ отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство; яркая зелень ихъ темнѣла по мѣрѣ отдаленія, и цѣлые ряды селеній синѣли вдаль, хотя разстояніе ихъ было болѣе, нежели на двадцать верстъ. Съ правой стороны этихъ луговъ тянулись горы, и чуть замѣтною вдаль полоскою горѣлъ и темнѣлъ Днѣпръ.

«Эхъ, славное мѣсто!» сказалъ философъ: «вотъ тутъ бы жить, ловить рыбу въ Днѣпрѣ и въ прудахъ, охотиться съ тенетами или съ ружьемъ за стрелетами и крольшнечами! Впрочемъ, я думаю, и дрофъ не мало въ этихъ лугахъ. Фруктовъ же можно засушить и продать въ городъ множество или, еще лучше, выкурить изъ нихъ водку, потому что водка изъ фруктовъ ни съ какимъ пѣнникомъ не сравнится. Да не мѣшаетъ подумать и о томъ, какъ бы улизнуть отсюда».

Онъ примѣтилъ за плетнемъ маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяномъ; поставилъ машинально на нее ногу, думая напередъ только прогуляться, а потомъ тихомолкомъ, промежъ хатами, да и махнуть въ поле, какъ внезапно почувствовалъ на своемъ плечѣ довольно крѣпкую руку.

Позади его стоялъ тотъ самый старый козакъ, который вчера такъ горько собогѣзновалъ о смерти отца и матери и о своемъ одиночествѣ.

«Напрасно ты думаешь, панъ философъ, улепетнуть изъ хутора!» говорилъ онъ: «тутъ не такое заведеніе, чтобы можно было убѣжать; да и дороги для пѣшехода плохи; а ступай лучше къ пану: онъ ожидаетъ тебя давно въ свѣтилицѣ».

«Пойдемъ! Что-жъ... я съ удовольствіемъ», сказалъ философъ, и отправился вслѣдъ за козакомъ.

Сотникъ, уже престарѣлый, съ сѣдыми усами и съ выра-

женіемъ мрачной грусти, сидѣть передъ столомъ въ свѣтлицѣ, подперши обѣими руками голову. Ему было около пятидесяти лѣтъ; но глубокое уныніе на лицѣ и какой-то блѣдно-тощій цвѣтъ показывали, что душа его была убита и разрушена вдругъ въ одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезли навѣки. Когда взошелъ Хома вмѣстѣ съ старымъ козакомъ, онъ отнялъ одну руку и слегка кивнулъ головою на низкій ихъ поклонъ.

Хома и козакъ почтительно остановились у дверей.

«Кто ты, и откуда, и какого званія, добрый человѣкъ?» сказалъ сотникъ ни ласково, ни сурово.

«Изъ бурсаковъ, философъ Хома Брутъ...»

«А кто былъ твой отецъ?»

«Не знаю, вельможный панъ».

«А мать твоя?»

«И матери не знаю. По здравому разсужденію, конечно, была мать; но кто она и откуда, и когда жила,—ей-Богу, добродію, не знаю».

Старикъ помолчалъ и, казалось, минуту оставался въ задумчивости.

«Какъ же ты познакомился съ моею дочкою?»

«Не знакомился, вельможный панъ, ей-Богу, не знакомился! Еще никакого дѣла съ панночками не имѣлъ, сколько ни живу на свѣтѣ. Цуръ имъ, чтобы не сказать непристойнаго!»

«Отчего же она не другому кому, а тебѣ именно назначила читать?»

Философъ пожалъ плечами: «Богъ его знаетъ, какъ это растолковать. Извѣстное уже дѣло, что панамъ подчасъ захочется такого, что и самый наиграмотнѣйшій человѣкъ не разберетъ; и пословица говоритъ: «Скачи, враже, якъ панъ каже».

«Да не врешь ли ты, панъ философъ?»

«Вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ пусть громомъ такъ и хлопнетъ, если лгу».

«Если бы только минуточкой долѣе прожила ты», грустно сказалъ сотникъ: «то, вѣрно бы, я узналъ все. «Никому не давай читать по мнѣ, но пошли, тату, сей же часъ въ кievскую семинарію и привези бурсака Хому Брута; пусть три ночи молится по грѣшной душѣ моей. Онъ знаетъ...» А что такое знаетъ, я уже не слышалъ: она, голубонька,

только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человекъ, вѣрно, извѣстень святою жизнію своею и богоугодными дѣлами, и она, можетъ-быть, слышала о тебѣ».

— «Что? Я?» сказалъ бурсакъ, отступивши отъ изумленія. «Я святой жизни?» произнесъ онъ, посмотрѣвъ прямо въ глаза сотнику. «Богъ съ вами, панъ! Что вы это говорите! Да я,—хоть оно непристойно сказать,—ходилъ къ булочницѣ противъ самаго страстного четверга».

«Ну... вѣрно, уже недаромъ такъ назначено. Ты долженъ съ сего же дня начать свое дѣло».

«Я бы сказалъ на это вашей милости... Оно, конечно, всякій человекъ, вразумленный святому писанію, можетъ по соразмѣрности... только сюда приличіе бы требовалось дьякона или, по крайней мѣрѣ, дьяка. Они народъ толковый и знаютъ, какъ все это уже дѣлается; а я... Да у меня и голосъ не такой, и самъ я—чортъ знаетъ что. Никакого виду съ меня нѣтъ».

«Ужь какъ ты себя хочешь, только я все, что завѣщала мнѣ моя голубка, исполню, ничего не пожалѣя. И когда ты съ сего дня три ночи совершишь, какъ слѣдуетъ, надъ нею молитвы, то я награжу тебя; а не то—и самому чорту не совѣтую разсердить меня».

Послѣднія слова произнесены были сотникомъ такъ крѣпко, что философъ понять въполнѣ ихъ значеніе.

«Ступай за мною!» сказалъ сотникъ.

Они вышли въ сѣни. Сотникъ отворилъ дверь въ другую свѣтлицу, бывшую насупротивъ первой. Философъ остановился на минуту въ сѣняхъ высморкаться и съ какимъ-то безотчетнымъ страхомъ переступилъ черезъ порогъ.

Весь полъ былъ устланъ красною китайкой. Въ углу, подъ образами, на высокомъ столѣ, лежало тѣло умершей на отѣлѣ изъ синяго бархата, убранномъ золотою бахромой и кистями. Высогія восковыя свѣчи, увитыя калиною, стояли въ ногахъ и въ головахъ, изливая свой мутный, терявшійся въ дневномъ сіяніи, свѣтъ. Лицо умершей было заслонено отъ него неутѣшнымъ отцомъ, который сидѣлъ передъ нею, обратясь спиною къ дверямъ. Философа поразили слова, которыя онъ услышалъ:

«И не о томъ жалѣю, моя наимилѣйшая мнѣ дочь, что ты во цвѣтъ лѣтъ своихъ, не доживъ положеннаго вѣка, на печаль и горестъ мнѣ, оставила землю; я о томъ жалѣю,

моя голубонька, что не знаю того, кто былъ, лютой врагъ мой, причиною твоей смерти. И если бы я зналъ, кто могъ подумать только оскорбить тебя, или хоть бы сказать что-нибудь непріятное о тебѣ, то, клянусь Богомъ, не увидѣлъ бы онъ больше своихъ дѣтей, если онъ такъ же старъ, какъ и я, ни своего отца и матери, если только онъ еще на порѣ лѣтъ, и тѣло его было бы выброшено на сѣдненіе птицамъ и звѣрямъ степнымъ! Но горе мнѣ, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной вѣкъ свой безъ потѣхи, утирая полою дробныя слезы, текущія изъ старыхъ очей моихъ, тогда какъ врагъ мой будетъ веселиться и втайнѣ посмѣваться надъ хилымъ старцемъ...»

Онъ остановился, и причиною этого была разрывающая горестъ, разрѣшившаяся цѣлымъ потокомъ слезъ.

Философъ былъ тронутъ такою безутѣшною печалью; онъ закашлялъ и издалъ глухое крехтаніе, желая очистить имъ свой голосъ.

Сотникъ оборотился и указать ему мѣсто въ головахъ умершей, передъ небольшимъ налосемъ, на которомъ лежали книги.

«Три ночи какъ-нибудь отработаю», подумалъ философъ: «за то панъ набьетъ мнѣ оба кармана чистыми червонцами».

Онъ приблизился и, еще разъ откашлявшись, принялся читать, не обращая никакого вниманія на сторону и не рѣшаясь взглянуть въ лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Онъ замѣтилъ, что сотникъ вышелъ. Медленно поворотилъ онъ голову, чтобы взглянуть на умершую, и...

Трепетъ пробѣжалъ по его жиламъ: передъ нимъ лежала красавица, какая когда-либо бывала на землѣ. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы въ такой рѣзкой и вмѣстѣ гармонической красотѣ. Она лежала, какъ живая; чело прекрасное, нѣжное, какъ снѣгъ, какъ серебро, казалось, мыслило; брови—ночь среди солнечнаго дня, тонкія, ровныя, горделиво приподнялись надъ закрытыми глазами; а рѣсницы, упавшія стрѣлами на щеки, пылавшія жаромъ тайныхъ желаній; уста—рубины, готовые усмѣхнуться смѣхомъ блаженства, потокомъ радости... Но въ нихъ же, въ тѣхъ же самыхъ чертахъ, онъ видѣлъ что-то страшно-пронзительное. Онъ чувствовалъ, что душа его начинала какъ-то болѣзненно нить, какъ будто бы вдругъ

среди вихря веселья и закружившейся толпы заплѣть кто-нибудь пѣсню похоронную. Рубины устъ ея, казалось, прикипали кровью къ самому сердцу. Вдругъ что-то страшно-знакомое показалось въ лицѣ ея. «Вѣдьма!» вскрикнулъ онъ не своимъ голосомъ, отвелъ глаза въ сторону, поблѣднѣлъ весь и сталъ читать свои молитвы. Это была та самая вѣдьма, которую убилъ онъ!

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли въ церковь. Философъ однимъ плечомъ своимъ поддерживалъ черный траурный гробъ и чувствовалъ на плечѣ своемъ что-то холодное, какъ ледъ. Сотникъ самъ шелъ впереди, неся рукою правую сторону тѣснаго дома умершей. Церковь деревянная, почернѣвшая, убранная зеленымъ мохомъ, съ тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Замѣтно было, что въ ней давно уже не отправлялось никакого служенія. Свѣчи были зажжены почти передъ каждымъ образомъ. Гробъ поставили посерединѣ, противъ самага алтаря. Старый сотникъ поцѣловалъ еще разъ умершую, повергнулся ницъ и вышелъ вмѣстѣ съ носильщиками вонъ, давъ повелѣнiе хорошенько накормить философа и послѣ ужина проводить его въ церковь. Пришедши въ кухню, всѣ, несшіе гробъ, начали прикладывать руки къ печкѣ, что обыкновенно дѣлаютъ малороссiяне, увидѣвши мертвеца.

Голодь, который въ это время началъ чувствовать философа, заставилъ его на нѣсколько минутъ позабыть вовсе объ умершей. Скоро вся дворня мало-по-малу начала сходиться въ кухню. Кухня въ сотниковомъ домѣ была что-то похожее на клубъ, куда стекалось все, что ни обитало во дворѣ, считая въ это число и собакъ, приходившихъ съ машущими хвостами къ самымъ дверямъ за костями и помоями. Куда бы кто ни былъ посылаемъ и по какой бы то ни было надобности, онъ всегда прежде заходилъ на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавкѣ и выкурить люльку. Всѣ холостяки, жившіе въ домѣ, щеголявшіе въ козацкихъ свиткахъ, лежали здѣсь почти цѣлый день на лавкѣ, подъ лавкою, на печкѣ—однимъ словомъ, гдѣ только можно было сыскать удобное мѣсто для лежанья. Притомъ всякій вѣчно позабывалъ въ кухнѣ или шапку, или кнутъ для чужихъ собакъ, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собраніе бывало во время ужина, когда при-

ходилъ и табуникъ, успѣвшій загнать своихъ лошадей въ загонъ, и погонщикъ, приводившій коровъ для дойки, и всѣ тѣ, которыхъ въ теченіе дня нельзя было увидѣть. За ужиномъ болтовня овладѣвала самыми неговорливыми языками. Тутъ обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошилъ себѣ новыя шаровары, и что находится внутри земли, и кто видѣлъ волка. Тутъ было множество бонмотистовъ, въ которыхъ между малороссіянами нѣтъ недостатка.

Философъ усялся вмѣстѣ съ другими въ обширный кружокъ, на вольномъ воздухѣ, передъ порогомъ кухни. Скоро баба въ красномъ очипкѣ высунулась изъ дверей, держа въ обѣихъ рукахъ горячій горшокъ съ галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынулъ изъ кармана своего деревянную ложку; иные, за неимѣніемъ, деревянную спичку. Какъ только уста стали двигаться немного медленнѣе, и волчій голодъ всего этого собранія немного утихнулъ, многие начали заговаривать. Разговоръ, натурально, долженъ былъ обратиться къ умершей.

«Правда ли», сказалъ одинъ молодой овчаръ, который насадилъ на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговицъ и мѣдныхъ бляхъ, что былъ похожъ на лавку мелкой торговли: «правда ли, что панночка, не тѣмъ будь помянута, зналась съ нечистымъ?»

«Кто? Панночка?» сказалъ Дорошъ, уже знакомый прежде нашему философу: «да она была цѣлая вѣдьма! Я присягну, что вѣдьма!»

«Полно; полно, Дорошъ», сказалъ другой, который во время дороги изъявлялъ большую готовность утѣшать: «это не наше дѣло; Богъ съ нимъ! Нечего объ этомъ толковать».—Но Дорошъ вовсе не былъ расположенъ молчать; онъ только-что передъ тѣмъ сходилъ въ погребъ вмѣстѣ съ ключникомъ по какому-то нужному дѣлу и, наклонившись раза два къ двумъ или тремъ бочкамъ, вышелъ оттуда чрезвычайно веселый и говорилъ безъ умолку.

«Что ты хочешь? Чтобы я молчалъ?» сказалъ онъ: «да она на мнѣ самомъ ѣздила! Ей-Богу, ѣздила!»

«А что, дядько?» сказалъ молодой овчаръ съ пуговицами: «можно ли узнать по какимъ-нибудь примѣтамъ вѣдьму?»

«Нельзя», отвѣчалъ Дорошъ: «никакъ не узнаешь: хоть всѣ псалтыри перечитай, то не узнаешь».

«Можно. можно. Дорошъ: не говори этого», произнесъ прежній утѣшитель: «уже Богъ не даромъ далъ всякому особый обычай: люди, знающіе науку, говорятъ, что у вѣдьмы есть маленькій хвостикъ».

«Когда стара баба, то и вѣдьма», сказалъ хладнокровно сѣдой козакъ.

«О, ужъ хороши и вы!» подхватила баба, которая подливала въ то время свѣжихъ галушекъ въ очистившійся горшокъ: «настоящіе толстые кабаны!»

Старый козакъ, котораго имя было Явтухъ, а прозваніе Ковтунъ, выразилъ на губахъ своихъ улыбку удовольствія, замѣтивъ, что слова его задѣли за живое старуху; а погонщикъ скотины пустилъ такой густой смѣхъ, какъ будто бы два быка, ставши одинъ противъ другого, замычали разомъ.

Начавшійся разговоръ возбудилъ непреодолимое желаніе и любопытство философа узнать обстоятельнѣе про умершую сотникову дочь, и потому, желая опять навести его на прежнюю матерію, обратился къ сосѣду своему съ такими словами: «Я хотѣлъ спросить, почему все это сословіе, что сидитъ за ужиномъ, считаетъ панночку вѣдьмою? Что-жь, развѣ она кому-нибудь причинила зло, или извела кого-нибудь?»

«Было всякаго», отвѣчалъ одинъ изъ сидѣвшихъ, съ лицомъ гладкимъ, чрезвычайно похожимъ на лопату.

«А кто не припомнитъ пса́ря Микиту, или того»...

«А что-жь такое пса́рь Микита?» сказалъ философъ.

«Стои! я расскажу про пса́ря Микиту», сказалъ Дорошъ.

«Я расскажу про Микиту», отвѣчалъ табунщикъ: «потому что онъ былъ мой кумъ».

«Я расскажу про Микиту», сказалъ Спиридь.

«Пуškai, пускай Спиридь расскажетъ!» закричала толпа.

Спиридь началъ: «Ты, панъ философъ Хома, не зналъ Микиты. Эхъ, какой рѣдкій былъ человекъ! Собаку каждую знь, бывало, такъ знаетъ, какъ родного отца. Теперешній пса́рь Микола, что сидитъ третьимъ за мною, и въ подметки ему не годится. Хотя онъ тоже разумѣетъ свое дѣло, но онъ противъ него—дрянь, помои».

«Ты хорошо рассказываешь, хорошо!» сказалъ Дорошъ, одобрительно кивнувъ головою.

Спиридь продолжалъ: «Зайца увидитъ скорѣе, чѣмъ та-

бакъ утрешь изъ носу. Бывало, свистнеть: «а ну, Разбой! а-ну, Быстрая!» а самъ на конѣ во всю прыть, — и уже рассказать нельзя, кто кого скорѣе обгонитъ: онъ ли собаку, или собака его. Сивухи квартиру свистнеть вдругъ, какъ не бывало. Славный былъ псарь! Только съ недавняго времени началъ онъ заглядываться безпрестанно на панночку. Вклепался ли онъ точно въ нее, или уже она такъ его околдовала, только пропасть человѣкъ, обоимъ совсѣмъ; сдѣлался, чортъ знаетъ что, пфу! непристойно сказать».

«Хорошо», сказали Дорошъ.

«Какъ только панночка, бывало, взглянетъ на него, то и повода изъ рукъ пускаетъ, Разбой зоветъ Бровкомъ, спотыкается и ни вѣсть что дѣлаетъ. Одинъ разъ панночка пришла на конюшню, гдѣ онъ чистилъ коня. — «Дай», говорить, «Микитка, я положу на тебя свою ножку». А онъ, дурень, и радъ тому: говорить, что «не только ножку, но и сама садись на меня». Панночка подняла свою ножку, и какъ увидѣлъ онъ ея нагую, полную и бѣлую ножку, то, говорить, чара такъ и опеломила его. Онъ, дурень, нагнувъ спину и, схвативши обѣими руками за нагія ея ножки, пошелъ скакать, какъ конь, по всему полю, и куда они ѣздили, онъ ничего не могъ сказать; только воротился едва живой, и съ той поры изсохнулъ весь, какъ щепка; и когда разъ пришли на конюшню, то вмѣсто его лежала только куча золы да пустое ведро: сгорѣлъ совсѣмъ, сгорѣлъ самъ собою. А такой былъ псарь, какого на всемъ свѣтѣ не можно найти».

Когда Спиридь окончилъ рассказъ свой, со всѣхъ сторонъ пошли толки о достоинствахъ бывшаго псара.

«А про Шепчиху ты не слышалъ?» сказалъ Дорошъ, обращаясь къ Хомѣ.

«Нѣтъ».

«Эге, ге, ге! Такъ у васъ въ бурсѣ, видно, не слишкомъ большому разуму учать. Ну, слушай. У насъ есть на селѣ козакъ Шептунъ, — хорошій козакъ! Онъ любитъ иногда украсть и соврать безъ всякой нужды, но... хорошій козакъ. Его хата не такъ далеко отсюда. Въ такую самую пору, какъ мы теперь сѣли вечерять, Шептунъ съ жинкою, окончивши вечерю, легли спать, и такъ какъ время было хорошее, то Шепчиха легла на дворѣ, а Шептунъ



въ хатѣ, на лавкѣ; или нѣтъ: Шепчиха въ хатѣ на лавкѣ, а Шептунъ на дворѣ...»

«И не на лавкѣ, а на полу легла Шепчиха», подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.

Дорошъ поглядѣлъ на нее, потомъ поглядѣлъ внизъ, потомъ опять на нее и, немного помолчавъ, сказалъ: «Когда скину съ тебя при всѣхъ исподницу, то не хорошо будетъ».

Это предостереженіе имѣло свое дѣйствіе. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила рѣчи.

Дорошъ продолжалъ: «А въ люлькѣ, висѣвшей среди хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужескаго или женскаго пола. Шепчиха лежала, а потомъ слышитъ, что за дверью скребется собака и воетъ такъ, хоть изъ хаты бѣги. Она испугалась, ибо бабы — такой глупый народъ, что высунъ ей подъ-вечеръ изъ-за дверей языкъ, то и душа уйдетъ въ пятки. Однакожь думаетъ: «Дай-ка я ударю по мордѣ проклятую собаку, авось-либо перестанетъ выть», — и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успѣла она немного отворить, какъ собака кинулась промежъ ногъ ея и прямо къ дѣтской люлькѣ. Шепчиха видитъ, что это уже не собака, а панночка; да притомъ пускай бы уже панночка въ такомъ видѣ, какъ она ее знала, — это бы еще ничего; но вотъ вещь и обстоятельство, что она была вся синяя, а глаза горѣли, какъ уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить изъ него кровь. Шепчиха только закричала: «Охъ, лишечко!» да изъ хаты. Только видитъ, что въ сѣняхъ двери заперты; она на чердакъ; сидитъ и дрожить глупая баба; а потомъ видитъ, что панночка къ ней идетъ и на чердакъ, кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептунъ поутру вытащилъ оттуда свою жинку, всю искусанную и посинѣвшую; а на другой день и умерла глупая баба. Такъ вотъ какія устройства и обольщенія бываютъ! Оно хоть и панскаго помету, да все, когда вѣдьма, то вѣдьма».

Послѣ такого разсказа Дорошъ самодовольно оглянулся и засунулъ палецъ въ свою трубку, приготовляя ее къ набивкѣ табакомъ. Матерія о вѣдьмѣ сдѣлалась неисчерпаемою. Каждый въ свою очередь спѣшилъ что-нибудь разсказать. Къ тому вѣдьма, въ видѣ скирды сѣна, пріѣхала къ самымъ дверямъ хаты; у другого украла шапку или трубку; у

многихъ дѣвокъ на селѣ отрѣзала косу; у другихъ выпила по нѣскольку ведеръ крови.

Наконецъ, вся компанія опомнилась и увидѣла, что заболталась уже черезчуръ, потому что уже на дворѣ была совершенная ночь. Всѣ начали разбродиться по ночлегамъ, находившимся или на кухнѣ, или въ сараяхъ, или среди двора.

«А ну, панъ Хома! теперь и намъ пора итти къ покойницѣ», сказалъ сѣдой козакъ, обратившись къ философу, и всѣ четверо, въ томъ числѣ Спиридь и Дорошъ, отправились въ церковь, стегая кнутами собакъ, которыхъ на улицѣ было великое множество и которыя со злости грызли ихъ палки.

Философъ, несмотря на то, что успѣлъ подкрѣпить себя доброю кружкою горѣлки, чувствовалъ втайнѣ подступавшую робость, по мѣрѣ того, какъ они приближались къ освѣщенной церкви. Разказы и странныя исторіи, слышанные имъ, помогали еще болѣе дѣйствовать его воображенію. Мракъ подъ тыномъ и деревьями начиналъ рѣдѣть; мѣсто становилось обнаженнѣе. Они вступили наконецъ за ветхую перковную ограду въ небольшой дворикъ, за которымъ не было ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощенные ночнымъ мракомъ луга. Три козака вошли вмѣстѣ съ Хомою по крутой лѣстницѣ на крыльцо и вступили въ церковь. Здѣсь они оставили философа, пожелавъ ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за нимъ дверь, по приказанію пана.

Философъ остался одинъ. Сначала онъ зѣвнулъ, потомъ потянулся, потомъ фукнулъ въ обѣ руки и наконецъ уже осмотрѣлся. Посрединѣ стоялъ черный гробъ; свѣчи теплились предъ темными образами: свѣтъ отъ нихъ освѣщалъ только иконостасъ и слегка середину церкви; отдаленные углы притвора были закутаны мракомъ. Высокій старинный иконостасъ уже показывалъ глубокую ветхость; сквозная рѣзьба его, покрытая золотомъ, еще блестя одними только искрами: позолота въ одномъ мѣстѣ опала, въ другомъ вовсе почернѣла; лики святыхъ, совершенно потемнѣвшіе, глядѣли какъ-то мрачно. Философъ еще разъ осмотрѣлся. «Что жъ?» сказалъ онъ: «чего тутъ бояться? Человѣкъ придти сюда не можетъ, а отъ мертвецовъ и выходцевъ съ того свѣта есть у меня молитвы, такія, что какъ прочитаю,

то они меня и пальцемъ не тронуть. Ничего!» повторилъ онъ, махнувъ рукою: «будемъ читать». Подходя къ клиросу, увидѣлъ онъ нѣсколько связокъ свѣчей. «Это хорошо», подумалъ философъ: «нужно освѣтить всю церковь такъ, чтобы видно было, какъ днемъ. Эхъ, жаль, что во храмѣ Божіемъ не можно люльки выкурить!»

И онъ принялся прилѣплять восковыя свѣчи ко всѣмъ карнизамъ, наоямъ и образамъ, не жалѣя ихъ нимало, и скоро вся церковь наполнилась свѣтомъ. Вверху только мракъ сдѣлался какъ будто сильнѣе, и мрачныя образа глядѣли угрюмѣе изъ старинныхъ рѣзныхъ рамъ, кое-гдѣ сверкавшихъ позолотой. Онъ подошелъ ко гробу, съ робостью посмотрѣлъ въ лицо умершей — и не могъ не зажмурить, нѣсколько вздрогнувши, своихъ глазъ; такая страшная, сверкающая красота!

Онъ отвернулся и хотѣлъ отойти; но, по странному любопытству, по странному перечисляющему себя чувству, не оставляющему человѣка, особенно во время страха, онъ не утерпѣлъ, уходя, не взглянуть на нее и, потомъ, ощутивши тотъ же трепеть, взглянулъ еще разъ. Въ самомъ дѣлѣ, рѣзкая красота усопшей казалась страшною. Можетъ-быть, даже она не поразила бы такимъ паническимъ ужасомъ, если бы была нѣсколько безобразнѣе. Но въ ея чертахъ ничего не было тусклаго, мутнаго, умершаго; оно было живо, и философу казалось, какъ будто бы она глядитъ на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, какъ будто изъ-подъ рѣсницы праваго глаза ея покатиалась слеза, и когда она остановилась на щекѣ, то онъ различилъ ясно, что это была капля крови.

Онъ постыжно отошелъ къ клиросу, развернулъ книгу и, чтобы болѣе ободрить себя, началъ читать самымъ громкимъ голосомъ. Голосъ его поразилъ церковныя деревянныя стѣны, давно молчаливыя и оглохлыя; одиноко, безъ эха, сыпался онъ густымъ басомъ въ совершенно мертвой тишинѣ и казался нѣсколько дикимъ даже самому тещу. «Чего бояться?» думалъ онъ между тѣмъ самъ про себя: «вѣдь она не встанетъ изъ своего гроба, потому что побойтсѣ Божьяго слова. Пусть лежитъ! Да и что я за козакъ, когда бы утратился? Ну, выпилъ лишнее — оттого и показывается страшно. А понюхать табакъ. Эхъ, добрый табакъ! Славный табакъ! Хорошій табакъ!» Однакоже, перелистывая каждую стра-

ницу, онъ посматривалъ искоса на гробъ, и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вотъ, вотъ встанеть! Вотъ поднимется, вотъ выглянетъ изъ гроба!»

Но тишина была мертвая; гробъ стоялъ неподвижно; свѣчи лили цѣлый потоппъ свѣта. Страшна освѣщенная церковь ночью, съ мертвымъ тѣломъ и безъ души людей!

Возвыся голосъ, онъ началъ пѣть на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, но чрезъ каждую минуту обращалъ глаза свои на гробъ, какъ будто бы задавая невольный вопросъ: «Что, если подымется, если встанетъ она?»

Но гробъ не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звукъ, какое-нибудь живое существо, даже сверчокъ отозвался изъ угла! Чуть только слышался легкій трескъ какой-нибудь отдаленной свѣчки, или слабый, слегка хлопнувшій звукъ восковой капли, падавшей на полъ.

«Ну, если подымется?..»

Она приподняла голову...

Онъ дико взглянулъ и протеръ глаза. Но она, точно, уже не лежить, а сидитъ въ своемъ гробѣ. Онъ отверлъ глаза свои и опять съ ужасомъ обратилъ ихъ на гробъ. Она встала... идетъ по церкви съ закрытыми глазами, безпрестанно расправляя руки, какъ бы желала поймать кого-нибудь.

Она идетъ прямо къ нему. Въ страхѣ, очертилъ онъ около себя кругъ; съ усиленіемъ началъ читать молитвы и произносить заклинанія, которымъ научилъ его одинъ монахъ, видѣвшій всю жизнь свою вѣдьмъ и нечистыхъ духовъ.

Она стала почти на самой чертѣ; но видно было, что не имѣла силъ переступить ее, и вся посинѣла, какъ человекъ, уже нѣсколько дней умершій. Хома не имѣлъ духа взглянуть на нее: она была страшна. Она ударила зубами въ зубы и открыла мертвые глаза свои; но, не видя ничего, съ бѣшенствомъ, — что выразило ся задрожавшее лицо, — обратилась въ другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столпъ и уголъ, стараясь поймать Хома. Наконецъ, остановилась, погрозивъ пальцемъ, и легла въ свой гробъ.

Философъ все еще не могъ придти въ себя и со страхомъ поглядывать на это тѣсное жилище вѣдьмы. Наконецъ, гробъ вдругъ сорвался съ своего мѣста и со свистомъ на-

чать летать по всей церкви, крестя во всѣхъ направле-  
ніяхъ воздухъ. Философъ видѣлъ его почти надъ головою,  
но вмѣстѣ съ тѣмъ видѣлъ, что онъ не могъ зацѣпить круга,  
имъ начерченного, и усилилъ свои заклинанія. Гробъ гря-  
нулся на срединѣ церкви и остался неподвижнымъ. Трупъ  
опять поднялся изъ него синій, позеленѣвшій. Но въ то  
время послышался отдаленный крикъ пѣтуха; трупъ опу-  
стился въ гробъ и захлопнулся гробовою крышкою.

Сердце у философа билось и потъ катился градомъ; но,  
ободренный пѣтушьимъ крикомъ, онъ дочитывалъ быстрые  
листы, которые долженъ былъ прочесть прежде. При пер-  
вой зарѣ пришли смѣнить его дьячокъ и сѣдой Явтухъ,  
который на тотъ разъ отправлялъ должность церковнаго  
старосты.

Пришедши на отдаленный ночлегъ, философъ долго не  
могъ заснуть; но усталость одолѣла, и онъ проспалъ до  
обѣда. Когда онъ проснулся, все ночное событіе казалось  
ему происходившимъ во снѣ. Ему дали, для подкрѣпленія  
силъ, кварту горѣлки. За обѣдомъ онъ скоро развязался,  
присовокушилъ кое къ чему замѣчанія, и съѣлъ почти одинъ  
довольно большого поросенка; но однакоже о своемъ собы-  
тіи въ церкви онъ не рѣшался говорить по какому-то без-  
отчетному для него самому чувству, и на вопросы любопыт-  
ныхъ отвѣчалъ: «Да, были всякія чудеса». Философъ былъ  
изъ числа тѣхъ людей, которыхъ если накормятъ, то, у  
нихъ пробуждается необыкновенная филантропія. Онъ, лежа  
съ своей трубкой въ зубахъ, глядѣлъ на всѣхъ необыкно-  
венно сладкими глазами и безпрерывно поплевывалъ въ  
сторону.

Послѣ обѣда философъ былъ совершенно въ духѣ. Онъ  
успѣлъ обходить все селеніе, перезнакомиться почти со  
всѣми; изъ двухъ хатъ его даже выгнали; одна смазливая  
молодка хватила его порядочно лопатою по спинѣ, когда  
онъ вздумалъ было пощупать и полюбопытствовать, изъ  
какой матеріи у нея была сорочка и плахта. Но чѣмъ  
болѣе время близилось къ вечеру, тѣмъ задумчивѣе стано-  
вился философъ. За часъ до ужина вся почти дворянъ соби-  
ралась играть въ кашу, или въ крагли, — родъ кеглей, гдѣ,  
вмѣсто шаровъ, употребляются длинныя палки, и выиграв-  
шій имѣетъ право пробѣжаться на другомъ верхомъ. Эта  
игра становилась очень интересною для зрителей: часто по-

гонщикъ, широкій, какъ блинъ, взлѣзалъ верхомъ на свиного пастуха, тпедушнаго, низенькаго, всего состоявшаго изъ морщинъ. Въ другой разъ погонщикъ подставлялъ свою спину, и Дорошъ, вскочивши на нее, всегда говорилъ: «Экой здоровый быкъ!» У порога кухни сидѣли тѣ, которые были поселидѣе. Они глядѣли чрезвычайно серьезно, курия люльки, даже и тогда, когда молодежь отъ души смѣялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида. Хома напрасно старался вмѣшаться въ эту игру: какая-то темная мысль, какъ гвоздь, сидѣла въ его головѣ. За вечерей сколько ни старался онъ развеселить себя, но страхъ загорался въ немъ вмѣстѣ съ тьмою, распростиравшеюся по небу.

«А ну, пора намъ, панъ бурсакъ!» сказали ему знакомый сѣдой козакъ, подымаясь съ мѣста вмѣстѣ съ Дорошемъ: «пойдемъ на работу».

Хому опять такимъ же самымъ образомъ отвели въ церковь; опять оставили его одного и заперли за нимъ дверь. Какъ только онъ остался одинъ, робость начала вѣдраться снова въ его грудь. Онъ опять увидѣлъ темные образа, блестящія рамы и знакомый черный гробъ, стоявшій въ угрожающей тишинѣ и неподвижности среди церкви.

«Что жъ?» произнесъ онъ: «теперь вѣдь мнѣ не въ диковинку это диво. Оно съ перваго раза только страшно. Да, оно только съ перваго раза немного страшно, а тамъ оно уже не страшно; оно уже совсѣмъ не страшно».

Онъ поспѣшно сталъ на клиросъ, очертилъ около себя кругъ, произнесъ нѣсколько заклинаній и началъ читать громко, рѣшаясь не подымать съ книги своихъ глазъ и не обращать вниманія ни на что. Уже около часа читалъ онъ и начиналъ нѣсколько уставать и покашливать; онъ вынулъ изъ кармана рожокъ и, прежде нежели поднесъ табакъ къ носу, робко повелъ глазами на гробъ. На сердцѣ у него захолонуло: трупъ уже стоялъ передъ нимъ на самой чертѣ и вперилъ въ него мертвые, позеленѣвшіе глаза. Бурсакъ содрогнулся, и холодъ чувствительно пробѣжалъ по всѣмъ его жиламъ. Потупивъ очи въ книгу, сталъ онъ читать громче свои молитвы и заклѣтья и слышалъ, какъ трупъ опять ударилъ зубами и замахалъ руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка однимъ глазомъ, увидѣлъ онъ, что трупъ не тамъ ловить его, гдѣ стоялъ онъ, и, какъ

видно, не могъ видѣть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшныя слова; хрипло всхлипывали они, какъ клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не могъ бы сказать онъ, но что-то страшное въ нихъ заключалось. Философъ въ страхѣ полять, что она творила заклинанія.

Вѣтеръ пошелъ по церкви отъ словъ, и послышался шумъ, какъ бы отъ множества летящихъ крыль. Онъ слышалъ, какъ бились крыльями въ стекла церковныхъ оконъ и въ желѣзныя рамы, какъ царапали съ визгомъ когтями по желѣзу и какъ несмѣтная сила громила въ двери и хотѣла вломиться. Сильно у него билось во все время сердце; зажмуривъ глаза, все читалъ онъ заклѣтья и молитвы. Наконецъ, вдругъ что-то засвистало вдали: это былъ отдаленный крикъ пѣтуха. Изнуренный философъ остановился и отдохнулъ духомъ.

Вошедшіе смѣнить его нашли его едва жива; онъ оперся спиною объ стѣну и, выпуча глаза, глядѣлъ неподвижно на пришедшихъ козаковъ. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панскій дворъ, онъ встряхнулся и велѣлъ себѣ подать квартиру горѣлки. Выпивши ее, онъ пригладить на головѣ своей волосы и сказалъ: «Много на свѣтѣ всякой дряни водится! А страхи такіе случаются, ну...» При этомъ философъ махнулъ рукою.

Собравшіеся вокругъ него потупили головы, услышавъ такія слова. Даже небольшой мальчикъ, котораго вся дворянѣ считала въ правѣ уполномочивать вмѣсто себя, когда дѣло шло къ тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этотъ бѣдный мальчишка тоже разинулъ ротъ.

Въ это время проходила мимо еще не совсѣмъ пожилая бабенка, въ плотно обтянутой запаскѣ, выказывавшей ея круглый и крѣпкій станъ, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь прищипить къ своему очипку: или кусокъ ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.

«Здравствуй, Хома!» сказала она, увидѣвъ философа. «Ай, ай, ай! что это съ тобою?» вскрикнула она, всплеснувъ руками.

«Какъ что, глупая баба?»

«Ахъ, Боже мой! да ты весь посыдѣлъ!»

«Эге, ге! Да она правду говорит!» пропнесь Спиридъ, всматриваясь въ него пристально. «Ты, точно, посѣдѣть, какъ нашъ старый Явтухъ!»

Философъ, услышавши это, побѣжалъ опрометью въ кухню, гдѣ онъ замѣтилъ прилѣпленный къ стѣнѣ, обпачканный мухами, треугольный кусокъ зеркала, передъ которымъ были натыканы незабудки, барвинки и даже гирлянда изъ нагидокъ, показывавшія назначеніе его для туалета щеголеватой кокетки. Онъ съ ужасомъ увидѣлъ истину ихъ словъ: половина волосъ его, точно, побѣтѣла.

Повѣсилъ голову Хома Брутъ и предался размышленію. «Пойду къ пану», сказалъ онъ наконецъ: «разскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляетъ меня сей же часъ въ Кіевъ».

Въ такихъ мысляхъ направилъ онъ путь свой къ крыльцу панскаго дома.

Сотникъ сидѣлъ почти неподвиженъ въ своей свѣтлицѣ. Та же самая безнадежная печаль, какую онъ встрѣтилъ прежде на его лицѣ, сохранялась въ немъ и донинѣ. Только щеки его опали гораздо болѣе прежняго. Замѣтно было, что онъ очень мало употреблялъ пищи, или, можетъ-быть, даже вовсе не касался ея. Необыкновенная блѣдность придавала ему какую-то каменную неподвижность.

«Здравствуй, небоже!» пропнесь онъ, увидѣвъ Хому, остановившагося съ шапкою въ рукахъ у дверей. «Что, какъ идешь у тебя? Все благополучно?»

«Благополучно-то, благополучно; такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несутъ».

«Какъ такъ?»

«Да ваша, панъ, дочка... По здравому разсужденію, она, конечно, есть панскаго роду, въ томъ никто не станетъ прекословить; только, не во гнѣвъ будь сказано, упокой Богъ ея душу...»

«Что же дочка?»

«Припустила къ себѣ сатану. Такіе страхи задаетъ, что никакое писаніе не учитывается».

«Читай, читай! Она не даромъ призвала тебя: она заботилась, голубонька моя, о душѣ своей и хотѣла молитвами изгнать всякое дурное помышленіе».

«Власть ваша, панъ: ей-Богу, неумогуту!»



«Читай, читай!» продолжалъ тѣмъ же увѣщательнымъ голосомъ сотникъ: «тебѣ одна ночь теперь осталась; ты сдѣлаешь христіанское дѣло, и я награжу тебя».

«Да какія бы ни были награды... Какъ ты себѣ хочь, панъ, а я не буду читать!» произнесъ Хома рѣшительно.

«Слушай, философы!» сказалъ сотникъ, и голосъ его сдѣлался крѣпокъ и грозенъ: «я не люблю этихъ выдумокъ. Ты можешь это дѣлать въ вальей бурсѣ, а у меня не такъ: я уже какъ отдеру, такъ не то, что ректоръ. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные канчуки?»

«Какъ не знаты!» сказалъ философъ, понизивъ голосъ: «всякому извѣстно, что такое кожаные канчуки: при большомъ количествѣ—вещь нестерпимая».

«Да. Только ты не знаешь еще, какъ хлопцы мои умѣютъ парить!» сказалъ сотникъ грозно, подымаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирѣпое выраженіе, обнаружившее весь необузданный его характеръ, усиленный только на время горестью. «У меня прежде выпарять, потомъ вспрыснуть горѣлкою, а постѣ опять. Ступай, ступай, исправляй свое дѣло! Не исправишь—не встанешь, а исправишь—тысяча червонныхъ!»

«Ого, го! да это хватъ!» подумалъ философъ, выходя: «съ этимъ нечего шутить. Стой, стой, пріятель: я такъ наострю лыжи, что ты съ своими собаками не утонишься за мною».

И Хома положилъ непременно бѣжать. Онъ выжидалъ только послѣобѣденнаго часа, когда вся дворня имѣла обыкновеніе забираться въ сѣно подъ сараями и, отерывши ротъ, испускать такой храпъ и свистъ, что панское подворье дѣлалось похожимъ на фабрику.

Это время, наконецъ, настало. Даже и Явтухъ зажмурилъ глаза, растянувшись передъ солнцемъ. Философъ со страхомъ и дрожью отправился потихоньку въ панскій садъ, откуда, ему казалось, удобнѣе и незамѣтнѣе было бѣжать въ поле. Этотъ садъ, по обыкновенію, былъ страшно запущенъ и, стало-быть, чрезвычайно способствовалъ всякому тайному предпріятію. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лоухомъ, просунувшими на самый верхъ свои высокіе стебли съ цѣпкими розовыми шишками. Хмель покрывать, какъ будто

сѣтью, вершину всего этого пестраго собранія деревь и кустарниковъ и составлять надъ ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую съ него вьющимися змѣями, вмѣстѣ съ дикими полевыми колокольчиками. За плетнемъ, служившимъ границею сада, шель пѣлый лѣсъ бурьяна, въ который, казалось, никто не любопытствовалъ заглядывать, и коса разлетѣлась бы вдребезги, если бы захотѣла коснуться лезвеемъ своимъ одеревянѣвшихъ толстыхъ стеблей его.

Когда философъ хотѣлъ перешагнуть черезъ плетень, зубы его стучали и сердце такъ сильно билось, что онъ самъ испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипла къ землѣ, какъ будто ее кто приколотилъ гвоздемъ. Когда онъ переступалъ плетень, ему, казалось, съ оглушительнымъ свистомъ трещалъ въ уши какой-то голосъ: «Куда, куда?» Философъ юркнулъ въ бурьянъ и пустился бѣжать, безпрестанно спотыкаясь о старые корни и давя ногами кротовъ. Онъ видѣлъ, что ему, выбравшись изъ бурьяна, стоило перебѣжать поле, за которымъ чернѣлъ густой терновникъ, гдѣ онъ считалъ себя безопаснымъ, и, пройдя который, онъ, по предположенію своему, думать встрѣтить дорогу прямо въ Кіевъ. Поле онъ перебѣжалъ вдругъ и очутился въ густомъ терновникѣ. Сквозь терновникъ онъ пролѣзъ, оставивъ, вмѣсто пошлыны, куски своего сюртука на каждомъ остромъ шипѣ, и очутился на небольшой лощинѣ. Верба раздѣлвившимися вѣтвями преклонялась надъ почти до самой земли. Небольшой источникъ сверкалъ чистый, какъ серебро. Первое дѣло философа было прилечь и напиться, потому что онъ чувствовалъ жажду нестерпимую. «Добрая вода!» сказалъ онъ, утирая губы: «тутъ бы можно отдохнуть».

«Нѣтъ, лучше побѣжимъ впередъ: неравно будетъ погоня!»

Эти слова раздались у него надъ ушами. Онъ оглянулся—передъ нимъ стоялъ Явтухъ.

«Чортовъ Явтухъ!» подумалъ въ сердцахъ про себя философъ: «я бы взялъ тебя, да за ноги... И мерзкую рожу твою, и все, что ни есть на тебѣ, побилъ бы дубовымъ бревномъ».

«Напрасно далъ ты такой крюкъ», продолжалъ Явтухъ: «гораздо лучше было выбрать ту дорогу, по какой шель я: прямо мимо конюшни. Да притомъ и сюртука жаль. А сукно

хорошее. Почему платить за аршин? Однакожь, погуляли довольно: пора и домой».

Философъ, почесываясь, побрелъ за Явтухомъ. «Теперь проклятая вѣдьма задастъ мнѣ пфейферу!» подумалъ онъ. «Да, впрочемъ, что я въ самомъ дѣлѣ? Чего боюсь? Развѣ я не козакъ? Вѣдь читалъ же двѣ ночи, поможетъ Богъ и третью. Видно, проклятая вѣдьма порядочно грѣховъ надѣлала, что нечистая сила такъ за нее стоитъ».

Такія размышленія занимали его, когда онъ вступалъ на панскій дворъ. Ободривши себя такими замѣчаніями, онъ упросилъ Дороша, который, посредствомъ протекціи ключника, имѣлъ иногда входъ въ панскіе погреба, вытащить суну сивухи, и оба пріятеля, сѣвши подъ сараемъ, вытянули немного не полведра, такъ что философъ, вдругъ поднявшись на ноги, закричалъ: «Музыкантовъ! непременно музыкантовъ!» и, не дождавшись музыкантовъ, пустился среди двора на расчищенномъ мѣстѣ отплясывать тропака. Онъ танцевалъ до тѣхъ поръ, пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, какъ водится въ такихъ случаяхъ, въ кружокъ, наконецъ, плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вотъ это какъ долго танцуетъ человѣкъ!» Наконецъ, философъ тутъ же легъ спать, и добрый ушатъ холодной воды могъ только пробудить его къ ужину. За ужиномъ онъ говорилъ о томъ, что такое козакъ, и что онъ не долженъ бояться ничего на свѣтѣ.

«Пора», сказалъ Явтухъ: «пойдемъ».

«Спичка тебѣ въ языкъ, проклятый кнуръ!» подумалъ философъ и, вставъ на ноги, сказалъ: «Пойдемъ!»

Идя дорогою, философъ безпрестанно поглядывалъ по сторонамъ и слегка заговаривалъ со своими провожатыми. Но Явтухъ молчалъ; самъ Дорошъ былъ неразговорчивъ. Ночь была адская. Волки были вдали цѣлою стаей, и самый лай собачій былъ какъ-то страшень.

«Кажется, какъ будто что-то другое воетъ: это не волкъ», сказалъ Дорошъ. Явтухъ молчалъ. Философъ не нашелся сказать ничего.

Они приблизились къ перкви и вступили подъ ея ветхіе деревянные своды, показывавшіе, какъ мало заботился владѣтель помѣстья о Богѣ и о душѣ своей. Явтухъ и Дорошъ попрежнему удалились, и философъ остался одинъ.

Все было такъ же, все было въ томъ же самомъ грозно-

знакомомъ видѣ. Онъ на минуту остановился. Посерединѣ все такъ же неподвижно стоялъ гробъ ужасной вѣдьмы. «Не побоюсь; ей-Богу, не побоюсь!» сказалъ онъ и, очертивши попрежнему около себя кругъ, началъ припоминать всѣ свои заклинанія. Тишина была страшная; свѣчи трепетали и обливали свѣтомъ всю церковь. Философъ перевернулъ одинъ листъ, потомъ перевернулъ другой и замѣтилъ, что онъ читаетъ совсѣмъ не то, что писано въ книгѣ. Со страхомъ перекрестился онъ и началъ пить. Это нѣсколько ободрило его; чтеніе пошло впередъ, и листы мелькали одинъ за другимъ.

Вдругъ... среди тишины... съ трескомъ лопнула желѣзная крышка гроба и поднялся мертвецъ. Еще страшнѣе быть онъ, чѣмъ въ первый разъ. Зубы его страшно ударились рядъ о рядъ, въ судорогахъ задержались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинанія. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетѣли сверху внизъ разбитыя стекла окошекъ. Двери сорвались съ петель, и несмѣтная сила чудовищъ влетѣла въ Божью церковь. Страшный шумъ отъ крылъ и отъ царапанья когтей наполнилъ всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хомы вышелъ изъ головы послѣдній остатокъ хмеля. Онъ только крестился, да читалъ, какъ попало, молитвы. И въ то же время слышалъ, какъ нечистая сила металась вокругъ его, чуть не зацѣпляя его концами крылъ и отвратительныхъ хвостовъ. Не имѣлъ духу разглядѣть онъ ихъ; видѣлъ только, какъ во всю стѣну стояло какое-то огромное чудовище въ своихъ перепутанныхъ волосахъ, какъ въ лѣсу; сквозь стѣну волосъ глядѣли страшно два глаза, поднявъ немного вверхъ брови. Надъ нимъ держалось въ воздухѣ что-то въ видѣ огромнаго пузыря, съ тысячею протянутыхъ изъ середины клещей и скорпіонныхъ жалъ; черная земля висѣла на нихъ клоками. Всѣ глядѣли на него, искали и не могли увидѣть его, окруженнаго таинственнымъ кругомъ. «Приведите Вія! Ступайте за Віемъ!» раздались слова мертвеца.

И вдругъ настала тишина въ церкви; слышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшіе по церкви. Взглянувъ искоса, увидѣлъ онъ, что ведутъ какого-то приземистаго, дюжаго, косолапаго человѣка. Весь былъ онъ въ черной землѣ. Какъ жилистые, крѣпкіе

корни, выдавались его, засыпанныя землею, ноги и руки. Тяжело ступалъ онъ, поминутно оступаясь. Длинные вѣки опущены были до самой земли. Съ ужасомъ замѣтилъ Хома, что лицо было на немъ желѣзное. Его привели подъ руки и прямо поставили къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ Хома.

«Подымите мнѣ вѣки: не вижу!» сказалъ подземнымъ голосомъ Вій,—и все сонмище кинулось подымать ему вѣки. «Не гляди!» шепнулъ какой-то внутренній голосъ философу. Не вытерпѣлъ онъ, и глянулъ.

«Вотъ онъ!» закричалъ Вій, и уставилъ на него желѣзный палецъ. И всѣ, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, грянулся онъ на землю, и тутъ же вылетѣлъ духъ изъ него отъ страха.

Раздался пѣтушій крикъ. Это былъ уже второй крикъ: первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто какъ попало, въ окна и двери, чтобы поскорѣе вылетѣть; но не тутъ-то было: такъ и остались они тамъ, завязнувши въ дверяхъ и окнахъ.

Вошедшій священникъ остановился при видѣ такого по-срамленья Божьей святыни и не посмѣлъ служить панихиду въ такомъ мѣстѣ. Такъ навѣки и осталась церковь, съ завязнувшими въ дверяхъ и окнахъ чудовищами, обросла лѣсомъ, корнями, бурьяномъ, дикимъ терновникомъ, и никто не найдетъ теперь къ ней дороги.

---

Когда слухи объ этомъ дошли до Кіева, и богословъ Халява услышалъ, наконецъ, о такой участи философа Хома, то предался цѣлый часъ раздумью. Съ нимъ, въ продолженіе того времени, произошли большія перемѣны. Счастіе ему улыбнулось: по окончаніи курса наукъ, его сдѣлали звонаремъ самой высокой колокольни, и онъ всегда почти являлся съ разбитымъ носомъ, потому что деревянная лѣстница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сдѣлана.

«Ты слышалъ, что случилось съ Хомою?» сказалъ, подошедши къ нему, Тиберій Горобецъ, который въ то время былъ уже философъ и носить свѣжіе усы.

«Такъ ему Богъ далъ», сказалъ звонарь Халява. «Пойдемъ въ шинокъ, да помянемъ его душу!»

Молодой философъ, который съ жаромъ энтузіаста началъ пользоваться своими правами, такъ что на немъ и

шаровары, и сюртукъ, и даже шапка отзывались спиртомъ и табачными корешками, въ ту же минуту изъавиль готовность.

«Славный былъ человѣкъ Хома!» сказать звонарь, когда хромой шинкарь поставилъ передъ нимъ третью кружку. «Знатный былъ человѣкъ! А пропасть ни за что».

«А я знаю, почему пропалъ онъ: оттого, что побоялся; а если бы не боялся, то бы вѣдьма ничего не могла съ нимъ сдѣлать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвостъ ей, то и ничего не будетъ. Я знаю уже все это. Вѣдь у насъ, въ Кіевѣ, всѣ бабы, которыя сидятъ на базарѣ, всѣ—вѣдьмы».

На это звонарь кивнулъ головою въ знакъ согласія. Но, замѣтивши, что языкъ его не могъ произнести ни одного слова, онъ осторожно всталъ изъ-за стола и, пошатываясь на обѣ стороны, понелъ спрятаться въ самое отдаленное мѣсто въ бурьянѣ; при чемъ не позабылъ, по прежней привычкѣ своей, утащить старую подошву отъ сапога, валившуюся на лавкѣ.



# ПОВѢСТЬ

о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ.

## ГЛАВА I.

Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ.

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличѣйшая! А какія смушки! Фу, ты пропасть, какія смушки! сизыя съ морозомъ! Я ставлю, Богъ знаетъ что, если у кого-либо найдутся такія! Взгляните, ради Бога, на нихъ,—особенно, если онъ станетъ съ кѣмъ-нибудь говорить, — взгляните сбоку: что это за объѣденіе! Описать нельзя: бархатъ! серебро! огонь! Господи Боже мой! Николай Чудотворецъ, угодникъ Божій! отчего же это у меня нѣтъ такой бекешы! Онъ сшилъ ее тогда еще, когда Агаѳія Федосѣевна не ѣздила въ Кіевъ. Вы знаете Агаѳію Федосѣевну? Та самая, что откусила ухо у застѣдателя.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Какой у него домъ въ Миргородѣ! Вокругъ него, со всѣхъ сторонъ, навѣсъ на дубовыхъ столбахъ, подъ навѣсомъ вездѣ скамейки. Иванъ Ивановичъ, когда сдѣлается слишкомъ жарко, скинетъ съ себя и бекешу, и исподнее, самъ останется въ одной рубашкѣ и отдыхаетъ подъ навѣсомъ, и глядитъ, что дѣлается во дворѣ и на улицѣ. Какія у него яблони и груши подъ самыми окнами! Отворите только окно — такъ вѣтви сами и врываются въ комнату. Это все передъ до-

момъ; а посмотрѣли бы, что у него въ саду! Чего тамъ нѣтъ? Сливы, вишни, черешни, огорожина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человекъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень любитъ дыни; это его любимое кушанье. Какъ только отобѣдаетъ и выйдетъ въ одной рубанкѣ подъ навѣсъ, сейчасъ приказываетъ Гапкѣ принести двѣ дыни, и уже самъ разрѣжетъ, соберетъ сѣмена въ особую бумажку и начнетъ кушать. Потомъ велитъ Гапкѣ принести чернильницу и самъ, собственною рукою, сдѣлаетъ надпись надъ бумажкою съ сѣменами: «Сія дыня съѣдена такого-то числа». Если при этомъ былъ какой-нибудь гость, то «участвовать такой-то».

Покойный судья миргородскій всегда любовался, глядя на домъ Ивана Ивановича. Да, домишко очень недуренъ. Мнѣ нравится, что къ нему со всѣхъ сторонъ пристроены сѣни и сѣнички, такъ что если взглянуть на него издали, то видны однѣ только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походитъ на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше, на губки, нарастающія на деревь. Впрочемъ, крыши всѣ крыты очеретомъ; ива, дубъ и двѣ яблони облокотились на нихъ своими раскидистыми вѣтвями. Промежъ деревьевъ мелькаютъ и выбѣгаютъ даже на улицу небольшія окошки съ рѣзными выбѣленными ставнями.

Прекрасный человекъ Иванъ Ивановичъ! Его знаетъ и комиссаръ полтавскій! Дорошъ Тарасовичъ Пухвочка, когда ѣдетъ изъ Хоролъ, то всегда заѣзжаетъ къ нему. А протопъ отецъ Петръ, что живетъ въ Колибердѣ, когда соберется у него человекъ пятокъ гостей, всегда говоритъ, что онъ никого не знаетъ, кто бы такъ исполнять долгъ христіанскій и умѣлъ жить, какъ Иванъ Ивановичъ.

Боже, какъ летитъ время! Уже тогда прошло болѣе десяти лѣтъ, какъ онъ овдовѣлъ. Дѣтей у него не было. У Гапки есть дѣти и бѣгаютъ часто по двору. Иванъ Ивановичъ всегда даетъ каждому изъ нихъ или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носитъ ключи отъ коморы и погребовъ; отъ большого же сундука, что стоитъ въ его спальнѣ, и отъ средней коморы ключъ Иванъ Ивановичъ держитъ у себя и не любитъ никого туда пускать. Гапка — дѣвка здоровая, ходитъ въ запаскѣ, съ свѣжими икрами и щеками.



А какой богомольный человекъ Иванъ Ивановичъ! Каждый воскресный день надѣваетъ онъ бекешу и идетъ въ церковь. Взошедши въ нее, Иванъ Ивановичъ, раскладываясь на всѣ стороны, обыкновенно помѣщается на клиросѣ и очень хорошо подтягиваетъ басомъ. Когда же окончится служба, Иванъ Ивановичъ никакъ не утерпитъ, чтобы не обойти всѣхъ нищихъ. Онъ бы, можетъ-быть, и не хотѣлъ заняться такимъ скучнымъ дѣломъ, если бы не побуждала его къ тому природная доброта. «Здорово, небого!»\*) обыкновенно говоритъ онъ, отыскавши самую искалѣченную бабу, въ изодранномъ, спитомъ изъ заплатъ платьѣ. «Откуда ты, бѣдная?»

«Я, паночку, изъ хутора пришла: третій день, какъ не пила, не ѣла, выгнали меня собственныя дѣти».

«Бѣдная головушка! чего-жъ ты пришла сюда?»

«А такъ, паночку, милостыни просить, не дастъ ли кто-нибудь хоть на хлѣбъ».

«Гм! что-жъ, тебѣ развѣ хочется хлѣба?» обыкновенно спрашивалъ Иванъ Ивановичъ.

«Какъ не хотѣть! Голодна, какъ собака».

«Гм!» отвѣчалъ обыкновенно Иванъ Ивановичъ. «Такъ тебѣ, можетъ, и мяса хочется?»

«Да все, что милость ваша дастъ, всѣмъ буду довольна».

«Гм! развѣ мясо лучше хлѣба?»

«Гдѣ ужъ голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо». При этомъ старуха обыкновенно протягивала руку.

«Ну, ступай же съ Богомъ», говорилъ Иванъ Ивановичъ. «Чего-жъ ты стоишь? Вѣдь я тебя не бью?»

И, обратившись съ такими разспросами къ другому, къ третьему, наконецъ, возвращается домой или заходитъ выпить рюмку водки къ сосѣду Ивану Никифоровичу, или къ судьѣ, или къ городничему.

Иванъ Ивановичъ очень любитъ, если ему кто-нибудь сдѣлаетъ подарокъ, или гостинецъ. Это ему очень нравится.

Очень хорошій также человекъ Иванъ Никифоровичъ. Его дворъ возлѣ двора Ивана Ивановича. Они такіе между собою пріятель, какихъ свѣтъ не производилъ. Антонъ Прокофьевичъ Пупопузъ, который до сихъ поръ еще хо-

\*) Бѣдная.

дять въ коричневомъ сюртукѣ съ голубыми рукавами и обѣдаетъ по воскреснымъ днямъ у судьи, обыкновенно говорилъ, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича самъ чортъ связать веревочкой: куда, одинъ, туда и другой плетется.

Иванъ Никифоровичъ никогда не былъ женатъ. Хотя поговаривали, что онъ женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что онъ даже не имѣлъ и намѣренія жениться. Откуда выходятъ всѣ эти сплетни? Такъ, какъ пронесли было, что Иванъ Никифоровичъ родился съ хвостомъ назади. Но эта выдумка такъ нелѣпа и вмѣстѣ гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужнымъ опровергать ее предъ просвѣщенными читателями, которымъ, безъ всякаго сомнѣнія, извѣстно, что у однихъ только вѣдьмъ, и то у весьма немногихъ, есть назади хвостъ. Вѣдьмы, впрочемъ, принадлежать болѣе къ женскому полу, нежели къ мужескому.

Несмотря на большую пріязнь, эти рѣдкіе друзья не совсѣмъ были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры ихъ изъ сравненія. Иванъ Ивановичъ имѣетъ необыкновенный даръ говорить чрезвычайно пріятно. Господи, какъ онъ говоритъ! Это ощущеніе можно сравнить только съ тѣмъ, когда у васъ ищутъ въ головѣ или потихоньку проводятъ пальцемъ по вашей пяткѣ. Слушаешь, слушаешь—и голову повѣсишь. Пріятно! чрезвычайно пріятно! какъ сонъ послѣ купанья. Иванъ Никифоровичъ, напротивъ, больше молчитъ; но за то, если вѣннуть слово, то держись только: оторвѣтъ лучше всякой бритвы. Иванъ Ивановичъ худощавъ и высокаго роста; Иванъ Никифоровичъ немного ниже, но за то распространяется въ толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на рѣдкую хвостомъ внизъ; голова Ивана Никифоровича—на рѣдкую хвостомъ вверхъ. Иванъ Ивановичъ только послѣ обѣда лежитъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсомъ; ввечеру же надѣваетъ бешкету и идетъ куда-нибудь, или къ городскому магазину, куда онъ поставляетъ муку, или въ поле—ловить перепеловъ. Иванъ Никифоровичъ лежитъ весь день на крыльцѣ,—если не слишкомъ жаркій день, то обыкновенно выставивъ спину на солнце,—и никуда не хочетъ идти. Если вздумается утромъ, то пройдетъ по двору, осмотритъ хозяйство и опять на покой. Въ прежнія времена зайдетъ, бывало,

къ Ивану Ивановичу. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно тонкій человѣкъ и въ порядочномъ разговорѣ никогда не скажетъ неприличнаго слова, и тотчасъ обидится, если услышитъ его. Иванъ Никифоровичъ иногда не обережется. Тогда обыкновенно Иванъ Ивановичъ встаетъ съ мѣста и говоритъ: «Довольно, довольно, Иванъ Никифоровичъ; лучше скорѣе на солнце, чѣмъ говорить такія богопротивныя слова». Иванъ Ивановичъ очень сердится, если ему попадется въ борщъ муха: онъ тогда выходитъ изъ себя — и тарелку кинетъ, и хозяйну достанется. Иванъ Никифоровичъ чрезвычайно любитъ купаться, и когда сядетъ по горло въ воду, велитъ поставить также въ воду столъ и самоваръ, и очень любитъ пить чай въ такой прохладѣ. Иванъ Ивановичъ брѣшетъ бороду въ недѣлю два раза; Иванъ Никифоровичъ одинъ разъ. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно любопытенъ: Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! Если жъ чѣмъ бываетъ недоволенъ, то тотчасъ даетъ замѣтить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволенъ ли онъ, или сердитъ; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажетъ. Иванъ Ивановичъ нѣсколько боязливаго характера. У Ивана Никифоровича, напротивъ того, шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ, что если бы раздуть ихъ, то въ нихъ можно бы помѣстить весь дворъ съ амбарами и строеніемъ. У Ивана Ивановича большіе выразительные глаза табачнаго цвѣта, и ротъ нѣсколько похожъ на букву *ижицу*; у Ивана Никифоровича глаза маленькіе, желтоватые, совершенно пропадающіе между густыхъ бровей и пухлыхъ щекъ, и носъ въ видѣ сѣдой сливы. Иванъ Ивановичъ, если попотчиваетъ васъ табакомъ, то всегда напередъ лизнетъ языкомъ крышку табакерки, потомъ щелкнетъ по ней пальцемъ и, поднесши, скажетъ, если вы съ нимъ знакомы: «Смѣю ли просить, государь мой, объ одолженіи?» если же незнакомы, то: «Смѣю ли просить, государь мой, не имѣя чести знать чина, имени и отчества, объ одолженіи?» Иванъ же Никифоровичъ даетъ вамъ прямо въ руки рожокъ свой и прибавитъ только: «Одолжайтесь». Какъ Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ очень не любятъ блохъ, и оттого ни Иванъ Ивановичъ, ни Иванъ Никифоровичъ никакъ не пропустятъ жида съ товарами, чтобы не купитъ у него эликсира въ разныхъ баночкахъ противъ

этихъ насѣкомыхъ, выбравивъ напередъ его хорошенько за то, что онъ исповѣдуетъ еврейскую вѣру.

Впрочемъ, несмотря на нѣкоторыя несходства, какъ Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ прекрасные люди.

## ГЛАВА II,

изъ которой можно узнать, чего захотѣлось Ивану Ивановичу, о чемъ происходилъ разговоръ между Иваномъ Ивановичемъ и Иваномъ Никифоровичемъ и чѣмъ онъ окончился.

Утромъ,—это было въ июль мѣсяцѣ,—Иванъ Ивановичъ лежалъ подъ навѣсомъ. День былъ жарокъ, воздухъ сухъ и переливался струями. Иванъ Ивановичъ успѣлъ уже побывать за городомъ у косарей и на хуторѣ, успѣлъ разспросить встрѣтившихся мужиковъ и бабъ, откуда, куда, какъ и почему; уходился страхъ, и прилежъ отдохнуть. Лежа, онъ долго оглядывалъ коморы, дворъ, саран, куръ, бѣгавшихъ по двору, и думалъ про себя: «Господи, Боже мой, какой я хозяинъ! Чего у меня нѣтъ? Птицы, строеніе, амбары, всякая прихоть, водка перегонная, настоенная; въ саду груши, сливы; въ огородѣ макъ, капуста, горохъ... Чего жъ еще нѣтъ у меня?.. Хотѣлъ бы я знать, чего нѣтъ у меня?»

Задавши себѣ такой глубокомысленный вопросъ, Иванъ Ивановичъ задумался; а между тѣмъ глаза его отыскивали новые предметы, перешагнули чрезъ заборъ въ дворъ Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытнымъ зрѣлищемъ. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развѣшивала его на протянутой веревкѣ вывѣтривать. Скоро старый мундиръ, съ изношенными обшлагами, протянулъ на воздухъ рукава и обнималъ парчевую кофту; за нимъ высунулся дворянскій съ гербовыми пуговицами, съ отфѣденнымъ воротникомъ; бѣлыя казимировыя панталоны съ пятнами, которыя когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которыя можно теперь натянуть развѣ на его пальцы. За ними скоро повисли другія въ видѣ буквы Л, потомъ синій козацкій бешметъ, который шилъ себѣ Иванъ Никифоровичъ назадъ тому лѣтъ двадцать, когда готовился было вступить въ милицію и отпустить было

уже усы. Наконецъ, одно къ одному, выставилась шпала, походившая на шпиль, торчавшій въ воздухъ. Потомъ за-  
вертѣлись фалды чего-то похожего на кафтанъ травяно-зе-  
леного цвѣта, съ мѣдными пуговицами, величинаю въ пя-  
такъ. Изъ-за фалды выглянулъ жилетъ, обложенный золо-  
тымъ позументомъ, съ большимъ вырѣзомъ напередѣ. Жи-  
летъ скоро закрыла старая юбка покойной бабушки, съ кар-  
манами, въ которые можно было положить по арбузу. Все,  
мѣшаясь вмѣстѣ, составляло для Ивана Ивановича очень  
занимательное зрѣлище, между тѣмъ какъ лучи солнца,  
охватывая мѣстами синій или зеленый рукавъ, красный  
обшлагъ, или часть золотой парчи, или играя на шпажномъ  
шпильѣ, дѣлали его чѣмъ-то необыкновеннымъ, похожимъ  
на тотъ вертепъ, который развозятъ по хуторамъ кочующіе  
пройдохи, — особенно, когда толпа народа, тѣсно сдвинув-  
шись, глядитъ на царя Ирода въ золотой коронѣ, или на  
Антоня, ведущаго козу; за вертепомъ визжитъ скрипка; цы-  
ганъ бренчитъ руками по губамъ своимъ вмѣсто барабана,  
а солнце заходитъ, и свѣжій холодъ южной ночи незамѣтно  
прижимается сильнѣе къ свѣжимъ плечамъ и грудямъ пол-  
ныхъ хуторянокъ.

Скоро старуха выгѣзала изъ кладовой, кряхтя и таща на  
себѣ старинное сѣдло съ оборванными стремянами, съ истер-  
тыми кожаными чехлами для пистолетовъ, съ чепракомъ,  
когда-то алаго цвѣта, съ золотымъ шитьемъ и мѣдными  
бляхами.

«Вотъ глупая баба!» подумалъ Иванъ Ивановичъ: «она  
еще вытащить и самого Ивана Никифоровича провѣтри-  
вать!»

И точно: Иванъ Ивановичъ не совсѣмъ ошибся въ своей  
догадкѣ. Минутъ черезъ пять воздвигнулись нанковыя ша-  
ровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти поло-  
вину двора. Послѣ этого она вынесла еще шапку и ружье.

«Что жъ это значитъ?» подумалъ Иванъ Ивановичъ: «я  
не видѣлъ никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что жъ  
это онъ? Стрѣлять не стрѣляетъ, а ружье держать! На  
что жъ оно ему? А вещаца славная! Я давно себѣ хотѣлъ  
достать такое. Мнѣ очень хочется имѣть это ружьецо; я  
люблю позабавиться ружьецомъ. Эй, баба, баба!» закричалъ  
Иванъ Ивановичъ, кивая пальцемъ.

Старуха подошла къ забору.

«Что это у тебя, бабуся, такое?»

«Видите сами—ружье».

«Какое ружье?»

«Кто его знает, какое! Если бы оно было мое, то я, может-быть, и знала бы, изъ чего оно сдѣлано; но оно панское».

Иванъ Ивановичъ всталъ и началъ разсматривать ружье со всѣхъ сторонъ и позабылъ дать выговоръ старухѣ за то, что повѣсила его вмѣстѣ со шпагою провѣтривать.

«Оно, должно думать, желѣзное», продолжала старуха.

«Гм! желѣзное. Отчего жъ оно желѣзное?» говорилъ про себя Иванъ Ивановичъ. «А давно оно у пана?»

«Может-быть, и давно».

«Хорошая вещаца!» продолжалъ Иванъ Ивановичъ. «Я выпрошу его. Что ему дѣлать съ нимъ? Или промѣняюся на что-нибудь. Что, бабуся, дома панъ?»

«Дома».

«Что онъ, лежитъ?»

«Лежитъ».

«Ну, хорошо; я приду къ нему».

Иванъ Ивановичъ одѣлся, взявъ въ руки суковатую палку отъ собакъ, потому что въ Миргородѣ гораздо болѣе ихъ попадается на улицѣ, нежели людей, и пошелъ.

Дворъ Ивана Никифоровича хотя былъ возлѣ двора Ивана Ивановича и можно было перелѣзть изъ одного въ другой черезъ плетень, однакожъ Иванъ Ивановичъ пошелъ улицею. Съ этой улицы нужно было перейти въ переулокъ, который былъ такъ узокъ, что если случилось встрѣтиться въ немъ двумъ повозкамъ въ одну лошадь, то онѣ уже не могли разѣхаться и оставались въ такомъ положеніи до тѣхъ поръ, покамѣсть, схвативши за заднія колеса, не вытаскивали ихъ каждую въ противную сторону на улицу; пѣшеходъ же убирался, какъ цвѣтами, репейниками, росшимъ съ обѣихъ сторонъ возлѣ забора. На этотъ переулокъ выходили съ одной стороны сарай Ивана Ивановича, съ другой — амбаръ, ворота и голубятня Ивана Никифоровича. Иванъ Ивановичъ подошелъ къ воротамъ, загремѣлъ щеколдой: извнутри поднялся собачій лай; но разношерстная стая скоро побѣжала, помахивая хвостами, назадъ, увидѣвши, что это было знакомое лицо. Иванъ Ивановичъ перешелъ дворъ, на которомъ пестрѣли индѣй-

- скіе голуби, кормимые собственноручно Иваномъ Никифоровичемъ, корки арбузовъ и дынь, мѣстами елени, мѣстами изломанное колесо, или обручъ отъ бочки, или валявшійся мальчишка въ запачканной рубашкѣ: картина, которую любить живописцы! Тѣнь отъ развѣшанныхъ платевъ покрывала почти весь дворъ и сообщала ему нѣкоторую прохладу. Баба встрѣтила его поклономъ и, зазѣвавшись, стала на одномъ мѣстѣ. Передъ домомъ охорашивалось крылечко съ навѣсомъ на двухъ дубовыхъ столбахъ, — ненадежная защита отъ солнца, которое въ это время въ Малороссіи не любитъ шутить и обливаетъ пѣшехода съ ногъ до головы жаркимъ потомъ. Изъ этого можно было видѣть, какъ сильно было желаніе у Ивана Ивановича пріобрѣсть необходимую вещь, когда онъ рѣшился выйти въ такую пору, измѣнивъ даже своему всегдашнему обыкновенію прогуливаться только вечеромъ!

Комната, въ которую вступилъ Иванъ Ивановичъ, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты и солнечный лучъ, проходя въ дыру, сдѣланную въ ставнѣ, принявъ радужный цвѣтъ и, ударяясь въ противстоящую стѣну, рисовалъ на ней пестрый ландшафтъ изъ очеретяныхъ крышъ, деревъ и развѣшаннаго на дворѣ платья, все только въ обращенномъ видѣ. Отъ этого всей комнатѣ сообщался какой-то чудный полусвѣтъ.

«Помоги Богъ!» сказалъ Иванъ Ивановичъ.

«А, здравствуйте, Иванъ Ивановичъ!» отвѣчалъ голосъ изъ угла комнаты. Тогда только Иванъ Ивановичъ замѣтилъ Ивана Никифоровича, лежащаго на разостланномъ на полу коврѣ. «Извините, что я передъ вами въ натурѣ». Иванъ Никифоровичъ лежалъ безо всего, даже безъ рубашки.

- «Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иванъ Никифоровичъ?»

«Почивалъ. А вы почивали, Иванъ Ивановичъ?»

«Почивалъ».

«Такъ вы теперь и встали?»

«Я теперь всталъ? Христосъ съ вами, Иванъ Никифоровичъ! Какъ можно спать до сихъ поръ! Я только-что пріѣхалъ изъ хутора. Прекрасныя жита по дорогѣ! восхитительныя! И сѣно такое рослое, мягкое, злачное!»

«Горпина!» закричалъ Иванъ Никифоровичъ: «принеси Ивану Ивановичу водки, да пироговъ съ сметаной».

«Хорошее время сегодня».

«Не хвалите, Иванъ Ивановичъ. Чтобъ его чортъ взялъ! Некуда дѣваться отъ жару!»

«Вотъ таки нужно помянуть чорта. Эй, Иванъ Никифоровичъ! вы вспомните мое слово, да уже будетъ поздно: достанется вамъ на томъ свѣтѣ за богопротивныя слова».

«Чѣмъ же я обидѣлъ васъ, Иванъ Ивановичъ? Я не тронулъ ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чѣмъ я васъ обидѣлъ».

«Полно уже, полно, Иванъ Никифоровичъ!»

«Ей-Богу, я не обидѣлъ васъ, Иванъ Ивановичъ!»

«Странно, что перепела до сихъ поръ нейдутъ подь дочку».

«Какъ вы себѣ хотите, думайте, что вамъ угодно, только я васъ не обидѣлъ ничѣмъ».

«Не знаю, отчего они нейдутъ», говорилъ Иванъ Ивановичъ, какъ бы не слушая Ивана Никифоровича: «время ли не приспѣло еще... только время, кажется, такое, какое нужно».

«Вы говорите, что жита хорошія?»

«Восхитительныя жита, восхитительныя!»

За симъ послѣдовало молчаніе.

«Что это вы, Иванъ Никифоровичъ, платье развѣшиваете?» наконецъ сказалъ Иванъ Ивановичъ.

«Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба: теперь провѣтриваю; сукно тонкое, превосходное, только вывороти—и можно снова носить».

«Мнѣ тамъ понравилась одна вещица, Иванъ Никифоровичъ».

«Какая?»

«Скажите, пожалуйста, на что вамъ это ружье, что выставлено вывѣтривать вмѣстѣ съ платьемъ?» Тутъ Иванъ Ивановичъ поднесъ табаку. «Смѣю ли просить объ одолженіи?»

«Ничего, одоляйтесь; я понюхаю своего». При этомъ Иванъ Никифоровичъ пощупалъ вокругъ себя и досталъ рожокъ. «Вотъ глупая баба! Такъ она и ружье туда же повѣсила? Хорошій табакъ жидъ дѣлаетъ въ Сорочинцахъ. Я не знаю, что онъ кладетъ туда, а такое душистое! На кануперъ немножко похоже. Вотъ возьмите, разжуйте немножко во рту: не правда ли, похоже на кануперъ? Возьмите, одоляйтесь!»



«Скажите, пожалуйста, Иванъ Никифоровичъ, я все насчетъ ружья: что вы будете съ нимъ дѣлать? Вѣдь оно вамъ не нужно».

«Какъ не нужно, а случится стрѣлять?»

«Господь съ вами, Иванъ Никифоровичъ, когда же вы будете стрѣлять? Развѣ по второмъ пришествіи? Вы, сколько я знаю и другіе запомнятъ, ни одной еще качки \*) не убили, да и ваша натура не такъ уже Господомъ Богомъ устроена, чтобъ стѣлять. Вы имѣете осанку и фигуру важную. Какъ же вамъ таскаться по болотамъ, когда ваше платье, которое не во всякой рѣчи прилично называть по имени, провѣтривается и теперь еще? что же тогда? Нѣтъ, вамъ нужно имѣть покой, отдохновеніе». (Иванъ Ивановичъ, какъ упомянуто выше, необыкновенно живописно говорилъ, когда нужно было убѣждать кого. Какъ онъ говорилъ! Боже, какъ онъ говорилъ!) «Да, такъ вамъ нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мнѣ!»

«Какъ можно! Это ружье дорогое; такихъ ружьевъ теперь не сыщете нигдѣ. Я еще, какъ собирался въ милицію, купилъ его у турчина; а теперь бы то такъ вдругъ и отдать его! Какъ можно! Это вещь необходимая!»

«На что-жъ она необходимая?»

«Какъ на что? А когда нападуть на домъ разбойники... Еще бы не необходимая! Слава Тебѣ, Господи! Теперь я спокоенъ и не боюсь никого. А отчего? — оттого, что я знаю, что у меня стоитъ въ коморѣ ружье».

«Хорошее ружье! Да у него, Иванъ Никифоровичъ, замокъ испорченъ».

«Что-жъ, что испорченъ? Можно починить; нужно только смазать коноплянымъ масломъ, чтобъ не ржавѣлъ».

«Изъ вашихъ словъ, Иванъ Никифоровичъ, я никакъ не вижу дружественнаго ко мнѣ расположенія. Вы ничего не хотите сдѣлать для меня въ знакъ пріязни».

«Какъ же это вы говорите, Иванъ Ивановичъ, что я вамъ не оказываю никакой пріязни? Какъ вамъ не совѣстно? Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занималъ ихъ. Когда ѣдете въ Полтаву, всегда просите у меня повозки, и что-жъ? развѣ я отказалъ когда? Ребя-

\*) Т. е. утки.

тишки ваши перелѣзають чрезъ плетень въ мой дворъ и играютъ съ моими собаками, — я ничего не говорю: пусть себѣ играютъ, лишь бы ничего не трогали! пусть себѣ играютъ!»

«Когда не хотите подарить, такъ, пожалуй, помѣняемся».

«Что-жъ вы дадите мнѣ за него?» При этомъ Иванъ Никифоровичъ облокотился на руку и поглядѣть на Ивана Ивановича.

«Я вамъ дамъ за него бурю свинью, ту самую, что я откормилъ въ сажу. Славная свинья! Увидите, если на слѣдующій годъ она не наведетъ вамъ поросятъ».

«Я не знаю, какъ вы, Иванъ Ивановичъ, можете это говорить. На что мнѣ свинья ваша? Развѣ чорту поминки дѣлать».

«Опять! Безъ чорта такъ нельзя обойтись! Грѣхъ вамъ; ей-Богу, грѣхъ, Иванъ Никифоровичъ!»

«Какъ же вы, въ самомъ дѣлѣ, Иванъ Ивановичъ, даете за ружье, чортъ знаетъ что такое: свинью!»

«Отчего же она—чортъ знаетъ что такое, Иванъ Никифоровичъ?»

«Какъ же? Вы бы сами посудили хорошенько. Это такъ ружье, вещь извѣстная; а то—чортъ знаетъ что такое: свинья! Если бы не вы говорили, я бы могъ это принять въ обидную для себя сторону».

«Что-жъ нехорошаго замѣтили вы въ свиньѣ?»

«За кого же въ самомъ дѣлѣ вы принимаете меня? Чтобы я свинью...»

«Садитесь, садитесь! Не буду уже... Пусть вамъ остается ваше ружье, пускай себѣ стнѣтъ и перержавѣтъ, стоя въ углу въ коморѣ—не хочу больше говорить о немъ».

Послѣ этого послѣдовало молчаніе.

«Говорятъ», началъ Иванъ Ивановичъ: «что три короля объявили войну царю нашему».

«Да, говорилъ мнѣ Петръ Ѳедоровичъ. Что-жъ это за война? и отчего она?»

«Навѣрное не можно сказать, Иванъ Никифоровичъ, за что она. Я полагаю, что короли хотятъ, чтобы мы всѣ приняли турецкую вѣру».

«Вишь, дурни, чего захотѣли!» произнесъ Иванъ Никифоровичъ, приподнявши голову.

«Вотъ видите, а царь нашъ и объявилъ имъ за то войну. Нѣтъ, говоритъ, примите вы сами вѣру Христову!»

«Что-жь? Вѣдь наши побьютъ ихъ, Иванъ Ивановичъ!»

«Побьютъ. Такъ не хотите, Иванъ Никифоровичъ, мѣнять ружьеца?»

«Мнѣ странно, Иванъ Ивановичъ: вы, кажется, человѣкъ извѣстный ученостью, а говорите, какъ недоросль. Что бы я за дуракъ такой...»

«Садитесь, садитесь. Богъ съ нимъ! Пусть оно себя окольфетъ; не буду больше говорить».

Въ это время принесли закуску.

Иванъ Ивановичъ выпилъ рюмку и закусилъ пирогомъ съ сметаной. «Слушайте, Иванъ Никифоровичъ: я вамъ дамъ, кромѣ свиньи, еще два мѣшка овса; вѣдь овса вы не сѣяли. Этотъ годъ, все равно, вамъ нужно будетъ покупать овесъ».

«Ей-Богу, Иванъ Ивановичъ, съ вами говорить нужно, гороху наѣвшись». (Это еще ничего: Иванъ Никифоровичъ и не такія фразы отпускаетъ.) «Гдѣ видано, чтобы кто ружье промѣнялъ на два мѣшка овса? Небось, бекеши своей не поставите».

«Но вы позабыли, Иванъ Никифоровичъ, что я и свинью еще даю вамъ».

«Какъ! два мѣшка овса и свинью за ружье?»

«Да что-жь, развѣ мало?»

«За ружье?»

«Конечно, за ружье».

«Два мѣшка за ружье?»

«Два мѣшка не пустыхъ, а съ овсомъ; а свинью позабыли?»

«Поцѣлуйте съ своею свиньею, а коли не хотите, такъ съ чортомъ!»

«О, васъ зацѣпи только! Увидите: нашигуютъ вамъ на томъ свѣтѣ языки горячими иголками за такія богомерзкія слова. Послѣ разговора съ вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться».

«Позвольте, Иванъ Ивановичъ: ружье — вещь благородная, самая любопытная забава, притомъ и украшеніе въ комнатѣ пріятное...»

«Вы, Иванъ Никифоровичъ, разносились такъ съ своимъ ружьемъ какъ дурень съ писанною торбою», сказалъ Иванъ

Ивановичъ съ досадою, потому что дѣйствительно начиналъ уже сердиться».

«А вы, Иванъ Ивановичъ, настоящій *гусакъ*» \*).

Если бы Иванъ Никифоровичъ не сказалъ этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, какъ всегда, пріятелями: но теперь произошло совсѣмъ другое. Иванъ Ивановичъ весь вспыхнулъ.

«Что вы такое сказали, Иванъ Никифоровичъ?» спросилъ онъ, возвысивъ голосъ.

«Я сказалъ, что вы похожи на гусака, Иванъ Ивановичъ!»

«Какъ же вы смѣли, сударь, позабывъ и приличіе, и уваженіе къ чину и фамиліи человѣка, обезчестить такимъ поноснымъ именемъ?»

«Что-жъ тутъ поноснаго? Да чего вы въ самомъ дѣлѣ такъ размахались руками, Иванъ Ивановичъ?»

«Я повторяю, какъ вы осмѣлились, въ противность всѣхъ приличій, назвать меня гусакомъ?»

«Начхать я вамъ на голову, Иванъ Ивановичъ! Что вы такъ раскудахтались?»

Иванъ Ивановичъ не могъ болѣе владѣть собою: губы его дрожали; ротъ измѣнилъ обыкновенное положеніе *испуга* и сдѣлался похожимъ на О; глазами онъ такъ мигалъ, что сдѣлалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно рѣдко; нужно было для этого его сильно разсердить. «Такъ я-жъ вамъ объявляю», произнесъ Иванъ Ивановичъ: «что я знать васъ не хочу.»

«Большая бѣда! Ей-Богу, не заплачу отъ этого!» отвѣчалъ Иванъ Никифоровичъ.—Лгаль, лгаль, ей-Богу, лгаль! Ему очень было досадно это.

«Нога моя не будетъ у васъ въ домѣ».

«Эге, ге!» сказалъ Иванъ Никифоровичъ, съ досады не зная самъ, что дѣлать, и, противъ обыкновенія, вставъ на ноги. «Эй, баба, хлопче!» При семъ показалась изъ-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчикъ, запутанный въ длинный и широкій сюртукъ. «Возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его за двери!»

«Какъ! дворянина?» закричалъ съ чувствомъ достоинства и негодованія Иванъ Ивановичъ. «Осмѣльтесь только! под-

---

\*) Т. е. гусь-самецъ.

ступите! Я васъ уничтожу съ глупымъ вашимъ паномъ! Воронъ не найдетъ мѣста вашего!» (Иванъ Ивановичъ говорилъ необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена).

Вся группа представляла сильную картину: Иванъ Никифоровичъ, стоявшій посреди комнаты въ полной красотѣ своей, безъ всякаго украшенія! Баба, разинувшая ротъ и выразившая на лицѣ самую бессмысленную, исполненную страха мину! Иванъ Ивановичъ, съ поднятою вверхъ рукою, какъ изображались римскіе трибуны! Это была необыкновенная минута, спектакль великолѣпный! И между тѣмъ только одинъ былъ зрителемъ: это былъ мальчикъ въ неизгѣримомъ сюртукѣ, который стоялъ довольно покойно и чистилъ пальцемъ свой носъ.

Наконецъ, Иванъ Ивановичъ взялъ шапку свою. «Очень хорошо поступаете вы, Иванъ Никифоровичъ! прекрасно! Я это припомню вамъ».

«Ступайте, Иванъ Ивановичъ, ступайте! да глядите, не попадитесь мнѣ: а не то—я вамъ, Иванъ Ивановичъ, всю морду побью!»

«Вотъ вамъ за это, Иванъ Никифоровичъ», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, выставивъ ему кукишъ и хлопнувъ за собою дверь, которая съ визгомъ захриѣла и отворилась снова.

Иванъ Никифоровичъ показался въ дверяхъ и что-то хотѣлъ присовокупить, но Иванъ Ивановичъ уже не оглядывался и лѣтѣлъ со двора.

---

### ГЛАВА III.

Что произошло послѣ ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ?

Итакъ, два почтенные мужа, честь и украшеніе Мирагорода, поссорились между собою! и за что? за вздоръ, за гусака. Не захотѣли видѣть другъ друга, прервали всѣ связи, между тѣмъ, какъ прежде были извѣстны за самыхъ неразлучныхъ друзей! Каждый день, бывало, Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ посылаютъ другъ къ другу узнать о здоровьи, и часто переговариваются другъ съ другомъ съ своихъ балконовъ, и говорятъ другъ другу такія пріятныя

рѣчи, что сердцу любо слушать было. По воскреснымъ днямъ, бывало, Иванъ Ивановичъ въ штатетовой бекешѣ, Иванъ Никифоровичъ въ нанковомъ желто-коричневомъ казакинѣ, отправляются почти обѣ руку другъ съ другомъ въ церковь. И если Иванъ Ивановичъ, который имѣлъ глаза чрезвычайно зоркіе, первый замѣчалъ лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бываетъ иногда въ Миргородѣ, то всегда говорилъ Ивану Никифоровичу: «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здѣсь нехорошо». Иванъ Никифоровичъ, съ своей стороны, показывалъ тоже самые трогательные знаки дружбы, и гдѣ бы ни стоялъ далеко, всегда протянетъ къ Ивану Ивановичу руку съ рожкомъ, примолвивши: «одолжайтесь!» А какое прекрасное хозяйство у обоихъ!... И эти два друга... Когда я слышалъ объ этомъ, то меня какъ громомъ поразило! Я долго не хотѣлъ вѣрить. Боже праведный! Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ! Такіе достойные люди! Что жъ теперь прочно на этомъ свѣтѣ?

Когда Иванъ Ивановичъ пришелъ къ себѣ домой, то долго былъ въ сильномъ волненіи. Онъ, бывало, прежде всего зайдетъ въ конюшню посмотреть, ѣсть ли кобылка сѣно (у Ивана Ивановича кобылка саврасая, съ лысиной на лбу; хорошая очень лошадка); потомъ покормить индѣекъ и поросятъ изъ своихъ рукъ и тогда уже идетъ въ покои, гдѣ или дѣлаетъ деревянную посуду (онъ очень искусно, не хуже токаря, умѣетъ выдѣлывать разные вещи изъ дерева), или читаетъ книжку, печатанную у Любія, Гарія и Попова (названія ея Иванъ Ивановичъ не помнитъ, потому что дѣвка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавнаго листка, забавляя дитя), или же отдыхаетъ подъ навѣсомъ. Теперь же онъ не вялся ни за одно изъ всегдашнихъ своихъ занятій. Но, вмѣсто того, встрѣтивши Гапку, началъ бранить, зачѣмъ она шатается безъ дѣла, между тѣмъ какъ она тащила крупу въ кухню; кинулъ палкой въ пѣтуха, который пришелъ къ крыльцу за обыкновенной подачей, и, когда подбѣжалъ къ нему, запачканный мальчишка въ изодранной рубашонкѣ и закричалъ: «Тятя, тятя! дай пряника!» то онъ ему такъ страшно пригрозилъ и затопалъ ногами, что испуганный мальчишка забѣжалъ, Богъ знаетъ куда.

Наконецъ, однакожъ, онъ одумался и началъ заниматься

всегдашними дѣлами. Поздно сталъ онъ обѣдать и уже ввечеру почти легъ отдыхать подъ навѣсомъ. Хорошій борщъ съ голубыми, который сварила Гапка, выгналъ совершенно утреннее происшествіе. Иванъ Ивановичъ опять началъ съ удовольствіемъ разсматривать свое хозяйство. Наконецъ, остановилъ глаза на сосѣднемъ дворѣ и сказать самъ себѣ: «Сегодня я не былъ у Ивана Никифоровича; пойду-ка къ нему». Сказавши это, Иванъ Ивановичъ взялъ палку и шапку, и отправился на улицу; но едва только вышелъ за ворота, какъ вспомнилъ ссору, плюнулъ и возвратился назадъ. Почти такое же движеніе случилось и на дворѣ Ивана Никифоровича. Иванъ Ивановичъ видѣлъ, какъ баба уже поставила ногу на плетень съ намѣреніемъ перелѣзть на его дворъ, какъ вдругъ послышался голосъ Ивана Никифоровича: «Назадъ, назадъ! не нужно!» Однакожъ, Ивану Ивановичу сдѣлалось очень скучно. Весьма могло быть, что сіи достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествіе въ домѣ Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла въ готовый погаснуть огонь вражды.

Къ Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня пріѣхала Агаея Ѳеодосѣевна. Агаея Ѳеодосѣевна не была ни родственницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей не зачѣмъ было къ нему ѣздить, и онъ самъ былъ не слишкомъ ей радъ; однакожъ она ѣздила и проживала у него по цѣлымъ недѣлямъ, а иногда и болѣе. Тогда она отбирала ключи и весь домъ брала на свои руки. Это было очень непріятно Ивану Никифоровичу, однакожъ, онъ, къ удивленію, слушалъ ее, какъ ребенокъ, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агаея Ѳеодосѣевна брала верхъ.

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это такъ устроено, что женщины хватаютъ насъ за носъ такъ же ловко, какъ будто за ручку чайника: или руки ихъ такъ созданы, или носы наши ни на что болѣе не годятся. И несмотря на то, что носъ Ивана Никифоровича былъ нѣсколько похожъ на сливу, однакожъ она схватила его за этотъ носъ и водила за собою, какъ собачку. Онъ даже измѣнялъ при ней невольно обыкновенный свой образъ жизни: не такъ долго лежалъ на солнцѣ, если же и лежалъ, то не въ натурѣ, а

всегда надѣвала рубашку и шаровары, хотя Агаея Федосѣевна совершенно этого не требовала. Она была не охотница до церемоній, и когда Иванъ Никифоровичъ страдалъ лихорадкою, она сама, своими руками, вытирала его съ ногъ до головы скипидаромъ и уксусомъ. Агаея Федосѣевна носила на головѣ чепецъ, три бородавки на носу и кофейный капотъ съ желтенькими цвѣтами. Весь станъ ея похожъ былъ на кадушку, и оттого отыскать ея талию было такъ же трудно, какъ увидѣть безъ зеркала свой носъ. Ножки ея были коротенькія, сформированныя на образецъ двухъ подушекъ. Она сплетничала и ѣла вареные буряки по утрамъ, и отлично хорошо ругалась; и при всѣхъ этихъ разнообразныхъ занятіяхъ, лицо ея ни на минуту не измѣняло своего выраженія, что обыкновенно могутъ показывать одні только женщины.

Какъ только она пріѣхала, все пошло наыворотъ: «Ты, Иванъ Никифоровичъ, не мирись съ нимъ и не проси прощенія; онъ тебя погубить хочетъ; это таковскій человѣкъ! Ты его еще не знаешь». Шушукала-шушукала проклятая баба и сдѣлала то, что Иванъ Никифоровичъ и слышать не хотѣлъ объ Иванѣ Ивановичѣ.

Все приняло другой видъ. Если сосѣдняя собака забѣгала когда на дворъ, то ее колотили чѣмъ ни попало; ребятишки, перелѣзавшіе черезъ заборъ, возвращались съ воплемъ, съ поднятыми вверхъ рубашонками и съ знаками розогъ на спинѣ. Даже самая баба, когда Иванъ Ивановичъ хотѣлъ-было ее спросить о чемъ-то, сдѣлала такую непристойность, что Иванъ Ивановичъ, какъ человѣкъ чрезвычайно деликатный, плюнулъ и примолвилъ только: «Экая скверная баба! хуже своего пана!»

Наконецъ, къ довершенію всѣхъ оскорбленій, ненавистный сосѣдъ выстроилъ прямо противъ него, гдѣ обыкновенно былъ перелазъ чрезъ плетень, гусиній хлѣвъ, какъ будто съ особеннымъ намѣреніемъ усугубить оскорбленіе. Этотъ отвратительный для Ивана Ивановича хлѣвъ выстроенъ былъ съ дьявольскою скоростью—въ одинъ день.

Это возбудило въ Иванѣ Ивановичѣ злость и желаніе отомстить. Онъ не показавъ, однакожъ, никакого вида огорченія, несмотря на то, что хлѣвъ даже захватилъ часть его земли; но сердце у него такъ билось, что ему



было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие.

Такъ провелъ онъ день. Настала ночь... О, если бъ я былъ живописецъ, я бы чудно изобразилъ всю прелесть ночи! Я бы изобразилъ, какъ спитъ весь Миргородъ; какъ неподвижно глядятъ на него безчисленные звѣзды; какъ видимая тишина оглашается близкимъ и далекимъ лаемъ собакъ; какъ мимо ихъ несется влюбленный понамарь и перелѣзаетъ черезъ плетень съ рыцарскою безстрашностью; какъ бѣлые стѣны домовъ, охваченныя луннымъ свѣтомъ, становятся бѣлѣе, освѣняющія ихъ деревья темнѣе, тѣнь отъ деревъ ложится чернѣе, цвѣты и умолкнувшая трава душистѣе, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно изъ всѣхъ угловъ заводятъ свои трескучія пѣсни. Я бы изобразилъ, какъ въ одномъ изъ этихъ низенькихъ глиняныхъ домиковъ разметавшейся на одинокой постели чернобровой горожанкѣ, съ дрожащими молодыми грудями, снится гусарскій усь и шпоры, а свѣтъ луны смѣется на ея щекахъ. Я бы изобразилъ, какъ по бѣлой дорогѣ мелькаетъ черная тѣнь летучей мыши, садящейся на бѣлыя трубы домовъ... Но врядъ ли бы я могъ изобразить Ивана Ивановича, вышедшаго въ эту ночь съ пилою въ рукѣ: столько на лицѣ у него было написано разныхъ чувствъ! Тихо-тихо подкрался онъ и подлѣзъ подъ гусиный хлѣвъ. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссорѣ между ними, и потому позволили ему, какъ старому приятелю, подойти къ хлѣву, который весь держался на четырехъ дубовыхъ столбахъ. Подлѣзши къ ближнему столбу, приставилъ онъ къ нему пилу и началъ пилить. Шумъ, производимый пилою, заставлялъ его поминутно оглядываться, но мысль объ обидѣ возвращала бодрость. Первый столбъ былъ подпиленъ; Иванъ Ивановичъ принялся за другой. Глаза его горѣли и ничего не видали отъ страха. Вдругъ Иванъ Ивановичъ вскрикнулъ и обомлѣлъ: ему показался мертвецъ; но скоро онъ пришелъ въ себя, увидѣвши, что это былъ гусь, просунувшій къ нему свою шею. Иванъ Ивановичъ плюнулъ отъ негодованія и началъ продолжать работу. И второй столбъ подпиленъ; зданіе пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало такъ страшно биться, когда онъ принялся за третій, что онъ нѣсколько разъ прекращалъ работу. Уже болѣе половины столба было подпилено, какъ

вдругъ шаткое зданіе сильно покачнулось... Иванъ Ивановичъ едва успѣлъ отскочить, какъ оно рухнуло съ трескомъ. Схвативши пилу, въ страшномъ испугѣ приближалъ онъ домъ и бросился въ кровать, не имѣя даже духу поглядѣть въ окно на слѣдствія своего страшнаго дѣла. Ему казалось, что весь дворъ Ивана Никифоровича собрался: старая баба, Иванъ Никифоровичъ, мальчикъ въ безконечномъ скрутокѣ, всѣ съ дреколями, предводительствуемые Агаѳею Ѳедосѣвной, шли разорять и ломать его домъ.

Весь слѣдующій день провелъ Иванъ Ивановичъ, какъ въ лихорадкѣ. Ему все чудилось, что ненавистный сосѣдъ въ отмщеніе за это, по крайней мѣрѣ, подожжетъ домъ его; и потому онъ далъ повелѣніе Гапкѣ поминутно осматривать вездѣ, не подложено ли гдѣ-нибудь сухой соломы. Наконецъ, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, онъ рѣшился забѣжать зайцемъ впередъ и подать на него прошеніе въ миргородскій повѣтовый судъ. Въ чемъ оно состояло, объ этомъ можно узнать изъ слѣдующей главы.

#### ГЛАВА IV.

О томъ, что произошло въ присутствіи миргородскаго повѣтоваго суда.

Чудный городъ Миргородъ! Какихъ въ немъ нѣтъ строеній! И подъ соломенною, и подъ очеретяною, даже подъ деревянною крышею. Направо улица, налѣво улица, вездѣ прекрасный плетень; по немъ вьется хмель, на немъ висятъ горшки, изъ-за него подсолнечникъ выказываетъ свою солнцееобразную голову, краснѣетъ макъ, мелькаютъ толстыя тыквы... Роскошь! Плетень всегда убранъ предметами, которые дѣлаютъ его еще болѣе живописнымъ: или напаяленною плахтою, или сорочкою, или шароварами. Въ Миргородѣ нѣтъ ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вѣшаетъ на плетень, что ему вздумается. Если будете подходить съ площади, то, вѣрно, на время остановитесь полюбоваться видомъ: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вамъ удавалось когда видѣть! Она занимаетъ почти всю площадь. Прекрасная лужа! Дома и домики, которые издали можно принять за копны сѣна, обступивши вокругъ, дивятся красотѣ ея.

Но я тѣхъ мыслей, что нѣтъ лучше дома, какъ повѣтовый судъ. Дубовый, ли онъ или березовый — мнѣ нѣтъ дѣла, но въ немъ, милостивые государи, восемь окошекъ! восемь окошекъ въ рядъ, прямо на площадь и на то водное пространство, о которомъ я уже говорилъ и которое горюничій называетъ озеромъ! Одинъ только онъ окрашенъ цвѣтомъ гранита; всѣ прочіе дома въ Миргородѣ просто выбѣлены. Крыша на немъ вся деревянная, и была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярскіе, приправивши лукомъ, не съѣли, что было, какъ нарочно, во время поста, и крыша осталась не крашеною. На площадь выступаетъ крыльцо, на которомъ часто бѣгаютъ куры, оттого что на крыльцѣ всегда почти разсыпаны крупы или что-нибудь съѣстное, что, впрочемъ, дѣлается не нарочно, но единственно отъ неосторожности просителей. Домъ раздѣленъ на двѣ половины: въ одной *присутствіе*, въ другой *арестантская*. Въ той половинѣ, гдѣ присутствіе, находятся двѣ комнаты чистыя, выбѣленные: одна передняя, для просителей, въ другой столъ, украшенный чернильными пятнами; на столѣ зеркало; четыре стула дубовые, съ высокими спинками; возлѣ стѣнъ сундуки, кованные желѣзомъ, въ которыхъ сохранялись кипы повѣтовой ябеды. На одномъ изъ этихъ сундуковъ стоялъ тогда сапогъ, вычищенный ваксоу.

Присутствіе началось еще съ утра. Судья, довольно полный человѣкъ, хотя нѣсколько тонѣе Ивана Никифоровича, съ доброю миною, въ замасленномъ халатѣ, съ трубкою и чашкою чая, разговаривалъ съ подсудкомъ. У судьи губы находились подъ самымъ носомъ, и оттого носъ его могъ нюхать верхнюю губу, сколько душѣ угодно было. Эта губа служила ему вмѣсто табакерки, потому что табакъ, адресуемый въ носъ, почти всегда сѣялся на нее. Итакъ, судья разговаривалъ съ подсудкомъ. Босая дѣвка держала въ сторонѣ подносъ съ чашками. Въ концѣ стола секретарь читать рѣшеніе дѣла, но такимъ однообразнымъ и заунывнымъ тономъ, что самъ подсудимый заснулъ бы, слушая. Судья, безъ сомнѣнія, это бы сдѣлалъ прежде всѣхъ, если бы не вошелъ между тѣмъ въ занимательный разговоръ.

«Я нарочно старался узнать», говорилъ судья, прихлебывая чай уже изъ простывшей чашки: «какимъ образомъ это дѣлается, что они поютъ хорошо. У меня былъ славный

дroadъ, года два тому назадъ. Что-жъ? Вдругъ испортился, совсѣмъ, началъ пѣть, Богъ знаетъ что; чѣмъ далѣе, хуже, хуже; сталъ картавить, хрипѣть, — хотъ выбрось! А вѣдь самый вздоръ! Это вотъ отчего дѣлается: подъ горлышкомъ дѣлается бобонъ, меньше горошинки. Этотъ бобончикъ нужно только проколотъ иглою. Меня научилъ этому Захаръ Прокофьевичъ, и именно, если хотите, я вамъ расскажу, какимъ это было образомъ: прѣзжаю я къ нему...

«Прикажете, Демьянъ Демьяновичъ, читать другое?» прервалъ секретарь, уже нѣсколько минутъ какъ окончившій чтеніе.

«А вы уже прочитали? Представьте, какъ скоро! Я и не услышалъ ничего! Да гдѣ-жъ оно? Дайте его сюда, я подпишу. Что тамъ еще у васъ?»

«Дѣло козака Бокитъка о краденой коровѣ».

«Хорошо, читайте! Да, такъ прѣзжаю я къ нему... Я могу даже рассказать вамъ подробно, какъ онъ угостилъ меня. Къ водкѣ былъ поданъ балыкъ, единственный! Да, не нашего балыка, которымъ» (при этомъ судья сдѣлалъ языкомъ и улыбнулся, при чемъ носъ его понюхалъ свою всегдашнюю табакерку)... «которымъ угощаетъ наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ѣлъ, потому что, какъ вы сами знаете, у меня отъ нея дѣлается изжога подъ ложечкою; но икры отвѣдалъ,—прекрасная игра! нечего сказать, отличная! Потомъ выпилъ я водки персиковой, настоящей на золототысячникъ. Была и шафранная; но шафранной, какъ вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: напередъ, какъ говорятъ, раззадорить appetite, а потомъ уже завершить... А! слыхомъ слышать, видомъ видать»... вскричалъ вдругъ судья, увидѣвъ входящаго Ивана Ивановича.

«Богъ въ помощь! Желаю здравствовать!» произнесъ Иванъ Ивановичъ, поклонившись на всѣ стороны съ свойственною ему одному пріятностью. Боже мой, какъ онъ умѣлъ обворожить всѣхъ своимъ обращеніемъ! Тонкости такой я нигдѣ не видывалъ. Онъ зналъ очень хорошо самъ свое достоинство и потому на всеобщее почтеніе смотрѣлъ, какъ на должное. Судья самъ подаль стулъ Ивану Ивановичу, носъ его потянулъ съ верхней губы весь табакъ, что всегда было у него знакомъ большого удовольствія.

«Чѣмъ прикажете потчивать васъ, Иванъ Ивановичъ?» спросилъ онъ: «не прикажете ли чашку чаю?»

«Нѣтъ, весьма благодарю», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сѣлъ.

«Сдѣлайте милость, одну чашечку!» повторилъ судья.

«Нѣтъ, благодарю. Весьма доволенъ гостепріимствомъ!» отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сѣлъ.

«Одну чашку!» повторилъ судья.

«Нѣтъ, не беспокойтесь, Демьянъ Демьяновичъ!» При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

«Чашечку?»

«Ужъ такъ и быть, развѣ чашечку!» произнесъ Иванъ Ивановичъ и протянулъ руку къ подносу.

Господи Боже! какая бездна тонкости бываетъ у человѣка! Нельзя разсказать, какое пріятное впечатлѣніе производятъ такіе поступки!

«Не прикажете ли еще чашечку?»

«Покорно благодарствую», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, ставя на подносъ опрокинутую чашку и кланаясь.

«Сдѣлайте одолженіе, Иванъ Ивановичъ!»

«Не могу; весьма благодаренъ». При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

«Иванъ Ивановичъ! сдѣлайте дружбу, одну чашечку!»

«Нѣтъ, весьма обязанъ за угощеніе». Сказавши это, Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

«Только чашечку! Одну чашечку!»

Иванъ Ивановичъ протянулъ руку къ подносу и взялъ чашку.

Фу, ты пропасть! Какъ можетъ, какъ найдется человѣкъ поддержать свое достоинство!

«Я, Демьянъ Демьяновичъ», говорилъ Иванъ Ивановичъ, допивая послѣдній глотокъ: «я къ вамъ имѣю необходимое дѣло: я подаю позовъ». При этомъ Иванъ Ивановичъ поставилъ чашку и вынулъ изъ кармана написанный гербовый листъ бумаги. «Позовъ на врага моего, на заклятаго врага».

«На кого же это?»

«На Ивана Никифоровича Довгочхуна».

При этихъ словахъ судья чуть не упалъ со стула. «Что вы говорите!» произнесъ онъ, всплеснувъ руками: «Иванъ Ивановичъ! вы ли это?»

«Видите сами, что я».

«Господь съ вами и всѣ святые! Какъ! Вы, Иванъ Ивановичъ, стали непріателемъ Ивану Никифоровичу! Ваши ли это уста говорить? Повторите еще! Да не спрятался ли у васъ кто-нибудь сзади и говоритъ вмѣсто васъ?...»

«Что-жъ тутъ невѣроятнаго? Я не могу смотрѣть на него: онъ нанесъ мнѣ смертельную обиду, оскорбилъ честь мою».

«Пресвятая Троица! Какъ же мнѣ теперь увѣрить матушку? А она, старушка, каждый день, какъ только мы поссоримся съ сестрою, говорить: «Вы, дѣтки, живете между собою, какъ собаки. Хоть бы вы взяли примѣръ съ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича: вотъ ужъ друзья, такъ друзья! то-то пріатели! то-то достойные люди!» Вотъ тебѣ и пріатели! Разскажите, за что же это? какъ?»

«Это дѣло деликатное, Демьянъ Демьяновичъ! на словахъ его нельзя разсказать: прикажите лучше прочитатъ просьбу. Вотъ, возьмите съ этой стороны, здѣсь приличіе».

«Прочитайте, Тарасъ Тихоновичъ!» сказать судья, оборотившись къ секретарю.

Тарасъ Тихоновичъ взялъ просьбу и, высморкавшись такимъ образомъ, какъ сморкаются всѣ секретари по повѣстовымъ судамъ, съ помощью двухъ пальцевъ, началъ читать:

«Отъ дворянина миргородскаго повѣта и помѣщика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошеніе; а о чемъ, тому слѣдуютъ пунѣты:

«1) Извѣстный всему свѣту своими богопротивными, въ омерзѣніе приводящими и всякую мѣру превышающими законо-преступными поступками, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ, сего 1810 года, іюля 7 дня, учинилъ мнѣ смертельную обиду, какъ персонально до чести моей относящуюся, такъ равномѣрно въ уничиженіе и конфузію чина моего и фамиліи. Оный дворянинъ и самъ, притомъ, гнуснаго вида, характеръ имѣетъ бранчивый и преисполненъ разнаго рода богохуленіями и бранными словами»...

Тутъ чтецъ немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья съ благоговѣніемъ сложилъ руки и только говорилъ про себя: «Что за бойкое перо! Господи Боже! какъ пишетъ этотъ человекъ!»

Иванъ Ивановичъ просилъ читать далѣе, и Тарасъ Тихоновичъ продолжалъ:

«Оный дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ, когда я пришелъ къ нему съ дружескими предложеніями, назвалъ меня публично обиднымъ и поноснымъ для чести моей именемъ, а именно «гусакомъ», тогда какъ извѣстно всему миргородскому повѣту, что симъ гнуснымъ животнымъ я отнюдь никогда не именовался и впредь именоваться не намѣренъ. Доказательствомъ же моего дворянскаго происхожденія есть то, что въ метрической книгѣ, находящейся въ церкви Трехъ Святителей, записанъ какъ день моего рожденія, такъ равномѣрно и полученное мною крещеніе. «Гусакъ» же, какъ извѣстно всѣмъ, кто сколько-нибудь свѣдущъ въ наукахъ, не можетъ быть записанъ въ метрической книгѣ, ибо «гусакъ» есть не человѣкъ, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему въ семинаріи, достовѣрно извѣстно. Но оный злокачественный дворянинъ, будучи обо всемъ этомъ свѣдущъ, не для чего иного, какъ чтобы нанести смертельную для моего чина и званія обиду, обругалъ меня онымъ гнуснымъ словомъ.

«2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянинъ посягнувъ, притомъ, на мою родовую, полученную мною послѣ родителя моего, состоявшаго въ духовномъ званіи, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка, собственность, тѣмъ, что, въ противность всякимъ законамъ, перенесъ совершенно насупротивъ моего крыльца гусиный хлѣвъ, что дѣлалось не съ инымъ какимъ намѣреніемъ, какъ чтобы усугубить нанесенную мнѣ обиду, ибо оный хлѣвъ стоялъ до сего въ изрядномъ мѣстѣ и довольно еще былъ крѣпокъ. Но омерзительное намѣреніе вышеупомянутаго дворянина состояло единственно въ томъ, чтобы учинить меня свидѣтелемъ непристойныхъ пассажей: ибо извѣстно, что всякій человѣкъ не пойдетъ въ хлѣвъ, тѣмъ паче въ гусиный, для приличнаго дѣла. При такомъ противузаконномъ дѣйствіи, двѣ переднія сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мнѣ еще при жизни отъ родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка, начинавшуюся отъ амбара и прямою линіей до самаго того мѣста, гдѣ бабы моютъ горшки.

«3) Вышеизображенный дворянинъ, котораго уже самое имя и фамилія внушаетъ всякое омерзѣніе, питаетъ въ душѣ злостное намѣреніе поджечь меня въ собственномъ дѣлѣ. Несомнѣнные чему признаки изъ нижесѣдующаго

явствуют: во-1-хъ, оный злокачественный дворянинъ началъ выходить часто изъ своихъ покоевъ, чего прежде никогда, по причинѣ своей лѣности и гнусной тучности тѣла, не предпринималъ; во-2-хъ, въ людской его, примыкающей о самый заборъ, ограждающій мою собственную, полученную мною отъ покойнаго родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка, землю, ежедневно и въ необычайной продолжительности горить свѣтъ, что уже явное есть къ тому доказательство; ибо до сего, по скарденной его скупости, всегда не только сальная свѣча, но даже каганецъ былъ потушаемъ.

«И потому прошу онаго дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, яко повиннаго въ зажигательствѣ, въ оскорбленіи моего чина, имени и фамиліи и въ хищническомъ присвоеніи собственности, а паче всего въ подломъ и предосудительномъ присовокупленіи къ фамиліи моей названія «гусака», ко взысканію штрафа, удовлетворенія проторей и убытковъ присудить, и самого, яко нарушителя, въ кандалы забить и, заковавши, въ городскую тюрьму препроводить, и по сему моему прошенію рѣшеніе немедленно и неукоснительно учинить. Писать и сочинять дворянинъ, миргородскій помѣщикъ, Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко».

По прочтеніи просьбы, судья приблизился къ Ивану Ивановичу, взявъ его за пуговицу и началъ говорить ему почти такимъ образомъ: «Что это вы дѣлаете, Иванъ Ивановичъ? Бога бойтесь! Бросьте просьбу, пусть она пропадаетъ! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше съ Ивановъ Никифоровичемъ за руки, да поцѣлуйтесь; да купите сантуринскаго, или никопольскаго, или хоть, просто, сдѣлайте пуншику, да позовите меня! Разопьемъ вмѣстѣ и позабудемъ все!»

«Нѣтъ, Демьянъ Демьяновичъ! Не такое дѣло», сказать Иванъ Ивановичъ съ важностью, которая такъ всегда шла къ нему: «не такое дѣло, чтобы можно было рѣшить полюбовною сдѣлкою. Прощайте! Прощайте и вы, господа!» продолжалъ онъ съ тою же важностью, оборотившись ко всѣмъ: «надѣюсь, что моя просьба возымѣетъ надлежащее дѣйствіе». И ушелъ, оставивъ въ изумленіи все присутствіе.

Судья сидѣлъ, не говоря ни слова; секретарь нюхалъ табакъ; канцелярскіе опрокинули разбитый черепокъ бу-



тылки, употребляемый вмѣсто чернильницы, и самъ судья, въ разсѣянности, разводилъ пальцемъ по столу чернильную лужу.

«Что вы скажете на это, Дорожей Трофимовичъ?» сказать судья, послѣ нѣкотораго молчанія, обратившись къ подсудку.

«Ничего не скажу», отвѣчалъ подсудокъ.

«Экія дѣла дѣлаются!» продолжалъ судья. Не успѣвъ оного этого сказать, какъ дверь затрещала и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась въ присутствіе, остальная оставалась еще въ передней. Появленіе Ивана Никифоровича, и еще въ судѣ, такъ показалось необыкновеннымъ, что судья вскрикнулъ, секретарь прервалъ свое чтеніе, одинъ канцеляристъ, въ фризномъ подобіи полуфрака, взялъ въ губы перо, другой проглотилъ муху. Даже отправлявшій должность фельдшера и сторожа инвалидъ, который до того стоялъ у дверей, почесывая въ своей грязной рубашкѣ, съ нашивкою на плечѣ, даже этотъ инвалидъ разинулъ ротъ и наступилъ кому-то на ногу.

«Какими судьбами? Что и какъ? Какъ здоровье ваше, Иванъ Никифоровичъ?»

Но Иванъ Никифоровичъ былъ ни живъ, ни мертвъ, потому что завязнулъ въ дверяхъ и не могъ сдѣлать ни шагу впередъ или назадъ. Напрасно судья кричалъ въ переднюю, чтобы кто-нибудь изъ находившихся тамъ выперъ сзади Ивана Никифоровича въ присутственную залу. Въ передней находилась одна только старуха-просительница, которая, несмотря на всѣ усилія своихъ костлявыхъ рукъ, ничего не могла сдѣлать. Тогда одинъ изъ канцелярскихъ, съ толстыми губами, съ широкими плечами, съ толстымъ носомъ, глазами, глядѣвшими искоса и пьяно, съ разодранными локтями, приблизился къ передней половинѣ Ивана Никифоровича, сложилъ ему обѣ руки на-крестъ, какъ ребенку, и мигнулъ старому инвалиду, который уперся своимъ коленнымъ въ брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, онъ былъ вытиснутъ въ переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей, при чемъ канцелярскій и его помощникъ, инвалидъ, отъ дружныхъ усилій, дыханіемъ устъ своихъ распространили такой сильный запахъ, что комната присутствія превратилась было на время въ питейный домъ.

«Не зашибли ли васъ, Иванъ Никифоровичъ? Я скажу матушкѣ, она пришлетъ вамъ настойки, которую потрите только поясницу и спину, и все пройдетъ».

Но Иванъ Никифоровичъ повалился на стулъ и, кромѣ продолжительныхъ *оховъ*, ничего не могъ сказать. Наконецъ, слабымъ, едва слышнымъ отъ усталости, голосомъ произнесъ онъ: «Не угодно ли?» и, вынувши изъ кармана рожекъ, прибавилъ: «Возьмите, одолжайтесь!»

«Весьма радъ, что васъ вижу», отвѣчалъ судья: «но все не могу представить себѣ, что заставило васъ предпринять трудъ и одолжить насъ такою пріятною нечаянностью».

«Съ просьбою...» могъ только произнести Иванъ Никифоровичъ.

«Съ просьбою? съ какою?»

«Съ позвомя...» (тутъ одышка произвела долгую паузу) «охъ!.. съ позвомя на мошенника... Ивана Иванова Перерепенка».

«Господи! И вы туда же! Такіе рѣдкіе друзья! Позовъ на такого добродѣтельнаго человѣка!..»

«Онъ—самъ сатана!» произнесъ отрывисто Иванъ Никифоровичъ.

Судья перекрестился.

«Возьмите просьбу, прочитайте».

«Нечего дѣлать, прочитайте, Тарасъ Тихоновичъ», сказалъ судья, обращаясь къ секретарю, съ видомъ неудовольствія, при чемъ носъ его невольно понюхалъ верхнюю губу, что обыкновенно онъ дѣлалъ прежде только отъ большого удовольствія. Такое самоуправство носа причинило судѣ еще болѣе досады: онъ вынулъ платокъ и смелъ съ верхней губы весь табакъ, чтобы наказать дерзость его.

Секретарь, сдѣлавши обыкновенный свой приступъ, который онъ всегда употреблялъ передъ начатіемъ чтенія, т. е. безъ помощи носового платка, началъ обыкновеннымъ своимъ голосомъ такимъ образомъ:

«Просить дворянина миргородскаго повѣта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ, а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты:

«1) По ненавистой злобѣ своей и явному недоброжелательству, называющій себя дворяниномъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко, всякія пакости, убытки и иные ехидненскіе и въ ужасъ приводящіе поступки мнѣ чинить, и вчерашняго дня пополудни, какъ разбойникъ и тать, съ

топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудіями, забрался ночью въ мой дворъ и въ находящійся въ ономъ мой же собственный хлѣвъ, собственноручно и поноснымъ образомъ его изрубилъ, на что съ моей стороны я не подавалъ никакой причины къ столь противозаконному и разбойническому поступку.

«2) Оный же дворянинъ Перерепенко имѣетъ посягательство на самую жизнь мою, и до 7-го числа прошлаго мѣсяца, содержа въ тайнѣ сіе намѣреніе, пришелъ ко мнѣ и началъ дружескимъ и хитрымъ образомъ выпрашивать у меня ружье, находившееся въ моей комнатѣ, и предлагалъ мнѣ за него, съ свойственною ему скупостью, многія негодныя вещи, какъ-то: свинью бурую и двѣ мѣрки овса. Но, предугадывая тогда же преступное его намѣреніе, я всячески старался отъ онаго уклонить его; но оный мошенникъ и подлецъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко выбранилъ меня мужицкимъ образомъ и питаетъ ко мнѣ съ того времени вражду непримиримую. Притомъ же оный, часто поминаемый, неистовый дворянинъ и разбойникъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко, и происхожденія весьма поноснаго: его сестра была извѣстная всему свѣту потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею, назадъ тому пять лѣтъ, въ Миргородѣ, а мужа своего записала въ крестьяне; отецъ и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянинъ и разбойникъ Перерепенко своими скотоподобными и порицанія достойными поступками превзошелъ всю свою родню и, подъ видомъ благочестія, дѣлаетъ самыя соблазнительныя дѣла: постовъ не содержитъ, ибо наканунѣ Филипповки сей богоотступникъ купилъ барана и на другой день велѣлъ зарѣзать своей беззаконной дѣвкѣ Галкѣ, оговариваясь, аки бы ему нужно было подъ тотъ часъ салона каганцы и свѣчи.

«Посему прошу онаго дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличеннаго уже въ воровствѣ и грабительствѣ, въ кандалы заковать и въ тюрьму или государственнй острогъ препроводить и тамъ уже, по усмотрѣнію, лиша чиновъ и дворянства, добре барбарамъ имаровать и въ Сибирь на каторгу по надобности заточить, проторы, убытки велѣть ему заплатить и по сему моему прошенію рѣшеніе учинить.

«Къ сему прошенію руку приложилъ дворянинъ миргородскаго повѣта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ».

Какъ только секретарь кончилъ чтеніе, Иванъ Никифоровичъ взялся за шапку и поклонился, съ намѣреніемъ уйти.

«Куда же вы, Иванъ Никифоровичъ?» говорилъ ему вслѣдъ судья. «Посидите немного! Выпейте чаю! Орышко! что ты стоишь, глупая дѣвка, и перемигиваешься съ канцелярскими? Ступай, принеси чаю!»

Но Иванъ Никифоровичъ, съ испугу, что такъ далеко зашелъ отъ дому и выдержалъ такой опасный карантинъ, успѣлъ уже пролѣзть въ дверь, проговоривъ: «Не беспокойтесь, я съ удовольствіемъ...» и затворилъ ее за собою, оставивъ въ изумленіи все присутствіе.

Дѣлать было нечего. Обѣ просьбы были приняты, и дѣло готовилось принять довольно важный интересъ, какъ одно непредвидѣнное обстоятельство сообщило ему еще болѣшую занимательность. Когда судья вышелъ изъ присутствія, въ сопровожденіи подсудка и секретаря, а канцелярскіе укладывали въ мѣшокъ нанесенныхъ просителями куръ, яицъ, краяхъ хлѣба, пироговъ, книшей и прочаго дрягу, въ это время бурая свинья убѣжала въ комнату и схватила, къ удивленію присутствовавшихъ, не пирогъ или хлѣбную корку, но прошеніе Ивана Никифоровича, которое лежало на концѣ стола, перевѣсившись листами внизъ. Схвативши бумагу, бурая хавронья убѣжала такъ скоро, что ни одинъ изъ приказныхъ чиновниковъ не могъ догнать ее, несмотря на кидаемыя линейки и чернильницы.

Это чрезвычайное происшествіе произвело страшную суматоху, потому что даже копія не была еще списана съ прошенія. Судья, т. е. его секретарь, и подсудокъ, долго трактовали объ такомъ неслыханномъ обстоятельствѣ; наконецъ, рѣшено было на томъ, чтобы написать объ этомъ отношеніе къ городничему, такъ какъ слѣдствіе по этому дѣлу болѣе относилось къ градской полиціи. Отношеніе, за № 389, послано было къ нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объясненіе, о которомъ читатели могутъ узнать изъ слѣдующей главы.

## ГЛАВА V,

въ которой излагается совѣщаніе двухъ почетныхъ въ Миргородѣ особъ.

Какъ только Иванъ Ивановичъ управился въ своемъ хозяйствѣ и вышелъ, по обыкновенію, полежать подъ навѣсомъ, то, къ несказанному удивленію своему, увидѣлъ что-то краснѣвшееся въ калиткѣ. Это былъ красный обшлагъ городничаго, который, равномерно какъ и воротникъ его, получилъ политуру и по краямъ превращался въ лакированную кожу. Иванъ Ивановичъ подумалъ про себя: «Не дурно, что пришелъ Петръ Ѳеодоровичъ поговорить», но очень удивился, увидя, что городничій шелъ чрезвычайно скоро и размахивалъ руками, что случалось съ нимъ, по обыкновенію, весьма рѣдко. На мундирѣ у городничаго посажено было восемь пуговицъ; девятая, какъ оторвалась во время процессіи при освященіи храма, назадъ тому два года, такъ до сихъ поръ десятскіе не могутъ отыскать, хотя городничій при ежедневныхъ рапортахъ, которые отдаютъ ему квартальные надзиратели, всегда спрашиваетъ, нашлась ли пуговица. Эти восемь пуговицъ были насажены у него такимъ образомъ, какъ бабы садятъ бобы: одна направо, другая налѣво. Лѣвая нога была у него прострѣлена въ послѣдней кампаніи, и потому онъ, прихрамывая, закидывалъ ея такъ далеко въ сторону, что разрушалъ этимъ почти весь трудъ правой ноги. Чѣмъ быстрѣе дѣйствовалъ городничій своею пѣхотою, тѣмъ менѣе она подвигалась впередъ, и потому, покажѣсть дошелъ городничій къ навѣсу, Иванъ Ивановичъ имѣлъ довольно времени теряться въ догадкахъ, отчего городничій такъ скоро размахивалъ руками. Тѣмъ болѣе это его занимало, что дѣло казалось необыкновенной важности, ибо при городничемъ была даже новая шпага.

«Здравствуйте, Петръ Ѳеодоровичъ!» вскричалъ Иванъ Ивановичъ, который, какъ уже сказано, былъ очень любопытенъ и никакъ не могъ удержать своего нетерпѣнія при видѣ, какъ городничій бралъ приступомъ крыльцо, но все еще не поднималъ глазъ своихъ вверхъ и ссорился съ своею пѣхотою, которая никакимъ образомъ не могла съ одного размаху взойти на ступеньку.

«Доброго дня желаю любезному другу и благодѣтелю Ивану Ивановичу!» отвѣчалъ городничій.

«Милости прошу садиться. Вы, какъ, я вижу, устали, потому что ваша раненая нога мѣшается...»

«Моя нога!» вскрикнулъ городничій, бросивъ на Ивана Ивановича одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, какіе бросаетъ великанъ на пигмея, ученый педантъ на танцовальнаго учителя. При этомъ онъ вытянулъ свою ногу и топнулъ ею объ полъ. Эта храбрость, однакожь, ему дорого стоила, потому что весь корпусъ его покачнулся и носъ клюнулъ перила; но мудрый бюститель порядка, чтобъ не подать никакого вида, тотчасъ оправился и полѣзъ въ карманъ, какъ будто бы съ тѣмъ, чтобъ достать табакерку. — «Я вамъ доложу о себѣ, любезнѣйшій другъ и благодѣтель Иванъ Ивановичъ, что я дѣлывалъ на вѣку своемъ не такіе походы. Да, серьезно, дѣлывалъ. Напримѣръ, во время кампаніи 1807 года... Ахъ, я вамъ расскажу, какимъ манеромъ я перелѣзъ черезъ заборъ къ одной хорошенькой нѣмкѣ». При этомъ городничій зажмурилъ одинъ глазъ и сдѣлалъ бѣсовски-плутовскую улыбку.

«Гдѣ жъ вы бывали сегодня?» спросилъ Иванъ Ивановичъ, желая прервать городничаго и скорѣе навести его на причину посѣщенія; ему бы очень хотѣлось спросить, что такое намѣрень объявить городничій; но тонкое познаніе свѣта представляло ему всю неприличность такого вопроса, и Иванъ Ивановичъ долженъ былъ скрѣпитися и ожидать разгадки, между тѣмъ какъ сердце его билось съ необыкновенною силою.

«А позвольте, я вамъ расскажу, гдѣ былъ я», отвѣчать городничій. «Во-первыхъ, доложу вамъ, что сегодня отличное время...»

При послѣднихъ словахъ Иванъ Ивановичъ почти-что не умеръ.

«Но позвольте», продолжалъ городничій: «я пришелъ сегодня къ вамъ по одному важному дѣлу». — Тутъ лицо городничаго и осанка приняли то же самое озабоченное положеніе, съ которымъ братъ онъ приступомъ крыльцо. Иванъ Ивановичъ ожилъ и трепеталъ, какъ въ лихорадкѣ, не замедливши, по обыкновенію своему, сдѣлать вопросъ: «Какое же оно, важное? развѣ оно важное?»

«Вотъ извольте видѣть: прежде всего осмѣлюсь доложить

вамъ, любезный другъ и благодѣтель Иванъ Ивановичъ, что вы... съ моей стороны я, извольте видѣть, я ничего, но виды правительства, виды правительства этого требуютъ: вы нарушили порядокъ благочинія!»

«Что это вы говорите, Петръ Ѳедоровичъ? Я ничего не понимаю».

«Помилуйте, Иванъ Ивановичъ! какъ вы ничего не понимаете? Ваша собственная животи́на утащи́ла очень важную казенную бумагу, и вы еще говорите послѣ этого, что ничего не понимаете!»

«Какая животи́на?»

«Съ позволенія сказать, ваша собственная бурая свинья».

«А я чѣмъ виновать? Зачѣмъ судейскій сторожъ отворяетъ двери?»

«Но, Иванъ Ивановичъ, ваше собственное животное: стало-быть, вы виноваты».

«Покорно благодарю васъ за то, что съ свиньею меня равняете».

«Вотъ ужъ этого я не говорилъ, Иванъ Ивановичъ! Ей-Богу, не говорилъ! Извольте разсудить по чистой совѣсти сами. Вамъ, безъ всякаго сомнѣнія, извѣстно, что, согласно съ видами начальства, запрещено въ городѣ, тѣмъ же паче въ главныхъ градскихъ улицахъ, прогуливаться нечистымъ животнымъ. Согласитесь сами, что это дѣло запрещенное».

«Богъ знаетъ, что это вы говорите. Большая важность, что свинья вышла на улицу!»

«Позвольте вамъ доложить, позвольте, позвольте, Иванъ Ивановичъ, это совершенно невозможно. Что жъ дѣлать? Начальство хочетъ — мы должны повиноваться. Нѣ спорю, забѣгаютъ иногда на улицу и даже на площадь куры и гуси, замѣйте себѣ: куры и гуси; но свиней и козловъ я еще въ прошломъ году далъ предписаніе не впускать на публичныя площади, которое предписаніе тогда же приказалъ прочитать изустно въ собраніи, предъ цѣлымъ народомъ».

«Нѣтъ, Петръ Ѳедоровичъ, я здѣсь ничего не вижу, какъ только то, что вы всячески стараетесь обижать меня».

«Вотъ этого-то не можете сказать, любезнѣйшій другъ и благодѣтель, чтобы я старался обижать. Вспомните сами: я не сказалъ вамъ ни одного слова прошлый годъ, когда вы

выстроили крышу цѣлымъ аршиномъ выше установленной мѣры. Напротивъ, я показалъ видъ, какъ будто совершенно этого не замѣтилъ. Вѣрьте, любезнѣйшій другъ, что и теперь я бы совершенно, такъ сказать... но мой долгъ, словомъ, обязанность, требуетъ смотрѣть за чистотою. Посудите сами, когда вдругъ на главной улицѣ»...

«Ужъ хороши ваши главные улицы! Туда всякая баба идетъ выбросить то, что ей не нужно».

«Позвольте вамъ доложить, Иванъ Ивановичъ, что вы сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по большей части только подъ заборомъ, сараями или комодами; но чтобъ на главной улицѣ, на площадь втесалась супоросная свинья, это такое дѣло»...

«Что жъ такое, Петръ Федоровичъ! Вѣдь свинья—твореніе Божіе!»

«Согласенъ. Это всему свѣту извѣстно, что вы человѣкъ ученый, знаете науки и прочіе разные предметы. Конечно, я наукамъ не обучался никакимъ; скорописному письму я началъ учиться на тридцатомъ году своей жизни. Вѣдь я, какъ вамъ извѣстно, изъ родовыхъ».

«Гм!» сказалъ Иванъ Ивановичъ.

«Да», продолжалъ городничій: «въ 1801 году я находился въ 42 егерскомъ полку въ 4 ротѣ поручикомъ. Ротный командиръ у насъ былъ, если изволите знать, капитанъ Еремѣевъ». При этомъ городничій запустилъ свои пальцы въ табакерку, которую Иванъ Ивановичъ держалъ открытою и переминалъ табакъ.

Иванъ Ивановичъ отвѣчалъ: «Гм».

«Но мой долгъ», продолжалъ городничій: «есть повиноваться требованіямъ правительства. Знаете ли вы, Иванъ Ивановичъ, что похитившій въ судѣ казенную бумагу подвергается, наравнѣ со всякимъ другимъ преступленіемъ, уголовному суду?»

«Такъ знаю, что, если хотите, и васъ научу. Такъ говорится о людяхъ; напримѣръ, если бы вы украли бумагу; но свинья—животное, твореніе Божіе».

«Все такъ, но законъ говорить: «Винновный въ похищеніи...» Прошу васъ прислушаться внимательнѣе: *винновный*! Здѣсь не означается ни рода, ни пола, ни званія; стало-быть, и животное можетъ быть винновно. Воля ваша, а животное, прежде произнесенія приговора къ наказанію,



должно быть представлено въ полицію, какъ нарушитель порядка».

«Нѣтъ, Петръ Ѳедоровичъ», возразилъ хладнокровно Иванъ Ивановичъ: «этого-то не будетъ!»

«Какъ вы хотите, только я долженъ слѣдовать предписаніямъ начальства».

«Что жъ вы страпаете меня? Вѣрно, хотите прислать за нею безрукаго солдата? Я прикажу дворовой бабѣ его кочергой выпроводить; ему послѣднюю руку переломать».

«Я не смѣю съ вами спорить. Въ такомъ случаѣ, если вы не хотите представить ее въ полицію, то пользуйтесь ею, какъ вамъ угодно; заколите, когда желаете, ее къ Рождеству и надѣлите изъ нея обороковъ, или такъ съѣшьте. Только я бы у васъ попросилъ, если будете дѣлать колбасы, пришлите мнѣ парочку тѣхъ, которыя у васъ такъ искусно дѣлаетъ Гапка изъ свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна очень ихъ любитъ».

«Колбасы, извольте, пришлю парочку».

«Очень вамъ буду благодаренъ, любезный другъ и благодѣтель. Теперь позвольте вамъ сказать еще одно слово. Я имѣю порученіе какъ отъ судьи, такъ равно и отъ всѣхъ нашихъ знакомыхъ, такъ сказать, примирить васъ съ пріятелемъ вашимъ, Иваномъ Никифоровичемъ».

«Какъ! съ невѣжею! Чтобы я примирился съ этимъ грубіяномъ! Никогда! Не будетъ этого, не будетъ!» Иванъ Ивановичъ былъ въ чрезвычайно рѣшительномъ состояніи.

«Какъ вы себѣ хотите», отвѣчалъ городничій, угощая обѣ ноздри табакомъ. «Я вамъ не смѣю совѣтовать; однакожь позвольте доложить: вотъ вы теперь въ ссорѣ, а какъ помиритесь...»

Но Иванъ Ивановичъ началъ говорить о ловлѣ перепеловъ, что обыкновенно случалось, когда онъ хотѣлъ замѣять рѣчь.

Итакъ, городничій, не получивъ никакого успѣха, долженъ былъ отправиться во-свояси.

## ГЛАВА VI,

изъ которой читатель легко можетъ узнать все то, что въ ней содержится.

Сколько ни старались въ судѣ скрыть дѣло, но на дру-

гой же день весь Миргородъ узналъ, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Самъ городничій первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали объ этомъ, онъ ничего не сказалъ; спросилъ только: «Не бурая ли?»

Но Агаея Федосѣевна, которая была при этомъ, начала опять приступать къ Ивану Никифоровичу: «Что ты, Иванъ Никифоровичъ? Надъ тобой будутъ смѣяться, какъ надъ дуракомъ, если ты попустишь! Какой ты послѣ этого будешь дворянинъ? Ты будешь хуже бабы, что продаетъ сластѣны, которыя ты такъ любишь». И уговорила неугомонная! Нашла гдѣ-то человѣчка среднихъ лѣтъ, черномазаго, съ пятнами по всему лицу, въ темно-синемъ съ заплатами на локтяхъ сюртукѣ, совершенную приказную чернильницу! Сапоги онъ смазывалъ дегтемъ, носилъ по три пера за ухомъ и привязанный къ пуговицѣ на шнурочкѣ стеклянный пузырекъ, вмѣсто чернильницы; съѣдалъ за однимъ разомъ девять пироговъ, а десятый клалъ въ карманъ, и въ одинъ гербовый листъ столько уписывалъ всякой ябеды, что никакой чтецъ не могъ за однимъ разомъ прочесть, не перемежая этого кашлемъ и чиханьемъ. Это небольшое подобіе человѣка копалось, кортѣло, писало я, наконецъ, составляло такую бумагу:

«Въ миргородскій повѣтовый судъ отъ дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна.

«Вслѣдствіе онаго прошенія моего, что отъ меня, дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, къ тому имѣло быть, совокупно съ дворяниномъ Иваномъ, Ивановымъ сыномъ, Перерепенкомъ, чему и самъ повѣтовый миргородскій судъ потворство свое изъявилъ. И самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи въ тайнѣ содержимо и уже отъ стороннихъ людей до слуха дошедши. Понеже оное допущеніе и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежитъ; ибо оная свинья есть животное глупое, и тѣмъ паче способное къ хищенію бумаги. Изъ чего очевидно явствуется, что часто поминаемая свинья не иначе, какъ была подущена къ тому самымъ противникомъ, называющимъ себя дворяниномъ Иваномъ, Ивановымъ сыномъ, Перерепенкомъ, уже уличеннымъ въ разбой, посягательства на жизнь и святотатствѣ. Но оный миргородскій судъ, съ свойственнымъ ему лицепріятіемъ,

тайное своей особы соглашеніе изъявилъ; безъ какового соглашенія оная свинья никомъ бы образомъ не могла быть допущенною къ утащенію бумаги, ибо миргородскій повѣтовый судъ въ прислугѣ весьма снабженъ; для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время въ приѣмной пребывающаго, который, хотя имѣетъ одинъ кривой глазъ и нѣсколько поврежденную руку, но, чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имѣетъ весьма соразмѣрныя способности. Изъ чего достовѣрно видно потворство онаго миргородскаго суда и безспорно раздѣленіе жидовскаго отъ того барыша по взаимности совмѣщаясь. Оный же вышеупомянутый разбойникъ и дворянинъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко въ приточеніи опельмовавшись состоялся. Почему и довожу оному повѣтовому суду я, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ, въ надлежащее всевѣдніе, если съ оной бурой свиньи или согласившагося съ нею дворянина Перерепенка означенная просьба взыскана не будетъ и по ней рѣшеніе по справедливости и въ мою пользу не возымѣетъ: то я, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ, о таковомъ онаго суда противозаконномъ потворствѣ подать жалобу въ палату имѣю, съ надлежащимъ по формѣ перенесеніемъ дѣла.

«Дворянинъ миргородскаго повѣта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ».

Эта просьба произвела свое дѣйствіе. Судья былъ чловѣкъ, какъ обыкновенно бываютъ всѣ добрые люди, трусливаго десятка. Онъ обратился къ секретарю. Но секретарь пустилъ сквозъ губы густой «гм» и показалъ на лицѣ своемъ ту равнодушную и дьявольски-двусмысленную мину, которую принимаетъ одинъ только сатана, когда видитъ у ногъ своихъ прибѣгающую къ нему жертву. Одно средство оставалось: примирить двухъ пріятелей. Но какъ приступить къ этому, когда всѣ покушенія были до того неуспѣшны? Однакожь еще рѣшились попытаться; но Иванъ Ивановичъ напрямикъ объявилъ, что не хочетъ, и даже весьма разсердился. Иванъ Никифоровичъ, вмѣсто отвѣта, оборотился спиною назадъ и хотъ бы слово сказать. Тогда процессъ пошелъ съ необыкновенною быстротою, которою обыкновенно такъ славятся судилища. Бумагу помѣтили, записали, выставили нумеръ, вшили, расписались, все въ одинъ и тотъ же день, и положили дѣло въ шкафъ, гдѣ

оно лежало, лежало, лежало годъ, другой, третій. Множество невѣстъ успѣло выйти замужъ; въ Миргородѣ пробили новую улицу; у судьи выпалъ одинъ коренной зубъ и два боковыхъ; у Ивана Ивановича обѣгло по двору больше ребятишекъ, нежели прежде (откуда они взялись, Богъ одинъ знаетъ); Иванъ Никифоровичъ, въ упрекъ Ивану Ивановичу, выстроилъ новый гусиный хлѣвъ, хотя немного подальше прежняго, и совершенно застроился отъ Ивана Ивановича, такъ что сіи достойные люди никогда почти не видали въ лицо другъ друга;—и дѣло все лежало, въ самомъ лучшемъ порядкѣ, въ шкафу, который сдѣлался мраморнымъ отъ чернильных пятенъ.

Между тѣмъ произошелъ чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничій давалъ ассамблею! Гдѣ возму я кистей и красокъ, чтобъ изобразить разнообразіе стѣзда и великолѣпное пиршество? Возьмите часы, откройте ихъ и посмотрите, чтѣ тамъ дѣлается! Не правда ли, чепуха страшная? Представьте же теперь себѣ, что почти столько же, если не больше, колесъ стояло среди двора городничаго. Какихъ бричекъ и повозокъ тамъ не было! Одна—задъ широкій, а передъ узенькій; другая—задъ узенькій, а передъ широкій. Одна была и бричка, и повозка вмѣстѣ; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную кошну сѣна или на толстую кучиху; другая—на растрепаннаго жида или на скелетъ, еще не совсѣмъ освободившійся отъ кожи; иная была въ профилѣ совершенная трубка съ чубукомъ, другая была ни на чтѣ не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Изъ среды этого хаоса колесъ и козелъ возвышалось подобіе кареты съ комнатнымъ окномъ, перекрещеннымъ толстымъ переплетомъ. Кучера, въ сѣрыхъ чекменяхъ, свиткахъ и сѣрякахъ, въ бараньихъ шапкахъ и разнокалиберныхъ фуражкахъ, съ трубками въ рукахъ, проводили по двору распряженныхъ лошадей. Чтѣ за ассамблею далъ городничій! Позвольте, я перечту всѣхъ, которые были тамъ. Тарасъ Тарасовичъ, Евплъ Акиноовичъ, Евтихій Евтихievичъ, Иванъ Ивановичъ — не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, Савва Гавриловичъ, нашъ Иванъ Ивановичъ, Елевферій Елевферievичъ, Макаръ Назарьевичъ, Гома Григорьевичъ... Не могу далѣе! не въ силахъ! Рука устаеъ писать! А

сколько было дам! смуглыхъ и блѣдилицъ, и длинныхъ и коротенькихъ, толстыхъ, какъ Иванъ Никифоровичъ, и такихъ тонкихъ, что, казалось, каждую можно было упрятать въ пшажныя ножны городничаго. Сколько чепцовъ! сколько платьевъ! красныхъ, желтыхъ, кофейныхъ, зеленыхъ, синихъ, новыхъ, перелицованныхъ, перекроенныхъ, — платковъ, лентъ, ридикюлей! Прощайте, бѣдные глаза! вы никуда не будете годиться послѣ этого спектакля. А какой длинный столъ былъ вытянутъ! А какъ разговорилося все, какой шумъ подняли! Куда противъ этого мельница со всѣми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами! Не могу вамъ сказать навѣрно, о чемъ они говорили, но должно думать, что о многихъ пріятныхъ и полезныхъ вещахъ, какъ-то: о погодѣ, о собакахъ, о пшеницѣ, о чепчикахъ, о жеребцахъ. Наконецъ, Иванъ Ивановичъ, не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, у котораго одинъ глазъ кривъ, сказалъ: «Мнѣ очень странно, что правый глазъ мой (кривой Иванъ Ивановичъ всегда говорилъ о себѣ иронически) не видитъ Ивана Никифоровича г-на Довгочхуна».

«Не хотѣлъ притти!» сказалъ городничій.

«Какъ такъ?»

«Вотъ уже, слава Богу, есть два года, какъ поссорились они между собою, т. е. Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ, и гдѣ одинъ, туда другой ни за что не пойдеть!»

«Что вы говорите!» При этомъ кривой Иванъ Ивановичъ поднималъ глаза вверхъ и сложилъ руки вмѣстѣ. «Что-жъ теперь, если уже люди съ добрыми глазами не живутъ въ мирѣ, гдѣ же жить мнѣ въ ладу съ кривымъ моимъ окомъ!» На эти слова всѣ засмѣялись во весь ротъ. Всѣ очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что онъ отпускалъ шутки совершенно во вкусъ нынѣшнему. Самъ высокій, худошавый человекъ, въ байковомъ сюртукѣ, съ пластыремъ на носу, который до того сидѣлъ въ углу и ни разу не перемѣнилъ движенія на своемъ лицѣ, даже когда залѣтѣла къ нему въ носъ муха, — этотъ самый господинъ всталъ съ своего мѣста и подвинулся ближе къ толпѣ, обступившей кривого Ивана Ивановича. «Послушайте!» сказалъ кривой Иванъ Ивановичъ, когда увидѣлъ, что его окружило порядочное общество: «послушайте: вмѣсто того, что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте, вмѣсто этого,

помиримъ двухъ нашихъ пріятелей! Теперь Иванъ Ивановичъ разговариваетъ съ бабами и дѣвчатами, — пошлемъ потихоньку за Иваномъ Никифоровичемъ, да и столкнемъ ихъ вмѣстѣ».

Всѣ единодушно приняли предложеніе Ивана Ивановича и положили немедленно послать къ Ивану Никифоровичу на домъ просить его, во что бы ни стало, пріѣхать къ городничему на обѣдъ. Но важный вопросъ: на кого возложить это важное порученіе? повергнулъ всѣхъ въ недоумѣніе. Долго спорили, кто способнѣе и искуснѣе въ дипломатической части; наконецъ, единодушно рѣшили возложить все это на Антона Прокофьевича Голопузя.

Но прежде нужно нѣсколько познакомить читателя съ этимъ замѣчательнымъ лицомъ. Антонъ Прокофьевичъ былъ совершенно добродѣтельный человѣкъ во всемъ значеніи этого слова: дать ли ему кто изъ почетныхъ людей въ Миргородѣ платокъ на шею или исподнее, — онъ благодарить; щелкнетъ ли его кто слегка въ носъ, — онъ и тогда благодарить. Если у него спрашивали: «Отчего это у васъ, Антонъ Прокофьевичъ, сюртукъ коричневый, а рукава голубые?» то онъ обыкновенно всегда отвѣчалъ: «А у васъ и такого нѣтъ! Подождите, обносится, весь будетъ одинаковый!» И точно, голубое сукно, отъ дѣйствія солнца, начало обращаться въ коричневое, и теперь совершенно подходитъ подъ цвѣтъ сюртука. Но вотъ что странно, что Антонъ Прокофьевичъ имѣетъ обыкновеніе суконное платье носить лѣтомъ, а нанковое — зимою. Антонъ Прокофьевичъ не имѣетъ своего дома. У него былъ прежде на концѣ города, но онъ его продалъ и на вырученные деньги купилъ тройку гнѣдыхъ лошадей и небольшую бричку, въ которой разъѣзжалъ гостить по помѣщикамъ. Но такъ какъ съ лошадьми было много хлопотъ и притомъ нужны были деньги на овесъ, то Антонъ Прокофьевичъ ихъ промѣнялъ на скрипку и дворовую дѣвку, взявши придачи двадцатипятирублевую бумажку. Потомъ скрипку Антонъ Прокофьевичъ продалъ, а дѣвку промѣнялъ на сафьянный съ золотомъ кисетъ, и теперь у него кисетъ такой, какого ни у кого нѣтъ. За это наслажденіе онъ уже не можетъ разъѣзжать по деревнямъ, а долженъ оставаться въ городѣ и ночевать въ разныхъ домахъ, особенно тѣхъ дворянъ, которые находили удовольствіе щелкать его по носу. Антонъ Прокофье-

вичъ любить хорошо поѣсть, играетъ изрядно въ дураки и мельники. Повиноваться всегда было его стихіею, и потому онъ, взявши шалку и палку, немедленно отправился въ путь.

Но, идучи, сталъ разсуждать, какимъ образомъ ему подвинуть Ивана Никифоровича притти на ассамблею. Нѣсколько крутой нравъ сего, впрочемъ, достойнаго человѣка дѣлалъ его предпріятіе почти невозможнымъ. Да и какъ, въ самомъ дѣлѣ, ему рѣшиться притти, когда встать съ постели уже ему стоило великаго труда? Но положимъ, что онъ встанетъ, какъ ему притти туда, гдѣ находится,—что, безъ сомнѣнія, онъ знаетъ,—непримиримый врагъ его? Чѣмъ болѣе Антонъ Прокофьевичъ обдумывалъ, тѣмъ болѣе находилъ препятствій. День былъ душенъ; солнце жгло; потъ лился съ него градомъ. Антонъ Прокофьевичъ, несмотря на то, что его щелкали по носу, былъ довольно хитрый человѣкъ на многія дѣла. Въ мѣбѣ только былъ онъ не такъ счастливъ. Онъ очень зналъ, когда нужно прикинуться дуракомъ, и иногда умѣлъ найтись въ такихъ обстоятельствахъ и случаяхъ, гдѣ рѣдко умный бываетъ въ состояніи извернуться.

Въ то время, какъ изобрѣтательный умъ его выдумывалъ средство, какъ убѣдить Ивана Никифоровича, и уже онъ храбро шелъ навстрѣчу всего, одно неожиданное обстоятельство нѣсколько смутило его. Не мѣшаетъ, при этомъ, сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочимъ, одни панталоны такого страннаго свойства, что когда онъ надѣвалъ ихъ, то всегда собаки кусали его за икры. Какъ на бѣду, въ тотъ день онъ надѣлъ именно эти панталоны, и потому, едва только онъ предался размышленіямъ, какъ страшный лай со всѣхъ сторонъ поразилъ слухъ его. Антонъ Прокофьевичъ поднялъ такой крикъ (громче его никто не умѣлъ кричать), что не только знакомая баба и обитатель неизмѣримаго скрутка выбѣжали къ нему навстрѣчу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались къ нему, и хотя собаки только за одну ногу успѣли его укусить, однакожъ это очень уменьшило его бодрость, и онъ съ нѣкотораго рода робостью подступалъ къ крыльцу.

## ГЛАВА VII

и

послѣдняя.

«А, здравствуйте! На что вы собакъ дразните?» сказалъ Иванъ Никифоровичъ, увидѣвши Антона Прокофьевича, потому что съ Антономъ Прокофьевичемъ никто иначе не говорилъ, какъ шутя.

«Чтобъ онѣ передохли всѣ! Кто ихъ дразнить?» отвѣчалъ Антонъ Прокофьевичъ.

«Вы врете».

«Ей-Богу, нѣтъ! Просилъ васъ Иванъ Федоровичъ на обѣдъ».

«Гм!»

«Ей-Богу! такъ убѣдительно просилъ, что выразить не можно. «Что это, говорить, Иванъ Никифоровичъ чуждается меня, какъ непріятеля; никогда не зайдетъ поговорить, либо посидѣть»».

Иванъ Никифоровичъ погладилъ свой подбородокъ.

«Если, говорить, Иванъ Никифоровичъ и теперь не придетъ, то я не знаю, что подумать: вѣрно, онъ имѣетъ на меня какой умыселъ! Сдѣлайте милость, Антонъ Прокофьевичъ, уговорите Ивана Никифоровича!» Что жъ, Иванъ Никифоровичъ, пойдемъ! Тамъ собралась теперь отличная компанія!»

Иванъ Никифоровичъ началъ разсматривать пѣтуха, который, стоя на крыльцѣ, изо всей мочи дралъ горло.

«Если бы вы знали, Иванъ Никифоровичъ», продолжалъ усердный депутатъ: «какой осетрины, какой свѣжей икры прислали Петру Федоровичу!»

При этомъ Иванъ Никифоровичъ поворотилъ свою голову и началъ внимательно прислушиваться.

Это ободрило депутата. «Пойдемте скорѣе: тамъ и Гома Григорьевичъ! Что жъ вы?» прибавилъ онъ, видя, что Иванъ Никифоровичъ лежалъ все въ одинаковомъ положеніи: «что жъ, идемъ, или неидемъ?»

«Не хочу».

Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича: онъ уже думалъ, что убѣдительное представленіе его совершенно склонило этого, впрочемъ, достойнаго человѣка; но вмѣсто того услышалъ рѣшительное: «не хочу».



«Отчего же не хотите вы?» спросилъ онъ почти со досадою, которая показывалась у него чрезвычайно рѣдко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженую бумагу, чѣмъ особенно любили себя тѣшить судья и городничій.

Иванъ Никифоровичъ понюхалъ табакъ.

«Воля ваша, Иванъ Никифоровичъ, я не знаю, что васъ удерживаетъ».

«Чего я пойду?» проговорилъ наконецъ Иванъ Никифоровичъ: «тамъ будетъ разбойникъ!» Такъ онъ называлъ обыкновенно Ивана Ивановича... Боже праведный! А давно ли...

«Ей-Богу, не будетъ! Вотъ какъ Богъ святъ, что не будетъ! Чтобъ меня на самомъ этомъ мѣстѣ громомъ убило!» отвѣчалъ Антонъ Прокофьевичъ, который готовъ былъ божиться десять разъ на одинъ часъ. «Пойдемте же, Иванъ Никифоровичъ!»

«Да вы врете, Антонъ Прокофьевичъ, онъ тамъ?»

«Ей-Богу, ей-Богу, нѣтъ! Чтобы я не сошелъ съ этого мѣста, если онъ тамъ! Да и сами посудите, съ какой стати мнѣ лгать! Чтобъ мнѣ руки и ноги отсохли!.. Что, и теперь не вѣрите? Чтобъ я околѣлъ тутъ же передъ вами! Чтобъ ни отцу, ни матери моей, ни мнѣ не видать царствія небеснаго! Еще не вѣрите?»

Иванъ Никифоровичъ этими увѣреніями совершенно успокоился и велѣлъ своему камердинеру, въ безграничномъ скрутку, принесть шаровары и нанковый козакинъ.

Я полагаю, что описывать, какимъ образомъ Иванъ Никифоровичъ надѣвалъ шаровары, какъ ему намотали галстукъ и наконецъ надѣли козакинъ, который подъ лѣвымъ рукавомъ лопнулъ, совершенно излишне. Довольно, что онъ во все это время сохранялъ приличное спокойствіе и не отвѣчалъ ни слова на предложенія Антона Прокофьевича—что-нибудь промѣнять на его турецкій кисетъ.

Между тѣмъ собраніе съ нетерпѣніемъ ожидало рѣшительной минуты, когда явится Иванъ Никифоровичъ, и исполнится наконецъ всеобщее желаніе, чтобы сіи достойные люди примирились между собою. Многіе были почти увѣрены, что не придетъ Иванъ Никифоровичъ. Городничій даже бился объ закладъ съ кривымъ Иваномъ Ивановичемъ, что не придетъ; но разошелся только потому, что кривой Иванъ Ивановичъ требовалъ, чтобы тотъ поставилъ въ за-

кладъ подстриженную свою ногу, а онъ кривое око, — тѣмъ городничій очень обидѣлся, а компанія потихоньку смѣялась. Никто еще не садился за столъ, хотя давно уже былъ второй часъ, — время, въ которое въ Миргородѣ, даже въ парадныхъ случаяхъ, давно уже обѣдаютъ.

Едва только Антонъ Прокофьевичъ появился въ дверяхъ, какъ въ то же мгновеніе былъ обступленъ всѣми. Антонъ Прокофьевичъ на всѣ вопросы закричалъ однимъ рѣшительнымъ словомъ: «Не будетъ!» Едва только онъ это произнесъ, и уже градъ выговоровъ, браней, а можетъ-быть, и щелчковъ готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, какъ вдругъ дверь отворилась и — вошелъ Иванъ Никифоровичъ.

Если бы показался самъ сатана или мертвецъ, то они бы не произвели такого изумленія во всемъ обществѣ, въ какое повергнулъ его неожиданный приходъ Ивана Никифоровича. А Антонъ Прокофьевичъ только заливался, ухватившись за бока, отъ радости, что такъ подшутить надъ всею компаніею.

Какъ бы то ни было, только это было почти невѣроятно для всѣхъ, чтобы Иванъ Никифоровичъ въ такое короткое время могъ одѣться, какъ прилично дворянину. Ивана Ивановича въ это время не было: онъ за тѣмъ-то вышелъ. Очнувшись отъ изумленія, вся публика приняла участіе въ здоровьи Ивана Никифоровича и изъявила удовольствіе, что онъ раздался въ толщину. Иванъ Никифоровичъ цѣловался со всякимъ и говорилъ: «Очень одолженъ».

Между тѣмъ запахъ борща понесся чрезъ комнату и пощекоталъ пріятно ноздри проголодавшимся гостямъ. Всѣ повалили въ столовую. Вереница дамъ, говорливыхъ и молчаливыхъ, тощихъ и толстыхъ, потянулась впередъ, и длинный столъ зарябѣлъ всѣми цвѣтами. Не стану описывать кушаньевъ, какія были за столомъ! Ничего не упомяну ни о мнишкахъ въ сметанѣ, ни объ утрибкѣ, которую подавали къ борщу, ни объ индѣйкѣ со сливами и изюмомъ, ни о томъ кушаньи, которое очень походило видомъ на сапоги, намоченные въ квасѣ, ни о томъ соусѣ, который есть лебединая пѣснь стариннаго повара, о томъ соусѣ, который подавался обхваченный весь виннымъ пламенемъ, что очень забавляло и вмѣстѣ пугало дамъ. Не стану говорить объ этихъ кушаньяхъ, потому что мнѣ гораздо болѣе нравится

ѣсть ихъ, нежели распространяться объ нихъ въ разговорахъ.

Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная съ хрѣномъ. Онъ особенно занялся этимъ полезнымъ и питательнымъ упражненіемъ. Выбирая самыя тонкія рыбы косточки, онъ клалъ ихъ на тарелку и какъ-то нечаянно взглянулъ насупротивъ: Творецъ небесный! какъ это было странно! Противъ него сидѣлъ Иванъ Никифоровичъ!

Въ одно и то же время взглянулъ и Иванъ Никифоровичъ!.. Нѣтъ!.. не могу!.. Дайте мнѣ другое перо! Перо мое вяло, мертво, съ тонкимъ расщепомъ для этой картины! Лица ихъ съ отразившимся изумленіемъ сдѣлались какъ бы окаменѣлыми. Каждый изъ нихъ увидѣлъ лицо давно знакомое, къ которому, казалось бы, невольно готовъ подойти, какъ къ пріятелю неожиданному, и поднести рожокъ, съ словомъ: «одолжайтесь», или: «смѣю ли просить объ одолженіи»; но вмѣстѣ съ этимъ то же самое лицо было страшно, какъ нехорошее предзнаменованіе! Потъ катился градомъ у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующіе, всѣ, сколько ихъ ни было за столомъ, отбѣгли отъ вниманія и не отрывали глазъ отъ нѣкогда бывшихъ друзей. Дамы, которыя до того времени были заняты довольно интереснымъ разговоромъ о томъ, какимъ образомъ дѣлаются каплуны, вдругъ прервали разговоръ. Все стихло! Это была картина, достойная кисти великаго художника.

Наконецъ, Иванъ Ивановичъ вынулъ носовой платокъ и началъ сморкаться, а Иванъ Никифоровичъ осмотрѣлся вокругъ и остановилъ глаза на растворенной двери. Городничій тотчасъ замѣтилъ это движеніе и велѣлъ затворить дверь покрѣпче. Тогда каждый изъ друзей началъ кушать, и уже ни разу не взглянули они другъ на друга.

Какъ только кончился обѣдъ, оба прежніе пріятеля схватились съ мѣстъ и начали искать шапокъ, чтобы улизнуть. Тогда городничій мигнулъ, и Иванъ Ивановичъ — не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, что съ кривымъ глазомъ, — сталъ за спиною Ивана Никифоровича, а городничій зашелъ за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать ихъ сзади, чтобы спихнуть ихъ вмѣстѣ и не выпустать до тѣхъ поръ, пока не подадутъ рукъ. Иванъ Ивановичъ, что съ кривымъ глазомъ, натолкнулъ Ивана Ники-

форовича, хотя и нѣсколько косо, однакожь довольно еще удачно, въ то мѣсто, гдѣ стоялъ Иванъ Ивановичъ; но городничій сдѣлалъ дирекцію слишкомъ въ сторону, потому что онъ никакъ не могъ управиться съ своевольною пѣхотою, не слушавшею на тотъ разъ никакой команды, и какъ на зло закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно въ противную сторону (что, можетъ, происходило оттого, что за столомъ было чрезвычайно много разныхъ наливокъ), такъ что Иванъ Ивановичъ упалъ на даму въ красномъ платьѣ, которая, изъ любопытства, просунулась въ самую середину. Такое предзнаменованіе не предвѣщало ничего добраго. Однакожь судья, чтобъ поправить это дѣло, занялъ мѣсто городничаго и, потянувши носомъ съ верхней губы весь табакъ, отпихнулъ Ивана Ивановича въ другую сторону. Въ Миргородѣ это обыкновенный способъ примиренія; онъ нѣсколько похожъ на игру въ мячикъ. Какъ только судья пихнулъ Ивана Ивановича, Иванъ Ивановичъ, съ кривымъ глазомъ, уперся всею силою и пихнулъ Ивана Никифоровича, съ котораго потъ валился, какъ дождевая вода съ крыши. Несмотря на то, что оба пріятеля весьма упирались, они все-таки были столкнуты, потому что обѣ дѣйствовавшія стороны получили значительное подкрѣпленіе со стороны другихъ гостей.

Тогда обступили ихъ со всѣхъ сторонъ тѣсно и не выпускали до тѣхъ поръ, пока они не рѣшились подать другъ другу руки. «Богъ съ вами, Иванъ Никифоровичъ и Иванъ Ивановичъ! Скажите по совѣсти: за что вы поссорились? Не по пустякамъ ли? Не совѣстно ли вамъ передъ людьми и передъ Богомъ!»

«Я не знаю», сказалъ Иванъ Никифоровичъ, пыхтя отъ усталости (замѣтно было, что онъ былъ весьма не прочь отъ примиренія): «я не знаю, что я такое сдѣлалъ Ивану Ивановичу; за что же онъ порубилъ мой хлѣвъ и замышлялъ погубить меня?»

«Не повиненъ ни въ какомъ зломъ умыслѣ», говорилъ Иванъ Ивановичъ, не обращая глазъ на Ивана Никифоровича. «Клянусь и передъ Богомъ и передъ вами, почтенное дворянство, я ничего не сдѣлалъ моему врагу. За что же онъ меня поносить и наносить вредъ моему чину и званію?»

«Какой же я вамъ, Иванъ Ивановичъ, нанесъ вредъ?»

сказалъ Иванъ Никифоровичъ. Еще одна минута объясненія — и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иванъ Никифоровичъ полѣзъ въ карманъ, чтобы достать рожокъ и сказать: «одолжайтесь».

«Развѣ это не вредъ», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, не подымая глазъ: «когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чинъ и фамилію такимъ словомъ, которое неприлично здѣсь сказать?»

«Позвольте вамъ сказать по-дружески, Иванъ Ивановичъ!» (при этомъ Иванъ Никифоровичъ дотронулся пальцемъ до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположеніе): «вы обидѣлись, чортъ знаетъ за что такое: за то, что я васъ назвалъ *усакомъ*...»

Иванъ Никифоровичъ спохватился, что сдѣлалъ неосторожность, произнеши это слово; но уже было поздно: слово было произнесено. Все пошло къ чорту! Когда, при произнесеніи этого слова безъ свидѣтелей, Иванъ Ивановичъ вышелъ изъ себя и пришелъ въ такой гнѣвъ, въ какомъ не дай Богъ видѣть человѣка, — что-жъ теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убійственное слово произнесено было въ собраніи, въ которомъ находилось множество дамъ, передъ которыми Иванъ Ивановичъ любилъ быть особенно приличнымъ? Поступи Иванъ Никифоровичъ не такимъ образомъ, скажи онъ *птица*, а не *усака*, еще бы можно было поправить. Но—все кончено!

Онъ бросилъ на Ивана Никифоровича взглядъ—и какой взглядъ! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то онъ обратилъ бы въ прахъ Ивана Никифоровича. Гости поняли этотъ взглядъ и поспѣшили сами разлучить ихъ. И этотъ человѣкъ, образецъ кротости, который ни одну нищую не пропускалъ, чтобы не разспросить ее, выбѣжалъ въ ужасномъ бѣшенствѣ. Такія сильныя бури производить страсти!

Цѣлый мѣсяцъ ничего не было слышно объ Иванѣ Ивановичѣ. Онъ заперся въ своемъ домѣ. Завѣтный сундукъ былъ отпертъ, изъ сундука были вынуты—что же? карбованцы! старые, дѣдовскіе карбованцы! И эти карбованцы перешли въ запачканныя руки чернильныхъ дѣльцовъ. Дѣло было перенесено въ палату. И когда получилъ Иванъ Ивановичъ радостное извѣстіе, что завтра рѣшится оно, тогда только выглянулъ на свѣтъ и рѣшился выйти изъ дому.

Увы! съ того времени палата извѣщала ежедневно, что дѣло кончится завтра, въ продолженіе десяти лѣтъ.

Назадъ тому лѣтъ пять я проѣзжалъ чрезъ городъ Миргородъ. Я ѣхалъ въ дурное время. Тогда стояла осень съ своею грустно-сырою погодою, грязью и туманомъ. Какая-то ненатуральная зелень,—твореніе скучныхъ, непрерывныхъ дождей,—покрывала жидкою сѣтью поля и нивы, къ которымъ она такъ пристала, какъ шалости старику, розы — старухѣ. На меня тогда сильное вліяніе производила погода: я скучалъ, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я сталъ подъѣзжать къ Миргороду, то почувствовалъ, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаній! Я двѣнадцать лѣтъ не видалъ Миргорода. Здѣсь жили тогда въ трогательной дружбѣ два единственные человѣка, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитыхъ людей! Судья Демьянъ Демьяновичъ уже тогда былъ покойникомъ; Иванъ Ивановичъ, что съ кривымъ глазомъ, тоже приказалъ долго жить. Я въѣхалъ въ главную улицу: вездѣ стояли шесты съ привязаннымъ вверху пучкомъ соломы: производилась какая-то новая планировка! Нѣсколько избъ было снесено. Остатки заборовъ и плетней торчали уныло.

День былъ тогда праздничный; я приказалъ рогоженную кибитку свою остановить передъ церковью и вошелъ такъ тихо, что никто не оборотился. Правда, и некому было: церковь была пуста; народу почти никого; видно было, что и самые богомольные боялись грязи. Свѣчи, при пасмурномъ, лучше сказать, больномъ днѣ, какъ-то были странно неприятны; темные притворы были печальны; продолговатыя окна, съ круглыми стеклами, обливались дождливыми слезами. Я отошелъ въ притворъ и обратился къ почтенному старику съ посѣдѣвшими волосами: «Позвольте узнать, живъ ли Иванъ Никифоровичъ?» Въ это время лампада вспыхнула живѣе передъ иконою, и свѣтъ прямо ударился въ лицо моего сосѣда. Какъ же я удивился, когда, разсматривая, увидѣлъ черты знакомыя! Это былъ самъ Иванъ Никифоровичъ! Но какъ измѣнился!

«Здоровы ли вы, Иванъ Никифоровичъ? Какъ же вы постарѣли!»

«Да, постарѣлъ. Я сегодня изъ Полтавы», отвѣчалъ Иванъ Никифоровичъ.

«Что вы говорите! Вы ѣздили въ Полтаву въ такую дурную погоду?»

«Что-жъ дѣлать! Тяжба...»

При этомъ я невольно вздохнулъ.

Иванъ Никифоровичъ замѣтилъ этотъ вздохъ и сказалъ: «Не беспокойтесь: я имѣю вѣрное извѣстіе, что дѣло рѣшится на слѣдующей недѣлѣ, и въ мою пользу».

Я пожалъ плечами и пошелъ узнать что-нибудь объ Иванѣ Ивановичѣ.

«Иванъ Ивановичъ здѣсь!» сказалъ мнѣ кто-то: «онъ на клирѣ».

Я увидѣлъ тогда тощую фигуру. Это ли Иванъ Ивановичъ? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно бѣлые; но бекеша была все та же. Послѣ первыхъ привѣтствій, Иванъ Ивановичъ, обратившись ко мнѣ съ веселою улыбкою, которая такъ всегда шла къ его воронкообразному лицу, сказалъ: «Увѣдомить ли васъ о пріятной новости?»

«О какой новости?» спросилъ я.

«Завтра непременно рѣшится мое дѣло; палата сказала навѣрное».

Я вздохнулъ еще глубже и поскорѣе поспѣшилъ проститься,—потому что я ѣхалъ по весьма важному дѣлу,—и сѣлъ въ кибитку.

Топція лошади, извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися въ сѣрую массу грязи, непріятный для слуха звукъ. Дождь лилъ ливнемъ на жида, сидѣвшаго на козлахъ и накрывшагося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава съ будкою, въ которой инвалидъ чинилъ сѣрые доспѣхи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами изрытое, черное, мѣстами зеленѣющее, мокрыя галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣту небо.—Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!



## МАЛОРОССІЙСКІЯ СЛОВА,

ВСТРѢЧАЮЩІЯСЯ ВЪ ПЕРВОМЪ и ВТОРОМЪ ТОМАХЪ.

---

Бандура,  
Баклага,  
Батогъ,  
Барвінокъ,  
Баштанъ,

Болячка,  
Бондарь,  
Бубликъ,  
Будякъ,  
Буракъ,  
Буханецъ,  
Варенуха,

Вертепъ,  
Вечера, вечерять  
Видлога,

Вінница,  
Вояка,  
Выкрутасы,  
Габа,  
Галушки,  
Гаманъ,

Гатить,

инструментъ, родъ гитары.  
родъ плоскаго боченка.  
кнутъ.  
растенье.  
мѣсто, засѣянное арбузами и ды-  
нями.

вередъ.  
бочаръ.  
круглый крендель, баранокъ.  
чертополохъ.  
свекла.  
небольшой бѣлый хлѣбъ.  
вареная водка съ пряностями и  
плодами.

кукольный театръ.  
ужинъ, ужинать.  
откидная шапка изъ сукна, приши-  
тая къ кобеляку.

винокурня.  
воинъ.  
трудные па.  
движимость, имущество.  
клѣцки.

родъ бумажника, гдѣ хранится огни-  
во, кремь, трутъ, табакъ, иногда  
и деньги.

дѣлать плотину.



Голодная кутя,  
 Голодрабець,  
 Гопакъ, }  
 Горлица, }  
 Гречаникъ,  
 Гусакъ,  
 Далибугъ,  
 Дѣвчина, дѣвчата,  
 Дижа,  
 Добродію,  
 Довбишъ,  
 Домовіна,  
 Дрибунки,  
 Дуля,  
 Дукатъ,  
 Жінка,  
 Жупанъ,  
 Завзятый,  
 Заводы,  
 Загадаться,  
 Замурованный,  
 Знахоръ,—ка,  
 Исподница,  
 Кавунъ,  
 Каганецъ,

Казанъ,  
 Кануперъ,  
 Канчукъ,  
 Карбованецъ,  
 Капакъ,  
 Качка,  
 Клѣпки,

Книшъ,  
 Кнуръ,  
 Кобенякъ,

Кожухъ,  
 Комора,  
 Корабликъ,

сочельникъ.  
 бѣднякъ, бобыль.

танцы.

гречневый хлѣбъ.  
 гусь-самецъ.  
 ей-Богу (польское).  
 дѣвушка, дѣвушки.  
 кадка.  
 сударь, милостивецъ.  
 цигавриць.

гробъ.  
 мелкія косы.

пишъ.  
 червонецъ.

жена.  
 родъ кафтана.  
 задорный.

заливъ.  
 задуматься.  
 задѣланный камнемъ.

колдунъ, ворожая.  
 юбка.

арбузъ.  
 свѣтильникъ, состоящій изъ че-  
 репка, наполненнаго саломъ.

котель.  
 трава.

нагайка.  
 цѣлковый.

русскій мужикъ съ бородой.  
 утка.

вышуклыя дощечки, изъ которыхъ  
 составляется бочка.

родъ печенаго бѣлаго хлѣба.  
 борозъ.

родъ суконнаго плаща, съ приши-  
 тою сзади видлогою.

тулупъ.  
 амбаръ.

старинный головной уборъ.

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Коржъ,                | сухая лепешка изъ пшеничной муки, часто съ саломъ.                                    |
| Коровай,              | свадебный хлѣбъ.                                                                      |
| Корчикъ,              | родъ деревяннаго ковшъ, которымъ пересыпаютъ хлѣбъ, совокъ.                           |
| Коханка,              | возлюбленная.                                                                         |
| Кунтушъ,              | верхнее старинное платье.                                                             |
| Курень,               | соломенный шалапъ.                                                                    |
| Курень у запорожцевъ, | отдѣленіе военнаго стана запорожцевъ.                                                 |
| Кухоль,               | кружка.                                                                               |
| Кухва,                | родъ кадки.                                                                           |
| Левада,               | поле, оцепанное рвомъ.                                                                |
| Лѣхо, лѣшечко,        | бѣда.                                                                                 |
| Лысый дидько,         | домовой, демонъ.                                                                      |
| Лѣлька,               | трубка.                                                                               |
| Мазніца,              | родъ ведра, въ которомъ держатъ деготь въ дорогѣ.                                     |
| Макітра,              | горшокъ, въ которомъ трутъ макъ и прочее.                                             |
| Макогонъ,             | пестъ для растиранія.                                                                 |
| Малахай,              | плеть.                                                                                |
| Мѣска,                | чашка для похлебки.                                                                   |
| Мѣшкы,                | кушанье изъ муки съ творогомъ.                                                        |
| Молодица,             | молодая, замужняя женщина.                                                            |
| Нагѣдка, нагѣдочка,   | ноготокъ, растеніе.                                                                   |
| Наймытъ,              | нанятой работникъ.                                                                    |
| Наймычка,             | нанятая работница.                                                                    |
| Намѣтка,              | бѣлое женское покрывало изъ рѣдкаго полотна, съ откидными концами.                    |
| Нечуй-вѣтеръ,         | травъ, которую даютъ свиньямъ для жиру.                                               |
| Осалѣдець,            | длинный клочъ волосъ на головѣ, заматывающійся за ухо; въ собственномъ смыслѣ—сельдь. |
| Охочекомонный,        | вольныя кавалерійскія войска.                                                         |
| Очерѣтъ,              | тростникъ.                                                                            |
| Очіпокъ,              | родъ женской шапочки.                                                                 |
| Очкуръ,               | шнурокъ, которымъ стягиваются шаровары.                                               |

Паляница,

Пампушки,

Пасичникъ,

Парубокъ,

Пейсики,

Пекло,

Перепеличка,

Перёкупка,

Переполюхъ,

Петровы батоги,

Пивкопы,

Плахта,

• Повѣтъ,—овый.

Повѣтка,

Подсѣдокъ,

Позовъ,

Полова,

Полутабенёкъ,

Покутъ,

Пошапковаться,

Псяѣха,

Пѣщикъ

Пѣтря,

Рада,

Раздобрѣть,

Рейстровый козакъ,

Ручникъ,

Рушенье,

Сажъ,

Саламата,

Свитка,

Свѣлокъ,

Синдячки,

Скряня,

Сластёны,

Сливянка,

Смалець,

Смѣшки,

небольшой хлѣбъ, нѣсколько плоскій.

вареное кушанье изъ тѣста.

пчеловодъ.

парень.

жидовскіе локоны.

адъ.

молодая перепелка.

торговка.

испугъ; выливать переполюхъ—лѣчить отъ испуга.

дикій цыкорій.

двадцать пять копеекъ.

нижняя одежда женщинъ изъ шерстяной клѣтчатоѣ матеріи.

уѣздъ, уѣздный.

сарай.

засѣдатель уѣзднаго суда.

тяжебное прошеніе.

мякина.

старинная шелковая матерія.

мѣсто подъ образами.

поздороваться.

польское бранное слово.

пищалка, свистокъ.

кушанье, родъ каши.

совѣтъ.

растолстѣть.

козакъ, записанный на службу.

утиральникъ.

ополченіе.

мѣсто, гдѣ откармливаютъ скотину.

толокно.

родъ полукафтаны.

перекладина подъ потолкомъ.

узкія ленты.

большой сундукъ.

пышки.

наливка изъ сливъ.

гусиный жиръ.

мерлушки.

Соняшница,  
Сопилка,  
Стрички,  
Стусанъ,  
Сукня,  
Сулія,  
Сыровѣцъ,  
Тендітний,  
Тройчатка,  
Тѣсная баба,

Утрибка,  
Хлопецъ,  
Хѹторъ,  
Хѹстка,  
Цѹрка,  
Цыбуля,  
Черевіки,  
Черенокъ съ червонцами,

Чубъ, }  
Чуприна }  
Чумаки,

Шішка,

Швець,  
Шібеникъ,  
ѹшка,  
ятка,  
ясочка,  
Яломѣкъ,

боль въ животѣ.  
дудка, свирѣль.  
ленты.  
кулакъ.  
одежда женщинъ изъ сукна.  
большая бутылъ.  
хлѣбный квасъ.  
слабосильный, нѣжный.  
тройная плеть.  
игра, въ которую играютъ школьники въ классѣ: жмутся на скамѣхъ, покаместъ одна полочка не вытѣснить другую.  
кушанье изъ внутренностей.  
мальчикъ.  
небольшая деревушка.  
платокъ.  
дѣвушка, дочь (польское).  
лукъ.  
башмаги.  
поясъ, въ который насыпали червонцы.

длинный клокъ волосъ на головѣ.  
обозники, ѣдущіе въ Крымъ за солью и на Донъ за рыбою.  
небольшой хлѣбъ, дѣлаемый на свадьбахъ.  
сапожникъ.  
висѣльникъ.  
супъ, жижа.  
родъ палатки или шатра.  
свѣтикъ мой.  
жидовская шапочка.



## ПРИМѢЧАНІЯ РЕДАКТОРА.

---

**Миргородъ.** Обѣ части «Миргорода» поступили въ продажу въ началѣ апрѣля 1835 года; цензурное разрѣшеніе помѣчено: «29 декабря 1834 года».

### Первая часть „Миргорода“.

1. **Старосвѣтскіе помѣщики.** Первоначальный набросокъ этой повѣсти относится къ 1833 г.; отдѣлана для печати въ 1834 году.
2. **Тарасъ Бульба.** Редакція повѣсти, напечатанная во второмъ томѣ перваго изданія «Сочиненій Николая Гоголя», выработана была въ періодъ времени съ 1839 по май 1842 года, изъ текста, помѣщеннаго въ первомъ изданіи «Миргорода». Послѣдній текстъ, въ видѣ «приложенія» къ новой редакціи «Тараса Бульбы», напечатанъ въ XI томѣ настоящаго изданія.

### Часть вторая.

**Вій.** Начата въ 1833 г., обработана въ 1834 г. для перваго изданія «Миргорода». Здѣсь, вслѣдъ за окончаніемъ этой повѣсти, напечатано подъ чертою слѣдующее замѣчаніе: «*Поирѣшность.* Въ сей повѣсти, по неосмотрительности, пропущена половина страницы, объясняющая, какимъ образомъ бурсакъ узналъ въ сотниковой дочери вѣдьму, приходившую къ нему въ видѣ старухи». Вѣроятно, авторъ указываетъ на слѣдующія строки рукописнаго текста, не внесенныя въ «Миргородъ»: «Онъ знаетъ меня, пусть вспомнитъ только въ овечьемъ»... А что такое «въ овечьемъ», я не услышалъ. Она, голубка моя, только и могла сказать и умерла». Избытокъ грусти заставилъ сотника минуту остановиться. «Ты долженъ знать», сказалъ [онъ], немного отдохнувъ: «что значитъ «въ овечьемъ». — «Богъ его знаетъ, панъ сотникъ, что такое значитъ это. У меня есть овчинный тулупъ. Можетъ быть, (потому) она сказала это. Можетъ-быть, какъ-нибудь видѣла, что я шелъ въ немъ на базаръ или куда въ другое мѣсто». Эти строки легко было пропустить, потому что ихъ приходилось

привести въ связь съ припискою, сдѣланною внизу слѣдующей страницы, а для этого надлежало кое-что исключить изъ дополняемаго текста.

Приготовляя *Вн* для перепечатанія въ первомъ изданіи своихъ «Сочиненій», Гоголь, помимо нѣкоторыхъ мелкихъ исправленій, совершенно передреблялъ слѣдующія мѣста:

1) Мѣсто, начинающееся словами: «Дикіе вопли издала она» и оканчивающееся словами: «о такомъ непонятномъ происшествіи» (стр. 159), появилось въ первый разъ въ изданіи П. Въ «Миргородѣ», вмѣсто того, стояло: «и началъ имъ со всѣхъ силъ колотить старуху. Послѣ нѣсколькихъ ударовъ замѣтилъ онъ, что бѣгъ ея становился медленнѣе и медленнѣе. Философъ сторяча крестилъ ее еще болѣе. Наконецъ, вѣдьма была не въ силахъ переносить ударовъ, зашаталась и упала. Разсвѣтъ загорѣлся совершенно. Птицы чирикали въ еще неподвижныхъ и спавшихъ рощахъ орѣшника. Передъ нимъ, какъ на ладони, былъ весь Кіевъ съ продолговатыми, какъ золотыя груши, главами. Вставши на ноги, онъ взглянулъ на лежавшую на землѣ и едва дышавшую вѣдьму — и самъ не могъ растолковать своего чувства: онъ видѣлъ, что въ лицѣ ея показались молодыя черты, сверкнула свѣжняя бѣлизна и какъ будто бы она была уже не старуха: какая-то пріятная и вмѣстѣ непріятная миная показалась на губахъ ея и врѣзалась ему въ самое сердце. Онъ чувствовалъ что-то похожее на жалость, но не захотѣлъ и минутъ оставаться и скорѣе направилъ путь свой въ городъ, раздумывая объ этомъ странномъ происшествіи».

2) Строки: «Вдругъ что-то страшно знакомое показалось въ лицѣ ея» — «Это была та самая вѣдьма, которую убилъ онъ!» (стр. 170) замѣнили собою слѣдующее мѣсто перваго изданія «Миргорода»:

«Это та самая вѣдьма, которую я прибилъ!» вскрикнулъ онъ, взглянувъ въ ужасъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ лицѣ ея выразилась та же миная, которая такъ поразила его, когда онъ, вмѣсто старуки, увидѣлъ молодую. «А! такъ вотъ почему она заставила читать меня!» Онъ въ ужасѣ глядѣлъ на нее: каждая черта лица ея теперь казалась ему громовою и угрожающею. Холодный потъ покатился съ лица его.»

3) Сокращено въ новомъ изданіи слѣдующее мѣсто въ *Вн*:

«Трупъ опять поднялся, синій, позеленѣвшій. Мертвыя губы, казалось, что-то произносили и шевелились. Трупъ глухо топнулъ своею мягкою, почти безъ костей, ногою о полъ — и церковъ вздрогнула. Онъ услышалъ, какъ будто что-то налегло на нее и сквозь стекла оконъ начали показываться какіе-то безобразные образы. Но въ это время послышался отдаленный крикъ пѣтуха. Трупъ упалъ въ гробъ» (ср. выше, стр. 178).

4) Значительно сокращены и передреблены слѣдующія три страницы въ первомъ изданіи «Миргорода»:

«Онъ, потупивъ голову, продолжалъ заклинанія и слышалъ, какъ трепъ опять ударилъ зубами и началъ махать рукой, желая схватить его. Возведши робкій взглядъ на него, онъ замѣтилъ, что онъ ловилъ совершенно не тамъ, гдѣ онъ стоялъ,

и что труп не могъ его видѣть. Неуспѣхъ, казалось, приводилъ мертвую въ бѣшенство. Она хлопнула зубами и, ставши на середину, опять топнула своею ногой. Этотъ стукъ раздался совершенно беззвучно; уста ея искривились и, казалось, произносили какія-то невнятные слова. И философъ слышалъ, что стѣны церкви какъ будто заныли. Странный ропотъ и произвительный визгъ раздался подлѣ<sup>1</sup> глухими сводами; въ стеклахъ<sup>2</sup> оконъ слышалось какое-то отвратительное царапанье, и вдругъ сквозь окна и двери посыпалось съ шумомъ множество гномовъ, въ такихъ чудовищныхъ образахъ, въ какихъ еще не представлялось ему ничто, даже во снѣ. Онъ увидѣлъ вдругъ такое множество отвратительныхъ крылъ, ногъ и членовъ, какихъ не въ силахъ бы былъ разобрать обхваченный ужасомъ наблюдатель! Выше всѣхъ возвышалось странное существо въ видѣ правильной пирамиды, покрытое слизью. вмѣсто ногъ у него были внизу съ одной стороны половина челюсти, съ другой другая; вверху, на самой верхушкѣ этой пирамиды, высовывался безпрестанно длинный языкъ и непрерывно ломался на всѣ стороны. На противоположномъ крылѣхъ усѣлось бѣлое, широкое, съ какими-то отвисшими до полу бѣлыми мѣшками, вмѣсто ногъ; вмѣсто рукъ, ушей, глазъ висѣли такіе же бѣлые мѣшки. Немного далѣе возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множествомъ тонкихъ рукъ, сложенныхъ на груди, и вмѣсто головы вверху у него была синяя человѣческая рука. Огромный, величиною почти съ слона, тараканъ остановился у дверей и просунулъ свои усы. Съ вершины самаго купола со стукомъ грянулось на средину церкви какое-то черное, все состоявшее изъ однихъ ногъ; эти ноги были по полу и выгибались, какъ будто бы чудовище желало подняться. Одно какое-то красновато-синее, безъ рукъ, безъ ногъ, протягивало на далекое пространство два своихъ хобота и какъ будто искало кого-то. Множество другихъ, которыхъ уже не могъ различить испуганный глазъ, ходили, летали и ползали въ разныхъ направленіяхъ; одно состояло только изъ головы, другое изъ отвратительнаго крыла, летавшаго съ какимъ-то нестерпимымъ шипѣніемъ. Хома зажмурилъ глаза и не имѣлъ духу уже взглянуть. Онъ слышалъ только, что весь этотъ сонмъ ищетъ его и прерывающимся голосомъ, собрать все, что только зналъ, читалъ свои заклинанія. Потъ ужаса выступилъ на его лицо. Ему казалось, что онъ умретъ отъ одного только страха, когда нога какого-нибудь изъ этихъ чудовищ прикоснется до него отвратительною своею наружностью. Уже онъ видѣлъ, какъ одно изъ чудовищ протянуло свои длинные хоботы и уже одинъ изъ нихъ проникнулъ за черту... Боже!.. Но крикнулъ пѣтухъ: все вдругъ поднялось и полетѣло сквозь двери и окна.—(Ср. выше стр. 179).

5) Совершенно передѣлано окончаніе повѣсти, которое въ первомъ изданіи «Миргорода» читалось такъ:

«Вдругъ... среди тишины... онъ слышитъ опять отвратитель-

<sup>1</sup>) Въ М. опечатка: «надъ».

<sup>2</sup>) Въ М. опечатка: «стѣнахъ».

ное парapanье, свистъ, шумъ и звонъ въ окнахъ. Съ робостью зажуриль онъ глаза и прекратилъ на время чтеніе. Не открывая глазъ, онъ слышалъ, какъ вдругъ грянуло объ полъ цѣлое множество, сопровождаемое разными стуками, глухими, звонкими, мягкими, визгливыми. Немного приподнявъ онъ глазъ свой и съ поспѣшностью закрылъ опять: ужасы!.. это были всѣ<sup>1</sup> вчерашніе гномы; разница въ томъ, что онъ увидѣлъ между ими множество новыхъ. Почти насупротивъ его стояло высокое, котораго черный скелетъ выдвинулся на поверхность и сквозь темныя ребра его мелькало желтое тѣло. Въ сторонѣ стояло тонкое и длинное, какъ палка, состоявшее изъ однихъ только глазъ съ рѣсницами. Далѣе занимало почти всю стѣну огромное чудовище и стояло въ перепутанныхъ волосахъ, какъ будто въ лѣсу. Сквозь сѣть волосъ этихъ глядѣли два ужасные глаза. Со страхомъ глянуть онъ вверхъ: надъ нимъ держалось въ воздухѣ что-то въ видѣ огромнаго пузыря съ тысячею протянутыхъ изъ середины клещей и скорпионныхъ жалъ. Черная земля висѣла на нихъ клокками. Съ ужасомъ потупилъ онъ глаза свои въ книгу. Гномы подняли шумъ чешуями отвратительныхъ хвостовъ своихъ, когтистыми ногами и визжавшими крыльями, и онъ слышалъ только, какъ они искали его во всѣхъ углахъ. Это выгнало послѣдній остатокъ хмеля, еще бродившій въ головѣ философа. Онъ ревностно началъ читать свои молитвы. Онъ слышалъ ихъ бышенство при видѣ невозможности найти его. «Что, если», подумалъ онъ, вздрогнувъ: «вся эта ватага обрушится на меня?...» — «За Віемъ! пойдемъ за Віемъ!» закричало множество странныхъ голосовъ, и ему казалось, какъ будто часть гномовъ удалилась. Однакоже онъ стоялъ съ зажмуренными глазами и не рѣшался взглянуть ни на что. — «Вій! Вій!» зашумѣли всѣ; волчій вой послышался вдали и едва-едва отдѣлилъ лающие собакъ. Двери съ визгомъ растворились, и Хома слышалъ только, какъ высыпались цѣлыя толпы. И вдругъ настала тишина, какъ въ могилѣ. Онъ хотѣлъ открыть глаза; но какой-то угрожающій тайный голосъ говорилъ ему: «эй, не гляди!» Онъ показалъ усиліе... По непостижимому, можетъ-быть, происшедшему изъ самаго страха, любопытству глазъ его нечаянно отворился. — Передъ нимъ стоялъ какой-то образъ человѣческій исполнскаго роста. Вѣки его были опущены до самой земли. Философъ съ ужасомъ замѣтилъ, что лицо его было желѣзное, и устремилъ загорѣвшіеся глаза свои снова въ книгу. — «Подымите мнѣ вѣки!» сказалъ подземнымъ голосомъ Вій — и все сонмище кинулось подымать ему вѣки. «Не гляди!» шепнуло какое-то внутреннее чувство философу. Онъ не утерпѣлъ и глянулъ: двѣ черныя пули глядѣли прямо на него. Желѣзная рука поднялась и уставила на него палецъ. «Вонъ онъ!» произнесъ Вій — и все, что ни было, всѣ отвратительныя чудища разомъ бросились на него... бездыханный, онъ грянулся на землю... Пѣтухъ пропѣлъ уже во второй разъ. Первую пѣснь его прослышали гномы. Все ско-

<sup>1</sup>) «Всѣ?»



пище поднялось улетѣть, но не тутъ-то было: они всѣ остановились и завязнули въ окнахъ, въ дверяхъ, въ куполѣ, въ углахъ, и остались неподвижны... Въ это время дверь отворилась, и вошелъ священникъ, прибывшій изъ отдаленнаго селенія для совершенія панихиды и погребенія умершей. Съ ужасомъ отступилъ онъ, увидѣвши такое посрамленіе святыни, и не посмѣлъ произносить въ ней слова Божьяго.—И съ тѣхъ поръ такъ все и осталось въ той церкви. Завязнувшія въ окнахъ чудища тамъ и понынѣ. Церковь поросла мохомъ, обшилась лѣсомъ, пустившимъ корни по стѣнамъ ея; никто не входилъ туда и не знаетъ, гдѣ и въ какой сторонѣ она находится.

Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ. Набросана, по свидѣтельству автора, въ 1831 году; въ апрѣлѣ 1833 года была уже въ рукахъ Смирдина, который напечаталъ ее въ альманахѣ «Новоселье», разрѣшенномъ цензурою «апрѣля 18 дня 1834 года». 7-го апрѣля того же года Гоголь читалъ эту повѣсть Пушкину.

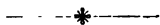
# Оглавленіє

## ВТОРОГО ТОМА.

|                                                                                        | СТР. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Миргородъ.</b>                                                                      |      |
| <i>Часть первая.</i>                                                                   |      |
| Старосвѣтскіе помѣщики . . . . .                                                       | 5    |
| Тарась Бульба . . . . .                                                                | 29   |
| <i>Часть вторая.</i>                                                                   |      |
| Вія . . . . .                                                                          | 149  |
| Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ<br>Никифоровичемъ . . . . . | 188  |
| <hr/>                                                                                  |      |
| Малороссійскія слова, встрѣчающіяся въ первомъ и второмъ<br>томахъ . . . . .           | 237  |
| <hr/>                                                                                  |      |
| Прижѣчанія редактора . . . . .                                                         | 242  |



# СОЧИНЕНІЯ Н. В. ГОГОЛЯ



**ИЗДАНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ.**

**РЕДАКЦІЯ**

**Н. С. Тихонравова.**

Съ біографією Н. В. Гоголя, составленной В. И. Шенрокомъ, двумя портретами Гоголя, гравированными на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ, двумя автографами и тремя собственноручными рисунками.



**ТОМЪ ТРЕТІЙ.**



Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1900 г.

**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.**  
**Изданіе А. Ф. МАРКСА.**  
**1900.**



Типографія А. Ф. Маркса, Ср. Подьяч., № 1.

# ПОВѢСТИ.



# Н О С Ъ.

## I.

**М**арта 25-го числа случилось въ Петербургѣ необыкновенно странное происшествіе. Цырюльникъ Иванъ Яковлевичъ, живущій на Вознесенскомъ проспектѣ (фамилія его утрачена, и даже на вывѣскѣ его, — гдѣ изображенъ господинъ съ намыленною щекою и надписью: «*И кровь отворяютъ*», — не выставлено ничего болѣе), цырюльникъ Иванъ Яковлевичъ проснулся довольно рано и услышалъ запахъ горячаго хлѣба. Приподнявшись немного на кровати, онъ увидѣлъ, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала изъ печи только-что испеченные хлѣбы.

«Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофію», сказать Иванъ Яковлевичъ: «а вмѣсто того хочется мнѣ съѣсть горячаго хлѣбца съ лукомъ». (То-есть, Иванъ Яковлевичъ хотѣлъ бы и того, и другого, но зналъ, что было совершенно невозможно требовать двухъ вещей разомъ, ибо Прасковья Осиповна очень не любила такихъ прихотей). «Пусть, дуракъ, ѣсть хлѣбъ, мнѣ же лучше», подумала про себя супруга: «останется кофеею лишняя порція», и бросила одинъ хлѣбъ на столъ.

Иванъ Яковлевичъ для приличія надѣлъ сверхъ рубашки фракъ и, усѣвшись передъ столомъ, насыпалъ соль, приготовилъ двѣ головки луку, взялъ въ руки ножъ и, сбѣлавши значительную мину, принялся рѣзать хлѣбъ. Разрѣзавши



хлѣбъ на двѣ половины, онъ поглядѣлъ въ середину — и, къ удивленію своему, увидѣлъ что-то бѣлѣвшееся. Иванъ Яковлевичъ ковырнулъ осторожно ножомъ и пощупалъ пальцемъ: «Плотное!» сказалъ онъ самъ про себя: «что бы это такое было?»

Онъ засунулъ пальцы и вытащилъ — носъ!.. Иванъ Яковлевичъ и руки опустилъ; сталъ протирать глаза и щупать: носъ, точно, носъ! и еще, казалось, какъ будто чей-то знакомый. Ужасъ изобразился на лицѣ Ивана Яковлевича. Но этотъ ужасъ былъ ничто противъ негодованія, которое овладѣло его супругою.

«Гдѣ это ты, звѣрь, отрѣзалъ носъ?» закричала она съ гнѣвомъ. «Мошенникъ! пьяница! я сама на тебя донесу полиціи. Разбойникъ какой! Вотъ ужъ я отъ трехъ человѣкъ слышала, что ты во время бритья такъ теребишь за носы, что еле держатся».

Но Иванъ Яковлевичъ былъ ни живъ, ни мертвъ: онъ узналъ, что этотъ носъ былъ не чей другой, какъ коллежскаго асессора Ковалева, котораго онъ брилъ каждую среду и воскресенье.

«Стой, Прасковья Осиповна! Я заверну его въ тряпочку и положу въ уголокъ: пусть тамъ маленечко полежитъ; а послѣ его вынесу».

«И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя въ комнатѣ лежать отрѣзанному носу!.. Сухарь поджаристый! знай умѣть только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсѣмъ не въ состояніи будетъ исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы и стала за тебя отвѣчать полиціи?.. Ахъ ты начкунъ, бревно глупое! Вонъ его! вонъ! Неси, куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!»

Иванъ Яковлевичъ стоялъ совершенно какъ убитый. Онъ думалъ, думалъ — и не зналъ, что подумать. «Чортъ его знаетъ, какъ это сдѣлалось», сказалъ онъ наконецъ, почесавъ рукою за ухомъ: «пьянъ ли я вчера возвратился, или нѣтъ, ужъ навѣрное сказать не могу. А по всѣмъ примѣтамъ, должно-быть, происшествіе несбыточное, ибо хлѣбъ — дѣло печеное, а носъ совсѣмъ не то. Ничего не разберу!» Иванъ Яковлевичъ замолчалъ. Мысль о томъ, что полицейскіе отыщутъ у него носъ и обвинять его, привела его въ совершенное безпамятство. Уже ему мерещился алый воротникъ, красиво вышитый серебромъ, шпага... и онъ дрожалъ

всѣмъ тѣломъ. Наконецъ, достать онъ свое исподнее платье и сапоги, натащилъ на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелеткими увѣщаніями Прасковьи Осиповны, завернулъ носъ въ тряпку и вышелъ на улицу.

Онъ хотѣлъ его куда-нибудь подсунуть: или въ тумбу подъ воротами, или такъ какъ-нибудь нечаянно выронить да и повернуть въ переулокъ. Но, на бѣду, ему попался какой-нибудь знакомый человѣкъ, который начиналъ тотчасъ запросомъ: «Куда идешь?» или: «Кого такъ рано собрался брить?» такъ что Иванъ Яковлевичъ никакъ не могъ уличить минуты. Въ другой разъ онъ уже совсѣмъ уронилъ его; но будочникъ еще издали указалъ ему алебардою, примолвивъ: «подыми, вонъ ты что-то уронилъ!» и Иванъ Яковлевичъ долженъ былъ 'поднять носъ и' спрятать его въ карманъ. Отчаяніе овладѣло имъ, тѣмъ болѣе, что народъ безпрестанно умножался на улицѣ, по мѣрѣ того, какъ начали отпираться магазины и лавочки.

Онъ рѣшился идти къ Исаакіевскому мосту: не удастся ли какъ-нибудь швырнуть его въ Неву?.. Но я нѣсколько виноватъ, что до сихъ поръ не сказалъ ничего объ Иванѣ Яковлевичѣ, человѣкѣ почтенномъ во многихъ отношеніяхъ.

Иванъ Яковлевичъ, какъ всякій порядочный русскій мастеровой, былъ пьяница страшный, и хотя каждый день брилъ чужіе подбородки, но его собственный былъ у него вѣчно небритъ. Фракъ у Ивана Яковлевича (Иванъ Яковлевичъ никогда не ходилъ въ сюртукъ) былъ пѣгій, то-есть, онъ былъ черный, но весь въ коричнево-желтыхъ и сѣрыхъ яблокахъ; воротникъ лоснился; а въѣсто трехъ пуговицъ висѣли однѣ только ниточки. Иванъ Яковлевичъ былъ большой циникъ, и когда коллежскій ассессоръ Ковалевъ обыкновенно говорилъ ему во время бритья: «у тебя, Иванъ Яковлевичъ, вѣчно воняютъ руки!» то Иванъ Яковлевичъ отвѣчалъ на это вопросомъ: «Отчего жъ бы имъ вонять?» — «Не знаю, братецъ, только воняютъ», говорилъ коллежскій ассессоръ, и Иванъ Яковлевичъ, понюхавши табаку, мылилъ ему за это и на щекѣ, и подъ носомъ, и за ухомъ, и подъ бородою—однимъ словомъ, гдѣ только ему была охота.

Этотъ почтенный гражданинъ находился уже на Исаакіевскомъ мосту. Онъ прежде всего осмотрѣлся, потомъ нагнулся на перила, будто бы посмотреть подъ мостъ, много ли рыбы бѣгаетъ, и швырнулъ потихоньку тряпку съ но-

сомъ. Онъ почувствовалъ, какъ будто бы съ него разомъ свалилось десять пудовъ. Иванъ Яковлевичъ даже усмѣхнулся. Въмѣсто того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, онъ отправился въ заведеніе съ надписью: «*Куханье и чай*», спросить стаканъ пуншу, какъ вдругъ замѣтилъ въ концѣ моста квартальнаго надзирателя, благородной наружности, съ широкими бакенбардами, въ треугольной шляпѣ, со шпагою. Онъ обмеръ; а между тѣмъ квартальный киваль ему пальцемъ и говорилъ: «А подойди сюда, любезный!»

Иванъ Яковлевичъ, зная форму, снялъ издали еще гартузъ и, подошедши проворно, сказалъ: «Желаю здравія вашему благородію!»

«Нѣтъ, нѣтъ, братецъ, не благородію,—скажи-ка: что ты тамъ дѣлалъ, стоя на мосту?»

«Ей-Богу, сударь, ходилъ брить, да посмотреть только, нибко ли рѣка идетъ».

«Врешь, врешь! Этимъ не отдѣлаешься. Изволь-ка отвѣчать!»

«Я вашу милость два раза въ недѣлю, или даже три, готовъ брить безъ всякаго прекословія», отвѣчалъ Иванъ Яковлевичъ.

«Нѣтъ, пріятель, это пустяки! Меня три цырюльника бреютъ, да еще и за большую честь почитаютъ. А вотъ изволь-ка рассказать, что ты тамъ дѣлалъ?»

Иванъ Яковлевичъ поблѣднѣлъ... Но здѣсь происшествіе совершенно закрывается туманомъ, и что далѣе произошло, рѣшительно ничего не извѣстно.

## II.

Коллежскій ассессоръ Ковалевъ проснулся довольно рано и сдѣлалъ губами: «брр»... — что всегда онъ дѣлалъ, когда просыпался, хотя и самъ не могъ растолковать, по какой причинѣ. Ковалевъ потянулся, приказалъ себѣ подать небольшое, стоявшее на столѣ, зеркало. Онъ хотѣлъ взглянуть на прыщикъ, который вчерашнимъ вечеромъ вскочилъ у него на носу: но, къ величайшему изумленію, увидѣлъ, что у него, вмѣсто носа, совершенно гладкое мѣсто! Испугавшись, Ковалевъ велѣлъ подать воды и протеръ полотенцемъ глаза: точно, нѣтъ носа! Онъ началъ щупать рукою,

ущипнулъ себя, чтобы узнать, не спитъ ли онъ: кажется, не спитъ. Коллежскій ассессоръ Ковалевъ вскочилъ съ кровати, встряхнулся, — все нѣтъ носа!.. Онъ велѣлъ тотчасъ подать себѣ одѣться и полетѣлъ прямо къ оберъ-полицеймейстеру.

Но между тѣмъ необходимо сказать что-нибудь о Ковалевѣ, чтобы читатель могъ видѣть, какого рода былъ этотъ коллежскій ассессоръ. Коллежскихъ ассессоровъ, которые получаютъ это званіе съ помощью ученыхъ аттестатовъ, никакъ нельзя сравнивать съ тѣми коллежскими ассессорами, которые дѣлались на Кавказѣ. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежскіе ассессора... Но Россія такая чудная земля, что если скажешь что-нибудь объ одномъ коллежскомъ ассессорѣ, то всѣ коллежскіе ассессора, отъ Риги до Камчатки, непременно примутъ на свой счетъ: то же разумѣй и о всѣхъ званіяхъ и чинахъ. Ковалевъ былъ кавказскій коллежскій ассессоръ. Онъ два года только еще состоялъ въ этомъ званіи и потому ни на минуту не могъ его позабыть; а чтобы еще болѣе придать себѣ благородства и вѣса, онъ никогда не называлъ себя просто коллежскимъ ассессоромъ, но всегда майоромъ. «Послушай, голубушка», говорилъ онъ обыкновенно, встрѣтивши на улицѣ бабу, продававшую манишки: «ты приходи ко мнѣ на домъ; квартира моя по Садовой; спроси только: здѣсь живетъ майоръ Ковалевъ?—тебѣ всякій покажетъ». Если же встрѣчалъ какую-нибудь смазливенькую, то давалъ ей сверхъ того секретное приказаніе, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будемъ впередъ этого коллежскаго ассессора называть майоромъ.

Майоръ Ковалевъ имѣлъ обыкновеніе каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничокъ его манишки былъ всегда чрезвычайно чистъ и накрашенъ. Бакенбарды у него были такого рода, какія и теперь еще можно видѣть у губернскихъ и уѣздныхъ землемѣровъ, у архитекторовъ и полковыхъ докторовъ, также у отправляющихъ разныя обязанности и, вообще, у всѣхъ тѣхъ мужей, которые имѣютъ полныя, румяныя щеки и очень хорошо играютъ въ бостонъ: эти бакенбарды идутъ по самой срединѣ щеки и прямехонько доходятъ до носа. Майоръ Ковалевъ носилъ множество печатокъ сердоликовыхъ — и съ

гербами, и такихъ, на которыхъ было вырѣзано: *среда, четвергъ, понедѣльникъ* и проч. Маіоръ Ковалевъ пріѣхалъ въ Петербургъ по надобности, а именно — искать приличнаго своему званію мѣста: если удастся, то вице-губернаторскаго, а не то — экзекуторскаго въ какомъ-нибудь видномъ департаментѣ. Маіоръ Ковалевъ былъ не прочь и жениться, но только въ такомъ случаѣ, когда за невѣстою случится двѣсти тысячъ капитала. И потому читатель теперь можетъ судить самъ, каково было положеніе этого маіора, когда онъ увидѣлъ, вмѣсто довольно недурного умѣренного носа, преглупое, ровное и гладкое мѣсто.

Какъ на бѣду, ни одинъ извозчикъ не показывался на улицѣ, и онъ долженъ былъ идти пѣшкомъ, закутавшись въ свой плащъ и закрывши платкомъ лицо, показывая видъ, какъ будто у него шла кровь. «Но авось-либо мнѣ такъ представилось: не можетъ быть, чтобы носъ пропалъ съ дуру», подумалъ онъ и зашелъ въ кондитерскую нарочно съ тѣмъ, чтобы посмотреть въ зеркало. Къ счастью, въ кондитерской никого не было: мальчишки мели комнаты и разставляли стулья; нѣкоторые съ сонными глазами выносили на подносахъ горячіе пирожки; на столахъ и стульяхъ валялись залитыя кофеемъ вчерашнія газеты. «Ну, слава Богу, никого нѣтъ», произнесъ онъ: «теперь можно поглядѣть». Онъ робко подошелъ къ зеркалу и взглянулъ. «Чортъ знаетъ что, какая дрянь!» произнесъ онъ, плюнувши: «хотя бы уже что-нибудь было вмѣсто носа, а то ничего!..»

Съ досадою, закусивши губы, вышелъ онъ изъ кондитерской и рѣшившись, противъ своего обыкновенія, не глядѣть ни на кого и никому не улыбаться. Вдругъ онъ сталъ, какъ вкопанный, у дверей одного дома; въ глазахъ его произошло явленіе неизъяснимое: передъ подъѣздомъ остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнувъ, согнувшись, господинъ въ мундирѣ и побѣжалъ вверхъ по лѣстницѣ. Каковъ же былъ ужасъ и вмѣстѣ изумленіе Ковалева, когда онъ узналъ, что это былъ — собственный его носъ! При этомъ необыкновенномъ зрѣлищѣ, казалось ему, все перевернулось у него въ глазахъ; онъ чувствовалъ, что едва могъ стоять; но рѣшился, во что бы ни стало, ожидать его возвращенія въ карету, весь дрожа, какъ въ лихорадкѣ. Черезъ двѣ минуты носъ дѣйствительно вышелъ. Онъ былъ въ мундирѣ, шитомъ золотомъ, съ большимъ стоячимъ

воротникомъ; на немъ были замшевыя панталоны; при боку шпага. По шляпѣ съ плюмажемъ можно было заключить, что онъ считался въ рангѣ статскаго совѣтника. По всему замѣтно было, что онъ ѣхалъ куда-нибудь съ визитомъ. Онъ поглядѣлъ на обѣ стороны, закричалъ лучеру: «Подавай!» сѣлъ и уѣхалъ.

Бѣдный Ковалевъ чуть не сошелъ съ ума. Онъ не зналъ, какъ и подумать объ такомъ странномъ происшествіи. Какъ же можно въ самомъ дѣлѣ, чтобы носъ, который еще вчера былъ у него на лицѣ и не могъ ни ѣздить, ни ходить, быть въ мундирѣ! Онъ побѣжалъ за каретою, которая, къ счастью, проѣхала недалеко и остановилась передъ Гостинымъ дворомъ.

Онъ поспѣшилъ туда, пробрался сквозь рядъ нищихъ-старухъ съ завязанными лицами и двумя отверстиями для глазъ, надъ которыми онъ прежде такъ смѣялся. Народу было немного. Ковалевъ чувствовалъ себя въ такомъ разстроенномъ состояніи, что ни на что не могъ рѣшиться, и искалъ глазами этого господина по всѣмъ угламъ; наконецъ, увидѣлъ его, стоявшаго передъ лавкою. Носъ спряталъ совершенно лицо свое въ большой стоячій воротникъ и съ глубокимъ вниманіемъ разсматривалъ какіе-то товары.

«Какъ подойти къ нему?» думалъ Ковалевъ. «По всему— по мундиру, по шляпѣ—видно, что онъ статскій совѣтникъ. Чортъ его знаетъ, какъ это сдѣлать!»

Онъ началъ около него покашливать; но носъ ни на минуту не оставлялъ своего положенія.

«Милостивый государь», сказалъ Ковалевъ, внутренно принуждая себя ободриться: «милостивый государь...»

«Что вамъ угодно?» отвѣчалъ носъ, оборотившись.

«Мнѣ странно, милостивый государь... мнѣ кажется... Вы должны знать свое мѣсто. И вдругъ я васъ нахожу, и гдѣ же?... Согласитесь...»

«Извините меня, я не могу взять въ толкъ, о чемъ вы изволите говорить... Объяснитесь».

«Какъ мнѣ ему объяснить?» подумалъ Ковалевъ и, собравшись съ духомъ, началъ: «Конечно, я... впрочемъ, я майоръ. Мнѣ ходить безъ носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговкѣ, которая продаетъ на Воскресенскомъ мосту очищенные апельсины, можно сидѣть безъ носа; но, имѣя въ виду получить... притомъ, будучи во многихъ до-

махъ знакомъ съ дамами: Чехтарева, статская совѣтница, и другія... Вы посудите сами... Я не знаю, милостивый государь (при этомъ майоръ Ковалевъ пожалъ плечами)... извините... если на это смотрѣть сообразно съ правилами долга и чести... вы сами можете понять...»

«Ничего рѣшительно не понимаю», отвѣчалъ носъ. «Изяснитесь удовлетворительнѣе».

«Милостивый государь», сказалъ Ковалевъ съ чувствомъ собственного достоинства: «я не знаю, какъ понимать слова ваши... Здѣсь все дѣло, кажется, совершенно очевидно... или вы хотите... Вѣдь вы—мой собственный носъ!»

Носъ посмотрѣлъ на майора, и брови его нѣсколько нахмурились.

«Вы ошибаетесь, милостивый государь: я самъ по себѣ. Притомъ между нами не можетъ быть никакихъ тѣсныхъ отношеній. Судя по пуговицамъ вашего вице-мундира, вы должны служить по другому вѣдомству». Сказавши это, носъ отвернулся.

Ковалевъ совершенно смѣшался, не зная, что дѣлать и что даже подумать. Въ это время послышался пріятный шумъ дамскаго платья: подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и съ нею тоненькая, въ бѣломъ платьѣ, очень мило рисовавшемся на ея стройной талии, въ палевой шляпкѣ, легкой какъ пирожное. За ними остановился и открылъ табакерку высокій гайдукъ съ большими бакенбардами и цѣдой дюжиной воротниковъ.

Ковалевъ подступилъ поближе, высунуть батистовый воротничокъ манишки, поправилъ висѣвшія на золотой цѣпочкѣ свои печатки и, улыбаясь по сторонамъ, обратилъ вниманіе на легонькую даму, которая, какъ весенній цвѣточекъ, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою бѣленькую ручку съ полупрозрачными пальцами. Улыбка на лицѣ Ковалева раздвинулась еще далѣе, когда онъ увидѣлъ изъ-подъ шляпки ея кругленькій, яркой бѣлизны подбородокъ и часть щеки, осыпанной цвѣтомъ первой весенней розы; но вдругъ онъ отскочилъ, какъ будто бы обжѣгшись. Онъ вспомнилъ, что у него, вмѣсто носа, совершенно нѣтъ ничего, и слезы выжались изъ глазъ его. Онъ оборотился съ тѣмъ, чтобы напрямикъ сказать господину въ мундирѣ, что онъ только прикинулся статскимъ совѣтникомъ, что онъ плутъ и подлецъ и что онъ больше ничего, какъ только его

собственный носъ... Но носа уже не было: онъ успѣлъ ускákatъ, вѣроятно, опять къ кому-нибудь съ визитомъ.

Это повергло Ковалева въ отчаяніе. Онъ пошелъ назадъ и остановился съ минутою подъ колоннадою, тщательно смотря во всѣ стороны, не попадется ли гдѣ носъ. Онъ очень хорошо помнилъ, что шляпа на немъ была съ плюмажемъ и мундиръ съ золотымъ шитьемъ; но шинели не замѣтилъ, ни цвѣта его кареты, ни лошадей, ни даже того, былъ ли у него сзади какой-нибудь лакей и въ какой ливреѣ. Притомъ каретъ несло такое множество взадъ и впередъ и съ такою быстротою, что трудно было даже примѣтить; но если бы и примѣтилъ онъ какую-нибудь изъ нихъ, то не имѣлъ бы никакихъ средствъ остановить. День былъ прекрасный и солнечный. На Невскомъ народу была тѣма; дамъ цѣлый цвѣтучный водопадъ сыпался по всему тротуару, начиная отъ Полицейскаго до Аничкина моста. Вонъ и знакомый ему надворный совѣтникъ идетъ, котораго онъ называлъ подполковникомъ, особливо, ежели то случилось при постороннихъ. Вонъ и Ярыжкинъ, столоначальникъ въ сенатѣ, большой пріятель его, который вѣчно въ бостонѣ обременивался, когда играть восемь. Вонъ и другой майоръ, получившій на Кавказѣ ассессорство, махаетъ рукой, чтобы шель къ нему...

«А, чортъ возьми!» сказалъ Ковалевъ. «Эй, извозчикъ, вези прямо къ полицеймейстеру!»

Ковалевъ сѣлъ въ дрожки и только покрикивалъ извозчику: «Валий во всю ивановскую!»

«У себя полицеймейстеръ?» вскричалъ онъ, взошедши въ сѣни.

«Никакъ нѣтъ», отвѣчалъ привратникъ: «только - что уѣхали».

«Вотъ тебѣ разъ!»

«Да», прибавилъ привратникъ: «а оно и не такъ давно. но уѣхалъ: минуточкой бы пришелъ раньше, то, можетъ, и застали бы дома».

Ковалевъ, не отнимая платка отъ лица, сѣлъ на извозчика и закричалъ отчаяннымъ голосомъ: «пошелъ!»

«Куда?» сказалъ извозчикъ.

«Пошелъ прямо!»

«Какъ—прямо? тутъ поворотъ: направо или налево?»

Этотъ вопросъ остановилъ Ковалева и заставилъ его опять



подумать. Въ его положеніи слѣдовало ему прежде всего отнестись въ управу благочинія, не потому, что оно имѣло прямое отношеніе къ полиціи, но потому, что ея распоряженія могли быть гораздо быстрее, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ; искать же удовлетворенія по начальству того мѣста, при которомъ носъ объявилъ себя служащимъ, было бы безразсудно, потому что изъ собственныхъ отвѣтовъ носа уже можно было видѣть, что для этого человѣка ничего не было священнаго и онъ могъ такъ же солгать и въ этомъ случаѣ, какъ солгать, увѣряя, что онъ никогда не видался съ нимъ. Итакъ, Ковалевъ уже хотѣлъ было приказать ѣхать въ управу благочинія, какъ опять пришла мысль ему, что этотъ плутъ и мошенникъ, который поступилъ уже при первой встрѣчѣ такимъ безсовѣстнымъ образомъ, могъ опять удобно, пользуясь временемъ, какъ-нибудь улизнуть изъ города,—и тогда всѣ исканія будутъ тщетны, или могутъ продолжиться, чего Боже сохрани, на цѣлый мѣсяцъ. Наконецъ, казалось, само Небо вразумило его. Онъ рѣшился отнестись прямо въ газетную экспедицію и заблаговременно сдѣлать публикацію съ обстоятельнымъ описаніемъ всѣхъ его качествъ, дабы всякій встрѣтившійся съ нимъ могъ въ ту же минуту его представить къ нему или, по крайней мѣрѣ, дать знать о мѣстѣ его пребыванія. Итакъ, онъ, рѣшивъ на этомъ, велѣлъ извозчику ѣхать въ газетную экспедицію и во всю дорогу не переставалъ его тузить кулакомъ въ спину, приговаривая: «Скорѣй, подлецъ! Скорѣй, мошенникъ!» — «Эхъ, баринъ!» говоритъ извозчикъ, потряхивая головой и стегая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, какъ на болонкѣ. Дрожжи наконецъ остановились, и Ковалевъ, запыхавшись, вбѣжалъ въ небольшую пріемную комнату, гдѣ сѣдой чиновникъ, въ старомъ фракѣ и въ очкахъ, сидѣлъ за столомъ и, взявши въ зубы перо, считалъ принимаемыя мѣдныя деньги.

«Кто здѣсь принимаетъ объявленія?» закричалъ Ковалевъ. «А, здравствуйте!»

«Мое почтеніе», сказалъ сѣдой чиновникъ, поднявши на минуту глаза и опустивши ихъ снова на разложенныя кучи денегъ.

«Я желаю припечатать...»

«Позвольте, прошу немножко повременить», произнесъ

чиновникъ, ставя одною рукою цифру на бумагѣ и передвигая пальцемъ лѣвой руки два очка на счетахъ. Лакей съ галунами и съ довольно чистою наружностью, показывавшею пребываніе его въ аристократическомъ домѣ, стоялъ востѣ стола съ запискою въ рукахъ и почелъ приличнымъ показать свою общительность: «Повѣрите ли, сударь, что собачонка не стоить восьми гривенъ, т. е. я не далъ бы за нее и восьми грошей; а графиня любить, ей-Богу, любить, — и вотъ, тому, кто ее отыщетъ, сто рублей! Если сказать по приличію, то вотъ такъ, какъ мы теперь съ вами, вкусы людей совсѣмъ несовмѣстны: ужъ когда охотникъ, то держи легавую собаку или пуделя; не пожажй пяти сотъ, тысячу дай, но за то ужъ чтобъ была собака хорошая».

Почтенный чиновникъ слушалъ это съ значительною мнимою и въ то же время занимался смѣтою, сколько буквъ въ принесенной запискѣ. По сторонамъ стояло множество старухъ, купеческихъ сидѣльцевъ и дворниковъ съ записками. Въ одной значилось, что отпускается въ услуженіе кучеръ трезваго поведенія; въ другой — малоподержанная коляска, вывезенная въ 1814 году изъ Парижа; тамъ отпускалась дворовая дѣвка 19 лѣтъ, упражнявшаяся въ прачешномъ дѣлѣ, годная и для другихъ работъ; прочныя дрожки безъ одной рессоры; молодая горячая лошадь въ сѣрыхъ яблокахъ, семнадцати лѣтъ отъ роду; новыя, полученные изъ Лондона, сѣмена рѣпы и редиса; дача со всѣми угодьями: двумя стойлами для лошадей и мѣстомъ, на которомъ можно развести превосходный березовый или словый садъ; тамъ же находился вызовъ желающихъ купить старыя подошвы, съ приглашеніемъ явиться къ переторжкѣ каждый день отъ 8 до 3 часовъ утра. Комната, въ которой помѣщалось все это общество, была маленькая, и воздухъ въ ней былъ чрезвычайно густъ; но коллежскій ассессоръ Ковалевъ не могъ слышать запаха, потому что закрылся платкомъ, и потому что самый носъ его находился, Богъ знаетъ, въ какихъ мѣстахъ.

«Милостивый государь, позвольте васъ попросить... мнѣ очень нужно», сказалъ онъ, наконецъ, съ нетерпѣніемъ.

«Сейчасъ, сейчасъ!.. Два рубля сорокъ три копѣйки!.. Сію минуту!.. Рубль шестьдесятъ четыре копѣйки!» говорилъ сѣдовласый господинъ, бросая старухамъ и дворникамъ

записки въ глаза. «Вамъ что угодно?» наконецъ сказалъ онъ, обратившись къ Ковалеву.

«Я прошу...» сказалъ Ковалевъ: «случилось мошенничество или плутовство — я до сихъ поръ не могу никакъ узнать. Я прошу только припечатать, что тотъ, кто ко мнѣ этого подлеца представить, получить достаточное вознагражденіе».

«Позвольте узнать, какъ ваша фамилія?»

«Нѣтъ, зачѣмъ же фамилію? мнѣ нельзя сказать се. У меня много знакомыхъ: Чехтарева, статская совѣтница, Пелагея Григорьевна Подточина, штабъ-офицерша... Вдругъ узнають. Боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежскій ассессоръ, или, еще лучше, состоящій въ майорскомъ чинѣ».

«А сбѣжавшій былъ вашъ дворовый человѣкъ?»

«Какое дворовый человѣкъ! это бы еще не такое большое мошенничество! Сбѣжалъ отъ меня... носъ...»

«Гм! какая странная фамилія! И на большую сумму этотъ г. Носовъ обокралъ васъ?»

«Носъ, то-есть... вы не то думаете! Носъ, мой собственный носъ пропалъ, неизвѣстно куда. Чортъ хотѣлъ подшутить надо мною!»

«Да какимъ же образомъ пропалъ? я что-то не могу хорошенько понять».

«Да я не могу вамъ сказать, какимъ образомъ: но главное то, что онъ разбѣзжаетъ теперь по городу и называетъ себя статскимъ совѣтникомъ. И потому я васъ прошу объявить, чтобы поймавшій представилъ его немедленно ко мнѣ въ самомъ скорѣйшемъ времени. Вы посудите, въ самомъ дѣлѣ, какъ же мнѣ быть безъ такой замѣтной части тѣла? Это не то, что какой-нибудь мизинчикъ на ногѣ, который я въ салогъ — и никто не увидитъ, если его нѣтъ. Я бываю по четвергамъ у статской совѣтницы Чехтаревой; Подточина Пелагея Григорьевна, штабъ-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошіе знакомые; и вы посудите сами, какъ же мнѣ теперь... Мнѣ теперь къ нимъ нельзя явиться».

Чиновникъ задумался, что означали крѣпко сжавшіяся его губы.

«Нѣтъ, я не могу помѣстить такого объявленія въ газетахъ», сказалъ онъ, наконецъ, послѣ долгаго молчанія.

«Какъ? отчего?»

«Такъ. Газета можетъ потерять репутацію. Если всякій начнетъ писать, что у него сбѣжалъ носъ, то... И такъ уже говорятъ, что печатается много несообразностей и ложныхъ слуховъ».

«Да чѣмъ же это дѣло несообразное? Тутъ, кажется, ничего нѣтъ такого».

«Это вамъ такъ кажется, что нѣтъ. А вотъ, на прошлой недѣлѣ, такой же былъ случай. Пришелъ чиновникъ такимъ же образомъ, какъ вы теперь пришли, принесъ записку денегъ по расчету пришлось 2 р. 73 к., и все объявленіе состояло въ томъ, что сбѣжалъ пудель черной шерсти. Кажется, что бы тутъ такое? А вышелъ пасквиль: пудель-то этотъ былъ казначей, не помню, какого-то заведенія».

«Да вѣдь я вамъ не о пуделѣ дѣлаю объявленіе, а о собственномъ моемъ носѣ: стало-быть, почти то же, что о самомъ себѣ».

«Нѣтъ, такого объявленія я никакъ не могу помѣстить».

«Да когда у меня точно пропалъ носъ!»

«Если пропалъ, то это дѣло медика. Говорятъ, что есть такіе люди, которые могутъ приставить какой угодно носъ. Но, впрочемъ, я замѣчаю, что вы должны быть человѣкъ веселаго нрава и любите въ обществѣ пошутить».

«Клянусь вамъ, вотъ какъ Богъ святъ! Пожалуй, ужъ если до того дошло, то я покажу вамъ».

«Зачѣмъ беспокоиться!» продолжалъ чиновникъ, нюхая табакъ. «Впрочемъ, если не въ безпокойство», прибавилъ онъ съ движеніемъ любопытства: «то желательно бы взглянуть».

Коллежскій ассессоръ отнялъ отъ лица платокъ.

«Въ самомъ дѣлѣ, чрезвычайно странно!» сказалъ чиновникъ: «мѣсто совершенно гладкое, какъ будто бы только-что выпеченный блинъ. Да, до невѣроятности ровное!»

«Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вамъ буду особенно благодаренъ и очень радъ, что этотъ случай доставилъ мнѣ удовольствіе съ вами познакомиться». Маюръ, какъ видно изъ этого, рѣшился на сей разъ немного поподличать.

«Напечатать-то, конечно, дѣло небольшое». сказалъ чиновникъ: «только я не предвижу въ этомъ никакой для васъ выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имѣетъ

искусное перо, описать это, какъ рѣдкое произведеніе натуры, и напечатать эту статейку въ «Сѣверной Ичелѣ» (тутъ онъ понюхалъ еще разъ табаку), для пользы юношества (тутъ онъ утеръ носъ) или такъ, для общаго любопытства».

Коллежскій ассессоръ былъ совершенно обезнадеженъ. Онъ опустил глаза въ низъ газеты, гдѣ было извѣщеніе о спектакляхъ; уже лицо его было готово улыбнуться, встрѣтивъ имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карманъ, есть ли при немъ синяя ассигнація, потому что штабъ-офицеры, по мнѣнію Ковалева, должны сидѣть въ креслахъ; но мысль о носѣ все испортила!

Самъ чиновникъ, казалось, былъ тронутъ затруднительнымъ положеніемъ Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горестъ, онъ почелъ приличнымъ выразить участіе свое въ нѣсколькихъ словахъ: «Мнѣ, право, очень прискорбно, что съ вами случился такой анекдотъ. Не угодно ли вамъ понюхать табачку? это разбиваетъ головныя боли и печальныя расположенія; даже въ отношеніи къ гемороидамъ это хорошо». Говоря это, чиновникъ поднесъ Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернувъ подъ нее крышку съ портретомъ какой-то дамы въ шляпкѣ.

Этотъ неумышленный поступокъ вывелъ изъ терпѣнія Ковалева. «Я не понимаю, какъ вы находите мѣсто шутокъ», сказалъ онъ съ сердцемъ: «развѣ вы не видите, что у меня нѣтъ именно того, чѣмъ бы я могъ понюхать? Чтобъ чортъ подобралъ вашъ табакъ! Я теперь не могу смотрѣть на него, и не только на скверный вашъ березинскій, но хоть бы вы поднесли мнѣ самого рапѣ». Сказавши это, онъ вышелъ, глубоко раздосадованный, изъ газетной экспедиціи и отправился къ частному приставу.

Ковалевъ вошелъ къ нему въ то время, когда онъ потянулся, крикнуть и сказать: «Эхъ, славно засну два часика!» и потому можно было предвидѣть, что приходъ коллежскаго ассессора былъ совершенно не во-время. Частный былъ большой поощритель всѣхъ искусствъ и мануфактурностей; но государственную ассигнацію предпочиталъ всему. «Это вещь», обыкновенно говорилъ онъ: «ужъ нѣтъ ничего лучше этой вещи: есть не просить, мѣста займетъ немного, въ карманѣ всегда помѣстится, уронишь—не расшибется».

Частный принялъ довольно сухо Ковалева и сказать, что

послѣ обѣда не то время, чтобы производить слѣдствіе, что сама натура назначила, чтобы, наѣвшись, немного отдохнуть (изъ этого коллежскій ассессоръ могъ видѣть, что частному приставу были не безызвѣстны изреченія древнихъ мудрецовъ), что у порядочнаго человѣка не оторвутъ носа.

То-есть, не въ бровь, а прямо въ глазъ! Нужно замѣтить, что Ковалевъ былъ чрезвычайно обидчивый человѣкъ. Онъ могъ простить все, что ни говорили о немъ самомъ, но никакъ не извинять, если это относилось къ чину или званію. Онъ даже полагалъ, что въ театральныхъ пьесахъ можно пропускать все, что относится къ оберъ-офицерамъ, но на штабъ-офицеровъ никакъ не должно нападать. Приемъ частнаго такъ его сконфузилъ, что онъ тряхнулъ головою и сказалъ съ чувствомъ достоинства, немного разставивъ свои руки: «Признаюсь, послѣ такихъ обидныхъ съ вашей стороны замѣчаній, я ничего не могу прибавить...» и вышелъ.

Онъ пріѣхалъ домой, едва слыша подъ собою ноги. Были уже сумерки. Печальною или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира послѣ всѣхъ этихъ неудачныхъ исканій. Вошедши въ переднюю, увидѣлъ онъ на кожаномъ запачканномъ диванѣ лакея своего Ивана, который, лежа на спинѣ, плевать въ потолокъ и попадалъ довольно удачно въ одно и то же мѣсто. Такое равнодушіе человѣка взбѣсило его; онъ ударилъ его шляпою по лбу, примолвивъ: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»

Иванъ вскочилъ вдругъ со своего мѣста и бросился со всѣхъ ногъ снимать съ него плащъ.

Вошедши въ свою комнату, майоръ, усталый и печальный, бросился въ кресла и наконецъ, послѣ нѣсколькихъ вздоховъ, сказалъ:

«Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастіе? Будь я безъ руки или безъ ноги — все бы это лучше; но безъ носа человѣкъ — чортъ знаетъ что: птица не птица, гражданинъ не гражданинъ, — просто, возьми да и выпрыгни за окошко! И пусть бы уже на войнѣ отрубили, или на дуэли, или я самъ былъ причиною; но вѣдь пропалъ ни за что, ни про что, пропалъ даромъ, ни за грошъ!.. Только, нѣтъ, не можетъ быть», прибавилъ онъ, немного подумавъ: «невѣроятно, чтобы носъ пропалъ, никакимъ образомъ невѣроятно. Это, вѣрно, или во снѣ снится, или, просто, грезится; мо-

жетъ-быть, я какъ-нибудь, ошибкою, выпилъ вмѣсто воды водку, когорою вытираю послѣ бритья себѣ бороду. Иванъ, дуракъ, не принять, и я, вѣрно, хватилъ ея». Чтобы дѣйствительно увѣриться, что онъ не пьянъ, майоръ ущипнулъ себя такъ больно, что самъ вскрикнулъ. Эта боль совершенно увѣрила его, что онъ дѣйствуетъ и живетъ наяву. Онъ потихоньку приблизился къ зеркалу и сначала зажмурилъ глаза съ тою мыслью, что авось-либо носъ покажется на своемъ мѣстѣ; но въ ту-жъ минуту отскочилъ назадъ, сказавши: «Экой пасквильный видъ!»

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное, — но пропасть, и кому же пропасть? и притомъ еще на собственной квартирѣ!.. Майоръ Ковалевъ, соображая всѣ обстоятельства, предполагать едва ли не ближе всего къ истинѣ, что виною этого долженъ быть не кто другой, какъ штабъ-офицерша Подточина, которая желала, чтобы онъ женился на ея дочери. Онъ и самъ любилъ за нею приволокнуться, но избѣгалъ окончательной раздѣлки. Когда же штабъ-офицерша объявила ему напрямикъ, что она хочетъ выдать ее за него, онъ потихоньку отчалилъ съ своими коммуниментами, сказавши, что еще молодъ, что нужно ему прослужить лѣтъ пятьокъ, чтобы уже ровно было сорокъ два года. И потому штабъ-офицерша, вѣрно изъ мщенія, рѣшилась его испортить и наняла для этого какихъ-нибудь колдოнокъ-бабъ, потому что никакимъ образомъ нельзя было предположить, чтобы носъ былъ отрѣзанъ: никто не входилъ къ нему въ комнату: цырюльникъ же, Иванъ Яковлевичъ, брилъ его еще въ среду, а въ продолженіе всей среды и даже во весь четвертокъ носъ у него былъ цѣлъ. — это онъ помнилъ и зналъ очень хорошо: притомъ, была бы имъ чувствуема боль, и, безъ сомнѣнія, рана не могла бы такъ скоро зажить и быть гладкою, какъ блинъ. Онъ строилъ въ головѣ планы: звать ли штабъ-офицершу формальнымъ порядкомъ въ судъ, или явиться къ ней самому и уличить ее. Размышленія его прерваны были свѣтомъ, который блеснулъ сквозь всѣ скважины дверей и далъ знать, что свѣча въ передней уже зажжена Иваномъ. Скоро показался и самъ Иванъ, неся ее передъ собою и озаряя ярко всю комнату. Первымъ движеніемъ Ковалева было схватить платокъ и закрыть то мѣсто, гдѣ вчера еще былъ носъ, чтобы въ самомъ дѣлѣ

глупый человек не зазввался. увидя у барина такую странность.

Не успев Ивану уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший: «Здѣсь ли живетъ коллежскій ассессоръ Ковалевъ?»

«Войдите; майоръ Ковалевъ здѣсь», сказалъ Ковалевъ, вскочивши поспѣшно и отворяя дверь.

Вошелъ полицейскій чиновникъ, красивой наружности, съ бакенбардами не слишкомъ свѣтлыми и не темными, съ довольно полными щеками, тотъ самый, который, въ началѣ повѣсти, стоялъ въ концѣ Исаакіевского моста.

«Вы изволили затерять носъ свой?»

«Такъ точно».

«Онъ теперь найдентъ».

«Что вы говорите?» закричалъ майоръ Ковалевъ. Радость отняла у него языкъ. Онъ глядѣлъ въ оба на стоявшаго передъ нимъ квартальнаго, на полныхъ губахъ и щекахъ котораго ярко мелькалъ трепетный свѣтъ свѣчи. «Какимъ образомъ?»

«Станнымъ случаемъ: его перехватили почти на дорогѣ. Онъ уже садился на дилижансъ и хотѣлъ уѣхать въ Ригу. И паспортъ давно былъ написанъ на имя одного чиновника. И странно то, что я самъ принялъ его сначала за господина; но, къ счастью, были со мной очки, и я тотъ же часъ увидѣлъ, что это былъ носъ. Вѣдь я близорукъ, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у васъ лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замѣчу. Моя теща, то-есть мать жены моей, тоже ничего не видитъ».

Ковалевъ былъ внѣ себя. «Гдѣ же онъ? гдѣ? я сейчасъ побѣгу».

«Не беспокойтесь. Я, зная, что онъ вамъ нуженъ, принесъ его съ собою. И странно то, что главный участникъ въ этомъ дѣлѣ есть мошенникъ-цырюльникъ на Вознесенской улицѣ, который сидитъ теперь на съѣзжей. Я давно подозрѣвалъ его въ пьянствѣ и воровствѣ, и еще третьяго дня стащилъ онъ въ одной лавочкѣ бортинце пуговицъ. Носъ вашъ совершенно таковъ, какъ былъ». При этомъ квартальный полезъ въ карманъ и вытащилъ оттуда завернутый въ бумажекъ носъ.

«Такъ, онъ!» закричалъ Ковалевъ: «точно, онъ! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю».



«Почелъ бы за большую пріятность, но никакъ не могу: мнѣ нужно захватъ отсюда въ смиренный домъ... Очень большая поднялась дороговизна на всѣ припасы... У меня въ домѣ живетъ и тепа, то-есть мать моей жены, и дѣти: старшій особенно подаетъ большія надежды, очень умный мальчишка; но средствъ для воспитанія совершенно нѣтъ никакихъ...»

Коллежскій ассессоръ, по уходѣ квартальнаго, нѣсколько минутъ оставался въ какомъ-то неопредѣленномъ состояніи и едва черезъ нѣсколько минутъ пришелъ въ возможность видѣть и чувствовать: въ такое безпамятство повергла его неожиданная радость. Онъ взялъ бережливо найденный носъ въ обѣ руки, сложенные горстью, и еще разъ рассмотрѣлъ его внимательно.

«Такъ, онъ! точно, онъ!» говорилъ майоръ Ковалевъ. «Вотъ и прыщикъ на лѣвой сторонѣ, вскочившій вчерашняго дня». Майоръ чуть не засмѣялся отъ радости.

Но на свѣтѣ нѣтъ ничего долговременнаго, а потому и радость, въ слѣдующую минуту за первую, уже не такъ жива; въ третью минуту она становится еще слабѣе и, наконецъ, незамѣтно сливается съ обыкновеннымъ положеніемъ души, какъ на водѣ кругъ, рожденный паденіемъ камешка, наконецъ сливается съ гладкою поверхностью. Ковалевъ началъ размышлять и смекнулъ, что дѣло еще не кончено: носъ найденъ, но вѣдь нужно же его приставить, помѣстить на свое мѣсто.

«А что, если онъ не пристанетъ?»

При такомъ вопросѣ, сдѣланномъ самому себѣ, майоръ поблѣднѣлъ.

Съ чувствомъ непонятнаго страха бросился онъ къ столу, придвинулъ зеркало, чтобы какъ-нибудь не поставить носъ криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложилъ онъ его на прежнее мѣсто. О, ужасъ! носъ не приклеивался!... Онъ поднесъ его ко рту, нагрѣлъ его слегка своимъ дыханіемъ и опять поднесъ къ гладкому мѣсту, находившемуся между двухъ щекъ; но носъ никакимъ образомъ не держался.

«Ну, ну же! полѣзай, дуракъ!» говорилъ онъ ему; но носъ былъ какъ деревянный и падалъ на столъ съ такимъ страннымъ звукомъ, какъ будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. «Неужели онъ не прирастетъ?» го-

ворить онъ въ испугѣ. Но сколько разъ ни подносилъ онъ его на его же собственное мѣсто — стараніе было, попрежнему, неуспѣшно.

Онъ кликнулъ Ивана и послать его за докторомъ, который занималъ въ томъ же самомъ домѣ лучшую квартиру въ бельэтажѣ. Докторъ этотъ былъ видный собою мужчина, имѣлъ прекрасныя смолистыя бакенбарды, свѣжую, здоровую докторшу, былъ поутру свѣжія яблоки и держалъ ротъ въ необыкновенной чистотѣ, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разныхъ родовъ щеточками. Докторъ явился въ ту же минуту. Спросивши, какъ давно случилось несчастіе, онъ поднялъ майора Ковалева за подбородокъ и далъ ему большимъ пальцемъ щелчка въ то самое мѣсто, гдѣ прежде былъ носъ, такъ что майоръ долженъ былъ откинуть свою голову назадъ съ такою силою, что ударился затылкомъ въ стѣну. Медикъ сказалъ, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного отъ стѣны, велѣлъ ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то мѣсто, гдѣ прежде былъ носъ, сказалъ: «гм!» потомъ велѣлъ ему перегнуть голову на лѣвую сторону и сказалъ: «гм!» и въ заключеніе далъ опять ему большимъ пальцемъ щелчка, такъ что майоръ Ковалевъ дернулъ головою, какъ конь, которому смотреть въ зубы. Сдѣлавши такую пробу, медикъ покачалъ головою и сказалъ: «Нѣтъ, нельзя. Вы ужъ лучше такъ оставайтесь, потому что можно сдѣлать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вамъ сейчасъ приставилъ его; но я васъ увѣряю, что это для васъ хуже».

«Вотъ хорошо! какъ же мнѣ оставаться безъ носу?» сказалъ Ковалевъ: «ужъ хуже не можетъ быть, какъ теперь. Это, просто, чортъ знаетъ что! Куда же я съ этокою пасквильностью покажусь? Я имѣю хорошее знакомство: вотъ и сегодня мнѣ нужно быть на вечерѣ въ двухъ домахъ. Я со многими знакомъ; статская совѣтница Чехтарева, Подточина, штабъ-офицерша... хоть носѣ теперешняго поступка ея я не имѣю съ ней другого дѣла, какъ только чрезъ полицію. Сдѣлайте милость», продолжалъ Ковалевъ умоляющимъ голосомъ: «нѣтъ ли средства? какъ-нибудь поставьте: хоть не хорошо, лишь бы только держался; я даже могу его слегка подпирать рукою въ опасныхъ случаяхъ».

Я же притомъ и не танцую, чтобы могъ вредить какимъ-нибудь неосторожнымъ движеніемъ. Все, что относится насчетъ благодарности за визиты, ужъ будьте увѣрены, сколько позволятъ мои средства...»

«Вѣрите ли», сказалъ докторъ ни громкимъ, ни тихимъ голосомъ, но чрезвычайно увѣтливымъ и магнетическимъ: «что я никогда изъ корысти не лѣчу. Это противно моимъ правиламъ и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно съ тѣмъ только, чтобы не обидѣть моимъ отказомъ. Конечно, я бы приставилъ вашъ носъ; но я васъ увѣряю честью, если уже вы не вѣрите моему слову, что это будетъ гораздо хуже. Предоставьте лучше дѣйствию самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я васъ увѣряю, что вы, не имѣя носа, будете такъ же здоровы, какъ если бы имѣли его. А носъ я вамъ совѣтую положить въ банку со спиртомъ, или, еще лучше, влить туда двѣ столовыя ложки острой водки и подогрѣтаго уксуса,—и тогда вы можете взять за него порядочныя деньги. Я даже самъ возьму его, если вы только не подорожаетесь.

«Нѣтъ, нѣтъ! ни за что не продамъ!» вскричалъ отчаянный майоръ Ковалевъ: «лучше пусть онъ пропадетъ!»

«Извините!» сказалъ докторъ, откланиваясь: «я хотѣлъ быть вамъ полезнымъ... Что-жъ дѣлать! По крайней мѣрѣ, вы видѣли мое стараніе». Сказавши это, докторъ съ благородною осанкою вышелъ изъ комнаты. Ковалевъ не замѣтилъ даже лица его и въ глубокой безчувственности видѣлъ только выглядывавшіе изъ рукавовъ его чернаго фрака рукавчики бѣлой и чистой, какъ снѣгъ, рубашки.

Онъ рѣшился на другой же день, прежде представленія жалобы, писать къ штабъ-офицершѣ, не согласится ли она безъ бою возвратитъ ему то, что слѣдуетъ. Письмо было такого содержанія:

Милостивая государыня.

Александра Григорьевна!

Не могу понять страннаго со стороны Вашей дѣйствія. Будьте увѣрены, что, поступая такимъ образомъ, ничего Вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на Вашей дочери. Повѣрьте, что исторія насчетъ моего носа совершенно извѣстна, равно какъ и то, что въ этомъ Вы есть главные участницы, а не кто другой. Внезапное

его отдѣленіе съ своего мѣста, побѣгъ и маскированіе. то подѣ видоужь одного чиновника, то, наконецъ, въ собственномъ видѣ, есть болѣе ничего, какъ слѣдствіе волхвованій, произведенныхъ Вами или тѣми, которые упражняются въ подобныхъ Вамъ благородныхъ занятіяхъ. Я съ своей стороны почитаю долгомъ васъ предувѣдомить: если упоминаемый мною носъ не будетъ сегодня же на своемъ мѣстѣ, то я принужденъ буду прибѣгнуть къ зищитѣ и покровительству законовъ.

Впрочемъ, съ совершеннымъ почтеніемъ къ Вамъ, имѣю честь быть

Вашъ покорный слуга  
*Платонъ Ковалевъ.*

Милостивый государь,  
Платонъ Кузьмичъ!

Чрезвычайно удивило меня письмо Ваше. Я, признаюсь Вамъ по откровенности, никакъ не ожидала, а тѣмъ болѣе относительно несправедливыхъ укоризнъ со стороны Вашей. Предувѣдомляю Васъ, что я чиновника, о которомъ упоминаете Вы, никогда не принимала у себя въ домѣ, ни замаскированного, ни въ настоящемъ видѣ. Бываль у меня, правда, Филиппъ Ивановичъ Потанчиковъ. И хотя онъ, точно, искалъ руги моей дочери, будучи самъ хорошаго, трезваго поведенія и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носѣ. Если Вы разумѣете подѣ симъ, что будто бы я хотѣла оставить Васъ съ носомъ, то есть, дать Вамъ формальный отказъ; то меня удивляетъ, что Вы сами объ этомъ говорите, тогда какъ я, сколько Вамъ извѣстно, была совершенно противнаго мнѣнія, и если Вы теперь же посватаетесь на моей дочери законнымъ образомъ, я готова сей же часъ удовлетворить Васъ, ибо это составляло всегда предметъ моего живѣйшаго желанія, въ надеждѣ чего остаюсь всегда готовою къ услугамъ Вашимъ

*Александра Подточина.*

«Нѣтъ», говорилъ Ковалевъ, прочитавши письмо: «она, точно, не виновата. Не можетъ быть! Письмо такъ написано, какъ не можетъ написать человекъ, виноватый въ

преступленіи». Коллежскій ассессоръ былъ въ этомъ свѣдущъ, потому что былъ посыланъ нѣсколько разъ на слѣдствіе еще въ Кавказской области. «Какимъ же образомъ, какими судьбами это приключилось? Только чортъ разберетъ это!» сказалъ онъ наконецъ, опустивъ руки.

Между тѣмъ слухи объ этомъ необыкновенномъ происшествіи распространились по всей столицѣ и, какъ водится, не безъ особенныхъ прибавленій. Тогда умы всѣхъ именно настроены были къ чрезвычайному: недавно только-что занимали публику опыты дѣйствія магнетизма. Притомъ, исторія о танцующихъ стульяхъ въ Конюшенной улицѣ была еще свѣжа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто носъ коллежскаго ассессора Ковалева ровно въ три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытныхъ стекалось каждый день множество. Сказать кто-то, что носъ будто бы находился въ магазинѣ Юнкера—и возлѣ Юнкера такая сдѣлалась толпа и давка, что должна была вступить даже полиція. Одинъ спекуляторъ почтенной наружности, съ бакенбардами, продававшій при входѣ въ театръ разные сухіе кондитерскіе пирожки, нарочно надѣлать прекрасныхъ деревянныхъ, прочныхъ скамеекъ, на которыя приглашалъ любопытныхъ становиться, за восемьдесятъ копѣекъ отъ каждого посѣтителя. Одинъ заслуженный полковникъ нарочно для этого вышелъ раньше изъ дому и съ большимъ трудомъ пробрался сквозь толпу; но, къ большому негодованію своему, увидѣлъ въ огнѣ магазина, вмѣсто носа, обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку съ изображеніемъ дѣвушки, поправлявшей чулокъ, и глядѣвшаго на нее изъ-за дерева франта съ откиднымъ жилетомъ и небольшою бородкою,—картинку, уже болѣе десяти лѣтъ висящую все на одномъ мѣстѣ. Огошеть, онъ сказалъ съ досадою: «Какъ можно такими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народъ?» Потомъ пронесся слухъ, что не на Невскомъ проспектѣ, а въ Таврическомъ саду прогуливается носъ майора Ковалева; что будто бы онъ давно уже тамъ; что когда еще проживалъ тамъ Хозревъ-Мирза, то очень удивлялся этой странной игрѣ природы. Нѣкоторые изъ студентовъ Хирургической Академіи отправились туда. Одна знатная почтенная дама просила особеннымъ письмомъ смотрителя за садомъ показать дѣтямъ ея этотъ рѣдкій феноменъ и,

если можно, съ объясненіемъ наставительнымъ и назидательнымъ для юношей.

Всѣмъ этимъ происшествіямъ были чрезвычайно рады всѣ свѣтскіе необходимыя посѣтители раутовъ, любившіе смѣшнить дамъ, у которыхъ запасъ въ то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенныхъ и благонамѣренныхъ людей была чрезвычайно недовольна. Одинъ господинъ говорилъ съ негодованіемъ, что онъ не понимаетъ, какъ въ нынѣшній просвѣщенный вѣкъ могутъ распространяться нелѣпыя выдумки, и что онъ удивляется, какъ не обратить на это вниманіе правительство. Господинъ этотъ, какъ видно, принадлежалъ къ числу тѣхъ господъ, которые желали бы влутать правительство во все, даже въ свои ежедневныя ссоры съ женою. Вслѣдъ за этимъ... но здѣсь вновь все происшествіе скрывается туманомъ, и что было потомъ—рѣшительно неизвѣстно.

### III.

Чепуха совершенная дѣлается на свѣтѣ. Иногда вовсе нѣтъ никакого правдоподобія: вдругъ тотъ самый носъ, который раздѣзжалъ въ чинѣ статскаго совѣтника и надѣлалъ столько шуму въ городѣ, очутился, какъ ни въ чемъ не бывало, вновь на своемъ мѣстѣ, то-есть именно между двухъ щекъ майора Ковалева. Это случилось уже апрѣля 7 числа. Проснувшись и нечаянно взглянувъ въ зеркало, видятъ онъ: носъ! хватъ рукою—точно, носъ! «Эге!» сказалъ Ковалевъ, и въ радости чуть не дернулъ по всей комнатѣ босикомъ тропака; но вошедшій Иванъ помѣшалъ. Онъ приказалъ тотъ же часъ дать себѣ умыться и, умываясь, взглянулъ еще разъ въ зеркало—носъ! Вытираясь полотенцемъ, онъ опять взглянулъ въ зеркало—носъ!

«А посмотри, Иванъ, кажется, у меня на носу какъ будто прыщикъ»; сказалъ онъ и между тѣмъ думалъ: «Вотъ беда, какъ Иванъ скажетъ: „Да нѣтъ, сударь, не только прыщика, а самого носа нѣтъ!“»

Но Иванъ сказалъ: «Ничего-съ, никакого прыщика: носъ чистый!»

«Хорошо, чортъ побери!» сказалъ самъ себѣ майоръ и щелкнулъ пальцами. Въ это время выглянулъ въ дверь

цырюльничъ Иванъ Яковлевичъ, но такъ боязливо, какъ кошка, которую только-что высъбли за кражу сала.

«Говори впередъ: чисты руки?» кричалъ еще издали ему Ковалевъ.

«Чисты».

«Врешь!»

«Ей Богу-съ чисты, сударь».

«Ну, смотри же».

Ковалевъ сѣлъ. Иванъ Яковлевичъ закрылъ его салфеткою и, въ одно мгновеніе, съ помощью кисточки, превратилъ всю бороду его и часть щеки въ кремъ, какой подаютъ на купеческихъ именинахъ. «Вишь ты!» сказать самъ себѣ Иванъ Яковлевичъ, взглянувши на носъ, и потомъ перегнулъ голову на другую сторону и посмотрѣлъ на него сбоку: «Вона! экъ его, право, какъ подумасшь», продолжалъ онъ, и долго смотрѣлъ на носъ. Наконецъ, легонько, съ бережливостію, какую только можно себѣ вообразить, онъ приподнялъ два пальца съ тѣмъ, чтобы поймать его за кончикъ. Такова ужъ была система Ивана Яковлевича.

«Ну, ну, ну, смотри!» закричалъ Ковалевъ. Иванъ Яковлевичъ и руки опустилъ, оторопѣлъ и смутился, какъ никогда не смущался. Наконецъ, осторожно сталъ онъ щекотать бритвой у него подъ бородою, и хотя ему было совсѣмъ не сподручно и трудно брить безъ поддержки за нюхательную часть тѣла, однакоже, кое-какъ, упираясь своимъ шероховатымъ большимъ пальцемъ ему въ щеку и въ нижнюю десну, наконецъ, одолѣлъ всѣ препятствія и выбрилъ.

Когда все было готово. Ковалевъ поспѣшилъ тотъ же часъ одѣться, взялъ извозчика и поѣхалъ прямо въ кондитерскую. Входя, закричалъ онъ еще издали: «Мальчикъ, чашку шоколаду!» а самъ въ ту же минуту къ зеркалу — есть носъ. Онъ весело оборотился назадъ и съ сатирическимъ видомъ посмотрѣлъ, нѣсколько прищуря глазъ, на двухъ военныхъ, у одного изъ которыхъ былъ носъ никакъ не больше жилетной пуговицы. Послѣ того отправился онъ въ канцелярію того департамента, гдѣ хлопоталъ объ вице-губернаторскомъ мѣстѣ, а въ случаѣ неудачи — объ экзекуторскомъ. Проходя чрезъ пріемную, онъ взглянулъ въ зеркало — есть носъ. Потомъ поѣхалъ онъ къ другому коллежскому асессору, или майору, большому насмѣшнику, кото-

рому онъ часто говорилъ въ отвѣтъ на разныя занозистыя замѣтки: «Ну, ужъ ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогою онъ подумалъ: «Если и маіоръ не треснетъ со смѣху, увидѣвши меня, тогда ужъ вѣрный знакъ, что все, что ни есть, сидитъ на своемъ мѣстѣ». Но коллежскій ассессоръ ничего. «Хорошо, хорошо, чортъ побери!» подумалъ про себя Ковалевъ. На дорогѣ встрѣтилъ онъ штабъ-офицершу Подточину вмѣстѣ съ дочерью, раскланялся съ ними и былъ встрѣченъ съ радостными восклицаніями: стало-быть, ничего, въ немъ нѣтъ никакого ущерба. Онъ разговаривалъ съ ними очень долго, и нарочно, вынувши табакерку, набивалъ передъ ними весьма долго свой носъ съ обоихъ подъѣздовъ, приговаривая про себя: «Вотъ, молъ, вамъ, бабѣе, куриный народъ! а на дочкѣ все-таки не женюсь. Такъ, просто, *rag amour* — изволь!» И маіоръ Ковалевъ съ тѣхъ поръ прогуливался, какъ ни въ чемъ не бывало, и на Певскомъ проспектѣ, и въ театрахъ, и вездѣ. И носъ тоже, какъ ни въ чемъ не бывало, сидѣлъ на его лицѣ, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонамъ. И постѣ того маіора Ковалева видѣли вѣчно въ хорошемъ юморѣ, улыбающагося, преслѣдующаго рѣшительно всѣхъ хорошенекихъ дамъ и даже остановившагося одинъ разъ передъ лавочкой въ Гостиномъ дворѣ и покупавшаго какую-то орденскую ленточку, неизвѣстно для какихъ причинъ, потому что онъ самъ не былъ кавалеромъ никакого ордена.

Вотъ какаѣ исторія случилась въ сѣверной столицѣ нашего обширнаго государства! Теперь только, по соображеніи всего, видимъ, что въ ней есть много неправдоподобнаго. Не говоря уже о томъ, что, точно, странно сверхъестественное отдѣленіе носа и появленіе его въ разныхъ мѣстахъ въ видѣ статскаго совѣтника, — какъ Ковалевъ не смекнулъ, что нельзя чрезъ газетную экспедицію объявлять о носѣ? Я здѣсь не въ томъ смыслѣ говорю, чтобы мнѣ казалось дорого заплатить за объявленіе: это вздоръ, и я совсѣмъ не изъ числа корыстолюбивыхъ людей: но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже: какъ носъ очутился въ печеномъ хлѣбѣ, и какъ самъ Иванъ Яковлевичъ?.. Нѣтъ, этого я никакъ не понимаю, рѣшительно не понимаю! Но, что страннѣе, что непонятнѣе всего, это то, какъ авторы могутъ брать подобные сюжеты. Признаюсь, это ужъ совсѣмъ непостижимо, это точно... нѣтъ, нѣтъ! совсѣмъ не



понимаю. Во-первыхъ, пользы отечеству рѣшительно никакой; во-вторыхъ... но и во-вторыхъ тоже нѣтъ пользы. Просто, я не знаю, что это...

А однакоже, при всемъ томъ, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, можетъ даже... ну, да и гдѣ-жъ не бывать несообразностей? — а все, однакоже, какъ поразмыслишь, во всемъ этомъ, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобныя происшествія бывають на свѣтѣ,—рѣдко, но бывають.



## ПОРТРЕТЪ.

*(Въ позднѣйшей редакціи).*

---

### Часть I.

Нигдѣ не останавливалось столько народа, какъ предъ картинною лавочкою на Щукиномъ дворѣ. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собраніе диковинокъ: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темнозеленымъ лакомъ, въ темно-желтыхъ мишурныхъ рамахъ. Зима съ бѣлыми деревьями, совершенно красный вечеръ, похожій на зарево пожара, фламандскій мужикъ съ трубкою и выломанною рукою, похожій болѣе на индѣйскаго плѣтуха въ манжетахъ, нежели на человѣка, — вотъ ихъ обыкновенные сюжеты. Къ этому нужно присовокупить нѣсколько гравированныхъ изображеній: портретъ Хозрева-Мирзы въ бараньей шапкѣ, портреты какихъ-то генераловъ въ треугольныхъ шляпахъ, съ кривыми носами. Сверхъ того, двери такой лавочки обыкновенно бываютъ увѣшаны связками произведеній, отпечатанныхъ лубками на большихъ листахъ, которые свидѣтельствуютъ о самородномъ дарованіи русскаго человѣка. На одномъ была царица Милицтриса Кирѣитъевна, на другомъ городъ Иерусалимъ, по домамъ и церквамъ котораго безъ церемоніи прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двухъ молящихся русскихъ мужиковъ въ рукавицахъ. Покупателей этихъ произведеній обыкновенно

немного, но за то зрителей—куча. Какой-нибудь забудыгалакей уже, вѣрно, зѣваетъ передъ ними, держа въ рукѣ судки съ обѣдомъ изъ трактира для своего барина, который, безъ сомнѣнія, будетъ хлебать супъ не слишкомъ горячій. Передъ нимъ уже, вѣрно, стоитъ въ шинели солдатъ, этотъ кавалеръ толкучаго рынка, продающій два перочинные ножика; торгонка-охтенка съ коробкою, наполненною башмаками. Всякій восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкаютъ пальцами; кавалеры разсматриваютъ серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смѣются и дразнятъ другъ друга нарисованными карикатурами; старые лакеи въ фризowych шинеляхъ смотрятъ потому только, чтобы гдѣ-нибудь позѣвать; а торговки, молодые русскія бабы, спѣшаютъ по инстинкту, чтобы послушать, о чемъ калякаетъ народъ, и посмотреть, на что онъ смотритъ.

Въ это время невольно остановился передъ лавкою проходившій мимо молодой художникъ Чартковъ. Старая шинель и нещегольсксе платье показывали въ немъ того человека, который съ самоотверженіемъ преданъ былъ своему труду и не имѣлъ времени заботиться о своемъ нарядѣ, всегда имѣющемъ таинственную привлекательность для молодости. Онъ остановился передъ лавкою и сперва внутренне смѣялся надъ этими уродливыми картинками. Наконецъ, овладѣло имъ невольное размышленіе: онъ сталъ думать о томъ, кому бы нужны были эти произведенія. Что русскій народъ заглядывается на *Груслановъ Лазаревичей*, на *объдаля* и *онивала*, на *Вому* и *Ерему*, это не казалось ему удивительнымъ: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но гдѣ покупатели этихъ пестрыхъ, грязныхъ масляныхъ малеваній? Кому нужны эти фламандскіе мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показываютъ какое-то притязаніе на нѣсколько уже высшій шагъ искусства, но въ которомъ выразилось все глубокое его униженіе? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки; иначе въ нихъ, при всей безчувственной карикатурности цѣлаго, вырывался бы острый порывъ. Но здѣсь было видно, просто, тупоуміе, безсильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала въ ряды искусствъ, тогда какъ ей мѣсто было среди низкихъ ремеслъ,—бездарность, которая была вѣрна, однакожъ, своему призванію и внесла въ самое искусство свое ремесло. Тѣ же

краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорѣе грубо сдѣланному автомату, нежели человѣку!..

Долго стоялъ онъ предъ этими грязными картинами, уже, наконецъ, не думая вовсе о нихъ, а между тѣмъ хозяинъ лавки, сѣренькій человѣчекъ, во фризовой шинели, съ бородой, небритой съ самаго воскресенья, толковалъ ему уже давно, торговался и условливался въ цѣнѣ, еще не узнавъ, что ему понравилось и что нужно. «Вотъ за этихъ мужичковъ и за ландшаптикъ возьму бѣленькую. Живопись-то какая! просто, глазъ прошибетъ; только-что получены съ биржи: еще лакъ не высохъ. Или вотъ зима,—возьмите зиму! пятнадцать рублей! одна рамка чего стоитъ! Вонъ она какая зима!» Тутъ купецъ далъ легкаго щелчка въ полотно, вѣроятно, чтобы показать всю доброту зимы. «Прикажете связать ихъ вмѣстѣ и снести за вами? Гдѣ изволите жить? Эй, мальчи! подай веревочку».

«Постой, братъ, не такъ скоро», сказалъ очнувшійся художникъ, видя, что ужъ проворный купецъ принялся не въ шутку ихъ связывать вмѣстѣ. Ему сдѣлалось нѣсколько совѣстно не взять ничего, застоявшись такъ долго въ лавкѣ, и онъ сказалъ: «А вотъ постой, я посмотрю, нѣтъ ли для меня чего-нибудь здѣсь», и, наклонившись, сталъ доставать съ полу громоздко наваленныя, истертыя, запыленныя старыя малеванья, не пользовавшіяся, какъ видно, никакимъ почетомъ. Тутъ были старинныя фамилыныя портреты, которыхъ потомковъ, можетъ быть, и на свѣтѣ нельзя было отыскать; совершенно неизвѣстныя изображенія съ прорванннымъ холстомъ; рамки, лишенныя позолоты; словомъ, всякій ветхій соръ. Но художникъ принялся разсматривать, думая втайнѣ: «Авось что-нибудь и отыщется». Онъ не разъ слышалъ рассказы о томъ, какъ иногда у любочныхъ продавцовъ были отыскиваемы въ сору картины великихъ мастеровъ.

Хозяинъ, увидѣвъ, куда полѣзъ онъ, оставилъ свою суетливостъ и, принявши свое обыкновенное положеніе и лежащій вѣсъ, помѣстился сызнова у дверей, зазывая прохожихъ и указывая имъ одной рукой на лавку: «Сюда, батюшка! вотъ картины! зайдите, зайдите! съ биржи получены». Уже накричался онъ вдоволь и болѣею частью безплодно: наговорился досыта съ лоскутнымъ продавцомъ,

стоявшимъ насупротивъ его, также у дверей своей лавчонки, и, наконецъ, вспомнивъ, что у него въ лавкѣ есть покупатель, оборотился къ народу спиной и отправился внутрь ся.—«Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художникъ уже стоялъ нѣсколько времени неподвижно передъ однимъ портретомъ въ огромныхъ, когда-то великолѣпныхъ рамахъ, но на которыхъ чуть блестя теперь слѣды позолоты.

Это былъ старикъ съ лицомъ бронзоваго цвѣта, скулистымъ, чахлымъ; черты лица, казалось, были схвачены въ минуту судорожнаго движенія и отзывались не сѣверною силою: пламенный полдень былъ запечатлѣнъ въ нихъ. Онъ былъ драпированъ въ широкій азіатскій костюмъ. Какъ ни былъ поврежденъ и запыленъ портретъ, но когда удалось ему счистить съ лица пыль, онъ увидѣлъ слѣды работы высокаго художника. Портретъ, казалось, былъ неконченъ; но сила кисти была разительна. Необыкновеніе всего были глаза: казалось, въ нихъ употребилъ всю силу кисти и все тщаніе свое художникъ. Они, просто, глядѣли, глядѣли даже изъ самаго портрета, какъ будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднесъ онъ портретъ къ дверямъ—еще сильнѣе глядѣли глаза. Почти то же впечатлѣніе произвели они и въ народѣ. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядитъ, глядитъ!» и попятилась назадъ. Что-то непріятное, непонятное самому себѣ почувствовать онъ и поставилъ портретъ на землю.

«А что-жъ, возьмите портретъ!» сказалъ хозяинъ.

«А сколько?» сказалъ художникъ.

«Да что за него дорожиться? три четвертачка давай!»

«Нѣтъ».

«Ну, да что-жъ дадите?».

«Двугривенный», сказалъ художникъ, готовясь идти.

«Экъ цѣну какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь! Видно, завтра собираетесь купить? Господинъ, господинъ, воротитесь! гривенничекъ хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только; вотъ только, что первый покупатель». За симъ онъ сдѣлалъ жестъ рукой, какъ будто бы говорившій: «Такъ ужъ и быть, пропадай картина!»

Такимъ образомъ Чартковъ совершенно неожиданно купилъ старый портретъ и въ то же время подумалъ: «Зачѣмъ я его купилъ? на что онъ мнѣ?» Но дѣлать было нечего.

Онъ вынулъ изъ кармана двугривенный, отдалъ хозяину, ваяя портретъ подъ мышку и потащилъ его съ собою. Дорогою онъ вспомнилъ, что двугривенный, который онъ отдалъ, былъ у него послѣдній. Мысли его вдругъ омрачились; досада и равнодушная пуста обняли его въ ту же минуту. «Чортъ побори! гадко на свѣтѣ!» сказалъ онъ съ чувствомъ русскаго, у котораго дѣла плохи. И почти машинально шелъ скорыми шагами, полный безчувствія ко всему. Красный свѣтъ вечерней зари оставался еще на половинѣ неба, еще дома, обращенные къ той сторонѣ, чуть озарялись ея теплымъ свѣтомъ; а между тѣмъ уже холодное синеватое сіянье мѣсяца становилось сильнѣе. Полупрозрачныя легкія тѣни хвостами падали на землю, отбрасываемыя домами и ногами пѣшеходцевъ. Уже художникъ начинать мало-по-малу заглядываться на небо, озаренное какимъ-то прозрачнымъ, тонкимъ, сомнительнымъ свѣтомъ, и почти въ одно время излетали изъ устъ его слова: «Какой легкій тонъ!» и слова: «Досадно, чортъ побори!» и онъ, поправляя портретъ, безпрестанно събѣзжавшій изъ-подъ мышки, ускорять шагъ.

Усталый и весь въ поту, дотащился онъ къ себѣ въ пятнадцатую линію, на Васильевскій островъ. Съ трудомъ и съ отдышкой взобрался онъ по лѣстницѣ, облитой помоями и украшенной слѣдами кошекъ и собакъ. На стукъ его въ дверь не было никакого отвѣта: человѣка не было дома. Онъ прислонился къ окну и расположился ожидать терпѣливо, пока не раздались, наконецъ, позади его шаги парня въ синей рубахѣ, его приспѣшника, натурщика, краско-терщика и выметателя половъ, пачкавшего ихъ тутъ же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводилъ все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключомъ въ замочную дырку, вовсе незамѣтную по причинѣ темноты. Наконецъ, дверь была отперта. Чертковъ вступилъ въ свою переднюю, нестерпимо холодную, какъ всегда бываетъ у художниковъ, чего, впрочемъ, они не замѣчаютъ. Не отдавая Никитѣ шинели, онъ вошелъ въ ней въ свою студию — квадратную комнату, большую, но низенькую, съ мерзнувшими окнами, уставленную всякимъ художескимъ хламомъ: кусками гипсовыхъ рукъ, рамками, обтянутыми холстомъ, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развѣшенной по

стульямъ. Онъ усталъ сильно, скинулъ шинель, поставилъ разсыянно принесенный портретъ между двухъ небольшихъ холстовъ и бросился на узкій диванчикъ, о которомъ нельзя было сказать, что онъ обтянутъ кожей, потому что рядъ мѣдныхъ гвоздиковъ, когда-то прикрѣплявшихъ ее, давно уже остался самъ по себѣ, а кожа осталась тоже сверху сама по себѣ, такъ что Никита засовывалъ подъ нее черные чулки, рубашки и все немытое бѣлье. Посидѣвъ и разлегшись, сколько можно было разлечься на этомъ узенькомъ диванѣ, онъ, наконецъ, спросилъ свѣчу.

«Свѣчи нѣтъ», сказалъ Никита.

«Какъ — нѣтъ?»

«Да вѣдь и вчера еще не было», сказалъ Никита. Художникъ вспомнилъ, что дѣйствительно и вчера еще не было свѣчи, успокоился и замолчалъ. Онъ далъ себя раздѣть и надѣлъ свой, крѣпко и сильно заношенный, халатъ.

«Да вотъ еще, хозяинъ былъ», сказалъ Никита.

«Ну, приходилъ за деньгами? Знаю», сказалъ художникъ, махнувъ рукой.

«Да онъ не одинъ приходилъ», сказалъ Никита.

«Съ кѣмъ же?»

«Не знаю, съ кѣмъ... какой-то квартильный».

«А квартильный зачѣмъ?»

«Не знаю, зачѣмъ; говорить, затѣмъ, что за квартиру не плачено».

«Ну, что-жъ изъ того выйдетъ?»

«Я не знаю, что выйдетъ; онъ говорилъ: «Если не хочеть, такъ пусть, говорить, съѣзжаетъ съ квартиры». Хотѣли завтра еще притти оба».

«Пусть ихъ приходятъ», сказалъ съ грустнымъ равнодушіемъ Чартковъ. И ненастное расположеніе духа овладѣло имъ вполне.

Молодой Чартковъ былъ художникъ съ талантомъ, пророчившимъ многое: вспышками и мгновеньями, его кисть отзывалась наблюдательностью, соображеніемъ, либкимъ порывомъ приблизиться къ природѣ. «Смотри, братъ», говорилъ ему не разъ его профессоръ: «у тебя есть талантъ; грѣшно будетъ, если ты его погубишь; но ты нетерпѣливъ: тебя одно что-нибудь заманитъ, одно что-нибудь тебѣ понравится—ты имъ занятъ, а прочее у тебя дрянъ, прочее тебѣ ни по чемъ, ты ужъ и глядишь на него не хочешь».

Смотри, чтобъ изъ тебя не вышелъ модный живописецъ: у тебя и теперь уже что-то начинаютъ слишкомъ бойко кричать краски; рисунокъ у тебя не строгъ, а подчасъ и вовсе слабъ, линия не видна; ты ужъ гоняешься за моднымъ освѣщенемъ, за тѣмъ, что бьетъ на первые глаза — смотри, какъ разъ попадешь въ аглицкой родъ. Берегись: тебя ужъ начинаетъ свѣтъ тянуть; ужъ, я вижу, у тебя иной разъ на шеѣ щегольской платокъ, шляпа съ лоскомъ... Оно заманчиво, можно пуститься писать модныя картинки и портретики за деньги; да вѣдь на этомъ губится, а не развертывается талантъ. Терпи. Обдумывай всякую работу: брось щегольство — пусть ихъ другіе набираютъ деньги, — твое отъ тебя не уйдетъ».

Профессоръ былъ отчасти правъ. Иногда нашему художнику, точно, хотѣлось кутнуть, щегольнуть, — словомъ, кое-гдѣ показать свою молодость; но при всемъ томъ онъ могъ взять надъ собою власть. Временами онъ могъ позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался отъ нея не иначе, какъ отъ прекраснаго прерваннаго сна. Вкусъ его развивался замѣтно. Еще не понималъ онъ всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвиди, останавливался передъ портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемнѣвшій обликъ, облекающій старыя картины, не весь сошелъ предъ нимъ; но онъ ужъ прозрѣвалъ въ нихъ кое-что, хотя внутренно не соглашался съ профессоромъ, чтобы старинные мастера такъ недосыгаемо ушли отъ насъ: ему казалось даже, что девятнадцатый вѣкъ кое въ чемъ значительно ихъ опередилъ, что подражаніе природѣ какъ-то сдѣлалось теперь ярче, живѣе, ближе; словомъ, онъ думалъ въ этомъ случаѣ такъ, какъ думаетъ молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это въ гордомъ внутреннемъ сознаніи. Иногда становилось ему досадно, когда онъ видѣлъ, какъ заѣзжій живописецъ, французъ или нѣмецъ, иногда даже вовсе не живописецъ по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красокъ производилъ всеобщій шумъ и накапливалъ себѣ вмигъ денежный капиталъ. Это приходило къ нему на умъ не тогда, когда, занятый весь своей работой, онъ забывалъ и питье, и пищу, и весь свѣтъ, но тогда, когда, наконецъ, сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красокъ, когда не-



отвязчивый хозяинъ приходилъ разъ по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась въ голодномъ его воображеніи участь богача-живописца; тогда пробѣгала даже мысль, пробѣгающая часто въ русской голодѣ — бросить все и закутить съ горя, на зло всему. И теперь онъ почти былъ въ такомъ положеніи.

«Да, терпи; терпи!» произнесъ онъ съ досадою: «есть же, наконецъ, и терпѣнью конецъ. Терпи! а на какія деньги я буду завтра обѣдать? Взаимы вѣдь никто не дастъ. А понеси я продавать всѣ мои картины и рисунки: за нихъ мнѣ за всѣ двугривенный дадутъ. Они полезны, конечно; я это чувствую: каждая изъ нихъ была предпринята не даромъ, въ каждой изъ нихъ я что-нибудь узналъ. Да вѣдь что пользы? этюды, попытки — и все будутъ этюды, попытки, — и конца не будетъ имъ. Да и кто купить, не зная меня по имени? Да и кому нужны рисунки съ антиковъ и натурнаго класса, или моя неконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портретъ моего Никиты, хотя онъ, право, лучше портретовъ какого-нибудь моднаго живописца? Что въ самомъ дѣлѣ? Зачѣмъ я мучусь и, какъ ученикъ, копаюсь надъ азбукой; тогда какъ могъ бы блеснуть ничѣмъ не хуже другихъ и быть такъ же, какъ они, съ деньгами?»

Произнеши это, художникъ вдругъ задрожалъ и поблѣднѣлъ: на него глядѣло, высунувшись изъ-за поставленнаго холста, чье-то судорожно искаженное лицо; два страшныхъ глаза прямо вперились въ него, какъ бы готовясь сожрать его; на устахъ написано было грозное повелѣнье молчать. Испуганный, онъ хотѣлъ вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успѣлъ запустить въ своей передней богатырское храпѣнье; но вдругъ остановился и засмѣялся; чувство страха отлегло вмгъ: это былъ имъ купленный портретъ, о которомъ онъ позабылъ вовсе. Сіянье мѣсяца, озарившее комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Онъ принялся его разсматривать и оттирать. Обмакнувъ въ воду губку, прошелъ ею по немъ нѣсколько разъ, смылъ съ него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повѣсилъ передъ собой на стѣну и подивился еще болѣе необыкновенной работѣ: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него такъ, что онъ, наконецъ, вздрогнулъ и, попятившись назадъ, произнесъ изумленнымъ голо-

сомъ: «Глядѣть, глядѣть человѣческими глазами!» Ему пришла вдругъ на умъ исторія, слышанная имъ давно отъ своего профессора объ одномъ портретѣ знаменитаго Леонарда да-Винчи, надъ которымъ великій мастеръ трудился нѣсколько лѣтъ и все еще почиталъ его неоконченнымъ, и который, по словамъ Вазари, былъ однакоже почтенъ отъ всѣхъ за совершеннѣйшее и окончаннѣйшее произведеніе искусства. Окончаніе всего были въ немъ глаза, которыми изумлялись современники: даже малѣйшія, чуть видныя въ нихъ, жилки были не упущены и преданы полотну. Но здѣсь, однакоже, въ этомъ, нынѣ бывшемъ передъ нимъ, портретѣ было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонію самаго портрета; это были живые, это были человѣческіе глаза! Казалось, какъ будто они были вырѣзаны изъ живого человѣка и вставлены сюда. Здѣсь не было уже того высокаго наслажденія, которое объемлетъ душу при взглядѣ на произведеніе художника, какъ ни ужасенъ взятый имъ предметъ: здѣсь было какое-то болѣзненное, томительное чувство. «Что это?» невольно вопрошала себя художникъ: «вѣдь это, однакоже, натура, это живая натура; отчего же это странно-непріятное чувство? Или рабское, буквальное подражаніе натурѣ есть уже проступокъ и кажется яркимъ, нестройнымъ крикомъ? Или, если возьмешь предметъ безучастно, безчувственно, не сочувствуя съ нимъ, онъ непременно предстанетъ только въ одной ужасной своей дѣйствительности, не озаренный свѣтомъ какой-то непостижимой, скрытой во всемъ мысли, предстанетъ въ той дѣйствительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружаешься анатомическимъ ножомъ, разсѣкаешь его внутренность — и видишь отвратительнаго человѣка? Почему же простая, низкая природа является у одного художника въ какомъ-то свѣту — и не чувствуешь никакого низкаго впечатлѣнія; напротивъ, кажется, какъ будто наслаждался, и послѣ того спокойнѣе и ровнѣе все течетъ и движется вокругъ тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкой, грязною, а, между прочимъ, онъ такъ же былъ вѣренъ природѣ? Но нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ въ ней чего-то озаряющаго. Все равно, какъ видъ въ природѣ: какъ онъ ни великолѣпенъ, а все недостаетъ чего-то, если нѣтъ на небѣ солнца».

Онъ опять подошелъ къ портрету, съ тѣмъ, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и съ ужасомъ замѣтилъ, что они точно глядятъ на него. Это уже не была копія съ натуры: это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшаго изъ могилы. Свѣтъ ли мѣсяца, несущій съ собой бредъ мечты и облекающій все въ иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, — только ему сдѣлалось вдругъ, — неизвѣстно отчего, страшно сидѣть одному въ комнатѣ. Онъ тихо отошелъ отъ портрета, отворотился въ другую сторону и старался не глядѣть на него, а между тѣмъ глазъ невольно, самъ собою, косясь, окидывать его. Наконецъ, ему сдѣлалось даже страшно ходить по комнатѣ: ему казалось, какъ будто сей же часъ кто-то другой станетъ ходить позади его, — и всякій разъ робко оглядывался онъ назадъ. Онъ не былъ никогда трусливъ; но воображеніе и нервы его были чутки, и въ этотъ вечеръ онъ самъ не могъ истолковать себя своей невольной боязнью. Онъ сѣлъ въ уголъ, но и здѣсь казалось ему, что кто-то вотъ-вотъ взглянетъ черезъ плечо къ нему въ лицо. Самое храбрѣе Никиты, раздававшееся изъ передней, не прогоняло его боязни. Онъ, наконецъ, робко, не подымая глазъ, поднялся съ своего мѣста, отправился къ себѣ за ширмы и легъ въ постель. Сквозъ щелки въ ширмахъ онъ видѣлъ освѣщенную мѣсяцемъ свою комнату и видѣлъ прямо висѣвшій на стѣнѣ портретъ. Глаза еще страшнѣе, еще значительнѣе вперились въ него и, казалось, не хотѣли ни на что другое глядѣть, какъ только на него. Полный тягостнаго чувства, онъ рѣшился встать съ постели, схватить простыню и, приблизясь къ портрету, закутать его всего.

Сдѣлавши это, онъ легъ въ постель покойнѣе, сталъ думать о бѣдности и жалкой судьбѣ художника, о тернистомъ пути, предстоящемъ ему на этомъ свѣтѣ; а между тѣмъ глаза его невольно глядѣли сквозь щелку ширмы на закутанный простынею портретъ. Сіянье мѣсяца усиливало близну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвѣчивать сквозь холстину. Со страхомъ вперилъ онъ пристальнѣе глаза, какъ бы желая увѣриться, что это вздоръ. Но, наконецъ, уже въ самомъ дѣлѣ... онъ видитъ, видитъ ясно: простыни уже нѣтъ... портретъ открытъ весь и глядитъ, мимо всего, что ни есть вокругъ, прямо въ

него, — глядеть, просто, къ нему во-внутрь... У него захо-  
лонуло сердце. И видитъ: старикъ пошевелился и вдругъ  
уперся въ рамку обѣими руками, наконецъ приподнялся на  
рукахъ и, высунувъ обѣ ноги, выпрыгнуть изъ рамъ...  
Сквозь шелку ширмъ видны были уже однѣ только пустыя  
рамы. По комнатѣ раздался стукъ шаговъ, который, нако-  
нецъ, становился ближе и ближе къ ширмамъ. Сердце стало  
сильно колотиться у бѣднаго художника. Съ занявшимся  
отъ страха дыханьемъ, онъ ожидалъ, что вотъ-вотъ глянетъ  
къ нему за ширмы старикъ. И вотъ онъ глянулъ, точно,  
за ширмы, съ тѣмъ же бронзовымъ лицомъ и повода боль-  
шими глазами. Чартковъ силился вскрикнуть — и почувство-  
вать, что у него нѣтъ голоса, силился пошевелиться, сдѣ-  
лать какое-нибудь движеніе — не движутся члены. Съ рас-  
крытымъ ртомъ и замершимъ дыханьемъ, смотрѣлъ онъ на  
этотъ странный фантомъ высокаго роста, въ какой-то ши-  
рокой азіатской рясѣ, и ждалъ, что станетъ онъ дѣлать.  
Старикъ сѣлъ почти у самыхъ ногъ его и вслѣдъ затѣмъ  
что-то вытащилъ изъ-подъ складокъ своего широкаго платья.  
Это былъ мѣшокъ. Старикъ развязалъ его и, схвативши за  
два конца, встряхнулъ: съ глухимъ звукомъ упали на полъ  
тяжелые свертки, въ видѣ длинныхъ столбиковъ; каждый  
былъ завернутъ въ синюю бумагу и на каждомъ было вы-  
ставлено: «1000 червонныхъ». Высунувъ свои длинные,  
костистыя руки изъ широкихъ рукавовъ, старикъ началъ  
разворачивать свертки. Золото блеснуло. Какъ ни велико  
было тягостное чувство и обезпамятѣвшій страхъ худож-  
ника, но онъ всерился весь въ золото, глядя неподвижно,  
какъ оно разворачивалось въ костистыхъ рукахъ, блестя,  
звенѣло тонко и глухо, и заворачивалось вновь. Тутъ за-  
мѣтилъ онъ одинъ свертокъ, откатившійся подальше отъ дру-  
гихъ къ самой ножкѣ его кровати, въ головахъ у него.  
Почти судорожно схватилъ онъ его и, полный страха, смо-  
трѣлъ, не замѣнитъ ли старикъ. Но старикъ былъ, казалось,  
очень занятъ; онъ собралъ всѣ свертки свои, уложилъ ихъ  
снова въ мѣшокъ и, не взглянувши на него, ушелъ за  
ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда онъ услы-  
шалъ, какъ раздавался по комнатѣ шелестъ удалявшихся  
шаговъ. Онъ сжималъ покрѣпче свертокъ въ своей рукѣ,  
дрожа всѣмъ тѣломъ за него, — и вдругъ услышалъ, что  
шаги вновь приближаются къ ширмамъ — видно, старикъ

вспомнилъ, что недоставало одного свертка. И вотъ—онъ глянулъ къ нему вновь за ширмы. Полный отчаянія, художникъ стиснулъ всю силою въ рукѣ своей свертокъ, употребилъ все усиліе сдѣлать движеніе, вскрикнулъ — и проснулся.

Холодный потъ облилъ его всего; сердце его билось такъ сильно, какъ только можно было биться: грудь была стѣснена, какъ будто хотѣло улетѣть изъ нея послѣднее дыханье. «Неужели это былъ сонъ?» сказалъ онъ, взявши себя обѣими руками за голову. Но страшная живость явленія не была похожа на сонъ. Онъ видѣлъ, уже пробудившись, какъ старикъ ушелъ въ рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту предъ симъ какую-то тяжесть. Свѣтъ мѣсяца озарялъ комнату, заставляя выступать изъ темныхъ угловъ ея — гдѣ холстъ, гдѣ гипсовую фигуру, гдѣ оставленную на стулѣ драпировку, гдѣ панталоны и нечищенные сапоги. Тутъ только замѣтилъ онъ, что не лежитъ въ постели, а стоитъ на ногахъ прямо передъ портретомъ. Какъ онъ добрался сюда — ужъ этого никакъ не могъ онъ понять. Еще болѣе изумило его, что портретъ былъ открытъ весь, и простыни на немъ, дѣйствительно, не было. Съ неподвижнымъ страхомъ глядѣлъ онъ на него и видѣлъ, какъ прямо вперились въ него живые человѣческіе глаза. Холодный потъ выступилъ на лицѣ его; онъ хотѣлъ отойти, но чувствовалъ, что ноги его какъ будто приросли къ землѣ. И видитъ онъ,—это уже не сонъ,—черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться къ нему, какъ будто бы хотѣли его высосать... Съ воплемъ отчаянія отскочилъ онъ—и проснулся.

«Неужели и это былъ сонъ?» Съ бьющимся на разрывъ сердцемъ оцупалъ онъ руками вокругъ себя. Да, онъ лежитъ на постели, въ такомъ точно положеніи, какъ заснулъ. Предъ нимъ ширмы; свѣтъ мѣсяца наполнялъ комнату. Сквозь щель въ ширмахъ виденъ былъ портретъ, закрытый, какъ слѣдуетъ, простынею, такъ, какъ онъ самъ закрылъ его. Итакъ, это былъ тоже сонъ! Но сжатая рука еще чувствуетъ, какъ будто бы въ ней что-то было. Бѣшеное сердце было сильно, почти страшно; тягость въ груди невыносимая. Онъ вперилъ глаза въ щель и пристально глядѣлъ на простыню. И вотъ видитъ ясно, что простыня начинаетъ рас-

крываться, какъ будто бы подъ нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это!» вскрикнулъ онъ, крестясь отчаянно,—и проснулся.

И это былъ также сонъ! Онъ вскочилъ съ постели, пологумный, обезпамятѣвшій, и уже не могъ изъяснить, что это съ нимъ дѣлается: давленіе ли кошмара, или домового, бредъ ли горячки, или живое видѣніе. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненіе и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженнымъ пульсомъ по всѣмъ его жиламъ, онъ подошелъ къ окну и открылъ форточку. Холодный пахнувшій вѣтеръ оживилъ его. Лунное сіяніе лежало все еще на крышахъ и бѣлыхъ стѣнахъ домовъ, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо; изрѣдка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожекъ извозчика, который гдѣ-нибудь въ невидномъ переулкѣ спалъ, убаюкиваемый своею лѣнивою клячею, ожидая запоздалаго сѣдока. Долго глядѣлъ онъ, высунувши голову въ форточку. Уже на небѣ рождались признаки приближающейся зари; наконецъ, почувствовалъ онъ дремоту, захлопнулъ форточку, отошелъ прочь, легъ въ постель и скоро заснулъ, какъ убитый, самымъ крѣпкимъ сномъ.

Проснулся онъ очень поздно и почувствовалъ въ себѣ то непріятное состояніе, которое овладѣваетъ человѣкомъ послѣ угара: голова его непріятно болѣла. Въ комнатѣ было тускло: непріятная мокрота сѣялась въ воздухъ и проходила сквозь щели его оконъ, заставленныхъ картинами или нагрунтованнымъ холстомъ. Пасмурный, недовольный, какъ мокрый пѣтухъ, усьлся онъ на своемъ оборванномъ диванѣ, не зная самъ, за что приняться, что дѣлать, и вспомнилъ, наконецъ, весь свой сонъ. По мѣрѣ припоминанья, сонъ этотъ представлялся въ его воображеніи такъ тягостно-живъ, что онъ даже сталъ подозрѣвать, точно ли это былъ сонъ и простой бредъ, не было ли здѣсь чего-то другого, не было ли это видѣніе. Сдернувши простыню, онъ разсматривалъ при дневномъ свѣтѣ этотъ странный портретъ. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего онъ не находилъ въ нихъ особенно страшнаго; только какъ будто какое-то неизъяснимое, непріятное чувство оставалось на душѣ. При всемъ томъ онъ все-таки не могъ совершенно увѣриться, чтобы это былъ сонъ. Ему казалось, что среди сна былъ какой-то странный отрывокъ

изъ дѣйствительности. Казалось, даже въ самомъ взглядѣ и выраженіи старика какъ будто что-то говорило, что онъ былъ у него эту ночь; рука его чувствовала только-что лежавшую въ ней тяжесть, какъ будто бы кто-то, за одну только минуту предъ симъ, ее выхватилъ у него. Ему казалось, что если бы онъ держалъ только, покрѣпче свертокъ, онъ, вѣрно, остался бы у него въ рукѣ и послѣ пробужденія.

«Боже мой! если бы хотя часть этихъ денегъ!» сказалъ онъ, тяжело вздохнувши. И въ воображеніи его стали высыпаться изъ мѣшка всѣ видѣнные имъ свертки съ заманчивой надписью: «1000 червонныхъ». Свертки разворачивались, золото блестя, заворачивалось вновь—и онъ сидѣлъ, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза въ пустой воздухъ, не будучи въ состояніи оторваться отъ такого предмета, какъ ребенокъ, сидящій предъ сладкимъ блюдомъ и видящій, глотая слюнки, какъ ѣдятъ его другіе.

Наконецъ, у дверей раздался стукъ, заставившій его неприятно очнуться. Вошелъ хозяинъ съ квартальнымъ надзирателемъ, котораго появленіе для людей мелкихъ, какъ извѣстно, еще неприятнѣе, чѣмъ для богатыхъ лицо просителя. Хозяинъ небольшого дома, въ которомъ жилъ Чартковъ, былъ одно изъ тѣхъ твореній, какими обыкновенно бываютъ владѣтели домовъ гдѣ-нибудь въ пятнадцатой линіи Васильевскаго острова, на Петербургской сторонѣ, или въ отдаленномъ углу Коломны,—творенье, какихъ много на Руси и которыхъ характеръ такъ же трудно опредѣлить, какъ цвѣтъ изношеннаго сюртука. Въ молодости своей онъ былъ и капитанъ, и прикуръ, употреблялся и по штатскимъ дѣламъ, мастеръ былъ хорошо высѣчь, былъ и расторопенъ, и щеголь, и глупъ; но въ старости своей онъ слилъ въ себѣ всѣ эти рѣзкія особенности въ какую-то тусклую неопредѣленность. Онъ былъ уже вдовъ, былъ уже въ отставку, уже не щеголялъ, не хвасталъ, не задирался, любилъ только пить чай и болтать за нимъ всякій вздоръ; ходилъ по комнатѣ, поправлялъ сальный огарокъ; аккуратно, по истеченіи каждаго мѣсяца, навѣдывался къ своимъ жильцамъ за деньгами; выходилъ на улицу, съ ключомъ въ рукѣ, для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонялъ нѣсколько разъ дворника изъ его конуры, куда тотъ запрятывался спать: однимъ словомъ, былъ человекъ въ отставкѣ,

которому, послѣ всей забубенной жизни и тряски на перекладныхъ, остаются однѣ пошлыя привычки.

«Извольте сами глядѣть, Варухъ Кузьмичъ», сказалъ хозяинъ, обращаясь къ квартальному и разставивъ руки: «вотъ не платить за квартиру, не платить».

«Что-жъ, если нѣтъ денегъ! Подождите, я заплачу».

«Мнѣ, батюшка, ждать нельзя», сказалъ хозяинъ въ-сердцахъ. дѣлая жестъ ключомъ, который держалъ въ рукѣ: «у меня вотъ Потогонкинъ, подполковникъ, живетъ, семь лѣтъ ужъ живетъ; Анна Петровна Бухмистерова и сарай, и конюшню нанимаетъ на два стойла, три при ней дворовыхъ человѣка—вотъ какіе у меня жильцы! У меня, сказать вамъ откровенно, нѣтъ такого заведенія, чтобы не платить за квартиру. Извольте сей же часъ заплатить деньги, да и съѣзжать вонъ».

«Да, ужъ если порядились, такъ извольте платить», сказалъ квартальный надзиратель съ небольшимъ потряхиваньемъ головы и заложивъ палецъ за пуговицу своего мундира.

«Да чѣмъ платить? вопросъ. У меня нѣтъ теперь ни гроша».

«Въ такомъ случаѣ, удовлетворите Ивана Ивановича издѣльями своей профессіи», сказалъ квартальный: «онъ, можетъ-быть, согласится взять картинами».

«Нѣтъ, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины съ благороднымъ содержаніемъ, чтобы можно было на стѣну повѣсить: хоть какой-нибудь генераль со звѣздой, или князя Кутузова портретъ; а то вонъ мужика нарисовалъ, мужика въ рубахѣ, слуги-то, чѣд треть краски. Еще съ него, свиньи, портретъ рисовать! Ему я шею наколочу: онъ у меня всѣ гвозди изъ задвижекъковыдергалъ, мошенникъ. Вотъ посмотрите, какіе предметы: вотъ комнату рисуетъ. Добро бы ужъ взялъ комнату прибранную, опрятную; а онъ вонъ какъ нарисовалъ ее, со всѣмъ соромъ и дрызгомъ, какой ни ваялся. Вотъ, посмотрите, какъ запакостилъ у меня комнату: извольте сами видѣть. Да у меня по семь лѣтъ живутъ жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна... Нѣтъ, я вамъ скажу: нѣтъ хуже жильца, какъ живописецъ: свинья-свиньей живетъ, просто—не приведи Богъ».

И все это долженъ былъ выслушать терпѣливо бѣдный живописецъ. Квартальный надзиратель между тѣмъ занялся разсматриваньемъ картинъ и этюдовъ, и тутъ же показать.



что у него душа живѣе хозяйской и даже была не чужда художественнымъ впечатлѣнiямъ.

«Хе», сказалъ онъ, тыкнувъ пальцемъ на одинъ холстъ, гдѣ была изображена нагая женщина: «предметъ, того... нгривый... А у этого зачѣмъ такъ подъ носомъ черно? табакомъ, что ли, онъ себѣ засыпаль?»

«Тѣнь», отвѣчалъ на это сурово и не обращая на него глазъ Чартковъ.

«Ну, ес бы можно куда-нибудь въ другое мѣсто отнести, а подъ носомъ слишкомъ видное мѣсто», сказалъ квартальный. «А это чей портретъ?» продолжалъ онъ, подходя къ портрету старика. «Ужъ страшенъ слишкомъ. Будто онъ въ самомъ дѣлѣ былъ такой страшный? Ахти, да онъ, просто, глядитъ! Эхъ, какой Громобой! Съ кого вы писали?»

«А, это съ одного...» сказалъ Чартковъ, и не кончилъ слова: послышался трескъ. Квартальный пожалъ, видно, слишкомъ крѣпко рамку портрета, благодаря топорному устройству полицейскихъ рукъ своихъ; боковыя дощечки вломились внутрь; одна упала на полъ, и выскочъ съ нею упалъ, тяжело звякнувъ, свертокъ въ синей бумагѣ. Чарткову бросилась въ глаза надпись: «1000 червоныхъ». Какъ безумный, бросился онъ поднять его, схватилъ свертокъ, сжалъ его судорожно въ рукѣ, опустившейся внизъ отъ тяжести.

«Никакъ деньги зазвенѣли?» сказалъ квартальный, услышавшій стукъ чего-то упавшаго на полъ и не могшій увидать его за быстротой движенья, съ какою бросился Чартковъ прибрать его.

«А вамъ какое дѣло знать, что у меня есть?»

«А такое дѣло, что вы сейчасъ должны заплатить хозяину за квартиру, что у васъ есть деньги, да вы не хотите платить—вотъ что».

«Ну, я заплачу ему сегодня».

«Ну, а зачѣмъ же вы не хотѣли заплатить прежде, да доставляете безпокойство хозяину, да вотъ и полицiю тоже тревожите?»

«Потому что этихъ денегъ мнѣ не хотѣлось трогать. Я ему сегодня же ввечеру все заплачу и съѣду съ квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина».

«Ну, Иванъ Ивановичъ, онъ вамъ заплатитъ», сказалъ квартальный, обращаясь къ хозяину. «А если насчетъ того, что вы не будете удовлетворены, какъ слѣдуетъ, сегодня

ввечеру, тогда ужъ извините, господинъ живописецъ». Сказавши это, онъ надѣлъ свою треугольную шляпу и вышелъ въ сѣни, а за нимъ хозяинъ, держа внизъ голову и, какъ казалось, въ какомъ-то раздумьи.

«Слава Богу, чортъ ихъ унесъ!» сказалъ Чартковъ, когда услышалъ затворившуюся въ передней дверь. Онъ выглянулъ въ переднюю, услалъ за чѣмъ-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, заперъ за нимъ дверь и, возвратившись къ себѣ въ комнату, принялся, съ сильнымъ сердечнымъ трепетомъ, разворачивать свертокъ. Въ немъ были червонцы, всѣ до одного новые, жаркіе, какъ огонь. Почти обезумѣвъ, сидѣлъ онъ за золотую кучею, все еще спрашивая себя: «Не во снѣ ли все это?» Въ свертокѣ было ровно ихъ тысяча; наружность его была совершенно такая, въ какой они видѣлись ему во снѣ. Нѣсколько минутъ онъ перебиралъ ихъ, пересматривалъ, и все еще не могъ притти въ себя. Въ воображеніи его воскресли вдругъ всѣ исторіи о кладахъ, шкатулкахъ съ потаенными ящиками, оставляемыхъ предками для своихъ разорившихся внуковъ, въ твердой увѣренности на будущее ихъ промотавшееся положеніе. Онъ мыслить такъ: «Не придумалъ ли и теперь какой-нибудь дѣдушка оставить своему внуку подарокъ, заключивъ его въ рамку фамильнаго портрета?» Полный романческаго бреда, онъ сталъ даже думать: нѣтъ ли здѣсь какой-нибудь тайной связи съ его судьбою? не связано ли существованіе портрета съ его собственнымъ существованіемъ, и самое приобращеніе его не есть ли уже какое-то предопредѣленіе? Онъ принялся съ любопытствомъ разсматривать рамку портрета. Въ одномъ боку ея былъ выдолбленный желобокъ, задвинутый дощечкой такъ ловко и непримѣтно, что если бы капитальная рука квартальнаго надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончанья вѣка въ покоѣ. Разсматривая портретъ, онъ подивился вновь высокой работѣ, необыкновенной отдѣлкѣ глазъ: они уже не казались ему страшными, но все еще въ душѣ оставалось всякій разъ какое-то невольное-непріятное чувство. «Нѣтъ», сказалъ онъ самъ въ себѣ: «чей бы ты ни былъ дѣдушка, а я тебѣ поставлю за стекло и сдѣлаю тебѣ за это золотыя рамки». Здѣсь онъ набросилъ руку на золотую кучу, лежавшую предъ нимъ, и сердце забилося сильно отъ такого прикосновенія. «Что съ ними дѣлать?» думалъ онъ, уставивъ

на нихъ глаза. «Теперь я обезпеченъ по крайней мѣрѣ на три года: могу запереться въ комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обѣдъ, на чай, на содержанье, на квартиру — есть; мѣшать и надоѣдать мнѣ теперь никто не станетъ. Куплю себѣ отличный манкенъ, закажу гипсовый торсикъ, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюръ съ первыхъ картинъ. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу ихъ всѣхъ, и могу быть славнымъ художникомъ».

Такъ говорилъ онъ заодно съ подсказывавшимъ ему разсудкомъ; но изнутри раздавался другой голосъ, слышнѣе и звонче. И какъ взглянуть онъ еще разъ на золото — не то заговорили въ немъ 22 года и горячая юность. Теперь въ его власти было все то, на что онъ глядѣлъ доселѣ завистливыми глазами, чѣмъ любовался издали, глотая слюнки. Ухъ, какъ въ немъ забилося рѣтнвое, когда онъ только подумалъ о томъ! Одѣться въ модный фракъ, разговѣться послѣ долгаго поста, нанять себѣ славную квартиру, отправиться тотъ же часъ въ театръ, въ кондитерскую, въ..... и прочее — и онъ, схвативши деньги, былъ уже на улицѣ.

Прежде всего зашелъ къ портному, одѣлся съ ногъ до головы и, какъ ребенокъ, сталъ осматривать себя безпрестанно; накупилъ духовъ, помады, нанялъ, не торгуясь, первую попавшуюся великолѣпнѣйшую квартиру на Невскомъ проспектѣ, съ зеркалами и цѣльными стеклами; купилъ нечаянно въ магазинѣ дорогой лорнетъ, нечаянно накупилъ тоже бездну всякихъ галстуковъ, болѣе чѣмъ было нужно, завилъ у парикмахера себѣ локоны, прокатился два раза по городу въ каретѣ безъ всякой причины, обѣлся безъ мѣры конфетъ въ кондитерской и зашелъ къ ресторану французу, о которомъ доселѣ слышалъ такіе же неясные слухи, какъ о китайскомъ государствѣ. Тамъ онъ обѣдалъ, подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на другихъ и поправляя безпрестанно противъ зеркала завитые локоны. Тамъ онъ выпилъ бутылку шампанскаго, которое тоже доселѣ было ему знакомо болѣе по слуху. Вино нѣсколько зашумѣло въ головѣ, и онъ вышелъ на улицу живой, бойкій, по русскому выраженію — «чорту не брать». Прошелся по тротуару гоголемъ, наводя на всѣхъ лорнетъ. На мосту захѣтилъ онъ своего прежняго профессора и шмыгнуть лихо мимо его, какъ будто бы не замѣтивъ его вовсе, такъ что

остолбѣвшій профессоръ долго еще стоялъ неподвижно на мосту, изобразивъ вопросительный знакъ на лицѣ своемъ.

Всѣ вещи и все, что ни было: станокъ, холсты, картины, были въ тотъ же вечеръ перевезены на великолѣпную квартиру. Онъ разставилъ, что было получше, на видныя мѣста, что похуже — забросилъ въ уголъ, и расхаживалъ по великолѣпнымъ комнатамъ, безпрестанно поглядывая въ зеркала. Въ душѣ его возродилось желанье непреодолимое схватить славу сей же часъ за хвостъ и показать себя свѣту. Уже чудились ему крики: «Чартковъ, Чартковъ! Видали ли вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талантъ у Чарткова!» Онъ ходилъ въ восторженномъ состояніи у себя по комнатамъ и уносился нивѣсть куда. На другой же день, взявши десятокъ червонцевъ, отправился онъ къ одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; былъ принятъ радушно журналистомъ, назвавшимъ его тотъ же часъ «почтеннѣйшій», пожавшимъ ему обѣ руки, разспросившимъ подробно объ имени, отчествѣ, мѣстѣ жительства, и на другой же день появилась въ газетѣ, вслѣдъ за объявленіемъ о новоизобрѣтенныхъ сальныхъ свѣчахъ, статья съ такимъ заглавіемъ: «*О необыкновенныхъ талантахъ Чарткова*». «Спѣшимъ обрадовать образованныхъ жителей столицы прекраснымъ, можно сказать, во всѣхъ отношеніяхъ пріобрѣтеніемъ. Всѣ согласны въ томъ, что у насъ есть много прекраснѣйшихъ фізіогномій и прекраснѣйшихъ лицъ; но не было до сихъ поръ средства передать ихъ на чудотворный холстъ, для передачи потомству. Теперь недостатокъ этотъ пополненъ: отыскался художникъ, соединяющій въ себѣ все, что нужно. Теперь красавица можетъ быть увѣрена, что она будетъ передана со всей граціей своей красоты, воздушности, легкой, очаровательной, пріятной, чудесной, подобной мотылькамъ, порхающимъ по весеннимъ цвѣткамъ. Почтенный отецъ семейства увидитъ себя окруженнымъ всей своей семьей. Купецъ, воинъ, гражданинъ, государственный мужъ — всякій съ новой ревностью будетъ продолжать свое поприще. Спѣшите, спѣшите, заходите съ гулянья, съ прогулки, предпринятой къ пріятелю, къ кузинѣ, въ блестящій магазинъ, спѣшите, откуда бы ни было. Великолѣпная мастерская художника (Невскій проспектъ, такой-то номеръ) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандикова и Тица-

новъ. Не знаешь, чему удивляться: вѣрности ли и сходству съ оригиналами, или необыкновенной яркости и свѣжести кисти. Хвала вамъ, художникъ! вы вынули счастливый билетъ изъ лотереи. Виватъ, Андрей Петровичъ! (журналистъ, какъ видно, любилъ фамиллярность). Прославляйте себя и насъ. Мы умѣемъ цѣнить васъ. Всеобщее стеченіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и деньги,—хотя нѣкоторые изъ нашей же братьи, журналистовъ, и возстаютъ противъ нихъ,—будутъ вамъ наградою».

Съ тайнымъ удовольствіемъ прочиталъ художникъ это объявленіе; лицо его просіяло. О немъ заговорили печатно—это было для него новостью: нѣсколько разъ перечитывалъ онъ строки. Сравненіе съ Вандикомъ и Тиціаномъ ему сильно польстило. Фраза: «Виватъ, Андрей Петровичъ!» также очень понравилась: печатнымъ образомъ называютъ его по имени и по отчеству—честь, донинѣ ему совершенно не извѣстная. Онъ началъ ходить скоро по комнатамъ, ерошить себѣ волосы, то садился въ кресла, то вскакивалъ съ нихъ и садился на диванъ, представляя поминутно, какъ онъ будетъ принимать посѣтителей и посѣдительницъ, подходилъ къ холсту и производилъ надъ нимъ лихую замашку кисти, пробуя сообщить граціозныя движенія рукъ.

На другой день раздался колокольчикъ у дверей его; онъ побѣжалъ отворять. Вошла дама, сопровождаемая лакеемъ въ ливрейной шинели на мѣху, и вмѣстѣ съ дамой вошла молоденькая восемнадцатилѣтняя дѣвица, дочь ея.

«Вы мсье Чартковъ?» сказала дама.

Художникъ поклонился.

«Объ васъ столько пишутъ; ваши портреты, говорятъ, верхъ совершенства». Сказавши это, дама наставила на глазъ свой лорнетъ и побѣжала быстро осматривать стѣны, на которыхъ ничего не было. «А гдѣ же ваши портреты?»

«Вынесли», сказали художникъ, нѣсколько смѣшавшись: «я только-что переѣхалъ на эту квартиру, такъ они еще въ дорогѣ... не доѣхали».

«Вы были въ Италіи?» сказала дама, наводя на него лорнетъ, не найдя ничего другого, на что бы можно было навестъ его.

«Нѣтъ, я не былъ, но хотѣлъ быть... Впрочемъ, теперь покажѣтъ я отложилъ... Вотъ, кресла-съ; вы устали?..»

«Благодарю, я сидѣла долго въ каретѣ. А, вонъ, нако-

нець, вижу вашу работу!» сказала дама, побѣжавъ къ супротивной стѣнѣ и наводя лорнетъ на стоявшіе на полу еѣ этюды, программы, перспективы и портреты. «C'est charmant, Lise! Lise, venez ici. Комната во вкусѣ Теньера. Видишь? безпорядокъ, безпорядокъ, столъ, на немъ бюстъ, рука, палитра; вонъ пыль... видишь, какъ пыль нарисована! C'est charmant! А вонъ на другомъ холстѣ женщина, моющая лицо — quelle jolie figure! Ахъ, мужичокъ! Lise, Lise! мужичокъ въ русской рубашкѣ! Смотри: мужичокъ! Такъ вы занимаетесь не одними только портретами?»

«О, это вздоръ... такъ, шалишь... этюды...»

«Скажите, какого вы мнѣнія насчетъ нынѣшнихъ портретистовъ? Не правда ли, теперь нѣтъ такихъ, какъ былъ Тиціанъ? Нѣтъ той силы въ колоритѣ, нѣтъ той... какъ жаль, что я не могу вамъ выразить по-русски (дама была любительница живописи и обѣгала съ лорнетомъ всѣ галереи въ Италіи). Однако, мсьё Ноль... ахъ, какъ онъ пишетъ! какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженія въ лицахъ, нежели у Тиціана. Вы не знаете мсьё Ноля?»

«Кто этотъ Ноль?» спросилъ художникъ.

«Мсьё Ноль. Ахъ, какой талант! онъ написалъ съ нея портретъ, когда ей было только двѣнадцать лѣтъ. Нужно, чтобы вы непременно у насъ были. Lise, ты ему покажи свой альбомъ. Вы знаете, что мы пріѣхали съ тѣмъ, чтобы сей же часъ начали съ нея портретъ».

«Какъ же, я готовъ сію минуту». И въ одно мгновеніе придвинулъ онъ станокъ съ готовымъ холстомъ, взялъ въ руки палитру, вперилъ глаза въ блѣдное личико дочери. Если бы онъ былъ знатокъ человѣческой природы, онъ прочелъ бы на немъ въ одну минуту начало ребяческой страсти къ баламъ, начало тоски и жалобъ на длинноту времени до обѣда и послѣ обѣда, желанья побѣгать въ новомъ платьѣ на гуляньяхъ, тяжелые слѣды безучастнаго прилежанія къ разнымъ искусствамъ, внушаемаго матерью для возвышенія души и чувствъ. Но художникъ видѣлъ въ этомъ нѣжномъ личикѣ одну только заманчивую для кисти, почти фарфоровую прозрачность тѣла, увлекательную легкую томность, тонкую свѣтлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранѣе готовился торжествовать, показать легкость и блескъ своей кисти, имѣвшей доселѣ дѣлю только съ

жесткими чертами грубыхъ моделей, съ строгими антиками и копіями кое-какихъ классическихъ мастеровъ. Онъ уже представлялъ себѣ въ мысляхъ, какъ выйдетъ это легонькое личико.

«Знаете ли?» сказала дама съ нѣскольکو даже трогательнымъ выраженіемъ лица: «я бы хотѣла... на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотѣла, чтобы она была въ платьѣ, къ которому мы такъ привыкли: я бы хотѣла, чтобы она была одѣта просто и сидѣла бы въ тѣни зелени, въ виду какихъ-нибудь полей, чтобы стада вдали, или роща... чтобы незамѣтно было, что она ѣдетъ куда-нибудь на балъ или модный вечеръ. Наши балы, признаюсь, такъ убиваютъ душу, такъ умерщвляютъ остатки чувствъ... Простоты, понимаете, чтобы было больше». (Увы! на лицахъ и матушки, и дочери написано было, что онѣ до того испясались на балахъ, что обѣ сдѣлались чуть не восковыми).

Чартковъ принялся за дѣло, усадилъ оригиналъ, сообразилъ нѣсколько все это въ головѣ; провель по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурилъ нѣсколько глазъ, подался назадъ, взглянулъ издали, и въ одинъ часъ началъ и кончилъ подмалевку. Довольный ею, онъ принялся уже писать; работа его завлекла; уже онъ позабылъ все, позабылъ даже, что находится въ присутствіи аристократическихъ дамъ, началъ даже выказывать иногда кое-какія художническія ухватки, произнося вслухъ разные звуки, временами подиѣвая, какъ случается съ художникомъ, погруженнымъ всею душою въ свое дѣло. Безъ всякой церемоніи, однимъ движеніемъ кисти, заставлялъ онъ оригиналъ поднимать голову, который, наконецъ, началъ сильно вертѣться и выражать совершенную усталость.

«Довольно, на первый разъ довольно», сказала дама.

«Еще немножко», говорилъ позабывшійся художникъ.

«Нѣтъ, пора! Lise, три часа!» сказала она, вынимая маленькіе часы, висѣвшіе на золотой цѣпи у ея кушака, и вскрикнула: «Ахъ, какъ поздно!»

«Минуточку только!» говорилъ Чартковъ простодушнымъ и просящимъ голосомъ ребенка.

Но дама, кажется, совѣмъ не была расположена угождать на этотъ разъ его художественнымъ потребностямъ и общала, вмѣсто того, просидѣть въ другой разъ долѣе.

«Это, однакожъ, досадно», подумалъ про себя Чартковъ:

«рука только-что расходилась». И вспомнил онъ, что его никто не перебивалъ и не останавливалъ, когда онъ работалъ въ своей мастерской на Васильевскомъ островѣ; Никита, бывало, сидѣлъ не ворохнувшись на одномъ мѣстѣ—пиши съ него, сколько угодно; онъ даже засыпалъ въ заказанномъ ему положеніи. И, недовольный, положилъ онъ свою кисть и палитру на стулъ и остановился смутно предъ холстомъ.

Комплиментъ, сказанный свѣтской дамой, пробудилъ его изъ усыпленія. Онъ бросился быстро къ дверямъ провожать ихъ; на лѣстницѣ получилъ приглашеніе бывать, притти на слѣдующей недѣлѣ обѣдать, и съ веселымъ видомъ возвратился къ себѣ въ комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сихъ поръ онъ глядѣлъ на подобные существа, какъ на что-то недоступное,—которые рождены только для того, чтобы пронестись въ великолѣпной коляскѣ съ ливрейными лакеями и щегольскимъ кучеромъ и бросить равнодушный взглядъ на бредущаго пѣшкомъ въ небогатомъ плащикѣ человѣка. И вдругъ теперь одно изъ этихъ существъ вошло къ нему въ комнату; онъ пишетъ портретъ, приглашенъ на обѣдъ въ аристократическій домъ. Довольство овладѣло имъ необыкновенное; онъ былъ упоенъ совершенно и наградилъ себя за это славнымъ обѣдомъ, вечернимъ спектаклемъ, и опять пробѣжался въ каретѣ по городу безъ всякой нужды.

Во всѣ эти дни обычная работа ему не шла вовсе на умъ. Онъ только приготовлялся и ждалъ минуты, когда раздается звонокъ. Наконецъ, аристократическая дама пріѣхала вмѣстѣ съ своею блѣдненькою дочерью. Онъ усадилъ ихъ, придвинулъ холстъ, уже съ ловкостью и претензіями на свѣтскія замашки, и сталъ писать. Солнечный день и ясное освѣщеніе много помогли ему. Онъ увидѣлъ въ легонькомъ своемъ оригиналѣ много такого, что, бывъ уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидѣлъ, что можно сдѣлать кое-что особенное, если выполнить все въ такой оконченности, въ какой теперь представилась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда онъ почувствовалъ, что выразить то, чего еще не замѣтили другіе. Работа заняла его всего; весь погрузился онъ въ кисть, позабывъ опять объ аристократическомъ происхожденіи оригинала. Съ занимавшимся дыханіемъ видѣлъ, какъ выходили у него легкія черты и



это почти прозрачное, нѣжное тѣло семнадцатилѣтней дѣвушки. Онъ ловилъ всякій оттѣнокъ, легкую желтизну, едва замѣтную голубизну подѣ глазами, и уже готовился даже схватить небольшой прыщикъ, выскочившій на лбу, какъ вдругъ услышалъ надъ собою голосъ матери: «Ахъ, зачѣмъ это? это не нужно», говорила дама: «у васъ тоже... вотъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ... какъ будто бы нѣсколько желто. и вотъ здѣсь совершенно, какъ темный пятнышки». Художникъ сталъ изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляютъ пріятные и легкіе тоны лица. Но ему отвѣчали, что они не составляютъ никакихъ тоновъ и совсѣмъ не разыгрываются, и что это ему только такъ кажется. «Но позвольте здѣсь, въ одномъ только мѣстѣ, тронуть немножко желтенькой краской», сказалъ простоудушно художникъ. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко не расположена, а что желтизны въ ней никакой не бываетъ, и лицо ея поражаетъ особенно свѣжестью краски. Съ грустью принялся онъ изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незамѣтныхъ чертъ, а вмѣстѣ съ ними исчезло отчасти и сходство. Онъ безчувственно сталъ сообщать ему тотъ общій колоритъ, который дается наизусть и обращаетъ даже лица, взятые съ натуры, въ какія-то холодно-идеальныя, видимыя на ученическихъ программахъ. Но дама была довольна тѣмъ, что обидный колоритъ былъ изгнанъ вовсе. Она изъяснила только удивленіе, что работа идетъ такъ долго, и прибавила, что слышала, будто онъ въ два сеанса оканчиваетъ совершенно портретъ. Художникъ ничего не нашелся на это отвѣчать. Дамы поднялись и собирались выйти. Онъ положилъ кисть, проводилъ ихъ до дверей и послѣ того долго оставался смутнымъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, передъ своимъ портретомъ.

Онъ глядѣлъ на него глупо, а въ головѣ его между тѣмъ носились тѣ легкія женственныя черты, тѣ оттѣнки и воздушные тоны, имъ подмѣченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полонъ ими, онъ отставилъ портретъ въ сторону и отыскалъ у себя гдѣ-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросалъ на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее изъ однихъ

общихъ чертъ, не принявшее живого тѣла. Отъ нечего дѣлать, онъ теперь принялся проходить его, припоминая на немъ все, что случилось ему подмѣтить въ лицѣ аристократической посябительницы. Уловенныя имъ черты, оттѣнки и тоны здѣсь ложились въ томъ очищенномъ видѣ, въ какомъ являются они тогда, когда художникъ, наглядѣвшись на природу, уже отдаляется отъ нея и производитъ ей равное созданіе. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-по-малу облекаться въ видимое тѣло. Типъ лица молоденькой свѣтской дѣвицы невольнo сообщился Психеѣ, и чрезъ то получила она своеобразное выраженіе, дающее право на названіе истинно-оригинальнаго произведенія. Казалось, онъ воспользовался, по частямъ и вмѣстѣ, всѣмъ, что представилъ ему оригиналъ, и привязался совершенно къ своей работѣ. Въ продолженіе нѣсколькихъ дней онъ былъ занятъ только ею. И за этой самой работой засталъ его прїѣздъ знакомыхъ дамъ. Онъ не успѣлъ снять со станка картину. Обѣ дамы издали радостный крикъ изумленія и всплеснули руками.

«Lise, Lise! ахъ, какъ похоже! Superbe, superbe! Какъ хорошо вы вздумали, что одѣли ее въ греческій костюмъ! Ахъ, какой сюрпризъ!»

Художникъ не зналъ, какъ вывести дамъ изъ прїятнаго заблужденія. Совѣстясь и потупя голову, онъ произнесъ тихо: «Это Психея».

«Въ видѣ Психеи? C'est charmant», сказала мать, улыбувшись, при чемъ улыбнулась также и дочь. «Не правда ли, Lise, тебѣ больше всего идетъ быть изображенной въ видѣ Психеи? Quelle idée délicieuse! Но какая работа! это Корреджъ. Признаюсь, я читала и слышала о васъ, но я не знала, что у васъ такой талантъ. Нѣтъ, вы непременно должны написать также и съ меня портретъ». Дамѣ, какъ видно, хотѣлось тоже предстать въ видѣ какой-нибудь Психеи.

«Что мнѣ съ ними дѣлать?» подумалъ художникъ. «Если онѣ сами того хотятъ, такъ пусть Психея пойдетъ за то, что имъ хочется», и произнесъ вслухъ: «Потрудитесь еще немножко присѣсть: я кое-что немножко трону».

«Ахъ, я боюсь, чтобы вы какъ-нибудь не... она такъ теперь похожа».

Но художникъ понялъ, что опасенія были насчетъ желтизны, и успокоилъ ихъ, сказавъ, что онъ только придастъ

болѣе блеску и выраженья глазамъ. А по справедливости, ему было слишкомъ совѣстно и хотѣлось хотя сколько-нибудь болѣе придать сходства съ оригиналомъ, дабы не упорить его кто-нибудь въ рѣшительномъ безстыдствѣ. И точно, черты блѣдной дѣвушки стали, наконецъ, выходить яснѣе изъ облика Психеи.

«Довольно!» сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось, наконецъ, уже черезчуръ близко. Художникъ былъ награжденъ всѣмъ: улыбкой, деньгами, комплиментомъ, искреннимъ пожатіемъ руки, приглашеніемъ на обѣды, — словомъ, получилъ тысячу лестныхъ наградъ.

Портретъ произвелъ по городу шумъ. Дама показала его пріятельницамъ: всѣ изумлялись искусству, съ какимъ художникъ умѣлъ сохранить сходство и вмѣстѣ съ тѣмъ придать красоту оригиналу. Последнее замѣчено было, разумѣется, не безъ легкой краски зависти въ лицѣ. И художникъ вдругъ былъ осажденъ работами. Казалось, весь городъ хотѣлъ у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонокъ. Съ одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему безконечную практику разнообразіемъ, множествомъ лицъ. Но, на бѣду, это все былъ народъ, съ которымъ было трудно ладить, — народъ торопливый, занятый, или же принадлежащій свѣту, стало-быть, еще болѣе занятый, чѣмъ всякій другой, и потому нетерпѣливый до крайности. Со всѣхъ сторонъ только требовали, чтобы было хорошо и скоро. Художникъ увидѣлъ, что оканчивать рѣшительно было невозможно, что все нужно было замѣнить ловкостью и быстрой бойкостью кисти, — схватывать одно только цѣлое, одно общее выраженіе и не углубляться кистью въ утонченныя подробности, — однимъ словомъ, слѣдить природу въ ея оконченности было рѣшительно невозможно. Притомъ, нужно прибавить, что у всѣхъ почти писавшихся много было другихъ притязаній на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характеръ изображались въ портретахъ, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить всѣ углы, облегчить всѣ изъяны, и даже, если можно, избѣжать ихъ вовсе, — словомъ, чтобы на лицо можно было засмотрѣться, если даже не совершенно влюбиться. И вслѣдствіе этого, садясь писаться, онѣ принимали иногда такія выраженія, которыя приводили въ изумленіе художника: та старалась изобра-

зять въ лицѣ своемъ меланхолію, другая мечтательность, третья, во что бы ни стало, хотѣла уменьшитель ротъ и сжимала его до такой степени, что онъ обращался, наконецъ, въ одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на все это, требовали отъ него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничѣмъ не лучше дамъ: одинъ требовалъ себя изобразить въ сильномъ энергическомъ поворотѣ головы; другой съ поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейскій поручикъ требовалъ непременно, чтобы въ глазахъ виденъ былъ Марсъ; гражданскій чиновникъ норовилъ такъ, чтобы побольше было прямоты и благородства въ лицѣ, и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «Всегда стоялъ за правду». Сначала художника бросали въ потъ такія требованья: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тѣмъ сроку давалось очень немного. Наконецъ, онъ добрался, въ чемъ было дѣло, и ужъ не затруднялся нисколько. Даже изъ двухъ, трехъ словъ смегаль впередъ, кто чѣмъ хотѣлъ изобразить себя. Кто хотѣлъ Марса, онъ ему въ лицо совалъ Марса; кто мѣтилъ въ Байроны, онъ давалъ ему байроновское положенье и поворотъ. Коринной ли, Ундиной, Аспазіей ли желали быть дамы, онъ съ большой охотой соглашался на все и прибавлялъ отъ себя уже всякому вдоволь благообразія, которое, какъ извѣстно, нигдѣ не подгадить, и за что простятъ иногда художнику и самое несходство. Скоро онъ уже самъ началъ дивиться чудной быстротѣ и бойкости своей кисти. А писавшіеся, само собою разумѣется, были въ восторгѣ и провозглашали его гениемъ.

Чартковъ сдѣлался моднымъ живописцемъ во всѣхъ отношеніяхъ. Сталъ ѣздить на обѣды, сопровождать дамъ въ галереи и даже на гулянья, щегольски одѣваться и утверждать гласно, что художникъ долженъ принадлежать къ обществу, что нужно поддержать это званіе, что художники одѣваются какъ сапожники, не умѣютъ прилично вести себя, не соблюдаютъ высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, въ мастерской, онъ завелъ опрятность и чистоту въ высшей степени, опредѣлить двухъ великолѣпныхъ лакеевъ, завелъ щегольскихъ учениковъ, переодѣвался нѣсколько разъ въ день въ разные утренніе костюмы, завивался; занялся улучшеніемъ разныхъ манеръ, съ гото-

рыми принимать посѣтителей, занялся украшеніемъ всеми возможными средствами своей наружности. чтобы произвести ея пріятное впечатлѣніе на дамъ; однимъ словомъ, скоро нельзя было въ немъ вовсе узнать того скромнаго художника, который работалъ когда-то незамѣтно въ своей лачужкѣ на Васильевскомъ островѣ. Объ художникахъ и объ искусствѣ онъ изъяснялся теперь рѣзко: утверждать, что прежнимъ художникамъ уже чрезчуръ много приписано достоинства, что всѣ они, до Рафаэля, писали не фигуры, а селедки; что существуетъ только въ воображеніи разсма-тривателей мысль, будто бы видно въ нихъ присутствіе какой-то святости; что самъ Рафаэль даже писать не все хорошо, и за многими произведеніями его удержалась только по преданію слава; что Микель-Анжель хвастунъ, потому что хотѣлъ только похвастать знаніемъ анатоміи; что граціозности въ немъ нѣтъ никакой, и что настоящаго блеска силы кисти и колорита нужно искать только теперь, въ нынѣшнемъ нѣтъ. Тутъ, натурально, невольнымъ образомъ доходило дѣло и до себя. «Нѣтъ, я не понимаю», говорилъ онъ, «напряженія другихъ сидѣть и корчиться за трудомъ: челювѣкъ, который копается по нѣскольку мѣсяцевъ надъ картиною, по мнѣ, труженикъ, а не художникъ; я не повѣрю, чтобы въ немъ былъ талантъ; гений творить смѣло, быстро.—Вотъ у меня», говорилъ онъ, обращаясь обыкновенно къ посѣтителямъ: «этотъ портретъ я написалъ въ два дня, эту головку въ одинъ день, это въ нѣсколько часовъ, это въ часъ съ небольшимъ. Нѣтъ, я... я, признаюсь, не признаю художествомъ того, что дѣлится строчка за строчкой; это ужъ ремесло, а не художество». Такъ разсказывалъ онъ своимъ посѣтителямъ, и посѣтели дивились силѣ и бойкости его кисти, издавали даже восклицанія, услышавъ, какъ быстро они производились, и потомъ пересказывали другъ другу: «Это талантъ, это истинный талантъ! Посмотрите, какъ онъ говоритъ, какъ блестятъ его глаза! Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!»

Художнику было лестно слышать объ себѣ такіе слухи. Когда въ журналахъ появлялась печатная хвала ему, онъ радовался, какъ ребенокъ, хотя эта хвала была куплена имъ за свои же деньги. Онъ разносилъ такой печатный листокъ вездѣ и, будто бы не нарочно, показывалъ его знакомымъ и пріятелямъ; и это его тѣшило до самой просто-

душной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоѣдать одни и тѣ же портреты и лица, которыхъ положенья и обороты сдѣлались ему заученными. Уже безъ большой охоты онъ писалъ ихъ, стараясь набросать только кое-какъ одну голову, а остальное давалъ доканчивать ученикамъ. Прежде онъ, все-таки, искалъ дать какое-нибудь новое положеніе, поразить силою, эффектомъ. Теперь и это становилось ему скучно. Умъ уставалъ придумывать и обдумывать. Это было ему не въ мочь, да и некогда: разсѣянная жизнь и общество, гдѣ онъ старался сыграть роль свѣтскаго человѣка,—все это уносило его далеко отъ труда и мыслей. Кисть его хладѣла и тухла, и онъ нечувствительно заключился въ однообразныя, опредѣленныя, давно изношенныя формы. Однообразныя, холодныя, вѣчно прибранныя и, такъ-сказать, застегнутыя лица чиновниковъ, военныхъ и штатскихъ, не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолѣпныя драпировки, и сильныя движенія, и страсти. О группахъ, о художественной драмѣ, о высокой ея завязкѣ нечего было и говорить. Предъ ними были только мундиръ, да корсетъ, да фракъ, предъ которыми чувствуетъ холодъ художникъ и падаетъ всякое воображеніе. Даже достоинствъ самыхъ обыкновенныхъ уже не было видно въ его произведеніяхъ, а между тѣмъ они все еще расходились, все еще пользовались славой, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на послѣднія его работы. А нѣкоторые, знавшіе Чарткова прежде, не могли понять, какъ могъ исчезнуть въ немъ талантъ, котораго признаки оказались уже ярко въ немъ при самомъ началѣ, и напрасно старались разгадать, какимъ образомъ можетъ угаснуть дарованіе въ человѣкѣ, тогда какъ онъ только-что достигнулъ еще полнаго развитія всѣхъ силъ своихъ.

Но этихъ толковъ не слышалъ упоенный художникъ. Уже онъ начиналъ достигать поры степенности ума и лѣтъ: сталъ толстѣть и видимо раздвигаться въ ширину. Уже въ газетахъ и журналахъ читалъ онъ прилагательныя: «почтенный нашъ Андрей Петровичъ, заслуженный нашъ Андрей Петровичъ». Уже стали ему предлагать по службѣ почетныя мѣста, приглашать на экзамены, въ комитеты. Уже онъ начиналъ, какъ всегда случается въ почетныя лѣта, брать сильно сторону Рафаэля и старинныхъ художниковъ, не

потому, что убѣдился вполнѣ въ ихъ высокомъ достоинствѣ, но затѣмъ, чтобы колотъ ими въ глаза молодыхъ художниковъ. Уже онъ начинать, по обычаю всѣхъ, вступающихъ въ такія лѣта, укорять безъ изъятія всю молодежь въ безнравственности и дурномъ направленіи духа. Уже начинать онъ вѣрить, что все на свѣтѣ дѣлается просто, вдохновенія свыше нѣтъ, и все необходимо должно быть подвергнуто подъ одинъ строгій порядокъ аккуратности и однообразія. Однимъ словомъ, жизнь его уже коснулась тѣхъ лѣтъ, когда все, дышащее порывомъ, сжимается въ челоуѣкъ, когда могущественный смычокъ слабѣе доходить до души и не обвиняется пронзительными звуками около сердца, когда прикосновеніе красоты уже не превращаетъ дѣйственныхъ силъ въ огонь и пламя, но всѣ отгорѣвшія чувства становятся доступнѣе къ звуку золота, вслушиваются внимательнѣй въ его заманчивую музыку и мало-по-малу нечувствительно позволяютъ ей совершенно усыпить себя. Слава не можетъ дать наслажденія тому, кто укралъ ее, а не заслужилъ: она производитъ постоянный трепетъ только въ достойномъ ея. И потому всѣ чувства и порывы его обратились къ золоту. Золото сдѣлалось его страстью, идеаломъ, страхомъ, наслажденіемъ, цѣлью. Пуки ассигнацій росли въ сундукахъ, и, какъ всякій, кому достается въ удѣлъ этотъ страшный даръ, онъ началъ становиться скучнымъ, недоступнымъ ко всему, равнодушнымъ ко всему, кромѣ золота, безпричиннымъ скрягой, безпутнымъ собира-телемъ, и уже готовъ былъ обратиться въ одно изъ тѣхъ странныхъ существъ, которыхъ много попадаетъ въ нашѣмъ безчувственномъ свѣтѣ, на которыхъ съ ужасомъ глядѣть исполненный жизни и сердца челоуѣкъ, которому кажутся они движущимися каменными гробами, съ мертвецомъ внутри, вмѣсто сердца. Но одно событіе сильно потрясло и разбудило весь его жизненный составъ.

Въ одинъ день увидѣлъ онъ на столѣ своемъ записку, въ которой академія художествъ просила его, какъ достойнаго ея члена, пріѣхать дать сужденіе свое о новомъ, присланномъ изъ Италіи, произведеніи усовершенствовавшагося тамъ русскаго художника. Этотъ художникъ былъ одинъ изъ прежнихъ его товарищей, который отъ раннихъ лѣтъ носилъ въ себѣ страсть къ искусству, съ пламенной душою труженика погрузился въ него всею душою своею, ото-

рвался отъ друзей, отъ родныхъ, отъ милыхъ привычекъ и помчался туда, гдѣ въ виду прекрасныхъ небесъ сплѣтъ величавый разсадникъ искусствъ, — въ тотъ чудный Римъ, при имени котораго такъ полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Тамъ, какъ отшельникъ, погрузился онъ въ трудъ и въ неразвлекаемыя ничѣмъ занятія. Ему не было до того дѣла, толковали ли о его характерѣ, о его неумѣнн обращаться съ людьми, о несоблюденіи свѣтскихъ приличій, объ униженіи, которое онъ причинялъ званію художника своимъ скуднымъ, нещегоольскимъ нарядомъ. Ему не было нужды, сердилась ли или нѣтъ на него его братья. Всѣмъ пренебрегъ онъ, все отдалъ искусству. Неутомимо посѣщать галлерей, по цѣлымъ часамъ заставался передъ произведеніями великихъ мастеровъ, ловя и преслѣдуя чудную кисть. Ничего онъ не оканчивалъ безъ того, чтобы не повѣрить себя нѣсколько разъ съ этими великими учителями и чтобы не прочесть въ ихъ созданіяхъ безмолвнаго и краснорѣчиваго себѣ совѣта. Онъ не входилъ въ шумныя бесѣды и споры; онъ не стоялъ ни за пуристовъ, ни противъ пуристовъ. Онъ равно всему отдавалъ должную ему часть, извлекая изъ всего только то, что было въ немъ прекрасно, и, наконецъ, оставилъ себѣ въ учителя одного божественнаго Рафаэля, — подобно, какъ великій поэтъ-художникъ, перечитавшій много всякихъ твореній, исполненныхъ многихъ прелестей и величавыхъ красотъ, оставлялъ, наконецъ, себѣ настояною книгой одну только Іліаду Гомера, открывъ, что въ ней все есть, чего хочешь, и нѣтъ ничего, что бы не отразилось уже здѣсь въ такомъ глубокое и великое совершенствѣ. И зато вынесъ онъ изъ своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши въ залу, Чартковъ нашелъ уже цѣлую огромную толпу посѣтителей, собравшихся передъ картиною. Глубочайшее безмолвіе, какое рѣдко бываетъ между многочисленными цѣнителями, на этотъ разъ царствовало всюду. Онъ поспѣшилъ принять значительную фізіогномію знатока и приблизился къ картинѣ; но, Боже, что онъ увидѣлъ!

Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невѣста, стояло предъ нимъ произведеніе художника. Скромно, божественно, невинно и просто, какъ геній, возносилось оно надъ всѣмъ. Казалось, небесныя фигуры, изумленные столькими устре-



мленными на нихъ взорами, стыдливо опустили прекрасныя рѣсницы. Съ чувствомъ невольнаго изумленія созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Все тутъ, казалось, соединилось вмѣстѣ: изученіе Рафаэля, отраженное въ высокомъ благородствѣ положеній, изученіе Корреджіа, дышавшее въ окончательномъ совершенствѣ кисти. Но вѣстительнѣй всего видна была сила созданія, уже заключенная въ душѣ самого художника. Послѣдній предметъ въ картинѣ былъ имъ проникнутъ; во всемъ постигнутъ законъ и внутренняя сила; вездѣ уловлена была эта плывущая округлость линий, заключенная въ природѣ, которую видитъ только одинъ глазъ художника-создателя и которая выходитъ углами у копѣиста. Видно было, какъ все, извлеченное изъ внѣшняго міра, художникъ заключилъ сперва себѣ въ душу и уже оттуда, изъ душевнаго родника, устремилъ его одной согласной, торжественной гнѣзью. И стало ясно даже непосвященнымъ, какая неизмѣримая пропасть существуетъ между созданіемъ и простой копіей съ природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объаты всѣ, вперившіе глаза на картину — ни шелеста, ни звука; а картина между тѣмъ ежеминутно казалась выше и выше: свѣтлѣй и чудеснѣй отдѣлялась ото всего и вся превратилась, наконецъ, въ одинъ мигъ, плодъ налетѣвшей съ небесъ на художника мысли, — мигъ, къ которому вся жизнь человѣческая есть одно только приготовленіе. Невольныя слезы готовы были покатиться по лицамъ посѣтителей, окружившихъ картину. Казалось, всѣ вкусы, всѣ дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какой-то безмолвный гимнъ божественному произведенію.

Неподвижно, съ отверстыми ртомъ, стоялъ Чартковъ передъ картиною; и, наконецъ, когда мало-по-малу посѣтителѣи и знатоки зашумѣли и начали разсуждать о достоинствѣ произведенія, и когда, наконецъ, обратились къ нему съ просьбою объявить свои мысли, онъ пришелъ къ себѣ; хотѣлъ принять равнодушный, обыкновенный видъ, хотѣлъ сказать обыкновенное, пошлое сужденіе зачерствѣлыхъ художниковъ, въ родѣ слѣдующаго: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта отъ художника; есть кое-что; видно, что хотѣлъ онъ выразить что-то; однакоже, что касается до главнаго...» и вслѣдъ за этимъ прибавить, разумѣется, та-

кія похвалы, отъ которыхъ бы не поздоровилось никакому художнику; хотѣлъ это сдѣлать, но рѣчь умерла на устахъ его, слезы и рыданія нестройно вырвались въ отвѣтъ, и онъ, какъ безумный, выбѣжалъ изъ залы.

Съ минуту неподвижный и безчувственный стоялъ онъ посреди своей великолѣпной мастерской. Весь составъ, вся жизнь его была разбужена въ одно мгновеніе, какъ будто молодость возвратилась къ нему, какъ будто потухшія искры таланта вспыхнули снова. Съ очей его вдругъ слетѣла повязка. Боже! и погубить такъ безжалостно лучшіе годы своей юности, истребить, погасить искру огня, можетъ-быть; теплившагося въ груди, можетъ-быть; развившагося бы теперь въ величіи и красотѣ, можетъ-быть, такъ же исторгнушаго бы слезы изумленія и благодарности! И погубить все это, погубить безъ всякой жалости! Казалось, какъ будто въ эту минуту разомъ и вдругъ ожили въ душѣ его тѣ напряженія и порывы, которые нѣкогда были ему знакомы. Онъ схватилъ кисть и приблизился къ холсту. Потъ усилія проступилъ на его лицѣ; весь обратился онъ въ одно желаніе и загорѣлся одною мыслью: ему хотѣлось изобразить отпаднаго ангела. Эта идея была болѣе всего согласна съ состояніемъ его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли сложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображеніе слишкомъ уже заключились въ одну мѣрку, и безсильный порывъ преступить границы и оковы, имъ самимъ на себя наброшенные, уже отзывался неправильностью и ошибкою. Онъ пренебрегъ утомительную, длинную лѣстницу постепенныхъ свѣдѣній и первыхъ основныхъ законовъ будущаго великаго. Досада его проникла. Онъ велѣлъ вынести прочь изъ своей мастерской всѣ послѣднія произведенія, всѣ безжизненные модныя картинки, всѣ портреты гусаровъ, дамъ и статскихъ совѣтниковъ; заперся одинъ въ своей комнатѣ, но велѣлъ никого выпускать, и весь погрузился въ работу. Какъ терпѣливый юноша, какъ ученикъ; сидѣлъ онъ за своимъ трудомъ. Но какъ безпощадно-неблагодарно было все то, что выходило изъ-подъ его кисти! На каждомъ шагу онъ былъ останавливаемъ незнаніемъ самыхъ первоначальныхъ стихій; простой незначашій механизмъ охлаждалъ весь порывъ и стоялъ неперескочимымъ порогомъ для воображенія. Кисть невольно обращалась къ затверженнымъ формамъ, руки складывались на одинъ за-

ученный манеръ, голова не смѣла сдѣлать необыкновеннаго поворота, даже самыя складки платья отзывались вытверженнымъ и не хотѣли повиноваться и драпироваться на незнакомомъ положеніи тѣла. И онъ чувствовалъ, онъ чувствовалъ и видѣлъ это самъ!

«Но точно ли былъ у меня талантъ?» сказалъ онъ наконецъ: «не обманулъ ли я?» И, произнеся эти слова, онъ подошелъ къ прежнимъ своимъ произведеніямъ, которые работали когда-то такъ чисто, такъ безкорыстно, тамъ, въ бѣдной лачужкѣ, на уединенномъ Васильевскомъ островѣ, вдали людей, изобилія и всякихъ прихотей. Онъ подошелъ теперь къ нимъ и сталъ внимательно разсматривать ихъ всѣ, и вмѣстѣ съ ними стала представать въ его памяти вся прежняя бѣдная жизнь его. «Да», проговорилъ онъ отчаянно: «у меня былъ талантъ! Вездѣ, на всемъ видны его признаки и слѣды...»

Онъ остановился и вдругъ затрясся всѣмъ тѣломъ: глаза его встрѣтились съ неподвижно-вперившимися на него глазами. Это былъ тотъ необыкновенный портретъ, который онъ купилъ на Щукиномъ дворѣ. Все время онъ былъ закрытъ, загроможденъ другими картинами и вѣсь вышелъ у него изъ мыслей. Теперь же, какъ нарочно, когда были вынесены всѣ модные портреты и картины, наполнявшіе мастерскую, онъ выглянулъ наверхъ вмѣстѣ съ прежними произведеніями его молодости. Какъ вспомнилъ онъ всю странную его исторію, какъ вспомнилъ, что нѣкоторымъ образомъ онъ, этотъ странный портретъ, былъ причиной его превращенья, что денежный кладъ, полученный имъ такимъ чудеснымъ образомъ, родилъ въ немъ всѣ суетныя побужденья, погубившія его талантъ,—почти бѣшенство готово было ворваться къ нему въ душу. Онъ въ ту-жъ минуту велѣлъ вынести прочь ненавистный портретъ. Но душевное волненіе оттого не умиралось: всѣ чувства и весь составъ были потрясены до дна, и онъ узналъ ту ужасную мѣку, которая, какъ поразительное исключеніе, является иногда въ природѣ, когда талантъ слабый силится выказаться въ превышающемъ его размѣрѣ и не можетъ выказаться,—ту мѣку, которая въ юности рождаетъ великое, но въ перешедшемъ за грань мечтаній обращается въ бесплодную жажду,—ту страшную мѣку, которая дѣлаетъ человека способнымъ на ужасныя злодѣянія. Имъ овладѣла ужасная

зависть, зависть до бѣшенства. Желчь проступала у него на лицѣ, когда онъ видѣлъ произведеніе, носившее печать таланта. Онъ скрежеталъ зубами и пожиралъ его взоромъ василиска. Въ душѣ его возродилось самое адское намѣреніе, какое когда-либо питалъ человѣкъ, и съ бѣшеною силою бросился онъ приводить его въ исполненіе. Онъ началъ скупать все лучшее, что только производило искусство. Купивши картину дорогою цѣною, осторожно приносить въ свою комнату и съ бѣшенствомъ тигра на нее кидался, рвалъ, разрывалъ ее, изрѣзывалъ въ куски и топталъ ногами, сопровождая смѣхомъ наслажденія. Безчисленные собранныя имъ богатства доставляли ему всѣ средства удовлетворять этому адскому желанію. Онъ развязалъ всѣ свои золотыя мѣшки и раскрылъ сундуки. Никогда ни одно чудовище невѣжества не истребило столько прекрасныхъ произведеній, сколько истребилъ этотъ свирѣпый мститель. На всѣхъ аукціонахъ, куда только показывался онъ, всякій заранѣе отчаивался въ приобрѣтеніи художественнаго созданія. Казалось, какъ будто разгнѣванное небо нарочно послало въ міръ этотъ ужасный бичъ, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колоритъ на него: вѣчная желчь присутствовала на лицѣ его. Хула на міръ и отрицаніе изображалось само собою въ чертахъ его. Казалось, въ немъ олицетворился тотъ страшный демонъ, котораго идеально изобразилъ Пушкинъ. Кромѣ ядовитаго слова и вѣчнаго порицанья, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпін, попался онъ на улицѣ, и всѣ, даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избѣгнуть такой встрѣчи, говоря, что она достаточна отравить потомъ весь день.

Къ счастью міра и искусствъ, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размѣръ страстей былъ слишкомъ неправиленъ и колоссаленъ для слабыхъ силъ ея. Припадки бѣшенства и безумія начали оказываться чаще, и, наконецъ, все это обратилось въ самую ужасную болѣзнь. Жестокая горячка, соединенная съ самою быстрою чахоткою, овладѣла имъ такъ свирѣпо, что въ три дня оставалась отъ него одна тѣнь только. Къ этому присоединились всѣ признаки безнадежнаго сумасшествія. Иногда нѣсколько человѣкъ не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновен-

наго портрета,—и тогда бѣшенство его было ужасно. Всѣ люди, окружавшіе его постель, казались ему ужасными портретами. Портретъ двоился, четверился въ его глазахъ; всѣ стѣны казались увѣшаны портретами, вперившими въ него свои неподвижные, живые глаза; страшные портреты глядѣли съ потолка, съ полу; комната расширялась и продолжалась безконечно, чтобы болѣе вмѣстить этихъ неподвижныхъ глазъ. Докторъ, принявшій на себя обязанность его пользоваться и уже нѣсколько наслышавшійся о странной его исторіи, старался всѣми силами отыскать тайное отношеніе между грезившимися ему привидѣніями и происшествіями его жизни, но ничего не могъ успѣть. Больной ничего не понималъ и не чувствовалъ, кромѣ своихъ терзаній, и издавалъ одни ужасные вопли и непонятныя рѣчи. Наконецъ, жизнь его прервалась въ послѣднемъ, уже безгласномъ порывѣ страданія. Трупъ его былъ страшенъ. Ничего тоже не могли найти отъ огромныхъ его богатствъ; но, увидѣвши изрѣзанные куски тѣхъ высокихъ произведеній искусства, которыхъ цѣна превышала милліоны, цѣнили ужасное ихъ употребленіе.

## Часть II.

Множество каретъ, дрожекъ и колясокъ стояло передъ подъѣздомъ дома, въ которомъ производилась аукціонная продажа вещей одного изъ тѣхъ богатыхъ любителей искусствъ, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные въ зефиры и амурь, невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого милліоны, накопленные ихъ основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Такихъ меценатовъ, какъ извѣстно, теперь уже нѣтъ, и нашъ XIX-й вѣкъ давно уже приобрѣлъ скучную физиогномію банкира, наслаждающагося своими милліонами только въ видѣ цифръ, выставляемыхъ на бумагѣ. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпою посѣтителей, налетѣвшихъ, какъ хищныя птицы, на непрібранный тѣло. Тутъ была цѣлая флотилія русскихъ купцовъ изъ Гостиннаго двора и даже толкучаго рынка, въ синихъ нѣмецкихъ сюртукахъ. Видъ ихъ и выраженіе лицъ были здѣсь какъ-то тверже, волюнѣе и не означались той приторной услужливостью, которая такъ видна въ русскомъ

купцы, когда онъ у себя въ лавкѣ передъ покупщикомъ. Тутъ они вовсе не чинились, несмотря на то, что въ этой же залѣ находилось множество тѣхъ аристократовъ, передъ которыми они въ другомъ мѣстѣ готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здѣсь они были совершенно развязны, шупали безъ церемоніи книги и картины, желая узнать доброту товара, и смѣло перебивали цѣну, набавляемую графами-знатоками. Здѣсь были многіе необходимые посѣтители аукціоновъ, поставившіе каждый день бывать на немъ вмѣсто завтрака; аристократы-знатоки, почитавшіе обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцію и не находившіе другого занятія отъ 12 до 1 часа; наконецъ, тѣ благородные господа, которыхъ платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно безъ всякой корыстолюбивой цѣли, но единственно, чтобы посмотреть, чѣмъ что кончится, кто будетъ давать больше, кто меньше, кто кого перебьетъ, и за кѣмъ что останется. Множество картинъ было разбросано совершенно безъ всякаго толку; съ ними были перемѣшаны и мебели, и книги съ вензелями прежняго владѣтеля, можетъ-быть, не имѣвшаго вовсе похвальнаго любопытства въ нихъ заглядывать. Китайскія вазы, мраморныя доски для столовъ, новыя и старыя мебели съ выгнутыми линіями, съ грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченныя и безъ позолоты люстры, кенкеты,—все было навалено и все не въ такомъ порядкѣ, какъ въ магазинахъ. Все представляло какой-то хаосъ искусствъ. Вообще, ощущаемое нами чувство при видѣ аукціона страшно: въ немъ все отзывается чѣмъ-то похожимъ на погребальную процессію. Залъ, въ которомъ онъ производится, всегда какъ-то мраченъ; окна, загроможденные мебелью и картинами, скупо изливаютъ свѣтъ; безмолвіе, разлитое на лицахъ, и погребальный голосъ аукціониста, постукивающего молоткомъ и отпѣвающего панихиду бѣднымъ, такъ странно встрѣтившимся здѣсь искусствамъ,—все это, кажется, усиливаетъ еще болѣе странную непріятность впечатлѣнія.

Аукціонъ, казалось, былъ въ самомъ разгарѣ. Цѣлая толпа порядочныхъ людей, сдвинувшись вмѣстѣ, хлопотала о чемъ-то наперерывъ. Со всѣхъ сторонъ раздававшіяся слова: «рубль, рубль, рубль», не давали времени аукціонисту повторять надбавляемую цѣну, которая уже возросла

вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всѣхъ, имѣвшихъ сколько-нибудь понятія въ живописи. Высокая кисть художника выказывалась въ немъ очевидно. Портретъ, повидимому, уже нѣсколько разъ былъ реставрированъ и поновленъ, и представлялъ смуглыя черты какого-то азіатца въ широкомъ платьѣ, съ необыкновеннымъ, страннымъ выраженьемъ въ лицѣ; но болѣе всего обступившіе были поражены необыкновенной живостью глазъ. Чѣмъ болѣе всматривались въ нихъ, тѣмъ болѣе они, казалось, устремлялись каждому внутрь. Эта странность, этотъ необыкновенный фокусъ художника заняли вниманье почти всѣхъ. Много уже изъ состязавшихся о немъ отступились, потому что цѣну набили неимовѣрную. Остались только два извѣстные аристократа, любители живописи, не хотѣвшіе ни за что отказаться отъ такого приобрѣтенія. Они горячились и набили бы, вѣроятно, цѣну до невозможности, если бы вдругъ одинъ изъ тутъ же разсматривавшихъ не произнесъ: «Позвольте мнѣ прекратить на время вашъ споръ: я, можетъ-быть, болѣе, чѣмъ всякій другой, имѣю право на этотъ портретъ».

Слова эти вмигъ обратили на него вниманіе всѣхъ. Это былъ стройный человѣкъ, лѣтъ тридцати пяти, съ длинными черными кудрями. Пріятное лицо, исполненное какой-то свѣтлой беззаботности, показывало душу, чуждую всѣхъ томящихъ свѣтскихъ потрясеній; въ нарядѣ его не было никакихъ притязаній на моду: все показывало въ немъ артиста. Это былъ, точно, художникъ Б., знаемый лично многими изъ присутствовавшихъ.

«Какъ ни странны вамъ покажутся слова мои»,—продолжалъ онъ, видя устремившееся на себя всеобщее вниманіе,—«но, если вы рѣшитесь выслушать небольшую исторію, можетъ-быть, вы увидите, что я былъ въ правѣ произнести ихъ. Все меня увѣряетъ, что портретъ есть тотъ самый, котораго я ищу».

Весьма естественное любопытство загорѣлось почти на лицахъ всѣхъ, и самъ аукціонистъ, разинувъ ротъ, остановился съ поднятымъ въ рукѣ молоткомъ, приготовляясь слушать. Въ началѣ разсказа многіе обращались невольно глазами къ портрету, но потомъ всѣ вперились въ одного раз-

сказчика, по мѣрѣ того, какъ разсказать его становился занимательнѣй.

«Вамъ извѣстна та часть города, которую называютъ Коломною» (такъ онъ началъ). «Тутъ все не похоже на другія части Петербурга: тутъ не столица и не провинція; кажется, слышишь, перейдя въ коломенскія улицы, какъ оставляютъ тебя всякія молодыя желанія и порывы. Сюда не заходитъ будущее, здѣсь все тишина и отставка,—все, что ослѣло отъ столичнаго движенія. Сюда переѣзжаютъ на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имѣющіе пріятное знакомство съ сенатомъ и потому осудившіе себя здѣсь почти на всю жизнь; выслужившіяся кухарки, толкающіяся цѣлый день на рынкахъ, болтающія вздоръ съ мужикомъ въ мелочной лавкѣ и забирающія каждый день на пять копѣекъ кофе да на четыре сахару, и, наконецъ, весь тотъ разрядъ людей, который можно назвать однимъ словомъ *пепельный*, — людей, которые съ своимъ платьемъ, лицомъ, волосами, глазами имѣютъ какую-то мутную, пепельную наружность, какъ день, когда нѣтъ на небѣ ни буря, ни солнца, а бываетъ, просто, ни то, ни сѣ: сѣется туманъ и отнимаетъ всякую рѣзкость у предметовъ. Сюда можно причислить отставныхъ театральныхъ капельдинеровъ, отставныхъ титулярныхъ совѣтниковъ, отставныхъ питомцевъ Марса съ выколотымъ глазомъ и раздутою губою. Эти люди вовсе безстрастны: идутъ, ни на что не обращая глазъ; молчатъ, ни о чемъ не думая. Въ комнатѣ ихъ не много добра, иногда просто штофъ чистой русской водки, которую они однообразно сосутъ весь день безъ всякаго сильнаго прилива къ головѣ, возбуждаемаго сильнымъ приемомъ, какой обыкновенно любитъ задавать себѣ по воскреснымъ днямъ молодой нѣмецкій ремесленникъ, этотъ студентъ Мѣщанской улицы, одинъ владѣющій всѣмъ тротуаромъ, когда время перешло за двѣнадцать часовъ ночи.

«Жизнь въ Коломнѣ страхъ уединенна: рѣдко покажется карета, кромѣ развѣ той, въ которой ѣздятъ актеры, которая громомъ, звономъ и бряканьемъ своимъ одна смущаетъ всеобщую тишину. Тутъ все пѣшеходы; извозчикъ весьма часто безъ сѣдока плетется, таща сѣно для бородатой лошадины своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей въ мѣсяцъ, даже съ кофеемъ поутру. Вдовы, получающія пенсію, тутъ самыя аристократическія фамиліи; онѣ ве-



дутъ себя хорошо, метутъ чисто свою комнату, толкуютъ съ пріятельницами о дороговизнѣ говядины и капусты; при нихъ часто бываетъ молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стѣнные часы съ печально-постукивающимъ маятникомъ. Потомъ слѣдуютъ актеры, которымъ жалованье не позволяетъ выѣхать изъ Коломны, народъ свободный, какъ всѣ артисты, живущіе для наслажденія. Они, сидя въ халатахъ, чинятъ пистолеть, клеятъ изъ картона всякія вещицы, полезные для дома, играютъ съ пришедшимъ пріятелемъ въ шашки и карты, и такъ проводятъ утро, дѣлая почти то же ввечеру, съ присоединеніемъ кое-когда пунша. Послѣ этихъ тузовъ и аристократовъ Коломны слѣдуетъ необыкновенная дробь и мелочь. Ихъ такъ же трудно поименовать, какъ исчислить то множество насѣкомыхъ, которое зарождается въ старомъ уксусѣ. Тутъ есть старухи, которыя молятся; старухи, которыя пьянствуютъ; старухи, которыя и молятся, и пьянствуютъ вмѣстѣ; старухи, которыя перебиваются непостижимыми средствами: какъ муравьи таскаютъ съ собою старое тряпье и бѣлье отъ Калинкина моста до толкучаго рынка, съ тѣмъ, чтобы продать его тамъ за пятнадцать копѣекъ; словомъ, чисто самый несчастный осадокъ человѣчества, которому бы ни одинъ благотѣльный политическій экономъ не нашелъ средствъ улучшить состояніе.

«Я для того привелъ ихъ, чтобы показать вамъ, какъ часто этотъ народъ находится въ необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибѣгать къ займамъ, и тогда поселяются между ними особаго рода ростовщики, снабжающіе небольшими суммами подъ заклады и за большіе проценты. Эти небольшіе ростовщики бываютъ въ нѣсколько разъ безчувственнѣй всякихъ большихъ, потому что возникаютъ среди бѣдности и ярко выказываемыхъ нищенскихъ лохмотьевъ, которыхъ не видитъ богатый ростовщикъ, имѣющій дѣло только съ пріѣзжающими въ каретахъ. И потому уже слишкомъ рано умираетъ въ душахъ ихъ всякое чувство человѣчества. Между такими ростовщиками быть одинъ... но не мѣшаетъ вамъ сказать, что происшествіе, о которомъ я принялся рассказывать, относится къ прошедшему вѣку, именно къ царствованію покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами

понять, что самый видъ Коломны и жизнь внутри ея должны были значительно измѣниться. Итакъ, между ростовщиками былъ одинъ — существо во всѣхъ отношеніяхъ необыкновенное, поселившееся уже давно въ этой части города. Онъ ходилъ въ широкомъ азіатскомъ нарядѣ; темная краска лица указывала на южное его происхождение; но какой именно былъ онъ націи—индѣецъ, грекъ, персіянинъ—объ этомъ никто не могъ сказать навѣрно. Высокій, почти необыкновенный ростъ, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо-страшный цвѣтъ его, большіе, необыкновеннаго огня глаза, нависнушія густыя брови отличали его сильно и рѣзко отъ всѣхъ пепельныхъ жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочіе маленькіе деревянные домики. Это было каменное строеніе въ родѣ тѣхъ, которыя когда-то настроили вдоволь генуэзскіе купцы, съ неправильными, неравной величины окнами, съ желѣзными ставнями и засовами. Этотъ ростовщикъ отличался отъ другихъ ростовщиковъ уже тѣмъ, что могъ снабдить какую угодно суммою всѣхъ, начиная отъ нищей-старухи до расточительнаго придворнаго вельможи. Предъ домомъ его показывались часто самыя блестящіе экипажи, изъ оконъ которыхъ иногда глядѣла голова роскошной свѣтской дамы. Молва, по обыкновенію, разнесла, что желѣзные сундуки его полны безъ счету денегъ, драгоценностей, брильянтовъ и всякихъ залоговъ, но что, однакоже, онъ вовсе не имѣлъ той корысти, какая свойственна другимъ ростовщикамъ. Онъ давалъ деньги охотно, распредѣляя, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то странными ариметическими выкладками заставлялъ ихъ восходить до непомянутыхъ процентовъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, говорила молва. Но что страннѣе всего и что не могло не поразить многихъ,—это была странная судьба всѣхъ тѣхъ, которые получали отъ него деньги; всѣ они оканчивали жизнь несчастнымъ образомъ. Было ли это просто людское мнѣніе, нелѣпыя суевѣрные толки, или съ умысломъ распущенные слухи—это осталось неизвѣстно. Но нѣсколько примѣровъ, случившихся въ непродолжительное время предъ глазами всѣхъ, были живы и разительны.

«Изъ среды тогдашняго аристократства скоро обратилъ на себя глаза юноша лучшей фамиліи, отличившійся уже въ молодыхъ лѣтахъ на государственномъ поприщѣ, жаркій

почтитель всего истиннаго, возвышеннаго, ревнитель всего, что породило искусство и умъ человѣка, пророчившій въ себѣ мецената. Скоро онъ былъ достойно отличенъ самой государыней, вѣрившей ему значительное мѣсто, совершенно согласное съ собственными его требованіями, — мѣсто, гдѣ онъ могъ много произвести для наукъ и вообще для добра. Молодой вельможа окружилъ себя художниками, поетами, учеными. Ему хотѣлось всему дать работу, все опирять. Онъ предпринялъ на собственный счетъ множество полезныхъ изданій, раздавалъ множество заказовъ, объявилъ поощрительныя призы, издержалъ на это кучи денегъ и, наконецъ, разстроился. Но, полный великодушнаго движенія, онъ не хотѣлъ отстать отъ своего дѣла, искалъ вездѣ занять и, наконецъ, обратился къ извѣстному ростовщику. Сдѣлавши значительный заемъ у него, этотъ человѣкъ въ непродолжительное время измѣнился совершенно: сталъ гонителемъ, преслѣдователемъ развивающагося ума и таланта. Во всѣхъ сочиненіяхъ сталъ видѣть дурную сторону, толковать криво всякое слово. Тогда на бѣду случилась французская революція. Это послужило ему вдругъ орудіемъ для всѣхъ возможныхъ гадостей. Онъ сталъ видѣть во всемъ какое-то революціонное направленіе, во всемъ ему чудились намеки. Онъ сдѣлался подозрительнымъ до такой степени, что началъ, наконецъ, подозрѣвать самого себя, сталъ считать ужасныя, несправедливыя доносы, надѣлать тѣмъ несчастныхъ. Само собою разумѣется, что такіе поступки не могли не достигнуть, наконецъ, престола. Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающаго вѣнценосцевъ, произнесла слова, которыя хотя не могли перейти къ намъ во всей точности, но глубокій смыслъ ихъ впечатлѣлся въ сердцахъ многихъ. Государыня замѣтила, что не подъ монархическимъ правленіемъ угнетаются высокія, благородныя движенія души, не тамъ презираются и преслѣдуются творенія ума, поэзіи и художества; что, напротивъ, одни монархи бывали ихъ покровителями; что Шекспіры, Мольеры процвѣтали подъ ихъ великодушною запитой. между тѣмъ, какъ Дантъ не могъ найти угла въ своей республиканской родинѣ; что истинные гении возникаютъ во время блеска и могущества государей и государствъ, а не во время безобразныхъ политическихъ явленій и терроризмовъ республиканскихъ, которые доселѣ не

подарили міру ни одного поэта; что нужно отличать поэтовъ-художниковъ, ибо одинъ только миръ и прекрасную тишину низводятъ они въ душу, а не волненіе и ропотъ; что ученые, поэты и всѣ производители искусствъ суть перлы и брильянты въ императорской коронѣ: ими красуется и получаетъ еще большій блескъ эпоха великаго государя. Словомъ, государыня, произнесшая эти слова, была въ ту минуту божественно-прекрасна. Я помню, что старики не могли объ этомъ говорить безъ слезъ. Въ дѣлѣ всѣ приняли участіе. Къ чести нашей народной гордости надобно замѣтить, что въ русскомъ сердцѣ всегда обитаетъ прекрасное чувство взять сторону угнетеннаго. Обманувшій довѣренность вельможа былъ наказанъ примѣрно и отставленъ отъ мѣста. Но наказаніе гораздо ужаснѣйшее читалъ онъ на лицахъ своихъ соотечественниковъ: это было рѣшительное и всеобщее презрѣніе. Нельзя разсказать, какъ страдала тщеславная душа: гордость, обманутое честолюбіе, разрушившіяся надежды—все соединилось въѣстѣ, и въ припадкахъ страшнаго безумія и бѣшенства прервалась его жизнь.

«Другой разительный примѣръ произошелъ тоже въ виду всѣхъ: изъ красавицъ, которыми не бѣдна была тогда наша сѣверная столица, одна одержала рѣшительное первенство надъ всѣми. Это было какое-то чудное сліяніе нашей сѣверной красоты съ красотой полудня — брильянтъ, какой попадается на свѣтѣ рѣдко. Отецъ мой признавался, что никогда онъ не видывалъ во всю жизнь свою ничего подобнаго. Все, казалось, въ ней соединилось: богатство, умъ и душевная прелесть. Искателей была толпа и въ числѣ ихъ замѣчательнѣе всѣхъ былъ князь Р., благороднѣйшій, лучшій изъ всѣхъ молодыхъ людей, прекраснѣйшій и лицомъ, и рыцарскими, великодушными порывами, высокій идеалъ романовъ и женщинъ. Грандисонъ во всѣхъ отношеніяхъ. Князь Р. былъ влюбленъ страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему отвѣтомъ. Но родственникамъ показалась партія неравною. Родовыя вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилія была въ опалѣ, и плохое положеніе дѣлъ его было извѣстно всѣмъ. Вдругъ князь оставляетъ на время столицу, будто бы съ тѣмъ, чтобы поправить свои дѣла, и, спустя непродолжительное время, является окруженный пышностью и блескомъ немомвѣрнымъ. Блистательные балы и праздники дѣлають его

извѣстнымъ двору. Отецъ красавицы становится благосклоннымъ, и въ городѣ разыгрывается интереснѣйшая свадьба. Откуда произошла такая перемѣна и неслыханное богатство жениха, этого не могъ навѣрно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что онъ вошелъ въ какія-то условія съ непостижимымъ ростовщикомъ и сдѣлалъ у него заемъ. Какъ бы то ни было, но свадьба заняла весь городъ; и женихъ, и невѣста были предметомъ общей зависти. Всѣмъ была извѣстна ихъ жаркая, постоянная любовь, долгія томленія, претерпѣнныя съ обѣихъ сторонъ, высокія достоинства обоихъ. Пламенные женщины начертывали заранѣе то райское блаженство, которымъ будутъ наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. Въ одинъ годъ произошла страшная перемѣна въ мужъ. Ядомъ подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился его дотошъ благородный и прекрасный характеръ. Онъ сталъ тираномъ и мучителемъ жены своей, и, чего бы никто не могъ предвидѣть, прибѣгнувъ къ самымъ безчеловѣчнымъ поступкамъ, даже побоямъ. Въ одинъ годъ никто не могъ узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорныхъ поклонниковъ. Наконецъ, не въ силахъ будучи выносить долѣе тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводѣ. Мужъ пришелъ въ бѣшенство при одной мысли о томъ. Въ первомъ движеніи неистовства, ворвался онъ къ ней въ комнату съ ножомъ и, безъ сомнѣнія, закололъ бы ее тутъ же, если бы его не схватили и не удержали. Въ порывѣ иступленія и отчаянія, онъ обратилъ ножъ на себя — и въ ужаснѣйшихъ мучкахъ окончилъ жизнь.

«Кромѣ этихъ двухъ примѣровъ, совершившихся въ глазахъ всего общества, рассказывали множество случившихся въ нившихъ классахъ, которые почти всѣ имѣли ужасный конецъ. Тамъ честный, трезвый челоѣкъ сдѣлался пьяницей; тамъ купеческій приказчикъ обворовывалъ своего хозяина; тамъ извозчикъ, возившій нѣсколько лѣтъ честно, за грошъ зарѣзалъ сѣдока. Нельзя, чтобы такія происшествія, рассказываемыя иногда не безъ прибавленій, не навели родъ какого-то невольнаго ужаса на скромныхъ обитателей Коломны. Никто не сомнѣвался о присутствіи нечистой силы въ этомъ челоѣкѣ. Говорили, что онъ предлагать такія условія, отъ которыхъ дыбомъ подымались волосы и кото-

Рыхъ никогда потомъ не посмѣлъ несчастный передавать Другому; что деньги его имѣютъ прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носятъ какіе-то странные значки... словомъ, много было о немъ всякихъ нелѣпыхъ толковъ. И замѣчательно то, что все это коломенское населеніе, весь этотъ міръ бѣдныхъ старухъ, мелкихъ чиновниковъ, мелкихъ артистовъ и, словомъ, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпѣть и выносить послѣднюю крайность, чѣмъ обратиться къ страшному ростовщику; находили даже околѣвшихъ отъ голода старухъ, которыя лучше соглашались умертвить свое тѣло, чѣмъ погубить душу. Встрѣчаясь съ нимъ на улицѣ, невольно чувствовали страхъ. Пѣшеходъ осторожно пятился и долго еще озирался послѣ того назадъ, слѣдя пропадавшую вдаль его непомѣрно высокую фигуру. Въ одномъ уже образѣ было столько необыкновеннаго, что всякаго заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существованіе. Эти сильныя черты, врѣзанныя такъ глубоко, какъ не случается у человѣка; этотъ горячій, бронзовый цвѣтъ лица; эта непомѣрная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самыя широкія складки его азіатской одежды,—все, казалось, какъ будто говорило, что предъ страстями, двигавшимися въ этомъ тѣлѣ, были блѣдны всѣ страсти другихъ людей. Отецъ мой всякій разъ останавливался неподвижно, когда встрѣчалъ его, и всякій разъ не могъ удержаться, чтобы не произнести: «Дьяволъ, совершенный дьяволъ!» Но надобно васъ поскорѣе познакомить съ моимъ отцомъ, который, между прочимъ, есть настоящій сюжетъ этой исторіи.

«Отецъ мой былъ человѣкъ замѣчательный во многихъ отношеніяхъ. Это былъ художникъ, какихъ мало,—одно изъ тѣхъ чудъ, которыхъ извергаетъ изъ непочатаго лона своего только одна Русь, художникъ-самоучка, отыскавшій самъ въ душѣ своей, безъ учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованія и шедшій, по причинамъ, можетъ-быть, неизвѣстнымъ ему самому, одной только указанной изъ души дорогою; одно изъ тѣхъ самородныхъ чудъ, которыхъ часто современники чествать обиднымъ словомъ «невѣжи», и которые, не охлаждаясь отъ охуленій и собственныхъ неудачъ, получаютъ только новыя рвенія и силы и уже далеко въ душѣ своей

уходить отъ тѣхъ произведеній, за которыя получили титуло невѣжи. Высокимъ внутреннимъ инстинктомъ почуялъ онъ присутствіе мысли въ каждомъ предметѣ; постигнуть самъ собой истинное значеніе слова: «историческая живопись»; постигнуть, почему простую головку, простой портретъ Рафаэля, Леонардо-да-Винчи, Тиціана, Корреджіо можно называть историческою живописью, и почему огромная картина историческаго содержанія все-таки будетъ *tableau de genre*, несмотря на всѣ притязанія художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убѣжденіе обратили кисть его къ христіанскимъ предметамъ, высшей и послѣдней ступени высокаго. У него не было честолюбія или раздражительности, столь неотлучной отъ характера многихъ художниковъ. Это былъ твердый характеръ, честный, прямой человѣкъ, даже грубый, покрытый снаружн нѣсколько черствой корою, не безъ нѣкоторой гордости въ душѣ, отзывавшійся о людяхъ вмѣстѣ и снисходительно, и рѣзко. «Что на нихъ глядѣть?» обыкновенно говорилъ онъ: «вѣдь я не для нихъ работаю. Не въ гостиную повесу я мои картины. Кто пойметъ меня—поблагодаритъ; не пойметъ—все-таки помолится Богу. Свѣтскаго человѣка нечего винить, что онъ не смыслитъ живописи: зато онъ смыслитъ въ картахъ, знаетъ толкъ въ хорошемъ винѣ, въ лошадахъ—зачѣмъ знать больше барину? Еще, пожалуй, какъ попробуетъ того да другого, да пойдетъ умничать, тогда и житья отъ него не будетъ! Всякому свое, всякій пусть занимается своимъ. По мнѣ, ужъ лучше тотъ человѣкъ, который говорить прямо, что онъ не знаетъ толку, чѣмъ тотъ, который лицемѣритъ: говоритъ, будто бы знаетъ то, чего не знаетъ, и только гадить да портить». Онъ работалъ за небольшую плату, то-есть, за плату, которая была нужна ему только для поддержанія семейства и для доставленія возможности трудиться. Кромѣ того, онъ ни въ какомъ случаѣ не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бѣдному художнику; вѣровалъ простой, благочестивой вѣрою предковъ, и оттого, можетъ-быть, на изображенныхъ имъ лицахъ являлось само собою то высокое выраженіе, до котораго не могли докопаться блестящіе таланты. Наконецъ, постоянствомъ своего труда и неуклонностью начертаннаго себѣ пути онъ сталъ даже пріобрѣтать уваженіе со стороны тѣхъ, которые честили его невѣжей и доморощеннымъ само-

учкой. Ему давали безпрестанные заказы въ церкви—и работа у него не переводилась. Одна изъ работъ заняла его сильно. Не помню уже, въ чемъ именно состоялъ сюжетъ ея, знаю только то—на картинѣ нужно было помѣстить духа тѣмы. Долго думалъ онъ надъ тѣмъ, какой дать ему образъ: ему хотѣлось осуществить въ лицѣ его все тяжелое, гнетущее человѣка. При такихъ размышленіяхъ иногда преносился въ головѣ его образъ таинственнаго ростовщика, и онъ думалъ невольно: «Вотъ бы съ кого мнѣ слѣдовало написать дьявола!» Судите же объ его изумленіи, когда одинъ разъ, работая въ своей мастерской, услышалъ онъ стукъ въ дверь, и вслѣдъ за тѣмъ прямо вошелъ къ нему ужасный ростовщикъ. Онъ не могъ не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробѣжала невольно по его тѣлу.

«Ты художникъ?» сказалъ онъ безъ всякихъ церемоній моему отцу.

«Художникъ», сказалъ отецъ въ недоумѣніи, ожидая, что будетъ далѣе.

«Хорошо. Нарисуй съ меня портретъ. Я, можетъ-быть, скоро умру, дѣтей у меня нѣтъ; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портретъ, чтобы былъ совершенно какъ живой?»

«Отецъ мой подумалъ: «Чего лучше? онъ самъ просится въ дьяволы ко мнѣ на картину». Далъ слово. Они уговорились во времени и цѣнѣ, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отецъ мой уже былъ у него. Высокій дворъ, собаки, желѣзныя двери и затворы, дугообразныя окна, сундуки, покрытые странными коврами и, наконецъ, самъ необыкновенный хозяинъ, сѣвшій неподвижно передъ нимъ,—все это произвело на него странное впечатлѣніе. Окна, какъ нарочно, были заставлены и загромождены снизу такъ, что давали свѣтъ только съ одной верхушки. «Чортъ побери, какъ теперь хорошо освѣтилось его лицо!» сказалъ онъ про себя, и принялся жадно писать, какъ бы опасаясь, чтобы какъ-нибудь не исчезло счастливое освѣщеніе. «Экая сила!» повторялъ онъ про себя: «если я хотя вполонину изображу его такъ, какъ онъ есть теперь, онъ убьетъ всѣхъ моихъ святыхъ и ангеловъ: они поблѣднѣютъ предъ нимъ. Какая дьявольская сила! онъ у меня, просто, выкоптить изъ полотна, если только хоть немного буду вѣренъ



натурѣ. Какія необыкновенныя черты!» повторялъ онъ безпрестанно, усугубляя рвеніе, и уже видѣлъ самъ, какъ стали переходить на полотно нѣкоторыя черты. Но чѣмъ болѣе онъ приближался къ нимъ, тѣмъ болѣе чувствовалъ какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себѣ самому. Однакоже, несмотря на то, онъ положилъ себѣ преслѣдовать съ буквальною точностью всякую незамѣтную черту и выраженіе. Прежде всего занялся онъ отдѣлкою глазъ. Въ этихъ глазахъ столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать ихъ такъ, какъ были въ натурѣ. Однакоже, во что бы то ни стало, онъ рѣшился доискаться въ нихъ послѣдней мелкой черты и оттѣнка, постигнуть ихъ тайну... Но какъ только началъ онъ входить и углубляться въ нихъ кистью, въ душѣ его возродилось такое странное отвращеніе, такая непонятная тягость, что онъ долженъ былъ на нѣсколько времени бросить кисть и потомъ приниматься вновь. Наконецъ, уже не могъ онъ болѣе выносить: онъ чувствовалъ, что эти глаза вонзились ему въ душу и производили въ ней тревогу непостижимую. На другой, на третій день это было еще сильнѣе. Ему сдѣлалось страшно. Онъ бросилъ кисть и сказалъ наотрѣзъ, что не можетъ болѣе писать съ него. Надобно было видѣть, какъ измѣнился при этихъ словахъ страшный ростовщикъ. Онъ бросился къ нему въ ноги и молил кончить портретъ, говоря, что отъ этого зависитъ судьба его и существованіе въ мірѣ; что уже онъ тронулъ своею кистью его живыя черты; что если онъ передастъ ихъ вѣрно, жизнь его сверхъестественною силою удержится въ портретѣ; что онъ чрезъ то не умретъ совершенно; что ему нужно присутствовать въ мірѣ. Отецъ мой почувствовалъ ужасъ отъ такихъ словъ: они ему показались до того странными и страшными, что онъ бросилъ и кисти, и налитру; и бросился опрометью вонъ изъ комнаты.

«Мысль о томъ тревожила его весь день и всю ночь; а поутру онъ получилъ отъ ростовщика портретъ, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него въ услугахъ, объявившая тутъ же, что хозяинъ не хочетъ портрета, не даетъ за него ничего и присылаетъ назадъ. Вечеру того же дня узналъ онъ, что ростовщикъ умеръ и что собираются уже хоронить его по обрядамъ его религіи. Все это казалось ему неизъяснимо-

странно. А между тѣмъ съ этого времени оказалась въ характерѣ его оцутительная перемѣна: онъ чувствовалъ неспокойное, тревожное состояніе, которому самъ не могъ понять причины, и скоро сдѣлалъ онъ такой поступокъ, котораго бы никто не могъ отъ него ожидать. Съ нѣкотораго времени труды одного изъ учениковъ его начали привлекать вниманіе небольшого круга знатоковъ и любителей. Отецъ мой всегда видѣлъ въ немъ талантъ и оказывать ему за то свое особенное расположеніе. Вдругъ почувствовалъ онъ къ нему зависть. Всеобщее участіе и толки о немъ сдѣлались ему невыносимы. Наконецъ, къ довершенію досады, узнаетъ онъ, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нѣтъ, не дамъ же молокососу восторжествовать!» говорилъ онъ: «рано, братъ, вздумалъ стариковъ сажать въ грязь! Еще, слава Богу, есть у меня силы. Вотъ мы увидимъ, кто кого скорѣе посадить въ грязь». И прямодушный, чистый въ душѣ человѣкъ употребилъ интриги и происки, которыми дотошъ всегда гнушался; добился, наконецъ, того, что на картину объявленъ былъ конкурсъ и другіе художники могли войти также съ своими работами, постѣ чего заперся онъ въ свою комнату и съ жаромъ принялся за кисть. Казалось, всѣ свои силы, всего себя хотѣлъ онъ сюда собрать. И, точно, это вышло одно изъ лучшихъ его произведеній. Никто не сомнѣвался, чтобы не за нимъ осталось первенство. Картины были представлены, и всѣ прочія показались предъ нею, какъ ночь предъ днемъ. Какъ вдругъ одинъ изъ присутствовавшихъ членовъ, если не ошибаюсь, духовная особа, сдѣлалъ замѣчаніе, поразившее всѣхъ. «Въ картинѣ художника, точно, есть много таланта», сказалъ онъ: «но нѣтъ святости въ лицахъ; есть даже, напротивъ того, что-то демонское въ глазахъ, какъ будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Всѣ взглянули и не могли не убѣдиться въ истинѣ этихъ словъ. Отецъ мой бросился впередъ къ своей картинѣ, какъ бы съ тѣмъ, чтобы повѣрить самому такое обидное замѣчаніе, и съ ужасомъ увидѣлъ, что онъ всѣмъ почти фигурамъ придалъ глаза ростовщика. Они такъ глядѣли демонски-сокрушительно, что онъ самъ невольно вздрогнулъ. Картина была отвергнута, и онъ долженъ былъ, къ неописанной своей досадѣ, услышать, что первенство осталось за его

ученикомъ. Невозможно было описать того бѣшенства, съ которымъ онъ возвратился домой. Онъ чуть не прибилъ мать мою, разогналъ дѣтей, переломалъ кисти и мольбертъ, схватилъ со стѣны портретъ ростовщика, потребовалъ ножъ и велѣлъ разложить огонь въ каминѣ, намѣреваясь изрѣзать его въ куски и сжечь. На этомъ движеніи засталъ его вошедшій въ комнату пріятель, живописецъ, какъ и онъ, весельчакъ, всегда довольный собой, не заносившійся никакими отдаленными желаніями, работавшій весело все, что попадалось, и еще веселѣй того принимавшійся за обѣдъ и пирушку.

«Что ты дѣлаешь? что собираешься жечь?» сказалъ онъ и подошелъ къ портрету. «Помилуй, это одно изъ самыхъ лучшихъ твоихъ произведеній. Это ростовщикъ, который недавно умеръ; да это совершеннѣйшая вещь. Ты ему, просто, попалъ не въ бровь, а въ самые глаза залѣзь. Такъ въ жизнь никогда не глядѣли глаза, какъ они глядятъ у тебя».

«А вотъ я посмотрю, какъ они будутъ глядѣть въ огонь!» сказалъ отецъ, сдѣлавши движеніе швырнуть портретъ въ каминъ.

«Остановись, ради Бога!» сказалъ пріятель, удержавъ его: «отдай его ужъ лучше мнѣ, если онъ тебѣ до такой степени колетъ глазъ». Отецъ сначала упорствовалъ, наконецъ согласился, и весельчакъ, чрезвычайно довольный своимъ приобрѣтеніемъ, утащилъ портретъ съ собою.

«По уходѣ его, отецъ мой вдругъ почувствовалъ себя спокойнѣе. Точно, какъ будто бы вмѣстѣ съ портретомъ свалилась тяжесть съ его души. Онъ самъ изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемѣнѣ своего характера. Разсмотрѣвши поступокъ свой, онъ опечалился душою и, не безъ внутренней скорби, произнесъ: «Нѣтъ, это Богъ наказалъ меня; картина моя подѣломъ понесла посрамленіе. Она была замышлена съ тѣмъ, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться въ ней». Онъ немедленно отправился искать бывшаго ученика своего, обнялъ его крѣпко, просилъ у него прощенья и старался, сколько могъ, загладить предъ нимъ вину свою. Работы его вновь потекли попрежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лицѣ. Онъ больше молился, чаще бывалъ молчаливъ и не выражался такъ рѣзко о лю-

дахъ; самая грубая наружность его характера какъ-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще болѣе потрясло его. Онъ уже давно не видался съ товарищемъ своимъ, выпросившимъ у него портретъ. Уже собирался было итти его провѣдать, какъ вдругъ онъ самъ вошелъ неожиданно въ его комнату. Послѣ нѣсколькихъ словъ и вопросовъ съ обѣихъ сторонъ, онъ сказалъ: «Ну, братъ, не даромъ ты хотѣлъ сжечь портретъ. Чортъ его поберетъ, въ немъ есть что-то страшное... Я вѣдьмамъ не вѣрю, но, воля твоя, въ немъ сидитъ нечистая сила...

«Какъ?» сказалъ отецъ мой.

«А такъ, что съ тѣхъ поръ, какъ повѣсилъ я къ себѣ его въ комнату, почувствовалъ тоску такую... точно, какъ будто бы хотѣлъ кого-то зарѣзать. Въ жизнь мою я не зналъ, что такое бессонница, а теперь испытать не только бессонницу, но сны такіе... я и самъ не умѣю сказать, сны ли это, или что другое: точно домовый тебя душитъ и все мерещится проклятый старикъ. Однимъ словомъ, не могу разсказать тебѣ моего состоянія. Подобнаго со мной никогда не бывало. Я бродилъ, какъ шальной, всѣ эти дни: чувствовалъ какую-то боязнь, непріятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселаго, искренняго слова; точно, какъ будто возлѣ меня сидитъ шпіонъ какой-нибудь. И только съ тѣхъ поръ, какъ отдать портретъ племяннику, который напросился на него, почувствовалъ, что съ меня вдругъ будто какой-то камень свалился съ плечъ: вдругъ почувствовалъ себя веселымъ, какъ видишь. Ну, братъ, сострапалъ ты чорта!»

«Во время этого разсказа отецъ мой слушалъ его съ неразвлекаемымъ вниманіемъ и, наконецъ, спросилъ: «И портретъ теперь у твоего племянника?»

«Куда у племянника! не выдержалъ!» сказалъ весельчакъ: «знать, душа самого ростовщика переселилась въ него: онъ выскакиваетъ изъ рамъ, расхаживаетъ по комнатамъ, и то, что разсказываетъ племянникъ, просто уму непонятно. И бы принять его за сумасшедшаго, если бы отчасти не испытать самъ. Онъ его продалъ какому-то собирателю картинъ, да и тотъ не вынесъ его и тоже кому-то сбывъ съ рукъ».

«Этотъ разсказъ произвелъ сильное впечатлѣніе на моего отца. Онъ задумался не въ шутку, впасть въ шизохондрію...

и, наконецъ, совершенно увѣрился въ томъ, что кисть его послужила дьявольскимъ орудіемъ, что часть жизни ростовщика перешла въ самомъ дѣлѣ какъ-нибудь въ портреты и тревожить теперь людей, внушая бѣсовскія побужденія. совращая художника съ пути, порождая страшныя терзанья зависти, и проч., и проч. Три случившіяся вслѣдъ за тѣмъ несчастія, три внезапныя смерти: жены, дочери и малолѣтняго сына, почелъ онъ небесною казною себѣ и рѣшился непремѣнно оставить свѣтъ. Какъ только минуло мнѣ девять лѣтъ, онъ помѣстилъ меня въ академію художествъ и расплатясь съ своими должниками, удалился въ одну уединенную обитель, гдѣ скоро постригся въ монахи. Тамъ строгостью жизни, неусыпнымъ соблюденіемъ всѣхъ монастырскихъ правилъ онъ изумилъ всю братію. Настоятель монастыря, узнавши объ искусствѣ его кисти, требовалъ отъ него написать главный образъ въ церковь. Но смиренный братъ сказалъ наотрѣзъ, что онъ недостойнъ взяться за кисть, что она осквернена, что трудомъ и великими жертвами онъ долженъ прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить къ такому дѣлу. Его не хотѣли принуждать. Онъ самъ увеличивалъ для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконецъ, уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Онъ удалился, съ благословенія настоятеля, въ пустынь, чтобы быть совершенно одному. Тамъ изъ древесныхъ вѣтвей выстроилъ онъ себѣ келью, питался одними сырыми кореньями, таскалъ на себѣ камни съ мѣста на мѣсто, стоялъ отъ восхода до захода солнечнаго на одномъ и томъ же мѣстѣ съ поднятыми къ небу руками, читая безпрерывно молитвы, — словомъ, изыскивалъ, казалось, всѣ возможныя степени терпѣнья и того неистощимаго самоотверженія, которому примѣры можно развѣ найти въ однихъ только житіяхъ святыхъ. Такимъ образомъ, долго, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, изнурялъ онъ свое тѣло, подкрѣпляя его въ то же время живительною силою молитвы. Наконецъ, въ одинъ день пришелъ онъ въ обитель и сказалъ твердо настоятелю: «Теперь я готовъ; если Богу угодно, я совершу свой трудъ». Предметъ, взятый имъ, было Рождество Іисуса. Цѣлый годъ сидѣлъ онъ за нимъ, не выходя изъ своей кельи, едва питая себя суровой пищею, молясь безпрестанно. По истеченіи года картина была готова. Это было, точно

чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имѣли большихъ свѣдѣній въ живописи, но всѣ были поражены необыкновенной святостью фигуръ. Чувство божественнаго смиренія и кротости въ лицѣ Пречистой Матери, склонившейся надъ Младенцемъ, глубокий разумъ въ очахъ Божественнаго Младенца, какъ будто уже что-то прозрѣвающихъ вдаль, торжественное молчанье пораженныхъ божественнымъ чудомъ царей, повергнувшихся къ ногамъ Его, и, наконецъ, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину,—все это предстало въ такой согласной силѣ и могуществѣ красоты, что впечатлѣніе было магическое. Вся братья поверглась на колѣни предъ новымъ образомъ, и умиленный настоятель произнесъ: «Нѣтъ, нельзя человѣку съ помощью одного человѣческаго искусства произвести такую картину: святая, высшая сила водила твоєю кистью, и благословеніе небесъ почило на трудѣ твоємъ».

«Въ это время окончилъ я свое ученіе въ академіи, получилъ золотую медаль и вмѣстѣ съ нею радостную надежду на путешествіе въ Италію — лучшую мечту двадцатилѣтняго художника. Мнѣ оставалось только проститься съ моимъ отцомъ, съ которымъ уже двѣнадцать лѣтъ какъ я расстался. Признаюсь, даже самый образъ его давно исчезнулъ изъ моей памяти. Я уже нѣсколько слышался о суровой святости его жизни и заранѣе воображалъ себѣ встрѣтить черствую наружность отшельника, чуждаго всему въ мірѣ, кромѣ своей кельи и молитвы, изнуреннаго, высохшаго отъ вѣчнаго поста и бдѣнія. Но какъ же я изумился, когда предсталъ предо мною прекрасный, почти божественный старецъ! И слѣдовъ изможденія не было замѣтно на его лицѣ: оно сіяло свѣтлостью небснаго веселья. Бѣлая, какъ снѣгъ, борода и тонкіе, почти воздушные волосы такого же серебристаго цвѣта, рассыпались картинно по груди и по складкамъ его черной рясы и падали до самаго вервья, которымъ опоясывалась его убогая монашеская одежда. Но болѣе всего изумительно было для меня услышать изъ устъ его такія слова и мысли объ искусствѣ, которыя, признаюсь, я долго буду хранить въ душѣ и желалъ бы искренно, чтобы всякій мой собратъ сдѣлалъ то же.

«Я ждалъ тебя, сынъ мой», сказалъ онъ, когда я потопшелъ къ его благословенію. «Тебѣ предстоитъ путь, по ко-

Торому отнынѣ погечеть жизнь твоя. Путь твой чистъ — не совратись съ него. У тебя есть талантъ; талантъ есть драгоценнѣйшій даръ Бога — не погуби его. Изслѣдуй, изучай все, что ни видишь, покори все кисти; но во всемъ умѣй находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блаженъ избранныкъ, владѣющій ею. Нѣтъ ему низкаго предмета въ природѣ. Въ ничтожномъ художникъ-создатель такъ же великъ, какъ и въ великомъ; въ презрѣнномъ у него уже нѣтъ презрѣннаго, ибо сквозить невидимо сквозь него прекрасная душа создавашаго, и презрѣнное уже получило высокое выраженіе, ибо протекло сквозь чистилище его души... Намекъ о божественномъ, небесномъ раѣ заключенъ для человѣка въ искусствѣ и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько разъ торжественный покой выше всякаго волненія мірскаго; во сколько разъ твореніе выше разрушенія; во сколько разъ ангелъ одной только чистой невинностью свѣтлой души своей выше всѣхъ несмѣтныхъ силъ и гордыхъ страстей сатаны,—во столько разъ выше всего, что ни есть на свѣтѣ, высокое созданье искусства. Все принеси ему въ жертву и возлюби его всей страстью,—не страстью, дышащею земнымъ вождельнѣемъ, но тихой, небесной страстью: безъ нея не властенъ человѣкъ возвыситься отъ земли и не можетъ дать чудныхъ звуковъ успокоенія; ибо для успокоенія и примиренія всѣхъ нисходитъ въ міръ высокое созданіе искусства. Оно не можетъ поселить ропота въ душу, но звучащей молитвой стремится вѣчно къ Богу. Но есть минуты, темныя минуты...» Онъ остановился, и я замѣтилъ, что вдругъ омрачился свѣтлый ликъ его, какъ будто бы на него набѣжало какое-то мгновенное облако. «Есть одно происшествіе въ моей жизни», сказалъ онъ. «Донинѣ я не могу понять, кто былъ тотъ странный образъ, съ котораго я написалъ изображеніе. Это было точно какое-то дьявольское явленіе. Я знаю, свѣтъ отвергаетъ существованіе дьявола, и потому не буду говорить о немъ; но скажу только, что я съ отвращеніемъ писалъ его: я не чувствовалъ въ то время никакой любви къ своей работѣ. Насильно хотѣлъ покорить себя и бездушно, заглушивъ все, быть вѣрнымъ природѣ. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которыя объемлютъ всѣхъ при взглядѣ на него, суть уже мятежныя чувства, тревожныя чувства, не чувства

художника, ибо художникъ и въ тревогѣ дышитъ покоемъ. Мнѣ говорили, что портретъ этотъ ходитъ по рукамъ и разсѣваетъ томительныя впечатлѣнія, зарожда въ художникѣ чувства зависти, мрачной ненависти къ брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранить тебя Всевышній отъ сихъ страстей! Нѣтъ ихъ страшнѣе. Лучше вынести всю горечь возможныхъ гоненій, чѣмъ нанести кому-либо одну тѣнь гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключилъ въ себѣ талантъ, тотъ чище всѣхъ долженъ быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человѣку, который вышелъ изъ дому въ свѣтлой праздничной одеждѣ, стоитъ только быть обрызгнутою одною каплей грязи изъ-подъ колеса, и уже весь народъ обступилъ его и указываетъ на него пальцемъ, и толкуетъ объ его неряшествѣ, тогда какъ тотъ же народъ не замѣчаетъ множества пятенъ на другихъ проходящихъ, одѣтыхъ въ будничныя одежды, ибо на будничныхъ одеждахъ не замѣчаются пятна».

«Онъ благословилъ меня и обнялъ. Никогда въ жизни не былъ я такъ возвышенно подвигнутъ. Благоговѣнно, болѣе, чѣмъ съ чувствомъ сына, прильнулъ я къ груди его и поцѣловалъ въ разсыпавшіеся его серебряные волосы.

«Слеза блеснула въ его глазахъ. «Исполни, сынъ мой, одну мою просьбу», сказалъ онъ мнѣ уже при самомъ разставаніи. «Можетъ-быть, тебѣ случится увидать гдѣ-нибудь тотъ портретъ, о которомъ я говорилъ тебѣ,—ты его узнаешь вдругъ по необыкновеннымъ глазамъ и неестественному ихъ выраженію,—во что бы то ни стало, истреби его...»

«Вы можете судить сами, могъ ли я не обѣщать клятвенно исполнить такую просьбу. Въ продолженіе цѣлыхъ пятнадцати лѣтъ не случалось мнѣ встрѣтить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описаніе, сдѣланное моимъ отцомъ, какъ вдругъ теперь на аукціонѣ...»

Здѣсь художникъ, не договоривъ еще своей рѣчи, обратилъ глаза на стѣну съ тѣмъ, чтобы взглянуть еще разъ на портретъ. То же самое движеніе сдѣлала въ одинъ мигъ вся толпа слушавшихъ, ища глазами необыкновеннаго портрета. Но, къ величайшему изумленію, его уже не было на стѣнѣ. Невнятный говоръ и шумъ пробѣжалъ по всей толпѣ, и вслѣдъ затѣмъ послышались явственно слова: «украденъ». Кто-то успѣлъ уже стащить его, воспользовав-



лись вниманьем слушателей, увлеченных рассказомъ. И долго всѣ присутствовавшіе оставались въ недоумѣніи, не зная, дѣйствительно ли они видѣли эти необыкновенные глаза, или же это была, просто, мечта, представшая только на мигъ глазамъ ихъ, утружденнымъ долгимъ разсматриваньемъ старинныхъ картинъ.



## ШИНЕЛЬ.

Въ департаментѣ... но лучше не называть, въ какомъ департаментѣ. Ничего нѣтъ сердитѣ всякаго рода департаментовъ, полковъ, канцелярій и, словомъ, всякаго рода должностныхъ сословій. Теперь уже всякій частный человекъ считаетъ въ лицѣ своемъ оскорбленнымъ все общество. Говорятъ, весьма недавно поступила просьба отъ одного капитанъ-исправника, не помню, какого-то города, въ которой онъ излагаетъ ясно, что гибнуть государственныя постановленія, и что священное имя его произносится рѣшительно всуе; а въ доказательство приложилъ къ просьбѣ преогромнѣйшій томъ какого-то романтическаго сочиненія, гдѣ, чрезъ каждыя десять страницъ, является капитанъ-исправникъ, мѣстами даже совершенно въ пьяномъ видѣ. Итакъ, во изобъясненіе всякихъ непріятностей, лучше департаментъ, о которомъ идетъ дѣло, мы назовемъ однимъ *департаментомъ*. Итакъ, въ одномъ департаментѣ служилъ одинъ чиновникъ, — чиновникъ, нельзя сказать, чтобы очень замѣчательный: низенькаго роста, нѣсколько рябоватъ, нѣсколько рыжеватъ, нѣсколько даже на видъ подслѣповатъ, съ небольшою лысицею на лбу, съ морщинами по обѣимъ сторонамъ щекъ и цвѣтомъ лица, что называется, геморроидальнымъ... Что-жъ дѣлать! вливать петербургскій климатъ. Что касается до чина (ибо у насъ прежде всего нужно объявить чинъ), то онъ былъ то, что называютъ вѣчный титулярный совѣтникъ, надъ которымъ, какъ извѣстно, натрупились и

наострились вдоволь разные писатели, имѣющіе похвальное обыкновеніе налегать на тѣхъ, которые не могутъ кусаться. Фамилія чиновника была Башмакинъ. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла отъ башмака; но когда, въ какое время и какимъ образомъ произошла она отъ башмака, — ничего этого неизвѣстно. И отецъ, и дѣдъ, и даже шуринъ, и всѣ совершенно Башмакины ходили въ сапогахъ, перемѣняя только раза три въ годъ подметки. Имя его было Акакій Акакіевичъ. Можетъ-быть, читателю оно покажется нѣсколько страннымъ и. высканнымъ, но можно увѣрить, что его никакъ не искали, а что сами собою случились такіа обстоятельства, что никакъ нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вотъ какъ. Родился Акакій Акакіевичъ противъ ночи, если только не измѣняетъ память, на 23 марта. Покойница-матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, какъ слѣдуетъ, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати противъ дверей, а по правую руку стоялъ кумъ, превосходнѣйшій человекъ, Иванъ Ивановичъ Крошкинъ, служившій столоначальникомъ въ сенатѣ, и кума, жена квартальнаго офицера, женщина рѣдкихъ добродѣтелей, Арина Семеновна Бѣлобрюшкова. Родильницѣ предоставили на выборъ любое изъ трехъ, какое она хочетъ выбрать: Мокиа, Соссія, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нѣтъ», подумала покойница, «имена-то все такіа». Чтобы угодить ей, развернули календарь въ другомъ мѣстѣ — вышли опять три имени: Трифилій, Дула и Варахасій. «Вотъ это наказаніе!» проговорила старуха: «какіа все имена! Я, право, никогда и не слыхивала такихъ. Пусть бы еще Варадатъ или Варухъ, а то Трифилій и Варахасій». Еще переверотили страницу — вышли: Павсикахій и Вахтисій. «Ну, ужъ я вижу», сказала старуха: «что, видно, его такая судьба. Ужъ если такъ, пусть лучше будетъ онъ называться, какъ и отецъ его. Отецъ былъ Акакій, такъ пусть и сынъ будетъ Акакій». Такимъ образомъ и произошелъ Акакій Акакіевичъ. Ребенка окрестили, при чемъ онъ заплакалъ и сдѣлалъ такую гримасу, какъ будто бы предчувствовалъ, что будетъ титулярный совѣтникъ. Итакъ, вотъ какимъ образомъ произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель могъ самъ видѣть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никакъ не

возможно. Когда и въ какое время онъ поступить въ департаментъ и кто опредѣлили его, этого никто не могъ припомнить. Сколько ни перемѣнялось директоровъ и всякихъ начальниковъ, его видѣли все на одномъ и томъ же мѣстѣ, въ томъ же положеніи, въ той же самой должности, тѣмъ же чиновникомъ для письма, такъ что потомъ увѣрились, что онъ, видно, такъ и родился на свѣтъ уже совершенно готовымъ, въ вицмундирѣ и съ лысиной на головѣ. Въ департаментѣ не оказывалось къ нему никакого уваженія. Сторожа не только не вставали съ мѣстъ, когда онъ проходилъ, но даже не глядѣли на него, какъ будто бы черезъ приемную пролетѣла простая муха. Начальники поступали съ нимъ какъ-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощникъ столоначальника прямо савалъ ему подъ носъ бумаги, не сказавъ даже: «Перепишите», или: «Вотъ интересное, хорошенькое дѣльце», или что-нибудь пріятное, какъ употребляется въ благовоспитанныхъ службахъ. И онъ бралъ, посмотрѣвъ только на бумагу, не глядя, кто ему подложилъ и имѣлъ ли на то право; онъ бралъ и тутъ же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмѣивались и острились надъ нимъ, во сколько хватало канцелярскаго остроумія, рассказывали тутъ же предъ нимъ разныя составленныя про него исторіи; про его хозяйку, семидесятилѣтнюю старуху, говорили, что она бьетъ его, спрашивали, когда будетъ ихъ свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снѣгомъ. Но ни одного слова не отвѣчалъ на это Акакій Акакіевичъ, какъ будто бы никого и не было передъ нимъ. Это не имѣло даже вліянія на занятія его: среди всѣхъ этихъ докукъ онъ не дѣлалъ ни одной ошибки въ письмѣ. Только если ужъ слишкомъ была невыносима шутка, когда толкали его подъ-руку, мѣшая заниматься своимъ дѣломъ, онъ произносилъ: «Оставьте меня! Затѣмъ вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось въ словахъ и въ голосѣ, съ какимъ они были произнесены. Въ немъ слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что одинъ молодой человѣкъ, недавно опредѣлившійся, который, по примѣру другихъ, позволилъ было себѣ посмѣяться надъ нимъ, вдругъ остановился, какъ будто пронзенный, и съ тѣхъ поръ какъ будто все перемѣнилось передъ нимъ и показалось въ другомъ видѣ. Какая-то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ кото-

рыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ, свѣтскихъ людей. И долго потомъ, среди самыхъ веселыхъ минутъ, представлялся ему низенькій чиновникъ съ лысинкою на лбу, съ своими проникающими словами: «Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?» И въ этихъ проникающихъ словахъ звенѣли другія слова: «я братъ твой». И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ, и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтскости и. Боже! даже въ томъ человѣкѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ...

Врядъ ли гдѣ можно было найти человѣка, который такъ жилъ бы въ своей должности. Мало сказать: онъ служилъ ревностно; нѣтъ, онъ служилъ съ любовью. Тамъ, въ этомъ переписываньи, ему видѣлся какой-то свой разнообразный и пріятный міръ. Наслажденіе выражалось на лицѣ его; нѣкоторыя буквы у него были фавориты, до которыхъ если онъ добирался, то былъ самъ не свой: и подсмѣивался, и подмигивалъ, и помогалъ губами, такъ что въ лицѣ его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы, соразмѣрно его рвенію, давали ему награды, онъ, къ изумленію своему, можетъ-быть, даже попалъ бы въ статскіе совѣтники; но выслужилъ онъ, какъ выражались остряки, его же товарищи, пряжку въ петлицу да нажилъ геморрой въ поясницу. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы не было къ нему никакого вниманія. Одинъ директоръ, будучи добрый человѣкъ и желая вознаградить его за долгую службу, приказалъ дать ему что-нибудь поважнѣе, чѣмъ обыкновенное переписыванье: именно изъ готоваго уже дѣла велѣно было ему сдѣлать какое-то отношеніе въ другое присутственное мѣсто; дѣло состояло только въ томъ, чтобы переимѣнить заглавный титулъ да переимѣнить кое-гдѣ глаголы изъ перваго лица въ третье. Это задало ему такую работу, что онъ вспотѣлъ совершенно, теръ лобъ и наконецъ сказалъ: «Нѣтъ, лучше, дайте, я перепису что-нибудь». Съ тѣхъ поръ оставили его навсегда переписывать. Въ этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Онъ не думалъ вовсе о своемъ платьѣ: вицмундиръ у него былъ—не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвѣта. Воротничокъ на немъ былъ узень-

кій, низенькій, такъ что шея его, несмотря на то, что не была длинна, выходя изъ воротника, казалась необыкновенно длинною, какъ у тѣхъ гипсовыхъ котенковъ, болтающихъ головами, которыхъ носятъ на головахъ цѣлыми десятками русскіе иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало къ его вицмундиру: или сѣнца кусочекъ, или какая-нибудь ниточка; къ тому же онъ имѣлъ особенное искусство, ходя по улицѣ, поспѣвать подъ окно именно въ то самое время, когда изъ него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вѣчно уносилъ на своей шляпѣ арбузные и дынные корки и тому подобный вздоръ. Ни одинъ разъ въ жизни не обратилъ онъ вниманія на то, что дѣлается и происходитъ всякій день на улицѣ, на что, какъ извѣстно, всегда посмотреть его же братъ, молодой чиновникъ, простирающій до того проницательность своего бойкаго взгляда, что замѣтитъ даже, у кого на другой сторонѣ тротуара отпоролась внизу панталонъ стремянка, --- что вызываетъ всегда лукавую улыбку на лицѣ его. Но Акакій Акакіевичъ если и глядѣлъ на что, то видѣлъ на всемъ свои чистыя, ровнымъ почеркомъ выписанныя строки, и только развѣ, если, неизвѣстно откуда взявшись, лошадиная морда помѣщалась ему на плечо и напускала ноздрами цѣлый вѣтеръ въ щеку, тогда только замѣчалъ онъ, что онъ не на серединѣ строки, а скорѣе на серединѣ улицы. Приходя домой, онъ садился тотъ же часъ за столъ, хлебать наскоро свои щи и ѣлъ кусокъ говядины съ лукомъ, вовсе не замѣчая ихъ вкуса, ѣлъ все это съ мухами и со всѣмъ тѣмъ, что ни посылаѣтъ Богъ на ту пору. Замѣтивши, что желудокъ начинать пучиться, вставалъ изъ-за стола, вынималъ баночку съ чернилами и переписывалъ бумаги, принесенныя на домъ. Если же такихъ не случалось, онъ снималъ нарочно, для собственного удовольствія, копию для себя, особенно, если бумага была замѣчательна не по красотѣ слога, но по адресу къ какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже въ тѣ часы, когда совершенно потухаетъ петербургское сѣрое небо и весь чиновный народъ наѣлся и отобѣдалъ, кто какъ могъ, сообразно съ получаемымъ жалованьемъ и собственной прихотью, когда все уже отдохнуло послѣ департаментскаго скрипѣнья перьями, бѣготни, своихъ и чужихъ необходимыхъ занятій и всего того, что задаетъ

себѣ добровольно, больше даже, чѣмъ нужно. неутомный чловѣкъ, когда чиновники спѣшатъ предать наслажденію оставшееся время: кто побойчѣе, несется въ театръ; кто на улицу, определяя его на разсматриванье кое-какихъ шляпонокъ; кто на вечеръ — истратитъ его въ комплиментахъ какой-нибудь смазливой дѣвушкѣ, звѣздѣ небольшого чиновнаго круга; кто, — и это случается чаще всего, — идетъ, просто, къ своему брату въ четвертый или третій этажъ, въ двѣ небольшія комнаты съ передней или кухней и кое-какими модными претензіями, лампой или иной вещицей, стоившей многихъ пожертвованій, отказовъ отъ обѣдовъ, гуляній, — словомъ, даже въ то время, когда всѣ чиновники разсыиваются по маленькимъ квартиркамъ своихъ пріятелей поиграть въ штурмовой вистъ, прихлебывая чай изъ стакановъ съ копѣчными сухарями, затягиваясь дымомъ изъ длинныхъ чубуковъ, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся изъ высшего общества, отъ котораго никогда и ни въ какомъ состояніи не можетъ отказаться русскій чловѣкъ, или даже, когда не о чемъ говорить, пересказывая вѣчный анекдотъ о комендантѣ, которому пришли сказать, что подрубленъ хвостъ у лошади Фальконетова монумента; — словомъ, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакій Акакіевичъ не предавался никакому развлеченію. Никто не могъ сказать, чтобы когда-нибудь видѣлъ его на какомъ-нибудь вечерѣ. Написавшись всласть, онъ ложился спать, улыбаясь заранѣе при мысли о завтрашнемъ днѣ: что-то Богъ пошлетъ переписывать завтра? Такъ протекала мирная жизнь чловѣка, который, съ четырьмя стами жалованья, умѣлъ быть довольнымъ своимъ жребіемъ, и дотекла бы, можетъ-быть, до глубокой старости, если бы не было разныхъ бѣдствій, рассыпанныхъ на жизненной дорогѣ не только титулярнымъ, но даже тайнымъ, дѣйствительнымъ, надворнымъ и всякимъ совѣтникамъ, даже и тѣмъ, которые не даютъ никому совѣтовъ, ни отъ кого не берутъ ихъ сами.

Есть въ Петербургѣ сильный врагъ всѣхъ, получающихъ 400 рублей въ годъ жалованья или около того. Врагъ этотъ не кто другой, какъ нашъ сѣверный морозъ, хотя, впрочемъ, и говорятъ, что онъ очень здоровъ. Въ девятомъ часу утра, именно въ тотъ часъ, когда улицы покрываются идущими въ департаментъ, начинается онъ давать такіе сильные и

колючіе щелчки безъ разбору по всѣмъ носамъ, что бѣдные чиновники рѣшительно не знаютъ, куда дѣвать ихъ. Въ это время, когда даже у занимающихъ высшія должности болятъ отъ морозу лобъ, и слезы выступаютъ на глазахъ, бѣдные титулярные совѣтники иногда бываютъ беззащитны. Все спасеніе состоитъ въ томъ, чтобы въ тощенькой шинелишкѣ перебѣжать, какъ можно скорѣе, пять-шесть улицъ и потомъ натоптаться хорошенько ногами въ швейцарской, пока не оттаютъ такимъ образомъ всѣ замерзнувшія на дорогѣ способности и дарованія къ должностнымъ отправленіямъ. Акакій Акакіевичъ съ нѣкотораго времени началъ чувствовать, что его какъ-то особенно сильно стало пропекать въ спину и плечо, несмотря на то, что онъ старался перебѣжать, какъ можно скорѣе, законное пространство. Онъ подумалъ, наконецъ, не заключается ли какихъ грѣховъ въ его шинели. Разсмотрѣвъ ее хорошенько у себя дома, онъ открылъ, что въ двухъ-трехъ мѣстахъ, именно, на спинѣ и на плечахъ, она сдѣлалась точная серпянка: сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакія Акакіевича служила тоже предметомъ насмѣшекъ чиновникамъ; отъ нея отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотомъ. Въ самомъ дѣлѣ, она имѣла какое-то странное устройство: воротникъ ея уменьшался съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе, ибо служилъ на подтачиванье другихъ частей ея. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило, точно, мышковато и некрасиво. Увидѣвши, въ чемъ дѣло, Акакій Акакіевичъ рѣшилъ, что шинель нужно будетъ снести къ Петровичу, портному, жившему гдѣ-то въ четвертомъ этажѣ по черной лѣстницѣ, который, несмотря на свой кривой глазъ и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьихъ и всякихъ другихъ панталонъ и фраковъ, разумѣется, когда бывалъ въ трезвомъ состояніи и не питалъ въ головѣ какого-нибудь другого предпріятія. Объ этомъ портномъ, конечно, не слѣдовало бы много говорить, но такъ какъ уже заведено, чтобы въ повѣсти характеръ всякаго лица былъ совершенно означенъ, то, нечего дѣлать, подавайте намъ и Петровича сюда. Сначала онъ назывался просто Григорій и былъ крѣпостнымъ человѣкомъ у какого-то барина; Петровичемъ онъ началъ называться съ тѣхъ поръ, какъ получилъ отпускную



и стать попивать довольно сильно по всякимъ праздникамъ, сначала по большимъ, а потомъ, безъ разбору, по всѣмъ церковнымъ, гдѣ только стоялъ въ календарѣ крестикъ. Съ этой стороны онъ былъ вѣренъ дѣдовскимъ обычаямъ и, споря съ женой, называлъ ее мірскою женщиной и нѣмкой. Такъ какъ мы уже заикнулись про жену, то нужно будетъ и о ней сказать слова два; но, къ сожалѣнію, о ней не много было извѣстно, развѣ только то, что у Петровича есть жена, носить даже чепчикъ, а не платокъ; но красотою, какъ кажется, она не могла похвастаться; по крайней мѣрѣ, при встрѣчѣ съ нею, одни только гвардейскіе солдаты заглядывали ей подъ чепчикъ, моргнувши усомъ и испустивши какой-то особый голосъ.

Взбираясь по лѣстницѣ, ведшей къ Петровичу, которая, — надобно отдать справедливость, — была вся умалчена водой, помоями и проникнута насквозь тѣмъ спиртуознымъ запахомъ, который ѣстъ глаза и, какъ извѣстно, присутствуетъ неотлучно на всѣхъ черныхъ лѣстницахъ петербургскихъ домовъ, — взбираясь по лѣстницѣ, Акакій Акакіевичъ уже подумывалъ о томъ, сколько запросить Петровичъ, и мысленно положилъ не давать больше двухъ рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму въ кухню, что нельзя было видѣть даже и самыхъ таракановъ. Акакій Акакіевичъ прошелъ черезъ кухню, незамѣченный даже самою хозяйкою, и вступилъ, наконецъ, въ комнату, гдѣ увидѣлъ Петровича, сидѣвшаго на широкомъ деревянномъ некрашеномъ столѣ и подвернувшего подъ себя ноги свои, какъ турецкій паша. Ноги, по обычаю портныхъ, сидящихъ за работою, были нагишомъ; и прежде всего бросился въ глаза большой палецъ, очень извѣстный Акакію Акакіевичу, съ какимъ-то изуродованнымъ ногтемъ, толстымъ и крѣпкимъ, какъ у черепахи черепъ. На шеѣ у Петровича висѣлъ мотокъ шелку и нитокъ, а на колѣняхъ была какая-то ветошь. Онъ уже минуты съ три продѣлывалъ нитку въ иглиное ухо, не попадалъ и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: «Не лѣзетъ, варварка! Уѣла ты меня, шельма этакая!» Акакію Акакіевичу было непріятно, что онъ пришелъ именно въ ту минуту, когда Петровичъ сердился: онъ любилъ что-либо заказывать Петровичу тогда, когда послѣдній былъ уже нѣсколько подъ-куражемъ, или,

какъ выражалась жена его: «осадила сивухой. одноглазый чортъ». Въ такомъ состояніи Петровичъ, обыкновенно, очень охотно уступалъ и соглашался, всякій разъ даже кланялся и благодарилъ. Потомъ, правда, приходила жена, плачась, что мужъ-де быть пьянъ и потому дешево взялся; но гривенникъ, бывало, одинъ прибавишь—и дѣло въ шляпѣ. Теперь же Петровичъ былъ, казалось, въ трезвомъ состояніи, а потому крутъ, несговорчивъ и охотникъ заламывать чортъ. знаетъ какія цѣны. Акакій Акакіевичъ смекнулъ это и хотѣлъ было уже, какъ говорится, на попятный дворъ, но ужъ дѣло было начато. Петровичъ прищурилъ на него очень пристально свой единственный глазъ, и Акакій Акакіевичъ невольно выговорилъ: «Здравствуй, Петровичъ!» — «Здравствовать желаю, сударь!» сказалъ Петровичъ и покосилъ свой глазъ на руки Акакія Акакіевича, желая высмотрѣть, какого рода добычу тотъ несъ.

«А я вотъ къ тебѣ, Петровичъ, того!..» Нужно знать, что Акакій Акакіевичъ изъяснялся большею частью предложениями, нарѣчіями и, наконецъ, такими частицами, которыя рѣшительно не имѣютъ никакого значенія. Если же дѣло было очень затруднительно, то онъ даже имѣлъ обыкновеніе совсѣмъ не оканчивать фразы, такъ что весьма часто, начавши рѣчь словами: «Это, право, совершенно того...» а потомъ уже и нѣчего не было, и самъ онъ позабывалъ, думая, что все уже выговорилъ.

«Что-жъ такое?» сказалъ Петровичъ и обсмотрѣлъ въ то же время своимъ единственнымъ глазомъ весь вицмундиръ его, начиная съ воротника до рукавовъ, спянки, фалды и петлей, что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таковъ ужъ обычай у портныхъ: это первое, что онъ сдѣлаетъ при встрѣчѣ.

«А я вотъ того, Петровичъ... шинель-то, сукно... вотъ видишь, вездѣ въ другихъ мѣстахъ совсѣмъ крѣпкое... оно немножко запылилось и кажется, какъ будто старое, а оно новое, да вотъ только въ одномъ мѣстѣ немного того... на спинѣ, да еще вотъ на плечѣ одномъ немного попротерлось, да вотъ на этомъ плечѣ немножко... видишь? вотъ и все. И работы немного...»

Петровичъ взялъ капотъ, разложилъ его сначала на столъ, рассматривалъ долго, покачалъ головою и полѣзъ рукою на окно за круглой табакеркой съ портретомъ какого-то гене-

раза, — какого именно, неизвестно, потому что мѣсто, гдѣ находилось лицо, было проткнуто пальцемъ и потомъ заклеено четверугольнымъ лоскуточкомъ бумажки. Понюхавъ табакъ, Петровичъ растопырилъ капотъ на рукахъ и разсматрѣлъ его противъ свѣта, и опять покачалъ головою; потомъ обратилъ его подкладкой вверхъ и вновь покачалъ; вновь снялъ крышку съ генераломъ, заклееннымъ бумажкой, и, натащивши въ носъ табакъ, закрылъ, спряталъ табакерку и, наконецъ, сказалъ: «Нѣтъ, нельзя поправить: худой гардеробъ!»

У Акакія Акакіевича при этихъ словахъ ёкнуло сердце.

«Отчего же нельзя, Петровичъ?» сказалъ онъ почти умоляющимъ голосомъ ребенка: «вѣдь только всего, что на плечахъ поистерлось; вѣдь у тебя есть же какіе-нибудь кусочки...»

«Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся», сказалъ Петровичъ: «да нашить-то нельзя: дѣло совсѣмъ гнилое, тронешь иглой—а вотъ ужъ оно и ползетъ».

«Пускай ползетъ, а ты тотчасъ заплаточку».

«Да заплаточки не на чемъ положить, укрѣпиться ей не за что: поддержка больно велика. Только слава, что сукно, а подуи вѣтеръ, такъ разлетится».

«Ну, да ужъ прикрѣпи. Какъ же этакъ, право, того!..»

«Нѣтъ», сказалъ Петровичъ рѣшительно: «ничего нельзя сдѣлать. Дѣло совсѣмъ плохое. Ужъ вы лучше, какъ придетъ зимнее холодное время, надѣлайте изъ нея себѣ онучекъ, потому что чулокъ не грѣетъ. Это нѣмцы выдумали, чтобы побольше себѣ денегъ забирать (Петровичъ любилъ при случаѣ кольнуть нѣмцевъ); а шинель ужъ, видно, вамъ придется новую дѣлать».

При словѣ «новую» у Акакія Акакіевича затуманило въ глазахъ, и все, что ни было въ комнатѣ, такъ и пошло предъ нимъ путаться. Онъ видѣлъ ясно одного только генерала съ заклееннымъ бумажкой лицомъ, находившагося на крышкѣ Петровичевой табакерки. «Какъ же новую?» сказалъ онъ, все еще какъ будто находясь во снѣ: «вѣдь у меня и денегъ на это нѣтъ».

«Да, новую», сказалъ съ варварскимъ спокойствіемъ Петровичъ.

«Ну, а если бы пришлось новую, какъ бы она того...?»

«То-есть, что будетъ стоить?»

«Да».

«Да три полсотни слишкомъ надо будетъ приложить», сказалъ Петровичъ и сжалъ при этомъ значительно губы. Онъ очень любилъ сильные эффекты, любилъ вдругъ какъ-нибудь озадачить совершенно и потомъ поглядѣть искоса, какую озадаченный сдѣлаетъ рожу послѣ такихъ словъ.

«Полтора ста рублей за шинель!» вскрикнулъ бѣдный Акакій Акакіевичъ,—вскрикнулъ, можетъ-быть, въ первый разъ отъ-роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

«Да-съ», сказалъ Петровичъ: «да еще какова шинель. Если положить на воротникъ кунцу, да пустить капюшонъ на шелковой подкладкѣ, такъ и въ двѣсти войдетъ».

«Петровичъ, пожалуйста», говорилъ Акакій Акакіевичъ умоляющимъ голосомъ, не слыша и не стараясь слышать сказанныхъ Петровичемъ словъ и всѣхъ его эффектовъ: «какъ-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила».

«Да нѣтъ, это выйдетъ—и работу убивать, и деньги попусту тратить», сказалъ Петровичъ, и Акакій Акакіевичъ послѣ такихъ словъ вышелъ, совершенно уничтоженный. А Петровичъ, по уходѣ его, долго еще стоялъ, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволенъ, что и себя не уронить, да и портного искусства тоже не выдать.

Выпедъ на улицу, Акакій Акакіевичъ былъ какъ во снѣ. «Этакое-то дѣло этакое», говорилъ онъ самъ себѣ: «я, право, и не думалъ, чтобы оно вышло того...» а потомъ, послѣ нѣкотораго молчанія, прибавилъ: «такъ вотъ какъ! наконецъ, вотъ что вышло! а я, право, совсѣмъ и предполагать не могъ, чтобы оно было этакъ». За симъ послѣдовало опять долгое молчаніе, послѣ котораго онъ произнесъ: «Такъ этакъ-то! вотъ какое ужъ, точно, никакъ неожиданное того... этого бы никакъ... этакое-то обстоятельство!» Сказавши это, онъ, вмѣсто того, чтобы идти домой, пошелъ совершенно въ противную сторону, самъ того не подозрѣвая. Дорогою задѣлъ его всѣмъ нечистымъ своимъ бокомъ трубочистъ и вычернилъ все плечо ему; цѣлая шапка извести высыпалась на него съ верхушки строившагося дома. Онъ ничего этого не замѣтилъ, и потомъ уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивалъ изъ рожка на мозолистый кулакъ

табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочникъ сказалъ: «Чего лѣзешь въ самое рыло? развѣ нѣтъ тебѣ трухтуара?» Это заставило его оглянуться и повернуться домой. Здѣсь только онъ началъ собирать мысли, увидѣлъ въ ясномъ и настоящемъ видѣ свое положеніе, сталъ разговаривать съ собою уже не отрывисто, но разсудительно и откровенно, какъ съ благоразумнымъ пріятелемъ, съ которымъ можно поговорить о дѣлѣ самомъ сердечномъ и близкомъ. «Ну, нѣтъ», сказалъ Акакій Акакіевичъ: «теперь съ Петровичемъ нельзя толковать: онъ теперь того... жена, видно, какъ-нибудь поколотила его. А вотъ я лучше приду къ нему въ воскресный день утромъ: онъ послѣ кануна с субботы будетъ косить глазомъ и заспавшись, такъ ему нужно будетъ опохмелиться, а жена денегъ не дастъ, а въ это время я ему гривенничекъ и того въ руку—онъ и будетъ сговорчивѣе, и шинель тогда и того...» Такъ разсудилъ самъ съ собою Акакій Акакіевичъ, ободривъ себя и дождался перваго воскресенья, и увидѣвъ издали, что жена Петровича куда-то выходила изъ дому, онъ — прямо къ нему. Петровичъ, точно, послѣ субботы сильно косилъ глазомъ, голову держалъ къ полу и былъ совсѣмъ заспавшись; но при всемъ томъ, какъ только узналъ, въ чемъ дѣло, точно какъ будто его чортъ толкнулъ. «Нельзя», сказалъ: «извольте заказать новую». Акакій Акакіевичъ тутъ-то и всунулъ ему гривенничекъ. «Благодарствую, сударь, подкрѣплюсь маленечко за ваше здоровье». сказалъ Петровичъ: «а ужъ объ шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель ужъ я вамъ сошью на славу, ужъ на этомъ стоимъ».

Акакій Акакіевичъ еще было насчетъ починки, но Петровичъ не дослышалъ и сказалъ: «Ужъ новую я вамъ сошью безпремѣнно, въ этомъ извольте положиться, старанье приложимъ. Можно будетъ даже такъ, какъ пошла мода, воротникъ будетъ застегиваться на серебряныя ланки подъ апплике».

Тутъ-то увидѣлъ Акакій Акакіевичъ, что безъ новой шинели нельзя обойтись, и поникъ совершенно духомъ. Какъ же въ самомъ дѣлѣ, на чтѣ, на какія деньги ее сдѣлать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награжденіе къ празднику, но эти деньги давно уже раз-

мѣщены и распределены впередъ. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долгъ за поставку новыхъ головокъ къ старымъ голенищамъ, да сѣдовало заказать швеѣ три рубахи да штуки двѣ того бѣлья, которое неприлично называть въ печатномъ слогѣ; словомъ, всѣ деньги совершенно должны были разойтись, и если бы даже директоръ былъ такъ милостивъ, что, вмѣсто сорока рублей наградныхъ, опредѣлилъ бы сорокъ пять или пятьдесятъ, то все-таки останется какой-нибудь самый вздоръ, который въ шинельномъ капиталѣ будетъ капля въ морѣ. Хотя, конечно, онъ зналъ, что за Петровичемъ водилась бѣда заломить вдругъ, чортъ знаетъ, какую непомѣрную цѣну, такъ что ужъ, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что ты съ ума сходишь, дуракъ такой! Въ другой разъ ни за что возьмешь работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цѣну, какой и самъ не стоить». Хотя, конечно, онъ зналъ, что Петровичъ и за восемьдесятъ рублей возьмется сдѣлать; однако, все же, откуда взять эти восемьдесятъ рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; можетъ-быть, даже немножко и больше; но гдѣ взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, гдѣ взялась первая половина. Акакій Акакіевичъ имѣлъ обыкновеніе со всякаго истрачиваемаго рубля откладывать по грошу въ небольшой ящичекъ, запертой на ключъ, съ прорѣзанною въ крышкѣ дырочкой для бросанія туда денегъ. По истеченіи всякаго полугода онъ ревизовалъ накопившуюся мѣдную сумму и замѣнялъ ее мелкимъ серебромъ. Такъ продолжалъ онъ съ давнихъ поръ, и такимъ образомъ, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, оказалось накопившейся суммы болѣе, чѣмъ на сорокъ рублей. Итакъ, половина была въ рукахъ; но гдѣ же взять другую половину? гдѣ взять другіе сорокъ рублей? Акакій Акакіевичъ думалъ-думалъ и рѣшилъ, что нужно будетъ уменьшить обыкновенныя издержки, хотя по крайней мѣрѣ въ продолженіе одного года: изгнать употребленіе чаю по вечерамъ, не зажигать по вечерамъ свѣчи, а если что понадобится дѣлать, идти въ комнату къ хозяйкѣ и работать при ея свѣчкѣ; ходя по улицамъ, ступать какъ можно легче и осторожнѣе по камнямъ и плитамъ, почти на цыпочкахъ, чтобы такимъ образомъ не истереть скоровременно подметокъ; какъ можно рѣже

отдавать трачкѣ мыть бѣлье, а чтобы не занашивалось, то всякій разъ, приходя домой, скидывать его и оставаться въ одномъ только демикотоновомъ халатѣ, очень давнемъ и пахнущемъ даже самимъ временемъ. Надобно сказать правду, что сначала ему было нѣсколько трудно привыкать къ такимъ ограниченіямъ, но потомъ какъ-то привыкло и пошло на ладъ, — даже онъ совершенно пріучился голодать по вечерамъ; но зато онъ питался духовно,нося въ мысляхъ своихъ вѣчную идею будущей шинели. Съ этихъ поръ какъ будто самое существованіе его сдѣлалось какъ-то полнѣе, какъ будто бы онъ женился, какъ будто какой-то другой человекъ присутствовалъ съ нимъ, какъ будто онъ былъ не одинъ, а какая-то пріятная подруга жизни согласилась съ нимъ проходить вмѣстѣ жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, какъ та же шинель, на толстой ватѣ, на крѣпкой подкладкѣ безъ износу. Онъ сдѣлался какъ-то живѣе, даже тверже характеромъ, какъ человекъ, который уже опредѣлилъ и поставилъ себѣ цѣль. Съ лица и съ поступковъ его исчезло само собою сомнѣніе, нерѣшительность, словомъ — всѣ колеблющіяся и неопредѣленныя черты. Огонь порою показывался въ глазахъ его, въ головѣ даже мелькали самыя дерзкія и отважныя мысли: не положить ли, точно, кунницу на воротникъ? Размышленія объ этомъ чуть не навели на него разсѣянности. Одинъ разъ, переписывая бумагу, онъ чуть было даже не сдѣлалъ ошибки, такъ что почти вслухъ вскрикнулъ: «ухъ!» и перекрестился. Въ продолженіе каждаго мѣсяца онъ, хотя одинъ разъ, навѣдывался къ Петровичу, чтобы поговорить о шинели: гдѣ лучше купить сукна, и какого цвѣта, и въ какую цѣну. — и хотя нѣсколько озабоченный, но всегда довольный возвращаясь домой, помышляя, что, наконецъ, придетъ же время, когда все это конится и когда шинель будетъ сдѣлана. Дѣло пошло даже скорѣе, чѣмъ онъ ожидалъ. Противу всякаго чаянія, директоръ назначилъ Акакію Акакіевичу не сорокъ или сорокъ пять, а цѣлыхъ шестьдесятъ рублей. Уже предчувствовать ли онъ, что Акакію Акакіевичу нужна шинель, или само собой такъ случилось, но только у него чрезъ это очутилось лишнихъ двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ходъ дѣла. Еще какихъ-нибудь два-три мѣсяца небольшого голода — и у Акакія Акакіевича набралось, точно, около восьмидесяти

рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. Въ первый же день онъ отправился вмѣстѣ съ Петровичемъ въ лавки. Купили сукна очень хорошаго — и не мурено, потому что объ этомъ думали еще за полгода прежде и рѣдкій мѣсяцъ не заходили въ лавки примѣняться къ цѣнамъ; зато самъ Петровичъ сказалъ, что лучше сукна и не бываетъ. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротнаго и плотнаго, который, по словамъ Петровича, былъ еще лучше шелку и даже на видъ казистѣй и гляцивитѣй. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога, а вмѣсто ея выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась въ лавкѣ,—кошку, которую издали можно было всегда принять за кунницу. Петровичъ провозился за шинелью всего двѣ недѣли, потому что много было стеганы, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петровичъ взялъ двѣнадцать рублей — меньше никакъ нельзя было: все было рѣшительно шито на шелку, двойнымъ мелкимъ швомъ, и по всякому шву Петровичъ потомъ проходилъ собственными зубами, вытисняя ими разные фигуры. Это было... трудно сказать, въ который именно день, но, вѣроятно, въ день самый торжественнѣйшій въ жизни Акакія Акакіевича, когда Петровичъ принесъ, наконецъ, шинель. Онъ принесъ ее поутру, передъ самымъ тѣмъ временемъ, какъ нужно было идти въ департаментъ. Никогда бы въ другое время не пришлось такъ кстаи шинель, потому что начинались уже довольно крѣпкіе морозы и, казалось, грозили еще болѣе усилиться. Петровичъ явился съ шинелью, какъ слѣдуетъ хорошему портному. Въ лицѣ его показалось выраженіе такое значительное, какого Акакій Акакіевичъ никогда еще не видалъ. Казалось, онъ чувствовалъ въ полной мѣрѣ, что сдѣлалъ не малое дѣло и что вдругъ показалъ въ себѣ бездну, раздѣляющую портныхъ, которые составляютъ только подкладки и переправляютъ, отъ тѣхъ, которые шьютъ заново. Онъ вынулъ шинель изъ носового платка, въ которомъ ее принесъ (платокъ былъ только-что отъ прачки; онъ уже потомъ свернулъ его и положилъ въ карманъ для употребленія). Вынувши шинель, онъ весьма гордо посмотрѣлъ и, держа въ обѣихъ рукахъ, набросилъ весьма ловко на плечи Акакію Акакіевичу. Потомъ натянулъ и осадилъ ее сзади рукой внизу; потомъ драпировалъ ею Акакія Акакіевича нѣсколько на-распашку. Акакій



Акакiевичъ, какъ человѣкъ въ лѣтахъ, хотѣлъ попробовать въ рукава; Петровичъ помогъ надѣть и въ рукава—вышло, что и въ рукава была хороша. Словомъ, оказалось, что шинель была совершенно и какъ разъ впору. Петровичъ не упустилъ при семъ случаѣ сказать, что онъ такъ только, потому что живетъ безъ выѣски на небольшой улицѣ и притомъ давно знаетъ Акакiя Акакiевича, потому взялъ такъ дешево, а на Невскомъ проспектѣ съ него бы взяли за одну только работу семьдесятъ пять рублей. Акакiй Акакiевичъ объ этомъ не хотѣлъ разсуждать съ Петровичемъ, да и боялся всѣхъ сильныхъ суммъ, какими Петровичъ любилъ запускать пыль. Онъ расплатился съ нимъ, поблагодарилъ и вышелъ тутъ же въ новой шинели въ департаментъ. Петровичъ вышелъ вслѣдъ за нимъ и, оставаясь на улицѣ, долго еще смотрѣлъ издали на шинель и потомъ пошелъ нарочно въ сторону, чтобы, обогнувши кривымъ переулкомъ, забѣжать вновь на улицу и посмотреть еще разъ на свою шинель съ другой стороны, то-есть, прямо въ лицо. Между тѣмъ Акакiй Акакiевичъ шелъ въ самомъ праздничномъ расположенiи всѣхъ чувствъ. Онъ чувствовалъ всякiй мигъ минуты, что на плечахъ его новая шинель, и нѣсколько разъ даже усмѣхнулся отъ внутренняго удовольствiя. Въ самомъ дѣлѣ, двѣ выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги онъ не примѣтилъ вовсе и очутился вдругъ въ департаментѣ; въ швейцарской онъ скинулъ шинель, осмотрѣлъ ее кругомъ и поручилъ въ особенный надзоръ швейцару. Неизвѣстно, какимъ образомъ въ департаментѣ всѣ вдругъ узнали, что у Акакiя Акакiевича новая шинель, и что уже капота болѣе не существуетъ. Всѣ въ ту же минуту выбѣжали въ швейцарскую смотрѣть новую шинель Акакiя Акакiевича. Начали поздравлять его, привѣтствовать, такъ что тотъ сначала только улыбался, а потомъ сдѣлалось ему даже стыдно. Когда же всѣ, приступивъ къ нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мѣрѣ, онъ долженъ задать имъ всѣмъ вечеръ, Акакiй Акакiевичъ потерялся совершенно, не зная, какъ ему быть, что такое отвѣчать и какъ отговориться. Онъ уже минутъ черезъ нѣсколько, весь покраснѣвши, началъ было увѣрять довольно просто-душно, что это совсѣмъ не новая шинель, что это такъ, что это старая шинель. Наконецъ, одинъ изъ чиновниковъ.

какой-то даже помощникъ столоначальника, вѣроятно, для того, чтобы показать, что онъ ничуть не гордецъ и знаетъ даже съ низшими себя, сказать: «Такъ и быть, я вмѣсто Акакія Акакіевича даю вечеръ, и прошу ко мнѣ сегодня на чай: я же, какъ нарочно, сегодня именинникъ». Чиновники, натурально, тутъ же поздравили помощника столоначальника и приняли съ охотою предложеніе. Акакій Акакіевичъ начать было отговариваться, но всѣ стали говорить, что неучтиво, что, просто: стыдъ и срамъ, и онъ ужъ никакъ не могъ отказаться. Впрочемъ, ему потомъ сдѣлалось пріятно, когда вспомнилъ, что онъ будетъ имѣть чрезъ то случай пройти даже и ввечеру въ новой шинели. Этотъ весь день былъ для Акакія Акакіевича точно самый большой торжественный праздникъ. Онъ возвратился домой въ самомъ счастливомъ расположеніи духа, скинуть шинель и повѣсилъ ее бережно на стѣнѣ, налюбовавшись еще разъ сукномъ и подкладкой, и потомъ нарочно вытащить, для сравненія, прежній капотъ свой, совершенно распозншійся. Онъ взглянуть на него, и самъ даже засмѣялся: такая была далекая разница! И долго еще потомъ за обѣдомъ онъ все усмѣхался, какъ только приходило ему на умъ положеніе, въ которомъ находился капотъ. Пообѣдавъ онъ весело и послѣ обѣда ужъ ничего не писалъ, никакихъ бумагъ, а такъ немножко посибаритствовать на постели, пока не потемнѣло. Потомъ, не затягивая дѣла, одѣлся, надѣлъ на плечи шинель и вышелъ на улицу. Гдѣ именно жилъ пригласившій чиновникъ, къ сожалѣнію, не можемъ сказать: память начинаетъ намъ сильно измѣнять, и все, что ни есть въ Петербургѣ, всѣ улицы и дома слились и смѣшались такъ въ головѣ, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь въ порядочномъ видѣ. Какъ бы то ни было, но вѣрно по крайней мѣрѣ то, что чиновникъ жилъ въ лучшей части города, стало-быть, очень недалеко отъ Акакія Акакіевича. Сначала надо было Акакію Акакіевичу пройти кое-какія пустынные улицы съ тощимъ освѣщеніемъ, но, по мѣрѣ приближенія къ квартирѣ чиновника, улицы становились живѣе, населеннѣе и сильнѣе освѣщены; пѣшеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одѣтыя; на мужчинахъ попадались бобровые воротники; рѣже встрѣчались ваньки съ деревянными рѣшетчатыми своими сапками, утыканными позолоченными гвоздоч-

ками; напротивъ, все попадались лихачи въ малиновыхъ бархатныхъ шапкахъ, съ лакированными санками, съ медвѣжьими одѣялами, и пролетали улицу, виажа колесами по снѣгу, кареты съ убранными козлами. Акакій Акакіевичъ глядѣлъ на все это, какъ на новость: онъ уже нѣсколько лѣтъ не выходилъ по вечерамъ на улицу. Остановился съ любопытствомъ передъ освѣщеннымъ окошкомъ магазина посмотреть на картину, гдѣ изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала съ себя башмакъ, обнаживши такимъ образомъ всю ногу, очень недурную; а за спиной ея, изъ дверей другой комнаты, выставилъ голову какой-то мужчина съ бакенбардами и красивой эспаньолкой подъ губой. Акакій Акакіевичъ покачнулъ головой и усмѣхнулся, и потомъ пошелъ своею дорогою. Почему онъ усмѣхнулся? потому ли, что встрѣтить вещь вовсе незнакомую, но о которой, однакоже, все-таки у каждаго сохраняется какое-то чутье, или подумалъ онъ, подобно многимъ другимъ чиновникамъ, слѣдующее: «Ну, ужъ эти французы! что и говорятъ! Ужъ ежели захотятъ что-нибудь того, такъ ужъ, точно, того!..» А можетъ-быть, даже и этого не подумалъ: вѣдь нельзя же залѣзть въ душу человѣку и узнать все, что онъ ни думаетъ. Наконецъ, достигнулъ онъ дома, въ которомъ квартировалъ помощникъ столоначальника. Помощникъ столоначальника жилъ на большую ногу: на лестницѣ свѣтилъ фонарь, квартира была во второмъ этажѣ. Вошедши въ переднюю, Акакій Акакіевичъ увидѣлъ на полу цѣлые ряды калошъ. Между ними, посреди комнаты, стоялъ самоваръ, шумя и испуская клубами паръ. На стѣнахъ висѣли все шинели да плащи, между которыми нѣкоторые были даже съ бобровыми воротниками или съ бархатными отворотами. За стѣной былъ слышенъ шумъ и говоръ, которые вдругъ сдѣлались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышелъ лакей съ подносомъ, уставленнымъ опорожненными стаканами, сливочникомъ и корзиною сухарей. Видно, что ужъ чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакій Акакіевичъ повѣсивши самъ шинель свою, вошелъ въ комнату, и передъ нимъ мелькнули въ одно время свѣчи, чиновники, трубки, столы для картъ, и смутно поразили слухъ его бѣглый, со всѣхъ сторонъ подымавшійся разговоръ и шумъ передвижаемыхъ стульевъ. Онъ остановился весьма неловко среди

комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сдѣлать. Но его уже замѣтили, приняли съ крикомъ, и всѣ пошли тотъ же часъ въ переднюю и вновь осмотрѣли его шинель. Акакій Акакіевичъ хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человѣкомъ чистосердечнымъ, не могъ не порадоваться, видя, какъ всѣ похвалили шинель. Потомъ, разумѣется, всѣ бросили и его, и шинель, и обратились, какъ водится, къ столамъ, назначеннымъ для виста. Все это: шумъ, говоръ и толпа людей,—все это было какъ-то чудно Акакію Акакіевичу. Онъ, просто, не зналъ, какъ ему быть, куда дѣть руки, ноги и всю фигуру свою; наконецъ, подсѣлъ онъ къ игравшимъ, смотрѣлъ въ карты, засматривалъ тому и другому въ лица и чрезъ нѣсколько времени началъ гвѣть, чувствовать, что скучно,—тѣмъ болѣе, что ужъ давно наступило то время, въ которое онъ, по обыкновенію, ложился спать. Онъ хотѣлъ проститься съ хозяиномъ, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить, въ честь обновки, по бокалу шампанскаго. Черезъ часъ подали ужинъ, состоявшій изъ винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерскихъ пирожковъ и шампанскаго. Акакія Акакіевича заставили выпить два бокала, послѣ которыхъ онъ почувствовалъ, что въ комнатѣ сдѣлалось веселѣе, однакожъ никакъ не могъ позабыть, что уже двѣнадцать часовъ и что давно пора домой. Чтобы какъ-нибудь не вздумать удерживать хозяйнѣ, онъ вышелъ потихоньку изъ комнаты, отыскавъ въ передней шинель, которую не безъ сожалѣнія увидѣлъ лежавшею на полу, стряхнулъ ее, снялъ съ нея всякую пушинку, надѣлъ на плечи и опустился по лѣстницѣ на улицу. На улицѣ все еще было свѣтло. Кое-какія мелочныя лавчонки, эти безсмѣнные клубы дворовыхъ и всякихъ людей, были отперты; другія же, которыя были заперты, показывали, однакожъ, длинную струю свѣта во всю дверную щель, означавшую, что онѣ не лишены еще общества и, вѣроятно, дворовыя служанки или слуги еще доканчиваютъ свои толки и разговоры, повергая своихъ господъ въ совершенное недоумѣніе насчетъ своего мѣстопробыванія. Акакій Акакіевичъ шелъ въ веселомъ расположеніи духа, даже побѣждалъ было вдругъ, неизвѣстно почему, за какою-то дамою, которая, какъ молнія, прошла мимо и у которой всякая часть тѣла была исполнена необыкновеннаго движенія. Но, однакожъ, онъ тутъ же остановился и

пошелъ опять попрежнему очень тихо, подивясь даже самъ, неизвѣстно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись передъ нимъ тѣ пустынныя улицы, которыя даже и днемъ не такъ веселы, а тѣмъ болѣе вечеромъ. Теперь онѣ сдѣлались еще глуше и уединеннѣе: фонари стали мелькать рѣже—масса, какъ видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные дома, заборы; нигдѣ ни души; сверкалъ только одинъ снѣгъ по улицамъ, да печально чернѣли съ закрытыми ставнями заснувшія низенькія лачужки. Онъ приблизился къ тому мѣсту, гдѣ перерѣзывалась улица безконечною площадью съ едва видными на другой сторонѣ ея домами, которая глядѣла страшною пустынею.

Вдали, Богъ знаетъ гдѣ, мелькалъ огонекъ въ какой-то будкѣ, которая казалась стоявшею на краю свѣта. Веселость Акакія Акакіевича какъ-то здѣсь значительно уменьшилась. Онъ вступилъ на площадь не безъ какой-то невольной боязни, точно какъ будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Онъ оглянулся назадъ и по сторонамъ—точное море вокругъ него. «Нѣтъ, лучше и не глядѣть», подумалъ и шелъ, закрывъ глаза, и когда открылъ ихъ, чтобы узнать, близко ли конецъ площади, увидѣлъ вдругъ, что передъ нимъ стоятъ, почти передъ носомъ, какіе-то люди съ усами,—какіе именно, ужъ этого онъ не могъ даже различить. У него затуманило въ глазахъ и забилося въ груди. «А вѣдь шинель-то моя!» сказалъ одинъ изъ нихъ громовымъ голосомъ, схвативши его за воротникъ. Акакій Акакіевичъ хотѣлъ было уже закричать: «караулъ», какъ другой приставилъ ему къ самому рту кулакъ, величиною въ чиновничью голову, примолвивъ: «А вотъ только крикни!» Акакій Акакіевичъ чувствовалъ только, какъ сняли съ него шинель, дали ему пинка колѣномъ, и онъ упалъ навзничъ въ снѣгъ и ничего ужъ больше не чувствовать. Черезъ нѣсколько минутъ онъ опомнился и поднялся на ноги, но ужъ никого не было. Онъ чувствовалъ, что въ полѣ холодно и шипели нѣтъ, сталъ кричать: но голосъ, казалось, и не думалъ долетать до концовъ площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился онъ бѣжать черезъ площадь прямо къ будкѣ, подлѣ которой стоятъ будочникъ и, опершись на свою алебарду, глядѣлъ, кажется, съ любопытствомъ, желая знать, какого чорта бѣжитъ къ нему издали и кричитъ человѣкъ. Акакій Акакіевичъ, приближавъ къ нему, началъ

задыхающимся голосомъ кричать, что онъ спитъ и ни за чѣмъ не смотритъ, не видитъ, какъ грабятъ человѣка. Бродяжничекъ отвѣчалъ, что онъ не видалъ ничего, что видѣлъ, какъ остановили его среди площади какіе-то два человѣка, да думалъ, что то были его пріятели; а что пусть онъ вмѣсто того, чтобы понапрасну браниться, сходить завтра къ надзирателю, такъ надзиратель отыщетъ, кто взялъ шинель. Акакій Акакіевичъ прибѣжалъ домой въ совершенномъ безпорядкѣ: волосы, которые еще водились у него въ небольшомъ количествѣ на вискахъ и затылкѣ, совершенно растрепались; бокъ и грудь, и всѣ панталоны были въ снѣгу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стукъ въ дверь, поспѣшно вскочила съ постели и, съ башмакомъ на одной только ногѣ, побѣжала отворять дверь, придерживая на груди своей, изъ скромности, рукою рубашку; но, отворивъ, отступила назадъ, увидя въ такомъ видѣ Акакія Акакіевича. Когда же разсказалъ онъ, въ чемъ дѣло, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо къ частному, что квартальный надуетъ, пообщается и станетъ водить; а лучше всего идти прямо къ частному, что онъ даже ей знакомъ, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нея въ кухаркахъ, опредѣлилась теперь къ частному въ няньки, что она часто видитъ его самого. какъ онъ проѣзжаетъ мимо ихъ дома, и что онъ бываетъ также всякое воскресенье въ церкви, молится, а въ то же время весело смотреть на всѣхъ, и что, стало-быть, по всему видно, долженъ быть добрый человѣкъ. Выслушавъ такое рѣшеніе, Акакій Акакіевичъ, печальный, побрелъ въ свою комнату, и какъ онъ провелъ тамъ ночь — предоставляется судить тому, кто можетъ сколько-нибудь представить себѣ положеніе другого. Поутру рано отправился онъ къ частному; но сказали, что спитъ; онъ пришелъ въ десять—сказали опять: «спитъ»; онъ пришелъ въ одиннадцать часовъ — сказали: «да нѣтъ частнаго дома»; онъ въ обѣденное время—но писаря въ прихожей никакъ не хотѣли пустить его и хотѣли непременно узнать, за какимъ дѣломъ и какая надобность привела, и что такое случилось; такъ что, наконецъ, Акакій Акакіевичъ разъ въ жизни захотѣлъ показать характеръ и сказалъ наотрѣзъ, что ему нужно лично видѣть самого частнаго, что они не смѣютъ его не допустить, что онъ пришелъ изъ департамента за

казеннымъ дѣломъ; а что вотъ, какъ онъ на нихъ пожа-  
 луется, такъ вотъ тогда они увидятъ. Противъ этого пи-  
 саря ничего не посмѣли сказать, и одинъ изъ нихъ пошелъ  
 вызвать частнаго. Частный принявъ какъ-то чрезвычайно  
 странно разсказъ о грабительствѣ шинели. Въмѣсто того, что-  
 бы обратить вниманіе на главный пунктъ дѣла, онъ сталъ  
 расспрашивать Акакія Акакіевича: да почему онъ такъ  
 поодну возвращался? да не заходилъ ли онъ и не былъ ли  
 въ какомъ непорядочномъ домѣ? такъ что Акакій Акакіе-  
 вичъ сконфузился совершенно и вышелъ отъ него, самъ не  
 зная, возымѣетъ ли надлежащій ходъ дѣло о шинели, или  
 нѣтъ. Весь этотъ день онъ не былъ въ присутствіи (един-  
 ственный случай въ его жизни). На другой день онъ явился  
 весь блѣдный и въ старомъ капотѣ своемъ, который сдѣ-  
 лался еще плачевнѣе. Повѣствованіе о грабежѣ шинели, —  
 несмотря на то, что нашлись такіе чиновники, которые не  
 пропустили даже и тутъ посмѣяться надъ Акакіемъ Акакіе-  
 вичемъ, — однакоже многихъ тронуло. Рѣшились тутъ же  
 сдѣлать для него складчину, но собрали самую бездѣлицу,  
 потому что чиновники и безъ того уже много истратились,  
 подписавшись на директорскій портретъ и на одну какую-  
 то книгу, по предложенію начальника отдѣленія, который  
 былъ пріятелемъ сочинителю; итакъ, сумма оказалась са-  
 мая бездѣльная. Одинъ кто-то, движимый состраданіемъ,  
 рѣшился, по крайней мѣрѣ, помочь Акакію Акакіевичу доб-  
 рымъ совѣтомъ, сказавши, чтобъ онъ пошелъ не къ квар-  
 тальному, потому что, хоть и можетъ случиться, что квар-  
 тальный, желая заслужить одобреніе начальства, отыщетъ  
 какимъ-нибудь образомъ шинель, но шинель все-таки оста-  
 нется въ полиціи, если онъ не представитъ законныхъ до-  
 казательствъ, что она принадлежитъ ему; а лучше всего,  
 чтобы онъ обратился къ одному *значительному лицу*; что  
*значительное лицо*, спишась и снесясь, съ кѣмъ слѣдуетъ,  
 можетъ заставить успѣшнѣе идти дѣло. Нечего дѣлать, Ака-  
 кій Акакіевичъ рѣшился идти къ значительному лицу. Ка-  
 кая именно и въ чемъ состояла должностъ *значительнаго*  
*лица*, это осталось до сихъ поръ неизвѣстнымъ. Нужно  
 знать, что одно *значительное лицо* недавно сдѣлался зна-  
 чительнымъ лицомъ, а до того времени онъ былъ незначи-  
 тельнымъ лицомъ. Впрочемъ, вмѣсто его и теперь не почи-  
 талось значительнымъ, въ сравненіи съ другими, еще зна-

чительнѣйшими. Но всегда найдется такой кругъ людей, для которыхъ незначительное въ глазахъ прочихъ есть уже значительное. Впрочемъ, онъ старался усилить значительность многими другими средствами, именно: завелъ, чтобы низшіе чиновники встрѣчали его еще на лѣстницѣ, когда онъ приходилъ въ должность; чтобы къ нему являться прямо никто не смѣлъ, а чтобы шло все порядкомъ строжайшимъ: коллежскій регистраторъ докладывалъ бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному, или какому приходилось другому, и чтобы уже такимъ образомъ доходилъ дѣло до него. Такъ ужъ на святой Руси все заражено подражаніемъ: всякій дразнить и корчить своего начальника. Говорятъ даже, какой-то титулярный совѣтникъ, когда сдѣлалъ его правителемъ какой-то отдѣльной небольшой канцеляріи, тотчасъ же отгородилъ себѣ особенную комнату, назвавши ее «комнатой присутствія», и поставилъ у дверей какихъ-то капельдинеровъ, съ красными воротниками, въ галунахъ, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя въ «комнатѣ присутствія» насилу могъ устояться обыкновенный письменный столъ. Пріемы и обычаи *значительнаго лица* были солидны и величественны, но немногосложны. Главнымъ основаніемъ его системы была строгость. «Строгость, строгость и — строгость», говаривалъ онъ обыкновенно, и при последнемъ словѣ обыкновенно смотрѣлъ очень значительно въ лицо тому, которому говорилъ, хотя, впрочемъ, этому и не было никакой причины, потому что десятокъ чиновниковъ, составлявшихъ весь правительственный механизмъ канцеляріи, и безъ того былъ въ надлежащемъ страхѣ: завидя его падали, оставлялъ уже дѣло и ожидалъ, стоя въ вытяжку, пока начальникъ пройдетъ черезъ комнату. Обыкновенный разговоръ его съ низшими отзывался строгостью и состоялъ почти изъ трехъ фразъ: «Какъ вы смѣете? знаете ли вы, съ кѣмъ говорите? понимаете ли, кто стоитъ передъ вами?» Впрочемъ, онъ былъ въ душѣ добрый человѣкъ, хорошъ съ товарищами, услужливъ; но генеральскій чинъ совершенно сбилъ его съ толку. Получивши генеральскій чинъ, онъ какъ-то спутался, сбился съ пути и совершенно не зналъ, какъ ему быть. Если ему случалось быть съ ровными себѣ, онъ былъ еще человѣкъ, какъ слѣдуетъ, — человѣкъ очень порядочный, во многихъ отношеніяхъ даже



неглупый человекъ; но, какъ только случалось ему быть въ обществѣ, гдѣ были люди хоть однимъ чиномъ пониже его, тамъ онъ былъ, просто, хоть изъ рукъ вонъ: молчалъ, и положеніе его возбуждало жалость тѣмъ болѣе, что онъ самъ даже чувствовалъ, что могъ бы провести время несравненно лучше. Въ глазахъ его иногда видно было сильное желаніе присоединиться къ какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будетъ ли это ужъ очень много съ его стороны, не будетъ ли фамиллярно, и не уронитъ ли онъ чрезъ то своего значенія? И встѣдствіе такихъ разсужденій онъ оставался вѣчно въ одномъ и томъ же молчаливомъ состояніи, произнося только изрѣдка какіе-то односложные звуки, и приобретъ такимъ образомъ титулъ скучнѣйшаго человека. Къ такому-то *значительному лицу* явился нашъ Акакій Акакіевичъ, и явился во время самое неблагопріятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочемъ, кстати для значительнаго лица. Значительное лицо находился въ своемъ кабинетѣ и разговорился очень-очень весело съ однимъ недавно пріѣхавшимъ стариннымъ знакомымъ и товарищемъ дѣтства, съ которымъ нѣсколько лѣтъ не видался. Въ это время доложили ему, что пришелъ какой-то Башмачкинъ. Онъ спросилъ отрывисто: «Кто такой?» ему отвѣчали: «Какой-то чиновникъ». — «А! можетъ подождать, теперь не время», сказалъ значительный человекъ. Здѣсь надобно сказать, что значительный человекъ совершенно прилгнулъ: ему было время; они давно уже съ пріятелемъ переговорили обо всемъ и уже давно перекладывали разговоръ весьма длинными молчаньями, слегка только потрепывая другъ друга по ляжкѣ и приговаривая: «такъ-то, Иванъ Абрамовичъ!» — «этакъ-то, Степанъ Варламовичъ!» но при всемъ томъ, однакоже, велѣлъ онъ чиновнику подождать, чтобы показать пріятелю, человеку, давно не служившему и зажившемуся дома въ деревнѣ, сколько времени чиновники дожидаются у него въ передней. Наконецъ, наговорившись, а еще болѣе намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку, въ весьма покойныхъ креслахъ съ откидными спинками, онъ, наконецъ, какъ будто вдругъ вспомнилъ и сказалъ секретарю, остановившемуся у дверей съ бумагами для доклада: «Да, вѣдь тамъ стоитъ, кажется, чиновникъ; скажите ему, что онъ можетъ войти». Увидѣвши смиренный видъ Акакія Акакіевича и его старенькій виц-

мундиръ, онъ оборотился къ нему вдругъ и сказать: «что вамъ угодно?» голосомъ отрывистымъ и твердымъ, которому нарочно учился заранѣе у себя въ комнатѣ, въ уединеніи и передъ зеркаломъ, еще за недѣлю до полученія нынѣшняго своего мѣста и генеральскаго чина. Акакіѣ Акакіевичъ уже заблаговременно почувствовалъ надлежащую робость, нѣсколько смутился и, какъ могъ, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснилъ, съ прибавленіемъ даже чаще, чѣмъ въ другое время, частицъ «того», что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограбленъ безчеловѣчнымъ образомъ, и что онъ обращается къ нему, чтобъ онъ ходатайствомъ своимъ какъ-нибудь того, списался бы съ г. оберъ-полицеймейстеромъ или другимъ кѣмъ и отыскалъ шинель. Генералу, неизвѣстно почему, показалось такое обхожденіе фамиллярнымъ. «Что вы, милостивый государь», продолжалъ онъ отрывисто: «не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, какъ водятся дѣла? Объ этомъ вы бы должны были прежде подать просьбу въ канцелярію; она пошла бы къ столоначальнику, къ начальнику отдѣленія, потомъ передана была бы секретарю, а секретарь доставилъ бы ее уже мнѣ...»

«Но, ваше превосходительство», сказалъ Акакіѣ Акакіевичъ, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствія духа, какая только въ немъ была, и чувствуя въ то же время, что онъ вспотѣлъ ужаснымъ образомъ: «я, ваше превосходительство, осмѣлился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народъ...»

«Что, что, что?» сказалъ значительное лицо: «откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей такихъ набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми противъ начальниковъ и высшихъ!» Значительное лицо, кажется, не замѣтилъ, что Акакію Акакіевичу забралось уже за пятьдесятъ лѣтъ, стало-быть, если бы онъ и могъ назваться молодымъ человѣкомъ, то развѣ только относительно, то-есть, въ отношеніи къ тому, кому уже было семьдесятъ лѣтъ. «Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоитъ передъ вами? Понимаете ли вы это? Понимаете ли это? я васъ спрашиваю». Тутъ онъ топнулъ ногою, возведя голосъ до такой сильной ноты, что даже и не Акакію Акакіевичу сдѣлалось бы страшно. Акакіѣ Акакіевичъ такъ и обмеръ, пошатнулся, затрясся всѣмъ

тѣломъ и никакъ не могъ стоять: если бы не подбѣжали тутъ же сторожа поддержать его, онъ бы шлепнулся на полъ; его вынесли почти безъ движенія. А значительное лицо, довольный тѣмъ, что эффектъ превзошелъ даже ожиданіе, и совершенно упоенный мыслью, что слово его можетъ лишить даже чувствъ человѣка, искоса взглянулъ на пріятеля, чтобы узнать, какъ онъ на это смотритъ, и не безъ удовольствія увидѣлъ, что пріятель его находился въ самомъ неопредѣленномъ состояніи и начиналъ даже съ своей стороны самъ чувствовать страхъ.

Какъ сошелъ съ лѣстницы, какъ вышелъ на улицу,—ничего ужъ этого не помнилъ Акакій Акакіевичъ. Онъ не слышалъ ни рукъ, ни ногъ: въ жизнь свою онъ не былъ еще такъ сильно распеченъ генераломъ, да еще и чужимъ. Онъ шелъ по выюгѣ, свистѣвшей въ улицахъ, разинувъ ротъ, сбиваясь съ тротуаровъ; вѣтеръ, по петербургскому обычаю, дулъ на него со всѣхъ четырехъ сторонъ, изъ всѣхъ переулковъ. Вмигъ надуло ему въ горло жабу, и добрался онъ домой, не въ силахъ будучи сказать ни одного слова; весь распухъ и слегъ въ постель. Такъ сильно иногда бываетъ надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспоможенію петербургскаго климата, болѣзнь пошла быстрѣе, чѣмъ можно было ожидать, и когда явился докторъ, то онъ, пощупавши пульсъ, ничего не нашелся сдѣлать, какъ только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не остался безъ благодѣтельной помощи медицины; а впрочемъ тутъ же объявилъ ему чрезъ полтора сутокъ непремѣнный капутъ, послѣ чего обратился къ хозяйкѣ и сказалъ: «А вы, матушка, и времени даромъ не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гробъ, потому что дубовый будетъ для него дорогъ». Слышалъ ли Акакій Акакіевичъ эти произнесенныя роковыя для него слова, а если и слышалъ, произвели ли они на него потрясающее дѣйствіе, пожалѣлъ ли онъ о горемычной своей жизни, — ничего этого неизвѣстно, потому что онъ находился все время въ бреду и жару. Явленія, одно другого страннѣе, представлялись ему безпрестанно: то видѣлъ онъ Петровича и заказывалъ ему сдѣлать шинель съ какими-то западными, для воровъ, которые чудились ему безпрестанно подъ кроватью, и онъ поминутно призывалъ хозяйку вытащить у

него одного вора даже изъ-подъ одѣяла; то, спрашивая, зачѣмъ висить передъ нимъ старый капотъ его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что онъ стоитъ передъ генераломъ, выслушивая надлежащее распеканье, и приговариваетъ: «Виноватъ, ваше превосходительство!» то, наконецъ, даже сквернохульничать, произнося самыя страшныя слова, такъ что старушка-хозяйка даже крестилась, отъ роду не слыжавъ отъ него ничего подобнаго, тѣмъ болѣе, что слова эти слѣдовали непосредственно за словомъ «ваше превосходительство». Далѣе онъ говорилъ совершенную бессмыслицу, такъ что ничего нельзя было понять; можно было только видѣть, что беспорядочныя слова и мысли ворочались около одной и той же пинели. Наконецъ, бѣдный Акакій Акакіевичъ испустилъ духъ. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первыхъ, не было наслѣдниковъ, а во-вторыхъ, оставалось очень немного наслѣдства, именно: пучокъ гусиныхъ перьевъ, десть бѣлой казенной бумаги, три пары носковъ, двѣ-три пуговицы, оторвавшіяся отъ панталонъ, и уже извѣстный читателю капотъ. Кому все это досталось, Богъ знаетъ: объ этомъ, признаюсь, даже не интересовался рассказывающій сію повѣсть. Акакія Акакіевича свезли и похоронили. И Петербургъ остался безъ Акакія Акакіевича, какъ будто бы въ немъ его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никѣмъ не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя вниманіе и естествонаблюдателя, не пропускающаго посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее въ микроскопъ, — существо, переносившее покорно канцелярскія насмѣшки и безъ всякаго чрезвычайнаго дѣла сошедшее въ могилу, но для котораго все же таки, хотя передъ самымъ концомъ жизни, мелькнулъ свѣтлый гость въ видѣ шинели, оживившій на мигъ бѣдную жизнь, и на которое такъ же потомъ нестерпимо обрушилось несчастье, какъ обрушивается оно на главы сильныхъ міра сего!.. Нѣсколько дней послѣ его смерти посланъ былъ къ нему на квартиру изъ департамента сторожъ, съ приказаніемъ немедленно явиться: начальникъ-де требуетъ; но сторожъ долженъ былъ возвратиться ни съ чѣмъ, давши отчетъ, что не можетъ больше придти, и на запросъ: «почему?» выразился словами: «Да такъ: ужъ онъ умеръ; четвертаго дня похоро-

нили». Такимъ образомъ узнали въ департаментѣ о смерти Акакія Акакіевича, и на другой день уже на его мѣстѣ сидѣлъ новый чиновникъ, гораздо выше ростомъ и выставившій буквы уже не такимъ прямымъ почеркомъ, а гораздо наклоннѣе и косѣе.

Но кто бы могъ вообразить, что здѣсь еще не все объ Акакіи Акакіевичѣ, что суждено ему на нѣсколько дней прожить шумно послѣ своей смерти, какъ бы въ награду за непримѣченную никѣмъ жизнь? Но такъ случилось, и бѣдная исторія наша неожиданно принимаетъ фантастическое окончаніе. По Петербургу пронеслись вдругъ слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше сталъ показываться по ночамъ мертвецъ, въ видѣ чиновника, ищущаго какой-то утащенной шинели, и, подъ видомъ стащенной шинели, сдирающій со всѣхъ плечъ, не разбирая чина и званія, всякія шинели: на кошкахъ, на бобрахъ, на ватъ, енотовыхъ, лисьихъ, медвѣжьихъ шубы, — словомъ всякаго рода мѣха и кожи, какія только придумали люди для прикрытія собственной. Одинъ изъ департаментскихъ чиновниковъ видѣлъ своими глазами мертвеца и узналъ въ немъ тотчасъ Акакія Акакіевича; но это внушило ему, однакоже, такой страхъ, что онъ бросился бѣжать со всѣхъ ногъ и оттого не могъ хорошенько рассмотреть, а видѣлъ только, какъ тотъ издали погрозилъ ему пальцемъ. Со всѣхъ сторонъ поступали безпрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярныхъ, но даже и надворныхъ совѣтниковъ, подвержены совершенной простудѣ, по причинѣ частаго сдергиванья шинелей. Въ полиціи сдѣлано было распоряженіе поймать мертвеца, во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, въ примѣръ другимъ, жесточайшимъ образомъ, и въ томъ едва было даже не успѣли. Именно, будочникъ какого-то квартала, въ Кирюшкиномъ переулкѣ, схватилъ было уже совершенно мертвеца за воротъ на самомъ мѣстѣ злодѣянія, на покушеніи сдернуть фризую шинель съ какого-то отставного музыканта, свиставшаго въ свое время на флейтѣ. Схвативши его за воротъ, онъ вызвалъ своимъ крикомъ двухъ другихъ товарищей, которымъ поручилъ держать его, а самъ полѣзъ только на одну минуту за сапогъ, чтобы вытащить оттуда тавлинку съ табакомъ, освѣжить на время шесть разъ на вѣку примороженный носъ свой; но табакъ, вѣрно, былъ

такого рода, котораго не могъ вынести даже и мертвецъ. Не успѣвъ будочникъ, закрывши пальцемъ свою правую ноздрю, потянуть лѣвою полгорсти, какъ мертвецъ чихнулъ такъ сильно, что совершенно забрызгалъ имъ всѣмъ троемъ глаза. Покамѣстъ они поднесли кулаки протереть ихъ, мертвеца и слѣдъ пропасть, такъ что они не знали даже, былъ ли онъ, точно, въ ихъ рукахъ. Съ этихъ поръ будочники получили такой страхъ къ мертвецамъ, что даже опасались хватать и живыхъ, и только издали покрикивали: «Эй, ты, ступай своею дорогою!» и мертвецъ-чиновникъ сталъ показываться даже за Калинкинымъ мостомъ, наводя немалый страхъ на всѣхъ робкихъ людей. Но мы, однакоже, совершенно оставили *одно значительное лицо*, которое, по настоящему, едва ли не былъ причиною фантастическаго на-  
 правленія; впрочемъ, совершенно истинной исторіи. Прежде всего долгъ справедливости требуетъ сказать, что *одно значительное лицо*, скоро по уходѣ бѣднаго, распеченнаго въ пухъ Акакія Акакіевича, почувствовалъ что-то въ родѣ сожалѣнія. Состраданіе было ему не чуждо; его сердцу были доступны многія добрыя движенія, несмотря на то, что чинъ весьма часто мѣшалъ имъ обнаруживаться. Какъ только вышелъ изъ его кабинета пріѣзжій пріятель, онъ даже задумался о бѣдномъ Акакіи Акакіевичѣ. И съ этихъ поръ почти всякій день представлялся ему блѣдный Акакій Акакіевичъ, не выдержавшій должностного распеканья. Мысль о немъ до такой степени тревожила его, что, недѣлю спустя, онъ рѣшился даже послать къ нему чиновника узнать, что онъ, и какъ, и нельзя ли, въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ помочь ему; и когда донесли ему, что Акакій Акакіевичъ умеръ скоропостижно въ горячкѣ, онъ остался даже пораженнымъ, слышалъ упрёки совѣсти и весь день былъ не въ духѣ. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть непріятное впечатлѣніе, онъ отправился на вечеръ къ одному изъ пріятелей своихъ, у котораго нашелъ порядочное общество, а что всего лучше, всѣ тамъ были почти одного и того же чина, такъ что онъ совершенно ничѣмъ не могъ быть связанъ. Это имѣло удивительное дѣйствіе на душевное его расположеніе. Онъ развернулся, сдѣлался пріятель въ разговорѣ, любезенъ,—словомъ, провелъ вечеръ очень пріятно. За ужиномъ выпилъ онъ стакана два шампанскаго,—средство, какъ извѣстно, не дурно дѣйствующее въ разсужденіи

веселости. Шампанское сообщило ему расположение къ раз-  
нымъ экстренностямъ, а именно: онъ рѣшилъ не ѣхать еще  
домой, а захватить къ одной знакомой дамѣ, Каролинѣ Ива-  
новнѣ,—дамѣ, кажется, нѣмецкаго происхожденія, къ кото-  
рой онъ чувствовалъ совершенно пріятельскія отношенія.  
Надобно сказать, что значительное лицо былъ уже чело-  
вѣкъ не молодой, хорошій супругъ, почтенный отецъ семей-  
ства. Два сына, изъ которыхъ одинъ служилъ уже въ кан-  
целяріи, и миловидная, шестнадцатилѣтняя дочь, съ нѣ-  
сколько выгнутымъ, но хорошенькимъ носикомъ, приходили  
каждый день цѣловать его руку, приговаривая: «bonjour,  
papa». Супруга его, еще женщина свѣжая и даже ничуть  
не дурная, давала ему прежде поцѣловать свою руку и по-  
томъ, переверотивши ее на другую сторону, цѣловала его  
руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочемъ, доволь-  
ный домашними семейными нѣжностями, нашелъ прилич-  
нымъ имѣть для дружескихъ отношеній пріятельницу въ  
другой части города. Эта пріятельница была ничуть не  
лучше и не моложе жены его; но такія ужъ задачи бы-  
ваютъ на свѣтѣ, и судить объ нихъ не наше дѣло. Итакъ,  
значительное лицо сошелъ съ лѣстницы, сѣлъ въ сани и  
сказалъ кучеру: «Къ Каролинѣ Ивановнѣ!» а самъ, заку-  
тавшись весьма роскошно въ теплую шинель, оставался въ  
томъ пріятномъ положеніи, лучше котораго и не выдумаешь  
для русскаго человѣка, то-есть, когда самъ ни о чемъ не  
думаешь, а между тѣмъ мысли сами лѣзутъ въ голову, одна  
другой пріятнѣе, не давая даже труда гоняться за ними и  
искать ихъ. Полный удовольствія, онъ слегка припоминалъ  
всѣ веселыя мѣста проведеннаго вечера, всѣ слова, заста-  
вившія хохотать небольшой кругъ; многія изъ нихъ онъ  
даже повторялъ вполголоса и нашелъ, что они все такъ же  
смѣшны, какъ и прежде, а потому не мудрено, что и самъ  
посмѣивался отъ души. Изрѣдка мѣшала ему, однакоже, по-  
рыбистый вѣтеръ, который, выхватившись вдругъ, Богъ  
знаетъ откуда и нивѣсть отъ какой причины, такъ и рѣ-  
залъ въ лицо, подбрасывая ему туда клочки снѣга, хлопуча,  
какъ парусъ, шинельный воротникъ, или вдругъ, съ не-  
естественною силою набрасывая ему его на голову и до-  
ставляя такимъ образомъ вѣчныя хлопоты изъ него выка-  
рабкиваться. Вдругъ почувствовалъ значительное лицо, что  
его ухватилъ кто-то весьма крѣпко за воротникъ. Обернув-

пись, онъ замѣтилъ человѣка небольшого роста, въ старомъ, поношенномъ вицмундирѣ, и не безъ ужаса узнать въ немъ Акакія Акакіевича. Лицо чиновника было блѣдно, какъ снѣгъ, и глядѣло совершеннымъ мертвецомъ. Но ужасъ значительнаго лица превзошелъ всѣ границы, когда онъ увидѣлъ, что ротъ мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилую, произнесъ такія рѣчи: «А, такъ вотъ ты, наконецъ! Наконецъ, я тебя того, поймалъ за воротникъ! Твоей-то шинели мнѣ и нужно! Не похлопоталъ объ моей, да еще и распеку—отдавай же теперь свою!» Бѣдное *значительное* лицо чуть не умеръ. Какъ ни былъ онъ характеренъ въ канцеляріи и вообще передъ низшими, и хотя, взглянувши на одинъ мужественный видъ его и фигуру, всякій говорилъ: «У, какой характеръ!» но здѣсь онъ, подобно весьма многимъ, имѣющимъ богатырскую наружность, почувствовалъ такой страхъ, что не безъ причины даже сталъ опасаться насчетъ какого-нибудь болѣзненнаго припадка. Онъ самъ даже скинулъ поспѣше съ плечъ шинель свою и закричалъ кучеру не своимъ голосомъ: «Пошелъ во весь духъ домой!» Кучеръ, услышавши голосъ, который произносится обыкновенно въ рѣшительныя минуты и даже сопровождается кое-чѣмъ гораздо дѣйствительнѣйшимъ, упряталъ на всякій случай голову свою въ плечи, замахнулся кнутомъ и помчался, какъ стрѣла. Минуть въ шесть съ небольшимъ значительное лицо уже былъ предъ подъѣздомъ своего дома. Блѣдный, перепуганный и безъ шинели, вмѣсто того, чтобы къ Каролинѣ Ивановнѣ, онъ пріѣхалъ къ себѣ, дошелся кое-какъ до своей комнаты и провелъ ночь весьма въ большомъ безпорядкѣ, такъ что на другой день поутру, за чаемъ, дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсѣмъ блѣденъ, папа». Но папа молчалъ и никому ни слова о томъ, что съ нимъ случилось, и гдѣ онъ былъ, и куда хотѣлъ ѣхать. Это происшествіе сдѣлало на него сильное впечатлѣніе. Онъ даже гораздо рѣже сталъ говорить подчиненнымъ: «какъ вы смѣете? понимаете ли, кто передъ вами?» если же и произносилъ, то ужъ не прежде, какъ выслушавши сперва, въ чемъ дѣло. Но еще болѣе замѣчательно то, что съ этихъ поръ совершенно прекратилось появленіе чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечамъ; по крайней мѣрѣ, уже не было нигдѣ слышно такихъ случаевъ, чтобы



сдергивали съ кого пинели. Впрочемъ, многіе дѣятельные и заботливые люди никакъ не хотѣли успокоиться и потоваривали, что въ дальнихъ частяхъ города все еще показывался чиновникъ-мертвецъ. И точно, одинъ коломенскій будочникъ видѣлъ собственными глазами, какъ показалось изъ-за одного дома привидѣніе; но, будучи по природѣ своей нѣсколько безсиленъ,—такъ что одинъ разъ обыкновенный взрослый поросенокъ, кинувшись изъ какого-то частнаго дома, сшибъ его съ ногъ, къ величайшему смѣху стоявшихъ вокругъ извозчиковъ, съ которыхъ онъ вытребовалъ за такую издѣвку по грошу на табакъ,—итакъ, будучи безсиленъ, онъ не посмѣлъ остановить его, а такъ шелъ за нимъ въ темнотѣ до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, привидѣніе вдругъ оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебѣ чего хочется?» и показало такой кулакъ, какого и у живыхъ не найдешь. Будочникъ сказалъ: «Ничего», да и поворотилъ тотъ же часъ назадъ. Привидѣніе, однакоже, было уже гораздо выше ростомъ, носило преогромные усы и, напавивъ шаги, какъ казалось, въ Обухову мосту, скрылось совершенно въ ночной темнотѣ.



## КОЛЯСКА.

---

**Г**ородокъ Б. очень повеселѣлъ, когда началъ въ немъ стоять \*\*\* кавалерійскій полкъ; а до того времени было въ немъ страхъ скучно. Когда, бывало, проѣзжаешь его и взглянешь на низенькіе мазаные домики, которые смотрятъ на улицу до невѣроятности кисло, то... невозможно выразить, что дѣлается тогда на сердцѣ: тоска такая, какъ будто бы или проигрался, или отпустилъ нектати какую-нибудь глупость,—однимъ словомъ: не хорошо. Глина на домахъ обвалилась отъ дождя, и стѣны, вмѣсто бѣлыхъ, сдѣлались пѣгими; крыши большею частью крыты тростникомъ, какъ обыкновенно бываетъ въ южныхъ городахъ нашихъ. Садики, для лучшаго вида, городничій давно приказалъ вырубить. На улицахъ ни души не встрѣтишь, развѣ только пѣтухъ перейдетъ чрезъ мостовую, мягкую какъ подушка, отъ лежащей на четверть пыли, которая, при малѣйшемъ дождѣ, превращается въ грязь, и тогда улицы городка Б. наполняются тѣми дородными животными, которыхъ тамошній городничій называетъ французами. Выставивъ серьезныя морды изъ своихъ ваннъ, онѣ поднимаютъ такое хрюканье, что проѣзжающему остается только погонять лошадей поскорѣе. Впрочемъ, проѣзжающаго трудно встрѣтить въ городкѣ Б. Рѣдко, очень рѣдко какой-нибудь помѣщикъ, имѣющій одиннадцать душъ крестьянъ, въ нанковомъ сюртукѣ, тарабанить по мостовой въ какой-то полубричкѣ и полутелѣжкѣ, выглядывая изъ-за наваленныхъ мучныхъ мѣли-

ковъ и пристегивая гнѣдую кобылу, вслѣдъ за которою бѣжитъ жеребенокъ. Самая рыночная площадь имѣетъ нѣсколько печальный видъ: домъ портного выходитъ чрезвычайно глупо не всѣмъ фасадомъ, но угломъ; противъ него строится лѣтъ пятнадцать какое-то каменное строеніе о двухъ окнахъ; далѣе стоитъ самъ по себѣ модный дощатый заборъ, покрашенный сѣрою краскою подъ цвѣтъ грязи, который, на образецъ другимъ строеніямъ, воздвигъ городничій во время своей молодости, когда не имѣлъ еще обыкновенія спать тотчасъ послѣ обѣда и пить на ночь какой-то декоктъ, заправленный сухимъ крыжовникомъ. Въ другихъ мѣстахъ все почти плетень. Посреди площади самыя маленькія лавочки; въ нихъ всегда можно замѣтить связку баранковъ, бабу въ красномъ платкѣ, пудъ мыла, нѣсколько фунтовъ горькаго миндаля, дробь для стрѣлянія, демикотонъ и двухъ купеческихъ приказчиковъ, во всякое время играющихъ около дверей въ свайку. Но какъ началъ стоять въ уѣздномъ городкѣ В. кавалерійскій полкъ, все перемѣнилось: улицы запестрѣли, оживились, — словомъ, приняли совершенно другой видъ; низенькіе домики часто видѣли проходящаго мимо ловкаго, статнаго офицера съ султаномъ на головѣ, шедшаго къ товарищу поговорить о производствѣ, объ отличнѣйшемъ табакѣ, а иногда поставить на карточку дрожжи, которыя можно было назвать полковыми, потому что онѣ, не выходя изъ полка, успѣвали обходить всѣхъ: сегодня катался въ нихъ майоръ, завтра онѣ появлялись въ поручиковой конюшнѣ, а чрезъ недѣлю, смотри, опять майорскій денщикъ подмазывалъ ихъ саломъ. Деревянный плетень между домами весь былъ усыянъ висѣвшими на солнцѣ солдатскими фуражками; сѣрая шинель торчала непремѣнно гдѣ-нибудь на воротахъ; въ переулкахъ попадались солдаты съ такими жесткими усами, какъ сапожные щетки. Усы эти были видны во всѣхъ мѣстахъ: соберутся ли на рынокъ съ ковшиками мѣщанки—изъ-за плечъ ихъ, вѣрно, выглядываютъ усы. Офицеры оживили общество, которое до того времени состояло только изъ судьи, жившаго въ одномъ домѣ съ какою-то діаконицею, и городничаго, разсудительнаго челоуѣка, но спавшаго рѣшительно весь день — отъ обѣда до вечера и отъ вечера до обѣда. Общество сдѣлалось еще многлюднѣе и занимательнѣе, когда переведена была сюда квартира бригаднаго генерала. Окружные помѣ-

пички, о существованіи которыхъ никто бы до того времени не догадался, начали прѣзжать почаше въ уѣздный городокъ, чтобы видѣться съ господами офицерами, а иногда поиграть въ банчикъ, который уже чрезвычайно темно грезился въ головѣ ихъ, захопотанной поспѣвами, жениными порученіями и зайцами. Очень жаль, что не могу припомнить, по какому обстоятельству случилось бригадному генералу давать большой обѣдъ; заготовленіе къ нему было сдѣлано огромное; стукъ поварскихъ ножей на генеральской кухнѣ былъ слышенъ еще близъ городской заставы. Весь совершенно рынокъ былъ забранъ для обѣда, такъ что судья съ своею діаконицею долженъ былъ ѣсть однѣ только лепешки изъ гречневой муки да крахмальный кисель. Небольшой дворикъ генеральской квартиры былъ весь уставленъ дрожками и колясками. Общество состояло изъ мужчинъ — офицеровъ и нѣкоторыхъ окружныхъ помѣщиковъ. Изъ помѣщиковъ болѣе всѣхъ былъ замѣчателенъ Пиеагоръ Пиеагоровичъ Чертокуцкій, одинъ изъ главныхъ аристократовъ Б.... уѣзда, болѣе всѣхъ шумѣвшій на выборахъ и прѣзжавшій туда въ щегольскомъ экипажѣ. Онъ служилъ прежде въ одномъ изъ кавалерійскихъ полковъ и былъ однимъ изъ числа значительныхъ и видныхъ офицеровъ; по крайней мѣрѣ, его видали на многихъ балахъ и собраніяхъ, гдѣ только кочевалъ ихъ полкъ; впрочемъ, объ этомъ можно спросить у двѣицъ Тамбовской и Симбирской губерній. Вѣсьма можетъ быть, что онъ распустилъ бы и въ прочихъ губерніяхъ выгодную для себя славу, если бы не вышелъ въ отставку по одному случаю, который обыкновенно называется «непріятною исторіею»: онъ ли далъ кому-то въ старые годы оплеуху, или ему дали ее, объ этомъ навѣрное не помню, дѣло только въ томъ, что его попросили выйти въ отставку. Впрочемъ, онъ этимъ ничуть не уронилъ своего вѣсу: носилъ фракъ съ высокою таліей, на манеръ военного мундира, на сапогахъ шпоры и подъ носомъ усы, потому что безъ того дворяне могли бы подумать, что онъ служилъ въ пѣхотѣ, которую онъ презрительно называлъ иногда пѣхтурой, а иногда пѣхонтаріей. Онъ былъ на всѣхъ многолюдныхъ ярмаркахъ, куда внутренность Россіи, состоящая изъ мамокъ, дѣтей, дочекъ и толстыхъ помѣщиковъ, наѣзжала веселиться, бричками, таратайками, тарантасами и такими каретами, какія и во снѣ никому не сни-

лись. Онъ пронохивать носомъ, гдѣ стоялъ кавалерійскій полкъ, и всегда приѣзжалъ видѣться съ господами офицерами, очень ловко выскакивалъ передъ ними изъ своей легонькой колясочки или дрожекъ и чрезвычайно скоро знакомился. Въ прошлые выборы далъ онъ дворянству прекрасный обѣдъ, на которомъ объявилъ, что если только его выберутъ предводителемъ, то онъ поставитъ дворянъ на самую лучшую ногу. Вообще велъ себя по-барски, какъ выражаются въ уѣздахъ и губерніяхъ; женился на довольно хорошенькой; взялъ за нею двѣсти душъ приданого и нѣсколько тысячъ капиталу. Капиталъ былъ тотчасъ употребленъ на шестерку дѣйствительно отличныхъ лошадей, вызолоченные замки къ дверямъ, ручную обезьяну для дома и француза-дворецкаго. Двѣсти же душъ, вмѣстѣ съ двумястами его собственныхъ, были заложены въ ломбардъ для какихъ-то коммерческихъ оборотовъ. Словомъ, онъ былъ помѣщикъ, какъ слѣдуетъ... изрядный помѣщикъ. Кромѣ него, на обѣдѣ у генерала было нѣсколько и другихъ помѣщиковъ, но объ нихъ нечего говорить. Остальные были всѣ военные того же полка и два штабъ-офицера: полковникъ и довольно толстый майоръ. Самъ генералъ былъ дюжъ и тученъ, впрочемъ, хорошій начальникъ, какъ отзывались о немъ офицеры. Говорилъ онъ довольно густымъ, значительнымъ басомъ. Обѣдъ былъ чрезвычайный: осетрина, бѣлуга, стерляди, дрофы, спаржа, перепелки, куропатки, грибы доказывали, что поваръ еще со вчерашняго дня не бралъ въ ротъ горячаго, и четыре солдата, съ ножами въ рукахъ, работали, на помощь ему, всю ночь фрикасе и желе. Бездна бутылокъ, длинныхъ съ лафитомъ, короткошейныхъ съ мадерою, прекрасный лѣтній день, окна, открытыя напролетъ, тарелки со льдомъ на столѣ, растрепанная манишка у владѣтелей укладистаго фрака, перекрестный разговоръ, покрываемый генеральскимъ голосомъ и заливаемый шампанскимъ,—все отвѣчало одно другому. Послѣ обѣда всѣ встали съ пріятною тяжестью въ желудкахъ и, закуривъ трубки съ длинными и короткими чубуками, вышли, съ чашками кофею въ рукахъ, на крыльцо.

«Вотъ ее можно теперь посмотреть», сказалъ генералъ. «Пожалуйста, любезнѣйшій», примолвилъ онъ, обращаясь къ своему адъютанту, довольно ловкому молодому человѣку пріятной наружности: «прикажи, чтобы привели сюда гнѣ-

дую кобылу! Вотъ вы увидите сами». Тутъ генераль потянулъ изъ трубки и выпустилъ дымъ. «Она еще не слишкомъ въ холѣ: проклятый городишка! нѣтъ порядочной конюшни. Лошадь, пуфъ, пуфъ, очень порядочная».

«И давно, ваше превосходительство, пуфъ, пуфъ, изволи- те имѣть ее?» сказалъ Чертокуцкій.

«Пуфъ, пуфъ, пуфъ, пу... пуфъ, не такъ давно; всего только два года, какъ она взята мною съ завода».

«И получить ее изволили обѣзженную, или уже здѣсь изволили обѣздить?»

«Пуфъ, пуфъ, пу, пу, пу...у...у...фъ, здѣсь». Сказавши это, генераль весь исчезнулъ въ дымъ.

Между тѣмъ изъ конюшни выпрыгнулъ солдатъ, послышался стукъ копытъ, наконецъ показался другой, въ бѣломъ балахонѣ съ черными огромными усами, ведя за узду вздрагивавшую и пугавшуюся лошадь, которая, вдругъ поднявъ голову, чуть не подняла вверху присѣвшаго къ землѣ солдата вмѣстѣ съ его усами. «Ну-жъ, ну, Аграфена Ивановна!» говорилъ онъ, подводя ее подъ крыльцо.

Кобыла называлась Аграфена Ивановна. Крѣпкая и дикая, какъ южная красавица, она грянула копытами въ деревянное крыльцо и вдругъ остановилась.

Генераль, опустивши трубку, началъ смотрѣть съ довольнымъ видомъ на Аграфену Ивановну. Самъ полковникъ, сошедши съ крыльца, взялъ Аграфену Ивановну за морду. Самъ майоръ потрепалъ Аграфену Ивановну по ногѣ, прочіе пощелкали языкомъ.

Чертокуцкій сошелъ съ крыльца и зашелъ ей взадъ. Солдатъ, вытянувшись и держа узду, глядѣлъ прямо посѣтителемъ въ глаза, будто бы хотѣлъ вскочить въ нихъ.

«Очень, очень хорошая!» сказалъ Чертокуцкій. «Статистая лошадь! А позвольте, ваше превосходительство, узнать, какъ она ходитъ?»

«Шагъ у нея хорошъ, только... чортъ его знаетъ... этотъ дуракъ фельдшеръ дать ей какихъ-то пилюль, и вотъ уже два дня все чихаетъ».

«Очень, очень хороша! А имѣете ли, ваше превосходительство, соотвѣтствующій экипажъ?»

«Экипажъ?... Да вѣдь это верховая лошадь».

«Я это знаю; но я спросилъ, ваше превосходительство,

для того, чтобъ узнать, имѣете ли и къ другимъ лошадямъ соотвѣтствующій экипажъ?»

«Ну, экипажей у меня не слишкомъ достаточно. Мнѣ, признаться вамъ сказать, давно хочется имѣть нынѣшнюю коляску. Я писалъ объ этомъ брату моему, который теперь въ Петербургѣ, да не знаю, пришлетъ ли онъ, или нѣтъ».

«Мнѣ кажется, ваше превосходительство», замѣтилъ полковникъ: «нѣтъ, лучше коляски, какъ вѣнская».

«Вы справедливо думаете, пуфъ, пуфъ, пуфъ».

«У меня, ваше превосходительство, есть чрезвычайная коляска, настоящей вѣнской работы».

«Какая? та, въ которой вы пріѣхали?»

«О, нѣтъ; это такъ, развѣздная, собственно для моихъ поѣздокъ, но та... это удивительно, легка, какъ перышко, а когда вы сядете въ нее, то, просто, какъ бы, съ позволенія вашего превосходительства, нянька васъ въ люлькѣ качала!»

«Стало-быть покойна?»

«Очень, очень покойна; подушки, рессоры, это все какъ будто на картинкѣ нарисовано».

«Это хорошо».

«А ужъ укладиста какъ! то-есть, я, ваше превосходительство, и не видывалъ еще такой. Когда я служилъ, то у меня въ ящики помѣщалось десять бутылокъ рому и двадцать фунтовъ табаку, кромѣ того, со мною еще было около шести мундировъ, бѣлье и два чубука, ваше превосходительство, самые длинные, а въ карманы можно цѣлаго быка помѣстить».

«Это хорошо».

«Я, ваше превосходительство, заплатилъ за нее четыре тысячи».

«Судя по цѣнѣ, должна быть хороша. И вы купили ее сами?»

«Нѣтъ, ваше превосходительство, она досталась по случаю. Ее купилъ мой другъ, рѣдкій человекъ, товарищъ моего дѣтства, съ которымъ бы вы сошлись совершенно; мы съ нимъ, что твое, что мое—все равно. Я выигралъ ее у него въ карты. Не угодно ли, ваше превосходительство, сдѣлать мнѣ честь пожаловать завтра ко мнѣ отобѣдать? и коляску вмѣстѣ посмотрите».

«Я не знаю, чтѣ вамъ на это сказать. Мнѣ одному

какъ-то... Развѣ ужъ позвольте вмѣстѣ съ господами офицерами?»

«И господъ офицеровъ прошу покорнѣйше. Господа! я почту себѣ за большую честь имѣть удовольствіе видѣть васъ въ своемъ домѣ».

Полковникъ, майоръ и прочіе офицеры отблагодарили учтивымъ поклономъ.

«Я, ваше превосходительство, самъ того мнѣнія, что если покупать вещь, то непременно хорошую; а если дурную, то нечего и заводить. Вотъ у меня, когда сдѣлаете мнѣ честь завтра пожаловать, я покажу кое-какія статьи, которыя я самъ завелъ по хозяйственной части».

Генераль посмотрѣлъ и выпустилъ изо рта дымъ.

Чертокуцкій былъ чрезвычайно доволенъ, что пригласилъ къ себѣ господъ офицеровъ; онъ заранѣе заказывалъ въ головѣ своей паштеты и соусы, посматривалъ очень весело на господъ офицеровъ, которые также, съ своей стороны, какъ-то удвоили къ нему свое расположеніе, что было замѣтно изъ глазъ ихъ и небольшихъ тѣлодвиженій, въ родѣ полупоклоновъ. Чертокуцкій выступилъ впередъ какъ-то развязнѣе, и голосъ его принялъ расслабленіе — выраженіе голоса, обремененнаго удовольствіемъ.

«Тамъ, ваше превосходительство, познакомитесь съ хозяйкой дома».

«Мнѣ очень пріятно», сказалъ генераль, поглаживая усы.

Чертокуцкій послѣ этого хотѣлъ немедленно отправиться домой, чтобы заблаговременно приготовить все къ принятію гостей къ завтрашнему обѣду; онъ взялъ уже было и шляпу въ руки, но какъ-то такъ странно случилось, что онъ остался еще на нѣсколько времени. Между тѣмъ уже въ комнатахъ были разставлены ломберные столы. Скоро все общество раздѣлилось на четверныя партіи въ вистъ и разсѣлось въ разныхъ углахъ генеральскихъ комнатъ.

Подали свѣчи. Чертокуцкій долго не зналъ, садиться или не садиться ему за вистъ. Но какъ господа офицеры начали приглашать, то ему показалось очень несогласно съ правилами общежитія отказаться—онъ присѣлъ. Нечувствительно очутился передъ нимъ стаканъ съ пуншемъ, который онъ, позабывшись, въ ту же минуту выпилъ. Сыгравши два робера, Чертокуцкій опять нашелъ подъ рукою стаканъ съ



пуншемъ, который, тоже позабывшись, выпилъ, сказавши напередъ: «Пора, господа, мнѣ домой; право, пора». Но опять присѣлъ и на вторую партію. Между тѣмъ разговоръ въ разныхъ углахъ комнаты принялъ совершенно частное направленіе. Играющіе въ вистъ были довольно молчаливы; но неиграющіе, сидѣвшіе на диванахъ въ сторонѣ, вели свой разговоръ. Въ одномъ углу штабъ-ротмистръ, подложивши себѣ подъ бокъ подушку, съ трубкою въ зубахъ, рассказывалъ довольно свободно и плавно любовныя свои приключенія и овладѣлъ совершенно вниманіемъ собравшагося около него кружка. Одинъ чрезвычайно толстый помѣщикъ съ короткими руками, нѣсколько похожими на два выросшіе картофеля, слушалъ съ необыкновенно сладкою миною и только по временамъ силился запустить коротенькую свою руку за широкую спину, чтобъ вытащить оттуда табакерку. Въ другомъ углу завязался довольно жаркій споръ объ эскадронномъ ученіи, и Чертокуцкій, который въ это время уже, вмѣсто дамы, два раза сбросилъ валета, вмѣшивался вдругъ въ чужой разговоръ и кричалъ изъ своего угла: «въ которомъ году?» или «какого полка?» не замѣчая, что иногда вопросъ совершенно не приходился къ дѣлу. Наконецъ, за нѣсколько минутъ до ужина, вистъ прекратился, но онъ продолжался еще на словахъ, и, казалось, головы всѣхъ были полны вистомъ. Чертокуцкій очень помнилъ, что выигралъ много, но руками не взялъ ничего и, вставши изъ-за стола, долго стоялъ въ положеніи человѣка, у котораго нѣтъ въ карманѣ носового платка. Между тѣмъ подали ужинъ. Само собою разумѣется; что въ винахъ не было недостатка и что Чертокуцкій почти невольно долженъ былъ иногда наливать въ стаканъ себѣ, потому что направо и налѣво стояли у него бутылки.

Разговоръ затянулся за столомъ предлинный, но, впрочемъ, какъ-то странно онъ былъ веденъ: одинъ полковникъ, служившій еще въ кампанію 1812 года, рассказалъ такую баталію, какой никогда не было, и потомъ, совершенно неизвѣстно по какимъ причинамъ, взялъ пробку изъ графина и воткнулъ ее въ пирожное. Словомъ, когда начали разбѣжаться, то уже было три часа, и кучера должны были нѣсколькихъ особъ взять въ охапку, какъ бы узелки съ покупкою, и Чертокуцкій, несмотря на весь аристократизмъ свой, сидя въ коляскѣ, такъ низко кланялся и съ такимъ

размахомъ головы, что, прїѣхавши домой, привезъ въ усахъ своихъ два репейника.

Въ домѣ все совершенно спало; кучеръ едва могъ сыскать камердинера, который проводилъ господина черезъ гостиную, сдать горничной дѣвушкѣ, за которою кое-какъ Чертокуцкій добрался до спальни и уложился возлѣ своей молоденькой и хорошенькой жены, лежавшей прелестнѣйшимъ образомъ въ бѣломъ, какъ снѣгъ, спальномъ платьѣ. Движеніе, произведенное паденіемъ ея супруга на кровать, разбудило ее. Протянувшись, поднявши рѣсницы и три раза быстро зажмуривши глаза, она открыла ихъ съ полусердитою улыбкою; но, видя, что онъ рѣшительно не хочетъ оказать на этотъ разъ никакой ласки, съ досады поворотилась на другую сторону и, положивъ свѣжую свою щеку на руку, скоро послѣ него заснула.

Было уже такое время, которое по деревнямъ не называется *рано*, когда проснулась молодая хозяйка возлѣ храпѣвшаго супруга. Вспомнивши, что онъ возвратился вчера домой въ четвертомъ часу ночи, она пожелала будить его и, надѣвъ спальныя башмачки, которые супругъ ея выписалъ изъ Петербурга, въ бѣлой кофточкѣ, драпировавшейся на ней, какъ льняная вода, она вышла въ свою уборную, умылась свѣжею, какъ сама, водою и подошла къ туалету. Взглянувши на себя раза два, она увидѣла, что сегодня очень недурна. Это, повидимому, незначительное обстоятельство заставило ее просидѣть передъ зеркаломъ ровно два часа липшихъ. Наконецъ, она одѣлась очень мило и вышла освѣжиться въ садъ. Какъ нарочно, время было тогда прекрасное, какимъ можетъ только похвалиться лѣтній южный день. Солнце, вступивши на полдень, жарило всею силою лучей; но подъ темными густыми аллеями гулять было прохладно; и цвѣты, пригрѣтые солнцемъ, утраивали свой запахъ. Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о томъ, что уже двѣнадцать часовъ, а супругъ ея спитъ. Уже доходило до слуха ея послѣобѣденное храпѣнье двухъ кучеровъ и одного фореитора, спавшихъ въ конюшнѣ, находившейся за садомъ. Но она все сидѣла въ густой аллѣй, изъ которой былъ открытъ видъ на большую дорогу, и разсѣянно глядѣла на безлюдную ея пустынную, какъ вдругъ показавшаяся вдали пыль привлекла ея вниманіе. Всмотрѣвшись, она скоро увидѣла нѣсколько экипажей. Впереди

ѣхала открытая двумѣстная легонькая колясочка; въ ней сидѣлъ генералъ съ толстыми, блестящими на солнцѣ, эполетами, и рядомъ съ нимъ полковникъ. За ней слѣдовала другая четверомѣстная; въ ней сидѣлъ майоръ съ генеральскимъ адъютантомъ и еще двумя, насупротивъ сидѣвшими, офицерами; за коляской слѣдовали извѣстныя всѣмъ полковыя дрожки, которыми владѣлъ на этотъ разъ тучный майоръ; за дрожками — четверомѣстный бонвояжъ, въ которомъ сидѣли четыре офицера и пятый на рукахъ; за бонвояжемъ рисовались три офицера на прекрасныхъ гнѣдыхъ лошадяхъ въ темныхъ яблокахъ.

«Неужели это къ намъ?» подумала хозяйка дома. «Ахъ, Боже мой! въ самомъ дѣлѣ — они поворотили на мостъ!» Она вскрикнула, всплеснула руками и побѣжала чрезъ клумбы и цвѣты прямо въ спальню своего мужа. Онъ спалъ мертвецки.

«Вставай, вставай! вставай скорѣе!» кричала она, дергая его за руку.

«А?» проговорилъ, потягиваясь, Чертокуцкій, не раскрывая глазъ.

«Вставай, пулупультикъ! слышишь ли? гости!»

«Гости? какіе гости?...» Сказавши это, онъ испустилъ небольшое мычаніе, какое издаетъ теленокъ, когда ищетъ мордою сосцовъ своей матери. «Мм...» ворчалъ онъ: «протяни, моньмуна, свою шейку! я тебя поцѣлую».

«Душенька, вставай, ради Бога, скорѣй! Генералъ съ офицерами! Ахъ, Боже мой, у тебя въ усахъ репейникъ!»

«Генералъ? А, такъ онъ уже ѣдетъ? Да что же это, чортъ возьми, меня никто не разбудилъ? А обѣдъ, что-жъ обѣдъ? Все ли тамъ, какъ слѣдуетъ, готово?»

«Какой обѣдъ?»

«А развѣ я не заказывалъ?»

«Ты? ты пріѣхалъ въ четыре часа ночи и, сколько я ни спрашивала тебя, ты ничего не сказалъ мнѣ. Я тебя, пулупультикъ, потому не будила, что мнѣ жаль тебя стало: ты ничего не спалъ...» Последнія слова сказала она чрезвычайно томнымъ и умоляющимъ голосомъ.

Чертокуцкій, вытаращивъ глаза, минуту лежалъ на постели, какъ громомъ пораженный; наконецъ, вскочилъ онъ въ одной рубашкѣ съ постели, позабывши, что это вовсе неприлично.

«Ахъ, я лошадь!» сказалъ онъ, ударивъ себя по лбу: «я звалъ ихъ на обѣдъ! Что дѣлать? Далеко они?»

«Я не знаю... они должны сію минуту уже быть».

«Душенька... спрячься!.. Эй, кто тамъ? Ты, дѣвчонка! ступай — чего дура боишься? — придутъ офицеры сію минуту: ты скажи, что барина нѣтъ дома; скажи, что и не будетъ совсѣмъ, что еще съ утра выѣхалъ... слышишь? и дворовымъ всѣмъ объяви; ступай скорѣе!»

Сказавши это, онъ схватилъ наскоро халатъ и побѣжалъ спрятаться въ экипажный сарай, полагая тамъ положеніе свое совершенно безопаснымъ. Но, ставши въ углу сарая, онъ увидѣлъ, что и здѣсь можно было его какъ-нибудь увидѣть. «А вотъ это будетъ лучше», мелькнуло въ его головѣ, и онъ въ одну минуту отбросилъ ступени близъ стоявшей коляски, вскочилъ туда, закрылъ за собою дверцы, для большей безопасности закрылся фартукомъ и кожею, и притихъ совершенно, согнувшись въ своемъ халатѣ.

Между тѣмъ экипажи подъѣхали къ крыльцу.

Вышелъ генералъ и встряхнулся; за нимъ — полковникъ, поправляя руками султанъ на своей шляпѣ; потомъ соскочилъ съ дрожекъ толстый майоръ, держа подъ мышкою саблю; потомъ выпрыгнули изъ бонвоая тоненькіе подпоручики съ сидѣвшимъ на рукахъ прапорщикомъ; наконецъ, сошли съ сѣделъ рисовавшіеся на лошадяхъ офицеры.

«Барина нѣтъ дома», сказалъ, выходя на крыльцо, лакей.

«Какъ — нѣтъ? Стало-быть, онъ, однакожъ, будетъ къ обѣду?»

«Никакъ нѣтъ. Они уѣхали на весь день. Завтра развѣ около этого только времени будутъ».

«Вотъ тебѣ на!» сказалъ генералъ: «какъ же это?..»

«Признаюсь, это штука», сказалъ полковникъ, смѣясь.

«Да нѣтъ, какъ же этакъ дѣлать?» продолжалъ генералъ съ неудовольствіемъ. «Фить... Чортъ... Ну, не можешь принять, зачѣмъ спрашивать?»

«Я, ваше превосходительство, не понимаю, какъ можно это дѣлать», сказалъ одинъ молодой офицеръ.

«Что?» сказалъ генералъ, имѣвшій обыкновеніе всегда произносить эту вопросительную частицу, когда говорилъ съ оберъ-офицеромъ.

«Я говорилъ, ваше превосходительство: какъ можно поступать такимъ образомъ!»

«Натурально... Ну, не случилось, что ли — дай знать по крайней мѣрѣ, или не проси».

«Что-жъ, ваше превосходительство, нечего дѣлать, поѣдете назадъ!» сказалъ полковникъ.

«Разумѣется, другого средства нѣтъ. Впрочемъ, коляску мы можемъ посмотреть и безъ него. Онъ, вѣрно, ея не взялъ съ собою. Эй, кто тамъ? Подойди, братецъ, сюда!»

«Чего изволите?»

«Ты конюхъ?»

«Конюхъ, ваше превосходительство».

«Покажи-ка намъ новую коляску, которую недавно досталъ баринъ».

«А вотъ, пожалуйста въ сарай».

Генераль отправился вмѣстѣ съ офицерами въ сарай.

«Вотъ извольте, я ее немного выкачу: здѣсь темненько».

«Довольно, довольно, хорошо!»

Генераль и офицеры обошли вокругъ коляску и тщательно осмотрѣли колеса и рессоры.

«Ну, ничего нѣтъ особеннаго», сказалъ генераль: «коляска самая обыкновенная».

«Самая неказистая», сказалъ полковникъ: «совершенно нѣтъ ничего хорошаго».

«Мнѣ кажется, ваше превосходительство, она совсѣмъ не стоитъ четырехъ тысячъ», сказалъ одинъ изъ молодыхъ офицеровъ.

«Что?»

«Я говорю, ваше превосходительство, что, мнѣ кажется, она не стоитъ четырехъ тысячъ».

«Какое четырехъ тысячъ! она и двухъ не стоитъ. Просто, ничего нѣтъ. Развѣ внутри есть что-нибудь особенное... Пожалуйста, любезный, отстегни кожу...»

И глазамъ офицеровъ предсталъ Чертокуцкій, сидящій въ халатѣ и согнувшійся необыкновеннымъ образомъ.

«А, вы здѣсь!..» сказалъ изумившійся генераль.

Сказавши это, генераль тутъ же захлопнулъ дверцы, закрылъ опять Чертокуцкаго фартукомъ и ухѣлъ вмѣстѣ съ господами офицерами.



## Р И М Ъ.

### ОТРЫВОКЪ.

Попробуй взглянуть на молнію, когда, раскрывши черныя, какъ уголь, тучи, нестерпимо затрепещетъ она цѣлымъ потокомъ блеска: таковы очи у альбанки Аннунціаты. Все напоминаетъ въ ней тѣ античныя времена, когда оживлялся мраморъ и блистали скульптурныя рѣзцы. Густая смола волосъ тяжеловѣсной косою вознеслась въ два кольца надъ головою и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шеѣ. Какъ ни поворотитъ она сіяющій снѣгъ своего лица—образъ ея весь отпечатѣлся въ сердцѣ. Станетъ ли профилемъ — дивнымъ благородствомъ дышитъ профиль, и мечется красота линий, какихъ не создавала кисть. Обратится ли затылкомъ съ подобранными кверху чудесными волосами, показавъ сверкающую позади шею и красоту невиданныхъ землею плечъ — и тамъ она чудо! Но чудеснѣе всего, когда глянетъ она прямо очами въ очи, водрузивши хладъ и замѣранье въ сердце. Полный голосъ ея звенитъ, какъ мѣдь. Никакой гибкой пантерѣ не сравнится съ ней въ быстротѣ, силѣ и гордости движеній. Все въ ней вѣнецъ созданья, отъ плечъ до античной дышавшей ноги и до послѣдняго пальчика на ея ногѣ. Куда ни пойдетъ она—уже несетъ съ собою картину: спѣшитъ ли ввечеру къ фонтану съ кованной мѣдной вазой на головѣ — вся проникается чуднымъ согласіемъ обнимающая ее окрестность: легче уходить въ даль чудесныя линии альбанскихъ горъ,

сияе глубина римскаго неба, прямѣй летить вверхъ рисъ, и красавица южныхъ деревъ, римская пинна, и чище рисуется на небѣ своею зонтикообразною, плывущею на воздухѣ верхушкою. И все: и самый фонтанъ, гдѣ уже столпились въ кучу на мраморныхъ ступеняхъ, одна выше другой, альбанскія горожанки, перебивающіяся сильными серебряными голосами, пока передно бьетъ вода звонкой алмазною дугою въ подставляемые мѣдные чаны, и самый фонтанъ, и самая толпа,—все идетъ, жется, для нея, чтобы ярче выказать торжествующую красоту, чтобы видно было, какъ она предводитъ всѣмъ. Удобно, какъ царица предводитъ за собою придворный чинъ свой. Въ праздничный ли день, когда темная древесная аллея, ведущая изъ Альбано въ Кастель-Гандольфо, полна празднично-убраннаго народа, когда мелькаютъ въ сумрачныхъ ея сводахъ щеголи Минентии въ бархатныхъ убранствѣ, съ яркими поясами и золотистымъ цвѣткомъ въ пуховой шляпѣ; бредутъ или несутся вскачь ослы съ помраченными глазами, живописно неся на себѣ стройныя и сильныхъ альбанскихъ и фраскатанскихъ женщинъ, далеко блистающихъ бѣлыми головными уборами, или тамъ вовсе не живописно, съ трудомъ и спотыкаясь, длиннаго неподвижнаго англичанина въ гороховомъ непроницаемомъ макинтошѣ, скорчившаго въ острый уголъ свои ноги, чтобы не зацѣпить ими земли, или неся художника въ блузѣ съ деревяннымъ ящикомъ на ремнѣ и ловкой вандиковской бородкой, а тѣнь и солнце бѣгутъ попеременно по всей группѣ,—и тогда, и въ оный праздничный день прелесть ея далеко лучше, чѣмъ безъ нея. Глубина галереи выдаетъ ее изъ сумрачной темноты своей всю сверкающую всю въ блескѣ. Пурпурное сукно альбанскаго ея наряда вспыхиваетъ, какъ ищерь, тронутое солнцемъ. Чудный праздникъ летитъ съ лица ея навстрѣчу всѣмъ. И, повстрѣчавъ ее, останавливаются, какъ вкопанные: и щеголь Минентии съ цвѣткомъ за шляпой, издавши невольно восклицаніе; и англичанинъ въ гороховомъ макинтошѣ, показавъ вопросительный знакъ на неподвижномъ лицѣ своемъ; и художникъ съ вандиковской бородкой, долѣе всѣхъ остановившійся на одномъ мѣстѣ, подумывая: «то-то была бы чудная модель для Діаны, гордой Юноны, соблазнительныхъ грацій и всѣхъ женщинъ, какія только передавались

на полотно!» и дерзновенно думая въ то же время: «то-то быть бы рай, если бъ такое диво украсило навсегда смиренную его мастерскую».

Но кто же тотъ, чей взглядъ неотразимѣе вперился за ея слѣдомъ? Кто сторожить ея рѣчи, движенія и движенія мыслей на ея лицѣ? Двадцатипятилѣтній юноша, римскій князь, потомокъ фамиліи, составлявшей когда-то честь, гордость и безславіе среднихъ вѣковъ, нынѣ пустынно догорающей въ великолѣпномъ дворцѣ, исписанномъ фресками Гверчина и Караччей, съ потускнѣвшей картинной галлереей, съ полинявшими штофами, лазурными столами и посѣдѣвшимъ, какъ лунъ, *maestro di casa*. Его-то увидали недавно римскія улицы, несущаго свои черныя очи, метатели огней изъ-за перекинутого черезъ плечо плаща, носъ, очеркнутый античной линіей, слоновую бѣлизну лба и брошенный на него легучій шелковый локонъ. Онъ появился въ Римѣ послѣ пятнадцати лѣтъ отсутствія, появился гордымъ юношею вмѣсто еще недавно бывшаго дитяти.

Но читателю нужно знать непременно, какъ все это свершилось, и потому пробѣжимъ наскоро исторію его жизни, еще молодой, но уже обильной многими сильными впечатлѣніями. Первоначальное дѣтство его протекло въ Римѣ; воспитывался онъ такъ, какъ въ обычаѣ у доживающихъ вѣкъ свой римскихъ вельможъ. Учитель, гувернеръ, дядька и все, что угодно, было у него аббатъ, строгій классикъ, почитатель писемъ Пьетра Бембо, сочиненій Джіованни della Casa и пяти-шести пѣсней Данта, читавшій ихъ не иначе, какъ съ сильными восклицаніями: «*Dio, che cosa divina!*» и потомъ черезъ двѣ строки: «*Diavolo, che divina cosa!*» въ чемъ состояла почти вся художественная оцѣнка и критика,—обращавшій остальной разговоръ на брокколи и артишоки, любимый свой предметъ, знавшій очень хорошо, въ какое время лучше телятина, съ какого мѣсяца нужно начинать ѣсть козленка, любившій обо всемъ этомъ поболтать на улицѣ, встрѣтись съ пріятелемъ, другимъ аббатомъ, обтягивавшій весьма ловко полныя икры свои въ шелковые черныя чулки, прежде записнувши подъ нихъ шерстяные; чистившій себя регулярно одинъ разъ въ мѣсяцъ лѣкарствомъ *olio di ricino* въ чашкѣ кофею, и полившій съ каждымъ днемъ и часомъ, какъ поливаютъ всѣ аббаты. Натурально, что молодой князь узнать не много подъ такимъ началомъ. Узнать



онъ только, что латинскій языкъ есть отецъ итальянскаго. что монсиньоры бываютъ трехъ родовъ: одни въ черныхъ чулкахъ, другіе въ щюловыхъ, а третьи такіе, которые бываютъ почти то же, что кардиналы; узналъ нѣсколько писемъ Пиетра Бембо къ тогдашнимъ кардиналамъ, болышею частью поздравительныхъ; узналъ хорошо улицу Корсо, по которой ходилъ прогуливаться съ аббатомъ, да виллу Боргезе, да двѣ-три лавки, передъ которыми останавливался аббатъ для закупки бумаги, перьевъ и нюхательнаго табаку, да аптеку, гдѣ бралъ онъ свое *olio di ricino*. Въ этомъ заключался весь горизонтъ свѣдѣній воспитанника. О другихъ земляхъ и государствахъ аббатъ намекнулъ въ какихъ-то неясныхъ и нетвердыхъ чертахъ: что есть земля Франція, богатая земля, что англичане — хорошіе купцы и любятъ ѣздить, что нѣмцы — пьяницы, и что на сѣверѣ есть варварская земля Московія, гдѣ бываютъ такіе жестокие морозы, отъ которыхъ можетъ лопнуть мозгъ человѣческій. Далѣе сихъ свѣдѣній воспитанникъ вѣроятно бы не узналъ, достигнувъ до двадцатипятилѣтняго своего возраста, если-бы старому князю не пришла вдругъ въ голову идея перемѣнить старую методу воспитанія и дать сыну образованіе европейское, что можно было отчасти приписать вліянію какой-то французской дамы, на которую онъ съ недавняго времени сталъ наводить безпрестанно лорнетъ на всѣхъ театрахъ и гуляньяхъ, засовывая поминутно свой подбородокъ въ огромный бѣлый жабо и поправляя черный локонъ на парикѣ. Молодой князь былъ отправленъ въ Лукку, въ университетъ. Тамъ, во время шестилѣтняго его пребывания, развернулась его живая итальянская природа, дремавшая подъ скучнымъ надзоромъ аббата. Въ юности оказалась душа, жадная наслажденій избранныхъ, и наблюдательный умъ. Итальянскій университетъ, гдѣ наука влачилась, скрытая въ черствыхъ схоластическихъ образахъ, не удовлетворяла новой молодежи, которая уже слышала урывками о ней живые намеки, перелетавшіе черезъ Альпы. Французское вліяніе становилось замѣтно въ Верхней Италіи: оно заносилось туда вмѣстѣ съ модами, виньетками, водевилями и напряженными произведеніями необузданной французской музыки, чудовищной, горячей, но мѣстами не безъ признаковъ таланта. Сильное политическое движеніе въ журналахъ съ іюльской революціи отзывалось и здѣсь. Мечтали о возвра-

ценіи погибшей итальянской славы, съ негодованіемъ глядѣли на ненавистный бѣлый мундиръ австрійскаго солдата. Но итальянская природа, любительница покойныхъ наслажденій, не вспыхнула возстаніемъ, надъ которымъ не позадумался бы французъ; все окончилось только непреодолимымъ желаніемъ побывать въ заальпійской, въ настоящей Европѣ. Вѣчное ея движеніе и блескъ заманчиво мелькали вдали. Тамъ была новость, противоположность ветхости итальянской, тамъ начиналось XIX столѣтіе, европейская жизнь. Сильно порывалась туда душа молодого князя, чая приключеній и свѣта, и всякій разъ тяжелое чувство грусти его осѣняло, когда онъ видѣлъ совершенную къ тому невозможность: ему былъ извѣстенъ непреклонный деспотизмъ стараго князя, съ которымъ было ему не подъ силу ладить, — какъ вдругъ получилъ онъ отъ него письмо, въ которомъ предписано было ему ѣхать въ Парижъ, окончить ученіе въ тамошнемъ университетѣ и дожидаться въ Луккѣ только пріѣзда дяди, съ тѣмъ, чтобы отправиться съ нимъ вмѣстѣ. Молодой князь прыгнулъ отъ радости, перецѣловалъ всѣхъ своихъ друзей, угостилъ всѣхъ въ загородной остеріи и черезъ двѣ недѣли былъ уже въ дорогѣ, съ сердцемъ, готовымъ встрѣтить радостнымъ бѣшеніемъ всякій предметъ. Когда переѣхали Симплонъ, пріятная мысль пробѣжала въ головѣ его: онъ на другой сторонѣ, онъ въ Европѣ! Дикое безобразіе швейцарскихъ горъ, громоздившихся безъ перспективы, безъ легкихъ далей, нѣсколько ужаснуло его взоръ, пріученный къ высоко-спокойной, нѣжащей красотѣ итальянской природы. Но онъ просвѣтлѣлъ вдругъ при видѣ европейскихъ городовъ, великолѣпныхъ, свѣтлыхъ гостиницъ, удобствъ, разставленныхъ всякому путешественнику, располагающемуся, какъ дома. Шеголеватая чистота, блескъ — все было ему ново. Въ нѣмецкихъ городахъ нѣсколько поразилъ его странный складъ тѣла нѣмцевъ, лишенный строинаго согласія красоты, чувство которой зарождено уже въ груди итальянца; нѣмецкій языкъ также поразилъ непріятно его музыкальное ухо. Но передъ нимъ была уже французская граница; сердце его дрогнуло. Порхающіе звуки европейскаго моднаго языка, лаская, облобызали слухъ его. Онъ съ тайнымъ удовольствіемъ ловилъ скользящій шелестъ ихъ, который еще въ Италіи казался ему чѣмъ-то возвышеннымъ, очищеннымъ отъ всѣхъ судорожныхъ движеній, ка-

кими сопровождаются сильные языки полуденныхъ народовъ, не умѣющихъ держать себя въ границахъ. Еще большее впечатлѣніе произвелъ на него особый родъ женщинъ, легкихъ, порхающихъ. Его поразило это улетучившееся существо, съ едва выначавшимися легкими формами, съ маленькой ножкой, съ тоненькимъ воздушнымъ станомъ, съ отвѣтнымъ огнемъ во взорахъ и легкими, почти не выговаривающимися рѣчами. Онъ ждалъ съ нетерпѣніемъ Парижа, населялъ его башнями, дворцами, составилъ себѣ по-своему образъ его и съ сердечнымъ трепетомъ увидѣлъ, наконецъ, близкіе признаки столицы: наклеенныя афиши, исполинскія буквы, умножавшіеся дилижансы, омнибусы... наконецъ, понеслись дома предмѣстья. И вотъ онъ въ Парижѣ, безсвязно обнятый его чудовищною наружностью, пораженный движеніемъ, блескомъ улицъ, беспорядкомъ крышъ, гущиной трубъ, безархитектурными сплоченными массами домовъ, облѣпленныхъ тѣсной лоскутностью магазиновъ, безобразіемъ нагихъ, не прислоненныхъ боковыхъ стѣнъ, безчисленной смѣшанной толпой золотыхъ буквъ, которыя лѣзли на стѣны, на окна, на крыши и даже на трубы, свѣтлой прозрачностью нижнихъ этажей, состоявшихъ только изъ однихъ зеркальныхъ стеколъ. Вотъ онъ, Парижъ, это вѣчное, волнующееся жерло, водометъ, мечущій искры новостей, просвѣщенія, модъ, изысканнаго вкуса и мелкихъ, но сильныхъ законовъ, отъ которыхъ не властны оторваться и сами порицатели ихъ; великая выставка всего, что производитъ мастерство, художество и всякій талантъ, скрытый въ невидныхъ углахъ Европы, трепетъ и любимая мечта двадцатилѣтняго человѣка, размѣнъ и ярмарка Европы! Какъ ошеломленный, не въ силахъ собрать себя, пошелъ онъ по улицамъ, пересыпавшимся всякимъ народомъ, исчерченными путями движущихся омнибусовъ, поражаясь то видомъ кафе, блиставшаго неслыханнымъ царскимъ убранствомъ, то знаменитыми крытыми переходами, гдѣ оглушалъ его глухой шумъ нѣсколькихъ тысячъ стучавшихъ шаговъ сплошно двигавшейся толпы, которая вся почти состояла изъ молодыхъ людей. и гдѣ ослѣплялъ его трепещущій блескъ магазиновъ, озаряемыхъ свѣтомъ, падавшимъ сквозь стеклянный потолокъ въ галлерею, то останавливаясь передъ афишами, которыя милліонами пестрѣли и толпились въ глаза, крича о двадцати четырехъ ежедневныхъ представленіяхъ

и безчисленномъ множествѣ всякихъ музыкальныхъ концертовъ; то растерявшись, наконецъ, совѣсть, когда вся эта волшебная куча вспыхнула ввечеру при волшебномъ освѣщеніи газа — всѣ дома вдругъ стали прозрачными, сильно засіявши снизу; окна и стекла въ магазинахъ, казалось, исчезли, пропали вовсе, и все, что лежало внутри ихъ, осталось прямо среди улицы нехранимо, блистая и отражаясь въ углубленныя зеркала. «*Ma quest'è una cosa divina!*» повторялъ живой итальянецъ.

И жизнь его потекла живо, какъ течетъ жизнь многихъ парижанъ и толпы многихъ молодыхъ иностранцевъ, наѣзжающихъ въ Парижъ. Въ девять часовъ утра, схватившись съ постели, онъ уже былъ въ великолѣпномъ кафе, съ модными фресками за стекломъ, съ потолкомъ, облитымъ золотомъ, съ листами длинныхъ журналовъ и газетъ, съ благороднымъ присѣшникомъ, проходившимъ мимо посѣтителей, держа великолѣпный серебряный кофейникъ въ рукѣ. Тамъ пилъ онъ съ сибаритскимъ наслажденьемъ свой жирный кофе изъ громадной чашки, нѣжась на эластическомъ, упругомъ диванѣ и вспоминая о низенькихъ, темныхъ итальянскихъ кафе съ неопрятнымъ боттегой, несущимъ невымытые стеклянные стаканы. Потомъ принимался онъ за чтеніе колоссальныхъ журнальныхъ листовъ и вспомнилъ о чахоточныхъ журналинкахъ Италіи, о какомъ-нибудь *Diario di Roma*, *il Pirato* и тому подобныхъ, гдѣ помѣщались невинныя политическія извѣстія и анекдоты чуть не о Термопилахъ и персидскомъ царѣ Даріѣ. Тутъ, напротивъ, вездѣ видно было кипѣвшее перо. Вопросы на вопросы, возраженія на возраженія — казалось, всякій изъ всѣхъ силъ топорщился: тотъ грозилъ близкой переменной вещей и предвѣщалъ разрушеніе государству; всякое чуть замѣтное движеніе и дѣйствіе камеръ и министерства, разрасталось въ движеніе огромнаго размаха между упорными партіями и почти отчаяннымъ крикомъ слышалось въ журналахъ. Даже страхъ чувствовалъ итальянецъ, читая ихъ и думая, что завтра же вспыхнетъ революція; какъ будто въ чаду, выходилъ изъ литературнаго кабинета, и только одинъ Парижъ со своими улицами могъ вывѣтрить въ одну минуту изъ головы весь этотъ грузъ. Его порхающій по всему блескъ и пестрое движеніе, послѣ этого тяжелаго чтенія, казались чѣмъ-то похожимъ на легкіе цвѣтки, взбѣжавшіе по оврагу

пропасти. Въ одинъ мигъ онъ переселялся весь на улицу и сдѣлался, подобно всѣмъ, зѣвакою во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ зѣвалъ предъ свѣтлыми, легкими продавницами, только-что вступившими въ свою весну, которыми были наполнены всѣ парижскіе магазины, какъ будто бы суровая наружность мужчины была неприлична и мелькала бы темнымъ пятномъ изъ-за цѣльныхъ стеколъ. Онъ глядѣлъ, какъ заманчиво щегольскія тонкія руки, вымытыя всякими мылами, блистали, заворачивали бумажки конфетъ, межъ тѣмъ какъ глаза свѣтло и пристально вперялись на проходящихъ, какъ рисовалась въ другомъ мѣстѣ свѣтловолосая головка въ картинномъ склонѣ, опустивши длинныя рѣсницы въ страницы моднаго романа, не видя, что около нея собралась уже куча молодежи, разсматривающая и ея легкую снѣжную шейку, и всякій волосокъ на головѣ ея, подслушивающая самое колебаніе груди, произведенное чтеніемъ. Онъ зѣвалъ и передъ книжной лавкой, гдѣ, какъ пауки, темнѣли на слоновой бумагѣ черныя виньетки, набросанныя размахисто, сгоряча, такъ что иногда и разобрать нельзя было, что на нихъ такое, и глядѣли іероглифами странныя буквы. Онъ зѣвалъ и передъ машиной, которая одна занимала весь магазинъ и ходила за зеркальнымъ стекломъ, катая огромный валь, растирающій шоколадъ. Онъ зѣвалъ предъ лавками, гдѣ останавливаются по цѣлымъ часамъ парижскіе крокодилы, засунувъ руки въ карманы и разинувъ ротъ, гдѣ краснѣлъ въ зелени огромный морской ракъ, воздымалась набитая трюфелями индѣйка, съ лаконическою надписью: «300 fr.», и мелькали золотистымъ перомъ и хвостами желтыя и красныя рыбы въ стеклянныхъ вазахъ. Онъ зѣвалъ и на широкихъ бульварахъ, царственно проходящихъ поперекъ весь тѣсный Парижъ, гдѣ среди города стояли деревья въ ростъ шестиэтажныхъ домовъ, гдѣ на асфальтовые тротуары валила наѣздная толпа и куча доморощенныхъ парижскихъ львовъ и тигровъ, не всегда вѣрно изображаемыхъ въ повѣстяхъ. И, назѣвавшись вдоволь и досыта, взбирался онъ къ ресторану, гдѣ уже давно сіяли газомъ зеркальныя стѣны, отражая въ себѣ безчисленныя толпы дамъ и мужчинъ, шумѣвшихъ рѣчами за маленькими столиками, разбросанными по залу. Послѣ обѣда ужъ онъ спѣшилъ въ театръ, недоумѣвая только, который выбрать: на каждомъ изъ нихъ своя знаменитость, на каждомъ свой авторъ, свой актеръ.

Вездѣ новость. Тамъ блещетъ водевилъ, живой, вѣтреный, какъ самъ французъ, новый всякій день, создавшійся весь въ три минуты досуга, смѣлившій весь отъ начала до конца, благодаря неистощимымъ капризамъ веселости актера; тамъ горячая драма. — И онъ невольно сравнилъ сухую, тощую драматическую сцену Италіи, гдѣ повторялись одинъ и тотъ же старикъ Гольдони, знаемый всѣми наизусть, или же новыя комедійки, невинныя и наивныя до того, что ребенокъ бы соскучился надъ ними; онъ сравнилъ ихъ тощую группу съ этимъ живымъ, торопливымъ драматическимъ наводненіемъ, гдѣ все кovaloсь, пока было горячо, гдѣ всякій боялся только, чтобы не простыла его новость. Насмѣявшись досыта, наволновавшись, наглядѣвшись, утомленный, подавленный впечатлѣніями, возвращался онъ домой и бросался въ постель, которая, какъ извѣстно, одна только, нужна французу въ его комнатѣ: кабинетомъ, обѣдомъ и вечернимъ освѣщеніемъ онъ пользуется въ публичныхъ мѣстахъ. Но князь, однакоже, не позабылъ съ этимъ разнообразнымъ званіемъ соединить занятій ума, которыхъ требовала нетерпѣливо душа его. Онъ принялся слушать всѣхъ знаменитыхъ профессоровъ. Живая рѣчь, часто восторженная, новыя точки и стороны, подмѣченные рѣчивымъ профессоромъ, были неожиданны для молодого итальянца. Онъ чувствовалъ, какъ стала спадать съ глазъ его пелена, какъ въ другомъ, яркомъ видѣ возставали передъ нимъ прежде незамѣченные предметы, и самый пріобрѣтенный имъ хламъ кое-какихъ знаній, которыя обыкновенно погибаютъ у большей части людей безъ всякихъ примѣненій, пробуждался и, оглянутый другимъ глазомъ, утверждался навсегда въ его памяти. Онъ не пропустилъ также услышать ни одного знаменитаго проповѣдника, публициста, оратора камерныхъ преній и всего, чѣмъ шумно гремитъ въ Европѣ Парижъ. Несмотря на то, что не всегда доставало ему средствъ, что старый князь присылалъ ему содержаніе, какъ студенту, а не какъ князю, онъ успѣлъ, однакоже, найти случай побывать вездѣ, найти доступъ ко всѣмъ знаменитостямъ, о которыхъ трубятъ, повторяя другъ друга, европейскіе листки; даже увидать въ лицо тѣхъ модныхъ писателей, которыхъ странными созданіями была поражена, на ряду съ другими, его пылкая, молодая душа, и въ которыхъ всѣмъ мнилось слышать еще небранныя дотогѣ струны, неуволнимые доселѣ

изгибы страстей. Словомъ, жизнь итальянца приняла широкій, многосторонній образъ, обнялась всѣмъ громаднымъ блескомъ европейской дѣятельности. Разомъ, въ одинъ и тотъ же день, беззаботное званье и тревожное пробужденіе. легкая работа глазъ и напряженная ума, водевиль на театрѣ, проповѣдникъ въ церкви, политическій вихрь журналовъ и камеръ, рукоплесканье въ аудиторіяхъ, потрясающій громъ консерваторнаго оркестра, воздушное блистанье танцующей сцены, громотня уличной жизни — какая исполнинская жизнь для двадцатипятилѣтняго юноши! Нѣтъ лучшаго мѣста, какъ Парижъ; ни за что не промѣнялъ бы онъ такой жизни. Какъ весело и любо жить въ самомъ сердцѣ Европы, гдѣ, идя, поднимаешься выше, чувствуешь, что членъ великаго всемірнаго общества! Въ головѣ его даже вертѣлась мысль отказатья вовсе отъ Італіи и основаться навсегда въ Парижѣ: Італія казалась ему теперь какимъ-то темнымъ, заплѣсневѣлымъ угломъ Европы, гдѣ заглохла жизнь и всякое движеніе.

Такъ пронеслись четыре пламенные года его жизни, — четыре года, слишкомъ значительные для юноши, и къ концу ихъ уже многое показалось не въ томъ видѣ, какъ было прежде. Во многомъ онъ разочаровался. Тотъ же Парижъ, вѣчно влекущій къ себѣ иностранцевъ, вѣчная страсть парижанъ, уже показался ему много, много не тѣмъ, чѣмъ былъ прежде. Онъ видѣлъ, какъ вся эта многосторонность и дѣятельность его жизни исчезала безъ выводовъ и плодотворныхъ душевныхъ осадковъ. Въ движеніи вѣчнаго его кипѣнья и дѣятельности видѣлась теперь ему страшная недѣятельность, страшное царство словъ вмѣсто дѣлъ. Онъ видѣлъ, какъ всякій французъ, казалось, только работалъ въ одной разгоряченной головѣ; какъ это журнальное чтеніе огромныхъ листовъ поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; какъ всякій французъ воспитывался этимъ страннымъ вихремъ книжной, типографски-движущейся политики и, еще чуждый сословія, къ которому принадлежалъ, еще не узнавъ на дѣлѣ всѣхъ правъ и отношеній своихъ, уже приставалъ къ той или другой партіи, горячо и жарко принимая къ сердцу всѣ интересы, становясь свирѣпо противъ своихъ супротивниковъ, еще не зная въ глаза ни интересовъ своихъ, ни супротивниковъ... и слово *политика* опротивѣло, наконецъ, сильно итальянцу.

Въ движеніи торговли, ума, вездѣ, во всемъ видѣтъ онъ только напряженное усиліе и стремленіе къ новости. Одинъ силился передъ другимъ, во что бы то ни стало, взять верхъ, хотя бы на одну минуту. Купецъ весь капиталъ свой употреблялъ на одну только уборку магазина, чтобы блескомъ и великолѣпьемъ его заманить къ себѣ толпу. Книжная литература приобѣгала къ картинкамъ и типографической роскоши, чтобъ ими привлечь къ себѣ охлаждающееся вниманіе. Странностью неслыханныхъ страстей, уродливостью исключеній изъ человѣческой природы силились повѣсти и романы овладѣть читателемъ. Все, казалось, нагло навязывалось и напрашивалось само безъ зазыва, какъ непотребная женщина, что ловить человѣка ночью на улицѣ; все, одно передъ другимъ, вытѣживало повыше свою руку, какъ обступившая толпа надоедливыхъ нищихъ. Въ самой наукѣ, въ ея одушевленныхъ лекціяхъ, которыхъ достоинство не могъ не признать онъ, теперь стало ему замѣтно вездѣ желанье выказаться, хвастнуть, выставить себя; вездѣ блестящія эпизоды, и нѣтъ торжественнаго, величаваго теченія всего цѣлаго. Вездѣ усилія поднять доселѣ незамѣченные факты и дать имъ огромное вліяніе, иногда въ ущербъ гармоніи цѣлаго, съ тѣмъ только, чтобы оставить за собою честь открытія; наконецъ, вездѣ почти дерзкая увѣренность и нигдѣ смиреннаго сознанія собственнаго невѣдѣнія, — и онъ привелъ себя на память стихъ, которымъ итальянецъ Алфіери, въ ѣдкомъ расположеніи своего духа, попрекнулъ французовъ:

Tutto fanno, nulla sanno,  
Tutto sanno, nulla fanno:  
Gira volta son Francesi,  
Piu gli pesi, men ti danno.

Тоскливое расположеніе духа имъ овладѣло. Напрасно старался онъ развлекать себя, старался сойтись съ людьми, которыхъ уважалъ; но не сошлась итальянская природа съ французскимъ элементомъ. Дружба завязывалась быстро, но уже въ одинъ день французъ выказывалъ себя всего до послѣдней черты: на другой день нечего было и узнавать въ немъ, далѣе извѣстной глубины уже нельзя было погрузить вопроса въ его душу, не вонзалось даже остріе мысли; а чувства итальянца были слишкомъ сильны, чтобы встрѣтить себя полный отвѣтъ въ легкой природѣ. И на-



шелъ онъ какую-то странную пустоту даже въ сердцахъ тѣхъ, которымъ не могъ отказать въ уваженіи. И увидѣлъ онъ, наконецъ, что при всѣхъ своихъ блестящихъ чертахъ, при благородныхъ порывахъ, при рыцарскихъ вспышкахъ, вся нація была что-то блѣдное, несовершенное, легкій водевиль, ею же порожденный. Не почилъ на ней величественно-степенная идея. Вездѣ намеки на мысли, и нѣтъ самыхъ мыслей; вездѣ полустрасти, и нѣтъ страстей; все не окончено, все наметано, набросано съ быстрой руки; вся нація — блестящая виньетка, а не картина великаго мастера.

Нашедшая ли внезапно на него хандра дала ему возможность увидать все въ такомъ видѣ, или внутреннее бѣрное и свѣжее чувство итальянца было тому причиною, то или другое, только Парижъ, со всѣмъ своимъ блескомъ и шумомъ, скоро сдѣлался для него тягостной пустыней, и онъ невольно выбиралъ глухіе отдаленные концы ея. Только въ одну еще итальянскую оперу заходилъ онъ, тамъ только какъ будто отдыхала душа его, и звуки родного языка теперь вырастали предъ нимъ во всемъ могуществѣ и полнотѣ. И стала представляться ему чаще забытая имъ Италія, вдали, въ какомъ-то манящемъ свѣтѣ; съ каждымъ днемъ зазывы ея становились слышнѣе, и онъ рѣшился, наконецъ, писать къ отцу, чтобы позволилъ ему возвратиться въ Римъ, что въ Парижѣ оставаться болѣе онъ не видитъ для себя нужды. Два мѣсяца не получалъ онъ никакого отвѣта, ни даже обычныхъ векселей, которые давно слѣдовало ему получить. Сначала ожидалъ онъ терпѣливо, зная капризный характеръ своего отца, наконецъ, начало овладѣвать имъ безпокойство. Нѣсколько разъ на недѣль навѣдывался къ своему банкиру и всегда получалъ одинъ и тотъ же отвѣтъ, что изъ Рима нѣтъ никакихъ извѣстій. Отчаяніе готово было вспыхнуть въ душѣ его. Средства содержанія уже давно у него всѣ прекратились, уже давно сдѣлать онъ у банкира заемъ, но и эти деньги давно вышли, давно уже онъ обѣдалъ, завтракалъ и жилъ кое-какъ въ долгъ; косо и непріятно начинали посматривать на него — и хоть бы отъ кого-нибудь изъ друзей какое-нибудь извѣстіе. Тутъ-то онъ сильно почувствовалъ свое одиночество. Въ безпокойномъ ожиданіи бродилъ онъ въ этомъ надѣвшемъ на-смерть городѣ. Лѣтомъ онъ былъ для него

еще невыносимѣ: всѣ наѣздныя толпы разлетѣлись по минеральнымъ водамъ, по европейскимъ гостиницамъ и дорогамъ. Призракъ пустоты виднѣлся на всемъ. Дома и улицы Парижа, были несносны; сады его томились сокрушительно между домовъ, палимыхъ солнцемъ. Какъ убитый, останавливался онъ надъ Сеной, на грузномъ, тяжеломъ мосту, на сей душной набережной, напрасно стараясь чѣмъ-нибудь позабыться, на что-нибудь заглядѣться; тоска необъятная жрала его, и безымянный червь точилъ его сердце. Наконецъ, судьба надъ нимъ умилилась — и въ одинъ день банкиръ вручилъ ему письмо. Оно было отъ дяди, который извѣщалъ его, что старый князь уже не существуетъ, что онъ можетъ пріѣхать распорядиться наслѣдствомъ, которое требуетъ его личного присутствія, потому что разстроено сильно. Въ письмѣ былъ тощій билетъ, едва доставшій на дорогу и на расплату четвертой доли долговъ. Молодой князь не хотѣлъ медлить минуты, уговорилъ кое-какъ банкира отсрочить долгъ и взялъ мѣсто въ курьерской каретѣ. Казалось, страшная тягость свалилась съ души его, когда скрылся изъ вида Парижъ и дохнуло на него свѣжимъ воздухомъ полей. Въ двое сутокъ онъ уже былъ въ Марсель, не хотѣлъ отдохнуть часу, и въ тотъ же вечеръ пересѣлъ на пароходъ. Средиземное море показалося ему роднымъ: оно омывало берега его отчины, и онъ посвѣжѣлъ уже, только глядя на однѣ безконечныя его волны. Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее при видѣ перваго итальянскаго города — это была великолѣпная Генуя. Въ двойной красотѣ вознеслись надъ нимъ ея пестрыя колокольни, полосатыя церкви изъ бѣлаго и чернаго мрамора и весь многобашенный амфитеатръ ея, вдругъ обнесшій его со всѣхъ сторонъ, когда пароходъ пришелъ къ пристани. Никогда не видалъ онъ Генуи. Эта играющая пестрота домовъ, церквей и дворцовъ на тонкомъ небесномъ воздухѣ, блиставшемъ непостижимою голубизною, была единственна. Сошедши на берегъ, онъ очутился вдругъ въ этихъ темныхъ, чудныхъ, узенькихъ, мошенихъ плитами улицахъ, съ одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта тѣснота между домами, высокими, огромными, отсутствіе экипажнаго стука, треугольныя маленькія площадки и между ними, какъ тѣсныя коридоры, изгибающіяся линіи улицъ, наполненныхъ лавочками генуэзскихъ

серебрянниковъ и золотыхъ мастеровъ. Живописныя кружевыя покрывала женщинъ, чуть волнуемые теплымъ широкко, ихъ твердыя походки, звонкій говоръ въ улицахъ, отворенныя двери церквей, кадильный запахъ, несшійся оттуда,—все это дунуло на него тѣмъ-то далекимъ, минувшимъ. Онъ вспомнилъ, что уже много лѣтъ не былъ въ церкви, потерявшей свое чистое, высокое значеніе въ тѣхъ умныхъ земляхъ Европы, гдѣ онъ былъ. Тихо вошелъ онъ и сталъ въ молчаніи на колѣни, у великолѣпныхъ мраморныхъ колоннъ, и долго молился, самъ не зная, за что,—молился, что его приняла Италія, что снизошло на него желанье молиться, что празднично было у него на душѣ, и молитва эта, вѣрно, была лучшая. Словомъ, какъ прекрасную станцію, унесъ онъ за собою Геную: въ ней принялъ онъ первый поцѣлуй Италіи. Съ такимъ же яснымъ чувствомъ увидѣлъ онъ Ливорно, пустѣющую Пизу, Флоренцію, слабую, знакомую имъ прежде. Величаво глянулъ на него тяжелый, граненый куполъ ея собора, темные дворцы царственной архитектуры и строгое величіе небольшого городка. Потомъ понесся чрезъ Аппенины, сопровождаемый тѣмъ же свѣтымъ расположеніемъ духа, и когда, наконецъ, послѣ шестидневной дороги, показался, въ ясной дали, на чистомъ небѣ, чудесно круглившійся куполъ — о!... сколько чувствъ тогда столпилось разомъ въ его груди! Онъ не знаетъ и не могъ передать ихъ; онъ оглядывалъ всякій холмикъ и отлогость. И вотъ уже, наконецъ, Ponte Molle, городскія ворота, и вотъ обняла его красавица площадей Piazza del Popolo, глянулъ Monte Pincio съ террасами, лѣстницами, статуями и людьми, прогуливающимися на верхушкахъ! Боже, какъ забилося его сердце! Ветуринъ понесся по улицѣ Корсо, гдѣ когда-то ходилъ онъ съ аббатомъ, невинный, простодушный, знавшій только, что латинскій языкъ есть отецъ итальянскаго. Вотъ предстали передъ нимъ опять всѣ дома, которые онъ зналъ наизусть: Palazzo Ruspoli съ своимъ огромнымъ кафе. Piazza Colonna, Palazzo Sciarra, Palazzo Doria; наконецъ, поворотилъ онъ въ переулки, такъ бранимые иностранцами, не кипящіе переулки, гдѣ парѣдка только попадалась лавка брадобрея съ нарисованными лицами надъ дверьми, да лавка шляпочника, высунившего изъ дверей долгополую кардинальскую шляпу, да лавчонка плетеныхъ стульевъ, дѣлавшихся тутъ же на улицѣ. Наконецъ, карета остано-

вилась передъ величавымъ дворцомъ брамантовскаго стипля. Никого не было въ нагихъ, необрунныхъ сѣняхъ. На лѣстницѣ встрѣтилъ его дряхлый *maestro di casa*, потому что швейцаръ съ своей булавой ушелъ, по обыкновенію, въ кафе, гдѣ проводилъ все время. Старикъ побѣждать отворять ставни и освѣщать мало-по-малу старинныя величественныя залы. Грустное чувство овладѣло княземъ, — чувство, понятное всякому прѣзжающему, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отсутствія, домой, когда все, что ни было, кажется еще старѣе, еще пустѣе, и когда тягостно говорить всякій предметъ, знаемый въ дѣтствѣ; и чѣмъ веселѣе были съ нимъ сопряженные случаи, тѣмъ сокрушительнѣй грусть, насылаемая имъ на сердце. Онъ прошелъ длинный рядъ залъ, оглянулъ кабинетъ и спальню, гдѣ еще не такъ давно старый владѣтель дворца засыпалъ въ кровати подъ балдахиномъ съ кистями и гербомъ, и потомъ выходилъ въ шлафрокъ и туфляхъ въ кабинетъ выпить стаканъ ослинаго молока, съ намѣреніемъ пополнить, — уборную, гдѣ онъ наряжался съ утонченнымъ стараніемъ старой кокетки и откуда отправлялся потомъ въ коляскѣ съ своими лакеями на гулянье въ виллу Боргезе, лорнировать постоянно какую-то англичанку, прѣзжавшую туда также прогуливаться. На столахъ и въ ящикахъ видны были еще остатки рюманъ, бѣлили въ всякихъ притираніяхъ, которыми молодилъ себя старикъ. *Maestro di casa* объявилъ, что уже за двѣ недѣли до смерти онъ принялъ было твердое намѣреніе жениться и сдѣлалъ нарочно консультацію съ иностранными докторами, какъ поддержать *con onore i doveri di marito*, но что въ одинъ день, сдѣлавши два или три визита кардиналамъ и какому-то пріору, онъ возвратился усталый домой, сѣлъ въ кресла и умеръ смертью праведника, хотя смерть его была бы блаженнѣе, если бы онъ, по словамъ *maestro di casa*, догадался послать за двѣ минуты прежде за своимъ духовникомъ *il padre Benvenuto*. Все это слушать молодой князь разсѣянно, не принадлежа мыслью ни къ чему. Отдохнувши отъ дороги и отъ странныхъ впечатлѣній, онъ занялся своими дѣлами. Его поразилъ страшный безпорядокъ ихъ. Все, отъ малаго до большого, было въ безтолковомъ, запутанномъ видѣ. Четыре безконечныя тяжбы за обвалившіеся дворцы и земли въ Феррарѣ и Неаполѣ, совершенно опустошенные доходы за три года впередъ, долги и нищен-

скій недостатокъ среди великолѣпія — вотъ что представлялось глазамъ его. Старый князь былъ непонятное соединеніе скупости и пышности. Онъ держалъ огромную прислугу, которая не получала никакой платы, ничего, кромѣ ливрен, и довольствовалась подавніями иностранцевъ, приходившихъ смотрѣть галерею. При князѣ были егеря, офиціанты, лакеи, которые ѣздили у него за коляской, лакеи, которые никуда не ѣздили и просиживали по цѣлымъ днямъ въ ближнемъ кафе или остеріи, болтая всякій вздоръ. Онъ распустилъ тотъ же часъ всю эту сволочь, всѣхъ егерей и охотниковъ, и оставилъ одного только старика *maestro di casa*; уничтожилъ почти вовсе конюшню, продавъ никогда не употреблявшихся лошадей; призвать адвокатовъ и распорядился съ своими тяжбами, по крайней мѣрѣ, такъ, что изъ четырехъ составилъ двѣ, бросивъ остальные, какъ вовсе безполезныя; рѣшился ограничить себя во всемъ и вести жизнь со всею строгостью экономіи. Это было ему не трудно сдѣлать, потому что уже заблаговременно онъ привыкъ ограничивать себя. Ему не трудно было также отказаться отъ всякаго сообщества съ своимъ сословіемъ, — которое, впрочемъ, все состояло изъ двухъ-трехъ доживавшихъ фамилій, — общества, воспитаннаго кое-какъ отголосками французскаго образованія, да богача-банкира, собиравшаго около себя кругъ иностранцевъ, да неприступныхъ кардиналовъ, людей необщительныхъ, черствыхъ, уединенно проводившихъ время за карточной игрой въ *tresette* (родъ дурачка) съ своимъ камердинеромъ или брадобреемъ. Словомъ, онъ уединился совершенно, принялся разсматривать Римъ и сдѣлался въ этомъ отношеніи подобенъ иностранцу, который сначала бываетъ пораженъ мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами, и съ недоумѣньемъ вопрошаетъ, попадая изъ переулка въ переулокъ: «гдѣ же огромный древній Римъ?» и потомъ уже узнаетъ его, когда мало-по-малу изъ тѣсныхъ переулковъ начинаетъ выдвигаться древній Римъ, гдѣ темной аркой, гдѣ мрачнымъ карнизомъ, вдѣланнымъ въ стѣну, гдѣ порфировой потемнѣвшей колонной, гдѣ фронтономъ посреди волютаго рыбнаго рынка, гдѣ цѣлымъ портикомъ передъ нестаринной церковью, и наконецъ, далеко, тамъ, гдѣ оканчивается вовсе живущій городъ, громадно вздымается онъ среди тысячелѣтнихъ площадей, алоэ и открытыхъ равнинъ, необъятнымъ

Пролизеемъ, триумфальными арками, останками необозримыхъ цезарскихъ дворцовъ, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полямъ; и уже не видитъ иноземецъ нынѣшнихъ тѣсныхъ его улицъ и переулковъ, весь объятый древнимъ міромъ: въ памяти его возстаютъ колоссальные образы цезарей; криками и плесками древней толпы поражается ухо!..

Но не такъ, какъ иностранецъ, преданный одному Титу Ливію и Тациту, бѣгущій мимо всего, къ одной только древности, желавшій бы въ порывѣ благороднаго педантизма скрыть весь новый городъ — нѣтъ, онъ находитъ все равно прекраснымъ: міръ древній, шевелившійся изъ-подъ темнаго архитрава, могучій средній вѣкъ, положившій вездѣ слѣды художниковъ-исполиновъ и великолѣпной щедрости папъ, и, наконецъ, прильпившійся къ нимъ новый вѣкъ съ толпящимся новымъ народонаселеніемъ. Ему нравилось это чудное ихъ сліяніе въ одно, эти признаки людной столицы и пустыни вмѣстѣ: дворецъ, колонны, трава, дикіе кусты, бѣгущіе по стѣнамъ, трепещущій рынокъ среди темныхъ, молчаливыхъ, заслоненныхъ снизу громадъ, живой крикъ рыбнаго продавца у портика, лимонадчикъ съ воздушной, украшенной зеленью лавчонкой передъ Пайтеономъ. Ему нравилась самая невзрачность улицъ, темныхъ, неприбранныхъ, отсутствіе желтыхъ и свѣтленькихъ красокъ на домахъ, идиллія среди города: отдыхавшее стадо козловъ на уличной мостовой, крики ребятишекъ и какое-то невидимое присутствіе на всемъ ясной торжественной тишины, обнимающей человѣка. Ему нравились эти непрерывныя внезапности, неожиданности, поражающія въ Римѣ. Какъ охотникъ, выходящій съ утра на ловлю, какъ старинный рыцарь, искатель приключеній, онъ отправлялся отыскивать всякій день новыхъ и новыхъ чудесъ и останавливался невольно, когда вдругъ среди ничтожнаго переулка возносился передъ нимъ дворецъ, дынавшій строгимъ сумрачнымъ величіемъ. Изъ темнаго травертина были сложены его тяжелыя, несокрушимыя стѣны, вершину вѣнчалъ великолѣпно набранный колоссальный карнизъ, мраморными брусьями обложена была большая дверь, и окна глядѣли величаво, обремененныя роскошнымъ архитектурнымъ убранствомъ;—или какъ вдругъ неожиданно, вмѣстѣ съ небольшою площадью, выглядывалъ картинный фонтанъ, обрыгаивав-

пий себя самого и свои обезображенные мхомъ гранитныя ступени;—какъ темная, грязная улица оканчивалась неожиданно играющей архитектурной декорацией Бернини или летящимъ къверху обелискомъ, или церковью и монастырскою стѣною, вспыхивавшими блѣскомъ солнца на темно-лазурномъ небѣ, съ черными, какъ уголь, кипарисами. И чѣмъ далѣе вглубь уходили улицы, тѣмъ чаще росли дворцы и архитектурныя созданія Браманта, Борромини, Сангалло, Деллапорта, Виньоли, Бонаротти—и понялъ онъ, наконецъ, ясно, что только здѣсь, только въ Италіи, слышно присутствіе архитектуры и строгое ея величіе, какъ художества. Еще выше было духовное его наслажденіе, когда онъ переносился во внутренность церквей и дворцовъ, гдѣ арки, плоскіе столбы и круглыя колонны изъ всѣхъ возможныхъ сортовъ мрамора, перемѣшанные съ базальтовыми, лазурными карнизами, порфиромъ, золотомъ и античными камнями, сочетались согласно, покоренные обдуманной мысли. И выше ихъ всѣхъ вознеслось безсмертное созданіе кисти. Они были высоко-прекрасны, эти обдуманныя убранства залъ, полныя царскаго величія и архитектурной роскоши. вездѣ умѣвшей почтительно преклониться предъ живописцемъ въ сей плодотворный вѣкъ, когда художникъ бываетъ и архитекторомъ, и живописцемъ, и даже скульпторомъ вмѣстѣ. Могучія созданія кисти, уже не повторяющейся нынѣ, возносились сумрачно предъ нимъ на потемнѣвшихъ стѣнахъ. все еще непостижимыя и недоступныя для подражанія. Входя и погружаясь болѣе и болѣе въ созерцаніе ихъ, онъ чувствовалъ, какъ развивался видимо его вкусъ, залогъ котораго уже хранился въ душѣ его. И какъ предъ этой величественной, прекрасной роскошью показалась ему теперь низкою роскошь XIX столѣтія, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшенія магазиновъ, выведенная на поле дѣятельности золотильщиковъ, мебельщиковъ, обойщиковъ, столяровъ и кучи мастеровыхъ, и лишившая міръ Рафаэлей, Тиціановъ, Микель-Анжеловъ, низведшая къ ремеслу искусство! Какъ низкою показалась ему эта роскошь, поражающая только первый взглядъ и озираемая потомъ равнодушно, передъ этой величавой мыслию—украсить стѣны вѣковѣчнымъ созданіемъ кисти, передъ этой прекрасной мыслию владѣльца дворца—доставить себѣ вѣчный предметъ наслажденія въ часы отдыха отъ дѣлъ и отъ шумъ

наго жизненнаго дразга, уединившись тамъ, въ углу, на старинной софѣ, далеко отъ всѣхъ, вперя безмолвно взоръ и, вмѣстѣ со взоромъ, входя глубже душою въ тайны кисти, зрѣя невидимо въ красѣ душевныхъ помысловъ! Ибо высоко возвышаетъ искусство человѣка, придавая благородство и красоту чудную движеніямъ души. Какъ низки казались ему предъ этой незаблемой, плодотворной роскошью, окружившею человѣка предметами, движущими и воспитывающими душу, нынѣшнія мелочныя убранства, ломаемыя и выбрасываемыя ежегодно безпокойною модою, страннымъ, непостижимымъ порожденіемъ XIX вѣка, предъ которымъ безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разрушительницей всего, что колоссально, величественно, свято. При такихъ разсужденіяхъ невольно приходило ему на мысль: не оттого ли сей равнодушный холодъ, обнимающій нынѣшній вѣкъ, торговый, низкій расчетъ, ранняя приглушенность еще не успѣвшихъ развиться и возникнуть чувствъ? Иконы вынесли изъ храма — и храмъ уже не храмъ: летучія мыши и злые духи обитаютъ въ немъ.

Чѣмъ болѣе онъ всматривался, тѣмъ болѣе поражала его сія необыкновенная плодотворность вѣка, и онъ невольно восклицалъ: «Когда и какъ успѣли они это надѣлать?» Эта великолѣпная сторона Рима какъ будто-бы росла передъ нимъ ежедневно. Галереи и галереи — и конца имъ нѣтъ: и тамъ, и въ той церкви хранится какое-нибудь чудо кисти; и тамъ, на дряхлѣющей стѣнѣ, еще дивить готовый исчезнуть фрескъ; и тамъ, на вознесенныхъ мраморахъ и столбахъ, набранныхъ изъ древнихъ языческихъ храмовъ, блещетъ неувядаемой кистью плафонъ. Все это было похоже на скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной землей, знакомые одному только рудокопу. Какъ полно было у него всякій разъ на душѣ, когда возвращался онъ домой! Какъ было различно это чувство, обаятое спокойной торжественностью тишины, отъ тѣхъ тревожныхъ впечатлѣній, которыми бессмысленно наполнялась душа его въ Парижѣ, когда онъ возвращался домой усталый, утомленный, рѣдко будучи въ силахъ повѣрить итогъ ихъ!

Теперь ему казалась еще болѣе согласною съ этими внутренними сокровищами Рима его неприглядная, потемнѣвшая, запачканная наружность, такъ бранимая иностранцами. Ему бы непріятно было выйти послѣ всего этого на мод-



ную улицу, съ блестящими магазинами, щеголеватостью людей и экипажей: это было бы чѣмъ-то развлекающимъ, свѣтотатственнымъ. Ему лучше нравилась эта скромная тишина улицъ, это особенное выраженіе римскаго населенія, этотъ призракъ восемнадцатаго вѣка, еще мелькавшій по улицѣ то въ видѣ чернаго аббата съ треугольною шляпой, черными чулками и башмаками, то въ видѣ старинной пурпурной кардинальской кареты съ позлащенными осями, колесами, карнизами и гербами — все какъ-то согласовалось съ важностью Рима: этотъ живой, не торопящійся народъ живописно и покойно расхаживающій по улицамъ, загнувъ плечу или набросивъ себѣ на плечо куртку безъ тлостнаго выраженія въ лицахъ, которое такъ поражало его на синихъ блузахъ и на всемъ народонаселеніи Парижа. Тутъ самая ницета являлась въ какомъ-то свѣтломъ видѣ, беззаботная, незнакомая съ терзаньемъ и слезами, безопасно и живописно протягивавшая руку; картинные поля монаховъ, переходившіе улицы въ длинныхъ бѣлыхъ или черныхъ одеждахъ; нечистый рыжій капуцинъ вдругъ вспыхнувшій на солнцѣ свѣтло-верблюдимъ цвѣтомъ; наконецъ, это населеніе художниковъ, собравшихся со всѣхъ сторонъ свѣта, которые бросили здѣсь узенькіе лоскуточки одѣяній европейскихъ и явились въ свободныхъ, живописныхъ нарядахъ; ихъ величественныя осанистыя бороды, снятыя съ портретовъ Леонардо-да-Винчи и Тиціана, такъ непохожія на тѣ уродливыя, узкія бородки, которыя французъ передѣлываетъ и стрижетъ себѣ по пяти разъ въ мѣсяцъ. Тутъ художникъ почувствовалъ красоту длинныхъ волнующихся волосъ и позволилъ имъ разсыпаться кудрями. Тутъ самый нѣмецъ, съ кривизной ногъ своихъ и безперехватностью стана, получилъ значительное выраженіе, разнеся по плечамъ золотистые свои локоны, драпируясь легкими складками греческой блузы или бархатнымъ нарядомъ, извѣстнымъ подъ именемъ cinquecento, которое усвоили себѣ только одни художники въ Римѣ. Слѣды строгаго споконства и тихаго труда отражались на ихъ лицахъ. Самые разговоры и мнѣнія, слышимые на улицахъ, въ кафе, въ остеріяхъ, были вовсе противоположны и не похожи на тѣ, которые слышались ему въ городахъ Европы. Тутъ не было толковъ о понизившихся фондахъ, о камерныхъ пріемахъ, объ испанскихъ дѣлахъ: тутъ слышались рѣчи объ

открытой недавно древней статуѣ, о достоинствѣ кисти великихъ мастеровъ, раздавались споры и разногласья о выставленномъ произведеніи новаго художника, толки о народныхъ праздникахъ и, наконецъ, частные разговоры, въ которыхъ раскрывался человѣкъ и которые вытѣснены изъ Европы скучными общественными толками и политическими мнѣніями, изгнавшими сердечное выраженіе съ лицъ.

Часто оставлялъ онъ городъ для того, чтобы оглянуть его окрестности, и тогда его поражали другія чудеса. Прекрасны были эти нѣмыя, пустынные римскія поля, усѣянные останками древнихъ храмовъ, съ невыразимымъ спокойствіемъ разстилавшіяся вокругъ, гдѣ пламенія сплошнымъ золотомъ отъ слившихся вмѣстѣ желтыхъ цвѣтковъ, гдѣ блеца жаромъ раздутаго угля отъ пунцовыхъ листовъ дикаго мака. Они представляли четыре чудные вида на четыре стороны. Съ одной—соединялись они прямо съ горизонтомъ одной рѣзкой ровной чертой; арки водопроводовъ казались стоящими на воздухѣ и какъ бы наклеенными на блистающемъ серебряномъ небѣ. Съ другой — надъ полями сіяли горы; не вырываясь порывисто и безобразно, какъ въ Тироли или Швейцаріи, но согласными плавучими линіями выгибаясь и склоняясь, озаренныя чудною ясностью воздуха, онѣ готовы были улѣтѣть въ небо; у подошвы ихъ неслась длинная аркада водопроводовъ, подобно длинному фундаменту, и вершина горъ казалась воздушнымъ продолженіемъ чуднаго зданія, и небо надъ ними было уже не серебряное, но невыразимаго цвѣта весенней сирени. Съ третьей—эти поля увѣнчивались тоже горами, которыя уже ближе и выше возносились, выступая сильнѣе передними рядами и легкими уступами уходя въ даль. Въ чудную постепенность цвѣтовъ облекалъ ихъ тонкій голубой воздухъ; и сквозь это воздушно-голубое ихъ покрывало сіяли чуть примѣтные дома и виллы Фраскати, гдѣ тонео и легко тронутые солнцемъ, гдѣ уходящіе въ свѣтлую мглу пылившихся вдали, чуть примѣтныхъ рошей. Когда же обращался онъ вдругъ назадъ, тогда представлялась ему четвертая сторона вида: поля оканчивались самымъ Римомъ. Сіяли рѣзко и ясно углы и линіи домовъ, круглость куполовъ, статуи Латранскаго Іоанна и величественный куполь Петра, вырастающій выше и выше, по мѣрѣ отдаленія отъ него, и властительно остающійся, наконецъ, одинъ на всемъ полу-

горизонтѣ, когда уже совершенно скрылся весь городъ. Еще лучше любить онъ оглянуть эти поля съ террасы какой-нибудь изъ виллъ Фраскати или Альбано, въ часы захождения солнца. Тогда они казались необозримымъ моремъ, сіявшимъ и возносившимся изъ темныхъ перилъ террасы; отлогости и линіи исчезали въ обнявшемъ ихъ свѣтѣ. Сначала онѣ еще казались зеленоватыми, и по нимъ еще видѣлись тамъ и тамъ разбросанныя гробницы и арки; потомъ онѣ сквозили уже свѣтлой желтизною въ радужныхъ отбѣнкахъ свѣта, едва выказывая древніе остатки, и, наконецъ, становились пурпурной и пурпурной, поглощая въ себѣ и самый безмѣрный куполъ и сливаясь въ одинъ густой малиновый цвѣтъ, и одна только свербающая вдали золотая полоса моря отдѣляла ихъ отъ пурпурнаго, такъ же, какъ и онѣ, горизонта. Нигдѣ, никогда ему не случилось видѣть, чтобы поле превращалось въ пламя, подобно небу. Долго, полный невыразимаго восхищенія, стоялъ онъ передъ такимъ видомъ, и потомъ уже стоялъ такъ, просто, не восхищаясь, позабывъ все. Когда и солнце уже скрывалось, потухалъ быстро горизонтъ и еще быстрее потухали вмѣстѣ померкнувшія поля, вездѣ устанавливалъ свой темный образъ вечеръ, надъ развалинами огнистыми фонтанами подымались свѣтящіяся мухи, и неуклюжее крылатое насѣкомое, несущееся стоймя, какъ человекъ, извѣстное подъ именемъ дьявола, ударялось безъ толку ему въ очи, — тогда только онъ чувствовалъ, что наступившій холодъ южной ночи уже прохватилъ его всего, и спѣшилъ въ городскія улицы, чтобы не схватить южной лихорадки.

Такъ протекала жизнь его въ созерцаніяхъ природы, искусствъ и древностей. Среди сей жизни почувствовать онъ, болѣе нежели когда-либо, желаніе проникнуть поглубже исторію Италіи, доселѣ ему извѣстную эпизодами, отрывками; безъ нея казалось ему неполно настоящее, и онъ жадно принялся за архивы, лѣтописи и записки. Онъ теперь могъ ихъ читать не такъ, какъ итальянецъ-домосѣдъ, входящій и тѣломъ, и душою въ читаемыя событія и не видящій изъ-за обступившихъ его лицъ и происшествій всей массы цѣлаго, — онъ теперь могъ оглядывать все покойно, какъ изъ ватиканскаго окна. Пребываніе внѣ Италіи, въ виду шума и движенія дѣйствующихъ народовъ и государствъ, служило ему строгою повѣркою всѣхъ выво-

довъ, сообщило многосторонность и всеобъемлющее свойство его глазу. Читая, теперь онъ еще болѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ безпристрастнѣй былъ пораженъ величіемъ и блескомъ минувшей эпохи Италіи. Его изумляло такое быстрое разнообразное развитіе челоуѣка на такомъ тѣсномъ углу земли, такимъ сильнымъ движеніемъ всѣхъ силъ. Онъ видѣлъ, какъ здѣсь кипѣлъ челоуѣкъ, какъ каждый городъ говорилъ своею рѣчью, какъ у каждого города были цѣлые томы исторіи, какъ разомъ возникли здѣсь всѣ образы и виды гражданства и правленій: волнующіяся республики сильныхъ непокорныхъ характеровъ и полновластные деспоты среди ихъ; цѣлый городъ царственныхъ купцовъ, опутанный сокровенными правительственными нитями, подъ призракомъ единой власти дожа; призванные чужеземцы среди туземцевъ; сильные напоры и отпоры въ нѣдрѣ незначительнаго городка; почти сказочный блескъ герцоговъ и монарховъ крохотныхъ земель; меценаты, покровители и гонители; цѣлый рядъ великихъ людей, столкнувшихся въ одно и то же время; лира, циркуль, мечъ и палитра; храмы, воздвигающіеся среди браной и волненій; вражда, кровавая месть, великодушныя черты и кучи романическихъ происшествій частной жизни среди политическаго, общественнаго вихря и чудная связь между ними: такое изумляющее раскрытіе всѣхъ сторонъ жизни политической и частной, такое пробужденіе въ столь тѣсномъ объемѣ всѣхъ элементовъ челоуѣка, совершавшихся въ другихъ мѣстахъ только частями и на большихъ пространствахъ!—И все это исчезло и прошло вдругъ, все застыло, какъ погаснувшая лава, и выброшено даже изъ памяти Европою, какъ старый ненужный хламъ. Пигдѣ, даже въ журналахъ, не выказываетъ бѣдная Италія своего развѣнчаннаго чела, лишенная значенія политическаго, а съ нимъ и вліянія на міръ.

«И неужели»,—думалъ онъ, — «не воскреснетъ никогда ея слава? Неужели нѣтъ средствъ возвратить минувшій блескъ ея?» И вспомнилъ онъ то время, когда еще въ университетѣ, въ Луккѣ, бредилъ онъ о возобновленіи ея минувшей славы; какъ это было любимой мыслью молодежи; какъ за стаканами добродушно и простосердечно мечтала она о томъ. И увидѣлъ онъ теперь, какъ близорука была молодежь, и какъ близоруки бываютъ политики, упрекающіе народъ въ безпечности и лѣни. Почуялъ онъ теперь, сму-

тятся, Великій Перстъ, предъ нимъ же повергается въ прахъ нѣмѣющій человекъ;—Великій Перстъ, начертывающій выше всемірныя событія. Онъ вызвалъ изъ среды ея же гонимаго ея гражданина, бѣднаго генуэзца, который одинъ убилъ свою отчизну, указавъ міру невѣдомую землю и другіе, широкіе пути. Раздался всемірный горизонтъ; огромнымъ размахомъ закипѣли движенія Европы; понеслись вокругъ свѣта корабли, двинувъ могучія сѣверныя силы. Осталось пусто Средиземное море; какъ обмелѣвшее рѣчное русло, обмелѣла обойденная Италія. Стоитъ Венеція, отразивъ въ адріатическія волны свои потухнувшіе дворцы, и разрывающей жалостью проникается сердце иностранца, когда поникшій гондольеръ влечетъ его подъ пустынными стѣнами и разрушенными перилами безмолвныхъ мраморныхъ балконовъ. Онѣмѣла Феррара, пугая дикой мрачностью своего герцогскаго дворца. Глядятъ пустынно на всемъ пространствѣ Италіи ея наклонныя башни и архитектурныя чуда, очутясь среди равнодушнаго къ нимъ поколѣнія. Звонкое эхо раздается въ шумѣвшихъ когда-то улицахъ, и бѣдный ветуринъ подъѣзжаетъ къ грязной остеріи, поселившейся въ великолѣпномъ дворцѣ. Въ нищенскомъ вретѣищѣ очутилась Италія, и пыльными отрѣпьями висятъ на ней куски ея померкнувшей царственной одежды.

Въ порывѣ душевной жалости готовъ онъ былъ даже лить слезы. Но утѣшительная, величественная мысль приходила сама къ нему въ душу, и чуялъ онъ другимъ, вышшимъ чутьемъ, что не умерла Италія, что слышится ея неотразимое вѣчное владычество надъ всѣмъ міромъ, что вѣчно вѣетъ надъ нею ея великій геній, уже въ самомъ началѣ завязавшій въ груди ея судьбу Европы, внесшій крестъ въ европейскіе темные лѣса, захватившій гражданскимъ багромъ на дальнемъ краю ихъ дикообразнаго человека, закипѣвшій здѣсь впервые всемірной торговлей, хитрой политикой и сложностью гражданскихъ пружинъ, вознесшійся потомъ всѣмъ блескомъ ума, вѣнчавшій чело свое святымъ вѣнцомъ поэзіи и, когда уже политическое вліяніе Италіи стало исчезать, развернувшійся надъ міромъ торжественными дивами — искусствами, подарившими человеку невѣдомыя наслажденія и божественныя чувства, которыя дотолѣ не подымались изъ лона души его. Когда же и вѣкъ искусства сокрылся и къ нему охладѣли погружен-

ные въ расчеты люди, онъ вѣтъ и разносится надъ міромъ въ завывающихъ вопляхъ музыки, и на берегахъ Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземнаго, Чернаго моря, въ стѣнахъ Алжира и на отдаленныхъ, еще недавно дикихъ, островахъ гремятъ восторженные плески звонкимъ пѣвцамъ. Наконецъ, самой ветхостью и разрушеніемъ своимъ онъ грозно владычествуетъ нынѣ въ мірѣ; эти величавыя архитектурныя чуда остались, какъ призраки, чтобы попрекнуть Европу въ ея китайской мелочной роскоши, въ игрушечномъ раздробленіи мысли. И самое это чудное собраніе отжившихъ міровъ, и прелесть соединенія ихъ съ вѣчно прѣтущей природой — все существуетъ для того, чтобы будить мірѣ, чтобъ жителю Сѣвера, какъ сквозь сонъ, представлялся иногда этотъ Югъ, чтобъ мечта о немъ вырывала его изъ среды холодной жизни, преданной занятіямъ; очерствляющимъ душу, — вырывала бы его оттуда, блеснувъ ему неожиданно уносящую вдаль перспективой, колизейскою ночью при лунѣ, прекрасно умирающей Венеціей, невидимымъ небеснымъ блескомъ и теплыми поцѣлуями чудеснаго воздуха, — чтобы хоть разъ въ жизни былъ онъ прекраснымъ человѣкомъ...

Въ такую торжественную минуту онъ примирялся съ разрушеніемъ своего отечества, и зрѣлись тогда ему во всемъ зародыши вѣчной жизни, лучшаго будущаго, которое вѣчно готовитъ міру его вѣчный Творецъ. Въ такія минуты онъ даже весьма часто задумывался надъ нынѣшнимъ значеніемъ римскаго народа. Онъ видѣлъ въ немъ матеріаль, еще непочатый. Еще ни разу не игралъ онъ роли въ блестящую эпоху Италіи: отмѣчали на страницахъ исторіи имена свои папы да аристократическіе дома, но народъ оставался незамѣтенъ. Его не зацѣплятъ ходъ двигавшихся внутри и внѣ его интересовъ; его не коснулось образованіе и не взметнуло вихремъ сокрытыя въ немъ силы. Въ его природѣ заключалось что-то младенчески-благородное. Эта гордость римскимъ именемъ, встѣдствіе которой часть города, считая себя потомками древнихъ квиритовъ, никогда не вступала въ брачные союзы съ другими; эти черты характера, смѣшаннаго изъ добродушія и страстей, показывающія свѣтлую его натуру (никогда римлянинъ не забывалъ ни зла, ни добра; онъ или добрый, или злой, или расточитель, или скряга; въ немъ добродѣ-

тели и пороки въ своихъ самородныхъ слояхъ и не смѣшались, какъ у образованнаго человѣка, въ неопредѣленные образы, у котораго всякихъ страстишекъ повсюду подъ верховнымъ начальствомъ эгоизма); эта невоздержность и порывъ развернуться на всѣ деньги, замашка сильныхъ народовъ, — все это имѣло для него значеніе. Эта свѣтлая, непритворная веселость, которой теперь нѣтъ у другихъ народовъ: вездѣ, гдѣ онъ ни былъ, ему казалось, что стараются тѣшить народъ; здѣсь, напротивъ, онъ тѣшится самъ; онъ самъ хочетъ быть участникомъ; его насилу удержишь въ карнавалѣ; все, что ни накоплено имъ въ продолженіе года, онъ готовъ промотать въ эти полторы недѣли; все усадить онъ на одинъ нарядъ: одѣнется паяцомъ, женщиной, повтомъ, докторомъ, графомъ, вретъ чепуху и лекціи и слушающему, и неслушающему, — и веселость эта обнимаетъ, какъ вихрь, всѣхъ, отъ сорокалѣтняго до мальчишки: послѣдній бобыль, которому не во что одѣться, выворачиваетъ себѣ куртку, вымазываетъ лицо углемъ и бѣжитъ туда же, въ пеструю кучу. И веселость эта прямо изъ его природы; ею не хмель дѣйствуетъ: тотъ же самый народъ освищетъ пьянаго, если встрѣтитъ его на улицѣ. Потомъ черты природнаго художественнаго инстинкта и чувства: онъ видѣлъ, какъ простая женщина указывала художнику погрѣшность въ его картинѣ; онъ видѣлъ, какъ выражалось невольно это чувство въ живописныхъ одеждахъ, въ церковныхъ убранствахъ; какъ въ Дженсано народъ убиралъ цвѣточными коврами улицы; какъ разноцвѣтные листики цвѣтовъ обращались въ краски и тѣни, на мостовой выходили узоры, кардинальскіе гербы, портреты папы, вензеля, птицы, звѣри и арабески; какъ наканунѣ Свѣтлаго Воскресенія продавцы съѣстныхъ припасовъ, *пиццикарولى*, убирали свои лавчонки: свиные окорока, колбасы, бѣлые пузыри, лимоны и листья обращались въ мозаику и составляли плафонъ; круги пармезановъ и другихъ сыровъ, лежась одинъ на другой, становились въ колонны; изъ сальныхъ свѣчей составлялась бахрома мозаичнаго занавѣса, драпировавшаго внутренніи стѣны; изъ сала, бѣлаго какъ снѣгъ, отливались цѣлыя статуи, историческія группы христіанскихъ и библейскихъ содержаній, которыя изумленный зритель принималъ за алебастровыя — вся лавочка обращалась въ свѣтлый храмъ, сіяя позлащенными

звѣздами, искусно освѣщаясь развѣшенными шкаликами и отражая зеркалами безконечныя кучи яиць. Для всего этого нужно было присутствіе вкуса, и пицкарале дѣлалъ это не изъ какихъ-нибудь доходовъ, но для того, чтобы полюбовались другіе и любоваться самому. Наконецъ, народъ, въ которомъ живетъ чувство собственнаго достоинства: здѣсь онъ il popolo, а не чернь, и носить въ своей природѣ прямыя начала временъ первоначальныхъ квири-товъ; его не могли даже совратить наѣзды иностранцевъ, развратителей пребывающихъ въ бездѣйствіи націй, — наѣзды, порождающіе по трактирамъ и дорогамъ презрѣннѣйшій классъ людей, по которымъ путешественникъ произноситъ часто сужденіе обо всемъ народѣ. Самая нелѣпость правительственныхъ постановленій, эта безсвязная куча всякихъ законовъ, возникшихъ во всѣ времена и отношенія и не уничтоженныхъ понынѣ, между которыми даже есть эдикты временъ древней римской республики, — все это не искоренило высокаго чувства справедливости въ народѣ. Онъ порицаетъ несправедливаго притязателя, освящаетъ гробъ покойника и выпрагается великодушно въ колесницу, везущую тѣло, любезное народу. Самые поступки духовенства, часто соблазнительные, произведшіе бы въ другихъ мѣстахъ развратъ, почти не дѣйствуютъ на него: онъ умѣетъ отдѣлать религію отъ лицемерныхъ исполнителей и не заразился холодной мыслью невѣрія. Наконецъ, самая нужда и бѣдность, неизбѣжный удѣлъ стоячаго государства, не ведутъ его къ мрачному злодѣйству: онъ веселъ и переноситъ все, и только въ романахъ да повѣстяхъ рѣжетъ по улицамъ. Все это показывало ему стихіи народа сильнаго, непочатого, для котораго какъ будто бы готовилось какое-то поприще впереди. Европейское просвѣщеніе какъ будто съ умысломъ не коснулось его и не водрузило въ грудь ему своего холоднаго усовершенствованія. Самое духовное правительство, этотъ странный уцѣлѣвшій призракъ минувшихъ временъ, осталось какъ будто для того, чтобы сохранить народъ отъ посторонняго вліянія, чтобы никто изъ честолюбивыхъ сосѣдей не посягнулъ на его личность, чтобы до времени въ тишинѣ таилась его гордая народность. Притомъ здѣсь, въ Римѣ, не слышалось чего-то умершаго; въ самыхъ развалинахъ и великолѣпной бѣдности Рима не было того томительнаго, проникающаго чувства, которымъ объем-



лется невольно человекъ, созерцающій памятники заживо умирающей націи. Тутъ противоположное чувство: тутъ ясное, торжественное спокойствіе. И всякій разъ, соображая все это, князь предавался невольно размышленіямъ и сталъ подозрѣвать какое-то таинственное значеніе въ словѣ «вѣчный Римъ».

Итогъ всего этого былъ тотъ, что онъ старался узнавать болѣе и болѣе свой народъ. Онъ его слѣдилъ на улицахъ, въ кафе, гдѣ въ каждомъ были свои посѣтители: въ одномъ антикваріи, въ другомъ стрѣлки и охотники, въ третьемъ кардинальскіе слуги, въ четвертомъ художники, въ пятомъ вся римская молодежь и римское щегольство; слѣдилъ въ остеріяхъ, чисто-римскихъ остеріяхъ, куда не заходитъ иностранецъ, гдѣ римскій *pobile* садится иногда рядомъ съ Миненте, и общество скидаетъ съ себя сюртуки и галстуки въ жаркіе дни; слѣдилъ его въ загородныхъ живописно-неварачныхъ трактиришкахъ съ воздушными окнами безъ стеколъ, куда фамиліями и компаніями наѣзжали римляне обѣдать, или, по ихъ выраженію, *far allegria*. Онъ садился и обѣдалъ вмѣстѣ съ ними, вмѣшивался охотно въ разговоръ, дивясь весьма часто простому здравомыслію и живой оригинальности разсказа простыхъ, неграмотныхъ горожанъ. Но болѣе всего онъ имѣлъ случай узнавать его во время церемоній и празднествъ, когда всплываетъ наверхъ все наредонаселеніе Рима и вдругъ показывается несмѣтное множество дотолѣ неподозрѣваемыхъ красавицъ, — красавицъ, которыхъ образы мелькаютъ только въ барельефахъ да въ древнихъ антологическихъ стихотвореніяхъ. Эти полныя взоры, алебастровыя плечи, смолистые волосы, въ тысячу разныхъ образовъ поднятые на голову или опрокинутые назадъ, картинно пронзенные насквозь золотой стрѣлой, руки, гордая походка—вездѣ черты и намеки на серьезную классическую красоту, а не легкую прелесть граціозныхъ женщинъ. Тутъ женщины казались подобными зданіямъ въ Италіи: онѣ или дворцы, или лачужки, или красавицы, или безобразныя; середины нѣтъ между ними: хорошенекъ нѣтъ. Онъ ими наслаждался, какъ наслаждался въ прекрасной поэмѣ стихами, выбившимися изъ ряду другихъ и насылавшими свѣжительную дрожь на душу.

Но скоро къ такимъ наслажденіямъ присоединилось чувство, объявившее сильную борьбу всѣмъ прочимъ,—чувство,

которое вызвало изъ душевнаго дна сильныя человѣческія страсти, подымающія демократическій бунтъ противъ высокаго единодержавія души: онъ увидѣлъ Аннунціату. И вотъ, такимъ образомъ, мы добрались, наконецъ, до свѣтлаго образа, который озарилъ начало нашей повѣсти.

Это было во время карнавала. «Сегодня я не пойду на Корсо», сказали принципе своему *maestro di casa*, выходя изъ дому: «мнѣ надоѣдаетъ карнавать, мнѣ лучше нравятся лѣтніе праздники и церемоніи...»

«Но развѣ это карнавалъ?» сказалъ старикъ: «это карнавалъ ребятъ. Я помню карнавалъ: когда по всему Корсо ни одной кареты не было, и всю ночь гремѣла по улицамъ музыка; когда живописцы, архитекторы и скульпторы выдумывали цѣлыя группы, исторіи; когда народъ—князь понимаетъ—весь народъ, всѣ, всѣ золотильщики, рамщики, мозаичисты, прекрасныя женщины, вся синьорія, всѣ *pobili*, всѣ, всѣ, всѣ... о *quanta allegria!* Вотъ когда былъ карнавалъ, такъ карнавалъ! А теперь чтó за карнавалъ? Э!..» сказалъ старикъ и пожалъ плечами; потомъ опять сказалъ: «э!» и пожалъ плечами, и потомъ уже произнесъ: «Е *una porcheria!*»—Затѣмъ *maestzo di casa*, въ душевномъ порывѣ, сдѣлалъ необыкновенно сильный жестъ рукою, но утишился, увидѣвъ, что князя давно предъ нимъ не было: онъ былъ уже на улицѣ. Не желая участвовать въ карнавалѣ, онъ не взялъ съ собой ни маски, ни желѣзной сѣтки на лицо и, забросившись плащомъ, хотѣлъ только пробраться чрезъ Корсо на другую половину города. Но народная толпа была слишкомъ густа. Едва только продрался онъ между двухъ челоуѣкъ, какъ уже попотчивали его сверху мукой; пестрый арлекинъ ударилъ его по плечу трещоткою, пролетѣвъ мимо съ своей Коломбиною; «конфетти» и пучки цвѣтовъ полетѣли ему въ глаза; съ двухъ сторонъ стали ему жужжать въ уши: съ одной стороны графъ, съ другой медикъ, читавшій ему длинную лекцію о томъ, чтó у него находится въ желудочной кишкѣ. Пробраться между нихъ не было силъ, потому что народная толпа возросла, цѣль экинажей, уже не будучи въ возможности двинуться, остановилась. Вниманіе толпы занялъ какой-то смѣльчакъ, шагавшій на ходуляхъ наравнѣ съ домами, рискуя всякую минуту быть сбитымъ съ ногъ и грохнуться на-смерть о мостовую. Но объ этомъ, кажется, у него не было заботы. Онъ тащилъ

на плечахъ чучелу великана, придерживая ее одной рукою, неся въ другой написанный на бумагѣ сонетъ, съ придѣланнымъ къ нему бумажнымъ хвостомъ, какой бываетъ у бумажнаго змѣя, и крича во весь голосъ: «Ecco il gran poeta morto! Ecco il suo sonetto colla coda. (Вотъ умершій великій поэтъ! Вотъ его сонетъ съ хвостомъ!)\*» Этого смѣльчакъ сгустилъ за собою толпу до такой степени, что князь едва могъ перевести духъ. Наконецъ, вся толпа двинулась впередъ за мертвымъ поэтомъ; цѣпь экипажей тронулась, чему онъ обрадовался сильно, хоть народное движеніе сбило съ него шляпу, которую онъ теперь бросился подымать. Поднявши шляпу, онъ поднялъ вмѣстѣ и глаза, и остолебѣлъ: предъ нимъ стояла неслышанная красавица. Она была въ сіяющемъ альбанскомъ нарядѣ, въ ряду двухъ другихъ, тоже прекрасныхъ женщинъ, которыя были предъ ней—какъ ночь предъ днемъ. Это было чудо въ высшей степени. Все должно было померкнуть предъ этимъ блестящимъ. Глядя на нее, становилось ясно, почему итальянскіе поэты и сравниваютъ красавицъ съ солнцемъ. Это именно было солнце, полная красота! Все, что разсыпалось и блистаетъ поодионокъ въ красавицахъ міра, все это собралось сюда вмѣстѣ. Взглянувши на грудь и бюстъ ея, уже становилось очевидно, чего недостаетъ въ груди и бюстахъ прочихъ красавицъ. Предъ ея густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными всѣ другіе волосы. Ея руки были для того, чтобы всякаго обратить въ художника: какъ художникъ, глядѣлъ бы онъ на нихъ вѣчно, не смѣядохнуть. Предъ ея ногами показались бы щепками ноги англичанокъ, нѣмокъ, француженокъ и женщинъ всѣхъ другихъ націй; одни только древніе ваятели удержали высокую идею красоты ихъ въ своихъ статуяхъ. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всѣхъ равно ослѣпить. Тутъ не нужно было имѣть какой-нибудь особенный вкусъ; тутъ всѣ вкусы должны были сойтись, всѣ должны были повергнуться ницъ: и вѣрующій, и невѣрующій упали бы предъ ней, какъ предъ внезапнымъ явленіемъ божества. Онъ видѣлъ, какъ весь народъ, сколько

\*) Въ итальянской поэзіи существуетъ родъ стихотворенія, извѣстнаго подъ именемъ *сонета съ хвостомъ* (son la coda) — когда мысль не вмѣстилась и ведетъ за собою прибавленіе, которое часто бываетъ длиннѣе самого сонета.

его тамъ ни было, заглядѣлся на нее, какъ женщины выразили невольное изумленіе на своихъ лицахъ, смѣшанное съ наслажденіемъ, и повторяли: «O bella!»; какъ все, что ни было, казалось, превратилось въ художника и смотрѣло пристально на одну ее. Но въ лицѣ красавицы написано было только одно вниманіе къ карнавалу: она смотрѣла только на толпу и на маски, не замѣчая обращенныхъ на нее глазъ, едва слушая стоявшихъ позади ея мужчинъ въ бархатныхъ курткахъ, вѣроятно, родственниковъ, пришедшихъ вмѣстѣ съ ними. Князь принимался было разспрашивать у стоявшихъ подлѣ него, кто была такая чудная красавица и откуда, но вездѣ получалъ въ отвѣтъ одно только пожатіе плечами, сопровождаемое жестомъ, и слова: «Не знаю; должно-быть, иностранка \*)». Недвижный, притаивъ дыханье, онъ поглощалъ ее глазами. Красавица, наконецъ, навела на него свои полныя очи, но тутъ же смутилась и отвела ихъ въ другую сторону. Его пробудилъ крикъ: передъ нимъ остановилась громадная телѣга. Толпа находившихся въ ней масокъ въ розовыхъ блузахъ, назвавъ его по имени, принялась качать въ него мукой, сопровождая однимъ длиннымъ восклицаніемъ: «у, у, у!..» И въ одну минуту съ ногъ до головы былъ онъ обсыпанъ бѣлою пылью, при громкомъ смѣхѣ всѣхъ обступившихъ его сосѣдей. Весь бѣлый, какъ снѣгъ, даже съ бѣлыми рѣсницами, князь побѣжалъ наскоро домой переодеваться.

Покаместъ онъ сбѣгалъ домой, пока успѣлъ переодеться, уже только полтора часа оставалось до *Ave Maria*. Съ Корсо возвращались пустыя кареты: сидѣвшіе въ нихъ перебрались на балконы смотрѣть оттуда не перестававшую двигаться толпу, въ ожиданіи коннаго бѣга. При поворотѣ на Корсо, встрѣтилъ онъ телѣгу, полную мужчинъ въ курткахъ и сіяющихъ женщинъ съ цвѣточными вѣнками на головахъ, съ бубнами и тимпанами въ рукахъ. Телѣга, казалось, весело возвращалась домой; бока ея были убраны гирляндами, спицы и ободья колесъ увиты зелеными вѣтвями. Сердце его захолоуло, когда онъ увидѣлъ, что среди женщинъ сидѣла въ ней поразившая его красавица. Сверкающимъ смѣхомъ озарялось ея лицо. Телѣга быстро промчалась при кли-

---

\*) Римляне всѣхъ, кто не живетъ въ Римѣ, называютъ иностранцами (*forestieri*), хотя бы они обитали только въ 10 миляхъ отъ города.

кахъ и пѣсняхъ. Первымъ дѣломъ его было бѣжать вслѣдъ ея; но дорогу перегородилъ ему огромный поѣздъ музыкантовъ: на шести колесахъ везли страшилищной величины скрипку. Одинъ человѣкъ сидѣлъ верхомъ на подставкѣ, другой, идя сбоку ея, водилъ громаднымъ смычкомъ по четыремъ канатамъ, натянутымъ на нее вмѣсто струнъ. Скрипка, вѣроятно, стоила большихъ трудовъ, издержекъ и времени. Впереди шелъ исполинскій барабанъ. Толпа народа и мальчишекъ тѣсно валила вслѣдъ за музыкальнымъ поѣздомъ, и шествіе замыкалъ извѣстный въ Римѣ своей толщиною пицикароло, неся клистирную трубку выинию съ колокольню. Когда улпца очистилась отъ поѣзда, князь увидѣлъ, что бѣжать за тѣдѣгой глупо и поздно, и притомъ неизвѣстно, по какимъ дорогамъ понеслась она. Онъ не могъ, однакоже, отказаться отъ мысли искать ея. Въ воображеніи его порхалъ этотъ сіяющій смѣхъ и открытыя уста съ чудными рядами зубовъ. «Это блескъ молніи, а не женщины!» повторялъ онъ въ себѣ, и въ то же время съ гордостью прибавлялъ: «Она римлянка; такая женщина могла только родиться въ Римѣ. Я долженъ непременно ее увидѣть; я хочу ее видѣть, не съ тѣмъ, чтобы любить ее — нѣтъ, я хотѣлъ бы только смотрѣть на нее, смотрѣть на всю ее, смотрѣть на ея очи, смотрѣть на ея руки, на ея пальцы, на блистающіе волосы. Не цѣловать ее, хотѣлъ бы только глядѣть на нее. И что же? Вѣдь это такъ должно быть, это въ законѣ природы; она не имѣетъ права скрыть и унести красоту свою. Полная красота дана для того въ мірѣ, чтобы всякій ее увидать, чтобы идею о ней сохранялъ вѣчно въ своемъ сердцѣ. Если бы она была просто прекрасна, а не такое верховное совершенство, она бы имѣла право принадлежать одному, ее бы могъ онъ унести въ пустыню, скрыть отъ міра. Но красота полная должна быть видима всѣмъ. Развѣ великолѣпный храмъ строить архитекторъ въ тѣсномъ переулкѣ? Нѣтъ, онъ ставитъ его на открытой площади, чтобы человѣкъ со всѣхъ сторонъ могъ оглянуть его и подивиться ему. Развѣ для того зажженъ свѣтильникъ, сказалъ Божественный Учитель, чтобы скрывать его и ставить подъ столъ? Нѣтъ, свѣтильникъ зажженъ для того, чтобы стоять на столѣ, чтобы всѣмъ было видно, чтобы всѣ двигались при его свѣтѣ. Нѣтъ, я долженъ ее видѣть непременно». Такъ рассуждалъ князь и потомъ

долго передумывать и перебирать всё средства, какъ достигнуть этого; наконецъ, какъ казалось, остановился на одномъ и отправился тутъ же, нисколько не медля, въ одну изъ тѣхъ отдаленныхъ улицъ, которыхъ много въ Римѣ, гдѣ нѣтъ даже кардинальскаго дворца съ выставленными расписными гербами на деревянныхъ овальныхъ щитахъ, гдѣ виденъ нумеръ надъ каждымъ окномъ и дверью тѣснаго домишка, гдѣ идетъ горбомъ выпученная мостовая, куда изъ иностранцевъ заглядываетъ только развѣ пройдоха нѣмецкій художникъ съ походнымъ стуломъ и красками, да козель, отставшій отъ проходящаго стада и остановившійся посмотреть съ изумленіемъ, что за улица, имъ никогда не виданная. Тутъ раздается звонко лепетъ римлянокъ: со всѣхъ сторонъ, изъ всѣхъ оконъ несутся рѣчи и переговоры. Тутъ все откровенно, и проходящій можетъ совершенно знать всѣ домашнія тайны; даже мать съ дочерью разговариваютъ не иначе между собою, какъ высунувъ обѣ свои головы на улицу; тутъ мужчинъ незамѣтно вовсе. Едва только блеснетъ утро, уже открываетъ окно и высовывается сьора Сусанна; потомъ изъ другого выказывается сьора Грація, надѣвая юбку; потомъ открываетъ окно сьора Нанна; потомъ вылезаетъ сьора Лучія, расчесывая гребнемъ косу; наконецъ, сьора Чечилія высовываетъ руку изъ окна, чтобы достать бѣлье на протянутой веревкѣ, которое тутъ же и наказывається за то, что долго не даю достать себя, наказывається скомканьемъ, киданьемъ на полъ и словами: «che bestial!» Тутъ все живо, все кипитъ: летитъ изъ окна башмакъ съ ноги въ шалуна-сына или въ козла, который, подошедъ къ корзинкѣ, гдѣ поставленъ годовой ребенокъ, принялся его нюхать и, наклоня голову, готовился ему объяснить, что такое значать рога. Тутъ ничего не было неизвѣстнаго: все извѣстно. Синьоры все знали, что ни есть: какой сьора Джудита купила платокъ, у кого будетъ рыба за обѣдомъ, кто любовникъ у Барбаруччи, какой капудинъ лучше исповѣдуетъ. Изрѣдка только вставляетъ свое слово мужъ, стоящій обыкновенно на улицѣ, облокотясь у стѣны, съ коротенькою трубкою въ зубахъ, почитавшій необходимостью: услыша о капудинѣ, прибавить короткую фразу: «всѣ мошенники!» послѣ чего продолжаютъ снова пускать подъ носъ себѣ дымъ. Сюда не заѣзжала никакая карета, кромѣ развѣ только одной двухколесной трясушки, запряженной муломъ, привез-

шимъ хлѣбнику муку, и соннаго осла, едва дотащившаго перекидную корзину съ броколами, несмотря на всѣ понуканья мальчишекъ, угобжающихъ каменьями его нещекотливые бока. Тутъ нѣтъ никакихъ магазиновъ, кромѣ лавчонки, гдѣ продаются хлѣбъ и веревки, со стеклянными бутылками, да темнаго узенькаго кафе, находящагося въ самомъ углу улицы, откуда виденъ былъ безпрестанно выходившій боттега, разносившій синьорамъ кофе или шоколадъ на козьемъ молокѣ, въ жестяныхъ маленькихъ кофейничкахъ, извѣстный подъ именемъ Авроры. Дома тутъ принадлежали двумъ, тремъ, а иногда и четыремъ владѣльцамъ. изъ которыхъ одинъ имѣлъ только пожизненное право, другой владѣлъ однимъ этажемъ и имѣлъ право пользоваться съ него доходомъ только два года, послѣ чего, вслѣдствіе завѣщанія, этажъ долженъ былъ перейти отъ него къ padre Visenzo на десять лѣтъ, у котораго, однакоже, хочеть оттягать его какой-то родственникъ прежней фамиліи, живущій во Фраскати и уже заблаговременно затѣявшій процессъ. Были и такіе владѣльцы, которые владѣли однимъ окномъ въ одномъ домѣ, да другими двумя въ другомъ домѣ. да пополамъ съ братомъ пользовались доходами съ окна, за которое, впрочемъ, вовсе не платилъ неисправный жилецъ — словомъ, предметъ неистощимый тяжбъ и продовольствія адвокатовъ и куріаловъ, наполняющихъ Римъ. Дамы, о которыхъ только-что было упомянуто, всѣ, какъ первоклассныя, честимыя полными именами, такъ и второстепенныя. называвшіяся уменьшительными именами, всѣ Тетты, Тутты. Нанны, болѣею частью ничѣмъ не занимались: онѣ были супруги — адвоката, мелкаго чиновника, мелкаго торгаша, носильщика, факина, а чаще всего незанятаго гражданина, умѣвшаго только красиво драпироваться не весьма надежнымъ плащомъ.

Многія изъ синьоръ служили моделями для живописцевъ. Тутъ были всѣхъ родовъ модели. Когда бывали деньги, онѣ проводили весело время въ остеріи съ мужьями и цѣлой компаніей; не было денегъ — не были скучны и глядѣли въ окно. Теперь улица была тише обыкновеннаго, потому что нѣкоторые отпраздновали въ народную толпу на Корсо. Князь подошелъ къ ветхой двери одного домишка, которая вся была выверчена дырами, такъ что самъ хозяинъ долготыкать въ нихъ ключомъ, покамѣстъ попадать въ настоя-

щую. Уже готовъ онъ былъ взяться за кольцо, какъ вдругъ услышать слова: «Сьоръ принципе хочетъ видѣть Пеппе?» Онъ поднялъ голову вверхъ: изъ третьяго этажа глядѣла, высунувшись, сьора Тутта.

«Экая крикунья!» сказала изъ супротивнаго окна сьора Сусанна. «Принципе, можетъ-быть, совсѣмъ пришелъ не съ тѣмъ, чтобъ видѣть Пеппе».

«Конечно, съ тѣмъ, чтобы видѣть Пеппе, не правда ли, князь? Съ тѣмъ, чтобы видѣть Пеппе, не такъ ли, князь? Чтобы увидѣть Пеппе?»

«Какой Пеппе, какой Пеппе!» продолжала съ жестомъ обѣими руками сьора Сусанна: «князь сталъ бы думать теперь о Пеппе! Теперь время карнавала: князь поѣдетъ въѣсть съ своей куджиной, маркезой Монтели, поѣдетъ съ друзьями въ каретѣ бросать цвѣты, поѣдетъ за городъ *far allegria*. Какой Пеппе! какой Пеппе!»

Князь изумился такимъ подробностямъ о своемъ препровожденіи времени, но изумляться ему было нечего, потому что сьора Сусанна знала все.

«Нѣтъ, мои любезныя синьоры», сказалъ князь: «мнѣ, точно, нужно видѣть Пеппе».

На это дала отвѣтъ князю уже синьора Грація, которая давно высунулась изъ окошка второго этажа и слушала. Отвѣтъ дала она, слегка пощелкавъ языкомъ и покрутивъ пальцемъ — обыкновенный отрицательный знакъ у римлянъ — и потомъ прибавила: «Нѣтъ дома».

«Но, можетъ-быть, вы знаете, гдѣ онъ, куда ушелъ?»

«Э, куда ушелъ!» повторила сьора Грація, приклонивъ голову къ плечу: «статься можетъ—въ остерін, на площади, у фонтана; вѣрно, кто-нибудь позвалъ его, куда-нибудь ушелъ: *chi lo sa!* (кто его знаетъ)!»

«Если хочетъ принципе что-нибудь сказать ему», подхватила изъ супротивнаго окна Барбаручья, вдѣвая въ то же время серьгу въ свое ухо: «пусть скажетъ мнѣ: я ему передамъ».

«Ну, нѣтъ», подумалъ князь и поблагодарить за такую готовность. Въ это время выглянулъ изъ перекрестнаго переулка огромный запачканный носъ и, какъ большой топоръ, повиснуть надъ показавшимися встѣдъ за нимъ губами и всѣмъ лицомъ: это былъ самъ Пеппе.

«Вотъ Пеппе!» вскрикнула сьора Сусанна.



«Вотъ идетъ Пеппе, *siog principe!*» вскрикнула живо изъ своего окна съора Грація.

«Идетъ, идетъ Пеппе!» зазвенѣла изъ самаго угла улицы съора Чечилія.

«Принчипе, принчипе, вонъ Пеппе! вонъ Пеппе! (*ессо Рерре! эссо Рерре!*)» кричали на улицѣ ребятишки.

«Вижу, вижу», сказалъ князь, оглушенный такимъ живымъ крикомъ.

«Вотъ я, *eccellenza!* вотъ!» сказалъ Пеппе, снимая шапку. Онъ, какъ видно, уже успѣлъ попробовать карнавала: его откуда-нибудь сбокухватило сильно мукою: весь бокъ и спина были у него выбѣлены совершенно, шляпа изломана и все лицо было убито бѣлыми гвоздями. Пеппе уже былъ замѣчательнъ потому, что всю жизнь свою остался съ уменьшительнымъ именемъ своимъ Пеппе. До Джузеппе онъ никакъ не добрался, хотя и посядѣлъ. Онъ происходилъ даже изъ хорошей фамилиі, изъ богатаго дома негоціанта, но послѣдній домишка былъ у него оттяганъ тяжбой. Еще отецъ его, человѣкъ тоже въ родѣ самого Пеппе, хотя и назывался *siog Джіованни*, проѣлъ послѣднее имущество, и онъ мыкалъ теперь свою жизнь подобно многимъ, то-есть, какъ приходилось: то вдругъ опредѣлялся саугой у какого-нибудь иностранца, то былъ на посылкахъ у адвоката, то являлся убирателемъ студіи какого-нибудь художника, то сторожемъ виноградики или виллы, и, по мѣрѣ того, измѣнялся на немъ безпрестанно костюмъ. Иногда Пеппе попадался на улицѣ въ круглой шляпѣ и широкомъ сюртукѣ, иногда въ узенькомъ кафтанѣ, допнувшемъ въ двухъ или трехъ мѣстахъ, съ такими узенькими рукавами, что длинныя руки его выглядывали оттуда, какъ метлы; иногда на ногѣ его являлся поповскій чулокъ и башмакъ; иногда онъ показывался въ такомъ костюмѣ, что ужъ и разобрать было трудно, тѣмъ болѣе, что все это было надѣто вовсе не такъ, какъ слѣдуетъ: иной разъ, просто, можно было подумать, что онъ надѣлъ на ноги, вмѣсто панталонъ, куртку, собравши и завязавши ее кое-какъ сзади. Онъ былъ самый радушный исполнитель всѣхъ возможныхъ порученій, часто вовсе безынтересно: тащилъ продавать всякую ветошь, которую поручали дамы его улицы, пергаментныя книги, разорившагося аббата или антикварія, картину художника; заходилъ по утрамъ къ аббатамъ забирать ихъ панталоны

и башмаки для почистки къ себѣ на домъ, которые потомъ позабывалъ въ урочное время отнести назадъ отъ излишняго желанья услужить кому-нибудь попавшемуся третьему, и аббаты оставались арестованными безъ башмаковъ и панталонъ на весь день. Часто ему перепали порядочныя деньги; но деньгами онъ распоряжался по-римски, то-есть, на завтра никогда почти ихъ не ставало, не потому, чтобы онъ тратилъ на себя или проѣдалъ, но потому, что все у него шло на лотерею, до которой былъ онъ страшный охотникъ. Врядъ ли существовалъ такой номеръ, котораго бы онъ не попробовалъ. Всякое незначашее ежедневное происшествіе у него имѣло важное значеніе. Случилось ли ему найти на улицѣ какую-нибудь дрянъ, онъ тотъ же часъ справлялся въ гадательной книгѣ, за какимъ номеромъ она тамъ стоитъ, съ тѣмъ, чтобы его тотчасъ же взять въ лотерей. Приснился ему однажды сонъ, что сатана, — который и безъ того ему снился, неизвѣстно по какой причинѣ, въ началѣ каждой весны, — что сатана потащилъ его за носъ по всѣмъ крышамъ всѣхъ домовъ, начиная отъ церкви Св. Игнатія, потомъ по всему Корсо, потомъ по переулку *tre Ladroni*, потомъ по *via della stamperia*, и остановился, наконецъ, у самой *trinita* на лѣстницѣ, приговаривая: «вотъ тебѣ, Пеппе, за то, что ты молился Св. Панкратію: твой билетъ не выиграетъ». Сонъ этотъ произвелъ большіе толки между сырой Чечиліей, сырой Сусанной и всей почти улицей; но Пеппе разрѣшилъ его по-своему: сбѣгалъ тотъ же часъ за гадательной книгой, узналъ, что чортъ значить 13 номеръ, носъ 24, Святой Панкратій 30, и взялъ въ то же утро всѣ три номера. Потомъ сложилъ всѣ три номера — вышелъ 67, онъ взялъ и 67. Всѣ четыре номера, по обыкновенію, лопнули. Въ другой разъ случилось ему завести переналку съ виноградаремъ, толстымъ римляниномъ, сыромъ Рафаэлемъ Томачели. За что они поссорились, — Богъ ихъ вѣдаетъ, но кричали они громко, производя сильныя жесты руками, и, наконецъ, оба побѣдѣли — признакъ ужасный, при которомъ обыкновенно со страхомъ высываются изъ оконъ всѣ женщины и проходящій пѣшеходъ отсторонивается подальше, — признакъ, что дѣло доходить, наконецъ, до ножей. И точно, толстый Томачели запустилъ уже руку за ременное голенище, обтягивающее его толстую икру, чтобы вытащить оттуда ножъ, и сказалъ: «Погоди

ты, вотъ я тебя, телячья голова!» какъ вдругъ Пеппе ударилъ себя рукою по лбу и убѣжалъ съ мѣста битвы. Онъ вспомнилъ, что на телячью голову онъ еще ни разу не взялъ билета, отыскалъ нумеръ телячьей головы и добѣжалъ бѣгомъ въ лотерейную контору, такъ что всѣ, приготовившіеся смотрѣть кровавую сцену, изумились такому неожиданному поступку, и самъ Рафаэль Томачели, засунувши обратно ножъ въ голенище, долго не зналъ, что ему дѣлать, и, наконецъ, сказалъ: «*Che uomo curioso!*» (какой странный человѣкъ!)» Что билеты лопались и пропадали, этимъ не смущался Пеппе. Онъ былъ твердо увѣренъ, что будетъ богачомъ, и потому, проходя мимо лавокъ, спрашивалъ почти всегда, что стоитъ всякая вещь. Одинъ разъ, узнавши, что продается большой домъ, онъ зашелъ нарочно поговорить объ этомъ съ продавцомъ; и когда стали надъ нимъ смѣяться знавшіе его, онъ отвѣчалъ очень просто-душно: «Но къ чему смѣяться? къ чему смѣяться? Я вѣдь не теперь хотѣлъ купить, а послѣ, со временемъ, когда будутъ деньги. Тутъ ничего нѣтъ такого... Всякій долженъ приобретать состояніе, чтобы оставить потомъ дѣтямъ, на церковь, бѣднымъ, на другія разныя вещи... *chi lo sa!*» Онъ уже давно былъ извѣстенъ князю, былъ даже когда-то взятъ отцомъ его въ домъ въ качествѣ официанта, и тогда же прогнанъ за то, что въ мѣсяцъ износилъ свою ливрею и выбросилъ за окно весь туалетъ стараго князя, нечаянно толкнувъ его локтемъ.

«Послушай, Пеппе!» сказалъ князь.

«Что хочетъ приказать есселенза?» говорилъ Пеппе, стоя съ открытою головою: «князю стѣдуетъ только сказать «Пеппе!» а я: «вотъ я!» Потомъ князь пусть только скажетъ: «Слушай, Пеппе», а я: «ессо ме, есселенза!»

«Ты долженъ, Пеппе, сдѣлать мнѣ теперь вотъ какую услугу...» При сихъ словахъ князь взглянулъ вокругъ себя и увидѣлъ, что всѣ ссоры Граціи, ссоры Сусанны, Барбаруччи, Тетты, Тутты, — всѣ, сколько ихъ ни было, выставились любопытно изъ окна, а бѣдная ссора Чечилія чуть не вывалилась вовсе на улицу.

«Ну, дѣло плохо!» подумалъ князь. «Пойдемъ, Пеппе, ступай за мною!»

Сказавши это, онъ пошелъ впередъ, а за нимъ Пеппе, потупивъ голову и разговаривая самъ съ собою: «Э! женщины,

потому и любопытны, потому что женщины, потому что любопытны».

Долго шли они изъ улицы въ улицу, погружаясь каждый въ свои соображенія. Пеппе думатьъ вотъ о чемъ: «Князь дастъ, вѣрно, какое-нибудь порученіе, можетъ-быть важное, потому что не хочетъ сказать при всѣхъ; стало-быть, дастъ хорошій подарокъ или деньги. Если же князь дастъ денегъ, что съ ними дѣлать? Отдавать ли ихъ сыру Сервиліо, содержателю кафе, которому онъ давно долженъ? потому что сыръ Сервиліо на первой же недѣлѣ поста непременно потребуетъ съ него денегъ, потому что сыръ Сервиліо усадилъ всѣ деньги на чудовищную скрипку, которую собственноручно дѣлалъ три мѣсяца для карнавала, чтобъ проѣхаться съ нею по всѣмъ улицамъ, — теперь, вѣроятно, сыръ Сервиліо долго будетъ ѣсть, вмѣсто жаренаго на вертелѣ козленка, одни брокколи, варенные въ водѣ, пока не наберетъ вновь денегъ за кофе. Или же не платить сыру Сервиліо, да вмѣсто того позвать его обѣдать въ остерію? потому что сыръ Сервиліо—il vero Romano, и за предложенную ему честь будетъ готовъ потерять долгъ; а лотерея непременно начнется со второй недѣли поста. Только какимъ образомъ до того времени уберечь деньги? какъ сохранить ихъ такъ, чтобы не узналъ ни Джакомо, ни мастеръ Петруччо, точильщикъ, которые непременно попросятъ у него займы? потому что Джакомо заложилъ въ Гету жидамъ все свое платье, а мастеръ Петруччо тоже заложилъ свое платье въ Гету жидамъ и разорвалъ на себѣ юбку и послѣдній платокъ жены, нарядясь женщиною... какъ сдѣлать такъ, чтобы не дать имъ займы?» Вотъ о чемъ думалъ Пеппе.

Князь думатьъ вотъ о чемъ: «Пеппе можетъ разыскать и узнать имя, гдѣ живетъ, и откуда, и кто такая красавица. Во-первыхъ, онъ всѣхъ знаетъ, и потому больше, нежели всякій другой, можетъ встрѣтить въ толпѣ пріятелей, можетъ чрезъ нихъ развѣдать, можетъ заглянуть во всѣ кафе и остеріи, можетъ заговорить даже, не возбуждивъ ни въ комъ подозрѣнія своей фигурой. И хотя онъ подчасъ болтунъ и разсѣянная голова, но, если обязать его словомъ настоящаго римлянина, онъ сохранить все втайнѣ».

Такъ думалъ князь, идя изъ улицы въ улицу, и, нако-

нецъ, остановился, увидѣвши, что уже давно перешелъ мостъ, давно уже былъ въ Транстеверской сторонѣ Рима, давно взбирается на гору, и не далеко отъ него церковь S. Pietro in Montorio. Чтобы не стоять на дорогѣ, онъ взошелъ на площадку, съ которой открывался весь Римъ. и произнесъ, оборотившись къ Пеппе: «Слушай, Пеппе: я отъ тебя потребую одной услуги».

«Что хочетъ *esselenza?*» сказалъ опять Пеппе.

Но здѣсь князь взглянулъ на Римъ и остановился: предъ нимъ въ чудной сіяющей панорамѣ предсталъ вѣчный городъ. Вся свѣтлая груда домовъ, церквей, куполовъ, остро-конечій сильно освѣщена была блескомъ понизившагося солнца. Группами и поодинокѣ одинъ изъ-за другого выходили дома, крыши, статуй, воздушныя террасы и галереи; тамъ пестрѣла и разыгрывалась масса тонкими верхушками колоколенъ и куполовъ съ узорною капризностью фонарей; тамъ выходилъ цѣликомъ темный дворецъ; тамъ плоскій куполь Пантеона; тамъ убранная верхушка Антониновской колонны съ капителю и статуей апостола Павла; еще правѣ возносили верхи капитолійскія зданія съ бѣлыми, статуями; еще правѣ надъ блещущей толпой домовъ и крышъ величественно и строго подымалась темная ширина колизейской громады; тамъ опять играющая толпа стѣнъ, террасъ и куполовъ, покрытая ослѣпительнымъ блескомъ солнца. И надъ всей сверкающей массой темнѣли вдали своей черною зеленью верхушки каменныхъ дубовъ изъ виллы Людовизи, Медичисъ, и цѣлымъ стадомъ стояли надъ ними въ воздухѣ куполообразныя верхушки римскихъ пиннъ, поднятыя тонкими стволами. И потомъ, во всю длину всей картины возносились и голубѣли прозрачныя горы, легкія, какъ воздухъ, объятые какимъ-то фосфорическимъ свѣтомъ. Ни словомъ, ни кистью нельзя было передать чуднаго согласія и сочетанія всѣхъ плановъ этой картины! Воздухъ былъ до того чистъ и прозраченъ, что малѣйшая черточка отдаленныхъ зданій была ясна, и все казалось такъ близко, какъ будто можно было схватить рукою. Послѣдній мелкій архитектурный орнаментъ, узорное убранство карниза — все вызначалось въ непостижимой чистотѣ. Въ это время раздался пущечный выстрѣлъ и отдаленный слившійся крикъ народнои толпы, — знакъ, что уже пробѣжали кони безъ сѣдокъ, завершающіе день кар-

навала. Солнце опускалось ниже къ землѣ; румянѣе и жарче сталъ блескъ его на всей архитектурной массѣ: еще живѣй и ближе сдѣлался городъ; еще темнѣй зачернѣли пинны; еще голубѣе и фосфорнѣе стали горы; еще торжественнѣй и лучше готовый погаснуть небесный воздухъ... Боже! ка-  
кой видъ! Князь, объятый имъ, позабылъ и себя; и красоту  
Аннунціаты, и таинственную судьбу своего народа, и все,  
что ни есть на свѣтѣ.



нецъ, остановился, увидѣвши, что уже давно  
мосьтъ, давно уже былъ въ Транстеверской  
давно взбирается на гору, и не далеко отъ  
S. Pietro in Montorio. Чтобы не стоялъ  
взошелъ на площадку, съ которой отъ  
и произнесъ, оборотившись къ Пеппе  
отъ тебя потребую одной услуги».

«Что хочешь есселенза?» сказалъ

Но здѣсь князь взглянулъ на  
нимъ въ чудной сіяющей панорамѣ  
родъ. Вся свѣтлая груды домовъ  
конечій сильно освѣщена  
солнца. Группами и пооди-  
ходили дома, крыши, ста-  
лереи; тамъ пестрѣла  
хушками колоколенъ  
фонарей; тамъ вых-  
плоскій куполь Па-  
ниновской колонны  
еще правѣе воз-  
нами, статуя  
мовъ и кры-  
ширина ко-  
стѣвъ, те-  
скомъ с-  
вдали  
изъ  
на  
п

— 171 —

то опускаясь ниже въ землю: рываго и за-  
на всей архитектурой массы: еще жаль-а  
мнѣ; еще тѣмъ запертымъ планамъ:  
стали горы; еще туркменства  
бѣдный почитъ.. Блж! ка-  
рѣзь и снѣгъ и брызги  
и вѣтъ и вѣтъ и вѣтъ.

## КОМЕДИИ.





# КОМЕДИИ.



# РЕВИЗОРЪ.

На зеркало неча пенять, коли рожа крива.

*Народная пословица.*

## ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

---

Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскій, городничій.

Анна Андреевна, жена его.

Марья Антоновна, дочь его.

Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель училищъ.

Жена его.

Аммосъ Федоровичъ Ляпкинь-Тяпкинь, судья.

Артеміи Филипповичъ Земляника, попечитель богоугодныхъ заведеній.

Иванъ Кузьмичъ Шлекинъ, почтмейстеръ.

Петръ Ивановичъ Добчинскій } городскіе поѣздики.

Петръ Ивановичъ Бобчинскій }

Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, чиновникъ изъ Петербурга.

Осипъ, слуга его.

Христіанъ Ивановичъ Гибнеръ, уѣздный лѣкарь.

Федоръ Андреевичъ Люлюковъ }

Иванъ Лазаревичъ Растаковскій } отставные чиновники, почетныя

Степанъ Ивановичъ Коробкинъ } лица въ городѣ.

Степанъ Ильичъ Уховертовъ, частный приставъ.

Свистуновъ }

Пуговицынъ } полицейскіе.

Держиморда }

Абдулинъ, купецъ.

Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша.

Жена унтеръ-офицера.

Мишка, слуга городничаго.

Слуга трактирный.

Гости и гостыя, купцы, мѣщане, просители.

## ХАРАКТЕРЫ И КОСТЮМЫ.

Замѣчанія для господъ актеровъ.

Городничій, уже постарѣвшій на службѣ и очень не глупый, по-своему, человѣкъ. Хотя и взяточникъ, но ведетъ себя очень солидно; довольно серьезень, нѣсколько даже резонеръ; говорить ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, какъ у всякаго, начавшаго тяжелую службу съ низшихъ чиновъ. Переходъ отъ страха къ радости, отъ низости къ высокоумію довольно быстръ, какъ у человѣка съ грубо-развитыми склонностями души. Онъ одѣтъ, по обыкновенію, въ своемъ мундирѣ съ петлицами и въ ботфортахъ со шпорами. Волоса на немъ стриженные, съ просѣдью.

Анна Андреевна, жена его, провинціальная кокетка, еще не совсѣмъ пожилыхъ лѣтъ, воспитанная вполнину на романахъ и альбомахъ, вполнину на хлопотахъ въ своей кладовой и дѣвичьей. Очень любопытна и при случаѣ выказываетъ тщеславіе. Беретъ иногда власть надъ мужемъ потому только, что тотъ не находится, что отвѣчать ей; но власть эта распространяется только на мелочи и состоитъ въ выговорахъ и насмѣшкахъ. Она четыре раза переодѣвается въ разные платья въ продолженіе пьесы.

Хлестаковъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати трехъ, тоненькій, худенькій; нѣсколько приглуповатъ и, какъ говорить, безъ царя въ головѣ, — одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ въ канцеляріяхъ называютъ пустѣйшими. Говоритъ и дѣйствуетъ безъ всякаго соображенія. Онъ не въ состояніи

остановить постоянного вниманія на какой-нибудь мысли. Рѣчь его отрывиста, и слова вылетаютъ изъ устъ его совершенно неожиданно. Чѣмъ болѣе исполняющій эту роль покажетъ чистосердечія и простоты, тѣмъ болѣе онъ выиграетъ. Одѣтъ по модѣ.

**Осипъ**, слуга, таковъ, какъ обыкновенно бываютъ слуги нѣсколько пожилыхъ лѣтъ. Говоритъ серьезно, смотритъ нѣсколько внизъ, резонеръ и любитъ себѣ самому читать правоученія для своего барина. Голосъ его всегда почти ровень, въ разговорѣ съ бариномъ принимаетъ суровое, отрывистое и нѣсколько даже грубое выраженіе. Онъ умѣе своего барина, и потому скорѣе догадывается, но не любитъ много говорить, и молча плутъ. Костюмъ его—сѣрый или синій поношенный сюртукъ.

**Бобчинскій и Добчинскій**, оба низенькіе, коротенькіе, очень любопытные; чрезвычайно похожи другъ на друга; оба съ небольшими брюшками, оба говорятъ скороговоркою и чрезвычайно много помогаютъ жестами и руками. Добчинскій немножко выше и серьезнѣе Бобчинскаго, но Бобчинскій развязнѣе и живѣе Добчинскаго.

**Ляпкинь-Тяпкинь**, судья, человѣкъ, прочитавшій пять или шесть книгъ, и потому нѣсколько вольнодумецъ. Охотникъ большой на догадки и потому каждому слову своему даетъ вѣсъ. Представляющій его долженъ всегда сохранять въ лицѣ своемъ значительную мину. Говоритъ басомъ съ продолговатой растяжкой, хрипомъ и сапомъ, какъ старинные часы, которые прежде шипятъ, а потомъ уже бьютъ.

**Земляника**, попечитель богоугодныхъ заведеній, очень толстый, неповоротливый и неуклюжій человѣкъ, но при всемъ томъ пронира и плутъ. Очень услужливъ и суетливъ.

**Почтмейстеръ**, простодушный до наивности человѣкъ.

Прочія роли не требуютъ особыхъ изъясненій: оригиналы ихъ всегда почти находятся передъ глазами.

Господа актеры особенно должны обратить вниманіе на послѣднюю сцену. Послѣднее произнесенное слово должно произвести электрическое потрясеніе на всѣхъ разомъ, вдругъ. Вся группа должна перемѣнить положеніе въ одинъ мигъ. Звукъ изумленія долженъ вырваться у всѣхъ женщинъ разомъ, какъ будто изъ одной груди. Отъ несоблюденія этихъ замѣчаній можетъ исчезнуть весь эффектъ.

## ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Комната въ домѣ городничаго.

### ЯВЛЕНИЕ I.

Городничій, попечитель богоугодныхъ заведеній, смотритель училищъ, судья, частный приставъ, лѣкарь, два квартальныхъ.

Городничій. Я пригласилъ васъ, господа, съ тѣмъ, чтобы сообщить вамъ пренепріятное извѣстіе: къ намъ ѣдетъ ревизоръ.

Амосъ Федоровичъ. Какъ, ревизоръ?

Артемій Филипповичъ. Какъ, ревизоръ?

Городничій. Ревизоръ изъ Петербурга, инкогнито. И еще съ секретнымъ предписаньемъ.

Амосъ Федоровичъ. Вотъ-те на!

Артемій Филипповичъ. Вотъ не было заботы, такъ подай!

Лука Лукичъ. Господи Боже! еще и съ секретнымъ предписаньемъ!

Городничій. Я какъ будто предчувствовалъ: сегодня мнѣ всю ночь снились какія-то двѣ необыкновенныя крысы. Право, этакихъ я никогда не видывалъ: черныя, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вотъ я вамъ прочту письмо, которое получилъ я отъ Андрея Ивановича Чмыхова, котораго вы, Артемій Филипповичъ, знаете. Вотъ что онъ пишетъ: «Любезный другъ, кумъ и благодѣтель» (*бормочетъ вполголоса, пробывая скоро глазами*)... «и увѣдомить тебя». А! вотъ: «спѣшу, между прочимъ, увѣдомить тебя, что пріѣхалъ чиновникъ съ предписаніемъ осмотрѣть всю губернію и особенно нашъ уѣздъ (*значительно поднимаетъ палецъ вверхъ*). Я узналъ это отъ самыхъ достовѣрныхъ людей, хотя онъ представляетъ себя частнымъ лицомъ. Такъ какъ я знаю, что за тобою, какъ за всякимъ, водятся грѣшки, потому что ты человекъ умный и не любишь пропускать того, что плыветъ въ руки...» (*остановясь*) ну, здѣсь свои... «то совѣтую тебѣ взять предосторожность: ибо онъ можетъ пріѣхать во всякій часъ, если только уже не пріѣхалъ и не живетъ гдѣ-нибудь инкогнито... Вчерашняго дня я...» Ну, тутъ ужъ пошли дѣла семейныя: «сестра Анна Кириловна пріѣхала къ намъ съ своимъ мужемъ; Иванъ Кириловичъ очень потолстѣлъ и все



играетъ на скрипкѣ...» и прочее, и прочее. Такъ вотъ какое обстоятельство!

**Аммось Федоровичъ.** Да, обстоятельство такое необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь не даромъ.

**Лука Лукичъ.** Зачѣмъ же, Антонъ Антоновичъ, отчего это? зачѣмъ къ намъ ревизоръ?

**Городничій.** Зачѣмъ! Такъ ужъ, видно, судьба! (*Вздыхнувъ*). До сихъ поръ, благодареніе Богу, подбирались къ другимъ городамъ; теперь пришла очередь къ нашему.

**Аммось Федоровичъ.** Я думаю, Антонъ Антоновичъ, что здѣсь тонкая и больше политическая причина. Это значить вотъ что: Россія... да... хочетъ вести войну, и министеріато, вотъ видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нѣтъ ли гдѣ измѣны.

**Городничій.** Экъ куда хватили! Еще умный человѣкъ! Въ уѣздномъ городѣ измѣна! Что онъ, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не дойдешь.

**Аммось Федоровичъ.** Нѣтъ, я вамъ скажу, вы не того... вы не... Начальство имѣетъ тонкіе виды: даромъ, что далеко, а оно себя мотаетъ на усь.

**Городничій.** Мотаетъ, или не мотаетъ, а я васъ, господа, предупѣдомилъ.—Смотрите, по своей части я кое-какія распоряженія сдѣлать, совѣтую и вамъ. Особенно вамъ, Артемій Филипповичъ! Безъ сомнѣнія, проѣзжающій чиновникъ захочетъ прежде всего осмотрѣть подвѣдомственные вамъ богоугодныя заведенія—и потому вы сдѣлайте такъ, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецовъ, какъ обыкновенно они ходятъ по-домашнему.

**Артемій Филипповичъ.** Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуйста, можно надѣть и чистые.

**Городничій.** Да. И тоже надъ каждой кроватью надписать по-латыни или на другомъ какомъ языкѣ... это ужъ по вашей части, Христіанъ Ивановичъ,—всякую болѣзнь: когда кто заболѣлъ, котораго дня и числа... Не хорошо, что у васъ больные такой крѣпкій табакъ курятъ, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бъ ихъ было меньше: тотчасъ отнесутъ къ дурному смотрѣнію или къ неискусству врача.

**Артемій Филипповичъ.** О! насчетъ врачеванья мы съ Хри-

стіаномъ Ивановичемъ взяли свои мѣры: чѣмъ ближе къ натурѣ, тѣмъ лучше — лѣкарствъ дорогихъ мы не употребляемъ. Человѣкъ простой: если умереть, то и такъ умереть; если выздоровѣть, то и такъ выздоровѣть. Да и Христіану Ивановичу затруднительно было бы съ ними изъясняться: онъ по-русски ни слова не знаетъ.

Христіанъ Ивановичъ *издаетъ звукъ, отчасти похожій на букву и и нѣсколько на е.*

Городничій. Вамъ тоже посовѣтовалъ бы, Аммосъ Ѳедоровичъ, обратить вниманіе на присутственные мѣста. У васъ тамъ въ передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашнихъ гусей съ маленькими гусенками, которые такъ и шныряютъ подъ ногами. Оно, конечно, домашнимъ хозяйствомъ заводится всякому похвально, и почему жъ сторожу и не завести его? только, знаете, въ такомъ мѣстѣ неприлично... Я и прежде хотѣлъ вамъ это замѣтить, но все какъ-то позабывалъ.

Аммосъ Ѳедоровичъ. А вотъ я ихъ сегодня же велю всѣхъ забрать на кухню. Хотите—приходите обѣдать.

Городничій. Кромѣ того, дурно, что у васъ высушивается въ самомъ присутствіи всякая дрянь, и надъ самымъ шкапомъ съ бумагами охотничій арапникъ. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а тамъ, какъ пройдетъ ревизоръ, пожалуй, опять его можете повѣсить. Также засѣдатель вашъ... онъ, конечно, человѣкъ свѣдущій, но отъ него такой запахъ, какъ будто бы онъ сейчасъ вышелъ изъ винокуреннаго завода, — это тоже не хорошо. Я хотѣлъ давно объ этомъ сказать вамъ, но былъ, не помню, чѣмъ-то развлеченъ. Есть противъ этого средства, если уже это дѣйствительно, какъ онъ говорить, у него природный запахъ: можно ему посовѣтовать ѣсть лукъ, или чеснокъ, или что-нибудь другое. Въ этомъ случаѣ можетъ помочь разными медикаментами Христіанъ Ивановичъ.

Христіанъ Ивановичъ *издаетъ тотъ же звукъ.*

Аммосъ Ѳедоровичъ. Нѣтъ, этого уже невозможно выгнать: онъ говорить, что въ дѣтствѣ мамка его ушибла, и съ тѣхъ поръ отъ него отдаетъ немного водкою.

Городничій. Да я такъ только замѣтилъ вамъ. Насчетъ же внутренняго распоряженія и того, что называется въ письмѣ Андрей Ивановичъ грѣшками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нѣтъ человѣка, который бы за собою

не имѣлъ какихъ-нибудь грѣховъ. Это уже такъ сами Богомъ устроено, и волтеріанцы напрасно противъ этого говорятъ.

**Аммось Ѳедоровичъ.** Что жъ вы полагаете, Антонъ Антоновичъ, грѣшками? Грѣшки грѣшкамъ — рознь. Я говорю всѣмъ открыто, что беру взятки, но чѣмъ взятки? Борзыми щенками. Это совсѣмъ иное дѣло.

**Городничій.** Ну, щенками или чѣмъ другимъ—все взято.

**Аммось Ѳедоровичъ.** Ну, нѣтъ, Антонъ Антоновичъ. вотъ, на примѣръ, если у кого-нибудь шуба стоитъ пятьсотъ рублей, да супругъ шаль...

**Городничій.** Ну, а что изъ того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы въ Бога не вѣруете; вы въ церковь никогда не ходите; а я по крайней мѣрѣ въ нее хожу и каждое воскресенье бываю въ церкви. А вы... я знаю васъ: вы если начнете говорить о сотвореніи міра, просто волосы дыбомъ поднимаются.

**Аммось Ѳедоровичъ.** Да вѣдь самъ собою дошелъ, съ собственнымъ уломъ.

**Городничій.** Ну, въ иномъ случаѣ много ума хуже, чѣмъ въ этомъ. Впрочемъ, я такъ только упомянулъ объ уѣздномъ судѣ; а по правдѣ сказать, врядъ ли когда-нибудь заглянетъ туда: это ужъ такое завидное мѣсто, самъ Богъ ему покровительствуетъ. А вотъ вамъ, Лукичъ, такъ, какъ смотрителю учебныхъ заведеній, нужно позаботиться особенно насчетъ учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались въ разныхъ коллегіяхъ, но имѣютъ очень странные поступки, натурально, неразлучные съ ученымъ званіемъ. Одинъ изъ нихъ, на примѣръ, вотъ этотъ, чѣмъ имѣетъ толстое лицо... не вспомню его фамиліи, никакъ не можетъ обойтись безъ того, чтобы, взошедши на кафедру, не сдѣлать гримасу, вотъ этакъ (*оплаетъ гримасу*), и потомъ начнетъ рукою изъ-подъ галстука утѣшать свою бороду. Конечно, если онъ ученику сдѣлаетъ такую рожу, то оно еще ничего: можетъ-быть, оно тамъ и нужно такъ, об этомъ я не могу судить; но вы посудите сами, если онъ сдѣлаетъ это посѣтителю — это можетъ быть очень худо. Господинъ ревизоръ или другой кто можетъ принять это на свой счетъ. Изъ этого, чортъ знаетъ, что можетъ произойти.

**Лука Лукичъ.** Что-жъ мнѣ, право, съ нимъ дѣлать? Я уже нѣсколько разъ ему говорилъ. Вотъ еще на-дняхъ, когда

зашелъ было въ классъ нашъ предводитель, онъ скроилъ такую рожу, какой я никогда еще не видывалъ. Онъ-то ее сдѣлалъ отъ добраго сердца, а мнѣ выговоръ: зачѣмъ вольнодумныя мысли внушаются юношеству.

**Городничій.** То же я долженъ вамъ замѣтить и объ учителѣ по исторической части. Онъ ученая голова—это видно, и свѣдѣній нахваталъ тьму, но только объясняетъ съ такимъ жаромъ, что не помнитъ себя. Я разъ слушалъ его: ну, покамѣстъ говорилъ объ ассиріянахъ и вавилонянахъ—еще ничего, а какъ добрался до Александра Македонскаго, то я не могу вамъ сказать, чтѣ съ нимъ сдѣлалось. Я думалъ, что пожаръ, ей-Богу! Сбѣжалъ съ каедръ и, чтѣ силы есть, хватъ стуломъ объ полъ! Оно, конечно, Александръ Македонскій герой, но зачѣмъ же стулья ломать? отъ этого убытокъ казнѣ.

**Лука Лукичъ.** Да, онъ горячъ! Я ему это нѣсколько разъ уже замѣчалъ... Говорить: «Какъ хотите, для науки я жизни не пощажу».

**Городничій.** Да, таковъ уже неизъяснимый законъ судебъ: умный человѣкъ—или пьяница, или рожу такую состроить, что хотъ святыхъ выноси.

**Лука Лукичъ.** Не приведи Богъ служить по ученой части! Всего боишься: всякій мѣшается, всякому хочется показать, что онъ тоже умный человѣкъ.

**Городничій.** Это бы еще ничего, — инеогнито проклятое! Вдругъ заглядеть: «А, вы здѣсь, голубчики! А кто», скажетъ, «здѣсь судья?» — «Ляпкинь-Тяпкинь». — «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодныхъ заведеній?» — «Земляника». — «А подать сюда Землянику!» Вотъ чтѣ худо!

---

## ЯВЛЕНИЕ II.

Тѣ же и почтмейстеръ.

**Почтмейстеръ.** Объясните, господа, чтѣ, какой чиновникъ ѣдетъ?

**Городничій.** А вы развѣ не слышали?

**Почтмейстеръ.** Слышалъ отъ Петра Ивановича Бобчинскаго. Онъ только-что былъ у меня въ почтовой конторѣ.

**Городничій.** Ну, чтѣ? какъ вы думаете объ этомъ?

**Почтмейстеръ.** А чтѣ думаю?—война съ турками будетъ.

Аммось Федоровичъ. Въ одно слово! я самъ то же думалъ.

Городничій. Да, оба пальцемъ въ небо попали!

Почтмейстеръ. Право, война съ турками. Это все французъ гадить.

Городничій. Какая война съ турками! Просто, намъ плохъ будетъ, а не туркамъ. Это уже извѣстно: у меня письмо.

Почтмейстеръ. А если такъ, то не будетъ войны съ турками.

Городничій. Ну, что же, какъ вы, Иванъ Кузьмичъ?

Почтмейстеръ. Да что я? Какъ вы, Антонъ Антоновичъ?

Городничій. Да что я? Страху-то нѣтъ, а такъ, немножко... Купечество да гражданство меня смущаетъ. Говорятъ, что я имъ солоно пришелся; а я, вотъ ей Богу, если и взялъ съ много, то, право, безъ всякой ненависти. Я даже думаю (*береть его подъ руку и отводитъ въ сторону*), я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачѣмъ жъ въ самомъ дѣлѣ къ намъ ревизоръ? (Послушайте, Иванъ Кузьмичъ, нельзя ли вамъ, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибываетъ къ вамъ въ почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этапъ немножко распечатать и прочитать: не содержится ли въ немъ какого-нибудь донесенія или, просто, переписки. Если же нѣтъ, то можно опять запечатать; впрочемъ, можно даже и такъ отдать письмо, распечатанное.)

Почтмейстеръ. Знаю, знаю... Этому не учите, это я дѣлаю не то, чтобъ изъ предосторожности, а больше изъ любопытства: смерть люблю узнать, что есть новаго на свѣтѣ. Я вамъ скажу, что это преинтересное чтеніе. Иное письмо съ наслажденіемъ прочтешь — такъ описываются разные пассажи... а назидательность какая... лучше чтѣть въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ!»

Городничій. Ну, что-жъ, скажите, ничего не начитывали о какомъ-нибудь чиновникѣ изъ Петербурга?

Почтмейстеръ. Нѣтъ, о петербургскомъ ничего нѣтъ, а о костромскихъ и саратовскихъ много говорится. Жаль, однакожъ, что вы не читаете писемъ: есть прекрасныя мѣста. Вотъ недавно: одинъ поручикъ пишетъ къ пріятелю, и описалъ баль въ самомъ игривомъ... очень, очень хороша «Жизнь моя, милый другъ, течетъ», говоритъ, «въ эмпиреяхъ: барышень много, музыка играетъ, штандартъ ска-

четь...» съ большимъ, большимъ чувствомъ описалъ. Я нарочно оставилъ его у себя. Хотите, прочту?

**Городничій.** Ну, теперь не до того. Такъ сдѣлайте милость, Иванъ Кузьмичъ: если на случай попадется жалоба или донесеніе, то, безъ всякихъ разсужденій, задерживайте.

**Почтмейстеръ.** Съ большимъ удовольствіемъ.

**Аммось Федоровичъ.** Смотрите, достанется вамъ когда-нибудь за это.

**Почтмейстеръ.** Ахъ, батюшки!

**Городничій.** Ничего, ничего. Другое дѣло, если-бъ вы изъ этого публично что-нибудь сдѣлали, но вѣдь это дѣло семейственное.

**Аммось Федоровичъ.** Да, нехорошее дѣло заварилося! А я, признаюсь, шелъ было къ вамъ, Антонъ Антоновичъ, съ тѣмъ, чтобы попотчивать васъ собачонкою. Родная сестра тому кобелю, котораго вы знаете. Вѣдь вы слышали, что Чеповичъ съ Варховинскимъ затѣяли тяжбу, и теперь мнѣ роскошь: травлю зайцевъ на земляхъ и у того, и у другого.

**Городничій.** Батюшки, не мило мнѣ теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидитъ въ головѣ. Такъ и ждешь, что вотъ отворится дверь—и шастъ...

### ЯВЛЕНІЕ III.

Тѣ же, Добчинскій и Бобчинскій (оба входятъ запыхавшись).

**Бобчинскій.** Чрезвычайное происшествіе!

**Добчинскій.** Неожиданное извѣстіе!

**Всѣ.** Чтѣ, чтѣ такое?

**Добчинскій.** Непредвидѣнное дѣло: приходимъ въ гостиницу...

**Бобчинскій (перебивая).** Приходимъ съ Петромъ Ивановичемъ въ гостиницу...

**Добчинскій (перебивая).** Э, позвольте, Петръ Ивановичъ, я расскажу.

**Бобчинскій.** Э, нѣтъ, позвольте ужъ я... позвольте, позвольте... вы ужъ и слога такого не имѣете...

**Добчинскій.** А вы сообразаетесь и не припомните всего.

**Бобчинскій.** Припомню, ей-Богу, припомню. Ужъ не мѣшайте, пусть я расскажу, не мѣшайте! Скажите, господа, сдѣлайте милость, чтобы Петръ Ивановичъ не мѣшалъ.

**Городничій.** Да говорите, ради Бога, что такое? У ме-  
сердце не на жѣстѣ. Садитесь, господа! Возьмите стул.  
Петръ Ивановичъ, вотъ вамъ стулъ. (*Всѣ усаживаютъ  
вокругъ обоихъ Петровъ Ивановичей*). Ну, что, что такъ.

**Бобчинскій.** Позвольте, позвольте; я все по порядку. Ка-  
только имѣлъ я удовольствіе выйти отъ васъ послѣ того,  
какъ вы изволили смутиться полученнымъ письмомъ, да-стѣ-  
такъ я тогда же забѣжалъ... ужъ пожалуйста не переби-  
вайте, Петръ Ивановичъ! Я уже все, все, все знаю...  
Такъ я, вотъ изволите видѣть, забѣжалъ къ Коробкину,  
не заставши Коробкина-то дома, заворотилъ къ Растако-  
скому, а не заставши Растаковского, зашелъ вотъ къ Ивану  
Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость,  
да, идучи оттуда, встрѣтился съ Петромъ Ивановичемъ...

**Добчинскій** (*перебивая*). Возлѣ будки, гдѣ продаются пи-  
роги.

**Бобчинскій.** Возлѣ будки, гдѣ продаются пироги. Да, встрѣ-  
тившись съ Петромъ Ивановичемъ, и говорю ему: слѣ-  
шали ли вы о новости-та, которую получилъ Антонъ Анто-  
новичъ изъ достовѣрнаго письма? А Петръ Ивановичъ ужъ  
услыхали объ этомъ отъ ключницы вашей, Авдотьи, кото-  
рая, не знаю за чѣмъ-то, была послана къ Филиппу Анто-  
новичу Почечуеву.

**Добчинскій** (*перебивая*). За боченкомъ для французской  
водки.

**Бобчинскій** (*отводя его руки*). За боченкомъ для фран-  
цузской водки. Вотъ мы пошли съ Петромъ-то Ивано-  
вичемъ къ Почечуеву... Ужъ вы, Петръ Ивановичъ... этого  
не перебивайте, пожалуйста не перебивайте!.. Пошли къ По-  
чечуеву, да на дорогѣ Петръ Ивановичъ говорить: «Заи-  
демъ», говорить, «въ трактиръ. Въ желудкѣ-то у меня...»  
утра я ничего не ѣлъ, такъ желудочное трясеніе...» да-стѣ  
въ желудкѣ-то у Петра Ивановича... «А въ трактиръ», го-  
ворить, «привезли теперь свѣжей семги, такъ мы закусимъ».  
Только-что мы въ гостиницу, какъ вдругъ молодые  
человѣкъ...

**Добчинскій** (*перебивая*). Недурной наружности, въ паря-  
кулярномъ платьѣ...

**Бобчинскій.** Недурной наружности, въ партикулярномъ  
платьѣ, ходитъ этакъ по комнатѣ, и въ лицѣ этакое раз-  
сужденіе... фізіономія... поступки, и здѣсь (*вертитъ руки*).

около ста) много, много всего. Я будто предчувствовалъ и говорю Петру Ивановичу: «Здѣсь что-нибудь не спроси-съ». Да. А Петръ-то Ивановичъ ужъ мигнулъ пальцемъ и подозвали трактирщика-съ,—трактирщика Власа: у него жена три недѣли назадъ тому родила, и такой пребойкій мальчикъ, будетъ такъ же, какъ и отецъ, содержать трактиръ. Подозвавши Власа, Петръ Ивановичъ и спроси его потихоньку: «Кто», говоритъ, «этотъ молодой человѣкъ?» а Власъ и отвѣчаетъ на это: «Это», говоритъ... Э, не перебивайте, Петръ Ивановичъ, пожалуйста, не перебивайте, вы не расскажете, ей-Богу, не расскажете: вы пришепетываете, у васъ, я знаю, одинъ зубъ во рту со свистомъ... «Это», говоритъ, «молодой человѣкъ, чиновникъ», да-съ, «ѣдущій изъ Петербурга, а по фамилии», говоритъ, «Иванъ Александровичъ Хлестаковъ-съ, а ѣдетъ», говоритъ, «въ Саратовскую губернію и», говоритъ, «престранно себя аттестуетъ: другую ужъ недѣлю живетъ, изъ трактира не ѣдетъ, забираетъ все на счетъ и ни копѣйки не хочетъ платить». Какъ сказалъ онъ мнѣ это, а меня тутъ вотъ выше и вразумило. «Э!» говорю я Петру Ивановичу...

**Добчинскій.** Нѣтъ, Петръ Ивановичъ, это я сказалъ: «э!»

**Бобчинскій.** Сначала вы сказали, а потомъ и я сказалъ. «Э!» сказали мы съ Петромъ Ивановичемъ. «А съ какой стати сидѣть ему здѣсь, когда дорога ему лежитъ въ Саратовскую губернію?» — Да-съ. А вотъ онъ-то и есть этотъ чиновникъ.

**Городничій.** Кто, какой чиновникъ?

**Бобчинскій.** Чиновникъ-та, о которомъ изволили получить нотицію,—ревизоръ.

**Городничій** (*въ страхъ*). Что вы, Господь съ вами! это не онъ.

**Добчинскій.** Онъ! и денегъ не платитъ, и не ѣдетъ. Кому же-бъ быть, какъ не ему? И дорожная прописана въ Саратовъ.

**Бобчинскій.** Онъ, онъ, ей-Богу, онъ... Такой наблюдательный: все осмотрѣлъ. Увидѣлъ, что мы съ Петромъ-то Ивановичемъ ѣли семгу, — больше потому, что Петръ Ивановичъ насчетъ своего желудка... да, такъ онъ и въ тарелки къ намъ заглянулъ. Меня такъ и проняло страхомъ.

**Городничій.** Господи, помилуй насъ грѣшныхъ! Гдѣ же онъ тамъ живетъ?



Добчинскій. Въ пятомъ номерѣ, подъ лѣстницей.

Бобчинскій. Въ томъ самомъ номерѣ, гдѣ прошлаго года подрались проѣзжіе офицеры.

Городничій. И давно онъ здѣсь?

Добчинскій. А недѣли двѣ ужъ. Приѣхалъ на Василія Египтянина.

Городничій. Двѣ недѣли! (*Въ сторону*). Батюшки, свя-  
тушки! Выносите, святые угодники! Въ эти двѣ недѣли  
высѣчена унтеръ-офицерская жена! Арестантамъ не выда-  
вали провизіи! На улицахъ кабакъ, нечистота! Позоръ!  
поношенье! (*Хватается за голову*).

Артемій Филипповичъ. Что-жъ, Антонъ Антоновичъ?—ѣхалъ  
парадомъ въ гостиницу.

Аммось Ѳедоровичъ. Нѣтъ, нѣтъ! Впередъ пустить го-  
лову, духовенство, купечество; вотъ и въ книгѣ «Дѣянія  
Іоанна Масона»...

Городничій. Нѣтъ, нѣтъ; позвольте ужъ мнѣ самому. Бы-  
вали трудные случаи въ жизни, сходили, еще даже и спа-  
сибо получалъ. Авось, Богъ вынесетъ и теперь. (*Обращаясь  
къ Бобчинскому*). Вы говорите, онъ молодой человѣкъ?

Бобчинскій. Молодой, лѣтъ двадцати трехъ или четырехъ  
съ небольшимъ.

Городничій. Тѣмъ лучше: молодого скорѣе пронюхаетъ.  
Бѣда, если старый чортъ; а молодой—весь наверху. Вы,  
господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь  
самъ, или, вотъ хоть съ Петромъ Ивановичемъ, приватно,  
для прогулки, навѣдаться, не терпятъ ли проѣзжающіе не-  
пріятностей. Эй, Свистуновъ!

Свистуновъ. Что угодно?

Городничій. Ступай сейчасъ за частнымъ приставомъ; или  
нѣтъ, ты мнѣ нуженъ. Скажи тамъ кому-нибудь, чтобы какъ  
можно поскорѣе ко мнѣ частнаго пристава, и приходи сюда.  
(*Квартальный бѣжитъ впопыхахъ*).

Артемій Филипповичъ. Идемъ, идемъ, Аммось Ѳедоровичъ!  
Въ самомъ дѣлѣ можетъ случиться бѣда.

Аммось Ѳедоровичъ. Да вамъ чего бояться? Колпаки чи-  
стые надѣлъ на больныхъ, да и концы въ воду.

Артемій Филипповичъ. Какое колпаки! Больнымъ вѣдь  
габеръ-супъ давать, а у меня по всѣмъ коридорамъ не-  
сетъ такая капуста, что береги только ность.

Аммось Ѳедоровичъ. А я на этотъ счетъ покоенъ. Въ са-

момъ дѣлѣ, кто зайдетъ въ уѣздный судъ? А если и заглянетъ въ какую-нибудь бумагу, такъ жизни не будетъ радъ. Я вотъ ужъ пятнадцать лѣтъ сижу на судейскомъ стулѣ, а какъ загляну въ докладную записку — а! только рукой махну. Самъ Соломонъ не разрѣшитъ, что въ ней правда и что неправда. *(Судья, попечитель богоугодныхъ заведеній, смотритель училищъ и почтмейстеръ уходятъ и въ дверяхъ сталкиваются съ возвращающимся квартальнымъ).*

#### ЯВЛЕНИЕ IV.

Городничій, Бобчинскій, Добчинскій и квартальный.

Городничій. Что, дрожки тамъ стоятъ?

Квартальный. Стоять.

Городничій. Ступай на улицу... или, нѣтъ, постой! Ступай, принеси... Да другіе-то гдѣ? неужели ты только одинъ? Вѣдь я приказывалъ, чтобы и Прохоровъ былъ здѣсь. Гдѣ Прохоровъ?

Квартальный. Прохоровъ въ частномъ домѣ, да только къ дѣлу не можетъ быть употребленъ.

Городничій. Какъ такъ?

Квартальный. Да такъ: привезли его поутру мертвецки. Вотъ уже два ушата воды вылили, до сихъ поръ не протрезвился.

Городничій *(хватаясь за голову)*. Ахъ, Боже мой, Боже мой! Ступай скорѣе на улицу, или нѣтъ — бѣги прежде въ комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петръ Ивановичъ, поѣдемъ!

Бобчинскій. И я, и я... позвольте и мнѣ, Антонъ Антоновичъ!

Городничій. Нѣтъ, нѣтъ, Петръ Ивановичъ, нельзя, нельзя! Неловко, да и на дрожкахъ не помѣстимся.

Бобчинскій. Ничего, ничего, я такъ: пѣтушкомъ, пѣтушкомъ побѣгу за дрожками. Мнѣ бы только немножко въ щелочку-та, въ дверь этакъ посмотрѣть, какъ у него эти поступки...

Городничій *(принимая шпагу, къ квартальному)*. Бѣги сейчасъ возьми десятекихъ, да пусть каждый изъ нихъ возьметъ... Экъ шпага какъ исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулинъ — видитъ, что у городничаго старая шпага, не прислать новой. О, лукавый народъ! А такъ, мошен-

ники, я думаю, тамъ ужъ просьбы изъ-подъ полы и готовить. Пусть каждый возьметъ въ руки по улицѣ... чортъ возьми, по улицѣ — по метлѣ! и вывели бы всю улицу, что идетъ къ трактиру, и вывели бы чисто... Слышишь! Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты тамъ кумаешься, да кридешь въ ботфорты серебряныя ложечки, — смотри, у меня ухо остро!.. Что ты сдѣлалъ съ купцомъ Черныевымъ—а? Онъ тебѣ на мундиръ далъ два аршина сукна, а ты стнулъ всю штуку. Смотри! не по чину берешь! Ступай!

## ЯВЛЕНИЕ V.

Тѣ же и частный приставъ.

Городничій. А, Степанъ Ильичъ! Скажите ради Бога: куда вы запропастились? На что это похоже?

Частный приставъ. Я былъ тутъ сейчасъ за воротами.

Городничій. Ну, слушайте же, Степанъ Ильичъ! Чиновникъ-то изъ Петербурга пріѣхалъ. Какъ вы тамъ распорядились?

Частный приставъ. Да такъ, какъ вы приказывали. Квартальнаго Пуговицына я послалъ съ десятскими подчищать тротуаръ.

Городничій. А Держиморда гдѣ?

Частный приставъ. Держиморда поѣхалъ на пожарной трубѣ.

Городничій. А Прохоровъ пьянъ?

Частный приставъ. Пьянъ.

Городничій. Какъ же вы это такъ допустили?

Частный приставъ. Да Богъ его знаетъ. Вчерашняго дня случилась за городомъ драка — поѣхалъ туда для порядка, а возвратился пьянъ.

Городничій. Послушайте-жъ, вы сдѣлайте вотъ что: кварталный Пуговицынъ... онъ высокаго роста, такъ пусть стоитъ, для благоустройства, на мосту. Да разметать наскоро старый заборъ, что возлѣ сапожника, и поставить соломенную вѣху, чтобъ было похоже на планировку. Оно чѣмъ больше ломки, тѣмъ больше означаетъ дѣятельности градоправителя. Ахъ, Боже мой! я и позабылъ, что возлѣ того забора навалено на сорокъ телѣгъ всякаго сору. Что это за скверный городъ! только гдѣ-нибудь поставь какой-нибудь памятникъ или, просто, заборъ — чортъ знаетъ!

откудова, и нанесуть всякой дряни! (*Вздыхаетъ*). Да если прѣзжій чиновникъ будетъ спрашивать службу: довольны ли?—чтобы говорили: «Всѣмъ довольны, ваше благородіе»; а который будетъ недоволенъ, то ему послѣ дамъ такого неудовольствія... О, охъ, хо, хо, хъ! грѣшенъ, во многомъ грѣшенъ. (*Беретъ вмѣсто шляпы футляръ*). Дай только, Боже, чтобы сошло съ рукъ поскорѣе, а тамъ-то я поставлю ужъ такую свѣчу, какой еще никто не ставилъ: на каждую бестію купца наложу доставить по три пуда воску. О, Боже мой, Боже мой! Ыдемъ, Петръ Ивановичъ! (*Вмѣсто шляпы хочетъ надѣть бумажный футляръ*).

Частный приставъ. Антонъ Антоновичъ, это коробка, а не шляпа.

Городничій (*бросая коробку*). Коробка, такъ коробка. Чортъ съ ней! Да если спросятъ: отчего не выстроена церковь при богоугодномъ заведеніи, на которую, назадъ тому пять лѣтъ, была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорѣла. Я объ этомъ и рапортъ представлялъ. А то, пожалуй, кто-нибудь, позавышися, сдуру скажетъ, что она и не начиналась. Да сказать Держимордъ, чтобы не слишкомъ давалъ воли кулакамъ своимъ; онъ, для порядка, всѣмъ ставить фонари подъ глазами—и правому, и виноватому. Ыдемъ, ѣдемъ, Петръ Ивановичъ! (*Уходитъ и возвращается*). Да не выпускать солдатъ на улицу безо всего: эта дрянная гарнизанадѣнетъ только сверхъ рубашки мундиръ, а внизу ничего нѣтъ. (*Всѣ уходятъ*).

## ЯВЛЕНІЕ VI.

Анна Андреевна и Марья Антоновна *вбѣгаютъ на сцену*.

Анна Андреевна. Гдѣ-жъ, гдѣ-жъ они? Ахъ, Боже мой!.. (*Отворяя дверь*). Мужъ! Антоша! Антонъ! (*Говоритъ скоро*). А все ты, а все за тобой. И пошла копать: «Я булавочку, я косынку». (*Подбѣгаетъ къ окну и кричитъ*). Антонъ, куда, куда? Чтѣ, прѣхалъ? ревизоръ? съ усами! съ какими усами?

Голосъ городничаго. Послѣ, послѣ, матушка!

Анна Андреевна. Послѣ? Вотъ новости, послѣ! Я не хочу послѣ... Мнѣ только одно слово: чтѣ онъ, полковникъ? А? (*Съ пренебреженіемъ*). Уѣхалъ! Я тебѣ вспомню это! А все

эта: «Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади сынку; я сейчас». Вотъ тебѣ и сейчас! Вотъ тебѣ и не узнали! А все проклятое кокетство: услышала, и почтмейстеръ здѣсь, и давай предъ зеркаломъ жеманиться и съ той стороны, и съ этой стороны подойдетъ. Воображаетъ, что онъ за ней волочится, а онъ, просто, тебѣ дѣлаетъ гримасу, когда ты отвернешься.

**Марья Антоновна.** Да что-жъ дѣлать, маменька? Все равно чрезъ два часа мы все узнаемъ.

**Анна Андреевна.** Чрезъ два часа! покорнѣйше благодарю. Вотъ одолжила отвѣтомъ! Какъ ты не догадалась сказать, что чрезъ мѣсяцъ еще лучше можно узнать! (*Ситникова въ окно*). Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, тамъ пріѣхалъ кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Маша руками? Пусть машетъ, а ты все бы таки его разспроси. Не могла этого узнать! Въ головѣ чепуха, все женихи дѣлать. А? Скоро уѣхали! да ты бы побѣжала за дрожками. Ступай, ступай, сейчас! Слышишь, побѣги, разспроси куда побѣжали; да разспроси хорошенько: что за пріѣзжакъ каковъ онъ, — слышишь? Подемотри въ щелку и узнай все, и глаза какіе: черные или нѣтъ, и сію же минуту возвращайся назадъ, слышишь? Скорѣе, скорѣе, скорѣе! (*Кричитъ до тѣхъ поръ, пока не опускается занавѣсъ. Такъ занавѣсъ и закрываетъ ихъ обѣихъ, стоящихъ у окна*).

---

## ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Маленькая комната въ гостиницѣ. Постель, столъ, чемоданъ, бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.

---

### ЯВЛЕНІЕ I.

*Осипъ лежитъ на бирской постели.*

Чортъ поберни, ѣсть такъ хочется и въ животѣ трескотня такая, какъ будто бы цѣлый полкъ затрубилъ въ трубы. Вотъ, не дождемъ, да и только, домой! Что ты предъкажешь дѣлать? Второй мѣсяцъ пошелъ, какъ уже Питера! Профнятили дорогою денежки, голубчикъ, теленка сидитъ и хвостъ подвернулъ, и не горячится. А стало бы и очень бы стало на прогоны; нѣтъ, виль ты, нужно въ

каждомъ городѣ показать себя! (*Дразнитъ его*). «Эй, Осипъ, ступай, посмотри комнату, лучшую, да обѣдъ спроси самый лучший: я не могу ѣсть дурного обѣда, мнѣ нуженъ лучший обѣдъ». Добро бы было въ самомъ дѣлѣ что-нибудь путное, а то вѣдь елистратишка простой! Съ проѣзжающимъ знакомится, а потомъ въ картишки — вотъ тебѣ и доигрался! Эхъ, надоѣла такая жизнь! Право, на деревнѣ лучше: оно хоть нѣтъ публичности, да и заботности меньше, возьмешь себѣ бабу, да и лежи весь вѣкъ на полатахъ, да ѣшь пироги. Ну, кто-жъ спорить, конечно, если пойдешь на правду, такъ житье въ Питерѣ лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеатры, собаки тебѣ танцуютъ, и все, что хочешь. Разговариваетъ все на тонкой деликатности, что развѣ только дворянству уступить; пойдешь на Щукинъ — кущи тебѣ кричатъ: «Почтенный!» на перевозѣ въ лодкѣ съ чиновникомъ сядешь; компаніи захотѣлъ — ступай въ лавочку: тамъ тебѣ кавалеръ разскажетъ про лагери и объявитъ, что всякая звѣзда значитъ на небѣ, такъ вотъ, какъ на ладони все видишь. Старуха-офидерша забредетъ; горничная иной разъ заглянетъ такая... фу, фу, фу! (*Усмѣхается и трясетъ головою*), Галантерейное, чортъ возьми, обхождение! Не вѣжливаго слова никогда не услышишь: всякой тебѣ говорить *вы*. Наскучило итти — берешь извозчика и сидишь себѣ, какъ баринъ, а не хочешь заплатить ему — изволь: у каждаго дома есть сквозныя ворота, и ты такъ шмыгнешь, что тебя никакой дьяволъ не сыщетъ. Одно плохо: иной разъ славно наѣшься, а въ другой чуть не лопнешь съ голоду, какъ теперь, напримѣръ. А все онъ виноватъ. Что съ нимъ сдѣлаешь? Батюшка пришлетъ денежки, чѣмъ бы ихъ попридержать — и куды!.. пошелъ кутить: ѣздитъ на извозникѣ, каждый день ты доставай въ кеатръ билетъ, а тамъ черезъ недѣлю, глядь — и посылаетъ на толкучій продавать новый фракъ. Иной разъ все до послѣдней рубашки спустить, такъ что на немъ всего останется сертучишка да шинелишка... Ей-Богу, правда! И сукно такое важное, аглицкое! рублей полтора ста ему одинъ фракъ станеть, а на рынкѣ спустить рублей за двадцать; а о брюкахъ и говорить нечего — ни по чемъ идутъ. А отчего? — оттого, что дѣломъ не занимается: вмѣсто того, чтобы въ должность, а онъ идетъ гулять по прешпекту, въ картишки играть.

Эхъ, если-бъ узналъ это старый баринъ! Онъ не посмотрѣлъ бы на то, что ты чиновникъ, а, поднявши рубашонку, такихъ бы засыпалъ тебѣ, что дня-бъ четыре ты почесывался. Коли служить, такъ служи. Вотъ теперь трактирщикъ сказалъ, что не дамъ вамъ ѣсть, пока не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатимъ? *(Со вздохомъ)*. Ахъ, Боже ты мой, хогъ бы какія-нибудь щи! Кажись, такъ бы теперь весь свѣтъ съѣлъ. Стучится; вѣрно, это онъ идетъ. *(Поспѣшно схватывается съ постели)*.

## ЯВЛЕНИЕ II.

Осипъ и Хлестановъ.

Хлестановъ. На, прими это *(отдаетъ фуражку и тросточку)*. А, опять валялся на кровати?

Осипъ. Да зачѣмъ же бы мнѣ валяться? Не видалъ я развѣ кровати, что ли?

Хлестановъ. Врешь, валялся; видишь, вся склочена!

Осипъ. Да на чтò мнѣ она? Не знаю я развѣ, чтò такое кровать? У меня есть ноги: я и постою. Зачѣмъ мнѣ ваша кровать?

Хлестановъ *(ходитъ по комнатѣ)*. Посмотри, тамъ, у картузѣ, табаку нѣтъ?

Осипъ. Да гдѣ-жъ ему быть, табаку? Вы четвертаго ли послѣднее выкурили.

Хлестановъ *(ходитъ и разнообразно сжимаетъ свои губы)* наконецъ говоритъ громкимъ и рѣшительнымъ голосомъ. Поступай... эй, Осипъ!

Осипъ. Чего изволите?

Хлестановъ *(громкимъ, но не столь рѣшительнымъ голосомъ)*. Ты ступай туда.

Осипъ. Куда?

Хлестановъ *(голосомъ вовсе не рѣшительнымъ и не громкимъ, очень близкимъ къ просьбѣ)*. Внизъ, въ буфетъ... Такъ скажи... чтобы мнѣ дали пообѣдать.

Осипъ. Да нѣтъ, я и ходить не хочу.

Хлестановъ. Какъ ты смѣешь, дуракъ?

Осипъ. Да такъ; все равно, хоть и пойду, ничего изъ этого не будетъ. Хозяинъ сказалъ, что больше не дамъ обѣдать.

Хлестановъ. Какъ онъ смѣетъ не дать? Вотъ еще вздоръ

Осипъ. Еще, говоритъ, и къ городничему пойду; третью педью баринъ денегъ не платитъ. Вы-де съ баринномъ, говоритъ, мошенники, и баринъ твой — плутъ. Мы-де, говоритъ, этакихъ шаромыжниковъ и подленовъ выдали.

Хлестаковъ. А ты ужъ и радъ, скотина, сейчасъ пересказывать мнѣ все это.

Осипъ. Говоритъ: «Этакъ всякій пріѣдетъ, обживется, за-должается, послѣ и выгнать нельзя». Я, говоритъ, «шутить не буду, а прямо съ жалобою, чтобъ на стѣзжую, да въ тюрьму».

Хлестаковъ. Ну, ну, дуракъ, полно! Ступай, ступай, скажи ему. Такое грубое животное!

Осипъ. Да лучше я самого хозяина позову къ вамъ.

Хлестаковъ. На что-жъ хозяина? ты поди самъ скажи.

Осипъ. Да, право, сударь...

Хлестаковъ. Ну, ступай, чортъ съ тобой! позови хозяина.  
(Осипъ уходитъ).

### ЯВЛЕНІЕ III.

Хлестаковъ (одинъ).

Ужасно какъ хочется ѣсть! Такъ немножко прошелся, думалъ, не пройдетъ ли аппетитъ — нѣтъ, чортъ возьми, не проходитъ. Да если-бъ въ Пензѣ я не покутилъ, стало бы денегъ доѣхать домой. Пѣхотный капитанъ сильно поддѣлъ меня: штосы удивительно, бестія, срѣзываетъ. Всего какихъ-нибудь четверть часа посидѣлъ — и все обоорать. А при всемъ томъ страхъ хотѣлось бы съ нимъ еще разъ сразиться. Случай только не привелъ. Какой скверный городишка! Въ овошенныхъ лавкахъ ничего не даютъ въ долгъ. Это ужъ, просто, подло. (Насвистываетъ сначала изъ «Роберта», потомъ: «Не шей ты мнѣ, матушка», а наконецъ — ни сѣ, ни то). Никто не хочетъ итти.

### ЯВЛЕНІЕ IV.

Хлестаковъ, Осипъ и трактирный слуга.

Слуга. Хозяинъ приказалъ спросить, что вамъ угодно.

Хлестаковъ. Здравствуй, братецъ! Ну, что ты, здоровъ?

Слуга. Слава Богу.

Хлестаковъ. Ну что, какъ у васъ въ гостиницѣ? хорошо ли все идетъ?



Слуга. Да, слава Богу, все хорошо.

Хлестаковъ. Много проѣзжающихъ?

Слуга. Да, достаточно.

Хлестаковъ. Послушай, любезный, тамъ мнѣ до сихъ поръ обѣда не приносятъ, такъ пожалуйста поторопи, чтобъ поскорѣе—видишь, мнѣ сейчасъ послѣ обѣда нужно кое-чѣмъ заняться.

Слуга. Да хозяинъ сказать, что не будетъ больше отпущать. Онъ, никакъ, хотѣлъ итти сегодня жаловаться городничему.

Хлестаковъ. Да что-жъ жаловаться? Посуди самъ, любезный, какъ же? вѣдь мнѣ нужно ѣсть. Этакъ могу я совсѣмъ отоцать. Мнѣ очень ѣсть хочется: я не шутя это говорю.

Слуга. Такъ-съ. Онъ говорилъ: «Я ему обѣдать не дамъ, пока мѣсть онъ не заплатитъ мнѣ за прежнее». Таковъ ужъ отвѣтъ его былъ.

Хлестаковъ. Да ты урезонь, уговори его.

Слуга. Да что-жъ ему такое говорить?

Хлестаковъ. Ты растолкуй ему серьезно, что мнѣ нужно ѣсть. Деньги сами собою... Онъ думаетъ, что, какъ ему, мужику, ничего, если не поѣсть день, такъ и другимъ тоже. Вотъ новости!

Слуга. Пожалуй, я скажу.

## ЯВЛЕНИЕ V.

Хлестаковъ (одинъ).

Это скверно, однакожъ, если онъ совсѣмъ ничего не дастъ ѣсть. Такъ хочется, какъ еще никогда не хотѣлось. Развѣ изъ платья что-нибудь пустить въ оборотъ? Штаны, что ли, продать? Нѣтъ, ужъ лучше поголодать, да пріѣхать домой въ петербургскомъ костюмѣ. Жаль, что Іохимъ не далъ на прокатъ кареты, а хорошо бы, чертъ побери, пріѣхать домой въ каретѣ, подкатить такимъ чортомъ къ какому-нибудь сосѣду-помѣщику подъ крыльцо, съ фонарями, а Осипа сзати одѣтъ въ ливрею. Какъ бы, я воображаю, всѣ переполошились! «Кто такой, что такое?» А лакей входитъ (*вытягиваясь и представляя лакея*): «Иванъ Александровичъ Хлестаковъ изъ Петербурга, прикажете принять?» Они, центюхи, и не знаютъ, что такое значитъ «прикажете принять». Къ нимъ если пріѣдетъ какой-нибудь

гусь-помѣщикъ, такъ и валить, медвѣдь, прямо въ гостиную. Къ дочекѣ какой-нибудь хорошенькой подойдешь: «Сударыня, какъ я...» (*потираетъ руки и подшаркиваетъ ножкой*). Тьфу! (*плюетъ*) даже тошнить, такъ ѣсть хочется.

## ЯВЛЕНИЕ VI.

Хлестаковъ, Осипъ, потомъ слуга

Хлестаковъ. А что?

Осипъ. Несутъ обѣдъ.

Хлестаковъ (*прихлопываетъ въ ладоши и слегка подпрыгиваетъ на стуль*). Несуты! несуты! несуты!

Слуга (*съ тарелками и салфеткой*). Хозяинъ въ послѣдній разъ ужъ даетъ.

Хлестаковъ. Ну, хозяинъ, хозяинъ... Я плевать на твоего хозяина! Что тамъ такое?

Слуга. Супъ и жаркое.

Хлестаковъ. Какъ, только два блюда?

Слуга. Только-съ.

Хлестаковъ. Вотъ вздоръ какой! я этого не принимаю. Ты скажи ему: что это въ самомъ дѣлѣ такое!... Этого мало.

Слуга. Нѣтъ, хозяинъ говорить, что еще много.

Хлестаковъ. А соуса почему нѣтъ?

Слуга. Соуса нѣтъ.

Хлестаковъ. Отчего же нѣтъ? Я видѣлъ самъ, проходя мимо кухни, тамъ много готовилось. И въ столовой сегодня поутру двое какихъ-то коротенькихъ человека ѣли семгу и еще много кой-чего.

Слуга. Да оно-то есть, пожалуй, да нѣтъ.

Хлестаковъ. Какъ нѣтъ?

Слуга. Да ужъ нѣтъ.

Хлестаковъ. А семга, а рыба, а котлеты?

Слуга. Да это для тѣхъ, которые почище-съ.

Хлестаковъ. Ахъ, ты, дуракъ!

Слуга. Да-съ.

Хлестаковъ. Поросенокъ ты скверный... Какъ же они ѣдятъ, а я не ѣмъ? Отчего же я, чортъ возьми, не могу также? Развѣ они не такіе же проѣзжающіе, какъ и я?

Слуга. Да ужъ извѣстно, что не такіе.

**Хлестаковъ.** Какіе же?

**Слуга.** Обнакновенно какіе! они ужъ, извѣстно: они деньги платятъ.

**Хлестаковъ.** Я съ тобою, дуракъ, не хочу разсуждать. (*Наливаетъ супъ и пьетъ*). Что это за супъ? Ты, просто, воды налилъ въ чашку: никакого вкуса нѣтъ, только вонять. Я не хочу этого супу, дай мнѣ другого.

**Слуга.** Мы примемъ-съ. Хозяинъ сказать: коли не хотите, то и не нужно.

**Хлестаковъ** (*защипывая рукою кушанье*). Ну, ну, ну... оставь, дуракъ! Ты привыкъ тамъ обращаться съ другими: я, братъ, не такого рода! со мной не совѣтую... (*Бетъ*). Боже мой, какой супъ! (*Продолжаетъ пить*). Я думаю, еще ни одинъ человѣкъ въ мірѣ не ѣдалъ такого супу: какія-то перья плаваютъ вмѣсто масла. (*Рыжеть курицу*). Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Тамъ супу немного осталось, Осипъ, возьми себѣ. (*Рыжеть жаркое*). Что это за жаркое? Это не жаркое.

**Слуга.** Да что-жъ такое?

**Хлестаковъ.** Чортъ его знаетъ, что такое, только не жаркое. Это топоръ, зажаренный вмѣсто говядины. (*Бетъ*). Мошенники, каналы! чѣмъ они кормятъ? И челюсти заболеть, если съѣшь одинъ такой кусокъ. (*Ковыряетъ пальцемъ въ зубы*). Подлецы! Совершенно, какъ деревянная кора—ничѣмъ вытащить нельзя; и зубы почернѣютъ послѣ этихъ блюдъ. Мошенники! (*Вытираетъ ротъ салфеткой*). Больше ничего нѣтъ?

**Слуга.** Нѣтъ.

**Хлестаковъ.** Каналы! подлецы! и даже хотя бы какой-нибудь соусъ или пирожное. Бездѣльники! дерутъ только съ проѣзжающихъ.

**Слуга** *убираетъ и уноситъ тарелки вмѣстѣ съ Осипомъ.*

## ЯВЛЕНИЕ VII.

**Хлестаковъ, потомъ Осипъ.**

**Хлестаковъ.** Право, какъ будто и не ѣлъ; только-что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынокъ и купить хоть сайку.

Осипъ (*выходитъ*). Тамъ зачѣмъ-то городничій пріѣхалъ, освѣдомляется и спрашиваетъ объ васъ.

Хлестаковъ (*испугавшись*). Вотъ тебѣ на! Эка бестія трактирщикъ, успѣть уже пожаловаться! Чтѣ, если въ самомъ дѣлѣ онъ потащитъ меня въ тюрьму? Чтѣ-жъ? Если благороднымъ образомъ, я пожалуй... нѣтъ, нѣтъ, не хочу! Тамъ въ городѣ таскаются офицеры и народъ, а я, какъ нарочно, задамъ тону и перемигнулся съ одной купеческой дочкой... Нѣтъ, не хочу... Да чтѣ онъ? какъ онъ смѣетъ въ самомъ дѣлѣ? Чтѣ я ему, развѣ купецъ или ремесленникъ? (*Бодрится и выпрямляется*). Да я ему прямо скажу: «Какъ вы смѣете? Какъ вы...» (*У дверей вертится ручка; Хлестаковъ блѣднѣетъ и съжигается*).

## ЯВЛЕНІЕ VIII.

Хлестаковъ, городничій и Добчинскій.

(*Городничій, вошедъ, останавливается. Оба въ испугъ смотрятъ нѣсколько минутъ одинъ на другого, выпучивъ глаза*). —

Городничій (*немного оправившись и протянувъ руки по швамъ*). Желаю здравствовать!

Хлестаковъ (*кланяется*). Мое почтеніе!..

Городничій. Извините.

Хлестаковъ. Ничего...

Городничій. Обязанность моя, какъ градоначальника здѣшняго города, заботиться о томъ, чтобы проѣзжающимъ и всѣмъ благороднымъ людямъ никакихъ притѣсненій...

Хлестаковъ (*сначала немного заикается, но къ концу рѣчи говоритъ громко*). Да чтѣ-жъ дѣлать?.. Я не виновать... Я, право, заплачу... Мнѣ приплюнуть изъ деревни. (*Добчинскій выглядываетъ изъ дверей*). Онъ больше виновать: говядину мнѣ подаетъ такую твердую, какъ бревно; а супъ—онъ, чортъ знаетъ, чего плеснулъ туда, я долженъ былъ выбросить его за окно. Онъ меня моритъ голодомъ по цѣлымъ днямъ... чай такой странный: воняетъ рыбой, а не чаемъ. За чтѣ-жъ я... Вотъ новость!

Городничій (*робѣя*). Извините, я, право, не виновать. На рынкѣ у меня говядина всегда хорошая. Привозятъ холмогорскіе кушцы, люди трезвые и поведенія хорошаго. Я ужъ не знаю, откуда онъ беретъ такую. А если чтѣ не

такъ, то... Позвольте мнѣ предложить вамъ переѣхать со мною на другую квартиру.

Хлестановъ. Нѣтъ, не хочу! Я знаю, что значить на другую квартиру: то-есть — въ тюрьму. Да какое вы имѣете право? Да какъ вы смѣете?.. Да вотъ я... Я служу въ Петербургѣ. *(Бодрится)*. Я, я, я...

Городничій *(въ сторону)*. О, Господи Ты Боже, какой сердитый! Все узналъ, все рассказали проклятые купцы!

Хлестановъ *(храбрясь)*. Да вотъ вы хоть тутъ со всей своей командой—не пойду. Я прямо къ министру! *(Стучитъ кулакомъ по столу)*. Что вы? что вы?

Городничій *(вытянувшись и дрожа всѣмъ тѣломъ)*. Помилуйте, не погубите! Жена, дѣти маленькія... не сдѣлайте несчастнымъ человѣка!

Хлестановъ. Нѣтъ, я не хочу. Вотъ еще! мнѣ какое дѣло? Оттого, что у васъ жена и дѣти, я долженъ итти въ тюрьму, вотъ прекрасно! *(Бобчинскій выглядываетъ въ дверь и вскрипнувъ прячется)*. Нѣтъ, благодарю покорно, не хочу.

Городничій *(дрожа)*. По неопытности, ей-Богу, по неопытности. Недостаточность состоянія... Сами извольте посудить: казеннаго жалованья не хватаетъ даже на чай и сахаръ. Если-жъ и были какія взятки, то самая малость: къ столу что-нибудь, да на пару платья. Что же до унтеръ-офицерской вдовы, занимающейся купечествомъ, которую я будто бы высѣкъ, то это клевета, ей-Богу, клевета. Это выдумали злодѣи мои; это такой народъ, что на жизнь мою готовы покуситься.

Хлестановъ. Да что? мнѣ нѣтъ никакого дѣла до нихъ... *(Въ размышленіи)*. Я не знаю, однакожъ, зачѣмъ вы говорите о злодѣяхъ или о какой-то унтеръ-офицерской вдовѣ... Унтеръ-офицерская жена совсѣмъ другое, а меня вы не смѣете высѣчь, до этого вамъ далеко... Вотъ еще! смотри ты какой!.. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нѣтъ. Я потому и сижу здѣсь, что у меня нѣтъ ни копѣйки.

Городничій *(въ сторону)*. О, тонкая штука! Экъ куда метнулъ! какого туману напустилъ! разбери, кто хочетъ! Не знаешь, съ которой стороны и приниматься. Ну, да ужъ попробоватъ, не куды пошло! Что будетъ, то будетъ, попробоватъ на авось. *(Вслухъ)*. Если вы, точно, имѣете нужду въ деньгахъ или въ чемъ другомъ, то я готовъ служить сію минуту. Моя обязанность помогать проѣзжающимъ.

**Хлестановъ.** Дайте, дайте мнѣ взаймы! Я сейчасъ же расплачусь съ трактирщикомъ. Мнѣ бы только рублей двѣсти, или хоть даже и меньше.

**Городничій** (*поднося бумажки*). Ровно двѣсти рублей, хоть и не трудитесь считать.

**Хлестановъ** (*принимая деньги*). Покорнѣйше благодарю. Я вамъ тотчасъ пришлю ихъ изъ деревни... у меня это вдругъ... Я вижу, вы благородный человѣкъ. Теперь другое дѣло.

**Городничій** (*въ сторону*). Ну, слава Богу! деньги взялъ. Дѣло, кажется, пойдетъ теперь на ладъ. Я таки ему, вмѣсто двухсотъ, чetyреста ввернулъ. •

**Хлестановъ.** Эй, Осипъ! (*Осипъ подходитъ*). Позови сюда трактирнаго слугу! (*Къ городничему и Добчинскому*). А что-жъ вы стоите? Сдѣлайте милость, садитесь. (*Добчинскому*). Садитесь, прошу покорнѣйше.

**Городничій.** Ничего, мы и такъ постоимъ.

**Хлестановъ.** Сдѣлайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушіе; а то, признаюсь, я ужъ думалъ, что вы пришли съ тѣмъ, чтобы меня... (*Добчинскому*). Садитесь! (*Городничій и Добчинскій садятся. Добчинскій выглядываетъ въ дверь и прислушивается*).

**Городничій** (*въ сторону*). Нужно быть посмѣйше. Онъ хочетъ, чтобы считали его инкогнитомъ. Хорошо, подпустимъ — и мы турусы: прикинемся, какъ будто совсѣмъ и не знаемъ, что онъ за человѣкъ. (*Вслухъ*). Мы, прохаживаясь по дѣламъ должности, вотъ съ Петромъ Ивановичемъ Добчинскимъ, здѣшнимъ помѣщикомъ, зашли нарочно въ гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проѣзжающіе, потому что я не такъ, какъ иной городничій, которому ни до чего дѣла нѣтъ; но я, я кромѣ должности, еще, по христіанскому человѣколюбію, хочу, чтобы всякому смертному оказывался хорошій пріемъ — и вотъ, какъ будто въ награду, случай доставилъ такое пріятное знакомство.

**Хлестановъ.** Я тоже самъ очень радъ. Безъ васъ я, признаюсь, долго бы просидѣлъ здѣсь: совсѣмъ не зналъ, чѣмъ заплатить.

**Городничій** (*въ сторону*). Да, рассказывай! не зналъ, чѣмъ заплатить! (*Вслухъ*). Осмѣлюсь ли спросить: куда и въ какія мѣста ѣхать изволите?

**Хлестановъ.** Я ѣду въ Саратовскую губернію, въ собственную деревню.

**Городничій** (*въ сторону, съ лицомъ, принимающимъ ироническое выраженіе*). Въ Саратовскую губернію! А? и не покраснѣть! О, да съ нимъ нужно ухо остро! (*Вслушгъ*). Благое дѣло изволили предпринять. Вѣдь вотъ, относительно дороги: говорятъ, съ одной стороны неприятности насчетъ задержки лошадей, а вѣдь съ другой стороны развлеченіе для ума. Вѣдь вы, чай, больше для собственного удовольствія ѣдете?

**Хлестановъ.** Нѣтъ, батюшка меня требуетъ. Разсердился старикъ, что до сихъ поръ ничего не выслужилъ въ Петербургѣ. Онъ думаетъ, что такъ вотъ пріѣхалъ, да сейчасъ тебѣ Владимира въ петлицу и дадутъ. Нѣтъ, я бы послалъ его самого потолкаться въ канцелярію.

**Городничій** (*въ сторону*). Прошу посмотрѣть, какія пули отливаетъ! и старика-отца приплетъ! (*Вслушгъ*). И на долгое время изволите ѣхать?

**Хлестановъ.** Право, не знаю. Вѣдь мой отецъ упрямъ и глухъ, старый хрычъ, какъ бревно. Я ему прямо скажу: какъ хотите, я не могу жить безъ Петербурга. За что-жъ въ самомъ дѣлѣ, я долженъ погубить жизнь съ мужиками? Теперь не тѣ потребности; душа моя жаждетъ просвѣщенія.

**Городничій** (*въ сторону*). Славно завязалъ узелокъ! Вретъ, вретъ — и нигдѣ не оборвется! А вѣдь какой невзрачный, низенькій, кажется, ногтемъ бы придавилъ его. Ну, да стой! ты у меня проговоришься. Я тебя ужъ заставлю побольше рассказать! (*Вслушгъ*). Справедливо изволили замѣтить. Чтѣ можно сдѣлать въ глуши? Вѣдь вотъ хоть бы здѣсь: ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалѣешь ничего, а награда, неизвѣстно еще, когда будетъ. (*Окидываетъ глазами комнату*). Кажется, эта комната нѣсколько сыра?

**Хлестановъ.** Скверная комната, и клопы такіе, какихъ я нигдѣ не видывалъ: какъ собаки кусаютъ.

**Городничій.** Скажите! такой просвѣщенный гость, и терпѣть, отъ кого же? — отъ какихъ-нибудь негодныхъ клоповъ, которымъ бы и на снѣтъ не слѣдовало родиться! Никакъ даже темно въ этой комнатѣ?

**Хлестановъ.** Да, совсѣмъ темно. Хозяинъ завелъ обыкновеніе не отпускать свѣчей. Иногда что-нибудь хочется сдѣ-

латъ, почитать, или придеть фантазія сочинить что-нибудь — не могу: темно, темно.

**Городничій.** Осмѣлюсь ли просить васъ... но нѣтъ, я недостойнъ.

**Хлестаковъ.** А что?

**Городничій.** Нѣтъ, нѣтъ! недостойнъ, недостойнъ!

**Хлестаковъ.** Да что-жъ такое?

**Городничій.** Я бы дерзнуть... У меня въ домѣ есть прекрасная для васъ комната, свѣтлая, покойная... Но нѣтъ, чувствую самъ, это ужъ слишкомъ большая честь... Не разсердитесь—ей-Богу, отъ простоты души предложилъ.

**Хлестаковъ.** Напротивъ, извольте, я съ удовольствіемъ. Мнѣ гораздо пріятнѣе въ приватномъ домѣ, чѣмъ въ этомъ кабацѣ.

**Городничій.** А ужъ я такъ буду радъ! А ужъ какъ жена обрадуется! У меня ужъ такой нравъ: гостепріимство съ самаго дѣтства, особливо, если гость просвѣщенный человѣкъ. Не подумайте, чтобы я говорилъ это изъ лести: нѣтъ, не имѣю этого порока, отъ полноты души выражаюсь.

**Хлестаковъ.** Покорно благодарю. Я самъ тоже — и люблю людей двуличныхъ. Мнѣ очень нравится ваша откровенность и радушіе, и я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовалъ, какъ только оказывай мнѣ преданность и уваженье, уваженье и преданность.

## ЯВЛЕНІЕ IX.

Тѣ же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипомъ. (*Бобчинскій вылаживаетъ въ дверь*).

**Слуга.** Изволили спрашивать?

**Хлестаковъ.** Да; подай счетъ.

**Слуга.** Я ужъ давеча подать вамъ другой счетъ.

**Хлестаковъ.** Я ужъ не помню твоихъ глупыхъ счетовъ. Говори: сколько тамъ?

**Слуга.** Вы изволили въ первый день спросить обѣдъ, а на другой день только закусили семги и потомъ пошли все въ долгъ брать.

**Хлестаковъ.** Дуракъ! еще началъ высчитывать. — Всего сколько слѣдуетъ?

**Городничій.** Да вы не пзвольте беспокоиться: онъ подождетъ. (*Слуга*). Пошелъ вонъ, тебѣ пришло.



Хлестаковъ. Въ самомъ дѣлѣ, и то правда. *(Прячетъ деньги. Слуга уходитъ. Въ дверь выглядываетъ Бобчинскій).*

## ЯВЛЕНИЕ X.

Городничій, Хлестаковъ, Добчинскій.

Городничій. Не угодно ли вамъ будетъ осмотрѣть теперь нѣкоторыя заведенія въ нашемъ городѣ, какъ-то—богоугодныя и другія?

Хлестаковъ. А что тамъ такое?

Городничій. А такъ, посмотрите, какое у насъ теченіе дѣлъ... порядокъ какой...

Хлестаковъ. Съ большимъ удовольствіемъ, я готовъ. *(Бобчинскій выставляетъ голову съ двери).*

Городничій. Также, если будетъ ваше желаніе, оттуда въ уѣздное училище, осмотрѣть порядокъ, въ какомъ преподаются у насъ науки.

Хлестаковъ. Извольте, извольте.

Городничій. Потомъ, если пожелаете посѣтить острогъ и городскія тюрьмы — разсмотрите, какъ у насъ содержатся преступники.

Хлестаковъ. Да зачѣмъ же тюрьмы? Ужъ лучше мы осматривъ богоугодныя заведенія.

Городничій. Какъ вамъ угодно. Какъ вы наѣзрены, въ своемъ экипажѣ, или вмѣстѣ со мною на дрожкахъ?

Хлестаковъ. Да, я лучше съ вами на дрожкахъ поѣду.

Городничій *(Добчинскому)*. Ну, Петръ Ивановичъ, вамъ теперь нѣтъ мѣста.

Добчинскій. Ничего, я такъ.

Городничій *(тихо Добчинскому)*. Слушайте: вы побѣгите, да бѣгомъ, во всѣ лопатки, и снесите двѣ записки: одну въ богоугодное заведеніе Земляникъ, а другую женѣ. *(Хлестакову)*. Осмѣлюсь ли я попросить позволенія написать въ вашемъ присутствіи одну строчку къ женѣ, чтобъ она приготовилась къ принятію почтеннаго гостя?

Хлестаковъ. Да зачѣмъ же?.. А впрочемъ тутъ и чернила, только бумаги—не знаю... Развѣ на этомъ счетѣ?

Городничій. Я здѣсь напишу. *(Пишетъ и съ то же время говоритъ про-себя)*. А вотъ посмотримъ, какъ пойдетъ дѣло послѣ фриштика да бутылки толстобрюшки! Да есть у насъ губернская мадера: не казиста на видѣ, а слона повалить

съ ногъ. Только бы мнѣ узнать, что отъ такое и въ какой мѣрѣ нужно его опасаться. *(Написавши, отдаетъ Добчинскому, который подходитъ къ двери, но въ это время дверь обрывается, и подслушивавшій съ другой стороны Бобчинскій летитъ вмигъ съ нею на сцену. Въ издаютъ ес-кликанія. Бобчинскій подымается).*

**Хлестаковъ.** Что? не ушиблись ли вы гдѣ-нибудь?

**Бобчинскій.** Ничего, ничего-съ, безъ всякаго-съ помѣшательства, только сверхъ носа небольшая напѣйка! Я забѣгу къ Христіану Ивановичу: у него-съ есть пластырь такой, такъ вотъ оно и пройдетъ.

**Городничій** *(бѣлая Бобчинскому укорительный знакъ, Хлестакову).* Это-съ ничего. Прошу покорнѣйше, пожалуйста! А слугѣ вашему я скажу, чтобы перенесъ чемоданъ. *(Осину).* Любезнѣйшій, ты перенеси все ко мнѣ, къ городничему—тебѣ всякій покажетъ. Прошу покорнѣйше! *(Пропускаетъ впередъ Хлестакова и стѣдуетъ за нимъ; но, оборотившись, говоритъ съ укоризной Бобчинскому).* Ужъ и вы! не нашли другого мѣста упасть! И рѣстянулся, какъ, чортъ знаетъ, что такое. *(Уходитъ; за нимъ Бобчинскій Занавѣсъ опускается).*

## ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Комната перваго дѣйствія.

### ЯВЛЕНІЕ I.

**Анна Андреевна, Марья Антоновна** *(стоятъ у окна въ тѣхъ же са-мыхъ положеніяхъ).*

**Анна Андреевна.** Ну, вотъ, ужъ цѣлый часъ дожидаемся, а все ты съ своимъ глупымъ жеманствомъ: совершенно одѣлась, нѣтъ! еще нужно копаться... Не слушать бы ея вовсе. Экая досада! какъ нарочно, ни души! какъ будто бы вымерло все.

**Марья Антоновна.** Да право, маменька, минуты черезъ двѣ все узнаемъ. Ужъ скоро Авдотья должна прити. *(Всматривается въ окно и вскрикиваетъ).* Ахъ, маменька, маменька! кто-то идетъ, вонъ въ концѣ улицы.

**Анна Андреевна.** Гдѣ идетъ? У тебя вѣчно какія-нибудь фантазіи. Ну, да, идетъ. Кто-жъ это идетъ? Небольшого

роста... во фракъ... Кто-жь это? А? Это однакожь досадно! Кто-жь бы это такой былъ?

**Марья Антоновна.** Это Добчинскій, маменька!

**Анна Андреевна.** Какой Добчинскій! Тебѣ всегда вдругъ вообразится этакое... Совсѣмъ не Добчинскій. (*Машетъ платкомъ*). Эй, вы, ступайте сюда! скорѣе!

**Марья Антоновна.** Право, маменька, Добчинскій.

**Анна Андреевна.** Ну, вотъ, нарочно, чтобы только поспорить. Говорятъ тебѣ—не Добчинскій.

**Марья Антоновна.** А что? а что, маменька? Видите, что Добчинскій.

**Анна Андреевна.** Ну, да, Добчинскій, теперь я вижу,— изъ чего же ты споришь? (*Кричитъ въ окно*). Скорѣй, скорѣй! вы тихо идете. Ну, что, гдѣ они? А? Да говорите же оттуда, все равно. Что? Очень строгій? А? А мужъ, мужъ? (*Немного отступя отъ окна, съ досадою*). Такой глупый: до тѣхъ поръ, пока не войдетъ въ комнату, ничего не расскажетъ!

## ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же и Добчинскій.

**Анна Андреевна.** Ну, скажите пожалуйста: ну, не совѣстно ли вамъ? Я на васъ однихъ полагалась, какъ на порядочнаго человѣка: всѣ вдругъ выбѣжали, и вы туда-жь за ними! и я вотъ ни отъ кого до сихъ поръ толку не доберусь. Не стыдно ли вамъ? Я у васъ крестила вашего Ваничку и Лизаньку, а вы вотъ какъ со мною поступили!

**Добчинскій.** Ей-Богу, кумушка, такъ бѣжалъ засвидѣтельствовать почтеніе, что не могу духу перевести. Мое почтеніе, Марья Антоновна!

**Марья Антоновна.** Здравствуйте, Петръ Ивановичъ!

**Анна Андреевна.** Ну, что? Ну, рассказывайте: что и какъ тамъ?

**Добчинскій.** Антонъ Антоновичъ прислалъ вамъ записочку.

**Анна Андреевна.** Ну, да кто онъ такой? генераль?

**Добчинскій.** Нѣтъ, не генераль, а не уступитъ генералу: такое образованіе и важныя поступки-сь.

**Анна Андреевна.** А! такъ это тотъ самый, о которомъ было писано мужу.

**Добчинскій.** Настоящій. Я это первый открылъ вмѣстѣ съ Петромъ Ивановичемъ.

**Анна Андреевна.** Ну, расскажите: что и какъ.

**Добчинскій.** Да, слава Богу, все благополучно. Сначала онъ принялъ было Антона Антоновича немного сурово, да-съ; сердился и говорилъ, что и въ гостиницѣ все не хорошо, и къ нему не поѣдетъ, и что онъ не хочетъ сидѣть за него въ тюрьмѣ; но потомъ, какъ узнать невинность Антона Антоновича и какъ покороче разговорился съ нимъ, тотчасъ переѣхалъ мысли и, слава Богу, все пошло хорошо. Они теперь поѣхали осматривать богоугодныя заведенія... А то, признаюсь, уже Антонъ Антоновичъ думали, не было ли тайнаго доноса; я самъ тоже перетрухнулъ немножко.

**Анна Андреевна.** Да вамъ-то чего бояться? вѣдь вы не служите.

**Добчинскій.** Да такъ, знаете, когда вельможа говорить, чувствуешь страхъ.

**Анна Андреевна.** Ну, что-жь... это все, однакожь, вздоръ. Расскажите: каковъ онъ собою? что, старъ или молодъ?

**Добчинскій.** Молодой, молодой человекъ, лѣтъ двадцати трехъ; а говорить совсѣмъ такъ, какъ старикъ. «Извольте», говорить, «я поѣду и туда, и туда...» (*размахиваетъ руками*) такъ это все славно. «Я», говорить, «и написать, и почитать люблю; но мѣшаетъ, что въ комнатѣ», говорить, «немножко темно».

**Анна Андреевна.** А собою каковъ онъ: брюнетъ или блондинъ?

**Добчинскій.** Нѣтъ, больше шантреть, и глаза такіе быстрые, какъ звѣрці, такъ въ смущенье даже приводятъ.

**Анна Андреевна.** Что тутъ пишетъ онъ мнѣ въ запискѣ? (*Читаетъ*). «Спѣшу тебя увѣдомить, душенька, что состояніе мое было весьма печальное; но, уповаю на милосердіе Божіе, за два соленые огурца особенно и полпорціи икры рубль двадцать пять копѣекъ...» (*останавливается*). Я ничего не понимаю: къ чему же тутъ соленые огурцы и икра?

**Добчинскій.** А, это Антонъ Антоновичъ писалъ на черновой бумагѣ, по скорости: такъ какой-то счетъ былъ написанъ.

**Анна Андреевна.** А, да, точно. (*Продолжаетъ читать*). «Но, уповаю на милосердіе Божіе, кажется, все будетъ къ

хорошему концу. Приготовь поскорѣ комнату для важнаго гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками; къ обѣду прибавлять не трудись, потому что закусимъ въ богоугодномъ заведеніи, у Артемія Филипповича, а вина вели побольше: скажи купцу Абдулину, чтобы прислалъ самаго лучшаго; а не то, я перерою весь его погребъ. Цѣлуя, душенька, твою ручку, остаюсь твой: Антонъ Сьвзозникъ-Дмухановскій... Ахъ, Боже мой! Это, однакожъ, нужно поскорѣй! Эй, гдѣ тамъ? Мишка!

Добчинскій (*бѣжитъ и кричитъ въ дверь*). Мишка! Мишка! Мишка! (*Мишка входитъ*).

Анна Андреевна. Послушай: бѣги къ купцу Абдулину... постой, я дамъ тебѣ записочку (*садится къ столу, пишетъ записку и между тѣмъ говоритъ*) эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы онъ побѣжалъ съ нею къ купцу Абдулину и принесть оттуда вина. А самъ поди, сейчасъ прибери хорошенько эту комнату для гостя. Тамъ поставь кровать, рукомойникъ и прочее.

Добчинскій. Ну, Анна Андреевна, я побѣгу, теперь поскорѣ посмотрѣть, какъ тамъ онъ обозрѣвается.

Анна Андреевна. Ступайте, ступайте! я не держу васъ.

### ЯВЛЕНІЕ III.

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ну, Машенька, намъ нужно теперь заняться туалетомъ. Онъ столичная штучка: Боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмѣять. Тебѣ приличіе всего надѣть твое голубое платье съ мелкими оборками.

Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Мнѣ совсѣмъ не нравятся: и Ляпкина-Тяпкина ходитъ въ голубомъ, и дочь Земляники тоже въ голубомъ. Нѣтъ, лучше я надѣну цвѣтное.

Анна Андреевна. Цвѣтное!.. Право, говоришь — лишь бы только наперекоръ. Оно тебѣ будетъ гораздо лучше, потому что я хочу надѣть палевое; я очень люблю палевое.

Марья Антоновна. Ахъ, маменька, вамъ неидетъ палевое!

Анна Андреевна. Мнѣ палевое неидетъ?

Марья Антоновна. Неидетъ; я, что угодно, даю, неидетъ: для этого нужно, чтобы глаза были совсѣмъ темные.

Анна Андреевна. Вотъ хорошо! а у меня глаза развѣ не

темные? самые темные. Какой вздоръ говорить! Какъ же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на треновую даму?

Марья Антоновна. Ахъ, маменька! вы больше червонная дама.

Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки. Я никогда не была червонная дама. *(Постыжно уходитъ вмѣстѣ съ Марьей Антоновной и говоритъ за сценой).* Этакое вдругъ вообразится! червонная дама! Богъ знаетъ, что такое! *(По уходѣ изъ открываются двери, и Мишка выбираетъ изъ нихъ соръ. Изъ другихъ дверей выходитъ Осипъ съ чемоданомъ на голову).*

#### ЯВЛЕНИЕ IV.

Мишка и Осипъ.

Осипъ. Куда тутъ?

Мишка. Сюда, дядюшка, сюда!

Осипъ. Постой, прежде дай отдохнуть. Ахъ ты горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.

Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будетъ генераль?

Осипъ. Какой генераль?

Мишка. Да баринъ вашъ.

Осипъ. Баринъ? да какой онъ генераль?

Мишка. А развѣ не генераль?

Осипъ. Генераль, да только съ другой стороны.

Мишка. Что-жъ это, больше, или меньше настоящаго генерала?

Осипъ. Больше.

Мишка. Вишь ты какъ! то-то у насъ сумятицу подняли.

Осипъ. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный паренъ; приготовь-ка тамъ что-нибудь поѣсть!

Мишка. Да для васъ, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать, а вотъ, какъ баринъ вашъ сядетъ за столъ, такъ и вамъ того же кушанья отпустятъ.

Осипъ. Ну, а простого-то что у васъ есть?

Мишка. Щи, каша, да пироги.

Осипъ. Давай ихъ, щи, кашу и пироги! Ничего, все будемъ ѣсть. Ну, повесемъ чемоданы! Что, тамъ другой выходъ есть?

Мишка. Есть. (Оба несутъ чемоданъ въ боковую комнату).

## ЯВЛЕНИЕ V.

*Квартальные открываютъ обѣ половинки дверей. Входитъ Хлестаковъ: за нимъ городничій, далѣе попечитель богоугодныхъ заведеній, смотритель училищъ, Добчинскій и Бобчинскій, съ пластыремъ на носу. Городничій указываетъ квартальнымъ на полу бумажку—они берутъ и поднимаютъ ее, толкая другъ друга впопыхахъ.*

Хлестаковъ. Хорошія заведенія. Мнѣ нравится, что у васъ показываютъ проѣзжающимъ все въ городѣ. Въ другихъ городахъ мнѣ ничего не показывали.

Городничій. Въ другихъ городахъ, осмѣлюсь доложить вамъ, градоправители и чиновники больше заботятся о свей, то есть, пользѣ; а здѣсь, можно сказать, нѣтъ другого помышленія, кромѣ того, чтобы благочиніемъ и бдительностію заслужить вниманіе начальства.

Хлестаковъ. Завтракъ былъ очень хорошъ; я совсѣмъ обѣлся. Что, у васъ каждый день бываетъ такой?

Городничій. Нарочно для такого пріятнаго гостя.

Хлестаковъ. Я люблю поѣсть. Вѣдь на то живешь, чтобы срывать цвѣты удовольствія. Какъ называлась эта рыба?

Артемій Филипповичъ (подбывая). Лабардавъ-сь.

Хлестаковъ. Очень вкусная. Гдѣ это мы завтракали? въ больницѣ, что ли?

Артемій Филипповичъ. Такъ точно-сь, въ богоугодномъ заведеніи.

Хлестаковъ. Помню, помню, тамъ стояли кровати. А больные выздоравлили? тамъ ихъ, кажется, не много.

Артемій Филипповичъ. Человѣкъ десять осталось, не больше; а прочіе всѣ выздоравлили. Это ужъ такъ устроено, такой порядокъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я принялъ начальство,—можетъ-быть, вамъ покажется даже невѣроятнымъ,—всѣ, какъ мухи, выздоравливаютъ. Больной не успѣетъ войти въ лазаретъ, какъ уже здоровъ; и не столько медикаментами, сколько честностію и порядкомъ.

Городничій. Ужъ на что, осмѣлюсь доложить вамъ, голубомъна обязанность градоначальника! Столько лежитъ всякихъ дѣлъ, относительно одной чистоты, починки, поправки... словомъ, наумнѣйшій человѣкъ пришелъ бы въ затрудненіе, но, благодареніе Богу, все идетъ благополучно. Иной

городничій, конечно, радѣлъ бы о своихъ выгодахъ; но вѣрите ли, что, даже когда ложншься спать, все думаешь: «Господи Боже Ты мой, какъ бы такъ устроить, чтобы начальство увидѣло мою ревность и было довольнѣе?!» Наградить ли оно, или нѣтъ, конечно, въ его волѣ, но крайней мѣрѣ я буду спокоенъ въ сердцѣ. Когда въ городѣ во всемъ порядокъ, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяницъ мало... то чего-жъ мнѣ больше? Ей-ей, и почестей никакихъ не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но предъ добродѣтелью все прахъ и суета.

**Артемій Филипповичъ (въ сторону).** Эка, бездѣльникъ, какъ расписываетъ! Далъ же Богъ такой даръ!

**Хлестаковъ.** Это правда. Я, признаюсь, самъ люблю иногда заумствоваться: иной разъ прозой, а въ другой и стихи выкинутся.

**Бобчинскій (Добчинскому).** Справедливо, все справедливо. Петръ Ивановичъ! Замѣчанія такія... видно, что наукамъ учился.

**Хлестаковъ.** Скажите, пожалуйста, нѣтъ ли у васъ какихъ-нибудь развлеченій, обществъ, гдѣ бы можно было, напри- мѣръ, поиграть въ карты?

**Городничій (въ сторону).** Эге, знаемъ, голубчикъ, въ чей огородъ камешки бросаютъ! (Вслухъ). Боже сохрани! здѣсь и слуху нѣтъ о такихъ обществахъ. Я картъ и въ руки никогда не бралъ; даже не знаю, какъ играть въ эти карты. Смотрѣть никогда не могъ на нихъ равнодушно, и если случится увидѣть этакъ какого-нибудь бубноваго короля или что-нибудь другое, то такое омерзѣнiе нападетъ, что, просто, плюнешь. Разъ какъ-то случилось, забавляя дѣтей, выстроилъ будку изъ картъ, да послѣ того всю ночь снились проклятыя. Богъ съ ними! Какъ можно, чтобы такое драгоценное время убивать на нихъ?

**Лука Лукичъ (въ сторону).** А у меня, подлецъ, выпонти- ровалъ вчера сто рублей.

**Городничій.** Лучше-жъ я употребляю это время на пользу государственную.

**Хлестаковъ.** Ну, нѣтъ, вы напрасно однакоже... Все зависи́тъ отъ той стороны, съ которой кто смотритъ на вещь. Если, напри- мѣръ, забастуешь тогда, какъ нужно гнуть отъ трехъ угловъ... ну, тогда конечно... Нѣтъ, не говорите; иногда очень заманчиво поиграть.



## ЯВЛЕНИЕ VI.

Тѣ же, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

— Городничій. Осмѣлюсь представить семейство мое: жена и дочь.

Хлестаковъ (*раскланиваясь*). Какъ я счастливъ, сударыня, что имѣю въ своемъ родѣ удовольствіе васъ видѣть.

Анна Андреевна. Намъ еще болѣе пріятно видѣть такую особу.

Хлестаковъ (*рисуеться*). Помилуйте, сударыня, совершенно напротивъ: мнѣ еще пріятнѣе.

Анна Андреевна. Какъ можно-съ! вы это такъ изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться.

Хлестаковъ. Возлѣ васъ стоять уже есть счастье; впрочемъ, если вы такъ уже непремѣнно хотите, я сяду. Какъ я счастливъ, что, наконецъ, сию возлѣ васъ.

Анна Андреевна. Помилуйте, я никакъ не смѣю, принять на свой счетъ... Я думаю, вамъ послѣ столицы войдѣиrowвѣ показалась очень непріятною.

Хлестаковъ. Чрезвычайно непріятна. Привыкли жить, comparez vous, въ свѣтѣ и вдругъ очутиться въ дорогѣ: грязные трактиры, мракъ невѣжества... Если-бъ, признаюсь, не такой случай, который меня... (*посматриваетъ на Анну Андреевну и рисуеться передъ ней*) такъ вознаградить за все...

Анна Андреевна. Въ самомъ дѣлѣ, какъ вамъ должно быть непріятно.

Хлестаковъ. Впрочемъ, сударыня, въ эту минуту мнѣ очень пріятно.

Анна Андреевна. Какъ можно-съ! Вы дѣлаете много чести. Я этого не заслуживаю.

Хлестаковъ. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.

Анна Андреевна. Я живу въ деревнѣ...

Хлестаковъ. Да, деревня, впрочемъ, тоже имѣетъ свои прігорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнить съ Петербургомъ! Эхъ, Петербургъ! что за жизнь, право! Вы, можетъ-быть, думаете, что я только переписываю; нѣтъ, начальникъ отдѣленія со мной на дружеской ногѣ. Этакъ ударить по плечу: «Приходи, братецъ, обѣдать!» Я только изъ двѣ минуты захожу въ департаментъ, съ тѣмъ только,

чтобы сказать: это вот такъ, это вот такъ. А тамъ ужъ чиновникъ для письма, такая крыса, перомъ только—тр, тр... помель писать. Хотѣли было даже меня коллегскимъ ассесбромъ сдѣлать, да думаю, зачѣмъ. И сторожъ летитъ еще на лѣстницѣ за мною со щеткою: «Позвольте, Иванъ Александровичъ, я вамъ», говоритъ, «сапоги почишу». (Городничему). Что вы, господа, стоите? Пожалуйста садитесь!

Вмѣстѣ { Городничій. Чинъ такой, что еще можно постоять.  
 { Артемій Филипповичъ. Мы постоимъ.  
 { Лука Лукичъ. Не извольте беспокоиться!

Хлестаковъ. Безъ чиновъ, прошу садиться. (Городничій и всѣ садятся). Я не люблю перемоніи. Напротивъ, я даже стараюсь, стараюсь проскользнуть незамѣтно. Но никакъ нельзя скрыться, никакъ нельзя! Только выйду куда-нибудь, ужъ и говорятъ: «Вонъ», говорятъ, «Иванъ Александровичъ идетъ!» А одинъ разъ меня приняли даже за главнокомандующаго: солдаты выскочили изъ гауптвахты и сдѣлали ружьемъ. Послѣ уже офицеръ, который мнѣ очень знакомъ, говоритъ мнѣ: «Ну, братецъ, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующаго».

Анна Андреевна. Скажите, какъ!

Хлестаковъ. Съ хорошенькими актрисами знакомъ. Я видѣю тоже разные водевильчики... Литераторовъ часто вижу. Съ Пушкинымъ на дружеской ногѣ. Бывало, часто говорю ему: «Ну, чтѣ, братъ Пушкинъ?»—«Да такъ, братъ», отвѣчаетъ бывало: «такъ какъ-то все...» Большой оригиналь.

Анна Андреевна. Такъ вы и пишете? Какъ это должно быть пріятно сочинителю! Вы, вѣрно, и въ журналы помещаете?

Хлестаковъ. Да, и въ журналы помещаю. Моихъ, впрочемъ, много есть сочиненій: Женитьба Фигаро, Робертъ Дьяволь, Норма. Ужъ и названій даже не помню. И все случаемо: я не хотѣлъ писать, но театральная дирекція говоритъ: «Пожалуйста, братецъ, напиши что-нибудь». Думаю себѣ: «Пожалуй, изволь, братецъ». И тутъ же въ одинъ вечеръ, кажется, все написалъ, всѣхъ изумилъ. У меня легкость необыкновенная въ мысляхъ. Все это, чтѣ было подъ именемъ барона Брамбеуса, Фрегатъ Надежды и Московскій Телеграфъ... все это я написалъ.

Анна Андреевна. Скажите, такъ это вы были Брамбеусъ?

Хлестаковъ. Какъ же, я имъ всёмъ поправляю статьи. Мнѣ Смирдинъ даетъ за это сорокъ тысячъ.

Анна Андреевна. Такъ, вѣрно, и Юрій Милославскій ваше сочиненіе.

Хлестаковъ. Да, это мое сочиненіе.

Анна Андреевна. Я сейчасъ догадалась.

Марья Антоновна. Ахъ, маменька, тамъ написано, что это г. Загоскина сочиненіе.

Анна Андреевна. Ну, вотъ: я и знала, что даже здѣсь будешь спорить.

Хлестаковъ. Ахъ, да, это правда: это, точно, Загоскина; а есть другой Юрій Милославскій, такъ тотъ ужъ мой.

Анна Андреевна. Ну, это вѣрно, я вашъ читала. Какъ хорошо написано!

Хлестаковъ. Я, признаюсь, литературой существую. У меня домъ первый въ Петербургѣ. Такъ ужъ и извѣстенъ: домъ Ивана Александровича. *(Обращаясь ко всемъ)*. Сдѣлайте мнѣ милость, господа, если будете въ Петербургѣ, прошу, прошу ко мнѣ. Я вѣдь тоже балы даю.

Анна Андреевна. Я думаю, съ какими тамъ вкусомъ и великолѣпнѣмъ даются балы?

Хлестаковъ. Просто, не говорите. На столѣ, напримѣръ, арбузъ — въ семьсотъ рублей арбузъ. Супъ въ кострюлкѣ прямо на пароходѣ привѣхалъ изъ Парижа; откроютъ крышку — паръ, которому подобнаго нѣльзя отыскать въ природѣ. Я всякій день на балахъ. Тамъ у насъ и вистъ свой составилъ: министръ иностранныхъ дѣлъ, французскій посланникъ, англійскій, нѣмецкій посланникъ и я. И ужъ такъ умѣришься, играя, что, просто, ни на что не похоже. Какъ взбѣжишь по лѣстницѣ къ себѣ на четвертый этажъ — скажешь только кухаркѣ: «На, Маврушка, шинель»... Что-жъ я вру — я и позабылъ, что живу въ бельэтажѣ. У меня одна лѣстница стѣбить... А любопытно взглянуть ко мнѣ въ переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкуются и жужжать тамъ, какъ шмели, только и слышно ж... ж... ж... Иной разъ и министр... *(Городничій и прочіе съ робостью встаютъ съ своихъ стульевъ)*. Мнѣ даже на пакетахъ пишутъ: ваше превосходительство. Одинъ разъ я даже управлялъ департаментомъ. И странно: директоръ уѣхалъ — куда уѣхалъ, неизвѣстно. Ну, натурально, пошли толки: какъ, что, кому занять мѣсто? Многіе изъ генера-

ловъ находились охотники и брались, но подойдуть, бывало — нѣтъ, мудрено. Кажется и легко на видѣ, а размотришь — просто, чортъ возьми! Послѣ видятъ, нечего дѣлать — ко мнѣ. И въ ту же минуту по улицамъ курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себѣ, тридцать пять тысячъ однихъ курьеровъ! Каково положеніе, я спрашиваю? «Иванъ Александровичъ, ступайте департаментомъ управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышелъ въ халатъ; хотѣлъ отказать, но думаю, дойдетъ до государя, ну, да и послужной списокъ тоже... «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю», говорю: «такъ и быть», говорю: «я принимаю, только ужъ у меня: ни, ни, ни! ужъ у меня ухо остро! ужъ я...» И точно: бывало, какъ прохожу черезъ департаментъ—просто землетрясеніе, все дрожитъ и трясется, какъ листъ. *(Городничій и прочіе трясутся отъ страха; Хлестаковъ горячится силнѣе)*. О! я шутить не люблю; я имъ всѣмъ задамъ острастку. Меня самъ государственный совѣтъ боится. Да что въ самомъ дѣлѣ? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всѣмъ: «Я самъ себя знаю, самъ». Я вездѣ, вездѣ. Во дворецъ всякій день ѣзжу. Меня завтра же произведутъ сейчасъ въ фельдмарш... *(поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на полъ, но съ почтеніемъ поддерживается чиновниками)*.

Городничій *(подходя и трясясь всѣмъ тѣломъ, силится выговорить)*. А ва-ва-ва... ва...

Хлестаковъ *(быстрымъ отрывистымъ голосомъ)*. Чтò такое?

Городничій. А ва-ва-ва... ва...

Хлестаковъ *(такимъ же голосомъ)*. Не разберу ничего, все вздоръ.

Городничій. Ва-ва-ва... шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?... вотъ и комната, и все, чтò нужно.

Хлестаковъ. Вздоръ — отдохнуть. Извольте, я готовъ отдохнуть. Завтракъ у васъ, господа, хорошъ... я доволенъ, я доволенъ. *(Съ декламацией)*. Лабарданъ! лабарданъ! *(Входитъ въ боковую комнату, за нимъ городничій)*.

## ЯВЛЕНІЕ VII.

Тѣ же, кромѣ Хлестакова и городничаго.

Бобчинскій *(Добчинскому)*. Вотъ это, Петръ Ивановичъ, человѣкъ-то! Вотъ оно, чтò значить человѣкъ! Въ жисть не

былъ въ присутствіи такой важной персоны, чуть не умеръ со страху. Какъ вы думаете, Петръ Ивановичъ, кто онъ такой въ разсужденіи чина?

Добчинскій. Я думаю, чуть ли не генералъ.

Бобчинскій. А я такъ думаю, что генералъ-то ему и въ подметки не станетъ; а когда генералъ, то ужъ развѣ самъ генералиссимусъ. Слышали: государственнѣйшій-то совѣтъ какъ прижалъ? Пойдемъ, расскажемъ поскорѣ Аммосу Ѳедоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна!

Добчинскій. Прощайте, кумушка! *(Оба уходятъ)*.

Артеміѣ Филипповичъ *(Лукъ Лукичу)*. Страшно, просто; а отчего, и самъ не знаю. А мы даже и не въ мундирѣхъ. Ну, что, какъ проспится, да въ Петербургъ махнешь донесеніе? *(Уходятъ въ задумчивости вмѣстѣ съ смотрителемъ училищъ, произнеся)*: Прощайте, сударыня!

## ЯВЛЕНІЕ VIII.

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ахъ, какой пріятный!

Марья Антоновна. Ахъ, милашка!

Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращеніе! сейчасъ можно увидѣть столичную штучку. Пріемы и все это такое... Ахъ, какъ хорошо! Я страхъ люблю такихъ молодыхъ людей! Я, просто, безъ памяти. Я, однакожь, ему очень понравилась: я замѣтила—все на меня поглядывалъ.

Марья Антоновна. Ахъ, маменька, онъ на меня глядѣтъ!

Анна Андреевна. Пожалуйста, съ своимъ вадоромъ по-дальше! Это здѣсь вовсе неумѣстно.

Марья Антоновна. Нѣтъ, маменька, право!

Анна Андреевна. Ну, вотъ! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя да и полно! Гдѣ ему смотрѣть на тебя? И съ какой стати ему смотрѣть на тебя?

Марья Антоновна. Право, маменька, все смотрѣлъ. И какъ началъ говорить о литературѣ, то взглянулъ на меня и потомъ, когда рассказывалъ, какъ игралъ въ вистъ съ посланниками, и тогда посмотрѣлъ на меня.

Анна Андреевна. Ну, можетъ-быть, одинъ какой-нибудь разъ, да и то такъ ужъ, лишь бы только. «А», говорить себѣ: «дай ужъ посмотрю на нее!»

## ЯВЛЕНІЕ IX.

Тѣ же и городничій.

Городничій (*входитъ на цыпочкахъ*). Чш... ш...

Анна Андреевна. Чтѣ?

Городничій. И не радъ, что напоилъ. Ну, чтѣ, если хотъ одна половина изъ того, чтѣ онъ говорилъ, правда? (*Задумывается*). Да какъ же и не быть правдѣ? Подгулявши, человѣкъ все несетъ наружу: чтѣ на сердцѣ, то и на языкѣ. Конечно, пригнулъ немного; да вѣдь, не пригнувши, не говорится никакая рѣчь. Съ министрами играетъ и во дворецъ ѣздитъ... Такъ вотъ, право, чѣмъ больше думаешь, чортъ его знаетъ, не знаешь, чтѣ и дѣлается въ головѣ; просто, какъ будто или стоишь на какой-нибудь колокольнѣ, или тебя хотятъ повѣсиль.

Анна Андреевна. А я никакой совершенно не ощутила робости; я просто видѣла въ немъ образованнаго свѣтскаго, высшаго тона человѣка, а о чинахъ его мнѣ и нужды нѣтъ.

Городничій. Ну, ужъ вы—женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно! Вамъ все — финтирлюшки! Вдругъ брякнуть ни изъ того, ни изъ другого словцо. Васъ посякутъ, да и только, а мужа и поминай, какъ звали. Ты, душа моя, обращалась съ нимъ такъ свободно, какъ будто съ какимъ-нибудь Добчинскимъ.

Анна Андреевна. Объ этомъ я ужъ совѣтую вамъ не беспокоиться. Мы кой-что знаемъ такое... (*посматриваетъ на часы*).

Городничій (*одинъ*). Ну, ужъ съ вами говорить!.. Эка въ самомъ дѣлѣ оказія! До сихъ поръ не могу отнудиться отъ страха. (*Отворяетъ дверь и говоритъ въ дверь*). Мишка! позови квартальныхъ, Свистунова и Держиморду: они тутъ недалеко гдѣ-нибудь за воротами. (*Послѣ небольшого молчанія*). Чудно все завелось теперь на свѣтѣ: хотъ бы народъ-то ужъ былъ видный, а то худенькій, тоненькій—какъ его узнаешь, кто онъ? Еще военный все-таки кажется изъ себя, а какъ надѣнетъ фракчикъ—ну, точно муха съ подрѣзанными крыльями. А вѣдь долго крѣпился давеча въ трактирѣ, заламливалъ такія аллегоріи и эквивоки, что, кажись, вѣкъ бы не добился толку. А вотъ, наконецъ, и по-

дался. Да еще наговорить больше, чѣмъ нужно. Видно, что человекъ молодой.

## ЯВЛЕНІЕ X.

Тѣ же и Осипъ. *Всѣ бѣгутъ къ нему навстрѣчу, кивая пальцами.*

Анна Андреевна. Подойди сюда, любезный!

Городничій. Чш!.. что? что? спитъ?

Осипъ. Нѣтъ еще, немножко потягивается.

Анна Андреевна. Послушай, какъ тебя зовутъ?

Осипъ. Осипъ, сударыня. —

Городничій (*женѣ и дочери*). Полно, полно вамъ! (*Осипу*).

Ну, что, другъ, тебя накормили хорошо?

Осипъ. Накормили, покорнѣйше благодарю; 'хорошо накормили.

Анна Андреевна. Ну, что, скажи: къ твоему барину слишкомъ, я думаю, много ѣздитъ графовъ и князей?

Осипъ (*въ сторону*). А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значить, послѣ еще лучше накормятъ. (*Вслухъ*). Да, бываютъ и графы.

Марья Антоновна. Душенька Осипъ, какой твой баринъ хорошенькій!

Анна Андреевна. А что, скажи пожалуйста, Осипъ, какъ онъ...

Городничій. Да перестаньте пожалуйста! Вы такими пустыми рѣчами только мнѣ мѣшаете. Ну, что, другъ?..

Анна Андреевна. А чинъ какой на твоёмъ баринѣ?

Осипъ. Чинъ обыкновенно какой.

Городничій. Ахъ, Боже мой, вы все съ своими глупыми разспросами! не дадите ни слова поговорить о дѣлѣ. Ну, что, другъ, какъ твой баринъ?.. строгъ? любить такъ распекалъ или нѣтъ?

Осипъ. Да, порядокъ любить. Ужъ ему чтобы все было въ исправности.

Городничій. А мнѣ очень нравится твое лицо. Другъ, ты долженъ быть хорошій человекъ. Ну, что?..

Анна Андреевна. Послушай, Осипъ, а какъ баринъ твой тамъ, въ мундирѣ ходитъ?..

Городничій. Полно вамъ, право, трещотки какія! Здѣсь, нужная вещь: дѣло идетъ о жизни человека... (*Къ Осипу*). Ну, что, другъ, право, мнѣ ты очень нравишься. Въ дорогѣ

не мѣшаетъ, знаешь, чайку выпить лишній стаканчикъ, — оно теперь холодновато, — такъ вотъ тебѣ пара цѣлковиковъ на чай.

Осипъ (*принимая деньги*). А покорнѣйше благодарю, сударь! Дай Богъ вамъ всякаго здоровья! бѣдный человѣкъ, — помогли ему.

Городничій. Хорошо, хорошо, я и самъ радъ. А что, другъ...

Анна Андреевна. Послушай, Осипъ, а какіе глаза больше всего нравятся твоему барину?..

Марья Антоновна. Осипъ, душенька! какой миленькій носикъ у твоего барина!

Городничій. Да постойте, дайте мнѣ!.. (*Къ Осипу*). А что, другъ, скажи пожалуйста: на что больше баринъ твой обращаетъ вниманіе, то-есть, что ему въ дорогѣ больше нравится?

Осипъ. Любить онъ, по разсмотрѣнію, что какъ придется. Больше всего любить, чтобы его приняли хорошо, угощеніе! чтобъ было хорошее.

Городничій. Хорошее?

Осипъ. Да, хорошее. — Вотъ ужъ на что я, крѣпостной человѣкъ, но и то смотреть, чтобы и мнѣ было хорошо. Ей-Богу! Бывало, заѣдемъ куда-нибудь: «Что, Осипъ, хорошо тебя угостили?» — «Плохо, ваше высокоблагородіе!» — «Э», говорить, «это, Осипъ, нехорошій хозяинъ. Ты», говорить, «напомни мнѣ, какъ пріѣду». — «А», думаю себѣ, (*махнувъ рукою*) «Богъ съ нимъ! я человѣкъ простой».

Городничій. Хорошо, хорошо, и дѣло ты говоришь. Тамъ, я тебѣ далъ на чай, такъ вотъ еще сверхъ того на баранки.

Осипъ. За что жалуете, ваше высокоблагородіе? (*Прячетъ деньги*). Развѣ ужъ выпью за ваше здоровье.

Анна Андреевна. Приходи, Осипъ, ко мнѣ, тоже получишь.

Марья Антоновна. Осипъ, душенька, поцѣлуй своего барина! (*Слышенъ изъ другой комнаты небольшой кашель Хлестакова*).

Городничій. Чш! (*поднимается на цыпочки; вся сцена вполголоса*). Боже васъ сохрани шумѣть! Идите себѣ! полно ужъ вамъ...

Анна Андреевна. Пойдемъ, Машенька! я тебѣ скажу, что я замѣтила у гостя такое, что намъ вдвоемъ только можно сказать.



Городничій. О, ужъ тамъ наговорятъ! Я думаю, поди только да послушай—и уши потомъ заткнешь. (*Обращаясь къ Осипу*). Ну, другъ...

## ЯВЛЕНИЕ XI.

Тѣ же, Держиморда и Свистуновъ.

Городничій. Чш! акіе косолапые медвѣди стучать сапогами. Такъ и валится, какъ будто сорокъ пудъ сбрасываетъ кто-нибудь съ телеги! Гдѣ васъ чортъ таскаетъ?

Держиморда. Былъ по приказанію...

Городничій. Чш! (*закрываетъ ему ротъ*). Экъ какъ карнула ворона! (*Дразнитъ его*). Былъ по приказанію! Какъ изъ бочки, такъ рычитъ! (*Къ Осипу*). Ну, другъ, ты ступай, приготовляй тамъ, что нужно для барина. Все, что ни есть въ домѣ, требуй. (*Осипъ уходитъ*). А вы—стоять на крыльцѣ и ни съ мѣста! И никого не впускать въ домъ сторонняго, особенно купцовъ! Если хоть одного изъ нихъ впустите, то... Только увидите, что идетъ кто-нибудь съ просьбою, а хоть и не съ просьбою, да похожъ на такого человѣка, что хочетъ подать на меня просьбу, въ-защей, такъ прямо и толкайте! такъ его! хорошенько! (*Показываетъ ногою*). Слышите? Чш... чш... (*Уходитъ на цыпочкахъ вслѣдъ за кавальерными*).

## ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Та же комната въ домѣ городничаго.

## ЯВЛЕНИЕ I.

Входятъ осторожно, почти на цыпочкахъ: Аммосъ Федоровичъ, Артемій Филипповичъ, почтмейстеръ, Лука Лукичъ, Добчинскій и Бобчинскій, въ полномъ парадѣ и мундирахъ. Вся сцена происходитъ вполголоса.

Аммосъ Федоровичъ (*строитъ въсплхъ полукружіемъ*). Радъ Бога, господа, скорѣе въ кружокъ, да побольше порядку! Богъ съ нимъ: и во дворецъ ѣздитъ, и государственный советъ распаекать! Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу! Вы, Петръ Ивановичъ, забѣгите съ этой стороны, а вы, Петръ Ивановичъ, станьте вотъ тутъ. (*Оба Петра Ивановича забѣгаютъ на цыпочкахъ*).

Артемій Филипповичъ. Воля ваша, Аммосъ Федоровичъ, намъ нужно бы кое-что предпринять.

Аммось Ѳедоровичъ. А что именно?

Артемій Филипповичъ. Ну, извѣстно, что.

Аммось Ѳедоровичъ. Подсунуть?

Артемій Филипповичъ. Ну, да, хотъ и подсунуть.

Аммось Ѳедоровичъ. Опасно, чортъ возьми! раскритичится: государственный человѣкъ. А развѣ въ видѣ приношенья, со стороны дворянства на какой-нибудь памятникъ?

Почтмейстеръ. Или же: «вотъ, молъ, пришли по почтѣ деньги, неизвѣстно кому принадлежащія».

Артемій Филипповичъ. Смотрите, чтобъ онъ васъ по почтѣ не отправилъ куда-нибудь подальше. Слушайте: эти дѣла не такъ дѣлаются въ благоустроенномъ государствѣ. Зачѣмъ насъ здѣсь цѣлый эскадронъ? Представиться нужно поодиночкѣ, да между четырехъ глазъ и того... какъ тамъ слѣдуетъ—чтобы и уши не слыхали! Вотъ какъ въ обществѣ благоустроенномъ дѣлается! Ну, вотъ вы, Аммось Ѳедоровичъ, первый и начните.

Аммось Ѳедоровичъ. Такъ лучше-жъ вы: въ вашемъ заведеніи высокій посѣтитель вкусилъ хлѣба.

Артемій Филипповичъ. Такъ ужъ лучше Лукѣ Лукичу, какъ просвѣтителю юношества.

Лука Лукичъ. Не могу, не могу, господа! Я, признаюсь, такъ воспитанъ, что, заговори со мною однимъ чиномъ кто-нибудь повыше, у меня, просто, и души нѣтъ, и языкъ, какъ въ грязь, завязнулъ. Нѣтъ, господа, увольте, право! увольте!

Артемій Филипповичъ. Да, Аммось Ѳедоровичъ, кромѣ васъ, некому. У васъ что ни слово, то Цицеронъ съ языка слетѣлъ.

Аммось Ѳедоровичъ. Что вы! что вы: Цицеронъ! Смотрите, что выдумали! Что иной разъ увлеченъ, говоря о домашней сворѣ или гончей ищейкѣ...

Всѣ (*пристаютъ къ нему*). Нѣтъ, вы не только о собакахъ, вы и о столпотвореніи... Нѣтъ, Аммось Ѳедоровичъ, не оставляйте насъ, будьте отцомъ нашимъ!.. Нѣтъ, Аммось Ѳедоровичъ!

Аммось Ѳедоровичъ. Отвяжитесь, господа! (*Въ это время слышны шаги и откашливаніе въ комнатѣ Хлестакова. Всѣ спышнѣвъ наперерывъ къ дверямъ, толпятся и стараются выйти, что происходитъ не безъ того, чтобы не притиснули кое-кого. Раздаются вполголоса сослѣзательныя:*

Голосъ Бобчинскаго. Ой! Петръ Ивановичъ, Петръ Ивановичъ, наступили на ногу!

Голосъ Земляники. Отпустите, господа, хоть душу на покой — совсѣмъ прижали!

(*Выхватываются нѣсколько восклицаній ай! ай! наконецъ, всѣ вытираются, и комната остается пуста*).

## ЯВЛЕНІЕ II.

Хлестаковъ (*одинъ, выходитъ съ застанными глазами*).

Я, кажется, всхрапнулъ порядкомъ. Откуда они набрали такихъ тюфяковъ и перинъ? даже вспотѣлъ. Кажется, они вчера мнѣ подсунули чего-то за завтракомъ, въ головѣ до сихъ поръ стучить. Здѣсь, какъ я вижу, можно съ пріятностію проводить время. Я люблю радушіе, и мнѣ, признаюсь, больше нравится, если мнѣ угождаютъ отъ чистаго сердца, а не то, чтобы изъ интереса. А дочка городничаго очень не дурна, да и матушка такая, что еще можно бы... Нѣтъ, я не знаю, а мнѣ, право, нравится такая жизнь.

## ЯВЛЕНІЕ III.

Хлестаковъ и судья.

Судья (*входя и останавливаясь, про-себя*). Боже, Боже! вынеси благополучно; такъ вотъ колѣнки и ломаетъ. (*Вслухъ, вытянувшись и придерживая рукою шпагу*). Имѣю честь представиться: судья здѣшняго уѣзднаго суда, коллежскій ассессоръ Ляпкинь-Тяпкинь.

Хлестаковъ. Прошу садиться. Такъ вы здѣсь судья?

Судья. Съ 816-го былъ избранъ на трехлѣтіе по волѣ дворянства и продолжалъ должность до сего времени.

Хлестаковъ. А выгодно, однакоже, быть судьей?

Судья. За три трехлѣтія представленъ къ Владиміру 4-й степени съ одобренія со стороны начальства. (*Въ сторону*).

А деньги въ кулакѣ, да кулакѣ-то весь въ огнѣ.

Хлестаковъ. А мнѣ нравится Владиміръ. Вотъ Анна 3-й степени уже не такъ.

Судья (*высовывая понемногу впередъ сжатый кулакъ. Въ сторону*). Господи Боже! не знаю, гдѣ сяжу. Точно горячіе угли подъ тобою.

Хлестаковъ. Чтѣ это у васъ въ рукѣ?

Аммось Федоровичъ (потерявшись и роняя на полъ ассигнации). Ничего-сь.

Хлестаковъ. Какъ ничего? Я вижу, деньги упали.

Аммось Федоровичъ (дрожа вслѣдъ тѣломъ). Никакъ нѣтъ-сь! (Въ сторону). О, Боже! вотъ ужъ я и подь судомъ! и тѣлѣжку подвезли схватить меня!

Хлестаковъ (подымая). Да, это деньги.

Аммось Федоровичъ (въ сторону). Ну, все конечно—пропалъ! пропалъ!

Хлестаковъ. Знаете ли что? дайте ихъ мнѣ взаимы.

Аммось Федоровичъ (постынно). Какъ же-сь, какъ же-сь... съ большимъ удовольствіемъ. (Въ сторону). Ну, смѣлѣе, смѣлѣе! Вывози, Пресвятая Матерь!

Хлестаковъ. Я, знаете, въ дорогѣ издержался: то да сѣ... Впрочемъ, я вамъ изъ деревни сейчасъ ихъ пришлю.

Аммось Федоровичъ. Помилуйте, какъ можно! и безъ того это такая честь... Конечно, слабыми моими силами, рвеніемъ и усердіемъ къ начальству... постараюсь заслужить... (Приподымается со стула. Вытянувшись и руки по швамъ). Не смѣю болѣе беспокоить своимъ присутствіемъ. Не будетъ никакого приказанья?

Хлестаковъ. Какого приказанья?

Аммось Федоровичъ. Я разумѣю, не дадите ли какого приказанья здѣшнему уѣздному суду?

Хлестаковъ. Зачѣмъ же? Вѣдь мнѣ никакой нѣтъ теперь въ немъ надобности; нѣтъ, ничего. Покорнѣйше благодарю.

Аммось Федоровичъ (раскланиваясь и уходя, въ сторону). Ну, городъ нашъ!

Хлестаковъ (по уходѣ его). Судья—хорошій человекъ!

#### ЯВЛЕНИЕ IV.

Хлестаковъ и почтмейстеръ (входитъ, вытянувшись, въ мундиръ, придерживая шпагу).

Почтмейстеръ. Имѣю честь представиться: почтмейстеръ, надворный совѣтникъ Шпекинъ.

Хлестаковъ. А, милости просимъ! Я очень люблю пріятное общество. Садитесь. Вѣдь вы здѣсь всегда живете?

Почтмейстеръ. Такъ точно-сь.

Хлестаковъ. А мнѣ нравится здѣшній городокъ. Конечно, не такъ многолюдно — ну, что-жъ? Вѣдь это не столица. Не правда ли, вѣдь это не столица?

Почтмейстеръ. Совершенная правда.

Хлестаковъ. Вѣдь это только въ столицѣ бонъ-тонъ, и нѣтъ провинціальныхъ гусей. Какъ ваше мнѣніе, не такъ ли?

Почтмейстеръ. Такъ точно-съ. (*Въ сторону*). А онъ, однакожь, ничуть не гордъ: обо всемъ разспрашиваетъ.

Хлестаковъ. А вѣдь, однакожь, признайтесь, вѣдь и въ маленькомъ городкѣ можно прожить счастливо?

Почтмейстеръ. Такъ точно-съ.

Хлестаковъ. По моему мнѣнію, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренно—не правда ли?

Почтмейстеръ. Совершенно справедливо.

Хлестаковъ. Я, признаюсь, радъ, что вы одного мнѣнія со мною. Меня, конечно, назовутъ страннымъ, но ужъ у меня такой характеръ. (*Глядя въ глаза ему, говоритъ про себя*). А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы. (*Вслухъ*). Какой странный со мной случай: въ дорогѣ совершенно издержался. Не можете ли вы мнѣ дать триста рублей взаймы?

Почтмейстеръ. Почему же? почту за величайшее счастье. Вотъ-съ, извольте. Отъ души готовъ служить.

Хлестаковъ. Очень благодаренъ. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себѣ въ дорогѣ, да и къ чему? Не такъ ли?

Почтмейстеръ. Такъ точно-съ. (*Встаетъ, вытягивается и придерживаетъ шагу*). Не смѣю долѣе беспокоить своимъ присутствіемъ... Не будетъ ли какого замѣчанія по части почтового управленія?

Хлестаковъ. Нѣтъ, ничего.

(*Почтмейстеръ раскланивается и уходитъ*).

Хлестаковъ (*раскуривая сигарку*). Почтмейстеръ, мнѣ кажется, тоже очень хорошій человекъ; по крайней мѣрѣ услужливъ. Я люблю такихъ людей.

## ЯВЛЕНІЕ V.

Хлестаковъ и Лука Лукичъ, который почти выталкивается изъ дверей. Сзади его слышенъ голосъ почти вслухъ: «Чего робѣешь?»

Лука Лукичъ (*вытягиваясь не безъ трепета и придерживая шагу*). Имѣю честь представиться: смотритель училищъ, титулярный совѣтникъ Хлоповъ.

Хлестаковъ. А, милости просимъ! Садитесь, садитесь! Не хотите ли сигарку? (*Подаетъ ему сигару*).

Лука Лукичъ (*про-себя, въ неръшимости*). Вотъ тебѣ разъ! Ужь этого никакъ не предполагать. Брать или не брать?

Хлестаковъ. Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка. Конечно, не то, что въ Петербургѣ. Тамъ, батюшка, я куривалъ сигарочки по двадцати пяти рублей сотенка — просто, ручки себѣ потомъ поцѣлуешь, какъ выкуришь. Вотъ огонь, закурите. (*Подаетъ ему свѣчу*).

Лука Лукичъ *пробуетъ закурить и весь дрожитъ*.

Хлестаковъ. Да не съ того конца!

Лука Лукичъ (*отъ испуга выронилъ сигару, плюнулъ и, махнувъ рукою, про-себя*). Чортъ побери все! сгубила проклятая робость!

Хлестаковъ. Вы, какъ я вижу, не охотникъ до сигарокъ. А я, признаюсь, это моя слабость. Вотъ еще насчетъ женскаго пола, никакъ не могу быть равнодушень. Какъ вы? Какія вамъ больше нравятся—брюнетки или блондинки?

Лука Лукичъ *находится въ совершенномъ недоумѣнн, что сказать*.

Хлестаковъ. Нѣтъ, скажите откровенно: брюнетки или блондинки?

Лука Лукичъ. Не смѣю знать.

Хлестаковъ. Нѣтъ, нѣтъ, не отговаривайтесь! Мнѣ хочется узнать непременно вашъ вкусъ.

Лука Лукичъ. Осмѣлюсь доложить... (*Въ сторону*). Ну, и самъ не знаю, что говорю.

Хлестаковъ. А! а! не хотите сказать. Вѣрно, ужъ какая-нибудь брюнетка сдѣлала вамъ маленькую загвоздочку. Признайтесь, сдѣлала?

Лука Лукичъ *молчитъ*.

Хлестаковъ. А! а! покраснѣли! Видите! видите! Отчего-жъ вы не говорите?

Лука Лукичъ. Оробѣлъ, ваше бла... преос... сіят... (*Въ сторону*). Продалъ, проклятый языкъ, продалъ!

Хлестаковъ. Оробѣли? А въ моихъ глазахъ, точно, есть что-то такое, что внушаетъ робость. По крайней мѣрѣ я знаю, что ни одна женщина не можетъ ихъ выдержать, не такъ ли?

Лука Лукичъ. Такъ точно-съ.

Хлестаковъ. Вотъ со мной престранный случай: въ дорогѣ совсѣмъ издержался. Не можете ли вы мнѣ дать триста рублей взаймы?

Арте́мій Филипповичъ. Есть.

Хлестако́въ. Скажите, какъ кстати. Покорнѣйше васъ благодарю.

## ЯВЛЕНІЕ VII.

Хлестако́въ, Бобчинскій и Добчинскій.

Бобчинскій. Имѣю честь представиться: житель здѣшняго города, Петръ, Ивановъ сынъ, Бобчинскій.

Добчинскій. Помѣщикъ Петръ, Ивановъ сынъ, Добчинскій.

Хлестако́въ. А, да я ужъ васъ видѣлъ. Вы, кажется, тогда упали? Что, какъ вашъ носъ?

Бобчинскій. Слава Богу! не извольте беспокоиться: присохъ, теперь совсѣмъ присохъ.

Хлестако́въ. Хорошо, что присохъ. Я радъ... (*Воруетъ и отрывисто*). Денегъ нѣтъ у васъ?

Добчинскій. Денегъ? какъ денегъ?

Хлестако́въ. Взаимы рублей тысячу.

Бобчинскій. Такой суммы. ей-Богу, нѣтъ. А нѣтъ ли у васъ, Петръ Ивановичъ?

Добчинскій. При мнѣ-съ не имѣется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены въ приказъ общественнаго призрѣнія.

Хлестако́въ. Да, ну, если тысячи нѣтъ, такъ рублей сто.

Бобчинскій (*шаря въ карманы*). У васъ, Петръ Ивановичъ, нѣтъ ста рублей? У меня всего сорокъ ассигнаціямъ.

Добчинскій (*смотря въ бумажникъ*). Двадцать пять рублей всего.

Бобчинскій. Да вы поищите-то получше. Петръ Ивановичъ! У васъ тамъ, я знаю, въ карманъ-то съ правой стороны прорѣха, такъ въ прорѣху-то, вѣрно, какъ-нибудь запали.

Добчинскій. Нѣтъ, право, и въ прорѣхѣ нѣтъ.

Хлестако́въ. Ну, все равно. Я вѣдь только такъ. Хорошо, пусть будетъ шестьдесятъ пять рублей... это все равно. (*Принимаетъ деньги*).

Добчинскій. Я осмѣливаюсь попросить васъ относительно одного очень тонкаго обстоятельства.

Хлестако́въ. А что это?

Добчинскій. Дѣло очень тонкаго свойства-съ: старшій-тѣ

сынъ мой, изволите видѣть, рожденъ мною еще до брака...

Хлестаковъ. Да?

Добчинскій. То-есть, оно такъ только говорится, а онъ рожденъ мною такъ совершенно, какъ бы и въ бракѣ, и все это, какъ слѣдуетъ, я завершилъ потомъ законными-съ узами супружества-съ. Такъ я, изволите видѣть, хочу, чтобъ онъ теперь уже былъ совсѣмъ, то-есть, законнымъ моимъ сыномъ-съ и назывался бы такъ, какъ я: Добчинскій-съ.

Хлестаковъ. Хорошо, пусть называется, это можно.

Добчинскій. Я бы и не беспокоилъ васъ, да жаль насчетъ способностей. Мальчишка-то этакой... большія надежды падаетъ: наизусть стихи разные расскажетъ и, если гдѣ падется ножикъ, сейчасъ сдѣлаетъ маленькія дрожечки такъ искусно, какъ фокусникъ-съ. Вотъ и Петръ Ивановичъ знаетъ.

Бобчинскій. Да, большія способности имѣть.

Хлестаковъ. Хорошо, хорошо! Я объ этомъ постараюсь, я буду говорить... я надѣюсь... все это будетъ сдѣлано, да, да... (*Обращаясь къ Бобчинскому*). Не имѣете ли и вы чего-нибудь сказать мнѣ?

Бобчинскій. Какъ же, имѣю очень нижайшую просьбу.

Хлестаковъ. А что, о чемъ?

Бобчинскій. Я прошу васъ покорнѣйше, какъ поѣдете въ Петербургъ, скажите всѣмъ тамъ вельможамъ разнымъ: сенаторамъ и адмираламъ, что вотъ, ваше сіятельство, или превосходительство, живетъ въ такомъ-то городѣ Петръ Ивановичъ Бобчинскій. Такъ и скажите: живетъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій.

Хлестаковъ. Очень хорошо.

Бобчинскій. Да если такъ и государю придется, то скажите и государю, что вотъ, молъ, ваше императорское величество, въ такомъ-то городѣ живетъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій.

Хлестаковъ. Очень хорошо.

Добчинскій. Извините, что такъ утрудили васъ своимъ присутствіемъ.

Бобчинскій. Извините, что такъ утрудили васъ своимъ присутствіемъ.

Хлестаковъ. Ничего, ничего! Мнѣ очень пріятно. (*Выпроставиваетъ ихъ*).



## ЯВЛЕНИЕ VIII.

Хлестаковъ (одинъ).

Здѣсь много чиновниковъ. Мнѣ кажется, однакожь, они меня принимаютъ за государственнаго человѣка. Вѣрно, я вчера имъ подпустилъ пыли. Экое дурачье! Напишу-ка я обо всемъ въ Петербургъ къ Тряпичкину: онъ пописываетъ статейки — пусть-ка онъ ихъ обшелкаетъ хорошенько. Эй, Осипъ! подай мнѣ бумаги и чернила! (*Осипъ вынулъ изъ кармана, произнеся: «сейчасъ»*). А ужъ Тряпичкину, точно, если кто попадетъ на зубокъ, — берегись: отца родного не пощадить для словца, и деньгу тоже любить. Впрочемъ, чиновники эти добрые люди; это съ ихъ стороны хорошая черта, что они мнѣ дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денегъ. Это отъ сѣднѣ триста; это отъ почтмейстера триста, шестьсотъ, семьсотъ, восемьсотъ... Какая замасленная бумажка! Восемьсотъ, девятьсотъ... Ого! за тысячу перевалило... Ну-ка теперь, капитанъ, ну-ка, попадись-ка ты мнѣ теперь! посмотримъ, кто кого!

## ЯВЛЕНИЕ IX.

Хлестаковъ и Осипъ (съ чернилами и бумагой).

Хлестаковъ. Ну, что, видишь, дуракъ, какъ меня угощаютъ и принимаютъ? (*Начинаетъ писать*).

Осипъ. Да, слава Богу! Только знаете что, Иванъ Александровичъ?

Хлестаковъ. А что?

Осипъ. Уѣзжайте отсюда! Ей-Богу, уже пора.

Хлестаковъ (*пишетъ*). Вотъ вздоръ! Зачѣмъ?

Осипъ. Да такъ. Богъ съ ними со всѣми! Погуляли здѣсь два денька, — ну, и довольно. Что съ ними долго связываться? Плюньте на нихъ! не ровень часъ: какой-нибудь другой найдетъ... ей-Богу, Иванъ Александровичъ! А лошади тутъ славныя — такъ бы закатали!..

Хлестаковъ (*пишетъ*). Нѣтъ, мнѣ еще хочется пожить здѣсь. Пусть завтра.

Осипъ. Да что завтра! Ей-Богу, поѣдемъ, Иванъ Александровичъ! Оно хоть и большая честь вамъ, да все, знаете, лучше уѣхать скорѣе; вѣдь васъ, право, за кого-то другого приняли... И батюшка будетъ гнѣваться, что такъ э-

мѣшались. Такъ бы, право, закатили славно! А лошадей бы важныхъ здѣсь дали.

Хлестаковъ (*пишетъ*). Ну, хорошо. Отнеси только напередъ это письмо, пожалуй, вмѣстѣ и подорожную возьми. Да зато, смотри, чтобы лошади хорошія были! Ямщикамъ скажи, что я буду давать по цѣлковому, чтобы такъ, какъ фельдъегеря, катили и пѣсни бы пѣли!.. (*Продолжаетъ писать*). Воображаю, Тряпичкинъ умереть со смѣху...

Осипъ. Я, сударь, отправлю его съ человѣкомъ здѣйственнымъ, а самъ лучше буду угадываться, чтобы не прошло понапрасну время.

Хлестаковъ (*пишетъ*). Хорошо, принеси только свѣчу.

Осипъ (*выходитъ и говоритъ за сценой*). Эй, послушай, братъ! Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтобы онъ принялъ безъ денегъ, да скажи, чтобы сейчасъ привели къ барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, баринъ не платитъ: прогонъ, молю, скажи, казенный. Да чтобы все живѣе, а не то, молю, баринъ сердится. Стой, еще письмо не готово.

Хлестаковъ (*продолжаетъ писать*). Любопытно знать, гдѣ онъ теперь живетъ—въ Почтамтской или Гороховой? Онъ, вѣдь, тоже любить часто перѣзжать съ квартиры и не доплачивать. Напишу наудалую въ Почтамтскую. (*Свертываетъ и подписываетъ*).

Осипъ приноситъ свѣчу. Хлестаковъ печатаетъ. Въ это время слышенъ голосъ Держиморды: Куда лѣзешь, борода? Говорятъ тебѣ, никого не велѣно пускать.

Хлестаковъ (*даетъ Осипу письмо*). На, отнеси.

Голоса купцовъ. Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить: мы за дѣломъ пришли.

Голосъ Держиморды. Пошелъ, пошелъ! Не принимаетъ, спать. (*Шумъ увеличивается*).

Хлестаковъ. Чтò тамъ такое, Осипъ? Посмотри, чтò за шумъ.

Осипъ (*глядя въ окно*). Купцы какіе-то хотятъ войти, да не допускаетъ квартальный. Машутъ бумагами: вѣрно, вась хотятъ видѣть.

Хлестаковъ (*подходя къ окну*). А чтò вы, любезные?

Голоса купцовъ. Къ твоей милости прибѣгаемъ. Прекратите, государь, просьбу принять.

Хлестаковъ. Впустите ихъ, впустите! пусть идутъ. Осипъ, скажи имъ: пусть идутъ. (*Осипъ уходитъ*).

Хлестаковъ *принимаетъ изъ окна просьбы, развертываетъ одну изъ нихъ и читаетъ*. «Его высокоблагородному свѣтлости господину финансову отъ купца Абдулина...» Чортъ знаетъ, что: и чина такого нѣтъ!

## ЯВЛЕНІЕ X.

Хлестаковъ и купцы (*съ кузовомъ вина и сахарными головами*).

Хлестаковъ. А что вы, любезные?

• Купцы. Челомъ бьемъ вашей милости.

Хлестаковъ. А что вамъ угодно?

• Купцы. Не погуби, государь! Обиждательство терпимъ со-  
всѣмъ понапрасну.

Хлестаковъ. Отъ кого?

Одинъ изъ купцовъ. Да все отъ городничаго здѣшняго. Такого городничаго никогда еще, государь, не было. Такия обиды чинить, что описать нельзя. Постоемъ совсѣмъ заморилъ, хоть въ петлю полѣзай. Не по поступкамъ поступаютъ. Схватить за бороду, говорить: «Ахъ ты татаринъ!» Ей-Богу! Если бы, то-есть, чѣмъ-нибудь не уважили его. а то мы ужъ порядокъ всегда исполняемъ: что слѣдуетъ на платья супружницъ его и дочекъ — мы противъ этого не стоимъ. Нѣтъ, вишь ты, ему всего этого мало — ей-ей! Придетъ въ лавку и, что ни попадетъ, все беретъ. Сукна увидитъ штуку, говорить: «Э, милый, это хорошее суконце: снеси-ка его ко мнѣ». Ну, и несешь, а въ штукѣ-то будетъ безъ мала аршинъ пятьдесятъ.

Хлестаковъ. Неужели? Ахъ, какой же онъ мошенникъ!

Купцы. Ей-Богу! такого никто не запомнитъ городничаго. Такъ все и припрятываешь въ лавкѣ, когда его завидишь. То-есть, не то ужъ говоря, чтобъ какую деликатность, всякую дрянъ беретъ: черносливъ такой, что лѣтъ уже по семи лежитъ въ бочкѣ, что у меня сидѣлецъ не будетъ ѣсть, а онъ цѣлую горсть туда запустить. Именины его бываютъ на Антона, и ужъ, кажись, всего нанесешь, ни въ чемъ не чуждается; нѣтъ, ему еще подавай: говорить, и на Онуфрія его именины. Что дѣлать? и на Онуфрія несешь.

Хлестаковъ. Да это, просто, разбойникъ!

• Купцы. Ей-ей! А попробуй прекословить, наведетъ къ

тебѣ въ домъ цѣлый полкъ на постой. А если что, велить запереть двери. «Я тебя», говорить, «не буду», говорить, «подвергать тѣлесному наказанію, или пыткой пытать—это», говорить, «запрещено закономъ, а вотъ ты у меня, любезный, поѣшь селедки!»

Хлестаковъ. Ахъ, какой мошенникъ! Да за это, просто, въ Сибирь.

Купцы. Да ужъ куда милость твоя ни запровадить его—все будетъ хорошо, лишь бы, то-есть, отъ насъ подальше. Не побрезгай, отецъ нашъ, хлѣбомъ и солью: кланяемся тебѣ сахарцомъ и кузовкомъ вина.

Хлестаковъ. Нѣтъ, вы этого не думайте; я не беру со-всѣмъ никакихъ взятокъ. Вотъ, если бы вы, напримѣръ, предложили мнѣ взаймы рублей триста,—ну, тогда совсѣмъ другое дѣло: взаймы я могу взять.

Купцы. Изволь, отецъ нашъ! (*Вынимаютъ деньги*). Да что триста! ужъ лучше пятьсотъ возьми, помоги только.

Хлестаковъ. Извольте: взаймы—я ни слова, я возьму.

Купцы (*подносятъ ему на серебряномъ подносе деньги*). Ужъ, пожалуйста, и подносики вмѣстѣ возьмите.

Хлестаковъ. Ну, и подносики можно.

Купцы (*кланяясь*). Такъ ужъ возьмите за однимъ разомъ и сахарцу.

Хлестаковъ. О, нѣтъ, я взятокъ никакихъ...

Осипъ. Ваше высокоблагородіе! зачѣмъ вы не берете? Возьмите! въ дорогѣ все пригодится. Давай сюда гдловы и кулекъ! Подавай все, все пойдетъ въ прокъ. Чтѣ тамъ? веревочка? Давай и веревочку,—и веревочка въ дорогѣ пригодится: телѣжка обломается или чтѣ другое, подвизать можно.

Купцы. Такъ ужъ сдѣлайте такую милость, ваше сіятельство! Если уже вы, то-есть, не поможете въ нашей просьбѣ, то ужъ не знаешь, какъ и быть: просто хотѣ въ петлю полѣзай.

Хлестаковъ. Непремѣнно, непременно! Я постараюсь. (*Купцы уходятъ*). *Слышенъ голосъ женщины*: Нѣтъ, ты не смѣешь не допустить меня! Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся такъ больно!

Хлестаковъ. Кто тамъ? (*Подходитъ къ окну*). А чтѣ ты, матушка?

Голоса двухъ женщинъ. Милости твоей, отецъ, прошу!  
Поведи, государь, выслушать.

Хлестановъ (въ окно). Пропустить ее.

## ЯВЛЕНІЕ XI.

Хлестановъ, слесарша и унтеръ-офицерша.

Слесарша (кланяясь въ ноги). Милости прошу...

Унтеръ-офицерша. Милости прошу...

Хлестановъ. Да что вы за женщины?

Унтеръ-офицерша. Унтеръ-офицерская жена Иванова.

Слесарша. Слесарша, здѣшняя мѣщанка, Февронья Петрова Пошлепкина, отецъ мой...

Хлестановъ. Стой, говори прежде одна. Что тебѣ нужно?

Слесарша. Милости прошу, на городничаго челомъ бью! Пошли ему Богъ всякое зло! Чтобъ ни дѣтямъ его, ни ему, мошеннику, ни дядьямъ, ни теткамъ его ни въ чемъ никакого прибытку не было!

Хлестановъ. А что?

Слесарша. Да мужу-то моему приказалъ забрить лобъ въ солдаты, и очередь-то на насъ не припадала, мошенникъ такой! да и по закону нельзя: онъ женатый.

Хлестановъ. Какъ же онъ могъ это сдѣлать?

Слесарша. Сдѣлалъ мошенникъ, сдѣлать—побей Богъ его и на томъ, и на этомъ свѣтѣ! Чтобы ему, если и тетка есть, то и теткѣ всякая пакость, и отецъ если живъ у него, то чтобъ и онъ, каналья, околѣлъ или поперхнулся навѣки, мошенникъ такой! Слѣдовало взять сына портного, онъ же и пьянушка былъ, да родители богатый подарокъ дали, такъ онъ и присыкнулся къ сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала къ супругѣ полотна три штуки, такъ онъ ко мнѣ. «На что», говорить, «тебѣ мужъ? онъ ужъ тебѣ не годится». Да я то знаю—годится или не годится; это мое дѣло, мошенникъ такой! «Онъ», говорить, «воръ; хоть онъ теперь и не укралъ, да все равно», говорить, «онъ украдетъ, его и безъ того на слѣдующій годъ возьмутъ въ рекруты». Да мнѣ-то каково безъ мужа, мошенникъ такой! И слабый человѣкъ, подлецъ ты такой! Чтобъ всей роднѣ твоей не довелось видѣть свѣта Божьяго! А если есть теща, то чтобъ и тещѣ...

Хлестаковъ. Хорошо, хорошо. Ну, а ты? (*Выпровождаетъ старуху*).

Слесарша (*уходя*). Не позабуди, отецъ нашъ! будь милостивъ!

Унтеръ-офицерша. На городничаго, батюшка, пришла...

Хлестаковъ. Ну, да что, зачѣмъ? говори въ короткихъ словахъ.

Унтеръ-офицерша. Высѣкъ, батюшка!

Хлестаковъ. Какъ?

Унтеръ-офицерша. По ошибкѣ, отецъ мой! Бабы-то наши задрались на рынкѣ, а полиція не подоспѣла, да и схвати меня, да такъ отрапортовали: два дни сидѣть не могла.

Хлестаковъ. Такъ что-жъ теперь дѣлать?

Унтеръ-офицерша. Да дѣлать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штрафъ. Мнѣ отъ своего счастья неча отказываться, а деньги бы мнѣ теперь очень пригодились.

Хлестаковъ. Хорошо, хорошо! Ступайте! ступайте! я распоряджусь. (*Въ окно высовываются руки съ просьбами*). Да кто тамъ еще? (*Подходитъ къ окну*). Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно! (*Отходя*). Надоѣли, чортъ возьми! Не выпускай, Осипъ!

Осипъ (*кричитъ въ окно*). Пошли, пошли! Не время, завтра приходите! (*Дверь отворяется и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели, съ небритой бородою, раздутою губою и перевязанною щекою; за нею въ перспективѣ показывается нѣсколько друиыхъ*).

Осипъ. Пошелъ, пошелъ! чего лѣзешь? (*Упирается пер- вому руками въ брюхо и вытирается вѣстѣ съ нимъ въ прихожую, захлопнувъ за собою дверь*).

## ЯВЛЕНІЕ XII.

Хлестаковъ и Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Ахъ!

Хлестаковъ. Отчего вы такъ испугались, сударыня?

Марья Антоновна. Нѣтъ, я не испугалась.

Хлестаковъ (*рисуетъ*). Помилуйте, сударыня, мнѣ очень пріятно, что вы меня приняли за такого человѣка, кото- рый... Осмѣлюсь ли спросить васъ: куда вы намѣрены были идти?

**Марья Антоновна.** Право, я нигуда не шла.

**Хлестаковъ.** Отчего же, напримѣръ, вы нигуда не шли?

**Марья Антоновна.** Я думала, не здѣсь ли маменька...

**Хлестаковъ.** Нѣтъ, мнѣ хотѣлось бы знать, отчего вы нигуда не шли?

**Марья Антоновна.** Я вамъ помѣшала. Вы занимались важными дѣлами.

**Хлестаковъ** (*рисуется*). А ваши глаза лучше, нежели важные дѣла... Вы никакъ не можете мнѣ помѣшать, никакимъ образомъ не можете; напротивъ того, вы можете принести удовольствие.

**Марья Антоновна.** Вы говорите по-столичному.

**Хлестаковъ.** Для такой прекрасной особы, какъ вы. Осмѣлюсь ли быть такъ счастливъ, чтобы предложить вамъ стулъ? Но нѣтъ, вамъ должно не стулъ, а тронъ.

**Марья Антоновна.** Право, я не знаю... мнѣ такъ нужно было идти. (*Слыла*).

**Хлестаковъ.** Какой у васъ прекрасный платочекъ!

**Марья Антоновна.** Вы насмѣшники, лишь бы только посмѣяться надъ провинціальными.

**Хлестаковъ.** Какъ бы я желалъ, сударыня, быть вашимъ платочкомъ, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.

**Марья Антоновна.** Я совсѣмъ не понимаю, о чемъ вы говорите: какой-то платочекъ... Сегодня какая странная погода!

**Хлестаковъ.** А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.

**Марья Антоновна.** Вы все этакое говорите... Я бы васъ попросила, чтобъ вы мнѣ написали лучше на память какіе-нибудь стишки въ альбомъ. Вы, вѣрно, ихъ знаете много.

**Хлестаковъ.** Для васъ, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какіе стихи вамъ?

**Марья Антоновна.** Какіе-нибудь, этакіе—хорошіе, новые.

**Хлестаковъ.** Да что стихи! я много ихъ знаю.

**Марья Антоновна.** Ну, скажите же, какіе же вы мнѣ напишете?

**Хлестаковъ.** Да къ чему же говорить? я и безъ того ихъ знаю.

**Марья Антоновна.** Я очень люблю ихъ...

**Хлестаковъ.** Да у меня много ихъ всякихъ. Ну, пожалуй, я вамъ хотъ это: «О ты, что въ горести напрасно на Бога

ропнешь, человекъ!..» ну и другіе... теперь не могу при-  
помнить; впрочемъ, это все ничего. Я вамъ лучше вмѣсто  
этого представлю мою любовь, которая отъ вашего взгляда...  
(*Придвигая стулъ*).

Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь... я ни-  
когда и не знала, что за любовь... (*Отодвигаетъ стулъ*).

Хлестаковъ. Отчего-жъ вы отодвигаете свой стулъ? Намъ  
лучше будетъ сидѣть близко другъ къ другу.

Марья Антоновна (*отодвигаясь*). Для чего-жъ близко? все  
равно и далеко.

Хлестаковъ (*придвигаясь*). Отчего-жъ далеко? все равно  
и близко.

Марья Антоновна (*отодвигается*). Да къ чему-жъ это?

Хлестаковъ (*придвигаясь*). Да вѣдь это вамъ кажется  
только, что близко; а вы вообразите себѣ, что далеко. Какъ  
бы я былъ счастливъ, сударыня, если бъ могъ прижать васъ  
въ свои объятія.

Марья Антоновна (*смотритъ въ окно*). Что это, такъ, какъ  
будто бы полетѣло? Сорѣдка или какая другая птица?

Хлестаковъ (*цѣлуетъ ее въ плечо и смотритъ въ окно*).  
Это сорѣдка.

Марья Антоновна (*встаетъ въ недоумѣніи*). Нѣтъ, это ужъ  
слишкомъ... Наглость такая!..

Хлестаковъ (*удерживая ее*). Простите, сударыня: я это  
сдѣлалъ отъ любви, точно, отъ любви.

Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провин-  
ціалку... (*Силится уйти*).

Хлестаковъ (*продолжая удерживать ее*). Изъ любви, право,  
изъ любви. Я такъ только, пошутилъ: Марья Антоновна, не  
сердитесь! Я готовъ на колѣнкахъ у васъ просить прощенія.  
(*Падаетъ на колѣни*). Простите же, простите! Вы ви-  
дите, я на колѣняхъ.

### ЯВЛЕНІЕ XIII.

Тѣ же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна (*увидя Хлестакова на колѣняхъ*). Ахъ,  
какой пассажъ!

Хлестаковъ (*вставая*). А, чортъ возьми!

Анна Андреевна (*дочери*). Это что значитъ, сударыня?  
Это что за поступки такіе?



**Марья Антоновна.** Я, маменька...

**Анна Андреевна.** Поди прочь отсюда! слышишь, прочь! И не смѣй показываться на глаза. (*Марья Антоновна уходитъ въ слезахъ*). Извините, я, признаюсь, привелъ такое изумленіе...

**Хлестаковъ** (*въ сторону*). А она тоже очень апше! очень недурна. (*Бросается на колѣни*). Сударыня, идите, я сгораю отъ любви.

**Анна Андреевна.** Какъ, вы на колѣняхъ? Ахъ, встаньте! здѣсь полъ совѣтъ нечистъ.

**Хлестаковъ.** Нѣтъ, на колѣняхъ, непремѣнно на нихъ, я хочу знать, что такое мнѣ суждено, жизни смерть.

**Анна Андреевна.** Но позвольте, я еще не понимаю значенія словъ. Если не ошибаюсь, вы дѣлаете декламацию насчетъ моей дочери.

**Хлестаковъ.** Нѣтъ, я влюбленъ въ васъ. Жизнь моя на волоскѣ. Если вы не увѣнчаете постоянную любовь мою, то я недостойный земного существованія. Съ пламенемъ въ груди прошу руки вашей.

**Анна Андреевна.** Но позвольте замѣтить: я въ нѣкоторомъ родѣ... я замужемъ.

**Хлестаковъ.** Это ничего! Для любви нѣтъ различія; и Карамзинъ сказалъ: «Законы осуждаютъ». Мы удалимся подъ сѣнь струй... Руки вашей, руки прошу.

#### ЯВЛЕНІЕ XIV.

Тѣ же и Марья Антоновна (*вдругъ вбѣгаетъ*).

**Марья Антоновна.** Маменька, папенька сказать, что вы... (*Увидя Хлестакова на колѣняхъ, вскрикиваетъ*! А какой пассажъ!

**Анна Андреевна.** Ну, что ты? къ чему? зачѣмъ? вѣтреность такая! Вдругъ вбѣжала, какъ уторѣлая! Ну, что ты нашла такого удивительнаго? Ну, что вздумалось? Право, какъ дитя какое-нибудь трехлѣтнее, похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, что ей было восемнадцать лѣтъ. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнѣе, когда ты будешь вести себя, какъ приличная, благовоспитанной дѣвицы; когда ты будешь знать, что такое хорошія правила и солидность въ поступкахъ.

**Марья Антоновна** (*сквозь слезы*). Я, право, маменька, не знала...

**Анна Андреевна**. У тебя вѣчно какой-то сквозной вѣтеръ разгуливаетъ въ головѣ; ты берешь примѣръ съ дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебѣ глядѣть на нихъ! не нужно тебѣ глядѣть на нихъ. Тебѣ есть примѣры другіе — передъ тобою мать твоя. Вотъ какими примѣрами ты должна слѣдовать.

**Хлестаковъ** (*схватывая за руку дочь*). Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучію, благословіте постоянную любовь!

**Анна Андреевна** (*съ изумленіемъ*). Такъ вы въ нее?..

**Хлестаковъ**. Рѣшите: жизнь или смерть?

**Анна Андреевна**. Ну, вотъ видишь, дура, ну, вотъ видишь: изъ-за тебя, этакой дряни, гость изволилъ стоять на колѣняхъ; а ты вдругъ вбѣжала, какъ сумасшедшая. Ну, вотъ, право, стѣбитъ, чтобы я нарочно отказала: ты недостойна такого счастья.

**Марья Антоновна**. Не буду, маменька; право, вѣсрѣдъ не буду.

---

## ЯВЛЕНІЕ XV.

Тѣ же и городничій (*вспоминаетъ*).

**Городничій**. Ваше превосходительство! не погубите! не погубите!

**Хлестаковъ**. Что съ вами?

**Городничій**. Тамъ купцы жаловались вашему превосходительству. Честью увѣряю, и на половину нѣтъ того, что они говорятъ. Они сами обманываютъ и обмѣриваютъ народъ. Унтеръ-офицерша нагала вамъ, будто бы я ее выскѣ; она вретъ, ей-Богу, вретъ. Она сама себя выскѣла.

**Хлестаковъ**. Провались унтеръ-офицерша — мнѣ не до нея!

**Городничій**. Не вѣрьте, не вѣрьте! Это такіе лгуны... имъ вотъ этакій ребенокъ не повѣрить. Они ужъ и по всему городу извѣстны за лгуновъ. А насчетъ мошенничества, осмѣлюсь доложить: это такіе мошенники, какихъ свѣтъ не производилъ.

**Анна Андреевна**. Знаешь ли ты, какой чести удостои-

ваетъ насъ Иванъ Александровичъ? Онъ просить руки нашей дочери.

Городничій. Куда! куда!.. Рехнулась, матушка! Не извольте гнѣваться, ваше превосходительство: она немного съ придурью, такова же была и мать ея.

Хлестаковъ. Да, я, точно, прошу руки. Я влюбленъ.

Городничій. Не могу вѣрить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Да когда говорить тебѣ!

Хлестаковъ. Я не шути вамъ говорю... Я могу отъ любви свихнуть съ ума.

Городничій. Не смѣю вѣрить, недостойнъ такой чести.

Хлестаковъ. Да, если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, то я, чортъ знаетъ, что готовъ...

Городничій. Не могу вѣрить: изволите шутить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Ахъ, какой чурбанъ, въ самомъ дѣлѣ! Ну, когда тебѣ толкуютъ?

Городничій. Не могу вѣрить.

Хлестаковъ. Отдайте, отдайте! Я отчаянный человекъ, я рѣшусь на все: когда застрѣлюсь, васъ подъ судъ отдадутъ.

Городничій. Ахъ, Боже мой! Я, ей-ей, не виноватъ ни душою, ни тѣломъ! Не извольте гнѣваться! Извольте поступать такъ, какъ вашей милости угодно! У меня, право, въ головѣ теперь... я и самъ не знаю, что дѣлается. Такой дуракъ теперь сдѣлался, какимъ еще никогда не бывалъ.

Анна Андреевна. Ну, благословляй!

Хлестаковъ *подходитъ съ Марьей Антоновной.*

Городничій. Да благословить васъ Богъ! а я не виноватъ! (*Хлестаковъ цѣлуетъ съ Марьей Антоновной. Городничій смотритъ на нихъ*). Что за чортъ! въ самомъ дѣлѣ! (*Протираетъ глаза*). Цѣлуются! Ахъ, батюшки, цѣлуются! Точный женихъ. (*Вскрикиваетъ, подпрыгивая отъ радости*). Ай, Антонъ! Ай, Антонъ! Ай, городничій! Вона, какъ дѣло-то пошло!

## ЯВЛЕНИЕ XVI.

Тѣ же и Осипъ.

Осипъ. Лошади готовы.

Хлестаковъ. А, хорошо... я сейчасъ.

Высокаго полета, чортъ побери! Постою же, теперь же я задамъ перцу всѣмъ этимъ охотникамъ подавать просьбы и доносы! Эй, кто тамъ? (*Входитъ квартильный*). А, это ты, Иванъ Карповичъ! Призови-ка сюда, братъ, кушцовъ. Вотъ я ихъ, каналій! Такъ жаловаться на меня! Вишь ты, проклятый іудейскій народъ! Постоите-жъ, голубчики! Прежде я васъ кормилъ до усовъ только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всѣхъ, кто только ходилъ бить челомъ на меня, и вотъ этихъ больше всего писаекъ, писаекъ, которые закручивали имъ просьбы. Да объяви всѣмъ, чтобъ знали: что вотъ, дескать, какую честь Богъ послалъ городничему, что выдаетъ дочь свою — не то, чтобы за какого-нибудь простого человѣка, а за такого, что и на свѣтѣ еще не было, что можетъ все сдѣлать, все, все, все! Всѣмъ объяви, чтобы всѣ знали. Кричи во весь народъ, валяй въ колокола, чортъ возьми! Ужъ когда торжество, такъ торжество. (*Квартильный уходитъ*). Такъ вотъ какъ, Анна Андреевна, а? Какъ же мы теперь, гдѣ будемъ жить? здѣсь или въ Питерѣ?

Анна Андреевна. Натурально, въ Петербургѣ. Какъ можно здѣсь оставаться!

Городничій. Ну, въ Питерѣ, такъ въ Питерѣ; а оно хорошо бы и здѣсь. Что, вѣдь я думаю, уже городничество тогда къ чорту, а, Анна Андреевна?

Анна Андреевна. Натурально, что за городничество.

Городничій. Вѣдь оно, какъ ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чинъ зашибить, потому что онъ за панибрата со всѣми министрами и во дворецъ ѣздитъ, такъ поэтому можетъ такое производство сдѣлать, что со временемъ и въ генералы влѣзешь. Какъ ты думаешь, Анна Андреевна: можно влѣзть въ генералы?

Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.

Городничій. А, чортъ возьми, славно быть генераломъ! Кавалерію повѣсятъ тебѣ черезъ плечо. А какую кавалерію, лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?

Анна Андреевна. Ужъ конечно голубую лучше.

Городничій. Э? вишь чего захотѣла! хорошо и красную. Вѣдь почему хочется быть генераломъ? — потому что, случится, поѣдешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачутъ вездѣ впередъ: «лонцадей!» И тамъ на станціяхъ никому не дадутъ, все дожидается: всѣ эти титулярные,

капитаны, городничіе, а ты себѣ и въ усь не дуешь. Обѣдаешь гдѣ-нибудь у губернатора, а тамъ—стой городничій! Хе, хе, хе! (*заливается и помираетъ со смѣху*). Вотъ что, канальство, заманчиво!

Анна Андреевна. Тебѣ все такое грубое нравится. Ты долженъ помнить, что жизнь нужно совсѣмъ перемѣнить, что твои знакомые будутъ не то, что какой-нибудь судья-собачникъ, съ которымъ ты ѣдишь травить зайцевъ, или Земляника; напротивъ, знакомые твои будутъ съ самымъ тонкимъ обращеніемъ: графы и всѣ свѣтскіе... Только я, право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое слово, какого въ хорошемъ обществѣ никогда не услышишь.

Городничій. Что-жъ? вѣдь слово не вредить.

Анна Андреевна. Да хорошо, когда ты былъ городничимъ; а тамъ вѣдь жизнь совершенно другая.

Городничій. Да; тамъ, говорятъ, есть двѣ рыбыцы: рапушка и корюшка, такія, что только слюнка потечетъ. какъ начнешь ѣсть.

Анна Андреевна. Ему все бы только рыбки! Я не иначе хочу, чтобъ нашъ домъ былъ первый въ столицѣ, и чтобъ у меня въ комнатѣ такое было амбре, чтобъ нельзя было войти, и нужно бы только этакъ зажмурить глаза. (*Зажмуриваетъ глаза и нюхаетъ*). Ахъ, какъ хорошо!

## ЯВЛЕНІЕ II.

Г л а в н ы е л и ц ы .

Городничій. А! здорово, соколики!

Нупцы (*кланяясь*). Здравія желаемъ, батюшка!

Городничій. Что, голубчики, какъ поживаете? какъ товаръ идетъ вашъ? Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобестіи, надувалы морскіе! жаловаться? Что, много взяли? Вотъ, думаютъ, такъ въ тюрьму его и засадятъ!.. Знаете ли вы, семь чертей и одна вѣдьма вамъ въ зубы, что...

Анна Андреевна. Ахъ, Боже мой! какія ты, Антоша, слова отпускаешь!

Городничій (*съ неудовольствіемъ*). А, не до словъ теперь! Знаете ли, что тотъ самый чиновникъ, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? а? что теперь скажете? Теперь я васъ!.. Обманываете народъ...

Сдѣлаешь подрядъ съ казною—на сто тысячъ надуешь ее, поставивши гнилого суена, да потомъ пожертвуешь двадцать аршинъ, да и давай тебѣ еще награду за это! Да если-бъ знали, такъ бы тебѣ... И брюхо суесть впередъ: онъ купецъ, его не тронь. «Мы», говоритъ, «и дворянамъ не уступимъ». Да дворянинъ... ахъ ты рожа! дворянинъ учится наукамъ: его хоть и сѣкутъ въ пиколѣ, да за дѣло, чтобъ онъ знать полезное. А ты что? — начинаешь плутнями, тебя хозяинъ бьетъ за то, что не умѣешь обманывать. Еще мальчишка, «Отче нашъ» не знаешь, а ужъ обмѣриваешь; а какъ разопреть тебѣ брюхо, да набьешь себѣ карманъ, такъ и заважничалъ! Фу, ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваровъ выдуешь въ день, такъ оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!

**Купцы** (*кланяясь*). Виноваты, Антонъ Антоновичъ!

**Городничій**. Жаловаться? А кто тебѣ помогъ сплутовать, когда ты строилъ мостъ и написалъ дерева на двадцать тысячъ, тогда какъ его и на сто рублей не было? Я помогъ тебѣ, козлиная борода! Ты позабылъ это? Я, показавши это на тебя, могъ бы тебя также спровадить въ Сибирь.—Что скажешь? а?

**Одинъ изъ купцовъ**. Богу, виноваты, Антонъ Антоновичъ! Лукавый попуталъ. И закаемся впередъ жаловаться. Ужъ какое хопъ удовлетвореніе, не гнѣвись только!

**Городничій**. Не гнѣвись! Вотъ ты теперь валяешься у ногъ моихъ. Отчего?—оттого, что мое взяло; а будь хоть немножко на твоей сторонѣ, такъ ты бы меня, каналья, втопталъ въ самую грязь, еще бы и бревномъ сверху навалилъ.

**Купцы** (*кланяются въ ноги*). Не погуби, Антонъ Антоновичъ!

**Городничій**. «Не погуби!» Теперь: «не погуби!» а прежде что? Я бы васъ... (*махнувъ рукой*). Ну, да Богъ проститъ! полно! Я не памятозлобенъ; только теперь, смотри, держи ухо востро! Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина; чтобъ поздравленіе было... понимаешь? не то, чтобъ отбояриться какимъ-нибудь балычкомъ или головою сахару... Ну, ступай съ Богомъ! (*Купцы уходятъ.*)

### ЯВЛЕНИЕ III.

Тѣ же, Аммосъ Ѳедоровичъ, Артемій Филипповичъ, потомъ Растаковскій.

**Аммосъ Ѳедоровичъ** (*еще въ дверяхъ*). Вѣрить ли слухамъ. Антонъ Антоновичъ? къ вамъ привалило необыкновенное счастье?

**Артемій Филипповичъ**. Имѣю честь поздравить съ необыкновеннымъ счастьемъ. Я душевно обрадовался, когда услышалъ. (*Подходитъ къ ручкѣ Анны Андреевны*). Анна Андреевна! (*Подходя къ ручкѣ Марьи Антоновны*). Марья Антоновна!

**Растаковскій** (*входитъ*). Антона Антоновича поздравляю. Да продлитъ Богъ жизнь вашу и новой чѣты, и дать вамъ, потомство многочисленное, внучатъ и правнучатъ! Анна Андреевна! (*Подходитъ къ ручкѣ Анны Андреевны*). Марья Антоновна! (*Подходитъ къ ручкѣ Марьи Антоновны*).

---

### ЯВЛЕНИЕ IV.

Тѣ же, Коробкинъ съ женою, Люлюковъ.

**Коробкинъ**. Имѣю честь поздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! (*Подходитъ къ ручкѣ Анны Андреевны*). Марья Антоновна! (*Подходитъ къ ея ручкѣ*).

**Жена Коробкина**. Душевно поздравляю васъ, Анна Андреевна, съ новымъ счастьемъ.

**Люлюковъ**. Имѣю честь поздравить, Анна Андреевна! (*Подходитъ къ ручкѣ и потомъ, обратившись къ зрителямъ, щелкаетъ языкомъ съ видомъ удачливости*). Марья Антоновна! Имѣю честь поздравить. (*Подходитъ къ ея ручкѣ и обращается къ зрителямъ съ тѣмъ же удачливствомъ*).

---

### ЯВЛЕНИЕ V.

Множество гостей въ сюртукахъ и фракахъ подходятъ сначала къ ручкѣ Анны Андреевны, говоря: «Анна Андреевна!» потомъ къ Марьѣ Антоновнѣ, говоря: «Марья Антоновна!» Бобчинскій и Добчинскій (*проталкиваются*).

**Бобчинскій**. Имѣю честь поздравить!

**Добчинскій**. Антонъ Антоновичъ! имѣю честь поздравить.

**Бобчинскій**. Съ благополучнымъ происшествiемъ!

**Добчинскій**. Анна Андреевна!

**Бобчинскій.** Анна Андреевна! *(Оба подходятъ въ одно время и сталкиваются лбами).*

**Добчинскій.** Марья Антоновна! *(Подходитъ къ ручкѣ).* Честь имѣю поздравить. Вы будете въ большомъ, большомъ счастьи, въ золотомъ платьѣ ходить и деликатные разные супы кушать, очень забавно будете проводить время.

**Бобчинскій** *(перебивая).* Марья Антоновна, имѣю честь поздравить! Дай Богъ вамъ всякаго богатства, червонцевъ и сынка-съ этакого маленькаго, вонъ этакого-съ! *(показываетъ рукою)* чтобъ можно было на ладонку посадить, да-съ! Все будетъ мальчишка кричать: уа! уа! уа!

## ЯВЛЕНИЕ VI.

Еще нѣсколько гостей, *подходящихъ къ ручкамъ, Лука Лукичъ съ женою.*

**Лука Лукичъ.** Имѣю честь...

**Жена Луки Лукича** *(бѣжитъ впередъ).* Поздравляю васъ, Анна Андреевна! *(Цѣлуются).* А я такъ, право, обрадовалась. Говорятъ мнѣ: «Анна Андреевна выдаетъ дочку». — «Ахъ, Боже мой!» думаю себѣ, и такъ обрадовалась, что говорю мужу: «Послушай, Луканчикъ; вотъ какое счастье Аннѣ Андреевнѣ!» «Ну», думаю себѣ, «слава Богу!» И говорю ему: «Я такъ восхищена, что сгораю нетерпѣніемъ изъяснить лично Аннѣ Андреевнѣ»... «Ахъ, Боже мой!» думаю себѣ: «Анна Андреевна именно ожидала хорошей партіи для своей дочери, а вотъ теперь такая судьба: именно такъ сдѣлалось, какъ она хотѣла», и такъ, право, обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вотъ просто рыдаю. Уже Лука Лукичъ говоритъ: «Отчего ты, Настенька, рыдаешь?» — «Луканчикъ», говорю, «я и сама не знаю, слезы такъ вотъ рѣкой и льются».

**Городничій.** Покорѣйше прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульевъ! *(Гости садятся).*

## ЯВЛЕНИЕ VII.

Тѣ же, частный приставъ и квартальные.

**Частный приставъ.** Имѣю честь поздравить васъ, ваше высокоблагородіе, и пожелать благоденствія на многія лѣта.

**Городничій.** Спасибо, спасибо! Прошу садиться, господа! *(Гости усаживаются).*



Аммось Ѳедоровичъ. Но скажите, пожалуйста, Антонъ Антоновичъ, какимъ образомъ все это началось, постепенный ходъ всего, то-есть, дѣла.

Городничій. Ходъ дѣла чрезвычайный: извоили собственноручно сдѣлать предложеніе.

Анна Андреевна. Очень почтительнымъ и самымъ тонкимъ образомъ. Все чрезвычайно хорошо говорилъ. Говорить: «Я, Анна Андреевна, изъ одного только уваженія къ вашимъ достоинствамъ». И такой прекрасный, воспитанный человекъ, самыхъ благороднѣйшихъ правилъ! — «Мнѣ, вѣрите ли, Анна Андреевна, мнѣ жизнь — копѣйка; я только потому, что уважаю ваши рѣдкія качества».

Марья Антоновна. Ахъ, маменька! вѣдь это онъ мнѣ говорилъ.

Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не въ свое дѣло не мѣшайся! — «Я, Анна Андреевна, изумляюсь». Въ такихъ лестныхъ разсыпался словахъ... И когда я хотѣла сказать: «Мы никакъ не смѣемъ надѣяться на такую честь», онъ вдругъ упалъ на колѣни и такимъ самымъ благороднѣйшимъ образомъ: «Анна Андреевна! не сдѣлайте меня несчастнѣйшимъ! согласитесь отвѣчать моимъ чувствамъ, не то, я смертью окончу жизнь свою».

Марья Антоновна. Право, маменька, онъ обо мнѣ это говорилъ.

Анна Андреевна. Да, конечно... и объ тебѣ было, я ничего этого не отвергаю.

Городничій. И такъ даже напугалъ: говорилъ, что застрѣлится. «Застрѣлюсь, застрѣлюсь!» говорить.

Многіе изъ гостей. Скажите пожалуйста!

Аммось Ѳедоровичъ. Экая штука!

Луна Лукичъ. Вотъ подлинно, судьба ужъ такъ веза.

Артемій Филипповичъ. Не судьба, батюшка, судьба—индѣйка: заслуги привели къ тому. (*Въ сторону*). Этакое свинѣ лѣзетъ всегда въ ротъ счастье!

Аммось Ѳедоровичъ. Я, пожалуй, Антонъ Антоновичъ, продамъ вамъ того кобелька, котораго торговали.

Городничій. Нѣтъ, мнѣ теперь не до кобельковъ.

Аммось Ѳедоровичъ. Ну, не хотите, на другой собакѣ сойдемся.

Жена Коробкина. Ахъ, какъ, Анна Андреевна, я рада вашему счастью! Вы не можете себѣ представить.

**Коробкинъ.** Гдѣ-жъ теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышалъ, что онъ уѣхалъ за чѣмъ-то.

**Городничій.** Да, онъ отправился на одинъ день, по весьма важному дѣлу.

**Анна Андреевна.** Къ своему дядѣ, чтобъ испросить благословенія.

**Городничій.** Испросить благословенія; но завтра же... (*Чихаетъ, поздравленія сливаются въ одинъ гулъ*). Много благодаренъ! Но завтра же и назадъ... (*Чихаетъ; поздравительный гулъ; слышныя дружи голоса*):

**Частнаго пристава.** Здравія желаемъ, ваше высокоблагородіе!

**Бобчинскаго.** Сто лѣтъ и кулъ червонецъ!

**Добчинскаго.** Продли Богъ на сорокъ-сороковъ!

**Артемія Филипповича.** Чтобъ ты пропалъ!

**Жены Коробкина.** Чортъ тебя побери!

**Городничій.** Покорнѣйше благодарю! И вамъ того-жъ желаю.

**Анна Андреевна.** Мы теперь въ Петербургѣ намѣрены жить. А здѣсь, признаюсь, такой воздухъ... деревенскій ужъ слишкомъ!.. признаюсь, большая непріятность... Вотъ и мужъ мой... онъ тамъ получить генеральскій чинъ.

**Городничій.** Да, признаюсь, господа, я, чортъ возьми, очень хочу быть генераломъ.

**Лука Лукичъ.** И дай Богъ получить!

**Растаковский.** Отъ человека невозможно, а отъ Бога все возможно.

**Аммосъ Федоровичъ.** Большому кораблю — большое плаванье.

**Артемій Филипповичъ.** По заслугамъ и честь.

**Аммосъ Федоровичъ** (*въ сторону*). Вотъ выкинетъ штуку, когда въ самомъ дѣлѣ сдѣлается генераломъ! Вотъ ужъ кому пристало генеральство, какъ коровѣ сѣдо! Ну, нѣтъ, до этого еще далека пѣсня. Тутъ и почище тебя есть, а до сихъ поръ еще не генералы.

**Артемій Филипповичъ** (*въ сторону*). Эка, чортъ возьми, ужъ и въ генералы лѣзетъ! Чего добраго, можетъ, и будетъ генераломъ. Вѣдь у него важности, лукавый не взялъ бы его, довольно. (*Обращаясь къ нему*). Тогда, Антонъ Антоновичъ, и насъ не позабудьте.

**Аммосъ Федоровичъ.** И если что случится, напримѣръ,

какая-нибудь надобность по дѣламъ, не оставьте покровительствомъ!

**Коробкинъ.** Въ слѣдующемъ году повезу сына въ столицу на пользу государства, такъ, сдѣлайте милость, обажите ему вашу протекцію, мѣсто отца заступите сироткѣ.

**Городничій.** Я готовъ съ своей стороны, готовъ стараться.

**Анна Андреевна.** Ты, Антоша, всегда готовъ обѣщать. Впервые, тебѣ не будетъ времени думать объ этомъ. И какъ можно, и съ какой стати себя обременять такими обѣщаніями?

**Городничій.** Почему-жъ, душа моя? иногда можно.

**Анна Андреевна.** Можно, конечно, да вѣдь не всякой же мелюзгѣ оказывать покровительство.

**Жена Коробкина.** Вы слышали, какъ она трактуетъ насъ?

**Гостя.** Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за столъ, она и ноги свои...

---

## ЯВЛЕНІЕ VIII.

Тѣ же и почтмейстеръ (*вспомыхаетъ, съ распечатаннымъ письмомъ въ рукѣ*).

**Почтмейстеръ.** Удивительное дѣло, господа! Чиновникъ, котораго мы приняли за ревизора, былъ не ревизоръ.

**Всѣ.** Какъ, не ревизоръ?

**Почтмейстеръ.** Совсѣмъ не ревизоръ, — я узналъ это изъ письма.

**Городничій.** Что вы, что вы? изъ какого письма?

**Почтмейстеръ.** Да изъ собственнаго его письма. Приносятъ ко мнѣ на почту письмо. Взглянулъ на адресъ—вижу: «въ Почтамтскую улицу». Я такъ и обомлѣлъ. «Ну», думаю себѣ, «вѣрно, нашелъ безпорядки по почтовой части и увѣдомляетъ начальство». Взялъ, да и распечатать.

**Городничій.** Какъ же вы?..

**Почтмейстеръ.** Самъ не знаю: неестественная сила побудила. Призвалъ было уже курьера съ тѣмъ, чтобы отправить его съ эштафетой; но любопытство такое одолѣло, какого еще никогда не чувствовалъ. Не могу, не могу, слышу, что не могу! тянетъ, такъ вотъ и тянетъ! Въ одномъ ухъ такъ вотъ и слышу: «Эй, не распечатывай! пропадешь, какъ курица»; а въ другомъ словно бѣсъ какой шепчетъ: «Распечатай, распечатай, распечатай!» И какъ придавилъ

сургучъ — по жиламъ огонь, а распечаталъ — морозъ, ей-Богу, морозъ. И руки дрожать, и все помутилось.

Городничій. Да какъ же вы осмѣлились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

Почтмейстеръ. Въ томъ-то и штука, что онъ не уполномоченный и не особа!

Городничій. Чтѣ-жъ онъ по-вашему такое?

Почтмейстеръ. Ни сѣ, ни то; чортъ знаетъ, чтѣ такое!

Городничій (*затальчиво*). Какъ ни сѣ, ни то? Какъ вы смѣете назвать его ни тѣмъ, ни сѣмъ, да еще и чортъ знаетъ чѣмъ? Я васъ подъ арестъ...

Почтмейстеръ. Кто? вы?

Городничій. Да, я!

Почтмейстеръ. Коротки руки!

Городничій. Знаете ли, что онъ женится на моей дочери, что я самъ буду вельможа, что я въ самую Сибирь законопачу?

Почтмейстеръ. Эхъ, Антонъ Антоновичъ! чтѣ Сибирь? далеко Сибирь. Вотъ лучше я вамъ прочту. Господа! позовьте прочитать письмо?

Всѣ. Читайте, читайте!

Почтмейстеръ (*читаетъ*). «Спѣшу увѣдомить тебя, душа Тряпичкинъ, какія со мной чудеса. На дорогѣ обчистилъ меня кругомъ пѣхотный капитанъ, такъ что трактирщикъ хотѣлъ уже было посадить въ тюрьму; какъ вдругъ, по моей петербургской фizioномiи и по костюму, весь городъ принялъ меня за генераль-губернатора. И я теперь живу у городничаго, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не рѣшился только, съ которой начать — думаю, прежде съ матушки, потому что, кажется, готова сейчасъ на всѣ услуги. Помнишь, какъ мы съ тобой бѣдствовали, обѣдали на шерамыжку, и какъ одинъ разъ было кондитеръ схватилъ меня за воротникъ, по поводу съѣденныхъ пирожковъ на счетъ доходовъ аглицкаго короля? Теперь совсѣмъ другой оборотъ. Всѣ мнѣ дадутъ взаймы, сколько угодно. Оригиналы страшные: отъ смѣху ты бы умеръ. Ты, я знаю, пишешь статейки: помѣсти ихъ въ свою литературу. Во-первыхъ: городничій—глупъ, какъ сивый меринъ...»

Городничій. Не можетъ быть! Тамъ нѣтъ этого.

Почтмейстеръ (*показываетъ письмо*). Читайте сами.

Городничій (*читаетъ*). «Какъ сивый меринъ». Не можетъ быть! вы это сами написали.

Почтмейстеръ. Какъ же бы я стать писать?

Артемій Филипповичъ. Читайте!

Лука Лукичъ. Читайте!

Почтмейстеръ (*продолжая читать*). «Городничій—глупъ, какъ сивый меринъ...»

Городничій. О, чортъ возьми! нужно еще повторять! какъ будто оно тамъ и безъ того не стоитъ.

Почтмейстеръ (*продолжая читать*). Хм... хм... хм... хм... «сивый меринъ. Почтмейстеръ тоже добрый человекъ...» (*Оставляя читать*). Ну, тутъ онъ и обо мнѣ тоже непринично выразился.

Городничій. Нѣтъ, читайте!

Почтмейстеръ. Да къ чему-жъ?..

Городничій. Нѣтъ, чортъ возьми, когда ужъ читать, такъ читать! Читайте все!

Артемій Филипповичъ. Позвольте, я прочитаю. (*Надвигаетъ очки и читаетъ*): «Почтмейстеръ точь-въ-точь департаментскій сторожъ Михѣевъ, должно-быть, также, подлець, пьеть горькую».

Почтмейстеръ (*къ зрителямъ*). Ну, скверный мальчишка, котораго надо выстѣх: больше ничего!

Артемій Филипповичъ (*продолжая читать*). «Надзиратель надъ богоугоднымъ заведе... н... н...» (*закрывается*).

Коробкинъ. А что-жъ вы остановились?

Артемій Филипповичъ. Да нечеткое перо... впрочемъ, видно, что негодяй.

Коробкинъ. Дайте мнѣ! Вотъ у меня, я думаю, получше глаза. (*Беретъ письмо*).

Артемій Филипповичъ (*не давая письма*). Нѣтъ, это мѣсто можно пропустить, а тамъ дальше разборчиво.

Коробкинъ. Да позвольте, ужъ я знаю.

Артемій Филипповичъ. Прочитать, я и самъ прочитаю: далѣе, право, все разборчиво.

Почтмейстеръ. Нѣтъ, все читайте! вѣдь прежде все читано.

Всѣ. Отдайте, Артемій Филипповичъ, отдайте письмо! (*Коробкину*). Читайте.

Артемій Филипповичъ. Сейчасъ. (*Отдаетъ письмо*). Вотъ позвольте... (*закрываетъ пальцемъ*). Вотъ отсюда читайте. (*Всѣ приступаютъ къ нему*).

Почтмейстеръ. Читайте, читайте! вздоръ, все читайте!

Коробкинъ (*читая*). «Надзиратель за богоугоднымъ заведеніемъ Земляника—совершенная свинья въ ермолкѣ».

Артемій Филипповичъ (*къ зрителямъ*). И не остроумно! Свинья въ ермолкѣ! гдѣ-жъ свинья бываетъ въ ермолкѣ?

Коробкинъ (*продолжая читать*). «Смотритель училищъ протухнуль насквозь лукомъ».

Лука Лукичъ (*къ зрителямъ*). Ей-Богу, и въ ротъ никогда не бралъ луку.

Аммось Федоровичъ (*въ сторону*). Слава Богу, хоть по крайней мѣрѣ обо мнѣ нѣтъ!

Коробкинъ (*читаетъ*). «Судья...»

Аммось Федоровичъ. Вотъ тебѣ на!.. (*Вслухъ*). Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и чортъ ли въ немъ: дрянъ такую читать!

Лука Лукичъ. Нѣтъ!

Почтмейстеръ. Нѣтъ, читайте!

Артемій Филипповичъ. Нѣтъ, ужъ читайте!

Коробкинъ (*продолжаетъ*). «Судья Ляпкинъ-Тяпкинъ въ сильнѣйшей степени моветонъ...» (*Останавливается*). Должно-быть, французское слово.

Аммось Федоровичъ. А чортъ его знаетъ, что оно значить! Еще хорошо, если только мошенникъ, а можетъ-быть, и того еще хуже.

Коробкинъ (*продолжая читать*). «А впрочемъ, народъ гостепріимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкинъ. Я самъ, по примѣру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, братъ, такъ жить, хочешь наконецъ пиши для души. Вижу: точно, нужно чѣмъ-нибудь высокимъ заняться. Пиши ко мнѣ въ Саратовскую губернію, а оттуда въ деревню Подкатиловку. (*Переворачиваетъ письмо и читаетъ адресъ*). Его благородію; милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, въ Санктпетербургѣ, въ Почтамтскую улицу, въ домѣ подъ номеромъ девяносто седьмымъ, поворота на дворъ, въ третьемъ этажѣ, направо».

Одна изъ дамъ. Какой репримандъ неожиданный!

Городничій. Вотъ когда зарѣзаль, такъ зарѣзаль! Убить, убить, совсѣмъ убить! Ничего не вижу: вижу какія-то свинья рыла, вмѣсто лицъ, а больше ничего... Воротить, воротить его! (*Машетъ*).

Почтмейстеръ. Куды воротить! Я, какъ нарочно, прика-

заль смотрителю дать самую лучшую тройку; чортъ угораздиль дать и впередъ предписаніе.

**Жена Коробкина.** Вотъ ужъ, точно, вотъ ужъ безпримѣрная конфузія!

**Аммось Федоровичъ.** Однакожь, чортъ возьми, господа! онъ у меня взялъ триста рублей займа.

**Артемій Филипповичъ.** У меня тоже триста рублей.

**Печтмейстеръ** (*вздыхаетъ*). Охъ! и у меня триста рублей.

**Бобчинскій.** У насъ съ Петромъ Ивановичемъ шестьдесятъ пять-съ на ассигнаціи-съ, да-съ.

**Аммось Федоровичъ** (*въ недоумѣніи разставляетъ руки*). Какъ же это, господа? Какъ это, въ самомъ дѣлѣ, мы такъ оплошали?

**Городничій** (*бьетъ себя по лбу*). Какъ я — нѣтъ, какъ я, старый дуракъ? Выжилъ, глупый баранъ, изъ ума!.. Тридцать лѣтъ живу на службѣ; ни одинъ купецъ, ни подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками обманывалъ, пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свѣтъ готовы обворовать, поддѣвалъ на уду. Трехъ губернаторовъ обманулъ!.. Чтѣ губернаторовъ! (*махнувъ рукой*) нечего и говорить про губернаторовъ...

**Анна Андреевна.** Но это не можетъ быть, Антоша: онъ обручился съ Машенькой...

**Городничій** (*въ сердцахъ*). Обручился! Кукишъ съ масломъ — вотъ тебѣ обручился! Лѣзетъ мнѣ въ глаза съ обрученьемъ!.. (*Въ изступленіи*). Вотъ, смотрите, смотрите, весь міръ, все христіанство, всѣ смотрите, какъ одураченъ городничій! Дурака ему, дурака, старому подлецу! (*Грозитъ самому себя кулакомъ*). Эхъ ты, толстоносый! Сосулькѣ, тряпку принялъ за важнаго человѣка! Вонъ онъ теперь по всей дорогѣ, заливаясь колокольчикомъ! Разнесетъ по всему свѣту исторію. Мало того, что пойдешь въ посмѣшище — найдется шелкоперъ, бумагомарака, въ комедію тебя вставить. Вотъ чтѣ обидно! Чина, званія не пощадить, и будутъ всѣ скалить зубы и бить въ ладоши. Чему смѣетесь? надъ собою смѣетесь!.. Эхъ вы!.. (*Стучитъ со злости ногами объ полъ*). Я бы всѣхъ этихъ бумагомаракъ! У, шелкоперы, либералы проклятые! чортово сѣмя! Узломъ бы васъ всѣхъ завязалъ, въ муку бы стеръ васъ всѣхъ, да чорту въ подкладку! въ шапку туда ему!.. (*Суетъ кулакомъ и бьетъ каблучкомъ въ полъ*).

(Послѣ нѣкотораго молчанія).

До сихъ поръ не могу притти въ себя. Вотъ, подлинно, если Богъ хочетъ наказать, такъ отниметъ прежде разумъ. Ну, что было въ этомъ вертопрахѣ похожаго на ревизора? Ничего не было! Вотъ просто ни на полмизинца не было похожаго—и вдругъ всѣ: ревизоръ, ревизоры! Ну, кто первый выпустилъ, что онъ ревизоръ? Отвѣчайте!

Артемій Филипповичъ (разставляя руки). Ужъ какъ это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туманъ какой-то ошеломилъ, чортъ попуталъ.

Аммось Ѳедоровичъ. Да кто выпустилъ,—вотъ кто выпустилъ: эти молодцы! (Показываетъ на Добчинскаго и Бобчинскаго).

Бобчинскій. Ей-ей, не я! и не думалъ...

Добчинскій. Я ничего, совсѣмъ ничего...

Артемій Филипповичъ. Конечно, вы.

Лука Лукичъ. Разумѣется. Прибѣжали, какъ сумасшедшіе, изъ трактира: «Пріѣхалъ, пріѣхалъ и денегъ не платить...» Нашли важную птицу!

Городничій. Натурально, вы! сплетники городскіе, дуны проклятые!

Артемій Филипповичъ. Чтобъ васъ чортъ побралъ съ вашими ревизорами и разсказами.

Городничій. Только рыскаете по городу, да смущаете всѣхъ, трещотки проклятыя! Сплетни съете, сороки короткохвостыя!

Аммось Ѳедоровичъ. Пачкуны проклятые!

Лука Лукичъ. Колпаки!

Артемій Филипповичъ. Сморчки короткобрюхіе! (Всѣ обступаютъ ихъ).

Бобчинскій. Ей-Богу, это не я; это Петръ Ивановичъ.

Добчинскій. Э, нѣтъ, Петръ Ивановичъ, вы вѣдь первые того...

Бобчинскій. А вотъ и нѣтъ; первые-то были вы.

## ЯВЛЕНІЕ ПОСЛѢДНЕЕ.

Тѣ же и жандармъ.

Жандармъ. Пріѣхавшій по именному повелѣнію изъ Петербурга чиновникъ требуетъ васъ сейчасъ же къ себѣ. Онъ остановился въ гостиницѣ.



(Произнесенныя слова поражаютъ, какъ громомъ, всѣхъ. Звукъ изумленія единодушно излетаетъ изъ дамскихъ устъ; ося группа, вдругъ перемѣнивши положеніе, остается въ окаменѣніи).

### Нѣмая сцена.

Городничій посерединѣ въ видѣ столба съ распростертыми руками и закинутою назадъ головою. По правую сторону его жена и дочь, съ устремившимся къ нему движеніемъ всего тѣла; за ними почтмейстеръ, превратившійся въ вопросительный знакъ, обращенный къ зрителямъ; за нимъ Лука Лукичъ, потерявшійся самымъ невынымъ образомъ; за нимъ, у самаго края сцены, три дамы, гости, прислонившіяся одна къ другой съ самымъ сатирическимъ выраженіемъ лицъ, относящимся прямо къ семейству городничаго. По лѣвую сторону городничаго: Земляника, наклонившій голову нѣсколько на-бокъ, какъ будто къ чему-то прислушивающійся; за нимъ судья съ растопыренными руками, присѣвшій почти до земли и сдѣлавшій движеніе губами, какъ бы хотѣлъ пошвыстать или произнести: «Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!» За нимъ Коробкинъ, обратившійся къ зрителямъ съ прищуреннымъ глазомъ и ѣдкимъ напекомъ на городничаго; за нимъ, у самаго края, Добчинскій и Бобчинскій съ устремившимся другъ къ другу движеніемъ рукъ, разинутыми ртами и выпученными другъ на друга глазами. Прочіе гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменѣвшая группа сохраняетъ такое положеніе. Занавѣсъ опускается.



## ПРИМѢЧАНІЯ РЕДАКТОРА.

**Носъ.** Повѣсть начата въ 1832/3 году; въ первоначальной редакціи кончена (для «Московского Наблюдателя») въ первой половинѣ марта 1835 года; передѣлана для «Современника» Пушкина въ періодъ съ февраля по май 1836 года. Напечатана въ третьемъ томѣ «Современника», цензурное разрѣшеніе котораго помѣчено такъ: «сентября, 1836». При напечатаніи въ «Современникѣ» передѣлано было, по требованію цензуры, слѣдующее мѣсто рукописнаго текста: «Онъ поспѣшилъ въ соборъ, пробрался сквозь рядъ нищихъ-старухъ съ завязанными лицами и двумя отверстіями только для глазъ, надъ которыми онъ прежде такъ смѣялся, и вошелъ въ церковь. Молещиковъ внутри церкви было немного; они всѣ стояли только при входѣ въ двери. Ковалевъ чувствовалъ, что онъ въ такомъ разстроенномъ состояніи, что никакъ не въ силахъ былъ молиться. Онъ искалъ господина носа по всѣмъ угламъ и, наконецъ, увидѣлъ его, стоявшаго въ сторонѣ. Носъ совершенно спряталъ лицо свое въ большой стоячій воротникъ и съ выраженіемъ величайшей набожности молился. «Какъ подойти къ нему?» думалъ Ковалевъ. «Одѣтъ, какъ господинъ, и притомъ еще статскій совѣтникъ». Онъ началъ, стоя около него, покашливать; но носъ ни на минуту не оставилъ набожнаго своего положенія и отвѣшивалъ поклоны. «Милостивый государь!» сказала Ковалевъ, стараясь ободрить себя: «Милостивый государь!» — «Что вамъ угодно?» отвѣчалъ онъ, оборачиваясь. — «Мнѣ странно, милостивый государь... Мнѣ кажется... вы должны знать свое мѣсто... и я васъ вдругъ нахожу... и гдѣ же?—въ церкви. Согласитесь...»

«Я не могу понять, какъ вы изволите говорить: объяснитесь». — «Какъ мнѣ ему объяснить?» подумалъ Ковалевъ и, собравшись съ духомъ, началъ: «Конечно, я... Впрочемъ, я... Мнѣ ходить безъ носа... согласитесь, это не то, что ходить какой-нибудь торговкѣ, которая продаетъ на Воскресенскомъ мосту очищенные апельсины — можно сидѣть безъ него. Но для лица, ожидающаго губернаторскаго мѣста, что, безъ сомнѣнія, послѣ-

дусть... Я не знаю, милостивый государь!» при этомъ маіоръ пожать плечами: «извините. Если на это смотрѣть сообразно съ правилами долга и чести, вы сами можете понять...» — «Ничего рѣшительно», отвѣчалъ носъ: «изъяснитесь удовлетворительнѣе».

«Милостивый государь!» сказалъ Ковалевъ съ чувствомъ достоинства: «я не знаю, какъ понимать слова ваши... Здѣсь все дѣло, кажется, совершенно очевидно.. или вы не хотите... Вѣдь вы мой собственный носъ!» Носъ посмотрѣлъ на маіора и (любъ) брови его нѣсколько нахмурились.

«Вы ошибаетесь, милостивый государь: я самъ по себѣ. При томъ между нами не можетъ быть никакихъ тѣсныхъ сношеній. Судя по пуговицамъ ватего вицмундира, вы должны служить въ сенатѣ или, по крайней мѣрѣ, по юстиціи, я же по ученой части». Сказавши это, носъ отвернулся и продолжалъ молиться. Ковалевъ совершенно смѣшался и сконфузился. «Что тутъ дѣлать?» подумалъ онъ. Въ это время въ сторонѣ послышался пріятный шумъ дамскаго платья. Вошла пожилая дама довольно широкаго размѣра, вся убранныя кружевами, нѣсколько походившая на готическое строеніе, и съ нею тоненькая, въ платьѣ, очень мило драпированная на ея стройныхъ формахъ, въ палевой шляпкѣ, легкой, какъ бисквитное пирожное. За ними остановился и открылъ табакерку высочій господинъ съ большими бакенбардами и цѣлой партіей воротничковъ. Ковалевъ выступилъ поближе, высунулъ и поправилъ батистовый воротничокъ манишки, поправилъ початки отъ часовъ и, улыбаясь по сторонамъ, обратилъ вниманіе на легонькую даму, которая, какъ весенній цвѣточекъ, слегка наклонялась и подносила руку, съ блѣдными прозрачными пальцами, ко лбу Улыбка на лицѣ Ковалева расширилась еще далѣе, когда онъ увидѣлъ изъ подъ шляпки часть ея подбородка и часть щекъ. Но вдругъ онъ отскочилъ, какъ будто бы обжегшись: онъ вспомнилъ, что у него вмѣсто носа совершенно ничего нѣтъ. И слезы выдавились изъ глазъ. Онъ оборотился, чтобы прямо сказать этому господину, что пріакинулся статскимъ совѣтникомъ, что онъ плутъ и подлецъ и что онъ больше ничего, кромя собственный носъ. Но носа не было: онъ успѣлъ ускользнуть впередъ, опять къ кому-нибудь съ визитомъ. Онъ вышелъ изъ церкви. Время безподобно: солнце снѣтитъ; на Невскомъ народу гибель. Дамъ такъ и сыплется цѣлымъ водопадомъ. Вонъ и знакомый ему надворный совѣтникъ идетъ...» (Ср. стр. 11—13 этого тома).

Изъ значительной степени передѣланы и слѣдующія страницы рукописнаго текста: «Почтенный чиновникъ слушалъ это съ значительною миною и въ то же время занимался счѣтаніемъ принесенныхъ имъ денегъ, отдѣляя 2 рубля 33 копейки за препечатаніе объявленія. По сторонамъ стояло множество старухъ, купеческихъ сидѣльцевъ, дворниковъ, кучеровъ съ записками. Въ одной отдавался кучеръ трезваго поведенія; въ другой мало поддержанная коляска, работанная за Петра, у которой не было ни одного винта цѣлаго. Тамъ отдавалась здоровая дѣвка 19 лѣтъ, упражнявшаяся въ прачешномъ дѣлѣ, годная и для другихъ работъ въ домѣ, у которой уже нѣсколько зубовъ недоста-

вало во рту; прочныя дрожки безъ одной рессоры; молодая, горячая, въ сѣрыхъ яблокахъ, лошадь 17 лѣтъ отъ роду; новыя полученныя изъ Лондона сѣмена рѣпы и редисъ; талъ-называемый индѣйскій редисъ; отличная дача со всѣми угодьями: двумя стойлами для лошадей и мѣстомъ, на которомъ можно развести превосходный садъ. Тамъ же было извѣщеніе о потерянномъ кошелѣ съ обѣщаніемъ приличнаго вознагражденія; вызовъ желающихъ купить старыя подошвы и великихъ (sic!) явиться къ переторжкѣ въ такомъ-то часу. Комната, въ которой все то находилось, была маленькая, закончена, и воздухъ въ ней былъ такъ густъ, хоть топоръ повѣсь, потому что русскіе мужики имѣютъ удивительное свойство сгущать атмосферу, и, гдѣ соберутся и четыре дворника въ красныхъ рубашкахъ и одинъ кучеръ, тамъ смѣло можно повѣсить на воздухѣ топоръ. Къ счастью, коллежскій ассессоръ Ковалевъ не могъ ничего этого услышать, потому что закрылся платкомъ и потому что самый носъ-то находился, Богъ знаетъ, въ какихъ мѣстахъ. Слово: «сказать онъ, наконецъ, съ нетерпѣніемъ» въ рукописи нѣтъ. Страницы, слѣдующія непосредственно затѣмъ въ печатномъ текстѣ, начинали отъ словъ: «Сейчасъ, сейчасъ!» до конца второй главы (стр. 15—27), представляютъ позднѣйшую обработку первоначальнаго, менѣе развитого рукописнаго текста. Въ рукописи этотъ текстъ читается такъ: «Сейчасъ, сейчасъ! — Два рубля сорокъ три копейки.. рубль шестьдесятъ копѣекъ!» говорилъ сѣдовласый господинъ, бросая въ глаза старухамъ и дворникамъ записки. «Вамъ что угодно?» наконецъ сказалъ онъ, обратившись къ Ковалеву.

«Я особенно прошу...» сказалъ Ковалевъ: «случилось мошенничество или плутовство—я до сихъ поръ не могу никакъ узнать. Я прошу только припечатать, что тотъ, кто этого подлеца ко мнѣ представить, получить достаточное вознагражденіе».

«Хм! Позвольте узнать, какъ ваша фамилія?»

«Коллежскій ассессоръ Ковалевъ. Вы, впрочемъ, можете просто написать: состоящій въ маіорскомъ чинѣ».

«Да что сбѣжавшій-то былъ вашъ дворовый человѣкъ?»

«Какой дворовый человѣкъ! Это бы еще не такое большое мошенничество! Но это... носъ».

«И! какая странная фамилія! И на большую сумму этотъ Носовъ обокралъ васъ?»

«Носъ, то-есть... вы не то думаете Носъ, мой собственный носъ пропалъ неизвѣстно. Самъ сатана-дьяволъ захотѣлъ подшутить надо мною... Только этотъ носъ раздѣжается теперь господиномъ по городу и дурачить всѣхъ... Только я васъ прошу объявить, чтобы поймавшій представилъ ко мнѣ мошенника, подлеца, сукина... Но я закапился, и у меня пересохло въ горлѣ. Я не могу ничего говорить!»

Чиновникъ задумался, что означали его крѣпко сжавшіяся губы.

«Нѣтъ, я не могу помѣстить такого объявленія въ газету», сказалъ онъ, наконецъ, послѣ долгаго молчанія.

«Какъ? отчего?»

«Такъ. Газета можетъ потерять репутацію. Если всякій начнетъ писать, что у него съѣжаль носъ или губы... И такъ уже говорить, что печатають много несообразностей и ложныхъ слуховъ».

«Да когда у меня, точно, пропалъ носъ?»

«Если пропалъ, то это дѣло медина. Говорять, что есть такіе люди, которые могутъ приставить какой угодно носъ. Но, впрочемъ, я замѣчаю, что вы должны быть человѣкъ веселаго нрава и любите пошутить».

«Клянусь вамъ: вотъ какъ Богъ святъ, если лгу! Хотите, я вамъ покажу?»

«Зачѣмъ беспокоиться?» продолжалъ чиновникъ, нюхая табакъ. «Впрочемъ, если вамъ не въ безпокойство, то желательно бы взглянуть», продолжалъ онъ съ движеніемъ любопытства.

Коллежскій ассессоръ отнялъ платокъ.

«Въ самомъ дѣлѣ, чрезвычайно странно!» сказалъ чиновникъ: «совершенно, какъ только-что выпеченный блинъ. Мѣсто до невѣроятности ровное!»

«Ну, что и теперь будете говорить? Извольте же сейчасъ напечатать!»

«Напечатать-то, конечно, дѣло небольшое, только я не предвижу въ этомъ большой пользы. Если уже хотите, то вы можете дать кому-нибудь описать искуснымъ перомъ, какъ рѣдкое произведеніе натуры, и напечатать эту статейку въ «Сѣверной Пчелѣ» [тутъ онъ понюхалъ еще разъ табакъ] для пользы юношества, утѣшающагося въ наукахъ [при этомъ онъ утеръ носъ], или тамъ для общаго любопытства».

Коллежскій ассессоръ былъ въ положеніи человѣка, совершенно сраженнаго уныніемъ. Онъ опустилъ глаза въ листъ газеты, гдѣ было извѣщеніе о спектакляхъ, и уже лицо его готово было улыбнуться, встрѣтивши имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карманъ—пошупать, есть ли синія ассигнаціи, потому что штабъ-офицеры, по мнѣнію Ковалева, должны сидѣть въ креслахъ; но мысль о носѣ, какъ острый ножъ, вонзилась въ его сердце. Бѣдный Ковалевъ, въ нестерпимой тоскѣ, отправился къ квартальному надзирателю, чрезвычайному охотнику до сахара; потому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которыя нанесли къ нему изъ дружбы, купцы. Кухарка въ это время скидала съ чистаго пристава. . . . . ботфорты; шпaga и всѣ военные доспѣхи уже мирно развѣсился по угламъ, и грозную треугольную шляпу уже затрогивалъ трехлѣтній сынокъ его, и онъ, послѣ боевой, бранной жизни готовился вкусить удовольствія мира. Ковалевъ вошелъ къ нему въ то время, когда онъ потянулся, крикнулъ и сказалъ: «Эхъ, славно засну два часа!» И потому можно было сначала (sic!), что приходъ коллежскаго ассессора былъ совершенно не во время, и не знаю, хотя бы онъ даже принесъ ему въ то время нѣсколько фунтовъ чаю или сукна,—онъ бы не былъ принятъ слишкомъ радушно. Частный былъ большой поощритель всѣхъ искусствъ и мануфактурности, хотя

иногда и говорилъ, что нѣтъ почтеннѣе вещи, какъ государственная ассигнація; мѣста займетъ немного, въ карманъ всегда помѣстится, уронишь—не расшибется».

Частный принялъ довольно сухо Ковалева: сказали, что послѣ обѣда не такое время, чтобы производить слѣдствіе, что сама натура назначила, чтобы человѣкъ, наѣвшійся, немного отдохнулъ [изъ этого видно было, что частный приставъ былъ философъ], и что у порядочнаго человѣка не оторвутъ носа, и что много есть на свѣтѣ разныхъ маіоровъ, которые не имѣютъ даже и исподняго въ приличномъ состояніи и таскаются по всякимъ непристойнымъ мѣстамъ.

То-есть, это уже было не въ бровь, а прямо въ глаза! Нужно знать, что Ковалевъ былъ чрезвычайно обидчивый человѣкъ. Онъ могъ извинить все, что ни говори о немъ самомъ, но никакъ не извинялъ, если это касалось къ чину или званію. Онъ полагалъ, что по театральнымъ пьесамъ можно пропускать свободно все, что относится къ оберъ-офицерамъ, но на штабъ-офицеровъ никакъ не должно нападать. Такой пріемъ частнаго его такъ сконфузилъ, что онъ немножко стряхнулъ головою и съ чувствомъ собственнаго достоинства сказалъ, немного разставивъ руки: «Признаюсь, послѣ этакихъ, съ вашей стороны, обидныхъ замѣчаній, я ничего не могу прибавить...» и вышелъ.

Онъ пріѣхалъ домой, едва слыша въ себѣ душу, а подъ собою ноги, послѣ всѣхъ этихъ душевныхъ революцій. Усталый, бросился онъ въ кресла и, отдохнувши немного, сказалъ: «Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастье? Будь я безъ руки или безъ ноги — все бы это лучше, будь я безъ обоихъ ушей! Жажу, все сносите, но безъ носа человѣкъ—хоть выбрось! Если бы кто-нибудь отрѣзалъ или я самъ былъ причиною... но вотъ штука—пропалъ самъ собою! Ей-Богу это невѣроятно! Можетъ-быть, я сплю, и мнѣ все это снится». Коллежскій ассессоръ пальцемъ себя щипнулъ, — самъ чуть не вскрикнулъ отъ боли. «Нѣтъ, чортъ возьми! я не сплю». Онъ потихоньку приблизился къ зеркалу и сначала зажмурилъ глаза, потомъ вдругъ глынулъ — авось-либо есть носъ; но въ ту же минуту отскочилъ отъ зеркала, сказавши: «Чортъ знаетъ что! Какая дрянь!»

Дѣйствительно, это происшествіе было до невозможности [не] вѣроятно, такъ что его можно было совершенно назвать сновидѣніемъ, если бы оно не случилось въ самомъ дѣлѣ и если бы не представлялось множество самыхъ удовлетворительныхъ доказательствъ. Онъ долго передумывалъ, кто бы здѣсь былъ виновно, и, наконецъ, едва ли не остановился на томъ, что здѣсь главною причиною должна быть одна вдова, тоже штабъ-офицерша, которая желала, чтобы онъ женился на ея дочери, за которой онъ любилъ приволакиваться, но всегда избѣгалъ окончательной раздѣлки и, когда вдова объявила ему напирями, что она хочетъ выдать ее за него, онъ потихоньку отчалилъ съ своими комплиментами, сказавши, что еще молодъ, что нужно еще прослужить лѣтъ пятью, чтобы было ровно сорокъ два года. И потому теперь, по его мнѣнію, вдова хотѣла ему непременно

отмстить и рѣшилась его испортить и, вѣрно, наняла бабъ-ворожей или сама, можетъ-быть, удружила.

Разсуждая такимъ образомъ, онъ услышалъ въ передней голосъ: «Здѣсь живетъ коллежскій ассессоръ Ковалевъ?»

«Войдите; майоръ Ковалевъ здѣсь», сказалъ онъ, вскочивши со стула и отворяя дверь. Это былъ полицейскій чиновникъ, благотворной наружности, который стоялъ въ концѣ Исаа....»

«Вы, кажется, изволили затерять носъ свой?»

«Такъ точно».

«Онъ теперь перехваченъ».

«Нѣтъ? Что вы говорите?» закричалъ въ величайшей радости майоръ. «Какимъ образомъ?»

«Страннымъ случаемъ: его перехватили почти на дорогѣ. Онъ уже садился въ дилижансъ и хотѣлъ уѣхать въ Ригу. И паспортъ уже давно былъ написанъ на имя тамбовскаго директора училищъ. И странно то, что я самъ принялъ его за господина; но, къ счастью, были со мною очки, и я, уже надѣвши ихъ, увидѣлъ, что это былъ носъ. Вѣдь я близорукъ и, если вы передо мною станете, то я вижу только, что лицо, но ни носа, ни бороды — ничего не замѣчу. Моя теща, то-есть мать жены моей, тоже ничего не видитъ».

Ковалевъ былъ внѣ себя. «Гдѣ же онъ? гдѣ? Я сейчасъ побѣжу» (sic!).

«Не беспокойтесь. Я, зная, что онъ вамъ нуженъ, нарочно принесъ его съ собою. И странно то, что главный участникъ въ этомъ дѣлѣ есть мошенникъ цырюльникъ на Вознесенской улицѣ, который сидитъ теперь на сѣзжей. Я давно, впрочемъ, подозрѣвалъ его въ пьянствѣ и воровствѣ, и еще третьяго дня стащилъ онъ въ Гостиномъ подюжины жилетныхъ пуговицъ. Носъ вапшъ совершенно таковъ, какъ былъ». — При этомъ квартальный полѣзъ въ карманъ и вытащилъ оттуда завернутый въ бумажкѣ носъ.

«Такъ, онъ!» закричалъ Ковалевъ въ радости: «Точно онъ! Такой же самой . . . . .») Откушайте сегодня со мною чашечку чаю».

«Съ большою пріятностью желалъ бы, но не могу: занятъ... Очень большая теперь поднялась дороговизна на всѣ припасы... У меня въ домѣ живетъ и теща, то-есть мать моей жены, и дѣти; старшій особенно подаетъ большія надежды, умный мальчишка; но средствъ къ воспитанію совершенно нѣтъ никакихъ».

Ковалевъ догадался, и, схвативъ со стола красную ассигнацію, сунулъ въ руки надзирателя, который, расшаркавшись, вышелъ за дверь, и въ ту же (почти минуту) Ковалевъ слышалъ голосъ его на улицѣ, гдѣ онъ утѣшавалъ по зубамъ одного глупаго мужика, нахавшаго съ своею телѣгою (на) бульваръ. Коллежскій ассессоръ пришелъ, наконецъ, въ себя, потому что радость повернула почти въ безпамятство... «Ну, теперь, слава Богу, что есть носъ. А ну, приложимъ его». Сказавши это, онъ

) Точка на мѣстѣ неразобранныго слова.

началь приставить (sic!) его на свое мѣсто, но, къ удивленію, замѣтилъ, что носъ никакъ не приклеивался.

«Ну же, ну! полѣзай, дуракъ!» говорилъ онъ ему; но носъ былъ совершенно глухъ и падалъ прямо на столъ, какъ только онъ отнималъ руку. Лицо маіора слезливо искривилось. «Нужели онъ не пристанетъ?» сказалъ онъ въ испугѣ. Но носъ дѣйствительно отпадалъ. «Ахъ, Боже мой! Да вѣдь какимъ же [объ азомъ] онъ можетъ пристать? Я и позабылъ о томъ, что ужъ если что отрѣзано, то нельзя приставить».

Между тѣмъ слухъ объ этомъ необыкновенномъ происшествіи распространился по всей столицѣ и, какъ всегда водится, не безъ особенныхъ прибавленій. Тогда умы всѣхъ именно настроены были къ чрезвычайному: недавно только-что занимали весь городъ опыты дѣйствія магнетизма. Притомъ исторія о таинующихъ стульяхъ въ Конюшенной была свѣжа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, что носъ коллежскаго асессора Ковалева, ровно въ три часа, каждый день, прогуливается по Невскому проспекту. Любопытныхъ стекалось каждый день множество. Этому происшествію были чрезвычайно рады всѣ свѣтскіе необходимые посѣтители раутовъ, любившіе смѣнить дамъ, которыхъ запасъ уже совершенно истощился. Но многіе слушали объ этомъ съ неудовольствіемъ, и одинъ господинъ со звѣздой съ негодованіемъ говорилъ, что онъ удивляется, какъ въ нынѣшній просвѣщенный вѣкъ могутъ распространяться такіе слухи и нелѣпныя выдумки, и что онъ еще болѣе удивляется, какъ не обратить на это вниманіе правительства. Этотъ господинъ былъ одинъ изъ числа тѣхъ людей, которые бы желали впутать правительство даже въ ихъ домашнія «соры съ своею супругою».

Обо всѣхъ этихъ слухахъ бѣдный коллежскій асессоръ, не знаю, какимъ образомъ, узнавалъ, не выходя почти изъ своей комнаты... Онъ не велѣлъ никого впускать къ себѣ, не появлялся нигуда, даже въ театрѣ, какой бы ни игрался тамъ водевилъ; не игралъ даже въ бостонъ; не выдавалъ даже Ярышкина, съ которымъ былъ большой пріятель, и въ продолженіе мѣсяца такъ исхудалъ и изсохъ, что былъ похожъ больше на мертвеца, нежели на человѣка и даже...

Впрочемъ, все это, что ни описано здѣсь, видѣлось маіору во снѣ. И когда онъ проснулся, то въ такую пришелъ радость, что вскочилъ съ кровати, подбѣжалъ къ зеркалу и, увидѣвши все на своихъ мѣстахъ, бросился плясать въ одной рубашкѣ по всей комнатѣ (танецъ, который) составленъ . . . . . изъ кадрили и мазурки влѣстѣ. И когда лакей его Иванъ проснулся головою въ двери, посмотрѣлъ, что дѣлаетъ баринъ, онъ закричалъ ему: «Понелъ! Что тутъ нашелъ дивнаго?» Черезъ минуту онъ, бросившись и сѣвши на кровать, закричалъ: «Эй, Иванъ!»— «Чего извольте-съ?»— «Что не спрашивала ли маіора Ковалева одна дѣвчонка, такая хорошенькая собою?»— «Никакъ нѣтъ».— «Гм!» сказала маіору Ковалевъ и посмотрѣлъ, улыбаясь, въ зеркало.

Передѣлывая повѣсть «Носъ» для перваго изданія своихъ



«Сочиненій», Гоголь далъ ей новое окончаніе. Въ «Современникѣ» Пущкина повѣсть оканчивалась такъ: «Послѣ этого, какъ-то странно и совершенно неизъяснимымъ образомъ случилось, что у майора Ковалева опять показался на своемъ мѣстѣ носъ. Это случилось уже въ началѣ мая, не помню, 5 или 6 числа. Майоръ Ковалевъ, проснулся поутру, взявъ зеркало и увидѣлъ, что носъ сидѣлъ уже, гдѣ слѣдуетъ, между двумя щеками. Въ изумленіи онъ выронилъ зеркало на полъ и все щупалъ пальцами, дѣйствительно ли это былъ носъ. Но, увѣрившись, что это былъ, точно, не кто другой, какъ онъ самый, онъ соскочилъ съ кровати въ одной рубашкѣ и началъ плясать по всей комнатѣ какой-то танецъ, составленный изъ мазурки, кадрили и трепака. — Потомъ приказалъ дать себѣ одѣться, умылся, выбрилъ бороду, которая уже отросла-было, такъ-что могла вмѣсто щетки чистить платье, — и чрезъ нѣсколько минутъ видѣли уже коллежскаго асессора на Невскомъ проспектѣ, весело поглядывающаго на всѣхъ; а многіе даже примѣтали его покупавшаго въ Гостиномъ дворѣ узенькую орденскую ленточку. не извѣстно, для какихъ причинъ, потому что у него не было никакого ордена.

«Чрезвычайно странная исторія! Я совершенно ничего не могу понять въ ней. И для чего все это? Къ чему это? Я увѣренъ, что больше половины въ ней неправдоподобнаго. Не можетъ быть, никакимъ образомъ не можетъ быть, чтобы носъ одинъ самъ собою ѣздилъ въ мундирѣ и притомъ еще въ рангѣ статскаго совѣтника! И неужели въ самомъ дѣлѣ Ковалевъ не могъ смекнуть, что чрезъ газетную экспедицію нельзя объявлять о носѣ? Я здѣсь не въ томъ смыслѣ говорю, чтобы мнѣ казалось дорого заплатить за объявленіе: это пустяки. и я совсѣмъ не изъ числа корыстолюбивыхъ людей; но неприлично, совсѣмъ неприлично, нейдетъ. Несообразность и больше ничего! — И цырюльникъ Иванъ Яковлевичъ вдругъ явился и пропалъ, не извѣстно къ чему, неизвѣстно для чего. — Я, признаюсь, не могу постичь, какъ я могъ написать это? — Да и для меня вообще непонятно, какъ могутъ авторы брать такого рода сюжеты! Къ чему все это ведетъ? Для какой цѣли? Что доказываетъ эта повѣсть? Не понимаю, совершенно не понимаю. — Положимъ, для фантазіи законъ не писанъ, и притомъ дѣйствительно случается въ свѣтѣ много совершенно неизъяснимыхъ происшествій; но какъ здѣсь?.. Отчего носъ Ковалева?.. И зачѣмъ самъ Ковалевъ?.. Нѣтъ, не понимаю, совсѣмъ не понимаю. Для меня это такъ необъяснимо, что я... Нѣтъ, этого нельзя понять!»

Во второмъ изданіи «Сочиненій Гоголя» (1855 г.) удержаны поправки, сдѣланныя въ повѣсти авторомъ въ 1831 году.

**Портретъ.** Первая печатная редакція этой повѣсти, появившаяся въ «Арабескахъ» (см. настоящаго изданія томъ IX), передѣлана въ Римѣ въ 1841 году; передѣлка начата не ранѣе конца марта 1837 года. Пересмотрѣнна и вновь исправлена въ началѣ 1842 года и 17 марта этого года отправлена Плетневу, который и напечаталъ ее въ «Современникѣ» XXVII т., № 3. Цензурное разрѣшеніе этой книжки журнала помѣчено: «30

іюня 1842 г.» Въ 1851 г. авторомъ сдѣланы легкія стилистическія поправки для второго изданія его «Сочиненій».

**Шинель.** Задумана въ 1834 г. Начата, въ наброскѣ, въ 1839 г.; кончена въ началѣ 1841 г.; отдѣлана въ 1842 г. для перваго изданія «Сочиненій», въ которомъ и напечатана въ первый разъ.

**Моляска.** Первая редакція набросана въ 1835 г.; отдѣлана для Пушкина въ сентябрѣ того же года; напечатана, конечно, съ поправками Гоголя, въ первомъ томѣ «Современника», цензурное разрѣшеніе котораго помѣчено: «31 марта 1836 г.».

**Римъ** (отрывокъ). С. Т. Аксаковъ, слышавшій этотъ рассказъ въ чтеніи Гоголя въ концѣ 1839 г., называетъ его «итальянскою повѣстью» — «Аннуціата». Рассказъ былъ написанъ въ Римѣ ранѣе сентября того же года; въ концѣ 1841 г. «отрывокъ» отдѣланъ былъ для печати и появился въ «Москвитинѣ» 1842 г., № 3.

**Ревизоръ.** Начатъ въ 1834 году; сценическій текстъ оконченъ 4 декабря 1835 года; одобренъ къ представленію 2 марта, но авторъ продолжалъ исправлять этотъ текстъ и послѣ цензурнаго разрѣшенія. На сценѣ Александринскаго театра въ Петербургѣ «Ревизоръ» представленъ былъ въ первый разъ 19 апрѣля 1836 года въ воскресенье; въ Москвѣ 25 мая того же года — въ Маломъ театрѣ. Одновременно съ постановкою на сцену «Ревизора» Гоголь печаталъ «литературный» текстъ комедіи, во многомъ расходившійся съ «сценическимъ»; онъ вышелъ въ свѣтъ въ апрѣлѣ 1836 г. (цензурное разрѣшеніе помѣчено «13 марта 1836 года»). Съ этого времени до половины іюля 1842 года «Ревизоръ» урывками, въ разное время, перерабатывался, пока получилъ тотъ видъ, въ которомъ явился въ третьемъ томѣ перваго изданія «Сочиненій Гоголя». Окончательная выработка помѣщенного здѣсь текста относится къ періоду времени съ марта 1841 г. по 15 іюля 1842 г.

Въ одной послѣдней печатной редакціи «Ревизора», сравнительно съ предыдущими, сдѣланы слѣд. передѣлки:

1) Подробно развита заключительная, нѣмая сцена, имѣвшая въ двухъ первыхъ печатныхъ изданіяхъ комедіи такой видъ: *«Всѣ издають звукъ изумленія и остаются съ открытыми ртами и вытянутыми лицами. Нѣмая сцена. Занавѣсъ опускается».*

2) Во второмъ изданіи «Сочиненій Гоголя» исключены замѣчанія о гостяхъ, принадлежащія, очевидно, автору: «Гости должны быть разнохарактерны. Они должны быть высокіе и низенькіе, толстые и тонкіе, нечесанные и причесанные. Костюмированы тоже должны быть различно — во фракахъ, венгеркахъ и сюртукахъ разнаго цвѣта и покрою. Въ дамскихъ костюмахъ та же пестрота: однѣ одѣты довольно прилично, даже съ притязаніемъ на моду, но что-нибудь должны имѣть не такъ, какъ слѣдуетъ: или чепецъ на-бекрень, или ридикюль какой-нибудь странный; другія въ платьяхъ, уже совершенно не принадлежащихъ ни къ какой модѣ — съ большими платками и чепчиками въ видѣ сахарной головы и проч. — Вообще слѣдуетъ обратить вниманіе на цѣлое всей пьесы. Страхъ, испугъ, недо-

умѣніе, суетливость должны разомъ и вдругъ выразаться на всей труппѣ дѣйствующихъ лицъ, выражаться въ каждомъ совершенно особенно, сообразно съ его характеромъ». (Ср. выше, стр. 178).

3) Напечатанныя въ новой редакціи (стр. 195) строки: «Пѣхотный капитанъ» и т. д. замѣняютъ собою слѣдующее мѣсто первыхъ двухъ изданій «Ревизора»: «Пѣхотный капитанъ больше всего меня поддѣлъ; однакожъ, что ни говори, а удивительно бестія што-ы срѣзываетъ. Всего какихъ-нибудь четверть часа посидѣлъ, и все обобралъ. Славно играетъ! Если-бъ еще гдѣ-нибудь съ нимъ встрѣтиться! Впрочемъ, какъ же встрѣтиться? на это все нуженъ случай. Когда-бъ въ самомъ дѣлѣ уже скорѣе доѣхать домой! надоѣло въ дорогѣ! Нарочно такой мерзкій городишка: въ другихъ, по крайней мѣрѣ, что-нибудь бываетъ, а здѣсь ничего совершенно нѣтъ. Въ овошенной лажѣ балыки еще сносны, но проклятые сидѣльцы очень мало даютъ на пробу».

4) Передѣлано слѣдующее мѣсто двухъ первыхъ печатныхъ редакцій комедіи: «Хлестаковъ (*испугавшись*)». Вотъ тебѣ на! Я, ей-Богу, никакъ не думалъ про это... Эка бестія трактирщикъ! Если въ самомъ дѣлѣ потащить въ тюрьму? Что-жъ? если благороднымъ образомъ, еще ничего, я, пожалуй, пойду... Нѣтъ, что-жъ я говорю: пойду? Тамъ вчера смотрѣли на меня двѣ купеческія дочери, офицеры тоже безпрестанно ходятъ... Нѣтъ, я не согласусь. Онъ не можетъ сдѣлать этого, или ужъ онъ будетъ послѣ этого такая скотина... Это можно какого-нибудь мѣшанина или ремесленника... Нѣтъ, не поддаваться! (*Ободрается*). Что онъ можетъ мнѣ? Я скажу ему: какъ вы!.. Я знать не хочу... (*У дверей вертится ручка; Хлестаковъ блонднетъ*)».

5) Слегка измѣнены слѣдующія строки перваго и втораго изданія «Ревизора»: «Перестань, ты ничего не знаешь, и не въ свое дѣло не мѣшайся!» «Я, Анна Андреевна, вы повѣрите ли, что я потому только ищу руки вашей или вашей дочери, что чувствую сердечную любовь и изумляюсь вашимъ достоинствамъ». Въ такихъ лестныхъ разсыпался словахъ... и когда я хотѣла сказать: «мы никогда не смѣемъ надѣяться на такую честь, тогда онъ, не говоря ни слова, вдругъ упалъ на колѣни и такимъ самымъ благороднѣйшимъ образомъ: «Анна Андреевна! не сдѣлайте меня несчастнѣйшимъ! и если вы не согласитесь отвѣчать моимъ чувствамъ, я смертью окончу жизнь свою». И ниже: «Аммосъ Федоровичъ. Въ самомъ дѣлѣ чрезвычайное происшествіе! Лука Лукичъ. Вотъ подлинно, судьба ужъ такъ вела. Артемій Филипповичъ (*въ сторону*). Вотъ этакой свинья такъ и лѣзетъ въ самый ротъ счастье».

Всѣ поправки и передѣлки, давшія въ результатѣ окончательную редакцію «Ревизора», нанесены Гоголемъ на первое печатное изданіе этой комедіи (1836 г.)



# Оглавление

## ТРЕТЬЯГО ТОМА.

|                                            | СТР. |
|--------------------------------------------|------|
| <b>Повѣсти.</b>                            |      |
| ✓ Носъ. . . . .                            | 5    |
| Портретъ (въ позднѣйшей редакціи). . . . . | 31   |
| ✓ Шинель. . . . .                          | 87   |
| Коляска. . . . .                           | 119  |
| Римъ (отрывокъ). . . . .                   | 131  |
| <hr/>                                      |      |
| <b>Комедіи.</b>                            |      |
| ✓ Ревизоръ . . . . .                       | 175  |
| <hr/>                                      |      |
| Примѣчанія редактора. . . . .              | 257  |







**14 DAY USE**  
**RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED**  
**LOAN DEPT.**

This book is due on the last date stamped below,  
or on the date to which renewed. Renewals only:

Tel. No. 642-3405

Renewals may be made 4 days prior to date due.  
Renewed books are subject to immediate recall.

*Cal State, San Diego*

**INTER-LIBRARY**

**LOAN**

JUN 22 1973

NO

7

DEC

30A

JUN 16

FEB

NOV

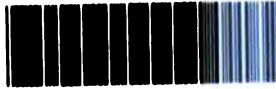
LD 21-106

LD21A-20m-3,'73  
(Q8677s10)476-A-31

General Library  
University of California  
Berkeley

YC 71859

U. C. BERKELEY LIBRARIES



C043044526

836 2

G613

1900

V.1-3

110551



